

ХАННА АРЕНДТ

*Истоки  
тоталитаризма*

ЦЕНТРОМ  
МОСКВА  
1994

**HANNAH ARENDT**

**ХАННА АРЕНДТ**

**THE ORIGINS OF  
TOTALITARIANISM**

**ИСТОКИ  
ТОТАЛИТАРИЗМА**

**Перевод с английского**

**Harcourt, Brace & World, Inc.  
New York  
1966**

**Москва  
ЦентрКом  
1996**

*Издание осуществлено  
при содействии Института  
«Открытое общество»  
в рамках программы  
«Высшее образование»*

*Редакционный Совет программы  
«Высшее образование»:  
В. И. Бахмин  
Я. М. Бергер  
Е. Ю. Гениева  
Г. Г. Дилигенский  
В. Д. Шадриков*

**ББК 60.5  
А80**

**Арендт, Ханна.**

**А 80** Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. И. В. Борисовой, Ю. А. Кимелева, А. Д. Ковалева, Ю. Б. Мишкенене, Л. А. Седова. Послесл. Ю. Н. Давыдова. Под ред. М. С. Ковалевой, Д. М. Носова. М.: ЦентрКом, 1996. — 672 С. Библиограф.: С. 639–664; Указ. имен: С. 664–670.

Издано при содействии фонда Дж. Сороса «Открытое общество».

Данная книга — первое издание на русском языке всемирно известной ученой, философа и политолога, — Ханна Арендт. В ней исследуются истоки, условия формирования и принципы функционирования тоталитарного общества. Автором предложено оригинальное и всесторонне обоснованное определение термина «тоталитаризм».

Адресовано специалистам и широкому кругу читателей.

**ББК 60.5**

**А** 0302010000-006  
9Т6(03) - 96

ISBN 5-87129-006-X

© Arendt H., 1966  
© Перевод на русский язык — И. В. Борисова, Ю. А. Кимелев, А. Д. Ковалев, Ю. Б. Мишкенене, Л. А. Седов, 1996  
© Послесловие — Ю. Н. Давыдов, 1996

## От редакторов русского издания

Коллектив переводчиков и редакторов, со всевозможным тщанием готовивший к изданию в России эту книгу, с большим удовлетворением предлагает отечественной читательской аудитории фундаментальный труд всемирно известного социального мыслителя, философа, политолога Ханна Арендт — «Истоки тоталитаризма». В достаточно большой на сегодня литературе о тоталитаризме преобладают источники документального, мемуарного, исторического характера. Книга Х. Арендт — это прежде всего анализ, анализ условий, породивших рассматриваемый феномен, и его элементов. А также концептуализация, теоретическое осмысление самого чудовищного явления нашего века — экспериментатора — тоталитарного общества (двух его хрестоматийных ипостасей — сталинизма и гитлеризма).

По нашему глубокому убеждению, эта работа не просто содержит в себе колоссальную достоверную информацию, огромную библиографию, ответ на вопрос, как такое античеловечное явление стало возможным в человеческой истории, но и еще нечто большее. Это большее связано не только с высочайшим профессионализмом и глубиной проникновения в суть предмета исследования, но с тем, что автор отдала этому труду часть себя самой, своей души, своей боли... А такая книга, вобравшая в себя частицу авторского сердца, по справедливому и меткому замечанию одного из первых философов истории И.-Г. Гердера, имеет особую судьбу и особые свойства. Она не только дает читателю факты, исторический материал и авторские размышления о них, но побуждает читателя рассуждать, задумываться, искать истину, порождает в нем неожиданные ассоциации со своими заветными идеями и тем самым поддерживает его собственное стремление к поиску.

Все это придает нам уверенности, что данный труд, несмотря на то, что он был написан почти полвека назад и общественные науки обогатились за это время новыми знаниями, а человечество новым опытом, нисколько не устарел, своевременен и обязательно найдет своего читателя.

Работа над переводом на русский язык и подготовкой к печати «Истоков тоталитаризма» была начата в 1990 г., однако изменившиеся условия жизни не позволили тогда же издать эту книгу. Завершение перевода и редакционная подготовка тома к изданию стали возможны лишь благодаря поддержке Института «Открытое общество» (основано в России фондом Дж. Сороса), без которой работа Ханна Арендт пришла бы к нашему читателю еще позже. Коллектив переводчиков и ре-

дакторов выражает свою искреннюю признательность фонду Дж. Сороса за его плодотворную деятельность в России.

При подготовке к изданию коллектив прежде всего стремился максимально точно передать на русском языке дух и букву оригинала, кроме того редакторы ставили перед собой цель точного воспроизведения всего научного аппарата, имеющегося в наиболее полном американском издании 1966 г., а также максимального приближения его к русскому читателю. Книга снабжена примечаниями редакторов и переводчиков, касающимися, однако, только вопросов перевода и употребления терминов (содержательные комментарии чрезмерно увеличили бы и без того значительный объем книги), и библиографическими ссылками на русские издания соответствующих источников. Заключает книгу послесловие известного отечественного исследователя, доктора философских наук Ю. Н. Давыдова, представившего свою трактовку вклада Х. Арендт в изучение причин возникновения, условий функционирования и последствий существования тоталитаризма.

Авторские примечания и ссылки даны в книге постранично со сплошной нумерацией внутри каждой главы; редакторские примечания к русскому изданию даны постранично и обозначены звездочками; в квадратных скобках приводятся ссылки на источники на русском языке (в тех случаях, естественно, когда их удалось разыскать).

## ВВЕДЕНИЕ

### I

Рукопись «Истоки тоталитаризма», ставшая основой этой книги, была завершена осенью 1949 г., спустя более чем четыре года после поражения гитлеровской Германии и менее чем за четыре года до смерти Сталина. Первое издание книги появилось в 1951 г. И если сейчас оглянуться назад, то годы после 1945 г., проведенные мною за ее написанием, предстают как первый период относительного спокойствия после десятилетий беспорядка, растерянности и явного ужаса — революций, происшедших после первой мировой войны, возникновения тоталитарных движений и подрыва парламентарной формы правления, вслед за чем появились всевозможные тирании, фашистские и полуфашистские, однопартийные и военные диктатуры и, наконец, установились, причем, как казалось, прочно, тоталитарные формы правления, опирающиеся на массовую поддержку<sup>1</sup>: в России это произошло в 1929 г., который сейчас зачастую называют «второй революцией», а в Германии — в 1933 г.

Часть всей этой истории завершилась с поражением нацистской Германии. Возникло ощущение, что наступил первый благоприятный момент для того, чтобы взглянуть на современные события и взглядом историка, смотрящего назад, и пристальным аналитическим взором политолога, что впервые появилась возможность попытаться рассказать о происшедшем и понять его, еще не *sine ira et studio*, еще со

<sup>1</sup> Несомненно, то обстоятельство, что тоталитарное правление, несмотря на свой явно преступный характер, опирается на массовую поддержку, вызывает большую тревогу. Неудивительно поэтому, что ученые, а также государственные деятели нередко отказываются признать этот факт. Первые ссылаются на магическое воздействие пропаганды и методы промывания мозгов, а вторые просто отрицают данное обстоятельство, как это, например, неоднократно делал Аденауэр. Недавно опубликованные секретные доклады о состоянии общественного мнения в Германии во время войны (с 1939 по 1944 г.), подготовленные службой безопасности СС (*Meldungen aus dem Reich. Auswahl aus den Geheimen Lageberichten des Sicherheitsdienstes der SS 1939–1944 / H. Boberach (Hrsg.) Neuwied; B., 1965*), очень показательны в этом отношении. Они демонстрируют, во-первых, что население было очень хорошо информировано о так называемых тайнах — массовых убийствах евреев в Польше, подготовке нападения на Россию и т.д., а во-вторых, ту «степень, в которой подвергаемые пропагандистской обработке сохраняли способность к формированию независимых суждений» (см. S. XVIII–XIX). Все дело в том, однако, что все это ни в малейшей степени не ослабляло общей поддержки гитлеровского режима. Совершенно очевидно, что массовая поддержка тоталитаризма не происходит ни из невежества, ни из процесса промывания мозгов.

скорбью и печалью, и потому сетуя, но уже не пребывая в безмолвном возмущении и бессильном ужасе (я сохранила в этом издании первоначальное «Предисловие» для того, чтобы передать настроение тех лет). Во всяком случае, это был первый момент, когда можно было оформить и обдумать те вопросы, с которыми мое поколение вынуждено было прожить лучшую часть своей взрослой жизни: Что произошло? Почему это произошло? Как это могло случиться? Ведь после поражения Германии, приведшего страну к разрухе, а нацию к «нулевой точке» ее истории, остались нетронутыми горы бумаг, огромное количество материала по каждому аспекту ее жизни в те 12 лет, которые ухитрился просуществовать Tausendjähriges Reich Гитлера. Первые обильные выборки из этого *embarras de richesses*, которое и сегодня остается недостаточно изученным и преданным гласности, начали появляться в связи с Нюрнбергским процессом над главными военными преступниками в 1946 г. Они содержались в двенадцати томах издания «Нацистский заговор и агрессия».<sup>2</sup>

Значительно более обширный, документальный и прочий материал, имеющий отношение к нацистскому режиму, появился в библиотеках и архивах к тому времени, когда в 1958 г. вышло второе (в бумажной обложке) издание этой книги. То, что я узнала тогда, было достаточно интересным, но вряд ли побуждало к каким-либо существенным изменениям в характере анализа или в аргументации моего первоначального текста. Представлялось целесообразным внести многочисленные дополнения и произвести замены цитат в сносках, и текст значительно расширился. Но все эти изменения имели сугубо технический характер. В 1949 г. нюрнбергские документы были известны только отчасти и в английских переводах, а значительное число книг, памфлетов и журналов, публиковавшихся в Германии между 1933 и 1945 гг., не были доступны вообще. В целом ряде дополнений я также учла некоторые из наиболее важных событий, происшедших после смерти Сталина, — такие, как кризис, связанный с выбором преемника, и речь Хрущева на XX съезде КПСС, — а заодно и новую информацию о сталинском режиме, содержащуюся в последних публикациях. Таким образом я пересмотрела часть третью и последнюю главу части второй, а часть первая, посвященная антисемитизму, и первые четыре главы об империализме остались нетронутыми. Кроме того, в это время у меня появились некоторые воззрения

<sup>2</sup> С самого начала в основу исследования и публикации документального материала был положен интерес к преступной деятельности, а отбор обычно определялся целями преследования военных преступников. В результате значительная часть наиболее интересного материала выпала из сферы внимания. Та книга, что упоминается в сноске 1, является приятным исключением из этого правила.

чисто теоретического характера, тесно связанные с моим анализом элементов тотального господства, которых не было, когда я заканчивала рукопись этой книги, завершавшуюся довольно непоследовательными «Заключительными замечаниями». Последняя глава данного издания — «Идеология и террор» — заменила эти «Замечания», которые, в той мере, в какой они казались обоснованными, переместились в другие главы. Ко второму изданию я добавила «Эпилог», где я кратко рассмотрела ситуацию введения русской системы в странах-сателлитах, а также Венгерскую революцию. Этот текст, написанный много позднее, отличался по тональности, поскольку был связан с современными ему событиями, и к настоящему времени во многом устарел. Сейчас я сняла его, и это единственное существенное изменение в данном издании по сравнению со вторым изданием (в бумажной обложке).

Очевидно, что конец войны не означал конца тоталитарного правления в России. Напротив, последовала большевизация Восточной Европы, т.е. распространение тоталитарного правления на ее территорию. Наступивший мир означал не более чем важный поворотный пункт, после которого можно было анализировать сходства и различия в методах и институтах двух тоталитарных режимов. Решающее значение имел не конец войны, а смерть Сталина восемь лет спустя. В ретроспективе складывается впечатление, что за этой смертью последовали не просто кризис, связанный с выбором преемника, и временная, до того момента, когда новый лидер утвердит свою власть, «оттепель», но и подлинный, хотя и неоднозначный процесс детоталитаризации. Поэтому, если исходить из событий, не было оснований доводить эту часть моего повествования до наших дней. А если исходить из нашего знания об этом периоде, то оно не изменилось настолько серьезно, чтобы требовались значительные переработки и дополнения. В противоположность Германии, где Гитлер сознательно использовал свою войну для укрепления и совершенствования тоталитарного правления, период войны в России был периодом временного ослабления тотального господства. С точки зрения моих целей годы с 1929 до 1941-го и затем с 1945 до 1953-го представляют наибольший интерес, а наши источники по этим периодам в настоящее время столь же скудны и того же свойства, какими они были в 1958 или даже в 1949 г. Ничего не произошло и не похоже, что в будущем произойдет что-то такое, что могло бы предоставить нам столь же однозначное основание для окончания этой истории или обеспечить нас столь же ужасающе ясными и неопровержимыми документальными свидетельствами, как это было в случае с нацистской Германией.

Единственный важный дополнительный источник наших сведений — содержимое смоленского архива (опубликованного Мерле Файнсодом в 1958 г.) — показал, в какой мере скудность наших запасов самого элементарного документального и статистического материала останется решающим препятствием на пути всех исследований этого периода русской истории. Ведь хотя архивы (обнаруженные в помещении партийных органов в Смоленске немецкой разведкой, а затем захваченные в Германии американскими оккупационными войсками) содержат более 200 тысяч страниц документов и практически полностью сохранились за период с 1917 по 1938 г., объем той информации, которую они не в состоянии нам дать, поистине поражает. Даже в случае с «почти не поддающимся обработке обилием материала по чисткам», относящегося к периоду 1929–1937 гг., они не содержат какого-либо указания на число жертв или каких-либо других жизненно важных статистических данных. Там же, где цифры даются, они безнадежно противоречивы, различные организации указывают разные количества, и все, что мы можем узнать достоверного, это то, что многие цифры, даже если они и существовали, в соответствии с директивой правительства оставались у источника и нигде не передавались.<sup>3</sup> Этот архив не содержит также никакой информации об отношениях между различными сферами власти — «между партией, военными и НКВД» или между партией и правительством. Он хранит молчание и о канонах коммуникации и управления. Короче, мы ничего не узнаем об организационной структуре режима, о чем так хорошо осведомлены в случае с нацистской Германией.<sup>4</sup> Другими словами, если всегда было хорошо известно, что официальные советские публикации служили целям пропаганды и были совершенно ненадежны, сейчас представляется, что надежные источники и статистические данные, вероятно, вообще никогда и нигде не существовали.

Гораздо более серьезным является вопрос о том, можно ли при изучении тоталитаризма позволить себе игнорировать то, что происходило и продолжает происходить в Китае. Здесь наши знания еще менее надежны, чем знания о России 30-х годов. Это так отчасти потому, что Китай сумел более радикально изолироваться от иностранцев после успешной революции, отчасти вследствие того, что нам пока еще не пришли на помощь перебежчики из высших эшелонов Коммунистической партии Китая, а это сам по себе значимый факт. В течение семнадцати лет то немногое, что мы знали с уверенностью, указывало на весьма существенные различия. После начального

<sup>3</sup> См.: Fainsod M. Smolensk under soviet rule. Cambridge, 1958. P. 210, 306, 365, etc.

<sup>4</sup> Ibid. P. 73, 93.

очень кровопролитного периода (число жертв в первые годы диктатуры оценивается более или менее точно в 15 миллионов, т.е. приблизительно в 3 процента населения в 1949 г., что в процентном отношении значительно меньше, чем потери населения, связанные со «второй революцией» Сталина) и после исчезновения организованной оппозиции там не было усиления террора, не было массовых убийств невинных людей, отнесенных к категории «объективных врагов», не было показательных процессов, несмотря на обилие публичных покаяний и «самокритики», а также не было носящих вызывающий характер преступлений. Знаменитая речь Мао в 1957 г. «О правильном разрешении противоречий среди народа», обычно известная под вводящим в заблуждение названием «Пусть соперничают сто школ», конечно, не была призывом к свободе, однако она признавала неантагонистические противоречия между классами и, что еще более важно, между народом и правительством даже в условиях коммунистической диктатуры. Методом обращения с оппонентами было «исправление мысли» — разработанная процедура постоянного формирования и перестройки сознания, которой, как кажется, в той или иной мере подвергалось все население. Нам никогда не было хорошо известно, как все это осуществлялось в повседневной жизни, кто был избавлен от указанной процедуры (т.е. кто осуществлял «переделку»), и мы не имели ни малейшего представления о результатах «промывания мозгов», было ли его воздействие длительным и приводило ли оно в действительности к каким-либо изменениям личности. Если верить нынешним заявлениям китайского руководства, то весь его результат заключается в лицемерии гигантских масштабов и в образовании «питательной почвы для контрреволюции». Если это был террор, а это почти наверняка был террор, то это был все же террор иного свойства, и, какими бы ни были его результаты, он не привел к массовому уничтожению населения. Отчетливо осознавались национальные интересы, страна могла мирно развиваться, использовались знания и умения выходцев из бывших правящих классов, а также поддерживались на достигнутом уровне академические и профессиональные стандарты. Короче, было очевидно, что «мысль» Мао Цзэдуна двигалась не по колее, накатанной Сталиным (или Гитлером, что в данном отношении то же самое), что он не является убийцей по своей природе и что национальное чувство, столь отчетливо проявляющееся во всех происходящих в бывших колониях революционных потрясениях, было достаточно мощным для того, чтобы наложить определенные ограничения на тотальное господство. Все это, как представляется, противоречит некоторым страхам, выраженным в данной книге (с. 414).

Однако Коммунистическая партия Китая после своей победы сразу же поставила перед собой цель быть «интернациональной по организации, всеохватывающей по идеологии и глобальной по политическим устремлениям» (с. 509), т.е. ее тоталитарные свойства были очевидны с самого начала. Эти свойства становились все более явными по мере развития китайско-советского конфликта, хотя сам конфликт связан был, возможно, скорее с национальными, чем с идеологическими вопросами. Достаточно зловещим было то, что китайцы настаивали на реабилитации Сталина и осуждали как «ревизионистский» уклон попытки русских осуществить детоталитаризацию. Дело осложнялось еще и тем, что все это сопровождалось совершенно безудержной, хотя пока и неудачной, внешней политикой, нацеленной на внедрение китайских агентов во все революционные движения и на возрождение Коминтерна под руководством Пекина. В настоящее время все эти процессы трудно оценивать отчасти из-за недостатка сведений, отчасти из-за того, что все находится по-прежнему в текущем состоянии. К неизвестности и соответственно неуверенности, проистекающей из самой ситуации, мы, к сожалению, добавили трудности, созданные нами самими. Ведь на деле мы усугубили ситуацию и в теории, и на практике тем, что унаследовали от времени «холодной войны» официальную «контридеологию» — антикоммунизм — которая также тяготеет к тому, чтобы стать глобальной в своих устремлениях, и побуждает нас к соблазну создать свою собственную фикцию, в результате чего мы, в силу своих принципиальных установок, оказались не в состоянии отличить разнообразные коммунистические однопартийные диктатуры, которым нам действительно приходится противостоять, от аутентично тоталитарного правления в Китае, каким оно может стать в своем развитии, хотя и в несколько нетрадиционных формах. Дело, конечно, не в том, что коммунистический Китай отличается от коммунистической России или что Россия Сталина отличалась от Германии Гитлера. Пьянство и некомпетентность, которые играют столь заметную роль в любом описании 20-х и 30-х годов и остаются столь же распространенными и сегодня, не играли вообще какой-либо роли в истории нацистской Германии, а неслыханная немотивированная жестокость немецких концентрационных лагерей и лагерей уничтожения во многом отсутствовала в русских лагерях, где заключенные умирали скорее от холода и голода, чем от экзекуций. Коррупция — проклятие русской администрации с самого начала — наблюдалась и в последние годы нацистского режима, но, по-видимому, полностью отсутствовала в Китае после революции. Можно было бы продолжить список подобных различий. Они имеют большое значение и образуют неотъемлемую часть национальной истории ука-

занных стран, но не определяют непосредственным образом форму правления. Абсолютная монархия, несомненно, была весьма различной в Испании, Франции, Англии, Пруссии, тем не менее везде это была одна и та же форма правления. В нашем контексте решающее значение имеет то обстоятельство, что тоталитарное правление отличается от диктатур и тираний. Способность проводить различие между ними никоим образом не является сугубо академическим делом, которое можно спокойно предоставить «теоретикам», поскольку тотальное господство — это единственная форма правления, с которой невозможно какое-либо сосуществование.

У нас поэтому есть все основания для того, чтобы использовать слово «тоталитарный» осторожно и благоразумно. Кроме того, у нас есть все основания быть очень обеспокоенными. Мы являемся сейчас свидетелями первой общенациональной чистки партии в Китае, которая несет явную угрозу массовых убийств. Если эта угроза воплотится в жизнь, то могут создаться условия, столь хорошо известные нам по России времен правления Сталина. Мы не знаем, что привело к такому неожиданному процессу, «которое, как говорят, застало врасплох даже опытных китайских чиновников» (см. статью Макса Франкеля в «Нью-Йорк таймс» от 26 июня 1966 г.), мы не знаем, является ли это следствием тщательно скрываемой борьбы за власть или результатом недавних провалов во внешней политике Китая. Однако истерические заявления об очевидно несуществующей «буржуазной контрреволюции», поддерживаемой и лелеемой «ревизионистами», «антипартийными» элементами внутри партии, «гремучими змеями» и «ядовитыми сорняками» среди интеллигенции, могут легко привести к такой же смене режима, какая, подобно «второй революции», устранила диктатуру Ленина и установила тоталитарное правление Сталина. Подобные наблюдения тем не менее по-прежнему являются просто предположениями, а фактом остается то, что о Китае, как и раньше, известно меньше, чем было известно о России в ее худший период. Было бы слишком самонадеянно пытаться дать анализ нынешней формы правления в Китае уже потому, что она еще не установилась.

В разительном противоречии со скудностью и ненадежностью новых источников фактического знания о тоталитарном правлении находится огромный рост за последние 15 лет числа исследований любых вариантов новых диктатур, будь они тоталитарными или нет. Это, конечно, в особенной мере верно относительно нацистской Германии и советской России. Сейчас есть много работ, которые действительно незаменимы для дальнейшего исследования и изучения предмета, и я предприняла всевозможные усилия для соответствующего

расширения моей прежней библиографии. (Во втором — в бумажной обложке — издании не было какой-либо библиографии.) Единственный вид литературы, которую я, за немногими исключениями, намеренно оставила без внимания, — это многочисленные мемуары бывших нацистских генералов и функционеров высокого уровня, опубликованные после войны. (Тот факт, что этот род апологетики не блещет честностью, вполне очевиден и не может служить достаточным основанием для исключения его из сферы нашего внимания. Однако поражает отсутствие в этих воспоминаниях какого-либо понимания того, что в действительности произошло, а также той роли, которую играли их авторы в событиях того времени. Это лишает указанные воспоминания всякого интереса, кроме разве что психологического.) Кроме того, я добавила в список литературы к частям первой и второй несколько новых важных работ. Наконец, в целях удобства библиография сейчас, как и сама книга, разделена на три отдельные части.

## II

То обстоятельство, что книга была задумана и написана давно, оказалось, если подходить с точки зрения свидетельств и источников, менее серьезным недостатком, чем можно было бы вполне обоснованно предположить, причем это верно относительно материала, связанного и с нацистской, и с большевистской разновидностями тоталитаризма. Одна весьма своеобразная особенность литературы по тоталитаризму состоит в том, что очень ранние попытки современников написать его «историю», попытки, которые, если руководствоваться академическими стандартами, были обречены на неудачу вследствие отсутствия безусловно надежных источников, а также вследствие чрезмерной эмоциональной вовлеченности, на удивление, хорошо выдержали испытание временем. Биография Гитлера Конрада Хейдена и биография Сталина Бориса Суварина, написанные и опубликованные в 30-е годы, в некоторых отношениях более точны и почти во всех отношениях адекватнее истинному положению дел, чем стандартные биографии Алена Буллока и Исаака Дейчера соответственно. Тому может быть много причин, но одна из них совершенно определенно заключается в том простом факте, что документальный материал в обоих случаях преимущественно подтверждал и дополнял то, что уже давно было известно от крупных перебежчиков и других непосредственных свидетелей.

С некоторой степенью огрубления можно сказать: нам не нужен был «Секретный доклад» Хрущева, чтобы узнать, что Сталин совершал преступления или что этот будто бы «болезненно подозрительный» человек решил довериться Гитлеру. Что касается последнего обстоятельства, то ничто лучше, чем такое доверие, не доказывает, что Сталин в действительности не был душевнобольным. Он был оправданно подозрительным по отношению ко всем людям, которых он хотел или готовился устранить, а это были практически все в высших эшелонах партии и правительства, и он естественным образом доверял Гитлеру, поскольку не желал ему зла. Что же касается первого обстоятельства, то поразительные признания Хрущева в силу той очевидной причины, что присутствующие в аудитории и он сам были в полной мере вовлечены в действительно имевшие место события, скрывали гораздо больше, чем обнаруживали. Эти признания имели неожиданный результат: в глазах многих (и конечно же в глазах ученых с их профессиональной любовью к официальным источникам) они преуменьшали неслыханно преступный характер сталинского режима, который, в конце концов, заключался не столько в оклеветании и убийстве нескольких сот или тысяч крупных политических деятелей и деятелей искусства, которых можно посмертно «реабилитировать», сколько в уничтожении в буквальном смысле бесчисленных миллионов людей, которых никто, даже Сталин, не мог заподозрить в «контрреволюционной» деятельности. Оставляя неосужденными некоторые преступления, Хрущев как раз и скрывал преступность режима в целом. И именно против такого камуфляжа и лицемерия нынешних правителей России — все они были подготовлены и выдвинуты при Сталине — почти открыто выступают сегодня представители более молодого поколения русской интеллигенции. Ведь они знают все, что можно знать о «массовых репрессиях, выселении и уничтожении целых народов»<sup>5</sup>. Более того, объяснение, данное Хру-

<sup>5</sup> К жертвам первого пятилетнего плана (1928–1933), число которых составляет, по разным оценкам, от 9 до 12 миллионов, следует добавить жертвы Большой Чистки — до 3 миллионов казненных, а также от 5 до 9 миллионов арестованных и высланных (см. заслуживающее пристального внимания введение Роберта К. Такера «Сталин, Бухарин и история как заговор» к новому изданию стенографического отчета о московском процессе 1938 г.: *The great purge trial*. N.Y., 1965). Однако все эти оценки, по-видимому, не дотягивают до действительных цифр. Они не учитывают жертв массовых казней, о которых ничего не было известно до тех пор, пока «немецкие оккупационные силы не обнаружили массовое захоронение в городе Виннице, содержащее тела тысяч казненных в 1937 и 1938 гг.» (см.: *Armstrong J. A. The politics of totalitarianism: The Communist Party of the Soviet Union from 1934 to the present*. N.Y., 1961. P. 65 ff.). Нет нужды говорить о том, что это недавнее открытие дает еще больше оснований, чем это было прежде, рассматривать нацистскую и большевистскую систе-

щевым тем преступлениям, которые он признал, — болезненная подозрительность Сталина — скрывает наиболее характерный аспект тоталитарного террора, заключающийся в том, что его развязывают, когда уничтожена всякая организованная оппозиция и тоталитарный правитель знает, что ему уже нечего опасаться. Это особенно верно относительно того, что происходило в России. Сталин начал свои гигантские чистки не в 1928 г., когда признал, что «у нас есть внутренние враги», и когда действительно имел основания чего-то бояться (он знал, что Бухарин сравнивал его с Чингисханом и что тот был убежден: политика Сталина «вела страну к голоду, разрухе и полицейскому режиму»<sup>6</sup>), а в 1934 г., когда все бывшие оппозиционеры «признали свои ошибки» и сам Сталин на XVII съезде партии, названном им также «съездом победителей», заявил: «...на этом съезде — и доказывать нечего, да, пожалуй — и бить некого»<sup>7</sup>. Нет никакого сомнения ни в сенсационном характере, ни в решающем политическом значении XX съезда партии для Советской России и для коммунистического движения в целом. Однако это именно политическое значение; свет, который проливают официальные источники после сталинской поры на то, что происходило в предшествующий период, это не свет правды.

Если говорить о нашем знании сталинской эпохи, то публикация Файнсомом смоленского архива, которую я уже упоминала, остается, несомненно, самой важной публикацией, и очень жаль, что за этой первой, во многом случайной, выборкой до сих пор не по-

мы как варианты одной и той же модели. То, в какой мере массовые убийства сталинской эпохи находятся в центре внимания нынешней оппозиции, наилучшим образом можно увидеть из материалов процесса Синявского и Даниэля. Ключевые материалы этого процесса были опубликованы «New York Times Magazine» в номере от 17 апреля 1966 г., который я и цитировала.

<sup>6</sup> Ticker R. С. Op. cit. P. XVII–XVIII.

<sup>7</sup> Сталин И. В. Соч. Т. 13. С. 347. Абдурахман Авторханов (в работе «Царствование Сталина», опубликованной под псевдонимом Уралов в Лондоне в 1953 г.) говорит о тайном совещании Центрального Комитета партии, состоявшемся в 1936 г. после первых показательных процессов, где Бухарин будто бы обвинил Сталина в превращении партии Ленина в полицейское государство и был поддержан двумя третями членов ЦК. Это сообщение, особенно в том, что касается мощной поддержки Бухарина в Центральном Комитете, не представляется достоверным. Но даже если оно достоверно, тот факт, что это совещание состоялось в разгар Большой Чистки, свидетельствует не о наличии организованной оппозиции, а об обратном. Суть дела, как справедливо отмечает Файнсон, «заключается в том, что массовое недовольство», особенно среди крестьян, было совершенно обычным явлением и что вплоть до 1928 г., «до начала первого пятилетнего плана, забастовки... не были необычным явлением», однако подобные «оппозиционные настроения никогда не фокусировались в какую-либо форму организационного вызова режиму», а к 1929 или 1930 г. «исчезла всякая организационная альтернатива» (см.: Fainsod M. Op. cit. P. 449 ff.).

следовали более обширные публикации данного материала. Судя по книге Файнсода, мы можем многое узнать о борьбе Сталина за власть в период середины 20-х годов: нам сейчас известно, насколько шатким было положение партии<sup>8</sup>, причем не только потому, что дух открытой оппозиции преобладал в стране, но и в силу того, что партию разъедали коррупция и пьянство; отчетливо выраженный антисемитизм сопровождал почти все требования либерализации<sup>9</sup>; движение за коллективизацию и раскулачивание, начавшееся после 1928 г., в действительности прервало нэп — новую экономическую политику Ленина, а вместе с этим прервало начавшееся примирение между народом и его правительством<sup>10</sup>; этим мерам яростно и единодушно сопротивлялся весь класс крестьянства, решивший, что «лучше не родиться, чем вступить в колхоз»<sup>11</sup>, и не соглашавшийся быть разделенным на богатых, середняков и бедняков для того, чтобы его подняли против кулаков<sup>12</sup> — «есть кто-то, кто хуже этих кулаков и кто думает только о том, чтобы затравить людей»<sup>13</sup>; ситуация была не намного лучше в городах, где рабочие отказывались сотрудничать с профсоюзами, находившимися под контролем партии, и называли представителей руководства «отъевшимися чертями», «лживыми паразитами» и т.п.<sup>14</sup>

Файнсон справедливо отмечает, что эти документы отчетливо демонстрируют не только наличие «широко распространенного массового недовольства», но и отсутствие какой-либо «достаточным образом организованной оппозиции» режиму в целом. Он не замечает вместе с тем того — это, по моему мнению, столь же наглядно показывают свидетельства, — что существовала очевидная альтернатива захвату власти Сталиным и трансформации однопартийной диктатуры в тотальное господство, которая заключалась в продолжении по-

<sup>8</sup> «Самое удивительное, — как замечает Файнсон, — заключается не столько в том, что партия победила, сколько в том, что ей вообще удалось выжить» (Op. cit. P. 38).

<sup>9</sup> Сообщение 1929 г. говорит о сильных антисемитских вспышках во время собрания (Ibid. P. 49 ff.). Комсомольцы «в зале молчали... Впечатление было такое, что они все согласны с антиеврейскими заявлениями» (P. 445).

<sup>10</sup> Все сообщения, относящиеся к 1926 г., показывают значительный «спад числа контрреволюционных выступлений, что является своего рода свидетельством временного перемирия, которое режим заключил с крестьянством». В сопоставлении с сообщениями 1926 г. сообщения, относящиеся к 1929–1930 гг., читаются как сводки с полыхающей передовой» (P. 177).

<sup>11</sup> Ibid. P. 252 ff.

<sup>12</sup> Ibid. Особенно см. P. 240 ff. и 446 ff.

<sup>13</sup> Ibid. Все эти высказывания взяты из сообщений ГПУ. См. особенно P. 248 f. Очень характерно, однако, что подобные замечания становятся гораздо более редкими после 1934 г., начала Большой Чистки.

<sup>14</sup> Ibid. P. 310.

литики нэпа, какой она была инициирована Лениным<sup>15</sup>. Более того, меры, принятые Сталиным при введении первого пятилетнего плана в 1928 г., когда он обладал почти полным контролем над партией, подтверждают, что превращение классов в массы и соответственно искоренение всякой групповой солидарности являются условием *sine qua non* тотального господства.

Что касается периода никем не оспариваемого правления Сталина, начиная с 1929 г., то смоленский архив, как правило, подтверждает то, что нам было известно из менее надежных источников. Это верно даже относительно его некоторых странных пробелов, особенно тех, что касаются статистических данных. Ведь эти пробелы лишь подтверждают, что в этом отношении, как и в других, сталинский режим был безжалостно последовательным: все факты, которые не согласовывались или, возможно, не могли бы согласовываться с официальными фикциями, — данными об урожаях, преступности, действительными случаями «контрреволюционной» деятельности, отличавшимися от более поздних фиктивных заговоров, — рассматривались как нефакты. С тоталитарным презрением к фактам и реальности в полной мере согласуется то обстоятельство, что все данные, вместо того чтобы собираться в Москве из всех уголков огромной территории, сначала доводились до сведения тех или иных местностей посредством публикаций в «Правде», «Известиях» или в каком-то другом официальном органе в Москве, так что всякая область и всякий район в Советском Союзе получали свои официальные фиктивные статистические данные во многом подобно тому, как они получали не менее фиктивные задания по пятилетним планам.<sup>16</sup>

Я кратко перечислю некоторые наиболее поразительные моменты, о которых прежде можно было только догадываться и которые сейчас подтверждаются документальными свидетельствами. Мы всегда подозревали, а сейчас знаем, что режим никогда не был «монолитным», а «сознательно строился вокруг частично совпадающих, дублирующих друг друга, параллельных функций» и вся эта гротескно-аморфная структура держалась посредством того же Führer-принци-

<sup>15</sup> Эту альтернативу обычно не замечают в литературе вследствие понятного, но исторически неправомочного убеждения в более или менее плавном развитии процесса перехода от Ленина к Сталину. Действительно, Сталин почти всегда говорил, пользуясь ленинской терминологией, так что иногда складывается впечатление, будто единственное различие между двумя этими людьми заключалось в грубости характера или «паранойе» Сталина. Было ли это сознательной хитростью со стороны Сталина или нет, суть дела заключается, как справедливо отмечает Такер, в том, что «Сталин наполнял эти старые ленинские понятия новым, отчетливо сталинским содержанием... Главной отличительной чертой было совершенно неленинское выделение заговора в качестве основного признака современной эпохи» (Op. cit. P. XVI).

<sup>16</sup> Fainsod M. Op. cit. Особенно см. P. 365 ff.

па — так называемого культа личности, — что и в нацистской Германии<sup>17</sup>; что исполнительным механизмом при этой особой форме правления была не партия, а полиция, «оперативные действия которой не регулировались по партийным каналам»<sup>18</sup>; что совершенно невинные люди, которых режим уничтожал миллионами, «объективные враги» на большевистском языке, знали, что они «преступники без преступлений»<sup>19</sup>; что именно эта новая категория людей, которую следует отличать от прежних действительных врагов режима — террористов, убивавших правительственных чиновников, устраивавших поджоги, просто бандитов, — реагировала с той же самой «полной пассивностью»<sup>20</sup>, которая столь хорошо известна нам по поведению жертв нацистского террора. Никогда не вызывало сомнения то, что «поток взаимных доносов» во время Большой Чистки был столь же разрушительным для экономики и социальной жизни страны, сколь эффективным он был для укрепления позиций тоталитарного правителя, однако только сейчас мы знаем, насколько преднамеренно Сталин «пустил в ход эту зловещую цепь доносов»<sup>21</sup>, когда официально заявил 29 июля 1936 г.: «Непременным качеством каждого большевика в настоящих условиях должно быть умение распознать врага партии, как бы хорошо он ни замаскировался»<sup>22</sup> (Курсив мой. — Х. А.). Подоб-

<sup>17</sup> Ibid. P. 93 и P. 71. Очень характерным является то, что сообщения на всех уровнях обычно уделяли основное внимание «обязательствам, принятым перед товарищем Сталиным», а не обязательствам перед режимом, партией или страной. Ничто, вероятно, не подчеркивает более убедительно сходства двух систем, чем выдвигаемые Ильей Эренбургом и другими сталинистскими интеллектуалами оправдания своего прошлого или их рассказы о том, что они действительно думали во время Большой Чистки. «Сталин ничего не знает о бессмысленных репрессиях против коммунистов, против советской интеллигенции», «они скрывают это от Сталина», «если бы кто-нибудь рассказал Сталину об этом» и, наконец, что главным виновником был вовсе не Сталин, а соответствующий глава полиции. (Цит. по: Tucker R. C. Op. cit. P. XIII.) Нет необходимости говорить о том, что это как раз то, что вынуждены были говорить нацисты после поражения Германии.

<sup>18</sup> Ibid. P. 166 ff.

<sup>19</sup> Слова взяты из восклицания «классово чуждого элемента» в 1936 г.: «Я не хочу быть преступником без преступления» (Ibid. P. 229).

<sup>20</sup> Интересен отчет ОГПУ 1931 г., подчеркивавший эту новую «полную пассивность», эту ужасную апатию, порожденную беспричинным террором против невинных людей. Отчет упоминает огромную разницу между прежними арестами врагов режима, когда «арестованного конвоировали два милиционера», и массовыми арестами, когда «один милиционер может конвоировать группы людей и последние будут послушно идти и ни один не сбежит» (Ibid. P. 248).

<sup>21</sup> Ibid. P. 135.

<sup>22</sup> Ibid. P. 57–58. О нарастающем настроении неприкрытой истерии в этих массовых доносах можно прочитать на р. 222, 229 и далее. Об этом же свидетельствует забавный рассказ на р. 235, где говорится о том, как один из товарищей пришел к выводу, что «товарищ Сталин занял примирительную позицию по отношению к троцкистско-зиновьевской группе». Это было обвинение, которое в то время означало по меньшей мере не-

но тому как «окончательное решение» Гитлера в действительности означало приказ «Иди и убей», являвшийся обязательной заповедью для элиты нацистской партии, так и заявление Сталина предписывало: «Иди и солги» — в качестве направляющего правила поведения для всех членов большевистской партии. Наконец, этот первый беглый взгляд на действительное положение и на ход событий лишь в одной конкретной области делает совершенно ненужными какие-либо рассуждения о степени истинности одной, находящейся сейчас в обращении теории, в соответствии с которой террор в конце 20-х и в 30-х годах был «высокой платой страданиями» за индустриализацию и экономический прогресс.<sup>23</sup> Террор не приводил ни к чему подобному. Документально наиболее надежно засвидетельствованными результатами раскулачивания, коллективизации и Большой Чистки были не прогресс или быстрая индустриализация, а голод, развал в

медленное исключение из партии. Но такой удачи не выпало. Следующий же оратор обвинил человека, стремившегося оказаться «святей» Сталина, в «политической неблагодарности», и тот сразу же «признал» свою ошибку.

<sup>23</sup> Странно, но сам Файнсод делает подобные заключения на основе массы данных, свидетельствующих об обратном. (См. последнюю главу его работы, особенно р. 453 и далее.) Еще более странно то, что данного неверного прочтения фактических свидетельств придерживается целый ряд исследователей, работающих в этой области. Конечно, вряд ли кто-нибудь из них пойдет так далеко в хитроумном оправдании Сталина, как это сделал Исаак Дейчер в своей биографии Сталина, но многие по-прежнему настаивают на том, что «безжалостные действия Сталина были... способом создать новое равновесие сил» (Armstrong J. A. Op. cit. P. 64) и были призваны предложить «варварское, но последовательное решение некоторых базисных противоречий, присущих ленинистскому мифу» (так утверждает Ричард Ловенталь в своей очень ценной работе: World communism: The disintegrations of a secular faith. N.Y., 1964. P. 42). Есть лишь немногие исключения из этого своего рода марксистского затмения, такие, как работа Роберта К. Такера (Op. cit. P. XXVII), который однозначно утверждает, что советская «система была бы в лучшем состоянии и была бы гораздо лучше подготовлена для грядущего испытания тотальной войной, если бы не было Большой Чистки, являвшейся по своим результатам огромным губительным деянием для советского общества». М-р Такер полагает, что опровергает мой «образ» тоталитаризма, но я думаю, что это заблуждение. Нестабильность действительно является функциональной необходимостью для тотального господства, базирующегося на идеологической фикции и предполагающего также, что власть захвачена неким движением, отличным от партии. Отличительный признак такой системы заключается в том, что основные силы, материальная мощь и благосостояние страны постоянно приносятся в жертву власти определенной организации точно так же, как все фактические истины приносятся в жертву требованиям идеологической последовательности. Очевидно, что в противоборстве между материальной мощью и организационной властью или между фактом и фикцией последние могут отступить, как это произошло в России, а равно и в Германии во время второй мировой войны. Но это не может служить причиной недооценки мощи тоталитарных движений. Именно ужас постоянной нестабильности способствовал образованию системы сателлитов. Именно нынешняя стабильность Советской России, ее детоталитаризация, с одной стороны, во многом содействовали оформлению ее сегодняшнего материального могущества, но, с другой стороны, привели к утрате контроля над сателлитами.

производстве продуктов питания и депопуляция. Последствия заключались также в постоянном кризисе сельского хозяйства, в нарушении процесса прироста населения и в неудаче дела развития и колонизации Сибири. Более того, как подробно показывают материалы смоленского архива, методы правления Сталина привели к разрушению и того уровня профессиональной компетентности и технического развития, который был достигнут в стране после Октябрьской революции. И все это в совокупности было действительно невероятно «высокой ценой», и не только страданием, которую пришлось заплатить за появление карьерных мест в партийной и правительственной бюрократиях для тех сегментов населения, представители которых зачастую не были просто «политически неграмотны»<sup>24</sup>. Истина состоит в том, что цена тоталитарного правления была столь высока, что ни Германия, ни Россия еще не оплатили ее в полной мере.

### III

Я уже упоминала процесс детоталитаризации, который последовал за смертью Сталина. В 1958 г. я еще не была уверена, что «оттепель» является чем-то большим, чем просто временным послаблением, своего рода чрезвычайной мерой, обусловленной кризисом наследования власти и немногим отличающейся от значительного ослабления тоталитарного контроля во время второй мировой войны. Даже сегодня мы не можем знать того, является ли этот процесс окончательным и необратимым, но его уже определенно нельзя назвать временным или условным. Ведь как ни толковать причудливые зигзаги советской политики после 1953 г., нельзя отрицать того, что была ликвидирована огромная полицейская империя, было уничтожено большинство концентрационных лагерей, не проводились какие-либо новые репрессии против «объективных врагов», а конфликты между членами нового «коллективного руководства» разрешаются посредством понижения в должности и высылки из Москвы, а не посредством

<sup>24</sup> Интересны подробности (см: Fainsod M. Op. cit. P. 345–355) кампании 1929 г. по устранению «реакционных профессоров», проводившейся вопреки протестам членов партии и комсомольцев, а также студенчества, которые не видели «каких-либо оснований заменять прекрасных беспартийных» профессоров. Вслед за этим, разумеется, новая комиссия быстро доложила о «большом количестве классово чуждых элементов среди студенчества». Всегда было известно, что одной из главных целей Большой Чистки было создание условий для карьерного продвижения представителей более молодых поколений.

показательных процессов, исповедей и убийств. Несомненно, методы, используемые новыми правителями в годы, последовавшие за смертью Сталина, в очень многом повторяют образцы, созданные Сталиным после смерти Ленина: вновь появился триумvirат, названный «коллективным руководством», т.е. термином, который создал Сталин в 1925 г., а после четырех лет интриг и борьбы за власть произошло повторение *coup d'état*, осуществленного Сталиным в 1929 г., а именно захват власти Хрущевым в 1957 г. Строго говоря, можно утверждать, что Хрущев во многом следовал методам своего умершего и осужденного учителя. Ему также понадобилась внешняя сила для завоевания власти в партийной иерархии, и он использовал поддержку маршала Жукова и армии точно таким же образом, каким Сталин использовал свои отношения с тайной полицией 30 лет тому назад.<sup>25</sup> Точно так же как в случае со Сталиным, когда высшая власть после переворота продолжала оставаться у партии, а не у полиции, в случае с Хрущевым «к концу 1957 г. Коммунистическая партия Советского Союза завоевала позиции безусловного верховенства во всех аспектах советской жизни»<sup>26</sup>. Ведь подобно тому как Сталин никогда не останавливался перед чисткой кадров полиции и ликвидацией ее главы, так и Хрущев после внутривнутрипартийных маневров устранил Жукова из Президиума и Центрального Комитета партии, куда он был избран после переворота, а также устранил его с высшего поста в армии.

Конечно, к тому моменту, когда Хрущев обратился к Жукову за поддержкой, приобретение армией главенства над полицией было в Советском Союзе свершившимся фактом. Это было одним из неизбежных следствий разрушения полицейской империи, правление которой над значительной частью советских промышленных предприятий, шахт и недвижимой собственностью было унаследовано группой управляющих, которые неожиданно оказались избавленными от своего наиболее серьезного экономического конкурента. Автоматическое возвышение армии имело еще более решающее значение. Она сейчас обладала несомненной монополией на инструменты насилия, посредством которых можно было разрешать внутривнутрипартийные конфликты.

<sup>25</sup> Армстронг (Op. cit. P. 319) считает, что роль и значение вмешательства маршала Жукова во внутривнутрипартийную борьбу «чрезмерно преувеличиваются», и утверждает, что Хрущев «восторжествовал, не прибегая к вмешательству военных», так как его «поддерживал партийный аппарат». Это утверждение не представляется верным. Верным, напротив, является то, что «многие иностранные наблюдатели», исходя из поддержки, оказанной Хрущеву армией против партийного аппарата, пришли к ложному выводу относительно устойчивого возрастания власти армии за счет партии, как будто Советскому Союзу предстояло из партийной диктатуры превратиться в военную диктатуру.

<sup>26</sup> Ibid. P. 320.

Свидетельством проницательности Хрущева является то обстоятельство, что он постиг все эти следствия предпринятого им вместе с коллегами быстрее, чем они. Какими бы ни были руководившие им мотивы, последствия такого перемещения центра тяжести с полиции на армию имели огромное значение. Действительно, возвышение тайной полиции над военным аппаратом является важнейшей характеристикой многих тираний, причем не только тоталитарных. Однако в случае с тоталитарным правлением преобладание полиции связано не только с целями подавления своего населения, но и с идеологическими притязаниями на мировое господство. Ведь очевидно, что те, кто рассматривает весь земной шар как свою будущую территорию, будут придавать особое значение органам внутреннего насилия, а покоренными территориями управлять скорее полицейскими методами и силами, чем с помощью армии. Так, нацисты использовали свои войска СС, являвшиеся, по существу полицейскими силами, для управления и даже завоевания иностранных территорий, преследуя при этом конечную цель подчинить и армию, и полицию руководству СС.

Кроме того, значение этого изменения сил в расстановке власти проявилось и раньше, при подавлении оружием Венгерской революции. Кровавая расправа над этой революцией, столь ужасающая и столь эффективная, была осуществлена подразделениями регулярной армии, а не полицейскими силами, и следствием этого было то, что ни в коей мере не может быть оценено как типично сталинистское решение. Хотя за военными действиями последовали казни лидеров и заключение в тюрьму тысяч людей, но не было массовой депортации населения, фактически не предпринималась попытка обезлюдить страну. И поскольку это была военная операция, а не полицейская акция, Советы могли позволить себе оказать побежденной стране достаточную помощь, с тем чтобы предупредить массовый голод и предотвратить полное крушение экономики в год, последовавший за революцией. Ничто, несомненно, даже отдаленно не напоминало действия Сталина в подобных обстоятельствах.

Наиболее показательным признаком того, что Советский Союз уже нельзя считать тоталитарным государством в строгом смысле этого термина, является быстрое и плодотворное возрождение искусств за последнее десятилетие. Разумеется, попытки реабилитировать Сталина и заставить умолкнуть все более громкие требования свободы слова и мысли со стороны студентов, писателей и художников повторяются вновь и вновь, но ни одна из этих попыток не была очень успешной и вряд ли окажется таковой, если не будут восстановлены в полном объеме террор и полицейское правление. Бесспорно, люди в Советском Союзе лишены всех форм политической свободы — не

только свободы образования организаций, но и свободы мысли, мнения и выражения их в публичных формах. Дело выглядит так, будто ничего не изменилось, но в действительности изменилось все. Когда Сталин умер, столы писателей и художников были пусты. Сегодня существует литература, циркулирующая в рукописях, а в студиях художников создаются все виды современной живописи, эта продукция становится известной, хотя и не представлена на выставках. Сказанное призвано не затушевывать различия между тиранической цензурой и свободой искусств, а лишь подчеркнуть тот факт, что различие между подпольной литературой и отсутствием литературы равно различию между единицей и нулем.

Далее, сам тот факт, что участники интеллектуальной оппозиции могут предстать перед судом (хотя это и не открытый процесс), могут высказаться в зале суда и могут рассчитывать на поддержку вне его стен, ни в чем не признаются и заявляют о своей невинности, показывает, что мы уже не имеем дела с тотальным господством. То, что произошло с Синявским и Даниэлем — двумя писателями, подвергшимися в феврале 1966 г. суду за публикацию за границей произведений, которые не могли быть опубликованы в Советском Союзе, и приговоренными к семи и пяти годам исправительных работ соответственно, конечно же является возмутительным по всем юридическим меркам конституционного правления. Однако то, что они смогли заявить, было услышано в мире и вряд ли будет забыто. Они не исчезли в бездне забвения, которую тоталитарные правители уготовливают для своих оппонентов. Менее известным, но еще более убедительным является то обстоятельство, что наиболее амбициозная попытка самого Хрущева повернуть вспять процесс детоталитаризации окончилась полной неудачей. В 1957 г. он ввел новый «закон против тунеядцев», который мог бы позволить режиму возобновить массовые депортации, вновь начать использовать в крупных масштабах рабский труд и дать ход — а это наиболее важно для тотального господства — новой волне массовых доносов, поскольку тунеядцев призваны были отбирать сами трудящиеся на массовых собраниях. Этот «закон» встретил, однако, сопротивление со стороны советских юристов, и от него отказались еще до того, как он был введен в действие<sup>27</sup>. Другими словами, люди в Советском Союзе от кошмара тоталитарного правления перешли к многообразным трудностям, опасностям и несправедливостям однопартийной диктатуры. И хотя совершенно верно, что эта современная форма тирании не дает никаких гарантий конституционного правления, что «даже если принять посылки коммунистической идеологии, то и в этом

<sup>27</sup> См.: Ibid. P. 325.

случае всякая власть в СССР является в конечном счете незаконной»<sup>28</sup>, что страна поэтому может в любой момент впасть в тоталитаризм без особых потрясений, — все же при всем этом верно и то, что наиболее ужасающая из всех новых форм правления, составные компоненты и исторические истоки которой я взялась анализировать, пришла со смертью Сталина к своему концу точно так же, как кончился тоталитаризм в Германии со смертью Гитлера.

Эта книга посвящена тоталитаризму, его истокам и его составным компонентам, а его последствия в России или в Германии попадают в сферу внимания лишь в той мере, в какой они могут пролить какой-либо свет на то, что происходило прежде. Поэтому в нашем контексте значение имеет не столько период после смерти Сталина, сколько послевоенная пора его правления. А эти восемь лет, с 1945 по 1953 г., не добавляют каких-либо новых элементов к тому, что проявлялось с середины 30-х годов, лишь подтверждая и углубляя, но никак не опровергая ранее выявившиеся тенденции. События, следовавшие за победой, меры, принятые для того, чтобы вновь утвердить тотальное господство в Советском Союзе после временного послабления во время войны, а также меры, посредством которых тоталитарное правление было установлено в странах-сателлитах — все это согласовывалось с правилами игры, уже известными нам. Большевизация сателлитов началась с тактики народного фронта и стыдливой парламентской системы, затем быстро перешла к открытому установлению однопартийных диктатур, в процессе чего ликвидировались и лидеры, и члены прежде терпимых партий, и достигла последней стадии тогда, когда местные коммунистические лидеры, которым Москва с основанием или без не доверяла, подверглись грубому шельмованию, унижениям на показательных процессах, пыткам, а затем были уничтожены под руководством наиболее коррумпированных и наиболее недостойных элементов в их партиях, собственно говоря, тех, кто и изначально были не местными коммунистами, а агентами Москвы. Все происходило так, как будто Москва повторяла в великой спешке все стадии Октябрьской революции, вплоть до оформления тоталитарной диктатуры. Сами акции, несмотря на свой непередаваемый ужас, не представляют особого интереса и не отличаются разнообразием: то, что происходило в одной из стран-сателлитов, совершалось почти в тот же самый момент во всех других от Балтийского моря до Адриатического. События отличались в тех регионах, которые не были включены в систему сателлитов. Балтийские государства были непосредственно инкорпорированы в Советский Союз, и им пришлось

<sup>28</sup> Ibid. P. 339 ff.

значительно хуже, чем сателлитам: более чем полмиллиона человек были депортированы из трех маленьких стран, и «огромный приток русских поселенцев» привел к появлению угрозы того, что местное население может стать меньшинством в своих собственных странах<sup>29</sup>. Восточная Германия, напротив, только сейчас, после строительства Берлинской стены, медленно инкорпорируется в систему сателлитов, а раньше к ней относились скорее как к оккупированной территории со своим правительством квислингов.

В контексте нашей работы большее значение имеют события в Советском Союзе после 1948 г., года таинственной смерти Жданова и «ленинградского дела». Впервые после Большой Чистки Сталин казнил большое число высокопоставленных и высших чиновников, и нам достоверно известно, что это планировалось как начало еще одной чистки в масштабах всей страны. Она была бы начата «делом врачей», если бы не смерть Сталина. Многие врачи, в основном еврейского происхождения, были обвинены в намерениях «уничтожить руководящие кадры СССР»<sup>30</sup>. Все, что происходило в России между 1948 г. и январем 1953 г., когда был «раскрыт» «заговор врачей», поразительным и зловещим образом напоминало приготовления к Большой Чистке в 30-е годы: смерть Жданова и чистка в Ленинграде соответствовали не менее таинственной смерти Кирова в 1934 г., за которой немедленно последовала своего рода подготовительная чистка «всех бывших оппозиционеров, сохранившихся в партии»<sup>31</sup>. Более того, само содержание абсурдных обвинений против врачей, заключавшихся в том, что они по всей стране собирались убивать людей, занимающих высокие посты, должно было наполнить ужасающими предчувствиями тех, кто был знаком с методом Сталина обвинять мнимого врага в тех преступлениях, которые он сам собирался совершить. (Наиболее известный пример, конечно, его обвинение Тухачевского в сговоре с Германией, выдвинутое как раз в тот момент, когда сам Сталин обдумывал союз с нацистами.) Очевидно, в 1952 г. окружение Сталина было гораздо мудрее, чем в 30-е годы, в том смысле, что понимало истинный смысл слов Сталина, и сами формулировки, вероятно, посеяли панику среди высших чиновников режима. Эта паника по-прежнему может служить наиболее вероятным объяснением смерти Сталина, таинственных обстоятельств вокруг нее, а также того, что высшие эшелоны партии, раздираемые своими обычными рас-

прями и интригами, мгновенно сплотили ряды в первые месяцы кризиса в наследовании власти. Сколь бы мало мы ни знали о деталях этой истории, наших знаний более чем достаточно для подкрепления моего давнего убеждения в том, что такие «губительные операции», как Большая Чистка, были не изолированными эпизодами, не эксцессами, вызванными чрезвычайными обстоятельствами. Это был институт террора, и таких его проявлений следовало ожидать через регулярные интервалы времени — до тех пор, пока не изменится природа самого режима.

Наиболее драматическим новым элементом в этой последней чистке, которую планировал Сталин в заключительные годы жизни, был решающий поворот в идеологии, заключавшийся в утверждении о наличии еврейского всемирного заговора. В течение нескольких лет основа для этого изменения тщательно подготавливалась посредством целого ряда судебных процессов в странах-сателлитах — процесса Райка в Венгрии, дела Аны Паукер в Румынии и процесса в 1952 г. над Сланским в Чехословакии. В рамках этих подготовительных мероприятий происходил отбор высших партийных чиновников, имеющих «еврейское буржуазное» происхождение, и их обвиняли в сионизме. В такие обвинения постепенно стали впутывать связи с организациями, являвшимися, как всем известно, не сионистскими (например, с Американским еврейским объединенным комитетом распределения), что делалось с целью показать, что все евреи — это сионисты, а все сионистские группы — «наемники американского империализма»<sup>32</sup>. Разумеется, в «преступлении» сионизма не было ничего нового, но, по мере того как кампания разворачивалась и начала концентрироваться на евреях в Советском Союзе, происходило еще одно существенное изменение: евреев теперь обвиняли скорее в «космополитизме», чем в сионизме, а характер обвинений, проистекавших из этого изменения, все в большей мере следовал нацистским утверждениям о всемирном еврейском заговоре в духе сионских мудрецов. Стало поразительно ясным, какое глубокое впечатление произвели, вероятно, эти утверждения, являвшиеся стержнем нацистской идеологии, на Сталина, первые проявления чего стали видны, начиная со времен пакта между Гитлером и Сталиным. Отчасти это было связано с очевидной пропагандистской ценностью таких утверждений в России и во всех странах-сателлитах, где были широко распространены антиеврейские чувства, а антиеврейская пропаганда всегда пользовалась большой популярностью, отчасти же с тем, что подобный воображаемый мировой заговор представлял собой более удоб-

<sup>29</sup> См.: Vardys V. S. How the Baltic Republics fare in the Soviet Union // Foreign Affairs. April. 1966.

<sup>30</sup> Armstrong J. A. Op. cit. P. 236 ff.

<sup>31</sup> Fainsod M. Op. cit. P. 56.

<sup>32</sup> Armstrong J. A. Op. cit. P. 236.

ную идеологическую основу для оправдания тоталитарных притязаний на мировое господство, нежели ссылки на козни Уолл-стрита, капитализма и империализма. Открытое, беззастенчивое принятие того, что весь мир считал наиболее существенным признаком нацизма, было последним комплиментом Сталина его покойному коллеге и сопернику в деле тоталитарного господства, с которым он, к своему великому сожалению, не смог достичь долговременного соглашения.

Сталин, как и Гитлер, умер в разгар своего ужасающего незаконченного мероприятия. А когда это произошло, история, о которой должна рассказать эта книга, и события, которые мы стремимся здесь понять и осмыслить, пришли к своему, по крайней мере временному, концу.

Ханна Арендт  
Июнь 1966 г.

*Weder dem Vergangenen anheimfallen  
noch dem Zukünftigen. Es kommt  
darauf an, ganz gegenwärtig zu sein.\**

Карл Ясперс

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Две мировые войны на протяжении жизни одного поколения, разделенные непрерывной цепью локальных войн и революций, не завершившиеся ни мирным договором для побежденных, ни передышкой для победителей, имеют своим итогом ожидание третьей мировой войны между двумя сохранившимися мировыми державами. Этот момент ожидания подобен покою, приходящему тогда, когда умерли все надежды. Мы уже не надеемся на возможную реставрацию прежнего мирового порядка со всеми его традициями или на воссоединение масс людей на пяти континентах, которые были ввергнуты в хаос насилием войн и революций, а также углубляющимся упадком всего того, что еще уцелело. В самых различных условиях и при самых разных обстоятельствах мы наблюдаем развитие одних и тех же явлений — бездомности в беспрецедентных масштабах, небывалой по глубине оторванности людей от своих корней.

Никогда еще наше будущее не было столь непредсказуемым, никогда мы еще не зависели в такой степени от политических сил, относительно которых мы не можем полагаться на то, что они будут руководствоваться нормами здравого смысла или собственными интересами. Эти силы кажутся просто безумными, если судить их мерками иных столетий. Все выглядит так, как будто человечество разделилось на тех, кто верит в человеческое всемогущество (это те, кто полагает, что все возможно, если знать, как организовать массы для этого), и на тех, для кого ощущение своей беспомощности стало основным опытом жизни.

На уровне исторического понимания и политического осмысления преобладает смутно определяемое общее согласие относительно того, что какая-то базисная структура всех цивилизаций пребывает на грани слома. Хотя она кажется лучше сохранившейся в одних частях мира, чем в других, однако нигде она не в состоянии указать пути реализации возможностей, предоставляемых нашим столетием, или найти адекватный ответ на его ужасы. Отчаянная надежда и отчаянный

\* Не следует отдаваться ни прошлому, ни будущему. Необходимо пребывать всецело в современности. (Прим. пер.)

страх, кажется, ближе к сути подобной ситуации, нежели взвешенное суждение и разумное понимание. Основные события нашей эпохи прочно забываются как теми, кто привержен вере в неизбежность катастрофы, так и теми, кто предался безудержному оптимизму.

Эта книга направлена и против безудержного оптимизма, и против безграничного отчаяния. Она исходит из того, что Прогресс и Закат являются двумя сторонами одной медали, а также из того, что и то и другое являются предметами суеверия, а не предметами веры. Книга была написана на основе убежденности в том, что можно обнаружить скрытую механику, посредством которой все традиционные элементы нашего политического и духовного мира претворились в определенный конгломерат, в котором все утратило свою ценность и стало недоступным человеческому пониманию, непригодным для человеческих целей. В непреодолимый соблазн превратилось желание поддаться процессу дезинтеграции, и не только потому, что он приобрел видимое величие «исторической необходимости», но и потому, что все вне его стало казаться безжизненным, бескровным, бессмысленным и нереальным. Убежденность в том, что все происходящее на земле должно быть понятно человеку, может привести к тому, что историю будут толковать посредством банальностей. Понимание не означает отрицания чего-то ошеломляющего, не означает того, что всему необычному следует находить прецеденты, не означает, что явления следует объяснять посредством таких аналогий и обобщений, которые не позволяют ощутить воздействие реальности и шок опыта. Оно означает, скорее, изучение и сознательное принятие того бремени, которое возложил на нас наш век. Не следует ни отрицать существование этого бремени, ни покорно подчиняться ему. Понимание, одним словом, означает непредвзятую, собранную готовность встретить реальность, какой бы она ни была, и оказать ей сопротивление.

В таком плане следует воспринять и понять тот ошеломляющий факт, что столь незаметное (а в мировой политике и столь незначительное) явление, как «еврейский вопрос» и антисемитизм, могло послужить катализатором сначала нацистского движения, затем мировой войны и, наконец, учреждения «фабрик смерти». Это же относится и к гротескному разрыву между причиной и следствием, ставшему провозвестием наступления эры империализма, когда экономические трудности привели за несколько десятилетий к глубокой трансформации политических условий во всем мире. Это правомерно и относительно любопытного противоречия между циничным «реализмом», провозглашаемым тоталитарными движениями, и их бросающимся в глаза пренебрежением ко всем моментам реальности. В связи с этим следует указать и на вызывающую раздражение несовместимость между действительной мощью современного человека (большей, чем когда-либо,

настолько огромной, что он может поставить под угрозу само существование своего мира) и его неспособностью жить в том мире и понять смысл того мира, который он создал своими силами.

Тоталитарное устремление к глобальным завоеваниям и к тотальному господству явилось деструктивным способом выхода из всех трудностей. Победа тоталитаризма может совпасть с разрушением человечества; где бы он ни правил, он начинал разрушать саму сущность человека. И все же будет мало пользы, если мы просто повернемся спиной к разрушительным силам нашего столетия.

Беда заключается в том, что наша эпоха настолько причудливо смешала благо со злом, что без «экспансии ради экспансии» империалистов мир мог бы никогда не стать единым; без «власти ради власти» как политического средства буржуазии мы могли бы никогда не обнаружить масштаб мощи человека; без выдуманного мира тоталитарных движений, неслышанно отчетливо показавших базисную неустойчивость нашей эпохи, мы бы, возможно, двигались к своей гибели, не осознавая, что же все-таки происходит.

И если верно, что на заключительных стадиях тоталитаризма является зло в своей абсолютной форме (абсолютной, поскольку его уже нельзя вывести из каких-либо по-человечески понятных мотивов), то столь же верно и то, что без этого мы бы, вероятно, никогда не узнали подлинно радикальную природу Зла.

Антисемитизм (не просто ненависть к евреям), империализм (не просто завоевание), тоталитаризм (не просто диктатура) один за другим, каждый более варварский, чем предыдущий, продемонстрировали, что человеческое достоинство нуждается в новых гарантиях, которые можно найти только в каком-то новом политическом принципе, каком-то новом законе на земле, который должен быть правомочным для всего человечества, но в то же время ограниченным по своей мощи, укорененным в территориальных образованиях, которые можно определить по-новому, и контролируемым ими.

Мы уже не можем позволить себе взять то, что было благом в прошлом, и просто назвать его нашим наследием, отбросить плохое и считать его мертвым грузом, который само время предаст забвению. Подспудное течение западной истории вышло наконец на поверхность и узурпировало сан нашей традиции. Такова реальность, в которой мы живем. Вот почему тщетны все усилия убежать из мрачного настоящего в ностальгию по все еще сохраняемому прошлому или в предвосхищение лучшего будущего, которое дарует нам забвение.

## Часть I

# АНТИСЕМИТИЗМ

*Это был примечательный век,  
который начался Революцией,  
а завершился Историей!\*  
Возможно, его  
назовут вздорным веком.*

Роже Мартен дю Гар

---

\* Имеется в виду История Дрейфуса, анализу которой посвящена четвертая глава настоящего исследования. (Прим. ред.)

## Глава первая

### АНТИСЕМИТИЗМ КАК ВЫЗОВ ЗДРАВОВОМУ СМЫСЛУ

Многие по-прежнему считают случайностью то обстоятельство, что нацистская идеология сконцентрировалась вокруг антисемитизма, а политика нацистов была последовательно и бескомпромиссно нацелена на преследование и в конечном счете уничтожение евреев. Лишь ужас произошедшей катастрофы, а еще больше бездомность и полная утрата какой-либо почвы оставшимися в живых сделали «еврейский вопрос» столь заметным явлением в нашей повседневной политической жизни. То, что сами нацисты считали своим главным открытием, а именно роль еврейского народа в мировой политике, и то, что они провозглашали своей главной задачей, а именно преследование евреев во всем мире, — все это рассматривалось общественным мнением как средство привлечь на свою сторону массы или как вызывающее интерес средство демагогии.

Неспособность воспринять всерьез то, что говорили сами нацисты, вполне объяснима. Вряд ли в современной истории можно найти нечто более раздражающее и озадачивающее, чем утверждение о том, что при всех огромных нерешенных политических вопросах нашего столетия именно такая кажущаяся мелкой и незначительной проблема, как еврейская проблема, обладает сомнительной честью быть пусковым механизмом всей этой дьявольской машины. Подобные разрывы между причиной и следствием бросают вызов нашему здравому смыслу, не говоря уже о вызове чувству равновесия и гармонии у историка.

Будучи сопоставлены с самими событиями, все объяснения антисемитизма выглядят так, как будто они были поспешно и наугад изобретены, с тем чтобы скрыть нечто, несущее огромную угрозу нашему чувству меры и нашей надежде на здравомыслие.

Одним из таких поспешных объяснений было отождествление антисемитизма с воинствующим национализмом и его ксенофобными взрывами. К несчастью, на самом деле факты показывают, что современный антисемитизм рос в той мере, в какой шел на спад традиционный национализм, и достиг он своей кульминации в тот момент, когда рухнула европейская система национальных государств с ее неустойчивым равновесием сил.

Уже отмечалось, что нацисты не были просто националистами. Их националистическая пропаганда была адресована попутчикам, а не убеж-

денным членам движения. Последним, напротив, никогда не позволялось утрачивать последовательно наднационального подхода к политике. У нацистского «национализма» много общего с националистической пропагандой недавнего времени в Советском Союзе, где она также используется только для того, чтобы дать пищу предрассудкам масс.

Нацисты питали подлинное и никогда не подвергавшееся сомнению презрение к узколобости национализма, провинциализму национального государства. Они вновь и вновь повторяли, что их «движение», интернациональное по своим целям, как и большевистское движение, важнее для них, чем всякое государство, которое необходимо будет связано с какой-либо определенной территорией. И не только нацисты, но и 50 лет истории антисемитизма свидетельствуют против отождествления антисемитизма с национализмом. Первые антисемитские партии, сложившиеся в последние десятилетия XIX столетия, были также среди тех, кто первыми стали объединяться в международном масштабе. С самого начала они созывали международные съезды и стремились к координации своей деятельности во всемирном, по крайней мере всеевропейском, масштабе.

Определенные общие тенденции, такие, как совпадение упадка национального государства и рост антисемитизма, вряд ли можно удовлетворительно объяснить посредством какого-либо одного основания или причины. В большинстве подобных случаев историк сталкивается с чрезвычайно сложной исторической ситуацией, применительно к которой он почти свободно — а это значит неся потери — может выделить какой-либо один фактор в качестве «духа времени». Существуют, однако, несколько полезных общих правил. С точки зрения наших целей наиболее ценным является великое открытие Токвиля («L'ancien régime et la Révolution». Кн. 2. Гл. 1) относительно причин яростной ненависти, испытываемой французскими массами к аристократии в период, когда вспыхнула революция, ненависти, которая побудила Бёрка заметить, что революцию больше занимала «ситуация дворянина», чем институт королевской власти. По Токвилю, французский народ ненавидел аристократов, утрачивающих власть, более чем когда-либо, именно потому, что быстро происходившая утрата ими реальной власти не сопровождалась сколько-нибудь заметным снижением их богатства. Пока аристократия обладала значительной юридической властью, ее не только терпели, но и уважали. Когда дворяне утратили свои привилегии, в том числе привилегию эксплуатировать и угнетать, люди стали воспринимать их как паразитов, не выполняющих какой-либо реальной функции в управлении страной. Другими словами, ни угнетение, ни эксплуатация сами по себе никогда не являются главной причиной возмущения. Богатство вне связи с определенной очевидной функцией

воспринимается как нечто гораздо более нетерпимое, поскольку никто не может понять, почему его следует терпеть.

Антисемитизм достиг своей высшей точки тогда, когда евреи сходным образом утратили свои общественные функции и свое влияние и у них не осталось ничего, кроме их достоинства. Когда Гитлер пришел к власти, немецкие банки были уже почти *judenrein* (а ведь именно здесь евреи занимали ключевые позиции в течение более чем ста лет), а немецкое еврейство как целое после долгого периода устойчивого роста и в плане социального статуса, и в плане количества клонилось к упадку столь быстро, что статистики предсказывали его исчезновение через несколько десятилетий. Статистика конечно же не обязательно отражает реальные исторические процессы, тем не менее следует отметить, что с точки зрения статистики преследование и уничтожение евреев нацистами могло выглядеть как бессмысленное ускорение процесса, который должен был свершиться в любом случае.

Это же верно и относительно почти всех западноевропейских стран. История Дрейфуса возникла не во времена Второй империи, когда французское еврейство было в зените своего процветания и влияния, а в условиях Третьей республики, когда евреи почти исчезли с наиболее важных позиций (хотя и не ушли с политической сцены). Австрийский антисемитизм приобрел сильный накал не в правление Меттерниха и Франца Иосифа, а в послевоенной Австрийской республике, когда было совершенно очевидно, что вряд ли какая-нибудь иная группа столь же много потеряла во влиянии и престиже вследствие исчезновения Габсбургской монархии.

Преследование лишенных силы или утрачивающих силу групп является не очень приятным зрелищем, однако оно проистекает не только из человеческой низости. Заставляет людей подчиняться или терпеть реальную власть и в то же время заставляет ненавидеть тех, кто, обладая богатством, не обладает властью, рациональное инстинктивное понимание того, что власть выполняет определенную функцию и вообще приносит какую-то пользу. Даже эксплуатация и угнетение все же заставляют общество функционировать и устанавливают какой-то порядок. Лишь богатство без власти или отстраненность, не являющаяся определенной политической линией, ощущаются — поскольку они разрывают все связи между людьми — как нечто паразитарное, бесполезное, отталкивающее. Богатство, которое не эксплуатирует, означает отсутствие даже того отношения, что существует между эксплуататором и эксплуатируемым, а отстраненность, не являющаяся политической линией, не предполагает даже минимальной заботы угнетателя об угнетенном.

Общий упадок западно- и центральноевропейского еврейства составляет, однако, всего лишь атмосферу, в которой развертывались последующие события. Этот упадок сам по себе объясняет их столь же мало, как простая утрата власти аристократией могла бы объяснить Французскую революцию. Помнить об указанных общих правилах важно только для того, чтобы опровергнуть те рекомендации здравого смысла, в соответствии с которыми мы верим, что яростная ненависть или неожиданный бунт необходимо проистекают из отношения к огромной власти или огромным злоупотреблениям и что, следовательно, организованная ненависть к евреям является не чем иным, как реакцией на их значение и мощь.

Более серьезным — в силу привлекательности для гораздо более достойных людей — является другое заблуждение здравого смысла. Оно заключается в представлении о том, что евреи, будучи совершенно беспомощной группой, захваченной общими и неразрешимыми конфликтами эпохи, могли быть обвинены в этих конфликтах и в конце концов представлены как скрытые творцы всякого зла. Наилучшей иллюстрацией — и наилучшим опровержением — такого объяснения, близкого сердцу многих либералов, является шутка, бывшая в ходу после первой мировой войны. Антисемит утверждает, что причиной войны являются евреи. Ответ гласит: «Да, евреи и велосипедисты». «Почему велосипедисты?» — спрашивает он. «А почему евреи?» — спрашивают его.

Теория, что евреи всегда являются козлом отпущения, предполагает, что козлом отпущения мог бы быть и кто-то другой. Эта теория утверждает полную невиновность жертвы, а такая невиновность не только исподволь внушает, что жертвой не было совершено не только никакого зла, но ею вообще не было совершено ничего такого, что могло бы иметь какую-то связь с обсуждаемым вопросом. Действительно, «теория козла отпущения» в своей чистой форме никогда не появляется в печати. Как только ее приверженцы предпринимают тщательные усилия объяснить, почему же тот или иной козел отпущения оказался столь хорошо пригодным для своей роли, становится видно, что они оставили эту теорию позади и занялись обыкновенным историческим исследованием, при котором никогда не обнаруживается ничего, кроме того, что историю творят многие группы, а одна группа была выделена в силу определенных причин. Так называемый козел отпущения необходимо перестает быть невинной жертвой, которую мир обвиняет во всех своих грехах и посредством которой он желает избежать возмездия, а оказывается одной группой людей среди других групп, все из которых вовлечены в деяния этого мира. И такая группа не перестает нести свою долю ответственности только потому, что оказалась жертвой несправедливости и жестокости мира.

До недавнего времени внутренняя противоречивость «теории козла отпущения» была достаточным основанием для того, чтобы отказаться от нее как от одной из многих теорий, побудительным мотивом которых является стремление к эскапизму. Однако появление террора как основного средства правления придало этой теории большую убедительность, чем та, которой она обладала когда-либо прежде.

Коренное отличие современных диктатур от всех тираний прошлого заключается в том, что террор используется не как средство уничтожения и запугивания противников, а как инструмент управления совершенно покорными массами людей. Террор, каким мы его знаем сегодня, применяется без какого-либо предварительного повода, его жертвы невиновны даже с точки зрения преследователя. Так обстояло дело в нацистской Германии, когда полномасштабный террор применялся против евреев, т.е. против людей с какими-то общими характеристиками вне зависимости от особенностей их личного поведения. В Советском Союзе ситуация более запутанная, однако факты, к сожалению, еще более очевидны. С одной стороны, большевистская система, в отличие от нацистской, теоретически никогда не признавала возможность использования террора против невиновных, хотя, если исходить из практики, это представляется лицемерием, и все же указанное различие чрезвычайно важно. С другой стороны, русская практика в одном отношении продвинулась дальше немецкой: произвол в применении террора не обуздывается даже расовыми соображениями, а поскольку прежние классовые категории давно отброшены, то в России любой может неожиданно стать жертвой полицейского террора. Мы не будем здесь останавливаться на принципиальной особенности правления посредством террора, заключающейся как раз в том, что никто, даже палач, никогда не может быть свободным от страха. Здесь мы просто обращаем внимание на произвольность выбора жертв, и в связи с этим решающее значение имеет то обстоятельство, что они объективно невиновны, что они выбираются вне зависимости от того, что они могли или не могли совершить.

На первый взгляд это может предстать как запоздалое подтверждение «теории козла отпущения». Действительно, жертва современного террора являет все характеристики козла отпущения: она объективно и абсолютно невиновна, поскольку ничего из того, что она совершила или не совершила, не имеет значения и никак не связано с ее судьбой.

Поэтому есть соблазн вернуться к такому объяснению, которое автоматически освобождает жертву от всякой ответственности. Такой подход кажется совершенно адекватным реальности, где ничто не поражает нас так, как полная невиновность человека, оказавшегося захваченным чудовищной машиной, и его полная неспособность каким-

нибудь образом изменить свою судьбу. Террор, однако, только на последней стадии своего развития является всего лишь формой правления. Для того чтобы установить тоталитарный режим, террор должен быть представлен как инструмент воплощения определенной идеологии. И эта идеология должна приобрести поддержку многих, и даже большинства, прежде чем террор сможет обрести стабильный характер. Главное для историка заключается в том, что евреи, прежде чем стать главными жертвами современного террора, стали центром нацистской идеологии. А идеология, которая хочет убеждать и мобилизовать людей, не может выбирать жертву произвольно. Другими словами, если в такую явную подделку, как «Протоколы сионских мудрецов», верят настолько много людей, что эта подделка может стать текстом целого политического движения, то задача историка уже не может ограничиваться разоблачением фабрикации. Она, конечно, не может состоять в выдумывании таких объяснений, которые обходят основной политический и исторический факт: то, что в подделку верят. Этот факт более важен, чем то (исторически говоря, вторичное) обстоятельство, что она является подделкой.

Объяснение посредством ссылки на козла отпущения по-прежнему является одной из основных попыток уклониться от понимания серьезности антисемитизма и значения того обстоятельства, что евреи оказались втянутыми в эпицентр событий. Столь же распространенной является и противоположная доктрина о «вечном антисемитизме», согласно которой ненависть к евреям — это привычная и естественная реакция, а история лишь предоставляет для нее больше или меньше поводов. Взрывы не нуждаются в каких-то особых объяснениях, поскольку являются естественными последствиями существования определенной вечной проблемы. То, что эта доктрина была принята профессиональными антисемитами, совершенно естественно, поскольку она служит алиби по отношению к любым ужасам. Ведь если верно, что человечество настойчиво убивало евреев в течение более чем двух тысячелетий, то в таком случае убийство евреев является нормальным, даже человеческим занятием, а ненависть к евреям не нуждается в оправдании посредством какой-либо аргументации.

Наибольшее удивление вызывает то, что это объяснение с помощью ссылки на извечный характер антисемитизма признается очень многими лишенными предубеждений историками и даже еще большим числом евреев. Именно это странное совпадение делает данную теорию столь опасной и столь вводящей в заблуждение. В обоих случаях перед нами одна и та же эскапистская основа: подобно тому как антисемиты, что вполне понятно, хотят избежать ответственности за свои деяния, так и евреи, теснимые и обороняющиеся, ни при каких

обстоятельствах не желают, что тем более понятно, обсуждать вопрос о своей доле ответственности. Однако эскапистские тенденции официальной апологетики приверженцев этой доктрины — как евреев, так зачастую и христиан — базируются на более важных и менее рациональных мотивах.

Зарождение и рост современного антисемитизма сопровождались и были взаимосвязаны с ассимиляцией евреев, с секуляризацией и с угасанием древних религиозных и духовных ценностей иудаизма. На самом деле происходило вот что: значительная часть еврейского народа оказалась под угрозой физического вымирания извне и разложения изнутри. В этой ситуации евреи, стремившиеся обеспечить выживание своего народа, в нелепом, безысходном непонимании ухватились за утешительную идею, что антисемитизм может в конце концов выступить превосходным средством удержать народ вместе, так что извечный антисемитизм способен даже предстать как вечная гарантия еврейского существования. Такое предубеждение, являющееся секуляризованной карикатурой на идею вечности, унаследованную от веры в избранность и мессианской надежды, подкреплялось тем обстоятельством, что в течение многих столетий евреи испытывали специфическую враждебность со стороны христиан, которая в действительности выступала как мощный фактор сохранения еврейского народа и в духовном, и в политическом отношении. Евреи ошибочно приняли современный антихристианский антисемитизм за традиционную религиозную ненависть к евреям. Этому способствовало и то, что в процессе своей ассимиляции они как бы прошли мимо христианства в его религиозном и культурном аспектах. Сталкиваясь, кроме того, с очевидными симптомами упадка христианства, они могли поэтому, по незнанию, принять происходящее за какое-то возрождение так называемых темных веков. Незнание или неверное понимание своего собственного прошлого было одной из причин фатальной недооценки евреями действительных и беспрецедентных опасностей, которые их ожидали. Следует при этом помнить и о том, что отсутствие политического навыка и политической рассудительности было обусловлено самой природой еврейской истории — истории народа без правительства, без страны и без языка. Еврейская история предлагает необычайный спектакль, где народ проявляет себя уникальным образом в том плане, что, начав свою историю с вполне определенным представлением об истории и с почти осознанной решимостью достичь на земле реализации четко очерченного плана, он избегал в течение двух тысячелетий всякого политического действия, не отказываясь при этом от этого своего представления об истории. В результате политическая история еврейского народа стала более зависимой от непредвиденных, случайных факторов, нежели исто-

рия других народов, так что евреи играли то одну роль, то другую и не принимали на себя ответственность ни за одну из них.

Ввиду окончательной катастрофы, которая поставила евреев на грань полного уничтожения, тезис об извечном антисемитизме стал еще более опасным, чем когда-либо. Сегодня он снимал бы с евреев ответственность за преступления гораздо худшие, чем те, что можно было когда-нибудь представить себе. Антисемитизм не только не оказался какой-то таинственной гарантией выживания еврейского народа, но со всей ясностью предстал как несущий ему угрозу уничтожения. Тем не менее такое объяснение антисемитизма, подобно «теории козла отпущения», — и в силу сходных причин — пережило свое опровержение реальностью. Ведь и оно с такой же настойчивостью, хотя и используя иные аргументы, подчеркивает в конце концов ту полную и несвойственную человеку невиновность, которая столь поразительным образом характерна для жертв современного террора. В силу всего этого кажется, что такое объяснение подтверждается фактами. Оно даже обладает тем преимуществом перед «теорией козла отпущения», что дает какой-то ответ на неудобный вопрос: почему именно евреи? Правда, ответ — извечная враждебность к евреям — всего лишь объявляет решенным спорный вопрос.

Весьма примечательно, что эти две теории — единственные теории, которые по крайней мере предпринимают попытку объяснить политическое значение антисемитизма, — отрицают какую-либо специфическую ответственность евреев и отказываются обсуждать соответствующие проблемы в характерных исторических терминах. При таком подходе, по существу отрицающем значение человеческого поведения, они ужасающим образом напоминают те виды современной практики и форм правления, которые посредством произвольного террора уничтожают саму возможность человеческого действия. Ведь в лагерях уничтожения евреев убивали как бы в соответствии с тем объяснением, почему их ненавидят, которое давали эти теории: их убивали безотносительно к тому, что они сделали или не сделали, безотносительно к их порокам или добродетелям. Более того, сами убийцы, лишь подчинявшиеся приказам и гордившиеся своей бесстрастной производительностью, жутким образом представляли как бы «невинными» орудиями бесчеловечного обезличенного хода событий, какими и считала их теория извечного антисемитизма.

Подобные общие знаменатели между теорией и практикой сами по себе вовсе не являются свидетельством исторической истины. Но они являются свидетельством «своевременности» таких мнений, этим же объясняется их привлекательность для толпы. Они интересны для историка лишь постольку, поскольку сами образуют часть истории, а

также потому, что стоят на пути его поисков истины. Будучи современником, он может поддаться их убеждающей силе, как и всякий другой человек. Осторожность по отношению к общепринятым мнениям, притязающим на объяснение всех тенденций истории, особенно важна для историка современной эпохи, так как прошлое столетие создало множество идеологий, претендующих быть ключом к истории, но в действительности являющихся не чем иным, как отчаянными попытками избежать ответственности.

Платон, ведя свою знаменитую борьбу против античных софистов, обнаружил, что их универсальное «уменьше увлекать души словами» (Федр, 261) не имело ничего общего с истиной, но было ориентировано на мнения, которые изменчивы по природе своей и которые имеют силу лишь «на такой срок, на какой это мнение сохраняется» (Теэтет, 172). Он также обнаружил непрочное положение истины в мире, ведь можно убедить с помощью мнений, «а не с помощью истины» (Федр, 260). Наиболее разительное различие между древними и современными софистами заключается в том, что древние удовлетворялись преходящей победой аргумента за счет истины, а современные стремятся к более длительной победе за счет реальности. Иными словами, одни разрушали достоинство человеческой мысли, а другие разрушают достоинство человеческого действия. Древние манипуляторы логикой стояли на пути философа, а современные манипуляторы фактами стоят на пути историка. Ведь рушится сама история, и ставится под угрозу ее понятность, базирующаяся на том факте, что история творится людьми и может быть поэтому понята людьми, если факты уже не считаются неотъемлемой частью прошлого и настоящего мира и произвольно используются для подтверждения того или иного мнения.

Конечно, остается мало путеводителей по лабиринту немых фактов, если мнения отбрасываются, а традиция уже не воспринимается как нечто бесспорное. Такие трудности, возникающие для историографии, являются, однако, весьма малозначительными, если принимать во внимание огромные потрясения нашей эпохи и их воздействие на исторические структуры западного мира. Непосредственным результатом этого было то, что обнажились все те компоненты нашей истории, которые до настоящего времени были сокрыты от нашего взора. Это не означает, что рухнувшее во время этого кризиса (вероятно, наиболее глубокого кризиса в западной истории после падения Римской империи) было всего лишь façade, хотя многое из того, что мы несколько десятилетий назад считали неразрушимыми сущностями, оказалось лишь façade.

Одновременный упадок европейских национальных государств и рост антисемитских движений, совпадение и заката национально орга-

низованной Европы, и уничтожения евреев, которое было подготовлено победой антисемитизма над всеми соперничающими «измами» в предшествующей борьбе за общественное мнение, — все это должно быть воспринято как серьезное указание на то, где следует искать источник антисемитизма. Современный антисемитизм должен рассматриваться в более широком контексте развития национального государства, и в то же время его источник следует искать в определенных аспектах еврейской истории и некоторых специфических функциях, которые выполняли евреи в последние века. Если на последней стадии процесса распада антисемитские лозунги оказались наиболее эффективным средством вдохновить и организовать крупные массы людей в целях империалистической экспансии и разрушения старых форм правления, то элементарные ключи к пониманию растущей враждебности между определенными группами общества и евреями должны содержаться в предшествующей истории отношений между евреями и государством. Мы будем рассматривать этот процесс в следующей главе.

Далее, если устойчивый рост современной толпы, т.е. *déclassés* всех классов, породил лидеров, которые, ничуть не смущаясь вопросом о том, действительно ли евреи играли столь важную роль, чтобы попасть в фокус политической идеологии, навязчиво усматривали в них «ключ к истории» и главный источник всех зол, то в предшествующей истории отношений между евреями и обществом должны содержаться элементарные свидетельства враждебности между толпой и евреями. Мы обратимся к рассмотрению отношений между евреями и обществом в третьей главе.

В четвертой главе анализируется История Дрейфуса, своего рода генеральная репетиция спектакля нашего времени. Так как это создает особо благоприятную возможность для того, чтобы в краткий исторический миг увидеть обычно сокрытые потенции антисемитизма как мощного политического средства в контексте политики относительно уравновешенного и здравого XIX столетия, то указанная История будет рассмотрена во всех подробностях.

Последующие три главы содержат анализ лишь подготовительных моментов, которые смогли в полной мере воплотиться в реальность, только когда упадок национального государства и развитие империализма вышли на авансцену политической жизни.

## Глава вторая

### ЕВРЕИ, НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ЗАРОЖДЕНИЕ АНТИСЕМИТИЗМА

#### 1. Двусмысленности эмансипации и еврей — государственный банкир

В XIX столетии, в период своего наивысшего развития, национальное государство обеспечивало своим гражданам-евреям равенство прав. За весьма абстрактной и явной несообразностью, заключающейся в том, что евреи получили свое гражданство от правительств, которые в течение столетий полагали ту или иную национальность в качестве условия гражданства, а однородность населения считали наилучшей характеристикой государства, скрывались более глубокие, застарелые и фатальные противоречия.

Двусмысленное отношение национального государства к своим подданным-евреям предвещало и сопровождало серию освободительных декретов, медленно и с перерывами следовавших за французским декретом 1792 г. Крушение феодального строя породило новое революционное понятие равенства, исходя из которого уже было нетерпимо существование «нации внутри нации». Ограничения и привилегии для евреев должны были быть упразднены вместе со всеми другими особыми правами и свободами. Такое укрепление равенства, однако, в значительной степени зависело от укрепления независимой, стоящей над классами и партиями, государственной машины, которая, выступая как просвещенный деспотизм или как конституционное правительство, могла, пребывая в блистательной изоляции, действовать, управлять и представлять интересы нации как целого. Поэтому начиная с конца XVII столетия появляется небывалая потребность в государственном кредите и в расширении сферы экономических и деловых интересов государства. В то же время ни одна группа европейского населения не была в состоянии обеспечить государству кредит или принять активное участие в развитии государственной экономики. И было совершенно естественно, что на помощь были призваны евреи, имевшие многовековой опыт финансовых дел и обладавшие связями с европейским дворянством, представители которого зачастую оказывали им покрови-

тельство на местном уровне и финансовые дела которых они обычно вели. Совершенно очевидно, что в связи с новыми государственными делами в интересах государства было обеспечить евреев определенными привилегиями и иметь дело с ними как с отдельной группой. Ни при каких обстоятельствах государство не могло позволить себе допустить полной ассимиляции евреев с остальным населением, которое отказывалось давать государству кредиты, не проявляло желания участвовать в развертывании торгово-промышленных дел государства и продолжало придерживаться обычной практики частнокапиталистического предпринимательства.

Эмансипация евреев, какой ее гарантировала система национальных государств в Европе в XIX столетии, была двоякого происхождения, и ей всегда была присуща определенная двусмысленность. С одной стороны, эта эмансипация была получена из рук политической и правовой структуры нового государства, которое могло функционировать только при условии политического и правового равенства. В интересах правительства было как можно полнее и как можно быстрее выкорчевать неравенство, связанное со старым порядком. С другой стороны, она была очевидным следствием постепенного расширения специфических привилегий евреев, поначалу дававшихся только некоторым индивидам, а затем через них и узкому кругу преуспевающих евреев. Только когда эта ограниченная группа оказалась не в состоянии сама по себе справляться со все увеличивающимся числом дел государства, такие привилегии были наконец распространены на все западноевропейское и центральноевропейское еврейство<sup>1</sup>.

Таким образом, в одно и то же время и в одних и тех же странах эмансипация означала равенство и привилегии, разрушение прежней

<sup>1</sup> Права и свободы, предоставлявшиеся придворным евреям в XVII и XVIII столетиях, современным историком могут восприниматься не иначе как предвестие равенства. Придворные евреи могли проживать, где хотели, им разрешалось свободно передвигаться в пределах владений своего суверена, им дозволялось носить оружие, они также пользовались особым покровительством со стороны местных властей. В действительности эти придворные евреи, характерно называвшиеся в Пруссии *Generalprivilegierte Juden*, не только находились в лучшем положении, чем другие евреи, все еще жившие в условиях почти средневековых ограничений, но и были более зажиточными, чем их соседи-неевреи. Уровень их жизни был гораздо выше, чем уровень жизни среднего класса того времени, а их привилегии в большинстве случаев были больше тех, что предоставлялись купцам. Такая ситуация не ускользнула от внимания современников. Кристиан Вильгельм Дом, выдающийся сторонник эмансипации евреев в Пруссии XVIII столетия, сетовал на утвердившуюся со времен Фридриха Вильгельма I практику, когда богатым евреям оказывались «всевозможные почести и поддержка», причем зачастую «в ущерб и с пренебрежением интересами усердных законных [т.е. неевреев] граждан» (см.: *Dohm C. W. Über die bürgerliche Verbesserung der Juden, 1781–1783 // Denkwürdigkeiten meiner Zeit. Lemgo, 1814–1819. Bd. 4. S. 487*).

автономии еврейского сообщества и сознательное сохранение евреев как особой группы в обществе, отмену особых ограничений и особых прав и распространение таких прав на увеличивающуюся группу индивидов. Равенство условий существования для всех подданных стало предпосылкой функционирования нового государства. Данное равенство было осуществлено по крайней мере таким образом, что прежние правящие классы были лишены своей привилегии на управление, а прежние угнетенные классы — своего права на защиту, однако этот процесс совпал с процессом зарождения классового общества, что вновь разделило подданных в экономическом и социальном отношении столь же эффективно, как это делал старый режим. Равенство условий существования, каким его понимали якобинцы в период Французской революции, стало реальностью только в Америке, в то время как на Европейском континенте оно было сразу же заменено простым формальным равенством перед законом.

Базисное противоречие между политическим состоянием, основывающимся на равенстве перед законом, и обществом, основывающимся на неравенстве, проистекающем из классовой системы, препятствовало как развитию и функционированию республик, так и зарождению новой политической иерархии. Непреодолимое неравенство в социальных условиях, а также то обстоятельство, что на континенте классовая принадлежность навязывалась индивиду и вплоть до первой мировой войны практически предопределялась его происхождением, могли каким-то образом сосуществовать бок о бок с политическим равенством. Только политически отсталые страны, такие, как Германия, унаследовали некоторые феодальные пережитки. Здесь представители аристократии, которая в целом уже превратилась во многом в класс, обладали привилегированным политическим статусом и могли, таким образом, как группа сохранять определенные особые отношения с государством. Но это были лишь пережитки. В полной мере развившаяся классовая система однозначно означала, что статус индивида определялся его принадлежностью к своему классу и его отношением к другому классу, а не положением в государстве или в государственной машине.

Единственным исключением из этого общего правила были евреи. Они не образовывали свой собственный класс и не принадлежали к какому-либо из классов в своих странах. Как группа они не были рабочими, не были людьми среднего класса, не были ни землевладельцами, ни крестьянами. Их состояние могло сделать их частью среднего класса, однако они не участвовали в процессе его капиталистического развития. Они были слабо представлены в промышленном предпринимательстве, а когда на последних стадиях своей истории в Европе они стали крупными работодателями, то нанимали служащих, а не рабочих. Дру-

гими словами, их статус определялся тем, что они евреи, и не определялся их отношением к какому-то другому классу. Их особая защищенность со стороны государства (или в прежней форме явных привилегий, или посредством особого указа об эмансипации, в котором не нуждалась ни одна иная группа и который иногда требовался, чтобы противостоять враждебности общества) и их особые услуги правительствам препятствовали как их включению в систему классов, так и складыванию в отдельный класс<sup>2</sup>. Поэтому в тех случаях, когда им было позволено и они включались в общество, они становились четко определенной, самосохраняющейся группой в рамках одного из классов — аристократии или буржуазии.

Нет никакого сомнения в том, что заинтересованность национального государства в сохранении евреев в качестве особой группы и его заинтересованность в том, чтобы они не ассимилировались в классовое общество, совпадали с заинтересованностью евреев в самосохранении и в выживании как группы. И более чем вероятно, что без такого совпадения интересов усилия правительств оказались бы тщетны. Могучее устремление к равенству всех граждан со стороны государства и могучее устремление к включению всех индивидов в тот или иной класс со стороны общества, очевидно предполагавшие полную ассимиляцию евреев, могли оказаться безрезультатными только при условии сочетания определенных усилий правительства и добровольного сотрудничества евреев в этом деле. Официальная политика в отношении евреев, в конце концов, не всегда была столь последовательной и целеустремленной, как можно было бы предположить, если исходить только из конечных результатов<sup>3</sup>. Действительно, удивительно наблюдать, как последовательно евреи отвергали все возможности включиться в нормальные капиталистические предпринимательство и бизнес<sup>4</sup>. Однако без заинтере-

<sup>2</sup> Якоб Лещински в одной из ранних дискуссий вокруг еврейской проблемы указывал на то, что евреи не принадлежали ни к какому социальному классу, и говорил о «Klasseneinschießel» (*Lestschinsky J. Die Umwandlung und Umschichtung des jüdischen Volkes im Laufe des letzten Jahrhunderts // Weltwirtschaftliches Archiv. Kiel, 1929. Bd. 30. S. 123 ff.*), однако усматривал только недостатки, присущие этой ситуации в Восточной Европе, но не видел огромных преимуществ, предоставляемых ею в странах Западной и Центральной Европы.

<sup>3</sup> Например, при Фридрихе II после Семилетней войны в Пруссии были предприняты решительные усилия с целью инкорпорировать евреев в торговую систему. Прежний общий *Juden-reglement* 1750 г. был заменен системой постоянных разрешений, выдаваемых лишь тем, кто вкладывал значительную часть своего достояния в новые мануфактурные предприятия. Однако и здесь, как и в других случаях, подобные усилия правительства закончились полной неудачей.

<sup>4</sup> Феликс Прибач (*Priebatsch F. Die Judenpolitik des fürstlichen Absolutismus im 17 und 18 Jahrhundert // Forschungen und Versuche zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit. 1915*) приводит типичный случай, относящийся к началу XVIII в.: «Когда зер-

сованности и соответствующих действий правительств евреи вряд ли сохранили бы свою групповую идентичность.

В противоположность всем остальным группам статус и положение евреев определялись государством. Поскольку, однако, это государство не обладало какой-либо иной социальной реальностью, то они оказывались в социальном плане в пустоте. Их социальное неравенство было совершенно отличным от неравенства в системе классов. Оно было главным образом следствием отношений с государством, так что в обществе сам тот факт, что человек рождается евреем, означал, что он или сверхпривилегирован, т.е. находится под особым покровительством правительства, или лишен привилегий, т.е. у него нет некоторых прав и возможностей, которые были закрыты для евреев ради того, чтобы воспрепятствовать их ассимиляции.

В схематическом изложении одновременный рост и упадок европейской системы национальных государств и европейского еврейства проходил приблизительно следующие стадии.

1. XVII и XVIII столетия были свидетелями медленного развития национальных государств под покровительством абсолютных монархов. Повсюду отдельные евреи переходили от ситуации полного бесправия к положению, иногда блестящему, но всегда влиятельному, придворных евреев, которые финансировали дела государства и занимались финансовыми сделками своих князей. Этот процесс столь же мало влиял на положение масс, продолжавших в той или иной мере жить в условиях феодального строя, как и на положение еврейского народа в целом.

кальная фабрика в Нейхаузе, Нижняя Австрия, субсидировавшаяся местными властями, перестала производить продукцию, еврей Вертхаймер дал императору деньги, чтобы тот купил ее. Когда ему предложили самому взять фабрику, он отказался, ссылаясь на то, что его время занято его финансовыми сделками».

См. также: *Köhler M. Beiträge zur neueren jüdischen Wirtschaftsgeschichte. Die Juden in Halberstadt und Umgebung // Studien zur Geschichte der Wirtschaft und Geisteskultur. 1927. Bd. 3.*

С такой традицией, которая удерживала богатых евреев от занятия реальных властных позиций при капитализме, согласуется тот факт, что в 1911 г. парижские Ротшильды продали свою долю акций нефтяных месторождений Баку группе «Ройял шелл», несмотря на то что были, за исключением Рокфеллера, крупнейшими нефтяными магнатами мира. Об этом случае сообщалось в: *Lewinsohn R. Wie sie gross und reich wurden. B., 1927.*

Следующее утверждение Андре Сайу (*Sayou A. Les Juifs // Revue Economique Internationale. 1912*, сделанное в процессе его полемики против Вернера Зомбарта, отождествлявшего деятельность евреев с капиталистическим развитием, можно считать адекватным отражением общего правила: «Ротшильды и другие израильтяне, которые были заняты почти исключительно предоставлением государственных займов и международным движением капитала, вовсе не стремились... создавать крупную промышленность».

2. После Французской революции, которая резко изменила политические условия на всем Европейском континенте, появились национальные государства в современном смысле, деловые операции которых потребовали значительно более крупных капиталов и кредитов, чем те, что князья когда-либо просили придворных евреев предоставить в их распоряжение. Только совокупное достояние зажиточных слоев западноевропейского и центральноевропейского еврейства, доверенное некоторым наиболее крупным еврейским банкирам для соответствующих целей, могло оказаться достаточным для удовлетворения новых возросших потребностей правительства. В этот период привилегии, которые до того давались только придворным евреям, предоставляются более широкой группе зажиточных евреев, сумевших в XVIII столетии осесть в важных городских и финансовых центрах. Наконец, эмансипация наступила во всех полностью оформившихся национальных государствах. Ей воспрепятствовали только в тех странах, где евреи в силу своей численности и общей отсталости соответствующих регионов не сумели организовать в особую отдельную группу, экономическая функция которой заключалась бы в финансовой поддержке своих правительств.

3. Поскольку тесные связи между правительством национальных государств и евреями покоились на безразличии буржуазии к политике вообще и к государственным финансам в частности, то этот период завершился с появлением в конце XIX столетия империализма, когда капиталистический бизнес, экспансионистский по своей форме, уже не мог осуществляться без активной политической поддержки и вмешательства государства. Империализм в то же время подрывал самые основы национального государства и вносил в европейское общество наций конкурентный дух деловых предприятий. В первые десятилетия развития этого процесса евреи уступили свои эксклюзивные позиции в делах государства империалистически настроенным бизнесменам. Значение их как группы понизилось, хотя отдельные евреи сохраняли свое влияние в качестве советников в финансовых вопросах и общеевропейских посредников. Эти евреи, однако, в противоположность государственным банкирам XIX столетия, еще меньше нуждались в еврейском сообществе, несмотря на его достояние, чем придворные евреи XVII и XVIII столетий, и поэтому они зачастую полностью порывали с еврейским сообществом. Еврейские сообщества уже не сорганизовывались в финансовом отношении, и хотя отдельные евреи, обладавшие высоким положением, по-прежнему воспринимались нееврейским миром как представители еврейства в целом, за всем этим было мало или вообще не было никакой материальной реальности.

4. Как группа западное еврейство распалось вместе с упадком национального государства в десятилетия, предшествующие взрыву первой мировой войны. В период быстрого заката Европы после войны они оказались уже лишенными своей былой мощи, оказались атомизированной совокупностью состоятельных индивидов. В империалистическую эпоху еврейское богатство потеряло свое значение. Для Европы, утратившей чувство равновесия сил между ее нациями и чувство общеевропейской солидарности, ненациональный общеевропейский еврейский элемент в силу своего бесполезного достояния стал объектом всеобщей ненависти, а в силу отсутствия у него власти — объектом презрения.

Первыми правительствами, нуждавшимися в регулярных доходах и надежных финансах, были абсолютные монархии, при которых появились национальные государства. Феодальные князья и короли также нуждались в деньгах и даже в кредитах, но только для особых целей и для временных операций. Даже в XVI столетии, когда Фуггеры предоставили свой собственный кредит в распоряжение государства, они еще не думали об установлении особого государственного кредита. Абсолютные монархии на первых порах удовлетворяли свои финансовые потребности отчасти с помощью старых методов — войны и грабежа, отчасти с помощью нового средства — налоговой монополии. Это подрывало мощь и разрушало достояние дворянства, не смягчая, однако, возрастающую враждебность населения.

В течение долгого времени абсолютные монархии искали в обществе класс, на который можно было бы положиться столь же надежно, как феодальная монархия полагалась на дворянство. Во Франции бесконечная борьба между гильдиями и монархией, которая хотела инкорпорировать их в государственную систему, шла с XV столетия. Наиболее интересными из всех этих экспериментов были, несомненно, появления меркантилизма и попытки абсолютистского государства приобрести абсолютную монополию над национальным хозяйством и промышленностью. Последовавшая неудача и банкротство, вызванные согласованным сопротивлением поднимающейся буржуазии, достаточно хорошо известны<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Трудно, однако, переоценить влияние экспериментов в сфере коммерции на характер будущего развития. Франция была единственной страной, где последовательно опробовалась меркантилистская система, что привело к раннему расцвету мануфактур, обязанных своим существованием вмешательству государства. Страна так полностью и не излечилась от этого опыта. В эпоху свободного предпринимательства ее буржуазия избегала незащищенного инвестирования в свою промышленность, а ее бюрократия, также являющаяся продуктом меркантилистской системы, сохранилась в целости и сохранности, несмотря на крушение этой системы. Невзирая на то обстоятельство, что бюрократия утратила все свои производительные функции, она даже сегодня занимает более за-

До указов об эмансипации при каждом княжеском доме и при каждом монархе в Европе уже был придворный еврей, занимавшийся финансовыми делами. В XVII и в XVIII столетиях эти придворные евреи всегда были отдельными индивидами, обладавшими общеевропейскими связями и общеевропейским кредитом. Они, однако, не складывались тогда в какое-то международное финансовое образование<sup>6</sup>. Для этих времен, когда единичные евреи и первые маленькие состоятельные еврейские сообщества были более могущественными, чем когда-либо в XIX столетии<sup>7</sup>, является характерной та откровенность, с которой обсуждались их привилегированный статус и их право на него, а также тщательное засвидетельствование властями важности их услуг государству. Не было ни малейшего сомнения или неясности относительно связи между оказываемыми услугами и предоставляемыми привилегиями. Привилегированные евреи как нечто привычное получали дворянские титулы, так что даже внешне они были чем-то большим, чем просто состоятельными людьми. Тот факт, что Ротшильды испытали такие значительные трудности с одобрением их притязаний на дворянство австрийским правительством (им удалось его получить лишь в 1817 г.), был сигналом того, что завершилась целая эпоха.

К концу XVIII столетия стало ясно, что ни одно сословие или класс ни в одной из многих стран не имели желания и не были способ-

метное место в стране и служит даже большим препятствием к ее восстановлению, чем французская буржуазия.

<sup>6</sup> Так обстояло дело в Англии со времен Маррано, банкира королевы Елизаветы, и евреев, финансировавших армии Кромвеля. Дошло до того, что один из двенадцати еврейских брокеров, допущенных на Лондонскую фондовую биржу, занимался, как утверждалось, четвертой частью всех правительственных займов того времени (см.: *Baron S. W. A social and religious history of the Jews. N.Y., 1937. Vol. 2: Jews and capitalism*). В Австрии только за 40 с небольшим лет (1695–1739) евреи предоставили правительству кредиты на более чем 35 миллионов флоринов, а смерть Самюэля Оппенгеймера в 1703 г. привела к серьезному финансовому кризису как для государства, так и для императора. В Баварии в 1808 г. 80 процентов всех правительственных займов индексировались и реализовались евреями (см.: *Grunwald M. Samuel Oppenheimer und sein Kreis. Wien, 1913*). Во Франции, где условия меркантилистской системы были особенно благоприятны для евреев, еще Кольбер восхвалял огромную пользу, приносимую ими (*Baron S.W. Op. cit., loc. cit.*), а в середине XVIII в. немецкий еврей Лифман Калмер был сделан бароном благодарным королем, который высоко оценил услуги и верность «нашему государству и нашей особе» (*Anchel R. Un baron Juif Français au 18e siècle, Liefman Calmer // Souvenir et Science. Vol. 1. P. 52–55*). В Пруссии Münzjuden Фридриха II получали титулы, а в конце XVIII в. 400 еврейских семейств образовывали одну из самых состоятельных групп в Берлине. (Одно из лучших описаний Берлина и роли евреев в его обществе в конце XVIII в. можно найти в: *Dilthey W. Das Leben Schleiermachers. 1870. S. 182 ff.*)

<sup>7</sup> В начале XVIII столетия австрийские евреи добились запрета «Entdecktes Indentum» (1703) Айзенменгера, а в конце его «Венецианский купец» исполнялся с небольшим прологом, содержащим извинения перед (неэмансипированной) еврейской аудиторией.

ны стать новым правящим классом, т.е. отождествить себя с правительством, как это в течение веков делало дворянство<sup>8</sup>. Неудача, которую потерпела абсолютная монархия в поиске замены в обществе, привела к полномасштабному развитию национального государства и к его притязаниям быть над всеми классами, быть полностью независимым от общества и его партикулярных интересов, выступать в качестве истинного и единственного представителя нации в целом. Это привело в то же время к углублению расхождений между государством и обществом, на котором покоилось государство нации. Без этого не было бы нужды — или даже какой-либо возможности — вводить евреев в европейскую историю на равных основаниях.

Когда все попытки образовать союз с каким-либо из основных классов общества оказались безуспешны, государство решило само стать огромным деловым концерном. Конечно, все это предпринималось только в административных целях, но масштаб интересов, финансовых и прочих, был столь велик, а затраты столь крупными, что нельзя не признать существования начиная с XVIII столетия особой сферы государственного бизнеса. Рост независимого государственного бизнеса был обусловлен конфликтом с могущественной в финансовом отношении силой эпохи — с буржуазией, которая шла по пути частного инвестирования, избегала всякого вмешательства государства и отказывалась принимать финансовое участие в том, что представлялось ей «непродуктивным» предпринимательством. Таким образом, евреи были единственными из всего населения, кто был готов финансировать начинания государства и связать свою судьбу с его дальнейшим развитием. Обладая кредитом и международными связями, они находились в превосходной позиции для того, чтобы помочь национальному государству утвердиться среди крупнейших предприятий и предпринимателей той эпохи<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Единственное, но не меняющее существа дела исключение составляли, возможно, те сборщики налогов, называемые *fermiers-généraux*, во Франции, которые арендовали у государства право собирать налоги, гарантируя фиксированную сумму правительству. Они заработали свое крупное состояние у абсолютной монархии и непосредственно зависели от нее, однако были слишком маленькой группой и были слишком изолированными образованием для того, чтобы сами по себе обладали экономическим влиянием.

<sup>9</sup> О настоятельной необходимости связей между правительственным бизнесом и евреями можно судить по тем случаям, когда политику должны были вершить люди с реактивными антиеврейскими настроениями. Так, Бисмарк в молодости произнес несколько антисемитских речей, а затем как канцлер империи стал близким другом Блейхредера и надежным защитником евреев от антисемитского движения в Берлине, возглавляемого придворным капелланом Штёкером. Вильгельм II как кронпринц и как представитель настроенного антиеврейски прусского дворянства, очень сочувствовавший всем антисемитским движениям 80-х годов, мгновенно изменил свои антисемитские убеждения и отказался от своих протекже-антисемитов, когда унаследовал трон.

Значительные привилегии, решающие изменения в условиях существования евреев были по необходимости платой за предоставление подобных услуг и в то же время вознаграждением за огромный риск. Наиболее крупной привилегией было обеспечение равенства. Если учесть, что *Münzjuden* Фридриха Прусского или придворные евреи австрийского императора получили посредством «общих привилегий» и «патентов» те же самые права, которые спустя полвека во имя эмансипации и равноправия получили все прусские евреи; что в конце XVIII столетия и в пору своего наибольшего богатства берлинские евреи сумели воспрепятствовать притоку из восточных провинций своих бедных соплеменников, потому что не стремились обеспечивать и их долю «равенства» и которых не считали ровней себе; что в эпоху французского Национального собрания евреи Бордо и Авиньона яростно выступали против того, чтобы французское правительство гарантировало равенство евреям из восточных провинций, то станет ясно, что по крайней мере евреи мыслили категориями привилегий и особых свобод, а не категориями равных прав. И это действительно неудивительно, что привилегированные евреи, теснейшим образом связанные с делами своих правительств и в полной мере осознававшие характер и условия своего статуса, не желали принять для всех евреев тот дар свободы, которым они сами владели как платой за определенные услуги и который, как они знали, и рассматривался в качестве таковой и потому едва ли мог стать правом всех<sup>10</sup>.

Только в конце XIX столетия, в пору появления империализма, имущие классы начинают пересматривать свою первоначальную оценку государственного бизнеса как непродуктивную. Империалистическая экспансия вкупе с растущим совершенством инструментов насилия и с государственной монополией на них сделала участие в делах государства интересным деловым предложением. Это, естественно, означало, что евреи будут постепенно, но с необходимостью утрачивать свои исключительные, уникальные позиции.

Однако успехи евреев, их возвышение от бесправия к политически значимому положению пришли бы к концу даже еще раньше, если бы евреи ограничивались только бизнесом в делах растущих национальных государств. К середине прошлого столетия некоторые государства

<sup>10</sup> Еще в XVIII столетии там, где целые группы евреев становились достаточно состоятельными для того, чтобы быть полезными государству, они пользовались коллективными привилегиями и отделялись как группы от своих менее состоятельных и полезных собратьев даже в той же стране. Подобно *Schutzjuden* в Пруссии, евреи Бордо и Байонны во Франции получили равноправие задолго до Французской революции и были приглашены представить свои жалобы и предложения вместе с другими сословиями при *Convocation des Etats Généraux* в 1789 г.

обрели достаточно уверенности для того, чтобы обходиться без поддержки евреев и их финансирования государственных займов<sup>11</sup>. Рост национального самосознания, все большее осознание гражданами того, что их личная судьба чем дальше, тем больше становится зависимой от судеб их страны, привели к тому, что граждане оказались готовы давать государству большую часть необходимых ему кредитов. Равенство само по себе символизировалось в доступности для всех правительственных облигаций, которые в конце концов начали рассматриваться как наиболее надежная форма помещения капитала уже в силу той простой причины, что только государство, могущее вести войны, действительно способно защитить имущество граждан. Начиная с середины XIX столетия евреи могли сохранять благоприятные позиции только потому, что они по-прежнему выполняли еще одну, более важную и роковую роль — роль, которая также теснейшим образом была связана с их участием в судьбах государства. Лишенные собственной территории и правительства, евреи всегда были общеевропейским элементом. Национальное государство по необходимости сохраняло этот международный статус, поскольку на нем покоились финансовые услуги евреев. Общеевропейский статус евреев по-прежнему имел большое значение для государства в эпоху межгосударственных конфликтов и войн, даже когда экономическая полезность евреев оказалась исчерпанной.

В то время как потребность национальных государств в услугах евреев оформлялась медленно и логично, вытекающая из общего контекста европейской истории, политическое и экономическое возвышение евреев было внезапным и неожиданным как для них самих, так и для их соседей. К исходу средних веков еврей-ростовщик утратил все свое былое значение, а в начале XVI в. евреи уже были изгнаны из городов и торговых центров в деревни и поместья, сменив таким образом более единообразную защиту со стороны далеких высших властей на ненадежный статус, обеспечиваемый местными мелкими дворянами<sup>12</sup>. Поворотный момент наступил в XVII столетии, когда во время Тридцати-

<sup>11</sup> Жан Капефигю (*Capéfigue J. Histoire des grandes opérations financières. Vol. 3: Banque, Bourses, Emprunts. 1855*) заявляет, что будто бы во время Июльской монархии только евреи и особенно дом Ротшильдов чинили препятствия здоровому государственному кредиту, базирующемуся на *Banque de France*. Он утверждает также, что события 1848 г. делали ненужной деятельность Ротшильдов. Рафаэль Строс (*Strauss R. The Jews in the economic evolution of Central Europe // Jewish Social Studies. Vol. 3. 1941. № 1*) также замечает, что после 1830 г. «государственный кредит стал менее рискованным делом, так что христианские банки начали заниматься им во все большей степени». Против таких интерпретаций может быть приведен тот факт, что между Ротшильдами и Наполеоном III существовали преимущественно превосходные отношения. При этом, однако, не может быть сомнений относительно общей тенденции эпохи.

<sup>12</sup> См.: *Priebsatsch F. Op. cit.*

летней войны именно мелкие, незначительные ростовщики сумели обеспечить необходимым продовольствием наемные армии в далеких краях и смогли с помощью мелких корбейников закупать провиант во всех провинциях. Поскольку войны оставались полуфеодальными, были более или менее частным делом князей, не были связаны с интересами других классов и не получали какой-либо поддержки со стороны народа, то возвышение статуса евреев было очень ограниченным и едва заметным. Однако число придворных евреев увеличилось, поскольку теперь каждый феодальный дом нуждался в эквиваленте придворного еврея.

До тех пор, пока эти придворные евреи обслуживали мелких феодальных господ, которые как дворяне не претендовали на то, чтобы представлять какие-нибудь центральные власти, они были слугами всего лишь одной группы в обществе. Собственность, которой они занимались, деньги, которые они ссужали, припасы, которые они закупали, — все это считалось частной собственностью их хозяина, так что такая деятельность не могла вовлечь их в политические дела. Ненавидимые или же находящиеся в фаворе евреи не могли оказаться в центре сколько-нибудь важного политического процесса.

Когда, однако, изменились функции феодального властителя, когда он превратился в князя или короля, тогда изменились и функции его придворного еврея. Евреи, будучи отчужденным элементом, не проявляя особого интереса к подобным изменениям в своем окружении, обычно последними осознавали, что их статус повысился. Они продолжали заниматься приватным бизнесом, а их лояльность оставалась делом личных отношений, не связанным с политическими соображениями. Лояльность означала честность, она не требовала принимать чью-либо сторону в конфликтах или оставаться верным по политическим причинам. Закупить провиант, одеть и накормить армию, ссудить деньги для привлечения наемников — все это было просто проявлением личной заинтересованности в благополучии делового партнера.

Такой вид отношений между евреями и аристократией был единственным, который когда-либо связывал ту или иную группу евреев с другим слоем в обществе. А когда этот вид отношений исчез в начале XIX столетия, то оказалось, что его ничем заменить. Если что и осталось от него у евреев, так это склонность к аристократическим титулам (особенно в Австрии и Франции), а у неевреев — какая-то разновидность либерального антисемитизма, смешивавшего в одну кучу евреев и дворянство и полагавшего, будто они образуют определенный финансовый союз, направленный против поднимающейся буржуазии. Подобная аргументация, имевшая хождение в Пруссии и Франции, была в известной степени убедительной до тех пор, пока не пришло время об-

щей эмансипации евреев. Привилегии придворных евреев действительно обладали очевидным сходством с правами и свободами дворянства, и верно, что эти евреи столь же боялись потерять свои привилегии и использовали такую же аргументацию против равенства, что и представители аристократии. Все стало даже еще более наглядным в XVIII в., когда большинство привилегированных евреев получили мелкие титулы, и в начале XIX в., когда состоятельные евреи, утратившие связи с еврейскими общинами, искали новый социальный статус и стали подражать аристократии. Однако все это не имело ощутимых последствий, поскольку, во-первых, было совершенно очевидно, что дворянство клонится к упадку, а евреи, наоборот, устойчиво повышали свой статус, а во-вторых, потому, что сама аристократия, особенно в Пруссии, оказалась первым классом, который породил антисемитскую идеологию.

Евреи были поставщиками во время войн и слугами королей, но сами не участвовали в конфликтах, да от них этого и не ожидали. Когда данные конфликты переросли в войны между нациями, евреи по-прежнему оставались интернациональным элементом, значение и полезность которого заключались как раз в том, что они не были связаны с каким-либо национальным делом. Уже более не государственные банкиры и не военные поставщики (последней войной, которую финансировал еврей, была прусско-австрийская война 1866 г., когда Блейхредер помог Бисмарку после того, как последнему было отказано прусским парламентом в необходимых кредитах), евреи стали финансовыми советниками и помощниками при заключении мирных договоров, а также — что делалось менее организованным и более неопределенным образом — поставщиками новостей. Последними мирными договорами, заключенными без помощи евреев, были договоры между континентальными державами и Францией на Венском конгрессе. Роль Блейхредера в мирных переговорах между Германией и Францией в 1871 г. была более значительной, чем оказанная им помощь во время войны<sup>13</sup>. Он оказал еще более важные услуги в конце 70-х годов, когда благодаря своим связям с Ротшильдами он обеспечил Бисмарка непрямым каналом связи с Бенджамином Дизраэли. Версальский мирный договор был последним, при заключении которого евреи играли заметную роль в качестве советников. Последним евреем, который возвышением на национальной арене был обязан своим международным еврейским свя-

<sup>13</sup> Согласно одному рассказу, добросовестно передаваемому всеми его биографами, Бисмарк сказал сразу же после поражения французов в 1871 г.: «Прежде всего, Блейхредер должен отправиться в Париж, встретиться со своими соплеменниками-евреями и обговорить это (пять миллиардов франков репараций) с банкирами» (см.: *Johlinger O. Bismark und die Juden. В., 1921*).

зям, был Вальтер Ратенау, несчастный министр иностранных дел Веймарской республики. Он заплатил своей жизнью (как выразился один из его коллег после его смерти) за то, что пожертвовал своим престижем в международном финансовом мире и поддержкой евреев во всем мире<sup>14</sup> ради министров новой республики, которые были совершенно безвестны на международной арене.

То, что антисемитские правительства не хотели использовать евреев в военных и мирных делах, — это очевидно. Однако устранение евреев с международной арены имело более общие и глубинные причины, чем просто антисемитизм. Именно в силу того что евреев использовали как ненациональный элемент, они могли представлять ценность в военных и мирных делах только до тех пор, пока каждая сторона сознательно стремилась во время войны сохранить возможность мира, до тех пор, пока целью всех был компромиссный мир и восстановление *modus vivendi*. Но как только политику стал определять лозунг «победа или смерть», а война — направлена на полное уничтожение противника, евреи оказались уже не нужны. Такая политика в любом случае несла угрозу разрушения их коллективной жизни, хотя уход с политической сцены и даже угасание особой групповой жизни совсем не вели с необходимостью к их физическому уничтожению. Часто повторяющееся утверждение, что евреи столь же легко становились бы нацистами, как и их немецкие сограждане, если бы им только разрешили присоединиться к этому движению, подобно тому как они записывались в итальянскую фашистскую партию до того, как итальянские фашисты ввели расовое законодательство, является только полуправдой. Оно верно только применительно к психологии отдельных евреев, которая конечно же не отличалась резко от психологии их окружения. Указанное утверждение явно ложно в историческом смысле. Нацизм даже без антисемитизма означал бы смертельный удар по существованию еврейского народа в Европе. Признать его означало бы совершить самоубийство — не столько для индивидов еврейского происхождения, сколько для евреев как народа.

К первому противоречию, определявшему судьбу европейского еврейства в течение последних столетий, а именно противоречию между равенством и привилегиями (при том, что равенство было скорее даровано в форме привилегии и с теми же целями, с какими даруются привилегии) следует добавить еще одно противоречие: евреям, единствен-

<sup>14</sup> См.: *Frank W. Walter Rathenau und die blonde Rasse // Forschungen zur Judenfrage*. Bd. 4. 1940. Франк, несмотря на свое официальное положение при нацистах, оставался весьма осмотрительным при пользовании источниками и в своих методах. В данной статье он цитирует посвященные Ратенау некрологи в «*Israelitisches Familienblatt*» (Гамбург. 6 июля 1922 г.), «*Die Zeit*» (июнь 1922 г.) и «*Berliner Tageblatt*» (31 мая 1922 г.).

ному не образовавшему цельной нации европейскому народу, более, чем какому-либо другому, несло угрозу возможное неожиданное крушение системы национальных государств. Эта ситуация менее парадоксальна, чем может показаться на первый взгляд. Представители какой-либо нации, будь то якобинцы — от Робеспьера до Клемансо — или представители центральноевропейских реакционных правительств — от Меттерниха до Бисмарка, имели одну общую черту: все они были искренне заинтересованы в «равновесии сил» в Европе. Они стремились, конечно, изменить это равновесие в пользу своих стран, но они никогда не мечтали о монополии над всем континентом или о полном уничтожении своих соседей. Евреи не только могли быть использованы для поддержания этого неустойчивого равновесия, они даже стали своего рода символом общих интересов европейских наций.

Поэтому не простой случайностью является то, что катастрофы народов Европы начались с катастрофы еврейского народа. Было очень легко начать развал неустойчивого европейского равновесия сил с уничтожения евреев, и было очень трудно понять, что такое уничтожение по своему значению являлось чем-то большим, чем просто проявлением чрезвычайно жестокого национализма или возродившихся «древних предрассудков». Когда грянула катастрофа, то судьба еврейского народа воспринималась как «особый случай»: его история разворачивается по особым законам, а его участь не имеет отношения ко всем остальным. Такое крушение европейской солидарности сразу же нашло отражение в крушении общеевропейской солидарности евреев. Когда началось преследование евреев в Германии, евреи других европейских стран вдруг обнаружили, что немецкие евреи являются исключением и их фатум ничем не похож на судьбу других. Сходным образом гибели немецкого еврейства предшествовал его раскол на бесчисленные фракции, каждая из которых верила и надеялась, что ее неотъемлемые человеческие права будут защищены с помощью каких-то специальных привилегий: тем, что кто-то являлся ветераном первой мировой войны, был сыном или дочерью ветерана, был гордым сыном отца, погибшего в бою. Все выглядело так, как будто уничтожению всех индивидов еврейского происхождения предшествовало бескровное разрушение и саморастворение еврейского народа, как будто еврейский народ своим существованием обязан другим народам и их ненависти.

Одним из основных движущих моментов еврейской истории по-прежнему является то, что активное вхождение евреев в европейскую историю было определено их существованием в качестве межъевропейского, ненационального элемента в мире складывающихся или существующих наций. То, что эта их роль оказалась более долговременной и куда более важной, чем функция государственных банкиров, и

является одной из материальных причин появления нового, современного типа еврейской плодовитости в сфере искусства и в науках. И есть доля исторической справедливости в том, что крушение евреев совпало с разрушением такой системы и политической организации, которая, какими бы ни были ее недостатки, нуждалась в подобном, чисто европейском элементе и могла принимать его.

Величие этого последовательно европейского существования не следует предавать забвению из-за ряда несомненно менее привлекательных моментов истории евреев в последние столетия. Те немногие европейские авторы, которые осознавали этот аспект «еврейского вопроса», руководствовались не какими-то особыми симпатиями к евреям, а непредвзятой оценкой европейской ситуации в целом. Среди них были Дидро, единственный французский философ XVIII в., кто не был настроен враждебно по отношению к евреям и считал, что они осуществляют полезную связь между европейцами различных национальностей; Вильгельм фон Гумбольдт, который, будучи свидетелем их эмансипации, происшедшей благодаря Французской революции, заметил, что они утратили бы свою всеобщность, если бы превратились во французов<sup>15</sup>; наконец, Фридрих Ницше, который из отвращения к Германской империи Бисмарка создал понятие «хороший европеец», что сделало возможной правильную оценку им заметной роли евреев в европейской истории и убергло его от соблазнов дешевого филосемитизма или покровительства «прогрессивным» установкам.

Обрисованный подход, совершенно верный в смысле описания поверхностного феномена, не позволяет заметить чрезвычайно важный парадокс, воплощенный в странной политической истории евреев. Из всех европейских народов евреи были единственным народом без своего собственного государства, и именно поэтому они так стремились к союзам с правительствами и государствами и были столь пригодны для таких союзов, какими бы ни были эти правительства или государства. Однако евреи не обладали политическими традициями и опытом и слабо осознавали как противоречия между обществом и государством, так и очевидные опасности, а также властные возможности, связанные с их новой ролью. Те скудные знания и основанные на традиции практические навыки, с которыми они пришли в политику, изначально сформировались в Римской империи, где их защищал, если можно так вы-

<sup>15</sup> См.: *Humboldt W. von. Tagebücher / Leitzmann. B., 1916–1918. Bd. 1. S. 475*; а также статью Juif // *Encyclopédie. 1751–1765. Vol. 9*, которая была написана, вероятно, Дидро: «Таким образом, рассеянные в нашу эпоху... [евреи] стали средством сообщения между удаленными странами. Они подобны скрепам и гвоздям большого здания, требуемым для того, чтобы соединять и держать вместе все прочие части».

разиться, римский солдат, а затем в средние века, когда они искали и получали защиту от населения и местных правителей со стороны далеких монархических и церковных властей. На основе такого опыта они пришли каким-то образом к умозаключению, что власти, и особенно высшие власти, благожелательны по отношению к ним, а низшие чиновники и в особенности простой люд несут в себе опасность. Такое предубеждение, которое отражало определенную историческую истину, но уже не соответствовало новым обстоятельствам, было так же глубоко укоренено и бессознательно разделялось большинством евреев, как и соответствующие предрассудки против них, что были распространены среди неевреев.

История отношений между евреями и правительствами богата примерами того, как быстро еврейские банкиры меняли свою приверженность одному правительству на приверженность другому даже после революционных изменений. Французским Ротшильдам понадобились едва ли сутки в 1848 г., чтобы от оказания услуг правительству Луи Филиппа перейти к оказанию услуг новой, недолго просуществовавшей Французской республике, а затем — Наполеону III. Такой же процесс повторился в несколько более замедленном темпе после падения Второй империи и установления Третьей республики. В Германии такие неожиданные и легкие изменения воплотились — после революции 1918 г. — в финансовой политике Варбургов, с одной стороны, и в изменчивости политических устремлений Вальтера Ратенау — с другой<sup>16</sup>.

Этот тип поведения представляет собой нечто большее, чем простой буржуазный образец действия, в основе которого лежит максима о том, что ничто так не способствует успеху, как успех<sup>17</sup>. Если бы евреи были буржуа в обычном смысле слова, они, вероятно, правильным образом распорядились бы теми огромными возможностями, которые давали им их новые функции, или по крайней мере попытались бы сыграть ту вымышленную роль тайной мировой силы, устанавливающей и свергающей правительства, которую им приписывают антисемиты. Ни-

<sup>16</sup> Вальтер Ратенау, в 1921 г. бывший министром иностранных дел Веймарской республики, принадлежавший к числу выдающихся людей, представлявших новую волю Германии к демократии, не далее как в 1917 г. выражал свои «глубокие монархические убеждения», согласно которым только «помазанник», а не какой-нибудь «высочка, плод удачной карьеры» должен возглавлять страну (см.: *Rathenau W. Von kommenden Dingen. 1917. S. 247*).

<sup>17</sup> Об этом буржуазном подходе не следует, однако, забывать. Если вести речь только об индивидуальных мотивах и образцах поведения, то методы дома Ротшильдов, разумеется, не очень отличались от методов их нееврейских коллег. Так, банкир Наполеона Уваров, предоставивший финансовые средства для Стодневной войны Наполеона, немедленно предложил свои услуги возвратившимся Бурбонам.

что, однако, не может быть дальше от истины. Евреи, как люди, не понимающие политики или не испытывающие интереса к власти, никогда и не помышляли о том, чтобы прибегнуть к чему-то большему, чем мягкое давление сугубо в целях самообороны. Такое отсутствие амбициозности позднее резко отвергалось более ассимилированными сыновьями еврейских банкиров и бизнесменов. В то время как некоторые из них, такие, как Дизраэли, мечтали о тайном еврейском обществе, к которому они бы принадлежали, но которого никогда не существовало, другие, лучше осведомленные, такие, как Ратенау, позволяли себе прибегать к полуантисемитским тирадам, направленным против состоятельных торговцев, не обладавших ни властью, ни социальным статусом.

Такая невинность никогда не была понятной в полной мере для нееврейских государственных деятелей или историков. В то же время для представителей евреев и для их писателей отделенность евреев от власти была обстоятельством настолько самоочевидным, что они почти никогда не говорили об этом, за исключением тех случаев, когда выражали свое удивление абсурдными подозрениями в отношении евреев. В воспоминаниях некоторых государственных деятелей прошлого столетия встречается много замечаний на тот счет, что войны не будет, поскольку Ротшильд в Лондоне, Париже или Вене не желает войны. Даже столь трезвый и надежный историк, как Гобсон, мог заявлять уже в 1905 г.: «Неужели кто-то всерьез полагает, что какое-либо европейское государство может начать большую войну или что может быть выпущен крупный государственный заем, если дом Ротшильдов и связанные с ним люди будут против этого?»<sup>18</sup> Это неверное суждение столь же занимательно в своем наивном представлении о том, что все похоже на его автора, как и искреннее убеждение Меттерниха в том, что «дом Ротшильдов имеет во Франции куда большее значение, чем какое-либо иноземное правительство», или его уверенное предсказание венским Ротшильдам незадолго до Австрийской революции 1848 г.: «Если мне суждено погореть, погорите и вы». Истина же заключается в том, что у Ротшильдов было столь же мало политических представлений о том, чего они хотели бы добиться во Франции, как и у других еврейских банкиров, не говоря уже о наличии такой четко определенной цели, которая хотя бы в малейшей степени предполагала войну. Дело обстоит как раз наоборот. Как и их соплеменники, Ротшильды никогда не становились союзниками какого-то определенного правительства, они скорее вступали в союз с правительствами вообще, с властью как таковой. Если в то время они явно

<sup>18</sup> *Hobson J. N. Imperialism. 1905. Цит. по не содержащему изменений изданию 1938 г.: р. 57.*

предпочитали монархические правительства республиканским, то связано это было только с тем, что республики, как они справедливо полагали, в большей степени опирались на волю народа, которому они инстинктивно не доверяли.

Насколько глубокой была вера евреев в государство и насколько фантастическим было их невежество относительно европейской действительности, стало очевидным в последние годы Веймарской республики, когда, уже достаточно встревоженные своим будущим, они попробовали себя в политике. С помощью нескольких неевреев они основали партию среднего класса, названную «Государственная партия» (*Staatspartai*). Само ее название заключает противоречие между терминами. Евреи настолько наивно были убеждены в том, что их «партия», призванная будто бы представлять их в политической и социальной борьбе, должна быть собственно государством, что даже не уяснили сам характер отношения партии к государству. Если бы кто-то решил воспринять всерьез эту партию респектабельных и сбитых с толку джентльменов, то он мог бы прийти только к тому выводу, что за проявляемой внешне безусловной лояльностью скрываются зловещие силы, замышляющие захват государства.

Подобно тому как евреи совсем не видели нарастания напряжения между государством и обществом, они точно так же последними осознали, что силою обстоятельств оказались втянутыми в центр конфликта. Они поэтому никак не могли понять, как им следует оценивать антисемитизм, или, точнее, не могли уловить момент, когда социальная дискриминация превращалась в политическое явление. В течение более чем столетия антисемитизм медленно и постепенно проникал почти во все социальные слои почти во всех европейских странах, а затем неожиданно проявился как тот вопрос, по которому можно было достичь почти единого мнения. Закон, в соответствии с которым протекал этот процесс, был прост: всякий класс в обществе, вступавший в конфликт с государством как таковым, проникался антисемитизмом, поскольку единственной группой, которая, как казалось, представляла государство, были евреи. А единственным классом, который оказался практически не зараженным антисемитской пропагандой, был рабочий класс. Погруженные в классовую борьбу и вооруженные марксистским пониманием истории, они вступали в непосредственный конфликт не с государством, а с другим классом общества — буржуазией, которую евреи уж точно не представляли и значимой частью которой никогда не были.

Политическая эмансипация евреев в ряде стран на рубеже XVIII столетия, а также обсуждение этого вопроса в остальных странах Центральной и Западной Европы привели прежде всего к решительным из-

менениям в отношении евреев к государству, что нашло своеобразное символическое отражение в возвышении дома Ротшильдов. Новая политика этих придворных евреев, бывших первыми полноправными государственными банкирами, стала видна, когда они, уже не довольствуясь службой одному какому-то князю или правительству, посредством своих международных связей с придворными евреями других стран решили сами утвердиться на международной арене и служить одновременно и совместно правительствам в Германии, Франции, Великобритании, Италии и Австрии. В значительной степени такая беспрецедентная линия действий была реакцией Ротшильдов на опасности действительной эмансипации, которая в сочетании с равенством несла угрозу национализации еврейства соответствующих стран и уничтожения тех самых преимуществ межъевропейского положения, на которых покоились позиции еврейских банкиров. Старый Мейер Амшель Ротшильд, основатель дома, вероятно, понял, что межъевропейское положение евреев уже не является чем-то гарантированным и что лучше предпринять попытку воспроизвести эти уникальные международные позиции в рамках своего семейства. Утвердив своих пятерых сыновей в пяти финансовых столицах Европы — Франкфурте, Париже, Лондоне, Неаполе и Вене, он нашел выход из затруднений, связанных с эмансипацией евреев<sup>19</sup>.

Ротшильды начали свою впечатляющую карьеру в качестве финансовых слуг курфюрста Гессена, одного из крупнейших ростовщиков своего времени, который обучил их искусству ведения дел и обеспечил многими клиентами. Огромное преимущество их положения заключалось в том, что они жили во Франкфурте, единственном крупном городском центре, из которого никогда не изгоняли евреев и в котором в начале XIX столетия евреи составляли почти 10 процентов населения. Ротшильды начинали как придворные евреи, которые не находились под юрисдикцией ни князя, ни вольного города, и были подвластны далекому императору в Вене. Они, таким образом, пользовались совокупно и преимуществами статуса евреев в средние века и преимуществами своей эпохи и в гораздо меньшей степени, чем какие-либо их соплеменники — придворные евреи, были зависимы от дворянства или каких-нибудь других местных властей. Достаточно хорошо известно и о дальнейшей финансовой деятельности дома Рот-

<sup>19</sup> Насколько хорошо Ротшильды понимали источники своей силы, видно по одному старинному закону их дома, в соответствии с которым дочери и их мужья не допускались к делам дома. Девушки могли, а после 1871 г. даже поощрялись к замужеству с представителями нееврейской аристократии. Потомки же мужского пола должны были жениться исключительно на еврейских девушках и, если возможно (в первом поколении обычно было так), — на членах своего семейства.

шильдов, и об огромных богатствах, накопленных ими, и даже о еще большей символической известности их имени с начала XIX в.<sup>20</sup> Они появились на сцене большого бизнеса в последние годы наполеоновских войн, когда в период с 1811 по 1816 г. почти половина английских субсидий странам континента проходила через их руки. Когда после поражения Наполеона Европейский континент повсеместно нуждался в крупных правительственных займах для реорганизации государственной машины и создания финансовых структур по образцу Английского банка, Ротшильды приобрели почти монопольное положение в обращении с государственными займами. Это длилось на протяжении жизни трех поколений, и в этот период они сумели одолеть всех своих еврейских и нееврейских конкурентов в данной сфере. «Дом Ротшильда стал, — как выразился Капефигю, — главным казначеем Священного союза»<sup>21</sup>.

Утверждение дома Ротшильдов в международном масштабе и его неожиданное возвышение над всеми другими еврейскими банкирами изменило всю структуру еврейского государственного бизнеса. Ушло время непредсказуемого, непланируемого и неорганизованного развития событий, когда отдельные евреи, сумевшие воспользоваться какой-нибудь единственной возможностью, на протяжении своей жизни зачастую и возносились на вершину огромного богатства, и низвергались в бездну нищеты; когда подобная судьба едва ли затрагивала судьбы еврейского народа в целом, за исключением тех случаев, в которых такие евреи выступали в качестве защитников или просителей за какие-то далекие общины; когда вне зависимости от того, сколь многочисленными были состоятельные ростовщики или сколь влиятельными были отдельные придворные евреи, не было признаков объединения евреев в четко определенную группу, которая бы как коллектив пользовалась какими-то специфическими привилегиями или оказывала какие-то специфические услуги. Именно монополия Ротшильдов на выпуск государственных займов сделала возможным и необходимым обращение к еврейскому капиталу в целом, направление значительной части состояния евреев в государственный бизнес и тем самым обеспечила естественную основу для сплочения центральноевропейского и западноевропейского еврейства на новой основе. То, что в XVII и в XVIII столетиях было неорганизованными связями отдельных евреев в различных странах, стало теперь более систематизированным достоянием одной фирмы, которая была физически представлена во всех основных европейских столицах, находилась в постоянном контакте со всеми сегментами

<sup>20</sup> См. особенно: Corti E. C. The rise of the House of Rotschild. N.Y., 1927.

<sup>21</sup> Capefigiu J. Op. cit.

еврейского народа и полностью распоряжалась нужной информацией и использовала все возможности для организации<sup>22</sup>.

Исключительное положение дома Ротшильдов в еврейском мире заменило в известной степени старые связи религиозной и духовной традиции, постепенное размывание которой под воздействием западной культуры впервые угрожало самому существованию еврейского народа. Для внешнего мира одно это семейство стало также символом действительной реальности еврейского интернационализма в мире национальных государств и национально организованных народов. Где действительно можно было найти лучшее подтверждение фантастическому представлению о еврейском мировом правительстве, как не в этом одном семействе, состоявшем из граждан пяти различных стран, повсюду заметном, тесно сотрудничавшем с по крайней мере тремя различными правительствами (французским, австрийским и британским), частые конфликты между которыми ни разу не поколебали деловой солидарности их государственных банкиров? Никакая пропаганда не сумела бы создать более эффективный в политическом отношении символ, чем его создала сама реальность.

Распространенное представление о том, что евреи в противоположность другим народам были будто бы более тесно связаны узами крови и семейственности, в значительной мере поддерживалось реальным характером одного семейства, которое действительно представляло все экономическое и политическое значение еврейского народа. Фатальным следствием всего этого было то, что, когда по причинам, никак не связанным с «еврейским вопросом», расовые проблемы выдвинулись на передний план политической жизни, евреи сразу же оказались подходящим объектом для всех идеологий и учений, которые определяли народы, исходя из кровных уз и характера семейной жизни.

В то же время есть еще одно, менее случайное обстоятельство, которое объясняет такой образ еврейского народа. В сохранении еврейского народа семья сыграла огромную роль, которая была гораздо более значительной, чем роль семьи в каком-либо западном политическом или социальном образовании, за исключением дворянства. Семейные узы относились к числу наиболее мощных и устойчивых элементов, с чьей помощью еврейский народ сопротивлялся ассимиляции и растворению. Как приходящее в упадок европейское дворянство укрепляло свои семейные и родовые законы, точно так же западное еврейство во все большей степени осознавало значение семьи в столетия, когда

<sup>22</sup> Ни разу и ни у кого не возникало возможности установить, в какой мере Ротшильды использовали еврейский капитал для своих собственных сделок и насколько далеко простирался их контроль над еврейскими банкирами. Это семейство не допустило ни одного ученого для работы в своих архивах.

протекал процесс его духовного и религиозного растворения. Оставшись без древней надежды на мессианское искупление и без твердой почвы традиционной культуры, западное еврейство остро осознало тот факт, что оно выжило в чуждом и зачастую враждебном окружении. Евреи начали рассматривать внутренний семейный круг как своего рода последнюю крепость и вести себя по отношению к членам своей собственной группы таким образом, как будто бы они являются членами какой-то большой семьи. Другими словами, антисемитское восприятие еврейского народа как определенной семьи, тесно связанной кровными узами, чем-то походило на восприятие евреями самих себя.

Такая ситуация оказалась существенным фактором в процессе раннего возникновения и устойчивого роста антисемитизма в XIX столетии. Какая группа людей проникнется антисемитскими настроениями в той или иной стране в тот или иной момент, зависело исключительно от общих обстоятельств, которые делали эту группу готовой к яростному столкновению со своим правительством. Однако примечательное сходство аргументов и образов, что время от времени спонтанно воспроизводились, тесным образом было связано с той самой истиной, которую они искажали. Мы видим, что евреев всегда представляли как определенную международную организацию, как всемирный семейный концерт с одними и теми же интересами повсеместно, как тайную силу, стоящую за спинкой трона и превращающую все видимые правительства в простой фасад или в марионеток, которыми управляют с помощью ниточек, дергаемых из-за кулис. В силу их тесных отношений с государственными источниками власти евреев неизменно отождествляли с властью, а в силу их отстраненности от общества и замыкания в узком семейном кругу их постоянно подозревали в том, что они работают над разрушением всех социальных структур.

## 2. Ранний антисемитизм

Очевидное, хотя и часто забываемое правило заключается в том, что антиеврейские настроения приобретают политическое значение, только если они выступают в сочетании с каким-либо крупным политическим вопросом или если групповые интересы евреев вступают в открытый конфликт с такими же интересами главенствующего класса в обществе. У современного антисемитизма, каким мы знаем его по опыту центральноевропейских и западноевропейских стран, были скорее политические, нежели экономические, причины, а в Польше и в Румынии яростную классовую ненависть к евреям породили сложные классовые отношения. В последних двух странах, в силу неспособности

правительств решить земельный вопрос и создать в национальном государстве минимум равенства посредством освобождения крестьян, феодальная аристократия сумела не только сохранить свое политическое господство, но и воспрепятствовать возвышению нормального среднего класса. Евреи в этих странах, сильные лишь числом, но слабые во всех других отношениях, на уровне видимости выполняли некоторые функции среднего класса, так как были по преимуществу лавочниками и торговцами и как группа располагались между крупными землевладельцами и классами, лишенными собственности. Мелкие собственники могут существовать как в условиях феодальной, так и в условиях капиталистической экономики. Евреи здесь, как и в других местах, не могли или не желали двигаться в направлении промышленного капиталистического развития, так что практическим результатом их деятельности было не создание системы производства, а организация громоздкой малоэффективной сферы потребления. Деятельность евреев была препятствием на пути нормального капиталистического развития постольку, поскольку казалось, что они были единственными, от кого можно было ожидать экономического прогресса, в то время как в действительности они были не способны соответствовать таким ожиданиям. Интересы евреев воспринимались как нечто ведущее к конфликту с теми сегментами населения, из которых в нормальных условиях мог бы развиваться средний класс. Правительства со своей стороны пытались без особого энтузиазма поощрить средний класс, не ликвидируя при этом дворянство и крупное землевладение. Всерьез они предприняли попытку лишь покончить в экономическом плане с евреями. Сделано это было отчасти ради уступки общественному мнению, отчасти потому, что евреи действительно оставались частью старого феодального порядка. В течение столетий они выступали как посредники между дворянством и крестьянством, сейчас они образовывали средний класс, но не выполняли его продуктивных функций и действительно являлись одним из препятствий на пути индустриализации и капитализации<sup>23</sup>. Эти восточноевропейские условия, хотя они и составляли суть жизненных проблем еврейских масс, не имеют особого значения в нашем контексте. Их политическая значимость ограничивалась ареалом отсталых стран, где общераспространенность ненависти к евреям делала практически бесцельными любые попытки использовать ее в качестве средства достижения специфических целей.

Антисемитизм впервые вспыхнул в Пруссии непосредственно после нанесенного в 1807 г. Наполеоном поражения, когда «реформаторы»

<sup>23</sup> Эти условия кратко и без предубеждений обсуждает Джеймс Паркес в главах 4 и 7 своего труда: *Parkes J. W. The emergence of the jewish problem, 1878–1939.* 1946.

изменили политическую структуру таким образом, что дворянство лишилось своих привилегий, а средние классы выиграли свободу для своего развития. Эта реформа, эта «революция сверху», преобразовала полufeодальную структуру прусского просвещенного деспотизма в более или менее современное национальное государство, последним шагом развития которого стало образование Германской империи в 1871 г.

Несмотря на то что большинство берлинских банкиров того времени были евреями, прусские реформаторы не потребовали от них сколько-нибудь значительной финансовой помощи. Откровенные симпатии со стороны прусских реформаторов, их приверженность делу эмансипации евреев были следствием новых условий: равенства всех граждан, упразднения привилегий и введения свободной торговли. Реформаторы не были заинтересованы в сохранении евреев как евреев в каких-то специальных целях. Их ответ на рассуждения о том, что в условиях равенства «евреи могут перестать существовать», непременно был бы следующим: «Ну и пусть. Какое это имеет значение для правительства, которое желает лишь, чтобы они стали хорошими гражданами?»<sup>24</sup> Эмансипация к тому же относительно мало затронула евреев, поскольку Пруссия только что утратила восточные провинции с их многочисленным и бедным еврейским населением. Указ об эмансипации 1812 г. коснулся только тех групп состоятельных и преуспевающих евреев, которые уже и так были наделены большинством гражданских прав и которые могли многое потерять в своем общественном статусе вследствие всеобщего упразднения привилегий. Для этих групп эмансипация означала немногим больше, чем общее юридическое подтверждение status quo.

Однако симпатии прусских реформаторов к евреям были не только логическим следствием их общих политических устремлений. Когда почти десятилетие спустя и в разгар поднимающегося антисемитизма Вильгельм фон Гумбольдт заявил: «Я в действительности люблю евреев, только en masse; en détail я скорее избегаю их»<sup>25</sup>, то этим он, разумеется, противопоставил себя преобладающей моде, в соответствии с которой благоприятственно относились к отдельным евреям и презирали еврейский народ. Как подлинный демократ, он стремился освободить угнетенный народ, а не наделять привилегиями отдельных индивидов. При этом такие воззрения были в духе традиции старых прусских правительственных чиновников, чьи последовательные устремления на протяжении всего XVIII столетия к тому, чтобы обеспечить евреям лучшие условия существования и получения образования, неод-

<sup>24</sup> *Dohm C. W. Über die bürgerliche Verbesserung der Juden.* B.; Stettin, 1781. Bd. 1. S. 174.

<sup>25</sup> *Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren Briefen.* B., 1900. Bd. 5. S. 236.

нократно отмечались. Поддержка с их стороны была связана не только с экономическими или государственными соображениями, но и с естественной симпатией к единственной социальной группе, которая одновременно находилась и вне тела общества, и в сфере государства, хотя и по совершенно различным причинам. Создание гражданской службы, лояльной по отношению к государству и не зависимой от изменений в сфере управления, порвавшей к тому же свои классовые связи, было одним из выдающихся достижений старого прусского государства. Эти чиновники играли решающую роль в Пруссии XVIII в. Они были действительными предшественниками реформаторов. Они оставались стеновым хребтом государственной машины в течение всего XIX столетия, хотя и уступили после Венского конгресса значительную часть своего влияния аристократии<sup>26</sup>.

В отношении реформаторов и особенно в указе об эмансипации 1812 г. весьма любопытным образом проявились особые интересы государства, связанные с евреями. Прежнее открытое признание их полезности именно как евреев (Фридрих II Прусский, узнав о возможном массовом обращении иудеев в христианство, воскликнул: «Я надеюсь, что они не проделают такую дьявольскую штуку!»)<sup>27</sup> исчезло. Эмансипация была дарована во имя определенного принципа, и всякая ссылка на особые услуги евреев в соответствии с духом времени была бы воспринята как святотатство. Специфические условия, которые привели к эмансипации, хотя они и были известны всем, кто имел к этому отношение, сейчас не упоминались, как если бы они были большим и ужасающим секретом. Сам указ, со своей стороны, воспринимался как последнее и в известном смысле самое блестящее достижение при переходе от феодального государства к национальному государству и обществу, в котором отныне не будет каких-либо особых привилегий.

К числу естественных резких реакций со стороны аристократии — класса, наиболее пострадавшего в результате этого процесса, следует отнести стремительный и неожиданный всплеск антисемитизма. Людвиг фон дер Марвиц, наиболее активный выразитель ее мнений (весьма заметный среди создателей консервативной идеологии), представил правительству пространную петицию, в которой заявлял, что евреи теперь будут единственной группой людей, пользующихся особыми пре-

<sup>26</sup> Превосходное описание этих служителей общества, которые в различных странах, по существу, не отличались друг от друга, дано в работе Генри Пайренна (*Pirenne H. A history of Europe from the Invasions to the XVI century. L., 1939. P. 361–362*): «Они были лишены классовых предрассудков и враждебны по отношению к привилегиям крупной знати, которая презирала их... Через них говорил не король, а анонимная монархия, превосходящая всех, всех подчиняющая своей власти».

<sup>27</sup> См.: *Kleines Jahrbuch des Nützlichen und Angenehmen für Israeliten, 1847.*

имуществами, и говорил о «превращении старой, вызывающей благоговение Прусской монархии в новое-вздорно-никчемное иудо-государство». Политическая атака сопровождалась социальным бойкотом, который буквально за ночь изменил облик берлинского общества. Ведь аристократы были одними из первых, кто установил дружеские социальные отношения с евреями и сделал в начале века знаменитыми те салоны, где хозяйками были еврейки и где в течение короткого периода собиралось действительно смешанное общество. В известной мере такое отсутствие предрассудков было на самом деле результатом услуг, предоставлявшихся еврейскими ростовщиками, которых в течение столетий отстраняли от всех крупных деловых сделок и для которых единственная возможность вести дела заключалась в предоставлении экономически непродуктивных и незначительных, но важных в социальном отношении займов людям, тяготевшим к тому, чтобы жить не по средствам. Тем не менее примечательно, что социальные отношения сохранились и тогда, когда абсолютные монархии с их более мощными финансовыми возможностями заставили уйти в прошлое как дело предоставления частных займов, так и фигуру отдельного мелкого придворного еврея. Естественной реакцией дворянина на утрату ценного источника помощи в стесненных обстоятельствах было стремление жениться на еврейской девушке, имеющей богатого отца, а не ненависть к еврейскому народу.

Взрыв аристократического антисемитизма не был и результатом обострения конфликтов между евреями и дворянством. Напротив, они находились в общей инстинктивной оппозиции к новым ценностям средних классов, причем она проистекала из очень схожих источников. В еврейских семьях, так же как и в дворянских, индивид рассматривался прежде всего как член семейства, его обязанности определялись в первую очередь семейством, которое было важнее жизни и достоинства индивида. И евреи, и дворяне были анациональны, они были европейцами вообще. И евреи, и дворяне понимали образ жизни друг друга, в рамках которого национальная принадлежность была чем-то вторичным по отношению к лояльности своему семейству, в большинстве случаев разбросанному по всей Европе. И те и другие разделяли представление, что настоящее — это всего лишь малозначащее звено в цепи прошлых и будущих поколений. Антиеврейские либеральные литераторы не преминули указать на такое любопытное сходство принципов и пришли к выводу о том, что от дворянства можно избавиться, только избавившись сначала от евреев. И такой вывод был сделан не в силу еврейско-дворянских финансовых связей, а потому, что и те и другие воспринимались как препятствие на пути подлинного развития той «данной от рождения индивидуальности», той идеологии самоува-

жения, которую либералы из средних классов использовали в своей идеологической борьбе против теорий, связанных с понятиями происхождения, рода и наследия.

Эти проеврейские факторы делают тем более значимым то обстоятельство, что именно аристократы положили начало долгой традиции политической аргументации антисемитизма. Ни экономические связи, ни социальная близость не имели значения в ситуации, когда аристократия открыто противостояла эгалитарному национальному государству. Если рассматривать ситуацию с социальной точки зрения, то в ходе атаки на государство евреи оказались отождествленными с правительством, поскольку средние классы в политическом отношении (несмотря на то что благодаря реформам они действительно многое приобрели в экономическом и социальном планах) оставались в ущемленном положении, к ним относились с прежней презрительной отчужденностью.

После Венского конгресса, когда в условиях мирной реакции в течение долгих десятилетий под эгидой Священного союза прусское дворянство в значительной степени восстановило свое влияние на дела государства и на какое-то время стало даже более значимой силой, чем оно было в XVIII столетии, аристократический антисемитизм мгновенно принял форму мягкой дискриминации, лишенной политического значения<sup>28</sup>. В то же время с помощью романтически настроенных интеллектуалов в полной мере развился консерватизм как одна из политических идеологий. Эта идеология была связана в Германии с весьма характерным и хитроумно двусмысленным отношением к евреям. Начиная с того момента национальное государство, вооруженное консервативной аргументацией, проводило четкое разграничение между теми евреями, в которых оно нуждалось и которых принимало, и теми, в которых не нуждалось и которых не принимало. Под прикрытием исходно христианского характера государства (а что могло быть более чуждым для просвещенных деспотов!) можно было открыто осуществлять дискриминацию по отношению к растущей еврейской интеллигенции, не нанося при этом вреда интересам банкиров и бизнесменов. Такой вид дискриминации, связанный с попытками закрыть университеты для евреев, перекрыв им тем самым доступ к государственной службе, нес в себе двоякую выгоду, заключающуюся в указании на то, что национальное государство ценило особые услуги выше, чем соблюдение условий равенства, а также в возможности воспрепятствовать или по крайней мере отсрочить появление новой группы евреев, которые не были полезны государству и даже мог-

<sup>28</sup> Когда прусское правительство в 1847 г. представило в Vereinigte Landtage новый закон об эмансипации, почти все представители высшей аристократии высказались в пользу полной эмансипации евреев (см.: *Elbogen I. Geschichte der Juden in Deutschland*. В., 1935. S. 244).

ли бы быть ассимилированы в общество<sup>29</sup>. Когда в 80-е годы Бисмарк предпринимал значительные усилия, с тем чтобы защитить евреев от антисемитской пропаганды Штёкера, он заявлял *expressis verbis*, что намеревается выразить протест лишь против нападков «на состоятельных евреев, ...интересы которых связаны с сохранением наших государственных институтов» и что его друг Блейхредер, прусский банкир, сетует не на нападки на евреев вообще (которые он мог и не заметить), а на нападки на богатых евреев<sup>30</sup>.

Кажущаяся двусмысленность ситуации, когда правительственные чиновники, с одной стороны, протестовали против равных условий для евреев (особенно равенства в профессиональной сфере), а несколько позднее жаловались на влиятельные позиции евреев в прессе, а с другой стороны, «искренне желали им всяческих благ»<sup>31</sup>, — такая двусмысленность была гораздо удобнее с точки зрения интересов государства, чем прежнее рвение реформаторов. В конце концов Венский конгресс вернул Пруссии те провинции, в которых в течение веков жили массы евреев-бедняков, и никто, за исключением нескольких интеллектуалов, мечтавших о Французской революции и правах человека, даже не думал о том, чтобы предоставить им такой же статус, как и их состоятельным соплеменникам, которые тем более не стали бы требовать равенства для первых, поскольку оно принесло бы последним только утраты<sup>32</sup>. Так же хорошо, как все другие, они понимали, что «любая юридическая или политическая мера, направленная на эмансипацию

<sup>29</sup> Это была причина, по которой прусские короли столь заботились о самом строгом сохранении еврейских обычаев и религиозных ритуалов. В 1823 г. Фридрих Вильгельм III запретил «малейшие новации», а его наследник Фридрих Вильгельм IV открыто заявил, что «государство не должно ничего предпринимать, что могло бы способствовать дальнейшему смещению евреев и прочих обитателей» его королевства (см.: *Elbogen I. Op. cit.* S. 223, 234).

<sup>30</sup> В письме Kultusminister'у фон Путткаммеру в октябре 1880 г. См. также письмо Герберта фон Бисмарка Тидеману в ноябре 1880 г. Оба письма опубликованы в: *Frank W. Hofprediger Adolf Stoecker und die christlich-soziale Bewegung*. 1928. S. 304, 305.

<sup>31</sup> Август Варнгаген так комментирует замечание, сделанное Фридрихом Вильгельмом IV: «Короля спросили, как он намеревается поступить с евреями. Он ответил: «Я желаю им всяческого добра, но я хочу, чтобы они помнили о том, что они евреи». Эти слова служат ключом ко многому». — *Tagebücher*. Leipzig, 1861. Bd. 2. S. 113.

<sup>32</sup> То, что эмансипацию евреев придется осуществлять вопреки желаниям представителей евреев, было хорошо известно в XVIII в. Мирабо говорил, выступая перед *Assemblée Nationale* в 1789 г.: «Господа, вы не провозглашаете евреев гражданами потому, что они не хотят быть гражданами? В таком правительстве, какое вы сейчас учреждаете, все люди должны быть людьми, вы должны изгнать всех, кто не является или отказывается стать человеком». Об аналогичной установке немецких евреев в начале XIX столетия сообщается в: *Jost J. M. Neuere Geschichte der Israeliten*. 1815–1845. В., 1846. Bd. 10.

евреев, необходимо должна привести к ухудшению их гражданского и социального положения»<sup>33</sup>. И уж тем более лучше всех других они осознавали, в какой степени их возможности зависели от их позиций и престижа внутри еврейских общин. Так что вряд ли они могли проводить какую-либо иную политику, кроме той, что «была направлена на достижение все большего влияния для себя и на удержание своих соплеменников-евреев в национальной изоляции с помощью утверждения, что такое отделение евреев является будто бы составной частью их религии. Для чего?.. Для того чтобы другие еще больше зависели от них и только к ним как *unsere Leute* могли обращаться власть имущие»<sup>34</sup>. И действительно, когда в XX столетии эмансипация впервые стала для еврейских масс свершившимся фактом, исчезла сила привилегированных евреев.

Таким образом, установилась полная гармония между интересами могущественных евреев и интересами государства. Богатые евреи желали и добились контроля над своими соплеменниками-евреями, а также их сегрегации от нееврейского общества. Государство могло сочетать политику благоволения по отношению к богатым евреям с правовой дискриминацией еврейской интеллигенции, а также с усугубляющейся социальной сегрегацией, что находило обоснование в консервативной теории о христианской сущности государства.

В то время как антисемитизм дворянства не имел политических последствий и быстро угас в десятилетия существования Священного союза, либералы и радикальные интеллектуалы стали вдохновителями нового движения, появившегося сразу после Венского конгресса. Либеральная оппозиция полицейскому режиму Меттерниха на континенте и ожесточенные нападки на реакционное прусское правительство быстро привели к всплескам антисемитизма и к появлению буквально потока антиеврейских памфлетов. Как раз в силу того, что либералы были гораздо менее искренни и непримиримы в своем противостоянии правительству, чем дворянин Марвиц десятилетием ранее, они нападали на евреев больше, чем на правительство. Борясь главным образом за равные возможности и выступая прежде всего против какого бы то ни было возрождения аристократических привилегий, затрудняющих для них доступ на государственную службу, они стали проводить в дискуссиях различие между отдельными евреями, «нашими братьями», и еврейством как группой. Этому различению отныне было суждено стать признаком левацкого антисемитизма. Хотя либералы и радикальные

<sup>33</sup> Адам Мюллер (см.: *Mueller A. Ausgewählte Abhandlungen / J. Baxa (Hrsg.) Jena, 1921. S. 215*) в письме Меттерниху в 1815 г.

<sup>34</sup> *Paulus H. E. G. Die jüdische Nationalabsonderung nach Ursprung, Folgen und Besserungsmitteln. 1831.*

интеллектуалы не в полной мере понимали, почему и каким образом правительство, при всей своей вынужденной независимости от общества, сохраняло и защищало евреев как отдельную группу, они осознавали, что за всем этим существует какая-то политическая связь и что «еврейский вопрос» представляет собой нечто большее, чем проблема индивидуальных евреев и человеческой терпимости. Они создали новые националистические концепции, такие, как «государство внутри государства» и «нация внутри нации». Это было совершенно неверно в первом случае, поскольку у евреев не было собственных политических амбиций и они просто были единственной социальной группой, безусловно лояльной по отношению к государству, а во втором случае это было верно наполовину, поскольку евреи, рассматриваемые как социальное, а не как политическое образование, действительно составляли группу в рамках нации<sup>35</sup>.

В Пруссии, но не в Австрии или во Франции, такой радикальный антисемитизм был почти столь же кратковременным и так же обошелся без последствий, как и более ранний антисемитизм дворянства. Радикалы все более и более погружались в либерализм поднимающихся в экономическом отношении средних классов, которые спустя 20 лет повсюду в Германии выступили за эмансипацию евреев и за реализацию политического равенства. Установилась, однако, определенная теоретическая и даже литературная традиция, влияние которой можно распознать в известных антиеврейских писаниях молодого Маркса, столь часто и несправедливо обвиняемого в антисемитизме. То обстоятельство, что еврей Карл Маркс мог писать в таком же ключе, как и эти антиеврейски настроенные радикалы, служит лишь доказательством того, сколь мало общего с полномасштабным антисемитизмом было у такого рода антисемитской аргументации. Маркса как еврея, как индивиду эти аргументы против «еврейства» задевали столь же мало, как его аргументы против Германии задевали, скажем, Ницше. Позднее Маркс, правда, никогда не писал и не высказывался по поводу «еврейского вопроса», однако вряд ли это связано с каким-либо серьезным изменением воззрений. Исключительное сосредоточение внимания на классовой борьбе как явлении жизни общества, на проблемах капиталистического производства, в котором евреи не участвовали ни как покупатели, ни как продавцы рабочей силы, и полное невнимание с его стороны к политическим вопросам неизбежно служили препятствием на пути к дальнейшему исследованию структуры государства и тем самым — роли евреев. Сильное влияние марксизма на рабочее движение в Герма-

<sup>35</sup> Ясные и достоверные сведения о немецком антисемитизме в XIX в. см.: *Gurian W. Antisemitism in modern Germany // Essays on antisemitism / Ed. by K. S. Pinson. 1946.*

нии явилось одной из основных причин того, что в немецких революционных движениях было так мало признаков антиеврейских настроений<sup>36</sup>. Евреи действительно имели мало значения (или вообще не имели) с точки зрения социальных битв той эпохи.

Начало современного антисемитского движения повсюду приходится на последнюю треть XIX столетия. В Германии оно довольно неожиданно вновь началось среди дворянства, оппозиция которого государству была вызвана преобразованием после 1871 г. Прусской монархии в полноценное национальное государство. Бисмарк, действительный основатель Германской империи, поддерживал тесные отношения с евреями даже тогда, когда стал премьер-министром и когда его обвиняли в том, что он зависим от евреев и получает взятки от них. Его усилия и частичный успех в деле устранения остатков феодализма в сфере государственного управления с неизбежностью привели к конфликту с аристократией. В своих нападках на Бисмарка аристократы представляли его то невинной жертвой, то платным агентом Блейхредера. В действительности дело обстояло как раз наоборот, Блейхредер, несомненно, был высоко ценимым и хорошо оплачиваемым агентом Бисмарка<sup>37</sup>.

Однако феодальная аристократия, хотя и достаточно еще могущественная, чтобы оказывать влияние на общественное мнение, не была все же сама по себе столь сильной или значимой, чтобы дать старт такому заметному антисемитскому движению, какое началось в 80-е годы. Выразитель мнения антисемитов, придворный капеллан Штёкер, родители которого принадлежали к низшим средним классам, был гораздо менее одаренным защитником консервативных интересов, чем его предшественники, романтически настроенные интеллектуалы, сформулировавшие за 50 лет до этого основные положения консервативной идеологии. Более того, он убедился в выгоде антисемитской пропаганды не в силу практических соображений или посредством теоретических рассуждений, а случайно, когда обнаружил, что, используя таким образом свой значительный талант демагога, он может заполнять пустующие аудитории. Однако он не только не сумел понять подлинные причины своего успеха, но и не смог должным образом использовать его из-за своего положения придворного капеллана, служащего

<sup>36</sup> Единственным сколько-нибудь значимым антисемитом левого толка в Германии был Е. Дюринг, который изобрел какое-то смутное натуралистическое объяснение «еврейской расы» в своей работе «Die Judenfrage als Frage der Rassenschädlichkeit für Existenz, Sitte und Cultur der Völker mit einer weltgeschichtlichen Antwort» 1880 г.

<sup>37</sup> Об антисемитских нападках на Бисмарка см.: Waurzinek K. Die Entstehung der deutschen Antisemitenparteien. 1873–1890 // Historische Studien. Heft 168. В., 1927.

как императорской семье, так и правительству. Его исполненную энтузиазма аудиторию составляли исключительно представители низших средних классов — мелкие лавочники и торговцы, мастеровые и старомодные ремесленники. А антиеврейские настроения этих людей еще не были мотивированы, по крайней мере совершенно очевидно, что они не были целиком и полностью мотивированы конфликтом с государством.

### 3. Первые антисемитские партии

Одновременному появлению антисемитизма, ставшему в Германии, Австрии и Франции важным политическим фактором в последние 20 лет XIX столетия, предшествовал целый ряд финансовых скандалов и мошенничеств, основным источником которых было перепроизводство наличного капитала. Во Франции большинство членов парламента и бесчисленное количество правительственных чиновников вскоре оказались столь погрязшими в аферах и взяточничестве, что Третья республика так и не смогла никогда восстановить престиж, который был утрачен ею в первые десятилетия существования. В Австрии и Германии среди наиболее скомпрометированных оказались аристократы. Во всех трех странах евреи выступали лишь как посредники, и ни одно еврейское семейство не приобрело крупного состояния благодаря афере с Панамским каналом и Gründungsschwindel.

Помимо аристократов, правительственных чиновников и евреев в эти фантастические дела оказалась всерьез втянутой еще одна группа людей, которые вместо получения ожидаемых прибылей потерпели огромные убытки. Эта группа состояла в основном из представителей низших слоев средних классов. Неожиданно они превратились в антисемитов. Эти люди пострадали больше других: они рисковали своими небольшими сбережениями и постоянно оказывались разоренными. Для их легковерия существовали веские основания. Капиталистическая экспансия на внутреннем рынке во все большей степени вела к устранению мелких собственников, для которых стало делом жизни как можно быстрее увеличить то небольшое, что они имели, поскольку было более чем вероятно, что они потеряют все. Они все более отчетливо осознавали, что если им не удастся пробиться в ряды буржуазии, то они могут опуститься в ряды пролетариев. Десятилетия общего процветания настолько замедлили этот процесс (хотя и не изменили его тенденцию), что паника этих людей воспринимается как преждевременная. Однако некоторое время беспокойство низших средних классов в полной мере соответствовало предсказанию Маркса о их скором исчезновении.

Низшие средние классы, или мелкая буржуазия, являлись потомками объединенных в гильдии ремесленников и торговцев, которые в течение веков были защищены от превратностей судьбы посредством определенной замкнутой системы, ставившей конкуренцию вне закона и пользовавшейся в конечном счете покровительством государства. Вследствие всего этого они винили в своих бедствиях манчестерскую систему, которая ввергала их в превратности конкуренции и лишала всякой особой защиты и привилегий со стороны властей. Они были поэтому первыми среди тех, кто ратовал за «государство всеобщего благоденствия», которое, как они ожидали, будет не только защищать их от всяческих непредвиденностей, но и позволит сохранить унаследованные от предков профессии и призвания. Поскольку одной из наиболее примечательных характеристик века фритредерства была возможность доступа евреев ко всем профессиям, то казалось вполне естественным считать евреев представителями «манчестерской системы, реализованной в ее крайнем варианте»<sup>38</sup>, тогда как ничто не было более далеким от истины.

Такое весьма опосредованное возмущение против евреев, которое мы обнаруживаем сначала у некоторых консервативных писателей, иногда сочетавших нападки на буржуазию с нападками на евреев, получило значительный импульс, когда те, кто надеялся на поддержку со стороны правительства или рассчитывал на чудеса, должны были прибегнуть к довольно ненадежной помощи банкиров. Для мелкого лавочника банкир представлялся таким же эксплуататором, каким владелец крупного промышленного предприятия был для рабочего. Однако, в то время как европейские рабочие, на основе своего собственного опыта и марксистского образования в сфере экономики, знали, что капиталист осуществляет по отношению к ним двойную функцию, заключающуюся и в эксплуатации, и в предоставлении возможности производить, никто не мог просветить мелкого лавочника относительно его социальной и экономической судьбы. Его участь была еще хуже, чем участь рабочего, а на основании своего опыта он считал банкира паразитом и ростовщиком, которого он вынужден был сделать своим компаньоном несмотря на то, что этот банкир, в отличие от фабриканта, не имел никакого отношения к его делу. Нетрудно понять, что человека, использующего свои деньги только и непосредственно в целях приобретения больших денег, можно ненавидеть сильнее, чем человека, получающего свои прибыли посредством длительного процесса производства, причем процесса, в котором он сам участ-

<sup>38</sup> *Glagau O. Der Bankrott des Nationalliberalismus und die Reaktion. B., 1878. Работа «Der Boersen- und Gründungsswindel» (1876) того же автора является одним из наиболее значительных антисемитских памфлетов того времени.*

вует. Поскольку в то время никто не просил кредита, если мог обойтись без него — а мелкие торговцы уж точно не могли, — то банкиры выглядели как те, кто эксплуатирует несчастья и нищету, а не рабочую силу и продуктивные возможности.

Многие из этих банкиров были евреями, и, что еще более важно, в силу ряда исторических причин фигура банкира вообще носила определенные еврейские черты. В результате левацкое движение низших средних классов и вся пропаганда против банковского капитала приобрели в той или иной степени антисемитскую направленность. Такое развитие событий не получило широкого распространения в промышленной Германии, однако имело большое значение для Франции и в меньшей степени для Австрии. Какое-то время дело выглядело таким образом, как будто евреи впервые вступили в непосредственный конфликт с другим классом, причем в конфликт, в который никак не вмешивалось государство. В рамках национального государства, где функция правительства в той или иной мере определяется занимаемыми им господствующими позициями — позициями, располагающимися над соперничающими классами, подобное столкновение могло даже определенным образом, пусть и чреватое опасностями, привести к нормализации положения евреев.

Однако к данному социально-экономическому аспекту проблемы вскоре добавился другой, которому суждено было в конечном счете сыграть более зловещую роль. Положение банкиров-евреев зависело не от займов, предоставляемых маленьким людям, находившимся в затруднительных обстоятельствах, а от выпуска государственных займов. Возможность давать мелкие займы была предоставлена мелким дельцам, которые подобным образом готовились к таким же многообещающим карьерам, как у их более состоятельных и почтенных собратьев. Социальное недовольство евреями со стороны низших средних классов превратилось во взрывчатое политическое вещество, поскольку считалось, что эти ненавистные евреи находятся на пути к политической власти. Разве не достаточно хорошо были известны иные аспекты их отношений с правительством? Социальная и экономическая ненависть в свою очередь придавала политической аргументации то яростное звучание, которое прежде полностью отсутствовало.

Фридрих Энгельс однажды заметил, что главным действующим лицом антисемитского движения в его эпоху было дворянство, а хор составляла воющая толпа мелкой буржуазии. Это верно в отношении не только Германии, но и австрийского христианского социализма, а также антияковцев во Франции. Во всех этих случаях аристократия, давая последний отчаянный бой, стремилась объединиться с консервативными силами церкви — католической церкви в Австрии и во

Франции, протестантской церкви в Германии — под предлогом борьбы с либерализмом во имя христианства. Толпа использовалась аристократами только как средство укрепления собственных позиций для того, чтобы их голос получил более широкий резонанс. Ясно, что они и не могли и не желали организовывать толпу и что они отвернутся от нее, как только достигнут своей цели. Но при этом они определили, что антисемитские лозунги весьма эффективны в деле мобилизации широких масс населения.

Соратники придворного капеллана Штёкера не были организаторами первых антисемитских партий в Германии. Сразу же после того, как была выявлена привлекательность антисемитских лозунгов, радикальные антисемиты тут же отделились от Берлинского движения Штёкера, вступили в крупномасштабную борьбу с правительством и основали партии, представители которых в рейхстаге при голосовании по всем серьезным вопросам внутренней политики выступали вместе с крупнейшей оппозиционной партией — социал-демократами<sup>39</sup>. Они быстро избавились от компрометирующего первоначального союза с силами прошлого. Бёкель, первый член парламента, занимавший антисемитские позиции, был обязан местом парламентария голосам крестьян Гессена, которых он защищал «от юнкеров и евреев», т.е. от дворян, у которых было слишком много земли, и от евреев, от чьих кредитов крестьяне зависели.

Какими бы мелкими ни были эти первые антисемитские партии, они стали сразу же отличать себя от всех других партий. Они изначально заявили претензию на то, что являются не партией наряду с другими партиями, а партией «над всеми партиями». В национальном государстве, разделенном на классы и партии, только государство и правительство притязали на место над всеми партиями и классами, притязали на то, чтобы представлять нацию как целое. Партии являются, как считалось, группами, депутаты которых представляют интересы своих избирателей. Даже несмотря на то что они боролись за власть, предполагалось, что правительству надлежит устанавливать равновесие между конфликтующими интересами и их выразителями. Претензия быть «над всеми партиями», заявленная антисемитскими партиями, отчетливо засвидетельствовала их притязания стать представителями всей нации, получить исключительную власть, завладеть государственной машиной, подменить государство. Поскольку в то же время речь шла об организованных партиях, то было ясно, что они же-

<sup>39</sup> См.: *Wawrzinek K.* Op. cit. Поучительные сведения обо всех этих событиях, особенно о том, что касается придворного проповедника Штёкера, см.: *Frank W.* Op. cit.

дали получить государственную власть как определенные партии так, чтобы их избиратели могли занять господствующие позиции.

Национальное государство появилось тогда, когда ни одна группа уже не была в состоянии иметь политическую власть в своем исключительном владении, так что правительство стало осуществлять политическое правление, которое больше не зависело от социальных и экономических факторов. Левые революционные движения, боровшиеся за радикальные изменения социальных условий, никогда непосредственно не затрагивали эту высшую политическую власть. Они оспаривали только власть буржуазии, а также влияние на государство и были поэтому всегда готовы подчиниться правительству во внешних делах, где ставились на карту интересы представлявшейся единой нации. Многочисленные программы антисемитских групп в то же время с самого начала соотносились главным образом с делами на международной арене. Их революционный порыв был направлен против правительства, а не какого-то социального класса, и они действительно намеревались разрушить политическую организацию национального государства посредством партийной организации.

Притязания одной партии быть вне системы всех партий означали нечто более существенное, чем антисемитизм. Если бы речь шла только о том, чтобы избавиться от евреев, то сделанное Фричем на одном из первых антисемитских конгрессов<sup>40</sup> предложение не создавать новую партию, а распространять антисемитизм до тех пор, пока все существующие партии не станут враждебными по отношению к евреям, принесло бы результаты гораздо быстрее. Однако предложение Фрича не получило поддержки потому, что уже в то время антисемитизм воспринимался как средство ликвидации не только евреев, но и самого национального государства.

Не случайно устремления антисемитских партий совпали с ранними стадиями империализма, и им можно найти параллели в определенных течениях в Великобритании, свободных от антисемитизма, а также в отчетливо антисемитских широких движениях на континенте<sup>41</sup>. Только в Германии такие новые течения возникали непосредственно из антисемитизма как такового, а антисемитские партии предшествовали образованию (а затем их пережили) чисто империалистических групп, таких, как Всегерманский союз и другие, которые также претендовали на то, что являются чем-то иным и чем-то над остальными партийными группами.

<sup>40</sup> Это предложение было выдвинуто в 1886 г. в Касселе, где было основано *Deutsche Antisemitische Vereinigung*.

<sup>41</sup> Подробнее рассмотрение феномена «партий над всеми партиями» и пан-движений см. в главе восьмой настоящего издания.

Тот факт, что сходные образования, не придерживавшиеся активного антисемитизма, избегавшие шарлатанства антисемитских партий и имевшие поэтому, как поначалу казалось, гораздо лучшие шансы на окончательную победу, в итоге оказались поглощены или сметены антисемитским движением, является серьезным свидетельством в пользу важности данного вопроса. Вера антисемитов в то, что их притязания на исключительное господство не превосходили уже достигнутого евреями в действительности, обладала тем преимуществом, что могла восприниматься как внутривластная программа, а условия были таковы, что необходимо было выступить на арене социальной борьбы для того, чтобы добиться политической власти. Они могли выдвигать утверждение, что борются против евреев точно так же, как рабочие борются против буржуазии. Их преимущество заключалось в том, что, атакуя евреев, которых считали тайной силой за спиной правительств, они могли открыто атаковать само государство, в то время как империалистические группы с их мягкой и бывшей для них чем-то вторичным антипатией к евреям никак не могли найти соприкосновения с основными социальными проблемами эпохи.

Другая, в высшей степени важная характеристика новых антисемитских партий заключалась в том, что они сразу же устремились к организации в наднациональном масштабе всех антисемитских групп в Европе, что открыто противопоставлялось и было вызовом распространенным сугубо национальным лозунгам. Давая жизнь такому наднациональному движению, они ясно указывали, что не только нацелены на политическое господство над нацией, но и спланировали уже дальнейший шаг к всеевропейскому правительству «над всеми нациями»<sup>42</sup>. Этот второй, причем революционный, момент означал принципиальный разрыв со *status quo*. На это зачастую не обращали внимания, поскольку сами антисемиты отчасти в силу традиционных привычек, отчасти потому, что сознательно лгали, использовали в своей пропаганде язык реакционных партий.

Внутренняя связь между особыми условиями существования евреев и идеологией подобных групп в случае с организацией определенной группы вне наций еще более наглядно видна, чем в случае с созданием партии вне партий. Евреи, очевидно, были единственным межъевропейским элементом в разделенной на нации Европе. Казалось логичным, что враги евреев должны были организовать на основе того же

<sup>42</sup> Первый международный антиеврейский конгресс состоялся в 1882 г. в Дрездене, на нем присутствовали 3000 делегатов из Германии, Австро-Венгрии и России. В ходе дискуссий Штёкер был побежден радикалами, которые собрались год спустя в Ченнице и основали Alliance Antijuiue Universelle. Удачный анализ этих встреч и конгрессов, их программ и дискуссий можно найти в: *Waurzinek K. Op. cit.*

принципа, что и те, кого считали тайными вершителями политических судеб всех наций.

В то время как этот аргумент совершенно явно носил чисто пропагандистский характер, реальный успех наднационального антисемитизма определялся более общими рассуждениями. Еще в конце прошлого столетия, и особенно после франко-прусской войны, все большее число людей ощущали, что организация Европы в согласии с национальным принципом устарела, поскольку уже не могла адекватно соответствовать новым экономическим требованиям. Это ощущение служило мощным аргументом в поддержку международной организации социализма и в свою очередь усиливалось благодаря такой организации. В массах распространялось убеждение в том, что по всей Европе их интересы одинаковы<sup>43</sup>. В то время как международные социалистические организации оставались пассивными и не проявляли интереса к каким-либо вопросам международной политики (т.е. как раз к тем вопросам, на которых можно было бы испытать их интернационализм), антисемиты начали с проблем международной политики и даже сулили найти решение внутренних проблем на наднациональной основе. Если не принимать идеологии за чистую монету и взглянуть более пристально на действительные программы соответствующих партий, то обнаружится, что социалисты, которые были больше заняты внутренними проблемами, гораздо лучше вписывались в национальное государство, чем антисемиты.

Разумеется, это не означает, что интернационалистские убеждения социалистов не были искренними. Напротив, они были сильнее и к тому же гораздо более почтенными по возрасту, нежели открытие классовых интересов, пересекающих все границы национальных государств. Однако осознание первостепенной важности классовой борьбы побуждало социалистов пренебрежительно относиться к тому наследию, которое Французская революция завещала рабочим партиям и которое единственно могло привести их к развитой политической теории. Социалисты оставили, по существу, без изменений первоначальное понятие «нация среди наций», каждая из которых принадлежит человеческой семье, но так и не смогли найти средства, способного превратить эту идею в рабочее понятие, пригодное для мира суверенных государств. Их интернационализм, соответственно, оставался личным

<sup>43</sup> Международная солидарность рабочих движений была, насколько она действительно существовала, межъевропейским делом. Безразличие этих движений к международной политике было также своеобразным средством отгородиться от активного участия в современной империалистической политике соответствующих стран или от борьбы против этой политики. Ведь было совершенно очевидно, что с точки зрения экономических интересов все последствия от падения империй в полной мере ощутят все представители французской, британской и голландской наций, а не только капиталисты и банкиры.

убеждением каждого, а здоровое отсутствие интереса к национальному суверенитету превращалось в совершенно нездоровое и нереалистичное безразличие к международной политике. Поскольку левые партии выступали не против национальных государств в принципе, а только против такого их аспекта, как национальный суверенитет, поскольку, далее, их собственные невыраженные надежды на федералистские структуры, куда в конечном счете интегрируются на равных правах все нации, каким-то образом предполагали национальную свободу и независимость всех угнетенных народов, то эти партии могли действовать в рамках национального государства, а в эпоху упадка его социальной и политической структур могли даже представлять как единственная группа населения, которая не предавалась экспансионистским фантазиям и мыслям об уничтожении других народов. Наднационализм антисемитов означал прямо противоположный подход к вопросу о международной организации. Их целью было создание господствующей суперструктуры. Они могли разглагольствовать в гипернационалистическом духе даже тогда, когда готовились разрушить государственную структуру своей нации, потому что племенной национализм с его умеренной жадностью завоеваний являлся одним из основных средств, с помощью которых можно было взломать узкие и тесные пределы национального государства и его суверенитета<sup>44</sup>. Чем более эффективной становилась шовинистическая пропаганда, тем легче было убедить общественное мнение в необходимости какой-то наднациональной структуры, которая будет управлять сверху и без национальных различий посредством всеобщей монополии на власть и с помощью инструментов насилия.

Не вызывает сомнений то, что особые условия существования еврейского народа как народа, живущего по всей Европе, могли быть пригодны для целей социалистического федерализма по меньшей мере так же хорошо, как и для зловещих замыслов наднационалистов. Однако социалисты были настолько заняты классово-борьбой и настолько пренебрегали политическими последствиями своих унаследованных от прошлого теорий, что осознали существование евреев в качестве политического фактора только тогда, когда столкнулись с полномасштабным антисемитизмом как серьезным соперником во внутренних делах. Они не только не были готовы включить еврейскую проблему в свои теории, но и боялись вообще затрагивать ее. Здесь, как и в международных делах, они уступили поле наднационалистам, которые в результате смогли выставлять себя в качестве единственных, кто знает, как решать мировые проблемы.

<sup>44</sup> Ср. главу восьмую настоящего издания.

К концу столетия исчерпали себя последствия афер 70-х годов, и эра процветания и всеобщего благоденствия положила конец, особенно в Германии, незрелым волнениям 80-х. Никто не смог бы предсказать, что это наступившее затишье было лишь временной передышкой, что все нерешенные политические вопросы вкупе с неутоленной политической ненавистью с удвоенной силой и яростью будут поставлены в повестку дня после первой мировой войны. Антисемитские партии в Германии после первоначальных успехов вновь утратили значение. Их лидеры, взбудоражив на короткое время общественное мнение, исчезли через заднюю дверь истории в темноте безумия и знахарского шарлатанства.

#### 4. Левацкий антисемитизм

Если бы не ужасающие последствия антисемитизма в нашу эпоху, то мы могли бы уделить меньше внимания процессу его развития в Германии. Как политическое движение антисемитизм XIX столетия лучше всего изучать на примере Франции, где он господствовал на политической арене в течение более чем десятилетия. Как идеологическая сила, боровшаяся с другими, более уважаемыми идеологиями за признание со стороны общественного мнения, он достиг своей наиболее выраженной формы в Австрии.

Нигде больше не оказали евреи таких крупных услуг государству, как в Австрии, где множество национальностей удерживалось вместе только посредством двойной монархии дома Габсбургов и где евреи, выступавшие в роли государственного банкира, пережили, в отличие от всех иных европейских стран, падение монархии. Подобно тому как в первый период этого процесса в начале XVIII столетия кредит Самюэля Оппенгеймера означал то же самое, что кредит дома Габсбургов, так и «в завершающий период австрийский кредит был кредитом Creditanstalt» — банкирского дома Ротшильдов<sup>45</sup>. Несмотря на то что у монархии на Дунае не было однородного населения, а это является наиболее важной предпосылкой для эволюционного перехода к национальному государству, она не могла избежать трансформации просвещенного деспотизма в конституционную монархию и создания современных гражданских учреждений. Это означало, что она должна была принять определенные институты национального государства. В то же время современная система классов складывалась в Австрии путем их

<sup>45</sup> См.: Emden P. H. The story of the Vienna Creditanstalt // Menorah Journal. Vol. 28. 1940. № 1.

врастания в структуру существующих национальностей, так что определенные национальности стали отождествляться с определенными классами или по крайней мере с профессиями. Немцы превратились в господствующую национальность во многом в том же смысле, как буржуазия стала господствующим классом в национальных государствах. Венгерская земельная аристократия играла, причем даже более выражено, роль, сходную с той, что сыграло дворянство в других странах. Государственная машина из всех сил стремилась сохранять абсолютную дистанцию по отношению к обществу, управлять, располагаясь над всеми национальностями точно так же, как поступало национальное государство по отношению к своим классам. Результатом для евреев было то, что еврейская национальность просто не могла слиться с другими и не могла сама стать национальностью точно так же, как она не слилась с другими классами и не стала сама классом в национальном государстве. Подобно тому как евреи в национальных государствах отличались от всех классов общества в силу своего особого отношения к государству, так и в Австрии они отличались от всех других национальностей в силу своего особого отношения к Габсбургской монархии. И точно так же как повсюду всякий класс, вступавший в открытый конфликт с государством, проникался антисемитизмом, так и в Австрии всякая национальность, которая не только включалась во всеобъемлющую схватку национальностей, но и вступала в открытый конфликт с самой монархией, начинала свою борьбу с нападков на евреев. Было, однако, существенное различие между такими конфликтами в Австрии, с одной стороны, и в Германии и Франции — с другой. В Австрии они не только были острее, в момент начала первой мировой войны все национальности, а это означало — любой сегмент общества, находились в оппозиции к государству, так что население в большей степени, чем где-либо еще в Западной и в Центральной Европе, было проникнуто активным антисемитизмом.

Наиболее примечательным из этих конфликтов была постоянно нараставшая враждебность по отношению к государству со стороны представителей немецкой национальности, усилившаяся после основания империи. Кроме того, немцы после финансового краха 1873 г. обнаружили полезность антисемитских лозунгов. В этот момент социальная ситуация была практически такой же, как в Германии, но при этом социальная пропаганда, нацеленная на приобретение голосов представителей среднего класса, прибегла к гораздо более яростным нападкам на государство и гораздо более открыто заявляла о нелояльности по отношению к стране. Более того, Немецкая либеральная партия, возглавляемая Шёнерером, с самого начала была партией низшего среднего класса, лишенной связей с дворянством и не испытывавшей каких-ли-

бо ограничений с его стороны, была партией, придерживавшейся крайне левых воззрений. Ей никогда не удавалось добиться действительно массовой базы, однако она весьма преуспела в университетах, где в 80-е годы создала тесно сплоченную студенческую организацию на платформе открытого антисемитизма. Антисемитизм Шёнерера, поначалу направленный почти исключительно против Ротшильдов, завоевал ему симпатии рабочего движения, которое рассматривало его как подлинного, но заблудшего радикала<sup>46</sup>. Его основное преимущество заключалось в том, что он мог основывать свою антисемитскую пропаганду на известных фактах: как член австрийского рейхсрата, он боролся за национализацию австрийских железных дорог, основная часть которых благодаря государственной лицензии находилась с 1836 г. в руках Ротшильдов, поскольку же ее срок истекал в 1886 г., Шёнерер сумел собрать 40000 подписей против ее возобновления, а также смог сфокусировать интерес общественности на «еврейском вопросе». Тесная связь между Ротшильдами и финансовыми интересами монархии стала совершенно очевидна, когда правительство попыталось продлить лицензию на условиях, явно невыгодных государству, а также населению. Агитация, которую вел Шёнерер по этому вопросу, положила в действительности начало оформленному антисемитскому движению в Австрии<sup>47</sup>. Дело в том, что это движение было начато и возглавлялось человеком, чья искренность не вызывала сомнений, чего никак нельзя сказать о немце Штёкере и его агитации.

Движение Шёнерера не остановилось перед использованием антисемитизма в качестве средства пропаганды и быстро разработало ту пангерманскую идеологию, которой суждено было оказать на нацизм влияние большее, чем оказала какая-либо другая немецкая разновидность антисемитизма. Движение Шёнерера хотя и одержало победу в конечном счете, потерпело временное поражение от другой антисемитской партии, христиан-социалов, возглавляемых Люгером. Шёнерер подвергал католическую церковь и оказываемое ею влияние на австрийскую политику почти такой же критике, как и евреев. А христиан-социалы были католической партией, с самого начала стремившейся вступить в союз с теми реакционными консервативными силами, которые столь пригодились в Германии и во Франции. Поскольку австрийс-

<sup>46</sup> См.: *Neuschaefer F. A. Georg Ritter von Schoenerer*. Hamburg, 1935; *Pichl E. Georg Schoenerer*. 1938. 6 vols. Даже в 1912 г., когда агитация Шёнерера давно утратила всякое значение, венская «*Arbeiterzeitung*» испытывала очень нежные чувства к этому человеку, о котором она могла говорить только теми словами, которыми воспользовался однажды Бисмарк, говоря о Лассале: «И если бы мы обменялись выстрелами, справедливость требовала бы признать даже во время стрельбы: Он — человек, а все остальные старые бабы» (*Neuschaefer F. A. Op. cit.* S. 33).

<sup>47</sup> См.: *Neuschaefer F. A. Op. cit.* S. 22 ff, и *Pichl E. Op. cit.* Vol. 1. S. 326 ff.

кие христиан-социалы сделали больше социальных уступок, они добились больших успехов, чем в Германии или во Франции. Вместе с социал-демократами они пережили падение монархии и стали наиболее влиятельной группой в послевоенной Австрии. Однако еще задолго до установления Австрийской республики, в 90-е годы, когда Люгер с помощью антисемитской кампании сумел стать мэром Вены, христиан-социалы уже заняли типичную двойственную позицию по отношению к евреям в национальном государстве — позицию враждебности к интеллигенции и дружелюбия по отношению к деловым людям из числа евреев. Совсем не случайно, что, когда Австрия, ужавшись до своего немецкого национального компонента, стала национальным государством, они после ожесточенной и кровопролитной схватки с социалистическим рабочим движением за власть захватили государственную машину. Христиан-социалы оказались единственной партией, которая была готова к исполнению этой роли и которая уже в условиях старой монархии сумела завоевать популярность благодаря своему национализму. Поскольку Габсбурги были немецким домом и обеспечивали своим немецким подданным некоторое преобладание, то христиан-социалы никогда не нападали на монархию. Их функция состояла скорее в том, чтобы добиться для, по существу, непопулярного правительства поддержки со стороны значительной части немецкого населения. Их антисемитизм остался без последствий. Те десятилетия, когда Люгер правил Венной, были в действительности своего рода золотым веком для евреев. Вне зависимости от того, насколько далеко заходила иногда их пропаганда, чтобы завоевать голоса, христиан-социалы никогда не могли заявить, как Шённерер и пангерманисты, что они «рассматривают антисемитизм как оплот национальной идеологии, как наиболее существенное выражение действительно всеобщего убеждения и тем самым как основное национальное достижение века»<sup>48</sup>. И хотя христиан-социалы в той же мере, как и антисемитское движение во Франции, находились под влиянием клерикальных кругов, они по необходимости были гораздо более сдержанными в своих нападках на евреев, потому что не атаковали монархию таким же образом, каким антисемиты во Франции атаковали Третью республику.

Успехи и неудачи двух австрийских антисемитских партий показывают, что социальные конфликты не имели большого значения с точки зрения основных проблем эпохи. Завоевание голосов низшего среднего класса было явлением переходящей важности в сопоставлении с делом мобилизации всех оппонентов правительства. Действительно, опорой движения Шённерера были те немецкоязычные провинции, где

<sup>48</sup> Цит. по: Pichl E. Op. cit. Vol. 1. S. 26.

вообще не было еврейского населения, где никогда не существовало конкуренции с евреями или ненависти к еврейским банкирам. Сохранение пангерманистского движения с его яростным антисемитизмом в этих провинциях тогда, когда ослабили его позиции в городских центрах, было связано просто с тем обстоятельством, что эти провинции никогда не достигали такого уровня всеобщего процветания в предвоенный период, какой примирял городское население с правительством.

Полное отсутствие лояльности к своей стране и к ее правительству, которую пангерманисты заменили на открытую лояльность к бисмарковскому рейху, а также следовавшее отсюда представление о национальности как о чем-то независимом от государства и территории, привели группу Шённерера к подлинно империалистической идеологии, в которой заключается разгадка временной слабости этой группы и ее конечной силы. Здесь же следует искать причину того, почему пангерманистская партия в Германии (Alldeutschen), никогда не преступавшая границ ординарного шовинизма, проявляла высшую степень подозрительности в отношении своих австрийских братьев-германистов и не желала принять протянутую ими руку. Австрийское движение стремилось к чему-то большему, чем просто получение власти в качестве партии, чему-то большему, чем обладание государственной машиной. Оно жаждало такого революционного переустройства Центральной Европы, при котором немцы Австрии, вместе и при поддержке со стороны немцев Германии, станут правящим народом, при котором все другие народы региона окажутся в том же состоянии полурабства, в каком были славянские нации в Австрии. В силу такой близости к империализму, а также фундаментальных изменений, привнесенных им в понятие национальности, придется отложить обсуждение австрийского пангерманистского движения. Оно уже не является, по крайней мере по своим последствиям, принадлежащим XIX в. просто подготовительным движением, оно, более чем какая-либо другая разновидность антисемитизма, относится к кругу событий нашего столетия.

Прямо противоположным образом обстоит дело с французским антисемитизмом. История Дрейфуса выявляет все прочие элементы антисемитизма XIX столетия в их сугубо идеологическом и политическом аспектах. Это кульминация антисемитизма, выраставшего из специфических условий национального государства. В то же время острота его формы предвосхищала будущее, так что главные действующие лица как бы осуществляют грандиозную генеральную репетицию того представления, которое пришлось отложить более чем на три десятилетия. Указанное дело воплотило в себе все факторы, явные и подспудные, политические и социальные, что выдвинули «еврейский вопрос» на

столь заметное место в XIX в. Преждевременная вспышка этого дела удержала его вместе с тем в рамках типичной для XIX столетия идеологии, которая хотя и пережила все французские правительства и политические кризисы, но не годилась в полной мере для политических условий XX в. Когда после поражения 1940 г. французский антисемитизм получил свой высший шанс при правительстве Виши, он носил уже совершенно устаревший и с точки зрения масштабных целей довольно бесполезный характер, на что постоянно указывали немецкие нацистские авторы<sup>49</sup>. Он не оказал какого-либо влияния на формирование нацизма, и если и имел какое-то значение, то скорее сам по себе, чем как активный исторический фактор наступившей в конечном счете катастрофы.

Основная причина такой благотворной ограниченности заключалась в том, что антисемитские партии Франции, столь безудержно активные на внутренней сцене, не имели наднациональных притязаний. В конце концов, они были частью наиболее старого и наиболее развитого национального государства Европы. Никто из антисемитов не предпринимал всерьез попытки организовать «партию над всеми партиями» или захватить государство как партия в каких-либо целях, расходящихся с интересами партии. Несколько попыток *coups d'état*, которые могли быть порождены союзом между антисемитами и высшими армейскими офицерами, были до смешного неадекватными и прозрачными по замыслу<sup>50</sup>. В 1898 г. 19 членов парламента были избраны благодаря антисемитским кампаниям, однако то была вершина, которую больше никогда не удавалось достичь и падение с которой было стремительным.

В то же время это был самый ранний случай успеха антисемитизма как катализатора всех иных политических процессов. Данное обстоятельство можно увязать с отсутствием авторитета у Третьей республики, победившей очень незначительным большинством голосов. В глазах масс государство утратило свой престиж вместе с монархией, и нападки на государство уже не воспринимались как святотатство. Ранняя вспышка насилия во Франции являет удивительное сходство с подобным возбуждением в Австрийской и Германской республиках после первой мировой войны. Нацистская диктатура столь часто увязывалась с так называемым поклонением государству, что даже историки в какой-то мере предали забвению тот трюизм, что нацисты воспользовались полным крушением поклонения государству, которое по природе своей связано с поклонением князю, восседающему на троне благодаря

<sup>49</sup> См. прежде всего: *Vernunft W.* Die Hintergründe des französischen Antisemitismus // *Nationalsozialistische Monatshefte*. Juni. 1939.

<sup>50</sup> См. главу четвертую настоящего издания.

милости Бога, и которое крайне редко встречается в республике. Во Франции еще за 50 лет до того, как в центральноевропейских странах было повсеместно утрачено почтение к государству, поклонение государству испытало много потрясений. Здесь нападать совокупно на евреев и государство было гораздо легче, чем в Центральной Европе, где на евреев нападали для того, чтобы подвергнуть нападкам правительство.

Кроме того, французский антисемитизм настолько же старше своих европейских двойников, насколько старше эмансипация евреев во Франции, восходящая к концу XVIII столетия. Представители эпохи Просвещения, подготавливавшие Французскую революцию, презирали евреев и полагали такое отношение естественным делом. Они видели в евреях пережитки «темных веков», а также ненавидели их как финансовых агентов аристократии. Единственными открытыми друзьями евреев во Франции были консервативные писатели, которые осуждали антиеврейские настроения как «одно из излюбленных занятий XVIII в.»<sup>51</sup>. Для какого-нибудь более либерального или радикального автора стало почти традиционным предупреждать о том, что евреи — это варвары, которые по-прежнему живут при патриархальной форме правления и не признают никакого другого состояния<sup>52</sup>. Во время Французской революции и после нее французское духовенство и французские аристократы присоединили свои голоса к общему антиеврейскому хору, хотя и по другим, более материальным причинам. Они обвинили революционное правительство в организации распродажи церковной собственности для того, чтобы оплачивать «евреев и торговцев, которым задолжало правительство»<sup>53</sup>. Эти старые аргументы, каким-то образом сохранявшиеся в ходе бесконечной борьбы между церковью и государством во Франции, поддерживали насилие и озлобление, возникшие вследствие действия в конце столетия иных и более современных сил.

Главным образом из-за сильной клерикальной поддержки антисемитизма французское социалистическое движение приняло наконец решение выступить против антисемитской пропаганды в Истории Дрейфуса. До того времени левые движения во Франции XIX столетия выражали отчетливую антипатию в отношении евреев. Они просто следовали традиции просветительства XVIII в., которое было источником

<sup>51</sup> См.: *Maistre J. M. de.* Les soirées de St. Petersburg. 1821. Vol. 2. P. 55.

<sup>52</sup> См.: *Fourier C.* Nouveau monde industriel. 1829, или: *Fourier C.* Oeuvres complètes. 1841. Vol. 5. P. 421. Об антиеврейских учениях Фурье см. также: *Silberner E.* Charles Fourier on the jewish question // *Jewish Social Studies*. October 1946.

<sup>53</sup> См.: *Le Patriote Français*. № 457. November 8. 1790. Цит. по: *Hoberg C. A.* Die geistigen Grundlagen des Antisemitismus im modernen Frankreich // *Forschungen zur Judenfrage*. 1940. Vol. 4.

французского либерализма и радикализма, и рассматривали антиеврейские установки как составную часть антиклерикализма. Такие настроения левых подкреплялись в первую очередь тем фактом, что эльзасские евреи продолжали жить посредством одалживания денег крестьянам. Эта практика в свое время подтолкнула Наполеона к принятию декрета 1808 г. После того как условия в Эльзасе изменились, левый антисемитизм нашел новый источник силы в связи с финансовой политикой дома Ротшильдов, игравшего заметную роль в деле финансирования Бурбонов, поддерживавшего тесные связи с Луи Филиппом и процветавшего при Наполеоне III. За этими очевидными и довольно поверхностными побудительными мотивами лежала более глубокая причина, имевшая решающее значение для всей структуры специфически французской разновидности радикализма и почти приведшая к тому, чтобы все французское левое движение обратилось против евреев. Позиции банкиров в экономике Франции были значительно сильнее, чем в других странах, а промышленное развитие Франции после кратковременного подъема в период правления Наполеона III заметно отставало от развития других стран, так что докапиталистические социалистические тенденции продолжали быть весьма существенными. Низшие средние классы, проникшиеся в Германии и в Австрии антисемитизмом только в 70-е и 80-е годы, когда они уже отчаялись настолько, что их можно было использовать как в консервативных политических целях, так и в целях новой политики, направленной на мобилизацию толпы, — эти самые классы во Франции были подвержены антисемитизму еще примерно за 50 лет до этого, когда с помощью рабочего класса они привели революцию 1848 г. к кратковременной победе. В 40-е годы, когда Туссеналь опубликовал свое произведение «Les Juifs, Rois de l'Époque», наиболее важную книгу из буквально потока памфлетов, направленных против Ротшильдов, оно было с энтузиазмом встречено всей левой прессой, бывшей в то время органом революционных низших средних классов. Их чувства, как они были выражены Туссеналем, немногим отличались — хотя были хуже оформлены и менее разработаны — от чувств молодого Маркса, а нападки Туссеняля на Ротшильдов являются всего лишь менее талантливой, но более разработанной вариацией писем из Парижа, которые Бёрне написал за 15 лет до этого<sup>54</sup>. Эти евреи также ошибочно считали банкира-еврея

<sup>54</sup> Очерк Маркса по «еврейскому вопросу» достаточно хорошо известен и не нуждается в цитировании. Поскольку высказывания Бёрне в силу их полемического и нетеоретического характера сегодня забываются, приведем выдержку из 72-го письма из Парижа (январь 1832 г.): «Ротшильд поцеловал папе руку... Наконец-то установился порядок, который замыслил Бог, когда творил мир. Бедный христианин целует ноги папы, а богатый еврей целует его руку. Если бы Ротшильд предоставил свой римский заем под 60%

центральной фигурой в капиталистической системе. И данное заблуждение оказывало определенное влияние на муниципальную и низшую правительственную бюрократию во Франции вплоть до наших дней<sup>55</sup>.

Эта вспышка массовых антиеврейских настроений, питавшаяся экономическим конфликтом между евреями-банкирами и их клиентурой, как значимый политический фактор просуществовала не дольше, чем длились подобные вспышки, в основе которых лежали чисто экономические или социальные факторы. Те 20 лет, когда Французской империей правил Наполеон III, были для французского еврейства временем процветания и безопасности во многом подобно тому, как это было в Германии и в Австрии два десятилетия до начала первой мировой войны.

Единственная разновидность французского антисемитизма, которая оставалась сильной и пережила как социальный антисемитизм, так и негативные установки антиклерикальных интеллектуалов, — это та, что была связана с общей ксенофобией. В особенной мере это было видно после первой мировой войны, когда отношение к иностранным евреям задавало стереотип восприятия иностранцев вообще. Различение между евреями-соотечественниками и теми евреями, что «вторглись» в страну с Востока, проводилось во всех западноевропейских и центральноевропейских странах. К польским и русским евреям в Германии и в Австрии относились точно так же, как во Франции — к румынским и немецким евреям, а на евреев из Познани в Германии или из Галиции в Австрии смотрели с таким же снобистским презрением, с каким смотрели на евреев из Эльзаса во Франции. Однако только во Франции данное различие приобрело такое значение во внутренних делах. Вероятно, это связано с тем обстоятельством, что Ротшильды, которые, более чем кто-либо другой, служили мишенью антиеврейских выпадов, иммигрировали во Францию из Германии, так что вплоть до начала второй мировой войны было обычным делом подозревать евреев в симпатиях к врагам нации.

вместо 65% и послал бы кардиналу-казначее более десяти тысяч дукатов, то они бы разрешили ему обнять Святого отца... Разве не было величайшим счастьем для мира низвергнуть всех королей и поместить на трон семейство Ротшильдов?» (*Воетте L. Briefe aus Paris, 1830-1833*).

<sup>55</sup> Такая установка хорошо описана в предисловии муниципального советника Поля Бруссе к знаменитой работе об антисемитизме Чезаре Ломброзо (1899): «Мелкий лавочник нуждается в кредите, а мы знаем, как плохо организован и как дорог кредит в наши дни. И здесь мелкий торговец возлагает ответственность на еврейского банкира. Все, вплоть до рабочих — правда, только тех рабочих, которые не имеют четкого представления о научном социализме, — считают, что революция будет развиваться, если общая экспроприация капиталистов будет предварена экспроприацией еврейских капиталистов, являющихся наиболее типичными капиталистами и имена которых наиболее известны массам» (см.: *Lombroso C. L'Antisemitisme. P., 1899*).

Националистический антисемитизм, безобидный, если сравнивать его с современными движениями, во Франции никогда не был монополией реакционеров и шовинистов. По этому вопросу писатель Жан Жироду, министр пропаганды в кабинете Даладье военной поры, пребывал в полном согласии<sup>56</sup> с Петеном и правительством Виши, которое также, несмотря на все свои старания угодить немцам, не могло вырваться за пределы подобной устаревшей антипатии к евреям. Такая неудача тем более бросалась в глаза, что Франция выдвинула выдающегося антисемита, который понимал весь масштаб и возможности нового оружия. То обстоятельство, что им оказался видный писатель-романист, характерно для условий Франции, где антисемитизм в общем-то никогда не пользовался такой же дурной славой в социальном и в интеллектуальном отношении, как в других европейских странах.

Луи Фердинанд Селин, которому присуща была изобретательность и идеологическое воображение, отсутствовавшее у более рациональных французских антисемитов, придерживался простого тезиса. Он утверждал, что евреи воспрепятствовали эволюции Европы к политическому единству, служили причиной всех европейских войн начиная с 843 г. и замыслили разрушить и Францию, и Германию, возбуждая их взаимную вражду. Селин предложил такое фантастическое объяснение истории в своем произведении «Ecole des Cadavres», написанном во времена Мюнхенского пакта и опубликованном в первые месяцы войны. Более ранний памфлет на эту тему — «Bagatelle pour un massacre» (1938), хотя и не содержал нового ключа к европейской истории, был уже удивительно современным в своем подходе. Здесь отменялись всякие ограничивающие различия между отечественными и иностранными, между плохими и хорошими евреями и не обращалось внимания на разработанные законодательные проекты (что являлось специфической особенностью французского антисемитизма), памфлет прямо приступал к существу дела и выдвигал требование убийства всех евреев.

<sup>56</sup> Для того чтобы увидеть удивительную преемственность во французских антисемитских аргументах, можно сравнить, например, образ еврея Искариота у Шарля Фурье, который приезжает во Францию со 100000 фунтов, обосновывается в городе, где есть шесть конкурентов в его сфере, сокрушает все соперничающие дома, накапливает большое состояние и возвращается в Германию (см.: *Fourier C. Théorie des quatre mouvements*. 1808. P. 88 ff. // *Oeuvres Complètes*), с картиной, которую рисует Жироду в 1939 г.: «Просачиваясь каким-то тайным образом, который я тщетно пытался установить, сотни тысяч ашкенази, бежавшие из польских и румынских гетто, проникли в нашу страну... сгоняя со своих мест наших сограждан и в то же время разрушая их профессиональные обычаи и традиции... а также игнорируя все исследования, связанные с переписью, налогами и трудовой деятельностью» (*Giraudoux J. Pleins pouvoirs*. 1939).

Первая книга Селина была очень благосклонно принята ведущими интеллектуалами Франции, которые отчасти были удовлетворены атакой на евреев, отчасти полагали, что речь идет всего лишь об интересной новой литературной выдумке<sup>57</sup>. В силу тех же самых причин домощенные французские фашисты не воспринимали Селина всерьез, несмотря на то что нацисты всегда знали о том, что он был единственным подлинным антисемитом во Франции. Врожденное здравомыслие французских политиков и их глубоко укорененная респектабельность не позволяли им признать шарлатана и сумасшедшего. В результате даже немцы, которые разбирались, что к чему, должны были продолжать использовать таких неадекватных для соответствующих целей сторонников, как Дорио (последователь Муссолини) и Петен (старый французский шовинист, вовсе не понимавший современных проблем), в своих тщетных усилиях убедить французский народ в том, что уничтожение евреев может послужить средством решить абсолютно все проблемы. То, как складывалась ситуация в годы, когда официальная и даже неофициальная Франция изъявляла готовность сотрудничать с нацистской Германией, наглядно свидетельствует о том, насколько антисемитизм XIX в. был неэффективным с точки зрения новых политических целей века XX, причем даже в стране, где он достиг наивысшего развития и пережил все прочие перемены в общественном мнении. Не помогло и то, что такие способные журналисты XIX столетия, как Эдуард Дрюмон, и даже такие выдающиеся современные писатели, как Жорж Бернанос, вносили свой вклад в дело, которому гораздо более адекватно служили сумасшедшие и шарлатаны.

Как оказалось, решающую роль сыграло то обстоятельство, что во Франции в силу разных причин так и не сложилась полноценная империалистическая партия. Как указывали многие французские колониальные политики<sup>58</sup>, только франко-германский союз мог бы позволить Франции соперничать с Англией в разделе мира и с успехом принять участие в борьбе за Африку. Тем не менее, несмотря на все свои шумные тирады и враждебность по отношению к Великобритании, Франция ни разу не позволила соблазнить себя на участие в таком соперничестве. Франция была и осталась, хотя ее значение и убавлялось, *nation par excellence* на континенте, а ее слабые империалистические поползновения приводили обычно к появлению новых движений за на-

<sup>57</sup> См. прежде всего критическое обсуждение книги Марселем Арланом в «Nouvelle Revue Française» (февраль 1938 г.), который утверждает, что позиция Селина, в своей сущности, «solide». Андре Жид (апрель 1938 г.) считает, что Селин, рисуя только еврейскую «spécialité», преуспел в изображении не реальности, а той самой галлюцинации, которую вызывает реальность.

<sup>58</sup> См., напр.: *Pinon R. France et Allemagne*. 1912.

циональную независимость. Кроме того, поскольку французский антисемитизм питался главным образом чисто национальным франко-немецким конфликтом, то «еврейский вопрос» почти автоматически не мог играть заметной роли в империалистической политике, несмотря на то что ситуация в Алжире с его смешанным населением, состоявшим из местных евреев и арабов, создавала для этого превосходные условия<sup>59</sup>. Беззащитное и грубое разрушение французского национального государства в результате германской агрессии, издевательский германо-французский союз, возникший вследствие германской оккупации и поражения Франции, могли подтвердить, как мало собственных сил привнесла эта *nation par excellence* в нашу эпоху из своего славного прошлого; она не меняла своей сущностной политической структуры.

### 5. Золотой век безопасности

Только два десятилетия отделяли момент временного упадка антисемитских движений от начала первой мировой войны. Этот период был справедливо охарактеризован как «золотой век безопасности»<sup>60</sup>, так как лишь немногие из тех, кто жил в ту пору, ощущали слабость, очевидно присущую устаревшей политической структуре, которая, несмотря на все пророчества о близящемся закате, продолжала функционировать с кажущимся блеском и с необъяснимым монотонным упорством. Рядом друг с другом и, как казалось, с одинаковой стабильностью продолжали держаться анахроничный деспотизм в России, коррумпированная бюрократия в Австрии, тупой милитаризм в Германии и нерешительная, пребывающая в постоянном кризисе республика во Франции, причем все они по-прежнему находились в тени Великобритании с ее мировой мощью. Ни одно из правительств этих государств не пользовалось особой популярностью, все сталкивались с усиливавшейся внутренней оппозицией, однако нигде, как казалось, не проявлялось серьезной политической воли к радикальным изменениям политических условий. Европа была слишком поглощена экономической экспансией для того, чтобы какая-либо нация или социальный слой всерьез относились к политическим вопросам. Все могло идти своим чередом, так как никто ни на что не обращал никакого внимания. Или, как

<sup>59</sup> Некоторые аспекты «еврейского вопроса» в Алжире рассматриваются в моей статье «Why the Crémieux Decree was abrogated» // *Contemporary Jewish Record*. April. 1943.

<sup>60</sup> Определение принадлежит Стефану Цвейгу, который так назвал период перед первой мировой войной (см.: *Zweig S. The world of yesterday: An autobiography*. 1943).

проницательно отмечал Честертон, «все продлевает свое существование посредством отрицания того, что существует»<sup>61</sup>.

Неслыханный рост промышленных и экономических возможностей вел к постоянному ослаблению роли чисто политических факторов в раскладе сил на международной арене, в то время как экономическая мощь приобретала господствующее значение. Мощь воспринималась как синоним экономических возможностей, а затем обнаружилось, что экономический и промышленный потенциалы являются всего лишь ее современными предпосылками. В определенном смысле экономическая мощь могла подчинять себе правительства, так как у них была та же вера в экономику, как и у простых бизнесменов, которым удалось убедить правительства в том, что государственные средства принуждения необходимо использовать исключительно в целях защиты интересов бизнеса и национального достояния. В течение очень короткого периода в известной мере соответствовало истине замечание Вальтера Ратенау о том, что 300 человек, хорошо знающих друг друга, держат в своих руках судьбы мира. Такое весьма своеобразное положение дел сохранялось как раз до 1914 г., когда вследствие самого факта войны разрушилась вера масс в провиденциальный характер экономической экспансии.

Евреи, более чем какая-либо другая часть европейских народов, были введены в заблуждение видимостями золотой эпохи безопасности. Антисемитизм казался делом прошлого. Чем больше правительства утрачивали силу и престиж, тем меньше внимания обращали на евреев. В то время как государство играло все более незначительную и бессодержательную роль в деле представительства, политическое представительство тяготело к тому, чтобы превратиться в своего рода театральный спектакль, исполняемый с той или иной степенью блеска. Дело дошло до того, что в Австрии сам театр превратился в фокус национальной жизни, стал институтом, общественное значение которого очевидно превосходило общественное значение парламента. Театральность политического мира стала столь явной, что театр смог предстать как сфера реального.

Растущее влияние крупного бизнеса на государство, а также ослабление потребности государства в услугах евреев ставили под угрозу существование еврея-банкира и приводили к определенным изменениям в структуре занятий евреев. Первым симптомом упадка еврейских банковских домов была утрата ими престижа и власти в рамках еврейских общин. Они уже не обладали силой, достаточной для того, чтобы

<sup>61</sup> Превосходное описание ситуации в Британии см.: *Chesterton G. K. The return of Don Quixote*. Это произведение появилось только в 1927 г., однако «было задумано и отчасти написано до войны».

осуществлять централизацию и в известной мере монополизировать общее достояние евреев. Все большее число евреев покидали сферу государственных финансов, с тем чтобы заняться самостоятельным делом. Из поставок продовольствия и одежды для армий и правительств выросло новое еврейское занятие — продовольственной и хлебной торговлей, а также швейной промышленностью, в которой евреи вскоре завоевали заметное положение во всех странах. Ломбарды и торгующие всем магазины в местечках и в сельской местности были предшественниками универсагов в крупных городах. Это не означает, что прекратились отношения между евреями и правительствами, однако в эти отношения было вовлечено меньшее количество людей, так что в конце данного периода мы наблюдаем почти ту же картину, как и в начале: несколько евреев, занимающих важные финансовые позиции, имеют слабые отношения (или вообще не имеют) с широкими слоями еврейского среднего класса.

Еще более серьезное значение, чем расширение класса независимых деловых людей из числа евреев, имело другое изменение, происшедшее в структуре профессиональных занятий, — еврейство Центральной и Западной Европы достигло точки насыщения в своем благосостоянии и экономическом преуспевании. Возможно, это был момент, когда евреи могли показать, что они действительно хотели иметь деньги ради денег или ради власти. В первом случае они могли бы расширить свое дело и передавать его наследникам; во втором — они могли бы стремиться более прочно утвердиться в сфере государственного бизнеса и бороться против влияния крупного бизнеса и промышленников на правительства. Однако они не сделали ни того ни другого. Напротив, сыновья преуспевающих бизнесменов и в меньшей степени банкиров отказывались от дела своих отцов ради свободных профессий и чисто интеллектуальных занятий, обратиться к которым евреи предшествующих поколений не могли себе позволить. То, чего так опасалось некогда национальное государство — возникновение еврейской интеллигенции, — сейчас происходило с фантастической быстротой. Особенно заметный наплыв детей евреев в сферу культурных занятий был в Германии и в Австрии, где значительная часть культурных учреждений, таких, как газеты, издательства, консерватории и театр, стали сферой деятельности евреев.

То, что стало возможным благодаря традиционному еврейскому пристрастию и уважению к интеллектуальным занятиям, привело в результате к подлинному разрыву с традицией, а также к интеллектуальной ассимиляции и национализации значительных слоев западноевропейского и центральноевропейского еврейства. В политическом отношении это служило свидетельством эмансипации евреев от опеки го-

сударства, растущего сознания общности своей судьбы с судьбой соотечественников, а также значительного ослабления связей, делавших евреев межъевропейским образованием. В социальном отношении еврейские интеллектуалы были первыми, кто как группа нуждались в принятии в нееврейское общество и стремились к этому. Социальная дискриминация, бывшая чем-то малозначительным для их отцов, которые не стремились к социальному взаимодействию с неевреями, стала важнейшей проблемой для этих людей.

В поисках путей в общество эта группа была вынуждена принять образцы социального поведения, создававшиеся теми отдельными евреями, которые, в виде исключения из правила дискриминации, принимались в общество в течение XIX столетия. Они быстро обнаружили ту силу, которая способна была открыть все двери, ту «сияющую мощь славы» (Стефан Цвейг), которая стала неодолимой благодаря вековому идолопоклонству перед гением. Отличие стремления евреев к славе от общего идолопоклонства перед славой, присущего той эпохе, заключалось в том, что евреи не были заинтересованы в славе в первую очередь для самих себя. Жить в ауре славы было более важно, нежели стать знаменитым. Таким образом, они стали выдающимися рецензентами, критиками, коллекционерами и организаторами того, что было связано со славой. «Сияющая мощь» была чрезвычайно действенной силой, с помощью которой социально бездомные могли устроить себе дом. Другими словами, еврейские интеллектуалы пытались, и в известной мере преуспели в этом, стать живой связью, объединяющей пользующихся славой индивидов в обществе знаменитых, в интернациональное по определению общество — ведь достижения духа выходят за пределы национальных границ. Общее ослабление политических факторов, за два десятилетия приведшее к ситуации, где реальность и кажимость, политическая реальность и театральное представление легко могли пародировать друг друга, сейчас позволяло им стать представителями какого-то призрачного интернационального общества, в котором национальные предрассудки, казалось, уже не имели значения. Довольно парадоксальным образом это интернациональное общество было, по-видимому, единственным, признававшим национализацию и ассимиляцию своих еврейских членов. Для австрийского еврея было гораздо легче быть признанным австрийцем во Франции, чем в Австрии. Призрачное мировое гражданство этого поколения, эта фиктивная национальность, о которой они заявляли, как только упоминалось их еврейское происхождение, отчасти уже походила на те паспорта, которые позднее давали их обладателям право жить в любой стране, кроме той, что выдала эти паспорта.

Данные обстоятельства по самой своей природе не могли не сделать евреев заметными как раз в тот момент, когда их деятельность, их удовлетворенность и счастье в этом мире кажимости указывали на то, что как группа они не стремились в действительности ни к деньгам, ни к власти. В то время как серьезные государственные деятели и публицисты занимались «еврейским вопросом» гораздо меньше, чем в какой-либо период после эмансипации евреев, и в то время как антисемитизм практически полностью исчез с открытой политической сцены, евреи стали символом общества как такового и объектом ненависти всех тех, кого общество не принимало. Антисемитизм, утратив свою опору в тех особых условиях, которые влияли на его развитие в течение XIX столетия, стал делом шарлатанов и сумасшедших, свободно взбивавших ту фантастическую смесь из полуистин и диких предрассудков, которая появилась в Европе после 1914 г. и стала идеологией всех фрустрированных и озлобленных элементов.

Поскольку «еврейский вопрос» в его социальном аспекте выступал как катализатор социального брожения вплоть до того момента, когда дезинтегрированное общество идеологически рекристаллизовалось вокруг возможности массового уничтожения евреев, необходимо обрисовать некоторые основные черты социальной истории эмансипированного еврейства в прошлом столетии.

## Глава третья

### ЕВРЕИ И ОБЩЕСТВО

Политическое невежество евреев, делавшее их столь пригодными для их особой роли и для укоренения в государственном хозяйстве, а также их предрассудки: предубеждение против населения и преклонение перед властями, делавшие их слепыми в плане политической опасности антисемитизма, — все это обусловило сверхчувствительность евреев к любым формам социальной дискриминации. Трудно было увидеть принципиальное различие между политической аргументацией антисемитизма и просто бытовой антипатией, когда они существовали бок о бок. Все дело в том, однако, что они произрастали из прямо противоположных аспектов эмансипации: политический антисемитизм развивался в силу того, что евреи представляли собой отделенное от общества образование, а социальная дискриминация проявлялась вследствие укрепления равноправия евреев со всеми другими группами.

Равенство условий существования, хотя оно и является основным требованием справедливости, относится тем не менее к числу наиболее грандиозных и наименее ясных устремлений современного человечества. Чем более одинаковы условия, тем труднее объяснить те различия, что действительно существуют между людьми. Ведь таким образом все более неравными становятся и индивиды, и группы людей. Это озадачивающее следствие в полной мере стало очевидным, как только равенство перестали рассматривать в соотношении с таким всемогущим существом, как Бог, или в свете общности такой неизбежности судьбы, как смерть. Как только равенство становится фактом мирской жизни как таковой, не соотносимым с каким-либо критерием, посредством которого его можно было бы измерить или объяснить, то лишь один шанс из ста, что этот факт будет признан просто как функциональный принцип определенной политической организации, в рамках которой люди, неравные в иных отношениях, обладают равными правами. Девяносто девять шансов за то, что этот факт будет ошибочно истолкован как врожденное свойство всякого индивида, его считают «нормальным», если он похож на всех других, и «ненормальным», если он оказывается в чем-то отличным. Подобное искаженное превращение равенства из политического в социальное понятие становится особенно опасным, если общество лишь в незначительной мере допускает существование особых групп и индивидов, поскольку в этом случае их отличия становятся особенно приметными.

Значительная проблема для современного периода, причем проблема, несущая особую опасность, заключается в том, что в этот период человек впервые сталкивается с другим человеком в условиях отсутствия защищающих их различий в обстоятельствах и условиях. И как раз это новое понимание равенства сделало столь трудными современные расовые отношения, так как здесь мы имеем дело с естественными различиями, которые нельзя сделать менее заметными никакими возможными или представимыми изменениями условий. Именно потому, что равенство требует, чтобы каждый признавал всех равными себе, конфликты между различными группами, которые в силу своих особых причин не готовы признать друг за другом право на такое сущностное равенство, приобретают столь ужасающе жестокие формы.

Поэтому, чем в большей степени условия существования евреев становились равными с условиями других, тем большее удивление вызывали их отличительные особенности. Это новое обстоятельство вело к негативной социальной реакции на евреев и в то же время обуславливало своеобразную симпатию по отношению к ним. Эти реакции в сочетании определяли социальную историю западного еврейства. Однако и дискриминация, и симпатия были бесплодными в политическом отношении. Они и не вели к появлению политического движения, направленного против евреев, и не могли служить им защитой от врагов. Эти реакции, при всем при том, отравляли социальную атмосферу, извращали все виды социальной коммуникации между евреями и неевреями и оказывали определенное воздействие на поведение евреев. Формирование типичного еврея было связано и с тем и с другим — и с особой дискриминацией, и с особым благоволением.

Социальная антипатия по отношению к евреям, проявлявшаяся в различных формах дискриминации, не причинила значительного политического вреда в европейских странах, поскольку здесь так и не было достигнуто действительного социального и экономического равенства. Новые классы представляли как группы, к которым человек принадлежит по рождению. Нет никакого сомнения, что только в таких обстоятельствах общество могло терпеть то, что евреи составляли особое образование.

Ситуация была бы совершенно иной, если бы, как это было в Соединенных Штатах, равенство в условиях существования было бы чем-то само собой разумеющимся; если бы каждый индивид, вне зависимости от того, к какому слою он принадлежит, был бы твердо убежден, что благодаря способностям и удаче он может стать героем, добившимся успеха. В таком обществе дискриминация становится единственным средством отличия, своего рода всеобщим законом, в соответствии с которым те или иные группы могут оказываться вне сферы, где существует гражданское, политическое и экономическое равенство. Там, где

дискриминация не связана только с еврейским вопросом, она может стать моментом кристаллизации политического движения, стремящегося устранить все естественные трудности и конфликты, присущие многонациональной стране, посредством насилия, власти толпы и вульгарных расовых идей. Один из наиболее многообещающих и в то же время опасных парадоксов Американской республики заключается в том, что она отважилась осуществить равенство в условиях самого неравноценного в физическом и в историческом отношении населения в мире. В Соединенных Штатах социальный антисемитизм может когда-нибудь стать ядром чрезвычайно опасного политического движения<sup>1</sup>. В Европе, однако, социальный антисемитизм оказал незначительное влияние на возникновение политического антисемитизма.

### 1. Между парией и парвеню

Шаткое равновесие между обществом и государством, на котором базировалось в социальном и в политическом отношении национальное государство, привело к появлению своеобразной закономерности, регулирующей доступ евреев в общество. В течение 150 лет, когда евреи действительно жили среди западноевропейских народов, а не просто по соседству с ними, они должны были платить своей политической нищетой за социальную славу и социальными унижениями — за политический успех. Ассимиляция — в смысле принятия нееврейским обществом — оказывалась доступна им только в тех исключительных случаях, когда речь шла о выдающихся людях, которые отличались от еврейской массы, хотя и пребывали в таких же, как и она, ограничивающих и унижительных политических условиях. Позднее это случалось только тогда, когда в условиях происшедшей эмансипации и связанной с ней социальной изоляции политический статус евреев уже ставился под сомнение антисемитскими движениями. Общество, столкнувшись с проблемой по-

<sup>1</sup> Хотя евреи выделялись более, чем иные группы, в рамках однородного населения европейских стран, отсюда не следует, что им более, чем другим группам, угрожает дискриминация в Америке. В действительности до сих пор не евреи, а негры — в силу своей природы и истории наиболее неравноправный народ среди народов Америки — несут бремя социальной и экономической дискриминации.

Все может измениться, если из просто социальной дискриминации когда-нибудь произрастет политическое движение. В этом случае евреи могут совершенно неожиданно стать главным объектом ненависти по той тривиальной причине, что они единственные из всех других групп, кто в своей истории и религии выражает хорошо известный принцип обособленности. Это не относится к неграм или к китайцам, которые находятся в меньшей опасности в политическом отношении, даже несмотря на то, что они в большей степени, чем евреи, отличаются от большинства.

литического, экономического и правового равенства для евреев, совершенно ясно дало понять, что ни один из его классов не был готов обеспечить им равенство в социальном плане и что представители еврейского народа будут приняты только в исключительных случаях. Те евреи, которые слышали этот странный комплимент о том, что они являются исключениями, исключительными евреями, очень хорошо знали, что именно такая двусмысленность, заключающаяся в том, что они суть евреи и в то же время будто бы *не положи* на евреев, открывала для них двери общества. Если они желали вступить в такого рода взаимоотношения, то они пытались «быть и в то же время не быть евреями»<sup>2</sup>.

Этот кажущийся парадокс был прочно укоренен в действительности. Нееврейское общество требовало, чтобы новичок был так же «образован», как оно само, и чтобы он, не ведя себя как «обычный еврей», создавал что-нибудь экстраординарное, поскольку он ведь, в конце концов, еврей. Все сторонники эмансипации призывали к ассимиляции (т.е. приспособлению евреев к обществу и принятию им), которую они считали либо предварительным условием эмансипации евреев, либо ее автоматическим следствием. Другими словами, когда те, кто действительно старался улучшить условия существования евреев, пытался осмыслить еврейский вопрос с точки зрения самих евреев, они во всех случаях сразу начинали рассматривать этот вопрос в его социальном аспекте. Одно из самых неблагоприятных обстоятельств в истории еврейского народа заключалось в том, что только его враги понимали, что еврейский вопрос является политическим вопросом. Этого почти никогда не понимали друзья еврейского народа.

Приверженцы эмансипации тяготели к тому, чтобы представлять данную проблему как проблему «образования», а это понятие первоначально применялось как к евреям, так и к неевреям<sup>3</sup>. Считалось чем-то само собой разумеющимся, что авангард в обоих лагерях должен состоять из специальным образом «образованных», толерантных культурных людей. Отсюда следовало, разумеется, что особенно толерантные, образованные и культурные неевреи могли беспокоиться в социальном плане только об исключительно образованных евреях. На деле требование об устранении предрассудков, высказывавшееся образо-

<sup>2</sup> Данное удивительно меткое замечание было сделано либеральным протестантским теологом Паулюсом в небольшом, но весьма ценном памфлете: *Paulus H. E. G. Die jüdische Nationalabsonderung nach Ursprung, Folgen und Besserungsmitteln*. 1831. Паулюс, подвергавшийся сильной критике со стороны еврейских литераторов, отстаивал идею постепенной эмансипации индивидов на основе ассимиляции.

<sup>3</sup> Эта установка нашла выражение в «Просвещенном мнении» Вильгельма фон Гумбольдта (1809): «Государство должно не столько проповедовать уважение к евреям, сколько должно покончить с бесчеловечным и исполненным предрассудков способом мысли etc...» Цит. по: *Freund I. Die Emancipation der Juden in Preussen*. B., 1912. Bd. 2. S. 270.

ванными людьми, очень скоро получило одностороннюю направленность, пока наконец не превратилось в требование, адресованное только евреям, чтобы они занялись своим образованием.

Это, однако, только одна сторона дела. Евреев побуждали стать образованными, с тем чтобы они не вели себя как обычные евреи, но в то же время их принимали только потому, что они были евреями, в силу их необычной экзотической привлекательности. В XVIII столетии почвой для этого служил новый гуманизм, открыто заявлявший свою потребность в «новом образчике человеческого рода» (Гердер), взаимодействие с которым могло бы служить доказательством того, что все люди являются представителями человечества. Дружба с Мендельсоном или Марком Герцем воспринималась людьми этого поколения как все новое и новое утверждение достоинства человека. А поскольку евреи были презираемым и угнетаемым народом, то они представляли в глазах этого поколения как еще более чистое и в наибольшей степени могущее послужить примером воплощение рода человеческого. Именно Гердер, искренний друг евреев, первым употребил выражение, которое позднее употреблялось и цитировалось неправильно, — «чуждый народ Азии, занесенный в наши края»<sup>4</sup>. Этими словами он и его единомышленники-гуманисты приветствовали тот «новый образчик человеческого рода», в поисках которого XVIII столетие «обшарило землю»<sup>5</sup>, а нашло его в своих извечных соседях. В своей жажде продемонстрировать базисное единство человечества они хотели представить еврейский народ более чуждым по происхождению и потому более экзотическим, чем он был на самом деле, с тем чтобы демонстрация гуманности как всеобщего принципа была еще более эффективной.

В течение нескольких десятилетий на исходе XVIII столетия, когда французское еврейство уже пользовалось плодами эмансипации, а немецкое почти не имело никакой надежды или желания добиваться ее, просвещенная интеллигенция Пруссии «заставила евреев всего мира обратить свои взоры на еврейскую общину в Берлине»<sup>6</sup> (а не в Париже!). Во многом это было связано с успехом «Натана Мудрого» Лессинга или с той его интерпретацией, в соответствии с которой представители «нового образчика человеческого рода» должны ярче представлять человеческие качества<sup>7</sup>, поскольку они стали восприниматься как

<sup>4</sup> *Herder J. G. Über die politische Bekehrung der Juden // Herder J. G. Adrastea und das 18. Jahrhundert*. 1801–1803.

<sup>5</sup> *Herder J. G. Briefe zur Beförderung der Humanität*. 1793–1797. 40 Brief.

<sup>6</sup> *Priebatsch F. Die Judenpolitik des fürstlichen Absolutismus im 17 und 18 Jahrhundert // Forschungen und Versuche zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit*. 1915. S. 646.

<sup>7</sup> Сам Лессинг не питал подобных иллюзий. Его последнее письмо Моисею Мендельсону отчетливо отразило его желания: «наиболее краткий и надежный путь к европейской

образцовые примеры человечества. Эта идея оказала сильное влияние на Мирабо, и он обычно приводил Мендельсона в качестве своего образца<sup>8</sup>. Гердер надеялся, что образованные евреи покажут, что они в большей степени свободны от предрассудков, так как «еврей свободен от некоторых политических представлений, от которых нам очень трудно или невозможно избавиться». Протестуя против присущей эпохе привычки «предоставлять новые торговые привилегии», он указывал на образование как на истинный путь эмансипации евреев от иудаизма, «от старых и гордых национальных предрассудков... от привычек, не согласующихся с нашим временем и укладом» и способных служить «развитию наук и всей культуры человечества»<sup>9</sup>. Приблизительно в это же время Гёте в рецензии на одну книгу стихотворений писал, что ее автор, польский еврей, «не достиг большего, чем какой-либо христианин *étudiant en belles lettres*», и сетовал, что там, где ожидал найти нечто подлинно новое, нечто, выходящее за пределы мелких условностей, он обнаружил обычную посредственность<sup>10</sup>.

Вряд ли можно преувеличить значение разрушительного влияния этой чрезмерной доброй воли на вновь вестернизированных, образованных евреев, а также воздействия, которое она оказала на их социальную и психологическую ситуацию. Они не только столкнулись с деморализующим требованием стать исключением по отношению к своему собственному народу, признать «резкое отличие между собой и другими», а также просить о том, чтобы подобное «отделение... было легализовано» правительствами<sup>11</sup>. От них даже ожидали того, чтобы они стали исключительным образчиком человечества. А поскольку лишь такое поведение, а не обращение того же Гейне, служило истинным «входным билетом» в культурное европейское общество, то что еще оставалось этим и будущим поколениям евреев, как только предпринимать отчаянные усилия с тем, чтобы никого не разочаровать?<sup>12</sup>

стране без христиан и без евреев». Об отношении Лессинга к евреям см.: *Mehring F. Die Lessinglegende*. 1906.

<sup>8</sup> См.: *Mirabeau H. Q. R. de. Sur Moses Mendelssohn*. L., 1788.

<sup>9</sup> *Herder J. G. Über die politische Bekehrung der Juden // Herder J. G. Op.cit.*

<sup>10</sup> *Goethe J. W. von. Isachar Falkensohn Behr «Gedichte eines polnischen Juden»*. Mietau; Leipzig, 1772 // *Frankfurter Gelehrte Anzeigen*.

<sup>11</sup> *Schleiermacher F. Briefe bei Gelegenheit der politischen theologischen Aufgabe und des Sendschreibens jüdischer Hausväter, 1799 // Werke*. 1846. Abt. 1. Bd. 5. S. 34.

<sup>12</sup> Данное утверждение не относится, однако, к Мозесу Мендельсону, которому вряд ли были известны размышления Гердера, Гёте, Шлейермахера и других представителей более молодого поколения. Мендельсона почитали за его уникальность. Его твердая приверженность своей еврейской религии делала для него невозможным окончательный разрыв с еврейским народом, что было обычным делом для тех, кто шел за ним. Он ощущал себя «частью угнетенного народа, который должен просить о доброй воле и защите у правящего народа» (см. его «Письмо Лафатеру», 1770: *Mendelssohn M.*

В течение десятилетий в начале этого процесса вхождения в общество, когда ассимиляция еще не стала традицией, которой слепо следуют, а была чем-то достигаемым немногими и исключительно одаренными индивидами, она действительно срабатывала очень хорошо. В то время как Франция была страной политической славы для евреев, первой страной, признавшей их гражданами, Пруссии, казалось, суждено было стать страной, где они достигнут социального блеска. Просвещенный Берлин, где Мендельсон установил тесные связи со многими знаменитыми людьми своего времени, был только началом. Его связи с нееврейским обществом во многом еще напоминали узы учености, которые объединяли еврейских и христианских ученых почти во все периоды европейской истории. Новым и неожиданным элементом было то, что друзья Мендельсона использовали эти отношения не в личных, а в идеологических и даже политических целях. Он сам открыто отмежевывался от всяких подобных сокрытых мотивов и неоднократно выражал свое полное удовлетворение условиями, в которых ему приходилось жить, как если бы предвидел, что его исключительный социальный статус и свобода имели отношение к тому обстоятельству, что он по-прежнему принадлежал к «низшим обитателям владений (пруссского короля)»<sup>13</sup>.

Такое безразличие к политическим и гражданским правам пережило время невинных отношений Мендельсона с учеными и просвещенными людьми его эпохи. Оно было перенесено позднее в салоны тех еврейских женщин, которые собирали самое блестящее общество, когда-либо виденное Берлином. Лишь после поражения Пруссии 1806 г., когда вве-

*Gesammelte Schriften*. Bd. 7. B., 1930). Это значит, что он всегда знал о том, что чрезвычайное уважение к нему существовало параллельно с чрезвычайным презрением к его народу. Поскольку он, в отличие от евреев последующих поколений, не разделял этого презрения, то не считал себя исключением.

<sup>13</sup> Пруссия, которую Лессинг описывал как «наиболее порабощенную страну Европы», для Мендельсона была «государством, где один из мудрейших князей, которые когда-либо правили людьми, способствовал расцвету искусств и наук, сделал свободу мысли в стране столь всеобщей, что ее благотворные последствия достигли даже низших обитателей его владений». Такая смиренная удовлетворенность трогательна и удивительна, если вспомнить о том, что «мудрейший князь» сделал чрезвычайно затруднительным для этого еврейского философа получение права на проживание в Берлине и в то время, когда его *Münzjuden* пользовались всеми привилегиями, он даже не предоставил ему постоянного статуса «протекционированного еврея». Мендельсон осознавал также, что его, друга всей образованной Германии, обложат особым налогом — налогом на быка, ведомого на рынок, — если ему захочется посетить своего друга Лафатера в Лейпциге. Однако ему не приходило в голову сделать какие-либо политические выводы относительно возможности улучшить подобные условия (см. «Письмо Лафатеру»: *Mendelssohn M. Op. cit.* и его предисловие к своему переводу: *Mendelssohn M. Vorrede zur Uebersetzung von Menasseh ben Israel «Rettung der Juden»*, 1782 // *Mendelssohn M. Gesammelte Schriften*. Leipzig, 1843–1845. Bd. 3).

дение законодательства Наполеона во многих регионах Германии сделало вопрос об эмансипации евреев предметом дискуссии в обществе, такое безразличие сменилось неприкрытым страхом. Эмансипация ведь освобождает образованных евреев вместе с «отсталым» еврейским народом, а это равенство отбросит то драгоценное различие, на котором, как они очень хорошо понимали, базировался их социальный статус. Когда эмансипация наконец свершилась, большинство ассимилированных евреев прибегли к обращению в христианство, примечательным образом находя возможным и неопасным быть евреем до эмансипации, но не после.

Наиболее репрезентативным из таких салонов, собиравших в Германии действительно смешанное общество, был салон Рахели Варнгаген. Ее оригинальный, непредвзятый и неординарный ум в сочетании с всепоглощающим интересом к людям и с подлинно страстной натурой делали ее наиболее блестящей и интересной из этих еврейских женщин. Скромные, но знаменитые *soirées* в «мансарде» у Рахели сводили вместе «просвещенных» аристократов, интеллектуалов, принадлежащих к среднему классу, а также актеров, т.е. всех тех, кто, подобно евреям, не относился к респектабельному обществу. Салон Рахели, так сказать по определению и по интенции, располагался на грани общества и не разделял его условностей и предрассудков.

Забавно наблюдать, насколько близко ассимиляция евреев в обществе следовала предписаниям, которые Гёте предложил для образования своего героя в романе «Вильгельм Мейстер», которому было суждено стать великим наставлением в воспитании среднего класса. В этой книге юный бюргер воспитывается дворянами и актерами, так что он может научиться тому, как подать и представить себя, свою индивидуальность и тем самым продвинуться от скромного статуса бюргерского сына к тому, чтобы стать дворянином. Для средних классов и для евреев, т.е. для тех, кто в действительности был вне высшего аристократического общества, все зависело от «личности» и от способности выразить ее. Казалось, наиболее важным было уметь играть роль того, кем человек действительно был. То примечательное обстоятельство, что в Германии еврейский вопрос считался вопросом образования, было тесно связано с потребностью раннего старта в жизни и имело своим следствием образованное филистерство как еврейских, так и нееврейских средних классов, а также то, что евреи потоком устремились в свободные профессии.

Очарование ранних берлинских салонов заключалось в том, что здесь ничто, кроме личности человека, а также уникального своеобразия характера, таланта и способности их выражения, не имело действительного значения. Такое уникальное своеобразие, делавшее возможным почти неограниченную коммуникацию и безграничную близость

между людьми, не могло быть возмещено ни чином, ни деньгами, ни успехом, ни литературной славой. Краткий период, в который были возможны встречи подлинных личностей, такие, как встречи князя из рода Гогенцоллернов Луи Фердинанда с банкиром Абрахамом Мендельсоном, политического публициста и дипломата Фридриха Генца с писателем сверхмодной тогда романтической школы Фридрихом Шлегелем (если называть некоторых из наиболее знаменитых посетителей «мансарды» Рахели), закончился в 1806 г., когда, по выражению хозяйки, это уникальное место встречи «потерпело крушение подобно кораблю, содержащему высшее наслаждение жизни». Интеллектуалы-романтики стали антисемитами вместе с аристократами, и хотя это ни в коем случае не означало, что та или иная группа отказалась от всех своих еврейских друзей, исчезли непринужденность и блеск.

Действительный поворотный пункт в социальной истории немецких евреев наступил не в год прусского поражения, а два года спустя, когда в 1808 г. правительство приняло муниципальный закон, предоставлявший евреям все гражданские, но не политические права. По мирному договору 1807 г. Пруссия вместе со своими восточными провинциями потеряла большую часть своего еврейского населения. Евреи, оставшиеся на ее территории, в любом случае были «защищенными евреями», т.е. они уже пользовались гражданскими правами в форме индивидуальных привилегий. Муниципальная эмансипация лишь легализовала эти привилегии и пережила декрет об общей эмансипации 1812 г. Пруссия, получив вновь после поражения Наполеона Познань и проживавшие там еврейские массы, практически аннулировала декрет 1812 г., который мог означать предоставление политических прав даже бедным евреям, но сохранила нетронутым муниципальный закон.

Эти декреты об окончательной эмансипации вкуче с утратой провинций, в которых проживало большинство прусских евреев, имели колоссальные социальные последствия, хотя и не имели большого политического значения с точки зрения действительного улучшения статуса евреев. До 1807 г. защищенные евреи Пруссии насчитывали лишь примерно 20 процентов всего еврейского населения. К тому времени, когда вышел декрет об эмансипации, защищенные евреи образовывали большинство в Пруссии и было оставлено лишь 10 процентов «иностранцев евреев» для контраста. Уже не было той беспроблемной нищеты и отсталости, на фоне которых столь выгодно выделялись «евреи исключения» с их богатством и образованием. И этот фон, имевший столь существенное значение как основа для оценки социального успеха и для психологического самоуважения, уже никогда не стал тем, чем он был до Наполеона. Даже когда в 1816 г. были

возвращены польские провинции, евреи, уже имевшие статус «защищенных евреев» (зарегистрированные сейчас как прусские граждане иудейского вероисповедания), все же составляли более 60 процентов всего еврейского населения<sup>14</sup>.

С социальной точки зрения это означало, что у оставшихся в Пруссии евреев уже не было того первоначального фона, в соотношении с которым они воспринимались бы как исключение. Сейчас они сами образовывали такой фон, причем уменьшившийся, и индивиду, для того чтобы хоть как-то выделиться, приходилось прилагать двойные усилия. «Евреи исключения» вновь стали не исключением из, а просто евреями, представителями презираемого народа. Столь же неблагоприятными были и социальные последствия правительственного вмешательства. Не только классы, занимавшие антагонистические по отношению к правительству позиции и поэтому откровенно враждебные к евреям, но и все слои общества в той или иной степени стали осознавать, что евреи, с которыми они имели дело, были не столько индивидуальными исключениями, сколько членами определенной группы, в чью пользу государство было готово принимать исключительные меры. А это было как раз то, чего всегда опасались «евреи исключения».

Берлинское общество покидало еврейские салоны с неслыханной быстротой, и к 1808 г. эти места встреч были замещены другими — в домах титулованной бюрократии и высшего среднего класса. На примере любой из многочисленных переписок того времени можно видеть, что интеллектуалы, так же как и аристократы, начали направлять свое презрение к восточноевропейским евреям, им почти не знакомым, против образованных евреев Берлина, которых они знали очень хорошо. Эти последние уже никогда не достигнут того самоуважения, что проистекает из коллективного осознания своей исключительности. Отныне каждому предстояло доказывать, что хотя он и еврей, но все же не еврей. Будет уже недостаточно выделяться на фоне более или менее неизвестной массы своих «отсталых братьев». Если индивид желал, чтобы его могли приветствовать как исключение, ему необходимо было выделяться на фоне «еврея как такового» и тем самым на фоне народа как целого.

Социальная дискриминация, а не политический антисемитизм обнаружила фантом «еврея как такового». Первый автор, который провел различие между индивидуальным евреем и «евреем вообще, евреем везде и нигде», был никому не известный публицист, написавший в 1802 г. едкое сатирическое произведение о еврейском обществе и его жажде образования — волшебной палочки, открывающей путь к общему социальному признанию. Евреи изображались как «принцип» общест-

<sup>14</sup> См.: *Silbergleit H. Die Bevölkerungs- und Berufsverhältnisse der Juden im Deutschen Reich. Bd. 1. B., 1930.*

ва филистеров и выскочек<sup>15</sup>. Это довольно вульгарное литературное произведение не только с удовольствием читалось многими известными посетителями салона Рахели, но и опосредованно вдохновило великого романтического поэта Клеменса фон Brentано написать очень остроумное произведение, где филистер вновь отождествлялся с евреем<sup>16</sup>.

Вместе с ранней идиллией смешанного общества исчезло нечто, чему уже никогда, ни в одной другой стране и ни в какую другую эпоху не суждено было повториться. Никогда вновь ни одна социальная группа не принимала евреев с таким великодушием разума и легкостью сердца. Та или иная группа была обычно дружелюбна по отношению к евреям или потому, что была приятно возбуждена своей собственной отвагой и «испорченностью», или в знак протеста против превращения своих соотечественников в парий. Но париями евреи становились как раз там, где переставали быть политическими и гражданскими изгоями.

Важно помнить о том, что ассимиляция как групповой феномен в действительности существовала только среди европейских интеллектуалов. Не случайно, что первый образованный еврей, Мозес Мендельсон, был также первым, кто, несмотря на низкий гражданский статус, был принят в нееврейское общество. Придворные евреи и их наследники, еврейские банкиры и бизнесмены на Западе, никогда в социальном плане не признавались за своих, да они и не стремились покидать узкие пределы своего невидимого гетто. Сначала они, как все простодушные выскочки, гордились тем, что поднялись из такой беспросветной нужды и нищеты. Позднее, когда на них нападали со всех сторон, они были заинтересованы в нищете и даже отсталости масс, так как это стало аргументом в их пользу, признаком их собственной безопасности. Медленно и с опасениями они вынужденно отходили от наиболее строгих требований еврейского закона, никогда не отказываясь полностью от религиозных традиций, и в то же время еще более настоятельно требовали ортодоксальности от еврейских масс<sup>17</sup>. Процесс исчезновения автономии еврей-

<sup>15</sup> Получившему широкую известность памфлету Граттенауэра (*Grattenauer C. W. F. Wider die Juden. 1802*) предшествовал еще в 1791 г. его же памфлет «Ueber die physische und moralische Verfassung der heutigen Juden. Stimme eines Kosmopoliten», в котором уже указывалось на растущее влияние евреев в Берлине. Хотя на ранний памфлет была помещена рецензия в «Allgemeine Deutsche Bibliothek», 1792. Bd. 112, почти никто никогда его не читал.

<sup>16</sup> «Der Philister vor, in und nach der Geschichte» Клеменса Brentано было написано для так называемого Christlich-Deutsche Tischgesellschaft, знаменитого клуба писателей и патриотов, основанного в 1808 г. для борьбы с Наполеоном, и прочитано в нем (см.: *Brentano C. von. Der Philister vor, in und nach der Geschichte. 1811*).

<sup>17</sup> Так, в 1820-е годы Ротшильды отказали в крупной дотации своей родной общине во Франкфурте в целях противодействия влиянию реформаторов, которые хотели, чтобы

ских общин не только побуждал их к большему рвению в деле защиты еврейских общин от властей, но и усиливал стремление использовать помощь государства в управлении этими общинами, так что фраза о «двойной зависимости» бедных евреев, «как от правительства, так и от своих богатых братьев», действительно отражала реальность<sup>18</sup>.

Еврейские нотабли (как их называли в XIX столетии) правили еврейскими общинами, но не принадлежали к ним ни социально, ни даже географически. В определенном смысле они были столь же вне еврейского общества, сколь и вне нееврейского. Сделав блестящие индивидуальные карьеры и получив значительные привилегии от своих хозяев, они образовали своего рода общину людей, являющихся исключениями (из правил еврейской жизни) с ограниченными в высшей степени социальными возможностями. Их, естественно, презирало придворное общество, у них отсутствовали деловые связи с нееврейским средним классом, их социальные контакты настолько же лежали вне сферы законов общества, насколько независимым от современных им экономических условий было их экономическое возвышение. Такая изоляция и независимость зачастую порождали у них ощущение силы и чувство гордости, иллюстрацией чего может служить следующий анекдот, который рассказывали в начале XVIII в.: «Некий еврей... когда один благородный и образованный врач мягко попрекнул его за то, что он гордится (еврейством), несмотря на то что среди евреев нет князей и они не участвуют в управлении государством... ответил высокомерно: «Мы не князья, но мы правим ими»<sup>19</sup>.

Такая гордыня практически является противоположностью классового высокомерия, которое очень медленно развивалось среди привилегированных евреев. Правя своим собственным народом как абсолютные государи, они все же ощущали себя *primi inter pares*. Они больше гордились тем, что считались «почетным раввином всех евреев» или «князем

еврейские дети получали общее для всех образование (см.: Jost J. M. *Neuere Geschichte der Israeliten*. 1815–1845. B., 1846. Bd. 10. S. 102).

<sup>18</sup> Jost J. M. *Op.cit.* Bd. 9. S. 38. — Придворные евреи и богатые еврейские банкиры, следовавшие по их стопам, никогда не стремились покинуть еврейскую общину. Они выступали как ее представители и защитники от властей. Им часто предоставлялась официальная власть над общинами, которыми они управляли издалека, так что прежняя автономия подрывалась и разрушалась изнутри еще задолго до того, как она была упразднена национальным государством. Первым придворным евреем с монархическими устремлениями по отношению к своей собственной «нации» был еврей из Праги, поставщик провианта для Мориса Саксонского в XVI в. Он требовал, чтобы все раввины и главы общин избирались из членов его семейства (см.: Bondy-Dworsky. *Geschichte der Juden in Boehmen, Maehren und Schlesien*. Prague, 1906. Bd. 2. S. 727). Практика установления придворных евреев в качестве диктаторов в их общинах стала общей в XVIII столетии, а за ней последовала практика правления «нотаблей» в XIX в.

<sup>19</sup> Schudt J. J. *Jüdische Merkwürdigkeiten*. Frankfurt a. M., 1715–1717. Bd. 4. Annex 48.

Святой земли», нежели всеми титулами, которые им могли предложить их хозяева<sup>20</sup>. До середины XVIII столетия они все согласились бы с одним голландским евреем, сказавшим: «*Neque in toto orbi alicui nationi inservimus*», и ни тогда, ни затем они бы не поняли до конца ответ «ученого христианина»: «Но ведь это означает счастье лишь для немногих. Народ, рассматриваемый как *согро* (*sis*), везде преследуется, не имеет самоуправления, подвластен чужому правлению, не обладает мощью и достоинством, а также странствует по всему миру, повсюду чужой»<sup>21</sup>.

Классовое высокомерие появилось только тогда, когда установились отношения между государственными банкирами различных стран, а затем последовали браки между членами ведущих семейств, кульминацией же явилось образование международной кастовой системы, до толе неизвестной в еврейском обществе. Это тем более бросалось в глаза посторонним наблюдателям, что происходило в тот момент, когда старые феодальные сословия и касты быстро преобразовывались в новые классы. Отсюда делали очень неверное заключение, что еврейский народ является пережитком средних веков, и не видели того, что эта новая каста совсем недавнего происхождения. Ее образование завершилось только в XIX в., и включала она в количественном отношении, вероятно, не более сотни семейств. Но поскольку они были на виду, то весь еврейский народ стали считать кастой<sup>22</sup>.

Поэтому, сколь бы велика ни была роль придворных евреев в политической истории и их значение с точки зрения зарождения антисемитизма, социальная история могла бы легко оставить их без внимания, если бы не тот факт, что определенные психологические свойства и образцы поведения были общими для них и для еврейских интеллектуалов, которые обычно были, в конце концов, сыновьями бизнесменов. Еврейские нотабли хотели господствовать над еврейским народом и потому не желали покидать его, а для еврейских интеллектуалов было характерно желание покинуть свой народ и быть принятыми в общество. И те и другие разделяли чувство, что являются исключениями, и это чувство в полной мере соответствовало суждениям их окружения. Богатые «евреи исключения» воспринимали себя как исключение из обычной судьбы еврейского народа и признавались правительствами как исключительно полезные люди. Образованные «евреи исключения» воспринимали себя как исключение из еврейского народа и как исключительных людей, и таковыми их признавало общество.

<sup>20</sup> Stern S. *Jud Suess*. B., 1929. S. 18.

<sup>21</sup> Schudt J. J. *Op. cit.* Bd. 1. S. 19.

<sup>22</sup> Христиан Фридрих Рюз определяет весь еврейский народ как «касту торговцев» (*Ruehs C. F. Über die Ansprüche der Juden auf das deutsche Bürgerrecht // Zeitschrift für die neueste Geschichte der Völker und Staatenkunde*. B., 1815).

Ассимиляция, доходила ли она до крайностей обращения или нет, никогда не представляла собой реальную угрозу выживанию евреев<sup>23</sup>. Приветствовали ли их или отвергали, это происходило потому, что они были евреями, и они это хорошо понимали. Первые поколения образованных евреев еще искренне хотели утратить свою идентичность евреев, и Бёрне писал с огромной горечью: «Некоторые попрекают меня тем, что я еврей, некоторые хвалят меня за это, другие прощают меня, однако все думают об этом»<sup>24</sup>. Воспитанные по-прежнему на идеях XVIII в., они мечтали о стране, в которой не будет ни христиан, ни иудеев. Они посвящали себя науке и искусствам и бывали глубоко оскорблены, когда узнавали, что правительства предоставляли всяческие привилегии и почести еврейским банкирам, но обрекали еврейских интеллектуалов на голодное существование<sup>25</sup>. Обращение, к которому в начале XIX в. подталкивал страх оказаться в одной куче с еврейскими массами, теперь стало необходимостью для добывания хлеба насущного. Подобное вознаграждение за слабость характера заставило целое поколение уйти в непримиримую оппозицию по отношению к государству и обществу. Представители «нового образчика человеческого рода», если они чего-то стоили, все становились бунтарями, а поскольку наиболее реакционные правительства того времени поддерживались и финансировались еврейскими банкирами, то их бунт был особенно яростен по отношению к официальным представителям их собственного народа. Антиеврейские высказывания Маркса и Бёрне нельзя как следует понять, если не рассматривать их в свете этого конфликта между богатыми евреями и еврейскими интеллектуалами.

Данный конфликт, однако, в полной мере проявился только в Германии и не пережил антисемитское движение того столетия. В Австрии до конца XIX в. не было еврейской интеллигенции, о которой стоило бы говорить, тем не менее, как только она появилась, она неожиданно ощутила всю силу антисемитского давления. Эти евреи, подобно своим состоятельным собратьям, предпочитали довериться защите монархии Габсбургов и начали становиться социалистами лишь после первой ми-

<sup>23</sup> Примечательным, хотя и малоизвестным, фактом является то, что ассимиляция как программа гораздо чаще вела к обращению, чем к смешанным бракам. К сожалению, статистика скорее скрывает, чем обнаруживает этот факт, потому что она рассматривает все союзы между обращенными и необращенными партнерами-евреями как смешанные браки. Мы знаем, однако, что было много семейств в Германии, которые, будучи крещеными на протяжении многих поколений, оставались чисто еврейскими. Это объясняется тем, что крещеный еврей очень редко оставлял свое семейство и еще более редко вообще покидал свое еврейское окружение. Еврейская семья в любом случае оказывалась большей охранительной силой, чем еврейская религия.

<sup>24</sup> Boerne L. Briefe aus Paris. 1830–1833. 74-е письмо. Февраль 1832.

<sup>25</sup> Boerne L. Op. cit. 72-е письмо.

ровой войны, когда к власти пришла социал-демократическая партия. Наиболее значительным, хотя и не единственным исключением из этого правила был Карл Краус, последний представитель традиции Гейне, Бёрне и Маркса. Обличения Крауса в адрес еврейских бизнесменов, с одной стороны, и еврейского журнализма как организованного культа славы, с другой, были, вероятно, еще более суровыми, чем обличения его предшественников, потому что он находился в гораздо большей изоляции в своей стране, где не существовало еврейской революционной традиции. Во Франции, где декрет об эмансипации пережил все смены правительств и режимов, еврейские интеллектуалы, чья численность была весьма незначительна, не являлись предтечами какого-то нового класса, не играли они и особо важной роли в интеллектуальной жизни. Культура, как таковая, образование как программа не формировали образцы поведения евреев так, как это происходило в Германии.

Ни в одной другой стране не было ничего подобного тому имевшему столь решающее значение для истории германских евреев короткому периоду действительно свершившейся ассимиляции, когда подлинный авангард народа не только принял евреев, но даже проявил удивительное стремление объединиться с ними. Никогда такая установка не исчезала полностью в немецком обществе. До самого конца можно было проследить следы этой установки, и это, конечно, свидетельствует о том, что отношения с евреями никогда не получали окончательной определенности. В лучшем случае все это оставалось программой, в худшем — необычным и волнующим опытом. Хорошо известное высказывание Бисмарка о «немецких жеребцах, которых следует спарить с еврейскими кобылами», является всего лишь наиболее вульгарным выражением преобладавшей точки зрения.

И совершенно естественно, что такая социальная ситуация, хотя она и превращала первых образованных евреев в бунтарей, должна была в конечном счете привести скорее к появлению специфического вида конформизма, чем к эффективной бунтарской традиции<sup>26</sup>. Приспособившись к обществу, которое осуществляло дискриминацию по отношению к «обычным» евреям и в котором в то же время образованному еврею в общем было легче попасть в светские круги, чем нееврею, находившемуся в сходных условиях, евреи должны были четко отмежевываться от «евреев вообще» и столь же четко давать понять, что они являются евреями. Ни при каких обстоятельствах им не позволялось просто раствориться в среде своих соседей. С целью каким-то образом рацио-

<sup>26</sup> «Сознательный пария» (Бернар Лазар) — вот единственная утвердившаяся бунтарская традиция, хотя те, кто к ней принадлежал, вряд ли осознавали ее существование (см.: Arndt H. The Jew as pariah. A hidden tradition // Jewish Social Studies. Vol. 6. № 2. 1944).

нализировать двусмысленность, ими самими полностью не понимаемую, они могли делать вид, что являются «людьми на улице и евреями дома»<sup>27</sup>. В действительности это вело их к ощущению своего отличия от людей на улице, поскольку они были евреями, и отличия от других евреев дома, поскольку они не были похожи на «обычных евреев».

Образцы поведения ассимилированных евреев, определяемые таким постоянным концентрированным усилием отличиться, создал тип еврея, который узнаваем повсюду. Евреи более не определялись национальностью или религией, вместо этого они трансформировались в социальную группу, чьи члены разделяли определенные психологические атрибуты и реакции, совокупность которых образует, как предполагалось, «еврейскость». Другими словами, иудаизм стал психологическим качеством, а еврейский вопрос стал сложной личной проблемой для каждого конкретного еврея.

В своем трагическом усилии приспособиться посредством дифференциации и дистинкции новый еврейский тип имел столь же мало общего с «евреем вообще», которого чурались, как и с той абстракцией — «наследник пророков и вечный проводник справедливости на земле», — которую призывала на помощь еврейская апологетика в тех случаях, когда нападали на того или иного еврейского журналиста. Еврей апологетов наделялся атрибутами, действительно являющимися привилегией парии и которыми в реальности обладали некоторые еврейские бунтари, жившие на границе общества, — человечностью, добротой, свободой от предрассудков, чувствительностью к несправедливости. Беда заключалась в том, что эти качества не имели никакого отношения к пророкам, а также в том, и это было еще хуже, что такие евреи не принадлежали ни к еврейскому обществу, ни к светским кругам нееврейского общества. В истории ассимилированного еврейства они играли весьма незначительную роль. В то же время «еврей вообще», каким его изображали профессиональные ненавистники евреев, являл те качества, которые должен приобрести парвеню, если он желает преуспеть, — бесчеловечность, жадность, высокомерие, раболопное подбострастие и решимость пробиться. В данном случае беда заключалась в том, что эти качества также не имеют никакого отношения к национальным свойствам. Более того, евреи, относящиеся к подобным типам делового класса, проявляли мало склонности к нееврейскому обществу, а в еврейской социальной истории играли почти столь

<sup>27</sup> Не лишено иронии, что эта блестящая формулировка, которая может служить девизом западноевропейской ассимиляции, была предложена русским евреем и впервые опубликована на иврите. Она восходит к стихотворению на иврите Иуды Лейба Гордона: *Nakitzah ami*, 1863. См.: *Dubnow S. M. History of the Jews in Russia and Poland* (перевод с русского). Philadelphia, 1918. Vol. 2. P. 228 ff.

же незначительную роль. До тех пор, пока существуют народы и классы, подвергаемые поношению, в каждом поколении с удивительной монотонностью будут заново появляться люди с качествами парвеню и парии, и происходить это будет и в еврейском, и во всяком другом обществе.

Для характера социальной истории евреев в рамках европейского общества XIX в. решающее значение имело то обстоятельство, что в известной мере каждый еврей в каждом поколении должен был когда-нибудь принимать решение, остаться ли ему парией и вообще пребывать вне общества, или стать парвеню, или приспособливаться к обществу на деморализующем условии, состоявшем не столько в том, чтобы скрывать свое происхождение, сколько в том, чтобы «вместе с тайной своего происхождения выдавать и тайну своего народа»<sup>28</sup>. Этот последний путь был трудным, так как подобных тайн не существовало и их нужно было выдумать. С тех пор как потерпела неудачу уникальная попытка Рахели Варнхаген устроить какую-то социальную жизнь вне официального общества, пути парии и парвеню в равной мере вели к крайнему одиночеству, а путь конформизма был путем, вызывающим постоянное раскаяние. Так называемая сложная психология среднего еврея, которая в некоторых благоприятных случаях развивалась в чувствительность очень современного толка, проистекала из двусмысленной ситуации. Евреи одновременно испытывали сожаление парии по поводу того, что он не стал парвеню, и угрызения совести парвеню в связи с тем, что он предал свой народ и обменял равные права на личные привилегии. Одно было достоверно: если человек хотел избежать всяких двусмысленностей социального существования, то ему следовало примириться с тем, что быть евреем — значит принадлежать или к сверхпривилегированному высшему классу, или к лишенной привилегии массе, к которой в условиях Западной и Центральной Европы можно было принадлежать только посредством интеллектуальной и не-сколькo искусственной солидарности.

Социальные судьбы средних евреев определялись их вечной неспособностью принять решение. А общество определенно не принуждало их сделать выбор, поскольку именно такая двойственность ситуации и двойственность их характера делали привлекательными отношения с евреями. Большинство ассимилированных евреев жили, таким образом, в полумраке удач и злосключений и с достоверностью знали лишь о том, что как успех, так и неудачи были нерасторжимо связаны с тем фактом, что они евреи. Для них еврейский вопрос утратил раз и навсегда всякое политическое значение. Но тем более тиранически он вторгался в их частную жизнь и оказывал воздействие на принятие лич-

<sup>28</sup> Эта формулировка была выработана Карлом Краусом приблизительно в 1912 г. (см.: *Kraus K. Untergang der Welt durch schwarze Magie*. 1925).

ных решений. Выражение: «Человек на улице и еврей дома» — стало горькой реальностью: политические проблемы превращались во что-то буквально извращенное, когда евреи пытались решить их посредством внутреннего опыта и частных эмоций. Приватная жизнь корежилась вплоть до полной бесчеловечности — например, в вопросе смешанных браков, — когда тяжкое бремя нерешенных проблем общественного характера втискивалось в пределы частного существования, которое гораздо легче управляется непредсказуемыми законами страсти, чем посредством рассчитанной политики.

Было совсем нелегко не напоминать «еврея вообще» и в то же время оставаться евреем, делать вид, что ты не похож на евреев и при этом достаточно отчетливо показывать, что ты еврей. Средний еврей, не являвшийся ни парвеню, ни «сознательным парией» (Бернар Лазар) мог только делать упор на свое бессодержательное чувство отличия, продолжавшее получать различное интерпретационное наполнение со всеми его психологическими нюансами и вариациями от внутренней отстраненности до социального отчуждения. Пока мир был более или менее спокойным, такая установка срабатывала неплохо и для целых поколений превратилась в *modus vivendi*. Концентрация на искусственно усложненной внутренней жизни помогала евреям соответствовать необоснованным требованиям общества, быть чем-то незнакомым и волнующим, развит в себе известную непосредственность самовыражения и самопредставления, что изначально было свойствами актера и виртуозов, т.е. людей, которых общество всегда наполовину отвергало и которыми всегда наполовину восхищалось. Ассимилированные евреи, наполовину гордившиеся и наполовину стыдившиеся своей еврейскости, очевидно, находились в этой категории.

Процесс, в ходе которого буржуазное общество, развиваясь, уходило от руин своих революционных традиций и воспоминаний, привело к тому, что к экономической сытости и общему безразличию к политическим вопросам добавилась и черная тень скуки. Евреи стали людьми, с чьей помощью, как надеялись, можно было скоротать некоторое время. Чем в меньшей степени их воспринимали как равных, тем более привлекательными и интересными они становились. Буржуазное общество в своих поисках развлечений и в своем страстном интересе к индивиду, отличающемуся, как полагают, от нормы человека, обнаружило привлекательность всего, что можно было бы считать таинственной испорченностью или тайным пороком. И именно такие взбудораженные предпочтения открывали евреям двери общества. Ведь в рамках этого общества еврейскость, после того как она была искажена до состояния психологического качества, могла быть извращенно искажена до состояния порока. Подлинная терпимость и любопытство ко все-

му человеческому, свойственные Просвещению, замещались нездоровой тягой к экзотическому, ненормальному и иному как таковым. Несколько типов в обществе один за другим представляли экзотическое, аномальное, иное, однако ни один из них ни в малейшей степени не был связан с политическими вопросами. Таким образом, только роль евреев в этом разлагающемся обществе могла приобрести масштабы, выходящие за узкие рамки забавы общества.

Прежде чем мы проследуем причудливыми путями, ведущими «евреев исключения», этих знаменитых и печально известных незнакомцев в салоны Сен-Жерменского предместья во Франции *fin-de-siècle*, мы должны вспомнить единственного великого человека, который был порождением самообмана, выработанного «евреями исключения». Создается впечатление, что всякая заурядная идея имеет шанс достичь по крайней мере в одном индивиду того, что раньше называлось историческим величием. Великим человеком «евреев исключения» был Бенджамин Дизраэли.

## 2. Могущественный кудесник<sup>29</sup>

Бенджамина Дизраэли, чей главный интерес в жизни заключался в карьере лорда Биконсфилда, отличали две вещи: во-первых, дар богов, нами, современными людьми, банально называемый удачей, но в другие времена почитавшийся как богиня по имени Фортуна, и, во-вторых, необъяснимо интимно и чудодейственно связанная с Фортуной великая беспечная наивность разума и воображения, делающая невозможным назвать этого человека карьеристом, хотя он ни о чем, кроме карьеры, всерьез не думал. Его наивность побуждала его признать, насколько глупо будет ощущать себя *déclassé* и насколько волнительнее для него самого и для окружающих, насколько полезнее для его карьеры будет подчеркивать «посредством отличия в одежде, своеобразия прически, а также причудливых способов выражения и многоречия»<sup>30</sup> тот факт, что он еврей. Он более, чем какой-либо другой еврейский интеллигент, стремился быть принятым в высшее и в самое высшее общество, однако он был единственным среди них, кто знал, как не упустить удачу — это подлинное чудо для парии, — и кто знал с самого начала, что никогда не следует сгибаться, если желаешь «двигаться все выше и выше».

<sup>29</sup> Заголовок раздела позаимствован из очерка о Дизраэли сэра Джона Склетона, относящегося к 1867 г. См.: *Monypenny W. F., Buckle G. E. The life of Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield. N.Y., 1929. Vol. 2. P. 292-293.*

<sup>30</sup> *Lazaron M. S. Seed of Abraham. «Benjamin Disraeli». N.Y., 1930. P. 260 ff.*

Он играл в игру политики как играет актер в театральном представлении, с тем исключением, что он играл свою роль настолько хорошо, что своим собственным притворством убеждал самого себя. Его жизнь и его карьера читаются как сказка, где он выступает как принц, дарящий романтический голубой цветок — в данном случае первоцвет империалистической Англии — своей принцессе, короле Англии. Британские колониальные владения были сказочной, волшебной страной, над которой никогда не заходит солнце, а ее столицей был азиатский Дели, куда принц хотел убежать со своей принцессой из туманного прозаического Лондона. Это могло бы выглядеть глупо и детски, но когда жена пишет своему мужу, как написала своему мужу леди Биконсфилд: «Вы знаете, что женились на мне из-за денег, а я знаю, что если бы Вам пришлось сделать это вновь, то Вы сделали бы это из-за любви»<sup>31</sup>, то замолкаешь перед лицом счастья, противоречащего всем правилам. Человек продал душу дьяволу, но дьявол не захотел взять душу, а боги одарили его всем возможным на земле счастьем.

Дизраэли происходил из полностью ассимилированной семьи. Его отец, просвещенный джентльмен, крестил сына, поскольку хотел, чтобы у него были такие же возможности, как и у обычных смертных. У Дизраэли было мало связей с еврейским обществом, и он ничего не знал о еврейской религии и обычаях. Еврейскость для него с самого начала была фактом происхождения, который можно приукрашивать по своему усмотрению, не будучи сдерживаемым действительным знанием. В результате он рассматривал этот факт во многом так же, как его мог бы рассматривать нееврей. Он гораздо более отчетливо, чем другие евреи, осознавал, что быть евреем — это в такой же мере шанс, как и препятствие. А поскольку, в отличие от своего простого и скромного отца, он хотел ничуть не меньше, чем стать простым смертным, но и ничуть не больше, чем «возвыситься над всеми своими современниками»<sup>32</sup>, то он начал формировать свой образ так, что со своими «оливковым цветом лица и черными как уголь глазами», с «могучим, как храм — разумеется, не христианским — лбом, он был не похож ни на одно живое существо, которое когда-либо встречалось»<sup>33</sup>. Он инстинктивно знал, что все зависит от «барьера между ним и простыми смертными», от подчеркивания своей приносящей удачу «необычности».

<sup>31</sup> Samuel H. B. *The psychology of Disraeli* // *Modernities*. L., 1914.

<sup>32</sup> Дж. А. Фруд так завершает свою биографическую работу «Лорд Биконсфилд»: «Цель, с которой он начал, заключалась в том, чтобы возвыситься над всеми современниками, и сколь бы дикими ни казались такие амбиции, он в конце концов сорвал ставку, из-за которой играл столь по-крупному» (см.: *Froude J. A. Lord Beaconsfield*. L., 1890).

<sup>33</sup> Данное описание принадлежит сэру Джону Склетону. Цит. по: *Monypenny W. F., Buckle G. E. The life of Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield*.

Все это свидетельствует об исключительном понимании общества и его правил. Не случайно именно Дизраэли сказал: «То, что является преступлением для массы, для немногих всего лишь порок»<sup>34</sup>. Возможно, данное высказывание и есть проникновение в тот самый принцип, в силу которого свершалось медленное и злое сползание общества XIX столетия к состоянию толпы и ниже. Так как он знал об этом правиле, то знал также и о том, что у евреев нигде не будет лучших шансов, чем в кругах, претендующих на исключительность и в то же время стремящихся к дискриминации евреев. Ведь хотя эти избранные круги вместе с массой считали еврейскость преступлением, для некоторых немногих это «преступление» в любой момент могло трансформироваться в привлекательный «порок». Демонстрация Дизраэли экзотичности, необычности, таинственности, волшебства и мощи, питаемых тайными источниками, была правильно сориентирована на такую установку в обществе. И именно его виртуозность в социальной игре побудила его сделать выбор в пользу консервативной партии, принесла ему место в парламенте, пост премьер-министра и, наконец, что очень немаловажно по значению, завоевала ему постоянное восхищение общества и дружбу королевы.

Одной из причин его успеха была искренность в его игре. Впечатление, производимое им на его более непредубежденных современников, — это впечатление человека, в котором причудливо смешиваются актерство и «абсолютная искренность и откровенность»<sup>35</sup>. Такое могло достигаться только благодаря подлинной наивности, отчасти имеющей источник в воспитании, из которого было исключено всякое специфически еврейское влияние<sup>36</sup>. Вместе с тем чистая совесть Дизраэли была связана также и с тем, что он родился англичанином. Англия не знала еврейских масс и еврейской нищеты, поскольку она приняла их столетия спустя после того, как они были согнаны со своих мест в средние века. Португальские евреи, которые осели в Англии в XVIII в., были состоятельными и образованными. Вплоть до конца XIX в., когда погромы в России положили начало современным еврейским эмиграциям, в Лондоне не появлялась еврейская нищета, а вместе с ней не появлялось различие между еврейскими массами и их состоятельными соплеменниками. Во времена Дизраэли здесь не было еврейского вопроса в его континентальном облики — в Англии жили только те евреи, чьих правительством приветствовалось. Другими словами, английские «евреи исключения» не осознавали себя в качестве исключения, как это

<sup>34</sup> *Disraeli B. Tancred*. 1847.

<sup>35</sup> *Skleton J.* Цит. по: *Monypenny W. F., Buckle G. E.* Op. cit.

<sup>36</sup> Дизраэли сам сообщает: «Я не воспитывался среди представителей моей расы, — и во мне взращивали серьезные предубеждения против них». О его семейном окружении см. в первую очередь: *Caro J. Benjamin Disraeli, Juden und Judentum* // *Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums*. 1932. Jahrgang 76.

делали их братья на континенте. Когда Дизраэли высмеивал «вредное учение новых времен об естественном равенстве людей»<sup>37</sup>, он сознательно шел по стопам Бёрка, «предпочитавшего права англичан правам человека», и игнорировал действительную ситуацию, где привилегии для немногих заменили права для всех. Он в такой мере не был осведомлен о реальных условиях существования еврейского народа и был в такой мере убежден в значительности «влияния еврейской расы на современные сообщества», что открыто требовал, чтобы евреям «северными и западными расами оказывался весь почет и покровительство, которыми у цивилизованных и развитых народов должны удостаиваться те, кто очаровывает общественный вкус и возвышает общественные чувства»<sup>38</sup>. Так как политическое влияние евреев в Англии было сосредоточено вокруг английской ветви Ротшильдов, он был очень горд помощью Ротшильдов в деле победы над Наполеоном и не видел каких-либо причин для того, чтобы не выражать свои политические взгляды в качестве еврея<sup>39</sup>. Как крещенный, он, разумеется, никогда не был официальным представителем какой-либо еврейской общины, однако остается верным то, что он был единственным евреем из евреев своего разряда и своего века, кто стремился по мере возможности представлять еврейский народ в политическом отношении.

Дизраэли, никогда не отрицавший того, что «фундаментальный факт (относительно него) заключается в том, что он еврей»<sup>40</sup>, восхищался всем еврейским. Равным такому восхищению было только его невежество в этих делах. Однако смещение гордости и невежества в них было характерно для всех вновь ассимилировавшихся евреев. Серьезное различие состоит в том, что Дизраэли знал о прошлом и настоящем евреев еще меньше прочих и поэтому отваживался открыто высказывать то, что у других лишь смутно угадывалось в лишь отчасти осознанных образцах поведения, диктуемых страхом и высокомерием.

Политический итог способности Дизраэли оценивать возможности евреев мерками политических притязаний нормальных людей носил более серьезный характер. Он почти автоматически создал целый набор теорий относительно влияния и организации евреев, которые мы обычно находим в наиболее злобных формах антисемитизма. Прежде всего, он действительно считал себя «избранным человеком избранной расы»<sup>41</sup>. И разве можно найти лучшее доказательство, чем его собственная карьера: еврей без имени и без богатств, которому помогали

лишь несколько еврейских банкиров, вознесся до положения первого человека Англии, один из не самых любимых членов парламента стал премьер-министром и завоевал подлинную популярность среди тех, кто в течение длительного периода «считали его шарлатаном и относились к нему как к парии»<sup>42</sup>. Политический успех сам по себе никогда не удовлетворял его. Для него было гораздо труднее и гораздо важнее быть принятым в лондонское общество, чем покорить палату общин, и определенно большим триумфом было стать членом обеденного клуба Грильона — «в избранный круг которого было принято включать восходящих политиков обеих партий и из которого неуклонно исключались нежелательные в социальном отношении люди»<sup>43</sup>, — чем быть министром Ее Величества. Восхитительно неожиданной кульминацией всех этих сладостных триумфов явилась искренняя дружба королевы. А монархия в Англии хотя и утратила большинство своих политических прерогатив в строго подотчетном конституционном национальном государстве, но приобрела и удерживала безусловное верховенство в английском обществе. Оценивая величие триумфа Дизраэли, следует вспомнить о том, что лорд Роберт Сесил, один из его видных коллег по консервативной партии, еще считал нужным году в 1850 оправдывать какие-то свои особенно резкие нападки на него ссылкой на то, что «он просто высказывает публично то, что все говорят о Дизраэли в приватной обстановке»<sup>44</sup>. Самая большая победа Дизраэли заключалась в том, что в конце концов никто уже не говорил в приватной обстановке ничего, что не польстило и не доставило бы ему удовольствия, если бы было высказано публично. Именно такого уникального взлета к подлинной популярности добился Дизраэли с помощью политики, использующей только возможности и выдвигающей на передний план только преимущества того обстоятельства, что он родился евреем.

Составной частью удачи Дизраэли был тот факт, что он всегда соответствовал своему времени, и, как следствие этого, его многочисленные биографы понимали его лучше, чем это обычно бывает в случае с большинством великих людей. Он был живым воплощением тщеславия, этой могучей страсти, развившейся в век, который внешне не допускал каких-либо отличий и различий. В любом случае Карлейль, интерпретировавший всю мировую историю в соответствии с идеалом героя XIX столетия, был явно не прав, когда отказывался принять титул из рук Дизраэли<sup>45</sup>. Ни один из современников не соответствовал представле-

<sup>37</sup> *Disraeli B. Lord George Bentinck. A political biography. L., 1852. P. 496.*

<sup>38</sup> *Ibid. P. 491.*

<sup>39</sup> *Ibid. P. 497 ff.*

<sup>40</sup> *Monypenny W. F., Buckle G. E. Op. cit. P. 1507.*

<sup>41</sup> *Samuel H. B. Op. cit.*

<sup>42</sup> *Monypenny W. F., Buckle G. E. Op. cit. P. 147.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Статья Роберта Сесила появилась в наиболее авторитетном органе тори «Quarterly Review» (см.: *Monypenny W. F., Buckle G. E. Op. cit. P. 19–22.*)

<sup>45</sup> Это произошло уже в 1874 г. Карлейль, как рассказывают, назвал Дизраэли «проклятым евреем», «худшим человеком, который когда-либо жил» (см.: *Caro J. Op. cit.*)

ниям Карлейля о героях столь полно, как Дизраэли, презиравший величие как таковое, не сопряженное с какими-либо особыми достижениями. Ни один человек не отвечал столь точно требованиям, предъявляемым поздним XIX в. к живым гениям, как этот шарлатан, воспринимавший свою роль всерьез и игравший великую роль Великого Человека с неподдельной naïveté, демонстрируя огромный набор фантастических трюков и завораживающий артистизм. Политики влюблялись в шарлатана, превращавшего скучные деловые обязанности в нечто подобное сновидениям с восточным привкусом, а когда общество учуяло аромат черной магии в умных деяниях Дизраэли, «могущественный кудесник» на самом деле завоевал сердце эпохи.

Честолюбивое стремление Дизраэли отличаться от других смертных и его страстное желание попасть в аристократическое общество были типичными для средних классов его эпохи и страны. Не политические соображения и не экономические мотивы, а его мощные социальные амбиции побудили его присоединиться к консервативной партии и проводить политику, при которой всегда «виги избирались в качестве объекта вражды, а радикалы — в качестве союзников»<sup>46</sup>. Ни в какой другой европейской стране средние классы не достигали того уровня самоуважения, что позволил бы их интеллигенции примириться со своим социальным статусом, в результате чего аристократия могла продолжать занимать определяющие позиции на социальной шкале, уже утратив всякое политическое значение. Несчастный немецкий мещанин открыл свою «внутреннюю личность» в своей отчаянной борьбе против кастового высокомерия, проистекавшего из упадка дворянства и из необходимости защищать аристократические титулы от буржуазных денег. Смутные теории крови и строгий контроль за браками — относительно недавние явления в истории европейской аристократии. Дизраэли гораздо лучше, чем немецкие мещане, знал, что было нужно для того, чтобы соответствовать требованиям аристократии. Все попытки буржуазии достичь высокого социального статуса не могли одолеть аристократическое высокомерие, поскольку речь шла об усилиях индивидов и не затрагивался наиболее важный элемент кастового тщеславия — гордость привилегией, дарованной просто в силу рождения. «Внутренняя личность» никогда не могла отрицать, что ее развитие требовало образования и особых усилий со стороны индивида. Когда Дизраэли «мобилизовал гордость расы для противостояния гордости касты»<sup>47</sup>, он знал, что социальный статус евреев, что бы еще ни говорилось о нем, как минимум, полностью зависел от факта рождения, а

<sup>46</sup> См. статью лорда Солсбери в «Quarterly Review», 1869.

<sup>47</sup> Raymond E. T. Disraeli. The alien patriot. L., 1925. P. 1.

не от достижений. Дизраэли сделал еще один, даже более далеко идущий шаг. Он знал, что аристократия, вынужденная год за годом наблюдать, как значительное число богатых представителей среднего класса покупает титулы, испытывает серьезные сомнения относительно своей собственной ценности. Он поэтому нанес им поражение в их собственной игре, используя свое довольно банальное и стандартное воображение для того, чтобы бесстрашно писать, что англичане «произошли от расы-парвеню, гибридной расы, а он сам продукт самой чистой крови в Европе», что «жизнь британского пэра регулировалась главным образом арабскими законами и сирийскими обычаями», что «еврейка является царицей небес» или что «цвет еврейской расы даже сейчас восседает по правую руку Господа Бога Саваофа»<sup>48</sup>. А когда он в конце концов написал, что «на деле уже нет аристократии в Англии, поскольку превосходство животного человека является существенным качеством аристократии»<sup>49</sup>, он в действительности задел самый слабый пункт современных аристократических расовых теорий, которые позднее стали отправным моментом буржуазных и новоявленных расовых представлений.

Иудаизм и принадлежность к еврейскому народу выродились в простой факт рождения только среди ассимилированного еврейства. Первоначально все это означало особую религию, особую национальность, наличие совместных особых воспоминаний и особых надежд, а также означало, даже среди привилегированных евреев, по крайней мере сохранение совместных особых экономических возможностей. Секуляризация и ассимиляция еврейской интеллигенции изменили самосознание и самоинтерпретацию таким образом, что от старых воспоминаний и надежд не осталось ничего, кроме сознания принадлежности к избранному народу. Дизраэли, не единственный, разумеется, «еврей исключения», веривший в свою собственную избранность без веры в Него, Того, Кто избирает и отвергает, был единственным, создавшим, исходя из этих пустых представлений об определенной исторической миссии, развернутую расовую доктрину. Он был готов утверждать, что семитский принцип «представляет все, что есть духовного в нашей природе», что «заключения истории находят свое фундаментальное разрешение — все есть раса», являющаяся «ключом к истории» независимо от «языка и религии», поскольку «есть только одна вещь, образующая расу, и это кровь», а также есть только одна аристократия — «аристократия природы», которая образуется «несмешанной расой, обладающей первоклассной организацией»<sup>50</sup>.

<sup>48</sup> Samuel H. B. Op. cit.; Disraeli B. Tancred; Disraeli B. Lord George Bentinck, соответственно.

<sup>49</sup> См.: Disraeli B. Coningsby. 1844.

<sup>50</sup> См.: Disraeli B. Lord George Bentinck и романы Endymion (1881) и Coningsby.

Нет нужды подчеркивать близость всего этого к более современным расовым теориям, и открытие Дизраэли является еще одним доказательством того, насколько хорошо они служат для борьбы с чувством социальной неполноценности. Ведь хотя расовые доктрины послужили в конечном итоге более зловещим и непосредственно политическим целям, все же верно, что их правдоподобие и убедительность были во многом обусловлены тем, что в силу «расовой» характеристики они помогали всякому чувствовать себя аристократом, избранным благодаря самому факту рождения. То обстоятельство, что эти новые избранные не принадлежали к элите, не относились к немногим избранным — что в конечном итоге образует существенный момент гордости дворянина, — а должны были разделять избранность с все возрастающей толпой, не наносило серьезного вреда доктрине, поскольку число принадлежащих к избранной расе возрастало в той же пропорции.

Расовые теории Дизраэли были в такой же мере результатом его исключительного понимания правил общества, как и продуктом специфического характера секуляризации ассимилированного еврейства. Дело не только в том, что еврейская интеллигенция оказалась захваченной общим процессом секуляризации, которой в XIX столетии уже не были свойственны ни революционная притягательность, присущая Просвещению, ни вера в независимое, уверенное в своих возможностях человечество, и потому она оказалась беззащитной перед происходящей трансформацией некогда искренних религиозных верований в предрассудки. Еврейская интеллигенция оказалась также подверженной влиянию еврейских реформаторов, стремившихся превратить национальную религию в определенную религиозную деноминацию. Для этого они должны были преобразовать два базисных элемента иудейского благочестия — мессианскую надежду и веру в избранность Израиля. И они изгоняли из иудейских молитвенников видения окончательного восстановления Сиона вкупе с благочестивым ожиданием дня в конце дней, когда придет к концу изоляции еврейского народа от народов земли. Без мессианской надежды идея избранности означала вечную изоляцию, без веры в избранность, наделяющей один особый народ миссией искупления мира, мессианская надежда истончилась до расплывчатой филантропии и универсализма, которые стали столь характерными чертами специфически еврейского политического энтузиазма.

Решающий момент еврейской секуляризации состоял в том, что идея избранности отделялась от мессианской надежды, в то время как в иудейской религии эти два элемента являются двумя аспектами плана Бога по искуплению человечества. Из мессианской надежды выросло устремление к окончательному решению политических проблем, призванному устроить на земле ничуть не меньше, чем рай. Из верова-

ния относительно избранности Богом произрастало фантастическое заблуждение, разделяемое в равной мере и неверующими евреями и неевреями, насчет того, что евреи по своей природе умнее, лучше, здоровее, более приспособлены для выживания, являются двигателями истории и солью земли. Вдохновенное мечтание еврейских интеллектуалов о рае на земле, мечтание, столь уверенно утверждающее свободу от всяких национальных привязанностей и предрассудков, свидетельствовало в действительности о том, что они еще более далеки от политической реальности, чем их отцы, молившиеся о приходе Мессии и о возвращении их народа в Палестину. В то же время сторонники ассимиляции, убедившие себя и без связи с какой-либо энтузиастической надеждой в том, что они соль земли, таким нечестивым тщеславием были отгорожены от других наций в еще большей степени, чем их отцы были отгорожены оградой Закона, которая, как благочестиво уповали, отделяла Израиль от язычников, но должна была рухнуть в дни пришествия Мессии. Именно это тщеславие «евреев исключения», бывших слишком «просвещенными» для веры в Бога и достаточно суеверными для того, чтобы, исходя из своего повсеместно исключительного положения, верить в себя, разрушило прочные связи благочестивой надежды, соединявшие Израиль с остальным человечеством.

Секуляризация поэтому привела в конце концов к тому парадоксу, игравшему столь решающую роль в психологии современных евреев, посредством которого их ассимиляция — при том, что она упраздняла национальное сознание, трансформировала национальную религию в конфессиональную деноминацию, а также реагировала на противоречивые и двусмысленные требования государства и общества посредством столь же двусмысленных приемов и трюков, — породила самый настоящий шовинизм, если под шовинизмом понимать извращенный национализм, при котором (говоря словами Честертона) «индивид сам является объектом поклонения, индивид выступает как свой собственный идеал и даже свой собственный идол». Отныне старое религиозное представление об избранности уже не образовывало сущность иудаизма, оно стало вместо этого сутью еврейскости.

Этот парадокс нашел свое самое яркое и очаровательное воплощение в Дизраэли. Он был английским империалистом и еврейским шовинистом. Однако нетрудно простить шовинизм, который был скорее игрой воображения, так как при всем том «Англия была Израилем его воображения»<sup>51</sup>, и нетрудно также простить его английский империализм, имевший столь мало общего с односторонней решительностью экспансии ради экспансии, поскольку он, в конце концов, «никогда не

<sup>51</sup> Skleton J. Цит. по: *Monypenny W. F., Buckle G. E. Op. cit.*

был законченным англичанином и гордился этим»<sup>52</sup>. Все эти любопытные противоречия, столь отчетливо свидетельствующие о том, что могущественный кудесник никогда не воспринимал самого себя совершенно всерьез и всегда играл какую-то роль с целью завоевать общество и приобрести популярность, усиливают его уникальное очарование, они сообщают элемент шарлатанского энтузиазма всем его высказываниям и грезам, что делает его совершенно отличным от его империалистических последователей. Ему достаточно повезло в том, что он грезил и действовал в эпоху, когда Манчестер и бизнесмены еще не завладели имперской мечтой и даже резко и яростно выступали против «колониальных авантюр». Его суеверная вера в кровь и расу, к которым он примешивал старые романтические народные побасенки о могучей сверхъестественной связи между золотом и кровью, не несла в себе и намек на возможные убийства, будь то в Африке, Азии или в самой Европе. Он начинал как не слишком одаренный писатель и остался интеллектуалом, и лишь удача сделала его членом парламента, лидером своей партии, премьер-министром и другом королевы Англии.

Представления Дизраэли о роли евреев в политике восходят к тому времени, когда он еще был просто писателем и не начинал своей политической карьеры. Его идеи, относящиеся к этой сфере, не были поэтому результатом действительного опыта, но он придерживался их с удивительной цепкостью на протяжении всей своей дальнейшей жизни.

В своем первом романе «Альрой» (1833) Дизраэли разработал план еврейской империи, в которой евреи будут править в качестве строго обособленного класса. Этот роман свидетельствует о влиянии расхожих иллюзий о властных возможностях евреев, а также о невежестве молодого автора относительно действительных властных отношений в его эпоху. Одиннадцать лет спустя политический опыт, приобретенный в парламенте и в общении с видными людьми, научил Дизраэли тому, что «цели евреев, какими бы они ни были прежде и какими бы они ни стали потом, в его время были весьма далеки от утверждения политической самостоятельности в какой-либо форме»<sup>53</sup>. В своем новом романе «Конингсби» он отказался от мечты о еврейской империи и развернул фантастическую схему, в соответствии с которой еврейские деньги определяют взлет и падение дворов и империй и безраздельно господствуют в сфере дипломатии. Никогда он уже не отказывался от этого второго представления относительно скрытого и таинственного влияния избранных людей избранной расы, заменившего его прежнюю мечту об открыто утвердившейся таинственной касте прави-

<sup>52</sup> Samuel H. B. Op. cit.

<sup>53</sup> Monypenny W. F., Buckle G. E. Op. cit. P. 882.

телей. Это стало стержнем его политической философии. В противоположность столь почитаемым им еврейским банкирам, предоставлявшим правительствам займы и зарабатывавшим комиссионные, Дизраэли, бывший внешним наблюдателем, не мог взять в толк, как это люди, повседневно имеющие дело с подобными властными возможностями, могут не стремиться к власти. Он не мог понять, как это еврейский банкир мог испытывать еще меньший интерес к политике, чем его нееврейские коллеги. Для Дизраэли было чем-то само собой разумеющимся, что еврейское богатство было лишь средством еврейской политики. Чем больше он узнавал о хорошо налаженной организации еврейских банкиров в деловой сфере, а также о носившем международный характер обмене новостями и информацией, тем больше он убеждался в том, что имеет дело с чем-то вроде тайного общества, держащего — при том, что никто не знает об этом, — судьбы мира в своих руках.

Хорошо известно, что вера в наличие еврейского заговора, осуществляемого тайным обществом, обладала наибольшей ценностью с точки зрения антисемитской пропаганды и оказалась намного более живучей, чем традиционные европейские предрассудки относительно ритуальных убийств и отравления колодцев. Преследуя прямо противоположные цели и в то время, когда уже никто всерьез не говорил о тайных обществах, Дизраэли пришел к идентичным умозаключениям. И это имеет большое значение, поскольку показывает, в какой мере подобные выдумки обязаны своим происхождением социальным мотивам и обидам и насколько правдоподобнее, чем куда более тривиальная истина, они объясняют мировые события, политическую и экономическую деятельность. В глазах Дизраэли, как и в глазах многих менее известных и уважаемых шарлатанов, вся политическая игра разыгрывается тайными обществами. Не только евреи, но и всякая другая группа, влияние которой не было связано с политической организацией или которая находилась в оппозиции ко всей социальной и политической системе, воспринимались им как закулисные силы. В 1863 г. он считал, что является свидетелем «борьбы между тайными обществами и европейскими миллионерами. Пока побеждал Ротшильд»<sup>54</sup>. А также что «естественное равенство людей и упразднение собственности провозглашаются тайными обществами»<sup>55</sup>. Уже в 1870 г. он еще мог всерьез говорить о силах «под поверхностью» и искренне верить в то, что «тайные общества и их международная деятельность, Римская церковь с ее притязаниями и методами, вечный конфликт между наукой и верой» активно определяют ход человеческой истории<sup>56</sup>.

<sup>54</sup> Ibid. P. 73. В письме миссис Бриджес Вильямс от 21 июля 1863 г.

<sup>55</sup> Disraeli B. Lord George Bentinck. A political biography. P. 497.

<sup>56</sup> Disraeli B. Lothair. 1870.

Невероятная naïveté Дизраэли заставляла его соединять все эти «тайные» силы с евреями. «Первые иезуиты были евреями; эта таинственная русская дипломатия, которая столь тревожит Западную Европу, организуется и осуществляется евреями; эта могучая революция, которая в настоящий момент готовится в Германии и которая в действительности будет второй и более крупной Реформацией... развивается под покровительством евреев... Люди еврейской расы обнаруживаются во главе всякой из (коммунистических и социалистических) групп. Народ Бога сотрудничает с атеистами, наиболее умелые накопители собственности объединяются с коммунистами, особая и избранная раса протягивает руки подонкам общества и низшим кастам Европы! И все это потому, что они хотят разрушить это неблагодарное христианство, которое обязано им даже своим именем и тиранию которого они уже больше не желают терпеть»<sup>57</sup>. В воображении Дизраэли мир стал еврейским.

В таком поразительном заблуждении уже предвосхищается самая изобретательная выдумка гитлеровской пропаганды — о тайном союзе между евреем-капиталистом и евреем-социалистом. Нельзя при этом отрицать, что вся схема, какой бы надуманной и фантастичной она ни была, обладала определенной собственной логикой. Если исходить, как это делал Дизраэли, из посылки, что еврейские миллионеры являются вершителями еврейской политики; если учитывать унижения, которым евреи подвергались в течение столетий (при всей их реальности еврейская апологетическая пропаганда неизменно глупым образом преувеличивала их); если быть свидетелем нередких случаев, когда сын еврейского миллионера становился лидером рабочего движения, и если знать по опыту, насколько крепки, как правило, узы еврейской семьи, то образное предположение Дизраэли относительно мщения христианским народам не представлялось чрезмерным. Истина заключалась, конечно, в том, что сыновья еврейских миллионеров тяготели к левым движениям как раз потому, что их отцы-банкиры никогда не вступали в открытые классовые конфликты с рабочими. У них поэтому полностью отсутствовало то классовое сознание, которым непроизвольно обладал бы выходец из всякой обычной буржуазной семьи. В то же время в силу тех же самых причин рабочие со своей стороны не питали тех открытых или скрытых антисемитских чувств, которые как нечто само собой разумеющееся демонстрировал по отношению к евреям любой другой класс. Очевидно, что левые движения в большинстве стран были единственной средой, открывавшей подлинные возможности для ассимиляции.

Устойчивая склонность Дизраэли объяснять политическую жизнь в терминах деятельности тайных обществ базировалась на опыте, который в более поздние времена представлялся убедительным для многих

<sup>57</sup> *Disraeli B. Lord George Bentinck. A political biography.*

европейских интеллектуалов низшего ранга. Основной опыт Дизраэли состоял в том, что место в английском обществе завоевать гораздо труднее, чем место в парламенте. Английское общество его эпохи собиралось в фешенебельных клубах, которые были независимы от партийных различий. Клубы, хотя они и играли исключительно важную роль в формировании политической элиты, избегали общественного контроля. Для аутсайдера они, вероятно, выглядели действительно очень таинственно. Они были тайными, поскольку далеко не все допускались в них. Они становились таинственными только тогда, когда представители других классов стремились добиться доступа в них, но получали отказ или принимались лишь после преодоления целого ряда неожиданных, непредсказуемых, кажущихся иррациональными трудностей. Нет сомнения, что никакие политические почести не могли соперничать с тем триумфом, что могла принести тесная связь с привилегированными. Примечательно, что амбиции Дизраэли не пострадали даже в конце жизни, когда он потерпел ряд серьезных политических поражений, так как он остался «наиболее влиятельной фигурой лондонского общества»<sup>58</sup>.

В своей naïve уверенности относительно огромной важности тайных обществ он был предтечей тех новых социальных слоев, которые, будучи рождены как бы вне общества, так никогда и не могли как следует понять его правила. Они оказывались в такой ситуации, где различия между обществом и политической жизнью постоянно смазывались и где всегда, несмотря на кажущуюся хаотичность условий, одерживали верх все те же узкие классовые интересы. И аутсайдер неизбежно приходил к выводу о том, что таких удивительных результатов добивался продуманно организованный институт, преследующий свои определенные цели. И действительно, требовалась всего лишь решительная политическая воля для того, чтобы превратить в совершенно конкретную политику всю общественную жизнь с ее полусознанной игрой интересов и с, по существу, бесцельными интригами. Это-то и произошло на короткий период во Франции во время дела Дрейфуса, а затем и в Германии в течение десятилетия, предшествовавшего приходу Гитлера к власти.

Дизраэли к тому же пребывал вне не только английского, но и еврейского общества. Он мало знал о менталитете еврейских банкиров,

<sup>58</sup> *Monypenny W. F., Buckle G. E. Op. cit. P. 1470.* Эта превосходная биография дает правильную оценку триумфу Дизраэли. После цитаты из «In Memoriam» (canto 64) Теннисона здесь говорится: «В одном отношении успех Дизраэли был более поразительным и полным, чем это можно предположить на основании строк Теннисона. Он не только прошагал по политической лестнице до самой верхней ступеньки и «определял шепот трона», но и завоевал общество. Он господствовал за обеденными столами и в салонах Мейфейер, как бы мы их называли... А социального триумфа, что бы философы ни думали о его ценности, презренному аутсайдеру было достичь совсем не легче, чем политическое, и был он для него, наверное, более сладостным» (p. 1506).

которых столь глубоко читил, и был бы в действительности разочарован, если бы осознал, что эти «евреи исключения», несмотря на то что были отгорожены от буржуазного общества (а они никогда всерьез не стремились быть принятыми в это общество), также признавали важнейший политический принцип последнего, заключающийся в том, что политическая деятельность сосредоточивается вокруг защиты собственности и прибылей. Дизраэли видел только определенную группу (и она производила на него огромное впечатление), не имевшую внешней политической организации, но чьи члены были связаны бесчисленными семейными и деловыми узами. Каждый раз, когда он имел с ними дело, это возбуждало его воображение, а оно все «подтверждало». Так было, к примеру, в случае, когда акции Суэцкого канала были предложены английскому правительству посредством информации Генри Оппенгейма (который узнал о том, что хедив Египта стремился их продать), а сделка была осуществлена с помощью займа в 4 миллиона стерлингов, полученного от Лионеля Ротшильда.

Расовые убеждения и теории относительно тайных обществ у Дизраэли проистекали в конечном счете из его желания объяснить нечто, представляющее столь таинственным, а в действительности являющееся всего лишь химерой. Он не мог сделать политической реальностью химерическую власть «евреев исключения», однако он мог — и сделал это — способствовать трансформации химер в общественные страхи и развлечь скучающее общество в высшей степени опасными сказками.

С последовательностью, присущей большинству фанатиков идеи расы, Дизраэли отзывался только с презрением о «современном новомодном сентиментальном принципе национальности»<sup>59</sup>. Он ненавидел политическое равенство, лежащее в основании национального государства, и опасался за выживание евреев в условиях такого государства. Он воображал, что раса может служить как социальным, так и политическим убежищем от уравнивания всех. Поскольку он знал дворянство своего времени гораздо лучше, чем смог когда-либо узнать еврейский народ, то неудивительно, что он смоделировал представления о расе в соответствии с аристократическими представлениями о касте.

Несомненно, эти представления о социально непривилегированных могли сохраняться долго, не имея при этом значительных последствий в рамках европейской политики, если бы не действительные политические потребности, приведшие к тому, что после борьбы за Африку такие представления могли быть приспособлены к политическим целям. Готовность со стороны буржуазного общества верить во все это сделала подлинно популярным Дизраэли, единственного еврея XIX в. В кон-

<sup>59</sup> Ibid. Vol. 1. Book 3.

це концов, не его вина в том, что та же самая общая тенденция, которая является объяснением его исключительной удачи, привела в итоге его народ к страшной катастрофе.

### 3. Между пороком и преступлением

Париж справедливо был назван *la capitale du dix-neuvième siècle* (Вальтер Беньямин). Суливший многое этот век начался Французской революцией, более ста лет был свидетелем тщетной борьбы против превращения *citoyen* в *bourgeois*, достиг предела своего падения в деле Дрейфуса и получил еще 14 лет предсмертной отсрочки. Первую мировую войну еще можно было выиграть с помощью якобинских призывов Клемансо, последнего во Франции сына революции, но славное столетие, принадлежавшее *nation par excellence*, пришло к концу<sup>60</sup>, и Париж, лишившись политического значения и социального блеска, был предоставлен интеллектуальному *avant-garde* всех стран. Франция играла очень незначительную роль в XX столетии, которое началось сразу же после смерти Дизраэли с драки за Африку и с соперничества за империалистическое господство в Европе. Поэтому ее упадок, обусловленный частично экономической экспансией других наций, частично внутренней дезинтеграцией, мог принять те формы и протекать по тем законам, которые присущи, как казалось, национальному государству как таковому.

То, что произошло во Франции в 80-е и в 90-е годы XIX в., происходило 30 и 40 лет спустя во всех европейских странах. Несмотря на отстояние во времени, Веймарская и Австрийская республики имели много общего с Третьей республикой, а некоторые социальные явления в Германии и Австрии 20-х и 30-х годов почти осознанно, как казалось, уподоблялись модели Франции *fin-de-siècle*.

Антисемитизм XIX в. в любом случае достиг своего пика во Франции и был повержен, потому что остался внутренним делом вне связей с империалистическими тенденциями, которых не было в стране. Основные моменты этого вида антисемитизма вновь появились в Германии и в Австрии после первой мировой войны, и социальные последствия для еврейства соответствующих стран были почти такими же, как

<sup>60</sup> Simon Y. *La grande crise de la République Française; observations sur la vie politique Française de 1918–1938*. Montreal, 1941. P. 20: «Дух Французской революции более чем на столетие пережил поражение Наполеона... Он восторжествовал, но лишь для того, чтобы угаснуть незаметно 11 ноября 1918 г. Французская революция? Совершенно определенно ее датами следует считать 1789–1918 годы».

во Франции, хотя и менее резкими, не доходившими до такой степени экстремизма, к тому же их перебивали и влияния других факторов<sup>61</sup>.

Главная причина выбора салонов Сен-Жерменского предместья в качестве образцового объекта для исследования роли евреев в нееврейском обществе заключается в том, что нигде более не встречается общество столь высокого ранга и нет более надежного свидетельства о происходившем там, чем то, которым мы располагаем. Когда Марсель Пруст, сам полуврей и в случаях крайней необходимости готовый идентифицировать себя как еврея, отправился в поиски «утраченного времени», он в действительности написал то, что один из восхищавшихся им критиков назвал *apologia pro vita sua*. Жизнь этого самого великого писателя Франции XX столетия прошла исключительно в обществе, все события представляли для него в том виде, в каком они находили отражение в обществе и воспринимались индивидом, так что отражения и восприятия составляют специфическую реальность и фактуру мира Пруста<sup>62</sup>. Повсюду в «Поисках утраченного времени» индивид и его восприятия принадлежат обществу, даже тогда, когда он удаляется в немое и необщительное одиночество, в какое в конечном итоге удалился и сам Пруст, когда решил написать свое произведение. Там его внутренняя жизнь, которая настойчиво и требовательно трансформировала все события мира во внутренний опыт, стала своего рода зеркалом, в чьем отражении могла явиться истина. Созерцатель внутреннего опыта напоминает наблюдателя в обществе постольку, поскольку ни тот, ни другой не имеют непосредственного доступа к жизни и воспринимают реальность лишь в ее отраженном состоянии. Пруст, по рождению находившийся на грани общества и в то же время по праву принадлежавший ему, хотя и как аутсайдер в определенной степени, в такой мере расширил этот внутренний опыт, что он включил все богатство аспектов, в каких реальность представляется и отражается всеми членами общества.

Действительно, трудно найти лучшее свидетельство, относящееся к этому периоду, когда общество полностью отгородилось от забот об

<sup>61</sup> То обстоятельство, что некоторые психологические явления не были столь резко выражены у германских и австрийских немцев, вероятно, было отчасти обусловлено сильными позициями сионистского движения среди еврейских интеллектуалов этих стран. В десятилетие после первой мировой войны и даже в десятилетие, предшествовавшее ей, сионизм был обязан своей силой не столько каким-то политическим прозрениям (он и не создал политических убеждений), сколько критическому анализу психологических реакций и социологических фактов. Его влияние носило главным образом педагогический характер и выходило далеко за пределы относительно небольшого круга действительных участников сионистского движения.

<sup>62</sup> Сравните с интересными замечаниями по этому вопросу Э. Левинаса — *Levinas E. L'Autre dans Proust // Deucalion. 1947. № 2.*

общем благе, а политика сама стала частью социальной жизни. Победа буржуазных ценностей над чувством гражданской ответственности означала претворение политических вопросов в их ослепительные, чарующие отражения обществом. Следует добавить, что сам Пруст был истинным представителем этого общества, поскольку он был причастен к обоим из его наиболее модных «пороков», которые он, «величайший свидетельствующий представитель деиудайзированного иудаизма», связывал в «наиболее мрачном сравнении, которое когда-либо делалось от имени западного иудаизма»<sup>63</sup>: «порок» еврейскости и «порок» гомосексуальности. В своем отражении и в преломлении индивидуального восприятия они представляли как нечто действительно очень схожее<sup>64</sup>.

Именно Дизраэли обнаружил, что порок является всего лишь соответствующим отражением в обществе преступления. Человеческая испорченность, если ее принимает общество, начинает восприниматься не как акт воли, но как присущее человеку психологическое свойство, которое нельзя выбрать или отвергнуть, оно навязывается извне и направляет его столь же властно, как наркотик направляет наркомана. Ассимилируя преступление и трансформируя его в порок, общество отрицает всякую ответственность и воздвигает мир фатальностей, в котором люди оказываются как в ловушке. Моралистический подход ко всякому отклонению от нормы как к преступлению, который светскими кругами воспринимался как ограниченный и мещанский или даже как свидетельство психологического непонимания и неполноценности, — такой подход, по крайней мере, демонстрировал уважение к человеческому достоинству. Если же преступление понимается как своего рода фатальная неизбежность, природная или экономическая, то каждого в конце концов можно начать подозревать в особой предрасположенности к нему. «Наказание — это право преступника», которого он лишается, если (по словам Пруста) «судьи допускают и более склонны прощать убийство, совершенное гомосексуалистами, и измену со стороны евреев по причинам, проистекающим... из расовой предрасположенности». За подобной извращенной терпимостью скрывается тяга к убийству и измене, поскольку в мгновение ока она может превратиться в решение уничтожить не только всех действительных преступников, но и всех, кто «расово» предрасположен совершать определенные преступления. Подобные превращения происходят там, где правовая и политическая

<sup>63</sup> *Praag J. E. van. Marcel Proust, Témoin du Judaïsme déjudaïsé // Revue Juive de Genève. 1937. № 48, 49, 50.* Любопытное совпадение (а может быть, это более чем совпадение?) встречается в кинофильме «Перекрестный огонь», посвященном еврейскому вопросу. Сюжет был взят из «Кирпичной норы» Ричарда Брукса, в которой убитый еврей из «Перекрестного огня» был гомосексуалистом.

<sup>64</sup> В связи с дальнейшим см. прежде всего: *Proust M. Cities of the plain. Part 1. [Пруст М. Содом и Гоморра. М.: Худож. лит., 1987.]*

машина не отделена от общества, так что стандарты общества могут проникать в нее и становиться политическими и юридическими правилами. Мнимая либеральность, отождествляющая преступления и порок, если позволить ей установить свой собственный законодательный кодекс, неизменно окажется более жестокой и бесчеловечной, чем законы (какими бы суровыми они ни были), уважающие и признающие самостоятельную ответственность человека за свое поведение.

Сен-Жерменское предместье, каким его описывает Пруст, пребывало еще на ранних стадиях развития такой ситуации. Оно принимало гомосексуалистов, поскольку его привлекало то, что оно почитало пороком. Пруст описывает, как мсье де Шарлю, которого прежде терпели, «несмотря на его порок», за личное обаяние и древнее имя, теперь достиг социального признания. Ему уже не нужно было вести двойную жизнь и скрывать свои сомнительные знакомства, его даже поощряли приводить этих знакомых в фешенебельные дома. Темы разговоров — любовь, красота, ревность, — прежде избегаемые им, с тем чтобы не возникло подозрений относительно его отклонения, теперь жадно приветствовались в силу «опыта, необычного, тайного, изысканного и чудовищного, на котором основывались» его воззрения<sup>65</sup>.

Нечто очень похожее происходило с евреями. Отдельные исключительные люди, пожалованные в дворяне евреи, терпелись и даже приветствовались в обществе эпохи Второй империи, но сейчас все более популярными становились евреи как таковые. И в том и в другом случае общество отнюдь не отказывалось от своих предрассудков. Оно не сомневалось в том, что гомосексуалисты были «преступниками», а евреи «предателями», оно только пересмотрело свое отношение к преступлению и измене. Беда заключалась, конечно, не в том, что при такой новоявленной либеральности представители общества уже не приходили в ужас от гомосексуалистов, а в том, что их уже не шокировало преступление. Они ни в малейшей степени не подвергали сомнению обычные суждения на сей счет. Наиболее удачно скрываемая болезнь XIX столетия — терзавшие его ужасающая скука и общая усталость — вышла наружу, как будто вскрылся нарыв. Отверженные и парии, которых общество призвало себе на помощь в этой затруднительной для него ситуации, кем бы они ни были в остальном, по крайней мере не испытывали скуки и, если можно доверять оценке Пруста, были единственными людьми в обществе fin-de-siècle, которые были еще способны испытывать страсть. Пруст ведет нас через лабиринт социальных связей и амбиций, руководствуясь как путеводной нитью лишь способностью человека любить, воплощенной в извращенной страсти мон-

<sup>65</sup> Proust M. Op. cit. Part 2. Ch 3.

сеньора Шарлю к Морелю, в губительной преданности своей куртизанке и в отчаянной ревности самого автора к Альбертине, предстающей в романе как персонификация порока. Пруст дает понять совершенно ясно, что считает аутсайдеров и новичков, обитателей «Содома и Гоморы», не только более человечными, но и более нормальными.

Различие между Сен-Жерменским предместьем, неожиданно обнаружившим привлекательность евреев и гомосексуалистов, и толпой, кричавшей «Смерть евреям!», заключалось в том, что салоны еще не присоединились к открытому признанию преступления. Это означало, что, с одной стороны, они еще не хотели участвовать активно в убийствах, а с другой — все еще провозглашали свою антипатию к евреям и омерзение по отношению к извращениям. Это в свою очередь приводило к той типичной двусмысленной ситуации, при которой новые члены не могли открыто признать свою идентичность и в то же время были не в состоянии скрыть ее. Таковы были условия, порождавшие сложную игру разоблачения и сокрытия, полупризнаний и лживых передергиваний, преувеличенной скромности и преувеличенного высокомерия. Все это было следствием того фата, что только еврейскость (или гомосексуальность) открывала двери недоступных салонов, но в то же самое время делала положение человека в высшей степени неустойчивым. В этой двусмысленной ситуации еврейскость для каждого отдельного еврея была одновременно и физическим пятном, и таинственной личностной привилегией, проистекавшими из какой-то «расовой предрасположенности».

Пруст пространно описывает, как общество, постоянно высматривая необычное, экзотическое, опасное, приходит в конце концов к отождествлению изысканного с чудовищным и готово принять чудовищные явления, реальные или воображаемые, такие, как необычная, неизвестная «русская или японская пьеса, исполняемая актерами этих стран»<sup>66</sup>; «накрашенный, пузатый, застегнутый на все пуговицы персонаж (гомосексуалист), напоминающий коробку экзотического и двусмысленного происхождения, от которой исходит необычный запах фруктов, сама мысль о том, чтобы попробовать их, волнует сердце»<sup>67</sup>; «гениальный человек», как бы излучающий «чувство сверхъестественного», вокруг которого общество собирается «как вокруг вращающегося стола с тем, чтобы узнать тайну Бесконечного»<sup>68</sup>. В обстановке этой «некромантии» еврейский джентльмен или турецкая леди могли представать таким образом, «как если бы они были созданиями, вызванными усилиями медиума»<sup>69</sup>.

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Proust M. The Guermantes way. Part 1. Ch. 1. [Пруст М. У Германтов. М.: Худож. лит., 1980.]

<sup>69</sup> Ibid.

Очевидно, что роль экзотических, необычных и чудовищных людей не могли играть те отдельные «евреи исключения», которых в течение почти столетия принимали и терпели как «чуждых выскочек» и «дружкой с которыми никому бы не пришло в голову гордиться»<sup>70</sup>. Гораздо в большей степени подходили для такой роли те, кого никто не знал, кого на первой стадии их ассимиляции не отождествляли с еврейским сообществом и не воспринимали как его представителей, поскольку подобное отождествление с хорошо известными образованиями резко ограничило бы полет воображения и ожидания общества на их счет. Те, кто, подобно Свану, обладал необъяснимо тонким пониманием общества и вкусом, как правило, принимались. Однако с большим энтузиазмом принимались те, кто, подобно Блоку, пребывал в такой ситуации: «принадлежа к малопочтенному семейству, он, как на дне моря, испытывал на себе бесчисленное множество давлений, и давили на него не только державшиеся на поверхности христиане, но и слои еврейских каст, занимавших более высокое положение, чем его каста, и подавлявших своим величием ту, что находилась как раз под ней». Желание общества принять полностью чуждых и, как оно считало, полностью порочных людей разрешало то напластование нескольких поколений, которое нужно было преодолеть новопришельцам, с тем «чтобы выбраться на свежий воздух сквозь пласты еврейских семейств»<sup>71</sup>. Не случайно, что это происходило вскоре после того, как французское еврейство во время панамского скандала уступило перед напором инициативных и неразборчивых в средствах авантюристов из числа немецких евреев. Отдельные «евреи исключения», с титулами и без, более, чем когда-либо, устремившиеся в общество антисемитских и монархических салонов, где они могли мечтательно вспомнить о добрых старых временах Второй империи, оказались в одинаковом положении с теми евреями, которых бы они никогда не пригласили в свои дома. Если еврейскость как признак исключительности служила причиной признания евреев, то предпочитали тех, кто образовывал «шествие однородное, шествие людей ничего общего не имевших с теми, которые на них смотрели», «не ассимилировавшихся до такой степени», как их собратья-выскочки<sup>72</sup>.

Хотя Бенджамин Дизраэли все еще принадлежал к числу евреев, допускавшихся в общество потому, что они были исключением, его секуляризованное представление о себе самом как об «избранном человеке избранной расы» предвосхищало и обрисовывало контуры будущего самоистолкования евреев. Если бы все это, каким бы фантастическим и

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Proust M. Within a budding grove. Part. 2. [Пруст М. Под сенью девушек в цвету. М.: Худож. лит., 1976.]

<sup>72</sup> Ibid.

грубым оно ни было, не совпадало столь странным образом с тем, что общество ожидало от евреев, то евреи никогда не смогли бы играть свою двусмысленную роль. Дело, разумеется, обстояло не таким образом, что они сознательно приняли убеждения Дизраэли или намеренно разрабатывали ту начальную робкую, искаженную самоинтерпретацию своих прусских предшественников начала века. Большинство из них пребывало в блаженном неведении относительно всей еврейской истории. Однако в случаях, когда евреи в двусмысленных условиях общества и государства в Западной и Центральной Европе становились образованными, секуляризованными и ассимилированными, они утрачивали ту меру политической ответственности, что должна была бы быть присуща им в силу их происхождения и носителями которой все еще были знатные евреи, хотя она и была связана с их привилегиями и правящими функциями. Еврейское происхождение, лишенное религиозного и политического подтекста, стало везде психологическим свойством, превратилось в «еврейскость» и отныне могло рассматриваться только в категориях добродетели или порока. Если верно, что «еврейскость» не могла быть превращена в интересный порок без посредства предрассудка, считавшего ее преступлением, то верно также и то, что такое искажение стало возможным благодаря тем евреям, которые считали ее врожденной добродетелью.

Ассимилированное еврейство упрекали за отчуждение от иудаизма, а окончательную катастрофу, постигшую их, зачастую воспринимали как бессмысленную и ужасающую потому, что ее уже не увязывали с мученичеством. При таком подходе проходят мимо того факта, что если говорить о древних путях веры и жизни, то «отчуждение» было равным образом налицо и в Восточной Европе. Однако расхожее представление о евреях Западной Европы как о «деиудаизированных» ведет к заблуждению по другой причине. В противоположность явно пристрастным заявлениям официального иудаизма, нарисованная Прустом картина показывает, что нигде факт еврейского происхождения не играл столь решающей роли в частной и в повседневной жизни, как среди ассимилированных евреев. Еврей-реформатор, трансформировавший национальную религию в определенную религиозную деноминацию и подразумевающий при этом, что религия является частным делом каждого; еврей-революционер, притязавший на мировое гражданство, с тем чтобы избавиться от своей еврейской национальности; образованный еврей, «обычный человек на улице и еврей дома», — все они преуспели в превращении национальной определенности в какое-то частное дело. В результате их частные жизни, их решения и чувства стали сердцевинной их «еврейскости». И чем в большей степени факт еврейского происхождения утрачивал свое религиозное, национальное и

социально-экономическое значение, тем более навязчивой для них становилась их еврейскость. Евреи были захвачены ею, как можно быть захваченным физическим дефектом или преимуществом, и были прикованы к ней, как можно быть прикованным к пороку.

«Внутренняя склонность» у Пруста является не чем иным, как такой личностной, приватной захваченностью, и она оправдывалась обществом, где успех и неудача зависели от факта еврейского происхождения. Пруст ошибочно принял ее за «расовое предопределение», поскольку видел и изобразил только ее социальный аспект и индивидуальные преломления. Верно и то, что для регистрирующего наблюдателя поведение еврейства являло ту же самую навязчивость, что и образцы поведения гомосексуалистов. И те и другие ощущали свое превосходство или свою неполноценность, но в любом случае ощущали свое гордое отличие от других нормальных существ. И те и другие считали свое отличие чем-то естественным, обусловленным рождением. И те и другие постоянно оправдывали себя, причем не то, что они делали, а то, чем они были. И те и другие, наконец, постоянно колебались между приверженностью подобным апологетическим установкам и неожиданными, провокационными претензиями на то, что они являются элитой. Ни те, ни другие не могли перейти из своей группировки в какую-нибудь другую, как если бы их социальные позиции были зафиксированы навсегда. Потребность принадлежать какому-то образованию существовала и в других членах общества — «вопрос не в том, как для Гамлета, быть или не быть, а в том, принадлежать или не принадлежать»<sup>73</sup>, — однако не в такой степени. Общество, распадающееся на группировки и не терпящее уже аутсайдеров, евреев или гомосексуалистов, причем не тех или иных индивидов, а в силу особой установки, это общество представало как воплощение такой клановости.

Всякое общество требует от своих членов определенного объема действий, способности заявлять и представлять то, чем человек действительно является, и действовать в соответствии с этим. Когда общество распадается на клики, такие требования предъявляются уже не к индивидам, а к членам определенных клик. Поведение в таком случае контролируется посредством молчаливых требований, а не посредством опоры на возможности индивида. Дело обстоит таким же образом, как когда от актера требуют соответствовать совокупности всех остальных ролей в пьесе. Салоны Сен-Жерменского предместья состояли из подобной совокупности клик, каждая из которых воплощала доведенный до крайности определенный образец поведения. Роль гомосексуалистов состояла в том, чтобы демонстрировать свое отклонение от нормы; роль

<sup>73</sup> Proust M. Cities of the plain. Part. 2. Ch. 3.

евреев — в том, чтобы представлять черную магию («некромантию»); художников — являть иную форму контакта со сверхъестественным и надчеловеческим; аристократов — показывать, что они не похожи на обыкновенных («буржуазных») людей. При всем том, несмотря на свою клановость, как отмечает Пруст, «за исключением тех дней общей беды, когда большинство собирается вокруг жертвы, как евреи собирались вокруг Дрейфуса», все эти новые люди избегали общения со своими. Причина заключалась в том, что все признаки отличия определялись только совокупностью клик, так что евреи или гомосексуалисты чувствовали, что они утратили бы свои отличительные свойства в обществе, состоящем из евреев или гомосексуалистов, где еврейскость или гомосексуализм были бы чем-то самым естественным, самым неинтересным и самым банальным в мире. Это же, однако, было верно и относительно принимавших их хозяев, которые нуждались в ансамбле тех, от кого они могли отличаться, нуждались в неаристократах, восхищающихся аристократами, как аристократы восхищались евреями или гомосексуалистами.

Несмотря на то что эти клики сами по себе не обладали устойчивостью и распадались, когда рядом не было представителей других клик, их члены использовали язык таинственных знаков, как если бы нуждались в чем-то необычном для узнавания друг друга. Пруст пространно рассказывает о важности этих знаков, особенно для новопришельцев. Но в то время, когда гомосексуалисты, мастера языка знаков, обладали, по крайней мере, реальной тайной, евреи использовали этот язык только для создания ожидаемой от них атмосферы таинственности. Их знаки таинственно и смехотворно указывали на то, что все знали: например, что в углу салона герцогини такой-то сидит еще один еврей, которому не разрешалось открыто признать свою национальную принадлежность, но который без данного бессмысленного свойства никогда не смог бы добраться до этого угла.

Примечательно, что новое смешанное общество в конце XIX в., как и первые еврейские салоны в Берлине, вновь сконцентрировалось вокруг дворянства. Аристократия к этому времени почти утратила свое жадное устремление к культуре и свое любопытство по отношению к «новым образчикам человечества», однако сохранила свое прежнее презрение к буржуазному обществу. Стремление к социальному отличию было ее ответом на политическое равенство, а также на утрату политического положения и привилегий, сопутствовавших утверждению Третьей республики. После кратковременного и искусственного возвышения в период Второй империи французская аристократия держалась только посредством социальной клановости и вялых попыток сохранить для своих сыновей высшие позиции в армии. Гораздо более выраженным, чем политические притязания, было агрессивное презрение к стандартам среднего

класса, что, несомненно, явилось одной из важнейших побудительных причин принятия ею индивидов и целых групп, принадлежавших к социально неприемлемым классам. Та же самая мотивация, которая сделала возможной для прусских аристократов социальную встречу с актерами и евреями, во Франции обусловила в конце концов социальный престиж гомосексуалистов. При этом средние классы не приобрели социального самоуважения, хотя и добились за это время богатства и власти. Отсутствие в национальном государстве политической иерархии и победа равенства сделали «общество втайне все более иерархическим по мере того, как оно становилось более демократичным внешне»<sup>74</sup>. Поскольку принцип иерархии находил свое воплощение в недоступных в социальном отношении кругах Сен-Жерменского предместья, то всякое общество во Франции «воспроизводило в более или менее модифицированном, более или менее карикатурном виде характеристики общества из Сен-Жерменского предместья, притязая порой на то... что оно презирает это последнее, каким бы статусом ни обладали его члены или каких бы политических идей они ни придерживались». Аристократическое общество лишь по видимости было делом прошлого, в действительности же оно пронизывало своим влиянием весь социальный организм (причем не только французского народа), навязывая ему «ключ и грамматику фешенебельной социальной жизни»<sup>75</sup>. Когда Пруст почувствовал потребность в *arologia pro vita sua* и подверг пересмотру свою собственную жизнь, проведенную в аристократических кругах, то осуществил при этом анализ общества как такового.

Главное относительно роли евреев в этом обществе *fin-de-siècle* заключалось в том, что именно антисемитизм, связанный с Историей Дрейфуса, открыл евреям двери общества, а также в том, что конец этой Истории или, точнее, установление невиновности Дрейфуса положило конец их социальной славе<sup>76</sup>. Другими словами, вне зависимости от того, что евреи думали о самих себе или о Дрейфусе, они могли играть предназначенную им обществом роль лишь до тех пор, пока это самое общество было убеждено, что они принадлежат к племени изменников. Когда же обнаружилось, что изменник является довольно глупой жертвой обычной фальсификации, и невиновность евреев была установлена,

<sup>74</sup> Proust M. *The Geurmantes way*. Part 2. Ch. 2.

<sup>75</sup> Fernandez R. *La vie sociale dans l'oeuvre de Marsel Proust // Les Cahiers Marsel Proust*. 1927. № 2.

<sup>76</sup> «И наступил такой момент, когда в результате дела Дрейфуса произошло параллельное усиление антисемитского движения и даже еще более значительного движения против проникновения израелитов в общество. Политики не были не правы, когда думали, что обнаружение юридической ошибки нанесет фатальный удар по антисемитизму. Но по крайней мере временно социальный антисемитизм, напротив, усугубился и обострился после нее» (см.: Proust M. *The sweet Cheat gone*. Ch. 2.)

социальный интерес к евреям угас так же быстро, как и политический антисемитизм. На евреев вновь стали смотреть как на обычных смертных, и они утратили то значение, которое временно приобрели благодаря мнимому преступлению, будто бы совершенному одним из них.

Эта была слава, по существу, того же рода, которой пользовались в гораздо более суровых условиях евреи Германии и Австрии сразу же после первой мировой войны. Их мнимое преступление состояло в том, что они будто бы были виновны в войне. Это преступление, поскольку оно уже не отождествлялось с отдельным деянием какого-либо отдельного индивида, нельзя было отрицать, так что отношение толпы к еврейскости как к преступлению могло оставаться неизменным, и общество могло продолжать очаровываться и восхищаться своими евреями вплоть до самого конца. Если и есть какая-то психологическая истина в «теории козла отпущения», то она связана с последствиями такой социальной установки по отношению к евреям. Ведь когда антисемитское законодательство принудило общество изгнать евреев, эти «филосемиты» испытывали такое ощущение, что им нужно очиститься от тайной порочности, избавиться от клейма, которое они любили столь таинственным и безнравственным образом. Такая психология, разумеется, вряд ли объясняет, почему эти «почитатели» евреев стали в конце концов их убийцами, и можно даже не сомневаться, что они выделялись в ряду тех, кто управлял фабриками смерти, хотя поражает процентное представительство так называемых образованных классов среди реальных убийц. Однако, она действительно объясняет чудовищную неверность именно этих слоев общества, наиболее близко знавших евреев и бывших в высшей степени восхищенных и очарованных своими еврейскими друзьями.

Что касается евреев, то трансформация «преступления» иудаизма в модный «порок» еврейскости была в высшей степени опасной. Евреи могли спастись от иудаизма бегством в обращение. От еврейскости нельзя было убежать. Более того, с преступлением можно справиться посредством наказания, порок же можно только искоренить. Интерпретация, даваемая обществом факту еврейского происхождения, и роль, играемая евреями в социальной жизни, теснейшим образом связаны с той катастрофической тщательностью, с какой могли быть применены средства антисемитизма. Нацистская разновидность антисемитизма уходила своими корнями в эти социальные условия, а также в политические обстоятельства. И хотя понятие расы было связано с другими (более непосредственно политическими) целями и функциями, применение его, причем самым зловещим образом, к еврейскому вопросу своим успехом во многом было обязано определенным социальным явлениям и убеждениям, относительно которых в общественном мнении действительно существовало согласие.

Силы, определяющие роковое движение евреев к эпицентру событий, носили, несомненно, политический характер. Однако реакции на антисемитизм, а также психологическое отражение еврейского вопроса на уровне индивидов имели отношение к той особой жестокости, организованной и рассчитанной атаке на каждого индивида еврейского происхождения, которые уже были характерны для антисемитизма, сопряженного с Историей Дрейфуса. Страстную охоту на «еврея вообще», на «еврея везде и нигде» нельзя понять, если рассматривать историю антисемитизма как нечто существующее само по себе, как просто политическое движение. Социальные факторы, не объясняемые политической и экономической историей, скрытые под поверхностью событий, не обнаруживаемые никогда историком и воспринятые только благодаря силе проникновения и силе страсти поэтов и романистов (людей, которых общество загнало в отчаянное одиночество и изоляцию, где создается *apologia pro vita sua*), — эти факторы изменили тот характер движения просто политического антисемитизма, каким бы он был, если бы был предоставлен только самому себе. Он мог бы привести к антиеврейскому законодательству и даже массовому изгнанию евреев, но вряд ли к их тотальному уничтожению.

С того времени, когда История Дрейфуса и связанная с ней политическая угроза правам французского еврейства привели к социальной ситуации, при которой евреи пользовались двусмысленной славой, антисемитизм в Европе предстал в виде неразделимой смеси политических мотивов и социальных моментов. Общество всегда поначалу реагировало на сильное антисемитское движение посредством подчеркнуто предпочтительного внимания к евреям, так что замечание Дизраэли насчет того, что «в настоящий момент нет такой расы... которая бы так восхищала, очаровывала, возвышала и облагораживала Европу, как это делает еврейская раса», было особенно верным применительно к опасным временам. Социальный «филосемитизм» всегда приводил к тому, что к политическому антисемитизму присовокуплялся тот таинственный фанатизм, без которого антисемитизм вряд ли мог бы стать наилучшим лозунгом для организации масс. Все *déclassés* капиталистического общества в конечном итоге были готовы объединиться, и эта толпа была готова создать свои собственные организации. Их пропаганда покоилась на предпосылке — с этим же была связана и привлекательность этих организаций, — что общество, продемонстрировавшее желание инкорпорировать в свою структуру преступление, придав ему форму порока, было сейчас готово к тому, чтобы очиститься от порочности, открыто признав преступников и публично совершая преступления.

## Глава четвертая

### ИСТОРИЯ ДРЕЙФУСА

#### 1. Фактическая сторона дела

Это произошло во Франции в конце 1894 г. Альфред Дрейфус, офицер французского Генерального штаба, еврей по национальности, был обвинен в шпионаже в пользу Германии и осужден. Приговор — пожизненная депортация на Чертов остров — был воспринят с единодушным одобрением. Суд происходил за закрытыми дверями. Из имевшегося в распоряжении обвинения многого, как уверяли, досье было продемонстрировано только так называемое «bordereau». Это было написанное якобы рукой Дрейфуса письмо на имя немецкого военного атташе Шварцкопена. В июле 1895 г. руководителем отдела информации Генерального штаба был назначен полковник Пикар. В мае 1896 г. он доложил начальнику Генерального штаба Буадефру, что он убедился в невиновности Дрейфуса и в виновности другого офицера — майора Вольсен-Эстергази. Шесть месяцев спустя Пикар был переведен на опасную должность в Тунисе. В это же время Бернар Лазар, действуя по поручению братьев Дрейфуса, опубликовал первую брошюру относительно этой истории: «*Une erreur judiciaire; la vérité sur l'affaire Dreyfus*». В июне 1897 г. Пикар информировал вице-президента Сената Шерер-Кестнера о фигурировавших на процессе фактах и невиновности Дрейфуса. В ноябре 1897 г. Клемансо начал борьбу за пересмотр дела. Четыре недели спустя в ряды дрейфусаров вступил Золя. Статья «*J'Accuse*» была опубликована в издававшейся Клемансо газете в январе 1898 г. В это же время Пикар был арестован. Золя, обвиненный в клевете на армию, был признан виновным как обычным трибуналом, так и Кассационным судом. В августе 1898 г. Эстергази был с позором уволен за растрату. Он сразу поспешил встретиться с английским журналистом и поведал ему, что автором «bordereau» был он, а не Дрейфус, почерк которого он подделал, и что письмо было им сфабриковано по приказу его шефа, бывшего начальника отдела контрразведки полковника Сандхерра. Несколькими днями позже другой служащий того же департамента, полковник Анри, сознался в подлоге еще нескольких документов секретного досье Дрейфуса и покончил с собой. После этого Кассационный суд распорядился провести дополнительное расследование дела.

В июне 1899 г. Кассационный суд отменил первоначальный приговор 1894 г. Новое слушание дела происходило в августе в г. Ренне.

Приговор в силу «смягчающих обстоятельств» был изменен на десятилетнее заключение. Неделию спустя Дрейфус был помилован президентом республики. В апреле 1900 г. в Париже открылась Всемирная выставка. В мае, когда успех выставки был гарантирован, палата депутатов подавляющим большинством голосов проголосовала против каких бы то ни было дальнейших пересмотров дела Дрейфуса. В декабре в результате всеобщей амнистии были прекращены все начатые в связи с этим делом процессы и тяжбы.

В 1903 г. Дрейфус обратился с просьбой о новом пересмотре. Его прошение игнорировалось вплоть до 1906 г., когда премьер-министром стал Клемансо. В июле 1906 г. Кассационный суд отменил вынесенный в Ренне приговор и снял с Дрейфуса все обвинения. Однако Кассационный суд не обладал полномочиями для такого оправдания; он должен был бы назначить новое слушание. Но по всей вероятности и вопреки неопровержимым свидетельствам в пользу Дрейфуса, повторное рассмотрение военным трибуналом снова привело бы к вынесению обвинительного приговора. Поэтому Дрейфус так и не был оправдан в строгом соответствии с законом<sup>1</sup>, и дело Дрейфуса не было по-настоящему закрыто. Реабилитация осужденного никогда не была признана французским народом, и пробужденные с самого начала страсти никогда полностью не улеглись. Уже в 1908 г., девять лет спустя после помилования и два года после оправдания Дрейфуса, когда по настоянию Клемансо тело Эмиля Золя было перенесено в Пантеон, на Дрейфуса было совершено открытое нападение на улице. Суд в Париже оправдал нападавшего, указав на свое «несогласие» с решением об оправдании Дрейфуса.

Еще более странным представляется тот факт, что ни первая, ни вторая мировые войны не смогли отодвинуть это дело в область забвения. По заказу «Action Française» в 1924 г. был переиздан «Précis de l'affaire Dreyfus»<sup>2</sup>, ставший с тех пор настольным справочником антидрейфусаров. На премьере «L'Affaire Dreyfus» (пьесы, написанной Рефишем и Вильгельмом Герцогом под псевдонимом Рене Кестнер) в 1931 г. по-прежнему царил атмосфера 90-х годов с ее стычками в зрительном зале, кидаемыми в партер дымовыми шашками, боевиками «Action Française», собирающимися вокруг театра и терроризирующими

<sup>1</sup> Самой исчерпывающей и пока незаменимой работой на эту тему является книга Reinach J. L'Affaire Dreyfus. P., 1903–1911. 7 vols. Наиболее подробное из более поздних исследований, написанное с социалистических позиций, принадлежит перу Вильгельма Герцога — Herzog W. Der Kampf einer Republik. Zürich, 1933. Большую ценность представляют помещенные в ней детальнейшие хронологические таблицы. Самую лучшую политическую и историческую оценку дела можно найти в книге Brogan D. W. The development of modern France. 1940. Books 6, 7. Кратким, но надежным источником может служить книга Charensol G. L'Affaire Dreyfus et la Troisième République. 1930.

<sup>2</sup> Написан двумя офицерами и опубликован под псевдонимом Анри Дютре-Крозон.

ми актеров, зрителей и прохожих. Точно так же и правительство — лавалевское правительство — действовало ничуть не иначе, чем его предшественники 30 лет назад: оно с радостью признало, что не может обеспечить порядок ни на одном из представлений, позволив тем самым антидрейфусарам снова отпраздновать свой триумф. Спектакль был вынужденно отменен. Когда в 1935 г. Дрейфус умер, массовые газеты побоялись касаться его истории<sup>3</sup>, в то время как левая пресса в старом духе твердила о его невиновности, а правая — о его вине. Даже сегодня, хотя и в меньшей степени, История Дрейфуса продолжает оставаться своего рода тайным опознавательным знаком французской политической жизни. Когда был осужден Петен, влиятельная провинциальная газета «Voix du Nord» (Лилль) связала дело Петена с делом Дрейфуса, утверждая, что «страна осталась разделенной, как это было после дела Дрейфуса», так как приговор суда не может разрешить политический конфликт и «вселить мир в умы и сердца всех французов»<sup>4</sup>.

Если История Дрейфуса в ее широком политическом аспекте принадлежит XX в., то как судебное дело, как ряд судебных разбирательств, связанных с именем капитана-еврея Альфреда Дрейфуса оно вполне типично для XIX в., когда люди так тщательно следовали юридическим процедурам, поскольку на каждом этапе и в каждой инстанции представлялась возможность подвергнуть испытанию величайшее достижение века — полную беспристрастность закона. Характерной чертой времени было то, что любое нарушение правосудия возбуждало бурные политические страсти и вызывало бесконечную череду разбирательств и пересмотров, не говоря уже о дуэлях и драках. Принцип равенства перед законом так прочно внедрился в сознание цивилизованного мира, что единичное нарушение правосудия могло спровоцировать общественное негодование от Москвы до Нью-Йорка. И никто и нигде, за исключением самой Франции, не был еще настолько «современным», чтобы связать это дело с политическими вопросами<sup>5</sup>. Несправедливость в отношении одного-единственного офицера-еврея во Франции смогла получить в остальном мире более страстный и единодуш-

<sup>3</sup> Газета «Action Française» (19 июля 1935 г.) приветствовала сдержанность французской прессы и заявляла, что, по ее впечатлению, «знаменитые чемпионы справедливости и правды сорокалетней давности не оставили после себя учеников».

<sup>4</sup> См.: Archambault G. H. // New York Times. 18.08.1945. P. 5.

<sup>5</sup> О единственном исключении — католических журналах, которые во всех странах в большинстве своем агитировали против Дрейфуса, будет рассказано ниже. Американское общественное мнение было таковым, что в дополнение к протестам начался организованный бойкот назначенной на 1900 г. парижской Всемирной выставки. Всесторонне этот вопрос анализируется в находящейся в Колумбийском университете магистерской дипломной работе Halperin R. A. The American reaction to the Dreyfus case. 1941. Автор благодарит профессора С. У. Барона за любезно предоставленную возможность ознакомиться с этой работой.

ный отклик, чем все преследования немецких евреев поколение спустя. Даже царская Россия смогла обвинить Францию в варварстве, в Германии же в окружении кайзера открыто высказывалось негодование, сравнимое только с возмущением радикальной прессы 1930-х годов.<sup>6</sup>

*Dramatis personae* этой истории вполне могли бы сойти со страниц Бальзака: с одной стороны, проникнутые классовым сознанием генералы, лихорадочно спасающие честь мундира членов своей клики, с другой — их противник Пикар с его хладнокровной, пронизательной и слегка ироничной честностью. За ними неопишное сборище людей в парламенте, каждый из которых в ужасе от того, что может быть известно его соседу; президент республики, скандально знаменитый своими посещениями парижских борделей, и следователи, живущие исключительно ради заведения светских связей. Наконец, сам Дрейфус, по сути, парвеню, постоянно хвастающийся перед своими коллегами богатством своей семьи, которое он тратит на женщин; его братья, патетично предлагающие сначала все свое состояние, а потом снижающие свое предложение до 150 тысяч франков за освобождение родственника и так и не решившие, хотят ли они тем самым принести жертву или просто подкупить Генеральный штаб; и адвокат Деманж, по-настоящему убежденный в невиновности своего клиента, но основывающий защиту на принципе отсутствия доказательств в пользу обратного, чтобы уберечь себя от нападков и не повредить своим личным интересам. И наконец, авантюрист Эстергази, представитель старинного аристократического рода, настолько изнывающий в этом буржуазном мире, что готов с равным успехом искать отдушину и в героизме, и в мошенничестве. В бытность свою младшим лейтенантом Иностранного легиона он снискал признание сослуживцев в основном своей дерзостью и отвагой. Вечно замешанный в какие-нибудь истории, он жил за счет того, что брался быть секундантом в дуэлях офицеров-евреев и затем шантажировал их единоверцев. Для установления нужных связей он не гнушался пользоваться услугами главного раввина. Даже в конечном своем падении он остался верен бальзаковской традиции. Погубила его не государственная измена и не необузданные мечты о великой оргии, в которой сотни тысяч хмельных прусских улан неистово несутся по улицам Парижа<sup>7</sup>, а мелкое присвоение денег одного из родственников. А что сказать о Золя с его страстным моральным пылом, несколько

<sup>6</sup> Так, например, немецкий поверенный в делах в Париже Х. Б. фон Бюлов писал рейхсканцлеру Гогенлоэ, что приговор в Ренне является «смесью вульгарности и трусости, несет на себе несомненные знаки варварства» и что Франция «с этого момента исключила себя из семьи цивилизованных наций». Цит. по: Herzog W. Op. cit., запись от 12 сентября 1899 г. По мнению фон Бюлова, это Affaire стало «тайным паролем» немецкого либерализма; см.: Buelow H. B. von. Denkwürdigkeiten. B., 1930–1931. Bd. 1. S. 428.

<sup>7</sup> Reinach T. Histoire sommaire de l'Affaire Dreifus. P., 1924. P. 96.

пустым пафосом и его мелодраматическим заявлением накануне бегства в Лондон о том, что он услышал голос Дрейфуса, умолявшего его принести эту жертву?<sup>8</sup>

Все данные проявления типичны для XIX в., и ничто из этого само по себе не пережило бы двух мировых войн. Стародавний энтузиазм толпы по отношению к Эстергази, как и ее ненависть к Золя, с тех пор давно уже прогорели дотла, но так же точно исчез и накал страстей, направленных против аристократии и духовенства, который некогда воспламенял Жореса и который один только и обеспечил конечное освобождение Дрейфуса. Как суждено было показать делу кагуляров, офицерам Генерального штаба уже нечего было опасаться народного гнева, когда они вынашивали свои планы *coup d'état*. Со времени отделения церкви от государства Франция, естественно, перестала быть религиозно мыслящей, но она утратила и значительную часть своего антиклерикального чувства, впрочем, так же, как и католическая церковь утратила большую часть своих политических притязаний. Попытка Петена превратить республику в католическое государство натолкнулась на полное безразличие народа и враждебное отношение низшего духовенства к клерикал-фашизму.

История Дрейфуса в ее политической подоплеке смогла пережить свое время из-за того, что в XX в. два его элемента приобрели существенное значение. Первый — это ненависть к евреям; второй — подозрительное отношение к самой республике, к парламенту и к государственной машине. Последнюю большая часть общественности продолжала считать, справедливо или нет, находящейся под влиянием евреев и во власти банков. Вплоть до наших времен слово «антидрейфусар» сохраняет свое значение наименования для всего антиреспубликанского, антидемократического, антисемитского. Еще несколько лет назад оно включало в себя все от монархизма «Action Française» до национал-большевизма Дорио и социал-фашизма Деа. Однако не этим малочисленным фашистским группировкам была обязана своим крушением Третья республика. Напротив, очевидной, хотя и парадоксальной истиной является то, что никогда их влияние не было столь незначительным, как в момент этого крушения. К падению Франции привело то, что в ней не осталось больше настоящих дрейфусаров, никого, кто верил бы, что демократию и свободу, равенство и справедливость по-прежнему можно защитить или осуществить при республике<sup>9</sup>. В ко-

<sup>8</sup> По сообщению Йозефа Рейнаха, приводимому в: Herzog W. Op. cit., запись от 18 июня 1898 г.

<sup>9</sup> О том, что даже Клемансо в конце своей жизни в это больше не верил, ясно свидетельствует его замечание, помещенное в книге Benjamin R. Clémenceau dans la retraite. P., 1930. P. 249: «Надежда? Невозможно! Как могу я продолжать надеяться, если я больше не верю в то, что взрастило меня, а именно в демократию?»

нечном счете республика и пала, как перезревший плод, к ногам той старой антидрейфусарской клики<sup>10</sup>, которая всегда составляла ядро ее армии, и случилось это в то время, когда у республики было мало врагов, но и почти совсем не осталось друзей. То, что петеновская клика в значительной мере была не порождением немецкого фашизма, а французским продуктом, показывает ее рабское следование формулам сорокалетней давности.

В то время как Германия посредством демаркационной линии хитрым образом искромсала Францию и разрушила всю ее экономику, руководители страны в Виши возились со старой формулой Барреса относительно «автономных провинций», тем самым еще больше увеча ее. Более спешно, чем любой Квислинг, они ввели антиеврейское законодательство, похваляясь тем, что им не нужно импортировать антисемитизм из Германии, и что их закон, регулирующий положение евреев, в существенных моментах отличается от законов рейха<sup>11</sup>. Они постарались мобилизовать против евреев католическое духовенство, но единственно, чего они достигли, так это убедились в том, что священники не только потеряли свое политическое влияние, но даже и не являются антисемитами. Наоборот, именно те самые епископы и синоды, которые вишистский режим хотел снова превратить в политическую силу, заявили самый решительный протест против преследования евреев.

Не в юридическом деле Дрейфуса, а во всей этой Истории в ее широких аспектах можно разглядеть предупредительный проблеск того, что случилось в XX в. Как разъяснял в 1931 г. Бернанос<sup>12</sup>, «дело Дрейфуса принадлежит к этой трагической эре, которая конечно же не закончилась с последней войной. Дело обнаруживает тот самый бесчеловечный характер, в котором в стихии необузданных страстей и в пламени ненависти прячется немислимо холодное и бесчувственное сердце». Безусловно, подлинное продолжение этого дела надо искать не

<sup>10</sup> Известный приверженец «Action Française» Вейган в юности был антидрейфусаром. Он был подписчиком «Мемориала Анри», основанного газетой «Libre Parole» в честь злополучного полковника Анри, который заплатил самоубийством за подлоги, совершенные в период службы в Генеральном штабе. Список подписчиков был позднее опубликован одним из редакторов «L'Aurore» (газета Клемансо) — Кийяром под заголовком «Le Monument Henry» (Р., 1899). Что же касается Петена, то он служил в военном управлении Парижа с 1895 по 1899 г., в то время, когда здесь не потерпели бы никого, кроме надежного антидрейфусара (см.: Latour C. de. Le Maréchal Pétain // Revue de Paris. Vol. I. P. 57–69). Д. У. Броуган (Op. cit. P. 382) в этой связи замечает, что из пяти маршалов первой мировой войны четверо (Фощ, Петен, Лиоте и Файоль) были плохими республиканцами, а у пятого, Жоффре, была хорошо известная клерикальная подоплека.

<sup>11</sup> Миф о том, что антиеврейское законодательство Петена было навязано ему рейхом, широко поддержанный почти всем французским еврейством, был развеян самими французскими. См. особенно: Simon Y. La grande crise de la République Française: Observations sur la vie politique des français de 1918 à 1938. Montreal, 1941.

<sup>12</sup> Ср.: Bernanos G. La grande peur des bien-pensants, Edouard Drumont. P., 1931. P. 262.

во Франции, но усмотреть в нем причину, по которой Франция стала такой легкой добычей нацистских агрессоров, не так трудно. Гитлеровская пропаганда говорила на давно знакомом и никогда вполне не забытом языке. То, что «цезаризм»<sup>13</sup> «Action Française» и нигилистический национализм Барреса и Моррасса не преуспели в их изначальной форме, объясняется множеством причин, и все они отрицательного свойства. У этих писателей не было социального воображения, и они не смогли перевести на общедоступный язык ту умственную фантазмагию, которую порождало их презрение к интеллекту.

Здесь мы остановимся лишь на политической стороне Истории Дрейфуса, а не на его юридических аспектах. В ней резко очерчен ряд моментов, характерных для XX в. Смутные и едва различимые в первые десятилетия, они затем открыто выступили на свет божий и с тех пор пребывают в числе основных тенденций современности. После 30 лет умеренной, чисто общественной формы дискриминации евреев стало несколько труднее припомнить, что клич «Смерть евреям!» когда-то уже звучал во всю ширь современного государства и что вся внутренняя политика последнего кристаллизовалась вокруг вопроса об антисемитизме. В течение 30 лет старые легенды о мировом заговоре были не более чем привычным дежурным блюдом бульварной прессы и дешевых романов, и миру было нелегко вспомнить, что совсем недавно, но еще до того, как стали известны «Протоколы сионских мудрецов», целая страна ломала голову над тем, кто держит в своих руках бразды мировой политики — «тайный Рим» или «тайный Иуда»<sup>14</sup>.

Точно так же, в тех условиях, когда мир, обретя временное примирение с самим собой, не произвел вывода выдающихся уголовников, который бы оправдывал эскалацию жестокости и беспринципности, пережила упадок и неистовая нигилистическая философия духовной ненависти<sup>15</sup>. Всяким жюлям геренам пришлось ждать почти 40 лет, прежде чем атмосфера снова созрела для военизированных отрядов

<sup>13</sup> В кн.: Gurian W. Der integrale Nationalismus in Frankreich: Charles Maurras und die Action Française. Frankfurt a. M. 1931. S. 92 проводится резкое различие между монархическим движением и другими реакционными тенденциями. Этот же автор анализирует дело Дрейфуса в кн.: Die politischen und sozialen Ideen des französischen Katholizismus. M. Gladbach, 1929.

<sup>14</sup> О том, как мифы создавались с обеих сторон, см.: Halévy D. Apologie pour notre passé // Cahiers de la quinzaine. Series XL. 1910. № 10.

<sup>15</sup> Абсолютно современно звучит написанное Золя в 1898 г. «Письмо к Франции»: «Отовсюду раздаются голоса, что идея свободы претерпела банкротство. И когда возникло дело Дрейфуса, эта усиливающаяся ненависть к свободе пережила свой золотой век... Неужели вы не видите, что на г-на Шерер-Кестнера обрушились с такой яростью именно потому, что он принадлежит поколению, которое верило в свободу, которое сражалось за нее? Теперь некоторые господа пожимают плечами и насмешливо ухмыляются: «Это, дескать, старикашки, старомодные чудачки». См.: Herzog W. Op. cit. 6 января.

штурмовиков. Число *déclassés*, порождавшихся экономикой XIX в., должно было возрасти до их превращения в сильные меньшинства внутри наций, прежде чем *coup d'état*, так и оставшийся во Франции всего лишь гротескным замыслом<sup>16</sup>, почти без всяких усилий реализовался в Германии. Прелюдия к нацизму была разыграна на всей европейской сцене. Поэтому дело Дрейфуса — не просто причудливое, не до конца раскрытое «преступление»<sup>17</sup>, афера штабных офицеров, в темных очках и с фальшивыми бородами, по ночам разносящих по Парижу свои неумные подделки. Его герой — не Дрейфус, а Клемансо, и началось оно не арестом штабного офицера еврейской национальности, а панамским скандалом.

## 2. Третья республика и французское еврейство

Между 1880 и 1888 гг. Панамская кампания под руководством построившего Суэцкий канал де Лессепса не смогла добиться заметных практических успехов. Несмотря на это, в самой Франции ей удалось в этот же период получить частные займы на сумму ни много ни мало в 1 335 538 454 франков<sup>18</sup>. Этот успех тем более впечатляет, если принять во внимание осторожность французского среднего класса в денежных делах.

Секрет успеха компании заключался в том, что ее публичные займы неизменно находили поддержку парламента. Строительство канала было принято считать не столько частным предприятием, сколько общественной и национальной задачей. Поэтому, когда компания обанкротилась, это фактически был удар по внешней политике республики. Только через несколько лет выяснилось, что еще более важным был факт разорения порядка полумиллиона французов среднего класса. И пресса, и парламентская комиссия по расследованию пришли примерно к одинаковому заключению: компания уже в течение нескольких лет была банкротом. Они утверждали, что де Лессепс все это время жил надеждами на чудо, лелея мечту о том, что средства каким-то образом раздобудутся и он сможет продолжить работу. Для получения санкций на новые займы он должен был подкупить прессу, половину парламен-

<sup>16</sup> Фарсовый характер различных предпринимавшихся в 90-е годы попыток устроить *coup d'état* был четко проанализирован Розой Люксембург в ее статье «Die soziale Krise in Frankreich» // *Die Neue Zeit*. 1901. Bd. 1.

<sup>17</sup> Все еще неизвестно, подделал ли полковник Анри *bordereau* по приказу начальника штаба или по собственной инициативе. Точно так же никогда не были прояснены причины попытки самоубийства Лабори, адвоката Дрейфуса на реннском процессе. Ср.: *Zola E. Correspondance: lettres à Maître Labori*. P., 1929. P. 32. № 1.

<sup>18</sup> Ср.: *Frank W. Demokratie und Nationalismus in Frankreich*. Hamburg, 1933. S. 273.

та и всех высоких должностных лиц. Однако это требовало услуг посредников, а те в свою очередь взимали непомерные комиссионные. Таким образом, то самое, что первоначально обеспечивало общественное доверие предприятию, а именно поддержка парламентом займов, в конце концов оказалось фактором, превратившим не очень здоровый частный бизнес в колоссальный рэкет.

Ни среди подкупленных членов парламента, ни в совете компании не было евреев. Однако Жак Рейнах и Корнелиус Герц соперничали за честь распределять бакшиш между членами палаты. Первый работал с правым крылом буржуазных партий, второй — с радикалами (антиклерикальными партиями мелкой буржуазии)<sup>19</sup>. Рейнах был негласным финансовым советником правительства в 80-е годы<sup>20</sup> и поэтому ведал ее отношениями с Панамской компанией, роль же Герца была двойной. С одной стороны, он обеспечивал связь Рейнаха с радикальными группами в парламенте, к которым у самого Рейнаха не было доступа, с другой стороны, это гарантировало ему такую осведомленность относительно масштабов коррупции, что он мог постоянно шантажировать своего босса и еще глубже вовлекать его в эту кашу<sup>21</sup>.

Естественно, и на Рейнаха, и на Герца работало еще немало еврейских дельцов помельче. Однако их имена пусть так и пребывают в забвении, в котором они заслуженно оказались. Чем более неопределенным становилось положение компании, тем, естественно, выше были комиссионные, пока в результате сама компания почти перестала получать ссужаемые ей деньги. Незадолго до крушения Герц получил за одну лишь внутрипарламентскую сделку не менее 600 тысяч франков аванса. Аванс, однако, оказался преждевременным. Заем не был поддержан, и 600 тысяч просто уплыли из карманов держателей акций<sup>22</sup>. Весь этот отвратительный рэкет закончился для Рейнаха катастрофой. Издерганный шантажом Герца, он покончил с собой<sup>23</sup>.

Однако незадолго до своей смерти он предпринял шаг, последствия которого для французского еврейства едва ли могут быть переоценены. Он передал в антисемитскую газету Эдуарда Дрюмона «*Libre Parole*» свой список подкупленных членов парламента, так назы-

<sup>19</sup> Ср.: *Suarez G. La vie orgueilleuse de Clémenceau*. P., 1930. P. 156.

<sup>20</sup> Это утверждалось, например, в показаниях бывшего министра Рувье в комиссии по расследованию.

<sup>21</sup> Баррес (цит. по: *Bernanos G. Op. cit.* P. 271) изложил суть дела кратко: «Всегда, когда Рейнах что-то заглывал, находился Корнелиус Герц, который умел заставить его отрыгнуть проглоченное».

<sup>22</sup> Ср.: *Frank W. Op. cit.*, глава, озаглавленная «Панам»; ср.: *Suarez G. Op. cit.* P. 155.

<sup>23</sup> Свара между Рейнахом и Герцем придает панамскому скандалу несвойственный XIX в. дух гангстеризма. Сопrotивляясь шантажу Герца, Рейнах дошел до того, что прибег к услугам бывших инспекторов полиции, назначив за голову своего соперника 10 тыс. франков; ср.: *Suarez G. Op. cit.* P. 157.

ваемых «депутатов на пособии», выставив лишь одно условие — чтобы сам он был избавлен от разоблачений. В единую ночь «Libre Pape» превратилась из маленького, не имеющего политического значения листка в одну из самых влиятельных газет в стране с тиражом в 300 тысяч экземпляров. Врученный Рейнахом золотой шанс был использован с великими умениями и тщанием. Список замешанных публиковался малыми порциями так, что сотни политиков вынуждены были жить, испытывая утро за утром приступы страха. Издание Дрюмона, а вместе с ним и вся антисемитская пресса и движение стали в конце концов одной из опасных политических сил Третьей республики.

Панамский скандал, сделавший, словами Дрюмона, невидимое видимым, принес с собой два открытия. Во-первых, он обнаружил, что депутаты парламента и государственные служащие превратились в бизнесменов. Во-вторых, он показал, что посредниками между частными предприятиями (в данном случае с Панамской компанией) и государственной машиной выступали почти исключительно евреи<sup>24</sup>. Самым удивительным было то, что все эти евреи, работающие в таком интимном взаимодействии с государственной машиной, были из недавно приехавших в страну. До установления Третьей республики управление финансами страны было практически монополизировано Ротшильдами. Попытка соперничающих с ними братьев Перье вырвать путем создания банка «Crédit Mobilier» из их рук часть этого дела закончилась компромиссом. И в 1882 г. группа Ротшильдов оставалась еще достаточно могучей, чтобы довести до банкротства «Catholic Union Général», настоящей целью которого было разорить еврейских банкиров<sup>25</sup>. Сразу после заключения мирного договора 1871 г., финансовые условия которого разрабатывались с французской стороны Ротшильдами, а с немецкой — бывшим агентом дома Ротшильдов Блейхредером, Ротшильды вступили на путь беспрецедентной политики: они открыто выступили за монархистов против республики<sup>26</sup>. Новым во всем этом был не монархический уклон, а то, что впервые могущественный представитель еврейского банковского капитала встал в оппозицию к существующему режиму. До этого Ротшильды приспосабливались к любой политической системе, которой принадлежала власть. Похоже, поэтому,

<sup>24</sup> Ср.: *Levaillant I. La Genèse de l'antisémitisme sous la troisième République // Revue des études juives. 1907. Vol. 53. P. 97.*

<sup>25</sup> См.: *Lazare B. Contre l'antisémitisme: histoire d'une polémique. P., 1896.*

<sup>26</sup> Относительно соучастия «Haute Banque» в орлеанистском движении см.: *Charensol G. Op. cit.* Одним из выступающих от лица этой могущественной группы был издатель «Gaulois» Артур Мейер. Будучи выкредом, он принадлежал к самому зловонному отряду андтрейфусаров. См.: *Clémenceau G. Le spectacle du jour // L'Iniquité. 1899; см. также записи в дневнике Гогенлоэ (в кн.: Herzog W. Op. cit.) от 11 июня 1898 г.*

что республика явилась первой формой правления, оказавшейся для них действительно непригодной.

В течение веков и своим политическим влиянием, и своим социальным статусом евреи были обязаны тому, что они были замкнутой группой, работавшей непосредственно на государство и непосредственно же охраняемой им за оказываемые особые услуги. Их тесная и прямая связь с государственной машиной была возможна до тех пор, пока государство держалось на расстоянии от народа, а правящие классы были равнодушны к тому, как оно управляет народом. В этих условиях, с точки зрения государства, евреи были самым зависимым элементом общества именно потому, что они по-настоящему к нему не принадлежали. Парламентская система позволила либеральной буржуазии взять государственную машину под свой контроль. Однако евреи к ней никогда не принадлежали и потому взирали на нее с не лишенным основания подозрением. Режим уже не нуждался в евреях так, как в былые времена, поскольку теперь получил возможность добиваться через парламент финансовой поддержки, далеко выходящей за пределы самых необузданных мечтаний бывших более или менее абсолютных или конституционных монархов. И ведущие еврейские банкирские дома постепенно сошли со сцены финансовой политики и стали все больше прибавляться к антисемитским аристократическим салонам, чтобы в них мечтать о финансировании реакционных движений, способных вернуть старые добрые деньки<sup>27</sup>. Тем временем, однако, все возрастающую роль в коммерческой жизни Третьей республики стали играть другие еврейские круги, новички в среде еврейских плутократов. Ротшильды забыли то простое обстоятельство, которое едва не стоило им их могущества: как только они хоть на мгновение устранялись от активного интереса к режиму, они немедленно теряли свое влияние не только на правительственные круги, но и на евреев. Первыми увидели свой шанс еврейские иммигранты<sup>28</sup>. Они слишком хорошо понимали, что республика в том виде, в каком она получилась, не есть логическое следствие единого народного восстания. Из истребления около 20 тысяч коммунаров, из военного поражения и экономического краха возник режим, чья

<sup>27</sup> О тогдашних поползновениях к бонапартизму см.: *Frank W. Op. cit. P. 419*, где использованы неопубликованные документы из архивов немецкого Министерства иностранных дел.

<sup>28</sup> Жак Рейнах родился в Германии, получил баронский титул в Италии и натурализован в во Франции. Корнелиус Герц родился во Франции у родителей-баварцев. В ранней юности эмигрировал в Америку, он получил там гражданство и заработал огромное состояние. Подробности можно найти в кн. *Brogan D. W. Op. cit. P. 268 ff.*

Процесс вытеснения исконно французских евреев с официальных должностей может быть наглядно проиллюстрирован, например, следующим событием: как только дела Панамской компании пошли плохо, Леви-Крестьяне, ее первоначальный финансовый советник, был заменен Рейнахом (см.: *Ibid. Book 6. Ch. 2.*)

способность управлять была сомнительной с самого момента его зачатия. Это было настолько очевидно, что приведенное на край катастрофы общество в течение трех лет настойчиво требовало диктатора. А когда оно получило такового в лице президента генерала Мак-Магона (чьей единственной заслугой было поражение в битве при Седане), эта личность внезапно оказалась парламентарием старой школы и через несколько лет (в 1879 г.) подала в отставку. Тем временем, однако, различные общественные элементы, от оппортунистов до радикалов и от коалиционистов до крайне правых, определились в вопросе о том, какого рода политики они ждут от своих представителей и какие средства им надлежит использовать. Правильной политикой была политика защиты интересов имущих, а правильным средством — коррупция<sup>29</sup>. После 1881 г. единственным законом (по выражению Леона Сея) стал обман.

Справедливо подмечено, что в этот период французской истории у каждой политической партии был свой еврей, подобно тому как когда-то своего придворного еврея имел каждый королевский двор<sup>30</sup>. Однако тут было и глубокое отличие. Помещение еврейского капитала в государство прежде позволяло евреям играть ощутимую роль в экономике Европы. Без их участия было бы немислимым становление в XVIII в. национальных государств и их независимой гражданской службы. В конце концов, именно этим придворным евреям западное еврейство было обязано своей эмансипацией. Сомнительные же сделки Рейнаха и его сообщников не вели даже к созданию прочных состояний<sup>31</sup>. Их следствием было только то, что тайные и скандальные отношения между бизнесом и политикой погружались в еще более глубокую тьму. Этих паразитов, живущих за счет коррупции, насквозь прогнившее общество пыталось использовать в качестве своего, хотя и все более опасного, алиби. Поскольку они были евреями, то всегда существовала возможность использовать их в качестве козлов отпущения, если возникала необходимость успокоить негодование общественности. А потом все шло по-старому. Антисемиты, не задумываясь, указывали на евре-

<sup>29</sup> В книге *Lachapelle G. Les finances de la Troisième République* (P., 1937. P. 54 ff.) подробно описывается, как бюрократия захватила контроль над общественными финансами и то, что бюджетная комиссия руководствовалась исключительно частными интересами.

Относительно имущественного положения депутатов парламента ср.: *Bernanos G. Op. cit.* P. 192: «Большинство из них, подобно Гамбетте, не имели даже смены белья».

<sup>30</sup> Как замечает Франк (*Op. cit.* P. 321 ff.), у правых был свой Артур Мейер, у буланжистов — Альфред Накет, у оппортунистов — свои Рейнахи, а у радикалов — д-р Корнелиус Герц.

<sup>31</sup> К этим новичкам относятся обвинительные слова Дрюмона (*Drumont E. Les tréteaux du succès*. P., 1901. P. 237): «Эти великие евреи, которые начинают с нуля и достигают всего... они появляются Бог знает откуда, живут в тайне, умирают, окруженные догадками... Они не приезжают, а возникают... Они не умирают, а исчезают».

ев-паразитов, живущих за счет коррупции, чтобы «доказать», что все евреи — это не что иное, как термиты в здоровом во всех прочих отношениях теле народа. Для них ничего не значило, что коррупция политического тела началась без помощи евреев, что политика бизнесменов (в буржуазном высшем свете, к которому евреи не принадлежали) и их идеал неограниченной конкуренции вели к разложению государства на партийно-политические составляющие; что правящие классы оказались неспособными и дальше защищать свои собственные интересы, не говоря уж об интересах страны в целом. Антисемиты, назвавшие себя патриотами, ввели в употребление тот новый вид национального чувства, который состоит в первую очередь в полном обелении своего собственного народа и в огульном охаивании всех прочих.

Евреи могли оставаться отдельной, стоящей вне общества, группой лишь до тех пор, пока в них нуждалась и их охраняла заинтересованная в них более или менее однородная и устойчивая государственная машина. Разложение государственной машины внесло расстройство и в сомкнутые ряды еврейства, так долго с ней связанного. Первые знаки этого проявились в делах, которые проворачивали вновь натурализованные французские евреи, вышедшие из-под контроля своих урожденных во Франции собратьев подобно тому, как это случилось в Германии периода инфляции. Пришлые заполнили собой зазоры между миром коммерции и государством.

Гораздо более пагубным был другой процесс, навязанный сверху и также начавшийся в это время. Распад государства на фракции хоть и разорвал закрытое сообщество евреев, но все-таки не вытолкнул их в вакуум, где они прозябали бы вне государства и общества. Для этого евреи были слишком богаты, а во времена, когда деньги стали одной из самых неотъемлемых составляющих могущества, и слишком могущественны. Скорее они стремились к тому, чтобы влиться в разнообразные «круги» общества в соответствии со своими политическими склонностями или, еще чаще, со своими социальными связями. Это, однако, не вело к их исчезновению. Наоборот, они поддерживали определенные отношения с государственной машиной и продолжали, пусть и решительно в иной форме, руководить экономикой государства. Так, не кто иные, как Ротшильды, предприняли, несмотря на свою нескрываемую оппозицию Третьей республике, размещение русского займа, а Артур Мейер хоть и был всем известным выкрестом и монархистом, но оказался среди лиц, замешанных в панамском скандале. Это означало, что рожденные во Франции евреи поспешили примкнуть к вновь пополнившим французское еврейство, образовавшим главное звено, связывающее частную коммерцию с правительственной машиной. Но если раньше евреи представляли собой сильную, тесно сплоченную группу,

польза которой для государства была очевидной, то теперь они раскололись на враждующие клики, преследующие, однако, одну и ту же цель — помочь обществу жиреть за счет государства.

### 3. Армия и духовенство против республики

На первый взгляд не затронутой всеми подобными процессами, не подверженной коррупции осталась армия — наследие Второй империи. Республика никогда не осмеливалась установить над ней свое верховенство, даже когда во время буланжистского кризиса ее монархистские симпатии и интриги выплеснулись на поверхность. Офицерское сословие, как и прежде, состояло из тех отпрысков старых аристократических фамилий, чьи предки, отправившись в эмиграцию, сражались со своим отечеством в период революционных войн. Эти офицеры находились под сильным влиянием духовенства, которое после революции всегда ставило своей целью поддержку реакционных и антиреспубликанских движений. Вполне возможно, что столь же сильным было его влияние на тех офицеров, которые были несколько более низкого происхождения, но надеялись, что благодаря традиционной практике церкви поддерживать таланты безотносительно к родословной они смогут продвинуться с помощью духовенства.

Подчеркнутая замкнутость армии, столь характерная для кастовых систем, выступала контрастом по отношению к меняющимся и подвижным кликам в обществе и парламенте, куда доступ был легким и где царил не верность, а непостоянство. Не боевой образ жизни, не профессиональная честь, не *esprit de corps* сплачивали ее офицеров в реакционный оплот против республики и вообще всех демократических веяний, а просто их кастовая повязанность друг с другом<sup>32</sup>. Отказ государства демократизировать армию и подчинить ее гражданским властям влек за собой примечательные последствия. Он превратил армию в организм, стоящий вне нации, и создал вооруженную силу, чья лояльность могла быть повернута в направлении, предсказать которое не мог никто. О том, что эта проникнутая кастовым духом сила, если ее предоставить себе самой, была ни за, ни против кого бы то ни было, достаточно ясно говорит история почти бурлескного *coups d'état*, в котором, несмотря на заявления противоположного свойства, ей на самом деле не хотелось принимать участия. Даже ее пресловутый монархизм был при тщательном рассмотрении не чем иным, как предлогом для сохранения себя в качестве независимой группы, существующей ради защи-

<sup>32</sup> См. отличную анонимную статью: *The Dreyfus case: A study of French opinion // The Contemporary Review*. 1898. Vol. 74. October.

ты собственных интересов, готовой отстаивать свои привилегии, «не считаясь с республикой, вопреки ей и даже против нее»<sup>33</sup>. Журналисты того времени и более поздние историки предпринимали доблестные усилия, чтобы объяснить конфликт между гражданской и военной властями во время дела Дрейфуса антагонизмом между «бизнесменами и военными»<sup>34</sup>. Однако теперь мы знаем, сколь необоснованным является это косвенным образом разведки Генерального штаба сами могли выступать в качестве экспертов в области бизнеса. Разве не они почти открыто торговали поддельными *borderaux*, не продавали их иностранным военным атташе так же небрежно, как небрежно продает свой товар купец-кожевник и тогда, когда он уже стал президентом республики, или как зять этого президента торгует орденами и званиями?<sup>35</sup> В самом деле рвение немецкого атташе Шварцкоппена, жаждавшего добыть больше военных секретов, чем все, которыми располагала Франция, положительно должно было служить источником смущения для джентльменов из службы контрразведки, которые, в конце концов, не могли продать больше того, что они производили.

Великая ошибка католических политиков состояла в том, что они вообразили себе возможность использовать в своей европейской политике французскую армию только потому, что та представлялась антиреспубликанской. Фактически церковь была обречена заплатить за эту ошибку полной потерей своего политического влияния во Франции<sup>36</sup>. Когда разведывательное управление в конечном итоге предстало перед всеми как обыкновенная фабрика подделок, а именно так назвал второе бюро Эстергази<sup>37</sup>, никто во Франции, даже армия, не был так сильно скомпрометирован, как церковь. К концу прошлого века католическое духовенство старалось восстановить свое прежнее политическое могущество как раз в тех местах, где по тем или иным причинам светские власти стали утрачивать в глазах людей свой авторитет. Так обстояло дело в Испании, где находящаяся в упадке феодальная аристократия привела страну к экономической и культурной катастрофе, и в

<sup>33</sup> См.: *Luxemburg R.* *Loc. cit.*: «Причиной, по которой армия воздерживалась от решительного шага, было ее желание показать свою оппозицию гражданской власти республики, не ослабляя вместе с тем силу этой оппозиции сговором с монархией».

<sup>34</sup> Именно под таким заголовком описывал дело Дрейфуса в газете «*Die Zukunft*» (1898) Максимилиан Харден (немецкий еврей). Антисемитский историк Вальтер Франк использует этот же оборот в названии главы о Дрейфусе, а Бернаос (*Op. cit.* P. 13) в том же духе замечает, что, «справедливо или нет, демократия видит в военных своего самого опасного соперника».

<sup>35</sup> Панамскому скандалу предшествовало так называемое «дело Вильсона» Раскрылось, что зять президента открыто занимался торговлей орденами и другими наградами.

<sup>36</sup> См.: *Lecanuet E., father.* *Les signes avant-coureurs de la séparation, 1894–1910.* P., 1930.

<sup>37</sup> См.: *Weil B.* *L'Affaire Dreyfus.* P., 1930. P. 169.

Австро-Венгрии, в которой национальные конфликты ежечасно угрожали взорвать государство. То же самое происходило и во Франции, где нация, похоже, стремительно погружалась в трясину конфликтующих интересов<sup>38</sup>. Армия, оставленная Третьей республикой в политическом вакууме, с радостью приняла направляющую роль католического духовенства, которое все-таки предоставляло ей что-то наподобие гражданского руководства, без чего военные, по выражению Клемансо, теряют «*raison d'être*, (состоящий) в защите принципа, воплощенного в гражданском обществе».

Своей популярностью в то время католическая церковь была обязана широко распространившемуся в народе скептицизму по отношению к республике и демократии, в которых стали видеть причину утраты всяческого порядка, безопасности и политической воли. Для многих иерархическое устройство церкви стало казаться единственной возможностью избежать хаоса. По сути, именно этим, а не религиозным возрождением объяснялось уважение, питаемое к духовенству<sup>39</sup>. На самом деле наиболее твердыми сторонниками церкви в тот период были выразители так называемого «головного» католицизма, «католики без веры», которым предстояло подчинить себе все монархистское и крайнее националистическое движение. Не питая веры в его потусторонние основы, эти «католики» требовали большей власти для всех авторитарных институтов. Именно таковой была линия, намеченная Дрюмоном и позднее продолженная Моррасом<sup>40</sup>.

Огромное большинство католического духовенства, глубоко вовлеченного в политические маневры, следовало политике приспособленчества. В этом, как показывает История Дрейфуса, оно заметно преуспело. Так, когда Виктор Бах принял дело к пересмотру, его дом в Ренне был подвергнут нападению, которое возглавили три священника<sup>41</sup>, а такая выдающаяся личность, как доминиканский патер Дидон, призвала студентов коллегии в Арейле «извлечь меч, устрашать, рубить головы и неистовствовать»<sup>42</sup>. Подобных же взглядов придерживались три сотни священников меньшего калибра, которые обессмертили себя в

<sup>38</sup> Ср.: Clémenceau G. La Croisade // Op. cit.: «Испания корчится под игом римской церкви. Италия, похоже, не выдержала его. Остались только католическая Австрия, уже ведущая смертельную бой, и рожденная Революцией Франция, против которой даже сейчас ведет наступление папское воинство».

<sup>39</sup> Ср.: Bernanos G. Op. cit. P. 152: «Можно повторять эту мысль бесчисленное множество раз: действительный выигрыш от того реакционного движения, которое последовало за падением империи и поражением, получило духовенство. Благодаря ему национальная реакция после 1873 г. приняла форму религиозного возрождения».

<sup>40</sup> О Дрюмоне и происхождении «головного католицизма» см.: Bernanos G. Op. cit. P. 127 ff.

<sup>41</sup> Ср.: Herzog W. Op. cit., запись от 21 января 1898 г.

<sup>42</sup> См.: Lecanuet E. Op. cit. P. 182.

качестве «Мемориала Анри», как был назван опубликованный в «*Libre Parole*» список жертв в фонд поддержки мадам Анри (вдовы покончившего с собой в тюрьме полковника)<sup>43</sup>, мемориала, который конечно же стал на все времена памятником потрясающей коррупции верхних классов французского народа в рассматриваемое время. В период вызванного делом Дрейфуса кризиса политическая линия католической церкви складывалась не под влиянием ее рядового духовенства и не под влиянием ее обычных религиозных орденов и уж точно не под воздействием ее *homines religiosi*. В том, что касается Европы, реакционная политика церкви во Франции, Австрии и Испании, равно как и ее поддержка антисемитских веяний в Вене, Париже и Алжире, была, вероятно, непосредственным следствием иезуитского влияния. Именно иезуиты всегда наилучшим образом представляли и в письменном и в устном виде антисемитское направление в католическом духовенстве<sup>44</sup>. В большей мере это было последствием их устава, согласно которому каждый послушник должен был доказать, что у него нет еврейской крови в четырех поколениях<sup>45</sup>. А с начала XIX в. руководство международной политикой церкви перешло в их руки<sup>46</sup>.

Мы уже наблюдали, как распад государственной машины облегчил Ротшильдам вхождение в круги антисемитской аристократии. Светское общество Сен-Жерменского предместья распахнуло свои двери не только немногим аристократизированным евреям, туда дозволено было просочиться и их принявшим крещение прихлебателям, евреям-антисемитам, а также и совершенным новичкам из вновь прибывших<sup>47</sup>.

<sup>43</sup> См. выше, примечание 10.

<sup>44</sup> Иезуитский журнал «*Civiltà Cattolica*» в течение десятилетий был в высшей мере антисемитским и притом одним из наиболее влиятельных католических журналов в мире. Он вел антиеврейскую пропаганду задолго до того, как Италия стала фашистской, и на его политику не повлияла антихристианская позиция нацистов (см.: Starr J. Italy's antisemites // Jewish Social Studies. 1939).

Согласно Л. С. Дж. Коху, «из всех орденов, Общество Иисуса благодаря своему уставу наилучшим образом защищено от еврейского влияния». См. статью «*Juden*» // Jesuiten-Lexikon. Paderborn, 1934.

<sup>45</sup> Первоначально, согласно Конвенции 1593 г., исключению подлежали все христиане еврейского происхождения. Указом от 1608 г. предписывалось выяснение происхождения до пятого колена; последнее предписание от 1923 г. сократило это требование до четырех поколений. В индивидуальных случаях эти требования могут быть отменены главой ордена.

<sup>46</sup> Ср.: Boehmer H. Les Jésuites. P., 1910. P. 284 (перевод с нем.): «С 1820 г. ...не существовало независимых национальных церквей, способных противостоять продиктованным иезуитами папским приказам. Высшее духовенство наших дней разбило свои шатры вокруг Святейшего престола, и церковь стала тем, чего всегда требовал от нее великий иезуитский публицист Беллармин, — абсолютной монархией, чья политика может управляться иезуитами и чье развитие может определяться нажатием кнопки».

<sup>47</sup> Ср.: Clémenceau G. Le spectacle du jour // Op. cit.: «Ротшильд, друг всей антисемитски настроенной знати... неотличимый от Артура Мейера, большой папист, чем сам папа».

Достаточно любопытно то, что евреи из Эльзаса, подобно семье Дрейфуса попавшие в Париж после утраты данной территории, заняли особое видное место в этом социальном движении наверх. Их преувеличенный патриотизм наиболее наглядно проявлялся в рвении, с каким они старались отмежеваться от еврейских иммигрантов. Семья Дрейфусов принадлежала к той части французского еврейства, которая стремилась к ассимиляции и с этой целью практиковала свою собственную разновидность антисемитизма<sup>48</sup>. Такое подлаживание к французской аристократии имело один неизбежный результат: евреи пытались обеспечить своим сыновьям столь же высокую военную карьеру, как и у сыновей их вновь обретенных друзей. И первой причиной возникших трений было именно это. Допуск евреев в высшее общество осуществился сравнительно мирно. Высшие классы, несмотря на их мечты о реставрации монархии, были политически бесхребетной компанией и не слишком утруждали себя заботами о выборе тех или иных путей. Но когда евреи начали добиваться равенства в армии, они столкнулись с решительной оппозицией иезуитов, не желающих терпеть существование офицеров, не подверженных влиянию исповедальни<sup>49</sup>. Более того, им противостоял закоренелый дух касты, о котором легко было позабыть в легкой атмосфере салонов, тот самый кастовый дух, что и так был силен благодаря традиции и призванию, но еще больше укреплялся из-за бескомпромиссной враждебности к Третьей республике и к гражданской администрации.

Современный историк описал борьбу между евреями и иезуитами как «борьбу между двумя соперниками», в которой «высшее иезуитское духовенство и еврейская плутократия стояли лицом к лицу посредине Франции, подобно двум невидимым боевым шеренгам»<sup>50</sup>. Это описание соответствует истине, поскольку евреи встретили в иезуитах своих первых непримиримых врагов, а те быстро сообразили, каким мощным оружием может быть антисемитизм. Это была первая и единственная до Гитлера попытка использовать «крупную политическую

<sup>48</sup> Об эльзасских евреях, к числу которых принадлежал Дрейфус, см.: Foucault A. Un nouvel aspect de l'Affaire Dreyfus // Les Oeuvres Libres. 1938. P. 310: «В глазах еврейской буржуазии Парижа они были воплощением националистической gaudeur... это было отношение отстраненного презрения, которое благородные питают к единоверцам-парвеню. Их желание полностью перенять галльские обычаи, поддерживать близкие отношения с нашими почтенными семьями, занимать самые выдающиеся посты в государстве и их пренебрежение к еврейским коммерческим кругам, к недавно натурализовавшимся «полякам» из Галиции делали их чем-то весьма похожим на предателей своей собственной нации... Дрейфусы 1894 года? Да они были антисемитами!»

<sup>49</sup> Ср.: K. V. T. The Dreyfus case: A study of French opinion // The Contemporary Review. Vol. 74. P. 598: «По воле демократии все французы обязаны быть солдатами; по воле церкви только католикам предназначены все высшие командные посты.»

<sup>50</sup> Herzog W. Op. cit. P. 35.

концепцию»<sup>51</sup> антисемитизма в общеевропейском масштабе. Однако, если исходить из предположения, что это была борьба двух равных «соперников», картина получится заметно искаженной. Евреи не претендовали на сколько-нибудь большую степень власти, чем располагала любая другая из клик, на которые раскололась республика. Единственно, чего они хотели в то время, так это влияния, достаточного для обеспечения своих общественных и деловых интересов. Они не стремились получить долю в управлении государством. Единственной стремившейся к этому организованной группой были иезуиты. Процессу Дрейфуса предшествовал ряд инцидентов, показавших, насколько решительно и энергично евреи пытались обеспечить себе место в армии и каким распространенным, даже в то время, было враждебное отношение к ним. Постоянно подвергаясь грубым оскорблениям, немногие офицеры-евреи, что существовали тогда, были вынуждены отвечать вызовами на дуэль, а их товарищи неевреи неохотно шли к ним в секунданты. Фактически, именно в этой связи как исключение из данного правила появляется на сцене злополучный Эстергази<sup>52</sup>.

Всегда оставалось несколько непроясненным, были ли арест и осуждение Дрейфуса просто юридической ошибкой, случайно разжегшей политический пожар, или Генеральный штаб намеренно запустил поддельное bordereau с недвусмысленной целью наконец-то заклеить еврея как предателя. В пользу последней гипотезы говорит тот факт, что Дрейфус был не первым евреем, получившим должность в Генеральном штабе, и при существующих условиях это не могло не вызвать уже не просто недовольство, а ужас и возмущение. В любом случае кампания ненависти к евреям развернулась еще до того, как приговор был направлен на пересмотр. Вопреки обычаю, требовавшему воздержания от передачи в прессу любой информации о деле относительно шпионажа, пока оно находится sub judice, офицеры Генерального штаба с радостью снабдили газету «Libre Parole» подробностями де-

<sup>51</sup> Ср.: Bernanos G. Op. cit. P. 151: «Итак, освобожденный от смехотворных гиперболических антисемитизм предстал тем, чем он на самом деле и является: не просто каким-то чудачеством или вывихом ума, а крупной политической концепцией».

<sup>52</sup> См. письмо Эстергази к Эдмону де Ротшильду от июля 1894 г., цитируемое в: Reinach J. Op. cit. Vol. 2. P. 53 ff: «Я не колебался, когда капитан Кремье не смог найти себе секунданта среди офицеров-христиан». Ср.: Reinach T. Histoire sommaire de l'Affaire Dreyfus. P. 60 ff. См. также: Herzog W. Op. cit., записи 1892 г. и июня 1894 г., где приводится подробный отчет об этих дуэлях и названы все случаи посредничества Эстергази. Последний из них имел место в сентябре 1896 г., тогда он получил 10 тыс. франков. Эта неумеренная щедрость имела впоследствии негативные результаты. Когда, находясь в приятной безопасности в Англии, Эстергази выступил со своими пространными откровениями, повлекшими пересмотр дела, антисемитская пресса, естественно, предположила, что за саморазоблачения ему заплатили евреи. Эта идея все еще выдвигается как один из главных аргументов в пользу виновности Дрейфуса.

ла и сообщили имя обвиняемого. Похоже, что они боялись, как бы влияние евреев на правительство не привело к сворачиванию процесса и закрытию всей этой истории. Какие-то основания у этих страхов имелись, так как о некоторых кругах французского еврейства было известно в то время, что они серьезно озабочены непрочностью положения еврейских офицеров.

Нужно также помнить о том, что в общественном сознании еще свежи были воспоминания о панамском скандале и что после ротшильдовского займа России недоверие к евреям значительно возросло<sup>53</sup>. При каждом новом повороте процесса военного министра Мерсье вознесла не только буржуазная пресса; даже газета Жореса, орган социалистов, поздравила его с тем, что «он противостоял внушительному давлению коррумпированных политиков и крупных финансистов»<sup>54</sup>. Характерно, что эта похвала была встречена с безграничной благодарностью со стороны «*Libre Parole*», написавшей: «Браво, Жорес!» Два года спустя, когда Бернар Лазар опубликовал свою первую брошюру об имевших место нарушениях правосудия, газета Жореса осторожно уклонилась от обсуждения ее содержания, но обвинила автора-социалиста в том, что он — почитатель Ротшильда и, вероятно, платный агент<sup>55</sup>. Точно так же уже в 1897 г., после начала борьбы за реабилитацию Дрейфуса, Жорес не сумел увидеть в этом ничего, кроме борьбы двух групп буржуазии — оппортунистов и клерикалов. Наконец, даже после повторного суда в Ренне немецкий социал-демократ Вильгельм Либкнехт все еще верил в вину Дрейфуса потому, что не мог вообразить, как этот представитель высших классов мог быть жертвой ложного приговора<sup>56</sup>.

Скепсис радикальной и социалистической прессы, сильно окрашенный к тому же антисемитским душком, подогревался еще и избранной семейством Дрейфуса, добивавшимся пересмотра дела, невра-

<sup>53</sup> Герцог В. (Op. cit.) в записи от 1892 г. подробно показывает, как Ротшильды начали приспосабливаться к республике. Достаточно любопытно, что и папская политика коалиционизма, представляющая собой попытку сближения с евреями со стороны католической церкви, берет свое начало в этом же году. Поэтому нет ничего невозможного в том, что на позицию Ротшильда оказало влияние духовенство. Относительно же предоставления России займа в 500 тыс. франков граф Мюнстер со знанием дела отмечал: «Спекуляция во Франции мертва... Капиталисты не находят способа сбыть свои ценные бумаги... и это будет способствовать успеху займа... Большие евреи верят, что если они делают деньги, то смогут лучше помочь своим меньшим братьям. В результате, хотя французский рынок забит русскими облигациями, французы продолжают отдавать добрые франки за плохие рубли» (Herzog W. Ibid.).

<sup>54</sup> Ср.: Reinach J. Op. cit. Vol. 1. P. 471.

<sup>55</sup> Ср.: Herzog W. Op. cit. P. 212.

<sup>56</sup> Ср.: Kohler M. J. Some new light on the Dreyfus Case // Studies in Jewish Bibliography and Related Subjects in Memory of A. S. Freidus. N.Y., 1929.

зумительной тактикой. Пытаясь спасти невинного человека, его родственники пользовались теми именно методами, которыми обычно пользуются в случаях, когда речь идет о действительно виновных. Они смертельно боялись гласности и полагались исключительно на закулисные маневры<sup>57</sup>. Они швыряли деньги и обращались с Лазаром, одним из своих самых незаменимых помощников и одним из самых выдающихся участников этого дела, так, как если бы он был их платным агентом<sup>58</sup>. Клемансо, Золя, Пикар и Лабори — если назвать только наиболее активных из дрейфусаров — смогли в конце концов спасти свои добрые имена, только с большим или меньшим скандалом и публичностью отмежевывая свои действия от более конкретных сторон этой истории<sup>59</sup>.

Существовала только одна основа, на которой мог быть или должен был быть спасен Дрейфус. Интригам коррумпированного парламента, моральному разложению рушащегося общества и вожделенному стремлению духовенства к власти должен был быть решительно противопоставлен жесткий якобинский принцип нации, основанный на правах человека, тот самый республиканский взгляд на общественную жизнь, согласно которому (пользуясь словами Клемансо) покушение на права одного является покушением на права всех. Полагаться на парламент или на общество значило проиграть битву, не начав ее. Во-первых, финансовые средства еврейства ничуть не превосходили те, что были в распоряжении богатой католической буржуазии; во-вторых, все высшие слои общества — от клерикальных и аристократических семейств Сен-Жерменского предместья до радикальной и антиклерич-

<sup>57</sup> Например, семья Дрейфуса с порога отвергла предложение писателя Артура Леви и ученого Леви-Брюля распространить петицию протеста среди всех ведущих деятелей тогдашнего общества. Вместо этого она стала одолевать личными просьбами любого из политиков, с которыми ей случалось войти в контакт; ср.: Dutrait-Crozon H. Op. cit. P. 51. См. также: Foucault A. Op. cit. P. 309: «С такой дистанции приходится только удивляться, почему французские евреи, вместо того чтобы тайно возиться с этими документами, не выразили открыто и однозначно свое возмущение».

<sup>58</sup> Ср.: Herzog W. Op. cit., записи от декабря 1894 г. и января 1898 г. См. также: Charensol G. Op. cit. P. 79; Péguy C. Le portrait de Bernard Lazare // Cahiers de la quinzaine. 1910. Séries XI. № 2.

<sup>59</sup> Главный скандал разразился в результате прекращения защиты адвокатом Лабори, после того как в ходе работы реннского трибунала семья Дрейфуса поспешно отказалась от его услуг. Исчерпывающее, хотя и сильно преувеличенное, описание этой истории можно прочесть в работе: Frank W. Op. cit. P. 432. Собственное заявление Лабори, красноречиво говорящее о благородстве его природы, появилось в «*La Grande Revue*» (февраль 1900 г.). После того, что произошло с его адвокатом и другом, Золя немедленно порвал отношения с Дрейфусами. Что касается Пикара, то «*Echo de Paris*» (30 ноября 1901 г.) сообщала, что после Ренна он не имел с семьей Дрейфуса ничего общего. Клемансо перед лицом того факта, что вся Франция или даже весь мир разобрались в подлинном значении этих процессов лучше, чем обвиняемый и его семья, более склонен был рассматривать весь этот эпизод в юмористическом свете; ср.: Weil B. Op. cit. P. 307–308.

кальной мелкой буржуазии — только и жаждали официального удаления евреев из политических структур. Таким путем, полагали они, им удалось бы смыть возможное пятно с себя самих. За это они готовы были заплатить потерей социальных и коммерческих контактов с евреями. Точно так же, как показывают высказывания Жореса, и парламент увидел в деле Дрейфуса золотой шанс поправить или, скорее, вновь обрести свою прежнюю репутацию неподкупности. И последним, но не по важности, было то, что в поддержке таких лозунгов, как «Смерть евреям!» или «Франция для французов», была найдена почти магическая формула примирения масс с существующим в правительстве и обществе положением.

#### 4. Народ и толпа

Если в наше время распространенной ошибкой является представление о том, что пропаганда всесильна и что человека можно уговорить на все что угодно, если только делать это достаточно ловко и громко, то в тот период общераспространенной была вера, что «глас народа — глас Божий» и что задачей лидера, как горестно сказал об этом Клемансо<sup>60</sup>, является разумное следование этому голосу. Оба эти взгляда отправляются от одной фундаментальной ошибки — от отношения к толпе не как к карикатуре на народ, а как к самому народу.

Толпа — это прежде всего группа, в которой представлены осколки всех классов. Поэтому так легко принять толпу за народ, также объемлющий все слои общества. В то время как народ во всех революциях борется за настоящее представительство, толпа всегда ратует за «сильную личность», «великого вождя». Толпа ненавидит общество, ибо из него она исключена, и парламент, ибо в нем она не представлена. Поэтому плебисциты, с помощью которых современные лидеры толпы добивались столь отличных результатов, представляют собой старую идею политиков, полагающихся на толпу. Один из самых умных лидеров антидрейфусаров — Дерулед требовал «республики посредством плебисцита».

Высшее общество и политики Третьей республики своим публичным мошенничеством и серией скандалов породили французскую толпу. Теперь они испытывали теплое чувство близости к своему отпрыску, смешанное с восхищением и страхом. Самое меньшее, что общество

<sup>60</sup> Ср. статью Клемансо от 2 февраля 1898 г., *op. cit.* О тщетности попыток завоевать на свою сторону рабочих с помощью антисемитских лозунгов, и особенно о таковых попытках Леона Доде см. у роялистского писателя Димье: *Dimier L. Vingt ans d'Action Française*. P., 1926.

могло сделать для своего детища, — это защищать его словесно. Пока толпа громила еврейские лавки и нападала на евреев на улицах, на языке высшего общества это реальное зверское насилие выдавалось за невинное детское развлечение<sup>61</sup>. Самым важным в этом отношении документом той эпохи является «Мемориал Анри» с предлагавшимися в нем различными способами решения еврейского вопроса: евреев следовало разорвать на куски, подобно Марсию из греческого мифа; Рейнаха необходимо было сварить живьем; евреев надо было тушить в масле или закалывать до смерти иголками; им нужно было «сделать обрезание по самую шею». Одна группа офицеров с великим нетерпением предлагала испытать на 100 тысячах живущих в стране евреев новую модель орудия. Среди подписчиков было более тысячи офицеров, включая четырех находящихся на действительной службе генералов и военного министра Мерсье. Поражает наличие в списке сравнительно большого числа интеллектуалов<sup>62</sup> и даже евреев. Высшие классы знали, что толпа — это плоть от их плоти и кровь от их крови. Даже один из еврейских историков того времени, видевший своими собственными глазами, что, когда толпа правит улицей, евреи больше не находятся в безопасности, с затаенным восхищением писал о «великом коллективном движении»<sup>63</sup>. Одно это показывает, как глубоко евреи были укоренены в обществе, которое пыталось от них избавиться. Когда Бернанос, имея в виду Историю Дрейфуса, описывает антисемитизм как крупную политическую доктрину, он, несомненно, прав в том, что касается толпы. До этого ее использовали в Берлине и Вене Альвардт и Штёкер, Шёнерер и Люгер, но нигде ее эффективность не была так ясно доказана, как во Франции. Нет сомнения в том, что в глазах толпы евреи стали служить объективным примером всего, что было ей не по нутру. Если она ненавидела общество, то можно было указать на то, как это общество проявляет терпимость к евреям, а если предметом ненависти было правительство, указывалось на его покровительство евреям или на их срастание с государством. И хотя ошибкой было бы полагать, что толпа охотится только на евреев, все же евреям следует отвести первое место среди излюбленных ее жертв.

<sup>61</sup> Очень характерны в этом отношении различные описания тогдашнего общества в кн.: *Reinach J. Op. cit. Vol. 1. P. 233 ff; Vol. 3. P. 141*: «Светские дамы не уступали Герену. Их язык (который ненамного обгонял их мысли) ужаснул бы даже дагомейскую амазонку...» Особый интерес в этой связи представляет статья Андре Шеврилона (*Chevillon A. Huit jours à Rennes*), опубликованная в «*Le Grande Revue*» в феврале 1900 г. *Inter alia* он рассказывает следующий поучительный эпизод: «Врач, разговаривавший с моими друзьями о Дрейфусе, бросил: «Я бы с удовольствием его пытал». «А я, — подхватила одна из дам, — хотела бы, чтобы он оказался невинным. Он бы еще больше от этого страдал».

<sup>62</sup> Достаточно странно, но среди интеллектуалов значится Поль Валери, который внес свои три франка «*non sans réflexion*».

<sup>63</sup> *Reinach J. Op. cit. Vol. 1. P. 233.*

Исключенная, по сути дела, из общества и из политического представительства, толпа по необходимости обращается к экстрапарламентарным действиям. Более того, она склонна искать истинные силы политической жизни в тех движениях и влияниях, которые спрятаны от наблюдения и действуют за сценой. Нет сомнения в том, что в XIX в. евреи попали в эту категорию, как и франкмасоны (особенно в латинских странах) и иезуиты<sup>64</sup>. Конечно, совершенно неверно, что любая из этих групп действительно являла собой стремящееся прийти к мировому господству посредством гигантского заговора тайное общество. Тем не менее верно и то, что их влияние, каким бы открытым оно ни было, осуществлялось в широких масштабах за пределами официальной политики — через лобби, ложи и исповедальни. Со времени Французской революции эти три группы всегда делили сомнительную честь быть в глазах европейской черни осью мировой политики. Во время дрейфусовского кризиса каждая из них могла эксплуатировать это распространённое представление и швырять в других обвинения в заговоре с целью достижения мирового господства. Лозунг «тайный Иуда» появился, несомненно, благодаря изобретательности отдельных иезуитов, пожелавших увидеть в Первом сионистском конгрессе (1897 г.) сердцевину всемирного еврейского заговора<sup>65</sup>. Точно так же понятие «тайного Рима» появилось благодаря антиклерикальным франкмасонам и, возможно, не без неразборчивых клеветнических выдумок кого-то из евреев.

Непостоянство толпы вошло в поговорку, как смогли убедиться себе на горе противники Дрейфуса, когда в 1899 г. ветер переменился и небольшая группа настоящих республиканцев во главе с Клемансо внезапно обнаружила, хотя и со смешанным чувством, что часть черни переметнулась на их сторону<sup>66</sup>. В чьих-то глазах две стороны этого великого противостояния выглядели теперь как «две враждующие шайки шарлатанов, ссорящихся за признание их всяческим сбродом»<sup>67</sup>, в то время как на самом деле голос якобинца Клемансо преуспел в том, чтобы вернуть часть французского народа к его самой великой традиции. Так что великий ученый Эмиль Дюкло смог в итоге написать: «В этой драме, разыгранной перед всем народом и настолько подогретой прессой, что в конце концов в ней приняла

<sup>64</sup> Изучение европейских предрассудков, вероятно, показало бы, что евреи стали довольно поздно объектом этой типичной для XIX в. разновидности предрассудка. Им предшествовали розенкрейцеры, тамплиеры, иезуиты и франкмасоны. Представление об истории XIX в. сильно страдает от отсутствия такого исследования.

<sup>65</sup> См.: *Il caso Dreyfus // Civiltà Cattolica*. 05.02.1898. Среди исключений из этого правила самое примечательное — иезуит Пьер Шарль Лувен, осудивший «Протоколы».

<sup>66</sup> Ср.: *Martin du Gard R. Jean Barois*. 1913. P. 272 ff.; *Halévy D. Apologie pour notre passé // Cahiers de la quinzaine. Séries XI*. P., 1910. Cahier 10.

<sup>67</sup> Ср.: *Sorel G. La Révolution dreyfusienne*. P., 1911. P. 70–71.

участие вся нация, мы видим, как обрушиваются друг на друга хор и антихор греческой трагедии. Сцена — это Франция, театр — весь мир».

Ведомая иезуитами и поддерживаемая толпой армия наконец вмешалась в драку, уверенная в своей победе. Контратака со стороны гражданских была действительным образом предупреждена. Антисемитская пресса заткнула противникам рты, опубликовав рейнаховские списки депутатов, замешанных в панамском скандале<sup>68</sup>. Все предвещало легкий триумф. Общество и политики Третьей республики, с их скандалами и аферами, создали новый класс *déclassés*; от них нельзя было ожидать борьбы против своего собственного создания; напротив, им пришлось заимствовать у черни ее язык и образ мысли. С помощью армии иезуиты должны были возобладать над гражданской властью и таким образом проложить путь к бескровному *coup d'état*.

Пока речь шла лишь о семье Дрейфуса, пытавшейся своими дурацкими методами вызволить родственника с Чертова острова, и о евреях, озабоченных своим местом в антисемитских салонах и в еще более антисемитской армии, все определенно указывало в этом направлении. Никому в голову не приходило ожидать нападения на армию или на общество с этой стороны. Разве не было единственным желанием евреев оставаться принятыми в общество и продолжать свои страдания в вооруженных силах? Ни в военных, ни в гражданских кругах никто не проводил бессонных ночей по их поводу<sup>69</sup>. Поэтому возникло замешательство, когда в Генеральном штабе объявился высокого ранга офицер с хорошим католическим происхождением, отличными служебными перспективами и «должной» степенью антипатии к евреям и который отказался, однако, следовать принципу «цель оправдывает средства». Таким человеком, полностью свободным от чувства клановой принадлежности и профессиональных амбиций, был Пикар, но Генеральному штабу вскоре пришлось хлебнуть горя от этого простого, тихого, политически бескорыстного человека. Пикар не был героем и ни в коем случае не был мучеником. Это был просто представитель того типа гражданина, со средним интересом к общественным проблемам, который в час опасности (но ни минутой раньше) встает на защиту страны с такой же беспрекословностью, с какой он выполняет свои повсе-

<sup>68</sup> Насколько были связаны руки у членов парламента, показывает случай с одним из лучших депутатов и вице-президентом Сената Шерер-Кестнером. Как только он выступил с протестом против процесса, «*Libre Parole*» опубликовала факты о вовлеченности его зятя в панамский скандал (см.: *Herzog W. Op. cit.*, запись от ноября 1897 г.).

<sup>69</sup> Ср.: *Brogan D. W. Op. cit. Book 7. Ch. 1*: «Не столь уж редким среди французских евреев, особенно богатых французских евреев, было желание оставить все это дело в покое».

дневные обязанности<sup>70</sup>. Тем не менее дело приняло серьезный оборот только тогда, когда после некоторых колебаний и проволочек Клемансо наконец пришел к убеждению, что Дрейфус невиновен и республика находится в опасности. В начале борьбы вокруг него сплотилась лишь горстка известных писателей и ученых: Золя, Анатоль Франс, Э. Дюкло, историк Габриэль Моно и хранитель библиотеки «Ecole Normale» Люсьен Эрр. К ним надо добавить небольшой и в то время мало заметный кружок молодых интеллектуалов, позднее ставших творцами истории, сплотившимися вокруг журнала «Cahiers de la quinzaine»<sup>71</sup>. Этим, однако, ограничивался список союзников Клемансо. Не было ни одной политической группы, ни единого видного политика, готовых выступить на его стороне. Величие позиции Клемансо состоит в том, что она не была направлена против какого-то частного нарушения правосудия, а основывалась на таких «абстрактных» идеях, как справедливость, свобода и гражданская добродетель. Короче, она основывалась на тех самых понятиях, которые образовывали суть старого якобинского патриотизма и на которые было вылито столько грязи и оскорблений. С течением времени и по мере того, как Клемансо, непоколебленный угрозами и разочарованиями, продолжал провозглашать все те же истины, более «конкретные» националисты стали терять почву под ногами. Последователи людей, подобных Барресу, обвинявшие сторонников Дрейфуса в том, что те погрязли в «трясине метафизики», осознали, что абстракции «Тигра» на самом деле находятся ближе к политической реальности, чем ограниченный интеллект разорившихся деляг или бесплодный традиционализм фаталистичных интеллектуалов<sup>72</sup>. Куда вел конкретный подход реалистичных националистов, хорошо видно из бесценной истории о том, как Шарль Моррас во время своего бегства на юг после поражения Франции имел «честь и удовольствие» влюбиться в астрологиню, которая растолковала ему политическое значение последних событий и посоветовала сотрудничать с нацистами<sup>73</sup>.

Хотя, несомненно, антисемитизм усилил свое влияние за три года после ареста Дрейфуса и до начала кампании Клемансо и хотя тираж

<sup>70</sup> Немедленно после того, как Пикар сделал свои открытия, он был перемещен на опасную должность в Тунисе. Там он составил завещание, в котором раскрыл всю историю и передал копию этого документа своему адвокату. Несколько месяцев спустя, когда обнаружилось, что он все еще жив, на него обрушился поток таинственных писем, поливающих его грязью и обвиняющих в сговоре с «изменником» Дрейфусом. С ним вели себя как с членом банды, пригрозившим «настучать». Когда все это не возымело действия, он был арестован, с позором изгнан из армии и лишен наград. И все это он перенес с поразительным хладнокровием.

<sup>71</sup> К этой группе, возглавлявшейся Шарлем Пеги, принадлежали молодой Ромен Роллан, Суарес, Жорж Сорель, Даниель Галеви и Бернар Лазар.

<sup>72</sup> Ср.: Barrès M. Scènes et doctrines du nationalisme. P., 1899.

<sup>73</sup> См.: Simon Y. Op. cit. P. 54–55.

антисемитских изданий сравнился с тиражом главных газет, улицы оставались спокойными. Только когда Клемансо начал публикацию своих статей в «L'Aurore», когда Золя написал свое «J'Accuse» и трибунал в Ренне затеял унылую череду слушаний и повторных рассмотрений, в действие вступила толпа. Каждый выпад дрейфусаров (о которых было известно, что их незначительное меньшинство) имел отклик в виде более или менее насильственных уличных беспорядков<sup>74</sup>. Генеральный штаб показал себя замечательным организатором черни. След вел непосредственно из армии в «Libre Parole», которая прямо или косвенно, с помощью статей или через личное вмешательство редакторов, мобилизовывала студентов, монархистов, авантюристов и просто уголовников и выглаткивала их на улицы. Если Золя произносил слово, в его окна летели камни. Если Шерер-Кестнер писал министру колоний, его немедленно избивали на улице, а газеты выступали с грязными нападениями на его личную жизнь. И все описания сходятся на том, что, если бы Золя, будучи обвиненным, оказался оправдан, ему не удалось бы живым покинуть зал суда.

Над страной пронесся клич «Смерть евреям!». В Лионе, Ренне, Нанте, Туре, Бордо, Клермон-Ферране — по сути дела, всюду — вспыхнули антисемитские беспорядки, неизменно восходившие к одному источнику. Везде народное негодование проявилось в один и тот же день и в точно назначенное время<sup>75</sup>. Под водительством Герена толпа обрела военизированный вид. Антисемитские штурмовые отряды вышли на улицы и постарались, чтобы любой продрейфусовский митинг завершался кровопролитием. Соучастие полиции бросалось в глаза<sup>76</sup>.

Со стороны антидрейфусаров самой современной фигурой был, вероятно, Жюль Герен. Разорившийся бизнесмен, он начал свою политическую карьеру в качестве полицейского осведомителя и приобрел тот вкус к дисциплине и организации, который неизменно присущ подонкам общества. Его-то позже он и направил в политические каналы, став основателем и главой Антисемитской лиги. В его лице высшее об-

<sup>74</sup> Преподавательские комнаты Реннского университета были подвергнуты разгрому после того, как пять профессоров заявили о своей поддержке пересмотра дела. Вслед за появлением первой статьи Золя студенты-роялисты устроили демонстрацию перед зданием «Figaro», после чего газета воздерживалась от дальнейшего печатания статей такого рода. Издатель продрейфусовской «La Bataille» был избит на улице. Судьи Кассационного суда, который в конце концов отменил приговор 1894 г., единогласно сообщали, что им грозили «противозаконными насильственными действиями». Примеры могут быть умножены.

<sup>75</sup> 18 января 1898 г. антисемитские демонстрации состоялись в Бордо, Марселе, Клермон-Ферране, Нанте, Руане и Лионе. На следующий день студенческие беспорядки вспыхнули в Руане, Тулузе и Нанте.

<sup>76</sup> Самый вопиющий пример — это случай с префектом полиции в Ренне, который посоветовал профессору Виктору Баху, после того как на его дом напала двухтысячная толпа, подать в отставку, так как он, префект, не может гарантировать его безопасность.

щество обрело своего первого героя-уголовника. Своим низкопоклонством перед Гереном буржуазное общество ясно показало, что в области морали и этики оно отступило от своих собственных принципов. За спиной лиги стояли два члена аристократии — герцог Орлеанский и маркиз де Море. Последний потерял свое состояние в Америке и прославился тем, что организовал мясников Парижа в бригаду человекоубийц.

Самым ярким из этих проявлений современных тенденций был фарс с осадой так называемого форта Шаброль. Именно здесь, в этом первом из «коричневых домов», устраивали свои сходки сливки Антисемитской лиги, когда полиция наконец решила арестовать их руководителей. Здание представляло собой вершину технического совершенства. «Окна предохранялись железными ставнями. От подвала до чердака была оборудована система звонков и телефонов. В пяти ярдах или около того за массивными входными дверями, тоже всегда запертыми на замки и задвижки, была сделана высокая чугунная решетка. Справа, между решеткой и входными дверями, имелась небольшая дверь, также обшитая железом, за которой денно и ночно дежурили караульные, отобранные в легионах мясников»<sup>77</sup>. Макс Режи, инициатор алжирских погромов, — еще один персонаж, задевающий современную струну. Это он, молодой Режи, призвал однажды ликующую парижскую чернь «полить древо свободы кровью евреев». Режи представлял ту часть движения, которая надеялась достичь власти легальными и парламентскими методами. В соответствии с этой программой он сам избрался мэром Алжира и использовал этот пост, чтобы учинить погромы, в которых было убито несколько евреев, совершались преступные нападения на еврейских женщин и подвергались разграблению еврейские лавки. Ему также был обязан местом в парламенте самый знаменитый французский антисемит — культурный и элегантный Эдуард Дрюмон.

Новым во всем этом были не действия толпы — тому бывали многочисленные прецеденты. Новым и удивительным в то время, хотя для нас теперь слишком хорошо известным, были организованность толпы и героический культ, которым пользовались ее вожди. Толпа стала прямым исполнителем «конкретного» национализма, исповедуемого Барресом, Моррасом и Доде, вместе образовавшим нечто вроде несомненной элиты молодых интеллектуалов. Эти люди, презиравшие народ и сами лишь недавно произросшие из гнилого и разрушительного культа эстетизма, видели в толпе живое выражение мужественной и примитивной «силы». Именно они в своих теориях первыми отождествили толпу с народом и превратили ее вождей в национальных геро-

<sup>77</sup> Ср.: Bernanos G. Op. cit. P. 346.

ев<sup>78</sup>. Именно их философия пессимизма и радостное предвкушение конца всего были первым знаком неминуемого крушения европейской интеллигенции.

Даже Клемансо не был застрахован от соблазна отождествить толпу с народом. Что делало его особенно подверженным этой ошибке, так это постоянно двойственное отношение Рабочей партии к вопросам «абстрактной» справедливости. Ни одна из партий, включая социалистов, не решалась отстаивать справедливость как таковую, «стоять, что бы из этого ни вышло, за справедливость, эту единственную нерушимую связь, объединяющую цивилизованных людей»<sup>79</sup>. Социалисты стояли за интересы рабочих, оппортунисты — за интересы либеральной буржуазии, коалиционисты — за интересы католических высших классов, а радикалы — за интересы антиклерикальной мелкой буржуазии. Огромным преимуществом социалистов было то, что они говорили от лица однородного и единого класса. В отличие от буржуазных партий, они не представляли общество, расколотое на множество клик и группировок. И все-таки в основном и главным они были озабочены интересами исключительно своего класса. Им не было дела до каких-либо высоких обязательств перед человеческой солидарностью, и у них не было представления о том, что собой действительно представляет общественная жизнь. Типичным для их позиции было замечание соратника Жореса по партии Жюлья Геда о том, что «закон и честь — это просто слова».

Нигилизм, характерный для националистов, не был монополией антидрейфусаров. напротив, большая доля социалистов и многие из защитников Дрейфуса, подобно Геду, говорили на том же языке. Если католическая «La Croix» замечала, что «вопрос теперь не в том, виновен или невиновен Дрейфус, а только в том, кто выиграет — друзья армии или ее враги», то, *mutatis mutandis*, соответствующие чувствования могли быть выражены и сторонниками Дрейфуса<sup>80</sup>. Не только чернь, но и значительная часть французского народа объявляла себя, в лучшем случае, совершенно безразличной к тому, будет или нет поставлена вне закона определенная группа населения.

Начав свою кампанию террора против защитников Дрейфуса, толпа не встретила перед собой никаких препятствий. Как свидетельствует Клемансо, рабочих Парижа это дело мало занимало. Если различ-

<sup>78</sup> Об этих теориях особо см.: Maurras C. Au signe de flore; souvenirs de la vie politique; l'Affaire Dreyfus et la fondation de l'Action Française. P., 1931; Barrès M. Op. cit.; Daudet L. Panorama de la Troisième République. P., 1936.

<sup>79</sup> Ср.: Clémenceau G. A la dérive // Op. cit.

<sup>80</sup> Именно это так сильно разочаровало сторонников Дрейфуса, особенно кружок Шарля Пегги. Такое прискорбное сходство между дрейфусарами и антидрейфусарами стало темой поучительного романа Мартен дю Гара «Жан Баруа», 1913 г.

ные буржуазные элементы ссорятся между собой, то это, думали они, мало задевает их интересы. «При открытом согласии народа, — писал Клемансо, — они провозгласили перед всем миром провал своей «демократии». Благодаря им суверенный народ показал себя сброшенным со своего престола справедливости, лишенным своего непогрешимого величия. Ибо нельзя отрицать, что свалившееся на нас зло совершилось при полном соучастии самого народа... Народ не Бог. Всякий мог предвидеть, что в один прекрасный день это новое божество опрокинется. Коллективный тиран, распространивший свою власть на всю ширь земли, приемлем не более, чем единоличный тиран, восседающий на троне»<sup>81</sup>. Наконец, Клемансо убедил Жореса в том, что нарушение прав одного человека является нарушением прав всех. Но удалось ему это только потому, что фрондерами оказались закоснелые со времен революции враги народа, а именно аристократия и церковь. Именно против богатых и против духовенства, не за республику, не за справедливость и свободу вышли в конце концов рабочие на улицы. Правда, и речи Жореса, и статьи Клемансо дышат прежней революционной страстью в защиту прав человека. Правда и то, что эта страсть была достаточно сильной, чтобы сплотить людей на борьбу, но вначале они должны были убедиться, что на карту поставлены не только справедливость и честь республики, но и их собственные классовые «интересы». В действительности огромное число социалистов и внутри страны, и за ее пределами все еще считали ошибкой вмешательство (так они это называли) в междоусобные свары буржуазии или беспокойство по поводу спасения республики.

Первым, кто вывел рабочих, по крайней мере частично, из этого состояния безразличия, был великий народолюбец Эмиль Золя. Однако в своем осуждении республики он был и первым, кто отклонился от точного представления политических фактов и поддался страстям толпы, извлекая на свет жупел «тайного Рима». Этот мотив Клемансо поддержал очень неохотно, а Жорес — с энтузиазмом. Настоящее достижение Золя, которое трудно усмотреть в его статьях, состояло в решительном и неустрашимом мужестве, с которым этот человек, чья жизнь и произведения приводили народ в восторг «на грани обожения», выступил, чтобы бросить вызов, биться и, наконец, победить массы, в которых он, подобно Клемансо, все время лишь с трудом мог различить народ и чернь. «Всегда находились люди, способные противостоять самым могущественным монархам и отказывавшиеся склонить перед ними главу, но лишь немногие были способны противостоять толпе, выступить в одиночку против введенных в заблуждение масс, безоружным выйти навстречу их жестокому бешенству и

<sup>81</sup> См. Предисловие к *Clémenteau G. Contre la justice*. 1990.

скрестив руки, говорить «нет», когда от тебя требуют «да». Таким человеком был Золя!»<sup>82</sup>

Едва появилась «J'Accuse», как парижские социалисты созвали свой первый митинг и приняли резолюцию, призывавшую к пересмотру дела Дрейфуса. Но уж пять дней спустя некие 32 социалиста поспешили выступить с заявлением о том, что судьба «классового врага» Дрейфуса их не касается. За этим заявлением стояла значительная часть членов партии в Париже. Хотя раскол в ее рядах продолжался на протяжении всей Истории Дрейфуса, в партии насчитывалось достаточно дрейфусаров, чтобы с этого момента не допустить контроля Антисемитской лиги над улицей. На одном из социалистических митингов антисемитизм был даже заклеен как «новая форма реакции». Тем не менее через несколько месяцев, когда состоялись выборы в парламент, Жорес не был переизбран, а еще немного спустя, когда военный министр Кавеньяк ублажил палату речью, в которой он обрушился на Дрейфуса и восхвалял незаменимую армию, депутаты, всего при двух голосах против, решили, что текст этого обращения должен быть расклеен на стенах Парижа. Точно так же, когда в октябре этого же года в Париже разразилась великая забастовка, немецкий посол Мюнстер мог уверенно и достоверно информировать Берлин, что «в том, что касается широких масс, речь ни в каком смысле не идет о политике. Рабочие просто требуют повышения зарплаты и в результате этого добьются. Что же до дела Дрейфуса, то они совершенно не берут его себе в голову»<sup>83</sup>. Кто в таком случае были в широком смысле сторонники Дрейфуса? Кто были те 300 тысяч французов, которые с такой жадностью поглощали «J'Accuse» Золя и с религиозным чувством воспринимали передовицы Клемансо? Кто были те люди, которые в конце концов преуспели в том, чтобы расколоть каждый класс, даже каждую французскую семью на противоположные фракции в отношении дела Дрейфуса? Ответ состоит в том, что они не были партией или однородной группой. Известно, что они чаще были из средних и низких, а не из высших классов, как и то, что — и это достаточно показательно — среди них было больше врачей, чем юристов и служащих администрации. В целом, однако, это была смесь различных элементов: люди, такие далекие друг от друга, как Золя и Пегги или Жорес и Пикар, люди, которые назавтра разойдутся и пойдут каждый своей дорогой. «Они приходят из политических партий и религиозных общин, не имеющих ничего общего между собой, даже конфликтующих друг с другом... Эти

<sup>82</sup> Речь Клемансо, произнесенная перед Сенатом несколькими годами позже. Ср.: *Weyl B. Op. cit.* P. 112–113.

<sup>83</sup> См.: *Herzog W. Op. cit.*, запись от октября 1898 г.

люди не знают друг друга. Они бились друг с другом и при случае будут биться снова. Не обманывайте себя; они и есть «элита» французской демократии»<sup>84</sup>.

Обладая Клемансо в то время достаточной самоуверенностью, чтобы считаться только с теми, в ком можно было видеть подлинный народ Франции, он не стал бы жертвой той фатальной гордыни, которой была отмечена вся его последующая жизнь. Из его опыта с Историей Дрейфуса произошло его разочарование в народе, его презрение к людям, наконец, его вера в то, что только он, и он один, может спасти республику. Он никогда не снизошел до того, чтобы потакать шутовским кривляньям черни. Поэтому, раз начав отождествлять толпу с народом, он фактически выбил почву у себя из-под ног и обрек себя на угрюмую отчужденность, которая отличала его с той поры.

Раскол французского народа был виден в каждой семье. Но достаточно характерно, что политическое выражение это нашло только в рядах Рабочей партии. Все остальные, как и все парламентские группы, в начале кампании за пересмотр были монолитно против Дрейфуса. Однако это значит лишь то, что буржуазные партии больше не представляли подлинных настроений избирателей, так как тот же раскол, который так явственно произошел среди социалистов, имел место и почти во всех других слоях населения. Везде существовало меньшинство, поддерживавшее призыв Клемансо к справедливости, и эти разнородные меньшинства сложились в дрейфусаров. Их борьба с армией и против продажного сговора с ней республики стала доминирующим фактором французской внутренней политики с конца 1897 г. и до открытия в 1900 г. Всемирной выставки. Она также оказывала заметное влияние и на внешнюю политику страны. Тем не менее вся эта борьба происходила исключительно вне стен парламента. В так называемом представительном собрании, состоявшем ни много ни мало — из 600 депутатов всех цветов и оттенков как пролетариата, так и буржуазии, в 1898 г. было всего два сторонника Дрейфуса, и один из них, Жорес, не был вновь избран.

Тревожным моментом в Истории Дрейфуса было то, что не только толпа должна была действовать внепарламентскими способами. Все меньшинство, на деле сражаясь за парламент, демократию и республику, таким же точно образом было вынуждено вести эту борьбу вне палаты. Единственной разницей между этими сторонами было то, что одна использовала улицу, а другая — прессу и суд. Иными словами, вся политическая жизнь Франции во время дрейфусовского кризиса протекала за пределами парламента. Этот вывод несколько не обесценивается теми несколькими голосами в парламенте, которые раздавались в

<sup>84</sup> К. В. Т. Op. cit. P. 608.

пользу армии или против пересмотра дела. Существенно важно помнить, что, когда незадолго до открытия Всемирной выставки настроения в парламенте начали меняться, военный министр Галифе мог, не греша против истины, заявить, что это никоим образом не отражало настроений в стране<sup>85</sup>. Кроме того, голоса против пересмотра не нужно толковать как санкционирование политики *суп д'э́та́т*, которую с помощью армии старались навязать иезуиты и определенные радикальные элементы<sup>86</sup>. Скорее они возникали из простого сопротивления любым переменам в *status quo*. На самом-то деле столь же подавляющее большинство палаты отвергло бы и военно-клерикальную диктатуру.

Если Клемансо и дрейфусары добились успеха в привлечении на сторону требования о пересмотре большого числа представителей всех классов, то католики действовали в ответ единым блоком; среди них не было расхождений во мнениях. То, что делали иезуиты, чтобы направлять аристократию и Генеральный штаб, в средних и низших классах проделывалось ассумпциатами, чей орган «*La Croix*» имел самый большой из всех католических журналов Франции тираж<sup>87</sup>. И те и другие сосредоточили свою агитацию против республики вокруг евреев. И те и другие изображали себя защитниками армии и общественного блага от махинаций «международного еврейства». Еще более удивительным, чем позиция католиков во Франции, было то, что и во всем мире католическая пресса твердо стояла против Дрейфуса. «Все эти журналисты маршировали и продолжают маршировать по команде вышестоящих»<sup>88</sup>. По мере того как раскручивалось это дело, все яснее становилось, что агитация против евреев во Франции следует международной линии. Так, «*Civiltà Cattolica*» заявила, что евреев следует исключить из состава нации везде — во Франции, в Германии, Австрии и Италии. Католические политики одни из первых поняли, что новейшая державная политика должна основываться на противоборстве колониальных амбиций. Поэтому они были первыми, кто связал антисемитизм и империализм, объявив евреев агентами Англии и тем самым соединив ан-

<sup>85</sup> Военный министр Галифе писал Вальдеку: «Давайте не забывать, что огромное большинство французов настроено антисемитски. Поэтому наша политика должна быть такова, чтобы... мы имели за собой всю армию и большинство французов, не говоря уж о государственных служащих и сенаторах...» Ср.: *Reinach J. Op. cit. Vol 5. P. 579.*

<sup>86</sup> Самой известной из таких попыток является попытка Деруледа, который во время похорон президента Феликса Фора в феврале 1899 г. склонял к мятежу генерала Роже. Немецкие послы и поверенные в делах сообщали о таких попытках каждые несколько месяцев. Ситуация эта хорошо обобщена у Барреса (Op. cit. P. 4): «В Ренне мы нашли свое поле битвы. Все, что нам нужно, это солдаты или, вернее, генералы, или — еще вернее — любой генерал». Однако отнюдь не случайно такого генерала не было в природе.

<sup>87</sup> Бруган даже возлагает на ассумпциатов всю ответственность за клерикальную агитацию.

<sup>88</sup> К. В. Т. Op. cit. P. 597.

тагонизм к евреям с англофобией<sup>89</sup>. Дело Дрейфуса, в котором центральными фигурами были евреи, предоставило им хорошую возможность сыграть свою игру. Если Англия отобрала у французов Египет, виноваты были евреи<sup>90</sup>, движение же за англо-американский союз было, конечно, делом рук «империализма Ротшильда»<sup>91</sup>. То, что игра, в которую играли католики, не ограничивалась Францией, стало в высшей степени ясно после того, как занавес опустился над этой частной драмой. В конце 1899 г., когда Дрейфус был помилован и французское общественное мнение, опасаясь обещанного бойкота Всемирной выставки, повернулось на 180 градусов, одного интервью с папой Львом XIII было достаточно, чтобы остановить распространение антисемитизма по всему миру<sup>92</sup>. Даже в Соединенных Штатах, где не католики с особым энтузиазмом защищали Дрейфуса, можно было различить в католической печати после 1897 г. приметное возрождение антисемитских настроений, которые, однако, тут же улеглись после интервью с папой<sup>93</sup>. «Великая стратегия» использования антисемитизма в качестве орудия католицизма оказалась несостоятельной.

### 5. Евреи и дрейфусары

Случившееся со злополучным капитаном Дрейфусом показало миру, что в любом еврейском аристократе или мультимиллионере все-таки остается нечто от бывшего парии, у которого нет родины, для которого не существуют прав человека и которому общество с радостью отказывает в своих привилегиях. Однако никто не воспринял этот факт с таким трудом, как сами эмансипированные евреи. «Им недостаточно, — писал Бернар Лазар, — отказаться от всякой солидарности со своими рожденными в других странах братьями; они готовы обвинить тех во всех бедах, рожденных их собственной трусостью. Они не довольствуются ролью больших джингоистов, чем сами французы; подобно всем эмансипированным евреям повсюду, они по собственной доброй воле рвут все связи солидарности. Действительно, они зашли так далеко, что на две-три дю-

<sup>89</sup> «Первоначальный импульс в деле Дрейфуса, вероятно, исходил из Лондона, несколько обеспокоенного Конго-Нильской экспедицией 1896–1898 гг.». Это писал Моррас в «Action Française» (14 июля 1935 г.). Католическая пресса Лондона защищала иезуитов (см.: The Jesuits and the Dreyfus case // The Month. 1899. Vol. 18).

<sup>90</sup> Civiltà Cattolica. 05.02.1898.

<sup>91</sup> См. особенно характерную в этом смысле статью преподобного Джорджа МакДермота: McDermot G., C. S. P. Mr. Chamberlen' foreign policy and the Dreyfus Case // Catholic World. 1898. Vol. 67. September.

<sup>92</sup> Ср.: Lecanuet E. Op. cit. P. 188.

<sup>93</sup> Ср.: Halperin R. A. Op. cit. P. 59, 77 ff.

жины из них, готовых защищать одного из своих подвергнутых мукам братьев, во Франции найдется несколько тысяч, готовых стоять на страже Чертова острова вместе с самыми отъявленными патриотами»<sup>94</sup>. Именно из-за того, что они играли в странах своего проживания столь небольшую роль в их политическом развитии, на протяжении XIX в. они пришли к фетишизации равенства перед законом. Для них это была не подлежащая сомнению основа безопасности на века. Когда разразилась История Дрейфуса как предупреждение о том, что их безопасность находится под угрозой, они уже были охвачены столь глубоким процессом разлагающей ассимиляции, что недостаток у них политической мудрости в результате только усугубился. Они быстро ассимилировались в тех слоях общества, где все политические страсти подавляются мертвым грузом светского снобизма, большого бизнеса и невиданных доселе возможностей разбогатеть. Они надеялись избавиться от порождаемой этими тенденциями антипатии, направив ее против своих же бедняков и еще не ассимилированных братьев. Используя ту же тактику, которую нееврейское общество употребляло против них, они всячески старались отмежеваться от так называемых Ostjuden. Они беззаботно отмахивались от политического антисемитизма, проявившегося в погромах в России и Румынии, как от пережитка средневековья, чего-то нереального для современной политической жизни. Им было никак невдомек, что в Истории Дрейфуса на карту было поставлено больше, чем просто социальный статус, хотя бы потому, что было пущено в ход нечто большее, чем просто бытовой антисемитизм.

Таковы причины, по которым в рядах французского еврейства оказалось так мало беззаветных сторонников Дрейфуса. Евреи, включая саму семью Дрейфуса, не хотели начинать политическую борьбу. Именно в силу этого Лабори, адвокат Золя, был отведен как защитник на Реннском процессе, а второму адвокату Дрейфуса — Деманжу было предписано ограничить защиту принципом толкования сомнения в пользу обвиняемого. Таким образом надеялись потоком комплиментов смягчить возможное наступление со стороны армии или ее офицеров. Думали, что самый легкий путь к оправданию состоит в том, чтобы притвориться, что все дело, возможно, сводится к юридической ошибке, жертвой которой случайно оказался еврей. В результате был вынесен второй приговор, и не посмевший иметь дело с подлинной подоплекой событий Дрейфус вынужден был отказаться от требования пересмотра и просить о помиловании, т.е. фактически признать себя виновным<sup>95</sup>. Евреи не разглядели, что речь-то шла об организованной борьбе

<sup>94</sup> Lazare B. Job's dungheap. N.Y., 1948. P. 97.

<sup>95</sup> Ср.: Labore F. Le mal politique et les partis // Le Grande Revue. 1901. October — December: «С того момента, когда на процессе в Ренне обвиняемый признал свою вину и

против них на политическом фронте. Поэтому они отказались от сотрудничества с людьми, готовыми встретить вызов именно на этой территории. Насколько слепы они были, ясно показывает пример Клемансо. Его борьба за справедливость как основание государства, безусловно, включала в себя и вопрос равенства в правах для евреев. Однако в эпоху классовой борьбы, с одной стороны, и неистового джингоизма, с другой, все это так и осталось бы политической абстракцией, не будь выражено одновременно в остроактуальных терминах борьбы угнетенных против своих угнетателей. Клемансо был одним из немногих подлинных друзей, каких только знало современное еврейство, поскольку он распознал и объявил всему миру, что евреи являются одним из угнетенных народов Европы. Антисемит склонен видеть в еврейском парвеню выскочку-парию, соответственно в каждом торгаше он опасается Ротшильда и в каждом schnorrer'e — парвеню. Но Клемансо в своей всепоглощающей страсти к справедливости даже в Ротшильдах разглядел их принадлежность к поправленному народу. Боль за несчастную Францию открыла его глаза, и его сердце преисполнилось сочувствия даже к тем «бедолагам, кто выставляют себя лидерами своего народа, а потом спешно покидают его в беде», тем запуганным и поправленным людям, которые в своем невежестве, слабости и страхе всегда были настолько ослеплены преклонением перед более сильными, что отказались вступить с ним в союз для активной борьбы и оказались способны «поспешить на подмогу победителю» только после того, как битва была выиграна<sup>96</sup>.

#### 6. Помилование и его значение

То, что драма Дрейфуса была комедией, стало очевидным только в ее последнем акте. Объединившим расколотившую страну *deus ex machina*, повернувшем парламент в пользу пересмотра и примирившим в конечном счете такие несовместимые части народа, как крайние правые и социалисты, был не кто иной, как парижская Всемирная выставка 1900 г. То, чего не смогли достичь ни ежедневные передовицы Клемансо, ни пафос Золя, ни речи Жореса, ни ненависть народа к духовенству и аристократии, а именно изменить настроения в парламенте в

защитник отказался от требования пересмотра в надежде на помилование, дело Дрейфуса было закрыто как великая универсальная человеческая проблема». В своей статье, озаглавленной «Le spectacle du jour», Клемансо пишет об алжирских евреях, «по поводу которых Ротшильд не заявит ни малейшего протеста».

<sup>96</sup> См. статьи Клемансо «Le spectacle du jour», «Et les juifs!», «Le farce du syndicat» и «Encore les juifs» в газете «L'Iniquité».

пользу Дрейфуса, в конце концов было достигнуто из-за страха перед бойкотом. Тот же самый парламент, который год назад единогласно отверг пересмотр, теперь двумя третями голосов вынес вотум недоверия антидрейфусаровскому правительству. В июле 1899 г. к власти пришел кабинет Вальдека-Руссо. Президент Лубе помиловал Дрейфуса и покончил со всем этим делом. Выставка могла теперь открыться при наилучшем коммерческом небе, и за этим последовало всеобщее братание: даже социалисты получили право на министерские посты; первый министр-социалист Мильеран получил портфель министра торговли.

Парламент стал на сторону Дрейфуса! Такова была развязка. Для Клемансо это, конечно, было поражение. До самого конца он разоблачал двусмысленное помилование и еще более двусмысленную амнистию. «Все, что проделано, — писал Золя, — так это сваливание под одно дурно пахнущее помилование и людей чести, и хулиганов. Все брошено в один котелок»<sup>97</sup>. Клемансо, как и вначале, остался в абсолютном одиночестве. Социалисты, и в первую очередь Жорес, приветствовали и помилование, и амнистию. Разве это не обеспечило им место в правительстве и более широкое представительство их особых интересов? Несколькими месяцами позже, в мае 1900 г., когда успех выставки стал несомненным, выяснилась подлинная правда. Вся эта тактика умиротворения была осуществлена за счет дрейфусаров. Предложение о новом рассмотрении дела было отвергнуто 425 голосами против 60, и ситуацию не смогло изменить даже собственное правительство Клемансо в 1906 г.; оно не решилось доверить пересмотр обычному суду. Оправдание Кассационным судом (незаконное) явилось компромиссом. Но поражение Клемансо не означало победу для церкви и армии. Отделение церкви от государства и запрещение приходского образования положили конец влиянию католицизма во Франции. Точно так же подчинение разведывательной службы военному министерству, т.е. гражданской власти, отняло у армии возможность путем шантажа влиять на кабинет и палату и лишило ее всякого оправдания для ведения по собственной инициативе каких бы то ни было полицейских расследований.

В 1909 г. Дрюмон баллотировался в Академию. Некогда его антисемитизм восхвалялся католиками и приветствовался народом. Теперь, однако, «величайший историк со времен Фюстеля» (Леметр) был вынужден уступить Марселю Прево, автору в некоторой степени порнографического романа «Demi-Vierges», и новый «бессмертный» получил поздравления от иезуита отца Дю Лака<sup>98</sup>. Даже Общество Иисуса уладило свою ссору с Третьей республикой. Окончание дела Дрейфуса знаменовало собой конец клерикального антисемитизма. Избранный

<sup>97</sup> Ср. письмо Золя от 13 сентября 1899 г. в «Correspondance: lettres à Maître Labori».

<sup>98</sup> Ср.: Herzog W. Op. cit. P. 97.

Третьей республикой компромисс оправдал обвиняемого, минуя нормальное судопроизводство, и в то же время ограничил деятельность католических организаций. Пока Бернар Лазар добивался равных прав для обеих сторон, государство сделало одно исключение для евреев и другое для католиков, угрожающее их свободе совести<sup>99</sup>. Обе действительные стороны конфликта была поставлены вне закона с тем результатом, что еврейский вопрос, с одной стороны, и политический католицизм, с другой, отныне были устранены с арены практической политики.

Так завершился единственный эпизод, когда потаенные силы XIX в. предстали в полном свете документированной истории. Единственным видимым результатом этого события было рождение сионистского движения, ибо только таким мог быть политический ответ евреев на антисемитизм и только такой — идеология, в которой отразилось впервые ставшее серьезным их отношение к враждебности, коей суждено будет перенести евреев в центр мировой истории.

## Часть II

# ИМПЕРИАЛИЗМ

*Я аннексировал бы планеты,  
если бы мог.*

Сесил Родс

<sup>99</sup> Позиция Лазара в деле Дрейфуса лучше всего описана в: *Régis C. Notre Jeunesse // Cahiers du la quinzaine*. P., 1910. Рассматривая его как подлинного представителя интересов евреев, Пеги следующим образом формулирует требования Лазара: «Он был борцом за беспристрастность закона. Беспристрастность в деле Дрейфуса, беспристрастность в деле о религиозных орденах. Казалось бы — пустяк, но могущий завести далеко. Его это привело к одинокой смерти» (цитата из введения к: *Lazare B. Job's dunghear*). Лазар был одним из первых дрейфусаров, протестовавших против закона о конгрегациях.

## Глава пятая

### ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭМАНСИПАЦИЯ БУРЖУАЗИИ

Три десятилетия, годы с 1884 по 1914, отделяют XIX в., закончившийся схваткой за Африку и рождением пандвижений, от XX в., начавшегося первой мировой войной. Это — период империализма с его застойным покоем в Европе и захватывающими дух событиями в Азии и Африке<sup>1</sup>. Некоторые из фундаментальных аспектов этого времени представляются столь близкими тоталитарным явлениям XX в., что, возможно, оправданно рассматривать весь этот период как подготовительную стадию грядущих катастроф. Но тем не менее благодаря своему спокойствию он еще очень напоминает XIX в. и как бы является его частью. Очень трудно избежать соблазна смотреть на это близкое и одновременно далекое прошлое слишком умными глазами тех, кто наперед знает окончание сюжета, кто знает, что все кончилось почти полным обрывом в непрерывном потоке западной истории, какой мы ее знали на протяжении более чем двух тысячелетий. Но мы должны признаться также и в наличии определенной ностальгии по тому, что все еще можно назвать «золотым веком спокойствия», т.е. по эпохе, когда даже ужасы все-таки были отмечены определенной сдержанностью и регулировались правилами приличия и потому не нарушали общей картины душевного здоровья. Другими словами, каким бы близким ни было к нам это прошлое, мы абсолютно ясно отдаем себе отчет в том, что наш опыт концентрационных лагерей и фабрик смерти так же далек от общей атмосферы тех лет, как он далек от духа любого другого периода западной истории.

Центральным событием внутриевропейской истории периода империализма была эмансипация буржуазии, которая к этому времени оказалась первым в истории классом, достигшим экономического преобладания без посягательств на политическое господство. Буржуазия развилась внутри и вместе с национальным государством, которое, почти по определению, стояло над разделенным на классы обществом и как бы вне его. Даже после того как буржуазия утвердилась в качестве правящего класса, все политические решения она оставила за государством. Только когда национальное государство обнаружило свою неспособность быть ареной дальнейшего роста капиталистической экономики, подспудная вражда между государством и обществом превратилась

<sup>1</sup> *Hobson J. A. Imperialism. L., 1905. P. 19: «Хотя 1870 г. был взят как начальный пункт сознательной империалистической политики, но, как мы увидим, она не получила своего полного развития до середины 1880-х годов... примерно до 1884 г.»*

в открытую борьбу за власть. В империалистический период ни государство, ни общество не смогли одержать решающей победы. Национальные институты постоянно сопротивлялись жестокости и мегаломании империалистических устремлений, а попытки буржуазии использовать государство и его средства насилия в своих экономических интересах всегда были только наполовину успешными. Перемена произошла, когда немецкая буржуазия поставила все на гитлеровское движение и вознамерилась управлять с помощью толпы, но тогда было уже слишком поздно. Буржуазии удалось разрушить национальное государство, но победа оказалась пирровой: толпа показала свою способность самостоятельно позаботиться о политике и ликвидировала буржуазию вместе со всеми другими классами и институтами.

### 1. Экспансия и государство-нация

«Экспансия — это все», — сказал Сесил Родс и впал в отчаяние, ибо каждую ночь он видел над собой «эти звезды... эти необъятные миры, которых нам никогда не достичь. Я аннексировал бы планеты, если бы мог»<sup>2</sup>. Он открыл движущий принцип новой, империалистической эры (в течение менее чем двух десятилетий английские колониальные владения увеличились на 4,5 миллиона квадратных миль и на 66 миллионов человек, французская нация обрела 3,5 миллиона квадратных миль и 26 миллионов человек, немцы завоевали новую империю площадью в 1 миллион квадратных миль с населением в 14 миллионов туземцев, а Бельгия в лице ее короля получила 900 тысяч квадратных миль с населением 8,5 миллиона человек)<sup>3</sup>; но тут же, в минутном прозрении, Родс разглядел исконное безумие этого принципа, его противоречие человеческой природе. Естественно, ни это прозрение, ни его грусть не изменили его политику. Ему ни к чему были проблески мудрости, столь далеко уводящие от нормальных способностей честолюбивого бизнесмена с заметной склонностью к мегаломании.

«Мировая политика для нации — это то же самое, что мегаломания для отдельного человека», — сказал Евгений Рихтер<sup>4</sup> (лидер немецкой прогрессивной партии) в то же примерно время. Но его оппозиция

<sup>2</sup> Millin S. G. Rhodes. L., 1933. P. 138.

<sup>3</sup> Эти цифры взяты из работы: Hayes C. J. H. A generation of materialism. N.Y., 1941. P. 138, и покрывают период с 1871 по 1900 г. См. также: Hobson J. A. Op. cit. P. 19: «В течение 15 лет к Британской империи добавились 3,75 млн кв. миль, к Германии — 1 млн кв. миль с 14 млн жителей, к Франции — 3,5 млн кв. миль с населением в 37 млн человек».

<sup>4</sup> См.: Hasse E. Deutsche Weltpolitik // Flugschriften des Alldeutschen Verbandes. 1897. № 5. S. 1.

в рейхстаге предложению Бисмарка поддержать частные компании в деле организации ими торговых и морских опорных пунктов ясно показывала, что он еще меньше, чем сам Бисмарк, понимал тогдашние экономические интересы нации. Получалось, что вроде бы те, кто сопротивлялись империализму или игнорировали его — подобно Евгению Рихтеру в Германии, Гладстону в Англии или Клемансо во Франции, — утратили контакт с реальностью и не осознавали, что торговля и экономика уже вовлекли каждую нацию в мировую политику. Национальный принцип вел к провинциальному невежеству, и битва, которую пыталось дать здравомыслие, была проиграна.

Наградой всякому политику за его последовательную оппозицию империалистической экспансии были несурезица и потери. Так, Бисмарк в 1871 г. отказался от французских владений в Африке, предлагаемых в обмен на Эльзас-Лотарингию, а 20 лет спустя получил от Великобритании Гельголанд за Уганду, Занзибар и Виту — «за корыто — два царства», как не без оснований упрекали его немецкие империалисты. Также и Клемансо в 80-е годы сопротивлялся империалистической партии во Франции, когда она хотела послать в Египет против англичан экспедиционные силы, — и тридцатью годами позже отдал Англии нефтеносные земли в Мосуле ради заключения англо-французского союза. Равно и Гладстон был обвинен Кромером в Египте в том, что он «не тот человек, которому можно вручить судьбы Британской империи».

То, что государственные деятели, мыслившие главным образом в терминах установившейся национальной территории, с подозрением относились к империализму, было достаточно оправдано, разве что речь шла о чем-то большем, чем просто, как они выражались, о «заморских авантюрах». Скорее инстинктом, чем интуицией, они понимали, что это новое экспансионистское движение, в котором «патриотизм... лучше всего выражается деланием денег» (Хуэббе-Шлейден), а национальный флаг является «коммерческим достоянием» (Родс), может только лишь разрушить политическое тело национального государства. Захваты, как и строительство империи, не встречали у них сочувствия по вполне понятным причинам. Они могли успешно осуществлять только государствами, которые, подобно Римской республике, основывались преимущественно на законе, когда вслед за завоеванием могла происходить интеграция самых разнообразных народов за счет их подчинения единому закону. Национальное же государство, основанное на активной поддержке однородным населением своего правительства («le plébiscite de tous les jours»<sup>5</sup>), не обладало таким объеди-

<sup>5</sup> В своем классическом эссе «Qu'est-ce qu'une nation?» (Р., 1882) Эрнест Ренан выделял «общее соглашение, желание жить вместе, продолжать сообща пользоваться достав-

няющим принципом и в случае завоеваний вынуждено было не интегрировать, а ассимилировать, не утверждать закон, а навязывать согласие, т.е. вырождаться в тиранию. Уже Робеспьер хорошо понимал это, когда воскликнул: «*Périssent les colonies si elles nous en coûtent l'honneur, la liberté*».

Экспансия как постоянная и высшая цель политики — это центральная политическая идея империализма. Поскольку она не ограничивается простым захватом добычи или более продолжительным процессом ассимиляции покоренных, она представляется совершенно новой концепцией в длинном историческом ряду политических идей и деяний. Причиной такой удивительной оригинальности — удивительной потому, что абсолютно новые концепции в политике крайне редки, — является то, что на самом деле эта концепция вовсе не политическая, она берет свое начало в области деловых спекуляций, где экспансия означает постоянное расширение промышленного производства и экономических взаимосвязей, характерное для XIX в.

В экономической сфере экспансия являлась отражающим суть дела понятием, поскольку индустриальный рост был непосредственной реальностью того времени. Экспансия означала реальное увеличение производства используемых и потребляемых товаров. Процесс производства столь же безграничен, как и способность человека производить для самого себя, организовывать, обставлять и совершенствовать свой мир. Когда производство и экономический рост замедлялись, препятствия были не столько экономическими, сколько политическими, так как производство зависело от множества различных народов и продукты его потреблялись множеством народов, организованных в очень различные политические единства.

Империализм родился тогда, когда господствующий в капиталистическом производстве класс натолкнулся на национальные преграды своей экономической экспансии. Буржуазия обратилась к политике из экономической необходимости; ибо, если она не хотела отказаться от капиталистической системы, внутренне присущим законом которой является экономический рост, она должна была подчинить этому закону свои правительства и провозгласить экспансию конечной политической целью внешней политики.

Под лозунгом «Экспансия во имя экспансии» буржуазия попыталась (и частично преуспела в том) убедить свои национальные правительства вступить на стезю мировой политики. В какой-то момент казалось, что предложенная политика найдет естественные ограничители

шимся неразделенным наследством» в качестве главных элементов, объединяющих представителей народа таким образом, что они образуют нацию.

и уравнивающие факторы в самом факте одновременного и конкурентного вступления на путь экспансии сразу нескольких государств. Действительно, на своих начальных этапах империализм еще мог описываться как борьба «соперничающих империй» и его можно было отличить от «идеи империи в древнем и средневековом мире — идеи федерации государств при гегемонии одного, охватывающей.. весь известный мир»<sup>6</sup>. Но такая конкуренция была лишь одним из многих пережитков прошедшей эпохи, уступкой все еще преобладающему национальному принципу, согласно которому человечество представляло собой семью государств, стремящихся опередить друг друга в плане своего совершенства, или либеральной вере в то, что конкуренция автоматически сама ставит себе определенные сдерживающие границы, с тем чтобы одна из сторон не уничтожала остальных. Однако такое благостное равновесие едва ли могло быть автоматическим исходом таинственных экономических законов и в сильнейшей степени зависело от политических и еще больше — от полицейских институтов, удерживающих конкурирующие стороны от использования револьверов. Поэтому трудно объяснить, как могла бы закончиться чем-либо иным, кроме победы одного и смерти всех остальных, конкуренция всесторонне вооруженных предприятий — «империй». Другими словами, конкуренция является принципом политики не более, чем экспансия, и так же остро нуждается в контроле и сдерживании со стороны политической власти.

В отличие от экономической структуры, политическая структура не может расширяться до бесконечности, так как она основывается не на производительной силе человека, которая действительно безгранична. Из всех видов управления людьми и их организации национальное государство наименее приспособлено к неограниченному росту, поскольку лежащее в его основе подлинное согласие не растяжимо до бесконечности, и лишь очень редко и с трудом его можно добиться от побежденных народов. Никакое национальное государство не может идти на покорение других народов с чистой совестью, ибо таковая совесть возникает только из убеждения покоряющей нации в том, что она подчиняет варваров высшему закону<sup>7</sup>. Нация же воспринимает

<sup>6</sup> *Hobson J. A. Op. cit.*

<sup>7</sup> Моральные проблемы, проистекающие из веры в согласие как основу всякой политической организации, очень хорошо описаны Гарольдом Николсоном в кн.: *Nicolson H. Curzon: The last phase 1919-1925*. Boston; N.Y., 1934, где в связи с обсуждением английской политики в Египте говорится следующее: «Оправдание нашего присутствия в Египте базируется не на заслуженном праве победителя и не на силе, а на нашей собственной вере в наличие какого-то элемента согласия. В 1919 г. этого элемента не существовало ни в какой явно выраженной форме. В марте 1919 г. восстание египтян драматическим образом опровергло эту нашу веру».

свои законы как порождение особой национальной субстанции, и эти законы не имеют силы за пределами собственного народа и собственной территории.

Где бы национальное государство ни выступало в качестве завоевателя, оно возбуждало у покоренных народов национальное самосознание и стремление к суверенитету, подрывая тем самым любые искренние усилия, направленные на строительство империи. Так, французы включили Алжир в свою страну в качестве провинции, но не решились навязать арабскому народу свои законы. Напротив, они продолжали уважать закон ислама и предоставили своим арабским гражданам «персональный статус», произведя на свет бессмысленный гибрид в виде номинально французской территории, юридически — такой же части Франции, как Département de la Seine, но населенной не гражданами Франции.

Первые английские «строители империи», уверовав в покорение как постоянный метод управления, оказались не в состоянии включить в грандиозную структуру Британской империи, а затем Британского содружества наций своих ближайших соседей — ирландцев; и когда после первой мировой войны Ирландии был предоставлен статус доминиона и полноправного члена содружества, неудача была, может быть, и менее очевидной, но столь же реальной. Старейшее «владение» и новейший доминион односторонне отверг статус доминиона (1937 г.) и порвал все связи с Англией, отказавшись участвовать в войне. Английское правление методом постоянного покорения, поскольку оно «просто не осилило уничтожить» Ирландию (Честертон), не столько возбудило свой собственный «дремлющий гений империализма»<sup>8</sup>, сколько пробудило дух национального сопротивления в ирландцах.

Национальная структура Соединенного Королевства сделала невозможной быструю ассимиляцию и включение в общую структуру покоренных народов; Британское содружество никогда не было «содружеством наций», оно оставалось наследником Соединенного Королевства, одной нацией, распространившейся по всему миру. В результате распространения и колонизации политическая структура не расширялась как единое целое, а насаждалась в виде отдельных очагов, в результате чего члены этого нового федеративного образования оставались тесно связанными со своей общей родиной на основе общего прошлого и общего закона. Пример Ирландии показывает, насколько плохо

<sup>8</sup> Так выразился лорд Солсбери, радуясь принятию первого гладстоуновского билля о гомруле. В последующие 20 лет консервативного (а в то время, значит, и империалистического) правления (1885–1905) англо-ирландский конфликт не только не был разрешен, но, напротив, сильно обострился. См. также Chesterton G. K. The crimes of England. 1915. P. 57 ff.

было приспособлено Соединенное Королевство к строительству имперской структуры, в которой могли бы в согласии жить различные народы<sup>9</sup>. Английская нация обнаружила способность не к римскому искусству созидания империи, а к следованию греческой модели колонизации. Вместо покорения народов и установления у них своего закона английские колонисты селились на вновь обретенных территориях в четырех концах земного шара, оставаясь частью все той же английской нации<sup>10</sup>. Будет ли федеративная структура содружества, восхитительным образом построенная на реальной основе распространения по всей земле одной нации, достаточно эластичной, чтобы перевесить исконно присущие этой нации затруднения в имперском строительстве и допустить в качестве полноправных «партнеров в общем предприятии» содружества заведомо и прочно неанглийские народы, покажет время. Нынешний статус Индии, между прочим категорически отвергнутый индийскими националистами во время войны, часто рассматривается как временное и промежуточное решение<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Почему на начальных стадиях национального развития Тюдорам не удалось вобрать Ирландию в Великобританию, подобно тому как Валуа вобрала во Францию Бретань и Бургундию, все еще остается загадкой. Можно предположить, однако, что сходный процесс был жестоко оборван кромвелевским режимом, отнесшимся к Ирландии как к огромному куску добычи, который следовало поделить между своими слугами. Как бы то ни было, после кромвелевской революции, которая для формирования английской нации имела такое же решающее значение, как Французская революция для образования французской, Великобритания уже достигла той степени зрелости, которая всегда сопровождается потерей способности к ассимиляции и интеграции, имеющейся у политического организма нации только на начальных стадиях. За этим последовало то, что было, по существу, одной большой печальной историей «принуждения, применяемого не для того, чтобы люди жили покойно, а для того, чтобы они покойно помирали» (Chesterton G. K. Op. cit. P. 60).

Историческое описание ирландского вопроса, включающее самые последние события, можно найти в превосходном объективном исследовании Николаса Манзера (Manzergh N. Britain and Ireland // Longman's Pamphlets on the British Commonwealth. L., 1942).

<sup>10</sup> Весьма характерно звучит следующее заявление Дж. А. Фруда, сделанное незадолго до начала империалистической эры: «Пусть с самого начала будет утверждено, что англичанин, эмигрирующий в Канаду или в Капскую колонию, Австралию или Новую Зеландию, не теряет своей национальной принадлежности, что он так же продолжает пребывать на английской земле, как если бы он был в Девоншире или Йоркшире, и остается англичанином, пока существует Английская империя; и если бы мы потратили четверть той суммы, что мы утопили в болотах Балаклавы, на переселение и устройство в этих колониях двух миллионов наших людей, это более способствовало бы усилению основ нашей державы, чем все войны, в которые мы были вовлечены, — от Азенкура до Ватерлоо» (цит. по: Schuyler R. L. The fall of the old colonial system. A study in British free trade, 1770–1870. N.Y., 1945. P. 280–281).

<sup>11</sup> Видный южноафриканский писатель Ян Диссельбом без обиняков выразил мнение людей Содружества на этот счет: «Великобритания — это просто партнер в общем деле... все мы происходим из одного близкого родственного корня... Те части империи, кото-

Исходное противоречие между внутренним устройством национального государства и завоеванием как политическим средством стало очевидным со времени крушения наполеоновской мечты. Именно в силу этого опыта, а не из гуманистических соображений завоевание с той поры подверглось официальному осуждению и стало играть незначительную роль в регулировании территориальных споров. Неудача Наполеона в объединении Европы под французским флагом ясно показала, что завоевание, осуществляемое одной нацией, ведет либо к полному пробуждению национального самосознания покоренного народа, либо к тирании. И хотя тирания, поскольку она не нуждается в согласии, может успешно управлять другими народами, она способна оставаться у власти, только если она прежде всего разрушает национальные институты в собственной стране.

Французы, в противоположность англичанам и другим нациям Европы, в последнее время попытались соединить *ius* и *imperiū* и построить империю в римском смысле. Они были единственными, кто по крайней мере попробовал превратить политический организм национального государства в имперскую политическую структуру, веря в то, что «французская нация шагала вперед... чтобы распространять блага французской цивилизации»; они хотели включить заморские владения в национальное целое, обращаясь с покоренными народами «и как с братьями, и... как с подданными, — братьями в семье единой французской цивилизации и подданными в смысле обучения французскому просвещению и следования французскому руководству»<sup>12</sup>. Частично это осуществилось, когда депутаты от цветных народов заняли места во французском парламенте, а Алжир был объявлен департаментом Франции.

Результатом этого смелого начинания была особенно жестокая эксплуатация заморских владений во имя нации. Вопреки всем теоретическим построениям, Французская империя на деле рассматривалась и оценивалась прежде всего с позиций национальной обороны<sup>13</sup>,

рые населены расами, не подпадающими под вышесказанное, никогда не были такими партнерами. Они были частной собственностью господствующего партнера... Можно иметь белый доминион или можно иметь доминион Индию, но нельзя иметь и то и другое» (цит. по: Carthill A. The lost dominion. 1924).

<sup>12</sup> Barker E. Ideas and ideals of the British Empire. Cambridge, 1941. P. 4.

См. также превосходные вводные замечания относительно образования Французской империи в: The French colonial Empire // Information Department Papers. № 25. The Royale Institute of International Affairs. L., 1941. P. 9 ff.: «Цель состоит в ассимиляции колониальных народов во французскую нацию или, в случае более примитивных сообществ, когда это невозможно, в «ассоциировании» их, так что постепенно различие между la France métropole и la France d'outremer станет географическим, а не сущностным».

<sup>13</sup> См.: Hanotaux G. Le Général Mangin // Revue des Deux Mondes. 1925. Vol. 27.

и колонии стали землями солдат, производящими *force poire* для защиты жителей Франции от их национальных врагов. Произнесенная Пуанкаре в 1923 г. знаменитая фраза: «Франция насчитывает не сорок миллионов, у Франции — сто миллионов» — говорила просто об открытии «дешевого вида пушечного мяса, создаваемого методами массового производства»<sup>14</sup>. Когда за столом мирных переговоров в 1918 г. Клемансо заявлял, что ничто не заботит его, кроме «неограниченного права вербовать черные войска для участия в защите французской территории в Европе, если Франция в будущем подвергнется нападению со стороны Германии»<sup>15</sup>, он не избавил французскую нацию от немецкой агрессии, как это, к сожалению, известно нам теперь, хотя его план и был осуществлен Генеральным штабом; зато он нанес смертельный удар по тогда еще не до конца исключенной возможности существования Французской империи<sup>16</sup>. В сравнении с этим слепым, отчаянным национализмом английские империалисты с их компромиссной мандатной системой выглядели покровителями самоопределения народов. И это несмотря на тот факт, что они сразу же начали злоупотреблять мандатной системой через «косвенное

<sup>14</sup> Crozier W. P. France and her «Black Empire» // New Republic. 23. 01. 1924.

<sup>15</sup> George D. L. Memoirs of the Peace Conference. New Haven, 1939. Vol. 1. P. 362 ff.

<sup>16</sup> Подобная же попытка жестокой эксплуатации была предпринята Нидерландами в Голландской Индии после того, как поражение Наполеона вернуло колонии во владение сильно обнищавшей метрополии. Через систему принудительных сельскохозяйственных культур местные жители были превращены в рабов, трудящихся на голландское правительство. Появившаяся в 60-е годы прошлого века книга Мультаули «Макс Хавелаар» своим острием была направлена против правительства метрополии, а не против колониальных служб (см.: Kat Angelino A. D. A. de. Colonial policy. Vol. 2: The Dutch East Indies. Chicago, 1931. P. 45).

Система эта была быстро оставлена, и Голландская Индия на какое-то время стала «предметом восхищения для всех колонизирующих наций» (сэр Хэскет Белл, бывший губернатор Уганды, Северной Нигерии и т.д., см.: Bell H. Foreign colonial administration in the Far East. 1928. Part 1). Голландские методы были во многом сходны с французскими: предоставление статуса европейца заслуженным лицам туземного происхождения, введение европейской системы образования и другие способы постепенной ассимиляции. Всем этим голландцы добились и такого же результата: сильного движения покоренного народа за свое национальное освобождение.

В настоящей работе голландский и бельгийский империализм оставлены за рамками рассмотрения. В первом случае имела место любопытная меняющаяся смесь французских и английских методов; второй случай — это история экспансии не бельгийской нации и даже не бельгийской буржуазии, а лично бельгийского короля, не контролируемого никаким правительством и не связанного ни с каким иным институтом. И голландская, и бельгийская разновидности империализма нетипичны. Нидерланды не продолжали экспансию в 80-е годы, но лишь консолидировали и модернизировали свои старые владения. А невиданные жестокости, совершенные в Бельгийском Конго, были бы слишком крайним примером того, что обычно происходило в колониальных владениях.

управление» — метод, который позволял администратору управлять народом «не непосредственно, а с помощью его собственных племенных и местных властей»<sup>17</sup>.

Англичане старались преодолеть присущую строительству национальным государством империи непоследовательность, предоставив покоренные народы самим себе в том, что касается культуры, религии и законов, сохраняя дистанцию и воздерживаясь от распространения английских законов и культуры. Это не остановило развития у народов национального самосознания и стремления к суверенитету и независимости, хотя и несколько притормозило эти процессы. Но в результате необыкновенно усилилось и новое империалистическое сознание исходного данного, а не просто временного, превосходства одних людей над другими, «высших рас» над «низшими». Что в свою очередь обостряло борьбу подвластных народов за свободу и мешало им увидеть и несомненные преимущества, принесенные британским управлением. Из-за самой отдаленности и отчужденности управляющих, которые, «несмотря на их искреннее уважение к туземцам как к нациям и в некоторых случаях даже любовь к ним... почти все до единого не верили в их способность теперь или когда-либо в будущем управлять своими делами без надзора»<sup>18</sup>, «туземцы» могли лишь заключить, что их навеки исключают из всего остального человечества.

Империализм не означает строительства империй, а экспансия не есть завоевание. Английские завоеватели, прежние «сокрушители закона в Индии» (Бёрк), имели мало общего с экспортерами английских капиталов или с администраторами, управлявшими индийскими народами. Если бы последние перешли от издания указов к созданию законов, они, возможно, и стали бы строителями империи. Однако дело как раз в том, что английскую нацию это не интересовало, и она едва ли бы их поддержала. Обстоятельства были таковы, что за империалистически мыслящими бизнесменами следовали гражданские чиновники, которые хотели, чтобы «африканцы остались африканцами», причем немалое число из них — те, кто не изжили, как выразился однажды Гарольд Николсон, свои «юношеские идеалы»<sup>19</sup>, — хотели помочь им «стать лучшими африканцами»<sup>20</sup>, что бы это ни означало. Ни в коем случае они не были «расположены внедрять административную и политическую систему своей страны для управления отсталым населением колоний»<sup>21</sup> и включать широко раскинувшиеся владения британской короны в английскую нацию.

В противоположность подлинно имперским структурам, в которых институты метрополии самыми различными путями интегрируются в империю, для империализма характерна отделенность национальных институтов от колониальной администрации, хотя и при наличии известной доли контроля над ней. За этим отделением просматривается любопытная смесь высокомерия и уважения — вновь обретенного высокомерия колониальных администраторов, имевших дело с «отсталым населением» или «низшими расами», сочетающегося с уважительным отношением старомодных политиков метрополии, полагавших, что ни одна нация не имеет права навязывать свои законы другому народу. По самой сути этой ситуации высокомерие превратилось в средство управления, в то время как уважение, оставаясь просто позицией отрицания, не породило какого-то нового способа совместного проживания людей и сумело лишь слегка ограничить произвольное империалистическое правление посредством указов. Спасительной сдержанности национальных институтов и политиков мы обязаны тем, что неевропейские народы, в конце концов и несмотря ни на что, получили от западного господства хоть какую-то пользу. Колониальные же службы не прекращали протестов против вмешательства «неискушенного большинства» — нации, оказывавшего давление на «обладающее опытом меньшинство» — империалистических администраторов, — «чтобы склонить их к подражанию»<sup>22</sup>, т.е. к управлению с соблюдением общепринятых в самой метрополии норм справедливости и свободы.

То, что движение в пользу экспансии ради экспансии возникло в национальных государствах, которые, более чем какие-либо иные политические организмы, основывались на точном определении границ и пределов возможных завоеваний, представляет собой один из примеров того на первый взгляд абсурдного расхождения между причиной и следствием, что стало отличительным признаком современной истории. Дикая путаница в современной исторической терминологии является лишь побочным продуктом этого расхождения. Проводя сравнения с древними империями, путая экспансию с завоеванием, игнорируя различия между имперской федерацией (Commonwealth) и империей (которые доимпериалистические историки называли разницей между поселениями колонистов и владениями, или колониями и зависимыми территориями, или, несколько позже, между колониализмом и импе-

<sup>17</sup> Barker E. Op. cit. P. 69.

<sup>18</sup> James S. South of the Congo. N.Y., 1943. P. 326.

<sup>19</sup> Относительно этих юношеских идеалов и их роли в британском империализме см. главу седьмую настоящего издания. О том, как они создавались и культивировались, см.: Kipling R. Stalky and Company. 1899.

<sup>20</sup> Barker E. Op. cit. P. 150.

<sup>21</sup> Cromer E. B. The government of subject races // Edinburg Review. January 1908.

<sup>22</sup> Ibid.

риализмом<sup>23</sup>), игнорируя, другими словами, различие между вывозом (английских) людей и вывозом (английских) денег<sup>24</sup>, историки пытались отмахнуться от того будоражащего факта, что столь многие важные события новой истории выглядят так, как если бы мухи собрались вместе и образовали собой слона.

Современные историки, взирая на зрелище того, как кучка капиталистов снует по земному шару в хищническом поиске новых инвестиционных возможностей, играя при этом на стремлении к прибыли сверхбогатых и на азартных инстинктах сверхбедных, замыслили облечь империализм в тогу славы и величия Рима или Александра Македонского, в тогу величия, которое сделало бы все последующие события более терпимыми с человеческой точки зрения. Несоразмерность причин и следствий была раскрыта в знаменитом и, к сожалению, точном замечании о том, что Британская империя была обретена в минуту рассеянности; это нашло жестокое подтверждение в наше время, когда для того, чтобы покончить с Гитлером, понадобилась мировая война, что постыдно именно потому, что одновременно и смешно. Нечто подобное проявилось уже и во время Истории Дрейфуса, когда лучшие силы нации понадобились для того, чтобы завершить борьбу, начавшуюся в виде гротескного заговора и закончившуюся фарсом.

Единственно, в чем состоит величие империализма, так это в том, что национальное государство проиграло ему свою с ним битву. Трагизм этого неумелого противостояния состоял не в том, что многие из представителей нации оказались купленными новыми империалистическими дельцами; хуже коррупции было то, что некорруптированных удалось убедить в неизбежности империализма как средства мировой политики. Поскольку морские базы и доступ к сырьевым ресурсам были действительно необходимы всем нациям, они поверили в то, что спасение нации зависит от аннексий и экспансии. Они были первыми, кто не смог понять фундаментальной разницы между старыми основа-

<sup>23</sup> Первым ученым, употребившим термин «империализм» для различия между империей и имперской федерацией, был Дж. А. Гобсон. Но сущность этого различия была известна всегда. Например, принцип «свободы колонии», чтимый всеми либеральными британскими политиками после Американской революции, сохранял силу только в том случае, если колония была «населена британцами или... содержала такую пропорцию британского населения, что в ней можно было без опасений вводить представительные институты» (см.: *Schuyler R. L. Op. cit. P. 236 ff.*).

В XIX в. следует различать три типа заморских владений Британской империи: переселенческие территории или колонии, подобные Австралии и другим доминионам; торговые фактории и владения вроде Индии и морские и военные базы типа мыса Доброй Надежды, содержавшиеся для обеспечения предыдущих. В эпоху империализма все эти владения претерпели изменения в том, что касается их административной и политической значимости.

<sup>24</sup> *Barker E. Op. cit.*

ниями торговли и поддерживающими ее фортами на морских путях и новой политикой экспансии. Они поверили Сесилу Родсу, когда тот призвал их «осознать тот факт, что нельзя жить, если не овладеть мировой торговлей», что «торговля — это весь мир и ваша жизнь — это весь мир, а не только Англия» и что поэтому «нужно решать вопросы экспансии и удержания мира»<sup>25</sup>. Не желая того и иногда даже не зная об этом, они не только становились пособниками империалистической политики, но и оказывались первыми, на кого пали обвинения и разоблачения в «империализме». Так было с Клемансо, который — по причине своей отчаянной озабоченности судьбой французской нации — стал «империалистом» в надежде, что людские резервы колоний помогут защитить французских граждан от агрессоров.

Совесть нации, представленная парламентом и свободной печатью, продолжала действовать, вызывая неудовольствие у колониальных администраторов во всех европейских странах, обладавших колониями, — будь то Англия, Франция, Бельгия, Германия или Голландия. В Англии, чтобы проводить различие между имперским правительством, находящимся в Лондоне и контролируемым парламентом, и колониальными властями, это влияние было названо «имперским фактором». Тем самым империализм наделялся достоинствами и признаками правопорядка, который он так жадно стремился изничтожить<sup>26</sup>. Политически «имперский фактор» нашел выражение в представлении о том, что колониальные народы не только защищены, но как бы и представлены в английском «парламенте империи»<sup>27</sup>. Здесь англичане подошли очень близко к французскому опыту построения империи, хотя они никогда и

<sup>25</sup> *Millin S. G. Op. cit. P. 175.*

<sup>26</sup> Происхождение этого выражения, вероятно, связано с историей британского владычества в Южной Африке и восходит к временам, когда местные правители Родс и Джеймсон вовлекли «правительство империи» в Лондоне в войну с бурами. «На самом деле Родс или даже, скорее, Джеймсон был абсолютным правителем территории, в три раза превосходящей по размеру Англию, которой мог управлять «без ворчливых согласий или вежливых отказов Верховного комиссара», который был представителем правительства империи, сохранявшего лишь «номинальный контроль» (*Lovell R. I. The struggle for South Africa, 1875–1899. N.Y., 1934. P. 194.*) А что случается с территориями, где британское правительство передает свою юрисдикцию местному европейскому населению, лишённому всех присущих национальным государствам традиционных и конституционных сдерживающих начал, лучше всего можно увидеть на трагической истории Южно-Африканского Союза после получения им независимости, т.е. после того, как «правительство империи» утратило право на вмешательство.

<sup>27</sup> В этой связи представляет собой интерес спор в палате общин в мае 1908 г. между Чарлзом Дилком и министром по делам колоний. Дилк предупреждал против предоставления самоуправления колониям, так как это приведет к порабощению плантаторами цветных работников. Ему было сказано, что туземные народы также имеют представительство в английской палате общин (см.: *Zoepfl G. Kolonien und Kolonialpolitik // Handwörterbuch der Staatswissenschaften.*)

не заходили так далеко, чтобы дать подвластным народам действительное представительство. Тем не менее, они, без сомнения, надеялись, что нация в целом будет служить своего рода опекуном покоренных народов, и действительно, она неизменно делала все от нее зависящее, чтобы предотвратить возможные худшие варианты.

Конфликт между представителями этого «имперского фактора» (который точнее было бы назвать национальным) и колониальными властями проходит красной нитью через всю историю британского империализма. «Мольба», с которой Кромер во время своего правления в Египте в 1896 г. обратился к лорду Солсбери: «Избавьте меня от английских ведомств»<sup>28</sup>, повторялась вновь и вновь, вплоть до 20-х годов нашего столетия, когда экстремистская империалистическая партия уже в открытую обвинила нацию и все ее принципы в создании угрозы потери Индии. Империалисты всегда испытывали неудовольствие по поводу того, что правительство Индии «должно оправдывать свое существование и свою политику перед общественным мнением в Англии»; этот контроль сделал теперь невозможным прибегнуть к тем мерам «административной резни»<sup>29</sup>, которые сразу по окончании первой мировой войны были опробованы в качестве радикального средства умиротворения<sup>30</sup> в отдельных местах и которые могли действительно предотвратить движение Индии к независимости.

Подобная же вражда между представителями национального государства и колониальными администраторами в Африке существовала и в Германии. В 1897 г. со своего поста в Юго-Восточной Африке и с государственной службы — из-за его жестокости по отношению к местному населению — был уволен Карл Петерс. То же самое случилось и с губернатором Циммером. А в 1905 г. племенные вожди впервые обратились со своими жалобами в рейхстаг, и в результате, когда колониальные власти бросили их в тюрьму, за этим последовало вмешательство германского правительства<sup>31</sup>.

<sup>28</sup> Zetland L. J. Lord Cromer. 1923. P. 224.

<sup>29</sup> Carthill A. Op. cit. P. 41–42, 93.

<sup>30</sup> Пример «умиротворения» на Ближнем Востоке подробно описан Т. Э. Лоуренсом в статье «France, Britain and the Arabs», написанной для газеты «The Observer» (1920 г.): «Арабы добиваются первоначального успеха, английские подкрепления выступают в качестве карательной силы. С боями они продвигаются... к своей цели, которая тем временем подвергается обстрелу артиллерией, с самолетов и канонерок. В конце сжигается какая-нибудь деревня, и район умиротворяется. Странно, что мы не применяем в таких случаях отравляющие вещества. При бомбардировках домов женщины и дети гибнут местами... Газовыми атаками можно аккуратно уничтожить все население непокорных районов; а как метод управления все это не более аморально, чем существующая система» (см.: Lawrence T. E. Letters / Ed. by D. Garnett. N.Y., 1939. P. 311 ff.).

<sup>31</sup> С другой стороны, в 1910 г. министр по делам колоний Б. Дернабург был вынужден уйти в отставку, так как своим покровительством туземцам восстановил против себя план-

То же самое относится и к французскому управлению. Губернаторы, обычно назначавшиеся правительством в Париже, либо испытывали мощное давление со стороны французских колонистов, как это было в Алжире, либо просто отказывались проводить реформы в сфере отношений с местными жителями, так как, по их мнению, эти реформы были продиктованы «мягкотелыми демократическими принципами (нашего) правительства»<sup>32</sup>. Повсюду империалистические администраторы ощущали контроль нации как непомерное бремя и угрозу колониальному господству.

И империалисты были совершенно правы. Современные условия властвования над покоренными народами были известны им лучше, чем тем, кто, с одной стороны, протестовал против управления указами и бюрократическим произволом, а с другой — надеялся сохранить свои владения навсегда во имя славы нации. Империалисты лучше, чем националисты, понимали непригодность политического устройства национального государства для построения империи. Они отлично осознавали, что победное шествие национального государства и его завоевания, если предоставить все это на волю внутренне присущих такому государству законов, закончится подъемом национального самосознания колониальных народов и поражением завоевателей. Поэтому французские методы, пытавшиеся сочетать национальные чувства со строительством империи, были гораздо менее успешными, чем английские, которые, начиная с 80-х годов прошлого века стали открыто империалистическими, хотя и сдерживаемыми метрополией, сохраняющей свои национальные демократические институты.

## 2. Власть и буржуазия

Чего действительно хотели империалисты, так это распространения политической власти без создания при этом политического целого. Империалистическая экспансия была вызвана необычного рода экономическим кризисом — перепроизводством капитала и появлением «лишних» денег, явившимся результатом перенакоплений, которые не могли больше находить сферу производительного инвестирования в рамках национальных границ. Впервые не инвестирование могущества прокладывало путь инвестированию денег, а экспорт власти смиренно влачил за экспортом денег, поскольку бесконтрольное помещение ка-

таторов (см.: Townsend M. E. Rise and fall of Germany's colonial Empire. N.Y., 1930; Leutwein P. Kämpfe um Afrika. Luebeck, 1936.)

<sup>32</sup> Слова Леона Кайла, бывшего генерал-губернатора Мадагаскара, друга Петена.

питалов в отдаленные страны грозило превратить широкие слои общества в азартных игроков, превратить всю капиталистическую экономику из системы производства в систему финансовых спекуляций и замкнуть прибыли от производства комиссионными доходами. Десятилетия, непосредственно предшествовавшие империалистической эпохе, являлись свидетельствами невиданного роста мошенничества, финансовых скандалов и биржевых спекуляций.

Пионерами в этих предимпериалистических свершениях были те еврейские финансисты, которые нажили свое богатство вне капиталистической системы и в которых растущие национальные государства нуждались для получения международно гарантированных займов<sup>33</sup>. После установления твердой системы налогообложения, обеспечившей надежное финансирование государственных расходов, эта группа имела все основания бояться полного устранения. В течение столетия, зарабатывая деньги посредством получения комиссий, они, естественно, были первыми, кто соблазнился приглашением участвовать в помещении капиталов, которым не находилось прибыльного места на внутреннем рынке. Еврейские международные финансисты действительно представлялись наилучшим образом приспособленными для этих, по сути своей международных, деловых операций<sup>34</sup>. Более того, и сами правительства, чья помощь в той или иной форме была необходима при вывозе капитала в далекие страны, вначале были склонны предпочесть известным еврейским финансистам новичкам в области международных финансов, многие из которых были авантюристами.

После того как финансисты открыли избыточному богатству, до этого обреченному на бездействие в узких рамках национальной экономики,

<sup>33</sup> Это и последующее перекликается с сообщенным в главе второй настоящего издания.

<sup>34</sup> Интересно, что все ранние исследователи империалистического развития делали очень большое ударение на этот еврейский элемент, в то время как в более поздней литературе на него почти не обращают внимания. Особенно примечательна, ввиду его надежности как наблюдателя и честности как аналитика, эволюция в этом вопросе Дж. А. Гобсона. В первом написанном на эту тему своем эссе «Capitalism and imperialism in South Afrika» (Contemporary Review. 1900) он писал: «В большинстве своем (финансистами)... были евреи, ибо евреи — это международные финансисты Божьей милостью, и, хоть и говорившие по-английски, они в большинстве своем были родом с континента... Они пустились туда (в Трансвааль) за деньгами, и те, кто поспешили раньше и заработали больше, сами покинули страну, оставив в теле добычи свои экономические клыки. Они впились в Ранд, как они готовы впитаться в любое другое место на земном шаре... В первую очередь они — финансовые спеулянты, извлекающие свою выгоду не из результатов работы промышленности, пусть даже чужой, но из строительства компаний, их проталкивания и финансового ими манипулирования». В более поздней работе Гобсона «Imperialism», однако, евреи даже не упомянуты; с течением времени стало очевидно, что их влияние и роль были временными и несколько поверхностными.

О роли еврейских финансистов в Южной Африке см. главу седьмую настоящего издания.

каналы экспорта капитала, быстро прояснилось, что далекие от источников получения прибыли держатели акций готовы идти на громадный риск, соотносимый с их громадно увеличившимися доходами. При таком риске живущие за счет комиссий финансисты даже при благожелательной поддержке государства не могли обеспечить надлежащих гарантий — их могла дать только вся материальная мощь государства.

Как только выяснилось, что за экспортом денег понадобится экспорт государственной мощи, позиция финансистов вообще и еврейских финансистов в особенности сильно пошатнулась, и ведущее место в империалистических деловых операциях и предприятиях постепенно перешло к отечественной буржуазии. Весьма показательна в этом отношении карьера Сесила Родса в Южной Африке, где он, будучи абсолютным новичком, в считанные годы сумел оттеснить с первого места всемогущих еврейских финансистов. В Германии Блейхредер, который в 1885 г. еще был основателем «Ostafrikanische Gesellschaft», 14 лет спустя, когда Германия начала строительство Багдадской железной дороги, был вместе с бароном Гиршем вытеснен такими растущими гигантами империалистического предпринимательства, как «Siemens» и «Deutsche Bank». В каком-то смысле нежелание правительства уступить евреям действительную власть и нежелание евреев погружаться в бизнес с политической подоплекой настолько удачно совпали, что, несмотря на огромное богатство этой группы евреев, когда кончился начальный этап азартной погони за наживой и обогащения посредством комиссионных, за ним не последовало настоящей борьбы за власть.

Различные национальные правительства с неудовольствием взирали на растущую тенденцию превращать бизнес в политический вопрос и отождествлять экономические интересы сравнительно небольшой группы с национальными интересами как таковыми. Но дело рисовалось так, что единственной альтернативой экспорту мощи была уступка значительной части национального богатства. Только путем экспансии национальных средств насилия можно было рационализировать поток инвестиций в далекие земли и реинтегрировать в экономическую систему нации бешеные спекуляции с избыточным капиталом, побуждавшие ставить на карту все сбережения. Государство стало прибегать к силовой экспансии, поскольку, будучи поставлено перед выбором между потерями (большими, чем может выдержать экономический организм любой страны) и выигрышами (большими, чем те, о которых может помыслить любой народ, предоставленный самому себе), оно, естественно, выбрало последнее.

Первым следствием экспорта мощи было то, что государственные органы насилия, полиция и армия, которые в рамках национального государства существовали рядом с другими национальными институтами

и контролировались ими, выдвинулись из этой структуры и обрели статус представителей нации в нецивилизованных или слабых странах. Здесь, в отсталых регионах, без промышленности и политической организации, где насилие применялось с большей свободой, чем в любой европейской стране, так называемым законам капитализма была предоставлена возможность творить реальность. Пустое желание буржуазии сделать так, чтобы деньги рождали деньги, подобно тому как люди рождают людей, оставалось недостижимой мечтой до тех пор, пока деньгам приходилось проходить долгий путь через помещение в производство; не деньги рождали деньги, а люди делали вещи и деньги. Секретом новой счастливой ситуации было как раз то, что экономические законы перестали загораживать путь алчности имущих классов. Наконец-то деньги смогли рождать деньги, потому что сила, отбросив все законы — и экономические, и этические, — стала присваивать богатство. Только когда экспорт денег подтолкнул и спровоцировал экспорт мощи, сбылись замыслы владельцев этих денег. Только неограниченное накопление могущества могло обеспечить неограниченное же накопление капитала.

Иностранные инвестиции, экспорт капитала, возникшие в качестве чрезвычайных мер, становились постоянной чертой всех экономических систем, как только попадали под защиту экспорта мощи. Импералистическое понимание экспансии, согласно которому она есть сама по себе цель, а не временное средство, появилось в политическом мышлении после того, как стало очевидным, что одной из важнейших постоянных функций национального государства станет расширение сферы могущества. Стоящие на службе государства распорядители насилия скоро образовали внутри государства новый класс, и, хотя деятельность их протекала вдали от родины, они оказывали значительное влияние и на политическую жизнь метрополии. Поскольку они были не кем иным, как функционерами от насилия, и мыслить они могли только в терминах политики силы, они были первыми, кто со своих классовых позиций и исходя из своего повседневного опыта провозгласил, что могущество есть сущность всякой политической структуры.

Новым в этой политической философии империализма было не то, что она отводила такое преимущественное место насилию, и не открытие, что сила является одной из основополагающих политических реальностей. Насилие всегда было *ultima ratio* в политическом действии, и могущество всегда являлось наглядным выражением господства и управления. Но никогда ни то, ни другое не выступало осознанной целью политической власти или конечной задачей какого-то определенного политического курса. Ибо мощь, предоставленная самой себе, не достигает ничего, кроме еще большей мощи, а насилие, осуществляе-

мое во имя достижения этой мощи (а не во имя закона), превращается в разрушительный принцип, продолжающий действовать до тех пор, пока не останется ничего, что уже не подверглось его воздействию.

Это противоречие, неизбежное для любой вытекающей отсюда политики силы, приобретает, однако, видимость осмысленности, если поместить его в контекст якобы нескончаемого процесса, не имеющего иной цели, кроме самого себя. В этом случае действительно бессмысленно ставить вопрос о пределах достигнутого, и могущество может представляться не имеющим конца, самообеспечиваемым двигателем любого политического действия, подобным мифическому накоплению денег, где деньги якобы рождают деньги. Доктрина неограниченной экспансии, которая одна только и может осуществить мечту о неограниченном накоплении капитала, ведет к бесцельному накоплению могущества, делает почти невозможным создание новых политических образований, что до наступления эры империализма всегда было результатом завоеваний. На деле ее логическим следствием является разрушение любых живых сообществ — как у побежденных народов, так и у народа метрополии. Ибо любая политическая структура, старая или новая, будучи предоставлена самой себе, вырабатывает стабилизирующие силы, стоящие на пути непрерывного преобразования и расширения. Поэтому все политические образования представляются временными препятствиями, если глядеть на них как на часть бесконечного потока возрастающей мощи.

Если распорядители постоянно растущей мощи в прошлую эпоху умеренного империализма даже и не пытались поглотить побежденные территории и сохраняли существовавшие отсталые политические сообщества в виде опустошенных развалин ушедшей жизни, их тоталитарные последователи разоряли и уничтожали все политически устойчивые структуры: и свои собственные, и принадлежащие другим народам. Голый экспорт насилия превращал слуг в господ, не наделяя их при этом господской прерогативой — создавать нечто новое. Монополистическая концентрация и громадное скопление средств насилия в метрополии превращали слуг в активную разрушительную силу, пока в конце концов тоталитарная экспансия не начинала разрушать государство и нацию.

Власть и могущество становились существом политического действия и помещались в центр политической мысли, лишь только они отделялись от политического сообщества и переставали ему служить. Надо признать, что в основе этого лежал экономический фактор. Но получившееся в результате превращение власти в единственное содержание политики, а экспансии — в ее единственную цель едва ли было бы встречено с таким всеобщим одобрением, а последовавшее за этим раз-

рушение политических структур государства — со столь незначительной оппозицией, если бы это не отвечало полностью скрытым желанием и тайным убеждениям экономически и социально господствующих классов. Буржуазия, так долго отстранявшаяся от управления и по самой сути национального государства, и в результате собственного отсутствия интереса к общественным делам, была политически эмансипирована империализмом.

Империализм следует считать не столько последней стадией капитализма, сколько первой стадией политического господства буржуазии. Хорошо известно, насколько мало имущие классы стремились к участию в управлении, насколько легко они удовлетворялись любой формой государства, которой можно было бы доверить защиту прав собственности. На деле государство было для них лишь хорошо организованной полицейской силой. Занятым следствием этой ложной скромности было, однако, то, что весь класс буржуазии оставался вне политической системы; буржуа были сначала частными лицами, а уж затем подданными монархии или гражданами республики. Этот акцент на своем частном статусе и занятость прежде всего деланием денег выработали определенные стереотипы поведения, запечатленные в пословицах типа: «Нет ничего успешнее успеха», «Сила есть право», «Право — это польза» и т.д., которые неизбежно появляются в обществе, состоящем из конкурентов.

Когда в эпоху империализма деловые люди стали политиками и получили признание как государственные деятели, а государственных деятелей стали признавать всерьез только при условии употребления ими языка преуспевших бизнесменов и умения «мыслить континентами», эти частные навыки и приемы постепенно превратились в правила и принципы ведения общественных дел. В этом процессе переоценки ценностей, начавшемся в конце прошлого столетия и продолжающемся до сих пор, важным моментом было то, что начался он с приложения буржуазных взглядов к внешним делам, а уж затем последовало их распространение на внутреннюю политику. Поэтому в государствах, где он происходил, люди не сразу осознали, что господствующая в частной жизни необузданность, против которой общественные органы всегда должны были защищать и себя, и отдельных граждан, вот-вот будет возведена в ранг одного из публично признанных принципов политики.

Примечательно, что современные почитатели власти и могущества полностью вторят философии единственного великого мыслителя, когда-либо пытавшегося вывести общественное благо из частных интересов, который также во имя блага частных лиц разработал теорию «государства всеобщего благоденствия», чьей основой и конечной целью

была концентрация власти. Фактически Гоббс является единственным великим философом, которого можно по праву считать исключительно буржуазным, пусть даже его принципы в течение долгого времени не признавались буржуазией. В «Левиафане»<sup>35</sup> изложена единственная политическая теория, где государство основывается не на каком-либо конституирующем законе — будь то священный закон, естественное право или общественный договор, — что определял бы соответствие или несоответствие личного интереса общественным установлениям, а на самих индивидуальных интересах, когда «частный интерес есть то же самое, что и общий»<sup>36</sup>.

Едва ли найдется хоть один буржуазный моральный принцип, который не был бы предвосхищен не знающей себе равных, блистательной логикой Гоббса. Он дает почти полный портрет не человека вообще, а буржуазного человека, анализ, который не устарел и не был превзойден за 300 лет. «Рассуждение... есть не что иное, как *Подсчитывание*»; «(слова) о свободном Субъекте, о свободной Воле... не имеют смысла, то есть (являют собой) Абсурд». Существо без разума, без способности знать истину и без свободной воли, т.е. без способности быть ответственным, человек по сути своей есть функция общества и поэтому оценивается в соответствии со своей «стоимостью или ценностью, ...своей ценой, то есть тем, сколько можно дать за пользование его силой». Цена эта постоянно назначается и переназначается обществом, «оценкой других», в зависимости от закона спроса и предложения.

Власть, согласно Гоббсу, — это аккумулированная способность контроля, позволяющая индивиду назначать цену и регулировать спрос и предложение таким образом, чтобы извлекать для себя наибольшую пользу. Индивид решает вопросы своей выгоды в полном одиночестве, с позиций, так сказать, полного меньшинства; затем, однако, он осознает, что преследовать свой интерес и добиваться его он может лишь с помощью какого-то большинства. Поэтому, если человек действительно руководствуется не чем другим, как только своими индивидуальными интересами, его основополагающей страстью должна быть жажда власти. Она управляет отношениями между индивидом и обществом, а уж из нее следует все остальные устремления — к богатству, знаниям и почету.

<sup>35</sup> Все последующие цитаты, если не указан их источник, взяты из «Левиафана».

<sup>36</sup> Совпадение этого отождествления с тоталитарными претензиями на преодоление противоречий между личными и общественными интересами достаточно примечательно (см. главу двенадцатую настоящего издания). Однако нельзя игнорировать тот факт, что Гоббс стремился прежде всего защитить частные интересы, утверждая, что, будучи правильно понятыми, они являются одновременно и интересами политического целого, тоталитарные же режимы, напротив, провозглашают личное несуществующим.

Гоббс указывает, что в борьбе за власть, как и в своей природной способности к власти, все люди равны, так как равенство людей основывается на том факте, что каждый по природе своей имеет достаточно силы, чтобы убить другого. Недостаток силы может компенсироваться вероломством. Равенство людей как потенциальных убийц делает всех их одинаково незащищенными, откуда проистекает необходимость государства. *Ration d'être* государства есть потребность индивида, чувствующего со всех сторон угрозы других индивидов, в какой-то защите.

Решающей чертой гоббсовского представления о человеке является вовсе не реалистический пессимизм, за который ему с недавних пор воздаются хвалы. Ибо, если бы человек был таков, каким его изобразил Гоббс, он бы не смог создать никакой политической организации. На самом деле Гоббс не преуспел, да и не хотел преуспеть, в том, чтобы определенным образом включить описываемое им существо в какое-либо политическое сообщество. Гоббсовский человек не испытывает лояльности по отношению к своей стране, когда та терпит поражение, и ему прощается любое предательство, если он оказывается в плену. Те, кто живет за пределами своего государства (например, рабы), не несут более никаких обязательств перед своими соотечественниками и могут убивать их в любых количествах, и в то же время, напротив, «никто не имеет свободы оказывать сопротивление мечу государства в целях защиты другого человека, виновного или невинного», что означает отсутствие солидарности между людьми и ответственности их друг перед другом. Что держит их вместе, так это какой-нибудь общий интерес, могущий быть даже и «каким-то уголовным преступлением, за которое каждый из них ожидает смертной казни», в коем случае у них есть право «сопротивляться мечу государства», «соединяться для совместной помощи и защиты... Ибо они лишь защищают свою жизнь».

Таким образом, участие в любого сорта сообществе есть, по Гоббсу, дело временное и ограниченное, не меняющее сущности одинокого и замкнутого на себе характера индивида («не испытывающего радости, а, напротив, лишь немало печалующегося, пребывая в обществе, где у него нет силы держать всех в страхе») и неспособное создать между ним и другими людьми постоянные прочные связи. Получается, как если бы созданная Гоббсом картина человека противоречила его же собственной задаче — подвести основания под государственное устройство — и вместо этого описывала устойчивую связку ориентаций, способных без труда разрушить любую реальную общность. В результате гоббсовская Держава является и признается по сути своей нестабильной, с самого своего зарождения несущей в себе семена собственного разложения, — «когда в войне (с иноземцами или междоусобной) враги одерживают окончательную победу... тогда Держава распадается.

и каждый волен защищать сам себя». Нестабильность эта тем более поразительна, что изначально и часто провозглашаемой целью Гоббса было обеспечить максимум безопасности и стабильности.

Было бы величайшей несправедливостью к Гоббсу и к его достоинству как философа полагать, что его описание человека было попыткой работы в духе психологического реализма или отыскания философской истины. На самом деле Гоббса не интересовало ни то, ни другое, а занимало его исключительно само по себе политическое устройство, и описываемые им черты человека соответствовали нуждам Левиафана. Ради убедительности и доказательности он строит свою политическую схему так, как если бы он отправлялся от реалистического анализа человека как существа, «вождеющего власти и только власти», и на этом основании строил свой план политической системы, наилучшим образом приспособленной для этого властолюбивого животного. Реальный же процесс, т.е. единственный процесс, в котором его представление о человеке имеет смысл и выходит за пределы просто банального признания жестокости человеческой природы, был прямо противоположным.

Его новая политическая система создавалась им в интересах нового буржуазного общества, каковым оно становилось в XVII в., а его представление о человеке было наброском отвечающего требованиям этого общества нового типа человека. Держава основывается на делегировании власти, а не на правах. Она обретает монополию на убийство, а взамен дает условную гарантию против неконтролируемых убийств. Безопасность обеспечивается законом, который является прямой эманацией государственной монополии на власть (а не устанавливается людьми в соответствии с их представлениями о справедливости). И поскольку этот закон прямо вытекает из абсолютной власти, в глазах живущих под ним индивидов он являет собой абсолютную необходимость. В отношении государственных законов, т.е. аккумулированной власти общества, монополизированной государством, не существует вопроса о справедливости или несправедливости, а есть лишь абсолютное послушание, слепой конформизм буржуазного общества.

Лишенный политических прав индивид, перед которым публичная и официальная жизнь предстает в облике необходимости, начинает по-новому и с большей силой интересоваться вопросами своей личной жизни и судьбы. Будучи отстраненным от участия в решении общественных дел, затрагивающих всех граждан, индивид теряет положенное ему место в обществе и естественные связи с другими его членами. О своей индивидуальной частной жизни он может судить теперь, только сравнивая ее с жизнью других, и его отношения с другими приобретают форму конкуренции. А раз публичные дела

регулируются государством, преподносясь в виде необходимости, общественные и публичные карьеры конкурентов оказываются во власти случайности. В обществе, состоящем из индивидов, наделенных природой равными способностями к властвованию и равно оберегаемых друг от друга государством, только случай определяет, кому удастся преуспеть<sup>37</sup>.

Согласно буржуазным стандартам, полные неудачники — те, кто не добивается успеха, — автоматически выбывают из конкурентной борьбы, которая и есть жизнь общества. Удача отождествляется с честью, а неудача — с позором. Отдавая свои политические права государству, индивид вручает ему и свою социальную ответственность: он просит у государства, чтобы оно освободило его от бремени заботы о бедных точно так же, как он просит защиты от преступников. Различие между бедняком и преступником исчезает — оба они остаются вне общества. Непреуспевших лишают даже той привилегии, которую признавала за ними классическая цивилизация; несчастные больше не могут взывать к христианскому милосердию.

Гоббс освобождает тех, кто выброшен из общества, — неудачников, несчастных, преступников — от любых обязательств в отношении общества и государства, раз государство не берет на себя заботу о них. Они могут дать волю своему желанию власти, и им дается совет воспользоваться своей естественной способностью убивать, восстанавливая тем самым то естественное равенство, которое общество прячет только лишь из соображений практической целесообразности. Гоббс предвидит и оправдывает превращение отверженных обществом в организованную банду убийц как логический исход из буржуазной моральной философии.

Поскольку власть по сути своей есть лишь средство достижения цели, общество, целиком основанное на власти, в условиях порядка и

<sup>37</sup> Восхождение случая в положение окончательного распорядителя всей жизни человека произошло в XIX в. С этим было связано появление нового жанра литературы — романа — и упадок драмы. Ибо драма потеряла смысл в мире без действия, в то же время когда роман смог адекватно отражать судьбы людей, представляющих собой либо жертв необходимости, либо баловней случая. Полный диапазон возможностей нового жанра продемонстрировал Бальзак, даже человеческие страсти представивший как человеческий рок, в котором нет ни добродетели, ни порока, ни разума, ни свободной воли. Только роман, достигнув полной зрелости, вдоль и поперек перетолковав все хитросплетения человеческого бытия, смог стать новым евангелием влюбленности в собственную судьбу, игравшим столь великую роль в среде интеллектуалов XIX столетия. Этой влюбленностью художник и интеллектуал старался провести границу между собой и обывателем, защитить себя от бесчеловечности игры случайностей, и в результате в этой среде получили развитие все дары современной чувствительности — сострадание, понимание, способность играть предписанную роль, — что так необходимо для поддержания человеческого достоинства и что требует от человека, чтобы он, если уж и суждено ему быть жертвой, то по крайней мере сознательной.

стабильности должно прийти в упадок; в его полной безопасности раскрывается то, что оно построено на песке. Только наращивая власть, может оно сохранять status quo; только постоянно расширяя сферу своей власти и накапливая могущество, оно может обеспечить стабильность. Гоббсовская Держава являет собой неустойчивую структуру и должна все время обеспечивать себя новыми подпорками извне; иначе она в мгновение ока рассыплется в бесцельный и бессмысленный хаос частных интересов, из которого она родилась. Гоббс превращает необходимость накопления власти в теорию естественного состояния вещей, «состояния непрерывной войны» всех против всех, в котором все еще продолжают находиться по отношению друг к другу отдельные государства, подобно тому как в нем находились их отдельные подданные перед тем, как они подчинились власти Державы<sup>38</sup>. Эта неизменно присутствующая опасность войны гарантирует Державе перспективу вечного существования, так как дает возможность государству наращивать свою мощь за счет других государств.

Ошибкой было бы принимать за чистую монету очевидное противоречие между призывами Гоббса обеспечить безопасность индивида и исконной нестабильностью его Державы. И тут он старается убеждать, взывать к неким основополагающим инстинктам самосохранения, которые, как ему было достаточно хорошо известно, могли сохраниться в подданных Левиафана только в виде абсолютного подчинения власти, способной «держат всех в трепете», т.е. во всепронизывающем и подавляющем страхе, что, конечно, не может считаться качеством человека, чувствующего себя в безопасности. От чего действительно отправляется Гоббс, так это от не знающего себе равных проникновения в политические потребности нового социального слоя — возвышающейся буржуазии, чья фундаментальная вера в нескончаемый процесс накопления богатств грозила уничтожить всякую защищенность индивида. Предлагая свои революционные изменения в политическом устройстве, Гоббс опирался на те выводы, что напрашивались из наблюдения реального поведения в общественной и экономической областях. Он обрисовал единственно возможную новую политическую систему, отвечающую нуждам и интересам нового класса. Его подлинным достижением было создание портрета человека, каким он должен стать и как

<sup>38</sup> Популярная в настоящее время либеральная концепция мирового правительства основывается, как и все относящиеся к политической власти либеральные представления, на точно таком же представлении об индивидах, подчиняющихся центральной власти, «держат всех в трепете», только на место индивидов подставляются теперь государства. Мировое правительство должно преодолеть и устранить реально существующую политику, т.е. ситуацию, при которой различные народы взаимодействуют друг с другом, полностью располагая каждый своей мощью.

он должен себя вести, если он хочет вписаться в возникающее буржуазное общество.

Гоббс настаивал на том, что власть есть движущая сила всех вещей — и человеческих, и священных (даже господство Бога над людьми «произведено не из факта сотворения людей... а из его непреодолимого могущества»). Это утверждение выводилось из теоретически неоспоримого тезиса о том, что нескончаемое накопление богатства должно опираться на нескончаемое же накопление могущества. Философским соответствием представлению о присущей обществу, основанному на власти, нестабильности является образ бесконечного исторического процесса, который, применяясь к постоянному наращиванию мощи, беспощадно вовлекает в себя индивидов, народы и, наконец, все человечество. Неограниченный процесс накопления капитала требует политической структуры со столь «безграничной властью», что она могла бы, становясь все более и более могущественной, защитить всевозрастающую собственность. Учитывая изначальный динамизм нового социального класса, следует считать абсолютно верным то, что «он не может обеспечить ту власть и те средства к благополучной жизни... которыми человек обладает в данную минуту, не приобретя большей власти». Логика этого вывода не может поколебать тот примечательный факт, что в течение порядка трех сотен лет не нашлось ни суверена, который «превратил бы эти умозрительные истины в полезную практику», ни буржуазии, достаточно политически сознательной и экономически зрелой, чтобы открыто взять на вооружение гоббсовскую философию власти.

Этот процесс нескончаемого накопления власти для защиты нескончаемого накопления капитала определил «прогрессивную» идеологию конца XIX в. и стал началом подъема империализма. Не наивное заблуждение относительно возможностей безграничного возрастания богатства, а осознание того, что накопление могущества является единственной гарантией стабильности так называемых экономических законов, сделало прогресс непреодолимым. Представление о прогрессе, родившееся в предреволюционной Франции в XVIII в., ставило своей целью сделать из критики прошлого средство господства над настоящим и контроля над будущим; прогресс венчался освобождением человека. Но такое представление имело мало общего с бесконечным прогрессом буржуазного общества, не только не заинтересованного в свободе и независимости человека, но готового пожертвовать всем и каждым во имя предполагаемых надчеловеческих законов истории. «То, что мы называем прогрессом, есть ветер... неудержимо несущий (ангела истории) в будущее, к которому он поворачивается спиной, в то время как

перед ним к небесам вздымаются груды развалин»<sup>39</sup>. Только в мечте Маркса о бесклассовом обществе, которому, как сказал Джойс, предстоит пробудить человечество от кошмара истории, появляется последний, хоть и утопический, след представлений XVIII в.

Империалистически мыслящий делец, досадовавший из-за того, что не может покорить звезды, сознавал, что организованная во имя себя сама власть будет порождать еще большую власть. Когда накопление капитала достигло своих естественных национальных пределов, буржуазия поняла, что только под идеологическим лозунгом «Экспансия — это все» и при соответствующем процессе накопления власти можно будет вновь запустить старый двигатель. Однако в этот же самый момент, когда, казалось, был открыт принцип вечного движения, особый оптимистический настрой прогрессистской идеологии был поколеблен. Не то чтобы кто-нибудь усомнился в неотвратимости самого прогресса, но многие начали видеть то, что напугало Сесила Родса, — что сами условия человеческого существования и ограниченность земного шара создают серьезные препятствия на пути процесса, который не может остановиться и стабилизироваться и потому способен лишь, как только достигнет этих пределов, начать серию разрушительных катастроф.

В эпоху империализма философия власти стала философией элиты, быстро обнаружившей и с готовностью согласившейся, что жажда власти может быть утолена только разрушением. Это было основной причиной ее нигилизма (особенно заметного во Франции в начале и в Германии в 20-е годы этого века), который заменил прогрессистские суеверия не менее вульгарными апокалиптическими суевериями и проповедовал автоматическое унижение с таким же энтузиазмом, с каким фанатики автоматического прогресса проповедовали неотвратимость экономических законов. Для того чтобы добиться успеха, великому почитателю успеха, Гоббсу, понадобилось три столетия. Отчасти это произошло потому, что Французская революция, с ее представлением о человеке как о создателе законов и *citoyen*, почти преуспела в том, чтобы помешать буржуазии полностью развить свое понимание истории как подчиненного законам процесса. Но отчасти дело было и в революционности гоббсовской теории государства, ее бесстрашном разрыве с западной традицией, на что Гоббс не преминул указать.

Каждый человек и каждая мысль, не служащие и не соответствующие конечным целям машины, чьей единственной задачей являет-

<sup>39</sup> Benjamin W. Über den Begriff der Geschichte // Benjamin W. Werke. Frankfurt a. M., 1955. Сами империалисты хорошо осознавали, куда ведет их представление о прогрессе. Вот характерное высказывание автора, бывшего государственным служащим в Индии и писавшего под псевдонимом А. Картхилл: «Нужно всегда испытывать жалость к тем, кого переехала триумфальная колесница прогресса» (Carthill A. Op. cit. P. 209).

ся производство и накопление власти, являются опасной помехой. Гоббс рассудил, что книги «древних греков и римлян» так же «предвзяты», как и учение о христианском «*Summum bonum*... о котором говорится в книгах старых философов морали», или доктрина, согласно коей «все, что человек делает против своей совести, есть грех», или же утверждение, что «законы суть правила, определяющие, что справедливо и что несправедливо». Нас не удивит недоверие Гоббса ко всей западной традиции, если мы вспомним, что он стремился ни более ни менее как оправдать тиранию, которая, хоть и много раз случалась в истории Запада, никогда не удавалась чести находить философское основание. Гоббс же с гордостью признает, что его Левиафан есть не что иное, как постоянное тираническое правление: «Слово тирания означает не большее и не меньшее, чем слова верховная власть... я полагаю, что терпимое отношение к явной ненависти к тирании есть терпимое отношение к ненависти к государству вообще...»

Будучи философом, Гоббс уже тогда сумел почувствовать в возвышении буржуазии те антитрадиционалистские свойства нового класса, для полного раскрытия которых понадобилось более чем три столетия. Его «Левиафан» не был праздным рассуждением о новых политических принципах или привычным поиском разумного начала, лежащего в основании управления человеческими сообществами. Это был в строгом смысле «расчет последствий», вытекавших из возникновения нового класса в обществе, существование которого теснейшим образом связано с собственностью как динамичным механизмом порождения новой, большей собственности. Так называемое накопление капитала, породившее буржуазию, изменило само понятие собственности и богатства: они перестали быть результатом накопления и приобретения и стали их началом; богатство превратилось в не имеющий предела процесс самовозрастания. Определение буржуазии как класса имущих правильно лишь на поверхности, так как характерной чертой этого класса является принадлежность к нему всякого, кто видит в жизни процесс нескончаемого обогащения и считает деньги чем-то священным, не могущим ни при каких обстоятельствах быть простым потребительским средством.

Сама по себе собственность, однако, подлежит использованию и потреблению и поэтому постоянно уменьшается. Самой радикальной и единственно надежной формой обладания является разрушение, ибо только то, что нами разрушено, является навечно и определенно нашим. Обладатели собственности, не потребляющие, а стремящиеся к умножению своего имущества, постоянно сталкиваются с весьма неудобным ограничением — с тем печальным фактом, что человек смертен. Смерть есть подлинная причина, по которой собственность и ее об-

речение никогда не станут подлинно политическим принципом. Социальная система, основанная на собственности, может развиваться только в сторону конечного уничтожения всякой собственности. Конечность индивидуальной жизни — это такой же серьезный вызов собственности в качестве основания общественного устройства, как ограниченность земного пространства есть вызов экспансии в качестве основания политического устройства. Преодолевая границы человеческой жизни путем планирования непрерывного автоматического наращивания богатства за пределами любых личных надобностей и возможностей потребления, индивидуальная собственность становится общественным делом и изымается из сферы исключительно частной жизни. Частные интересы, по самому своему характеру являющиеся временными, ограниченными естественной продолжительностью человеческой жизни, теперь ускользают в сферу общественных дел и заимствуют из этой сферы ту бесконечную протяженность времени, которая необходима для непрерывного накопления. Этим, похоже, создается общество, очень напоминающее сообщество муравьев и пчел, где «общее благо совпадает с благом каждого индивида и, будучи от природы склонными к преследованию своего частного, они тем самым творят общее благо».

Поскольку, однако, люди — это не муравьи и не пчелы, все это оборачивается заблуждением. Общественная жизнь обретает обманчивую внешность целостности частных интересов, как будто эти интересы могут создать новое качество через их простое сложение. И так называемые либеральные представления о политике (т.е. все доимпериалистические либеральные понятия буржуазии) — такие, как неограниченная конкуренция, регулируемая скрытым уравнивающим устройством, таинственно возникающим из сложения конкурирующих сил, преследование «просвещенных эгоистических интересов» как достаточная политическая добродетель, неограниченный прогресс, заключенный в простом следовании событий друг за другом, — имеют в себе одно общее начало: все они просто суммируют частные жизни и индивидуальные способы действия и выдают сумму за законы истории, экономики или политики. Однако либеральные представления, будучи выражением инстинктивного недоверия и врожденной враждебности буржуазии к общественным делам, служат только временным компромиссом между старыми стандартами западной культуры и верой нового класса в собственность как динамичный самодвижущийся принцип. Старые стандарты отступали по мере того, как автоматически возрастающее богатство реально заменяло собой политическое действие.

Гоббс был подлинным, хотя и никогда не признанным до конца, философом буржуазии, так как он осознавал, что обогащение, понимаемое как бесконечный процесс, может быть гарантировано только

путем захвата политической власти, так как процесс накопления должен рано или поздно перешагнуть все существующие территориальные пределы. Он предвидел, что общество, вступившее на путь нескончаемого обогащения, должно сконструировать динамичную политическую организацию, способную обеспечить столь же нескончаемый процесс порождения могущества. Единственно силой своего воображения он смог даже обозначить основные психологические черты нового типа человека, соответствующего такому обществу и его тираническому политическому устройству. Он предвидел присущее этому новому человеческому типу поклонение власти, то, что ему будет лестно называться властолюбивым животным, хотя на самом деле общество заставит его отказаться от своей природной силы, от своих грехов и своих добродетелей и превратит его в жалкое, тщедушное существо, не имеющее даже права восставать против тирании и не только не борющееся за власть, но склоняющееся перед любым существующим правительством и бездействующее, даже когда его лучшие друзья становятся жертвами непостижимого *raison d'état*.

Ибо Держава, основанная на аккумуляции и монополизированной мощи всех своих индивидуальных членов, неизбежно лишает каждого из них его силы, отнимает у него его природные и человеческие возможности. Он становится винтиком накапливающей власть машины, и ему остается только утешать себя тонкими размышлениями о конечном ее предназначении; сама же машина устроена так, что, просто повинаясь своему внутреннему закону, она может сожрать земной шар.

Сущностная разрушительная направленность этой Державы раскрывается в философском истолковании человеческого равенства как, по крайней мере, «равенства способностей» убивать. Живя среди других держав, «находящихся в состоянии непрерывной войны и постоянной готовности к бою, о чем говорят укрепленные границы и пушки, направленные против соседей», она не может вести себя иначе, как следуя закону, «наиболее способствующему (ее) благу», и станет постепенно поглощать более слабые образования, пока не дойдет до последней войны, «которая Победой ли, Смертью ли обеспечит каждого человека».

«Победой ли, Смертью ли» — Левиафан действительно может преодолеть все политические ограничения, связанные с существованием других народов, и может всю землю погрузить в тиранию. Но когда пришла последняя война и каждый человек был обеспечен тем или иным, окончательный мир не воцарился на земле: аккумуляющая власть машина, без которой не могла бы осуществиться непрерывная экспансия, для своего функционирования нуждается во все новом материале для пожирания. Если последняя победоносная Держава не

сможет действовать дальше и «аннексировать планеты», она должна саморазрушиться, чтобы начать сначала бесконечный процесс порождения власти.

### 3. Союз между толпой и капиталом

Когда в 1880-е годы вместе с соперничеством вокруг африканских владений на политическую сцену вышел империализм, то его организаторами были дельцы, ему сопротивлялись находившиеся у власти правительств и его приветствовала, на удивление, большая часть образованных классов<sup>40</sup>. До самого последнего момента он казался ниспосланным Богом средством исцеления от всяческих напастей, доступной панацеей от всяческих конфликтов. И правда, в каком-то смысле империализм не обманул этих надежд. Он вдохнул свежую жизнь в политические и социальные структуры, которым вполне определенно угрожали новые социальные и политические силы и для исчезновения которых при других обстоятельствах, в отсутствие влияния процессов империалистического развития, едва ли понадобилось бы две мировых войны.

Дело обстоит так, что империализм развеял все тревоги и создал то всеобщее в предвоенной Европе обманчивое чувство безопасности, что ввело в заблуждение всех, за исключением самых чутких умов. Пеги во Франции и Честертон в Англии инстинктивно понимали, что живут в мире ложных понятий и что самым большим самообманом является его стабильность. Пока все не начало рушиться, стабильность совершенно очевидно устаревших политических структур была фактом, а их беззаботно-упрямое цепляние за жизнь, казалось, уличает в неправде тех, кто чувствовал, как земля уходит из-под ног. Решением проблемы был империализм. Ответом на роковой вопрос, почему европейское согласие наций допустило распространение этого зла вплоть до полного разрушения всего и вся, плохого и хорошего, является то, что все правительства прекрасно знали, что их страны незаметно разлагаются, что политические системы разрушаются изнутри и что дни их сочтены.

<sup>40</sup> «Колониальные службы обеспечивают самую явную и самую естественную поддержку агрессивной внешней политики; расширение империи служит мощной притягательной силой для аристократии и интеллектуалов, так как открывает новые и все расширяющиеся сферы почетной и доходной деятельности для их сыновей» (Hobson J. A. *Capitalism and imperialism in South Africa*. Op. cit.). «Внешние империалистические броски 70-х и начала 80-х годов» получили поддержку «прежде всего... патриотически настроенных профессоров и публицистов, независимо от их политической принадлежности и безотносительно к их личным экономическим интересам» (Hayes C. J. H. Op. cit. P. 220).

Достаточно наивно, но экспансия вначале представлялась средством избавления от излишков капитала, лекарством в виде экспорта капитала<sup>41</sup>. Колоссально возросшее богатство, создаваемое капиталистическим производством при социальной системе, основанной на несправедливом распределении, породило «перенакопление» — аккумуляцию капитала, обреченного на бездействие в существующих национальных рамках производства и потребления. Эти деньги были, по сути, излишними, не нужными никому, хотя и находившимися в руках вполне определенных лиц, образующих растущий по численности класс. Последовавшие в первые декады перед наступлением эпохи империализма кризис и депрессия<sup>42</sup> внушили капиталистам мысль, что вся их экономическая система производства зависит от предложения и спроса, которые отныне должны поступать «извне капиталистического общества»<sup>43</sup>. Они поступали изнутри национального государства до тех пор, пока капиталистическая система еще не контролировала все свои классы и все производственные мощности. Когда капитализм пронизал целиком всю экономическую структуру и все социальные слои попали в орбиту его системы производства и потребления, капиталистам пришлось решительно выбирать между полным крахом всей системы или поиском новых рынков, т.е. проникновением в новые страны, еще не подверженные капитализму и поэтому способные обеспечить новые, некапиталистического типа, спрос и предложение.

Решающим обстоятельством в депрессиях 60-х и 70-х годов, положивших начало эпохе империализма, было то, что они заставили буржуазию впервые осознать, что первородный грех простого грабежа, который столетия назад сделал возможным «первоначальное накопление

<sup>41</sup> Об этом и последующем см. в книге «Империализм» Дж. А. Гобсона, который уже в 1905 г. дал мастерский анализ движущих экономических сил и мотивов, равно как и некоторых политических следствий империализма. Когда в 1938 г. это его раннее исследование было переиздано, Гобсон имел полное право написать во введении к неизмененному тексту, что его книга может служить подлинным доказательством того, что «главные беды и неурядицы... сегодняшнего дня... пребывали в латентном состоянии, но были различимы в мире, отстоящем от нынешнего на поколение...».

<sup>42</sup> Очевидная взаимосвязь между жестоким кризисом 60-х годов в Англии и 70-х годов на континенте и империализмом отмечена Хейесом (*Hayes C. J. H. Op. cit.*), правда только в примечании (Р. 219), и Шуйлером (*Schuyler R. L. Op. cit.*), который убежден, что «возродившийся интерес к эмиграции служил важным фактором в зарождении имперского движения» и что этот интерес имел причиной «серьезную депрессию британской торговли и промышленности» в конце 60-х годов (Р. 280). Довольно подробно Шуйлер описывает также сильные «антиимпериалистические настроения середины викторианской эпохи». К сожалению, Шуйлер не проводит различия между имперской федерацией и собственно империей, хотя обсуждаемый им доимпериалистический материал вполне мог бы подсказать такое разведение понятий.

<sup>43</sup> *Luxemburg R. Die Akkumulation des Kapitals. B., 1923. S. 273.*

капитала» (Маркс) и открыл путь всему последующему накоплению, должен быть так или иначе повторен, иначе мотор накопления внезапно заглохнет<sup>44</sup>. Перед лицом этой опасности, грозившей не только буржуазии, но и всей нации катастрофическим разрушением производства, производители-капиталисты поняли, что способы и законы их системы производства «с самого начала были рассчитаны на весь мир»<sup>45</sup>.

Первой реакцией на насыщение домашнего рынка, нехватку сырья и рост кризисных явлений был экспорт капитала. Сначала владельцы излишков капитала попытались осуществлять иностранные инвестиции без экспансии и политического контроля, что привело к беспрецедентному разгулу мошенничества, финансовым скандалам и биржевым спекуляциям — явлениям особенно тревожным, поскольку иностранные капиталовложения росли с гораздо большей скоростью, чем внутренние<sup>46</sup>. Большие деньги от сверхнакоплений прокладывали путь маленьким деньгам, трудовым сбережениям малых сих. Предприятия у себя в стране в погоне за высокими прибылями от иностранных инвестиций тоже стали прибегать к обманным приемам и завлекали все растущее число людей, швыряющих деньги на ветер в надежде на баснословные барыши. Классическими примерами стали панамский скандал во Франции и *Gründungsschwindel* в Германии и Австрии. Обещания грандиозных доходов оборачивались грандиозными потерями. Обладатели небольших денег потеряли их так много и так стремительно, что собственники больших излишков капитала скоро остались в одиночестве на этом, в известном смысле, поле боя. Не преуспев в своей попытке превратить все общество в компанию азартных игроков, они вновь оказались лишними, изъятыми из нормального процесса производства, к ко-

<sup>44</sup> Рудольф Гильфердинг (*Hilferding R. Das Finanzkapital. Wien, 1910. S. 401*) упоминает, но не анализирует все, что вытекает из того факта, что империализм «внезапно возвращается к методам первоначального накопления капиталистического богатства».

<sup>45</sup> Согласно проделанному Розой Люксембург блестящему анализу политической структуры империализма (*Op. cit. S. 273 ff., 361 ff.*), «накопление капитала как исторический процесс во всех отношениях связано с некапиталистическими социальными слоями», так что «империализм является политическим выражением процесса накопления капитала в его конкурентной борьбе за остатки некапиталистического мира лежит в фундаменте всех других аспектов империализма, который может объясняться и как результат перенакопления и несправедливого распределения (*Hobson J. A. Op. cit.*), и как результат перепроизводства и вытекающей из него нужды в новых рынках (*Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма. 1917*), и как результат нехватки сырьевых ресурсов (*Hayes C. J. H. Op. cit.*), и как экспорт капитала с целью выравнивать национальную норму прибыли (*Hilferding R. Op. cit.*).

<sup>46</sup> Согласно Гильфердингу (*Op. cit. S. 409*), доход Англии от иностранных инвестиций с 1865 по 1898 г. увеличился в 9 раз, а внутри страны только удвоился. Он предполагает, что в Германии и Франции имела место, может быть, не столь явно выраженная, но сходная картина с иностранными инвестициями.

торому, пережив все неурядицы и пусть несколько пообеднев и разочаровавшись, но все-таки потихоньку вернулись остальные классы<sup>47</sup>.

Экспорт денег и иностранные инвестиции, как таковые, еще не являются империализмом и не обязательно влекут за собой экспансию как политическое средство. Пока владельцы излишков капитала удовлетворялись вкладыванием «крупных долей своего состояния в других странах», даже если это «противоречило всем прошлым традициям национализма»<sup>48</sup>, они просто подтверждали этим свое отчуждение от национального целого, на котором они все равно так или иначе паразитировали. Только когда они стали требовать от правительства защиты их капиталовложений (после того как первоначальная стадия мошенничества открыла им глаза на возможность использовать политику для устранения азартного риска), произошло их возвращение в национальную жизнь. В своих требованиях, однако, они следовали установившейся традиции буржуазного общества — всегда рассматривать политические институты исключительно как инструмент защиты индивидуальной собственности<sup>49</sup>. Только счастливое сочетание подъема нового класса собственников с индустриальной революцией сделало из буржуазии производящий и стимулирующий производство класс. Пока она осуществляет эту основную функцию современного общества, представляющего собой в основном объединение производителей, ее богатство выполняет важную функцию для страны в целом. Владельцы излишков капитала

<sup>47</sup> Относительно Франции см.: *Lachapelle G. Les finances de la Troisième République*. P., 1937; *Brogan D. W. The development of modern France*. N.Y., 1941. По поводу Германии ср. такие любопытные свидетельства современников, как: *Wirth M. Geschichte der Handelskrisen 1873*. Kapitel 15; *Schaeffle A. Der «grosse Boersenkrach» des Jahres 1873 // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*. 1874. Bd. 30.

<sup>48</sup> *Hobson J. A. Capitalism and imperialism in South Africa*...

<sup>49</sup> См. *Hilferding R. Op. cit.* S. 406: «Отсюда призывы всех капиталистов, заинтересованных в чужих странах и сильной государственной власти... Лучше всего чувствует себя экспортированный капитал, когда государственная власть его страны полностью подчиняет себе новую область... Его прибыли, по возможности, должны быть гарантированы государством. Таким образом, экспорт капитала действует в пользу империалистической политики». S. 423: «Но если политическая мощь государства становится на мировом рынке орудием конкуренции финансового капитала, то это, разумеется, означает полное изменение в отношении буржуазии к государству. В борьбе против экономического меркантилизма и политического абсолютизма буржуазия была носителем враждебного отношения к государству... Экономическая жизнь, по крайней мере в принципе, должна была быть совершенно освобождена от государственного регулирования, а политически государство должно было ограничиться надзором за безопасностью и установлением гражданского равенства». S. 426: «Но требование политической экспансии революционизирует все мировоззрение буржуазии. Она перестает быть миролюбивой и гуманной». S. 470: «В социальном отношении экспансия является необходимым условием сохранения капиталистического общества вообще, а экономически — необходимым условием сохранения и временного повышения нормы прибыли».

были первым слоем внутри этого класса, пожелавшим получать прибыли, не выполняя какой-либо настоящей социальной функции, пусть даже и такой, как эксплуатация производителя, а поэтому никакая полиция не была способна защитить их от народного гнева.

Таким образом, экспансия была выходом не только для излишков капитала. Важнее, что она спасала его обладателей от угрожающей перспективы самим оказаться в положении полностью лишнего паразитов. Она избавляла буржуазию от последствий несправедливого распределения и вдыхала новую жизнь в ее представления о собственности в обстоятельствах, когда богатство переставало быть фактором производства в рамках национального государства и вступало в конфликт с производственным идеалом общества как целого.

Еще более старым, чем излишнее богатство, был другой побочный продукт капиталистического производства — человеческие отбросы, которые каждый кризис, неизменно следовавший за периодом подъема, навсегда выкидывал за пределы производящего общества. Ставшие навсегда праздными, люди были столь же лишними для общества, как и владельцы излишков капитала. На протяжении всего XIX в. признавалась их опасность для общества, и за счет их вывоза заселялись доминионы — Канада и Австралия, а равно и Соединенные Штаты. Новым для империалистической эпохи было то, что обе эти излишние силы — излишний капитал и излишняя рабочая сила — соединились и вместе стали покидать страну. Доктрина экспансии, экспорта государственной мощи и аннексии любой территории, куда представители нации вложили свое богатство или свой труд, стала казаться единственной альтернативой потерям в богатстве и населении. Империализм с его идеей неограниченной экспансии, казалось, дает единственное постоянное средство исцеления от постоянного же недуга<sup>50</sup>.

Достаточно иронично, что первая страна, в которой соединились излишнее богатство и лишние люди, сама тоже превращалась в лишнюю. Южная Африка с начала века была британским владением, поскольку обеспечивала морской путь в Индию. Однако открытие Суэцкого канала и последующее установление административной власти над Египтом значительно уменьшили важность старой опорной базы

<sup>50</sup> Эти мотивы были особенно откровенны в германском империализме. Среди первых мероприятий «Alldeutsche Verband», основанного в 1891 г., были усилия, направленные на то, чтобы немецкие эмигранты не меняли своего гражданства, а в первой империалистической речи Вильгельма II, произнесенной по поводу 25-й годовщины образования империи, содержался следующий характерный пассаж: «Германская империя стала мировой империей. Тысячи наших соотечественников живут в других землях, в отдаленных уголках земного шара... Господа, ваш священный долг — помочь мне объединить эту обширную Германскую империю с нашей родной землей». Ср. это с заявлением Дж. А. Фруда в примечании 10.

торговли в Капской колонии. По всей вероятности, англичане убрались бы из Африки, как это делали другие европейские народы, когда прекращали существовать их владения и торговые интересы в Индии.

Особая ирония и в каком-то смысле символический элемент в неожиданном превращении Южной Африки в «питомник империализма»<sup>51</sup> заключаются в самой природе ее внезапно появившейся привлекательности в момент, когда она потеряла всякую ценность для собственно империи, — в 70-е годы здесь были открыты залежи алмазов, а в 80-е годы — крупные месторождения золота. Впервые наложились друг на друга новая страсть к обогащению любой ценой со старой погоней за счастьем. На Черный континент устремились старатели, авантюристы, сброд из больших городов, а заодно и капитал из индустриально развитых стран. Отныне толпа, порожденная чудовищным накоплением капитала, стала сопровождать своего прародителя во все места, куда он отправлялся в поисках новых открытий, не открывая ничего, кроме новых возможностей инвестирования. Владельцы излишков капитала были единственными, кто могли использовать лишних людей, стекавшихся со всех концов земли. Вместе они образовали первую райскую землю для паразитов, чьим источником жизненной силы было золото. Продукт излишних денег и лишних людей — империализм начал свою паразитическую карьеру с производства излишних и нереальных продуктов.

Все еще является сомнительным, стала ли бы панацея экспансии таким великим соблазном для неимпериалистов, если бы заключающийся в ней опасный способ лечения касался только тех излишних сил, которые и так уже были выброшены за пределы национального целого. Документально зафиксировано соучастие во всех империалистических программах всех парламентских партий. В этом отношении история английской лейбористской партии представляет собой почти непрерывную цепь подтверждений когда-то сделанного Сесилом Родсом предсказания: «Рабочие обнаруживают, что, хотя американцы их чрезвычайно любят и сейчас вот обмениваются с ними самыми братскими чувствами, товары свои они от них защищают. Также обнаруживают рабочие, что Россия, Франция и Германия каждая у себя делают то же самое, и рабочие видят, что, если они будут сидеть на месте, скоро на земле не останется места, где они вообще смогут торговать. И рабочие становятся империалистами, а за ними вслед — либеральная партия»<sup>52</sup>. В Германии либералы (а не консервативная партия) были теми, кто продвигал ту знаменитую морскую политику, которая сыгра-

<sup>51</sup> Damce E. H. The Victorian illusion. L., 1928. P. 164: «Африка, не входившая ни в путевые карты продвижения саксонской расы, ни в труды профессиональных философов имперской истории, стала питомником британского империализма».

<sup>52</sup> Цит. по: Millin S. G. Op. cit.

ла столь весомую роль в развязывании первой мировой войны<sup>53</sup>. Социалистическая партия колебалась между полной поддержкой империалистической морской политики (после 1906 г. она неоднократно голосовала за ассигнования на строительство военно-морского флота) и полным игнорированием всех вопросов внешней политики. Время от времени звучавшие предупреждения против Lumpenproletariat'a и относительно возможности подкупа отдельных прослоек рабочего класса крохами с империалистического стола не вели к более глубокому пониманию той огромной привлекательности, которую имели империалистические программы для рядовых членов партии. В марксистских понятиях новое явление союза между толпой и капиталом выглядело столь неестественным, столь очевидно противоречащим учению о классовой борьбе, что действительная опасность со стороны попыток империалистов разделить человечество на расы господ и рабов, на людей высшей и низшей породы, на цветные и белые народы — и все это для того, чтобы объединить людей на принципах толпы, — эта опасность была полностью не замечена. Даже провал интернациональной солидарности после начала мировой войны не потревожил самодовольства социалистов и их веры в пролетариат как таковой. Социалисты все еще продолжали возиться с экономическими законами империализма, когда империалисты уже давно бросили им подчиняться, когда в колониях эти законы были принесены в жертву «имперскому фактору» или «расовому фактору», и лишь несколько престарелых джентльменов из высших финансовых сфер продолжали верить в нерушимые права нормы прибыли.

Интригующая слабость народной оппозиции империализму, многочисленные непоследовательности и прямые нарушения обещаний со стороны либеральных политиков, часто приписываемые оппортунизму или подкупу, на самом деле имели другие, более глубокие причины. Ни оппортунизм, ни подкуп не смогли бы заставить такого человека, как Гладстон, нарушить свое обещание, данное в бытность лидером либеральной партии, покинуть Египет после того, как он станет премьер-министром. Полусознательно и не выражая это в словах, эти люди разделяли с народом убеждение в том, что сама национальная целостность настолько глубоко расколота на классы, что классовая борьба стала та-

<sup>53</sup> «Либералы, а не правые в парламенте оказали поддержку морской политике» (Tirpitz A. von. Erinnerungen. 1919). См. также работу: Daniel Frymann (псевдоним, настоящее имя — Heinrich Class). Wenn ich der Kaiser wär. 1912: «Подлинно империалистической партией является национально-либеральная партия». Видный немецкий шовинист времен первой мировой войны Фриманн относительно консерваторов даже добавляет: «Безразличие консервативных кругов к расовым теориям должно быть также отмечено».

кой универсальной чертой современной политической жизни, что само единство нации стоит перед угрозой распада. Снова экспансия представлялась жизнеспасительным средством, хотя бы в той мере, в какой она могла сообщить нации в целом общий интерес, и главным образом из этих соображений империалистам было позволено «паразитировать на патриотизме»<sup>54</sup>.

Конечно, отчасти такие надежды были все той же старой порочной практикой «исцеления» домашних конфликтов с помощью внешних авантюр. Однако имеется заметная разница. Авантюры по самой своей природе ограничены во времени и пространстве; они могут помочь временно преодолеть противоречия, хотя, как правило, проваливаются и только их обостряют. Империалистическая же авантюра с самого начала представлялась окончательным решением, так как экспансия была задумана как неограниченная. Более того, империализм не был авантюрой в обычном смысле этого слова, поскольку он зависел не столько от националистических лозунгов, сколько от, по видимости, солидной базы экономических интересов. В обществе противоборствующих интересов, где общее благо определялось как сумма индивидуальных интересов, экспансия, как таковая, представала как возможный общий интерес всей нации. Поскольку имущие и господствующие классы убедили всех в том, что экономический интерес и страсть к наживе являются здоровой основой политического организма, даже неимпериалистических политиков не составляло труда склонить к уступкам, когда на горизонте показывался общий экономический интерес.

Таковы, следовательно, причины, почему в национализме развилась такая явная склонность к империализму, при всем внутреннем противоречии между этими двумя принципами<sup>55</sup>. Чем менее приспособлены были национальные государства к включению в свой состав иностранных народов (что противоречило их собственному политическому устройству), тем более они склонялись к их угнетению. В теории между национализмом и империализмом пролегал пропасть; на практике через эту пропасть может быть перекинут и перекидывается мост племенного национализма или откровенного расизма. С самого начала империалисты всех стран клялись и похвалялись тем, что они стоят «над партиями» и одни только могут выступать от лица нации в целом. Это в особенности относится к странам Центральной и Восточной Евро-

<sup>54</sup> Hobson J. A. Op. cit. P. 61

<sup>55</sup> Гобсон (Op. cit.) был первым, кто распознал фундаментальную противоположность империализма и национализма и тенденцию национализма становиться империализмом. Он назвал империализм извращением национализма, «при котором народы... превращают здоровое соревнование различных национальных типов... в разбойную борьбу соперничающих между собой империй» (p. 9).

пы, у которых почти или вообще не было заморских владений; в них союз между толпой и капиталом сложился у себя дома и питал еще большую неприязнь к национальным институтам и всем национальным партиям и с большей яростью обрушивался на них<sup>56</sup>.

Презрительное безразличие империалистических политиков к вопросам внутренней политики было, однако, повсеместным явлением, но особенно характерно оно было для Англии. Не без влияния «партий над партиями», вроде «Союза примулы», но все-таки главным образом по причине империализма двухпартийная система выродилась в систему передней скамьи, что привело к «уменьшению могущества оппозиции» в парламенте и к возрастанию «власти кабинета по отношению к палате общин»<sup>57</sup>. Разумеется, и это все подавалось как политика, стоящая над партийными распрями и частными интересами, проводимая людьми, претендующими на выражение мнения нации как целого. Подобный язык неизбежно привлекал к себе и вводил в заблуждение как раз тех, в ком еще теплилась искра политического идеализма. Клич единства в точности напоминал боевые кличи, которыми народы испокон веков сзывались на войну, и тем не менее никто не распознал в этом провозглашенном всеобщем и постоянном средстве — единстве — микроба всеобщей и постоянной войны.

Правительственные чиновники более активно, чем какая-либо иная группа, соучаствовали в этой националистической разновидности империализма и несут ответственность за то, что национализм и империализм перепутались между собой. Национальные государства зависели от созданной ими гражданской службы, постоянного корпуса чиновников, несущих службу независимо от классового интереса и смен правительств. Их профессиональное достоинство и самоуважение — особенно в Англии и Германии — проистекали из того, что они были слугами всей нации. Они были единственной группой, непосредственно заинтересованной в поддержании фундаментальной претензии государства на независимость от классов и фракций. То, что авторитет самого национального государства в значительной мере опирался на экономическую независимость и политическую нейтральность его служащих, становится очевидным в наше время; упадок национальных государств неизменно начинался с коррумпирования постоянной администрации и с появления всеобщей убежденности в том, что чиновники оп-

<sup>56</sup> См. главу восьмую настоящего издания.

<sup>57</sup> Hobson J. A. Op. cit. P. 146 ff. «Нет сомнения в том, что власть кабинета по отношению к власти палаты общин возростала неуклонно и стремительно и, похоже, продолжает возрастать», — отмечал виконт Брайс в 1901 г. (см.: Bryce J. Studies in history and jurisprudence. 1901. Vol. I. P. 177). О том, как действовала система передней скамьи, см. также: Chesterton C., Belloc H. The party system. L., 1911.

лачиваются не государством, а имущими классами. В конце столетия имущие классы настолько укрепили свое господство, что государственному служащему стало просто смехотворно сохранять вид, что он служит нации. Разделение на классы поставило их вне социального целого и вынудило сформировать собственную клику. В колониальных администрациях они избежали этой фактической дезинтеграции национальной целостности. Управляя иноземными народами в далеких краях, они лучше, чем если бы оставались дома, могли претендовать на роль героических слуг нации, «своими делами прославивших британскую расу»<sup>58</sup>. Колонии уже перестали быть просто «громადной системой социального вспомоществования высшим классам», как об этом еще мог писать Джеймс Милль, им предстояло стать становым хребтом британского национализма, который открыл в господстве над отдаленными странами и управлении иноземными народами единственный способ служить британским и никаким иным, кроме как британским, интересам. Служащие в колониях действительно поверили, что «нигде особый гений каждой нации не заявляет о себе так явственно, как в системе ее взаимоотношений с подчиненными расами»<sup>59</sup>.

И действительно, лишь вдали от дома мог гражданин Англии, Германии или Франции чувствовать себя только англичанином, немцем или французом. У себя на родине он был так опутан экономическими интересами или социальными лояльностями, что подчас ощущал себя ближе к членам своего класса из другой страны, чем к людям иного класса в своей собственной. Экспансия вдохнула в национализм новую жизнь и потому была воспринята в качестве инструмента национальной политики. Члены новых колониальных обществ и империалистических лиг чувствовали себя «далеко отстоящими от партийных распрей», и чем дальше они отстранялись, тем крепче становилась их вера в то, что они «представляют только национальные цели»<sup>60</sup>. Это показывает, в каком отчаянном положении оказались накануне империализма европейские нации, какими хрупкими стали их институты, какой устаревшей выглядела их социальная система перед лицом возросших производительных возможностей человека. Избранные же средства спасения

<sup>58</sup> Из речи лорда Керзона на открытии мемориальной доски лорду Кромеру (см. *Zetland L. J. Lord Cromer. 1932. P. 362*).

<sup>59</sup> *Bell H. Op. cit. Part 1. P. 300*.

Подобные же настроения господствовали в голландских колониальных учреждениях. «Высочайшие задачи, беспрецедентные задачи — вот что ожидает работника гражданской службы Ост-Индии... как к высочайшей чести следует относиться к работе в ее рядах... в рядах отборного персонала, осуществляющего миссию Голландии в заморских землях» (см.: *Kat Angelino A. D. A. de Op. cit. Vol. 2. P. 129*).

<sup>60</sup> Председатель германского «Kolonialverein» Гогенлоз-Лангенбург (1884 г.) См.: *Townsend M. E. Origin of modern German colonialism, 1871-1885. N.Y., 1921*.

также были плодом отчаяния, и в конечном счете лекарство оказалось опасней недуга, который оно к тому же и не вылечило.

Союз капитала и толпы можно сыскать в генезисе любой последовательно империалистической политики. В некоторых странах, особенно в Великобритании, этот новый союз чрезмерно богатых с чрезмерно бедными возник в заморских владениях и ими ограничился. Так называемое лицемерие британской политики было результатом здравого смысла английских государственных деятелей, проводивших четкую грань между колониальными методами и политикой у себя дома, весьма успешно избежав тем самым эффекта бумеранга, который империализм оказывал на политику метрополии. В других странах, особенно в Германии и Австрии, союз этот проявил себя в самих странах в форме пандвижений, а во Франции — в меньшей степени — в так называемой колониальной политике. Целью этих «движений» была, так сказать, империализация всей нации (а не только ее «излишней» части), такое соединение внутренней и внешней политики, которое позволяло бы организовать нацию на ограбление иноземных территорий и постоянное уничтожение чуждых народов.

Порождение капиталистической организацией толпы было подмечено давно, а на ее усиление старательно и озабоченно указывали все выдающиеся историки XIX в. Из этих наблюдений вырос исторический пессимизм — от Буркхарда до Шпенглера. Но чего не смогли уловить историки, с грустью сосредоточившиеся на этом явлении, так это того, что толпу нельзя было отождествлять с растущим индустриальным рабочим классом и уж тем более — с народом в целом, что состояла она фактически из отбросов всех классов. Такой ее состав создавал впечатление, что толпа и ее представители отказались от всех классовых различий, что те, кто стоит вне разделенной на классы нации, и есть народ как таковой (*Volksgemeinschaft*, как сказали бы нацисты), а не искажение и карикатура на народ. Исторические пессимисты понимали глубокую безответственность этого нового социального слоя и правильно предвидели возможность превращения демократии в деспотизм во главе с тиранами, поднявшимися из толпы и опирающимся на нее. Чего им не удалось понять, так это того, что толпа является не только отбросом буржуазного общества, но и его побочным продуктом, непосредственно им производимым и потому от него неотделимым. По этой причине они не заметили и постоянно возрастающего в высшем обществе восхищения уголовным миром, красной нитью протянувшегося через весь XIX в., непрерывного, шаг за шагом, отступления во всех вопросах морали и растущего пристрастия к анархическому цинизму этого собственного своего детища. На рубеже века История Дрейфуса

показала, что во Франции уголовный мир и высшее общество так тесно срослись, что его «героев» среди антидрейфусаров было трудно отнести или к тому, или к другому.

Это чувство родства, соединение прародителя и отпрыска, классически изображенное уже в бальзаковских романах, идет впереди всех практических экономических, политических и социальных соображений и заставляет вспомнить о тех фундаментальных психологических свойствах западного человека нового типа, которые описывал Гоббс три столетия назад. Правда, только в результате опыта, приобретенного буржуазией во время предшествовавших империализму кризисов и депрессий, высшее общество признало — таки наконец свою готовность принять выдвинутые Гоббсом в его «реализме» революционные перемены нравственных стандартов, вновь выдвигаемые теперь толпой и ее вождями. Сам факт, что «первородный грех» «первоначального накопления капитала» потребует дополнительных грехов, обеспечивающих системе ее дальнейшее функционирование, гораздо действеннее, чем и ее философы, и ее уголовный мир, убедил буржуазию в необходимости отбросить сдерживающие начала западной традиции. В конечном счете это побудило немецкую буржуазию сбросить лицемерную маску и открыто признать свое родство с толпой, со всей определенностью взывая к ней встать на защиту своих собственнических интересов.

Примечательно, что это должно было случиться в Германии. В Англии и Голландии развитие буржуазного общества происходило относительно спокойно, и буржуазия в этих странах веками чувствовала себя уверенной и свободной от страха. Однако ее возвышение во Франции было прервано Великой народной революцией, последствия которой помешали буржуазии насладиться своим превосходством. А уж в Германии, где буржуазия не достигла полного развития вплоть до второй половины XIX в., ее возвышение с самого начала сопровождалось ростом революционного рабочего движения, имеющего почти такую же давнюю традицию, как и ее собственная. Само собой разумеющимся было то, что, чем менее защищенным чувствовал себя буржуазный класс у себя в стране, тем скорее он стремился сбросить тяжкое бремя лицемерия. Родство высшего общества с толпой высветилось раньше во Франции, чем в Германии, но в конце концов оказалось одинаково сильным в обеих странах. Франция, однако, ввиду своих революционных традиций и относительно слабой индустриализации, произвела на свет относительно немногочисленную толпу, так что ее буржуазия в итоге была вынуждена искать помощи за границами страны и вступить в союз с гитлеровской Германией.

Каким бы ни был в деталях характер продолжительной исторической эволюции буржуазии в различных европейских странах, полити-

ческие принципы толпы, какими мы видим их в империалистических идеологиях и тоталитарных движениях, обнаруживают поразительно прочное сродство с политическими установками буржуазного общества, если очистить их от лицемерия и освободить от уступок христианской традиции. Что же в недавнее время сделало нигилистические настроения толпы столь интеллектуально привлекательными для буржуазии, так это принципиальная позиция, уходящая в глубь времени дальше того момента, когда народилась нынешняя толпа.

Другими словами, у несоответствия между причиной и следствием, характеризовавшего рождение империализма, были свои резоны. Случайное стечение — созданное перенакоплением излишнее богатство, нуждавшееся в помощи толпы, чтобы найти себе надежное и выгодное помещение, — привело в действие силу, всегда находившуюся в основании буржуазного общества, хотя и бывшую укрытой за благородными традициями и всем тем лицемерием, о котором Ларошфуко говорил как о комплиментах, раздаваемых добродетели пороком. В то же время абсолютно беспринципная политика силы не могла осуществляться, пока под рукой не оказалась масса людей, достаточно свободных от принципов и многочисленных, чтобы превзойти способность государства и общества удерживать их в рамках. Тот факт, что эта толпа смогла быть использована только империалистическими политиками и вдохновлялась только расистскими доктринами, создавал впечатление, что один только империализм и способен разрешить мрачные внутренние экономические и социальные проблемы современности.

Правда, в философии Гоббса нет ничего от современных расовых доктрин, не только возбуждающих толпу, но и — в своей тоталитарной форме — очень ясно обозначающих формы организации, посредством которых человечество может довести бесконечный процесс накопления капитала и могущества до своего логического завершения в самоуничтожении. Но Гоббс, по меньшей мере, снабдил политическую мысль предпосылкой для всех расовых теорий, в принципе исключив идею человечности, единственно и могущую служить регулятивной основой международного права. Исходя из того, что международная политика обязательно выходит за пределы человеческого договора, пребывает в области нескончаемой войны всех против всех, являющейся законом «естества», Гоббс предложил наилучшее теоретическое основание для тех натуралистических идеологий, полагающих, что нации — это племена, разделенные самой природой, ничем друг с другом не связанные, не осознающие родового единства человечества и если и имеющие нечто общее, так только инстинкт самосохранения, унаследованный человеком от животного мира. Если идея человечества, самым решительным символом коей является общность происхождения человеческих

видов, утрачивает свою ценность, нет ничего более убедительного, чем теория, по которой красная, желтая и черная расы людей произошли от других, нежели белая, видов обезьян, и все поэтому обречены природой воевать друг с другом до полного исчезновения с лица земли.

Если окажется правдой, что мы являемся узниками гоббсовского бесконечного процесса накопления могущества, тогда организация толпы неизбежно примет форму превращения наций в расы, так как в условиях накапливающего общества не остается другой объединяющей связи между индивидами, которые в самом процессе накопления могущества и экспансии утрачивают все естественные привязанности к другим соплеменникам.

Расизм действительно может означать конец западного мира, а с ним — и всей человеческой цивилизации. Когда русские станут славянами, французы возьмут на себя роль командующих *force poire*, англичане превратятся в «белых людей», как это уже под влиянием пагубных чар сделали немцы, объявив себя арийцами, — эти перемены будут знаменем конца западного человека. Ибо, что бы ни говорили ученые мужи, раса в политическом смысле есть не начало человечества, а его конец, не утро народов, а их закат, не естественное рождение человека, а его неестественная смерть.

## Глава шестая

### РАСОВЫЙ ОБРАЗ МЫСЛИ ДО ПОЯВЛЕНИЯ РАСИЗМА

Если, как иногда утверждают, расовый образ мысли был немецким изобретением, тогда «немецкий образ мысли» (что бы это ни означало) одержал победу во многих частях духовного мира задолго до того, как нацисты начали свою злосчастную попытку завоевания мира. В 30-е годы гитлеризм пользовался международным и европейским влиянием, поскольку расизм, хоть он и был государственной идеологией только в Германии, в других странах тоже представлял собой мощное течение в общественном мнении. До того, как в 1939 г. немецкие танки начали свой разрушительный поход, немецкая машина политической войны уже давно действовала, поскольку — в политической войне — расизм, как было точно рассчитано, был более могущественным союзником, чем любые платные агенты или подпольные организации пятой колонны. Опираясь на почти двадцатилетний опыт различных столиц, нацисты были уверены, что лучшей их «пропагандой» будет сама их расовая политика, от которой, несмотря на многие иные компромиссы и нарушенные обещания, они никогда не отходили из конъюнктурных соображений<sup>1</sup>. Расизм не был ни новым, ни секретным оружием, хотя никогда прежде он не использовался с такой основательной последовательностью.

Историческая правда состоит в том, что расовый образ мысли при том, что корни его уходили глубоко в XVIII в., в XIX в. внезапно охватил все западные страны. С начала нашего столетия расизм становится мощной идеологией империалистической политики. Он, естественно, избрал в себя и оживил все прежние разновидности расистского мышления, которые, однако, сами по себе едва ли смогли бы создать или, коли на то пошло, выродиться в расизм как *Weltanschauung* или идеологию. В середине прошлого века к расовым взглядам все еще подходили с позиций политического благоразумия. Токвиль писал Гобино относительно его теорий: «Они, вероятно, неправильны и безусловно вредны»<sup>2</sup>. Только в конце века за расистским образом мысли стали признаваться достоинства и важность, как если

<sup>1</sup> После заключения советско-германского пакта нацистская пропаганда прекратила все нападки на «большевизм», но не отказалась от своих расистских установок.

<sup>2</sup> *Lettres de Alexis de Tocqueville et de Arthur de Gobineau // Revue des Deux Mondes* 1907. Vol. 199. Письмо от 17 ноября 1853 г.

бы это было одним из серьезных достижений в духовном развитии западного мира<sup>3</sup>.

Вплоть до роковых дней «свары из-за Африки» расовый подход оставался одной из многих свободных точек зрения, которые в общем контексте либерального мышления сталкивались и боролись друг с другом, стараясь привлечь общественное мнение на свою сторону<sup>4</sup>. Лишь немногие из них стали до конца развитыми идеологиями, т.е. системами, основывающимися на одной идее, достаточно сильными для того, чтобы привлечь и убедить большинство людей, и достаточно широкими, чтобы служить им руководством в разнообразных ситуациях и перипетиях повседневной современной жизни. Ибо идеология отличается от просто точки зрения тем, что она претендует на обладание либо ключом от истории, либо разгадкой всех «проблем мироздания», либо окончательным знанием скрытых всеобщих законов, управляющих природой и человеком. Немногие идеологии завоевали достаточно выдающееся положение, чтобы выжить в жестокой конкурентной борьбе за влияние на умы людей, и только две достигли вершины и, по существу, победили всех остальных: идеология, толкующая историю как экономическую борьбу классов, и та, что толкует историю как природный процесс войны рас. Обе они оказались настолько привлекательными для масс, что смогли получить государственную поддержку и утвердиться в качестве официальных государственных доктрин. Но и далеко за пределами тех мест, где расовое или классовое мышление превратилось в обязательный способ мыслить, свободное общественное мнение настолько прониклось им, что не только интеллектуалы, но и широкие массы народа не приемлют более такие изложения фактов прошлого и настоящего, которые не согласовывались бы с одной из этих двух точек зрения.

Колоссальная убеждающая способность, присущая главным идеологиям нашего времени, не случайна. Убеждение невозможно, если оно не взывает к опыту или к желаниям, другими словами, к непосредственным политическим нуждам. В этих делах убедительность опирается не на научные факты, как хотели бы внушить нам представители различных дарвинистских направлений, и не на исторические законы, как это представляют историки, силящиеся открыть законы подъема и падения цивилизаций. Любая развитая идеология создается, поддерживается и совершенствуется как политическое оружие, а не теоретическая доктрина. Правда, иногда, и так именно и произошло с расизмом, идеология меняет свой первоначальный политический смысл, но никакая из

<sup>3</sup> Лучшее историческое описание расовых подходов в контексте «истории идей» см.: Voegelin E. *Rasse und Staat*. Tuebingen, 1933.

<sup>4</sup> Все многообразие конфликтующих идей XIX в. описано в: Hayes C. J. H. *A generation of materialism*. N.Y., 1941. P. 111–112.

идеологий не мыслима без непосредственного контакта с политической жизнью. Научный аспект в идеологиях вторичен и появляется в них, во-первых, ради придания им формы неопровержимой доказательности, а во-вторых, из-за того, что и сами ученые, подпав под действие их убедительной силы, перестают интересоваться результатами своих исследований, покидают свои лаборатории и устремляются проповедовать массам свои новые взгляды на жизнь и мироустройство<sup>5</sup>. Этим проповедникам от «науки», а не каким бы то ни было научным открытиям мы обязаны тем, что сегодня нет ни одной науки, в понятийную систему которой не проник бы глубоко расовый подход. Это опять-таки заставляет историков, многие из которых склонны обвинять в появлении расового образа мысли науку, ошибочно принимать результаты определенных филологических или биологических изысканий за причину, а не за следствие расового подхода<sup>6</sup>. Ближе к правде будет обрат-

<sup>5</sup> «Начиная с 70-х годов Гексли забросил собственную исследовательскую работу — настолько поглотила его роль «дарвиновского бульдога», обливающего и кусающего теологов» (Hayes C. J. H. *Op. cit.* P. 126). Недавно нацистский автор Х. Брюшер с восхищением отметил страсть Эрнста Геккеля к популяризации результатов научных изысканий, по крайней мере такую же сильную, как и страсть к самой науке (см.: Bruecher H. Ernst Haeckel, Ein Wegbereiter biologischen Staatsdenkens // *Nationalsozialistische Monatshefte*. 1935. № 69).

В качестве демонстрации того, на что способны ученые, можно привести два в общем-то крайних примера. В обоих речь идет об ученых с хорошей репутацией, писавших во время первой мировой войны. Немецкий искусствовед Йозеф Штрциговски в своей работе «Altai, Iran und Völkerwanderung» (Leipzig, 1917) открыл нордическую расу, состоящую из немцев, украинцев, армян, персов, венгров, болгар и турок (S. 306–307). Медицинское общество Парижа не только опубликовало доклад об открытии «полихезии» (чрезмерной дефекации) и «бромидроза» (издаваемого телом другого запаха) у представителей германской расы, но и предложило вылавливать немецких шпионов на основании анализа мочи; «обнаружилось», что моча немцев содержит 20 процентов несвязанного азота, а не 15 процентов, как у других рас (см.: Barzun J. *Race. A study in modern superstition*. N.Y., 1937. P. 239).

<sup>6</sup> Это *quid pro quo* частично проистекало из чрезмерной старательности, с которой исследователи подмечали каждый случай упоминания расы. Поэтому они за ярко выраженных расистов выдавали и относительно безобидных авторов, у которых расовая точка зрения носила характер одного из возможных и иногда весьма интересных способов объяснения. Такие объяснения, безобидные в своей основе, служили ранним антропологам отправной точкой для дальнейших исследований. Типичным примером является наивная гипотеза известного французского антрополога середины прошлого века Поля Брока, полагавшего, что «мозг каким-то образом связан с расой и измерение черепа является лучшим способом проникновения в суть работы мозга» (цит. по: Barzun J. *Op. cit.* P. 162). Очевидно, что такое предположение, не подкрепленное какой бы то ни было теорией природы человека, может вызывать лишь улыбку.

Что касается филологов начала XIX в., чье понятие «арийства» заставляет почти каждого специалиста в области расизма видеть в них пропагандистов или даже зачинателей расового подхода, то они ни в малой степени в этом не повинны. Когда они выходили за пределы чистой науки, это было продиктовано их желанием включить в единое культурное братство как можно большее число наций. По словам Эрнеста Сельера (*Seillière E. La*

ное. Как показывают факты, принципу, согласно которому «кто силен, тот и прав», понадобилось несколько столетий (с XVII по XIX в.), чтобы овладеть естествознанием и произвести на свет «закон» о выживании наиболее приспособленных. Или другой пример. Если бы теория де Местра и Шеллинга о диких племенах как пришедших в упадок остатках бывших народов так же хорошо соответствовала политическим установкам XIX в., как теория прогресса, мы, вероятно, никогда не услышали бы о «примитивных народах», а ученые не тратили бы свое время на поиски «недостающего звена» между обезьяной и человеком. И обвинять тут нужно не науку как таковую, а скорее отдельных ученых, оказавшихся столь же загипнотизированными идеологиями, как и их обычные сограждане.

То, что расизм является главным идеологическим оружием империализма, настолько очевидно, что многие ученые, как бы боясь вступить на путь провозглашения банальных истин, предпочитают ложно толковать расизм как своего рода преувеличенный национализм. Вне поля зрения обычно оказываются ценные работы ученых, особенно французских, доказывающих совершенно особую природу расизма и его тенденцию к разрушению национального политического тела. Наблюдая гигантское состязание между расовым и классовым подходами за господство над умами современников, некоторые из них склонны видеть в одном выражение национальных, а в другом интернациональных веяний, считать один психологической подготовкой национальных войн, а второй — идеологией войн гражданских. Это оказалось возможным из-за наблюдавшегося во время первой мировой войны причудливого смешения старых национальных и новых интернациональных конфликтов, смешения, в котором старые национальные лозунги оказались все еще более привлекательными для вовлеченных в войну масс, чем какие бы то ни было империалистические цели. Однако последняя война, с ее повсеместными квислингами и коллаборационистами, показала, что расизм способен возбудить гражданские распри в любой стране и является одним из самых хитроумных из когда-либо изобретенных средств подготовки гражданской войны.

Ибо правда состоит в том, что расовый образ мысли появился на сцене активной политики в тот момент, когда европейские народы готовились к формированию новой политической общности — национального государства и уже в известной мере осуществили эту задачу. Расизм с

philosophie de l'impérialisme. 4 vols. 1903–1906. Vol. 1. P. XXXV), «наблюдалось своего рода опьянение: современная цивилизация поверила в то, что она открыла свою родословную... и на свет родилось некое органическое целое, объединяющее в единое братство все нации, в чьих языках обнаруживается хоть какое-нибудь сродство с санскритом». Другими словами, эти ученые все еще принадлежали гуманистической традиции XVIII в. и разделяли ее энтузиазм относительно экзотических народов и культур.

самого начала последовательно отверг любые национальные границы, по каким бы критериям они ни проводились — географическим, языковым или традиционным; он не признавал национально-политическое существование как таковое. Расовое мышление, а не классовое было вездесущей тенью, сопровождавшей развитие европейского согласия наций, пока эта тень не выросла в могучее орудие уничтожения этих наций. В историческом смысле у расистов по части патриотизма дело обстоит хуже, чем у представителей всех интернационалистических идеологий, вместе взятых, и они были единственными, кто до конца отвергал великий, опирающийся на идею человечества принцип равенства и солидарности народов, на котором основывается их национальное устройство.

### 1. «Раса» аристократов против «нации» граждан

Неуклонно растущий интерес к наиболее непохожим, странным и даже диким народам был характерен для Франции на протяжении всего XVIII в. Это было время, когда китайская живопись стала предметом восхищения и подражания, когда одно из самых знаменитых произведений эпохи было названо «Персидские письма», а любимым чтением общества оказались записки путешественников. Честность и простота нецивилизованных дикарей противопоставлялась изысканности и распушенности культуры. Задолго до того, как XIX в., с его колоссально возросшими возможностями путешествовать, принес неевропейский мир в дом каждого среднего обывателя, французское общество XVIII в. старалось проникнуть умом в культуры и страны, лежащие далеко от европейских границ. Великий энтузиазм относительно «новых разновидностей человека» (Гердер) наполнял сердца героев Французской революции, вместе с французской нацией освобождавших все народы всех цветов, кто только находился под французским флагом. Этот энтузиазм по отношению к экзотическим иноземным странам воплотился в лозунге братства, так как вдохновлялся желанием доказать относительно каждой новой и неожиданной «разновидности человечества» правоту старого высказывания Лабрюйера: «La raison est de tous les climats».

И все-таки именно в этой, впервые создавшей национальное государство и любящей все человечество стране должны мы искать зародыши того, что позже превратилось в разрушающую национальное государство и гибельную для человечества силу расизма<sup>7</sup>. Примечательно,

<sup>7</sup> Французский писатель XVI в. Франсуа Отман (*Hotman F. Franco-Gallia*. 1573) иногда считается предтечей расистских теорий XVIII в., как полагает, к примеру, Эрнест Сельер. Против этого справедливо возражал Теофиль Симар: «Отман представляется не апологетом тевтонцев, а защитником народа, угнетаемого монархией» (*Simar T. Etude*

что первый автор, предположивший сосуществование во Франции различных народов с разным происхождением, одновременно был и первым, кто разработал и определенно классовый подход. Французский аристократ граф де Буленвилье, чьи работы, написанные в начале XVIII в., были изданы после его смерти, толковал историю Франции как историю двух различных наций, из которых одна, германского происхождения, покорила более ранних обитателей, «галлов», навязала им свои законы и образовала собой правящий класс, «сословие пэров», чьи верховные права опирались на «право завоевателя» и «долг покорнос-ти, которого всегда вправе требовать сильнейший»<sup>8</sup>. Стремясь главным образом найти аргументы против возрастающей политической власти Tiers Etat и выразителей его интересов — «nouveau corps», состоящей из «gens de lettres et de lois», Буленвилье был вынужден вступить в борьбу и с монархией, поскольку король не хотел больше как primus inter pares представлять высшую власть, а выступал от лица нации в целом; в нем на какой-то момент новый поднимающийся класс обрел своего самого могущественного покровителя. Чтобы вернуть дворянству неоспоримое первенство, Буленвилье предложил своим собратьям-дворянам не признавать общности происхождения со всем французским народом, поломать единство нации и претендовать на особое, и следовательно вечно отличное положение<sup>9</sup>. Гораздо смелее, чем большинство более поздних защитников дворянства, Буленвилье отрицал какую бы то ни было предвечную связь с почвой, признавая, что «галлы» дольше жили во Франции, а «франки» были чужаками и варварами. Он основывал свое учение единственно на извечном праве завоевания и без всяких затруднений утверждал, что «подлинной колыбелью французской нации была... Фрисландия». За столетия до появления настоящего империалистического расизма, следуя только внутренней логике своих построений, он представил коренных обитателей Франции туземцами в современном смысле этого слова или, по его собственному выражению, «подданными» — не короля, а всех тех чьим преимуществом было происхождение от народа-завоевателя, тех, кого по праву рождения следует именовать «французами».

На Буленвилье глубокое влияние оказали распространенные в XVII в. воззрения о праве как силе, и он, безусловно, был одним из самых последовательных из современных Спинозе приверженцев этого философа, чью «Этику» он перевел, а «Богословско-политический трактат» подверг анализу. По-своему восприняв и применив политиче-

critique sur la formation de la doctrine des races au 18e et son expansion au 19e siècle. Bruxelles. 1922. P. 20).

<sup>8</sup> Boulainvilliers H. de. Histoire de l'ancien gouvernement de la France. 1727. Vol. 1. P. 33.

<sup>9</sup> О том, что история, написанная графом Буленвилье, должна была служить политическим оружием против Tiers Etat, заявлял Монтескье (см.: Montesquieu C. L. de. Esprit des lois. 1748. XXX. Ch. 10).

ские идеи Спинозы, он на место силы подставил завоевание и сделал из него своего рода решающий критерий естественных свойств и преимуществ, отличающих людей и народы друг от друга. В этом можно распознать первые признаки последующих натуралистических трансформаций, которые суждено было претерпеть доктрине силы-права. Действительно, такое соображение подкрепляется тем, что Буленвилье был одним из выдающихся вольнодумцев своего времени, и его нападки на христианскую церковь едва ли были продиктованы только лишь антиклерикализмом.

Однако в теории Буленвилье речь идет все еще о людях, а не о расах; она основывает право высшего слоя людей на историческом деянии, завоевании, а не на физическом факте, хотя это историческое деяние все же определенным образом и сказалось на естественных свойствах побежденного народа. Два различных народа Франции были выдуманы им в противовес новой национальной идее, в известной мере как бы воплощенной в абсолютной монархии в союзе с Tiers Etat. Буленвилье выступил против нации, когда идея нации воспринималась как новая и революционная, но еще не было ясно, как это случилось во время Французской революции, насколько тесно она связана с демократической формой правления. Буленвилье готовил свою страну к гражданской войне, не зная, что такая война означает. Он был представителем многих дворян, считающих себя не частью, а отдельной правящей кастой, имеющей, возможно, больше общего с иностранцами того же круга и положения, чем со своими соотечественниками. Именно эти антинациональные веяния оказались весьма влиятельными в среде émigrés и в конце концов слились с новыми, откровенно расистскими теориями конца XIX в.

Лишь после того как действительный революционный взрыв вынудил большое число французских дворян искать убежище в Германии и Англии, выяснилась полезность идей Буленвилье как политического оружия. Все это время не прекращалось его влияние на французскую аристократию, как видно из работ другого графа — графа Дюбуа-Нансея<sup>10</sup>, который старался даже еще теснее привязать французскую аристократию к ее континентальным собратьям. Накануне революции этот выразитель интересов французского феодализма испытывал такое чувство опасности, что надеялся на «создание своего рода Internationale аристократии варварского происхождения»<sup>11</sup>, а поскольку германское дворянство было единственным, на чью помощь приходилось рассчитывать, и в этом случае подлинное происхождение французской нации провозглашалось единым с немцами, а французские низшие классы

<sup>10</sup> Dubuat-Nançey L. G. Les origines; de l'ancien gouvernement de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. 1789.

<sup>11</sup> Seillière E. Op. cit. P. XXXII.

объявлялись хотя и не рабами уже, но и свободными не по рождению, а по «*affranchissement*» милостью тех, кто был от рождения свободен, т.е. дворян. Несколько лет спустя французские эмигранты действительно попытались организовать *Internationale* аристократов для предотвращения восстания тех, кого они считали поработченными иностранцами. И хотя с более практической стороны эти попытки потерпели сокрушительную катастрофу в битве при Вальми, такие *émigrés*, как Шарль Франсуа Доминик де Вилье, примерно в 1800 г. противопоставлявший «галло-романцев» германцам, или Вильям Альтер, десятилетием позже мечтавший о федерации всех германских народов, не признали поражения. Вероятно, им никогда не приходило в голову, что они были фактически предателями, настолько твердо были они убеждены, что Французская революция — это «война между разными народами», как об этом гораздо похоже сказал Франсуа Гизо<sup>12</sup>.

Если Буленвилье со спокойной рассудительностью, естественной для менее бурного времени, основывал права дворянства единственно на праве завоевания, не принижая напрямую самих качеств другой, побежденной нации, граф Монлозье, один из довольно сомнительных персонажей в среде эмигрантов, открыто выражал свое презрение к этому «новому народу, возникшему из рабов... (смеси) всех рас и всех времен»<sup>13</sup>. Времена явно изменились, и дворяне, которые теперь уже не принадлежали к непобеденной расе, тоже должны были меняться. Они оставили столь дорогую Буленвилье и даже Монтескье идею о том, что только завоевание, *fortune des armes*, определяет судьбы людей. Вальми для дворянских идеологий выступил в тот момент, когда аббат Сиейес в своей знаменитой брошюре призвал *Tiers Etat* «выслать в леса Франконии все те семьи, что придерживаются абсурдных притязаний на происхождение от расы победителей и унаследование ее прав»<sup>14</sup>.

Довольно любопытно, что начиная с этих давних времен, когда французское дворянство в своей классовой борьбе с буржуазией открыло, что оно принадлежит к другой нации, имеет иную генеалогию и более тесно связано с интернациональной кастой, чем с почвой Франции, все французские расовые теории поддерживали идею германизма или, по крайней мере, превосходства нордических народов над собственными соотечественниками. Ибо, если люди Французской революции мысленно отождествляли себя с Римом, они делали это не потому, что

<sup>12</sup> См.: *Maunier R. Sociologie coloniale. P., 1932. Vol. 2. P. 115.*

<sup>13</sup> Даже находясь в изгнании, Монлозье сохранял тесные связи с начальником французской полиции Фуше, который помогал поправить его бедственное финансовое положение беженца. Позднее он служил тайным агентом Наполеона в светских кругах (см.: *Brugere J. Le Comte de Montlosier. 1931; Simar T. Op. cit. P. 71.*

<sup>14</sup> *Siéyès E. J. Qu'est-ce-que le Tiers Etat? (1789), опубликованная незадолго перед началом Французской революции. Цит. по: Clapham J. H. The Abbé Siéyès. L., 1912. P. 62.*

противопоставляли «германизму» своего дворянства «латинизм» *Tiers Etat*, а потому, что чувствовали себя духовными наследниками римских республиканцев. Это историческое отождествление, в отличие от племенной идентификации дворян, возможно, является одной из причин, помешавших «латинизму» тоже стать одной из расовых доктрин. В любом случае, как бы парадоксально это ни выглядело, французы раньше, чем немцы или англичане, стали исповедовать *idée fixe* превосходства германской расы<sup>15</sup>. Не свернули с этого пути расовые идеологии во Франции и после того, как вслед за поражением Пруссии в 1806 г. родилось германское расовое самосознание, направленное, прямо скажем, против французов. В 40-е годы Огюстен Тьерри все еще придерживался деления на классы и расы и различал «германское дворянство» и «кельтскую буржуазию»<sup>16</sup>, а опять-таки граф де Ремюза провозглашал германское происхождение европейской аристократии. Наконец, граф де Гобино развил уже давно воспринятую французским дворянством точку зрения в полновесную историческую теорию, претендующую на открытие глубинного закона падения цивилизаций и возводящую историю в ранг естественной науки. На нем заканчивается первый этап развития расовых представлений и начинается второй, влияние которого дает о себе знать вплоть до 20-х годов нашего столетия.

## 2. Расовое единство вместо национального освобождения

До поражения старой прусской армии в войне с Наполеоном в Германии не было расового образа мысли. Своим появлением он обязан скорее прусским патриотам и политическому романтизму, чем дворянству и его выразителям. В отличие от французской разновидности расового мышления как орудия гражданской войны и раскола нации, германский расовый подход был изобретен в стремлении объединить народ на борьбу с иностранным владычеством. Его создатели не искали союзников за рубежами страны, а хотели пробудить в народе осознание общности происхождения. Дворянство, с его бросающимися в глаза космополитическими связями, правда менее характерными для прусских юнкеров, чем для остальной европейской аристократии, этим практически исключалось; по крайней мере, исключалась возможность расовой точки зрения, основывающейся на выделении из народа какого-то особого класса людей.

Поскольку германский расовый подход сопровождался продолжительными неудачными попытками объединения многочисленных немец-

<sup>15</sup> Сельер (*Seillière E. Op. cit. P. II*) замечает: «Историческое арийство берет свое начало в феодализме XVIII в. и подкрепляется германизмом века XIX».

<sup>16</sup> *Thierry A. Lettres sur l'histoire de France. 1840.*

ких государств, он оставался на своих ранних стадиях так тесно переплетенным с более общими национальными чувствами, что с трудом удается различать простой национализм и явно выраженный расизм. Безобидные национальные настроения передавались в выражениях, теперь воспринимающихся как расизм, так что историки, отождествляющие германскую разновидность расизма XX в. с этими выражениями немецкого национализма, впали в заблуждение, принимая нацизм за немецкий национализм, что в свою очередь привело к недооценке громадной международной привлекательности гитлеровской пропаганды. Особые условия, в которых существовал немецкий национализм, изменились только после действительного объединения нации в 1870 г. и полного развития рука об руку с немецким империализмом немецкого расизма. Однако от более ранних времен сохранилось немало особенностей, характеризующих особую немецкую разновидность расового мышления.

В противоположность французским, прусские дворяне осознавали тесную связь своих интересов с положением, в котором находилась абсолютная монархия, и, по крайней мере, со времен Фридриха II они искали признания в качестве законных представителей всей нации. За исключением короткого периода прусских реформ (1808–1812 гг.), прусское дворянство никогда не испытывало страха перед возвышением класса буржуазии, стремящегося взять власть в свои руки, и не боялось коалиции между средними классами и правящим домом. Несмотря на все усилия реформаторов, прусский король, до 1809 г. крупнейший в стране землевладелец, оставался *primus inter pares* аристократом. Расовый подход поэтому развивался вне дворянства как оружие какой-то части националистов, выступавших за объединение всех германоязычных народов и потому настаивавших на общности происхождения. Они были либералами в том смысле, что выступали против исключительной власти прусских юнкеров. Пока эта общность происхождения определялась через общность языка, едва ли можно было говорить о расистском мышлении<sup>17</sup>.

Стоит подчеркнуть, что только после 1814 г. эта общность происхождения стала часто описываться в терминах «кровного родства», семейных связей, племенного единства, несмешанного происхождения. Эти определения, которые почти одновременно появились в писаниях католика Йозефа Герреса и либеральных националистов типа Эрнста Морица Арндта и Ф. Л. Яна, свидетельствуют о полном провале на-

<sup>17</sup> Так было, к примеру, и в случае Фридриха Шлегеля с его *Philosophische Vorlesungen aus den Jahren 1804–1806* (Bd. 2. S. 357). Это же справедливо и в отношении Эрнста Морица Арндта (см.: *Pundt A. P. Arndt and the national awakening in Germany*. N.Y., 1935. P. 116 ff.). Даже излюбленный современный козел отпущения за грехи немецкого расового образа мысли Фихте едва ли когда-либо выходил за пределы национализма.

дежд пробудить в немецком народе подлинно национальные чувства. Из этого провала создания в немецком народе основ национальной государственности, из отсутствия общей исторической памяти и очевидного безразличия народа к общей исторической судьбе в будущем родились устремления взывать к натуре, к племенным инстинктам, подменяющим собой то, что в глазах всего мира получило признание как слава и мощь французской нации. Органический подход к истории, согласно которому «каждая раса представляет собой особую завершенную целостность»<sup>18</sup>, был изобретен людьми, нуждавшимися в идеологических определениях национального единства вместо реального политического существования национального государства. Именно ущемленное национальное чувство заставило Арндта заявить, что немцы, у которых, по-видимому, у последних развилось органическое единство, одарены чистотой и несмешанностью своей породы, являют собой «подлинный народ»<sup>19</sup>.

Органико-биологические определения того, что собой представляют народы, являются в высшей степени характерной особенностью немецких идеологий и немецкого историцизма. Они, однако, еще не суть настоящий расизм, поскольку тот, кто пользовался этими «расистскими» понятиями, все еще поддерживал и центральную опору подлинного национализма — идею равенства всех народов. Так, в той же статье Яна, где законы жизни народов сравниваются с законами животного мира, провозглашается равенство народов в их многообразии, которое одно только в своей полноте и реализует идею человеческого рода<sup>20</sup>. А Арндт, позднее выражавший горячее сочувствие национально-освободительным движениям поляков и итальянцев, восклицал: «Да будет проклят всякий, кто покоряет другие народы и правит ими»<sup>21</sup>. Поскольку немецкие национальные чувства были результатом скорее не подлинного национального развития, а реакции на иностранную оккупацию<sup>22</sup>, на-

<sup>18</sup> *Goerres J. // Rheinischer Merkur*. 1814. № 25.

<sup>19</sup> *Arndt E. M. Phantasien zur Berichtigung der Urteile über künftige deutsche Verfassungen*. 1815.

<sup>20</sup> «Животные смешанной породы не имеют настоящей производительной силы; подобно этому у гибридных народов нет собственного воспроизводственного начала... Прародитель человечества мертв, изначальная раса исчезла. Вот почему каждый вымирающий народ — несчастье для человечества... Человеческое благородство не может выражаться в каком-то одном народе» (*Jahn F. L. Deutsches Volkstum*. 1810).

То же самое встречаем у Герреса, который, несмотря на свое натуралистическое определение понятия «народ» («все его члены объединены общей кровной связью»), следует подлинно националистическому принципу, когда заявляет: «Ни у одной из ветвей нет права господствовать над другими» (*Goerres J. Op. cit.*).

<sup>21</sup> *Arndt E. M. Ein Blick aus der Zeit auf die Zeit*. 1814.

<sup>22</sup> Только после того как Австрия и Пруссия, тщетно сопротивляясь, пали, я стал по-настоящему любить Германию... когда Германия склонилась перед завоевателями и по-

ционалистические доктрины носили здесь своеобразно негативный характер, стремились создать вокруг народов стену, подменить собой границы, которые невозможно было ясно очертить географически или исторически.

Если в своей ранней французской аристократической форме расистское мышление было изобретено как средство внутреннего размежевания и оказалось оружием гражданской войны, то ранняя форма немецкой расовой теории была придумана как средство внутреннего национального единства и оказалась оружием национальных войн. Подобно тому как упадок французского дворянства как влиятельного класса французской нации сделал бы это оружие бесполезным, если бы его не возродили к жизни враги Третьей республики, так же и органическая теория истории после завершения национального объединения Германии потеряла бы свой смысл, если бы ее не пожелали оживить современные империалистические махинаторы для того, чтобы привлечь на свою сторону народ и спрятать свои омерзительные лица под респектабельной маской национализма. То же самое относится и к другому источнику немецкого расизма, хотя и кажущемуся более удаленным от политической сцены, но оказавшему гораздо более сильное и глубокое воздействие на позднейшие политические идеологии.

На политический романтизм возлагаются обвинения в изобретении расистского мышления, как и обвинения, и притом обоснованные, в изобретении любого другого мыслимого безответственного подхода. Адам Мюллер и Фридрих Шлегель в высшей мере симптоматичны в смысле той общей игривости современной мысли, что дает возможность почти любой идее временно завоевать площадку. Ни один реальный предмет, ни одно политическое событие, ни одна политическая идея не были застрахованы от того, чтобы стать объектом всеохватывающей и всеразрушающей мании, с которой эти первые просвещенные неизменно отыскивали новые оригинальные возможности для новых оригинальных точек зрения. Как выражался Новалис, «мир должен быть романтизирован», ибо ему хотелось «сообщить высокий смысл обыденному, таинственную внешность обыкновенному, достоинство неизвестного хорошо известному»<sup>23</sup>. Одним из таких романтизированных объектов был народ, объектом, могущим быть в мгновение ока превращенным в государство, или в семью, или в дворянство, или во что угодно, что либо, как в те ранние времена, просто случайно приходило в голову этим интеллектуалам, либо, как позднее, когда, становясь старше, они сталкивались с необходимостью добывать себе хлеб насущный, заказыва-

корилась, для меня она стала единой и неделимой», — пишет Э. М. Арндт в своей работе «Erinnerungen aus Schweden» (1818. S. 82).

<sup>23</sup> Novalis. Neue Fragmentensammlung (1798) // Novalis. Schriften. Leipzig, 1929. Bd. 2. S. 335.

лось им каким-нибудь располагающим деньгами покровителем<sup>24</sup>. Поэтому почти невозможно изучать развитие какого-либо из свободно конкурировавших друг с другом подходов, которыми так богат XIX в., без того, чтобы не столкнуться с романтизмом в его немецком обличье.

В действительности эти первые современные интеллектуалы создавали не столько какую-то единую систему взглядов, сколько общее умонастроение современных немецких ученых; эти же последние не единожды доказали, что едва ли найдется такая идеология, которой они не подчинятся с охотой, если под угрозой окажется та единственная реальность, с которой не может не считаться даже романтик, — реальность собственной карьеры. Для такой особенности повеления романтизм с его неограниченной идолизацией «личностного начала», возводящей саму произвольность поведения в критерий гениальности, предоставлял прекрасное оправдание. Все, что работало на так называемую творческую отдачу индивида, понимаемую как совершенно произвольная игра «идей», могло становиться центром целой системы взглядов на жизнь и мир.

Этот внутренне присущий романтическому культу личности цинизм создал условия для определенных, распространившихся среди интеллектуалов современных подходов. Их довольно хорошо можно видеть на примере одного из последних наследников этого направления — Муссолини, когда он говорит о себе как об одновременно «аристократе и демократе, революционере и реакционере, пролетарии и антипролетарии, пацифисте и антипацифисте». Беспощадный индивидуализм романтизма никогда не означал ничего более серьезного, чем принцип: «каждый волен создавать для себя свою собственную идеологию». В эксперименте же Муссолини было новым лишь то, что «он попытался провести этот принцип в жизнь со всей возможной энергией»<sup>25</sup>.

Ввиду этого изначального «релятивизма» прямым вкладом романтизма в развитие расистского образа мысли можно почти пренебречь. В анархической игре, по правилам которой каждый может иметь в каждый данный момент по крайней мере одно произвольное личное мнение, почти само собой разумеется, что выраженными и соответствующим образом опубликованными оказываются любые мыслимые точки зрения. Гораздо более характерной, чем этот хаос, была основополагающая вера в личность как самостоятельную конечную цель. В Германии, где конфликт между дворянством и возвышающимся средним классом никогда не разыгрывался на политической сцене, поклонение

<sup>24</sup> О романтических настроениях в Германии см.: Schmitt C. Politische Romantik. München, 1925.

<sup>25</sup> Mussolini B. Relativismo e Fascismo // Diuturna. Milano, 1924 (цит. по: Neumann F. Behemoth. 1942. P. 462–463).

личности возникло как единственное средство достижения хоть какого-то подобия социальной эмансипации. Правящий класс страны откровенно демонстрировал свое традиционное презрительное отношение к деловой активности и неприязнь к общению с торговцами, несмотря на растущее богатство и значение последних, так что не так-то легко было найти средства обретения самоуважения. Бездна ситуации достаточно убедительно передана в классическом немецком Bildungsroman'e «Годы учения Вильгельма Мейстера», в котором герой — представитель среднего класса — воспитывается дворянами и актерами, поскольку в своей собственной среде у буржуа нет «личности».

Немецкие интеллектуалы, хотя они мало способствовали политической борьбе за интересы средних классов, к которым принадлежали, вели вместе с тем отчаянную и, к сожалению, чрезвычайно успешную борьбу за свой социальный статус. Даже те, кто писал в защиту дворянства, чувствовали, что на карту поставлены их собственные интересы, как только речь заходила о социальной иерархии. Чтобы участвовать в соревновании с теми, чьи права и качества определялись рождением, они ввели новое понятие — «врожденная индивидуальность», которое получило одобрение всего буржуазного общества. Подобно титулу наследника древнего рода, «врожденная индивидуальность» определялась рождением, а не заслугами. Так же как отсутствие общей истории, необходимой для формирования нации, искусственно преодолевалось с помощью биологического понятия органического развития, так и в социальной сфере сама природа вроде бы наделяла титулом, когда политическая реальность в нем отказывала. Либеральные писатели скоро стали похвалиться «настоящим благородством» в отличие от дряхлых титулов таких, как барон и ему подобные, которые можно дать и отнять, подразумевая при этом, что их природные привилегии, вроде «внутренней силы или гения», не обязаны своим появлением никаким человеческим деяниям<sup>26</sup>.

Незамедлительно обнаружился содержащийся в этом новом социальном понятии дискриминационный момент. В течение длительного периода существования просто бытового антисемитизма, когда использование ненависти к евреям как политического оружия лишь нащупывалось и подготавливалось, именно отсутствие «врожденной индивидуальности», врожденного чувства такта, врожденная неспособность к производительной деятельности и склонность к торгашеству считались чертами, отличающими поведение еврейского дельца от поведения среднего бизнесмена. В лихорадочной попытке мобилизовать против кастового вы-

<sup>26</sup> См. очень интересное, направленное против дворянства сочинение либерального писателя Бухгольца (*Buchholz F. Untersuchungen über den Geburtsadel*. B., 1807. S. 68): «Настоящее благородство не может быть ни дано, ни отобрано, ибо, подобно могуществу и гению, оно возникает и существует само по себе».

сокомерия юнкеров какое-то собственное чувство гордости и не осмеливаясь, однако, вступить в борьбу за политическое лидерство, буржуазия с самого начала проявила стремление поглядывать свысока не столько на свои низшие классы, сколько на другие народы. Наиболее знаменательной из этих попыток является небольшое сочинение Клеменса Brentano<sup>27</sup>, специально написанное им для ультранационалистического клуба противников Наполеона, организовавшегося в 1808 г. под вывеской «Die Christlich-Deutsche Tischgesellschaft». В своей в высшей степени изысканной и остроумной манере Brentano вскрывает контраст между «врожденной индивидуальностью» настоящей личности и «филистером», которого он тут же отождествляет с французом или евреем. Впоследствии немецкая буржуазия, самое меньшее, старалась приписать другим народам свойства, презираемые дворянством как типично буржуазные, причем приписывала их сначала французам, потом англичанам и во все времена евреям. Что же до таинственных свойств, получаемых «врожденной индивидуальностью» с появлением на свет, это были в точности те качества, на которые претендовали настоящие юнкеры.

Хотя таким путем дворянские нормы участвовали в становлении расистского образа мысли, сами юнкеры не сделали практически ничего для оформления такого рода ментальности. Единственный в тот период юнкер, создавший собственную политическую теорию, Людвиг фон дер Марвиц, никогда не пользовался расовой терминологией. По его представлениям, нации различались по языку, т.е. по духовному, а не по физическому признаку, и хотя он был яростным противником Французской революции, когда речь заходила о возможности агрессии одной нации против другой, его речь походила на речь Робеспьера: «Кто нацеливается на расширение своих границ, должен рассматриваться как предатель в стане европейского согласия государств»<sup>28</sup>. На чистоте же происхождения как критерии благородства настоял Адам Мюллер, а Галлер был тем, кто пошел дальше констатации факта господства сильного над слабым, объявив это естественным законом. Конечно же дворяне аплодировали с восторгом, узнав, что узурпация ими власти была не только законной в правовом смысле, но и соответствовала естественным законам, и следствием именно этих буржуазных определений стало более тщательное, чем когда-либо прежде, избегание в XIX в. «mesalliances»<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Brentano C. von. Der Philister vor, in und nach der Geschichte. 1811.

<sup>28</sup> Marwitz F. A. L. von der. Entwurf eines Friedenspaktes // *Ramlow G. Ludwig von der Marwitz und die Anfänge konservativer Politik und Staatsauffassung in Preussen* // *Historische Studien*. № 185. S. 92.

<sup>29</sup> См.: Neumann S. Die Stufen des preussischen Konservatismus // *Historische Studien*. № 190. B., 1930, особенно см. S. 48, 51, 64, 82. Об Адаме Мюллере см.: *Elemente der Staatskunst*. 1809.

Настояние на общности племенного происхождения как существенного элемента в образовании нации, проявленное немецкими националистами во время и после войны 1814 г., и особое внимание романтиков к врожденной индивидуальности и биологически заданному благоденствию проложили интеллектуальный путь расистскому образу мысли в Германии. Из первого выросла органическая теория истории, второе породило в конце века гротескного гомункулуса сверхчеловека, самой природой предназначенного управлять миром. Пока эти тенденции развивались параллельно, они были всего лишь временным средством бегства от политической реальности. Однажды соединившись, они образовали саму основу расизма как полнокровной идеологии. Случилось это, однако, впервые не в Германии, а во Франции и было делом рук не интеллектуалов из среднего класса, а высокоодаренного, но не очень счастливого дворянина графа де Гобино.

### 3. Новый ключ к истории

В 1853 г. граф Артур де Гобино опубликовал свой труд «*Essai sur l'inégalité des races humaines*», который лишь через 50 лет, на рубеже столетий, стал своего рода учебным пособием по расовым теориям в истории. Первая же фраза этого четырехтомного труда: «Падение цивилизации является самым поразительным и в то же время самым непрямым историческим феноменом»<sup>30</sup> — ясно указывает на по сути новый современный интерес, вдохновлявший автора, на новый пессимистический настрой, пронизывающий его работу и являющийся идеологической силой, оказавшейся способной объединить все прежние факторы и конфликтующие мнения. Конечно, человечество с незапамятных времен хотело знать как можно больше о прошлых культурах, павших империях и исчезнувших народах, но никто до Гобино не пытался найти одну-единственную причину, единственную силу, повсеместно определяющую возвышение и падение цивилизаций. Похоже, что учения об упадке каким-то интимным образом связаны с расовым образом мысли. Совсем не случайно другой из ранних «расово мыслящих» — Бенджамин Дизраэли точно так же увлекался проблемой упадка культур, в то время как Гегель, чья философия в значительной своей части вращалась вокруг диалектического закона исторического развития, никогда не интересовался возвышением и падением культур, как таковых, или каким-либо законом, который объяснял бы гибель наций. Гобино продемонстрировал именно такой закон. На него

<sup>30</sup> Цит. по: Gobineau J. A. de. *The inequality of human races*. 1915.

не оказал влияния ни дарвинизм, ни какая-либо другая эволюционная теория, и этот историк считал именно своей заслугой введение истории в семью естественных наук, считал, что он выявил естественный закон развития всех событий, свел все высказывания в духовной сфере и все культурные явления к чему-то, «что благодаря точной науке могут видеть наши глаза, слышать наши уши и трогать наши руки».

Самым удивительным в его теории, появившейся в середине оптимистического XIX в., является то, что ее автор увлечен проблемой упадка цивилизаций и лишь едва интересуется вопросом их возвышения. Во время написания своего труда Гобино не задумывался о возможном применении его теории в реальной политике и потому имел мужество до конца проследить все циничные последствия, вытекающие из его закона упадка. В отличие от Шпенглера, предсказавшего закат только западной культуры, Гобино с «научной» точностью предвидит не более и не менее, как полное исчезновение человека, или, пользуясь его словами, человеческой расы, с лица земли. Изложив человеческую историю в четырех томах, он заключает: «Соблазнительно отвести периоду человеческого господства на земле общую продолжительность в 12–14 тысяч лет, каковая эра делится на две эпохи — первую, которая прошла и была эпохой юности... и вторую, которая началась и станет свидетельницей движения к упадку и старческой немощи».

Справедливо отмечалось, что Гобино за 30 лет до Ницше занялся проблемой «*décadence*»<sup>31</sup>. Разница, однако, в том, что за Ницше стоял уже накопленный опыт европейского декаданса, так как писал он в разгар этого движения, представленного Бодлером во Франции, Суинберном в Англии и Вагнером в Германии, Гобино же едва ли был знаком с существованием этой разновидности современного *taedium vitae* и должен рассматриваться как последний наследник Буленвилле и французских эмигрантов-дворян, которые без психологических тонкостей, просто (и с полным основанием) опасались за судьбу аристократии как касты. Не без наивности он воспринял почти буквально теории XVIII в. о происхождении французского народа: буржуа — потомки галло-романских рабов, дворяне — германцы<sup>32</sup>. То же самое относится и к его утверждениям об интернациональном характере дворянства. Более современный аспект его теорий открывается в том, что, возможно, он был самозванцем (его французский титул более чем сомнителен), что он в такой степени преувеличивал и произвольно толковал старые доктрины, что они становились откровенно смехотворными — для себя он претендовал на генеало-

<sup>31</sup> См.: Dreyfus R. *La vie et les prophéties du Comte de Gobineau*. P., 1905 // *Cahiers de la quinzaine*. Ser. 6. № 16. P. 56.

<sup>32</sup> Gobineau J. A. de. *Essai sur l'inégalité des races humaines*. 1853. Vol. 2. L. 4. P. 445; а так же статья: *Ce qui est arrivé à la France en 1870* // *Europe*. 1923.

гию, ведущую через некоего скандинавского пирата к Одину: «Я тоже принадлежу к расе богов»<sup>33</sup>. Но подлинное его значение состоит в том, что в разгар господства прогрессистских идеологий он пророчествовал погибель, конец человечества в результате постепенной естественной катастрофы. Когда Гобино начинал свою работу — в дни буржуазного короля Луи Филиппа, судьба дворянства казалась решенной. Ему не надо было больше бояться победы *Tiers Etat* — она и так состоялась, и дворянам оставалось только скорбеть. Их страдания, как их выразил Гобино, порой очень близки отчаянию поэтов декаданса, которые несколько десятилетий спустя воспевали хрупкость и тщету всего человеческого, *les neiges d'antan*, вчерашние снега. Что же касается самого Гобино, то эта близость является довольно случайной, но представляется интересным, что, коль скоро она возникла, ничто уже не могло помешать весьма респектабельным интеллектуалам рубежа веков, таким, как Роберт Дрейфус во Франции или Томас Манн в Германии, отнести к этому потомку Одина с полной серьезностью. Задолго до того, как ужасное и смешное соединились в ту, по человеческим понятиям, немислимую смесь, которая стала отличительным признаком нашего столетия, смешное уже утратило свою способность убивать.

Также и особому пессимистическому настрою, активному отчаянию последних десятилетий своего века был обязан Гобино своей запоздалой славой. Это не обязательно означает, что он сам был предтечей поколения, исполняющего «веселую пляску коммерции и смерти» (Джозеф Конрад). Он не был ни государственным деятелем, верящим в торговлю, ни поэтом, восхваляющим смерть. Был он всего лишь необычной помесью фрустрированного дворянина и романтического интеллектуала, придумавшего расизм почти случайно. Произошло это, когда он увидел, что уже нельзя просто пользоваться прежними теориями о существовании во Франции двух народов и что, ввиду изменившихся обстоятельств, следует пересмотреть старый взгляд о том, что лучшие люди непременно должны находиться наверху общества. Печально, но, в отличие от своих учителей, он был вынужден объяснять, почему лучшие люди, дворяне, не могли даже надеяться вернуть себе свое прежнее положение. Шаг за шагом он приравнял падение своей касты к падению Франции, потом — западной цивилизации, а затем — и всего человечества. Таким образом, он пришел к открытию, так восхищавшему последующих писателей и биографов, о том, что падение цивилизаций происходит из-за вырождения расы, а раса гнивает из-за смешения кровей. Здесь предполагается, что при смешении превосходство всегда получает низшая раса. Такого рода аргументация, ставшая почти общим местом в следую-

щем веке, никак не согласовывалась с прогрессистскими учениями современников Гобино, которыми вскоре овладела еще одна *idée fixe* — идея «выживания наиболее приспособленных». Либеральный оптимизм победившей буржуазии нуждался не в ключе к истории и не в доказательствах неминуемого упадка, а в новом варианте концепции «сила есть право». Гобино тщетно пытался завоевать более широкую аудиторию, вмешавшись в споры по поводу рабовладения в Америке и построив свою систему рассуждений на существовании фундаментального конфликта между белыми и черными. Но ему пришлось ждать почти 50 лет, прежде чем он стал пользоваться успехом среди элиты, и лишь первая мировая война и сопровождающая ее волна философий смерти принесли его работам широкую популярность<sup>34</sup>.

Чего Гобино действительно искал в политике, так это определения и создания «элиты», способной заменить собой аристократию. Вместо владык он предложил «расу владык», арийцев, которым демократия грозит быть захлестнутыми низкими неарийскими классами. Понятие расы внесло организованность в немецкие романтические представления о «врожденных индивидуальностях», позволила определить их как представителей природной аристократии, призванной господствовать над всеми остальными. Если раса или смесь рас является для индивида всеопределяющим фактором, а Гобино не предполагал существования «чистых» пород, можно считать, что, независимо от нынешнего социального положения человека, имеющееся у него физическое превосходство указывает на его исключительность, на его принадлежность к «настоящим сохранившимся сынам... Меровингов», «потомкам королей». Благодаря расе можно было сформировать «элику», претендующую на древние привилегии феодальных родов только лишь на том основании, что члены ее ощущают себя благородными; само по себе принятие расовой идеологии становилось решающим доказательством «породистости» индивида, того, что в его жилах течет «голубая кровь» и что высокое происхождение предполагает и более высокие права. Выходит, что из одного политического события — упадка дворянства — граф извлек два противоречащих друг другу следствия: угасание человеческого рода и образование новой природной аристократии. Но он не дождался практического осуществления своего учения, разрешившего содержащиеся в нем внутренние противоречия, когда новая расовая аристократия на-

<sup>34</sup> См. посвященный памяти Гобино номер французского журнала «Europe», 1923 г., особенно статью Клементя Серпейя де Гобино «Le Gobinisme et la pensée moderne»: «И все-таки лишь... в разгар войны пришла мысль, что работа «Essai sur l'inégalité des races humaines» вдохновлялась продуктивной гипотезой, единственной могущей объяснить многие из событий, разворачивающихся у нас перед глазами... Я с удивлением заметил, что этот подход имеет почти всеобщее распространение. После войны я наблюдал, как для чуть ли не целого более молодого поколения работы Гобино стали откровением».

<sup>33</sup> Duesberg J. Le Comte de Gobineau // Revue Générale. 1939.

чала на деле реализовывать «неизбежное» угасание человечества, прилагая чрезвычайные усилия по его уничтожению.

Следуя примеру своих предшественников, французских дворян-эмигрантов, Гобино видел в своей расовой элите форпост не только против демократии, но и против «ханаанской чудовищности» патриотизма<sup>35</sup>. А поскольку Франция все еще оставалась «*patrie*» *par excellence*, ибо ее правительство — будь она королевством, империей или республикой — продолжало основываться на изначальном равенстве людей, и поскольку, что еще хуже, она была единственной в его время страной, где даже люди с черной кожей могли пользоваться гражданскими правами, для Гобино естественным делом было вручить свою лояльность не французскому народу, а англичанам, а позже, после поражения Франции в 1871 г., немцам<sup>36</sup>. И это отсутствие достоинства нельзя назвать случайным, а оппортунизм — неудачным совпадением. Старая поговорка о том, что нет ничего успешнее успеха, лучше всего подходит людям, привыкшим произвольно менять свои мнения. Идеологи, претендующие на обладание ключом к реальности, бывают вынуждены изменять и переворачивать свои воззрения на конкретные ситуации, применяясь к последним событиям; они не могут позволить себе конфликт со своим вечно меняющимся божеством — реальностью. И было бы абсурдно требовать надежности от людей, которые по самой сути своих убеждений обязаны оправдать каждую данную ситуацию.

Следует признать, что вплоть до времени, когда нацисты, провозгласив себя расовой элитой, откровенно излили свое презрение на все народы, включая немецкий, наиболее последовательным был французский расизм, ибо он никогда не впадал в слабость патриотизма. (Эта позиция не изменилась даже во время последней войны; правда, «*essence aryenne*» не считался более монополией германцев, а приписывался также англосаксам, шведам и норманнам, но нация, патриотизм и закон продолжали считаться «предрассудком, фиктивными и номинальными ценностями»<sup>37</sup>.) Даже Тэн твердо верил в превосходство

<sup>35</sup> Gobineau J. A. de. Op. cit. Vol. 2. L. 4. P. 440 и сноска на P. 445: «Слово *partie*... снова приобрело значимость только после того, как возвысился и стал играть политическую роль галло-романский слой. С его победой патриотизм вновь стал добродетелью».

<sup>36</sup> См.: Seillièrre E. Op. cit. Vol. 1 (Le Comte de Gobineau et l'Aryanisme historique). P. 32: «В работе «*Essai sur l'inégalité des races humaines*» Германия почти не выглядит германской, в гораздо большей степени германской предстает Великобритания... Конечно, позже Гобино изменил точку зрения, но под влиянием успеха». Интересно отметить, что Сельер, в ходе его исследований ставший горячим приверженцем гобинизма — «интеллектуальной атмосферы, к которой, вероятно, вынуждены будут приспособиться легкие XX в.», — рассматривал успех как вполне достаточное основание для внезапной перемены Гобино своей позиции.

<sup>37</sup> Примеры можно умножить. Цитата взята из: Spiess C. *Impérialismes. Gobinisme en France*. P., 1943.

гения «германской нации»<sup>38</sup>, а Эрнест Ренан был вероятно первым, кто противопоставил «семитов» «арийцам» в качестве решающего «*division du genre humain*», хотя он и рассматривал цивилизацию как все превосходящую силу, разрушающую и местные особенности, и изначальные расовые различия<sup>39</sup>. Вся эта расовая болтовня, столь характерная для французских авторов после 1870 г.<sup>40</sup>, даже если они и не были расистами в строгом смысле этого слова, следовала в антинациональном, прогерманском русле.

Если последовательная антинациональная тенденция гобинизма помогала врагам французской демократии и позже Третьей республике найти настоящих или мнимых союзников за рубежом, особое смешение понятий расы и «элиты» вооружило международную интеллигенцию замечательной новой психологической игрушкой для игры на великой площадке истории. Придуманная Гобино «*filles des rois*» были близкими родственниками романтических героев, святых, гениев и сверхчеловеков конца XIX в., каждый из которых едва ли мог скрыть свое романтическое немецкое происхождение. Внутренне присутствующая романтическим воззрениям безответственность получила от предложенной Гобино концепции смешения рас новый стимул, так как это смешение представляло собой историческое событие прошлого, которое вместе с тем могло быть прослежено и в глубинах души индивида. Это значило, что внутренним переживаниям может быть придано историческое значение, что внутренний мир человека стал полем сражения для истории. «После прочтения книги Гобино какая-то смута то и дело охватывала потайные источники моего существа, я чувствую, что в моей душе идет нестихающая битва между черными, желтыми, семитами и ариями»<sup>41</sup>. При всей значимости этого и подобных признаний для понимания состояния умов современных интеллектуалов, являющихся подлинными наследниками романтизма, каких бы взглядов они ни придерживались по случаю, они тем не менее указывают на то, что эти люди, готовые присягнуть любой и каждой идеологии, были по сути своей безвредными и политически невинными.

<sup>38</sup> О взглядах Тэна см.: White J. S. *Taine on race and genius* // *Social Research*. February 1943.

<sup>39</sup> По мнению Гобино, семиты представляют собой результат смешения белой и черной рас. Относительно взглядов Ренана см.: Renan E. *Histoire générale et système comparé des langues*. 1863. Part 1. P. 4, 503 et passim. Аналогичное различие проведено в его работе: Renan E. *Langues sémitiques*. Vol. 1. P. 15.

<sup>40</sup> Это было очень хорошо показано Жаком Барзаном в ранее упоминавшейся работе.

<sup>41</sup> Написавший эти слова удивительный джентльмен есть не кто иной, как известный писатель и историк Эли Фор (*Faure E. Gobineau et le problème des races* // *Europe*. 1923).

## 4. «Права англичанина» против прав человека

Если семена немецкого расистского мышления были посеяны во время наполеоновских войн, то начало сходных процессов в Англии относится ко времени Французской революции и связывается с именем человека, решительно отвергнувшего ее как «самый ошеломительный (кризис), когда-либо случавшийся в мире», — с Эдмундом Бёрком<sup>42</sup>. Хорошо известно то громадное влияние, что оказали его работы на политическую мысль не только Англии, но и Германии. Однако этот факт следует особо подчеркнуть ввиду того сходства, которое имеется между расовым образом мысли в Германии и Англии, и отличия их обоих от французской разновидности. Это сходство проистекает из того, что обе страны одержали победу над трехцветным знаменем и поэтому проявляли тенденцию к дискриминации идей *Liberté-Egalité-Fraternité* как имеющих иностранное происхождение. Поскольку социальное неравенство лежало в основании английского общества, британские консерваторы испытывали немалые неудобства, когда дело доходило до «прав человека». Согласно мнению, которого широко придерживались тори XIX в., неравенство было частью английского национального характера. Дизраэли находил «нечто лучшее, чем права человека, в правах англичанина», а по мнению сэра Джеймса Стефена, «немногое в истории было столь жалким, как эта способность французов приходить в возбуждение от подобных вещей»<sup>43</sup>. Это — одна из причин, почему они могли позволить себе до конца XIX в. развивать расовый подход, оставаясь в национальном русле, в то время как во Франции сходные мнения сразу показали свой подлинный антинациональный лик.

Главное возражение Бёрка против «абстрактных принципов» Французской революции содержится в следующей фразе: «Непреложной политикой нашей конституции всегда являлось провозглашение и утверждение наших свобод как заповедного наследия, доставшегося нам от наших предков и должно быть переданным нашим потомкам как достояние, принадлежащее только людям этого королевства без отсылок к каким бы то ни было более общим или более ранним правам». Это понятие наследия, примененное к самой сущности свободы, было той идеологической основой, из которой, начиная с момента Французской революции, английский национализм черпал свою специфическую примесь расового чувства. Сформулированное автором из среднего класса, оно означало прямое восприятие феодального представления о свободе

как сумме привилегий, наследуемых вместе с землей и титулом. Не посягая на права привилегированных классов внутри английской нации, Бёрк распространил принцип этих привилегий на весь английский народ, представив англичан как своего рода дворянство среди других наций. Отсюда его презрение к тем, кто претендовал на освобождение как реализацию прав человека, претендовать на которые, по его мнению, подобало только как на права «английского человека».

Английский национализм развивался без серьезных противоборств со старыми феодальными классами. Это оказалось возможным потому, что начиная с XVII в., английские джентри во все возрастающих количествах вбирали в свои ряды высшие слои буржуазии, так что иногда даже простолудин мог выбиться в лорды. Благодаря этому процессу удалось снять многое из обычной кастовой спеси дворянства и воспитать довольно серьезное чувство ответственности перед нацией в целом; по этой же причине феодальные понятия и способы мышления с большей легкостью, чем в других местах, воздействовали на политические идеи низших классов. Так, понятие «наследие» было воспринято почти в неизменном виде и распространено на весь британский «люди». Последствием этой ассимиляции дворянских норм было то, что английский вариант расового образа мысли отличался почти одержимостью в том, что касалось теорий наследственности и их современного эквивалента — евгеники.

С тех пор как европейские народы сделали практические попытки включить все народы земли в понятие человечества, их приводили в смущение огромные физические различия между ними самими и народами, которые они встречали на других континентах<sup>44</sup>. Присущий XVIII в. энтузиазм по поводу многообразия, в котором находит выражение вездесущее тождество человеческой природы и разума, давал слишком слабый по части доводов ответ на кардинальный вопрос о том, может ли христианская заповедь единения и равенства всех людей, основанная на общем происхождении от одной пары прародителей, сохраняться в сердцах тех, кто сталкивается с племенами, которые, насколько мы знаем, никогда сами по себе не находили адекватного выражения человеческого разума или человеческих страстей ни в своих культурных деяниях, ни в своих народных обычаях и которые развили свои человеческие институты лишь до очень низкого уровня. Эта новая проблема, явившаяся на исторической сцене Европы и Америки после их более близкого знакомства с африканскими племенами, уже породила, особен-

<sup>42</sup> *Burke E. Reflections on the Revolution in France. 1790* (цит. по: Everyman's Library Edition. N.Y., 1850. P. 8).

<sup>43</sup> *Stephen J. F. Liberty, Equality, Fraternity. 1873. P. 254.* О лорде Биконсфилде см.: *Disraeli. V. Lord George Bentinck. A Political Biography. 1853. P. 184.*

<sup>44</sup> Примечательные, хотя и сдержанные приметы этого замешательства можно обнаружить во многих путевых записках путешественников XVIII в. Вольтер находил это достаточно важным, чтобы специально отметить в своем «*Dictionnaire Philosophique*»: «Более того, мы видели, сколь различны расы, населяющие нашу землю, и как велико должно было быть удивление первого негра и первого белого, когда они встретились» (статья «*Homme*»).

но в Америке и некоторых британских владениях, возврат к формам социальной организации, казалось давно уничтоженных христианством. Но даже рабство, хотя по сути оно основывалось на строго расовых критериях, до XIX в. не превращало рабовладельческие народы в расистов. В течение всего XVIII в. сами американские рабовладельцы считали рабство временным институтом и хотели его постепенной отмены. Большинство из них, вероятно, повторило бы вслед за Джефферсоном: «Я трепещу, когда думаю о том, что Бог справедлив».

Во Франции, где проблема черных племен встретила желание ассимилировать и просветить их, великий натуралист Леклерк де Буффон выдвинул первую классификацию рас, которая, будучи основана на европейских народах и разнице всех остальных по отношению к ним, учила равенству путем простого сопоставления<sup>45</sup>. XVIII в., если воспользоваться изумительно точной фразой Токвиля, «верил во множественность рас, но в единство человеческого вида»<sup>46</sup>. В Германии Гердер отказывался использовать применительно к человеку «постыдное слово» «раса», и даже первый из историков культуры человечества, воспользовавшийся классификацией различных биологических видов человека, Густав Клемм<sup>47</sup> все же не терял уважения к идее человечества как общей точке отсчета в своих исследованиях.

Но в Америке и Англии, где люди должны были решать проблему совместного проживания после отмены рабства, все было совсем не так просто. Исключая Южную Африку — страну, оказавшую влияние на западный расизм только после «схватки из-за Африки» в 70-е годы, эти нации были первыми, кому пришлось решать расовую проблему в практической политике. Отмена рабства, вместо того чтобы помочь найти разрешение существовавших серьезных трудностей, усугубила неизбежные конфликты. Особенно это касается Англии, где «права англичанина» не сменились какой бы то ни было новой политической ориентацией, которая провозгласила бы примат прав человека. Отмена рабства в английских владениях в 1834 г. и полемика, предшествовавшая гражданской войне в Америке, встречали довольно смешанную реакцию английского общественного мнения, являвшегося благодатной почвой для различных биологизированных теорий, получивших хождение в те десятилетия.

Первую из них представляли полигенисты, объявившие Библию книгой благочестивых небылиц и отрицавшие какую бы то ни было связь между человеческими «расами»; их главным достижением было ниспровержение идеи естественного закона как связующего звена между всеми

<sup>45</sup> Buffon G. L. L. de Histoire naturelle. 1769–1789.

<sup>46</sup> Lettres de Alexis de Tocqueville et de Arthur de Gobineau // Revue des Deux Mondes. 1907. Vol. 199. Письмо от 15 мая 1852 г.

<sup>47</sup> Klemm G. Allgemeine Kulturgeschichte der Menschheit. 1843–1852.

людьми и всеми народами. Хотя и не утверждая predeterminedного расового превосходства, полигенизм искусственно изолировал одни народы от других, прокладывая глубокую пропасть физической невозможности взаимного понимания и коммуникации. Полигенизм объясняет, почему «Восток есть Восток и Запад есть Запад и вместе им не сойтись», и его идеями вооружились противники смешанных браков в колониях и сторонники дискриминации потомков от таких браков. Согласно полигенизму эти люди не являются настоящими человеческими существами; они не принадлежат к какой-то одной расе, а являют собой неких чудовищ, «в каждой клетке которых разворачивается гражданская война»<sup>48</sup>.

При том, что в длительной перспективе влияние полигенизма на английское расовое мышление оказалось очень прочным, в XIX в. на арене общественного мнения он был скоро побит другой теорией. Она также отталкивалась от принципа наследственности, но добавляла к нему политический принцип XIX в. — прогресс — и приходила к противоположному, но более убедительному заключению, что человек связан не только с другими людьми, но и с животной жизнью, что существование низших рас с ясностью показывает, что только постепенные шаги эволюции отделяют человека от животных и что над всем живым господствует закон суровой борьбы за существование.

Дарвинизм черпал особую силу в том, что он следовал старыми путями доктрины «сила есть право». Но если во времена аристократов эта доктрина говорила гордым языком завоевателей, то теперь она оказалась переведенной скорее на униженный язык людей, борющихся за хлеб свой насущный и пробивающихся наверх, чтобы обеспечить себе хоть какую-то надежность существования. Дарвинизм имел всепобеждающий успех, так как в своей концепции наследственности он вооружал идеологическим оружием и сторонников расового, и сторонников классового господства и мог быть использован и в интересах расовой дискриминации, и против нее. С политической точки зрения дарвинизм был нейтрален, что и вело равно и ко всякого рода пацифистским и космополитическим доктринам, и к острейшим проявлениям империалистических идеологий<sup>49</sup>. В 70-е и 80-е годы прошлого века дарвинизм все еще был почти исключительно достоянием утилитаристской антиколониальной партии в Англии. И первый философ-эволюционист Герберт Спенсер, считавший социологию частью биологии, полагал, что естественный отбор способствует эволюции человечества и ведет к установлению вечного мира. В политические дискуссии дарвинизм привнес два важных понятия: борьбу за существование с оптимистическим утверждением относительно обязательного автоматического «выживания наибо-

<sup>48</sup> Carhill A. The lost dominion. 1924. P. 158.

<sup>49</sup> См.: Brie F. Imperialistische Strömungen in der englischen Literatur. Halle, 1928.

лее приспособленных» и безграничные возможности, по-видимому заложенные в стартовавшей из животного мира и продолжающейся эволюции человека, от чего отправлялась новая «наука» евгеники.

Учение об обязательном выживании наиболее приспособленных, из которого вытекало, что высшие слои в обществе и есть в конечном счете «наиболее приспособленные», умерло, как до этого умерло учение о завоевателях, в точности в тот момент, когда утратило абсолютную надежность положение правящих классов в Англии и английское господство в колониальных владениях, и стало в высшей степени сомнительным, сохранят ли завтра свою «приспособленность» те, кто считается «наиболее приспособленным» сегодня. Другая часть дарвинизма — учение о происхождении человека из животного мира, — к сожалению, выжила. Евгеника обещала преодолеть связанную с теорией выживания неприятную неопределенность в том, что касается невозможности и предсказать, кто окажется наиболее приспособленным, и выработать у нации средства обеспечения вечной приспособленности. Такие результаты прикладной евгеники особенно рекламировались в Германии 20-х годов в качестве реакции на шпенглеровский «Закат Европы»<sup>50</sup>. Следовало только превратить процесс отбора из естественной необходимости, действующей помимо воли человека, в «искусственный», сознательно применяемый биологический инструмент. Евгеника с самого начала была замешена на зверстве, и вполне характерным для нее можно считать уже замечание Эрнста Геккеля о том, что умерщвление из милосердия избавляет от «излишних расходов со стороны государства и семьи»<sup>51</sup>. В конце концов последние приверженцы дарвинизма в Германии решили вовсе покинуть поле научной деятельности, забыть о поисках связующего звена между обезьяной и человеком и заняться практическими мероприятиями по превращению человека в то, чем, по мнению дарвинистов, является обезьяна.

Но еще до того, как нацизм, следуя своему тоталитаристскому курсу, стал пытаться превращать человека в животное, предпринимались другие многочисленные попытки на строго наследственной основе превратить его в бога<sup>52</sup>. Не только Герберт Спенсер, но и все ранние

<sup>50</sup> См., напр.: *Bangert O. Gold oder Blut. 1927. «Поэтому цивилизация может быть вечной» (S. 17).*

<sup>51</sup> *Naeckel E. Lebenswunder. 1904. P. 128 ff.*

<sup>52</sup> Почти за столетие до того, как эволюционизм облекся в научные одежды, звучали предостережения, предупреждающие о неизбежных дурных последствиях умопомрачения, которое тогда было еще только в стадии чистого воображения. Вольтер не единожды позволял себе позабавиться с эволюционистскими взглядами, см. в особенности: «*Philosophie Générale: Métaphysique, Morale et Théologie*» // *Voltaire. Oeuvres Complètes. 1785. Vol. 40. P. 16 ff.* В «*Dictionnaire Philosophique*» в статье «*Chaîne des Etres Créés*» он писал: «Сначала наше воображение наслаждается незаметным переходом от грубой ма-

эволюционисты и дарвинисты «также сильно верили в ангельское будущее человечества, как и в его происхождение от обезьяны»<sup>53</sup>. Полагали, что наследование отобранных качеств ведет в результате к «наследственности таланта»<sup>54</sup>, и снова естественным следствием, но уже не политики, а естественного отбора и чистопородности, становилось появление аристократии. Превращение целой нации в природную аристократию, отборные представители которой будут талантами и суперменами, было одной из многих «идей», рожденных закомплексованными либеральными интеллектуалами в их мечтаниях о том, как бы неполитическими средствами заместить старые правящие классы новой «элитой». В конце столетия политические вопросы без всякого смущения толковались с позиций биологии и зоологии, и зоологи писали статьи типа «Биологический взгляд на нашу внешнюю политику», как будто они изобрели безошибочный инструмент, указующий курс политическим деятелям<sup>55</sup>. Каждый из них предлагал новые способы контро-

---

терии к материи организованной, от растений к зоофитам, от сих зоофитов к животным, от них к человеку, от человека к духам, от сих духов, облеченных в небольшое воздушное тело, к нематериальным субстанциям; и... к самому Богу... Но самый совершенный дух, сотворенный Всевышним, может ли он стать Богом? Не бесконечность ли пролегает между Богом и им?... Не пустое ли пространство воочию видно между обезьяной и человеком?»

<sup>53</sup> *Hayes C. J. H.* Op. cit. P. 11. Хейес справедливо подчеркивает строгую житейскую нравственность этих первых материалистов. Он объясняет «это любопытное высвобождение морали из веры» тем, что «позднее было названо социологами временным лагом» (p. 130). Такое объяснение представляется, однако, довольно слабым, если вспомнить, что другие материалисты, которые, подобно Геккелю в Германии или Ваше Лапужу во Франции, покинули тишь своих кабинетов и научную деятельность для пропаганды, не испытали такого рода временного лага и что в то же время их современники, не затронутые их материалистическими теориями, вроде Барреса и компании во Франции были очень активными участниками того извращенного зверства, которое охватило Францию во время Истории Дрейфуса. Внезапный упадок нравов в западном мире был, кажется, не столько результатом автономного развития определенных «идей», сколько следствием ряда новых политических событий и новых политических и социальных проблем, вставших перед растерявшимся и сбитым с толку человечеством.

<sup>54</sup> Таким был заголовок широко популярной книги Ф. Гальтона, вышедшей в 1869 г. и породившей поток сочинений на эту же тему в последующие десятилетия.

<sup>55</sup> Статья *Michel P. C. Biological view of our foreign policy* была помещена в лондонском «*Saturday Review*» в феврале 1896 г. Наиболее важные работы этого направления: *Huxley T. The struggle for existence in human society. 1888.* Главный тезис автора: падение цивилизаций неизбежно только до тех пор, пока не будет взята под контроль рождаемость. *Kidd B. Social evolution. 1894; Crozier J. B. History of intellectual development on the lines of modern evolution. 1897–1901.* Профессор евгеники в Лондонском университете Карл Пирсон (*Pearson K. Natural life. 1901*) был одним из первых, кто описывал прогресс в виде безликого чудовища, пожирающего все, что встречается на его пути. Чарльз Х. Харвей (*Harvey C. H. The biology of British politics. 1904*) доказывает, что путем строгого контроля над «борьбой за жизнь» внутри нации можно обеспечить непобедимость ее в неизбежной войне за существование с другими народами.

ля и регулирования «выживания способнейших» в соответствии с национальными интересами английского народа<sup>56</sup>.

Самым опасным в этих теориях было то, что они сочетали концепцию наследственности с представлениями о важности личных достижений и индивидуализма — понятий столь значимых для самоуважения средних классов в XIX в. Люди среднего класса хотели иметь ученых, способных доказать, что подлинными представителями нации, в которых олицетворяется «национальный гений», являются не аристократы, а великие люди. Эти ученые обеспечили идеальный способ бегства от политической ответственности, когда они «обосновали» старое изречение Бенджамина Дизраэли о том, что великий человек представляет собой «олицетворение расы, ее отборный экземпляр». Развитие этой идеи «гения» нашло свое логическое завершение у другого приверженца эволюционизма, просто объявившего: «Англичанин — это сверхчеловек, а история Англии — это история его эволюции»<sup>57</sup>.

В английском расовом мышлении столь же, сколь и в германском, примечательно то, что оно зародилось не в дворянском, а в среднем классе, что оно проистекало из стремления распространить на все классы аристократические нормы и что питалось оно подлинно национальными чувствами. В этом отношении идеи Карлейля о гении и герое были на самом деле больше орудием «социального реформатора», чем концепцией «отца британского империализма», как его часто, и поистине несправедливо, называют<sup>58</sup>. Его культ героя, завоевавший ему широкую популярность как в Англии, так и в Германии, имел те же истоки, что и культ индивидуальности в немецком романтизме. Это было то же самое утверждение и прославление врожденного в индивидуальном характере и независимого от социального окружения величия. Среди людей, оказавших влияние на колониальное движение в период от середины XIX в. и до прихода настоящего империализма в его конце, ни один человек не избежал влияния Карлейля, но ни один из них не может быть обвинен в проповеди откровенного расизма. Сам Карлейль в своем эссе по «негритянскому вопросу» озабочен тем, как бы помочь Вест-Индии произвести на свет своих «героев». Чарлз Дилк, чья книга «Большая Британия» (1869) иногда берется как точка отсчета начала империализма<sup>59</sup>, был ярко выраженным радикалом, прославлявшим

<sup>56</sup> См. в особенности: Pearson K. Op. cit. Но Ф. Гальтон еще раньше заявил: «Я хочу подчеркнуть тот факт, что улучшение естественных способностей будущих поколений человеческого рода в значительной мере находится под нашим контролем» (Galton F. Hereditary genius. Ed. 1892. P. XXVI).

<sup>57</sup> Davidson J. Testament of John Davidson. 1908.

<sup>58</sup> Bodelsen C. A. Studies in mid-victorian imperialism. 1924. P. 22 ff.

<sup>59</sup> Damce E. H. The victorian illusion. 1928. «Империализм начался с книги... с «Большой Великобритании» Дилка».

английских колонистов как часть британской нации в противоположность тем, кто предпочитал смотреть на них и на их земли сверху вниз как на простые колонии. Дж. Р. Сили, чья книга «Расширение Англии» (1883) разошлась в 80 тысячах экземпляров менее чем за два года, все-таки еще выказывает уважение к индусам как к иноземцам и четко отличает их от «варваров». Даже Фруд (чье восхищение бурами, первым белым народом, недвусмысленно обращенным в племенную идеологию расизма, может казаться подозрительным) возражал против представления Южной Африке слишком больших прав, так как «самоуправление в Южной Африке означало управление туземцами со стороны европейских колонистов, а это не есть самоуправление»<sup>60</sup>.

В большой степени, как и в Германии, английский национализм был порожден и поддерживался средним классом, который так никогда полностью и не эмансипировался от аристократии и поэтому выдал первые ростки расового мышления. Но в отличие от Германии, где из-за отсутствия единства возникала необходимость создать вместо исторических и географических реальностей идеологическую стену, Британские острова были полностью отделены от окружающего мира естественными границами, и Англии как национальному государству нужно было изобрести теорию единства людей, живущих в раскиданных по всему миру заморских колониях, отделенных от метрополии тысячами миль. Единственное, что их связывало, — это общность происхождения и языка. Отделение Соединенных Штатов показало, что сама по себе эта общность не гарантирует подчинения; и не только Америка, но и другие колонии, хоть и не с такой яростью, показали сильную склонность развиваться в отличных от метрополии конституционных направлениях. Чтобы сохранить этих бывших членов британской нации, Дилк под влиянием Карлейля, заговорил о «саксонстве», каковой термин, казалось, должен вернуть в лоно даже народ Соединенных Штатов, которому посвящена треть его книги. Будучи радикалом, Дилк мог вести себя так, как если бы война за независимость была не войной между двумя национальными государствами, а английской разновидностью гражданской войны XVIII в., в которой он с запозданием принял сторону республиканцев. Здесь-то и находится одна из причин того поразительного обстоятельства, что носителями национализма в Англии оказались социальные реформаторы и радикалы: они хотели сохранить колонии не только потому, что они обеспечивали необходимый отток людей низших классов; в действительности им хотелось сохранить влияние метрополии, осуществлявшееся самими этими наиболее радикальными сынами Британских островов. Этот мотив силен у Фруда, который желал «сберечь колонии,

<sup>60</sup> Froude J. A. Two lectures on South Africa // Froude J. A. Short studies on great subjects. 1867-1882.

так как считал возможным воссоздать в них более простое устройство общества и более благородный образ жизни, чем те, что могли существовать в индустриальной Англии»<sup>61</sup>, и он оказал определенное воздействие на Сили и его книгу «Расширение Англии»: «Когда мы привычно озираем всю империю и всю ее называем Англией, мы замечаем вдруг, что есть также и Соединенные Штаты». Каким бы образом ни использовали понятие «саксонство» более поздние политические публицисты, у Дилка оно означало нацию, уже не объединяемую границами одной страны. «На всех путях моих странствий одна идея была и моим спутником, и моим проводником, ключом, помогавшим мне отмыкать потаенные вещи в странных новых землях, — это было осознание... величия нашей расы, уже опоясавшей землю и, возможно, имеющей своим уделом покрыть ее всю» (предисловие). Для Дилка общее происхождение, наследие, «величие расы» были не физическими реальностями и не ключом к истории, а желанным указателем направления в современном мире, единственным надежным звеном в безграничном пространстве.

Поскольку английские колонисты распространились по всей земле, оказалось, что наиболее опасное националистическое представление — идея «национальной миссии» — с особой силой проявилось в Англии. Хотя идея национальной миссии, как таковая, развивалась в течение долгого времени без всякой расовой окраски во всех странах, вставших на путь национального строительства, впоследствии она обнаружила удивительное родство с расистским образом мысли. В свете последующего опыта приведенные высказывания английских националистов могут считаться пограничным случаем. Сами по себе они не более зловредны, чем, например, заявления Огюста Конта во Франции, выражавшего надежду увидеть единое, организованное и возрожденное человечество под руководством — *présidence* — Франции<sup>62</sup>. В них нет отказа от идеи человечества, хотя высшим гарантом его они мыслят Англию. Им ничего не оставалось, как делать особый упор именно на это националистическое представление, так как сама идея миссии по логике вещей разрушала связь между нацией и почвой, что в случае Англии и ее политики было не пропагандируемой идеологией, а свершившимся фактом, с которым должен был считаться любой государственный деятель. Что решительно отличает их от последующих расистов, так это отсутствие у них сколько-нибудь серьезных поползновений дискриминировать другие народы, относя их к низшим расам, пусть только потому, что разговор у них шел о таких странах, как Канада и Австралия, бывших почти пустыми и не испытывавших серьезных демографических проблем.

<sup>61</sup> Bodelsen C. A. Op. cit. P. 199.

<sup>62</sup> Comte A. Discours sur l'ensemble du positivisme. 1848. P. 384 ff.

Поэтому не случайно, что первым английским государственным деятелем, неоднократно подчеркивавшим свою веру в расы и расовое превосходство как решающий исторический и политический фактор, был человек, который, не питая особого интереса к колониям и английским колонистам — «колониальному балласту, нами не управляемому», — хотел распространить британское имперское владычество на Азию и в общем-то насильственно укреплял позиции Великобритании в единственной ее колонии, обремененной культурными и демографическими проблемами. Именно он, Бенджамин Дизраэли, сделал королеву Англии императрицей Индии. Он был первым английским государственным мужем, видевшим в Индии краеугольный камень империи и стремившимся порвать связи, соединявшие английский народ с нациями континентальной Европы<sup>63</sup>. Тем самым он заложил один из камней в фундамент коренных преобразований британского господства в Индии. Эта колония управлялась с обычной беспощадностью завоевателей — людей, названных Бёрком «разрушителями закона в Индии». Теперь ей предстояло получить тщательно спланированную административную систему с целью обеспечить постоянное управление административными методами. Этот эксперимент поставил Англию перед опасностью, о которой предупреждал Бёрк — что «разрушители закона в Индии» могут стать «создателями законов для Англии»<sup>64</sup>. Ибо те, для кого «в истории Англии не было деяния, которым можно было бы столь же справедливо гордиться... как созданием Индийской империи», считали свободу и равенство «громкими словами для обозначения ничтожных вещей»<sup>65</sup>.

Начатая Дизраэли политика означала создание в чужой стране исключительной касты, чьим единственным назначением была не колонизация, а управление. Для реализации этого замысла, до осуществления которого Дизраэли не дожил, расизм мог служить незаменимым средством. Он предвосхищал угрожающее превращение народа из нации в «первоклассно организованную чистую расу», чувствующую себя «аристократией по своей природе», если воспользоваться собственными приводившимися выше словами Дизраэли<sup>66</sup>.

<sup>63</sup> «Власть и влияние должны осуществить мы в Азии; как следствие и в Западной Европе» (*Money Penny W. F., Buckle G. E. The life of Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield. N.Y., 1929. Vol. 2. P. 210.*) Но «если когда-либо Европа по причине своей близорукости впадет в состояние истощения и отсталости, блестящее будущее Англии останется с ней» (*Ibid. Vol. 1. Book 4. Ch. 2.*) Ибо «Англия больше не является просто европейской державой... она фактически больше азиатская, чем европейская держава» (*Ibid. Vol. 2. P. 201.*)

<sup>64</sup> *Burke E. Op. cit. P. 42–43:* «Власть палаты общин... действительно велика; и она надолго может сохранить ее... и преуспешит в этом, пока сможет предотвращать превращение разрушителей закона в Индии в создателей законов для Англии».

<sup>65</sup> *Stephen J. F. Op. cit. P. 253 и passim;* см. также его: *Foundations of the government of India // The Nineteenth Century. Vol. 80. 1883.*

<sup>66</sup> О расизме Дизраэли ср. главу третью настоящего издания.

Все, о чем мы говорили до сих пор, была история воззрений, в которых только теперь, после всех ужасных событий нашего времени, мы можем распознать признаки зарождения расизма. И хотя расизм обжил элементы расового образа мысли во всех странах, нас интересовала не просто история некоей идеи, обладающей «внутренней логикой». Расовый подход был источником, откуда черпали аргументы сторонники различных политических подходов, но никогда он не обладал какой бы то ни было монополией в политической жизни соответствующих сторон; он обострял и эксплуатировал существующие конфликты интересов или политические проблемы, но никогда не создавал новых конфликтов и не порождает новые категории политического мышления. Расизм появился в результате совершенно новых событий и стечений политических обстоятельств, и он был бы абсолютно чужд даже таким убежденным защитникам идеи «расы», как Гобино и Дизраэли. Между теми, кто создает блестящие и остроумные концепции, и теми, кто осуществляет жестокие и зверские деяния, пролегает пропасть, которую не перекрывают никакими логическими построениями. В высшей степени вероятно, что со временем рассуждения в терминах расы вовсе исчезли бы, как исчезли другие безответственные суждения XIX в., если бы «схватка за Африку» и новая эпоха империализма не подвергли западный гуманизм новым ужасным испытаниям. Империализму понадобилось бы изобрести расизм как единственное возможное «объяснение» своих действий, даже если бы в цивилизованном мире никогда до этого не существовало расового образа мысли.

Поскольку же, однако, такой образ мысли существовал, он оказался мощным подспорьем расизму. Само существование точки зрения, могущей похвастаться определенной традицией, помогало замаскировать содержащиеся в новом учении разрушительные силы, которые, не будь этого покрова национальной респектабельности и кажущейся санкции со стороны традиции, обнаружили бы свою полную несовместимость со всеми прошлыми политическими и моральными нормами Запада до того, как им была предоставлена возможность разрушить взаимное признание европейскими национальными государствами законов и обычаев других стран.

## Глава седьмая

### РАСА И БЮРОКРАТИЯ

В первые десятилетия эпохи империализма были открыты два новых способа политической организации и управления другими народами. Первый — это раса как принцип политической организации, второе — бюрократия как принцип иностранного господства. Без понятия расы взамен нации схватка за Африку и инвестиционная лихорадка остались бы такой же бесцельной «пляской коммерции и смерти» (Джозеф Конрад), как и все другие случаи погони за золотом. Без бюрократии взамен правительства британские владения в Индии так и были бы отданы на произвол «разрушителей закона в Индии» (Бёрк), не изменив политического климата целой эпохи.

Оба открытия были в действительности сделаны на Черном континенте. Раса была наспех изобретенным способом объяснения существования человеческих существ, которых не мог понять ни один европеец или иной цивилизованный человек и сама принадлежность которых к роду человеческому так пугала и шокировала иммигрантов, что они отказывались считать себя принадлежащими к одному с ними человеческому виду. Раса была ответом буров на невыносимую чудовищность Африки — огромного континента, сплошь населенного и перенаселенного дикарями, объяснением безумия, охватившего и озарившего их подобно молнии среди ясного неба: «Стреляйте всех скотов»<sup>1</sup>. Этот ответ привел к самым ужасающим массовым убийствам в новейшей истории — к уничтожению бурами готтентотских племен, к безудержным зверствам Карла Петерса в Германской Юго-Восточной Африке, к истреблению мирного населения Конго: первоначальные 20–40 миллионов сократились до восьми; и в конце концов, и, может быть, это и есть самое страшное, все эти с триумфом примененные меры умиротворения стали частью обиденной респектабельной внешней политики. Какой бы глава цивилизованного государства когда-нибудь раньше мог выступить с воззванием, подобным тому, с которым обратился Вильгельм II к германскому экспедиционному корпусу, подавлявшему в 1900 г. Боксерское восстание: «Подобно тому как гунны тысячу лет назад под водительством Аттилы завоевали славу, заслужившую им мес-

<sup>1</sup> Написанная в 1902 г. повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы» представляет собой наиболее яркое произведение, освещающее нынешнюю расовую ситуацию в Африке (см.: Conrad J. Heart of darkness // Conrad J. Youth and other tales. 1902.)

то в истории, так пусть и теперь имя германца так запомнится в Китае, что ни один китаец никогда не посмеет снова косо взглянуть на немца»<sup>2</sup>.

В то время как раса, будь то в варианте рожденной в самой Европе идеологии или в виде чрезвычайного объяснения шокирующего колониального опыта, всегда привлекала к себе наихудшие элементы западной цивилизации, бюрократия была открыта и вначале пополнена лучшими и иногда даже наиболее прозорливыми представителями европейской интеллигенции. Администратор, правящий посредством докладов<sup>3</sup> и декретов в обстановке более настороженной секретности, чем любой восточный деспот, вырастал из традиции военной дисциплины, необходимой в окружении жестоких, не повинующихся законам людей; в течение долгого времени он жил светлыми и искренними юношескими идеалами современного рыцаря в сияющих доспехах, посланного защитить беспомощных, неразвитых людей. И, хуже или лучше, он справлялся с этой задачей, пока в мире господствовала старая «троица — война, торговля и пиратство» (Гёте) и еще не пришла ей на смену сложная игра в далеко идущую политику инвестиций, требующая господства одного народа не для частного обогащения, как прежде, а для наращивания богатства метрополии. Бюрократия была организацией грандиозной игры в экспансию, в которой каждый регион служил ступенькой на пути дальнейшего продвижения, а каждый народ являлся средством для дальнейших завоеваний.

Хотя в конечном счете расизм и бюрократия оказались во многих отношениях взаимосвязанными, открыты они были и развивались независимо. Никто из тех, кто так или иначе был замешан в их совершении, никогда не отдавал себе отчета в том, какой потенциал концентрации власти и разрушения содержится в одном только их соединении. Лорд Кромер, выросший в Египте из простого британского *chargé d'affaires* в империалистического бюрократа, не более помышлял о соединении администрации с человекоубийством («административная резня», как без всяких экивоков говорил об этом Картхилл 40 лет спустя), чем расовые фанатики в Южной Африке об организации массовой резни с целью создания умышленно замкнутого политического сообщества (как делали нацисты в лагерях уничтожения).

<sup>2</sup> Цит. по: Hayes C. J. *A generation of materialism*. N.Y., 1941. P. 338. Еще более худший случай — это, конечно, сделанное бельгийским королем Леопольдом II, несущим ответственность за самые черные страницы в истории Африки. «Существовал только один человек, которого можно обвинить в преступлениях, сокративших коренное население [Конго], насчитывавшее что-то между 20 и 40 млн в 1890 г., до 8,5 млн в 1911 г., — это Леопольд II» (см.: James S. *South of the Congo*. N.Y., 1943. P. 305).

<sup>3</sup> См. данное А. Картхиллом описание «индийской системы управления посредством докладов» в кн.: Carthill A. *The lost dominion*. 1924. P. 70.

## 1. Фантомный мир Черного континента

К концу прошлого века колониальные предприятия покоривших моря европейских народов породили две главные формы устройства: в недавно открытых мало населенных землях — новые поселения, заимствовавшие правовые и политические институты метрополии; в хорошо известных, хотя и экзотических странах — морские и торговые станции, чьей единственной функцией было облегчить никогда не славившийся своим миролюбием обмен сокровищами мира. Колонизация имела место в Америке и Австралии, двух континентах, не имевших собственной культуры и истории и попавших целиком в руки европейцев. Торговые станции были характерны для Азии, где в течение веков европейцы не выказывали претензий на постоянное господство или завоевательных устремлений, сопровождающихся истреблением местного населения и собственным заселением этих территорий<sup>4</sup>. Обе эти формы заморских начинаний претерпели длительный и неуклонный процесс эволюции, продолжавшийся почти четыре столетия, в течение которых поселения колонистов постепенно обрели независимость, а владение торговыми станциями переходило из рук в руки от нации к нации в соответствии с их относительным усилением или ослаблением в самой Европе.

Единственным континентом, который не трогала Европа на протяжении своей колониальной истории, был Черный континент Африки. Его северное побережье, населенное арабскими народами и племенами, было хорошо известно Европе и находилось так или иначе в сфере ее влияния с античных времен. Слишком плотно заселенные, чтобы привлечь поселенцев, и слишком бедные для эксплуатации, эти земли испытывали все виды и иностранного владычества, и анархического запустения, но, что достаточно странно, никогда после заката Египетской империи и разрушения Карфагена не имели подлинной независимости и надежной политической организации. Правда, европейские страны время от времени пытались перебраться через Средиземное море и навязать арабским землям свое господство, а мусульманским народам свое христианство, но они никогда не делали поползновений обращать-

<sup>4</sup> Важно помнить о том, что колонизация Америки и Австралии сопровождалась сравнительно непродолжительными периодами истребления туземцев ввиду их немногочисленности, в то время как «для понимания генезиса современного южноафриканского общества наиважнейшим обстоятельством является то, что земли за рубежами Капской колонии были вовсе не теми открытыми землями, которые простирались перед австралийскими скваттерами. Это были уже заселенные районы, районы с огромным населением народов банту» (см.: Kiewiet C. W. de. *A history of South Africa, social and economic*. Oxford, 1941. P. 59).

ся с североафриканскими территориями как со своими заморскими владениями. Напротив, они зачастую помышляли о включении их в саму метрополию. Эта стародавняя традиция, которой в более поздние времена все еще следовали Италия и Франция, была в 80-е годы полумана Англией, вторгшейся для защиты Суэцкого канала в Египет без всяких намерений завоевания или же включения в метрополию. Интерес тут не в том, что Египет был подвергнут насилию, а в том, что Англия (страна, расположенная не на берегах Средиземноморья) не была заинтересована в Египте как таковом, а нуждалась в нем только ради своих сокровищ в Индии.

В то время как империализм превратил Египет из периодически возникавшего самостоятельного соблазна в военную базу на пути в Индию и ступеньку для дальнейшей экспансии, прямо противоположное произошло с Южной Африкой. С XVII в. важность мыса Доброй Надежды была связана с Индией — центром колониального богатства; всякое государство, имевшее там торговые станции, нуждалось в морской базе в районе мыса, которая оказывалась покинутой, если прекращалась торговля в Индии. В конце XVIII в. британская Истиндийская компания нанесла поражение Португалии, Голландии и Франции и добилась торговой монополии в Индии; как само собой разумеющееся последовал захват Южной Африки. Если бы империализм просто продолжал следовать старым принципам колониальной торговли (которые так часто ошибочно принимают за империализм), Англия ликвидировала бы свой плацдарм в Южной Африке после открытия в 1869 г. Суэцкого канала<sup>5</sup>. Хотя и сегодня Южная Африка принадлежит к Британскому содружеству, она всегда отличалась от остальных доминионов; плодородные земли и редкое население — эти главные предпосылки для устойчивого переселения — здесь отсутствовали, и единственная попытка поселить здесь 5 тысяч безработных, предпринятая в начале XIX в., была безуспешной. В течение всего XIX в. не только потоки эмигрантов с Британских островов старательно избегали Южную Африку, но и сама Южная Африка в последнее время является единственным доминионом, откуда постоянный поток эмигрантов устремляется обратно в Англию<sup>6</sup>. Южная Африка, ставшая «питомником империализма» (Дамс),

<sup>5</sup> «Даже в 1884 г. британское правительство все еще было готово пойти на уменьшение своей власти и влияния в Южной Африке» (Kiewiet C. W. de. Op. cit. P. 113).

<sup>6</sup> Следующая таблица данных о британской иммиграции в Южную Африку и эмиграции из Южной Африки между 1924 и 1928 гг. показывает, что у англичан наблюдалась большая, чем у других иммигрантов, склонность уезжать из страны и что, за одним исключением, каждый год большее число британцев покидало страну, чем приезжало в нее (см. таблицу в сноске на стр. 265). Эти цифры взяты из: Barnes L. Caliban in Africa. An impression of colour madness. Philadelphia, 1931. P. 59 (сноска).

никогда не была объектом претензий самых радикальных английских сторонников «саксонства» и не присутствовала в мечтаниях самых романтических приверженцев азиатской империи. Одно это показывает, насколько незначительным было влияние на развитие империализма доимпериалистических колониальных предприятий и заморских поселений. Если бы Капская колония оставалась в рамках доимпериалистической политики, она была бы оставлена в тот самый момент, когда на самом деле она приобрела жизненную важность.

Хотя открытие в 70-80-е годы золотых залежей и месторождений алмазов само по себе не имело бы значительных последствий, если бы случайно не сыграло роль катализатора империалистических сил, примечательно то, что претензии империалистов на обнаружение способа окончательного решения проблемы избыточности и ненужности своим изначальным мотивом имела погоню за самым излишним видом сырья на земле. Золоту едва ли принадлежит заметное место в производстве, и важность его не сравнима с важностью железа, угля, нефти и каучука; вместо этого оно является самым древним символом богатства вообще. В своей бесполезности для промышленного производства оно ироническим образом напоминает излишние деньги, которыми финансировалась его добыча, и излишних людей, которые ее осуществляли. К претензии империалистов на открытие постоянного способа спасения загнивающего общества и устаревшей политической системы оно добавляло свою претензию на якобы вечную стабильность и независимость от любых функциональных детерминантов. Обращает на себя внимание то, что общество, почти уже расставшееся со всеми традиционными абсолютными ценностями, начало поиски абсолютной ценности в мире экономики, где на самом-то деле такая вещь не существует и не может существовать, поскольку все здесь функционально по определению. Это заблуждение относительно абсолютной ценности с древних времен делало производство золота промыслом авантюристов, игроков, преступников, различных элементов вне пределов нормального здорового общества. В Южной Африке новым поворотом темы было то, что здесь ловцы удачи были людьми, не только стоящими вне цивилизованного общества, но являли собой его со-

Таблица (к сноске 6 на стр. 264)

Год	Британская иммиграция	Общая иммиграция	Британская эмиграция	Общая эмиграция
1924	3 724	5 265	5 275	5 857
1925	2 400	5 426	4 019	4 483
1926	4 094	6 575	3 512	3 799
1927	3 681	6 595	3 717	3 988
1928	3 285	7 050	3 409	4 127
Всего:	17 184	30 911	19 932	22 254

вершено очевидный побочный продукт, неизбежный выброс капиталистической системы и даже были представителями экономики, неустанно производящей излишек людей и излишек капитала.

У излишних людей, «богема четырех континентов»<sup>7</sup>, которые устремились к мысу Доброй Надежды, было еще много общего со старыми авантюристами. Они, как и встарь, могли спеть:

*Поплыву за край Суэцкий, где что жить и что не жить,  
Там нет заповедей тухлых, так что можно вдосталь пить.*

Разница была не в их моральности или аморальности, а скорее в том, что решение присоединиться к этой компании «всех наций и всех цветов»<sup>8</sup> теперь уже не принадлежало им точно; что они не сами порывали с обществом, а изгонялись из него; что они не были предприимчивыми сверх тех пределов, что допускались рамками цивилизованности, а являлись жертвами, лишенными полезного назначения или функции. Их единственный выбор был негативного свойства — отказ от участия в рабочих движениях, в которых лучшие из излишних людей или тех, кому грозила такая участь, обретали своего рода контробщество, дающее людям возможность найти путь обратно в человеческий мир товарищества и целенаправленной деятельности. В них не было ничего, что было бы плодом их собственных усилий, они были похожи на живые символы случившегося с ними, живыми абстракциями и свидетельствами абсурдности человеческих институтов. Они не были, подобно прежним авантюристам, личностями, а являлись тенями событий, к которым сами не имели никакого отношения.

Как у г-на Куртца в «Сердце тьмы» Конрада, «в глубине их была пустота», они были «циничными, хищными и жестокими, но отнюдь не мужественными или смелыми». Они ни во что не верили, но «могли себя убедить в чем угодно... в чем угодно». Изгнанные из мира общепринятых ценностей, они были предоставлены самим себе, но редко находили в себе самих опору, разве что изредка проблеск таланта, что делало их, подобно Куртцу, очень опасными, если им доводилось все-таки вернуться на родину. Поскольку, может быть, единственным талантом, который по-настоящему проклевывался в их пустых душах, был дар словесного гипноза, создающий «лидеров какой-нибудь крайней партии». Наиболее одаренные были ходячими воплощениями социальной обиженности, подобно немцу Карлу Петерсу (возможно, послужившему прототипом Куртца), открыто признававшего, что ему «опосты-

<sup>7</sup> Froude J. A. Leaves from a South African Journal. 1874 // Froude J. A. Short studies on great subjects. 1867–1882. Vol. 4.

<sup>8</sup> Ibid.

лело числиться среди парий и он желает принадлежать к расе господ»<sup>9</sup>. Но одаренные или нет, все они «были готовы поучаствовать в любой игре — от расшибалочки до предумышленного убийства», и их человеческие собратья значили для них «так или иначе не больше, чем вон та муха». Так что они привносили с собой или быстро усваивали правила поведения, характерные для нарождающегося вида убийц, среди которых единственным непростительным грехом считается потеря самообладания.

Были среди них, несомненно, и настоящие джентльмены, вроде г-на Джоунза из повести Конрада «Победа», скуки ради готовые заплатить любую цену за то, чтобы попасть в «мир риска и приключений», или как г-н Хейст, упивавшийся презрением ко всему человеческому, пока его не понесло «подобно оторвавшемуся листку... не способному прилипнуть ни к чему и нигде». Их неудержимо влек к себе мир, где все было не всерьез, который мог научить их самой «главной шутке» — «победе над отчаянием». В «великих джунглях, где нет закона», сводили близкое знакомство совершенный джентльмен и совершенный негодяй, и обнаруживалось, что они «хорошо подходят друг к другу при своем громадном внешнем несходстве — одинаковые души в различных оболочках». Мы уже наблюдали, как вело себя высшее общество в деле Дрейфуса, и видели, как Дизраэли открыл социальную связь между пороком и преступлением; и здесь снова перед нами, по существу, та же самая история любви высшего общества к своему собственному уголовному миру и того преступного чувства, которое он возбуждает, когда, прикрываясь цивилизованной сдержанностью, стремлением избежать «излишних проявлений власти» и хорошими манерами, ему позволяют создавать вокруг своих преступлений атмосферу утонченного порока. Эта утонченность, сам контраст между жестокостью преступления и манерой его совершения становятся основой глубокого взаимопонимания между преступником и джентльменом. Но то, что, как бы то ни было, потребовало для своего развития десятилетий в Европе, так как такое развитие сдерживалось общественными моральными ценностями, в фантомном мире колониальных авантур взорвалось с внезапностью короткого замыкания.

Вне ограничений и лицемерных установок общества, в окружении туземной жизни джентльмен и уголовник чувствовали не только близость людей одного цвета кожи, но и дыхание мира неограниченных для совершения преступлений возможностей, в духе разыгрываемой пьесы, где сочетаются смех и ужас и открывается путь для полной реализации их фантомоподобного существования. Туземная жизнь

<sup>9</sup> Цит. по: Ritter P. Kolonien im deutschen Schrifttum. 1936. Предисловие.

обеспечивала всем этим призрачным событиям кажущуюся гарантию от любых последствий, так как уж для этих людей она выглядела «просто театром теней. Театром теней, сквозь который господствующая раса могла проходить незадетой и незамеченной, со всеми ее непостижимыми целями и надобностями».

Мир диких туземцев был великолепной декорацией для людей, бежавших от реальностей цивилизации. Под беспощадным солнцем, в окружении совершенно враждебной природы, они встречали других человеческих существ, живущих без какого-либо целенаправленного будущего и отмеченного достижениями прошлого, непостижимых, как обитатели сумасшедшего дома. «Доисторический человек проклинал нас, молился нам, нас приветствовал... кто мог сказать? Нам недоступно было понимание окружающего; мы скользили мимо, словно призраки, удивленные и втайне испуганные, как испугался бы нормальный человек взрыва энтузиазма в сумасшедшем доме. Мы не могли понять, ибо мы были слишком далеки и не умели вспомнить; мы блуждали во мраке первых веков — тех веков, которые прошли, не оставив ни следа, ни воспоминаний.

Земля казалась непохожей на землю. Мы привыкли смотреть на скованное цепями, побежденное чудовище, но здесь... здесь вы видели существо чудовищное и свободное. Оно не походило на землю, а люди... нет, люди остались людьми. Знаете, нет ничего хуже этого подозрения, что люди остаются людьми. Оно нарастало медленно, постепенно. Они выли, прыгали, корчили страшные гримасы; но в трепет приводила вас мысль о том, что они — такие же люди, как вы, — мысль об отдаленном вашем родстве с этими дикими и страшными существами» («Сердце тьмы»).

Удивительно, что, говоря исторически, существование «доисторического человека» так мало влияло на западных людей до начала схватки за Африку. Однако документально подтверждается, что ничего особенного не происходило, пока истреблялись при численном превосходстве европейских поселенцев дикие племена, пока негры целыми кораблями отправлялись в качестве рабов в устроенный Европой мир Соединенных Штатов и даже пока только одиночные путешественники отправлялись во внутренние районы Черного континента, где дикари были достаточно многочисленными, чтобы образовать свой собственный безумный мир, к которому европейские искатели приключений добавляли безумие охоты за слоновой костью. Многие из этих авантюристов сходили с ума в молчаливой глуши перенаселенного континента, где присутствие человека только подчеркивало полное одиночество, где нетронутая, подавляюще враждебная природа, которую никто никогда не позаботился превратить в человеческий ландшафт, казалось, с надменным терпением ждала «конца этого фантастического вторжения» чело-

века. Но их сумасшествие было их личным переживанием и не имело последствий.

С приходом людей, вовлеченных в схватку за Африку, все переменялось. Это уже не были одиночки, «в сотворении (их) участвовала вся Европа». Они сосредоточились в южной части континента, где встретили буров — отколовшуюся от голландцев группу, почти позабытую Европой, но теперь оказавшуюся как бы естественным введением в проблемы новой среды обитания. Реакция на эту среду излишних людей во многом определялась опытом этой единственной европейской группы, которой когда-либо хоть и в полнейшей изоляции, но приходилось жить в мире черных дикарей.

Буры ведут свое происхождение от голландских поселенцев, обосновавшихся в середине XVII в. в районе мыса Доброй Надежды и обеспечивавших свежими овощами и мясом суда, следовавшие в Индию. За ними последовала в следующем веке лишь небольшая группа французских гугенотов, так что только благодаря высокому уровню рождаемости эта маленькая, отщепенная от голландской нации группа превратилась в отдельный народец. Полностью выключенные из потока европейской истории, они вступили на путь, «которым лишь немногие нации шли до них, и едва ли какая-нибудь шла с успехом<sup>10</sup>».

В развитии бурского народа играли особую роль два главных материальных фактора: чрезвычайно плохая земля, которую можно было использовать лишь для экстенсивного скотоводства, и очень многочисленное черное население, организованное в племена и ведущее образ жизни бродячих охотников<sup>11</sup>. Плохая земля делала невозможным тесное соседское расселение, так что голландские переселенцы-квэстьяне не смогли следовать сельским формам организации, принятым у них на родине. Большие семьи, отделенные друг от друга широкими пустынными пространствами, были вынуждены объединяться в своего рода кланы, и только постоянная угроза со стороны общего врага — черных племен, далеко превосходящих численностью белых поселенцев, сдерживала эти кланы от активной борьбы друг с другом. Решением двойной проблемы — отсутствия плодородия и многочисленности туземцев — было рабовладение<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Лорд Селборн в 1807 г. писал: «Белые люди в Южной Африке имеют своим долгом идти таким путем, которым лишь немногие нации шли до них и едва ли какая-нибудь шла с успехом» (см.: *Kiewiet C. W. de. Op. cit. Ch. 6*).

<sup>11</sup> См. особенно главу 3 работы: *Kiewiet C. W. de. Op. cit.*

<sup>12</sup> «Рабы и готтентоты вместе совершили приметные перемены в образе мысли и обычаях колонистов; климат и география не были единственными факторами в формировании отличительных черт бурской национальности. В создании институтов и обычаев южноафриканского общества объединились рабство и засуха, готтентоты и изолированность».

Рабовладение, однако, очень неадекватное слово для описания того, что в действительности происходило. Прежде всего, рабовладение, хотя оно и одомашнило какую-то часть дикого населения, все же не охватило его целиком, так что бурам никогда не удалось избавиться от того первоначального испуга, который они испытали при встрече с разновидностью человека, неприемлемой для них в качестве собрата по соображениям человеческой гордости и чувству человеческого достоинства. Этот испуг перед чем-то похожим на тебя и в то же самое время не должен был ни в коем случае отождествленным с тобой, лег в основу рабства и стал базисом расистского общества.

Человечество помнит историю народов, но его знания о доисторических племенах носят легендарный характер. Слово «раса» имеет точное значение там и тогда, когда мы сталкиваемся с племенами, о которых не сохранилось ничего в документированной истории и которые сами не знают собственной истории. Представляют ли они «доисторического человека», случайно уцелевший образчик первых форм человеческой жизни на земле, или являются «послеисторическими» остатками, пережившими какую-то неизвестную катастрофу, завершившую жизнь некой цивилизации, нам неизвестно. Скорее все же они были похожи на людей, выживших после какого-то крупного бедствия, за которым, возможно, последовала череда меньших бедствий, превратившая условия их жизни в одну сплошную цепь неблагоприятия. Как бы то ни было, расы в этом смысле обнаружались только в тех регионах, где природа отличалась особой враждебностью. От других человеческих существ отличал их вовсе не цвет кожи, а то, что они вели себя как часть природы, что они относились к природе как к своему бесспорному хозяину, что они не создавали человеческий мир, человеческую реальность и что поэтому единственной всепокояющей реальностью оставалась во всем ее величии природа, по отношению к которой сами они казались фантомами, призрачными и нереальными. Они были как бы «природными» человеческими существами, лишенными специфически человеческого характера, так что, когда европейцы умерщвляли их, они как-то не осознавали, что совершают убийство.

Более того, бессмысленное изничтожение туземных племен Черного континента вполне соответствовало традициям самих этих племен. Истребление враждебных племен было нормой во всех африканских местных войнах, и оно не отменялось, если одному из черных вождей случалось объединить под своим водительством несколько племен.

дешевизна рабочей силы и земли. Сыновья и дочери трудолюбивых голландцев и гугенотов научились относиться к земледельческому труду и к любой тяжелой физической работе как к функции порабощенных народов» (Kiewiet C. W. de. Op. cit. P. 21).

Царь Чака, в начале XIX в. объединивший зулусские племена в чрезвычайно дисциплинированную военную организацию, не создал ни зулусского народа, ни зулусской нации. Преуспел он только в истреблении более миллиона членов племен, которые были слабее<sup>13</sup>. Поскольку дисциплина и военная организация сами по себе не могут создать политического организма, погром этот остался недокументированным эпизодом нереального и непостижимого процесса, неприемлемого для человека и потому не фиксируемого человеческой историей.

В случае буров рабство было способом приспособливания европейского народа к черной расе<sup>14</sup> и лишь внешне напоминало те исторические ситуации, когда оно было результатом завоевания или работорговли. Буров не объединяла ни политическая, ни общинная организация, и черные рабы не служили целям никакой белой цивилизации. Буры потеряли и свою крестьянскую привязанность к земле, и цивилизованное чувство людской солидарности. «Каждый бежал от тирании дыма из трубы соседа»<sup>15</sup> — такова была норма в этой стране, и каждое бурское семейство в полной изоляции воспроизводило общий рисунок обращения с черными дикарями, управляя ими абсолютно произвольно, без всякого контроля со стороны «добрых соседей, готовых поощрить вас или обрушиться на вас, выступающих в деликатной роли то ли убийцы, то ли полицейского, в священном ужасе перед скандалом, виселицей, психиатрическими больницами» (Конрад). Управляя племенами и паразитируя на их труде, они заняли положение весьма сходное с положением местных племенных вождей, с чьим господством они покончили. Как бы то ни было, туземцы признавали в них высшую форму племенной власти, своего рода природных божеств, которым необходимо повиноваться; так что божественная роль настолько же была вручена бурам их черными рабами, насколько принята добровольно ими самими. И конечно же этим белым богам черных рабов любой закон мог казаться только стеснением их свободы, любое правительство — только ограничением разнuzданного произвола клана<sup>16</sup>. В туземцах буры открыли единственное «сырье», в изобилии производимое Африкой, и они пользовались им для производства не богатств, а самых необходимых условий человеческого существования.

<sup>13</sup> См.: James S. Op. cit. P. 28.

<sup>14</sup> «Подлинная история южноафриканской колонизации описывает становление не европейских поселений, а совершенно нового и уникального общества, состоящего из различных национальностей, рас и культурных навыков и управляемого конфликтами по поводу расовой наследственности и противоборством неравных социальных групп» (Kiewiet C. W. de. Op. cit. P. 19).

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> «[Бурское] общество было бунтарским, но не революционным» (Ibid. P. 58).

Черные рабы в Южной Африке скоро превратились в единственную действительно работающую часть населения. Их труд был отмечен всеми известными недостатками, присущими рабскому труду, такими, как отсутствие инициативы, отлынивание, плохое обращение с орудиями труда и общая низкая эффективность. Поэтому результатов их работы едва хватало для поддержания жизни хозяев, которым никогда не удавалось достичь того сравнительного изобилия, что питает развитие цивилизаций. Именно эта абсолютная зависимость от чужого труда и полное презрение к любым видам работы и производства и превратили голландцев в буров и придали их расовым убеждениям отчетливо экономический смысл<sup>17</sup>.

Буры были первой группой европейцев, совершенно утратившей чувство гордости, которое испытывает западный человек, живя в мире, являющемся произведением его собственных рук<sup>18</sup>. Они обращались с туземцами как с природным богатством и жили за их счет, как живут, скажем, за счет фруктов с дикорастущих деревьев. Ленивые и неработоспособные, они приняли, по существу, такой же растительный образ жизни, какой на протяжении тысячелетий вели черные племена. Великий ужас, охвативший европейцев при их первом соприкосновении с туземной жизнью, был порожден именно этими признаками нечеловечности в человеческих существах, которые казались такой же частью природы, как дикие животные. Буры жили за счет своих рабов, так же как туземцы жили за счет невозделанной, неизменяемой ими природы. Когда буры в испуге и отчаянии решили использовать туземцев так, как если бы те были частью животного мира, они положили начало процессу, что мог кончиться только их собственным перерождением в белую расу, живущую рядом и вместе с черными расами, от которых в конечном итоге их будет отличать только цвет кожи.

<sup>17</sup> «Мало что делалось для поднятия жизненного уровня или расширения жизненных возможностей класса рабов и слуг. Таким образом, скудное богатство колонии стало привилегией ее белого населения... Так Южная Африка довольно рано познала, что сплоченная общим сознанием группа может избежать худших сторон жизни во влачащей бедное, беспросветное существование стране за счет превращения различий расы и цвета кожи в орудие социальной и экономической дискриминации» (Ibid. P. 22).

<sup>18</sup> Дело в том, что, например, в «Вест-Индии такая большая доля рабов, как в Капской колонии, считалась бы знаком богатства и источником процветания», в то время как «в Капской колонии рабство было признаком лишенной предпринимательского начала экономики, в которой труд использовался расточительно и неэффективно» (Ibid.). В основном это привело Барнза (Barnes L. Op. cit. P. 107) и многих других наблюдателей к заключению, что «Южная Африка есть, таким образом, иная страна, не только в том смысле, что определенно небританскими являются ее позиции и подходы, но и в гораздо более радикальном значении противоречия принципам, на которых основываются государства христианского мира, в смысле самих ее *raison d'être* в качестве некоего организованного общества».

Белые бедняки в Южной Африке, которые в 1923 г. составляли 10 процентов всего белого населения<sup>19</sup> и по уровню жизни немногим отличались от племен банту, являются сегодня предупредительным сигналом такой возможности. Их нищета почти исключительно есть следствие их презрения к труду и приспособления к образу жизни черных племен. Подобно черным, они забрасывали землю, когда в результате самой примитивной обработки она переставала обеспечивать необходимый минимум или когда оказывались уничтоженными все животные в регионе<sup>20</sup>. Вместе со своими бывшими рабами они, оставляя свои фермы, переезжали в центры добычи золота и алмазов, как только туда уходили черные работники. Но в отличие от туземцев, которые немедленно нанимались на низкооплачиваемую неквалифицированную работу, они требовали и получали вспомоществование по праву белой кожи, потеряв всякое представление о том, что нормальный человек не зарабатывает на жизнь цветом своей кожи<sup>21</sup>. Сегодня их расовое сознание носит воинствующий характер не только потому, что им нечего терять, но и потому также, что понятие расы, похоже, гораздо более адекватно описывает их собственное состояние, а не состояние их бывших рабов, которые уже далеко продвинулись на пути превращения в рабочих — нормальную составную часть человеческой цивилизации.

Расизм как средство господства использовался в обществе, состоящем из белых и черных, до того, как империализм стал эксплуатировать его в качестве основополагающей политической идеи. Его основа и его оправдание все еще заключались в самом реальном опыте, в вызывающем ужас соприкосновении с чем-то, выходящим за пределы воображения и понимания; большим соблазном было действительно просто объявить, что речь идет не о человеческих существах. Поскольку, однако, несмотря на все идеологические обоснования, темнокожие упорно отстаивали свою принадлежность к человечеству, «белые люди» не могли не пересмотреть своего места в человеческой общности и решили, что сами они больше чем просто люди и избраны Богом служить богами для чер-

<sup>19</sup> Это составляет не менее 160 тыс. человек (Kiewiet C. W. de. Op. cit. P. 181). Джеймс (James S. Op. cit. P. 43) оценил число белых бедняков в 1943 г. в 500 тыс., что составило бы около 20 процентов белого населения.

<sup>20</sup> «Бедняцкое белое африканерское население, живя на том же уровне простого выживания, что и банту, возникло в первую очередь как результат неспособности или упрямого нежелания буров изучать передовую агронауку. Подобно банту, буры любят бродить с одного места на другое, возделывая землю до полного ее истощения и охотясь на диких животных до полного их исчезновения» (Ibid.).

<sup>21</sup> «Их раса была их титулом превосходства над туземцами, и заниматься ручным трудом означало уронить достоинство, сообщаемое им их расой... В наиболее утративших нравственность это отвращение к труду вырождалось в претензию на содержание как естественное право» (Kiewiet C. W. de. Op. cit. P. 216).

ных. Такое заключение было логичным и неизбежным, если радикальным образом отрицалось наличие каких бы то ни было общих связей с дикарями; на практике это означало, что христианство впервые перестало действовать как средство решительного обуздания опасных извращений человеческого самосознания, и это было предвосхищением той опасной неэффективности, которую оно продемонстрировало в более поздних расистских обществах<sup>22</sup>. Буры просто отрицали христианское учение об общности происхождения всех людей и превратили те места из Ветхого Завета, где еще не преодолены границы древнеизраильской национальной религии, в суеверие, которое нельзя назвать даже ересью<sup>23</sup>. Подобно евреям, они твердо поверили в себя как в избранный народ<sup>24</sup>, с той существенной разницей, что избраны они были не для божественного спасения человечества, а для ленивого господства над другой разновидностью людей, обреченной на столь же ленивое выполнение тяжелых трудовых обязанностей<sup>25</sup>. Такова была воля Божья на земле, и голландская реформатская церковь провозгласила это и продолжает провозглашать и теперь, находясь в этом отношении в остром и враждебном противоречии с миссионерами всех других христианских деноминаций<sup>26</sup>.

В бурском расизме, в отличие от других его разновидностей, было нечто безыскусное и, можно сказать, наивное. Лучшим подтверждением этой мысли является полное отсутствие литературы и других достижений интеллекта<sup>27</sup>. Он был и остается отчаянной реакцией на отча-

<sup>22</sup> Голландская реформатская церковь всегда находилась на передовом фронте борьбы буров против влияния христианских миссионеров в Капской колонии. Однако в 1944 г. она сделала еще один шаг вперед, приняв «без единого голоса против» резолюцию, запрещающую браки между бурами и англоязычными гражданами (согласно передовой статье в газете «Cape Times» от 18 июля 1944 г., цит. по: New Africa. Council on African Affairs. Monthly Bulletin. October, 1944.)

<sup>23</sup> Кьевице (*Kiewiet C. W. de. Op. cit. P. 181*) упоминает «учение о расовом превосходстве, извлеченное из Библии и подкрепленное получившими широкое хождение в XIX в. популярными интерпретациями дарвиновских теорий».

<sup>24</sup> «Бог Ветхого Завета был для них почти такой же национальной фигурой, как и для евреев... Я припоминаю захватывающую сцену в одном кейптаунском клубе, где дерзкий англичанин, случайно оказавшийся за столиком с тремя или четырьмя голландцами, осмелился заметить, что Христос был неевропейцем и что с юридической точки зрения ему не было бы разрешено иммигрировать в Южно-Африканский Союз. Это высказывание привело голландцев в такое возбуждение, что они чуть не попадали со стульев» (*Barnes L. Op. cit. P. 33*).

<sup>25</sup> «Голландский фермер считает, что изоляция туземцев и их унижение заповеданы Богом, и спорить против этого — значит совершать преступление и святотатство» (*Bentwich N. South Africa. Dominion of racial problems // Political Quarterly. 1939. Vol. 10. № 3*).

<sup>26</sup> «До сего дня миссионер для буров есть предатель основ, белый человек, выступающий с черными против белых» (*Millin S. G. Rhodes. L., 1933. P. 38*).

<sup>27</sup> «Поскольку у них было мало искусства, еще меньше архитектуры и совсем не было литературы, для того чтобы резко отгородиться от туземцев и чужестранцев, они нуждались в своих фермах, своих Библиях и своей чистоте крови» (*Kiewiet C. W. de. Op. cit. P. 121*).

янные условия жизни, не получившей ясного словесного выражения и не имевшей последствий, пока он был изолированным явлением. Положение стало меняться лишь с появлением британцев, которые не выказывали интереса к своей новейшей колонии, еще в 1849 г. называвшейся военной станцией (в отличие от колонии того или иного типа). Но одно только их присутствие, т.е. их совершенно иное отношение к туземцам, которых они не считали отличным от людей биологическим видом, затем их попытки (после 1834 г.) отменить рабство и прежде всего их усилия по установлению фиксированных границ земельной собственности, вызвало в застойном бурском обществе бурную реакцию. Для буров было характерно то, что на протяжении всего XIX в. их реакции следовали одному и тому же повторяющемуся стереотипу: бурские фермеры бежали от английских законов, организуя треки (переселения) в дикие глубинные районы и без сожаления расставаясь со своими домами и фермами. Не желая мириться с ограничениями на свою собственность, они предпочитали вовсе ее покинуть<sup>28</sup>. Это не означает, что буры не чувствовали себя дома, где бы им ни пришлось оказаться; они чувствовали и продолжают чувствовать Африку своим домом в гораздо большей степени, чем какие-либо последующие иммигранты, но Африку в целом, а не какую-то определенную ограниченную территорию. Их фантастические «треки», повергавшие в ошеломление британскую администрацию, ясно показывали, что они превратились в племя и утратили европейское чувство территории, чувство своей patria. Они вели себя в точности как черные племена, столетиями бродившие по Черному континенту, чувствовавшие себя дома везде, где случалось остановиться их орде, и каждую попытку закрепить их на определенном месте воспринимавшие как смерть.

Отсутствие корней характерно для всякой расовой организации. То, на что сознательно нацелены европейские «движения» — превра-

<sup>28</sup> «Настоящий участник «великого трека» ненавидел границы. Когда английское правительство настаивало на фиксированных границах всей колонии или отдельных фермерских хозяйств, он чувствовал, что у него что-то отнимают... Лучше уж было податься прочь, туда, где была вода и незанятые земли и не было английского правительства, отменявшего законы о свободном переселении, и где белого человека нельзя было вызвать в суд для дачи объяснений по поводу жалоб его холопов» (*Ibid. P. 54–55*). «Уникальное в истории колонизации движение «великий трек» (р. 58) было поражением политики более интенсивного заселения. Практика землепользования, требовавшая территории размером с целый канадский поселок для поселения десяти семей, распространилась на всю Южную Африку. Она сделала навсегда невозможной сегрегацию белой и черной рас в районах отдельного проживания... Выведя буров за пределы досягаемости английского закона, «великий трек» позволил им установить «правильные» отношения с туземным населением» (р. 56). «В последующие годы «великий трек» стал больше чем просто протестом; ему предстояло превратиться в восстание против английской администрации и в краугольный камень, заложенный в англо-бурский расизм XX в.» (*James S. Op. cit. P. 22*).

щение народа в орду, может, подобно лабораторному эксперименту, наблюдаться в этом печальном раннем опыте буров. Если уничтожение корней как сознательная цель основывалось в первую очередь на ненависти к миру, в котором не было места для «излишних людей», так что его разрушение могло становиться высшей политической целью, отсутствие корней у буров было естественным следствием того, что они давно освободились от необходимости трудиться и жили в мире, построенном не руками человека. Такое же поразительное сходство отмечается между «движениями» и бурскими представлениями об «избранности». Но в то время как избранность пангерманских, панславянских или польских мессианских движений была более или менее сознательным орудием господства, извращенное христианство буров произрастало из ужасающей реальности, в которой несчастные «белые люди» почитались как божества равно несчастными «черными людьми». Живя в условиях, которые они не были в состоянии превратить в цивилизованный мир, они не обнаруживали вокруг себя большей ценности, чем себя самих. Важно, однако, что независимо от того, является ли расизм естественным результатом катастрофы или сознательным орудием ее приближения, он всегда тесно связан и с презрением к труду, ненавистью к территориальным ограничениям, общей беспочвенностью и активистской верой в свою божественную избранность.

Первый британский режим в Южной Африке, с его миссионерами, солдатами и первопроходцами, не осознавал, что бурские взгляды имеют определенную опору в реальности. Англичане не понимали, что абсолютное верховенство европейцев, в котором они в конечном счете были так же заинтересованы, как и буры, едва ли могло быть обеспечено иначе, чем с помощью расизма, так как число постоянных европейских поселенцев безнадежно уступало числу туземцев<sup>29</sup>. Для них было шоком, «что поселившиеся в Африке европейцы должны были сами вести себя как дикари, поскольку таков был обычай страны»<sup>30</sup>, и их простым утилитарным умам казалось просто нелепым жертвовать производительностью и прибылями во имя фантомного мира белых богов, господствующих над черными тенями. Только после того как англичане и европейцы постоянно обосновались здесь в результате золотого бума, они научились постепенно приспосабливаться к населению, которое нельзя было заманить обратно в европейскую цивилизацию даже соображениями прибыли, которое утратило даже присущие европейскому человеку низшие стимулы после того, как порвало с его выс-

<sup>29</sup> В 1939 г. все население Южно-Африканского Союза насчитывало 9,5 млн человек, в том числе 7 млн туземцев и 2,5 млн европейцев. Среди последних было 1,25 млн буров, около одной трети англичан и 100 тыс. евреев (см.: *Bentwich N. Op. cit.*).

<sup>30</sup> *Froude J. A. Op. cit. P. 375.*

шими мотивами, потерявшими смысл и привлекательность в обществе, где никто не стремится ни к каким достижениям и каждый стал богом.

## 2. Золото и раса

Месторождения алмазов в Кимберли и золотые разработки в Витватерсранде были найдены посреди этого фантомного расового мира, и «земля, которую до этого, не удостоивая своим вниманием, миновали корабль за кораблем, везущие эмигрантов в Австралию и Новую Зеландию, увидела вдруг на своих пристанях толпы людей, спешащих дальше в глубь страны к золотым рудникам. В большинстве своем это были англичане, но немало было и приехавших из Риги и Киева, Гамбурга и Франкфурта, Роттердама и Сан-Франциско»<sup>31</sup>. Все они принадлежали к «разряду людей, предпочитающих авантюры и спекуляции оседлой производственной деятельности и не приспособленных к работе в упряжке обывденной жизни... (Тут были) золотоискатели из Америки и Австралии, немецкие спекулянты, торговцы, содержатели питейных заведений, профессиональные игроки, адвокаты... отставные армейские и флотские офицеры, младшие сыновья из видных фамилий... Восхитительно пестрое сборище, в котором деньги, получаемые за счет невиданной производительности рудников, текли, как вода». К ним присоединялись тысячи туземцев, сначала прибывавших сюда, чтобы «красть алмазы и откладывать заработанное на покупку ружей и пороха»<sup>32</sup>, но, когда «самый застойный из колониальных регионов взорвался бурной активностью, быстро превратившихся в наемных рабочих, в кажущийся неиссякаемым источник дешевой рабочей силы»<sup>33</sup>.

Изобилие туземцев и их дешевого труда — это единственное и, пожалуй, самое важное отличие этого золотого бума от ему подобных. Вскоре стало очевидным, что толпе с четырех концов света даже и не понадобится заниматься добычей, во всяком случае, постоянной привлекательной чертой Южной Африки, постоянным ее ресурсом, манившим авантюристов на постоянное здесь поселение, было не золото, а человеческий материал, обещавший постоянную свободу от необходимости трудиться<sup>34</sup>. Местные европейцы служили здесь только надсмотрщиками, не

<sup>31</sup> *Kiewiet C. W. de. Op. cit. P. 119.*

<sup>32</sup> *Froude J. A. Op. cit. P. 400.*

<sup>33</sup> *Kiewiet C. W. de. Op. cit. P. 119.*

<sup>34</sup> «Тем, чем обилие дождя и травы было для новозеландских баранов, просторы дешевых пастбищ — для австралийской шерсти, гектары плодородных прерий — для канадской пшеницы, тем для южноафриканской горнодобычи и промышленности был дешевый туземный труд» (*Kiewiet C. W. de. Op. cit. P. 96.*)

выдвигая из своей среды даже квалифицированных рабочих и инженеров — и тех и других приходилось регулярно ввозить из Европы.

Вторым по важности для окончательного исхода всего дела моментом было то, что этот золотой бум не был предоставлен самому себе, а финансово и организационно зависел от обычной европейской экономики, от аккумулированного в ней излишнего богатства и от помощи еврейских финансистов. С самого начала «сотня или около того еврейских коммерсантов слетелись, как орлы на добычу»<sup>35</sup>, действуя, по сути, в качестве посредников, через которых европейский капитал инвестировался в золотодобычу и производство алмазов.

Единственной частью южноафриканского населения, не участвовавшей и не желающей участвовать во внезапно охватившей страну бурной деятельности, были буры. Они ненавидели всех этих *uitlander*'ов, которым не нужно было гражданство, но которые нуждались в британском покровительстве и получали его, тем самым укрепляя влияние английских властей в регионе мыса. Буры прореагировали обычным для них способом: они продали свои алмазосодержащие владения в Кимберли и в очередной раз перебрались в дикие глубинные районы. Им было непонятно, что новый приток пришельцев состоял уже не из английских миссионеров, правительственных чиновников или обычных поселенцев, и они осознали, когда было уже слишком поздно, уже потеряв свою долю богатств золотого бума, что новый золотой идол вовсе не так уж несовместим с их кровавым идолом, что новая толпа также неохоча до работы и не способна к созданию цивилизации, как и они сами, и потому не станет, подобно британским чиновникам, терзать их требованиями соблюдать закон или, подобно христианским миссионерам, будоражить их рассуждениями о равенстве всех людей.

Буры в испуге бежали от того, чего в действительности так и не произошло, — от индустриализации страны. Правы они были только в той мере, в какой нормальное производство и цивилизация в самом деле могли автоматически разрушить сложившийся в расовом обществе образ жизни. Нормальный рынок труда и товаров ликвидировал бы расовые привилегии. Но золото и алмазы, которые вскоре стали источником существования для половины южноафриканского населения, не были товарами в том же смысле и не производились таким же образом, как шерсть в Австралии, мясо в Новой Зеландии или пшеница в Канаде. Иррациональное, нефункциональное место золота в экономике сделало его независимым от рациональных методов производства, что, разумеется, никогда не допустили бы столь фантастических различий между заработками черных и белых. Золото — это объект спекуляций,

<sup>35</sup> Froude J. A. Ibid.

чья стоимость в конечном счете определялась политическими факторами, — стало «животворной силой» Южной Африки<sup>36</sup>, но оно не стало основой нового экономического порядка.

Буры боялись также просто присутствия *uitlander*'ов, так как ошибочно принимали их за английских поселенцев. Уитлендеры же приезжали исключительно с целью быстрого обогащения, и оставались только те из них, кто не вполне преуспел, или кому, подобно евреям, за неимением собственной страны, некуда было возвращаться. Ни одна из групп не была очень уж озабочена тем, чтобы создать общество по образцу европейских стран, как это сделали переселенцы в Австралии, Канаде и Новой Зеландии. Как с радостью обнаружил Барнато, «трансваальское правительство не похоже ни на одно правительство в мире. Это и не правительство вовсе, а компания с неограниченной ответственностью, насчитывающей порядка двадцати тысяч акционеров»<sup>37</sup>. Точно так же результатом отчасти ряда взаимных недоразумений была и англо-бурская война, которую буры считали «кульминацией замысла британского правительства объединить Южную Африку», в то время как на самом деле она была продиктована главным образом интересами вкладчиков капитала<sup>38</sup>. Проиграв войну, буры проиграли не больше того, от чего они уже и так добровольно отказались, — свою долю в богатствах; но они определенно выиграли согласие остальных слоев европейцев, включая английское правительство, на неправоустройство расового общества<sup>39</sup>. Сегодня все слои населения, англичане и африкандеры, организованные рабочие и капиталисты, находятся в

<sup>36</sup> «Золотые рудники — это жизненный сок в жилах Союза... золотодобывающая промышленность давала прямо или косвенно средства к существованию половине населения, и... половина финансовых средств правительства поступала прямо или косвенно от добычи золота» (Kiewiet C. W. de. Op. cit. P. 155).

<sup>37</sup> См.: Emden P. H. Jews of Britain, A Series of Biographies. L., 1944. Глава «From Cairo to the Cape».

<sup>38</sup> Кьевье (Kiewiet C. W. de. Op. cit. P. 138–139) упоминает, однако, и другой «набор обстоятельств»: «Любая попытка английского правительства добиться от правительства Трансвааля уступок или реформ неизбежно делала из него агента горнопромышленных магнатов... Независимо от того, осознавали ли это на Даунинг-стрит или нет, Великобритания оказывала поддержку инвестициям капитала и помещению его в горнодобычу».

<sup>39</sup> «Многое в нерешительном и уклончивом образе действия английских государственных мужей поколения до англо-бурской войны может быть отнесено на счет колебаний английского правительства между его обязательствами перед туземцами и обязательствами перед белыми сообществами... Теперь, однако, война с бурами вынудила принять решение в вопросе о туземцах. По условиям мирного договора английское правительство отошло от своей гуманной позиции и позволило лидерам буров одержать блестящую победу в мирных переговорах, увенчавших их военное поражение. Англия прекратила усилия по регулированию жизненно важных отношений между белыми и черными. Даунинг-стрит капитулировала перед напором заморских окраин» (Kiewiet C. W. de. Op. cit. P. 143–144).

согласии по расовому вопросу<sup>40</sup>, и если возвышение нацистской Германии и ее сознательные усилия по превращению немецкого народа в расу значительно укрепили политические позиции буров, то поражение Германии не ослабило их.

Буры ненавидели финансистов больше, чем остальных иностранцев. Они каким-то образом понимали, что финансист был ключевой фигурой в комбинации излишнего богатства и излишних людей, что именно его функцией было превратить золотой бум в более масштабное и более постоянное деловое предприятие<sup>41</sup>. Более того, война с англичанами вскоре показала еще более решающую сторону дела; совершенно очевидным было то, что ее подтолкнули иностранные вкладчики капитала, требовавшие правительственной защиты их колоссальных прибылей в дальних странах как чего-то само собой разумеющегося, как если бы армии, вовлеченные в войну против иноземных народов, были просто полицейскими силами, борющимися с местными преступниками. Бурам было без разницы, что люди, внедрившие такого сорта насилие в темные делишки вокруг производства золота и алмазов, были уже не финансисты, а те, кто каким-то образом выбились из толпы и, подобно Сесилу Родсу, верили не столько в прибыль, сколько в экспансию ради самой экспансии<sup>42</sup>. Финансисты, бывшие в большинстве своем евреями и только лишь представителями, а не владельцами излишнего капитала, не имели ни необходимого политического влияния, ни достаточного экономического могущества, чтобы связать спекуляцию и финансовые авантюры с политическими целями и использованием силы.

Вне всякого сомнения, однако, что финансисты, не будучи решающим фактором в системе империализма, были достаточно характерными фигурами на его начальной стадии<sup>43</sup>. Они воспользовались преимуществами, предоставленными им перепроизводством капитала и сопровождавшим его полным переворачиванием экономических и моральных ценностей. Вместо простой торговли товарами и обыкновенной прибыли

<sup>40</sup> «Существует... совершенно ошибочное представление, что африкандеры и англоязычные жители Южной Африки по-прежнему не согласны в том, как следует обращаться с туземцами. Напротив, это — одно из немногих, в чем они так согласны» (*James S. Op. cit. P. 47*).

<sup>41</sup> Это происходило главным образом благодаря действиям по методу Альфреда Бейта, который появился здесь в 1875 г., чтобы скупать алмазы для одной из гамбургских фирм. «До этого держателями акций горнодобывающих предприятий были только спекулянты... Методы Бейта привлекли и подлинных инвесторов» (*Emden P. H. Op. cit.*).

<sup>42</sup> Очень характерной в этом отношении была позиция Барнато, когда речь зашла о слиянии его дела с группой Родса. «Для Барнато слияние было не чем иным, как финансовой сделкой в интересах делания денег... Поэтому он хотел, чтобы компания не имела ничего общего с политикой. Родс, однако, был не просто дельцом...» Это показывает, насколько не прав был Барнато, когда полагал: «Если бы я обладал образованностью Сесила Родса, то не было бы сесилей родсов» (*Ibid.*).

<sup>43</sup> Ср.: глава пятая настоящего издания, примечание 34.

от производства беспрецедентный размах приобрела торговля самим капиталом. Только одно это обеспечило финансистам исключительное положение, а вдобавок доходы от инвестиций в других странах скоро стали возрастать гораздо более быстрыми темпами, чем торговые прибыли, так что коммерсанты и купцы уступили первенство финансистам<sup>44</sup>. Главная экономическая характеристика финансиста состоит в том, что он извлекает прибыли не из производства и обмена товаров или из банковских операций, а единственно из комиссионных услуг. Это особенно важно в контексте нашего рассмотрения, так как это придает ему даже и в нормальной экономике тот оттенок нереальности, фантомообразного существования и какой-то в конечном счете напрасности, что были типичны для столь многого из того, что происходило в Южной Африке. Безусловно, финансисты никого не эксплуатировали, и их контроль за ходом дел в их деловых предприятиях был минимальным, независимо от того, были ли это совместные мошеннические организации или двусторонне обеспеченные здоровые начинания.

Стоит особо отметить также, что финансистами становились именно представители еврейской черни. Действительно, открытие золотых месторождений в Южной Африке совпало с первыми в новое время еврейскими погромами в России, так что в Южную Африку потянулась струйка еврейских эмигрантов. Здесь они, однако, едва ли сыграли бы какую-то роль в многонациональном сборище сорвиголов и ловцов удачи, если бы еще раньше там не оказалось некоторое число еврейских финансистов, которые немедленно проявили интерес к вновь прибывшим, понимая, что те могут служить их представителями в прочем населении.

Еврейские финансисты прибыли практически из всех стран Европейского континента, где с точки зрения их социального положения они были столь же излишни, как и другие южноафриканские иммигранты. Они были совершенно отличны от нескольких утвердившихся знатных еврейских семейств, чье влияние начиная с 1820 г. неуклонно падало и в чьи ряды по этой причине они не могли больше быть ассимилированы. Принадлежали они к той новой касте еврейских финансистов, которую после 70–80-х годов мы обнаруживаем во всех европейских столицах, куда они прибыли, покинув в большинстве своем страны своего рождения для того, чтобы попытаться счастья в международной биржевой игре. Этим

<sup>44</sup> Экономическую сторону империализма характеризует увеличение доходов от иностранных капиталовложений и относительное уменьшение доходов от иностранной торговли. Было подсчитано, что прибыль Великобритании от всей иностранной и колониальной торговли в 1899 г. составила только 18 млн фунтов, в то же время доход в том же году от иностранных капиталовложений составил от 90 до 100 млн фунтов (см.: *Hobson J. A. Imperialism. L., 1938. P. 53 ff.*). Очевидно, что эти капиталовложения требовали более долгосрочной и планомерной политики эксплуатации, чем простая торговля.

они занимались повсюду, к великому смятению старых еврейских фамилий, которые были слишком слабы, чтобы воспрепятствовать беззащитному делячеству вновь прибывших, и потому были счастливы, когда те переносили поле своей деятельности за моря. Другими словами, еврейские финансисты стали такими же излишними в сфере указанной еврейской банковской деятельности, как богатство, которое они представляли, стало излишним в узаконенном промышленном производстве, а ловцы удачи — в мире узаконенного наемного труда. В самой Южной Африке, где перед коммерсантами уже встала угроза уступить свой статус в экономике страны финансистам, вновь прибывшие — семейства Барнато, Бейты, Сэми Маркс — вытеснили старых еврейских поселенцев с их позиций с большей легкостью, чем это происходило в Европе<sup>45</sup>. В Южной Африке, хотя едва ли где-либо еще, они играли роль третьего фактора в первоначальном союзе между капиталом и толпой; в значительной мере они и привели в движение создание этого союза, держали в своих руках приток капитала и его инвестирование в золотодобычу и производство алмазов и вскоре стали более заметны, чем кто-либо иной.

То, что они были еврейского происхождения, добавляло к их роли финансистов неуловимый символический привкус — привкус исходной бездомности и неукорененности — и тем самым приносило элемент таинственности и накладывало на все дело особый символический отпечаток. К этому должны быть добавлены их действительные международные связи, которые, естественно, усиливали распространенные в народе заблуждения относительно еврейского политического могущества повсюду в мире. Вполне можно понять, почему фантастические представления о международном тайном еврейском правительстве, изначально порожденные близостью еврейского банковского капитала к государственным экономическим предприятиям, напитались здесь еще большим, чем на Европейском континенте, ядом. Евреи впервые попали здесь в центр расистского общества и почти автоматически были выделены бурами из всех остальных «белых» людей как объект особой ненависти, не только из-за того, что они представляли собой всю экономическую ситуацию, но и как другая «раса», воплощение дьявольского принципа, привнесенного в нормальный мир «черных» и «белых». Ненависть эта становилась более яростной еще и из-за того, что, как подзревали буры, им будет труднее, чем кого-нибудь иного, убедить ев-

<sup>45</sup> Первые еврейские поселенцы в Южной Африке в XVIII и первой половине XIX в. были авантюристами; начиная с середины XIX в. за ними последовали коммерсанты и торговцы, самые видные из которых обратились к промыслам, таким, как рыболовство и добыча морского зверя (братья де Пасс) и разведение страусов (семья Мозенгаль). Позднее они были почти силком вовлечены в алмазное производство в Кимберли, где, однако, они никогда не достигли такого выдающегося положения, как Барнато и Бейт.

реев, с их более древней и обоснованной претензией на избранность, в избранности самих буров. Если христианство просто отрицало избранность как таковую, иудаизм казался бросающим вызов соперником. Задолго до того, как нацисты намеренно организовали в Южной Африке антисемитское движение, расовый вопрос вторгся в конфликт между *uitlander*'ами и бурами в форме антисемитизма<sup>46</sup>, что особенно примечательно, поскольку евреи не сохранили своей важной роли в производстве золота и алмазов до начала следующего столетия.

Как только золото и алмазодобывающая отрасль достигли империалистической стадии развития, когда акционеры-абсентисты требуют от своих правительств политической защиты, оказалось, что евреи не могут сохранить за собой своих важных экономических позиций. У них нет своего правительства, к которому можно обратиться за помощью, а положение их в южноафриканском обществе настолько ослабление влияния. Они могли обеспечить себе экономическую надежность и постоянное пребывание в Южной Африке, в чем они нуждались больше, чем какая-либо иная группа *uitlander*'ов, только заполучив определенный статус в обществе, что в данном случае означало допуск в закрытые английские клубы. Им приходилось обменивать свое влияние на право считаться джентльменом, как об этом открыто заявил Сесил Родс, когда покупал себе долю в алмазном тресте Барнато после слияния его компании «Де Бирс» с компанией Альфреда Бейта<sup>47</sup>. Но эти евреи могли предложить и нечто большее, чем просто экономическое могущество; только благодаря им не меньший, чем они, нувориш и авантюрист Сесил Родс в конце концов был признан respectable английским банковским бизнесом, с которым у еврейских финансистов были все-таки лучшие связи, чем у кого бы то ни было<sup>48</sup>. «Ни один из английских банков не ссудил бы и шиллинга под обеспечение золотыми акциями. И только неограниченное доверие к этим алмазным дельцам из Кимберли действовало как магнит на единоверцев в Англии»<sup>49</sup>.

Золотой бум превратился в окончательно сложившееся империалистическое предприятие только после того, как Сесил Родс отобрал у еврейских предпринимателей их владения, вырвал у Англии и забрал

<sup>46</sup> *Schultze E. Die Judenfrage in Sued-Afrika // Der Weltkraft. October, 1938. Bd. 15. № 178.*

<sup>47</sup> Барнато продал свои акции Родсу, чтобы быть допущенным в Кимберлийский клуб. «Это не просто денежная сделка, — будто бы сказал Родс Барнато. — Я намереваюсь сделать из тебя джентльмена». Барнато наслаждался жизнью джентльмена восемь лет, а затем покончил с собой (см.: *Millin S. G. Op. cit. P. 14, 85*).

<sup>48</sup> «Путь от одного еврея (в данном случае Альфреда Бейта из Гамбурга) к другому — легок. Родс отправился в Англию повидать лорда Ротшильда, и тот встретил его с одобрением» (*Ibid.*).

<sup>49</sup> *Emden P. H. Op. cit.*

в свои руки инвестиционную политику и стал центральной фигурой в Капской колонии. 75 процентов выплачиваемых держателям акций дивидендов шло за рубеж, в подавляющем большинстве в Великобританию. Родсу удалось заинтересовать английское правительство своими деловыми начинаниями, убедить его в том, что для защиты капиталовложений необходимы экспансия и экспорт средств насилия и что такая политика является священным долгом любого национального правительства. В то же время в самой Капской колонии он ввел упомянутую типично империалистическую экономическую политику игнорирования всех промышленных предприятий, не находящихся во владении заморских акционеров, в результате чего не только золотодобывающие компании, но и само правительство тормозили эксплуатацию богатейших залежей промышленных металлов и производство товаров широкого потребления<sup>50</sup>. Заложив основы такой политики, Родс создал и самый влиятельный фактор в процессе последующего умиротворения буров; игнорирование развития всех по-настоящему промышленных предприятий было самой твердой гарантией исключения нормального капиталистического развития, а следовательно, и нормального изживания расового общества.

Несколько десятилетий ушло на то, чтобы буры поняли, что им нечего бояться империализма, поскольку он ни разовьет их страну так, как это произошло в Австралии и Канаде, ни станет извлекать прибыли из всей страны в целом, удовлетворившись высоким оборотом инвестиций в одной только специфической отрасли. Империализм, таким образом, обнаружил желание обойти так называемые законы капиталистического производства и их эгалитарные проявления, коль скоро была обеспечена безопасность этих однобоких капиталовложений. В конечном счете это привело к прекращению действия закона простой прибыльности, и Южная Африка стала первым примером того явления, которое всегда имеет место в случаях, когда толпа становится решающим фактором в союзе между толпой и капиталом.

В одном отношении, и притом самом важном, буры остались неоспоримыми хозяевами страны: везде, где политика рационального труда и производства вступала в конфликт с расовыми соображениями, верх

<sup>50</sup> «Южная Африка сосредоточила всю свою производительную энергию мирного времени на добыче золота. Средний вкладчик капитала помещал свои деньги в золото, так как это обещало наибольшую и наиболее быструю отдачу. Но Южная Африка располагала также громадными залежами железной руды, меди, асбеста, марганца, олова, свинца, платины, хрома, слюды и графита. Их добыча, наряду с угольными шахтами и горсткой фабрикой по производству товаров широкого потребления, считалась «второстепенной» отраслью. Интерес к этим отраслям со стороны инвесторов носил ограниченный характер. И развитие этих второразрядных производств не поощрялось золотодобывающими компаниями и в значительной мере тормозилось правительством» (*James S. Op. cit.* P. 333).

брали последние. Снова и снова мотивы прибыли приносились в жертву требованиям расового общества, часто с неимоверными потерями. Рентабельность железных дорог была уничтожена в одночасье, когда правительство уволило 17 тысяч работников-банту и стало платить белым служащим зарплату, на 200 процентов большую<sup>51</sup>; расходы на муниципальное управление превысили разумные пределы после замены местных муниципальных служащих белыми; Закон о цветном барьере окончательно отстранил всех черных рабочих от механизированного труда, что привело к колоссальному росту издержек производства промышленных предприятий. Теперь расистский мир буров мог чувствовать себя спокойно и меньше всего опасаться белых рабочих, чьи профсоюзы горько жаловались на недостаточность мер, содержащихся в Законе о цветном барьере<sup>52</sup>.

На первый взгляд кажется странным, что ожесточенный антисемитизм пережил и исчезновение еврейских финансистов, и успешную индоктринацию расизма во все группы европейского населения. Евреи, разумеется, не были исключением из этого правила; они, как и все остальные, приспособились к расизму, и их поведение по отношению к неграм не вызывало упреков<sup>53</sup>. И все же, сами того не осознавая и под давлением особых обстоятельств, они порвали с одной из наиболее крепких традиций страны.

Первый признак «ненормального» поведения появился сразу после того, как еврейские финансисты утратили свои позиции в золотодобывающей и алмазной отраслях. Они не покинули страну, а поселились в ней навсегда<sup>54</sup>, заняв необычное для белой группы положение — ни в числе «золотых» поселенцев, ни среди бедняцкого белого сброда». Вместо этого они почти сразу же приступили к созданию тех отраслей, которые были, по мнению южноафриканцев, «второстепенными», так как

<sup>51</sup> *James S. Op. cit.* P. 111–112. «Правительство полагало, что это будет хорошим примером для частных предпринимателей... и общественное мнение вскоре вынудило многих предпринимателей изменить свою политику в области найма».

<sup>52</sup> *James S. Op. cit.* P. 108.

<sup>53</sup> И здесь может быть обнаружена имевшая место до конца XIX в. определенная разница между ранними поселенцами и финансистами. Например, негрофильски настроенный член капского парламента Саул Саломон происходил из семьи, поселившейся в Южной Африке в начале XIX в. (см.: *Emden P. H. Op. cit.*).

<sup>54</sup> Между 1924 и 1930 гг. в Южную Африку иммигрировало 12319 евреев, а покинуло страну всего 461 человек. Эти цифры весьма поразительны, если принять во внимание, что весь приток иммигрантов за соответствующий период за вычетом эмигрантов составил 14241 человек (см.: *Schulze E. Op. cit.*). Если сравнить эти цифры с данными об эмиграции в таблице в примечании 6, то мы увидим, что в 20-е годы евреи составляли примерно треть всей иммиграции в Южную Африку и что они, в полную противоположность другим категориям *uitlander*'ов, поселялись здесь навсегда; их доля в ежегодной эмиграции составляла менее 2 процентов.

не были связаны с золотом<sup>55</sup>. Евреи стали производителями мебели и одежды, держателями магазинов и преставителями свободных профессий, медиками, юристами и журналистами. Другими словами, что бы евреи ни думали о своей замечательной приспособленности к продиктованным чернью расистским условиям в стране, они нарушили самую важную черту ее уклада, внедрив в южноафриканскую экономику фактор нормальной рентабельности, в результате чего внесенный в парламент г-ном Маланом билль об изгнании всех евреев из Союза был с энтузиазмом поддержан всеми белыми бедняками и целиком всем африкандерским населением<sup>56</sup>.

Эта перемена экономической функции южноафриканского еврейства, превращение его из скопища самых теневых фигур в теневом мире золота и расизма в единственную производительную часть населения явилось чем-то вроде запоздалого подтверждения давних опасений буров. Они не столько ненавидели евреев как носителей избыточного богатства или представителей мира золота, сколько боялись и презирали их как воплощение того самого образа *uitlander*'ов, стремящихся преобразовать страну в нормальную производящую часть западной цивилизации, экономическая рациональность которой, мотивируемая стремлением к прибыли, самое меньшее, создаст смертельную угрозу фантомному миру расизма. И когда евреев в конце концов оторвали от золотого источника жизни *uitlander*'ов и им, в отличие от любых других иностранцев, оказавшихся в подобных обстоятельствах, некуда было податься и они принялись за развитие «второстепенных» отраслей, оказалось, что буры были правы. Евреи сами по себе, а не в качестве воплощения кого-то или чего-то, стали настоящей опасностью для равного общества. На сегодняшний день на евреях сосредоточилась враждебность всех, кто исповедует веру в расовое превосходство или в золото, а это практически все белое население Южной Африки. Но евреи не могут и не желают заключить союз с единственной другой группой, которая медленно и постепенно выдирается из пут расистского общества, — с черными рабочими, все более и более осознающими свою принадлежность к человеческому роду под воздействием регулярной трудовой деятельности и городского образа жизни. Хотя они, в противоположность «белым», обладают подлинным расовым происхождением,

<sup>55</sup> «Ярые африкандерские националистические вожди испытывали неприязнь по поводу того, что в Союзе проживает 102 тыс. евреев, работающих служащими, предпринимателями, владельцами магазинов или являющихся представителями свободных профессий. Эти евреи много сделали для создания в Южной Африке второстепенных отраслей (т.е. отраслей иных, нежели добыча золота и алмазов), сосредоточенных в основном на производстве мебели и одежды» (*James S. Op. cit. P. 46*).

<sup>56</sup> См.: *Ibid. P. 67–68*.

они не делают из расы фетиша, и уничтожение расистских порядков сулит им только освобождение.

В противоположность нацизму, для которого расизм и антисемитизм были главными орудиями разрушения цивилизации и установления нового политического порядка, в Южной Африке они являются само собой разумеющимся делом, естественным следствием сложившегося положения вещей. Своим появлением на свет они не были обязаны нацизму, и тот оказывал на них лишь косвенное влияние.

Однако на поведение европейских народов южноафриканское расистское общество оказывало подлинный и непосредственный эффект бумеранга: поскольку в случае временных затруднений с собственными трудовыми ресурсами в Южную Африку лихорадочно ввозилась рабочая сила из Индии и Китая<sup>57</sup>, изменение отношения к цветным народам немедленно дало себя знать в Азии, где к местным жителям впервые стали относиться так же, как и к тем африканским дикарям, которые когда-то буквально до потери сознания напугали европейцев. Разница состояла лишь в том, что для обращения с индийцами и китайцами, как с существами, не принадлежащими к роду человеческому, не могло быть ни оправдания, ни по человечески понятных оснований. В определенном смысле только здесь и началось настоящее преступление, ибо тут-то уж каждый должен был понимать, что он творит. Правда, расистские представления выступали в Азии в несколько модифицированном виде; выражение «высшие и низшие расы», которым стал пользоваться «белый человек», когда понес на себе свое бремя, все-таки содержит в себе что-то вроде шкалы и возможности постепенного развития, чего нет в представлении о двух совершенно различных видах животной жизни. Однако, поскольку расовый принцип пришел на смену старым понятиям об азиатах как о чужих экзотических народах, его применение здесь в качестве орудия господства и эксплуатации было более явным и намеренным.

Менее заметным на поверхности, но гораздо более важным для тоталитарных режимов следствием опыта африканского расистского общества было открытие, что мотивация, основанная на прибыли, вовсе не священна и может быть отменена, что общества могут функционировать в соответствии с другими, нежели экономические, принципами и что в таких условиях в преимущественном положении могут оказы-

<sup>57</sup> В XIX в. на сахарные плантации Наталя было ввезено более чем 100 тыс. кули. За ними последовали китайские рабочие на рудниках, которых в 1907 г. насчитывалось около 55 тыс. В 1910 г. английское правительство распорядилось о репатриации всех китайских рабочих рудников, а в 1913 г. запретило дальнейшую иммиграцию из Индии или какой-либо другой части Азии. В 1931 г. в Союзе все еще оставалось 142 тыс. выходцев из Азии, и с ними обращались, как с африканскими туземцами. (См. также: *Schultze E. Op. cit.*)

ваться те, кто при рациональном производстве капиталистической системы принадлежал бы к непривилегированным слоям. Расистское общество Южной Африки преподавало черни великий урок того, о чем та и так смутно догадывалась, — что путем обыкновенного насилия какая-то непривилегированная группа может создать класс, расположенный ниже, чем она сама, что для этой цели ей не обязательна революция, а достаточно сговора с определенными группами правящих классов и что для такой тактики наиболее подходящи чужие или отсталые народы.

В полном объеме африканский опыт был впервые реализован такими лидерами черни, как Карл Петерс, которые решили, что они тоже должны принадлежать к господствующей расе. Африканские колониальные владения стали самой благодатной почвой для произрастания того, чему впоследствии суждено было стать нацистской элитой. Здесь они своими глазами видели, как можно превращать народы в расы и как, просто взяв на себя инициативу в этом процессе, можно выдвинуть свой народ на позицию господствующей расы. Здесь они также исцелились от иллюзии относительно неперменной «прогрессивности» исторического процесса, ибо если курсом прежних колонизаций был курс на поселение и освоение, то «голландцы отселились от всего на свете»<sup>58</sup>, и если «экономическая история показала однажды, что человек развивался, двигаясь шаг за шагом от охотничьего образа жизни к скотоводческим занятиям, а затем к оседлому земледелию», то история буров ясно продемонстрировала, что можно также прибыть «из страны, передовой в области рачительной и интенсивной обработки земли... (и) постепенно превратиться в скотовода и охотника»<sup>59</sup>. Эти лидеры прекрасно понимали, что именно из-за того, что буры опустили на уровень диких племен, они сохранили свое неоспоримое господство. И они были готовы охотно заплатить эту цену, спуститься на уровень расовой организации, если, проделав это, сами могли заполучить власть над другими «расами». А из своего опыта общения с людьми, собравшимися в Южной Африке со всех концов света, они знали, что на их стороне будет вся чернь цивилизованного мира<sup>60</sup>.

<sup>58</sup> Barnes L. Op. cit. P. 13.

<sup>59</sup> Kiewiet C. W. de. Op. cit. P. 13.

<sup>60</sup> «Когда экономисты объявили, что высокие зарплаты суть форма дарового вознаграждения и что таким образом защищенный труд неэкономичен, ответом было то, что жертва эта оправдана, если обездоленные слои белого населения в конечном счете обрели прочное место в современном образе жизни». «Но ведь не только в Южной Африке после первой мировой войны голоса традиционных экономистов не пользовались вниманием... Для поколения, при котором Англия отказалась от свободной торговли, Америка — от золотого стандарта, Третий рейх прибег к автаркии... настоящие Южной Африки на том, чтобы ее экономическая жизнь строилась с прицелом на обеспечение господствующего положения белой расы, не выглядело таким уж неуместным» (Kiewiet C. W. de. Op. cit. P. 224, 245).

### 3. Империалистический характер

Что касается двух главных политических инструментов империалистического правления, то расизм был изобретен в Южной Африке, а бюрократия — в Алжире, Египте и Индии; первый был почти бессознательной реакцией на племена, чьей принадлежности к человеческому роду европейский человек стыдился и боялся, в то время как вторая была следствием той формы администрации, с помощью которой европейцы пытались править чужими народами, считавшимися ими безнадежно отставшими и в то же время нуждавшимися в их особом покровительстве. Другими словами, раса была побегом в безответственность, при которой уже не может существовать ничто человеческое, а бюрократия — результатом такой ответственности, которую не может нести ни один человек по отношению к своим согражданам, ни какой-нибудь народ по отношению к другому народу.

Преувеличенное чувство ответственности у английских администраторов в Индии, пришедших на смену бёрковским «разрушителям закона», имело свое материальное основание в том, что Британская империя и в самом деле была обретена в «припадке рассеянности». Поэтому те, кто оказались перед свершившимся фактом и на кого легла работа по сбережению того, что досталось им столь случайно, должны были найти обоснования, способные истолковать эту случайность как некий волевой акт. Такого рода перетолкования исторических фактов посредством легенд осуществлялись с древних времен, и легенды, которые нагрезилла английская интеллигенция, сыграли решающую роль в формировании английского бюрократа и агента английских секретных служб.

Легенды всегда играли огромную роль в сотворении истории. Человек, которому не дан дар передельывать прошлое и который всегда является вынужденным наследником деяний других и всегда обременен ответственностью за нечто, представляющееся результатом скорее непрерывного развертывания не зависящих от субъективной воли событий, чем сознательных действий, требует объяснения и истолкования прошлого, где, как ему кажется, спрятан таинственный ключ к его будущей судьбе. Легенды были духовным фундаментом всех древних городов, империй, народов, обещая указать путь в безграничном пространстве будущего. Никогда не опираясь на надежную связь между фактами, но всегда выражая их подлинное значение, они давали людям истину, выходящую и за пределы реальности и за пределы воспоминаний.

Легендарные объяснения истории всегда служили позднейшими исправлениями фактов и действительных событий, необходимыми именно из-за того, что сама история налагает на человека ответственность за

деяния, которых он не совершал, и за последствия, которых никогда никто не предвидел. Истина древних легенд, то, что сообщает им такую захватывающую актуальность спустя века после того, как рассыпались в прах обслуживавшиеся ими и города, и империи, и народы, была лишь формой, в которой прошлые события приводились в соответствие с условиями человеческого существования вообще и с политическими устремлениями в частности. Только имея дело с откровенно выдуманной сказкой о прошлых событиях, соглашается человек принять на себя ответственность за них и считать прошлые события своим прошлым. Легенды вводят его во владение тем, чего он не совершал, и дают ему способность мириться с тем, что он не может изменить. В этом смысле легенды являются не только частью первых воспоминаний человечества, но фактически с них начинается сама человеческая история.

Период расцвета исторических и политических легенд довольно-таки внезапно оборвался с рождением христианства. Его истолкование истории — от Адама до Судного дня — как единого пути к искуплению и спасению предлагало самое мощное и всеобъемлющее объяснение человеческих судеб. Только после того как духовное единство христианских народов уступило место множеству наций, как дорога к спасению стала делом скорее индивидуальной веры, чем универсальной теории, приложимой ко всем случаям жизни, возникли новые виды исторического объяснения. XIX в. развернул перед нами любопытный спектакль почти одновременного рождения самых разнообразных и противоречащих друг другу идеологий, каждая из которых претендовала на знание скрытой истины о фактах, без нее непостижимых. Легенды, однако, не суть идеологии; они не задаются целью дать универсальное объяснение, а имеют дело с конкретными фактами. Довольно-таки знаменательно, что возникновение национальных государств нигде не сопровождалось созданием соответствующей легенды и что первая такая попытка в новое время была предпринята именно тогда, когда очевидным стал упадок национального политического организма, и место старомодного национализма, похоже, занял империализм.

Автором империалистической легенды является Редьярд Киплинг, ее тема — Британская империя, ее результат — империалистический характер (империализм был единственной в современной политике школой воспитания характера). И хотя легенда Британской империи имела мало общего с реальностью британского империализма, она принудила или соблазнила пойти на службу ему лучших сынов Англии. Ибо легенды привлекают в наше время лучших, равно как идеологии привлекают посредственных, а передаваемые шепотом небылицы о работающих за кулисами ужасающих тайных силах — худших. Сомнения нет, для появления легендарных историй и оправданий не было лучшего политическо-

го образования, чем Британская империя, чем английский народ, проделавший путь от целенаправленного создания колониальных поселений до подчинения и господства над другими народами по всему миру.

Легенда об основании империи в том виде, как излагает ее Киплинг, отправляется от действительных базисных особенностей жителей Британских островов<sup>61</sup>. Окруженные морем, они нуждаются в помощи трех стихий — Воды, Ветра и Солнца — и обретают ее, изобретя Корабль. Корабль сделал возможным таящий в себе вечную опасность союз со стихиями и превратил англичанина в господина мира. «Вы завоеуете мир, — говорит Киплинг. — И никому не будет дела до того, как вам это удалось; вы сохраните за собой мир, и никто не будет знать, как вы сумели это сделать; и вы понесете мир на своем горбу, и никто не будет видеть, как вы это делаете. Но ни вы, ни ваши сыновья не извлекут из этой работенки ничего, кроме Четырех Даров — одного для Моря, одного для Ветра, одного для Солнца и одного для Корабля, несущего вас на борту... Ибо завоеывая мир, и сохраняя его за собой, и неся его на своем горбу — и на земле, и на море, и в воздухе, — ваши сыновья всегда будут иметь при себе Четыре Дара. Хитроумными, и немногословными, и тяжелыми, очень тяжелыми на руку будут они и всегда чуть-чуть с наветренной стороны от любого врага, чтобы быть защитой для всех, кто плывет по морям по законному на то праву».

Сказочка «Первый моряк» так близка древним легендам об основании городов и государств тем, что она представляет британцев в виде единственно политически зрелого народа, соблюдающего закон и озабоченного процветанием мира в окружении варварских племен, не могущих и не знающих, как сохранить его единство. К сожалению, в этой картине нет внутренней правды древних легенд; миру и было дело до того, как они это делали, и он все знал и все видел, так что никакой сказкой его нельзя было убедить, что они «не извлекут из этой работенки ничего». Но в самой Англии существовала определенная реальность, отвечавшая киплинговской легенде и в общем-то и сделавшая ее возможной: это — наличие таких добродетелей, как рыцарство, благородство, доблесть, пусть даже и абсолютно неуместных в политической реальности, в которой господствуют Сесил Родс или лорд Керзон.

Тот факт, что «бремя белого человека» представляет собой либо лицемерие, либо расизм, не остановил многих лучших из англичан от взваливания этого бремени на свои плечи и выступления в роли донкихотствующих юродивых империализма. Столь же действительна в Англии, как традиция лицемерия, и другая, менее очевидная, которую соблазнительно назвать традицией дракоборцев, с энтузиазмом отправляющих-

<sup>61</sup> Kipling R. The first sailor // Kipling R. Humorous tales. 1891.

ся в далекие экзотические земли к чужим примитивным народам, чтобы изничтожить многочисленных драконов, царивших здесь в течение веков. Больше, чем крупица правды, содержится в другом рассказе Киплинга «Гробница его предка»<sup>62</sup>, в котором семья Чинни «служит Индии поколение за поколением подобно тому, как дельфин за дельфином плывут, пересекая океан». Они убивают оленя, крадущего урожай бедняка, обучают последнего секретам усовершенствованного земледелия, помогают ему избавиться от наиболее вредных суеверий и с размахом охотятся на тигров и львов. Их единственная награда — это действительно только «гробница предков» и семейная легенда, в которую верит целое индийское племя и согласно которой «у достопочтенного предка... есть собственный тигр — верховой тигр, на котором он объезжает страну, когда ни захочет». К несчастью, эта скачка по всей округе служит «верным знаком войны, или чумы, или... или чего-то эдакого», а в описываемом случае — знаком проведения вакцинации. Так что самый младший из Чиннов, не очень большая сошка в армейской иерархии, но всемогущая фигура в том, что касается индийского племени, вынужден застрелить принадлежащего предку зверя, чтобы люди могли сделать прививки, не боясь «войны, или чумы, или чего-то эдакого».

По тому, как течет современная жизнь, Чинны действительно «счастливее большинства людей». Их удача в том, что они по рождению избирают такую карьеру, которая гладко и естественно ведет их к осуществлению наилучших мечтаний юности. Когда другие мальчишки бывают вынуждены забывать о «благородных порывах», они как раз становятся достаточно взрослыми, чтобы претворить их в действие. А когда после 30 лет службы они уходят в отставку, их пароходик проплывает мимо «отправляемого далеко транспорта с войсками, увозя сына на восток, где он будет выполнять свой семейный долг», так что все заключенное в существовании старого мистера Чинна могущество назначенного правительством и оплачиваемого армией драконоборца будет передано следующему поколению. Сомнения нет, английское правительство платит им за их службу, однако вовсе не так ясно, кому же они служат в конце концов. Совершенно не исключается, что на самом деле они поколение за поколением служат данному индийскому племени, и во всех отношениях утешительно хотя бы то, что само племя в этом полностью убеждено. То, что вышестоящие учреждения едва ли хоть как-то осведомлены о странных похождениях и трудах незаметного лейтенанта Чинна, что они вряд ли знают о том, насколько успешно воплотился в нем его дед, дает его призрачному двойному существованию прочную основу в реальности. Он просто чувствует себя

уверенно в двух мирах, разделенных водо- и сплетнепроницаемой стеной. Рожденный «в самом сердце страны кустарников и тигров» и получивший образование в среде своих соотечественников в мирной, уравновешенной и обо всем информированной Англии, он готов всегда жить с двумя народами, так как и его корни, и его знания связаны с традициями, языком, суевериями и предрассудками обоих. В одно мгновение он может превращаться из послушного исполнителя, каким должно быть солдату Ее Величества, в великолепную благородную фигуру в мире туземцев, любимого всеми защитника слабых, драконоборца из старинных сказок.

Суть в том, что эти странные донкихотские защитники слабых, игравшие свою роль за кулисами официальной британской администрации, были продуктом не столько наивного воображения примитивного народа, сколько мечтаний, вобравших в себя лучшие из европейских и христианских традиций, пусть даже и выродившихся в бесплодные детские идеалы. Не солдат Ее Величества и не высокопоставленный британский чиновник учили туземцев представлениям о величии западного мира. На это оказались способны только те, кто не смогли изжить свои юношеские идеалы и ради них поступали на колониальную службу. Для них империализм был не чем иным, как случайной возможностью убежать от общества, в котором человек, если он хочет стать взрослым, должен расстаться со своей юностью и забыть о ней. Английское общество только радовалось их отъезду в далекие страны, — это позволяло терпеть и даже преодолевать культивирование юношеских идеалов в системе публичных школ: колониальная служба забирала их из Англии и, так сказать, предотвращала перерастание идеалов их юности в идеи взрослых людей. Странные экзотические земли привлекали лучших представителей английской молодежи с конца XIX в., лишая общество Англии самых честных и самых опасных элементов и в дополнение к этому подарку судьбы гарантируя некую сохранность, а может быть, и окостенение юношеского благородства, что помогло сберечь, но и инфантилизировало западные моральные стандарты.

Советник вице-короля и финансовый участник доимпериалистического управления Индией лорд Кромер еще принадлежал к этой категории британских драконоборцев. Ведомый единственно «чувством самопожертвования» во имя отсталых народов и «чувством долга»<sup>63</sup> перед слабой Великобританией, которая «породила когорту служащих, имеющих и желание, и умение управлять»<sup>64</sup>, он отклонил в 1894 г. предложение за-

<sup>62</sup> Kipling R. The day's work. 1898.

<sup>63</sup> Zetland L. J. Lord Cromer. 1932. P. 16.

<sup>64</sup> Cromer E. B. The government of subject races // Edinburg Review. January 1908.

нять пост вице-короля, а десять лет спустя — должность государственного секретаря по иностранным делам. Вместо всех этих почестей, которыми удовлетворился бы человек меньшего калибра, он в 1883–1908 гг. оставался на мало рекламируемом, но наделенном громадной властью посту британского генерального консула в Египте. Здесь он стал первым империалистическим администратором, бесспорно «не уступающим никому из тех, кто своей службой прославил английскую нацию»<sup>65</sup>, возможно последним, кто умер с непоколебленным сознанием гордости:

*Нет, не почет меня влечет —  
Наградой станут мне надолго  
От пут избавленный народ,  
Покой исполненного долга*<sup>66</sup>.

Кроммер отправился в Египет, так как понимал, что «англичанину, распластавшемуся по всему свету, чтобы только удержать свою любимую Индию (необходимо) встать твердой ногой на берегах Нила»<sup>67</sup>.

Египет был для него лишь средством для достижения цели, вынужденной экспансией ради безопасности Индии. Почти в тот же самый момент случилось так, что на Африканский континент ступил ногой другой англичанин, хотя и из других соображений и на противоположном его конце: Сесил Родс отправился в Южную Африку и спас Капскую колонию, после того как она потеряла всякое значение для «любимой Индии». Идеи Родса относительно экспансии далеко опередили взгляды его более уважаемых коллег на севере; для него экспансия не нуждалась в таких рассудочных мотивах, как сохранение уже приобретенных владений. «Экспансия — это все», и Индия, Южная Африка и Египет были для него равно важными или неважными как ступени экспансии, ограниченной только размерами земли. Безусловно, существовала пропасть между вульгарным мегаломаном и образованным человеком долга и самопожертвования, и все-таки они пришли к примерно одинаковым результатам и несут равную ответственность за «большую игру» секретности, которая была не менее безумной и не менее пагубной для политики, чем фантомный мир рас.

Поразительное сходство между правлением Родса в Южной Африке и владычеством Кроммера в Египте состояло в том, что оба они рассматривали эти страны как средство для некоей якобы более высокой цели. Отсюда общие для них безразличие и отстраненность, отсутствие ин-

<sup>65</sup> Из выступления лорда Керзона на открытии мемориальной доски Кроммеру (см.: *Zetland L. J. Op. cit. P. 362*).

<sup>66</sup> Цит. из большой поэмы Кроммера (см.: *Zetland L. J. Op. cit. P. 17–18*).

<sup>67</sup> Из письма, написанного лордом Кроммером в 1882 г. (*Ibid. P. 87*).

тереса к своим подданным, что отличало их отношение как от жестокости и произвола местных азиатских деспотов, так и от бесшабашного грабительства завоевателей или безумного анархического угнетения племени одной расы племенем другой. Как только Кроммер приступил к управлению Египтом ради Индии, он утратил свою роль покровителя «отсталых народов» и уже не мог искренне верить в то, что «интересы подчиненных наций являются главной основой всей имперской ткани»<sup>68</sup>.

Отстраненность стала новым качеством всех работников британских служб; это была более опасная форма управления, чем деспотизм или произвол, так как тут не терпелось даже последнее звено между деспотом и его подданными, образуемое взятками и дарами. Сама неподкупность британской администрации делала деспотический аппарат управления более бесчеловечным и недоступным для подданных, чем любые азиатские правители и завоеватели<sup>69</sup>. Неподкупность и отстраненность были символами абсолютного расхождения интересов до такой точки, где им не разрешено даже конфликтовать. По сравнению с этой ситуацией эксплуатация, угнетение или коррупция выглядели гарантиями человеческого достоинства, так как эксплуататор и эксплуатируемый, угнетатель и угнетенный, подкупающий и подкупаемый все-таки жили в одном мире, стремились к одним целям, боролись друг с другом за обладание одними и теми же вещами, а отстраненность разрушила эту *tertium comparationis*. Хуже всего было то, что отстраненно держащийся администратор и не догадывался, что он изобрел новую форму управления, а действительно был убежден в том, что его обращение с подчиненными было продиктовано «принудительностью контакта с народом, живущим в нижележащей плоскости». Так что вместо веры в собственное превосходство с примесью в общем безвредного тщеславия, он чувствовал себя принадлежащим к «нации, достигшей сравнительно высокого уровня цивилизации»<sup>70</sup>, и потому занимающим свой пост по праву рождения, независимо от личных достижений.

Карьера лорда Кроммера представляет собой особый интерес, так как в ней как раз воплощен поворот от прежней колониальной к империалистической форме управления. Его первой реакцией на свои обязанности в Египте было заметное чувство неловкости и озабоченности в связи с таким положением дел, которое не являлось «аннексией», а было «гибридной формой правительства, которому нет названия и не было прецедента»<sup>71</sup>. В 1885 г., после двух лет пребывания на посту, у него

<sup>68</sup> *Cromer E. B. Op. cit.*

<sup>69</sup> Взятка «была, возможно, самым человеческим институтом среди проволочных заграждений русского порядка» (*Olgin M. J. The soul of the Russian Revolution. N.Y., 1917*).

<sup>70</sup> *Zetland L. J. Op. cit. P. 89*.

<sup>71</sup> Из письма, написанного лордом Кроммером в 1884 г. (*Ibid. P. 117*).

еще сохранялись серьезные сомнения в системе, в которой он был британским генеральным консулом и фактическим правителем, и он писал, что «в высшей степени деликатный механизм, [чья] дееспособность очень сильно зависит от рассудительности и способностей небольшого числа людей... может иметь оправдание [только] в том случае, если мы имеем в виду возможность ухода... Если же таковая возможность становится столь отдаленной, что практически ее можно не учитывать... для нас было бы лучше всего... договориться... с другими державами о полном взятии на себя управления страной, гарантий ее долга и т.п.»<sup>72</sup>. Вне сомнения, Кромер был прав, и нормализовать положение могли либо оккупация, либо эвакуация из страны. Но этой «гибридной форме правительства» суждено было стать характерной для всех империалистических предприятий, в результате чего несколько десятилетий спустя здравое суждение Кромера о возможных и невозможных формах правительства было забыто, как было забыто и давнее проницательное замечание лорда Селборна о беспрецедентности расового общества как особого образа жизни. Ничто не может лучше охарактеризовать начальную стадию империализма, чем сочетание этих двух суждений: беспрецедентный образ жизни на юге, беспрецедентное правительство на севере.

В последующие годы Кромер примирился с «гибридной формой правительства»; в своих письмах он начал оправдывать его и доказывать необходимость правительства без названия и прецедента. В конце жизни он изложил (в очерке «Управление подвластными нациями») основы того, что может быть названо философией бюрократа.

Кромер начал с признания, что в других странах «личное влияние», не подкрепленное писаным или юридически оформленным политическим соглашением, может быть достаточным для «вполне эффективного надзора за общественными делами»<sup>73</sup>. Такое неформальное влияние предпочтительно по сравнению с четко определенной политикой, так как в этом случае можно мгновенно менять курс, не вовлекая в ситуацию в случае затруднений правительство метрополии. Это требует высококвалифицированных, очень надежных кадров, чьи лояльность и патриотизм не связаны с личными амбициями и тщеславием и которые способны отказаться от вполне по-человечески понятного стремления связать свои имена с достигнутыми успехами. Их высочайшей страстью должна быть страсть к секретности («чем меньше об английских служащих говорят, тем лучше»<sup>74</sup>), к тому, чтобы исполнять

<sup>72</sup> Из письма члену либеральной партии лорду Гранвиллу, написанного в 1885 г. (Ibid. P. 219).

<sup>73</sup> Из письма лорду Роузбери, 1886 г. (Ibid. P. 134).

<sup>74</sup> Ibid. P. 352.

закулисные роли; их высочайшее презрение должно быть направлено на публичную известность и тех, кто ее любит.

Сам Кромер был наделен этими качествами в самой высокой степени; никогда он так не выходил из себя, как в случаях, когда его «извлекали из [его] тайного убежища» или когда «известное лишь несколькоким, находящимся за сценой, [бывало] явлено всему свету»<sup>75</sup>. Его самолюбие по-настоящему льстило, когда он мог «оставаться более или менее в тени [и] дергать за ниточки»<sup>76</sup>. Взамен и для того, чтобы вообще иметь возможность действовать, бюрократ должен чувствовать себя свободным от контроля, как от похвал, так и от обвинений со стороны любых общественных институтов — парламента ли, «английских ли ведомств» или прессы. Каждый шаг в развитии демократии или даже просто функционирование существующих демократических институтов может нести в себе только опасность, ибо невозможно управлять «народом посредством другого народа, народом Индии посредством народа Англии»<sup>77</sup>. Бюрократия — это всегда правительство экспертов, «имеющего опыт меньшинства», сопротивляющегося в меру своего опыта давлению «не имеющего опыта большинства». Всякий народ в основе своей представляет собой неопытное большинство, и потому ему не могут быть доверены такие требующие высокого профессионализма материи, как политика и общественные дела. Более того, от бюрократов не надо ожидать наличия каких-то общих идей в политической области; их патриотизм не позволит им никогда впасть в иллюзию относительно абсолютной ценности политических принципов их собственной страны, что повлекло бы за собой лишь дешевое «подражательное» применение этих принципов «в управлении отсталыми народами», что, согласно Кромеру, было главным недостатком французской системы<sup>78</sup>.

Никто не станет утверждать, что Сесил Родс страдал от недостатка тщеславия. Если верить Джеймсону, он рассчитывал, что его будут помнить по крайней мере четыре тысячи лет. И все же, несмотря на свою страсть к самовозвеличению, он пришел к той же самой идее управления с помощью секретности, что и сверхскромный лорд Кромер. Будучи большим любителем написания завещаний, Родс во всех из них (на протяжении двух десятков лет своей активной обществен-

<sup>75</sup> Из письма лорду Роузбери, 1893 г. (Ibid. P. 204–205).

<sup>76</sup> Ibid. P. 192.

<sup>77</sup> Из речи лорда Кромера в парламенте, позднее 1904 г. (Ibid. P. 311).

<sup>78</sup> Во время переговоров и рассмотрения вариантов административного устройства для аннексированного Судана Кромер настаивал на том, чтобы все это дело оставалось вне сферы французского влияния, и не потому только, что он хотел обеспечить Англии монополию в Африке, но гораздо больше из-за «полнейшего отсутствия доверия к их административной системе применительно к подчиненным народам» (из письма к Солсбери, 1899 г. Ibid. P. 248).

ной жизни) настаивал на использовании его денег для создания «тайного общества... для исполнения его замысла», которое было бы «организовано подобно обществу Лойолы и поддерживалось накопленными богатствами тех, кто вдохновляется желанием что-то сделать», так что в конце концов соберется «от двух до трех тысяч людей в зрелых летах, разбросанных по всему миру, у каждого из которых в его мозгу в самый восприимчивый период его жизни будет запечатлена мечта основателя общества и, более того, каждый из которых будет специально — математически — отобран для осуществления цели, намеченной основателем»<sup>79</sup>. Более дальновидный, чем Кромер, Родс сразу же сделал свое общество открытым для всех представителей «нордической расы»<sup>80</sup>, так что задачей его были не столько умножение владений Великобритании и ее слава — захват «всего континента Африки, Святой земли, долины Евфрата, островов Кипра и Кандийского, всей Южной Африки, островов Тихого океан... всего Малайского архипелага, приморья Китая и Японии и, наконец, возврат Соединенных Штатов»<sup>81</sup>, — сколько экспансия «нордической расы», которая, организовавшись в тайное общество, установила бы бюрократическое правительство, осуществляющее власть над всеми народами земного шара.

Преодолеть чудовищное врожденное тщеславие и открыть для себя очарование секретности помогло Родсу то же самое, что позволило Кромеру преодолеть его врожденное чувство долга, — открытие экспансии, направляемой не каким-то интересом к отдельной стране, а понимаемой как бесконечный процесс, в котором каждая страна есть лишь ступенька на пути дальнейшей экспансии. При таком понимании желание славы уже не может удовлетвориться каким-нибудь славным триумфом над другим народом во имя своего собственного, так же как чувство долга не насыщается за счет исполнения определенных обязанностей и достижения определенных частных результатов. Какие бы индивидуальные качества или недостатки ни имел человек, попадая в водоворот нескончаемого процесса экспансии, он как бы перестает быть тем, чем он был, и, подчиняясь законам этого процесса, отождествляет себя с безличными силами, коими он предназначен служить, чтобы весь этот процесс продолжался и дальше; он начинает мыслить себя как просто функцию и в конце концов начинает считать такую функ-

<sup>79</sup> Родс составил шесть завещаний (первое уже в 1877 г.), и в каждом из них упоминается «тайное общество». Пространные цитаты см.: *Williams B. Cecil Rhodes. L., 1921; Millin S. G. Op. cit. P. 128, 331.* Права на цитирование принадлежат У. Т. Стеаду.

<sup>80</sup> Хорошо известно, что идея «тайного общества» Родса увенчалась созданием весьма уважаемой «Родсовской стипендиатской ассоциации», в которую допускаются не только англичане, но и представители всех «нордических народов», таких, как немцы, скандинавы и американцы.

<sup>81</sup> *Williams B. Op. cit. P. 51.*

циональность, такое воплощение в себе динамики движения своим высшим достижением. И тогда, как об этом, набравшись достаточного безумия, сказал Родс, он и в самом деле не мог «сделать ничего неправильного, все, что он делал, выходило верно. Его долгом было делать так, как он хотел. Он чувствовал себя богом — ни больше ни меньше»<sup>82</sup>. Кромер же здраво отмечал то же самое явление добровольного низведения людьми себя на уровень просто оружия или функции, когда он называл бюрократов «несравненной ценности орудиями для проведения политики империализма»<sup>83</sup>.

Ясно, что эти секретные и анонимные агенты сил экспансии не чувствовали себя связанными какими бы то ни было установленными людьми законами. Единственным «законом», которому они подчинялись, был «закон» экспансии, и единственным доказательством их «законопослушности» был успех. В случае провала они были абсолютно готовы исчезнуть в полном забвении, если по какой-либо причине они не являлись больше «несравненной ценности орудиями». Пока их действия были успешными, их чувство присутствия в них сил более могучих, чем они сами, в существенной мере облегчало им отказ от оваций и прославлений и даже презрение ко всему этому. Они были чудищами самодовольства в своих успехах и чудищами умеренности в своих неудачах.

В основе бюрократии как формы правления и присущей ей подмены закона временными и изменчивыми указами лежит эта уверенность в возможности чудесного отождествления человека с силами истории. Идеалом такого политического устройства всегда будет дергающий за ниточки истории закулисный человек. Кромер в конце концов стал воздерживаться от любых «письменных средств или, фактически, каких бы то ни было материальных свидетельств»<sup>84</sup> в своих отношениях с Египтом, даже от провозглашения аннексии, — все для того, чтобы обеспечить себе свободу повиноваться только закону экспансии и не чувствовать себя связанным никакими договорами, являющимися делом рук человека. Таким образом, бюрократ избегает всякого общего закона, управляя каждой ситуацией посредством конкретных указов, так как присущая закону устойчивость грозит установлением прочного сообщества, где никто не может стать богом, потому что все должны повиноваться закону.

Двумя ключевыми фигурами в этой системе, самой сутью которой является бесконечный процесс, выступают бюрократ и секретный агент. Оба этих типа, пока они служили только британскому империализму,

<sup>82</sup> *Millin S. G. Op. cit. P. 92.*

<sup>83</sup> *Cromer E. B. Op. cit.*

<sup>84</sup> Из письма лорда Кромера лорду Роузбери, 1886 г. (*Zetland L. J. Op. cit. P. 134.*)

никогда целиком не отрицали, что они ведут свое происхождение от драконоборцев и защитников слабых и потому никогда не доводили бюрократические режимы до присущих им крайностей. Спустя почти два десятилетия после смерти Кромера английский бюрократ знал, что «административная резня» может помочь сохранить Индию в рамках Британской империи, но он также знал, насколько утопично получить поддержку ненавистных «английских ведомств» этому во всех прочих отношениях вполне реалистическому плану<sup>85</sup>. В вице-короле Индии лорде Керзоне не было ничего от кромеровского благородства; он был вполне типичен для общества, склонного принять расистские установки черни, если те подавались в модной снобистской упаковке<sup>86</sup>. Но снобизм несовместим с фанатизмом и потому никогда по-настоящему не эффективен.

То же самое относится и к работникам британской секретной службы. У них тоже блестящее происхождение — для секретного агента искатель приключений есть то же самое, что драконоборец для бюрократа, — и они тоже могут по праву претендовать на легенду о своем происхождении, легенду о Большой Игре, как она рассказана Редьярдом Кипплингом в «Киме».

Конечно, каждый авантюрист знает, что имеет в виду Кипплинг, когда воздаст должное Киму за то, что «он любит игру ради самой игры». Каждый человек, все еще способный испытывать изумление перед «этим великим и чудесным миром», знает, что это — слабый аргумент против игры, когда «миссионеры и секретари благотворительных обществ не могут разглядеть ее красоты». И кажется, еще меньшее право высказываться здесь имеют те, кто считает «грехом целовать губы белой девушки и добродетелью целовать башмаки чернокожего»<sup>87</sup>. По-

<sup>85</sup> «Индийская система управления посредством докладов по начальству [в Англии] вызвала к себе подозрение. В Индии не было суда присяжных и все судьи были платными служащими короны, многих из них можно было по произволу увольнять... Многие правоведы в области формального права испытывали смущение по поводу успеха индийского эксперимента. «Если, — говорили они, — деспотизм и бюрократия так хорошо сработали в Индии, не означает ли это, что когда-нибудь этот успех будет использован как довод в пользу введения какой-то подобной системы и здесь?» Все-таки правительство Индии как-никак «достаточно хорошо знало, что должно будет оправдывать свое существование и политику перед общественным мнением Англии, зная также, что это общественное мнение никогда не потерпит угнетения» (Carthill A. Op. cit. P. 70, 41–42).

<sup>86</sup> Гарольд Николсон (Nicolson H. Curzon: The last phase 1919–1925. Boston; N.Y., 1934. P. 47–48) рассказывает следующую историю: «Во Франции недалеко от линии фронта был пивной завод, и в его чанах взяли за привычку купаться вернувшиеся из окопов рядовые солдаты. Керзона как-то повезли посмотреть на это дантовское зрелище. С интересом взирал он на сотни обнаженных фигур, резвящихся в облаках пара. И вдруг воскликнул: «Боже ж мой! И представить себе не мог, что у простолыдинов такая белая кожа». Керзон отрицал подлинность этой истории, тем не менее она ему нравилась».

<sup>87</sup> Carthill A. Op. cit. P. 88.

скольку сама жизнь в конечном счете нужно жить и любить во имя ее самой, приключение и любовь к игре ради самой игры легко становятся наиболее напряженным символом человеческой жизни. Именно эта пронизывающая роман страстная человечность делает «Кима» единственным произведением империалистической эпохи, в котором подлинное братство связывает «высокородных и низкородных» и в котором Ким, «сагиб и сын сагиба», может с полным правом говорить «мы», когда речь идет о «кандалниках», обо «всех в одной связке». В этом «мы», странно звучащем в устах убежденного сторонника империализма, есть нечто большее, чем всеохватывающая анонимность людей, гордящихся тем, что у них нет «имени, а только номер и буква», большее, чем общая для них гордость тем, что «за голову [каждого из них] назначена цена». В товарищество их сплачивает общий опыт, заключающий в себе опасности, страх, постоянные неожиданности, полное отсутствие сложившегося уклада жизни, постоянную готовность выдать себя за другого человека, опыт существования в качестве символов самой жизни, символов, например, того, что происходит по всей Индии, незамедлительно откликающихся на жизнь всей страны, «пульсирующую и снующую, как челнок, по всему Индостану», так что никто из них не чувствует себя больше «одиноким, одиночкой посредине всего этого», как бы в западне собственной индивидуальной и национальной ограниченности. Играя Большую Игру, человек чувствует себя живущим единственно достойной жизнью, освобожденной от всего второстепенного. Кажется, в фантастическом напряженном порыве к чистоте происходит расставание и с самой жизнью, когда человек рвет все обычные общественные связи: с семьей, с профессией, с определенными целями, амбициями и надежным местом в кругу, к которому он принадлежит по рождению. «Когда все мертвы, Большая Игра окончена. Но не прежде». Когда человек мертв, жизнь окончена, но не прежде, не когда ему случается достичь чего-то, к чему он стремится. То, что у игры нет конечной цели, делает ее так опасно похожей на саму жизнь.

В бесцельности — само очарование существования Кима. Не ради Англии и не ради Индии и не во имя какого-либо иного земного или неземного призвания принял он на себя свои странные обязанности. Империалистические понятия вроде экспансии ради экспансии или власть ради власти, возможно, подошли бы ему, но он не очень-то об этом пекся и уж, конечно, не сочинял никаких подобных формулировок. Он вступил на свой особый путь, «где про смысл не вопрошают, где действуют и погибают», не задав ни единого вопроса. Его соблазнили лишь бесконечность игры и секретность как таковая. А секретность тоже предстает как символ изначальной таинственности жизни.

В каком-то смысле прирожденные авантюристы, те, кто по своей природе находится вне общества и его политических организаций, были неповинны в том, что нашли в империализме бесконечную по определению игру; от них нельзя было ожидать понимания того, что в политике бесконечные игры кончаются катастрофой, а секретность большей частью заканчивается вульгарным шпионским двуличием. Злая шутка, приготовленная этим участникам Большой Игры, состояла в том, что их наниматели знали, чего хотят, и пользовались их страстью к анонимности для обыкновенного шпионства. Однако этот триумф жадных до прибылей вкладчиков капиталов был временным, и их, в свою очередь, надули, когда несколько десятков лет спустя они столкнулись с игроками игры в тоталитаризм, не имеющей скрытых мотивов, подобных прибыли, и потому играемой с такой убийственной эффективностью, что ее жертвами становятся даже те, кто ее финансировал.

Прежде чем это произошло, империалисты, однако, уничтожили лучшего человека, который когда-либо превращался из авантюриста (с ярко выраженными чертами драконоборца) в секретного агента — Лоуренса Аравийского. Никогда больше эксперимент с секретной политикой не желался более чистоплотно более порядочным человеком. Лоуренс бесстрашно ставил опыты на самом себе, а затем вернулся и проникся убеждением, что он принадлежит к «потерянному поколению». Он думал, что так вышло потому, что «на сцене опять появились старики и украли у нас нашу победу», чтобы «переделать [мир] на манер прежнего мира, каким они его знали»<sup>88</sup>. На самом деле старики были довольно-таки малоэффективны даже и в этом и отдали свою победу заодно со своей властью другим людям из того же «потерянного поколения», которые были не старше Лоуренса и немногим от него отличались. Единственным отличием было то, что Лоуренс продолжал крепко держаться за нравственность, потерявшую, однако, всякие объективные основания и превратившуюся в нечто вроде личного и обязательно донкихотского рыцарского кодекса чести.

Лоуренса привело на роль секретного агента в Аравии его сильнейшее желание расстаться с миром скучной респектабельности, продолжать находиться в котором было просто бессмысленно при его отращении и к этому миру, и к себе самому. В арабской цивилизации больше всего его привлекло ее «проповедование убожества... [которое] включает, по видимости, и моральное убожество... полностью очистившее себя от богов домашнего очага»<sup>89</sup>. И, вернувшись в английскую ци-

<sup>88</sup> Lawrence T. E. Seven pillars of wisdom. Введение к первому изданию 1926 г., опущенное по совету Джорджа Бернарда Шоу при переиздании. См.: Lawrence T. E. Letters / Ed. by D. Garnett. N.Y., 1939. P. 262 ff.

<sup>89</sup> Из письма, написанного в 1918 г. (Lawrence T. E. Letters. P. 244).

визацию, более всего он стремился избежать погружения в личную жизнь, так что кончил он с виду не поддающейся объяснению записью в рядовые солдаты британской армии, являвшейся, очевидно, единственным институтом, где честь человека тождественна потере им всякой собственной индивидуальности.

Когда разразившаяся первая мировая война послала Т. Э. Лоуренса к арабам Ближнего Востока с заданием поднять их на восстание против турецких господ и заставить воевать на стороне Англии, он оказался в самом центре Большой Игры. Своей цели он мог достичь только в том случае, если среди арабских племен возникло бы национальное движение, которое в конечном счете должно сослужить службу английскому империализму. Лоуренс должен был вести себя так, как если бы наипервейшим его интересом было арабское национальное движение, и он делал это так хорошо, что сам в это поверил. Но и тут опять-таки он не был одним из них, в конечном счете он не мог «думать по ихнему» и «иметь ихний характер»<sup>90</sup>. Выдавая себя за араба, он мог лишь потерять свое «английское я»<sup>91</sup> и, если и приходил в восторг от чего-то, так это от полной тайны своего перевоплощения, а не от явных самооправданий мифами о благодетельном управлении отсталыми народами вроде тех, которыми пользовался лорд Кроммер. На целое поколение старше и печальнее Кроммера, он с великой радостью взял на себя роль, требовавшую полной переделки всей его личности, пока он не стал полностью годным для Великой Игры, не превратился в живое воплощение силы арабского национального движения, не растворил природное тщеславие в чувстве таинственной причастности к силам непременно большим, чем он сам, каким бы большим он сам ни был, не пришел к убийственному «презрению не к другим людям, а ко всему, что они делают» по собственной инициативе, а не в союзе с силами истории.

Когда в конце войны Лоуренс должен был оставить притворщицкую роль секретного агента и так или иначе вернуться к своему «английскому я»<sup>92</sup>, он «взглянул на запад и его условности другими глазами: все это во мне было разрушено»<sup>93</sup>. Из Большой Игры с ее неизмеримыми масштабами, не ограничиваемой, но и не возвеличиваемой общественным вниманием, поднявшей его в его двадцать с чем-то лет над королями и премьер-министрами, потому что он сам «их делал и

<sup>90</sup> Lawrence T. E. Seven pillars of wisdom. Garden City, 1938. Ch. 1.

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Насколько непростым и шероховатым был этот процесс, можно проиллюстрировать следующим анекдотом: Лоуренс принял приглашение на обед у Клариджа, а затем на вечеринку у г-жи Харри Линдсей. Он не пришел на обед, но появился на вечере в арабском платье. Это произошло в 1919 г. (Lawrence T. E. Letters. P. 272. Сноска 1).

<sup>93</sup> Lawrence T. E. Seven pillars of wisdom. Ch. 1.

играл с ними в игры»<sup>94</sup>, Лоуренс возвратился домой с навязчивой жаждой анонимности и с глубоким убеждением в том, что, что бы он ни предпринимал теперь в своей жизни, он уж не получит чувства удовлетворения. К этому выводу он пришел, прекрасно зная, что его значение было не собственным его достижением, а результатом Игры. И теперь он не «хотел быть больше значительным» и решил, что он не «будет больше респектабельным», так что он и в самом деле «излечился... от всякого желания делать что-то для себя»<sup>95</sup>. Будучи и до этого фантомом незримых сил, он стал фантомом среди живущих, когда вместе с потерей своей функции он был от этих сил отлучен. К чему он действительно изо всех сил стремился, так это к новой роли, и это, между прочим, и была та «игра», о которой добродушно, но с полным отсутствием понимания допытывался Джордж Бернард Шоу, как если бы он вопрошал из другого века, недоумевая, как человек таких великих достижений не шумит о них на каждом углу<sup>96</sup>. Только новая роль, новая функция могла бы быть достаточно сильной, чтобы и сам он, и мир вокруг перестали отождествлять его с его делом в Аравии, чтобы его старое «я» заменилось новой личностью. Он не хотел становиться «Лоуренсом Аравийским», поскольку в глубине души не желал, потеряв прежнее «я», обрести новое. Его величие состояло в том, что он был достаточно страстной натурой, чтобы не идти на дешевые компромиссы и не избирать легкие пути к респектабельности и вращанию в реальность, и в том также, что он никогда не терял осознания того, что в прошлом он был только лишь функцией, играл роль и поэтому, «не должен никоим образом извлекать выгоду из того, что сделал в Аравии. Заслуженные им почести он отклонял. Предлагавшиеся ему благодаря его репутации места службы он не принимал, равно как не позволял себе эксплуатировать свой успех, получив деньги хоть за единую журналистскую публикацию, подписанную именем Лоуренс»<sup>97</sup>.

История Т. Э. Лоуренса во всей ее трагичности и величии была не просто историей платного служащего или наемного шпиона, а именно историей подлинного агента или функционера, человека, действительно

<sup>94</sup> В 1929 г. Лоуренс писал: «Любой, кто, подобно мне, так быстро поднялся вверх... и повидал изнанку верхушки мира, может запросто потерять энтузиазм и утратить обычные мотивы действия, которые руководили им, пока он не достиг вершины. Я не был королем или премьер-министром, но я их делал и играл с ними в игры, и после этого на этом направлении мне мало что оставалось делать» (*Lawrence T. E. Letters*. P. 653).

<sup>95</sup> *Ibid.* P. 244, 247, 450. Ср. особенно письмо от 1918 г. (p. 244) с двумя письмами Джорджа Бернарда Шоу от 1923 г. (p. 447) и 1928 г. (p. 616).

<sup>96</sup> Джордж Бернард Шоу, спрашивая Лоуренса в 1928 г.: «Какую же все-таки вы на самом деле играете игру?», подразумевал, что его запись в армию или поиски работы ночного сторожа (для чего он мог «достать хорошие рекомендации») были притворством.

<sup>97</sup> *Lawrence T. E. Letters*. P. 264.

уверовавшего в то, что он ступил или был вовлечен в поток исторической необходимости и стал исполнителем воли или агентом управляющих миром таинственных сил. «Я столкнул свою коляску в вечный поток, и она понеслась быстрее, чем те, которые пытаются толкать поперек течения или против него. В конечном счете я не верил в арабское движение, но считал его необходимым в своем месте и в свое время»<sup>98</sup>. Подобно тому как Кромер правил Египтом ради Индии или Родс Южной Африкой ради дальнейшего расширения, Лоуренс действовал во имя какой-то конечной непредсказуемой цели. Единственное удовлетворение, которое он мог извлечь из этого, будучи лишенным возможности спокойно почтить на лаврах по достижении какой-то ограниченной цели, проистекало из чувства самого функционирования, от ощущения, что тебя охватило и несет какое-то мощное движение. Вернувшись в Лондон и пребывая в отчаянии, он старался найти замену такого рода «самоудовлетворению» и смог «извлечь его только из бешеной езды на мотоцикле»<sup>99</sup>. Хотя Лоуренс и не был еще охвачен идеологическим фанатизмом движения, вероятно, потому, что для предрассудков своего времени он был слишком хорошо образован, он все-таки испытал то основанное на разочаровании в любых видах личной человеческой ответственности гипнотическое преклонение перед вечным потоком с его вечным движением. Он погрузился в этот поток и ничего не оставил от себя самого, кроме какой-то необъяснимой порядочности и гордости от того, что он «идет правильным путем». «Я все еще ломаю голову над тем, много ли зависит от отдельного человека. Порядочно, мне думается, если он идет правильным путем»<sup>100</sup>. И здесь наступает конец подлинной гордости западного человека, который уже не являет собой цель и не делает больше, давая законы миру, «объект из себя самого или вещь настолько чистую, чтобы он сам захотел ей обладать»<sup>101</sup>, а имеет шанс только в том случае, «если он идет правильным путем», в союзе с силами истории и необходимостью, сам будучи всего лишь их функцией.

Когда европейская чернь открыла, какой «восхитительной добродетелью» может быть в Африке белая кожа<sup>102</sup>, когда английский завоеватель в Индии стал администратором, не верящим больше в универсальную значимость закона, а убежденным в собственной врожденной способности владычествовать и управлять, когда драконоборцы превратились либо в «белых людей», либо в «высшие расы» или в бюрократов и

<sup>98</sup> *Lawrence T. E. Letters*. P. 693 (написано в 1930 г.).

<sup>99</sup> *Ibid.* P. 456 (написано в 1924 г.).

<sup>100</sup> *Ibid.* P. 693.

<sup>101</sup> *Lawrence T. E. Seven pillars of wisdom*. Ch. 1.

<sup>102</sup> *Millin S. G. Op. cit.* P. 15.

шпионов, играющих в Большую Игру бесчисленных скрытых мотивов, определяемых не имеющим конца движением; когда английская Интеллидженс сервис (особенно после первой мировой войны) стала привлекать лучших сынов Англии, предпочитавших служить не общему благу своей страны, а таинственным силам по всему миру, похоже, сцена для всех мыслимых ужасов была приготовлена. У всех перед носом оказались многие из элементов, из которых легко было собрать тоталитарное государство на фундаменте расизма. Индийские бюрократы выдвинули идею «административной резни», а африканские чиновники провозгласили, что никаким этическим соображениям вроде прав человека не будет позволено становиться на пути» белого владычества<sup>103</sup>.

Счастливым можно назвать то обстоятельство, что, хотя английское империалистическое правление спустилось на несколько вульгарный уровень, жестокость в период между двумя мировыми войнами стала играть меньшую, чем когда-либо прежде, роль и неизменно соблюдался какой-то минимум человеческих прав. Именно эта умеренность посреди сплошного безумия проложила дорогу тому, что Черчилль назвал «ликвидацией Его Величества империи» и что в конечном итоге может обернуться преобразованием английской нации в содружество английских народов.

## Глава восьмая

### КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ: ПАНДВИЖЕНИЯ

Нацизм и большевизм обязаны пангерманизму и панславизму (соответственно) больше, чем любой другой идеологии или политическому движению. Наиболее очевидно это во внешней политике, где стратегии нацистской Германии и Советской России так близко следовали хорошо известным программам экспансии, намеченным пандвижениями до и во время первой мировой войны, что тоталитарные цели по ошибке часто принимали за преследование неких постоянных немецких или русских интересов. Хотя ни Гитлер, ни Сталин никогда не признавали своего долга империализму в развитии методов правления, оба они без колебаний допускали свою зависимость от идеологии пандвижений или подражали их лозунгам<sup>1</sup>.

Зарождение пандвижений не совпадало с зарождением империализма. Около 1870 г. панславизм уже появился на свет из туманных и путаных теорий славянофилов<sup>2</sup>, а пангерманское чувство жило в Австрии еще раньше, с середины XIX в. Но они оформились в движения и пленили воображение более широких слоев только в связи с триумфальной империалистической экспансией западных наций в 80-е годы. Нации Центральной и Восточной Европы, у которых не было колониальных владений и существенных надежд на заморскую экспансию, теперь решили, что они «имеют такое же право расширяться, как и другие великие народы, и что, если им не дадут реализовать эту возможность за морями, они будут вынуждены осуществить ее в Европе»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Гитлер писал в «Mein Kampf» (N.Y., 1939): В Вене «я заложил основы мировоззрения вообще и методы политического мышления в частности, которые позднее оставалось только завершить в подробностях, но от которых я никогда после не отрекался» (р. 129). Сталин вернулся к панславистским лозунгам во время последней войны. Панславистский конгресс 1945 г. в Софии, созданный победителями-русскими, принял резолюцию, провозгласившую «не только международную политическую, но и моральную необходимость объявить русский языком взаимного общения на конгрессе и официальном языке всех славянских стран» (см.: Aufbau. N.Y., April 6. 1945). Незадолго до этого болгарское радио передало послание митрополита Стефана, викария Священного Болгарского Синода, в котором он призвал русский народ «помнить о своем мессианском предназначении» и пророчил грядущее «единство славянских народов» (см.: Politics. January 1945).

<sup>2</sup> Исчерпывающее представление и обсуждение взглядов славянофилов см.: Kouřil A. La philosophie et le problème national en Russie au début du 19e siècle / Institut Français de Leningrad. Bibliothèque Vol. 10. P., 1929.

<sup>3</sup> Hasse E. Deutsche Politik. Heft 4. Die Zukunft des deutschen Volkstums. 1907. S. 132.

<sup>103</sup> Как выразился сэр Томас Уотт, гражданин Южной Африки английского происхождения (см.: Barnes L. Op. cit. P. 230).

Пангерманисты и панслависты соглашались, что, живя в «континентальных государствах» и будучи «континентальными народами», они принуждены искать колонии на континенте<sup>4</sup>, дабы расширяться от центра власти<sup>5</sup> географически непрерывно, что «идея Англии... выраженной словами: "Я хочу править морями", противостоит идея России: "Я хочу править землей"»<sup>6</sup>, и что в конце концов «огромное превосходство земли над морем., высшее значение власти над сушей по сравнению с властью над морем...» станут очевидными для всех<sup>7</sup>.

Главное значение континентального империализма, в отличие от «заморского» колониального, состоит в том, что его идея экспансии при сохранении сцепления частей не допускает никакого географического расстояния между порядками и учреждениями колонии и нации, так что ему не надо дожидаться «эффекта бумеранга», чтобы заставить почувствовать себя и все свои последствия в Европе. Поистине, континентальный империализм начинается дома<sup>8</sup>. Разделяя с заморским империализмом презрение к узости национального государства, он противопоставлял ему не столько экономические доводы (которые в конце концов очень часто выражали подлинные национальные нужды), сколько

<sup>4</sup> Ibid., Heft. 3. Deutsche Grenzpolitik. S. 167–168. Геополитические теории этого рода были в ходу среди «всегерманцев», членов Пангерманской лиги. Они всегда сравнивали геополитические потребности Германии с аналогичными нуждами России. Характерно, что австрийские пангерманисты никогда не проводили таких параллелей.

<sup>5</sup> Славянофил Данилевский, «Россия и Европа» (1871) которого стала классикой панславизма, превозносил «политические способности» русских за их «громдное тысячелетнее государство, которое продолжает расти и власть которого, в отличие от Европы, расширяется не колониальным путем, но всегда остается сосредоточенной вокруг своего ядра — Москвы» (см.: *Staeblin K. Geschichte Russlands von den Anfängen bis zur Gegenwart*. 1923–1939. 5 vols. Vol. 4/1. S. 274. [Ср.: *Данилевский Н. Я.* Россия и Европа. М.: Книга. 1991. С. 485–486.]

<sup>6</sup> Цитата из Ю. Словацкого, польского публициста 40-х годов XIX в. (см.: *Lossky N. O. Three chapters from the history of polish messianism*. Prague. 1936 // International Philosophical Library. Vol. 2. P. 9).

Панславизм первым из «пан-измов» (см.: *Hoetzsch O. Russland*. В., 1913. S. 439) выразил эти геополитические идеи почти за 40 лет до того, как пангерманизм начал «мыслить в категориях континентов». Сопоставление английской морской мощи с континентальной земельной властью так часто встречалось, что поиски влияний были бы совершенно искусственными.

<sup>7</sup> *Reismann-Grone Th. Ueberseepolitik oder Festlandspolitik?* // *Alldeutsche Flugschriften*. 1905. № 22. S. 17.

<sup>8</sup> Эрнст Хассе из Пангерманской лиги предложил рассматривать определенные национальности (поляков, чехов, евреев, итальянцев и т.д.) точно так же, как заморский империализм трактует туземцев вне Европейского континента (см.: *Deutsche Politik*. Heft 1: *Das Deutsche Reich als Nationalstaat*. 1905. S. 62). В этом главное различие между Пангерманской лигой, основанной в 1886 г., и более ранними колониальными обществами типа «Zentral-Verein für Handelsgeographie» (основанного в 1863 г.). Очень добротное описание деятельности Пангерманской лиги дано в книге 1924 г. *Wertheimer M. S. The Pan-German League*. 1890–1914.

«увеличенное племенное сознание»<sup>9</sup>, объединявшее, как полагали, всех людей, происходящих от одного народа, независимо от их истории и случайного места проживания<sup>10</sup>. Следовательно, континентальный империализм начинал с гораздо большей близости к расовым идеям, с энтузиазмом усваивал традицию мышления в категориях расы<sup>11</sup> и очень мало опирался на конкретный опыт. Его расовые понятия в основе были полностью идеологическими и превращались в удобное политическое оружие значительно быстрее, чем аналогичные теории заморского империализма, которые всегда могли претендовать на определенную опору в подлинном опыте.

В обсуждениях империализма пандвижениям вообще уделялось недостаточное внимание. Более осязаемые результаты заморской экспансии затмевали их грезы о континентальных империях, а отсутствие у них интереса к экономике<sup>12</sup> выглядело курьезом на фоне огромной прибыльности раннего империализма. Кроме того, в эпоху, когда почти каждый начинал верить, что политика и экономика — это более или менее одно и то же, было легко проглядеть и сходства и существенные различия между двумя разновидностями империализма. Поборники пандвижений разделяли с западными империалистами осознание всех внешнеполитических проблем, которые забывались более старыми правящими группами национального государства<sup>13</sup>. Еще более явным было

<sup>9</sup> *Deckert E. Panlatinismus, Panlawismus und Panteutonismus in ihrer Bedeutung für die politische Weltlage*. Frankfurt a. M., 1914. S. 4.

<sup>10</sup> Пангерманисты уже перед первой мировой войной проводили различие между «Staatsfremde», людьми немецкого происхождения, которые оказались подданными другой страны, и «Volksfremde», людьми негерманского происхождения, которым выпало жить в Германии (см.: *Frymann D.* (псевдоним Генриха Класса). *Wenn ich der Kaiser wär. Politische Wahrheiten und Notwendigkeiten*. 1912).

Когда Третий рейх поглотил Австрию, Гитлер обратился к ее немецкому населению с посланием в духе типичных пангерманских лозунгов. «Где бы мы ни родились, — вещал он, — мы все «сыны немецкого народа» (Hitler's speeches / Ed. by N. H. Baynes. 1942. Vol. 2. P. 1408).

<sup>11</sup> Т. Масарик говорит о «зоологическом национализме» славянофилов, начиная с Данилевского (см.: *Masaryk Th. G. Zur russischen Geschichts- und Religionsphilosophie*. 1913. S. 257). Отто Бонхард, официальный историк Пангерманской лиги, установил тесную связь между ее идеологией и расизмом Гобино и Чемберлена (см.: *Bonhard O. Geschichte des alldeutschen Verbandes*. 1920. S. 95).

<sup>12</sup> Исключением является Фридрих Науман (см.: *Naumann F. Central Europe*. L., 1916), который хотел заменить множество национальностей в Центральной Европе одним объединенным «экономическим народом» (Wirtschaftsvolk) под руководством Германии. Хотя его книга была бестселлером во время первой мировой войны, она повлияла только на австрийскую социал-демократическую партию; *Renner R. Oesterreichs Erneuerung. Politisch-programmatische Aufsätze*. Wien, 1916. S. 37 ff.

<sup>13</sup> «По крайней мере до войны интерес больших партий к иностранным делам был полностью вытеснен внутренними проблемами. Позиция Пангерманской лиги иная, и это несомненно составляет ее пропагандистский козырь» (*Wenck M. Alldeutsche Taktik*. 1917).

влияние пандвижений на интеллектуалов: русская интеллигенция, за немногими исключениями, была панславистской, а пангерманизм начался в Австрии почти как студенческое движение<sup>14</sup>. Главное отличие пандвижений от более респектабельного империализма западных наций состояло в отсутствии капиталистической поддержки. Их поползновения к экспансии не предварялись и не могли предваряться обильным притоком денег и людей, ибо Европа никому не предлагала заманчивых колониальных возможностей. Поэтому среди лидеров пандвижений мы почти не найдем деловых людей и авантюристов, зато обнаружим много представителей свободных профессий, учителей и государственных служащих<sup>15</sup>.

В то время как заморский империализм, несмотря на его антинациональные тенденции, преуспел в придании новой жизни устаревшим институтам национального государства, континентальный империализм был и оставался недвусмысленно враждебным всем существующим политическим образованиям. Следовательно, его общий настрой был гораздо более мятежным, а его лидеры — более сведущими в революционной риторике. Если заморский империализм предоставлял достаточно реальные выходы обломкам всех классов, то континентальный империализм не мог предложить ничего, кроме идеологии и участия в движении. И все же этого оказалось довольно в то время, предпочитавшее некую отмычку к истории политическому действию, когда люди в обстановке социальной атомизации и распада общинных связей любой ценой хотели ощутить себя частью коллектива. Подобным же образом видимому отличию белой кожи, преимущества которой легко усвоить в черном или цветном окружении, могло быть успешно противопоставлено чисто воображаемое различие между восточной и западной, или арийской и неарийской душой. Повод к размышлению здесь в том, что весьма путаная идеология и организация, не сулившая никаких непосредственных выгод, оказались более привлекательными, чем вещественные блага и общепринятые убеждения.

Несмотря на отсутствие практических успехов, пандвижения с их всем известной апелляцией к толпе с самого начала увлекали гораздо сильнее, чем заморский империализм. Эта популярность, державшаяся вопреки ощутимым пробелам и постоянным изменениям программы,

<sup>14</sup> См.: *Molisch P. Geschichte der deutschnationalen Bewegung in Oesterreich. Jena, 1926. S. 90*: Это факт, «что студенчество не просто пассивно отражает общую политическую обстановку; напротив, влиятельные пангерманистские убеждения большей частью зародились в студенческой среде и отсюда нашли дорогу в большую политику».

<sup>15</sup> Полезную информацию о социальном составе Пангерманской лиги, ее местных функционеров и действующих сотрудниках можно найти: *Wertheimer M. Op. cit.; Werner L. Der alldeutsche Verband. 1890–1918 // Historische Studien. Heft 278. Berlin, 1935; Nippold G. Der deutsche Chauvinismus. 1913. S. 179 ff.*

предвещала позднейшие тоталитарные группы, которые также не определялись относительно своих действительных целей и изо дня в день меняли свою политическую линию. Участников пандвижений куда крепче объединяло общее настроение, чем ясно определенная цель. Правда, заморский империализм тоже ставил экспансию, как таковую, выше любой программы завоевания и потому захватывал при случае любую территорию, сулившую легкую добычу. И все же, как бы ни был капризен и неустойчив вывоз избыточного капитала, сама его природа ставила границы вытекавшей из него же экспансии. Целям же пандвижений не хватало даже этого весьма анархического элемента человеческого планирования и сдерживания географического расширения. И хотя у них не было конкретных планов завоевания мира, они создавали вездесущее настроение полного превосходства, всепонимания и прикосновенности ко всем делам человеческим, настроение «все-человека», как однажды выразился Достоевский<sup>16</sup>.

В империалистическом союзе между толпой и капиталом инициатива принадлежала большей частью представителям делового мира (за исключением событий вокруг Южной Африки, где очень рано проявилась определенная политическая линия толпы). В пандвижениях же инициатива всегда была исключительно делом толпы, которую вели тогда (как и теперь) интеллектуалы определенного сорта. Они еще не имели амбиций править земным шаром и даже не думали о возможностях организационного, а не просто идеологического или пропагандистского применения расовых понятий. Значимость последних только поверхностно отразилась в относительно скромных теориях внешней политики, где понятия германизированной Центральной Европы и русифицированной Восточной и Южной Европы послужили отправными точками для планов подчинения мира нацизму или большевизму<sup>17</sup>. «Германские народы» вне рейха или «наши меньшие славянские братья» вне Святой Руси создавали удобную дымовую завесу из права народов на самоопределение в качестве легко преодолимого переходного этапа к дальнейшей экспансии. Гораздо более существенным был факт, что тоталитарные правительства унаследовали ауру святости: стоило им только воззвать к прошлому «Святой Руси» или «Священной Римской империи», как воскресали все былые призраки и суеверия у славянских и германских интеллектуалов<sup>18</sup>. Псевдомистический вздор,

<sup>16</sup> Цит. по: *Kohn H. The permanent mission // The Review of Politics. 1948. July.*

<sup>17</sup> Данилевский (указ. соч.) включал в будущую Российскую империю все балканские страны, Турцию, Венгрию, Чехословакию, Галицию и Истрию с Триестом.

<sup>18</sup> Славянофил Аксаков К. С. в середине XIX в. воспринимал официальное наименование «Святая Русь» совершенно буквально (см.: *Masaryk Th. G. Op. cit., S. 234*). Для характеристики мутной чепухи пангерманизма очень показательна книга: *Moeller van den*

обогащенный бесчисленными и произвольными историческими воспоминаниями, обеспечивал такую эмоциональную притягательность, которая, видимо, превосходила по глубине и широте ограниченность прежнего национализма. Во всяком случае, из этого вырос тот новый род националистических чувств, сила которых оказалась превосходным двигателем толпообразных масс и очень удачно подменила в роли эмоционального центра более старый национальный патриотизм.

Этот новый тип племенного национализма, более или менее свойственный всем нациям и национальностям Центральной и Восточной Европы, был весьма отличен по содержанию и значимости (если не по силе чувства) от западных националистических эксцессов. Шовинизм (ныне обычно связываемый с *nationalisme intégral* Морраса и Барреса на рубеже веков, с его романтическим прославлением прошлого и болезненным культом мертвых) даже в самых диких и фантастических проявлениях своих не утверждал, что лица французского происхождения, родившиеся и выросшие в другой стране, без какого-либо знания французского языка или культуры, будут «прирожденными французами» благодаря каким-то таинственным качествам души и тела. Лишь вместе с «возросшим племенным сознанием» возникает то отождествление национального с собственным душевным строем, та обращенная внутрь гордость, которая больше не связана только с делами общественными, но наполняет каждый шаг в частной жизни до того, например, что «частная жизнь всякого истинного поляка... есть общественное проявление польскости»<sup>19</sup>.

Психологически главное различие между даже самым яростным шовинизмом и этим племенным национализмом в том, что первый направлен вовне, заинтересован в видимых духовных и материальных достижениях нации, тогда как второй, даже в наиболее умеренных формах (например, в немецком юношеском движении), обращен внутрь, сосредоточен на собственной отдельно взятой душе, которая считается воплощением общенациональных качеств. Шовинистская мистика еще указывает на нечто реально существовавшее в прошлом (как в случае *nationalisme intégral*) и просто пытается вознести это в надчеловеческую сферу; трайбализм же начинает с несуществующих псевдомистических элементов, которые он предполагает полностью реализовать в будущем. Его легко опознать по чудовищной самонадеянности, свойственной его сосредоточенности на себе, которая осмели-

Bruck A. *Germany's Third Empire*. N.Y., 1934, в которой он провозглашает: «Есть только одна Империя, как есть только одна Церковь. Все, что еще притязает на этот титул, может быть неким государством, или сообществом, или сектой. Существует же только Империя» (p. 263).

<sup>19</sup> Cleinow G. *Die Zukunft Polens*. Leipzig. 1914. Bd. 2. S. 93 ff.

вается мерить народ, его прошлое и настоящее, своим аршином возвышенных внутренних качеств и неизбежно отворачивается от его реального существования, традиций, институтов и культуры.

В политическом смысле племенной национализм всегда твердит, будто его собственный народ окружен «враждебным миром», стоит «один против всех», что существует глубочайшая разница между этим народом и всеми другими. Он провозглашает свой народ единственным, неповторимым, несовместимым со всеми другими и теоретически отрицает саму возможность общности человечества задолго до того, как всё это использовали, чтобы разрушить человеческое в человеке.

### 1. Племенной национализм

Точно так же как континентальный империализм возник из краха честолюбивых притязаний стран, которые не получили своей доли в неожиданной экспансии 80-х годов, так и трайбализм появился как национализм тех народов, которые не участвовали в национальном освобождении и не добились суверенитета национального государства. Всюду, где сочетались обе эти неудачи, как в многонациональных Австро-Венгрии и России, пандвижения естественно находили для себя самую благоприятную почву. Кроме того, поскольку двуединая монархия опекала и славянские и германские национальности, стремившиеся к воссоединению, панславизм и пангерманизм изначально сосредоточились на ее разрушении, и Австро-Венгрия действительно стала центром пандвижений. Российские панслависты уже в 1870 г. объявили, что наилучшим из возможных отправным пунктом для будущей Панславянской империи был бы распад Австрии<sup>20</sup>, и австрийские пангерманисты так яростно и агрессивно выступали против своего правительства, что даже «Alldeutsche Verband» в Германии часто сожалел о «преувеличениях» братского австрийского движения<sup>21</sup>. Зародившийся в Германии проект экономического союза Центральной Европы под ее водительством, наряду со всеми похожими континентально-имперски-

<sup>20</sup> Во время Крымской войны (1853–1856) Михаил Погодин, русский фольклорист и филолог, написал царю письмо, в котором он назвал славянские народы единственно надежными могучими союзниками России (*Staehlin K. Op. cit. S. 35*). Вскоре после этого генерал Николай Муравьев-Амурский, «один из великих русских строителей империи», выразил надежду на «освобождение славян из-под власти Австрии и Турции» (*Kohn H. Op. cit.*); и еще в 1870 г. появился военный памфлет, который требовал «уничтожения Австрии как необходимого условия для образования панславянской федерации» (см.: *Staehlin K. Op. cit. S. 282*).

<sup>21</sup> См.: *Bonhard O. Op. cit. S. 58 ff*; *Grell H. Der alldeutsche Verband, seine Geschichte, seine Bestrebungen, seine Erfolge. 1898 // Alldeutsche Flugschriften. № 8*.

ми прожектами немецких пангерманистов, немедленно превратился (когда австрийские пангерманисты ухватились за него) в план некой структуры, которая стала бы «центром немецкой жизни во всем мире и соединилась бы со всеми прочими германскими государствами»<sup>22</sup>.

Самоочевидно, что экспансионистские тенденции панславизма так же смущали царя, как Бисмарка беспокоили непрощенные признания австрийских пангерманистов в верности Рейху и в неверности Австрии<sup>23</sup>. Ибо, как бы высоко ни подымалась иногда волна националистических чувств или какими бы возмутительными ни становились националистические претензии во времена чрезвычайных обстоятельств, до тех пор, пока они привязаны к определенной национальной территории и сдерживаются чувством гордости за данное ограниченное национальное государство, они остаются в пределах, которые трайбализм пандвижений переступил сразу.

Новизну пандвижений лучше всего можно оценить по их совершенно небывалому отношению к антисемитизму. Подавляемые меньшинства, вроде славян в Австрии и поляков в царской России, из-за их конфликта с правительством имели больше возможностей открыть невидимые связи между еврейскими общинами и европейскими национальными государствами, и это открытие легко могло повести к более основательной вражде. Всюду, где противодействие государству не отождествлялось с отсутствием патриотизма (как в Польше, в которой знаком польской лояльности была нелояльность к царю, или в Австрии, где немцы смотрели на Бисмарка как на свою великую национальную фигуру), этот антисемитизм принимал более свирепые формы, потому что евреи в таком случае казались агентами не только государственной машины подавления, но и иностранного угнетателя. Однако фундаментальная роль антисемитизма в пандвижениях мало объяснима как позицией меньшинств, так и специфическим опытом, пережитым Шённерером, ведущим деятелем австрийского пангерманизма, когда он, еще член Либеральной партии, осознал связь между Габсбургской монархией и господством Ротшильдов в Австрийской железнодо-

<sup>22</sup> Согласно программе 1913 г. австрийских пангерманистов, цит. по: Pichl E. (al. Herwig). Georg Schoenerer. 1938. 6 vols. Vol. 6. S. 375.

<sup>23</sup> Когда Шённерер, обожатель Бисмарка, заявил в 1876 г., что «Австрия как великая держава должна исчезнуть» (Pichl E. Op. cit. Vol. 1. S. 90), Бисмарк, поразмыслив, ответил своим почитателям, что «сильная Австрия жизненно необходима Германии» (см.: Neuschaefer F. A. Georg Ritter von Schoenerer (Dissertation). Hamburg, 1935). Отношение царей к панславизму было гораздо более двусмысленным, потому что панславистская концепция государства включала сильную народную поддержку деспотическому правлению. Но даже при таких искусительных условиях царский трон отказался поддерживать экспансионистские требования славянофилов и их последователей (см.: Staehlin K. Op. cit. S. 30 ff).

рожной системе<sup>24</sup>. Едва ли это само по себе заставило бы его заявить, что «мы, пангерманцы, считаем антисемитизм главной опорой нашей национальной идеологии»<sup>25</sup>, как не могло нечто подобное побудить панславистского русского писателя Розанова делать вид, будто «нет вопроса русской жизни, где «запятой» не стоял бы вопрос: как справиться с евреем»<sup>26</sup>.

Ключ к внезапному появлению антисемитизма в качестве центра всего мировоззрения и жизнепонимания (в отличие от его простой политической роли во Франции времен дела Дрейфуса или его роли как инструмента пропаганды в Немецком Штеккеровском движении) лежит в самой природе трайбализма, а не в политических фактах и обстоятельствах. Истинная сущность антисемитизма пандвижений в том, что ненависть к евреям впервые была оторвана от всякого фактического опыта политических, социальных или экономических контактов с еврейским народом и следовала только особой логике идеологии.

Племенной национализм — движущая сила континентального империализма — имел очень мало общего с национализмом высокоразвитого западного национального государства. Национальное государство с его претензией на народное представительство и национальный суверенитет в том виде, как оно развивалось со времени Французской революции на протяжении XIX в., было результатом сочетания двух факторов, разделенных еще в XVIII в. и остававшихся разделенными в России и Австро-Венгрии: национальности и государства. Нации вышли на сцену истории и освободились, когда народы осознали себя как исторические и культурные единства, а свои территории — как постоянные дома, где история оставила видимый след, благоустройство которых было плодом повседневного труда их предков и будущее которых зависит от общего хода цивилизации. Где бы ни возникали национальные государства, там миграции сходили на нет, хотя, с другой стороны, в восточно- и южноевропейском регионах утверждение национальных государств не состоялось, потому что им не удалось опереться на прочно укорененные крестьянские классы<sup>27</sup>. Социологически национальное государство было политическим продуктом освобожденных от крепостного права крестьянских классов Европы, и в этом причина, по-

<sup>24</sup> См. главу вторую.

<sup>25</sup> Pichl E. Op. cit. Vol. 1. S. 26. Английский перевод взят из отличной статьи: Karbach O. The founder of modern political antisemitism: Georg von Schoenerer // Jewish Social Studies. 1945. Vol. 7. № 1. January.

<sup>26</sup> Rozanov V. Fallen leaves. 1929. P. 163–164. [Розанов В. В. Опавшие листья (1-й короб) // Розанов В. В. Сумерки просвещения. М.: Педагогика, 1990. С. 523. Или: Он же. Уединенное. М.: Политиздат, 1990. С. 200.]

<sup>27</sup> См.: Macartney C. A. National states and minorities. L., 1934. P. 432 ff.

чему национальные армии смогли удерживать прочные позиции внутри этих государств только до конца прошлого века, т.е. лишь до тех пор, пока армии оставались подлинными представителями крестьянского класса. «Армия, — указывал Маркс, — была *point d'honneur* парцелльных крестьян: она из них делала героев, которые защищали от внешних врагов новую собственность... Военный мундир был их собственным парадным костюмом, война — их поэзией, увеличенная и округленная в воображении парцелла — отечеством, а патриотизм — идеальной формой чувства собственности»<sup>28</sup>. Западный национализм, высшим выражением которого стала воинская обязанность, был созданием твердо стоявших на земле и освобожденных крестьянских классов.

Хотя сознание национальности относительно недавнее явление, структура государства была детищем эпохи монархии и просвещенного абсолютизма. Будь то в форме новой республики или реформированной конституционной монархии, государство унаследовало в качестве своей высшей функции защиту всех проживающих на его территории независимо от их национальности и предположительно должно было действовать как верховный правовой институт. Трагедией национального государства оказалось то, что подъем национального сознания народа мешал исполнению этих функций. Во имя воли народа государство вынуждено было признать гражданами только «националов», гарантировать полные гражданские и политические права только тем, кто принадлежал к национальному сообществу по праву происхождения и факту рождения. Это означало, что государство частично превратилось из инструмента права в орудие нации.

Завоевание государства нацией<sup>29</sup> было во многом облегчено падением абсолютной монархии и последующим новым развитием классов. Предполагалось, что абсолютная монархия служит интересам нации как целого, само ее бытие явно выражает и доказывает существование такого общего интереса. Просвещенный абсолютизм опирался на изречение герцога де Рогана: «Короли правят людьми, а общий интерес правит королем»<sup>30</sup>. С устранением короля и победой суверенитета народа этот общий интерес находился под постоянной угрозой замещения устойчивым конфликтом между классовыми интересами и борьбой за контроль над государственной машиной, т.е. под угрозой замены на вечную гражданскую войну. Без монархии единственной скрепляющей силой между гражданами национального государства, символизирующей их глубинную общность, по-видимому, осталась национальная

<sup>28</sup> Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Соч. 2-е изд. Т. 8. С. 213.

<sup>29</sup> См.: Delos J. T. *La nation*. Montreal, 1944 — выдающееся исследование по этой теме.

<sup>30</sup> См.: Rohan D. de. *De l'intérêt des princes et états de la Chrétienté*. 1638 — труд, посвященный кардиналу Ришелье.

принадлежность, т.е. общее происхождение. Поэтому в век, когда любой класс и группа населения были одержимы классовым или групповым интересом, полагали, что интересы нации как целого гарантировало общее происхождение, которое сентиментально выражало себя в национализме.

Тайный конфликт между государством и нацией стал явным с самого рождения современного национального государства, когда Французская революция соединила Декларацию прав человека с требованием национального суверенитета. Одни и те же основные права были одновременно провозглашены и как неотчуждаемое достояние всех людей и как особенное наследие определенных наций; одну и ту же нацию разом объявляли и подчиненной законам, кои предположительно вытекали из этой Декларации, и суверенной, т.е. не связанной никакой всеобщим законом и не признающей ничего высшего над собой<sup>31</sup>. Практическим результатом этого противоречия стало то, что отныне права человека были защищены и упрочены только как национальные права и что сам институт государства (чьим высшим назначением было оберегать и гарантировать человеку его права как человеческой личности, как гражданину и как представителю национальности) потерял свой юридический, рациональный облик и мог быть истолкован романтиками как туманное воплощение «национальной души», которую сам факт ее существования ставил вне или над законом. Соответственно «национальный суверенитет» терял первоначальный дополнительный оттенок своего значения как «свободы народа» и окутывался псевдомистической атмосферой беззакония и произвола.

Национализм, в сущности, выражал порочное толкование государства как института нации и отождествлял идею гражданина с национальной принадлежностью. Отношение между государством и обществом определялось фактом классовой борьбы, которая вытесняла прежний феодальный порядок. Общество пропиталось духом либерального индивидуализма, ошибочно полагавшего, что государство правило простыми атомарными индивидами, тогда как в действительности оно правило классами, и видевшего в государстве род верховного индивида, перед которым должны преклоняться все другие. По видимости то была воля самой нации, чтобы государство охраняло ее от последствий социальной атомизации и в то же время гарантировало ей возможность оставаться в состоянии атомизации. Дабы соответствовать этой задаче, государство было вынуждено усиливать все прежние стремления к централизации; только сильная централизованная администрация, которая монополизировала все инструменты принуждения и властные

<sup>31</sup> Одним из самых ярких исследований принципа суверенитета все еще остается работа: Bodin J. *Six livres de la république*. 1576. Хорошее изложение и разбор главных идей Бодена см.: Sabine G. H. *A history of political theory*. 1937.

возможности, могла бы составить противовес центробежным силам, постоянно порождаемым в классово разделенном обществе. Национализм в таком случае становился ценнейшим средством для скрепления друг с другом централизованного государства и атомизированного общества и фактически оказывался единственной работающей, живой связью между индивидами в национальном государстве

Национализм всегда хранил эту первоначальную внутреннюю верность централизованному правительству и никогда полностью не утрачивал своей функции сохранения ненадежного равновесия между нацией и государством, с одной стороны, между националами атомизированного общества — с другой. Коренные граждане национального государства часто смотрели сверху вниз на натурализованных граждан, получивших свои права по закону, а не по рождению, от государства, а не от нации. Но они никогда не заходили так далеко, чтобы настаивать на пангерманистском различии между «Staatsfremde», государственно чуждыми, и «Volksfremde», национально чуждыми, которое позднее вошло в нацистское законодательство. Поскольку государство, даже в своей искаженной форме, оставалось правовым институтом, национализм контролировался каким-то законом, и в той мере как национализм проистекал из самоотжествления националов со своей территорией, он держался в определенных границах.

Совсем другими были первые национальные проявления у народов, чья национальность еще не выкристаллизовалась из бесформенности этнического сознания, чей язык еще не перерос диалектную стадию, через которую прошли все европейские языки прежде, чем стать литературными, чьи крестьянские классы не пустили глубоких корней на собственной национальной земле и не исчерпали всех возможностей освобождения и кому, вследствие этого, их национальная особенность гораздо больше казалась интимным частным качеством, внутренне присущим самой их индивидуальности, чем делом общественного значения и развития цивилизации<sup>32</sup>. Если эти народы хотели сравняться в национальной гордости с западными нациями, то за невозможностью предъявить ни своей территории, ни государства, ни исторических достижений они могли указывать лишь на самих себя, и это значило в лучшем случае — на свой язык (словно бы язык сам по себе уже был

<sup>32</sup> В этом контексте интересны предложения социалистов Карла Реннера и Отто Бауэра в Австрии полностью отделить национальность от ее территориальной базы и сделать ее чем-то вроде личного статуса. Этот ход мысли соответствовал положению, при котором этнические группы были рассеяны по всей империи, ни в чем не теряя своего национального характера (см.: Bauer O. Die Nationalitätenfrage und die österreichische Sozialdemokratie. Wien, 1907; о личном (в противоположность территориальному) принципе см. S. 332 ff., 353 ff.: «Личный принцип стремится организовать нации не как территориальные единицы, а как простые ассоциации лиц»).

достижением), а в худшем — на свою славянскую, или германскую, или Бог знает какую душу. Однако в век, наивно полагавший, что все народы практически являются нациями, едва ли оставался иной путь притесняемым народам Австро-Венгрии, царской России или балканских стран, где не существовало условий для реализации западного национального триединства: народ — территория — государство, где многие века постоянно менялись границы и разные группы населения пребывали в состоянии более или менее непрерывной миграции. Там накопились массы людей, не имевших ни малейшего понятия о patria и патриотизме, об ответственности за обычную ограниченную местную общину. Отсюда и шла обеспокоенность «поясом смешанного населения» (Макартни), простиравшимся от Балтики до Адриатики и наиболее отчетливо выраженным в Австро-Венгерской монархии.

Из этой обстановки беспочвенности вырос племенной национализм. Он широко распространился не только среди народов Австро-Венгрии, но и, пусть на более высоком уровне, среди злосчастной интеллигенции царской России. Беспочвенность, неукорененность были истинным источником того «повышенного племенного сознания», которое фактически означало, что представители этих народов не имели своего определенного дома, но чувствовали себя дома всюду, где случилось жить другим представителям их «племени». «Это наша особенность.., — говорил Шёнерер, — что мы тяготеем не к Вене, а к любому месту, где могут жить немцы»<sup>33</sup>. Отличительным признаком пандвижений было то, что они никогда даже и не пытались достичь национального освобождения, но в своих экспансионистских мечтаниях сразу переступали узкие рамки национального сообщества и провозглашали народную общность, которая должна оставаться политическим фактором, даже если ее сочлены были бы рассеяны по всей земле. Подобным образом, в противоположность истинным национально-освободительным движениям малых народов, всегда начинавшим с углубления в национальное прошлое, пандвижения не задерживались на изучении истории, но переносили основу своей народной общности в будущее, по направлению к которому предлагалось маршрутировать движению.

Племенной национализм, распространившийся среди всех притесняемых национальностей Восточной и Южной Европы, развился в новую форму организации — пандвижения — у тех народов, которые сочетали наличие определенного национального дома, своей территории, как Германия и Россия, с большим числом рассеянных за границей сторонников воссоединения, — у немцев и славян<sup>34</sup>. В отличие от за-

<sup>33</sup> Pichl E. Op. cit. Bd. 1. S. 152.

<sup>34</sup> Никакое полнокровное пандвижение никогда не развивалось, кроме как при этих условиях. Панлатинизм был неправильным названием для нескольких мертворожденных

морского империализма, который довольствовался относительным превосходством, национальной миссией или бременем белого человека, пандвижения начинали с абсолютных притязаний на избранность. Национализм часто описывали как эмоциональный суррогат религии, но только трайбализм пандвижений предложил новую религиозную теорию и новое понятие святости. Вовсе не религиозное предназначение и положение царя в православной церкви привело русских панславистов к утверждению христианской сущности русского народа, этого, по мысли Достоевского, народа-богоносца, «святого Христофора среди народов», вносящего Бога прямо в дела мира сего<sup>35</sup>. Именно из-за претензий быть «истинно божественным народом новых времен»<sup>36</sup> панслависты забросили свои ранние либеральные устремления и, несмотря на сопротивление правительства и иногда даже преследования, стали стойкими борцами за Святую Русь.

Австрийские пангерманисты предъявляли сходные притязания на божественное избранничество, даже если они, тоже имея похожее либеральное прошлое, оставались антиклерикалами и становились антихристианами. Когда Гитлер, сознававший себя учеником Шённера, заявлял во время последней мировой войны: «Всемогущий Бог создал нашу нацию. Мы защищаем Его дело, защищая самое ее существование»<sup>37</sup>, то ответ с другой стороны, от последователя панславизма, был равно верен общему типу: «Немецкие изверги не только наши враги, но и враги Божии»<sup>38</sup>. Эти недавние формулировки не были порождены сиюминутными пропагандистскими потребностями, и фанатизм этого рода — не просто

попыток латинских наций создать какой-то союз против германской опасности, и даже польский мессианизм никогда не претендовал ни на что большее, чем на то, что когда-то, возможно, было польской территорией. Декерт (*Deckert E. Op. cit. S. 7*) в 1914 г. заявил, что «панлатинизм все больше и больше приходит в упадок, а национализм и государственное сознание стали сильнее и сохранили в латинских странах больший потенциал, чем где-либо еще в Европе».

<sup>35</sup> *Berdyaev N. The origin of russian communism. 1937. P. 102.* [Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. С. 73.] К. С. Аксаков в 1855 г. назвал русский народ «единственным христианским народом на земле» (см.: *Ehrenberg H., Vubnoff N. V. Oestliches Christentum. Bd. 1. S. 92 ff.*), а поэт Тютчев утверждал в то же время, что «русский народ — христианин не только по православной вере, но и по чему-то более душевному. Он христианин по той способности самоотречения и жертвы, которая лежит в основании его нравственной природы» (цит. по: *Kohn H. Op. cit.*).

<sup>36</sup> Согласно Чаадаеву, чьи «Философические письма» (1829–1831) были первой систематической попыткой взглянуть на мировую историю с русским народом в центре. См.: *Ehrenberg H. Op. cit. Bd. 1. S. 5 ff.* [Ср. Чаадаев П. Я. Соч. М.: Правда, 1989. С. 236. Здесь Арендт, видимо, приняла за чистую монету ироническое пародирование Чаадаевым славянофильской лексики. (Прим. пер.)]

<sup>37</sup> *New York Times. 1945. January 31.*

<sup>38</sup> Слова Луки, архиепископа Тамбовского (цит. по: Журнал Московской Патриархии. 1944. № 2).

злоупотребление религиозным языком. За ними стоит настоящая теология, которая дала толчок ранним пандвижениям и сохранила значительное влияние на развитие современных тоталитарных движений.

Наперекор иудео-христианской вере в божественное происхождение Человека, пандвижения проповедовали божественное происхождение собственного народа. Согласно им, человек, неизбежно входя в какой-то народ, обретал свое божественное происхождение только косвенно, через членство в народе. Индивид тем самым имеет божественную ценность только постольку, поскольку принадлежит к народу выделенному, отмеченному своим божественным происхождением. Индивид теряет эту ценность всякий раз, когда решает переменить свою национальность, ибо в таком случае он рвет все связи, через которые был наделен дарами божественного происхождения, и падает, так сказать, в метафизическую бездомность. Политическая выгода такого построения двойная. Оно делало национальность постоянным качеством, которое больше не могла поколебать история, что бы ни происходило с данным народом: эмиграция, завоевание, рассеяние. Но ближайшая выгода состояла в том, что при абсолютном противопоставлении божественного происхождения одного своего народа всем другим небожественным народам исчезали всякие различия (будь то социальные, экономические или психологические) между отдельными членами этого народа. Божественное происхождение превращало народ в однородную «избранную» массу высокомерных роботов<sup>39</sup>.

Ложность этой теории очевидна так же, как и ее политическая полезность. Бог не создавал ни людей, происхождение которых ясно из факта размножения, ни народов, которые появились как результат человеческой организации. Люди неравны по природному происхождению, по разной организации и судьбе в истории. Их равенство есть лишь равенство прав, т.е. равенство человеческого назначения; однако за этим равенством человеческого назначения стоит, согласно иудео-христианской традиции, другое равенство, воплощенное в идее единого общего происхождения вне человеческой истории, вне человеческой природы и назначения — общего происхождения в мифическом неопределенном человеке, который один сотворен Богом. Это божественное происхождение есть та метафизическая идея, на которой может быть основано политическое равенство в человеческом предназначении —

<sup>39</sup> Это признавал уже русский иезуит князь И. С. Гагарин в своем памфлете «*La Russie sera-t-elle catholique?*» (1856), где он нападал на славянофилов, потому что «они хотят установить самое полное религиозное, политическое и национальное единообразие. В своей внешней политике они хотят слить в великой Славянской Православной Империи всех православных христиан независимо от национальности и всех славян независимо от религии» (цит. по: *Kohn H. Op. cit.*).

утвердить человечество на земле. Позитивизм и прогрессизм XIX в. извратили это назначение человеческого равенства, когда они пробовали доказывать недоказуемое, будто люди равны по природе и различаются только историей и обстоятельствами, так что их можно уравнивать не по правам, а по условиям жизни и образованию. Национализм со своей идеей «национальной миссии» извращал национальное понятие о человечестве как семье наций и превращал его в иерархическую структуру, где различия, обусловленные историей и организацией, были ложно перетолкованы как различия между людьми, кроющиеся в природном происхождении. Расизм, который отрицал общее происхождение человека и общую цель устройства человечества, ввел понятие божественного происхождения одного народа в противоположность всем другим, тем самым окутывая псевдомистическим туманом божественной вечности и завершенности бранные и переменчивые результаты человеческих усилий.

Эта завершенность выступает как своего рода общий знаменатель философии пандвижений и расовых концепций и объясняет их внутреннее теоретическое родство. Политически совершенно неважно, Бог или природа мыслится источником происхождения народа; в обоих случаях, независимо от того, насколько возвышены требования к одному своему народу, народы, как таковые, превращаются в виды животных так, что русский выглядит отличным от немца не меньше, чем волк от лисы. «Божественный народ» обитает в мире, где он либо прирожденный гонитель всех других более слабых видов, либо такая же естественная жертва всех более сильных. К его политическим судьбам возможно применять только правила животного царства.

Трайбализм пандвижений с его идеей «божественного происхождения» одного народа обязан частью своей большой привлекательности презрению к либеральному индивидуализму<sup>40</sup>, идеалу человечества и достоинству человека. От человеческого достоинства ничего не остается, если ценность индивида зависит только от случайного факта рождения немцем или русским; но вместо этого есть новая связь — чувство взаимоподдержки среди всех сочленов одного народа, которое и в самом деле способно смягчить обоснованные страхи современных людей относительно того, что могло бы с ними случиться, если бы, при существующей изоляции индивидов в атомизированном обществе, они не были защищенными просто своей численностью и сильными единой образной общей спайкой. По сходным причинам народы «пояса сме-

<sup>40</sup> «...Все назначение человека состоит в разрушении его отдельного существа и в замене его существом совершенно социальным или безличным» (Ehrenberg H. Op. cit. Bd. 1. S. 60). [Чаадаев П. Я. Философические письма. Письмо седьмое // Чаадаев П. Я. Соч. М.: Правда, 1989. С. 115.]

шанного населения», больше, чем в других частях Европы, открытые штормам истории и слабее укорененные в западной традиции, раньше прочих европейских народов почувствовали тяжесть идеала всечеловечности и иудео-христианской веры в общее происхождение человека. Народы этого пояса не питали никаких иллюзий насчет «благородного дикаря», ибо они и без исследования привычек каннибалов кое-что знали о потенциальных возможностях зла. А чем больше народы знают друг о друге, тем меньше хотят признавать прочие народы себе равными и тем дальше отступают от идеала всечеловечности.

Привлекательность племенной изоляции и амбиции расы господ отчасти порождались инстинктивным ощущением, что человечество, будь то в форме религиозного или гуманистического идеала, подразумевает разделение бремени общей ответственности<sup>41</sup>. Сжатие географических расстояний сделало это политической реальностью первого порядка<sup>42</sup>. Оно также заставило отодвинуть в прошлое идеалистическую болтовню о человечестве и достоинстве человека просто потому, что все эти прекрасные и призрачные идеи с их традициями, освященными веками, вдруг приобрели пугающую актуальность. Для осознания того факта (который народ понимал очень хорошо), что идея всечеловечности, очищенная от всякой сентиментальщины, имеет чрезвычайно серьезные последствия в том смысле, что человек так или иначе должен принять на себя ответственность за все преступления людей, и что в конце концов все нации будут в ответе за зло, творимое всеми другими, — для этого не хватало даже признания греховности всех людей, конечно же отсутствующего во фразеологии либеральных поборников «человечества».

Трайбализм и расизм — это очень реалистические, хотя и крайне разрушительные, способы избежать неприятностей общей ответственности. Их метафизическая беспочвенность, так хорошо сочетавшаяся с утратой территориальных корней национальностями, которыми она завладела впервые, столь же хорошо соответствовала запросам неустой-

<sup>41</sup> Характерен следующий отрывок из Фриманна (Op. cit. S. 186): «Мы знаем наш собственный народ, его достоинства и его недостатки — человечества мы не знаем и отказываемся заботиться о нем или воодушевляться им. Где оно начинается, где кончается, что нам положено любить как принадлежащее к человечеству?.. Входят ли в человечество вырождающийся или полуживотный русский крестьянин из своего «мира», негр из Восточной Африки, полукровка из немецкой Юго-Западной Африки, невыносимые галицийские или румынские евреи?.. Можно верить в солидарность германских народов — все, что вне этой сферы, не имеет для нас значения».

<sup>42</sup> Именно об этом сжатии географических расстояний говорилось у Ф. Наумана в «Central Europe»: «Еще далекий день, когда будет «одно стадо и один пастух», но прошли дни, когда пастыри без числа более или менее вольно водили свои стада по пастбищам Европы. Дух крупной промышленности и наднациональной организации завладел политикой. Как выразился однажды Сесил Родс, люди мыслят «континентами». — Эти несколько строк бесчисленно цитировались в статьях и памфлетах того времени.

чивых масс больших городов, и потому вытекавшие из нее возможности сразу были поняты тоталитаризмом. Даже фанатическое принятие большевиками величайшего антинационального учения, марксизма, встретило противодействие, и мотивы панславистской пропаганды возобновились в Советской России из-за огромной разъединяющей силы таких теорий самих по себе<sup>43</sup>.

Справедливо говорят, что система правления в Австро-Венгрии и царской России была настоящей школой воспитания племенного национализма, основанной на подавлении национальностей. В России это подавление полностью монополизировала бюрократия, которая также подавляла и русский народ, в результате чего только русская интеллигенция стала панславистской. Австро-Венгерская монархия, напротив, господствовала над своими беспокойными национальностями, попросту предоставляя им достаточно свободы подавлять другие национальностей, с тем результатом, что первые стали реальной массовой базой для идеологии пандвижений. Секрет выживания Габсбургов в XIX в. таился в тщательном поддержании межнационального баланса и наднациональной государственной машины с помощью взаимной вражды и эксплуатации чехов немцами, словаков венграми, русинов поляками и т.д. Для всех этих народов стало чем-то само собой разумеющимся, что можно достичь самостоятельного национального существования за счет других и что можно было бы охотно пожертвовать свободой, если бы подавление исходило от собственного национального правительства.

Оба пандвижения развивались без всякой помощи от русского или германского правительства. Но это не мешало австрийским приверженцам этих пандвижений позволить себе скромное удовольствие изменять австрийскому правительству. То была возможность воспитания масс в духе государственной измены, осуществляемого австрийскими пандвижениями при значительной народной поддержке, которой всегда не хватало пандвижениям в собственно Германии или России. Было много легче настроить немецкого рабочего против немецкой буржуазии, чем против правительства, как было легче в России «поднять крестьян на помещиков, чем на царя»<sup>44</sup>. Разница в психологических установках немецких рабочих и русских крестьян, конечно, была огромной: первые

<sup>43</sup> В этом отношении очень интересны новые теории генетиков Советской России. Наследование приобретенных признаков явно означает, что популяции, живущие при неблагоприятных условиях, движутся к обеднению наследственной одаренности и vice versa. «Одним словом, мы должны получить господствующие по природе и подчиненные расы» (см.: Muller H. S. The soviet master race theory // New Leader. 1949. July 30).

<sup>44</sup> Fedotov G. Russia and freedom // The Review of Politics. 1946. Vol. 8. № 1. January. Это настоящий шедевр исторического письма, передающий суть русской истории в целом.

видели в не слишком любимом монархе символ национального единства, вторые же смотрели на главу своего правительства как на истинного наместника Бога на земле. Эти различия, однако, значили меньше, чем факт, что ни в России, ни в Германии правительство не было таким слабым, как в Австрии, и не роняло свой авторитет так низко, что пандвижения могли извлекать политический капитал из революционного движения. Только в Австрии революционный заряд нашел естественный выход в пандвижениях. Не очень искусно проводимая политика divide et impera почти не ослабила центробежных национальных чувств, но зато весьма преуспела в возбуждении комплексов превосходства и общего настроения нелояльности.

Враждебность к государству как институту пронизывает теории всех пандвижений. Славянофильское отношение к государству правильно описывалось как «совсем иное... чем в системе официальной народности»<sup>45</sup>; государство по самой своей природе чуждо народу. Славянское преимущество усматривалось в безразличии русских людей к государству, в их стремлении держаться как *corpus separatum* от их собственного правительства. Именно это подразумевали славянофилы, когда называли русских «не государственным» народом, и это же позволяло таким «либералам» примиряться с деспотизмом; все это вполне согласовывалось с требованием деспотизма «не вмешиваться в дела государственной власти», т.е. не трогать абсолютности этой власти<sup>46</sup>. Пангерманисты, политически более развитые, всегда настаивали на первенстве национальных интересов перед государственными<sup>47</sup> и обычно доказывали, что «мировая политика преодолевает рамки государства», что единственным постоянно действующим фактором в ходе истории был народ, а не государство и, следовательно, национальные потребности, меняющиеся с обстоятельствами, должны определять политические действия государства во все времена<sup>48</sup>. Но то, что в Германии и России оставалось только громкими фразами вплоть до конца первой мировой войны, имело достаточно реальный вид в Австро-Венгерской монархии, упадок которой породил постоянное злорадное презрение к правительству.

<sup>45</sup> Berdyaev N. Op. cit. P. 29. [Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. С. 25.]

<sup>46</sup> Аксаков К. С. Цит. по Ehrenberg H. Op. cit. S. 97.

<sup>47</sup> См., например, жалобу Шёненера, что австрийская «Verfassungspartei» еще подчиняла национальные интересы государственным интересам (Pichl E. Op. cit. Bd. 1. S. 151). См. также характерные пассажи в пангерманистском сочинении графа Ревентлова: Reventlow E. Judas Kampf und Niederlage in Deutschland. 1937. S. 39 ff., который рассматривал национал-социализм как реализацию пангерманизма по причине его отказа «идолопоклонничать» перед государством, которое есть лишь одна из функций народной жизни.

<sup>48</sup> Hasse E. Deutsche Weltpolitik. 1897 // Alldeutsche Flugschriften. № 5; Deutsche Politik Heft 1: Das deutsche Reich als Nationalstaat. 1905. S. 50.

Было бы серьезной ошибкой полагать, будто лидеры пандвижений были реакционерами или «контрреволюционерами». Хотя, как правило, и не слишком интересовавшиеся социальными вопросами, они никогда не делали такой ошибки, чтобы становиться на сторону капиталистической эксплуатации, и большинство из них принадлежало (а многие продолжали принадлежать) к либеральным, прогрессивным партиям. В некотором смысле совершенно верно, что Пангерманская Лига делала «реальные попытки народного контроля в иностранных делах. Она твердо верила в эффективность сильного национально настроенного общественного мнения... и в установление национальной политики благодаря силе народных требований»<sup>49</sup>. Все верно, за исключением того, что толпа, организованная в пандвижения и вдохновляемая расовыми идеологиями, была совсем не тем народом, чьи революционные действия приводили когда-то к конституционному правлению и подлинных представителей которого в то время можно было найти только в рабочих движениях, но гораздо больше походила на «расу» со своим «преувеличенным племенным сознанием» и видимым недостатком патриотизма.

Панславизм, в противоположность пангерманизму, формировался и распространялся в среде русской интеллигенции. Гораздо менее развитой в своих организационных формах и менее последовательный в политических программах, он удивительно долго сохранял очень высокий уровень литературной изощренности и философской спекуляции. В то время как Розанов предавался размышлениям о таинственных различиях между еврейской и христианской половой силой и приходил к удивительному заключению, что «евреи соединены с этой силой, а христиане с нею разделены»<sup>50</sup>, вождь австрийских пангерманистов всюду охотно делился планами «привлечь интерес маленького человека пропагандистскими песнями, почтовыми открытками, шёнерековскими пивными кружками, прогулочными тростями и спичками»<sup>51</sup>. И всё-таки в конце концов и панслависты «отбросили Шеллинга с Гегелем и обратились за теоретическим снаряжением к естественным наукам»<sup>52</sup>.

Пангерманизм, основанный одним человеком, Георгом фон Шёнереком, и поддержанный главным образом немецко-австрийскими студентами, с самого начала говорил поразительно простым, народным языком, предназначенным привлечь возможно более широкие и раз-

<sup>49</sup> Wertheimer M. Op. cit. S. 209.

<sup>50</sup> Rosanov V. Op. cit., P. 56–57. [Розанов В. В. Указ. соч. С. 437.]

<sup>51</sup> Karbach O. Op. cit.

<sup>52</sup> Levine L. Pan-Slavism and European Politics. N.Y. 1914; Ливайн описывает это изменение, переходя от рассмотрения старшего поколения славянофилов к анализу нового панславистского движения.

ные социальные слои. Шёнерек был также «первым, кто постиг возможности антисемитизма как инструмента для принудительного перенаправления внешней политики и подрыва... внутренней структуры государства»<sup>53</sup>. Некоторые причины пригодности евреев для таких целей очевидны: это их очень заметное положение в Габсбургской монархии вкупе с фактом, что в многонациональной стране их куда легче признать отдельной национальностью, чем в национальных государствах, гражданами которых, по крайней мере в теории, однородного происхождения. Но хотя это определенно объясняет иступленность австрийской ветви антисемитизма и показывает, каким проницательным политиком был Шёнерек, эксплуатируя данную тему, сие не помогает нам понять центральную идеологическую роль антисемитизма в обоих пандвижениях.

«Преувеличенное племенное сознание» как эмоциональное горячее пандвижений было вполне развитым еще до того, как антисемитизм стал их центральной и централизующей темой. Панславизм, с его долгой и более респектабельной историей философского умозрения и более очевидной политической неэффективностью, повернул к антисемитизму только в последние десятилетия XIX в. Пангерманист Шёнерек открыто провозглашал свою враждебность к государственным институтам уже тогда, когда многие евреи еще состояли в его партии<sup>54</sup>. В Германии, где штеккеровское движение наглядно доказало полезность антисемитизма как оружия политической пропаганды, Пангерманская лига начинала с явно антисемитских поползновений, но до 1918 г. она никогда не заходила так далеко, чтобы исключать евреев из числа своих членов<sup>55</sup>. Эпизодическая славянофильская антипатия к евреям переросла в антисемитизм у всей русской интеллигенции после убийства царя в 1881 г., когда волна погромов, организованная правительством, поставила еврейский вопрос в центр общественного внимания.

Шёнерек, который открывал возможности антисемитизма тогда же, вероятно, начал осознать их почти нечаянно: поскольку он прежде всего хотел разрушить Габсбургскую империю, было нетрудно «вычислить» отдаленный результат исключения одной национальности из государственной структуры, опирающейся на множественность национальностей. Вся ткань этого своеобразного государственного строя, хрупкое равновесие его бюрократии могли расползтись и расстроиться, если бы умеренно давящая крышка, под которой все национальности пользовались равенством, была сорвана народными движениями. И од-

<sup>53</sup> Karbach O. Op. cit.

<sup>54</sup> Линцкая программа, которая осталась программой пангерманистов в Австрии, первоначально была составлена без параграфа о евреях. В редакционную комиссию 1882 г. входили три еврея. «Еврейский» параграф добавили в 1885 г. (см.: Karbach O. Op. cit.).

<sup>55</sup> Bonhard O. Op. cit. S. 45.

нако той же цели с равным успехом могла бы послужить и ярая ненависть пангерманистов к славянским национальностям — ненависть, которая прочно утвердилась задолго до того, как движение стало антисемитским, и которая одобрялась его еврейскими участниками.

Только объединение с племенным национализмом Восточной Европы сделало антисемитизм пандвижений столь эффективным, что он смог пережить общий упадок антисемитской пропаганды во время обманчивого затишья перед первой мировой войной. Ибо существовало внутреннее сродство между теориями пандвижений и «беспочвенным» бытием еврейского народа. По-видимому, евреи были тем совершенным примером народа и его организации в племенном смысле, чей образец пандвижения стремились превзойти, чье выживание и приписываемая им жизненная энергия служили лучшим доказательством правильности расовых теорий.

Если другие национальности в двуединой монархии были всего лишь слабо укоренены на своей земле и очень мало сознавали значение общей территории для самоопределения, то евреи выступали примером народа, который и вовсе без собственного дома оказался способен сохранять свою самотождественность, свое лицо веками и мог тем самым послужить доказательством, что никакая территория не нужна для формирования национальности<sup>56</sup>. Если пандвижения настаивали на второстепенной роли государства и высшем значении народа, организованного помимо суверенитетов стран его обитания и не обязательно представленного в «видимых» институтах, то евреи были совершенным образцом нации без государства и явных институтов<sup>57</sup>. Если «племенные» национальности указывали на самих себя как на главный предмет своей национальной гордости, независимо от исторических достижений и участия в засвидетельствованных событиях, если они верили, будто некое таинственное врожденное психологическое или телесное качество делало их воплощением не Германии — но германизма, не России — но русской души, то они еще почему-то чувствовали (даже если не знали, как это выразить), что еврейство ассимилированных евреев было точно таким же индивидуально-личным воплощением иудаизма и что особая гордость секуляризовавшихся евреев, которые не отказались от притязаний на избранность, в действительности означала, что они ве-

рили в свою непохожесть и превосходство просто потому, что родились евреями, безотносительно к достижениям и традиции еврейства.

Достаточно правдоподобно, конечно, что этот еврейский настрой, этот, так сказать, еврейский отпечаток племенного национализма был результатом ненормального положения евреев в современных государствах, положения вне общества и вне нации. Но положение тех неустойчивых этнических групп, которые начали сознавать свою национальность только благодаря примеру других — западных — наций, и позднее положение вырванных из почвы масс больших городов, столь успешно мобилизованных расизмом, во многих отношениях было очень похоже. Они тоже пребывали вне общества и вне политической системы национального государства, единственной, по-видимому, удовлетворительной политической организации народов. В евреях упомянутые этнические группы и городские массы сразу же почуяли более счастливых, удачливых конкурентов, поскольку, как они считали, евреи нашли путь создания своего собственного общества, которое именно потому, что не имело видимого представительства и нормального политического выхода, смогло стать заменой нации.

Но сильнее, чем что-либо еще, втягивало евреев в центр этих расовых идеологий то, даже более очевидное, обстоятельство, что претензии пандвижений на избранность могли серьезно столкнуться только с еврейскими претензиями. Неважно, что еврейская идея не имела ничего общего с трайбалистскими спекуляциями о божественном происхождении чьего-то собственного народа. Толпа мало интересуется такими тонкостями при установлении исторической истины и едва ли сознает разницу между еврейской миссией достигнуть в конце концов устройства человечества в истории и ее собственной «миссией» — добиться господства над всеми прочими народами на земле. Зато вожаки пандвижений очень хорошо усвоили, что евреи, в точности как они сами, делят мир на две половины: мы и все другие<sup>58</sup>. В этой дихотомии евреи опять явились в роли счастливых соперников, которые добились признания, получив в наследство нечто такое, что неевреям надо было строить с самого начала и на пустом месте<sup>59</sup>.

<sup>58</sup> Близость способов такого деления у евреев и неевреев видна по нижеследующим совпадениям, к которым можно бы прибавить еще много примеров. Штейнберг (указ. соч.) говорит о евреях, что их история протекает вне всех обычных исторических законов; Чаадаев называет русских исключением среди народов [см.: Чаадаев П. Я. Соч. М., 1989. С. 21]; Бердяев прямо заявил: «Русский мессианизм родствен еврейскому мессианизму» (Бердяев. *Op. cit.*, P. 135. [Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 94]).

<sup>59</sup> См. у антисемита Э. Ревентлова (см.: *Reventlow E. Op. cit.*), а также и у семитофила русского философа В. Соловьева («Еврейство и христианский вопрос», 1884): «В средух двух религиозных наций [русских и поляков], имеющих каждая свою особую теократическую идею, история выдвинула третий религиозный народ, также обладающий свое-

<sup>56</sup> Так казалось и определено не антисемиту социалисту Отто Бауэру (*Bauer O. Op. cit.* S. 373).

<sup>57</sup> Очень поучительно для характеристики еврейского самопонимания эссе: *Steinberg A. S. Die weltanschaulichen Voraussetzungen der jüdischen Geschichtsschreibung // Dubnov Festschrift. 1930.* «Если... уверовать в идею жизни, как она выразилась в еврейской истории... тогда проблема государства теряет свое значение, как бы мы ни решали ее».

Существует «трюизм», не сделавшийся более правдивым от повторения, будто антисемитизм только форма зависти. Но по отношению к еврейской избранности это достаточно верно. Во все времена, когда народы отлучались от реальных дел и настоящих исторических достижений, когда эти естественные связи с нормальным миром не существовали или разрывались по той или иной причине, народы бывали склонны оборачиваться на себя в своей голой природной данности и притязать на божественную миссию искупления грехов и спасения всего мира. Когда такое случается в странах западной цивилизации, их народы на своем пути неизменно натываются на древнюю конкурентную заявку евреев. Все это чувствовали идеологи пандвижений, и вот почему их так беспокоила «практическая» проблема, является ли еврейский вопрос достаточно веским в смысле численности и власти евреев, чтобы сделать ненависть к ним оплотом своей идеологии. Поскольку собственная национальная гордость идеологов не зависела ни от каких достижений, то и их ненависть к еврейству освободила себя от учета всех его конкретных добрых и злых деяний. В этом у пандвижений было полное согласие, хотя ни одно из них еще не знало, как использовать этот идеологический оплот для целей политической организации.

Время отставания серьезного политического применения пандвиженческой идеологии от времени ее оформления характеризуется тем фактом, что «Протоколы сионских мудрецов», сфабрикованные около 1900 г. агентами русской тайной полиции по наущению Победоносцева, политического советника Николая II и единственного панслависта, когда-либо занимавшего влиятельный пост, оставались полузабытым памфлетом до 1919 г., когда они начали поистине триумфальное шествие по всем европейским странам и языкам<sup>60</sup>. Приблизительно через 30 лет после фабрикации распространение «Протоколов» уступало только «Mein Kampf» Гитлера. Ни фальсификатор, ни его наниматель не ведали, что придет время, когда полиция станет центральным институтом общества и вся власть в неких странах будет организована согласно предполагаемым еврейским принципам, изложенным в «Протоколах». Вероятно, Сталин первым раскрыл все потенциальные возможности полиции в делах правления. Но Гитлер, несомненно, был тем человеком, кто лучше и трезвее своего духовного отца Шённера знал, как использовать иерархический принцип расизма, как спекулировать на антисемитском утверждении о существовании «худшего» народа,

чтобы надлежащим образом организовать «лучший» и между ними расположить по ранжиру всех завоеванных и угнетенных, как обобщить пандвиженческий комплекс превосходства так, чтобы каждый народ, за необходимым исключением евреев, мог сверху вниз смотреть на кого-то еще более обездоленного, чем он сам.

Очевидно, понадобилось еще несколько десятилетий скрытого хаоса и открытого отчаяния, прежде чем широкие слои народа радостно уверовали, что им надо достичь того же, чего, как они думали, до сих пор умели добиться одни евреи со своим врожденным демонизмом. Во всяком случае, вожаки пандвижений хотя уже смутно сознавали значение социального вопроса, все еще оставались очень односторонними в своей ставке на внешнюю политику. Тем самым они были не в состоянии увидеть, что антисемитизм мог бы стать необходимым связующим звеном между внутренними и внешними методами действия, они не знали еще, как устроить свою «народную общность», т.е. полностью лишенную корней и почвы, отравленную расовыми идеями орду.

То, что фанатизм пандвижений обрушился на евреев, сделав их центром идеологии ненависти (и это стало началом конца европейского еврейства), является одним из самых логичных и самых горьких отщепеней, когда-либо осуществленных историей. Ибо определенно есть доля истины в «просветительских» утверждениях от Вольтера до Ренана и Тэна, что идея избранности евреев, отождествление ими религии и национальности, их притязания на совершенно особое положение в истории и на единственные, исключительные отношения с Богом внесли в западную цивилизацию неведомый ей в остальном элемент фанатизма (унаследованный христианством с его претензией на абсолютно безраздельное обладание Истиной) и еще элемент гордыни, опасно близкий к расовому извращению<sup>61</sup>. Политически уже не имело значения, что иудаизм и неиспорченное еврейское благочестие всегда были свободны от еретического признания имманентности им божественного и даже враждебны этому.

Ибо племенной национализм — это извращенное подобие религии, которое заклинали Бога избрать один народ — свой собственный. Только потому, что этот древний миф вкупе с единственным народом, выжившим с античных времен, пустили глубокие корни в западной цивилизации, и мог вождь современной толпы набраться бесстыдства с известным правдоподобием впутывать Бога в мелкие стычки между народами и призывать Его благословение на выбор, который сам этот

образным теократическим представлением, — народ израильский» (см.: [Соловьев В. Соч. в 2-х т. Т. 1. М.: Правда, 1989. С. 242]; Ehrenberg H. Op. cit. S. 314 ff; а также Cleinow G. Op. cit. S. 44 ff.

<sup>60</sup> См.: Curtiss J. S. The Protocols of Zion. N.Y., 1942.

<sup>61</sup> См.: Berdyayev N. Op. cit. P. 5. [Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 10]: «Религиозное и национальное в московском царстве так же между собой срослось, как в сознании древне-еврейского народа. И так же как иудаизму свойственно было мессианское сознание, оно свойственно было русскому православию».

вождь уже удачно подтасовал<sup>62</sup>. Ненависть расистов к евреям проистекала из суеверного страха-подозрения: а вдруг и в самом деле евреи, а не они — тот народ, кого избрал Бог, кому успех гарантирован божественным провидением. В этом был элемент слабодушной обиды и возмущения против народа, который, как втайне боялись, получил рационально непостижимую гарантию, что, вопреки любым историческим видимостям, он в итоге объявится конечным победителем в мировой истории.

Для умственного склада толпы еврейская идея божественной миссии осуществить царство божие на земле только и могла предстать в вульгарных одеждах успеха либо провала. Страх и ненависть питались и в какой-то мере рационалистически объяснялись тем фактом, что христианство, религия еврейского происхождения, уже овладело западным человечеством. Руководимые собственными смехотворными суевериями, вожаки пандвижений нашли ту лежащую на поверхности зацепку в механике еврейской набожности, которая сделала возможным ее полное искажение, так что избранность перестала быть мифом о конечном осуществлении идеала всечеловечества и превратилась в миф о его конечном разрушении как цели еврейства.

## 2. Наследие беззакония

Открытое неуважение к закону и правовым институтам, а также идеологическое оправдание беззакония были гораздо более характерны для континентального, чем для заморского, империализма. Частично это объяснимо тем, что континентальным империалистам не хватало географического расстояния, чтобы пространственно развести незаконность своего правления на чужих континентах и законность институтов своих родных стран. Равноважен здесь и тот факт, что пандвижения начались в странах, которые никогда не знали конституционного правления, из-за чего их вожди наивно-естественно представляли себе правление и власть в виде произвольных решений сверху.

Презрение к закону стало типичным для всех движений. Оно отражало фактические условия правления и в России, и в Австро-Венг-

рии, хотя в панславизме было выражено полнее, чем в пангерманизме. Описывать эти две деспотии (единственные оставшиеся в Европе перед первой мировой войной) как многонациональные государства — значит давать только одну часть картины. Абсолютистские системы управления многонациональными территориями отличались от других правительств тем, что прямо руководили народами (а не только эксплуатировали их) с помощью бюрократии; партии играли несущественную роль, а парламенты не имели законодательных функций; государство правило посредством администрации, применявшей декреты. Для двуединой монархии парламент значил немногим больше чем не слишком яркий дискуссионный клуб. В России, как и в довоенной Австрии, едва ли можно было найти серьезную оппозицию, кроме усиленно раздуваемой внепарламентскими группами, которые сознавали, что их вхождение в парламентскую систему только отвратило бы от них народное внимание и поддержку.

В правовом отношении правление посредством бюрократии есть правление декретами, и это значит, что власть, которая при конституционном правлении только обеспечивает соблюдение законов, становится непосредственным источником всякого законодательства. Более того, декреты остаются анонимными (тогда как происхождение законов от конкретных людей или собраний всегда можно проследить) и потому кажутся исходящими от некоей тотальной правящей силы, которая не нуждается в оправдании. Презрение Победоносцева к «силкам» закона было вечным презрением администратора к предполагаемому недостатку свободы у законодателя, который стеснен принципами, и к медлительности исполнителей закона, сдерживаемых его истолкованиями. Бюрократ, просто издавая указы и декреты, имеет иллюзию постоянной деятельности, переживает чувство огромного превосходства над теми «непрактичными» людьми, которые вечно вязнут в «юридических тонкостях» и потому оказываются вне сферы власти, которая для него есть источник всего на свете.

Такой администратор считает закон бессильным, потому что закон, по определению, отделен от своего применения. Декрет, с другой стороны, вообще существует лишь постольку, поскольку его применяют; он не нуждается ни в каком оправдании, кроме непосредственной пригодности. Разумеется, верно, что все правительства пользуются декретами во времена чрезвычайных обстоятельств, но тогда сами эти обстоятельства обеспечивают ясное оправдание и автоматическое ограничение декретирования. При бюрократических системах правления суть декретов выявляется в своей нагой чистоте, словно бы они больше не произведение людей, власть имущих, а воплощение самой власти, где администратор лишь ее случайный представитель. За декретами

<sup>62</sup> Фантастический пример безумия в этих делах представлен в следующем отрывке из Леона Блуа, к счастью не характерном для французского национализма: «Франция настолько впереди других наций, что все прочие, безразлично кто они, должны почтить наградой, если им позволят есть хлеб из одной миски с ее собаками. Если счастлива только Франция — остальной мир может быть доволен, пусть даже ему придется платить за счастье Франции рабством или разрухой. Но если Франция страдает, тогда страдает сам Бог, грозный Бог... Это также абсолютно и непреложно, как тайна судьбы» (цит. по: *Nadolny R. Germanisierung oder Slavisierung? 1928. S. 55*).

нет общих принципов, обыкновенные доводы в пользу которых можно понять, но всегда есть изменяющиеся обстоятельства, которые может знать досконально только эксперт. Люди, управляемые декретами, никогда не знают, что правит ими, из-за невозможности понять декреты сами по себе и в силу тщательно организованного неведения особых обстоятельств и их практических последствий, в котором все администраторы держат своих подопечных. Колониальный империализм, который тоже управлял с помощью декретов и иногда даже определялся как «régime des décrets»<sup>63</sup>, был достаточно опасен, но все же сам факт, что администраторы для туземного населения ввозились извне и воспринимались как захватчики, умалял их влияние на подопечные народы. Только там, где, как в России и Австрии, законное правительство составляли местные правители и местная бюрократия, декретное правление смогло породить такую атмосферу произвола и секретности, которая успешно скрывала его простую целесообразность.

Правление декретами и указами имеет заметные преимущества для контролирования обширных территорий с разнородным населением и для политики подавления. Эффективность такого правления высока просто потому, что оно игнорирует все промежуточные ступени между изданием и применением декрета и блокирует политические суждения людей благодаря утаиванию информации. Оно может легко преодолевать разнообразие местных обычаев и не нуждается в опоре на неизбежно медленный процесс развития общего права. Больше всего оно помогает утвердиться централизованной администрации, потому что автоматически попирает все проявления местной автономии. Если правление посредством хороших законов иногда называли правлением мудрости, то правление с помощью целесообразных декретов с полным правом можно назвать правлением разумного умения. Ибо это разумно — считаться со скрытыми мотивами и целями и это мудро — понимать и творчески действовать, следуя общепринятым принципам.

Бюрократическую систему правления надо отличать от простого разрастания и перерождения гражданских служб, что часто сопутствовало периодам упадка национального государства, особенно заметно — во Франции. Там администрация пережила все смены режимов со времен революции, подобно паразиту закрепилась в политическом организме, развила собственные классовые интересы и стала бесполезным органом, единственным назначением которого кажутся крюкотворство и помехи нормальному экономическому и политическому развитию. Существует, конечно, много поверхностных сходств между этими двумя

типами бюрократии, особенно если уделять слишком большое внимание повсеместному разительному психологическому сходству мелких чиновников. Но если французский народ совершил очень серьезную ошибку, приняв свою администрацию как необходимое зло, он никогда не допускал роковой ошибки позволить ей господствовать в стране, даже если следствием было, что никто страну не управлял. Дух французского правления стал духом неэффективности и мелких притеснений, но он не породил ауры псевдомистицизма.

Именно этот псевдомистицизм есть знак бюрократии, когда она становится формой правления. Поскольку народ, над которым она господствует, по-настоящему никогда не знает, почему и что происходит, и не существует рационального истолкования законов, остается единственное, с чем считаются, — грубая реальность самого события. То, что происходит с кем-то, затем становится предметом толкования, возможности которого, не ограниченные разумом и не сдерживаемые знанием, бесконечны. В ходе такого бесконечного спекулятивного толкования, столь характерного для всех направлений русской предреволюционной литературы, весь склад жизни и мира принимает вид непостижимой тайны и глубины. Есть опасное очарование в этом веянии тайны из-за ее кажущегося неистощимого богатства. Истолкование страдания имеет куда большие возможности, чем толкование действия, ибо первое переживается во внутреннем мире человека, в душе, и высвобождает весь потенциал человеческого воображения, тогда как действие постоянно проверяется ощутимыми внешними последствиями и контролируемым опытом и в их свете может показаться абсурдом.

Одно из самых кричащих различий между старомодным бюрократическим управлением и его новейшей тоталитарной разновидностью состоит в том, что российские и австрийские правители до первой мировой войны во многом довольствовались пустым блеском власти и контролем над ее внешними целями, оставляя неприкосновенной всю внутреннюю жизнь души. Тоталитарная бюрократия с ее более полным осознанием значения абсолютной власти равно грубо и жестоко вторгалась во внутреннюю жизнь частного лица. Результат этого радикального повышения «коэффициента использования» власти был таков, что ее вездесущность убила внутреннюю свободу и самопроизвольность в людях наряду с их общественной и политической активностью, так что обыкновенную политическую безрезультатность при старых бюрократиях сменило тотальное бесплодие под тоталитарным правлением.

Но эпоха, которая видела начало пандвижений, пребывала еще в счастливом неведении всеобщей бесплодности. Напротив, наивным наблюдателям (каковыми были большинство западных людей) так называемая восточная душа казалась несравненно более богатой, ее психо-

<sup>63</sup> См.: Larcher M. Traité élémentaire de législation algérienne. 1903. Vol. 2. P. 150–152. Régime des décrets — это система правления во всех французских колониях.

логия более глубокой, ее литература более значительной, чем у «поверхностных» западных демократий. Это психологическое и литературное погружение в «глубины» страдания не очень далеко зашло в Австро-Венгрии, потому что ее в основном немецкоязычная литература, в конце концов, была и оставалась неотъемлемой частью немецкой литературы вообще. Ее величайшего современного писателя австрийская бюрократия скорее вдохновляла стать юмористом и критиком всякой бюрократии, чем создателем претенциозных, «глубоких» пустышек. Франц Кафка достаточно хорошо знал о языческой вере в судьбу, владеющей народом, который живет под постоянной властью случая, об извечной тяге вычитывать особый надчеловеческий смысл в событиях, рациональное значение которых неизвестно и непонятно втянутым в них людям. Он прекрасно сознавал роковую притягательность таких народов, чья грусть и чарующие печальные народные сказания казались много выше настроенной легче и светлее литературы более удачливых народов. Он показал нам гордыню из нужды как таковую, банальную неизбежность зла и тот жалкий самообман, который отождествляет зло и несчастье с судьбой. Чудо было только в том, что он смог сделать это в мире, где главные элементы такой атмосферы еще не полностью сгустились и выделились. Кафка доверился своему могучему воображению, чтобы до конца извлечь все необходимые выводы и, так сказать, дорисовать то, что действительность почему-то не позаботилась проявить отчетливо<sup>64</sup>.

Только Российская империя того времени давала законченную картину бюрократического правления. Хаотические условия этой страны — слишком обширной, чтобы быть управляемой, населенной достаточно примитивными народами без какого-либо опыта политической организации, прозябавшими под непостижимой властью российской бюрократии, — порождали атмосферу анархии и риска, в которой противоречивые капризы мелких чиновников и ежедневные проявления некомпетентности и непоследовательности подсказывали философию

<sup>64</sup> См. особенно в «Замке» (1930) великолепную историю семьи Варнавы, которая читается как фантастическая пародия на тему русской литературы. Семья живет под неким проклятием, к членам ее относятся как к проклятым, пока они и сами не начинают чувствовать себя таковыми, — и все это просто потому, что одна из хорошеньких дочерей этой семьи когда-то осмелилась отвергнуть нескромные предложения важного чиновника. Простые жители деревни, до последних мелочей контролируемые бюрократией, и даже в мыслях своих — рабы прихотей всемогущих чиновников, давно поняли с тех пор, что быть правым или неправым — это для них дело «судьбы», которую сами они не в силах изменить. Спозорен не отправитель непристойного письма, как наивно думает герой романа К., а его получатель, становящийся клейменным и запятнанным. Именно это подразумевает сельские, когда толкуют о своей «судьбе». «Тебе это кажется чудовищным и несправедливым, но так во всей Деревне считаешь только ты единственным» [Кафка Ф. Замок. Новеллы и притчи. М.: Политиздат, 1991. С. 177]

Случая как истинного Хозяина Жизни, нечто вроде знака Божественного Провидения<sup>65</sup>. Панславистам, которые всегда настаивали, что в России куда «интереснее» жить по сравнению с жизнью в скучной ограниченности цивилизованных стран, все это представлялось так, словно божественное начало нашло сокровенное воплощение в душе несчастного русского народа, сроднилось с нею, как больше нигде на свете. В бесконечных литературных вариациях панслависты противопоставляли глубину и страстотерпение Руси поверхностной банальности Запада, который не знал страдания или смысла жертвенности и за гладким цивилизованным фасадом которого прячутся легкомыслие и пошлость<sup>66</sup>. Тоталитарные движения до сих пор многим из своей привлекательности обязаны этому смутному и раздраженному антизападному настроению, которое было в особенной моде в предгитлеровской Германии и Австрии, но захватило также интеллигенцию 20-х годов по всей Европе. Движения могли использовать эту страсть к глубокому и богатому «иррациональному» вплоть до момента фактического взятия власти, и в решающие годы, когда изгнанная русская интеллигенция неоспоримо влияла на духовный настрой вконец потерявшей равновесие Европы, такая чисто литературная установка оказалась сильным эмоциональным фактором в подготовке почвы для тоталитаризма<sup>67</sup>.

Движения, в отличие от партий, не просто вырождались в бюрократические машины<sup>68</sup>, но осознанно видели в бюрократических режимах возможные образцы организации. Все они разделили бы восхищение, с каким панславист Погодин описывал бюрократическую машину царской России: «Огромная машина, построенная на простейших принципах, ведомая рукой одного человека... который в любой

<sup>65</sup> Обожествление случайностей служит, конечно, известной рационализацией для любого народа, не являющегося хозяином своей судьбы. См., например, Steinberg A. S. Op. cit.: «Именно Случай стал решающим элементом в структуре еврейской истории. И Случай, на языке религии назван Провидением» (S. 34).

<sup>66</sup> Некий русский писатель однажды сказал, что панславизм «возбуждает непримиримую враждебность к Западу, болезненный культ всего русского;... спасение мира пока еще возможно, но оно может прийти только через Россию... Панслависты, всюду видя врагов своей идеи, преследуют всех, кто не соглашается с ними...» (Bérard V. L'Empire russe et le tsarisme. 1905). См. также: Bubnoff N. V. Kultur und Geschichte im russischen Denken der Gegenwart // Osteuropa: Quellen und Studien. 1927. Heft 2. Kapitel 5.

<sup>67</sup> Эренберг (Ehrenberg H. Op. cit.) подчеркивает это в своем эпилоге: идеи Киреевского, Хомякова, Леонтьева «возможно, вымерли в России после революции. Но теперь они распространились по всей Европе и живут сегодня в Софии, Константинополе, Берлине, Париже, Лондоне. Русские, и определенно — ученики названных авторов... публикуют книги и издают журналы, которые читаются во всех европейских странах. Через них представлены идеи их духовных отцов. Русский дух стал европейским» (S. 334).

<sup>68</sup> О бюрократизации партийных машин образцовой работой еще остается: Michels R. Political parties; a sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy. Glencoe, 1949. (Немецкое издание 1911 г.)

момент пускает ее в ход одним движением, какое бы направление и скорость он ни выбрал. И это не просто механика — машина совершенно одушевлена унаследованными чувствами, каковы суть подчинение, бесконечное доверие и преданность Царю, коий есть Бог на земле. Кто осмелится напасть на нас и кого не могли бы мы заставить повиноваться?»<sup>69</sup>

Панслависты были менее враждебны к государству, чем их пангерманистские собратья по духу. Иногда они даже пытались убедить царя стать во главе движения. Это, конечно, объясняется тем, что положение царя значительно отличалось от положения любого европейского монарха, не исключая императора Австро-Венгрии, и что русское самодержавие так и не развилось до рационального государства в западном смысле, но осталось неустоявшимся, анархическим и неорганизованным. Поэтому царизм временами казался панславистам символом гигантской движущей силы, окруженным ореолом единственной в своем роде святости<sup>70</sup>. Панславизму, в отличие от пангерманизма, не надо было изобретать новой идеологии, чтобы удовлетворить потребности славянской души и своего движения. — он смог истолковать (и окутать таинственностью) царизм как антизападное, антиконституционное, антигосударственное выражение самого движения. Эта мистификация анархической власти подтолкнула панславизм к его наиболее пагубным теориям о трансцендентной природе и имманентной благодати всякой власти. Власть стала восприниматься как божественная эманация, пронизывающая всякую природную и человеческую активность. Она больше не была средством достижения чего-то: она просто существовала, люди обязывались ей служить ради любви божьей, и любой закон, который мог бы регулировать или ограничивать ее «беспредельную и ужасающую силу», оказывался явным святотатством. Власть, как таковая, признавалась святой, будь то власть царя или власть пола. Законы были не просто несовместимы с нею — они были греховными, искусственными «силками», мешавшими полному проявлению «божественного»<sup>71</sup>. Правительство, независимо от того, что оно делало, оказывалось

<sup>69</sup> Staehlin K. Die Entstehung des Panslawismus // Germano-Slavica. 1936. Heft 4.

<sup>70</sup> М. Н. Катков: «Всякая власть — от Бога, но русскому Царю суждено было особое значение, отличающее его от остальных правителей мира... Он преемник Цезарей Восточно-Римской Империи... основателей той же ветви веры христианской... В этом тайна глубокого различия между Россией и всеми другими народами мира» (цит. по: Baron S. W. Modern nationalism and religion. 1947).

<sup>71</sup> Победоносцев в своих «Размышлениях русского государственного человека» (*Pobedonostzev K. P. Reflections of a russian statesman. L., 1898*) пишет: «Власть существует не для себя одной, а ради любви божией. Это служба, в которую люди посвящены. Отсюда исходит беспредельная, ужасающая сила власти и ее беспредельное и ужасное бремя» (р. 254). Или еще: «Закон — это силки не только для простого народа, но и... для самих

еще и «Верховной Властью в действии»<sup>72</sup>, и панславистскому движению оставалось только прибегнуть к этой власти и организовать ее народную поддержку, которой в конце концов проникся бы и тем самым освятился весь народ — громадная орда, повинующаяся произвольной воле одного человека, не управляемая ни законом, ни общим интересом, но скрепляемая единственно силой сплочения своих членов и их убеждением в собственной святости.

С самого начала движения, которым не хватало «силы унаследованных чувств», должны были отличаться от модели давно существовавшего русского абсолютизма в двух отношениях. Им приходилось, во-первых, заниматься пропагандой, в которой вряд ли нуждалась установившаяся бюрократия, и делать это, вводя элемент насилия<sup>73</sup>; и, во-вторых, подыскивать равноценную замену «унаследованным чувствам» в идеологиях, которые европейские партии уже развили в значительной степени. Разница в пользовании идеологией между движениями и партиями состояла в том, что первые не только придавали идеологическое оправдание выражению интересов, но и применяли идеологии в качестве организационных принципов. Если партии издавна были инструментами для организации классовых интересов, то движения стали воплощениями идеологий. Другими словами, движения были

---

администраторов, занятых в управлении им ... Если на каждом шагу исполнитель закона в нем самом наткнется на ограничивающие предписания... тогда всякий авторитет расстраивается в сомнениях, ослабляется этим законом... и сокрушается страхом ответственности» (р. 88).

<sup>72</sup> По Каткову, «правительство в России означает нечто совсем иное чем то, что понимают под этим словом в других странах... В России правительство в самом высоком смысле слова есть Верховная Власть в действии...» (цит. по: *Olgin M. J. The soul of the russian revolution. N.Y., 1917. P. 57*). В более рационализированной форме мы встречаемся с теорией, будто «правовые гарантии нужны в государствах, основанных на завоевании, находящихся под угрозой столкновения классов и рас; в России с ее гармонией классов и дружбой рас эти гарантии излишни» (*Kohn H. Op. cit.*).

Хотя идолопоклонство перед властью было менее выражено в пангерманизме, там всегда существовала определенная антиправовая тенденция, ясно выходящая наружу, например, у Фриманна (*Op. cit.*). Он уже в 1912 г. предлагал введение того «превентивного ареста» (*Sicherheitschaft*), т.е. ареста без какого-либо правового основания, который потом использовали нацисты для наполнения концентрационных лагерей.

<sup>73</sup> Существует, конечно, известное сходство между организацией французской толпы во время дела Дрейфуса (см. с. 171 наст. изд.) и русскими погромными группами типа «черных сотен» (в которых «собралось самое дикое и культурно неразвитое отребье старой России и которые поддерживали контакт с большинством православного епископата» (*Fedotov G. Op. cit.*) или «Союза русского народа» с его секретными боевыми дружинами, набираемыми из низших агентов полиции, оплачиваемых правительством и руководимых интеллектуалами (см.: *Cherikover E. New materials on the pogroms in Russia at the beginning of the eighties // Historische Schriften (Vilna). Vol. 2. P. 463; Gelber N. M. The Russia pogroms in the early eighties in the light of the austrian diplomatic correspondence // Ibid.*).

«отягощены философией» и претендовали на то, что они пустили в ход «индивидуализацию моральных универсалий внутри коллектива»<sup>74</sup>.

Известно, что принцип конкретизации идей берет начало в гегелевской теории государства и истории и далее развит Марксом в теории пролетариата как «главного героя» истории человечества. И конечно, не случайно, что на русский панславизм во многом повлиял Гегель, как на большевизм — Маркс. Все же ни Маркс, ни Гегель не допускали, чтобы действительно существующие люди и реальные партии или страны представляли идеи во плоти. Оба они верили в процесс истории, в сложном диалектическом движении которого только и могли быть конкретизированы эти идеи. Нужна была вульгарная пошлость вожаков толпы, чтобы нащупать огромные возможности такой конкретизации для организации масс. Эти люди начали убеждать толпу, что любой из ее членов мог бы стать этаким величественным, всемирно значимым ходячим воплощением чего-то идеального, если только он присоединится к движению. Тогда ему больше не надо быть на деле верным, или щедрым, или храбрым — он автоматически стал бы воплощением Верности, Щедрости, Храбрости. Пангерманизм показал себя здесь стоящим несколько выше в теории организации, поскольку он очень практично лишал отдельного немца всех этих дивных качеств, если тот не принадлежал движению (тем самым предвосхищая злобное презрение, которое позже проявлял нацизм к беспартийной части немецкого народа), тогда как панславизм, глубоко увязший в своих бесконечных спекуляциях о славянской душе, допускал, что каждый славянин осознанно или неосознанно обладает такой душой независимо от того, организован ли он как надо или нет. Нужна была безжалостность Сталина, чтобы внести в большевизм то же презрение к русскому народу, которое обнаружили нацисты по отношению к немцам.

Именно эта абсолютность движений, больше чем что-либо еще, отделяет их от партийных структур и пристрастий и служит для оправдания их притязаний на подавление всех возражений индивидуальной совести. Конкретное бытие отдельного лица видится на фоне духовной реальности общего и универсального, свертывается в пренебрежимо малую величину или топится в динамическом движении этого всеобщего как такового. В таком потоке различие между целями и средствами исчезает вместе с личностью, а результатом оказывается чудовищная аморальность идеологической политики. Все эти следствия несет в себе само движение: любая идея, любая ценность тонули в трясине суверенной псевдонаучной имманенции.

<sup>74</sup> Delos J. Op. cit.

### 3. Партия и Движение

Поразительным и судьбоносным в различии между континентальным и заморским империализмом было то, что первоначальные успехи и провалы обоих соотносились прямо противоположно. В то время как континентальный империализм даже вначале преуспевал в возбуждении враждебности против национального государства, организуя большие слои народа вне партийной системы и одновременно не умея добиваться ощутимых результатов во внешней экспансии, — заморский империализм, при своей сумасшедшей и успешной гонке за аннексиями все более и более отдаленных территорий, никогда не достигал заметного успеха в попытках изменить политическую структуру родных стран-метрополий. Разрушение системы национального государства, подготовленное ее собственным заморским империализмом, в конечном счете было осуществлено движениями, которые зародились вне ее сферы. И когда пришло время успешного соперничества таких движений с партийной системой национального государства, обнаружилось еще, что они смогли подорвать только страны с многопартийной системой, что одной империалистической традиции им оказалось недостаточно для привлечения масс и что Великобритания, классическая страна двухпартийного правления, вне этой своей партийной системы не породила движения фашистской или коммунистической ориентации с какими-либо существенными последствиями.

Лозунги «надпартийности», призывы к «людям всех партий» и заверения «держаться в стороне от партийных раздоров и представлять только национальные цели» были равно присущи всем империалистическим группам<sup>75</sup>, у которых это являлось единственным следствием их исключительной заинтересованности во внешней политике, где нации в любом деле полагалось действовать как единому целому, независимо от классов и партий<sup>76</sup>. Более того, поскольку в континенталь-

<sup>75</sup> Как об этом говорил в 1884 г. президент Немецкого колониального союза (см.: Townsend M. S. Origin of modern german colonialism: 1871–1885. N.Y., 1921). Пангерманская лига всегда настаивала на своем бытии «над партиями; это было и есть жизненно важное условие для существования Лиги» (Bonhard O. Op. cit.). Первой реальной партией, которая притязала быть больше чем обыкновенной партией, а именно «имперской партией», была Национально-либеральная партия Германии под руководством Эрнста Басермана (Frymann D. Op. cit.).

В России панславистам требовалось лишь объявить себя просто выразителями народной поддержки правительству, чтобы избавиться от всякой конкуренции с партиями; ибо правительство как «Верховную Власть в действии... невозможно вообразить в связи с партиями» (М. Н. Катков, близкий журнальный соратник Победоносцева. См.: Olgin M. Op. cit. P. 57).

<sup>76</sup> Это явно было целью ранних «внепартийных» групп, среди которых вплоть до 1918 г. следовало еще числить Пангерманскую лигу. «Оставаясь вне всех организованных поли-

ных системах это представительство нации как целого было исключительной «монополией» государства<sup>77</sup>, могло даже показаться, что империалисты ставят государственные интересы выше любых других или что интересы нации как целого нашли в них долгожданную народную поддержку. И все же вопреки всем таким претензиям на истинную народность «партии над партиями» оставались маленькими объединениями интеллектуалов и благополучных людей, которые, подобно Пангерманской лиге, могли надеяться на большой успех для себя только во времена национального брожения<sup>78</sup>.

Следовательно, не в том состояло решающее изобретение пандвижений, что они тоже притязали быть вне и над системой партий, но в том, что они называли себя «движениями», самим названием показывая глубокое недоверие ко всем партиям, — явление, уже широко распространенное в Европе на рубеже веков и наконец ставшее столь важным, что во дни Веймарской республики, например, «каждая новая группа была убеждена, что ей не найти лучшей легитимации и лучшего способа привлечь массы, чем объявить себя не «партией», а «движением»<sup>79</sup>.

Конечно, фактический распад европейской партийной системы вызвали не пан-, а собственно тоталитарные движения. Однако пандвижения, разместившиеся где-то между маленькими и сравнительно безвредными империалистическими обществами и тоталитарными движениями, оказались предшественниками тоталитаристов, поскольку уже отбросили снобистское высокомерие, столь заметное еще во всех империалистических лигах, будь то «чванство» богатством и происхождением в Англии или образованием в Германии, и тем самым смогли использовать глубокую народную ненависть к тем институтам, которым полагалось представлять народ<sup>80</sup>. Неудивительно, что привлекательности движений в

тических партий, мы можем идти своим чисто национальным путем. Мы не спрашиваем: Вы консерватор? Вы либерал?... Немецкая нация — это место встречи, где все партии могут помириться» (Lehr. Zwecke und Ziele des alldutschen Verbandes. Flugschriften. № 14. Перевод дан по: Wertheimer M. Op. cit. S. 110).

<sup>77</sup> Карл Шмитт (см.: Schmitt K. Staat, Bewegung, Volk. 1934) говорит о «монополии политики, которой требовало государство в течение XVII и XVIII вв.».

<sup>78</sup> Вертхеймер (Wertheimer. Op. cit.) описывает ситуацию совершенно правильно: «Абсолютно нелепо утверждать, будто перед войной существовала жизненно важная связь между Пангерманской лигой и имперским правительством». В то же время, совершенная правда и то, что пангерманисты, несомненно, влияли на немецкую политику во время первой мировой войны, потому что высший офицерский корпус проникся пангерманистскими настроениями (см.: Delbrück H. Ludendorffs Selbstportrait. В., 1922. Сравни также его более раннюю статью по данному вопросу: Die Alldutschen // Preussische Jahrbücher. S. 154. Dezember, 1913).

<sup>79</sup> Neumann S. Die deutschen Parteien. 1932. S. 99.

<sup>80</sup> Мёллер ван ден Брук (Moeller van den Bruck A. Das dritte Reich. 1923. S. VII–VIII) описывает это положение так: «Когда мировая война кончилась поражением... повсюду

Европе не очень повредило даже поражение нацизма и растущий страх перед большевизмом. Ныне дела обстоят так, что единственная страна в Европе, где парламент не презирают и не испытывают отвращения к партийной системе, — это Великобритания<sup>81</sup>.

Перед лицом стабильности политических институтов на Британских островах и одновременного упадка всех национальных государств на Европейском континенте едва ли возможно избежать заключения, что разница между англо-саксонской и континентальной партийными системами должна быть важным фактором. Ибо и чисто материальные различия между сильно обедневшей Англией и уцелевшей Францией были невелики после окончания второй мировой войны; и безработица, величайший революционизирующий фактор в предвоенной Европе, поразила Англию даже тяжелее, чем многие континентальные страны; и, верно, огромным было потрясение, которому подвергла английскую политическую стабильность сразу же после войны ликвидация лейбористским правительством империалистического управления Индией и его попытки перестроить английскую мировую политику на неимпериалистических основаниях. Также не объясняют относительную прочность Великобритании и простые различия в социальной структуре, ибо экономический базис ее общественной системы был сильно изменен социалистическим правительством без каких-либо существенных перемен в политических институтах.

За внешним отличием англосаксонской двухпартийной от континентальной многопартийной системы лежит фундаментальное различие в функции партии в государстве там и здесь, каковое различие имеет огромные последствия в отношении партии к власти и к положению гражданина в своем государстве. В двухпартийной системе одна партия всегда формирует правительство и действительно правит страной, так что партия у власти временно отождествляется с государством. Государство, как постоянная гарантия единства страны, представлено в постоянстве поста короля<sup>82</sup> (ибо институт несменяемых секретарей

встречались немцы, которые утверждали, что они вне всяких партий, толковали о «свободе от партий» и пытались найти точку зрения «над партиями»... Полное отсутствие уважения к парламентам... которые никогда не имели ни малейшего представления о том, что на самом деле происходит в стране... очень широко распространено среди народа».

<sup>81</sup> Разочарование англичан в системе «передне- и заднескамеечников» не имеет ничего общего с этим антипарламентским настроением. Британец в этом случае просто выступает против чего-то такого, что мешает парламенту функционировать надлежащим образом.

<sup>82</sup> Британская партийная система, старейшая из всех, «начала складываться... только когда государственные дела перестали быть исключительной прерогативой короны», т.е. после 1688 г. «Исторической ролью короля было представлять нацию как некое единство по контрасту с фракционной борьбой партий» (см. статьи: Rudlin W. A. Political parties (3); Great Britain // Encyclopedia of the social sciences).

рей в Министерстве иностранных дел есть лишь технический вопрос поддержания преемственности). Как две партии задуманы и организованы для попеременного правления<sup>83</sup>, так и все ветви администрации спланированы и организованы с расчетом на регулярную поочередную смену. Поскольку правление каждой партии ограничено во времени, оппозиционная партия осуществляет параллельный контроль, эффективность которого усиливается определенностью тех, кто будет править завтра. Фактически именно оппозиция, а не символический институт короля предохраняет единство целого от однопартийной диктатуры. Очевидные преимущества этой системы в том, что в ней нет существенной разницы между правительством и государством, что власть, так же как государство, остается в пределах досягаемости граждан, организованных в партию, которая или сегодня, или завтра представляет определенную власть и определенное государство, и потому здесь нет места напыщенным спекуляциям о Власти и Государстве, словно бы последние были недоступными человеку метафизическими сущностями, независимыми от воли и действия граждан.

Континентальная партийная система предполагает, что каждая партия сознательно определяет себя как часть целого, которое в свою очередь представлено надпартийным государством<sup>84</sup>. Тем самым однопартийное правление может означать только диктаторское господство одной партии над всеми прочими. Правительства, сформированные на базе соглашений между партийными лидерами, — это всегда лишь партийные правительства, ясно отличающиеся от государства, которое стоит вне и над ними. Один из второстепенных недостатков такой системы — тот, что члены кабинета не могут быть набраны по компетентности, ибо партий слишком много и министров по необходимости выбирают согласно партийным коалициям<sup>85</sup>; британская система, тем не

<sup>83</sup> В книге, которая, по-видимому, является самой ранней историей «партии», Джордж Кук в предисловии определяет это положение как систему, благодаря которой «два класса государственных мужей... попеременно правят могущественной империей» (Cooke G. W. The history of party. L., 1836).

<sup>84</sup> Лучшее описание сущности континентальной партийной системы дано у швейцарско-го юриста Иоганна Каспара Блунчли: «Это верно, что партия есть только часть более крупного целого и никогда само это целое... Она никогда не должна отождествлять себя с целым, с народом или государством... следовательно, партия может бороться против других партий, но она никогда не должна игнорировать их и в норме не должна хотеть уничтожить их. Ни одна партия не может существовать целиком самостоятельно» (Bluntschli J. C. Charakter und Geist der politischen Parteien. 1869. S. 3). Ту же идею выразил Карл Розенкранц, немецкий философ-гегельянец, чья книга о политических партиях появилась до рождения партий в Германии: «Партия — это осознанная частичность» (Rosenkranz K. Ueber den Begriff der politischen Partei. 1843. S. 9).

<sup>85</sup> См.: Heinberg J. G. Comparative major European governments. N.Y., 1937. Ch. 7, 8 «Г Англии какая-нибудь одна политическая партия обычно имеет большинство в Палате

менее, позволяет выбирать лучших из большого числа людей одной партии. Гораздо важнее, однако, тот факт, что многопартийная система никогда не позволяет какому-либо одному человеку или одной партии взять на себя полную ответственность, откуда естественным образом следует, что любое правительство, сформированное на основе партийных коалиций, никогда не чувствует себя полностью ответственным за состояние дел. Даже если случится невероятное и абсолютное большинство одной партии будет господствовать в парламенте, это только кончится либо диктатурой, потому что система не подготовлена к такому правлению, либо нечистой совестью пока еще искренне демократического руководства партии, которое, привыкнув мыслить себя лишь частью целого, естественно, боится применять свою власть. Эта «нечистая совесть» почти образцово проявила себя после первой мировой войны, когда немецкая и австрийская социал-демократические партии на короткое время стали партиями абсолютного большинства и все же не взяли власть, которая шла им в руки при сложившейся ситуации<sup>86</sup>.

С ростом партийных систем стало в порядке вещей отождествлять партии с частными (экономическими или иными) интересами<sup>87</sup>, и все континентальные партии (а не только рабочие группы) очень откровенно признавались в этом, пока могли быть уверены, что надпартийное государство осуществляет свою власть более или менее в интересах

Общин и лидеры этой партии — члены кабинета министров... Во Франции ни одна политическая партия на практике никогда не имеет большинства в Палате Депутатов, и потому Совет Министров составляется из лидеров ряда партийных групп» (p. 158).

<sup>86</sup> См.: Demokratie und Partei / Ed. by P. R. Rohden. Wien, 1932. «Отличительная черта немецких партий в том... что все парламентские группы обязуются не представлять *volonté générale*... Вот почему эти партии так смутились, когда Ноябрьская революция привела их к власти. Каждая из них была организована таким образом, что могла выдвигать только относительные притязания, т.е. каждая всегда считалась с существованием других партий, представлявших иные частичные интересы, и потому, естественно, ограничивала собственные амбиции» (S. 13–14).

<sup>87</sup> Континентальная партийная система — очень недавнего происхождения. За исключением французских партий, начало которых восходит ко времени Великой революции, ни одна европейская страна не знала партийного представительства вплоть до 1848 г. Партии начали жить благодаря образованию фракций в парламенте. В Швеции первой партией (в 1889 г.) с полностью сформулированной программой была Социал-демократическая партия (Encyclopedia of the social sciences. Loc. cit.). О положении в Германии см.: Bergstraesser L. Geschichte der politischen Parteien. 1921. Все партии откровенно базировались на защите чьих-то интересов; например, Немецкая консервативная партия развилась из «Объединения в защиту интересов крупной земельной собственности», основанного в 1848 г. Но интересы не обязательно были экономическими. Датские партии, к примеру, складывались «вокруг вопросов, что так мощно преобладают в датской политике: расширения права голоса и субсидирования частного [преимущественно одновероисповедального] образования» (Encyclopedia of the social sciences. Loc. cit.).

всех. Напротив, англосаксонская партия, основанная на некоем «частном принципе», но для службы «национальным интересам»<sup>88</sup>, сама по себе представляет настоящее или будущее состояние страны: частные интересы представлены в самой партии, в ее правом и левом крыле, и обуздываются неизбежными требованиями самого процесса управления. И поскольку в двухпартийной системе партия не может существовать неопределенно долгое время, если не обладает достаточной силой, чтобы принять власть, то ей не нужны никакие теоретические оправдания, никакое развитие идеологий, и полностью отсутствует тот особенный фанатизм континентальной партийной борьбы, который проистекает не столько из конфликтующих интересов, сколько из антагонистических идеологий<sup>89</sup>.

Опасность континентальных партий, по определению отделенных от системы управления и власти, была не столько в том, что они завязли в узкочастных интересах, сколько в том, что они стыдились этих интересов и потому развивали идеологические оправдания, чтобы доказать, будто эти частнопартийные интересы совпадут с наиболее общими и главными интересами человечества. Так, консервативные партии не довольствовались защитой интересов земельной собственности — им нужна была философия, по которой Бог создал человека, дабы трудился он на земле в поте лица своего. То же самое верно для прогрессистской идеологии партий среднего класса и для претензий рабочих партий, будто пролетариат — авангард человечества. Эта странная комбинация высокопарной философии и приземленных интересов парадоксальна только на первый взгляд. Поскольку эти партии не организовывали своих членов (и не обучали своих лидеров) для управления общественными делами, но брались представлять их лишь как частных людей с частными интересами, они принуждены были угождать всяким частным потребностям, духовным и материальным. Иными словами, главное различие между англосаксонской и континентальной партиями в том, что первая есть политическая организация граждан, которые хотят «действовать в согласии», чтобы действовать вообще<sup>90</sup>, тогда как вторая есть организация частных индиви-

<sup>88</sup> Определение партии у Эдмунда Бёрка: «Партия есть группа людей, объединившихся на базе конкретного принципа, с коим все они согласны, для проведения в жизнь совместными усилиями определенных национальных интересов» (*Burke E. Upon party. 2nd ed. L., 1850*).

<sup>89</sup> Артур Хоулком (*Holcombe A. N. Encyclopedia of the social sciences. Loc. cit.*) правильно подчеркнул, что в двухпартийной системе принципы обеих партий «тяготели к одинаковости. Если бы они не были по существу одинаковыми, подчинение победителю оказалось бы нестерпимым для проигравшего».

<sup>90</sup> *Burke E. Op. cit.*: «Они верили, что никакие люди не смогут действовать результативно, если не будут действовать в согласии; никакие люди не смогут действовать в согласии, ес-

дов, которые желают защитить свои интересы от вторжения общественных событий.

Вполне совместимо с этой системой, что континентальная философия государства признавала людей гражданами лишь постольку, поскольку они не были членами партии, т.е. лишь в их индивидуальном неорганизованном отношении к государству (*Staatsbürger*) либо в их патриотическом воодушевлении во времена чрезвычайных обстоятельств (*citoyens*)<sup>91</sup>. Это было неудачным результатом, с одной стороны, преобразования *citoyen* Французской революции в *bourgeois* XIX в. и, с другой — антагонизма между государством и обществом. Немцы были склонны считать патриотизмом самозабвенное повиновение властям, а французы — восторженную верность фантому «вечной» Франции. В обоих случаях патриотизм означал отречение от собственной партии и партийных интересов в пользу правительства и национального интереса. Суть здесь в том, что такой националистический сдвиг был почти неизбежен в системе, создававшей политические партии на базе частных интересов, так что общественное благо должно было полагаться на силу сверху и неопределенно щедрое самопожертвование снизу, возможное лишь при возбуждении националистических страстей. В Англии, напротив, антагонизм между частными и национальными интересами никогда не играл решающей роли в политике. Следовательно, чем больше партийная система на континенте соответствовала классовым интересам, тем острее была потребность нации в национализме, в каком-то народном выражении и поддержке национальных интересов, поддержке, в коей Англия, с ее прямым партийным правлением при участии оппозиции, никогда в такой мере не нуждалась.

ли не будут действовать с доверием друг к другу; никакие люди не смогут действовать с доверием, если их не связывают общие мнения, общие чувства и общие интересы».

<sup>91</sup> О центральноевропейском понятии гражданина (*Staatsbürger*), противопоставляемого члену партии, см.: *Bluntschli J. C. Op. cit.*: «Партии не являются ни государственными институтами, ни органами государственного организма, но свободными общественными ассоциациями, строение которых зависит от меняющегося состава членов, связанных определенными убеждениями для общего политического действия». Различие между государственными и партийными интересами подчеркивается вновь и вновь: «Партия никогда не должна ставить себя над государством, никогда не должна ставить свой партийный интерес выше государственного интереса» (S. 9, 10).

Бёрк, напротив, выступает против идеи, по которой партийные интересы или членство в партии делают человека худшим гражданином. «Государства состоят из семей, свободные государства еще и из партий. И подобно тому как говорят, что партийные обязательства ослабляют наши обязательства перед своей страной, можно также точно утверждать, что наши естественные привязанности и узы крови неизбежно делают людей плохими гражданами» (*Burke E. Op. cit.*). Лорд Джон Рассел (*On Party. 1850*) идет даже на шаг дальше, усматривая главное из благих последствий деятельности партий в том, что она «придает вещественность смутным мнениям политиков и подводит их к твердым и долговременным принципам».

Если мы рассмотрим различие между континентальной многопартийностью и британской двухпартийной системой со стороны их predispositions к подъему движений, то кажется вполне правдоподобным, что однопартийной диктатуре, должно быть, легче овладеть государственной машиной в странах, где государство стоит над партиями и тем самым над гражданами, чем там, где граждане, действуя «в согласии», т.е. через партийную организацию, могут добиваться власти легально и почувствовать себя владетелями государства либо сегодня, либо завтра. Еще правдоподобнее, что мистификация власти, присущая движениям, достижима тем легче, чем дальше удалены граждане от источников власти: легче в странах с бюрократическим правлением, где власть положительно выходит за пределы понимания со стороны управляемых, чем в странах с конституционным правлением, где закон выше власти и власть — лишь средство его исполнения на деле; и легче в странах, где государственная власть недостижима для партий и, следовательно, даже если доступна пониманию гражданина, остается недоступной его практическому опыту и действию.

Отчуждение масс от управления, бывшее началом их последующей ненависти и отвращения к парламенту, разнилось во Франции и других западных демократиях, с одной стороны, и в центральноевропейских странах, преимущественно в Германии, с другой. В Германии, где государство, по определению, стояло над партиями, партийные лидеры, как правило, слагали свои партийные полномочия с момента, когда становились министрами и несли официальные обязанности. Неверность по отношению к собственной партии была «долгом» каждого на гражданской службе<sup>92</sup>. Во Франции, управляемой партийными альянсами, настоящее правительство перестало быть возможным с установлением Третьей республики и ее фантастически нелепой процедуры утверждения министерских кабинетов. Слабость ее была противоположна немецкой: эта республика ликвидировала государство, стоявшее над партиями и парламентом, не реорганизовав свою партийную систему в организм, способный управлять. Правительство с необходимостью превратилось в смехотворный отражатель постоянно меняющихся настроений парламента и общественного мнения. Немецкая же система сделала парламент более или менее полезным полем битвы конфлик-

<sup>92</sup> Сравните с этой установкой красноречивый факт, что в Великобритании Рамзей Макдональд никогда уже не смог загладить свое «предательство» Лейбористской партии. В Германии дух гражданской службы требовал от всех в общественных учреждениях быть «выше партийности». Этому духу старопруссской гражданской службы нацисты противопоставили первенство партии, потому что хотели диктатуры. Геббельс открыто требовал: «Каждый член партии, становящийся государственным функционером, должен прежде всего оставаться национал-социалистом... и тесно сотрудничать с партийной администрацией» (цит. по: *Nesse G. Partei und Staat. 1939. S. 28*).

тующих интересов и мнений, главным назначением которого было влиять на правительство, но чья практическая необходимость в управлении государственными делами оставалась по меньшей мере спорной. Во Франции партии удушили правительство; в Германии государство обессилило партии.

С конца прошлого века репутация этих конституционных парламентов и партий постоянно падала. Народу они казались расточительными и ненужными институтами. По одной этой причине каждая группа, претендовавшая представлять что-то возвышающееся над партийными и классовыми интересами и начинавшая действовать вне парламента, имела большие шансы на популярность. Такие группы казались более компетентными, более искренними и более интересующимися общественными делами. Но это была только видимость, ибо подлинной целью любой «партии над партиями» было проталкивать один конкретный интерес, пока он не поглотил бы все другие, и сделать одну конкретную группу хозяином государственной машины. Именно это в конце концов случилось в Италии при муссолиниевском фашизме, который вплоть до 1938 г. был не тоталитарной, а просто обыкновенной националистической диктатурой, логически развившейся из многопартийной демократии. И если в самом деле есть какая-то правда в старом трюизме о родственной близости между правлением большинства и диктатурой, то это родство не имеет никакого отношения к тоталитаризму. Очевидно, что после многих десятилетий неэффективного и беспорядочного многопартийного правления захват государства к выгоде одной партии мог прийти как великое облегчение, поскольку, самое малое, он обеспечивал на короткое время известную последовательность, политическое постоянство и уменьшение остроты противоречий.

Тот факт, что захват власти нацистами обычно отождествлялся с такой однопартийной диктатурой, попросту показал, как глубоко политическое мышление уходило корнями еще в старые, давно установившиеся образцы и как мало были подготовлены люди к тому, что произошло в действительности. Единственная типично современная черта фашистской партийной диктатуры состояла в том, что эта партия тоже настаивала на признании себя движением. Что она не имела ничего общего с такого рода явлением, а лишь незаконно присвоила девиз «движения», дабы привлечь массы, стало очевидным, как только партия захватила государственную машину, радикально не меняя структуру власти в стране и довольствуясь заполнением всех правительственных постов и позиций членами партии. Как раз благодаря этому отождествлению партии с государством, которое нацисты и большевики всегда тщательно обходили, партия перестала быть «движением» и оказалась связанной со стабильной в основе структурой государства.

Даже если тоталитарные движения и их предшественники, пандвижения, фактически были не «партиями над партиями», помогающими захвата государственной машины, а движениями, нацеленными на разрушение данного государства, нацисты находили весьма удобным выступать в роли первых, т.е. притворяться верными последователями итальянской модели фашизма. Так они могли добиться помощи от тех представителей высшего класса и деловой элиты, которые ошибочно приняли нацизм за одну из былых групп, в прошлом часто зачинавшихся ими самими и предъявлявших очень скромные претензии на завоевание государственной машины для одной партии<sup>93</sup>. Деловые люди, помогавшие Гитлеру взять власть, наивно верили, что они лишь поддерживают диктатора, целиком сделанного ими, который будет править к выгоде их собственного класса и к невыгоде всех других.

Империалистически настроенные «партии над партиями» не знали, как извлекать пользу из народной ненависти к партийной системе как таковой. Несостоявшийся немецкий предвоенный империализм, несмотря на свои мечты о континентальной экспансии и яростные разоблачения демократических институтов национального государства, никогда не достигал размаха настоящего движения. Очевидно, для таких партий было недостаточным гордо пренебрегать классовыми интересами, этим истинным фундаментом национальной партийной системы, потому что это делало их даже менее привлекательными, чем обычные партии. Чего им явно недоставало, несмотря на все громкие националистические фразы, так это действительно националистической или иной идеологии. После первой мировой войны, когда немецкие пангерманисты, особенно Людендорф и его жена, признали эту ошибку и попытались исправить ее, они провалились, несмотря на свою замечательную способность взывать к самым суеверным предрассудкам масс, ибо цеплялись за устарелый культ нетоталитарного государства и не смогли понять, что страстный интерес этих масс к так называемым «надгосударственным силам» (*überstaatliche Mächte*) — иезуитам, евреям, франкмасонам — происходил не из культа нации или государства, а из желания тоже стать «надгосударственной силой»<sup>94</sup>.

Странами, где пока не вышли из моды все виды поклонения идолам государства и культа нации и где националистические лозунги против «надгосударственных» сил еще всерьез интересовали народ, были те

<sup>93</sup> Групп вроде *Kolonialverein*, *Centralverein für Handelsgeographie*, *Flottenverein* или даже Пангерманской лиги, которые, однако, перед первой мировой войной не имели никакой связи с большим бизнесом (см.: *Wertheimer M.* Op. cit. S. 73). Типичными из этой «надпартийной» буржуазии были, конечно, национал-либералы (см. сноску 75).

<sup>94</sup> *Ludendorff E.* Die überstaatlichen Mächte im letzten Jahre des Weltkrieges. Leipzig, 1927. См. также: *Feldherrnworte*. 1938. Bd. 1. S. 43, 55; Bd. 2. S. 80.

латинские страны Европы, которые, подобно Италии и в меньшей степени Испании и Португалии, действительно страдали от определенных помех своему полноценному национальному развитию из-за мощи церкви. Частично это объясняется самим фактом запоздалого национального развития, а частично — мудростью церковного руководства, которое весьма проницательно углядело, что латинский фашизм в принципе не был ни антихристианским, ни тоталитарным и лишь устанавливал разделение церкви и государства, уже существовавшее в других странах, что первоначальный антиклерикальный задор фашистского национализма очень быстро убывал и уступал дорогу некоему *modus vivendi*, как в Италии, или положительному союзу, как в Испании и Португалии.

Муссолиниевское толкование идеи корпоративного государства было попыткой преодолеть общеизвестные опасности для национального единства в классово разделенном обществе с помощью заново восстановленной цельности социальной организации<sup>95</sup> и разрешить антагонизм между государством и обществом (на котором стояло национальное государство) путем поглощения общества государством<sup>96</sup>. Фашистское движение, будучи «партией над партиями» (потому что оно претендовало представлять интересы нации как целого), захватило государственную машину, отождествило себя с верховной национальной властью и попыталось сделать весь народ «частью государства». Оно, однако, не мыслило себя «выше государства», а его лидеры — «выше нации»<sup>97</sup>. С захватом власти движение итальянских фашистов пошло на убыль, по меньшей мере в сфере внутренней политики; отныне это движение могло сохранять свой напор только во внешней политике в духе империалистической экспан-

<sup>95</sup> Главной целью корпоративного государства была «коррекция и нейтрализация обстоятельств, привнесенных промышленной революцией XIX в., которая разъединила капитал и труд в промышленности, вызвав рост, с одной стороны, капиталистического класса нанимателей труда и, с другой, огромного класса лишенных собственности — промышленного пролетариата. Непосредственное соприкосновение этих классов неизбежно вело к столкновению их противоположных интересов» («The Fascist Era», published by the Fascist Confederation of Industrialists. Rome, 1939. Ch. 3).

<sup>96</sup> «Если Государство поистине представляет нацию, тогда люди ее составляющие должны быть частью Государства.

— Как это обеспечить?

— Фашистский ответ: организуя людей в группы согласно родам их деятельности, группы, через своих лидеров... восходящие ступенями как в пирамиде, в основании которой — массы и на вершине — Государство.

Ни одной группы вне Государства, ни одной группы против Государства, все группы внутри Государства... которое... есть голос самой нации» (*Ibid.*).

<sup>97</sup> Об отношениях между партией и государством в тоталитарных странах и особенно о проникновении фашистской партии в итальянское государство см.: *Neumann F.* *Behemoth*. 1942. Ch. 1.

сии и типичных империалистических авантюр. Нацисты же, даже до взятия власти, явно держались в стороне от этой фашистской формы диктатуры, где «движение» служит просто для приведения партии к власти, и сознательно использовали свою партию для «продления движения», которое, в отличие от партии, не должно было иметь каких-либо «определенных, тесно взаимосвязанных целей»<sup>98</sup>.

Разницу между фашистскими и тоталитарными движениями лучше всего показывает их отношение к армии — национальному институту *par excellence*. В противоположность нацистам и большевикам, которые подорвали национальный дух армии подчинением ее политическим комиссарам или формированием тоталитарной элиты, фашисты могли использовать такие ярко националистические инструменты, как армия, отождествляя себя с нею так же, как они отождествляли себя с государством. Они хотели фашистского государства и фашистской армии, но все же армии и государства. Только в нацистской Германии и Советской России армия и государство стали подчиненными функциями движения. Фашистский диктатор — но ни Гитлер, ни Сталин — был всего лишь единоличным узурпатором в смысле классической политической теории, а его однопартийное правление в некотором смысле — единоличным правлением, еще внутренне связанным с многопартийной системой. Он проводил в жизнь то, что намечали империалистически настроенные лиги, общества и «партии над партиями». Поэтому единственным примером современного массового движения, организованного в рамках существующего государства, стал итальянский фашизм, который вдохновлялся исключительно крайним национализмом и постоянно превращал народ в таких *Staatsbürger* или *patriotes*, каких национальное государство требовало только во времена чрезвычайного положения и *union sacrée*<sup>99</sup>.

Нет настоящих движений без ненависти к государству, но этого фактически еще не знали немецкие пангерманисты в относительно стабильных условиях довоенной Германии. Движения в Австро-Венгрии, где ненависть к государству выражала патриотизм подавляемых национальностей и где партии (за исключением Социал-демократической партии, после Христианско-социальной партии — единственной, искренне лояльной к Австрии) формировались по национальным, а не по

<sup>98</sup> См. чрезвычайно интересное изображение отношений между партией и движением в «*Dienstvorschrift für die Parteioorganisation der NSDAP*». 1932. S. II ff., и с той же ориентацией их описание у Вернера Беста: «Задача партии... не давать движению распасться, поддерживать и направлять его» (*Best W. Die deutsche Polizei*. 1941. S. 107).

<sup>99</sup> Муссолини в речи от 14 ноября 1933 г. защищает свое однопартийное правление аргументами, ходовыми во всех национальных государствах во время войны: единственная политическая партия необходима потому, что при ней «может существовать политическая дисциплина... и узы общей судьбы могут соединить всех, возвысив над противоречивыми интересами» (*Mussolini B. Four speeches on the corporate state*. Rome, 1935).

классовым признакам. Это стало возможным потому, что экономические и национальные интересы здесь почти совпадали, а экономический и социальный статус большей частью зависел от национальности. Тем самым национализм, который в национальных государствах был объединяющей силой, здесь сразу превратился в принцип внутреннего раскола, что стало решающим различием в структуре тамошних партий по сравнению с партиями национальных государств. То, что удерживало вместе членов партий в многонациональной Австро-Венгрии, представляло собой не конкретный интерес, как в других континентальных партийных системах, или конкретный принцип для организации действия, как в англосаксонских странах, а главным образом чувство принадлежности к одной национальности. Строго говоря, это должно бы быть и было величайшей слабостью австрийских партий, ибо из чувства племенной принадлежности нельзя вывести никаких определенных целей и программ. Пандвижения сделали из этого недостатка добродетель, преобразовав партии в движения и открыв этим форму организации, которая, в противоположность всем другим, никогда не нуждалась в цели или программе, но могла изо дня в день менять свою политику без вреда для своих членов. Задолго до того, как нацизм гордо провозгласил, что хотя у него есть программа, но он в ней не нуждается, пангерманисты открыли, насколько важнее для привлечения масс общее настроение, чем твердые принципы и платформы. Ибо единственное, что ценится в массовом Движении, есть именно то, что оно поддерживает себя в постоянном движении<sup>100</sup>. Нацисты имели обыкновение называть 14 лет Веймарской республик «временем Системы» (*Systemzeit*), подразумевая, что это время было бесплодным, лишенным динамизма, «не двигалось» и потому сменилось их «эрой движения».

Государство, даже в качестве однопартийной диктатуры, ощущалось помехой постоянно меняющимся потребностям все развивающегося движения. Не существовало более характерного различия между империалистской «надпартийной группой» Пангерманской лиги в самой Германии и пангерманским движением в Австрии, чем в их отношении к государству<sup>101</sup>: если «партия над партиями» хотела лишь завладеть государственной машиной — истинное движение стремилось к ее разру-

<sup>100</sup> Бердяев приводит следующий примечательный анекдот: «Один советский молодой человек приехал на несколько месяцев во Францию... К концу его пребывания его спросили, какое у него осталось впечатление от Франции. Он ответил: «В этой стране нет свободы»... [и]... изложил свое понимание свободы:... так называемая свобода в ней такова, что все остается неизменным, каждый день похож на предшествующий, можно свергать каждую неделю министерства, но ничего от этого не меняется. Поэтому человеку, приехавшему из России, во Франции скучно» [Указ. соч. С. 123–124].

<sup>101</sup> Враждебность к австрийскому государству иногда встречалась и среди немецких пангерманистов, особенно если они были *Auslandsdeutsche*, как Мёллер ван ден Брук.

шению; если первая еще признавала государство в качестве наивысшего авторитета, раз его представительство попало в руки членов одной партии (как в Италии Муссолини), то второе признавало само движение независимым и высшим авторитетом по отношению к государству.

Враждебность пандвижений к партийной системе потребовала практического воплощения, когда после первой мировой войны эта партийная система перестала работать и классовая система европейского общества развалилась под тяжестью все прибывающих масс, совершенно деклассированных ходом событий. Тогда на передний план вышли уже не просто пандвижения, но их тоталитарные преемники, которые за несколько лет определили политику всех других партий настолько, что те стали либо антифашистскими, либо противобольшевистскими, либо и теми и другими<sup>102</sup>. Этим негативистским подходом, по-видимому вынужденным под давлением извне, старые партии ясно показали, что они тоже больше не могли функционировать как представители особых классовых интересов, а превратились в простых защитников status quo. Скорость, с которой немецкие и австрийские пангерманисты присоединились к нацизму, имела некую параллель в гораздо более медленном и сложном движении, коим панслависты окончательно пришли к мысли, что уничтожение ленинского духа русской революции было совершенно достаточным, чтобы сделать для них возможной чистосердечную поддержку Сталина. В том, что большевизм и нацизм на вершине их власти переросли простой племенной национализм и очень мало использовали тех, кто еще действительно верил в него как в принцип, а не как в чисто пропагандистский материал, не было вины ни пангерманистов, ни панславистов и едва ли укротило их энтузиазм.

Упадок континентальной партийной системы шел рука об руку с падением престижа национального государства. Национальную однородность сильно расстроили миграции, и Франция, nation par excellence, за немногие годы стала полностью зависеть от иностранной рабочей силы. Ограничительная иммиграционная политика, не соответствующая новым потребностям, оставалась пока «истинно национальной», но делала все более очевидным, что национальное государство дальше не способно справляться с главными политическими проблемами времени<sup>103</sup>. Еще

<sup>102</sup> Гитлер описывал положение дел правильно, когда говорил во время выборов 1932 г.: «Против национал-социализма в Германии выступают только негативистские группы большинства» (цит. по: Heiden K. Der Führer. 1944. S. 564).

<sup>103</sup> Когда разразилась вторая мировая война, по меньшей мере 10 процентов населения Франции было иностранного происхождения и ненатурализованным. На ее северных рудниках работали в основном поляки и бельгийцы, а в сельском хозяйстве на юге — испанцы и итальянцы (см.: Carr-Saunders. World population. Oxford, 1936. P. 145–158).

серьезнее были последствия злосчастных усилий мирных договоров 1919 г. внедрить принципы организации национального государства в Восточной и Южной Европе, где «государственный народ» зачастую имел лишь относительное большинство и уступал по численности соединенным «меньшинствам». Эта новая ситуация сама по себе была бы достаточной, чтобы серьезно подорвать классовую основу партийной системы. Повсюду партии организовывались теперь по национальным признакам, словно уничтожение двуединой монархии послужило только для того, чтобы дать возможность возобновить похожие эксперименты в карликовом масштабе<sup>104</sup>. В других странах, где национальное государство и классовая основа его партий не были затронуты перемещениями и разнородностью населения, к сходному развалу вели инфляция и безработица. И совершенно ясно, что, чем более жесткой была классовая система страны, чем отчетливее классовое сознание ее народа, тем более драматичным и опасным был этот развал.

Именно в ситуации, сложившейся между двумя войнами, всякое движение имело шансов на успех больше любой партии, потому что оно нападало на институт государства и не обращалось к классам. Фашизм и нацизм всегда хвастались, что их ненависть направлена не против отдельных классов, а против классовой системы как таковой, которую они осуждали как изобретение марксизма. Даже более знаменателен тот факт, что коммунисты, несмотря на марксистскую идеологию, тоже были вынуждены избавляться от жесткости своих классовых призывов, когда после 1935 г. под предлогом расширения своей массовой базы они всюду формировали народные фронты и начали взывать к тем же растущим массам людей вне всяких классовых определений, которые до того составляли естественную добычу фашистских движений. Ни одна из старых партий не была подготовлена ни принять эти массы, ни правильно оценить важность роста их численности и возрастающее политическое влияние их вождей. Эту «ошибку суждения» со стороны старых партий можно объяснить тем, что их надежное положение в парламенте, обеспеченное представительство в официальных учреждениях и институтах государства позволяло им чувствовать себя гораздо ближе к источникам власти, чем к массам. Они думали, что государство и впредь будет неоспоримым хозяином всех инструментов насилия и армия, этот высший институт национального государства, останется решающей силой во всех внутренних кризисах. Поэтому они чувствовали себя вправе высмеивать многочисленные полувойенные

<sup>104</sup> «С 1918 г. ни одно из новых государств не дало... партии, которая смогла бы охватить больше чем одну расу, одну религию, один социальный класс или один регион. Единственное исключение составляет Коммунистическая партия Чехословакии» (Encyclopedia of the social sciences. Loc. cit.).

формирования, которые распространялись без всякой официальной помощи. Ибо, чем слабее становилась партийная система под давлением внепарламентских движений и классов, тем скорее исчезало все прежнее противостояние партий государству. Партии, действовавшие под влиянием иллюзии «государство над партиями», ошибочно толковали эту гармонию как источник силы, как чудотворную связь с чем-то более высоким. Но государство, как и партийная система, тоже находилось под угрозой и давлением революционных движений и больше не могло сохранять свою величественно-нейтральную и неизбежно непопулярную позицию «над схваткой» во внутрисемейном споре. Армия давно перестала быть надежным бастионом против революционного беспорядка — не потому, что сочувствовала революции, а потому, что потеряла свою позицию, свое лицо. Дважды в современной истории, и оба раза во Франции, *nation par excellence*, армия уже доказала свое существование нежелание или неспособность помочь находящимся у власти либо самой взять власть: в 1850 г., когда она позволила толпе из «Общества десятого декабря» привести к власти Наполеона III<sup>105</sup>, и в конце XIX в., во время дела Дрейфуса, когда не было ничего легче, чем установить военную диктатуру. Нейтралитет армии, ее согласие служить любому хозяину в конце концов поставили государство в положение «посредника между организованными партийными интересами. Оно было теперь не *над*, а *между* классами общества»<sup>106</sup>. Иными словами, государство и партии вместе защищали существующее положение, не понимая, что самый этот союз, как ничто другое, служил его изменению.

Крушение европейской партийной системы особенно наглядно происходило после прихода Гитлера к власти. Это теперь удобно забывают, что на момент взрыва второй мировой войны большинство европейских стран уже приняло какую-то форму диктатуры и отвергло партийную систему и что это революционное изменение способа правления в большей части стран осуществилось без всяких революционных переворотов. Гораздо чаще революционное действие было театральным представлением на потребу остро недовольным массам, а не настоящей битвой за власть. В конце концов, не такая уж большая разница, если в одном случае несколько тысяч почти безоружных людей инсценировали марш на Рим и захватили управление Италией или в другом — как в Польше (в 1934 г.) так называемый беспартийный блок завоевал две трети мест в парламенте, выдвинув программу поддержки полуфашистского правительства и открыв доступ в свои ряды знати и беднейшему крестьянству, рабочим и деловым людям, католикам и ортодоксальным евреям<sup>107</sup>.

<sup>105</sup> См.: Маркс К. Указ. соч.

<sup>106</sup> Schmitt K. Op. cit. S. 31.

<sup>107</sup> Fiala V. Les partis politiques polonais // Monde Slave. Février. 1935.

Во Франции приход Гитлера к власти, сопровождавшийся ростом коммунизма и фашизма, быстро и неожиданно переменял первоначальные отношения партий друг к другу и освященные временем направления партийной политики. Французские правые, до того сильно антинемецкие и провоенные, после 1933 г. стали проводником пацифизма и примирения с Германией. Левые с равной быстротой переключались с пацифизма любой ценой на твердую позицию против Германии и вскоре были обвинены как партии поджигателей войны теми же самыми партиями, которые несколькими годами раньше осуждали их пацифизм как национальное предательство<sup>108</sup>. Годы, последовавшие за приходом Гитлера к власти, оказались еще более разрушительными для целостности французской партийной системы. Во время мюнхенского кризиса каждая партия, от правых до левых, внутренне раскололась по единственно насущному тогда политическому вопросу: за либо против войны с Германией<sup>109</sup>. Каждая партия таила в себе фракцию мира и фракцию войны; ни одна из них не смогла сохранить единство по главным политическим решениям и ни одна не вышла из испытания фашизмом и нацизмом без раскола на антифашистов, с одной стороны, и попутчиков нацистов — с другой. То, что Гитлер вольготно мог выбирать из всех партий для насаждения марионеточных режимов, было следствием этой предвоенной ситуации, а не результатом особо хитрых нацистских маневров. Не было ни единой партии в Европе, что не дала бы коллаборационистов.

Распаду старых партий везде противостояло явное единство фашистского и коммунистического движений: первое, за пределами Германии и Италии, стойко защищало мир даже ценой установления иностранного господства, а второе долгое время проповедовало войну даже ценой национального крушения. Однако важно здесь не столько то, что крайние правые всюду отказывались от своего традиционного национализма ради Европы Гитлера, а крайние левые забывали традиционный пацифизм ради старых националистических лозунгов, сколько то, что оба движения могли рассчитывать на верность своих членов и лидеров, которых не смутил бы никакой внезапный поворот в политике. Это драматически проявилось в советско-германском пакте о ненападении, когда нацисты должны были снять свои главные лозунги против большевизма, а коммунисты — вернуться к пацифизму, который они всегда объявляли мелкобуржуазным. Такие внезапные повороты нисколько не

<sup>108</sup> См. подробный анализ Micaud Ch. A. The French right and Nazi Germany. 1933–1939. 1943.

<sup>109</sup> Наиболее известный случай — раскол во Французской социалистической партии в 1938 г., когда фракция Блюма осталась в меньшинстве против промюнхенской группы Деа на съезде партии в департаменте «Сена».

повредили им. Еще хорошо помнится, какими сильными оставались коммунисты после их второго *volte-face* менее чем два года спустя, когда на Советский Союз напала нацистская Германия, и это несмотря на факт, что оба изменения политической линии вовлекали рядовых членов партии в серьезные и опасные политические акции, которые требовали реальных жертв и постоянных усилий.

Внешне отличным, но в действительности гораздо более жестоким было крушение партийной системы в предгитлеровской Германии. Оно стало явным во время последних президентских выборов в 1932 г., когда все партии приняли на вооружение совершенно новые и усложненные формы массовой пропаганды.

Сам выбор кандидатов был необычным. Хотя и следовало ожидать, что оба движения, которые находились вне парламентской системы и боролись за нее с противоположных сторон, выдвинут собственных кандидатов (Гитлера от нацистов и Тельмана от коммунистов), было удивительным то, что все другие партии внезапно сошлись на одном кандидате. Что этим кандидатом стал старый Гинденбург, пользовавшийся несравненной популярностью, которая со времен Макмагона ожидает дома битых генералов, было не просто смешно. Это показало, как сильно хотели старые партии попросту отождествить себя с прежним государством — государством над партиями, чьим самым мощным символом была национальная армия, показало, другими словами, до какой степени они уже отказались от сути партийной системы. Ибо перед лицом движений различия между партиями в самом деле теряли значение; существование их всех было поставлено на кон, и потому они соединились и надеялись сохранить *status quo*, которое гарантировало бы им жизнь. Гинденбург стал символом национального государства и партийной системы, тогда как Гитлер и Тельман спорили друг с другом за право стать истинным символом народа.

Столь же примечательными, как и выбор кандидатов, были избирательные плакаты. Ни один из них не превозносил своего кандидата за его собственные заслуги. Плакаты за Гинденбурга просто провозглашали, что «голос за Тельмана — это голос за Гитлера», предупреждая рабочих не тратить напрасно свои голоса на кандидата (Тельмана), который наверняка будет бит и тем самым откроет Гитлеру дорогу к власти. Таким способом социал-демократы смирились с кандидатурой Гинденбурга, которого даже не упоминали. Правые партии играли в ту же игру, подчеркивая, что «голос за Гитлера есть голос за Тельмана». Вдобавок и те и другие, дабы убедить всех лояльных партийных членов, будь то правых или левых, что сохранение существующего положения требовало Гинденбурга, весьма прозрачно намекали на случаи, когда нацисты и коммунисты были сообщниками.

В отличие от пропаганды за Гинденбурга, привлекавшей тех, кто хотел продления *status quo* любой ценой (а в 1932 г. это означало безработицу почти для половины немецкого народа), кандидаты движений рассчитывали на тех, кто хотел изменений любой ценой (даже ценой разрушения правовых институтов), а таких было по меньшей мере столько же, сколько постоянно растущих миллионов безработных и их семей. Поэтому нацисты не дрогнули перед нелепостью лозунга «голос за Тельмана — это голос за Гинденбурга», а коммунисты не поколебались ответить, что «голос за Гитлера — это голос за Гинденбурга», ибо обе партии угрожали своим избирателям опасностью сохранения существующего положения точно таким же образом, как их оппоненты грозили своим членам призраком революции.

За курьезной одинаковостью методов, использованных для поддержки всех кандидатов, крылось молчаливое предположение, что избиратели пойдут голосовать, поскольку они напуганы: боятся коммунистов, боятся нацистов, боятся *status quo*. В этом общем страхе исчезали с политической сцены все классовые различия. Но если партийный союз для защиты *status quo* постепенно размывал старую классовую структуру, сохранившуюся в отдельных партиях, то рядовые члены движений изначально были совершенно разнородными и столь же динамичными и подверженными колебаниям, как сама безработица<sup>110</sup>. Если парламентские левые соединялись с парламентскими правыми в рамках национальных институтов, то оба движения совместно занимались организацией знаменитой транспортной забастовки на улицах Берлина в ноябре 1932 г.

Когда мы говорим о необычайно быстром упадке континентальной партийной системы, надо помнить об очень еще короткой жизни этого института. Он нигде не существовал до XIX в., в большинстве европейских стран формирование политических партий происходило только после 1848 г., так что царствование его в качестве бесспорного института в национальных политиках длилось всего около четырех десятилетий. Последние два десятилетия XIX в. все существенные политические подвижки во Франции, так же как и в Австро-Венгрии, уже шли вне и в оппозиции к парламентским партиям и в то же время меньшие империалистические «партии над партиями» всюду бросали вызов этому институту, чтобы снискать народную поддержку агрессивной, экспансионистской внешней политике.

<sup>110</sup> Немецкая социалистическая партия претерпела типичное изменение с начала века до 1933 г. Перед первой мировой войной только 10 процентов ее членов не принадлежало к рабочему классу, тогда как 25 процентов ее избирателей приходили из средних классов. Но в 1930 г. только 60 процентов ее членов были рабочими и по меньшей мере 40 процентов ее избирателей входили в средний класс (см.: Neumann S. Op. cit. S. 28 ff).

Если империалистические лиги ставили себя над партиями ради отождествления с национальным государством, то пандвижения атаковали те же партии как неотъемлемую часть общей системы, которая включала и национальное государство. Пандвижения пребывали не так «над партиями», как «над государством» по причине прямого отождествления себя с народом. В конце концов тоталитарные движения пришли к отречению также и от народа, имя которого, однако, непосредственно следуя по стопам пандвижений, они использовали для пропагандистских целей. «Тоталитарное государство» есть государство только по виду, а движение по-настоящему больше не отождествляет себя даже с потребностями народа. Движение отныне парит над государством и народом, готовое пожертвовать обоими во имя своей идеологии: «Движение... есть Государство так же как и Народ, и ни существующее государство... ни современный немецкий народ нельзя даже помыслить без Движения»<sup>111</sup>.

Ничто лучше не доказывает непоправимый упадок партийной системы, чем огромные усилия после второй мировой войны оживить ее на европейском континенте, жалкие результаты этих усилий, а также возросшая привлекательность движений после поражения нацизма и очевидная угроза национальной независимости со стороны большевизма. Плодом всех усилий восстановить status quo оказалось лишь восстановление политической ситуации, где разрушительные движения суть единственные «партии», функционирующие как следует. Их вожаки сохранили авторитет при самых критических обстоятельствах и несмотря на постоянные колебания партийных линий. Чтобы правильно оценить шансы на выживание европейского национального государства, было бы мудрее не уделять слишком много внимания националистическим лозунгам, которые движения иногда принимают с целью сокрытия своих истинных намерений, но ближе присмотреться к тому, что теперь знает каждый, а именно, что они суть региональные ответвления международных организаций, что их рядовые члены нисколько не расстраиваются, когда выясняется прислужничество их политики внешнеполитическим интересам чужого и даже враждебного государства, и что разоблачения их вождей как деятелей пятой колонны, предателей страны и т.п. не впечатляют участников движений в сколь угодно значительной степени. В противоположность старым партиям движения пережили последнюю войну и являются сегодня единственными «партиями», которые остались живыми и полными смысла для своих приверженцев.

## Глава девятая

### УПАДОК НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И КОНЕЦ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Теперь почти невозможно представить, что в действительности произошло в Европе 4 августа 1914 г. Время до и время после первой мировой войны разделены не как конец старого и начало нового периода, а как день до и день после взрыва. Все же и этот оборот речи неточен подобно всем прочим, потому что скорбное умиротворение, которое обычно приходит после катастрофы, так никогда и не наступило. Первый взрыв, по-видимому, вызвал цепную реакцию, в которую мы были втянуты с тех пор и которую, вероятно, никто не способен остановить. Первая мировая война непоправимо разрушила европейское взаимопознание прав наций, чего не делала никакая другая война. Инфляция погубила целый класс мелких собственников без надежды на восстановление или новое его формирование. Столь радикально не действовал ни один денежный кризис. Безработица, когда она приходила, достигала невероятных размеров, не ограничиваясь больше рабочим классом, но захватывая, за незначительными исключениями, целые нации. Гражданские войны, которые начинались и разворачивались на протяжении 20 лет нелегкого мира, были не только кровавее и ожесточеннее всех прежних. Они сопровождались миграциями групп, которых, в отличие от их более счастливых предшественников в религиозных войнах, нигде не привечали и которые нигде не могли прижиться. Однажды покинув родину, эти люди оставались бездомными; раз потеряв свое государство, они становились безгосударственными; однажды лишенные своих человеческих прав, они пребывали бесправными пасынками мира. Ничто из сделанного, каким бы глупым оно ни было, как бы много людей ни знало и ни предсказывало последствия, нельзя было уничтожить или предотвратить. Каждое событие имело окончательность приговора, приводимого в исполнение не Богом и не дьяволом, а чем-то вроде непоправимо глупого рока.

Еще до того, как тоталитарная политика сознательно атаковала и частично разрушила самый строй европейской цивилизации, взрыв 1914 г. и порожденные им суровые условия нестабильности достаточно потрясли фасад европейской политической системы, чтобы обнажилась ее скрытая основа. Такими видимыми проявлениями были страдания все новых и новых групп людей, для которых внезапно переставали действовать правила мира вокруг них. Именно кажущаяся стабиль-

<sup>111</sup> Schmitt K. Op. cit.

ность окружающего мира заставляла смотреть на каждую группу, выброшенную из уюта покровительственных связей, как на несчастное исключение из в остальном здоровых и нормальных правил, что равно наполняло горечью и цинизмом как жертв, так и наблюдателей явно несправедливой и «неправильной» судьбы. И те и другие ошибочно принимали этот цинизм за свою растущую мудрость в мирских делах, тогда как в действительности они были сбиты с толку и, следовательно, стали глупее еще больше, чем когда-либо прежде. Ненависть, которой определенно хватало и в довоенном мире, всюду начала играть ведущую роль в общественных делах, так что политическую сцену в обманчиво спокойные 20-е годы наполнила отталкивающая и причудливая атмосфера семейного скандала, как в романах Стриндберга. Возможно, ничто так не показывает общий распад политической жизни, как эта смутная всепроникающая ненависть всех ко всем, без направленности на определенный предмет страсти, без знания, кого сделать ответственным за состояние дел: правительство, буржуазию или внешнюю силу. Эта ненависть поочередно кидалась во всех направлениях случайным и непредсказуемым образом, неспособная сохранить дух здорового беспристрастия ко всему, что под солнцем.

Эта атмосфера распада, хотя и типичная для всей Европы между двумя войнами, была более заметна в побежденных, чем в победоносных, странах, и она достигла полного развития в государствах, новообразованных после гибели двуединой монархии и царской империи. Последние остатки солидарности между несвободными национальностями в «поясе смешанного населения» улетучились с устранением центральной деспотической бюрократии, которая одновременно и собирала на себя и отводила друг от друга рассеянную ненависть и конфликтующие национальные притязания. Отныне каждый был против любого другого и больше всего против своих ближайших соседей: словаки против чехов, хорваты против сербов, украинцы против поляков. И это не было результатом конфликта между малыми и государственными народами (или меньшинствами и большинствами). Словаки не только постоянно саботировали решения демократического чешского правительства в Праге, но и одновременно преследовали венгерское меньшинство на своей территории. Сходная враждебность, с одной стороны — к государству, а с другой — между собой, существовала среди недовольных меньшинств в Польше.

На первый взгляд эти тревоги в старом беспокойном регионе выглядели как мелкие националистические дразги, не имеющие последствий для политических судеб Европы. Далее, на этих территориях в результате крушения двух многонациональных государств довоенной Европы, России и Австро-Венгрии появились две группы жертв, чьи по-

тери отличались от потерь других в эпоху между войнами. Им было хуже, чем потерявшим состояние средним классам, безработным, маленьким *rentiers*, пенсионерам, кого события лишили социального положения, возможности работать и права иметь собственность: они потеряли те права, которые мыслились и даже определялись как неотчуждаемые, а именно Права Человека. Безгосударственные народности и меньшинства, правильно названные «бедными родственниками»<sup>1</sup>, не имели правительств, чтобы представлять и защищать их, и потому были вынуждены либо жить по исключительному закону «Договоров о меньшинствах» (*the Minority Treaties*), которые все правительства (кроме Чехословакии) подписали против воли и никогда не признавали настоящим законом, либо в условиях абсолютного беззакония.

С появлением меньшинств в Восточной и Южной Европе и «людей без государства» в Центральной и Западной в послевоенную Европу вошел совершенно новый фактор разъединения. Денационализация стала мощным оружием тоталитарной политики, и конституционная неспособность европейских национальных государств обеспечить права человека тем, кто потерял национально гарантированные права, дала возможность правительствам-угнетателям навязывать свои ценностные стандарты даже своим противникам. Те, кого гонитель избрал на роль отбросов общества, — евреи, троцкисты и т.д. — практически везде принимались как отбросы; те, кого преследователи называли нежелательным элементом, становились *indésirables* Европы. Официальная газета СС «*Schwarze Korps*» открыто заявила в 1938 г., если, мол, мир еще не убедился, что евреи — отбросы общества, он скоро убедится в этом, когда безродные бродяги без национальности, без денег и паспортов хлынут через чужие границы<sup>2</sup>. И поистине этот род деловой пропаганды срабатывал лучше, чем риторика Геббельса, не только потому, что ставил евреев в положение мировых отбросов, но также по-

<sup>1</sup> Childs S. L. Refugees — a permanent problem in international organization // War is not inevitable. Problems of peace. 13th Series. L., 1938, published by the International Labor Office.

<sup>2</sup> Первые преследования немецких евреев нацистами надо рассматривать как попытку распространить антисемитизм среди «тех народов, которые дружески расположены к евреям, прежде всего среди западных демократий», а не как усилия избавиться от евреев. В циркулярном письме Министерства иностранных дел всем немецким представителям за границей вскоре после ноябрьских погромов 1938 г. говорилось: «Эмиграционного потока всего около 100 тысяч евреев уже хватало, чтобы пробудить внимание многих стран к еврейской опасности... Германия весьма заинтересована в поддержании рассеяния еврейства... Наплыв евреев во все части света вызывает сопротивление местного населения и тем самым ведет самую лучшую пропаганду за немецкую политику в отношении еврейства... Чем беднее и, следовательно, обременительнее будет иммигрирующий еврей для страны, принимающей его, тем сильнее эта страна будет реагировать» (см.: Nazi conspiracy and aggression. Washington, 1946, published by U. S. Government. Vol. 6. P. 87 ff).

тому, что это неслыханное положение все растущей группы невинных людей было как бы наглядно-практическим показом правоты циничных прорицаний тоталитарных движений, будто таких вещей, как неотчуждаемые права человека, не существует в природе и все утверждения противного со стороны демократий попросту предрассудки, лицемерие и трусость перед лицом жестокого величия нового мира. Само словосочетание «права человека» стало для всех — жертв, гонителей и зрителей одинаково — доказательством безнадежного идеализма или неуклюжего слабодушного лицемерия.

### 1. «Национальные меньшинства» и «люди без государства»

Современное господство силы, которое превращает национальный суверенитет в издевку, за исключением суверенитета государств-гигантов, рост империализма и пандвижений подорвали устойчивость системы европейского национального государства извне. Однако ни один из этих факторов не вытекал прямо из традиции и институтов самих национальных государств. Их внутренний распад начался только после первой мировой войны с появлением меньшинств, сотворенных мирными договорами, и постоянно растущего повстанческого движения — детища революций.

Негодность мирных договоров часто объясняли тем, что миротворцы принадлежали к поколению, сформированному опытом довоенной эпохи, так что они никогда до конца не понимали всей мощи отдаленного влияния войны, по окончании которой им довелось заключить мир. Этому нет лучшего доказательства, чем их попытка урегулировать национальную проблему в Восточной и Южной Европе, учредив национальные государства и внедрив соглашения о меньшинствах. Если ставилась спорная мудрость продления формы правления, которая даже в странах с давней и устоявшейся национальной традицией не могла справиться с новыми проблемами мировой политики, то было еще сомнительнее, можно ли ее вводить на территории, где отсутствовали сами условия для подъема национальных государств: однородность населения и укорененность на своей земле. Но полагать, будто национальные государства можно учредить методами мирных договоров, было просто нелепым. В самом деле, «одного взгляда на демографическую карту Европы должно быть достаточно, чтобы показать всем: принцип нации-государства не может быть введен в Восточной Европе»<sup>3</sup>. Дого-

<sup>3</sup> *Tramples K. Völkerbund und Völkerfreiheit // Süddeutsche Monatshefte. 26. Jahrgang. Juli 1929.*

воры смешали множество разных народов в единых государствах, называли кого-то из них «государственным народом» и возложили на него управление, молчаливо полагая, что какие-то другие народы (как словаки в Чехословакии, или хорваты и словенцы в Югославии) будут равными партнерами в правительстве (каковыми они, конечно, не стали<sup>4</sup>), и с равной произвольностью создали из остальных третью группу народностей, названных «меньшинствами», тем самым добавив ко многим нагрузкам новых государств тяжесть соблюдения особых административных положений для части населения<sup>5</sup>. Результат был таков, что те народы, кому не дали права на государство, безразлично, были ли они официальными меньшинствами или просто народностями, считали договоры игрой, в которой произвольно присудили правление одним и порабощение другим. Со своей стороны и новосозданные государства, которым обещали равный национальный суверенитет с западными нациями, рассматривали договоры о меньшинствах как открытое нарушение обещаний и дискриминацию, потому что ими были связаны только новые государства, но не охвачена даже побежденная Германия.

Тупиковый вакуум власти, порожденный распадом двуединой монархии и освобождением Польши и прибалтийских стран от царского деспотизма, был не единственным фактором, искушавшим государственных мужей на этот губительный эксперимент. Гораздо важнее была невозможность и дальше отмахиваться от чаяний более чем 100 миллионов европейцев, никогда еще не достигавших стадии национальной свободы и самоопределения, которой домогались уже и колониальные народы и которую им обещали. Поистине роль западно- и центрально-европейского пролетариата — исторически угнетенной группы, освобождение которой стало делом жизни и смерти для всей европейской социальной системы, на востоке Европы играли «народы без истории»<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Борьба словаков против «чешского» правительства в Праге окончилась поддержанной Гитлером независимостью Словакии. Югославская конституция 1921 г. была «принята» в парламенте вопреки голосам всех хорватских и словенских представителей. Хорошее обозрение югославской истории между двумя войнами см.: Propyläen Weltgeschichte. Das Zeitalter des Imperialismus. 1933. Bd. 10. S. 471 ff.

<sup>5</sup> Муссолини был совершенно прав, когда писал после мюнхенского кризиса: «Если Чехословакия сегодня находит себя в, можно сказать, „деликатном положении“, то это потому, что она не просто Чехословакия, но Чехо-Германо-Полано-Мадьяро-Русино-Румыно-Словакия...» (цит. по: Ripka H. Munich: Before and after. L., 1939. P. 117).

<sup>6</sup> Этот термин впервые пустил в оборот Отто Бауэр (*Bauer O. Die Nationalitätenfrage und die österreichische Sozialdemokratie. Wien, 1907*). Историческое сознание играло большую роль в формировании национального сознания. Освобождение наций от династического правления и господства международной аристократии сопровождалось освобождением литературы от «международного» языка обучения (сперва латинского и потом французского) и ростом национальных языков из народных говоров. Казалось, что народы, чьи языки годились для литературы, по определению, достигали национальной

Национально-освободительные движения Востока были революционны во многом одинаково с рабочими движениями на Западе. Оба типа движений представляли «неисторические» слои европейского населения, и оба боролись за признание и участие в общественных делах. Поскольку была цель сохранить status quo в Европе, казалось действительно неизбежным обеспечение национального самоопределения и суверенитета всем европейским народам. Иное означало бы безжалостно обречь часть их на положение колониальных народов (нечто подобное всегда предлагали пандвижения) и ввести колониальные методы в европейские дела<sup>7</sup>.

Но пункт преткновения, несомненно, был в том, что европейский status quo нельзя было сохранить и что только после падения последних остатков европейской автократии стало ясно: Европой управляла система, которая никогда не брала в расчет или не отзывалась на потребности по меньшей мере 25 процентов ее населения. Этого зла, однако, не излечило учреждение государств-преемников Австро-Венгрии, потому что, по грубой оценке, около 30 процентов из 100 миллионов их жителей были официально признаны исключением, которых специально должны были защищать договоры о меньшинствах. Более того, эта цифра никоим образом не говорит о всей глубине вопроса. Она только показывает разницу между народами со своим собственным управлением и теми, которые предположительно были слишком малы и слишком рассеяны, чтобы достичь полного статуса нации. Договоры о меньшинствах охватили только те народности, которые в значительном числе были представлены по меньшей мере в двух государствах-преемниках, но упускали из виду все другие народности без своего управления, так что в некоторых государствах на месте бывшей Австро-Венгрии национально ущемленные люди составляли 50 процентов общего населения<sup>8</sup>. Хуже всего в этой ситуации было даже не то, что она сама

зрелости. Поэтому освободительные движения восточноевропейских народностей начинались с некоего филологического оживления (результаты были иногда гротескные, иногда очень плодотворные), политической целью которого было доказать, что народ, обладающий своей собственной литературой и историей, имеет право на национальный суверенитет.

<sup>7</sup> Разумеется, это не всегда было четкой альтернативой. До сих пор никто не обеспокоился поискать характерные сходства между эксплуатацией меньшинств и колониальной эксплуатацией. Только Якоб Робинсон походя замечает: «Появился особый экономический протекционизм, направленный не против других стран, а против определенных групп населения. Как ни удивительно, но известные методы колониальной эксплуатации можно наблюдать в Центральной Европе» (*Robinson J. Staatsbürgerliche und wirtschaftliche Gleichberechtigung // Süddeutsche Monatshefte. 26: Jahrgang. Juli 1929.*)

<sup>8</sup> Согласно оценке, перед 1914 г. насчитывалось около 100 миллионов людей, чьи национальные ожидания не были исполнены. (См.: *Webster Ch. K. Minorities: History // Encyclopaedia Britannica. 1929*) Численность меньшинств оценивалась приблизительно между 25 и 30 миллионами (См.: *Azcarate P. de. Minorities: League of Nations // Ibid.*) Фактическое положение в Чехословакии и Югославии было намного хуже. В первой чеш-

с собой вызывала неверность народностей навязанному им правительству, а у правительства — необходимость подавлять свои народности как можно эффективнее, а то, что национально ущемленное население было твердо убеждено (как и любой человек), будто истинную свободу, подлинное освобождение и настоящий суверенитет народа можно получить только вместе с полным национальным освобождением, будто люди без их собственного национального правительства лишаются и прав человека. В этом убеждении, которое само по себе могло бы опереться на факт, что Французская революция соединила Декларацию прав человека с национальным суверенитетом, их поддерживали сами договоры о меньшинствах, кои не доверяли правительствам защиту различных народностей, но обязывали Лигу Наций оберегать права тех из них, кто по причинам территориального расселения был оставлен без собственного государства.

Не то чтобы меньшинства верили Лиге Наций больше, чем государственным народам. Лига, в конце концов, состояла из национальных государственных деятелей, чьи симпатии не могли не быть на стороне несчастных новых правительств, которым из принципа мешали и противодействовали от 25 до 50 процентов их подданных. Поэтому творцы договоров о меньшинствах вскоре были вынуждены растолковывать свои действительные намерения более строго и указывать на «обязанности» меньшинств перед новыми государствами<sup>9</sup>. Теперь все подавалось так, словно договоры были задуманы как безболезненный и гуманный метод ассимиляции — толкование, которое естественно вызывало ярость меньшинств<sup>10</sup>. Но ничего другого и нельзя было ожидать от системы суверенных национальных государств. Если договоры о меньшинствах намеревались сделать чем-то большим, нежели временным лекарством для поправки хаотической ситуации, тогда подразуме-

ский «государственный народ» составлял 7200 тысяч, около 50 процентов населения, а во второй — 5 миллионов сербов составляли только 42 процента всего населения (см.: *Winkler W. Statistisches Handbuch der europäischen Nationalitäten. Wien, 1931; Jungmann O. National Minorities in Europe. 1932; Tramples K. Op. cit.* В последней работе даются слегка отличающиеся цифры).

<sup>9</sup> *Azcarate P. de. Op. cit.*: «Договоры не содержат особых условий относительно «обязанностей» меньшинств перед государствами, частью которых они являются. Однако Третья очередная ассамблея Лиги Наций в 1922 г... одобрила... резолюции, касающиеся «обязанностей меньшинств»...»

<sup>10</sup> Французский и британский делегаты были наиболее красноречивы в этом отношении. Бриан заявил: «Процесс, который мы должны иметь в виду, — не исчезновение меньшинств, но некий вид ассимиляции...» Сэр Остин Чемберлен, представитель Британии, даже воскликнул, что «цель договоров о меньшинствах... обеспечить им... ту меру защиты и справедливости, которая постепенно подготовила бы их к полному слиянию с окружающим национальным сообществом» (*Macartney C. A. National states and national minorities. L., 1934. P. 276, 277.*)

ваемое ими ограничение национального суверенитета повлияло бы на национальный суверенитет более старых европейских держав. Представители великих наций очень хорошо знали только то, что меньшинства в национальных государствах раньше или позже должны быть либо ассимилированы, либо ликвидированы. И не имело значения, двигали ли ими гуманные намерения защищать расколотые народности от преследования, или же политические расчеты заставляли их противиться двусторонним договорам между заинтересованными государствами и странами, где данные меньшинства составляли уже большинство (ведь, в конце концов, немцы были сильнейшим из всех официально признанных меньшинств — и по численности, и по экономическому положению), — эти представители не желали, да и не могли опрокидывать законы, на которых стоят национальные государства<sup>11</sup>.

Ни Лига Наций, ни договоры о меньшинствах не помешали бы новообразованным государствам более или менее насильственно ассимилировать свои меньшинства. Сильнейшим фактором, противодействующим ассимиляции, была численная и культурная слабость так называемых государственных народов. Русское или еврейское меньшинство в Польше не чувствовало превосходства польской культуры над своей собственной и на них не производил особенного впечатления факт, что поляки составляли приблизительно 60 процентов населения Польши.

Уязвленные национальности, совершенно презрев Лигу Наций, скоро решили взять свои дела в собственные руки. Они объединили силы на конгрессе меньшинств, примечательном в нескольких отношениях. Он противоречил самой идее, стоявшей за договорами Лиги, официально именуя себя «Конгрессом организованных национальных групп в европейских государствах» и тем самым сводя на нет огромные усилия, потраченные во время мирных переговоров, дабы избежать угрожающего слова «национальный»<sup>12</sup>. Это имело то важное последствие, что

<sup>11</sup> Правда, некоторые чешские государственные деятели, в большинстве своем либеральные и демократические лидеры национальных движений, одно время мечтали сделать Чехословакию республикой вроде Швейцарии. Причина, почему даже Бенеш никогда всерьез не пытался осуществить похожее решение своих беспокойных национальных проблем, состояла в том, что Швейцария была не моделью для подражания, а скорее особенно счастливым исключением, которое только подтверждало чужое правило. Новосозданные государства не чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы избавиться от централизации государственного аппарата, и не могли вдруг создать те малые самоуправляемые организмы из коммун и кантонов, на чьих чрезвычайно обширных полномочиях основана система Швейцарской Конфедерации.

<sup>12</sup> Вильсон, бывший страстным проповедником гарантирования «расовых, религиозных и лингвистических прав меньшинствам», в то же время «опасался, что “национальные права” окажутся вредоносными, поскольку группы меньшинств, выделенные таким образом в качестве отдельных корпоративных организмов, тем самым сделались бы уязвимыми для “ревности и нападения” извне» (Janowsky O. J. *The Jews and minority*

соединились все «национальности», а не просто «меньшинства» и что количество «наций из меньшинств» выросло столь заметно, что сумма этих национальностей в государствах-преемниках Австро-Венгрии превысила численность государственных народов. Но еще и другим способом Конгресс национальных групп нанес решающий удар по договорам Лиги. Одним из самых трудных аспектов проблемы восточноевропейских национальностей (более трудным, чем малые размеры и огромное число требующих внимания народов в «поясе смешанного населения»<sup>13</sup>) был межрегиональный характер национальностей, которые в случае, если они ставили свои национальные интересы над интересами соответствующих правительств, представлялись последним очевидной угрозой для безопасности их стран<sup>14</sup>. Договоры Лиги Наций пытались не замечать межрегиональный характер меньшинств, заключая отдельный договор с каждой страной, словно бы не было еврейского или немецкого меньшинства и за границами соответствующих государств. Конгресс национальных групп не только отступил от территориального принципа Лиги. На нем, естественно, задавали тон две национальности, которые были представлены во всех государствах-преемниках и, следовательно, по своему положению могли, если бы пожелали, заставить почувствовать свой вес во всей Восточной и Южной Европе. Эти две группы были немцы и евреи. Немецкие меньшинства в Румынии и Чехословакии, безусловно, стояли за немецкие меньшинства в Польше и Венгрии, и никто не мог ожидать, чтобы польские евреи, к примеру, оставались безразличными к дискриминационной практике румынского правительства. Другими словами, истинную основу членства в Конгрессе составляли национальные интересы<sup>15</sup>, а не общие интересы меньшинств как таковых, и только гармоничные отношения между евреями

rights. N.Y., 1933. P. 351). Макартни (Op. cit. P. 4) описывает сложившееся положение и «осторожную работу Объединенного иностранного комитета», направленную на то, чтобы избежать термина «национальный».

<sup>13</sup> Термин принадлежит Макартни (Op. cit., passim).

<sup>14</sup> «Результатом мирного устройства было то, что каждое Государство в поясе смешанного населения... отныне смотрело на себя как на национальное государство. Но факты были против них. ...Ни одно из этих государств не было действительно однонациональным, точно так же как не было ни одной нации, которая целиком жила бы в одном государстве» (Macartney C. Op. cit. P. 210).

<sup>15</sup> В 1933 г. председатель Конгресса с чувством подчеркнул: «Одно несомненно: мы встречаемся на наших конгрессах не просто как члены абстрактных меньшинств; каждый из нас душой и телом принадлежит к определенному народу, своему собственному, и чувствует себя связанным с судьбой этого народа, будь то светлой или печальной. Следовательно, каждый из нас выступает здесь, если можно так выразиться, как чистокровный Немец или чистокровный Еврей, как чистокровный Венгр или чистокровный Украинец» (см.: *Sitzungsbericht des Kongresses der organisierten nationalen Gruppen in den Staaten Europas*. 1933. S. 8).

и немцами (Веймарская республика успешно играла особую роль покровителя меньшинств) удерживали их вместе. Поэтому, когда в 1933 г. еврейская делегация заявила протест против обращения с евреями в Третьем рейхе (жест, которого они, строго говоря, не имели права делать, ибо немецкие евреи не были официальным меньшинством), а немцы объявили о своей солидарности с Германией и были поддержаны большинством (антисемитизм созрел уже во всех государствах-преемниках), Конгресс, после того как еврейская делегация покинула его навсегда, впал в полное ничтожество.

Действительное значение договоров о меньшинствах заключается не в их практическом применении, а в самом факте, что они были гарантированы международным органом — Лигой Наций. Меньшинства существовали и раньше<sup>16</sup>, но меньшинство как постоянный институт, признание того, что миллионы людей живут вне нормальной правовой защиты и нуждаются в дополнительных гарантиях своих простейших прав каким-то внешним органом, что это состояние не временное и договоры нужны, дабы установить некий продолжительный *modus vivendi*, — все это было чем-то новым, безусловно не встречавшимся в таком масштабе в европейской истории. Договоры о меньшинствах простым языком сказали то, что до того времени только подразумевалось в действующей системе национальных государств, а именно, что лишь люди одинакового национального происхождения могут быть гражданами и пользоваться полной защитой правовых институтов, что лицам другой национальности требуется какой-то исключительный закон, пока (или если) они не будут полностью ассимилированы и оторваны от национальных корней своего происхождения. Разъяснительные речи по поводу договоров Лиги государственные мужи стран, не имевших обязательств перед меньшинствами, произносили на еще более простом языке: они принимали без доказательств, что закон любой страны не может отвечать за лиц, настаивающих на своей иной национальной принадлежности<sup>17</sup>. Тем самым они признали (и очень скоро, с появле-

<sup>16</sup> Первые меньшинства появились, когда протестантский принцип свободы совести подал принцип *cujus regio ejus religio* [«Чья земля, того и вера» — принцип Аугсбургского мира (1555 г.) между протестантскими князьями Германии и католическим императором Карлом V. (Прим. пер.)]. Венский конгресс 1815 г. уже делал шаги, чтобы обеспечить определенные права польскому населению в России, Пруссии и Австрии, права, которые, безусловно, не были просто «религиозными». Характерно, однако, что все позднейшие договоры — протокол 1830 г. о независимости Греции, протокол 1856 г. о независимости Молдавии и Валахии и решение Берлинского конгресса 1878 г. по Румынии — говорили о «религиозных», а не «национальных» меньшинствах, которым гарантировались «гражданские», но не «политические» права.

<sup>17</sup> Де Мелло Франко, представитель Бразилии в Совете Лиги Наций, изложил проблему очень ясно: «Мне кажется очевидным, что те, кто задумывали эту покровительственную систему, и вообразить не могли появления внутри некоторых государств группы под-

нием людей без государства, получили возможность доказать это практически), что превращение государства из инструмента права в орудие нации завершилось. Нация завоевала государство, национальный интерес стал выше закона задолго до того, как Гитлер смог провозгласить: «Право есть то, что хорошо для немецкого народа». Опять здесь язык толпы был только языком общественного мнения, очищенного от лицемерия и ограничений.

Несомненно, опасность такого развития была внутренне присуща структуре национального государства с самого начала. Но в той мере, в какой становление национальных государств совпадало с формированием конституционного правления, они всегда представляли закон и опирались на правление закона, противопоставляемое правлению произвольной администрации и деспотизму. Поэтому, когда нарушилось шаткое равновесие между нацией и государством, между национальными интересами и правовыми институтами, разложение правовой формы правления и организации народов пошло с ужасающей быстротой. Любопытно, что ее разложение началось как раз в тот момент, когда право на национальное самоопределение было признано по всей Европе и когда стало всеобщим убеждение, лежащее в его основе: верховенство воли нации над всеми правовыми и «абстрактными» институтами.

Во время появления договоров о меньшинствах в их пользу могло быть и было сказано, как бы в порядке извинения за них, что старейшие нации имели конституции, которые скрыто или явно (как в случае Франции, этой *nation par excellence*) основывались на принципе прав человека, что если даже внутри их границ находились другие народности — для них не нужны были никакие дополнительные законы и что только в новосозданных государствах-преемниках принудительное проведение в жизнь прав человека было временно необходимым в качестве компромиссной и исключительной меры<sup>18</sup>. Появление безгосударственных людей положило конец этой иллюзии.

Меньшинства были только наполовину безгосударственными; *de jure* они принадлежали к какому-то политическому организму, даже если нуждались в дополнительной защите в форме специальных договоров и гарантий; некоторые вторичные права, как право говорить на

данных, которые постоянно считали бы себя иностранцами по отношению к общей организации страны» (*Macartney C. Op. cit. P. 277*).

<sup>18</sup> «Режим защиты меньшинств был выработан как вспомогательное средство в случаях, где территориальное устройство неизбежно оказывалось несовершенным с точки зрения национальной принадлежности» (*Roucek J. The minority principle as a problem of political science. Prague, 1928. P. 29*). Осложнения таились в том, что несовершенство территориального устройства оборачивалось ошибкой не только при расселении меньшинств, но и при образовании самих государств-преемников, поскольку в этом регионе не было территории, на которую не могли бы притязать сразу несколько национальностей.

своем языке и оставаться в своем культурном и социальном окружении, были в опасности и незаинтересованно охранялись каким-то внешним органом; но другие, более элементарные и основные права, как право на выбор места жительства и работу, оставались неприкосновенными. Создатели договоров о меньшинствах не предвидели возможности массовых перемещений населения или проблемы «недепортируемого» народа, потому что на земле не было страны, в которой он пользовался бы правом проживания. Меньшинства еще можно было считать исключительным явлением, свойственным определенным территориям, отклонившимся от нормы. Этот аргумент всегда был соблазнительным, ибо оставлял в неприкосновенности саму систему. В известном смысле он пережил вторую мировую войну, после которой миротворцы, убедившиеся в бесполезности договоров о меньшинствах, начали «репатриировать» как можно больше национальностей в попытке разобрать на составные части беспокойный «пояс смешанного населения»<sup>19</sup>. И эта крупномасштабная репатриация не была прямым результатом катастрофического опыта, сопровождавшего договоры о меньшинствах; скорее, она выражала надежду, что такой шаг окончательно решит проблему, которая в предыдущие десятилетия принимала все более грозные размеры и для которой просто не существовало международно признанной и принятой процедуры, — проблему людей без государства.

Безгосударственность, это новейшее массовое явление в современной истории, существование некоего нового постоянно растущего в числе народа, состоящего из лиц без государства, этой самой симптоматичной группы в современной политике<sup>20</sup>, представляла собой проб-

<sup>19</sup> Почти символическое свидетельство этой перемены в умах можно найти в высказываниях Эдуарда Бенеша, президента Чехословакии, единственной страны, которая после первой мировой войны доброжелательно подчинилась обязательствам, налагаемым договорами о меньшинствах. Вскоре после начала второй мировой войны Бенеш стал склоняться к поддержке принципа перемещения населения, который в конце концов вел к изгнанию немецкого меньшинства и к прибавлению еще одной категории к растущей массе перемещенных лиц. О позиции Бенеша см.: *Janowsky O. J. Nationalities and national minorities. N.Y., 1945. P. 136 ff.*

<sup>20</sup> «Проблема безгосударственности выдвинулась на передний план после великой войны. До войны в некоторых странах, и что особенно примечательно — в Соединенных Штатах, существовали постановления, по которым натурализация (принятие в гражданство) могла быть аннулирована в тех случаях, когда натурализованное лицо отказывалось хранить честную верность принявшей его стране. Денатурализованное таким образом лицо становилось безгосударственным. Во время войны ведущие европейские государства нашли необходимым исправить свои законы о национальности так, чтобы иметь власть отменять натурализацию» (*Simpson J. H. The refugee problem. Institute of International Affairs. Oxford, 1939. P. 231*). Класс лиц без государства, созданный отменами натурализации, был очень мал. Но он установил легкоповторимый прецедент, так что в межвоенный период натурализованные граждане становились, как правило, первой

лему, и более трудноразрешимую практически и более грозную по отдаленным последствиям, чем просто проблема меньшинств. Едва ли можно возложить вину за существование безгосударственного люда только на одну причину. Если брать различные группы среди безгосударственников, то покажется, что каждое политическое событие с конца первой мировой войны неуклонно добавляло новую категорию лиц к тем, кто жил вне защиты закона, причем ни одна из этих категорий, независимо от того, как менялось первоначальное стечение обстоятельств, никогда не могла возвратиться в нормальное состояние<sup>21</sup>.

Среди таких категорий мы все еще нашли бы старейшую группу безгосударственного населения, *Heimatlosen*, созданную мирными договорами 1919 г., распадом Австро-Венгрии и образованием прибалтийских государств. Иногда их действительное происхождение нельзя было установить, особенно если в конце войны им случалось жить не там, где они родились<sup>22</sup>; иногда место их происхождения столько раз переходило из рук в руки в превратностях послевоенных споров, что национальность его обитателей менялась из года в год (как в Вильно, ко-

категорией безгосударственного населения. Массовому лишению прав натурализации, вроде введенного нацистской Германией в 1933 г. закона против всех натурализованных немцев еврейского происхождения, обычно предшествовали денационализация граждан из-за рождения в подобных группах и введение законов, делавших денатурализацию возможной по простому указу, подобно законам 30-х годов в Бельгии и других западных демократиях, превративших действительную массовую денатурализацию. Хороший пример этого дает практика греческого правительства в отношении армянских беженцев: из 45 тысяч армянских беженцев между 1923 и 1928 гг. были натурализованы одна тысяча человек; после 1928 г. закон, который натурализовал бы всех беженцев моложе 22 лет, был приостановлен, а в 1936 г. правительство отменило все натурализации (см.: *Simpson J. Op. cit. P. 41*).

<sup>21</sup> Спустя 25 лет после того как советский режим лишил гражданства полтора миллиона россиян, по меньшей мере от 350 тысяч до 450 тысяч из них все еще оставались безгосударственными, и это дает огромный процент, если принять во внимание, что со времени начала исхода сменилось целое поколение, что значительная их доля уехала за океаны и что другая существенная часть приобрела гражданство в различных странах благодаря бракам (см.: *Simpson J. Op. cit. P. 559; Kulischer E. M. The displacement of population in Europe. Montreal, 1943; Hadsel W. N. Can Europe's refugees find new homes? // Foreign Policy Reports. August 1943. Vol. 10. № 10*).

Правда, Соединенные штаты принимали безгосударственных иммигрантов на началах полного равенства с другими иностранцами, но это было возможно только потому, что страна иммигрантов по преимуществу всегда рассматривала новоприбывших как своих перспективных граждан независимо от их прежней национальной принадлежности.

<sup>22</sup> *The American Friends Service Bulletin (General Relief Bulletin. March 1943)* печатает озадачивающее сообщение одного из своих полевых работников в Испании, столкнувшегося с проблемой «человека, который рожден в Берлине, в Германии, но считается поляком по происхождению из-за своих польскоподанных родителей, поэтому становится апатридом, лицом без гражданства, однако настаивает на своей украинской национальности и на него притязает русское правительство с целью его репатриации и последующей службы в Красной Армии».

торый некий французский чин однажды назвал *la capitale des aratriques*); и гораздо чаще, чем можно бы подумать, люди после первой мировой войны искали спасения в безгосударственности, чтобы остаться там, где они жили, и избежать депортации в «родную страну», где они были бы чужими (так поступали многие польские и румынские евреи во Франции и Германии, милостиво поощряемые соответствующими антисемитски настроенными консульствами).

Явление само по себе незначительное, казавшееся просто правовой причудой, *анатрид* получил запоздалое внимание, когда по своему правовому статусу присоединился к послевоенным беженцам, вытесненным из своих стран революциями и срочно «денационализированным» победоносными правительствами у себя дома. В хронологическом порядке к данной группе принадлежали миллионы русских, сотни тысяч армян, тысячи венгров, сотни тысяч немцев и более полумиллиона испанцев — если перечислять только самые важные категории. Сегодня поведение этих правительств может показаться естественным следствием гражданской войны, но в то время массовые денационализации были чем-то совершенно новым и непредвиденным. Они предполагали государственную структуру, которая, если и не была еще полностью тоталитарной, по меньшей мере не стала бы терпеть какую-либо оппозицию и скорее согласилась бы потерять своих граждан, чем оберегать людей с различными взглядами. Более того, эти денационализации обнажили то, что было скрыто на протяжении истории национального суверенитета, а именно, что суверенитеты стран-соседей могли вступать в смертельный конфликт не только в крайностях войны, но и в мирное время. Отныне стало ясным, что полный национальный суверенитет был возможен, только пока существовало взаимное признание прав среди европейских наций. Именно этот дух стихийной солидарности и согласия предотвращал применение любым правительством своей полной суверенной власти. Теоретически в сфере международного права всегда считалось истиной, что суверенитет нигде так не абсолютен, как в делах «эмиграции, натурализации, изгнания и определения национальности»<sup>23</sup>. Но тонкость в том, что практический учет и молчаливое признание общих интересов ограничивали национальный суверенитет, пока не появились тоталитарные режимы. Возникает соблазн чуть ли не измерять степень тоталитарного заражения степенью, в какой заинтересованные правительства используют свое суверенное право на денационализацию (и в этой связи очень интересно узнать, что муссолиниевская Италия сильно противилась такому обращению со

<sup>23</sup> См.: Preuss L. La dénationalisation imposée pour des motifs politiques // Revue Internationale Française du Droit des Gens. 1937. Vol. 4. № 1, 2, 5.

своими беженцами)<sup>24</sup>. В то же время надо иметь в виду, что на Европейском континенте вряд ли осталась страна, не принявшая между двумя войнами какого-то нового законодательства, которое, если даже и не применяло широко этого права, всегда было сформулировано так, что позволяло ей избавиться от большого числа своих обитателей в любой удобный момент<sup>25</sup>.

Ни один из парадоксов современной политики не скопил в себе столько ядовитой иронии, как расхождение между стараниями благонамеренных идеалистов, упрямо отстаивающих «неотчуждаемость» тех прав человека, коими наслаждаются лишь полноправные граждане самых процветающих и цивилизованных стран, и действительным положением бесправных людей. Оно упрямо ухудшалось, пока лагерь для интернированных (до второй мировой войны для безгосударственных скорее исключение, чем правило) не стал рутинным решением проблемы местопребывания «перемещенных лиц».

Даже терминология, применяемая к безгосударственным, ухудшилась. Термин «безгосударственные» по крайней мере признавал факт, что данные лица лишились защиты своего правительства и нуждались в международных соглашениях для обеспечения своего правового статуса. Распространившийся после войны термин «перемещенные лица» изобрели во время войны, выразив стремление раз и навсегда ликвидировать безгосударственность, просто игнорируя ее существование.

<sup>24</sup> Итальянский закон 1926 г. против «враждебной эмиграции», казалось, предвещал меры денатурализации против беженцев-антифашистов. Однако после 1929 г. политика денатурализации была оставлена и стали создаваться фашистские заграничные организации. Из 40 тысяч членов Союза итальянского народа (*Unione Popolare Italiana*) во Франции по меньшей мере 10 тысяч были подлинными антифашистскими беженцами, но только 3 тысячи человек не имели паспортов (см.: Simpson J. Op. cit. P. 122 ff).

<sup>25</sup> Первым законом этого типа была французская военная мера 1915 г., которая затронула только натурализованных граждан вражеского происхождения, сохранивших свою первоначальную национальность. Гораздо дальше пошла Португалия в декрете 1916 г., коим автоматически исключала из гражданства всех лиц, рожденных от немецкого отца. Бельгия в 1922 г. приняла закон, который отменял натурализацию лиц, совершивших антинациональные действия во время войны, и подтвердила его новым декретом в 1934 г., в характерной туманной манере того времени говорившим о лицах «*manquant gravement à leurs devoirs de citoyen belge*». В Италии с 1926 г. могли быть лишены гражданства все лица, «недостойные итальянского гражданства» или угрожающие общественному порядку. Египет в 1926 г. и Турция в 1928 г. издали законы, согласно которым могли быть лишены гражданства люди, представлявшие угрозу общественному порядку. Франция угрожала денатурализацией тем из своих новых граждан, кто действовал против интересов Франции (1927 г.). Австрия в 1933 г. могла лишить австрийской национальности любого из своих граждан, кто служил в иностранных армиях или участвовал за границей в действиях, враждебных Австрии. Наконец, Германия в 1933 г. очень близко следовала разным русским указам после 1921 г., постановляя, что все лица, «проживающие за границей», когда угодно могут быть лишены немецкой национальности.

Непризнание безгосударственности всегда означает репатриацию, т.е. депортацию в страну происхождения, которая либо отказывается признать будущего репатрианта своим гражданином, либо, напротив, страстно желает вернуть его себе для наказания. Поскольку нетоталитарные страны, несмотря на их дурные намерения, внушенные атмосферой войны, в общем уклонились от массовых репатриаций, то число безгосударственных людей теперь, через 12 лет после окончания войны, стало больше, чем когда-либо. Решение государственных мужей покончить с проблемой безгосударственности, намеренно не замечая ее, дополнительно разоблачается отсутствием какой-либо надежной статистики по предмету. Много, однако, известно: хотя имеется всего 1 миллион официально «признанных» безгосударственными, насчитывается более 10 миллионов так называемых *de facto* безгосударственных; и если относительно безобидная проблема *de jure* безгосударственных время от времени возникает на международных конференциях, то о главном в трагедии безгосударственности, равносильном вопросу о беженцах, даже не упоминается. Еще хуже, что число потенциально безгосударственных людей постоянно растет. До последней войны только тоталитарные или полутоталитарные диктатуры прибегали к оружию денатурализации против тех, кто были гражданами по рождению. Теперь мы дошли до точки, когда даже свободные демократии, как, например, США, всерьез обсуждают вопрос о лишении коренных американцев-коммунистов их гражданства. Зловещая особенность всех этих мер в том, что их считают совершенно невинными. Но стоит только вспомнить нацистов, постановивших: все евреи немецкой национальной принадлежности «должны быть лишены гражданства или заранее, или, самое позднее, в день депортации»<sup>26</sup> (для немецких евреев такой указ был не нужен, ибо в Третьем рейхе существовал закон, согласно которому все евреи, покидавшие данную территорию — включая, конечно, депортируемых в некий польский лагерь, — автоматически теряли свое гражданство), чтобы постигнуть истинные последствия феномена безгосударственности.

Первый мощный удар национальным государствам в результате наплыва сотен тысяч людей без государства нанесла отмена права убежища, единственного права, что еще числилось символом Прав Человека в сфере международных отношений. Его долгая, освященная обычаями история восходит к самым истокам упорядоченной политической

<sup>26</sup> Цитата взята из приказа гауптштурмфюрера Даннекера от 10 марта 1943 г. и относится к «депортации 5 тысяч евреев из Франции по квоте 1942 г.». Документ (фотокопия в Centre de Documentation Juive в Париже) — часть документов Нюрнбергского процесса, № RF 1216. Те же постановления были задействованы против болгарских евреев. Ср. там же: аналогичный меморандум Л. Р. Вагнера от 3 апреля 1943 г., документ № NG 4180.

жизни. С древних времен оно охраняло и беглеца, и место его спасения от обстоятельств, в которых люди оказывались вне закона не по своей вине. Оно было единственным современным остатком средневекового принципа *quid quid est in territorio est de territorio*, ибо во всех других случаях современное государство проявляло склонность опекать своих граждан за пределами собственных границ и обеспечивать посредством взаимных договоров, чтобы они подчинялись законам своей страны. Но хотя право убежища продолжало действовать в мире, организованном в систему национальных государств, и в отдельных случаях даже пережило обе мировые войны, оно воспринималось как анахронизм и конфликтовало с международными правами государств. Поэтому его нельзя найти ни в одном писаном законе, конституции или международном соглашении, и Устав Лиги Наций никогда не упоминал даже чего-то похожего на него<sup>27</sup>. В этом отношении право убежища разделяет судьбу Прав Человека, которые также никогда не были законом, но вели несколько призрачное существование в качестве призыва учитывать отдельные исключительные случаи, для которых нормальные правовые институты недостаточны<sup>28</sup>.

Вторым сильным ударом, полученным европейским миром от наплыва беженцев<sup>29</sup>, было осознание невозможности избавиться от них

<sup>27</sup> Чайлдз (*Childs S. L. Op. cit.*) сожалеет о том, что Устав Лиги Наций не содержал «никаких льгот для политических беженцев и мер помощи изгнанникам». Самая последняя попытка ООН добиться улучшения их правового статуса (по крайней мере для малой части безгосударственных, так называемых *de jure* безгосударственных) оказалась не более чем простым жестом, а именно попыткой созвать представителей по меньшему счету двадцати государств, но с явной гарантией, что участие в такой конференции не повлечет никаких обязательств. Даже при таких условиях оставалось крайне сомнительным, можно ли будет созвать эту конференцию (см. раздел новостей в «New York Times» 17 октября 1954 г. Р. 9).

<sup>28</sup> Единственными хранителями права убежища оказались немногие общественные организации с особой нацеленностью на защиту прав человека. Наиболее важная из них, финансируемая Францией *Ligue des Droits de l'Homme* с отделениями во всех демократических странах Европы, вела себя так, словно речь все еще шла просто о спасении отдельных людей, преследуемых за их политические убеждения и деятельность. Эта предпосылка, бессмысленная уже в случае миллионов русских беженцев, стала просто абсурдом для евреев и армян. Лига ни идеологически, ни административно не была оснащена, чтобы справиться с новыми проблемами. Поскольку она не хотела прямо взглянуть на новую ситуацию, то застряла на функциях, которые гораздо лучше исполняло любое из многих благотворительных учреждений, созданных самими беженцами с помощью соотечественников. Когда права человека стали знаменем особенно неэффективной благотворительной организации, сама идея этих прав, естественно, была дискредитирована еще больше.

<sup>29</sup> Многообразные усилия юристов упростить проблему, проведя различие между лицом без государства и беженцем вроде того, что «статус лица без государства определяется фактом отсутствия у него какой-либо национальности, тогда как статус беженца определяется утратой дипломатической защиты» (*Simpson J. Op. cit. P. 232*), всегда терпели поражения, ибо «для практических целей все беженцы безгосударственны» (*Ibid. P. 4*).

или превратить в националов страны-убежища. Изначально все соглашались, что было только два пути решить проблему: репатриация либо натурализация<sup>30</sup>. Когда опыт первых русских и армянских волн эмиграции показал, что ни один путь не дал существенных результатов, принимающие страны просто отказались признавать безгосударственный статус за всеми новоприбывающими, тем самым делая положение беженцев еще более невыносимым<sup>31</sup>. С точки зрения заинтересованных правительств было достаточно понятно, что им надо придерживаться памятки Лиги Наций «о как можно более скором свертывании ее работы с беженцами»<sup>32</sup>. Эти правительства имели много причин опасаться, что все исторгнутые из прежнего единства: государство — народ — территория, которое еще составляло основу европейской организации и политической цивилизации, были лишь началом разрастающегося движения, лишь первой струйкой из постоянно пополняемого резервуара. Очевидно, и это признала даже Эвианская конференция 1938 г., что все немецкие и австрийские евреи были потенциально безгосударственными; и было только естественным, что все страны с национальными меньшинствами, вдохновленные примером Германии, попытались использовать те же методы для избавления от некоторых из своих меньшинств<sup>33</sup>. Среди меньшинств наибольшей опасности подвергались евреи и армяне, которые вскоре и дали самую высокую долю безгосудар-

<sup>30</sup> Наиболее издевательскую формулировку этого всеобщего ожидания дал *Jermings R.Y.* Some international aspects of the refugee question // *British Yearbook of International Law*. 1939: «Статус беженца, конечно, не является постоянным. Цель в том, что он должен как можно скорее избавиться от этого статуса — либо путем репатриации, либо путем натурализации в стране, предоставившей убежище».

<sup>31</sup> Только русские, во всех отношениях аристократия безгосударственного люда, и армяне, приравненные по статусу к русским, всегда официально признавались «безгосударственными» под опекой Нансеновской миссии Лиги Наций, выдавшей им проездные документы.

<sup>32</sup> *Childs S. L.* Op. cit. Причиной этой отчаянной попытки ускорения был страх всех правительств, что даже малейший поощрительный жест «мог бы побудить некоторые страны избавляться от нежелательных людей и что могут эмигрировать многие из тех, кто в ином случае остался бы в своих странах даже при серьезных ограничениях прав» (*Holborn L. W.* The legal status of political refugees, 1920–38 // *American Journal of International Law*. 1938).

См. также: *Mauro G.* (Esprit. 7e année. № 82. Juillet 1939. P. 590): «Приравнение немецких беженцев к статусу других беженцев, которых опекала Нансеновская миссия, естественно, было бы простейшим и наилучшим решением для самих немецких беженцев. Но правительства не хотели распространять уже данные привилегии на новую категорию беженцев, которая вдобавок угрожала неопределенно разрастаться».

<sup>33</sup> К 600 тысячам потенциально безгосударственных евреев в Германии и Австрии в 1938 г. надо добавить евреев Румынии (ибо президент Румынской федеральной комиссии по делам меньшинств проф. Драгомир как раз тогда объявил миру о грядущем пересмотре гражданства всех румынских евреев) и Польши (министр иностранных дел которой, Бек, официально заявил, что для Польши иметь 1 миллион евреев — это слишком много). См.: *Simpson J.* Op. cit. P. 235.

ственных. Их опыт также показал, что договоры о меньшинствах не обязательно служили защите, но могли послужить и инструментом обособления определенных групп для последующего изгнания.

Почти столь же пугающим, как эти новые опасности из старых беспокойных очагов Европы, был совершенно новый род поведения всех европейских националов в «идеологических» войнах. Кроме людей, выброшенных из своей страны и лишенных гражданства, во всех странах, включая западные демократии, появлялось все больше и больше добровольных охотников сражаться в гражданских войнах за границей (до того нечто подобное делали лишь немногие идеалисты или авантюристы), даже когда это означало для них разрыв со своими национальными сообществами. Таков был урок гражданской войны в Испании и одна из причин, почему западные правительства так испугались Интернациональной бригады. Дела обстояли бы не так уж плохо, если бы все это означало, что люди больше не цепляются за свою национальность и готовы в дальнейшем влиться в другое национальное сообщество. Но это был совсем не тот случай. Безгосударственные лица уже успели показать изумляющую стойкость в удержании своей национальности; в любом смысле беженцы представляли собой разделенные иностранные меньшинства, которые часто и не заботились о получении гражданства, никогда не объединялись (как делали настоящие меньшинства), чтобы оборонять общие интересы<sup>34</sup>.

<sup>34</sup> Трудно решить, что было первым: нежелание национальных государств натурализовать беженцев (практика натурализации становилась все более ограниченной, а практика денатурализации — все более обычной по мере наплыва беженцев) или нежелание беженцев принять другое гражданство. В странах, имевших меньшинства, как Польша, беженцы (русские и украинцы) проявляли определенную склонность к ассимиляции с существующими меньшинствами без каких-либо требований польского гражданства (см.: *Simpson J.* Op. cit. P. 364).

Поведение русских беженцев очень характерно. Нансеновский паспорт описывал его обладателя как «*Personne d'origine russe*», потому что «никто не осмелился бы сказать русскому эмигранту, что он лицо без национальности или сомнительного национального происхождения» (см.: *Vichniac M.* Le statut international des apatrides // *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International*. Vol. 33. 1933). Попытка снабдить всех безгосударственных персон единообразными удостоверениями личности встретила очень сильные протесты владельцев нансеновских паспортов, которые претендовали, чтобы их паспорт был «знаком правового признания их особого положения» (см.: *Jermings R.* Op. cit.). До начала последней войны даже беглецы из Германии были далеки от желания раствориться в массе безгосударственных, предпочитая описание «*réfugié provenant d'Allemagne*» с сохранением национальности.

Убедительнее жалоб европейских стран на трудности ассимиляции беженцев звучат высказывания из-за океанов, согласные с первыми, что «из всех классов европейских иммигрантов наиболее трудно ассимилируются южные, восточные и центральные европейцы» (см.: *Canada and the doctrine of peaceful changes* / Ed. by H. F. Angus // *International Studies Conference: Demographic Questions: Peaceful Changes*. 1937. P. 75–76).

Интернациональная бригада была организована в национальные батальоны, где немцы чувствовали, что они сражаются против Гитлера, итальянцы — против Муссолини, точно так же как несколькими годами позже, во времена Сопротивления, испанские беженцы ощущали себя борцами с Франко, когда помогали Франции против режима Виши. Особенно боялись европейские правительства в этом процессе того, что о новых безгосударственных людях больше нельзя было говорить, будто они какой-то неопределенной или сомнительной национальности (*de nationalité indéterminée*). Если даже они отказывались от своего гражданства, не сохраняли верности и связи со страной их происхождения и не отождествляли своей национальности с реальным, полноправным правительством, они сохраняли сильную привязанность к своей национальности. Отколовшиеся от своих национальные группы и меньшинства, без глубоких корней в земле проживания, без всякого законопослушания или обязательства по отношению к государству, перестали быть признаком только Востока. Отныне они просочились в виде беженцев и лиц без государства в старые национальные государства Запада.

Действительные трудности начались, как только были опробованы два общепризнанных средства: репатриация и натурализация. Меры репатриации, естественно, проваливались, когда не находилось страны, куда могли быть депортированы эти люди. Они проваливались не из-за особого уважения к лицам без государства (как может показаться сегодня, когда Советская Россия требует назад своих бывших граждан, и демократические страны должны защищать их от репатриации, которой они не желают) и не из-за гуманных чувств стран, наводненных беженцами, а потому, что ни страна происхождения, ни любые другие страны не соглашались принять безгосударственное лицо. Может показаться, что сама недепортируемость этого лица должна была предотвращать его высылку правительством. Но поскольку человек без государства был «аномалией, для коей не существовало подходящей ниши в здании общего права»<sup>35</sup>, был, по определению, человеком вне закона, то он полностью отдавался на милость полиции, обычно не очень-то боявшейся совершить несколько незаконных актов, чтобы уменьшить для своей страны груз *indésirables*<sup>36</sup>. Иными словами, государство, настаивая на своем суверенном праве изгонять и высылать, самой незаконной природой феномена безгосударственности было втянуто в соверше-

<sup>35</sup> Jermings R. Op. cit.

<sup>36</sup> Циркуляр нидерландских властей от 7 мая 1938 г. явно смотрел на каждого беженца как на «нежелательного иностранца» и определял беженца как «иностранного подданного, который покинул свою страну под давлением обстоятельств» (см.: *L'Emigration, problème révolutionnaire* // *Esprit*. 7e année. № 82. Juillet 1939. P. 602).

ние заведомо незаконных актов<sup>37</sup>. Оно сплавляло свою проблему безгосударственных в соседние страны, а те отплачивали тем же. Идеальное решение проблемы репатриации — вернуть беженца назад в страну его происхождения — было успешным лишь в исключительных случаях, отчасти потому, что нетоталитарную полицию еще сдерживали остаточные этические соображения, отчасти потому, что лицо без государства точно так же могли выкинуть из его родной страны, как из любой другой, и последнее, но по значению не самое маленькое — потому, что все эти перемещения людей можно было бесконечно продолжать только с соседними странами. Следствием такой человеческой контрабанды были малые войны между полициями на границах, явно не способствовавшие добрым международным отношениям, и накопление тюремных приговоров для лиц без государства, которые с помощью полиции одной страны «нелегально» переходили на территорию другой.

Любая попытка на международных конференциях установить какой-то правовой статус для людей без государства проваливалась, ибо ни одно соглашение не могло заменить территорию, куда в рамках существующего закона следовало бы депортировать чужака. Все дискуссии по проблеме беженцев вращались вокруг одного вопроса: как сделать беженца снова депортируемым? Не нужны были вторая мировая война и лагеря перемещенных лиц, дабы показать всем, что единственной практической заменой несуществующему отечеству стал лагерь интернированных. В самом деле, уже в 30-х годах это была единственная «страна», которую мир предлагал людям без государства<sup>38</sup>.

Натурализация тоже провалилась. Вся ее система в европейских странах распалась, когда столкнулась с безгосударственным человеком, и

<sup>37</sup> Лоран Прэсс (*Preuss L. Op. cit.*) описывает цепочку беззакония следующим образом: «Первоначальный незаконный акт правительства, лишаящего кого-то национальности... ставит выходящую страну в положение нарушителя международного права, ибо ее власти взламывают закон страны, в которую выдворяют безгосударственное лицо. Вторая страна, в свою очередь, не может избавиться от него иначе, как нарушая... закон третьей страны... Само лицо без государства стоит перед такой альтернативой: либо он нарушает закон страны, где живет... либо он нарушает закон страны, в которую выслан».

Сэр Джон Фишер Уильямс (*Williams J. F. Denationalisation // British Year Book of International Law*. 7. 1927) заключает из этого, что лишение национальности противно международному праву. И все же на *Conférence pour la Codification du Droit International* 1930 г. в Гааге только правительство Финляндии настаивало, что «лишение национальности... ни в коем случае не должно быть наказанием... и не должно провозглашаться с целью избавиться от нежелательного лица путем высылки за границу».

<sup>38</sup> Чайлдз (*Childs S. Op. cit.*) после печального вывода, что «истинная трудность в принятии беженца в том, что если он оказывается дурным человеком... то нет путей избавления от него», предложил «переходные центры», в которые беженца могли вернуть даже из-за границы и которые, так сказать, должны были заменять родину при осуществлении депортации.

точно по тем же причинам, по которым отмерло право убежища. В сущности, натурализация была придатком к законодательству национального государства, которое считалось только с националами, людьми, рожденными на его территории и гражданами по рождению. Натурализация требовалась в исключительных случаях для единичных индивидов, кому обстоятельства позволяли въезжать на иностранную территорию. Вся эта процедура нарушилась, когда встал вопрос о массовом применении натурализации<sup>39</sup>. Даже с чисто административной точки зрения ни одна европейская гражданская служба, вероятно, не смогла бы справиться с проблемой. Вместо натурализации, по крайней мере малой доли новоприбывших, эти страны начали отменять более ранние принятия в гражданство, частично из-за общей паники и частично потому, что наплыв больших масс новых беженцев действительно изменил и так всегда ненадежное положение натурализованных граждан того же происхождения<sup>40</sup>. Отмена натурализации или введение новых законов, пролагавших путь для массовой денатурализации<sup>41</sup>, потрясали и ту малую веру, что еще могли сохранить беженцы в возможность своего устройства в новой нормальной жизни. Отныне надеяться на это было просто смешно, раз ассимиляция в новой стране обернулась мелким обманом или вероломством. Разница между натурализованным гражданином и безгосударственным жителем оказывалась

<sup>39</sup> Два случая массовой натурализации на Ближнем Востоке были явно исключительными: один охватил греческих беженцев из Турции, которых правительство Греции в 1922 г. натурализовало всех разом, потому что фактически это был вопрос о репатриации греческого меньшинства, а не иностранных граждан; второй помог армянским беженцам из Турции в Сирии, Ливане и других странах прежней Османской империи, т.е. коснулся населения, с которым Ближний Восток всего несколько лет назад разделял общее гражданство.

<sup>40</sup> Там, где волна беженцев находила людей своей национальности, уже успешных осесть в стране их эмиграции (как было, например, с армянами и итальянцами во Франции и с евреями повсюду), наблюдалось известное попятное движение от уже достигнутого уровня ассимиляции тех, кто давно жил в новой стране, поскольку их солидарность и помощь можно было пробудить, только взывая к первичной национальности, общей у них с новоприбывшими. В этом прямо были заинтересованы страны, затопляемые беженцами, но неспособные или не желающие предоставить им непосредственную помощь или право на работу. Во всех таких случаях национальные чувства более старых групп оказывались «одним из главных факторов в успешном устройении беженцев» (Simpson J. Op. cit. P. 45–46), но, призывая к подобному национальному сознанию и солидарности, принимающие страны, естественно, увеличивали число неассимилированных чужаков. Если взять один особенно интересный случай, то, 10 тысяч итальянских беженцев оказалось достаточно, чтобы отложить на неопределенное время ассимиляцию почти 1 миллиона итальянских иммигрантов во Франции.

<sup>41</sup> Французское правительство, следуя другим западным странам, вводило в 30-е годы возрастающее число ограничений для натурализованных граждан: они отстранялись от некоторых профессий на срок до десяти лет после их натурализации, не имели политических прав и т.д.

не столь велика, чтобы стоило о ней хлопотать: первому, часто лишённому важных гражданских прав, в любой момент грозила судьба второго. Натурализованные лица в большинстве своем были приравнены к статусу обыкновенных иностранных жителей, и, поскольку эти натурализованные уже потеряли свое предыдущее гражданство, такие меры попросту угрожали безгосударственностью еще одной значительной группе.

Было почти трогательно видеть беспомощность европейских правительств, несмотря на осознание ими опасности безгосударственности для их устоявшихся правовых и политических институтов и несмотря на усилия обуздать эту стихию. Взрывных событий больше не требовалось. После того как известное число людей без государства допускали в ранее нормальную страну, безгосударственность распространялась подобно заразной болезни. Не только натурализованные граждане оказывались в опасности возврата к положению безгосударственных, но и условия жизни для всех чужеземцев заметно ухудшались. В 30-е годы стало все труднее ясно отличать безгосударственных беженцев от нормальных иностранцев, проживающих в данной стране. Как только правительство пыталось использовать свое право и репатриировать такого нормального иностранного жителя против его воли, он делал все, чтобы спастись, перейдя на положение безгосударственного. Во время первой мировой войны «вражеские иностранцы» уже открыли огромные преимущества безгосударственности. Но то, что тогда было хитростью отдельных людей, нашедших лазейку в законе, теперь стало инстинктивной реакцией масс. Франция, самая большая европейская территория, принимающая иммигрантов<sup>42</sup>, ибо она регулировала хаотический рынок труда, вербуя иностранных рабочих при необходимости и депортируя их во время безработицы и кризиса, научила своих иноземцев преимуществам безгосударственности, которые они нелегко забывали. После 1935 г., года массовой репатриации правительством Лавалья, от которой спаслись только безгосударственные лица, так называемые экономические иммигранты и другие группы более раннего происхождения (балканцы, итальянцы, поляки, испанцы) смешались с волнами беженцев в такой клубок, который никогда уже нельзя было распутать.

Еще вреднее того, что безгосударственностью делала с освященными временем и необходимыми различиями между националами и иностранцами, а также с суверенным правом государств в вопросах национальной принадлежности и изгнания, было ее влияние на саму структуру правовых национальных институтов, когда растущее число обывателей вынуждено было жить вне юрисдикции этих законов и без защиты каких-либо других. Лицо без государства, не имевшее права

<sup>42</sup> См.: Simpson J. Op. cit. P. 289.

на местожительство и работу, конечно же должно было постоянно нарушать закон. Над ним висела угроза тюремных приговоров без вины, без совершения преступления. Более того, в его случае переворачивалась вся иерархия ценностей, подобавшая цивилизованным странам. Поскольку безгосударственник представлял собой аномалию, для коей не предусмотрен общий закон, то ему было лучше стать аномалией, для которой такой закон предусмотрен, т.е. стать преступником.

Лучшим критерием, по которому можно судить, вытеснен ли кто-то за пределы закона, будет ответ на вопрос, получил бы он выгоду, совершив преступление. Если существует вероятность, что мелкая кража улучшит его правовое положение, по крайней мере на время, то можно быть уверенным: у него отняли человеческие права. Ибо тогда уголовное преступление становится наиболее удобной возможностью восстановить какой-то вид человеческого равенства, даже если он будет признан исключением из нормы. Единственно важно здесь то, что для этого исключения существует закон. Как с преступником, даже и с безгосударственным, с ним не будут обращаться хуже, чем с любым другим обыкновенным преступником, т.е. в этом качестве он станет как все. Он мог получить покровительство закона только как его нарушитель. Пока длится суд и отбывается срок, он будет спасен от того произвола полиции, против которого нет ни юристов, ни апелляций. Тот самый человек, который вчера сидел в тюрьме просто из-за своего присутствия в этом мире, который не имел никаких прав и жил под угрозой депортации или без суда и приговора подвергался какому-то виду интернирования, потому что пытался работать и жить, мог стать почти полноправным гражданином благодаря маленькой краже. Даже если у него не было денег, он мог теперь получить защитника-юриста, пожаловаться на тюремщиков и благосклонно быть выслушанным. Он был теперь не отбросом, а достаточно значительным лицом, чтобы его информировали обо всех тонкостях закона, по которому его будут судить. Он становился вполне уважаемой личностью<sup>43</sup>.

<sup>43</sup> Практически любое наказание, определенное ему судебным приговором, покажется малозначительным по сравнению с указом о высылке из страны, отменой разрешения на работу или с декретом о ссылке в лагерь для интернированных. Японец с западного побережья США, находившийся в тюрьме, когда армия выполняла приказ об интернировании всех американцев японского происхождения, не был вынужден спешно извлекаться от своей собственности по чрезвычайно низкой цене; он по праву оставался там, где был, обороняемый юристом, блющим его интересы; и если ему выпадала удача получить долгий срок, по его отбытии он мог полноправно и мирно вернуться к своему прежнему делу и профессии, даже к профессии вора. Его тюремное заключение гарантировало ему конституционные права, как ничто другое: никакие свидетельства лояльности и никакие обжалования не смогли бы ему помочь, раз его гражданство стало сомнительным.

Куда менее надежный и куда более трудный путь подняться из непризнанной аномалии до положения признанного исключения был путь гения. Подобно тому как закон знает только одно различие между людьми — различие между нормальным обывателем и аномальным преступником, так и конформистское общество признает только одну форму последовательного индивидуализма — гения. Европейское буржуазное общество хотело видеть гения стоящим вне человеческих законов, каким-то священным чудовищем, чья главная общественная функция — порождать возмущение, и потому не имело значения, если гений действительно был человеком вне закона. Кроме того, потеря гражданства лишала людей не только защиты, но и всякого ясно определенного, официально признанного удостоверения личности — факт, самым точным выражением которого были их вечные лихорадочные усилия получить по крайней мере свидетельство о рождении от страны, что их «денационализировала»; и часть этих проблем решалась, когда человек отличался от всех настолько, чтобы вырваться и спастись из огромной и безымянной толпы неправых. В конце концов, только слава способна вызвать какую-то реакцию на повторяющиеся жалобы беженцев из всех слоев общества, мол, «никто здесь не знает, кто я!» И вправду, возможностей у знаменитого беженца было больше, точно так же как имеется больше шансов выжить у собаки с кличкой по сравнению с бродячей безымянной дворнягой<sup>44</sup>.

Национальное государство, неспособное обеспечить законность для тех, кто потерял покровительство своего прежнего правительства, передавало все такие дела полиции. В Западной Европе это был первый случай, когда полиция получила власть действовать самостоятельно, прямо управлять людьми; т.е. в одной из областей общественной жизни она перестала быть простым орудием исполнения и слежения за соблюдением законов, но превратилась в правящий властный орган, независимый от правительства и министерств<sup>45</sup>. Сила и свобода полиции от закона и правительства росли прямо пропорционально притоку беженцев. Чем больше доля безгосударственных и потенциально безгосударственных во всем населении страны (в предвоенной Франции она

<sup>44</sup> Факт, что тот же принцип формирования элиты зачастую работал в тоталитарных концентрационных лагерях, где «аристократия» большей частью состояла из преступников и немногих «гениев», артистов-забавников и художников, показывает, как близки общественные положения беженцев и лагерников.

<sup>45</sup> К примеру, для Франции засвидетельствовано, что приказ о высылке, исходивший от полиции, был куда серьезнее чем предписание «всего лишь» Министерства внутренних дел, и что сам министр внутренних дел мог только в редких случаях отменить полицейскую высылку, тогда как обратная процедура часто зависела от простой взятки. Конституционно же полиция подчинялась Министерству внутренних дел.

достигла 10 процентов), тем больше опасность постепенного перерождения ее в полицейское государство.

Без сомнения, тоталитарные режимы, где полиция достигла вершин власти, особенно желали закрепить эту власть путем бесконтрольного господства над значительными группами людей, которые, независимо от преступлений отдельных лиц, в любом случае не пользовались защитой закона. В нацистской Германии нюрнбергские законы с их различием граждан рейха (полноправных граждан) и националов\* (граждане второго сорта без политических прав) открывали дорогу движению, в котором все националы «чужой крови» могли в конце концов потерять свою национальность по официальному декрету. Только начало войны предотвратило соответствующее законодательство, которое уже было подготовлено в подробностях<sup>46</sup>. В то же время, разрастание групп безгосударственных в нетоталитарных странах вело к той или иной форме беззакония, организованного полицией, которое практически выливалось в согласование действий свободных стран с законодательством тоталитарных стран. То, что концентрационные лагеря во всех странах «обслуживали» одни и те же группы населения, даже если существовали значительные отличия в обращении с лагерниками, становилось все более типичным, поскольку отбор групп был целиком предоставлен инициативе тоталитарных режимов: если нацисты сажали человека в концентрационный лагерь, а он совершал успешный побег, скажем, в Голландию, то голландцы помещали его в лагерь для ин-

\* Х. Арендт использует термин «национал» в разных значениях (см. с. 318, 382, 383) — Прим. ред.

<sup>46</sup> В феврале 1938 г. имперское и прусское Министерство внутренних дел представило «проект закона о приобретении и утрате немецкой национальности», который пошел гораздо дальше нюрнбергского законодательства. Он устанавливал, что все дети «евреев, евреев смешанной крови или лиц другой чужой крови» (которые в любом случае никогда не могли стать гражданами рейха) больше не имели права на немецкую национальность, «даже если их отец — немец по происхождению». Что эти меры уже не связывались просто с антиеврейским законодательством, явно следует из мнения, высказанного 19 июля 1939 г. министром юстиции, внушавшим, что «слов «еврей» и «еврей смешанной крови» следует по возможности избегать в законе, заменяя их словами «лица чужой крови» либо «лица ненемецкой или негерманической [nicht artverwandt] крови»». Интересную черточку в планирование этого необычного расширения безгосударственного населения в нацистской Германии добавляет положение о подкидышах, которые откровенно считались безгосударственными до тех пор, «пока не сделано исследование их равных признаков». Здесь принцип, что каждый человек рождается с неотчуждаемыми правами, гарантированными его национальностью, был умышленно перевернут: каждый человек рождается бесправным, а именно — безгосударственным, пока впоследствии относительно его не соизволят дать других заключений.

Оригинальное досье о проекте этого законодательства, включая мнения всех министерств и верховного командования вермахта, можно найти в архивах Yiddish Scientific Institute в Нью-Йорке (G-75).

тернированных. И так, задолго до начала войны полиция в ряде западных стран под предлогом «национальной безопасности» по собственной инициативе устанавливала тесные связи с гестапо и ГПУ, так что вполне можно было говорить о существовании самостоятельной внешней политики полиции. Эта полицейская внешняя политика функционировала совершенно независимо от официальных правительств. Отношения между гестапо и французской полицией никогда не были более сердечными, чем во времена правительства народного фронта во главе с Леоном Блюмом, которое проводило решительно антигерманскую политику. В сравнении с правительствами различные полицейские организации никогда не были отягощены «предрассудками» против любого тоталитарного режима. Для них информация и разоблачения, получаемые от агентов ГПУ, были почти так же хороши, как и от агентов гестапо или фашистов. Они знали о выдающейся роли полицейского аппарата во всех тоталитарных режимах, знали о его высоком социальном положении и политическом значении и даже не трудились скрывать свое сочувствие этому. То, что нацисты в итоге встретили столь постыдно ничтожное сопротивление полиции в оккупированных странах и что они сумели организовать такой большой террор с помощью местных полицейских сил, было результатом (по крайней мере частично) тех сильных позиций, которые захватила полиция за годы ее неограниченного господства и произвола над безгосударственными и беженцами.

И в истории национальных меньшинств, и в формировании безгосударственного люда евреи играли важную роль. Они были во главе так называемого движения меньшинств потому, что больше других нуждались в защите (в чем с ними можно сравнить только армяны), имели налаженные международные связи, но прежде всего потому, что они не составляли большинства ни в одной стране и, следовательно, могли считаться *minorité par excellence*, т.е. единственным меньшинством, чьи интересы могли быть защищены только международными гарантиями<sup>47</sup>.

Это особое положение еврейского народа стало наилучшим из возможных предлогов для отрицания того, что послевоенные договоры были своеобразным компромиссом, смягчавшим тенденцию новых наций насильственно ассимилировать чужие народы и народности, кому по практическим соображениям невозможно было гарантировать право на национальное самоопределение.

Аналогичное обстоятельство выдвинуло евреев на передний план в обсуждении проблемы беженцев и безгосударственных. Первыми

<sup>47</sup> О роли евреев в формулировке договоров о меньшинствах см.: *Macartney C. Op. cit. P. 4, 213, 281 etc.*; *Erdstein D. Le statut juridique des minorités en Europe. P., 1932. P. 11 ff.*; *Janowsky O. J. Op. cit.*

Heimatlose или апатриды, созданными мирными договорами, были по большей части евреи — выходцы из государств-преемников Австро-Венгрии, не умеющие или не желающие поставить себя под защиту нового меньшинства в стране проживания. Еще до того как Германия вытолкнула немецкое еврейство в эмиграцию и безгосударственность, они составляли очень заметную долю безгосударственного люда. Но в годы после успешного преследования Гитлером немецких евреев все страны с меньшинствами начали мыслить в категориях экспатриации своих меньшинств, и для них было вполне естественно начать с *minorité par excellence*, единственной национальности, которая действительно не имела никакой другой защиты, кроме договорной системы меньшинств, превратившейся теперь в издевку.

Идея, будто безгосударственность главным образом еврейская проблема<sup>48</sup>, стала предлогом для всех правительств попытаться «решить» эту проблему, игнорируя ее. Ни один из государственных мужей не понял, что гитлеровское решение еврейского вопроса: сперва низвести немецких евреев до положения непризнаваемого меньшинства в Германии, потом как безгосударственных людей изгнать за границу и, наконец, опять собрать их отовсюду, чтобы отправить в лагеря уничтожения, — было красноречивым уроком остальному миру, как на деле «снимать» все проблемы относительно меньшинств и безгосударственных. После второй мировой войны могло показаться, что еврейский вопрос, считавшийся единственным неразрешимым вопросом, был действительно решен (путем колонизации и последующего завоевания территории), но это не решило ни проблемы меньшинств, ни проблемы безгосударственных. Напротив, подобно почти всем другим событиям нашего века, это решение еврейского вопроса просто породило новую категорию беженцев — арабов, увеличив число безгосударственных и бесправных еще на 700–800 тысяч. И случившееся в Палестине на крошечной территории с сотнями тысяч повторилось в Индии в огромном масштабе, со многими миллионами людей. Со времени мирных договоров 1919–1920 гг. беженцы и безгосударственные как проклятие следовали за каждым новообразованным государством на земле, создаваемым по образу и подобию национального государства.

Для новых государств это проклятие означает ростки смертельной болезни. Ибо национальное государство не может существовать, если

<sup>48</sup> Никким образом это не было идеей лишь нацистской Германии, хотя только нацистский автор осмелился высказать ее: «Это правда, что вопрос о беженцах будет продолжаться существовать, даже когда больше не будет еврейского вопроса. Но поскольку евреи составляют такой высокий процент среди беженцев, беженский вопрос будет намного упрощен» (см.: *Kabermann H. Das internationale Flüchtlingsproblem // Zeitschrift für Politik. Bd. 29. Heft 3. 1939.*)

однажды рухнул его принцип равенства перед законом. Без этого правового равенства, которое первоначально было предназначено заменять более старые законы и порядки феодального общества, нация превратится в анархическую массу сверхпривилегированных и ущемленных одиночек. Законы, которые не равны для всех, возвращают вспять — к правам и привилегиям, в чем-то противоречащим самой природе национальных государств. Чем яснее доказательства их неспособности обращаться с безгосударственными людьми как с правовыми субъектами и чем больше объем произвольного управления при помощи полицейских указов, тем труднее для этих государств противиться искушению лишить всех граждан правового статуса и править ими, опираясь на всемогущую полицию.

## 2. Перипетии Прав Человека

Декларация прав человека в конце XVIII в. была поворотным моментом в истории. Она означала ни больше ни меньше, что отныне человек, а не божьи заповеди или исторические обычаи должен быть источником закона. Независимо от привилегий, которыми история одарила определенные слои общества или определенные нации, Декларация провозгласила освобождение человека от всякой опеки и, так сказать, его совершеннолетие.

За этим скрывалась другая предпосылка, которую творцы Декларации сознавали только наполовину. Провозглашение Прав Человека должно было также служить очень нужной защитой в новую эру, когда индивиды больше не были в безопасности в тех сословиях и состояниях, в которых они родились, и не были уверены в своем равенстве перед Богом в качестве христиан. Другими словами, в новом, секуляризованном и эмансипированном обществе люди больше не доверяли тем социальным и человеческим правам, которые до того времени существовали вне политического порядка и обеспечивались не правительством и конституцией, а социальными, духовными и религиозными силами. Отсюда на протяжении всего XIX в. господствовало общее мнение, будто к правам человека следует взывать тогда, когда индивиды нуждаются в защите от новоявленного суверенитета государства или нового произвола общества.

Поскольку права человека были объявлены «неотчуждаемыми», несводимыми к другим правам и законам и невыводимыми из них, то для их утверждения не был потревожен ни один авторитет. Сам человек стал их источником, так же как их конечной целью. Более того, считалось, что для их обоснования не нужна никакая специальная от-

расль правоведения, поскольку все законы предполагались построенными на них. Человек выступал единственным сувереном в сфере права, подобно тому как народ был объявлен единственным сувереном в сфере правления. Суверенитет «народа» (в отличие от суверенитета «князя») провозглашался не «милостью Божьей», а во имя человека, так что казалось вполне естественным, чтобы «неотчуждаемые» права человека стали неотчуждаемой частью права народа на суверенное самоуправление и нашли в нем свою гарантию.

Иными словами, человек едва ли выступал как полностью освобожденное, совершенно изолированное существо, которое пестовало свою божественность в себе самом, без связи с каким-то более широким, объемлющим его порядком, когда он опять превращался в частичку народа. С самого начала в декларации неотчуждаемых прав человека присутствовал тот парадокс, что она оперировала с «абстрактным» человеческим существом, по-видимому нигде не существующим, ибо даже дикари жили в некоторого рода социальном порядке. Если в племенном или другом «отсталом» сообществе не пользовались правами человека, так это, очевидно, потому, что как целое оно еще не достигло данной стадии цивилизации, стадии народного или национального суверенитета, но пока угнеталось чужеземными или туземными деспотами. Тем самым весь вопрос о правах человека быстро и безысходно перепутался с вопросом о национальном освобождении: казалось, что только освобожденный суверенитет народа, собственного народа данного человека, способен обеспечить его права. Что же касается всего человечества, то, с тех пор как Французскую революцию вписали в общую картину семьи народов, постепенно сделалось самоочевидным, что образ человека воплощает народ, а не индивид.

Все последствия этого отождествления прав человека с правами народов в европейской системе национальных государств высветились только тогда, когда внезапно появилось растущее число людей и народов, чьи элементарные права так же мало обеспечивались обычным функционированием национальных государств в центре Европы, как мало были бы они защищены и в сердце Африки. В конце концов, права человека определяли как «неотчуждаемые» потому, что предполагали их независимость от всех правительств. Но это обернулось тем, что с момента, когда люди теряли свое правительство и надеялись удержать хотя бы минимум общечеловеческих прав, не оставалось ни одной авторитетной власти, чтобы защитить эти права, и ни одного института, пожелавшего бы гарантировать их. Когда же, как в случае меньшинств, международный орган присваивал себе неправительственную власть с этой целью, практическое отсутствие власти становилось очевидным даже раньше, чем были полностью реализованы намеченные

меры. Не только находились правительства, более или менее открыто противостоящие этому посягательству на их суверенитет, но и сами заинтересованные национальности не признавали ненациональных гарантий, с подозрением относились ко всему, что не было четкой поддержкой их «национальных» прав (противопоставляемых чисто «лингвистическим, религиозным и этническим»), и предпочитали либо, как немцы и венгры, обратиться за поддержкой к родине, «национальной» колыбели, либо, как евреи, попытаться организовать известного рода межтерриториальную солидарность<sup>49</sup>.

Люди без государства, как и меньшинства, были убеждены, что потеря национальных прав равносильна потере прав человека, что первое неизбежно влечет за собой второе. Чем больше они были исключены из права в любой его форме, тем сильнее они тяготели к поискам нового объединения в свое собственное национальное сообщество. Русские беженцы были лишь первыми в отстаивании своей национальной принадлежности и в яростном сопротивлении попыткам смешать их в одну кучу с прочим безгосударственным людом. После них уже каждая группа беженцев или перемещенных лиц не упускала возможности развивать сильное, напористое групповое сознание и громко требовать своих прав в качестве (исключительно в качестве) поляков, или евреев, или немцев и т.д.

Еще хуже было то, что все общества, образованные для защиты прав человека, все попытки добиться принятия нового билля о правах поддерживались маргинальными фигурами — немногими юристами-международниками без политического опыта или профессиональными филантропами, движимыми неопределенными чувствами завязанных идеалистов. Группы, которые они создавали, декларации, выпускаемые ими, обнаруживали бесхитростное сходство по языку и построению с воззваниями обществ предупреждения жестокого обращения с животными. Вероятно, ни один государственный деятель, ни одна скольнибудь важная политическая фигура не принимали их всерьез, так же как ни одна из либеральных или радикальных партий в Европе не счи-

<sup>49</sup> Красноречивые примеры этого исключительного доверия к национальным правам дают: согласие почти 75 процентов немецкого меньшинства в итальянском Тироле оставить свои дома и переселиться в Германию перед второй мировой войной, добровольная репатриация немецкого вкрапления в Словении, которое существовало там с XIV в., или, сразу же после окончания войны, единодушный отказ еврейских беженцев в одном итальянском лагере для перемещенных лиц от предложения итальянского правительства натурализовать их всех разом. С учетом опыта европейских народов между двумя войнами, было бы серьезной ошибкой толковать это поведение просто как еще один пример фанатического национального чувства. Эти люди больше не чувствовали уверенности в своих элементарных правах, если последние не охранялись правительством, под властью которого они жили по рождению (см.: *Kulischer E. M. Op. cit.*).

тала необходимым вставить в свою программу новую декларацию прав человека. Даже сами жертвы в своих многочисленных попытках выбраться из лабиринта колючих проволок, куда вовлекали их события, ни до, ни после второй мировой войны и не думали ссылаться на эти фундаментальные права, в которых им столь очевидно отказывали. Напротив, жертвы разделяли презрение и безразличие властей к любым попыткам маргинальных общественных организаций внедрить в жизнь права человека в каком-то простейшем или универсальном смысле.

Отсутствие ответственных лиц, способных провозглашением нового билля о правах облегчить бедствия постоянно растущей армии людей, вынужденных жить вне даже тени действенного закона, определенно нельзя объяснить лишь злой волей. Никогда прежде права человека, торжественно декларированные Французской и Американской революциями в качестве нового фундамента для цивилизованных обществ, не были делом практической политики. На протяжении XIX в. эти права использовались весьма поверхностно, чтобы защищать индивидов против растущей силы государства и смягчать новые социальные опасности, вызванные промышленной революцией. Потом значение слов «права человека» потребовало нового оттенка: они стали обычным лозунгом покровителей всех бесправных, чем-то вроде дополнительного закона, исключительным правом, необходимым для тех, кому не оставалось ничего лучшего, чем отступить к этим правам как к последнему рубежу.

Причина, почему понятие прав человека было пасынком в политической мысли XIX в. и почему ни одна либеральная или радикальная партия в XX в., даже когда возникала крайняя нужда в соблюдении человеческих прав, не считала возможным включать их в партийную программу, кажется очевидной: гражданские права (т.е. изменчивые права граждан в различных странах) были задуманы как воплощение и выражение в форме дееспособных законов вечных прав человека, которые сами по себе предполагались независимыми от гражданства и национальности. Все человеческие существа были гражданами какого-то политического сообщества. Если законы страны не отвечали требованиям прав человека, ожидалось, что люди способны изменить эти законы, в демократических странах — путем законодательства, в деспотиях — революционными действиями.

Права человека, предположительно неотчуждаемые, оказались нереализуемыми (даже в странах, чьи конституции были основаны на них) всякий раз, когда появлялись люди, которые больше не были гражданами ни одного суверенного государства. К этому факту, достаточно тревожному самому по себе, можно добавить замешательство, порожденное многими недавними попытками оформить новый билль о пра-

вах человека, показавшими, что никто, видимо, не способен с достаточной уверенностью определить, что же реально представляют собой эти общие человеческие права, отличающиеся от прав граждан. Хотя каждый, наверное, согласится, что мучение вот этих людей состоит именно в потере ими прав человека, никто, кажется, не знает, какие же собственно права они утратили, потеряв эти человеческие права.

Первая потеря, от которой страдали бесправные, — это потеря своего дома, что означало и полную потерю той социальной среды, в которой они родились и нашли себе место в мире. Это бедствие далеко не ново. В долговременной исторической памяти вынужденные перемещения отдельных людей или целых групп по политическим или экономическим причинам выглядят как обыденные явления. Новизна здесь — не в потере дома, а в невозможности найти новый дом. Вдруг не нашлось ни места на земле, где мигранты могли бы приткнуться без суровейших ограничений, ни страны, где они смогли бы ассимилироваться, ни территории, где можно было бы найти свое собственное новое сообщество. И более того, все это почти не имело отношения к материальным проблемам перенаселенности. Проблема была не в пространстве, а в политической организации. Никто не сознавал, что человечество, столь долго воспринимавшееся в образе семьи народов, достигло стадии, на которой всякий, выброшенный из одного из этих организованных, крепко сколоченных национальных сообществ, оказывался выброшенным и из семьи народов тоже<sup>50</sup>.

Вторая потеря, от которой страдали бесправные, была утрата правительственной защиты, и это влекло потерю правового статуса не только в их собственной стране, но и во всех странах. Договоры о взаимных обязательствах и международные соглашения паутиной опутали землю, что создавало возможность гражданам любой страны тащить свой правовой статус с собой, куда бы он ни ехал (так, например, немецкий гражданин при нацистском режиме не смог бы вступить в смешанный брак за границей из-за нюрнбергских законов). И все же, кто выпадал из этой паутины, тот обнаруживал, что он выпадает и из какой-либо законности (так, во время последней войны безгосударственные люди неизменно попадали в худшее положение, чем «враждебные иностранцы», которых еще косвенно защищали их правительства через международные соглашения).

<sup>50</sup> Немногие шансы для нового воссоединения, открытые перед свежими мигрантами, большей частью были связаны с их национальностью: например, испанских беженцев до известной степени радушно встречали в Мексике. Соединенные Штаты в начале 20-х годов приняли квотную систему, согласно которой каждая национальность, уже представленная в стране, получала, так сказать, право принять определенное число бывших соотечественников, пропорциональное ее численной доле во всем населении страны.

Сама по себе потеря правительственной защиты встречалась в истории не реже, чем потеря дома. Цивилизованные страны предлагали право убежища тем, кого по политическим мотивам преследовали их правительства, и эта практика, хотя официально так никогда и не закреплена ни в одной конституции, достаточно хорошо действовала в XIX и даже в нашем столетии. Затруднения возникли, когда оказалось, что новые категории преследуемых стали чрезмерно многочисленными, чтобы справиться с ними неофициальной практикой, предназначавшейся для исключительных случаев. Вдобавок, большинство преследуемых вряд ли можно было квалифицировать как имеющих право на убежище, скрыто предполагавшее политические или религиозные убеждения, которые не считались вне закона в стране, предоставившей убежище. Новые беженцы преследовались не за то, что они делали или думали, но просто за то, чем они непоправимо были: рожденными в «плохой» расе или «порочном» классе или призванными в армию «плохим» правительством (как в случае Испанской республиканской армии)<sup>51</sup>.

Чем скорее росло число бесправных людей, тем сильнее становилось искушение уделять меньше внимания делам преследующих правительств и больше статусу преследуемых. И первый яркий факт здесь таков, что эти люди хотя и преследовались под каким-то политическим предлогом, больше не навлекали (как другие преследуемые на протяжении всей истории) моральной ответственности и позора на преследователей; что их не считали активными врагами и они сами едва ли претендовали на эту роль (избранная тысяча советских граждан, которые добровольно покинули Советскую Россию после второй мировой войны и нашли убежище в демократических странах, больше повредила престижу СССР, чем миллионы беженцев из «плохих» классов в 20-е годы), но казались и были всего лишь людьми, сама невиновность которых — с любой точки зрения и особенно с точки зрения преследующего правительства — была их величайшей бедой. Невиновность, в смысле полного отсутствия ответственности за что-либо, была знаком их бесправия так же, как доказательством потери политического статуса.

Следовательно, требования соблюдать права человека только по видимости имеют отношение к судьбе подлинного политического беженца. Политические беженцы, по логике вещей немногочисленные, еще поль-

<sup>51</sup> Как опасна может быть невиновность перед преследующим правительством, достаточно выяснилось, когда во время второй мировой войны американское правительство предложило убежище всем тем немецким беженцам, которым угрожал параграф об экстрадиции (выдаче) в немецко-французском протоколе о перемирии. Условием, конечно, было, чтобы претендент на въезд в США смог доказать, что он делал нечто против нацистского режима. Доля беженцев из Германии, способных исполнить это условие, была очень мала, и они, как ни странно, не были людьми, находящимися в наибольшей опасности.

зуются правом убежища во многих странах, и это право неформально действует как настоящая замена национальному законодательству.

Одной из удивительных граней нашего опыта с безгосударственными людьми, которые по закону выигрывали от совершения преступления, был факт, что лишить абсолютно невиновного человека законных прав, кажется легче, чем совершившего какое-нибудь преступление. Знаменитая острота Анатоля Франса: «Если бы меня обвинили в краже башен собора Парижской богородицы, мне осталось бы только одно — бежать из страны» — выразила ужасную реальность. Юристы до того привыкли мыслить закон в категориях наказания, которое действительно всегда лишает нас определенных прав, что им, возможно, даже труднее, чем непрофессионалу, признать, что лишение правового положения (легальности), т.е. *всех* прав, может не иметь никакой связи с конкретными преступлениями.

Эта ситуация поясняет многие запутанные осложнения, присущие понятию прав человека. Неважно, как они однажды были определены (как права на жизнь, свободу и стремление к счастью — по американской формуле, или как равенство перед законом, свобода, защита собственности и национальный суверенитет — по французской); неважно, как можно пытаться улучшать двусмысленные формулировки вроде «стремления к счастью» или устаревшие подобно «неограниченному праву собственности»; реальное положение тех, кого XX в. выкинул за пределы закона, показывает, что эти перечисленные права суть права граждан и их потеря не влечет за собой абсолютного бесправия. Солдат во время войны лишен своего права на жизнь, преступник — права на свободу, все граждане во времена чрезвычайного положения — их права на поиски счастья, но никто не скажет, будто во всех этих случаях имела место полная утрата человеческих прав. В то же время, эти права могут быть признаваемы (хотя едва ли используемы) даже в условиях основательного бесправия.

Бедой бесправных не в том, что они лишены права на жизнь, свободу и стремление к счастью либо равенства перед законом и свободы мнений (формул, которые были составлены, чтобы решать проблемы *внутри* данных сообществ), а в том, что они вообще больше не принадлежат ни к какому сообществу. Их проклятие не в том, что они не равны перед законом, а в том, что для них не существует никакого закона; не в том, что они угнетены, а в том, что никто не хочет даже угнетать их. Только на последней стадии весьма длительного процесса их право жить оказывается под угрозой; только если они остаются абсолютно «лишними», ненужными, если нельзя найти никого, кто бы «востребовал» их, их жизням может грозить опасность. Даже нацисты начинали свое истребление евреев с лишения их всякого правового положения

(статуса второсортного гражданства) и отделения их от мира живых стадным загоном в гетто и концентрационные лагеря. И прежде чем пустить в ход газовые камеры, они тщательно прощупывали почву и находили, к своему удовлетворению, что ни одна страна не претендует на этих людей. Суть именно в том, чтобы создать условия полного бесправия, прежде чем оспорить право человека на жизнь.

То же самое верно, даже в каком-то ироническом смысле, по отношению к праву на свободу, которое иногда полагают квинтэссенцией человеческих прав. Нет сомнения, что находящиеся вне сферы закона могут иметь больше свободы передвижения, чем по закону сидящий в тюрьме преступник, или что они пользуются большей свободой мнений в лагерях для интернированных в демократических странах, чем они пользовались бы при всяком обычном деспотизме, не говоря уже о режиме тоталитарных стран<sup>52</sup>. Но ни физическая безопасность от голода (обеспечиваемая каким-нибудь государственным или частным благотворительным учреждением), ни свобода мнений не меняют ни в малейшей мере их основного положения — бесправия. Продолжением своих жизней они обязаны благотворительности, а не праву, ибо не существует законов, которые могли бы принудить нации кормить их; свобода передвижения, если она вообще есть у них, не дает им права на постоянное местожительство, которым пользуются, как само собой разумеющимся, даже заключенные преступники; и их свобода мнений — это шутовская свобода, ибо то, что они думают, в любом случае ничего не значит.

Эти последние пункты — ключевые. Фундаментальное лишение человеческих прав сперва и прежде всего проявляет себя в утрате места в мире, которое делает мнения значительными и действия результативными. Нечто куда более глубокое, чем свобода и справедливость, кои суть лишь гражданские права, находится под угрозой, когда принадлежность к сообществу, где человек родился, больше не признается естественным делом, а непринадлежность к нему — делом личного выбора, либо когда человек попадает в положение, в котором, если он не совершает преступления, отношение к нему других не зависит от того, что он делает или не делает. Эта крайность, как ничто другое, характеризует положение людей, лишенных человеческих прав.

Они лишены не права на свободу, а права на действие; не права думать что угодно, а права действительно выражать свое мнение. При-

<sup>52</sup> Даже в условиях тоталитарного террора концентрационные лагеря иногда были единственным местом, где еще существовали остатки свободной мысли и дискуссий (см. Rousset D. Les jours de notre mort. P., 1947, passim, о свободе дискуссий в Бухенвальде и Ciliga A. The Russian enigma. L., 1940, об «островах свободы», «свободе мысли», что царяла в некоторых из советских мест заключения (p. 200).

вилегии в одних случаях, несправедливости в большинстве других, благословения и проклятия выпадают им случайно, без всякой связи с тем, что они делали, делают или могут сделать.

Мы стали осознавать существование некоего права иметь права (что означает жить в какой-то структуре, где о человеке судят по делам его и мнениям) и права принадлежать к определенному виду организованного сообщества лишь тогда, когда появились миллионы людей, потерявших и не могущих восстановить эти права из-за новой мировой политической ситуации. Беда в том, что эта катастрофа произошла не от недостатка цивилизации, из-за отсталости или простой тирании, а, напротив, ее нельзя было поправить именно потому, что на земле больше не осталось ни одного «нецивилизованного» пятнышка, ибо, нравится нам это или нет, мы действительно начали жить в Едином Мире. Только в эпоху полностью организованного человечества могло случиться так, что потеря родины и политического статуса оказалась равносильной изгнанию из человечества вообще.

До этого то, что сегодня нам приходится называть «человеческим правом», вероятно, мыслилось бы общим свойством человеческого бытия, которое ни один тиран не может отнять. Потеря этого права делает ненужной речь (а человек, начиная с Аристотеля, определялся как существо, наделенное способностью говорить и мыслить) и ненужными все человеческие взаимоотношения (а человек, опять же с Аристотеля, мыслился как «животное политическое», т.е. животное, которое, по определению, живет в «полисе» — обществе), другими словами, делает ненужными некоторые из самых существенных характеристик человеческой жизни. До известной степени это было бы состояние рабов, которых Аристотель по тому самому не числил среди человеческих существ. Главное преступление рабства против человеческих прав не в том, что оно отнимало свободу (это может случиться во многих других ситуациях), а в том, что оно исключало определенную категорию людей даже из возможности сражаться за свободу (сражение возможно при тирании и даже в безнадежных условиях современного террора, но не в условиях концентрационно-лагерной жизни). Преступление рабства против человечности началось не тогда, когда один народ разбил и поработил своих врагов (хотя, конечно, это само по себе достаточно плохо), но когда рабство стало институтом, в котором одни люди были «рождены» свободными, а другие — рабами, когда забыли, что именно человек лишил своего брата человека свободы, и когда санкцию на это преступление приписали природе. И все же, в свете недавних событий, можно сказать, что даже рабы еще принадлежали к определенному виду человеческого сообщества; в их труде нуждались, его использовали и эксплуатировали, и это удерживало их в пределах человеческого.

Быть рабом означало, в конце концов, иметь какое-то свое лицо, свое место в обществе — во всяком случае, быть чем-то большим чем только абстрактным «человеком» вообще. В таком случае, не утрата конкретных прав, а утрата общественной воли и способности гарантировать любые права была тем бедствием, которое настигало постоянно растущую массу людей. Оказывается, человек может терять все так называемые права человека, не теряя своего сущностного качества, оставляющего его человеком, не теряя своего человеческого достоинства. Только потеря своего государства сама по себе делает его изгоем человечества.

То право, которое соответствует этой потере и которое никогда даже не упоминалось среди человеческих прав, нельзя выразить в понятиях XVIII в., ибо они имеют предпосылкой, что права проистекают непосредственно из природы человека. В силу чего, кстати, не так уж важно, представляют ли эту природу в категориях естественного закона или через идею твари, сотворенной по образу и подобию Божьему, связывают ли ее с естественными правами или с божественными заповедями. Общее в обоих подходах то, что права человека и человеческое достоинство, коими они наделяют людей, должны оставаться общезначимыми и действительными, даже если бы на земле жило одно-единственное человеческое существо; эти права и достоинство независимы от человеческого многообразия и сохранили бы общезначимость, даже если отдельного человека исторгнуть из человеческого общества.

Когда права человека были провозглашены в первый раз, они рассматривались как независимые от истории и привилегии, которыми история одаривала определенные слои общества. Эта новая независимость легла в основу заново открытого достоинства человека. Но с самого начала это новообретенное достоинство имело весьма двусмысленную природу. Исторические права были подменены естественными правами, природа заняла место истории, причем молчаливо предполагалось, что природа менее чужда сущности человека, чем история. Сам язык американской Декларации независимости так же как французской *Déclaration des Droits de l'Homme*, — «неотчуждаемые», «данные от рождения» права, «самоочевидные истины» — подразумевает веру в существование некой общей человеческой природы, которая подчиняется тем же законам взросления, что и отдельный человек, и из которой могут быть выведены права и законы. Сегодня, похоже, мы лучше подготовлены, чтобы точнее судить, до чего может дойти эта самая человеческая природа. Во всяком случае, она показала нам такие потенции, о которых не знали и даже не подозревали ни западная философия, ни религия, 3 тысячи лет определявшие и переопределявшие эту природу. Но не только, так сказать, человеческая сторона природы стала для нас сомнительной. С тех пор как человек научился владеть ею

до такой степени, что разрушение всей органической жизни на земле изобретенными им инструментами стало вообразимым и технически возможным, он был отчужден от природы. С тех пор как более глубокое познание природных процессов посеяло серьезные сомнения в существовании законов природы вообще, природа сама приобрела зловещий вид. Как прикажете выводить законы и права из Вселенной, которая явно не знает ни той, ни другой категории?

Человек XX в. точно так же освободил себя от природы, как человек XVIII в. — от истории. История и природа стали равно чужды нам в том смысле, что сущность человека больше не может быть схвачена ни в одной из этих категорий. В то же время, человечество, которое в XVIII в. было, пользуясь кантовской терминологией, лишь регулятивной идеей, сегодня стало неоспоримым фактом. Эта новая ситуация, в которой человечество фактически взяло на себя роль, прежде приписываемую природе или истории, означала бы в данном контексте, что право иметь права или право каждого отдельного человека принадлежать к человечеству, должно быть гарантировано самим человечеством. Возможно ли это в принципе — отнюдь не ясно. Ибо, вопреки исполненным лучшим намерениям попыткам добиться новых деклараций о правах человека от международных организаций, следует понять, что эта идея выходит за пределы нынешней сферы международного права, которое действует еще на основе взаимных соглашений и договоров между суверенными государствами, и пока что не существует международного права, действующего помимо наций. Более того, эта правовая дилемма не исчезнет и с установлением «мирового правительства». Такое мировое правительство в самом деле находится в пределах возможного, но позволительно подозревать, что в действительности оно будет сильно отличаться от версии, пропагандируемой идеалистически настроенными организациями. Преступления против прав человека, ставшие специальностью тоталитарных режимов, всегда можно оправдать под тем предлогом, что право равносильно сотворению добра и пользы для целого, отличающегося от своих частей. (Изречение Гитлера: «Право есть то, что хорошо для немецкого народа» — только вульгаризованная форма концепции законодательства, которую можно найти везде и которая не будет действовать на практике в полную силу лишь до тех пор, пока в конституциях все еще успешно работают более старые традиции, препятствующие этому.) Концепция законодательства, которая отождествляет сущность права с представлением о том, что хорошо для чего-то (индивида, или семьи, или народа, или наибольшего числа людей), становится неизбежной, раз утратили авторитет абсолютные и трансцендентные измерения религии или закона природы. И положение несколько не улучшится, если единицу, к которой мы при-

кладываем это «хорошо для», увеличить до человечества в целом. Ибо легко вообразить, даже оставаясь в сфере возможностей практической политики, что в один прекрасный день высокоорганизованное и механизированное человечество весьма демократично придет к заключению — и непременно решением большинства, — что для человечества как целого будет лучше, если ликвидировать определенные его части. Здесь, в этих проблемах реального, фактического мира мы сталкиваемся с одним из старейших затруднений политической философии, которое могло оставаться нераспознанным только до тех пор, пока устоявшаяся христианская теология не дала систему координат для всех политических и философских проблем, но которое давным-давно заставило Платона сказать: «Не человек, но Бог должен быть мерой всех вещей».

Эти факты и размышления предлагают лишь то, что кажется ироническим, горьким и запоздалым подтверждением знаменитых аргументов, с помощью которых Эдмунд Бёрк возражал французской революционной Декларации прав человека. Они, видимо, подкрепляют его утверждение, что права человека — «абстракция», что было бы куда мудрее полагаться на «заветное наследие» прав, которые человек передает собственным детям так же, как дает им саму жизнь, и провозгласить его права «правами Англичанина» и т.п. вместо неотчуждаемых прав человека<sup>53</sup>. По Бёрку, источник прав, которыми мы пользуемся, надо искать «внутри нации», так что ни естественный закон, ни божественная заповедь, ни какое-либо понятие человечества, вроде робеспьеровской «человеческой расы», «властелина земли», не нужны как источник законодательства<sup>54</sup>.

Прагматическая здравость суждений Бёрка кажется несомненной в свете нашего разностороннего опыта. Не только потеря именно национальных прав во всех случаях влекла потерю прав человека, но и восстановление прав человека до сих пор достигалось, как показывает недавний пример государства Израиль, только через восстановление или установление национальных прав. Концепция прав человека, основанная на допущении о существовании отдельной человеческой особи как таковой, рухнула в тот самый момент, когда те, кто исповедовал веру в нее, впервые столкнулись с людьми, которые действительно потеряли все другие качества и определяющие отношения, за исключением того, что они биологически еще принадлежали к роду человеческому. Но мир не нашел ничего священного в голой абстракции «быть человеком». И ввиду объективных политических обстоятельств трудно

<sup>53</sup> См.: *Burke E. Reflections on the revolution in France, 1790 / Ed. by E. J. Payne. Everyman's Library.*

<sup>54</sup> См.: *Robespierre. Speeches. 1927. Speech of April 24, 1793.*

сказать, как могли бы помочь решению этой проблемы те концепции человека, на которых основаны человеческие права: будь то человек сотворен по образу и подобию Божьему (в американской формуле прав) или будь он представитель человечества или хранитель священных требований естественного закона (во французской формуле) и т.п.

Пережившие лагеря смерти, узники концентрационных лагерей и лагерей для интернированных, и даже сравнительно удачливые безгосударственные люди могли и без аргументов Бёрка видеть, что быть лишь абстрактным «человеком вообще» и ничем другим в этом мире представляло для них величайшую опасность. Из-за этого на них смотрели как на дикарей, и они еще боялись, как бы в конце концов не увидели в них и зверей, — потому-то они и настаивали на своей национальности как последнем признаке их прежнего гражданства, как на своей единственно оставшейся и признанной связи с человечеством. Их недоверие к естественным правам и предпочтение национальных как раз исходят из осознания того, что естественные права гарантированы даже дикарям. Уже Бёрк опасался, что естественные «неотчуждаемые» права подтвердят лишь «право голого дикаря»<sup>55</sup> и тем самым низведут цивилизованные нации к состоянию дикости. Поскольку лишь дикарям не на что больше опираться, кроме элементарного факта своего человеческого происхождения, люди, дабы не уподобиться им, цепляются за свою национальность еще отчаяннее, когда они уже потеряли права и защиту, которые она давала им прежде. Кажется, что только прошлое с его «заветным наследием» пока еще удостоверяет их принадлежность к цивилизованному миру.

Если человеческое существо теряет свой политический статус, оно должно бы, по логике концепции врожденных и неотчуждаемых прав человека, попасть именно в то положение, для которого и создавались декларации таких общих прав. На деле происходит противоположное. Оказывается, что человек, который есть лишь человек и больше ничего, потерял те самые качества, которые позволяют другим людям обращаться с ним как с собратом человеком. Это одна из причин, почему гораздо труднее уничтожить правовую личность преступника, т.е. человека, взявшего на себя ответственность за деяние, последствия которого отныне определяют его судьбу, чем человека, отторгнутого от всех обычных человеческих обязанностей.

Аргументы Бёрка, следовательно, приобретают дополнительную значимость, если только взглянуть на общие условия человеческого существования тех, кого вытеснили из всех политических сообществ. Независимо от обращения с ними, от свобод или подавления, от справед-

<sup>55</sup> *Payne E. J. Introduction // Burke E. Op. cit.*

ливости или несправедливости, эти люди потеряли все те элементы своего мира и все те грани человеческого существования, которые являются результатом нашего общего труда, продуктом человеческого творчества. Если трагедия диких племен состоит в том, что они обитают в неизменной природе, которой они не могут овладеть и от изобилия или скудости которой зависит их существование, что они живут и умирают, не оставляя следов, не вложив ничего в создание общего мира, тогда вышеупомянутые бесправные люди действительно отброшены назад в своеобразное природное состояние. Определенно они не варвары. Некоторые из них принадлежат к наиболее образованным слоям своих стран, и тем не менее в мире, где дикарство почти исчезло, они появляются как первые знаки возможного попятного движения от цивилизации.

Чем выше развита цивилизация, чем более совершенный мир она создала, чем больше дома чувствуют себя люди в этой искусственной среде, тем больше их будет возмущать все постороннее, ими непривычное, все, что просто и таинственно ниспослано им. Человек, потерявший в треволнениях времени свое место в сообществе, свой политический статус и правовую личность, которая придает его действиям и части его судьбы некую последовательную цельность, остается лишь с теми качествами, которые обычно ясно проявляются только в сфере частной жизни и должны оставаться неопределенными, просто существовать во всех общественных делах. Это простое существование, т.е. все таинственно данное нам от рождения, включая форму наших тел и умственную одаренность, можно полноценно постичь и принять в свою жизнь только благодаря непредсказуемым случайностям дружбы и симпатии или великой и прихотливой благосклонности любви, которая говорит вместе с Августином: «Volo ut sis (хочу, чтобы ты был)», будучи неспособной дать никакого обоснования такому высокому и безоговорочному утверждению.

Начиная с древних греков, мы узнали, что высокоразвитая политическая жизнь порождает глубоко укорененное подозрение к этой частной сфере, глубокое раздражение против нарушающего порядок чуда, заключенного в факте, что каждый из нас сотворен таким, каков он есть, — единственным, неповторимым, сущностно неизменяемым. Вся эта сфера просто данного, относимого к частной жизни в цивилизованном обществе, составляет постоянную угрозу общественной сфере, ибо последняя так же последовательно строится на принципе равенства, как частная сфера — на принципе всеобщего различия и дифференциации. Равенство, в отличие от всего, что входит в простое существование, не дано нам, но есть результат человеческой организации, поскольку она руководствуется принципом справедливости. Мы не рож-

дены равными; мы становимся равными как члены какой-то группы в силу нашего решения взаимно гарантировать друг другу равные права.

Наша политическая жизнь основана на допущении, что через организацию мы можем создать условия равенства, так как человек способен совместно действовать в общем мире, изменять и строить его только вместе с равными себе. Темная подоснова простого факта существования, подоснова, образуемая нашей неизменной и уникальной природой, прорывается на политическую сцену как чужак, иностранец, который в своем слишком очевидном отличии напоминает нам о пределах человеческой деятельности, совпадающих с пределами равенства. Причина, почему высокоразвитые политические сообщества, такие как древние города-государства или современные национальные государства, столь часто настаивают на этнической однородности, заключается в том, что они надеются устранить насколько возможно те естественные и всегда существующие различия и дифференциации, которые сами по себе возбуждают тупую ненависть, подозрения и пристрастное отношение, ибо они слишком ясно указывают всем на те области бытия, где люди не могут действовать и преобразовывать как им захочется, т.е. на пределы человеческого искусственного вмешательства в природу. «Чужак» есть пугающий символ факта различия как такового, индивидуальности как таковой и напоминает о тех сферах, в которых человек не в состоянии изменить сущность вещей и не может действовать конструктивно и в которых поэтому он проявляет отчетливую склонность к разрушению. Если негра в белой общине считают только негром и больше ничем, он утрачивает наряду с его правом на равенство и ту свободу действия, которая составляет человеческую особенность. Все его поступки теперь объясняют как «необходимые» следствия из неких «негритянских» качеств; он превращен в экземпляр вида животных, именуемых людьми. Почти то же самое происходит с теми, кто потерял все отличительные политические качества и стал человеческой особью и ничем больше. Без сомнения, всюду, где общественная жизнь с ее законом равенства полностью побеждает, всюду, где цивилизация преуспевает в устранении или уменьшении до минимума таинственных различий между людьми, она кончается полным окаменением, так сказать, наказанная за забвение того, что человек лишь мастеровой, но не творец мира.

Величайшая опасность, вырастающая из существования людей, вынуждаемых жить вне общего со всеми мира, в том, что среди цивилизации они отброшены к их природной данности, к принципу простейшей дифференциации. Среди них перестает действовать мощная уравнивающая тенденция, порождаемая самим фактом общего гражданства в каком-то государстве, и поскольку им больше не позволяют участвовать в мире человеческой культуры, они начинают принадле-

жать к человеческой расе во многом так же, как животные принадлежат к своему особому виду. Парадокс, заключенный в потере человеческих прав, таков, что эта потеря тотчас же совпадает с превращением личности в биологическую особь, в человека вообще — без профессии, без гражданства, без мнения, без дела, по которым можно узнать и выделить самого себя из себе подобных, — и отличающегося от других тоже вообще, не представляя ничего, кроме своей собственной абсолютно уникальной индивидуальности, которая, при отнятой возможности выразиться внутри некоего общечеловеческого мира и воздействовать на него, теряет всякое значение.

Первая и наиболее очевидная опасность существования таких людей состоит в том, что их постоянно растущая численность угрожает нашей политической жизни, нашему человеческому созиданию, миру, который есть результат наших общих и скоординированных усилий, и угрожает почти так же (а возможно даже, более ужасно), как угрожала когда-то существованию созданных человеком городов и селений дикая природа. Смертельная опасность для любой цивилизации, похоже, больше не грозит извне. Природу усмирили, и никакие варвары не угрожают разрушить то, чего они не могут понять, как многие века угрожали Европе монголы. Даже тоталитарные правительства появились изнутри, а не извне нашей цивилизации. Опасность в том, что мировая, всеохватывающая цивилизация может порождать варваров из себя самой, вынуждая миллионы людей жить в условиях, которые, вопреки видимости, суть условия для дикарей<sup>56</sup>.

<sup>56</sup> Это современное изгнание из человечества имеет гораздо более радикальные последствия, чем древний и средневековый обычай объявления вне закона. Внезаконность, без сомнения «самая страшная участь, какую мог навлечь примитивный закон», отдавая жизнь человека вне закона на милость каждого встречного, исчезла с установлением действенной системы исполнения закона и, наконец, была заменена международными договорами о взаимной выдаче преступников. Первоначально объявление «вне закона» служило заменителем полицейских сил, предназначенных принуждать преступников к сдаче.

Раннее средневековье, по-видимому, вполне сознавало опасность, заключенную в «гражданской смерти». Отлучение от церкви в поздней Римской империи означало церковную смерть, но оставляло лицу, утратившему членство в церкви, полную свободу во всех других отношениях. Церковная и гражданская смерти отождествились только в эпоху Меровингов, и там отлучение от церкви «на практике обычно ограничивалось временным отлучением или ограничением в правах членства, которые могли быть восстановлены». См. статьи: «Outlawry» и «Excommunication» // Encyclopedia of the Social Sciences, а также статью «Friedlosigkeit» // Schweizer Lexikon.

## Часть III

# ТОТАЛИТАРИЗМ

*Нормальные люди не знают,  
что все возможно.*

Давид Руссе

## Глава десятая

### БЕСКЛАССОВОЕ ОБЩЕСТВО

#### 1. Массы

Нет ничего более характерного для тоталитарных движений вообще и для качества славы их вождей в частности, чем поразительная быстрота, с какой их забывают, и пугающая легкость, с какой их могут заместить другие кумиры. То, над чем многие годы терпеливо трудился Сталин в условиях ожесточенной фракционной борьбы и с массой реверансов, по меньшей мере перед именем своего предшественника (с целью узаконить себя как политического наследника Ленина), преемники Сталина пытались делать уже без поклонения ему самому, хотя Сталин правил 30 лет и мог распоряжаться, чтобы обессмертить свое имя, аппаратом пропаганды, неизвестным во дни Ленина. То же самое верно для Гитлера, при жизни наделенного даром магического очарования, от которого будто бы никто не был защищен<sup>1</sup>, а после своего по-

<sup>1</sup> «Магические чары», которые Гитлер источал на своих слушателей, отмечались много раз, в последний — публикаторами «Застольных разговоров Гитлера» (Hitlers Tischgespräche. Bonn, 1951; Hitler's Table Talks. Am. ed. N.Y., 1953; цитаты даны по немецкому оригиналу; [см. также русское издание: Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск: Русич, 1993]). Эти чары — «странный магнетизм, что исходило от Гитлера с такой неотразимой силой», — держались на действительно «фанатической вере этого человека в себя» («Введение» Герхарда Риттера. S. 14), на его псевдоавторитетных суждениях обо всем на свете и на факте, что его мнения — будь то о вредоносных последствиях курения или о политике Наполеона — всегда можно было встроить во всеобъемлющую идеологию.

Очарованность слушателей — социальный феномен, и чары Гитлера, действовавшие на его окружение, надо понимать исходя из конкретной «компании», в которой он общался с людьми. Общество всегда склонно признать самозванца тем, за кого он себя выдает, так что помешанный, изображающий гения, всегда имеет известный шанс, что ему поверят. В современном обществе с его характерной неразборчивостью и отсутствием пронизательности эта тенденция усилилась, и потому всякий, кто не только имеет «мнения», но и высказывает их в тоне непререкаемой убежденности, не так-то легко теряет авторитет, сколько бы раз он ни попадал пальцем в небо. Гитлер, знавший современный хаос мнений из первых рук, по личному опыту открыл, что беспомощного качания между разнообразными мнениями и категоричным «приговором... что всё — вздор» (S. 281) лучше всего можно избежать, придерживаясь одного из многих ходячих мнений с «непреклонной последовательностью». Ужасающая произвольность такого фанатизма содержит много привлекательного для общества, потому что ради поддержания общественной сплоченности он освобождает от хаоса мнений, постоянно порождаемого обществом. Этот «дар» очарования, однако, что-то значит только в социальном контексте; он

ражения и смерти столь основательно забытого сегодня, что едва ли он продолжает играть какую-либо реальную роль даже среди неофашистских и неонацистских групп послевоенной Германии. Это непостоянство, без сомнения, имеет мало общего с вошедшей в пословицы переменчивостью масс и обычной молвой о них. С большей вероятностью его можно объяснить манией вечного движения у тоталитарных Движений, которые могут сохранять власть, только пока они движутся сами и приводят в движение все вокруг себя. И потому, в известном смысле это самое непостоянство дает весьма лестную характеристику мертвым вождям именно тем, как они преуспели в заражении своих подопечных особым тоталитарным вирусом. Ибо если существует такое явление, как тоталитарная личность или ментальность, то ее характерными чертами несомненно будут исключительная приспособляемость и отсутствие преемственности во взглядах. Отсюда было бы ошибкой полагать, что непостоянство и забывчивость масс означают, будто они излечились от тоталитарного наваждения, которое иногда отождествляют с культом Гитлера или Сталина. Вполне возможно, что верно как раз противоположное.

Еще более серьезной ошибкой было бы забыть из-за этого непостоянства, что тоталитарные режимы, пока они у власти, и тоталитарные вожди, пока они живы, «пользуются массовой поддержкой» до самого конца<sup>2</sup>. Приход Гитлера к власти был законным, если признавать выбор большинства<sup>3</sup>, и ни он, ни Сталин не смогли бы остаться вождями народов, пережить множество внутренних и внешних кризисов и храбро встретить несчетные опасности беспощадной внутрипартийной борьбы, если бы не имели доверия масс. Ни московские судебные процессы, ни уничтожение фракции Рема не были бы возможны, если бы эти массы не поддерживали Сталина и Гитлера. Широко распространенные убеждения, будто Гитлер был попросту агентом немецких промышленников, а Сталин победил в борьбе за наследство после смерти Ленина лишь благодаря злонамеренному тайному заговору, только легенды, которые можно опровергнуть многими фактами, но прежде

занимает такое выдающееся место в «Tischgespräche» лишь потому, что здесь Гитлер подыгрывал обществу и разговаривал не с людьми своего же сорта, а с генералами вермахта, которые все более или менее принадлежали к «обществу». Думать, что успехи Гитлера были основаны на его «талантах очаровывать», совершенно ошибочно. С одними такими качествами он никогда бы не продвинулся дальше роли оракула салонов.

<sup>2</sup> См. блестящие замечания в: Hayes C. J. H. The novelty of totalitarianism in the history of western civilization // Symposium on the totalitarian state. 1939. Proceedings of the American Philosophical Society. Philadelphia, 1940. Vol. 82.

<sup>3</sup> Это действительно была «первая большая революция в истории, сделанная путем применения существующего формального кодекса законов в самый момент взятия власти» (см.: Frank H. Recht und Verwaltung. 1939. S. 8).

всего — неоспоримой популярностью этих вождей<sup>4</sup>. Нельзя также приписывать их популярность победе мастерской и лживой пропаганды над невежеством и глупостью. Ибо пропаганда тоталитарных движений, которая предшествует и сопутствует тоталитарным режимам, неизменно столь же откровенна, как и лжива, а кандидаты в тоталитарные правители обычно начинают карьеру с хвастовства о своих прошлых преступлениях и подробного описания будущих. Нацисты «были убеждены, что злодеяние в наше время обладает болезненной притягательностью»<sup>5</sup>, а большевистские заверения и внутри и вне России, что они не признают обычных моральных норм, стали главной осью коммунистической пропаганды, и опыт неоднократно показывал, что пропагандистская ценность злодеяний и полное презрение к моральным нормам независимы от расчетов примитивного своекорыстия, обычно полагаемого наиболее мощным психологическим фактором в политике.

В привлекательности зла и преступления для умственного склада толпы нет ничего нового. Всегда было истиной, что толпа встретит «действия сильного восхищенным замечанием: может, это и подло, но зато ловко»<sup>6</sup>. Самое тревожное в успехах тоталитаризма — это скорее уж истинное бескорыстное самоотречение его приверженцев. Оно еще доступно пониманию, когда нацист или большевик неколебим в своих убеждениях, видя преступления против людей, не принадлежащих к движению или даже враждебных ему. Но изумляет и потрясает то, что он, вероятно, тоже не дрогнет, когда это чудовище начнет пожирать собственных детей, и даже если он сам станет жертвой преследования, если его ложно обвинят и проклянут или вычистят из партии и сошлют в принудительно-трудовой или концентрационный лагерь. На-

<sup>4</sup> Лучшее исследование о Гитлере и его карьере — это новая биография Гитлера: Vullcock A. Hitler: a study in tyranny. L., 1952. В духе английской традиции политических биографий она скрупулезно использует все доступные источники и дает обширную панораму современной политической сцены. Этим исследованием превзойдены по детализации отличные книги Конрада Хейдена (прежде всего: Heiden K. Der Fuehrer: Hitler's rise to power. Boston, 1944), хотя они остаются важными для общего истолкования событий. О карьере Сталина классическими работами еще остаются: Souvarine B. Stalin: a critical survey of bolshevism. N.Y., 1939; Deutscher I. Stalin: a political biography. N.Y.; L., 1949. Книга Исаака Дейчера незаменима из-за ее богатого документального материала и глубокого проникновения во внутреннюю борьбу в партии большевиков. Ее недостаток — объяснения, которые уподобляют Сталина Кромвелю, Наполеону и Робеспьеру.

<sup>5</sup> Borkenau F. The totalitarian enemy. L., 1940. P. 231.

<sup>6</sup> Цит. по немецкому изданию «Протоколов сионских мудрецов»: Die Zionistischen Protokolle mit einem Vor- und Nachwort von Theodor Fritsch. 1924. S. 29. [По-русски см.: Коян Н. Благословение на геноцид. Миф о всемирном заговоре евреев и «Протоколах сионских мудрецов». М.: Прогресс, 1990. С. 199.]

против, к удивлению всего цивилизованного мира, он, быть может, даже захочет помочь обвинению сфабриковать собственный смертный приговор, если только не тронут его положения как члена движения, не поставят под сомнение его принадлежность к нему<sup>7</sup>. Было бы наивным считать это тупое упорство убеждений, способное пережить любые испытания действительностью и отбросить всякий непосредственный эгоистический интерес, простым выражением какого-то лихорадочного идеализма. Идеализм, глупый он или героический, всегда следствие какого-то индивидуального решения и убежденности и доступен воздействию опыта и доводов разума<sup>8</sup>. Фанатизм тоталитарных движений, в противоположность всем формам идеализма, не выдерживает как раз тогда, когда движение бросает своих фанатичных приверженцев в беде, тем самым убивая в них остатки веры, которая, возможно, еще уцелела после краха самого движения<sup>9</sup>. Но внутри организацион-

<sup>7</sup> Это, конечно, особенность русской разновидности тоталитаризма. Интересно отметить, что уже на одном из первых процессов иностранных инженеров в Советском Союзе прокоммунистические симпатии использовались как аргумент для самообвинения: «Все время представители власти настаивали, чтобы я признался в совершении актов саботажа, которых никогда не было. Я отказывался. Тогда мне говорили: “Если вы, как хотите нас уверить, сочувствуете Советскому правительству, докажите это на деле. Правительству нужны ваши признания”» (описано в: *Ciliga A. The russian enigma*. L., 1940. P. 153).

Теоретическое оправдание для такого поведения дал Троцкий: «Можно быть правым только с Партией и только ею оправданным, ибо история не дала других путей к правоте. У англичан есть поговорка: “Права или неправы, но это моя страна”... Мы имеем гораздо большее историческое основание говорить: права она или неправы в отдельных конкретных случаях — это моя партия» (*Souvarine B. Op. cit.* P. 361).

В то же время, офицеров Красной Армии, не принадлежавших к движению, приходилось судить за закрытыми дверями.

<sup>8</sup> Нацистский автор Андреас Пффенниг прямо отрицает, что штурмовые отряды сражались за «идеал» или вдохновлялись «идеалистическими переживаниями». Их «главные переживания родились в ходе нашей борьбы» (см.: *Gemeinschaft und Staatswissenschaft // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*. Bd. 96. Перевод цит. по: *Fraenkel E. The dual state*. N.Y.; L., 1941. P. 192). Из обширной литературы, выпускавшейся в памфлетной форме главным центром идеологического просвещения СС (*Hauptamt-Schulungsamt*), видно, что слова «идеализм» старательно избегали. Никакого идеализма не требовалось членам СС, но лишь «абсолютная логическая последовательность во всех вопросах идеологии и беспощадное ведение политической борьбы» (см.: *Best W. Die deutsche Polizei*. 1941. S. 99).

<sup>9</sup> В этом отношении много поучительных примеров предлагает послевоенная Германия. Довольно удивительно хотя бы то, что негритянские части американской армии не были встречены враждебно, несмотря на массированную нацистскую расовую пропаганду. Но равно поразителен «факт, что войска СС в последние дни немецкого сопротивления союзникам не сражались “до последнего человека” и что эти отборные нацистские боевые соединения «после огромных жертв предыдущих лет, которые далеко превышали соизмеримые потери вермахта, в немногие оставшиеся недели действовали как любая другая воинская часть, набранная из гражданских лиц, и также склонились перед безнадёжностью положения» (см.: *Paetel K. O. Die SS // Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte*. Januar. 1954).

ных рамок движения, пока оно держит всех вместе, его фанатичные члены не прошибаемы ни опытом, ни аргументацией. Отождествление с движением и тотальный конформизм, видимо, разрушают саму способность к восприятию опыта, даже если он такой крайний, как пытка или страх смерти.

Тоталитарные движения нацелены на массы и преуспели в организации масс, а не классов, как старые партии, созданные по групповым интересам в континентальных национальных государствах; и не граждан, имеющих собственные мнения об управлении общественными делами и интересы в них, как партии в англо-саксонских странах. Хотя сила всех политических групп зависит от их численности, тоталитарные движения зависят от голых количеств до такой степени, что тоталитарные режимы, вероятно, невозможны (даже при прочих благоприятных условиях) в странах с относительно малым населением<sup>10</sup>. После первой мировой войны антидемократическая, продиктаторская волна полутоталитарных и тоталитарных движений захлестнула Европу. Фашистские движения распространились из Италии почти на все центрально- и восточноевропейские страны (Чехия как часть Чехословакии была одним из заметных исключений). Но даже Муссолини, столь влюбленный в термин «тоталитарное государство», не пытался установить полноценный тоталитарный режим<sup>11</sup> и ограничился диктатурой и однопартийным правлением. Похожие нетоталитарные диктатуры развернулись в предвоенной Румынии, Польше, Балтийских государствах, Венгрии, Португалии и франкистской Испании. Нацисты, имевшие безошибочный нюх на такие различия, обычно с презрением отзывались о несовершенствах своих фашистских союзников, тогда как их инстинктивное восхищение большевистским режимом в России (и Коммунистической партией в Германии) сопоставимо только с их презрением к восточноевропейским расам

<sup>10</sup> Контролируемые Москвой восточноевропейские режимы управляют в интересах Москвы и действуют как агенты Коминтерна. Они суть примеры распространения направляемого Москвой тоталитарного движения, а не местного органического развития. Единственным исключением, по-видимому, стал Тито в Югославии, который, возможно, порвал с Москвой, поняв, что навязываемые русскими тоталитарные методы стоили бы ему тяжких потерь югославского населения.

<sup>11</sup> Доказательство нетоталитарной природы этой фашистской диктатуры — удивительно малое число политических преступников и сравнительно мягкие приговоры им. За годы сугубой активности, с 1926 по 1932-й, особые трибуналы для политических преступников вынесли 7 смертных приговоров, 257 приговоров к десяти и более годам заключения, 1360 приговоров меньше десяти лет и гораздо больше — к изгнанию. Сверх того, 12 тысяч человек были арестованы и признаны невиновными — процедура, совершенно немыслимая в условиях нацистского и большевистского террора (см.: *Kohn-Bramstedt E. Dictatorship and political police: the technique of control by fear*. L., 1945. P. 51 ff.).

и сдерживалось им<sup>12</sup>. Единственным человеком, к кому Гитлер питал «безусловное уважение», был «гений-Сталин»<sup>13</sup>, и хотя о Сталине и русском режиме мы не имеем (и, наверное, никогда не будем иметь) такого богатого документального материала, какой доступен ныне о Германии, тем не менее после речи Хрущева на XX съезде КПСС известно, что Сталин доверял только одному человеку и этим человеком был Гитлер<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Нацистские политические теоретики всегда усиленно подчеркивали, что «этическое государство» Муссолини и «идеологическое государство» (Weltanschauungsstaat) Гитлера нельзя поминать на одном дыхании (см.: *Neesse G. Die verfassungsrechtliche Gestaltung der Ein-Partei // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. 1938. Bd. 98*).

Гейббельс так думал о различии между фашизмом и национал-социализмом: «[Фашизм] ... ничем не похож на национальный социализм. В то время как последний идет вглубь, к корням, фашизм — только поверхностное явление» (см.: *The Goebbels diaries 1942–1943 / Ed. by L. Lochner. N.Y., 1948. P. 71*). «[Дуче] — не революционер, как Гитлер или Сталин. Он так привязан к своему итальянскому народу, что ему не хватает широты мирового революционера и мятежника» (Ibid. P. 468).

Гиммлер выразил то же мнение в речи 1943 г. на совещании командного состава армии: «Фашизм и национал-социализм — это два глубоко различных явления, ... абсолютно не может быть сравнения между фашизмом и национал-социализмом как духовными, идеологическими движениями» (см.: *Kohn-Bramstedt E. Op. cit. Appendix A*).

Гитлер в начале 20-х годов признавал родство между нацистским и коммунистическим движением: «В нашем движении сходятся две крайности: коммунисты слева и офицеры и студенты справа. Обе они всегда были наиболее активными элементами общества... Коммунисты — это идеалисты социализма...» (см.: *Heiden K. Op. cit. P. 147*). Рем, шеф штурмовиков, только повторял ходячее мнение, когда писал в конце 20-х годов: «Многое разделяет нас с коммунистами, но мы уважаем искренность их убеждений и их готовность добровольно приносить жертвы, и это объединяет нас с ними» (*Röhm E. Die Geschichte eines Hochverräters. 1933. Volktausgabe. S. 273*).

Во время последней войны нацисты более охотно признавали равными себе русских, чем любую другую нацию. Гитлер, выступая в мае 1943 г. на совещании рейхсфюреров и гауляйтеров, «начал с факта, что в этой войне встретились лицом к лицу буржуазные и революционные государства. Нам было бы легко разделаться с буржуазными государствами, ибо они далеко уступают нам в воспитании народа и целеустремленности. Страны с идеологией имеют преимущество перед буржуазными государствами... [На Востоке] мы встретили противника, который тоже использует силу идеологии, хотя и плохой...» (*The Goebbels diaries. P. 355*). — Эта оценка основана на идеологических, а не на военных соображениях. Готфрид Нессе дал официальную версию борьбы нацистского движения за власть, когда писал: «Для нас объединенный фронт системы простирается от Немецкой национальной народной партии [т.е. от крайне правых] до социал-демократов. Коммунистическая партия была врагом вне системы. Поэтому на протяжении первых месяцев 1933 г. когда гибель системы уже обозначилась, мы еще должны были дать решающее сражение против Коммунистической партии» (*Neesse G. Partei und Staat. 1936. S. 76*).

<sup>13</sup> *Hitlers Tischgespräche. S. 113*. Там мы также найдем многочисленные примеры, доказывающие, что вопреки послевоенным легендам, Гитлер никогда не намеревался защищать «Запад» от большевизма, но всегда был готов присоединиться к «красным» для разрушения Запада, даже в самый разгар борьбы против Советской России. См. особенно *S. 108, 113 ff, 158, 385*.

<sup>14</sup> Теперь мы знаем, что Сталина неоднократно предупреждали о неминуемом нападении Гитлера на Советский Союз. Даже когда советский военный атташе в Берлине сооб-

Во всех вышеупомянутых меньших по размеру европейских странах нетоталитарным диктатурам предшествовали тоталитарные движения, и оказалось, что тоталитаризм ставил слишком амбициозные цели, что, хотя он достаточно хорошо служил делу организации масс до захвата власти движением, потом сама абсолютная величина страны вынуждала кандидата в тоталитарные повелители масс следовать более знакомым образцам классовой или партийной диктатуры. Истина в том, что эти страны просто не располагали достаточным человеческим материалом, чтобы позволить себе опыт тотального господства и внутренне присущие ему огромные потери населения<sup>15</sup>. Не имея достаточной надежды на завоевание территорий с более крупным населением, тираны в этих малых странах вынуждены были соблюдать известную старомодную умеренность, чтобы совсем не потерять людей, которыми они хотели править. Это объясняет также, почему нацизм, вплоть до пожара войны и своего распространения по Европе, так сильно отставал от своего русского соперника в последовательности и безжалостности: даже немецкий народ не был достаточно многочисленным, чтобы вынести на себе полное развитие этой новейшей формы правления. Только если бы Германия выиграла войну, она в полной мере познала бы прелести тоталитарного правления, и жертвы, которые это повлекло бы не только среди «низших рас», но и среди самих немцев, можно оценить по сведениям из сохранившихся гитлеровских планов<sup>16</sup>. Во всяком случае, только в ходе войны,

еще до дня нацистского нападения, Сталин не поверил, что Гитлер нарушит договор (см.: «Речь Хрущева о Сталине» по тексту, распространенному Государственным департаментом США. *New York Times. 1956. June 5*).

<sup>15</sup> Сведения, сообщенные Борисом Сувариным (*Souvarine B. Op. cit. P. 669*), по-видимому, являются блестящей иллюстрацией этого: «Согласно Вальтеру Кривичкому, имевшему отличные конфиденциальные источники информации в ГПУ: «Вместо расчетного на 1937 г. 171 миллиона жителей, по переписи оказалось только 145 миллионов. Таким образом, в СССР не хватает почти 30 миллионов человек». И надо хорошенько запомнить, что все это случилось после раскулачивания 30-х годов, которое уже стоило предположительно 8 миллионов человеческих жизней» (см.: *Communism in Action. U. S. Government. Washington, 1946. P. 140*).

<sup>16</sup> Значительную часть этих планов, изложение которых основано на оригиналах документов, можно найти в кн.: *Poliakov L. Bréviaire de la haine. P., 1951. Ch. 8* (ам. изд. под названием «Harvest of hate». Syracuse, 1954. Мы цитируем по французскому первоисточнику), но только в аспекте, относящемся к уничтожению негерманских народов, прежде всего славянского происхождения. А что нацистская машина уничтожения не остановилась бы даже перед немецким народом, очевидно из имперской оздоровительной программы, подписанной самим Гитлером. Здесь он предлагал «изолировать» от остального населения все семьи с пороками сердца и болезнями легких; их физическая ликвидация, без сомнения, следующий шаг в этой программе. Этот и несколько других интересных проектов для победоносной послевоенной Германии содержится в циркулярном письме к рейхсфюреру земли Гессен-Нассау в форме от-

после завоеваний на Востоке, обеспечивших для тоталитарных опытов огромные массы людей и сделавших возможными лагеря уничтожения, только тогда Германия сумела устроить истинно тоталитарное правление. В противоположность малым странам шансы на тоталитарное правление пугающе высоки в странах традиционного восточного деспотизма — в Индии и Китае, где есть почти неистощимый материал, чтобы питать властенакопительную и человекоубийственную машинерию тотального господства, и где, кроме того, типичное массовое ощущение излишнего обилия людей (в Европе совершенно новое явление, сопутствующий результат массовой безработицы и роста населения за последние 150 лет) веками распространяло презрение к ценности человеческой жизни. Умеренность или менее убойные методы управления едва ли можно приписать страху правительств перед народным восстанием; обезлюдение их стран было гораздо более серьезной угрозой. Только там, где огромные массы населения избыточны или позволяют избежать губительных результатов депопуляции, вообще возможно тоталитарное правление, которое надо отличать от тоталитарного движения.

Тоталитарные движения возможны везде, где имеются массы, по той или иной причине приобретшие вкус к политической организации. Массы соединяет отнюдь не сознание общих интересов, и у них нет той отчетливой классовой структурированности, которая выражается в определенных, ограниченных и достижимых целях. Термин «массы» применим только там, где мы имеем дело с людьми, которых по причине либо их количества, либо равнодушия, либо сочетания обоих факторов нельзя объединить ни в какую организацию, основанную на общем ин-

чета о совещании в штаб-квартире фюрера относительно «мер, которые следует предпринять до... и после победоносного завершения войны» (см. собрание документов в кн.: *Nazi conspiracy and aggression*. Washington, 1946 (et seq.) Vol. 7. P. 175). В том же русле лежит запланированное принятие «общего кодекса законов о чуждых элементах», которым предполагалось легализовать и расширить «институционную власть» полиции, а именно полномочия отправлять лиц, не виновных ни в каких преступлениях, в концентрационные лагеря (см.: *Werner P. SS-Standartenführer // Deutsches Jugendrecht*. Heft 4. 1944).

В связи с этой «негативной демографической политикой», которая в своей целенаправленности на уничтожение решительно не уступает большевистским партийным чисткам, важно помнить, что «в этом процессе отбора никогда не может быть остановки» (*Himmler H. Die Schutzstaffel // Grundlagen, Aufbau und Wirtschaftsordnung des nationalsozialistischen Staates*. № 7b). «Борьба фюрера и его партии до сих пор была непрерывным отбором... Этот отбор и эта борьба якобы закончились 30 января 1933 г.. Но фюрер и его старая гвардия знали, что настоящая борьба тогда только начиналась» (*Leu R. Der Weg zur Ordensburg*, o. D. Verlag der Deutschen Arbeitsfront. Под грифом: «Не для продажи»).

тересе: в политические партии либо в органы местного самоуправления или различные профессиональные организации или тред-юнионы. Потенциально «массы» существуют в каждой стране, образуя большинство из того огромного количества нейтральных, политически равнодушных людей, которые никогда не присоединяются ни к какой партии и едва ли вообще ходят голосовать.

Для подъема нацистского движения в Германии и коммунистических движений в Европе после 1930 г.<sup>17</sup> показательно, что они набирали своих членов из этой массы явно безразличных людей, от которых отказывались все другие партии как от слишком вялых или слишком глупых и потому недостойных их внимания. В результате большинство участников движений состояло из людей, которые до того никогда не появлялись на политической сцене. Это позволило ввести в политическую пропаганду совершенно новые методы и безразличие к аргументам политических противников. Движения не только поставили себя вне и против партийной системы как целого, они нашли себе людей, которые никогда не состояли ни в каких партиях, никогда не были «испорчены» партийной системой. Поэтому они не нуждались в опровержении аргументации противников и последовательно предпочитали методы, которые кончались смертью, а не обращением в новую веру, сулили террор, а не переубеждение. Они неизменно изображали человеческие разногласия порождением глубинных природных, социальных или психологических источников, пребывающих вне возможностей индивидуального контроля и, следовательно, вне власти разума. Это было бы недостатком только при условии, что движения будут честно соревноваться с другими партиями, но это не вредило движениям, поскольку они определенно собирались работать с людьми, которые имели основание равно враждебно относиться ко всем партиям.

Успех тоталитарных движений в массах означал конец двух иллюзий демократически управляемых стран вообще и европейских национальных государств и их партийной системы в частности. Согласно первой иллюзии, народ в его большинстве принимал активное участие в управлении и каждый индивид сочувствовал своей или какой-либо другой партии. Напротив, движения показали, что политически нейтральные и равнодушные массы легко могут стать большинством в демократически управляемых странах и что, следовательно, демократия функционировала по правилам, активно признаваемым лишь меньшин-

<sup>17</sup> Ф. Боркенау описывает сложившуюся ситуацию правильно: «Коммунисты имели лишь очень скромные успехи, когда пытались завоевать влияние среди масс рабочего класса. Тем самым их массовая база, если они вообще располагали ею, все больше и больше открывалась от пролетариата» (*Borkenau F. Die neue Komintern // Der Monat*. В., 1949. Hef 4).

ством. Вторая демократическая иллюзия, взорванная тоталитарными движениями, заключалась в том, что эти политически равнодушные массы будто бы не имеют значения, что они истинно нейтральны и составляют не более чем бесформенную, отсталую, декоративную среду для политической жизни нации. Теперь движения сделали очевидным то, что никогда не был способен показать никакой другой орган выражения общественного мнения, а именно, что демократическое правление в такой же мере держалось на молчаливом одобрении и терпимости безразличных и бесформенных частей народа, как и на четко оформленных, дифференцированных, видных всем институтах и организациях данной страны. Поэтому когда тоталитарные движения с их презрением к парламентарному правлению вторгались в парламент, он и они оказывались попросту несовместимыми: фактически им удавалось убедить чуть ли не весь народ, что парламентское большинство было поддельным и не обязательно соответствовало реальностям страны, тем самым подрывая самоуважение и уверенность у правительств, которые тоже верили в правление большинства, а не в свои конституции.

Часто указывают, что тоталитарные движения злонамеренно используют демократические свободы, чтобы их уничтожить. Это не просто дьявольская хитрость со стороны вождей или детская глупость со стороны масс. Демократические свободы возможны, если они основаны на равенстве всех граждан перед законом. И все-таки эти свободы достигают своего полного значения и органического исполнения своей функции только там, где граждане представлены группами или образуют социальную и политическую иерархию. Крушение классовой системы, единственной системы социальной и политической стратификации европейских национальных государств, безусловно было «одним из наиболее драматических событий в недавней немецкой истории»<sup>18</sup> и так же благоприятствовало росту нацизма, как отсутствие социальной стратификации в громадном русском сельском населении (этом «огромном дряблом теле, лишенном вкуса к государственному строительству и почти недоступном влиянию идей, способных облагородить волевые акты»<sup>19</sup>) способствовало большевистскому свержению демократического правительства Керенского. Условия в предгитлеровской Германии показательны в плане опасностей, кроющихся в развитии западной части мира, так как с окончанием второй мировой войны та же драма крушения классовой системы повторилась почти во всех европейских странах. События же в России ясно указывают направление, какое мо-

<sup>18</sup> *Ebenstein W.* The Nazi State. N.Y., 1943. P. 247.

<sup>19</sup> Как описывал их Максим Горький (см.: *Souvarine B.* Op. cit. P. 290. [Горький М. Несовременные мысли. М.: МСП «Интерконтакт», 1990. С. 21]).

гут принять неизбежные революционные изменения в Азии. Но в практическом смысле будет почти безразлично, примут ли тоталитарные движения образец нацизма или большевизма, организуют они массы во имя расы или класса, собираются следовать законам жизни и природы или диалектики и экономики.

Равнодушие к общественным делам, безучастность к политическим вопросам сами по себе еще не составляют достаточной причины для подъема тоталитарных движений. Конкурентное и стяжательское буржуазное общество породило апатию и даже враждебность к общественной жизни не только, и даже не в первую очередь, в социальных слоях, которые эксплуатировались и отстранялись от активного участия в управлении страной, но прежде всего в собственном классе. За долгим периодом ложной скромности, когда, по существу, буржуазия была господствующим классом в обществе, не стремясь к политическому управлению, охотно предоставленному ею аристократии, последовала империалистическая эра, во время которой буржуазия все враждебнее относилась к существующим национальным институтам и начала претендовать на политическую власть и организовываться для ее получения. И та ранняя апатия и позднейшие притязания на монопольное диктаторское определение направления национальной внешней политики имели корни в образе и философии жизни, столь последовательно и исключительно сосредоточенной на успехе либо крахе индивида в безжалостной конкурентной гонке, что гражданские обязанности и ответственность могли ощущаться только как ненужная растрата его ограниченного времени и энергии. Эти буржуазные установки очень полезны для тех форм диктатуры, в которых «сильный человек» берет на себя бремя ответственности за ход общественных дел. Но они положительно помеха тоталитарным движениям, склонным терпеть буржуазный индивидуализм не более чем любой другой вид индивидуализма. В индифферентных слоях буржуазного общества, как бы сильно они ни были настроены против политической ответственности граждан, личностность последних оставалась неприкосновенной хотя бы потому, что без этого они едва ли могли надеяться выжить в конкурентной борьбе за существование.

Решающие различия между организациями типа толпы в XIX в. и массовыми движениями XX в. трудно уловить, потому что современные тоталитарные вожди немногим отличаются по своей психологии и складу ума от прежних вождей толпы, чьи моральные нормы и политические приемы так походили на нормы и приемы буржуазии. Но если индивидуализм характеризовал и буржуазную и типичную для толпы жизненную установку, тоталитарные движения могли-таки с полным правом притязать на то, что они были первыми истинно антибур-

жуазными партиями. Никакие из их предшественников в стиле XIX в. — ни «Общество десятого декабря», которое помогло прийти к власти Луи Наполеону, ни бригады мясников в деле Дрейфуса, ни черные сотни в российских погромах, ни даже пандвижения — никогда не поглощали своих членов до степени полной утраты индивидуальных притязаний и честолюбия, как и не понимали, что организация может добиться подавления индивидуально-личного самосознания навсегда, а не просто на момент коллективного героического действия.

Отношение между классовым обществом при господстве буржуазии и массами, которые возникли из его крушения, не то же самое, что отношение между буржуазией и толпой, которая была побочным продуктом капиталистического производства. Массы и толпа имеют только одну общую характеристику: оба явления находятся вне всех социальных сетей и нормального политического представительства. Но массы не наследуют (как это делает толпа хотя бы в извращенной форме) нормы и жизненные установки господствующего класса, а отражают и так или иначе коверкают нормы и установки всех классов по отношению к общественным делам и событиям. Жизненные стандарты массового человека обусловлены не только и даже не столько определенным классом, к которому он однажды принадлежал, сколько всепроникающими влияниями и убеждениями, которые молчаливо и скопом разделяются всеми классами общества в одинаковой мере.

Классовая принадлежность, хотя и более свободна и отнюдь не так предопределена социальным происхождением, как в разных группах и сословиях феодального общества, преимущественно устанавливалась по рождению, и только необычайная одаренность или удача могла изменить ее. Социальный статус был решающим для участия индивида в политике, и, за исключением случаев чрезвычайных для нации обстоятельств, когда предполагалось, что он действует только как национал\*, безотносительно к своей классовой или партийной принадлежности, рядовой индивид никогда напрямую не сталкивался с общественными делами и не чувствовал себя прямо ответственным за их ход. Повышение значения класса в обществе всегда сопровождалось воспитанием и подготовкой известного числа его членов к политике как профессии, к платной (или, если они могли позволить себе это, бесплатной) службе правительству и представительству класса в парламенте. То, что большинство народа оставалось вне всякой партийной или иной политической организации, не интересовало никого и один конкретный класс не больше, чем другой. Иными словами,

\* В данном случае только как подданный соответствующего национального государства, частичный, а не целостный гражданин во всей полноте и сложности своих гражданских прав. (Прим. пер.)

включенность в некоторый класс, в его ограниченные групповые обязательства и традиционные установки по отношению к правительству мешала росту числа граждан, чувствующих себя индивидуально и лично ответственными за управление страной. Этот аполитичный характер населения национальных государств выявился только тогда, когда классовая система рухнула и унесла с собой всю ткань из видимых и невидимых нитей, которые связывали людей с политическим организмом.

Крушение классовой системы автоматически означало крах партийной системы, главным образом потому, что эти партии, организованные для защиты определенных интересов, не могли больше представлять классовые интересы. Продолжение их жизни было в какой-то мере важным для тех членов прежних классов, кто надеялся вопреки всему восстановить свой старый социальный статус и кто держался вместе уже не потому, что у них были общие интересы, а потому, что они рассчитывали их возобновить. Как следствие, партии делались все более и более психологичными и идеологичными в своей пропаганде, все более апологетическими и ностальгическими в своих политических подходах. Вдобавок они теряли, не сознавая этого, тех пассивных сторонников, которые никогда не интересовались политикой, ибо чувствовали, что нет партий, пекущихся об их интересах. Так что первым признаком крушения континентальной партийной системы было не дезертирство старых членов партии, а неспособность набирать членов из более молодого поколения и потеря молчаливого согласия и поддержки неорганизованных масс, которые внезапно потряхнули свою апатию и потянулись туда, где увидели возможность громко заявить о своем новом ожесточенном противостоянии системе.

Падение охранительных стен между классами превратило сонные большинства, стоящие за всеми партиями, в одну громадную, неорганизованную, бесструктурную массу озлобленных индивидов, не имевших ничего общего, кроме смутного опасения, что надежды партийных деятелей обречены, что, следовательно, наиболее уважаемые, видные и представительные члены общества — болваны и все власти, какие ни на есть, не столько злонамеренные, сколько одинаково глупые и мошеннические. Для зарождения этой новой ужасающей отрицательной солидарности не имело большого значения, что безработный ненавидел status quo и власти в формах, предлагаемых социал-демократической партией, экспроприированный мелкий собственник — в формах центристской или правоуклонистской партии, а прежние члены среднего и высшего классов — в форме традиционной крайне правой. Численность этой массы всем недовольных и отчаявшихся людей резко подскочила в Германии и Австрии после пер-

вой мировой войны, когда инфляция и безработица добавили свое к разрушительным последствиям военного поражения. Они составляли большую долю населения во всех государствах — преемниках Австро-Венгрии, и они же поддерживали крайние движения во Франции и Италии после второй мировой войны.

В этой атмосфере крушения классового общества развивалась психология европейских масс. Тот факт, что с монотонным и безликим единообразием одинаковая судьба наступала массу людей, не отучил их от привычки судить о себе в категориях личной неудачи, а о мире — с позиций обиды на особую несправедливость этой судьбы. Такое настроение самососредоточенной горечи хотя и постоянно встречалось у людей, изолированных друг от друга, не становилось, однако, объединяющей силой (несмотря на тенденцию действовать помимо индивидуальных различий), потому что оно не опиралось на общий интерес, будь то экономический, или социальный, или политический. Поэтому самососредоточение на себе шло рука об руку с решительным ослаблением инстинкта самосохранения. Самоотречение в том смысле, что любой ничего не значит, ощущение себя преходящей вещью больше не были выражением индивидуального идеализма, но массовым явлением. Старая присказка, будто бедным и угнетенным нечего терять, кроме своих цепей, неприменима к людям массы, ибо они теряли намного больше цепей нищеты, когда утрачивали интерес к собственному благополучию: исчезал также источник всех тревог и забот, которые делают человеческую жизнь беспокойной и исполненной страданиями. В сравнении с этим их имматериализмом христианский монах выглядит человеком, погруженным в мирские дела. Гиммлер, очень хорошо знавший склад ума тех, кого он организовывал, описывал не только своих эсэсовцев, но и широкие слои, из которых он их набирал, когда утверждал, что они не интересовались «повседневными проблемами», но только «идеологическими вопросами, важными на целые десятилетия и века, так что наш человек... знает: он работает на великую задачу, которая является лишь раз в два тысячелетия»<sup>20</sup>. Гигантское омассовление индивидов породило привычку мыслить в масштабе континентов и чувствовать веками, о чем говорил Сесил Родс сорока годами раньше.

Выдающиеся европейские ученые и государственные деятели с первых лет XIX в. и позже предсказывали приход массового человека

<sup>20</sup> Генрих Гиммлер, речь «Организация и обязанности СС и полиции», опубликованная в: *National-politischer Lehrgang der Wehrmacht vom 15–23. Januar 1937*. Перевод цит. по: *Nazi conspiracy and aggression. Office of the United States Chief of Counsel for the Prosecution of Axis Criminality. U. S. Government. Washington, 1946. Vol. 4. P. 616 ff.*

и эпохи масс. Вся литература по массовому поведению и массовой психологии доказывала и популяризировала мудрость, хорошо знакомую древним, о близости между демократией и диктатурой, между правлением толпы и тиранией. Авторы XIX в. подготовили определенные, политически сознательные и сверхсознательные круги западного образованного мира к появлению демагогов, к массовому легковерию, суеверию и жестокости. И все же, хотя эти предсказания в известном смысле исполнились, они много потеряли в своей значимости ввиду таких неожиданных и непредсказуемых явлений, как радикальное отсутствие личной заинтересованности<sup>21</sup>, циничное или скучливое равнодушие перед лицом смерти или иных личных катастроф, страстная привязанность к наиболее отвлеченным понятиям как путеводителям по жизни и общее презрение даже к самым очевидным правилам здравого смысла.

Вопреки предсказаниям, массы не были результатом растущего равенства условий для всех, распространения всеобщего образования и неизбежного понижения стандартов и популяризации содержания культуры. (Америка, классическая страна равных условий и всеобщего образования со всеми его недостатками, видимо, знает о современной психологии масс меньше, чем любая другая страна в мире.) Скоро открылось, что высококультурные люди особенно увлекаются массовыми движениями и что вообще в высшей степени развитый индивидуализм и утонченность не предотвращают, а в действительности иногда поощряют саморастворение в массе, для коего массовые движения создавали возможности. Поскольку очевидный факт, что индивидуализация и усвоение культуры не предупреждают формирования массовых установок, оказался весьма неожиданным, его часто списывали на болезненность или нигилизм современной интеллигенции, на предполагаемую типичную ненависть интеллекта к самому себе, на дух «враждебности к жизни» и непримиримое противоречие со здоровой витальностью. И все-таки сильно оклеветанные интеллектуалы были только наиболее показательным примером и наиболее яркими выразителями гораздо более общего явления. Социальная атомизация и крайняя индивидуализация предшествовали массовым движениям, которые гораздо легче и раньше привлекали совершенно неорганизованных людей, типичных «неприсоединившихся», кто по индивидуалистическим соображениям всегда отказывался признавать общественные связи или обязательства, чем социабельных, настроенных неиндивидуалистически членом традиционных партий.

<sup>21</sup> Гюстав Лебон (*Lebon G. La psychologie des foules. 1895*) упоминает о своеобразном самозабвенном бескорыстии масс. См.: гл. 2, параграф 5. [На русском языке есть издание: *Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1896, а так же СПб., 1995.*]

Истина в том, что массы выросли из осколков чрезвычайно атомизированного общества, конкурентная структура которого и сопутствующее ей одиночество индивида сдерживались лишь его включенностью в класс. Главная черта человека массы — не жестокость и отсталость, а его изоляция и нехватка нормальных социальных взаимоотношений. При переходе от классово разделенного общества национального государства, где трещины заделывались националистическими чувствами, было только естественным, что эти массы, беспомощные в условиях своего нового опыта, на первых порах тяготели к особенно неистовому национализму, которому вожди масс поддались из чисто демагогических соображений, вопреки собственным инстинктам и целям<sup>22</sup>.

Ни племенной национализм, ни мятежный нигилизм не характерны или идеологически не свойственны массам так, как они были присущи толпе. Но наиболее даровитые вожди масс в наше время выросли еще из толпы, а не из масс<sup>23</sup>. В этом отношении биография Гитлера читается как учебный пример, и о Сталине известно, что он вышел из заговорщического аппарата партии большевиков с его специфической смесью отверженных и революционеров. На ранней стадии гитлеровская партия, почти исключительно состоявшая из неприспособленных, неудачников и авантюристов, в самом деле представляла собой «вооруженную богему»<sup>24</sup>, которая была лишь оборотной стороной буржуазного общества и которую, следовательно, немецкая буржуазия должна бы уметь успешно использовать для своих целей. Фактически же буржуазия была так же сильно обманута нацистами, как группа Рема-Шлейхера в рейхсвере, которая тоже думала, что Гитлер, используемый ими в качестве осведомителя, или штурмовые отряды, используемые для военной пропаганды и полувоенной подготовки населения, будут действовать как их агенты и помогут в установлении военной дик-

<sup>22</sup> Основатели нацистской партии, до того как Гитлер овладел ею, временами даже называли ее «левой партией». Интересен также эпизод после парламентских выборов 1932 г.: «Грегор Штрассер с горечью указывал своему вождю, что перед выборами национал-социалисты в Рейхстаге могли бы образовать большинство с Центром. Теперь такая возможность упущена — обе партии составляют меньше половины парламента... Но с коммунистами национал-социалисты еще имеют большинство, отвечал Гитлер, никто не сможет управлять вопреки нам» (Heiden K. Op. cit. P. 94, 495 соответственно).

<sup>23</sup> Ср.: Hayes C. J. H. Op. cit. Здесь автор не различает толпу и массы, полагая, что тоталитарные диктатуры «вышли из масс, а не из классов».

<sup>24</sup> Это центральная теория К. Хейдена, чей анализ нацистского движения по-прежнему сохраняет важное значение. «Из обломков отмерших классов встает новый класс интеллектуалов, и во главе его маршируют самые безжалостные, те, кому нечего терять и потому сильнее: вооруженная богема, которой война — мать родна, а гражданская война — отчий дом» (Heiden K. Op. cit. P. 100).

татуры<sup>25</sup>. И те и другие воспринимали нацистское движение в своих понятиях, в понятиях политической философии толпы<sup>26</sup>, и просмотрели независимую стихийную поддержку, оказанную новым вожакам толпы массами, а также прирожденные таланты этих вождей к созданию новых форм организации. Толпа в качестве передового отряда этих масс больше не была агентом буржуазии и ни кого другого, кроме самих масс.

Что тоталитарные движения зависели от простой бесструктурности массового общества меньше, чем от особых условий атомизированного и индивидуализированного состояния массы, лучше всего увидеть в сравнении нацизма и большевизма, которые начинали в своих странах при очень разных обстоятельствах. Чтобы превратить революционную диктатуру Ленина в полностью тоталитарное правление, Сталину сперва надо было искусственно создать то атомизированное общество, которое для нацистов в Германии приготовили исторические события.

Октябрьская революция удивительно легко победила в стране, где деспотическая и централизованная бюрократия управляла бесструктурной массой населения, которое не организовывали ни остатки деревенских феодальных порядков, ни слабые, только еще нарождающиеся городские капиталистические классы. Когда Ленин говорил, что нигде в мире не было бы так легко завоевать власть и так трудно удержать ее, как в России, он думал не только о слабости рабочего класса, но и об

<sup>25</sup> Заговор генерала рейхсвера Шлейхера и главы штурмовых отрядов Рема предусматривал план подчинить все полу- и околовоеенные формирования военному командованию рейхсвера, что сразу добавило бы миллионы к тогдашней немецкой армии. Это, конечно, с неизбежностью привело бы к военной диктатуре. В июне 1934 г. Гитлер уничтожил Рема и Шлейхера. Начальные переговоры начинались с полного ведома Гитлера, который использовал связи Рема с рейхсвером, чтобы обмануть немецкие военные круги относительно своих подлинных намерений. В апреле 1932 г. Рем свидетельствовал в одном из гитлеровских судебных процессов, что воинский статус штурмовых отрядов встретил полное понимание в кругах рейхсвера. (Документальные свидетельства о плане Рема-Шлейхера см.: Nazi conspiracy. Vol. 5. P. 456 ff. См. также: Heiden K. Op. cit. P. 450.) Рем сам гордо сообщает о своих переговорах со Шлейхером, которые, по его словам, начались в 1931 г. Шлейхер обещал взять штурмовые отряды под командование офицеров рейхсвера в случае чрезвычайного положения (см.: Die Memorien des Stabschefs Röhm. Saarbrücken. 1934. S. 170). Военизированный характер штурмовых отрядов, пестуемый Ремом при постоянном сопротивлении Гитлера, продолжал определять их словарь даже после ликвидации фракции Рема. В противоположность СС члены штурмовых отрядов всегда хотели быть «выразителями германской военной воли» и для них Третий рейх был «военным содружеством на двух столпах: Партия и Вермахт» (см.: Handbuch der SA. B., 1933; Lutze V. Die Sturmabteilungen // Grundlagen, Aufbau und Wirtschaftsordnung des nationalsozialistischen Staates. № 7a).

<sup>26</sup> Автобиография Рема в особенности — истинная классика этого рода литературы.

обстановке всеобщей социальной анархии, которая благоприятствовала внезапным изменениям. Не обладая инстинктами вождя масс (он не был выдающимся оратором и имел страсть публично признавать и анализировать собственные ошибки вопреки правилам даже обычной демагогии), Ленин хватался сразу за все возможные виды дифференциаций — социальную, национальную, профессиональную, — дабы внести какую-то структуру в аморфное население, и, видимо, он был убежден, что в таком организованном расслоении кроется спасение революции. Он узаконил анархическое ограбление помещиков деревенскими массами и тем самым создал, в первый и, вероятно, в последний раз в России, тот освобожденный крестьянский класс, который со времен Французской революции был самой твердой опорой западным национальным государствам. Он попытался усилить рабочий класс, поощряя независимые профсоюзы. Он терпел появление робких ростков среднего класса в результате курса нэпа после окончания гражданской войны. Он вводил новые отличия, организуя, а иногда и изобретая как можно больше национальностей, развивая национальное самосознание и понимание исторических и культурных различий даже среди наиболее отсталых племен и народностей в Советском Союзе. Кажется ясным, что в этих чисто практических политических делах Ленин следовал интуиции большого государственного деятеля, а не своим марксистским убеждениям. Во всяком случае, его политика показывала, что он больше боялся отсутствия социальной или иной структуры, чем возможного роста центробежных тенденций среди новоосвобожденных национальностей или даже роста новой буржуазии из вновь становящихся на ноги среднего и крестьянского классов. Нет сомнения, что Ленин потерпел свое величайшее поражение, когда с началом гражданской войны верховная власть, которую он первоначально планировал сосредоточить в Советах, явно перешла в руки партийной бюрократии. Но даже такое развитие событий, трагическое для хода революции, не обязательно вело к тоталитаризму. Однопартийная диктатура добавляла лишь еще один класс к уже развивающемуся социальному расслоению (стратификации) страны — бюрократию, которая, согласно социалистическим критикам революции, «владела государством как частной собственностью» (Маркс)<sup>27</sup>. На момент смерти Ленина до-

<sup>27</sup> Хорошо известно, что антисталинистские раскольнические группы основывали свою критику развития СССР на этой марксистской формулировке и фактически так и не переросли ее. Периодические «чистки» советской бюрократии, чуть ли не равносильные «ликвидации» бюрократии как класса, никогда не мешали критикам видеть в ней господствующий и правящий класс Советского Союза. Вот оценка Раковского, писанная в 1930 г. в сибирской ссылке: «На наших глазах сформировался и еще формируется громадный класс руководителей, который имеет свои внутренние подразделения и постоянно растет благодаря заранее намеченным кооптациям и прямым или непрямым

роги были еще открыты. Формирование рабочего, крестьянского и среднего классов вовсе не обязательно должно было привести к классовой борьбе, характерной для европейского капитализма. Сельское хозяйство еще можно было развивать на коллективной, кооперативной или частной основе, а все народное хозяйство пока сохраняло свободу следовать социалистическому, государственно-капиталистическому или вольно-предпринимательскому образцу хозяйствования. Ни одна из этих альтернатив не разрушила бы автоматически обновленную структуру страны.

Но все эти новые классы и национальности стояли на пути Сталина, когда он начал готовить страну для тоталитарного управления. Чтобы сфабриковать атомизированную и бесструктурную массу, сперва он должен был уничтожить остатки власти Советов, которые, как главные органы народного представительства, еще играли определенную роль и предохраняли от абсолютного правления партийной иерархии. Поэтому он подорвал народные Советы, усиливая в них большевистские ячейки, из которых исключительно стали назначаться высшие функционеры в центральные комитеты и органы<sup>28</sup>. К 1930 г. последние следы прежних общественных институтов исчезли и были заменены жестко централизованной партийной бюрократией, чьи русификаторские наклонности не слишком отличались от устремлений царского режима, за исключением того, что новые бюрократы больше не боялись всеобщей грамотности.

Затем большевистское правительство приступило к ликвидации классов, начав по идеологическим и пропагандистским соображениям с классов, владеющих какой-то собственностью, — нового среднего класса в городах и крестьян в деревнях. Из-за сочетания факторов численности и собственности крестьяне вплоть до того момента потенциально были самым мощным классом в Союзе, поэтому их ликвидация была более глубокой и жестокой, чем любой другой группы населения и осуществлялась с помощью искусственного голода и депортации под пред-

назначениям... Элемент, который объединяет этот необычный класс, есть тоже необычная форма частной собственности, заметьте, на государственную власть» (цит. по: Souvarine В. Op. cit. P. 564). На деле это вполне точный анализ развития в досталинскую эру. О развитии взаимоотношений между партией и Советами, имевшем решающее значение для хода Октябрьской революции, см.: *Deutscher I. The prophet armed: Trotsky 1879-1921. 1954.*

<sup>28</sup> В 1927 г. 90 процентов сельских Советов и 75 процентов их председателей были беспартийными. Районные исполкомы наполовину состояли из членов партии и наполовину из беспартийных, тогда как во ВЦИК 75 процентов депутатов были членами партии (см.: *Dobb M. Bolshevism // Encyclopedia of the Social Sciences.*)

Как члены партии в Советах, голосуя «в соответствии с инструкциями, которые они получали от несменяемых чиновников партии», разрушили советскую систему изнутри, подробно описано в кн.: *Rosenberg A. A history of bolshevism. L., 1934. Ch. 6.*

логом экспроприации собственности у кулаков и коллективизации. Ликвидация среднего и крестьянского классов происходила в начале 30-х годов. Те, кто не попал в миллионы мертвых или миллионы сосланных работников-рабов, поняли, «кто здесь хозяин», поняли, что их жизни и жизни их родных зависят не от их сограждан, а исключительно от прихотей правителей, которые они встречали в полном одиночестве, без всякой помощи откуда-либо, от любой группы, к какой им выпало принадлежать. Точный момент, когда коллективизация создала новое крестьянство, скрепленное общими интересами, которое благодаря своей численности и ключевому положению в хозяйстве страны опять стало представлять потенциальную опасность тоталитарному правлению, не поддается определению ни по статистике, ни по документальным источникам. Но для тех, кто умеет читать тоталитарные «источники и материалы», этот момент наступил за два года до смерти Сталина, когда он предложил распустить колхозы и преобразовать их в более крупные производственные единицы. Он не дождался осуществления этого плана. На этот раз жертв было бы еще больше и хаотические последствия для всего хозяйства, возможно, были бы еще более катастрофическими, чем при первой ликвидации крестьянского класса, но нет оснований сомневаться, что он смог бы преуспеть опять. Не найдется класса, который нельзя было бы стереть с лица земли, если убить достаточное число его членов.

Следующий класс, который надо было ликвидировать как самостоятельную группу, составляли рабочие. В качестве класса они были гораздо слабее и обещали оказать куда меньшее сопротивление, чем крестьянство, потому что стихийная экспроприация ими фабрикантов и заводчиков во время революции, в отличие от крестьянской экспроприации помещиков, сразу была сведена на нет правительством, которое конфисковало фабрики в собственность государства под предлогом, что в любом случае государство принадлежит пролетариату. Стахановская система, одобренная в начале 30-х годов, разрушила остатки солидарности и классового сознания среди рабочих, во-первых, разжиганием жестокого соревнования и, во-вторых, образованием временной стахановской аристократии, социальная дистанция которой от обыкновенного рабочего, естественно, воспринималась более остро, чем расстояние между рабочими и управляющими. Этот процесс завершился введением в 1938 г. трудовых книжек, которые официально превратили весь российский рабочий класс в одну гигантскую рабсилу для принудительного труда.

Вершиной этих мероприятий стала ликвидация той бюрократии, которая помогала проводить предыдущие ликвидации. У Сталина ушло два года, с 1936 по 1938-й, чтобы избавиться от всей прежней адми-

нистративной и военной аристократии советского общества. Почти все учреждения, фабрики и заводы, экономические и культурные подразделения, правительственные, партийные и военные отделы и управления перешли в новые руки, когда «была сметена почти половина административного персонала, партийного и непартийного» и ликвидированы почти 50 процентов всех членов партии и «по меньшей мере еще восемь миллионов»<sup>29</sup>. Новое введение внутренних паспортов, в которых надо было регистрировать и заверять («прописывать») все переезды из города в город, довершило уничтожение партийной бюрократии как самостоятельного класса. По своему правовому положению бюрократия наряду с партийными функционерами оказалась теперь на одном уровне с рабочими: отныне она тоже стала частью необъятного массива российской принудительной рабочей силы, а ее статус привилегированного класса в советском обществе — делом прошлого. И поскольку эта Большая Чистка увенчалась ликвидацией высших руководителей полиции (тех самых, кто в первую очередь и организовывал эту Чистку), то даже кадры ГПУ, проводники террора, не могли впредь заблуждаться насчет самих себя, будто как группа они вообще что-то собою представляют, не говоря уж о самостоятельной власти.

Ни одно из этих гигантских жертвоприношений человеческих жизней не оправдывалось *raison d'état* в старом смысле этого термина. Ни один из уничтоженных слоев общества не был враждебен режиму и, вероятно, не стал бы враждебным в обозримом будущем. Активная организованная оппозиция перестала существовать к 1930 г., когда Сталин в речи на XVI съезде партии объявил вне закона правый и левый уклон внутри партии, и даже эти слабенькие оппозиции вряд ли были способны создать себе базу в любом из существующих классов<sup>30</sup>. Уже диктаторский террор (отличающийся от тоталитарного террора

<sup>29</sup> Эти цифры взяты из книги Виктора Кравченко: *Kravchenko V. I chose freedom: The personal and political life of a soviet official.* N.Y., 1946. P. 278, 303. Это, конечно, весьма спорный источник. Но поскольку о Советской России мы почти не имеем ничего, кроме спорных источников, то приходится полагаться на весь доступный массив новых рассказов, известий, сообщений и оценок разного рода. Все, что можно сделать — это использовать любую информацию, по меньшей мере производящую впечатление правдоподобности. Некоторые историки, видимо, полагают, что противоположный метод, а именно использовать исключительно любой доступный материал, поставляемый русским правительством, более надежен, но это не тот случай. Как раз в официальном материале обычно нет ничего, кроме пропаганды.

<sup>30</sup> Доклад Сталина на XVI съезде заклеил уклон как «отражение» сопротивления кулацко-крестьянских и мелкобуржуазных слоев в рядах партии (см.: *Leninism.* 1933. Vol. 2. Ch. 3 [Сталин И.В. Соч. Т. 12. С. 353]). Против такого обвинения оппозиция оказалась удивительно беззащитной, ибо она тоже, и особенно Троцкий, «всегда стремилась за борьбой клик вскрывать борьбу классов» (*Souvarine B. Op. cit.* P. 440).

тем, что он угрожает только настоящим противникам, но не безвредным гражданам, не имеющим определенных политических мнений) был достаточно жестоким, чтобы задушить всякую политическую жизнь, будь то открытую или тайную, еще до смерти Ленина. Вмешательство извне, которое могло бы поддержать одну из недовольных групп населения, больше не представляло опасности, когда к 1930 г. советский режим был признан большинством правительств и заключил торговые и иные международные соглашения со многими странами. (Что, однако, не убедило сталинское правительство исключить такую возможность в отношении всего народа; теперь мы знаем, что Гитлер, если бы он был обыкновенным завоевателем, а не чужим тоталитарным правителем-соперником, возможно, имел бы высокий шанс привлечь на свою сторону, по меньшей мере, народ Украины.)

Если ликвидация классов и не имела политического смысла, она была определено гибельной для советского хозяйства. Последствия искусственно организованного голода в 1933 г. годами чувствовались по всей стране. Насажение с 1935 г. стахановского движения с его производственным ускорением отдельных результатов и полным пренебрежением к необходимым согласованной коллективной работы в системе промышленного производства, вылилось в «хаотическую несбалансированность» молодой индустрии<sup>31</sup>. Ликвидация бюрократии, прежде всего слоя заводских управляющих и инженеров, окончательно лишила промышленные предприятия того малого опыта и знания технологий, которые успела приобрести новая русская техническая интеллигенция.

Равенство своих подданных перед лицом власти было одной из главных забот всех деспотий и тираний с древнейших времен, и все же такое уравнивание недостаточно для тоталитарного правления, ибо оно оставляет более или менее нетронутыми определенные неполитические общественные связи между этими подданными, такие, как семейные узы и общие культурные интересы. Если тоталитаризм воспринимает свою конечную цель всерьез, он должен дойти до такой точки, где захочет «раз и навсегда покончить с нейтральностью даже шахматной игры», т.е. с независимым существованием какой бы то ни было деятельности, развивающейся по своим законам. Любители «шахмат ради шахмат», кстати сравниваемые их ликвидаторами с любителями «искусства для искусства»<sup>32</sup>, представляют собой еще не абсолютно атомизированные элементы в массовом обществе, совершенно разрозненное единообразие которого есть одно из первостепенных условий для торжества тоталитаризма. С точки зрения тотали-

<sup>31</sup> Kravchenko V. Op. cit. P. 187.

<sup>32</sup> Souvarine B. Op. cit. P. 575.

тарных правителей, общество любителей «шахмат ради самих шахмат» отличается лишь меньшей степенью опасности от класса сельских хозяев-фермеров ради самостоятельного хозяйствования на земле. Гиммлер очень метко определил члена СС как новый тип человека, который никогда и ни при каких обстоятельствах не будет заниматься «делом ради него самого»<sup>33</sup>.

Массовая атомизация в советском обществе была достигнута умелым применением периодических чисток, которые неизменно предваряют практические групповые ликвидации. С целью разрушить все социальные и семейные связи, чистки проводятся таким образом, чтобы угрожать одинаковой судьбой обвиняемому и всем находящимся с ним в самых обычных отношениях, от случайных знакомых до ближайших друзей и родственников. Следствие этого простого и хитроумного приема «вины за связь с врагом» таково, что, как только человека обвиняют, его прежние друзья немедленно превращаются в его злейших врагов: чтобы спасти свои собственные шкуры, они спешат выскочить с непрошеной информацией и обличениями, поставляя несуществующие данные против обвиняемого. Очевидно, это остается единственным способом доказать собственную благонадежность. Задним числом они постараются доказать, что их прошлое знакомство или дружба с обвиняемым были только предлогом для шпионства за ним и разоблачения его как саботажника, троцкиста, иностранного шпиона или фашиста. Если заслуги «измеряются числом разоблаченных вами ближайших товарищей»<sup>34</sup>, то ясно, что простейшая предосторожность требует избегать по возможности всех очень тесных и глубоко личных контактов, — не для того, чтобы уберечься от раскрытия своих тайных помыслов, но чтобы обезопасить себя в почти predeterminedных будущих неприятностях от всех лиц, как заинтересованных в вашем осуждении с обычным низким расчетом, так и неумолимо вынуждаемых губить вас просто потому, что их собственные жизни в опасности. В конечном счете именно благодаря развитию этого приема до его последних и самых фантастических крайностей большевистские правители преуспели в сотворении атомизированного и разрозненного общества, подобного которому мы никогда не видывали прежде, и события и катастрофы которого в таком чистом виде вряд ли без этого произошли бы.

<sup>33</sup> Девиз СС в формулировке самого Гиммлера начинается со слов: «Нет задачи, что существует для себя самой» (см.: Alquen G. de. Die SS // Schriften der Hochschule für Politik. 1939). Брошюры, изданные СС исключительно для внутреннего пользования, снова и снова подчеркивают «абсолютную необходимость понять бесплодность всего, что есть цель в себе» (см.: Der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, без даты, под грифом «Только для служебного употребления в учреждениях полиции»).

<sup>34</sup> Эта практика обильно документирована. В. Кривичский прослеживает ее истоки прямо к Сталину в своей книге: Krivitsky W. In Stalin's secret services. N.Y., 1939.

Тоталитарные движения — это массовые организации атомизированных, изолированных индивидов. В сравнении со всеми другими партиями и движениями их наиболее бросающаяся в глаза черта — это требование тотальной, неограниченной, безусловной и неизменной преданности от своих членов. Такое требование вожди тоталитарных движений выдвигают даже еще до захвата ими власти. Оно обыкновенно предшествует тотальной организации страны под их реальным управлением и вытекает из притязания тоталитарных идеологий на то, что новая организация охватит в должное время весь род человеческий. Однако там, где тоталитарное правление не было подготовлено тоталитарным движением (а это, в отличие от нацистской Германии, как раз случай России), движение должно быть организовано после начала правления, и условия для его роста надо было создать искусственно, чтобы сделать тотальную преданность — психологическую основу для тотального господства — вообще возможной. Такой преданности можно ждать лишь от полностью изолированной человеческой особи, которая при отсутствии всяких других социальных привязанностей — к семье, друзьям, сослуживцам или даже просто к знакомым — черпает чувство прочности своего места в мире единственно из своей принадлежности к движению, из своего членства в партии.

Тотальная преданность возможна только тогда, когда идейная верность лишена всякого конкретного содержания, из которого могли бы естественно возникнуть перемены в умонастроении. Тоталитарные движения, каждое своим собственным путем, сделали все возможное, чтобы избавиться от партийных программ с точно определенным конкретным содержанием, — программ, унаследованных от более ранних, еще нетоталитарных стадий развития. Независимо от радикальных фраз, каждая определенная политическая цель, которая не просто ограничивается претензией на мировое руководство, каждая политическая программа, которая ставит задачи более определенные, чем «идеологические вопросы всемирноисторической, вековой важности», становится помехой тоталитаризму. Величайшим достижением Гитлера в организации нацистского движения, которое он постепенно создал из темного, дремучего сброда типично националистической мелкой партии, было то, что он избавил движение от обузы прежней партийной программы, официально не изменяя и не отменяя ее, а просто отказываясь говорить о ней или обсуждать ее положения, очень скоро устаревшие по относительной скромности своего содержания и фразеологии<sup>35</sup>. Задача Сталина в этом отношении, как и в

<sup>35</sup> Гитлер заявил в «Mein Kampf» (2 Vols, 1-е нем. изд. 1925 и 1927 соответственно; ам. изд. — N.Y., 1939), что лучше иметь устаревшую программу, чем допустить обсуждение программы (Book 2, Ch. 5). Вскоре он осмелился провозгласить публично: «Как только

других, выглядела гораздо более трудной. Социалистическая программа большевистской партии была куда более весомым грузом<sup>36</sup>, чем 25 пунктов любителя-экономиста и помешанного политика<sup>37</sup>. Но Сталин в конце концов после уничтожения фракций в партии добился того же результата благодаря постоянным зигзагам генеральной линии Коммунистической партии и постоянным перетолкованиям и новоприменениям марксизма, выхолостившим из этого учения всякое содержание, потому что дальше стало невозможно предвидеть, на какой курс или действие оно вдохновит вождей. Тот факт, что высшая доктринальная образованность и наилучшее знание марксизма-ленинизма не давали никаких указаний для политического поведения, что, напротив, можно было следовать «правильной» партийной линии, если только утром повторять сказанное Сталиным вчера вечером, естественно, приводил к тому же состоянию умов, к тому же сосредоточенному исполнительному повиновению, не нарушаемому ни малейшей попыткой понять, а что же я делаю. Откровенный до наивности гиммлеровский девиз для эсэсовцев выразил это так: «Моя честь — это моя верность (loyalty)»<sup>38</sup>.

Отсутствие или игнорирование партийной программы само по себе не обязательно является знаком тоталитаризма. Первым в трактовке программ и платформ как бесполезных клочков бумаги и стеснительных обещаний, несовместимых со стилем и порывом движения, был Муссолини с его фашистской философией активизма и вдохновения

---

мы начнем управлять — программа придет сама... На первом месте должен быть невиданный напор пропаганды. То есть политическое действие, которое имело бы очень слабую связь с другими задачами момента» (см.: Heiden K. Op. cit. P. 203).

<sup>36</sup> Суварин (по нашему мнению, ошибочно) полагает, будто уже Ленин свел к нулю роль партийной программы: «Ничто не могло более ясно показать несуществование большевизма в качестве учения, как его бытие исключительно в ленинском мозгу. Каждый большевик позволял себе отклоняться от «линии» своей фракции, ...либо этих людей объединяла общность темперамента и сила влияния Ленина, а не идеи» (Souvarine B. Op. cit. P. 85).

<sup>37</sup> Программа Готфрида Федера с ее знаменитыми 25 пунктами сыграла гораздо большую роль в литературе о движении, чем в самом движении.

<sup>38</sup> Дух этого девиза, сформулированного самим Гиммлером, трудно передать по-английски. Его немецкий подлинник: «Meine Ehre heisst Treue» имеет в виду абсолютную преданность и послушание, которые превосходят смысл простой дисциплины или личной верности. Книга «Nazi conspiracy», где переводы немецких документов и нацистской литературы составляют незаменимый материал-первоисточник, но, к сожалению, очень неровный, передает этот девиз СС так: «Моя честь означает верность (faithfulness)» (Vol. 5. P. 346).

[Верность как faithfulness (буквально — наполненность верой) лучше передает смысловой оттенок «верность идее, принципам и т.п.», в отличие от loyalty — верности, преданности лицу, касте, партии и пр. Нацистская «верность» диалектически сливает в одно оба вида верности. — Прим. пер.]

самим неповторимым историческим моментом<sup>39</sup>. Простая жажда власти, соединенная с презрением к «болтовне», к ясному словесному выражению того, что именно намерены они делать с этой властью, характеризует всех вожжаков толпы, но не дотягивает до стандартов тоталитаризма. Истинная цель фашизма сводилась только к захвату власти и установлению в стране прочного правления фашистской «элиты». Тоталитаризм же никогда не довольствуется правлением с помощью внешних средств, а именно государства и машины насилия. Благодаря своей необыкновенной идеологии и роли, назначенной ей в этом аппарате принуждения, тоталитаризм открыл способ господства над людьми и устрашения их изнутри. В этом смысле он уничтожает расстояние между управляющими и управляемыми и достигает состояния, в котором власть и воля к власти, как мы их понимаем, не играют никакой роли или в лучшем случае — второстепенную роль. По сути, тоталитарный вождь есть ни больше ни меньше как чиновник от масс, которые он ведет; он вовсе не скупаемая жадной власти личность, во что бы то ни стало навязывающая свою тираническую и произвольную волю подчиненным. Будучи, в сущности, обыкновенным функционером, он может быть заменен в любое время, и он точно так же сильно зависит от «воли» масс, которую его персона воплощает, как массы зависят от него. Без него массам не хватало бы внешнего, наглядного представления и выражения себя и они оставались бы бесформенной, рыхлой ордой. Вождь без масс — ничто, фикция. Гитлер полностью сознавал эту взаимозависимость и выразил ее однажды в речи, обращенной к штурмовым отрядам: «Все, что вы есть, вы есть со мною. Все, что я есть, я есть только с вами»<sup>40</sup>. Мы слишком склонны умалять значение таких заявлений или неправильно понимать их в том смысле, что действие здесь определено в категориях отдавания и исполнения приказов, как это не в меру часто случалось в политической традиции и истории Запада<sup>41</sup>. Но эта идея всегда предполагала «командующего», кто мыслит и проявляет волю и затем навязывает свою мысль и волю бездумной и безвольной группе —

<sup>39</sup> Муссолини был, вероятно, первым партийным лидером, кто сознательно отверг формальную программу и заместил ее вдохновенным вождизмом и действием как таковым. За этим стояло убеждение, что реальность самого переживаемого момента — главный элемент вдохновения, порыва, который только тормозила бы партийная программа. Философию итальянского фашизма, наверное, лучше выразил «актуализм» Джентиле, чем «мифы» Сореля. Ср. также статью: Fascism // Encyclopedia of the Social Sciences. Программа 1921 г. появилась, когда движение существовало уже два года, и содержала большей частью его националистическую философию.

<sup>40</sup> Bayer E. Die SA. В., 1938. Цит. по: Nazi conspiracy. Vol. 4. P. 783.

<sup>41</sup> Первый раз в диалоге «Политик» (305) Платона, где действие рассматривается в понятиях *archein* и *prattein* — приказание начать действие и исполнения этого приказа.

будь то убеждением, авторитетной властью или насилием. Гитлер, однако, придерживался мнения, что даже «мышление... [существует] только посредством отдавания или исполнения приказов»<sup>42</sup>, тем самым даже теоретически снимая различие между мышлением и действием, с одной стороны, и между правителями и управляемыми — с другой.

Ни национал-социализм, ни большевизм никогда не провозглашали новой формы правления и не утверждали, будто с захватом власти и контролем над государственной машиной их цели достигнуты. Их идея господства была чем-то таким, чего ни государство, ни обычный аппарат насилия никогда не смогут добиться, но может только Движение, поддерживаемое в вечном движении, а именно достичь постоянно-го господства над каждым отдельным индивидуумом во всех до единой областях жизни<sup>43</sup>. Насильственный захват власти — не цель в себе, а лишь средство для цели, и захват власти в любой данной стране — это только благоприятная переходная стадия, но никогда не конечная цель движения. Практическая цель движения — втянуть в свою орбиту и организовать как можно больше людей и не давать им успокоиться. Политической цели, что стала бы конечной целью движения, просто не существует.

## 2. Временный союз между толпой и элитой

Еще больше, чем безусловная верность членов тоталитарных движений и народная поддержка тоталитарных режимов, угнетает наш ум неоспоримая привлекательность этих движений для элиты общества, а не только для представителей толпы. Было бы в самом деле, безрассудно не считаться с пугающим перечнем выдающихся людей, которых из-за артистических причуд или кабинетно-ученой *naïveté* тоталитаризм может числить среди своих сочувствующих («симпатайзеров»), попутчиков и зарегистрированных членов партии.

<sup>42</sup> Hitlers Tischgespräche. S. 198.

<sup>43</sup> Mein Kampf. Book 1. Ch. 11. См. также, например: Schwarz D. Angriffe auf die nationalsozialistische Weltanschauung: Aus dem Schwarzen Korps. № 2. 1936, где автор отвечает на очевидный упрек национал-социалистам, что они и после прихода к власти продолжали говорить о «борьбе»: «Национал-социализм как мировоззрение, идеология (Weltanschauung) не оставит свою борьбу, пока его основополагающие ценности... еще не сформировали образ жизни каждого отдельного немца, и сами эти ценности каждый день приходится утверждать в жизни заново».

Эта привлекательность для элиты дает столь же важный ключ к пониманию тоталитарных движений (хотя вряд ли тоталитарных режимов), как и более очевидная связь их с толпой. Она сигнализирует об особой атмосфере, общем климате, настрое, в котором происходит рост тоталитаризма. Надо вспомнить, что вожди тоталитарных движений и сочувствующие им, так сказать, «старше» масс, коих они организуют, почему, хронологически, массам не приходится беспомощно ждать пока вырастут их собственные лидеры в сумятице разложения классового общества, наиболее заметным продуктом которого эти массы являются. Их уже готовы приветствовать (вместе с толпой, которая была более ранним побочным продуктом правления буржуазии) те, кто добровольно покинул общество еще до окончательного крушения классов. Эти готовые тоталитарные правители и вожди тоталитарных движений еще несут в себе характерные черты представителя толпы, чья психология и политическая философия достаточно хорошо известны. Но что случится, если однажды победит подлинный человек массы, мы все же не знаем, хотя можем догадываться, что он будет иметь больше общего с мелочной, расчетливой корректностью Гимmlера чем с истерическим фанатизмом Гитлера, или с тупым скучным упорством Молотова, чем с упоенно-мстительной жестокостью Сталина.

В этом отношении положение в Европе после второй мировой войны существенно не отличается от ситуации после первой. Как в 20-е годы так называемое фронтовое поколение (т.е. те, кто воспитывался и еще отчетливо помнил время до войны) создавало идеологии фашизма, большевизма и нацизма и возглавляло движения, так и теперешний общий политический и интеллектуальный климат послевоенного тоталитаризма определяется поколением, лично знавшим время и жизнь, что предшествовали настоящему. Это особенно верно для Франции, где крах классовой системы настал после второй, а не после первой мировой войны. Как и людей толпы и авантюристов эпохи империализма, вождей тоталитарных движений сближало с их интеллектуальными поклонниками то общее свойство, что все они пребывали вне классовой и национальной системы порядочного европейского общества еще до ее развала.

Этот развал, когда самодовольство фальшивой респектабельности сменилось анархическим отчаянием, предоставил первый большой шанс для элиты как, впрочем, и для толпы. Для новых вождей масс, чьи карьеры воспроизводят черты прежних вождаков толпы, очевидны провалы в профессиональной и общественной жизни, извращения и несчастья в частной. Факт, что их жизнь до политической карьеры была неудавшейся, наивно выставляемый против них бо-

лее благопристойными лидерами старых партий, оказался сильнейшим фактором привлечения масс. Казалось, он доказывал, что новые вожди лично воплощали массовую судьбу того времени и что их показная страсть жертвовать всем для движения, их уверения в преданности тем, по кому ударила катастрофа, их решимость никогда не поддаваться искушению возврата назад, в безопасность нормальной жизни, и их презрение к благопристойности были совершенно искренними, а не просто подогреваемыми властолюбием и его переходящими замыслами.

Послевоенная элита, к тому же, была лишь не намного моложе того поколения, которое позволило империализму использовать и заманить себя «славными» карьерами, выходящими за рамки обычной респектабельности, такими, как спекулянты, шпионы и искатели приключений в образе сияющих доспехами рыцарей и победителей драконов. Она разделяла с Лоуренсом Аравийским жажду раствориться, «потерять свое Я» и неистовое отвращение ко всем существующим стандартам, к любой существующей власти. Если люди этой элиты еще помнили «золотой век безопасности», они также помнили и как ненавидели его и каким неподдельным было их воодушевление при вести о начале первой мировой войны. Не только Гитлер и не только неудачники коленапреклоненно благодарили Бога, когда мобилизация 1914 г. очистила Европу<sup>44</sup>. Потом им всем не надо было корить себя за то, что они стали легкой добычей шовинистической пропаганды или лживых разъяснений о чисто оборонительном характере войны. Представители элиты шли на войну с тревожно-возбуждающим ожиданием, что все их знание, вся культура и строй жизни могут потонуть в ее «стальных бурях» (Эрнст Юнгер). В тщательно отобранных Томасом Манном словах война была «искуплением» и «очищением»; «война как таковая, а не победы вдохновляла поэта». Или по словам студента того времени: «Имеет значение лишь всегдашняя готовность жертвовать — не цель, для которой сделана жертва». Или по словам молодого рабочего: «Не имеет значения, проживет ли человек несколькими годами дольше или нет. Хотелось бы сделать что-то заметное за свою жизнь»<sup>45</sup>. И задолго до того, как один из интеллектуальных поклонников нацизма возгласил: «Когда я слышу слово “культура” — я хватаюсь за мой револьвер», поэты декламировали о своем отвращении

<sup>44</sup> См. описание Гитлером его реакции на взрыв первой мировой войны: *Mein Kampf*. Book 1. Ch. 5.

<sup>45</sup> См. собрание материалов по «внутренней» хронике первой мировой войны (*Hafkesbrink N. Unknown Germany*. New Haven, 1948. P. 43, 45, 81, соответственно). Огромная ценность этого сборника для характеристики трудноуловимых тонкостей исторической атмосферы делает отсутствие подобных исследований для Франции, Англии и Италии все более прискорбным.

к «хламу культуры» и поэтически призывали «вас — варвары, скифы, негры, индейцы — ее растоптать»<sup>46</sup>.

Просто заклеить как вспышки нигилизма это яростное недовольство (от Ницше и Сореля до Парето, от Рембо и Т. Э. Лоренса до Юнгера, Брехта и Мальро, от Бакунина и Нечаева до Александра Блока) довоенным временем и последующими попытками восстановить старое — значит проглядеть, насколько оправданным может быть такое отвращение в обществе, всецело проникнутом идеологическими воззрениями и моральными стандартами буржуазии. Но верно и то, что «фронтное поколение», в заметном отличии от избранных им духовных отцов, было совершенно захвачено желанием увидеть гибель всего этого мира фальшивой безопасностью, поддельной культуры и притворной жизни. Это желание было так велико, что перевешивало по динамической силе и выраженности все более ранние попытки «переоценки ценностей», как у Ницше, или реорганизации политической жизни, как в писаниях Сореля, или возрождения человеческой подлинности у Бакунина, или страстной любви к жизни в благородстве экзотических приключений у Рембо. Разрушение без пощады, хаос и гибель, как таковые, присваивали себе величие высших ценностей<sup>47</sup>.

Искренность этих чувств видна из того факта, что очень немногих из этого поколения излечил от военного энтузиазма действительный опыт ужасов войны. Выжившие в окопах не стали пацифистами. Они дорожили опытом, который, как они думали, мог послужить четким разделителем между ними и ненавистными респектабельными кругами. Они цеплялись за свои воспоминания о четырех годах жизни в окопах, словно те составляли объективный критерий для становления новой элиты. И не поддались они соблазну идеализировать окопное прошлое. Напротив, эти почитатели войны были первыми, кто признал, что война в эпоху машин, вероятно, не могла бы породить добродетели подобные рыцарственной отваге, чести и мужеству<sup>48</sup>, что она не давала человеку ничего, кроме опыта голого разрушения вкупе с унижитель-

<sup>46</sup> Ibid. P. 20–21.

<sup>47</sup> Это начиналось с чувства полного отчуждения от нормальной жизни. Писал же, например, Рудольф Биндинг: «Куда вернее числить нас среди мертвых, среди отрешенных (ибо величие событий отрешает и отделяет нас от всех), а не среди изгнанных, чей возврат возможен» (Ibid. P. 160). Любопытный след настроений элиты фронтного поколения можно еще обнаружить в гиммлеровском описании того, как он окончательно нашел свою «форму отбора» для реорганизации СС: «...самую суровую процедуру отбора проводят война, борьба за жизнь и смерть. В этой процедуре цену крови показывает достижение. ...Война, однако, исключительный случай, а надо найти какой-то способ производить отборы в мирное время» (Op. cit.).

<sup>48</sup> См., напр.: *Jünger E. The storm of steel. L., 1929.*

ным ощущением себя лишь крохотным колесиком в колоссальном маховике массового убийства.

Это поколение помнило войну как великую прелюдию к распаду классов и их превращению в массы. Война с ее постоянным человекоубийственным произволом стала символом смерти, «великим уравнителем»<sup>49</sup> и потому истинным отцом нового мирового порядка. Страсть к равенству и справедливости, жажда преодолеть стеснительные и бессмысленные классовые границы, отбросить глупые привилегии и предубеждения, казалось, нашли в войне выход из круга старых установок снисходительной жалости к угнетенным и обездоленным. Во времена растущей нищеты и беспомощности отдельного человека, по-видимому, так же трудно противиться жалости, когда она вырастает во всепоглощающую страсть, как и не возмущаться самой ее безграничностью, которая, похоже, убивает человеческое достоинство более верно, чем нищета как таковая.

На заре своей карьеры, когда восстановление европейского status quo было еще наиболее серьезной угрозой амбициям черни<sup>50</sup>, Гитлер взывал почти исключительно к этим чувствам фронтного поколения. Своеобразное самоотречение массового человека проявлялось здесь как тяга к анонимности, бытию в качестве номера и функционированию только в качестве винтика, короче, как жажда любого преобразования, которое смыло бы прежние лживые самоотождествления с конкретными типами ролей или предопределенными функциями внутри общества. Война переживалась как «мощнейшее из всех массовых действий», которое стирало индивидуальные различия так, что даже страдания, традиционно выделявшие индивидов в силу единственности, неповторяемости судеб, теперь могли быть истолкованы как «инструмент исторического прогресса»<sup>51</sup>. И даже национальные разделения не определяли границ тех масс, в которые желала погрузиться послевоенная элита. Как ни парадоксально, первая мировая война пригасила безотчетные национальные чувства в Европе, где в межвоенный период было гораздо важнее принадлежать к «окопному поколению», безразлично на чьей стороне, чем быть немцем или французом<sup>52</sup>. Нацисты всю свою

<sup>49</sup> *Hafkesbrink H. Op. cit. P. 156.*

<sup>50</sup> *Heiden K. (Op. cit.)* показывает, как последовательно Гитлер ставил на катастрофу в начале движения, как он боялся возможного оздоровления Германии. «Раз шесть [во время Гурского путча], разными словами он твердил своим штурмовым группам, что Германия гибнет. "Наше дело — обеспечить успех нашему движению"» (P. 167) — успех, который в тот момент зависел от провала общегерманской борьбы в Гуре.

<sup>51</sup> *Hafkesbrink H. Op. cit. P. 156–157.*

<sup>52</sup> Это чувство было широко распространенным уже во время войны, когда Рудольф Биндинг писал: «[Эту войну] нельзя сравнивать с обычной военной кампанией. Ибо там

пропаганду строили на этом размытом товариществе, этой «общности судьбы» и завоевали на свою сторону большое число ветеранских организаций во всех европейских странах, тем самым доказав, насколько бессодержательными стали национальные лозунги даже в рядах так называемых правых, которые использовали их ради внесения дополнительных оттенков в идею насилия, а не за их особое национальное содержание.

Ни один элемент в этом общем интеллектуальном климате послевоенной Европы не был очень уж новым. Еще Бакунин признавался: «Я не хочу быть Я, я хочу быть Мы»<sup>53</sup>, а Нечаев исповедовал евангелие «обреченного человека», не имеющего «ни личных интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже собственного имени»<sup>54</sup>. Антигуманистическим, антилиберальным, антииндивидуалистическим и антикультурным инстинктам фронтового поколения, их яркому и остроумному превознесению насилия, власти, жестокости предшествовали неуклюжие и напыщенные «научные» доказательства империалистической элиты, будто борьба всех против всех есть закон вселенной, что экспансия — это в первую очередь психологическая необходимость, а потом политический прием и что поведение человека должно следовать таким всеобщим законам<sup>55</sup>. Новым в писаниях фронтового поколения был их высокий литературный уровень и подлинно глубокая страсть. Послевоенные писатели больше не нуждались в научных доводах от генетики и почти (или совсем) не пользовались собраниями сочинений Гобино или Хаустона Стюарта Чемберлена, кои принадлежали уже к культурному хозяйству филистимлян-обывателей. Они читали не Дарвина, а маркиза де Сада<sup>56</sup>. Если абстрактно они

один руководитель противопоставляет свою волю воле другого. Но в этой Войне оба противника лежат на земле и только Война имеет свою волю» (Ibid. P. 67).

<sup>53</sup> Бакунин в письме от 7 февраля 1870 г. См.: *Nomad M. Apostles of revolution*. Boston, 1939. P. 180.

<sup>54</sup> «Катехизис революционера» написан либо самим Бакуниным [существуют современные исследования, твердо отрицающие это (см.: *Пирумова Н. М. Бакунин. М.: Молодая гвардия. 1970. С. 298–301*). — *Прим. пер.*], либо его учеником Нечаевым. О вопросе авторства и полный перевод текста см.: *Nomad M. Op. cit. P. 227 ff.* Во всяком случае, «система полнейшего пренебрежения любыми стеснениями простого приличия и чести в отношении революционера к другим людям... вошла в историю русского революционного движения под именем “нечаевщины”» (Ibid. P. 224).

<sup>55</sup> Среди этих политических теоретиков империализма выделяется: *Seillière E. Mysticisme et domination: Essais de critique impérialiste*. 1913. См. также: *Sprietsma C. We imperialists: Notes on Ernest Seillière's philosophy of imperialism*. N.Y., 1931; *Monod G. // La Revue Historique*. January 1912; *Estève L. Une nouvelle psychologie de l'impérialisme: Ernest Seillière*. 1913.

<sup>56</sup> Во Франции с 1930 г. маркиз де Сад стал одним из любимейших авторов литературного авангарда. Жан Пулен в своем «Вступлении» к новому изданию романа де Сада

и верили во всеобщие законы, то определенно не очень спешили подчиняться им. Они воспринимали насилие, власть, жестокость как высшие способности человека, который, безусловно, потерял свое место в мироздании и был слишком горд, чтобы тосковать по теории власти, способной безопасно вернуть его назад и опять воссоединить с миром. Независимо от теоретического обоснования или содержания, они довольствовались слепой приверженностью ко всему, что порядочное общество запрещало, и возводили жестокость в главную добродетель, потому что она противоречила гуманистическому и либеральному лицемерию общества.

Если сравнивать это поколение с идеологами XIX в., с теориями которых его представители, по-видимому, имеют иногда так много общего, то главным их отличием будет большая искренность и страсть. Они были глубже затронуты нищетой, глубже интересовались загадками современной жизни и больше уязвлены лицемерием, чем все апостолы доброй воли и братства. И они не могли уже убежать в экзотические страны, не могли больше изображать истребителей драконов среди странных и возбуждающих дух людей. Не было исхода из ежедневной рутины нищеты, смирения, разочарования и горькой обиды, рутины, приукрашенной поддельной культурой «образованных» разговоров, и не было гармонии с обычаями сказочных земель, в которых возможно было бы спастись от растущего отвращения, беспрестанно порождаемого самой жизнью.

Эта неспособность убежать в широкий мир, эти чувства человека опять и опять пойманного в силки общества — все это, так отличающееся от условий, которые формировали «империалистический» характер, — добавили к старой страсти анонимности и поискам самозабвения постоянное напряжение и жажду насилия. При невозможности радикальной перемены роли и характера, вроде самоотжествления с арабским национальным движением или с ритуалами индийской деревни, добровольное погружение в надчеловеческую стихию разрушения казалось спасением от автоматического отождествления с предустановленными функциями в обществе, с их полнейшей банальностью и одновременно казалось силой, помогающей изничто-

«Les infortunes de la vertu» (P., 1946) замечает: «Когда я вижу сегодня, как много писателей сознательно пытаются отбросить искусственность и литературную игру ради невыразимого [un évènement indicible]... со страстью ищут возвышенное в позорном, великое в губительном... я спрашиваю себя... не повернулась ли наша современная литература, в тех ее частях, кои кажутся нам наиболее жизненными (или, во всяком случае, наиболее агрессивными), полностью к прошлому и не был ли именно де Сад тем, кто определил ее лицо». См. также: *Bataille G. Le secret de Sade // La Critique*. Т. 3. 1947. № 15–16, 17.

жить само это функционирование. Эти люди испытали влечение к ширококвещательному активизму тоталитарных движений, к их удивительному и только по видимости противоречивому настаиванию и на первенстве чистого действия, и на неодолимой силе чистой необходимости. Эта смесь точно соответствовала военному опыту фронтового поколения, опыту непрестанной деятельности в рамках всеподавляющих роковых обстоятельств.

Сверх того, казалось, что активизм дает новые ответы на старый беспокойный вопрос «кто я есть?», который всегда всплывает в годы кризиса с удвоенной настойчивостью. Если общество утверждало: «Вы то, чем вы кажетесь», послевоенный активизм на это отвечал: «Вы то, что вы сделали» (например, человек, кто первым перелетел через Атлантику, как в «Der Flug der Lindberghs» Брехта) — ответ, после второй мировой войны повторенный и слегка измененный Сартром: «Вы — это ваша жизнь» (в «Huis Clos»). Упорное появление таких ответов объясняется не столько их логической обоснованностью в качестве новых определений сущности личности, сколько их полезностью для возможного бегства от социальной определенности, от множества взаимозаменяемых ролей и функций, навязываемых обществом. Выход был в том, чтобы делать нечто героическое или преступное, но непредсказуемое и не предписанное кем-то еще.

Широковещательный активизм тоталитарных движений, предпочтением ими терроризма всем другим формам политической деятельности одинаково привлекали интеллектуальную элиту и толпу именно потому, что этот терроризм чрезвычайно отличался от терроризма прежних революционных обществ. Он не был больше делом рассчитанной политики, которая видела в террористических актах единственное средство устранить определенных выдающихся лиц, ставших из-за их политики или служебного положения символом подавления. Самым привлекательным оказалось то, что терроризм стал чем-то вроде философии, через которую изливались отчаяние, обида и слепая ненависть, стал родом политического экспрессионизма, который использовал бомбы для самовыражения, восхищенно любовался известностью, даваемой громкими делами, и был вполне готов заплатить цену жизни, чтобы принудить нормальные слои общества признать собственное существование. Это был тот же дух и тот же наигрыш, который заставил Геббельса задолго до окончательного поражения нацистской Германии с явным восторгом заявить, что нацисты, в случае ухода, знают, как так громко хлопнуть за собой дверью, чтобы их не забыли вовеки.

И все же именно здесь можно найти (если он вообще где-либо есть) надежный критерий для отличения элиты от толпы в предто-

литарной атмосфере. Толпа хотела — и Геббельс выразил это с большой точностью — войти в историю даже ценой разрушения. Искреннее убеждение Геббельса, будто «величайшее счастье, что может испытать сегодня наш современник», — либо быть гением, либо служить ему<sup>57</sup>, было типичным для толпы, но ни для масс, ни для сочувствующей элиты. Последняя, напротив, принимала анонимность всерьез, вплоть до отрицания существования гения: все теории искусства 20-х годов отчаянно пытались доказать, что совершенство — продукт умения, мастерства, логики и реализации потенциалов самого материала<sup>58</sup>. Это толпа, а не элита была зачарована «ослепительным сиянием славы» (Стефан Цвейг) и восторженно приветствовала идолопоклонство перед гением в позднебуржуазном мире. В этом толпа XX в. верно следовала образцу более ранних «выскочек», которые тоже открывали для себя, что буржуазное общество скорее не устоит перед очарованием «ненормального», гения, гомосексуала или еврея, чем перед простым достоинством и заслугой. Презрение элиты к «гению» и ее жажда анонимности были еще и свидетельством настроения, которое ни массы, ни толпа не могли понять и которое, говоря словами Робеспьера, силилось утвердить величие человека на фоне ничтожности великого.

Несмотря на это расхождение между элитой и толпой, нет сомнения, что элита была довольна всякий раз, когда «дно» заставляло почтенное общество принимать себя на равной ноге. Представители элиты совсем не возражали заплатить ценой разрушения цивилизации ради забавы видеть, как те, кто в прошлом несправедливо был исключен из нее, силой прокладывают свой путь в это общество. Их не особенно возмущали даже чудовищные подлоги и вымыслы в историографии, в которых повинны все тоталитарные режимы и которые достаточно ясно заявляют о себе уже в тоталитарной пропаганде. Они убедили себя, что традиционная историография лжива в любом случае, поскольку исключала из памяти человечества неимущих и угнетенных. А тех, кого отвергало их собственное время, обычно забывала и история, и это нагромождение несправедливостей тревожило всех чутких и совестливых, пока не иссякала вера в грядущее, где последние станут первыми. Несправедливости в прошлом, как и в настоящем, стали нестерпимыми, когда больше не осталось надежды, что справедливость в конце концов восторжествует. Великая попытка Маркса переписать мировую историю с позиций идеи классовой борь-

<sup>57</sup> Goebbels J. Op. cit. P. 139.

<sup>58</sup> В этом отношении показательны теории искусства «Баухауза». См. также заметки о театре Бертольта Брехта (Gesammelte Werke. L., 1938).

бы увлекла даже тех, кто не верил в правильность этого его тезиса, как раз своим изначальным стремлением отыскать способ включения в память о прошлом всех безымянных судеб, выкинутых из официальной истории.

Временный союз между элитой и толпой в основном и покоился на том искреннем восхищении, с коим первая созерцала, как вторая крушит благопристойность и респектабельность. Этого можно было достигнуть, наблюдая, как немецкие стальные бароны вынуждены принимать в обществе Гитлера, художника-любителя и недавнего самонадеянного отщепенца, а также как грубы и вульгарны подлоги, внедряемые тоталитарными движениями во все области умственной жизни, по мере того как они собирали все подпольные, малопочтенные составляющие европейской истории в одну последовательную картину. С этой точки зрения доставляло удовольствие видеть, что и большевизм и нацизм начали даже отодвигать в сторону те источники своих идеологий, которые уже успели завоевать некоторое признание в академических или иных официальных кругах. Не диалектический материализм Маркса — но заговор трехсот семейств, не напыщенная ученость Гобино и Чемберлена — но «Протоколы сионских мудрецов», не явное влияние католической церкви и роль антиклерикализма в странах латинской культуры — но «кухонная» литература об иезуитах и франкмасонах. Целью таких, самых разнообразных и изменчивых построений всегда было выставить официальную историю на всеобщее осмеяние, показать механику тайных влияний, в свете которых видимая, прослеживаемая и известная историческая действительность представляла лишь наружным фасадом, откровенно воздвигнутым, чтобы дурачить людей.

К этому отвращению интеллектуальной элиты к официальной историографии, к ее убеждению, что история, которая всегда ложь и подлог, вполне может послужить и сценической площадкой для разных помешанных, надо прибавить еще скверный, нравственно разлагающий соблазн, заключенный в возможности, что огромная ложь и чудовищные подлоги могут в конце концов стать неоспоримыми фактами, что человек свободен произвольно менять свое собственное прошлое и что различие между истиной и ложью может перестать быть объективным и сделаться просто игрушкой власти и ловкости, давления и бесконечного повторения. Не особое умение Сталина и Гитлера в искусстве лжи, но сам факт, что они сумели ложью организовать массы в коллективное целое, зачаровывал, придавал ей впечатляющее величие. Обыкновенные подлоги и обманы с точки зрения школьной учености, казалось, получали санкцию самой истории, когда за ними вставала во всей силе марширующая

реальность движений, черпавших из них необходимое воодушевление для действия.

Привлекательность, которую тоталитарные движения сохраняют для элиты всюду, где и пока они не захватили власть, озадачивает потому, что постороннему или нейтральному наблюдателю больше бросаются в глаза явно вульгарные и произвольные положительные доктрины тоталитаризма, чем общее настроение, пропитывающее предтоталитарную атмосферу. Эти доктрины так сильно расходятся с общепринятыми интеллектуальными, культурными и моральными нормами, что и в самом деле можно подумать, будто только прирожденный коренной пороки в характере интеллектуалов, «la trahison des clercs» (Ж. Бенда), либо извращенная ненависть духа к самому себе объясняют восторг, с каким элита принимала «идеи» толпы. Риторы гуманизма и либерализма в своем горьком разочаровании и по незнанию обобщенного опыта времени обычно упускали из виду, что в атмосфере, в которой испарились все традиционные ценности и суждения (после того как идеологии XIX в. попровергали друг друга и поистожили свой жизненный пыл), в каком-то смысле стало легче принимать явно нелепые высказывания, чем старые истины, сделавшиеся благочестивыми банальностями, и легче именно потому, что в душе ни от кого не ждали восприятия этих нелепостей всерьез. Вульгарная грубость с ее циничным отвержением почитаемых норм и общепринятых теорий несла с собою открытое допущение возможности самого худшего и пренебрежение ко всем претенциозным надеждам, что по ошибке легко принималось за отвагу и новый стиль жизни. В распространении установок и убеждений толпы (которые фактически были установками и убеждениями буржуазии, очищенными от лицемерия) те, кто традиционно ненавидел буржуазию и добровольно покидал добропорядочное общество, видели лишь избавление от лицемерия и благопристойности, а не само содержание<sup>59</sup>.

Поскольку буржуазия претендовала быть проводником и хранителем западных традиций и в то же время заводила в тупик все моральные достижения, публично выставляя напоказ добродетели, кои-

<sup>59</sup> Следующий пассаж Рема типичен для чувств почти всего молодого поколения, не только элиты: «Правят лицемерие и фарисейство. Сегодня они наиболее выдающиеся черты общества... Нет ничего более лживого, чем так называемые моральные устои общества». Настоящие парни «не находят своей дороги в филистерском мире буржуазной двойной морали и больше не знают, как отличить истину от заблуждения» (Röhm E. Die Geschichte eines Hochverrätters. 1933. S. 267, 269). Гомосексуализм в этих кругах тоже был, по меньшей мере отчасти, выражением их протеста против общества.

ми она не только не обладала в частной и деловой жизни, но которые на деле презирала, то многим казалось революционным допускать жестокость, пренебрежение к человеческим ценностям и общую аморальность, ибо это по крайней мере разрушало двуличие, на чем, по видимому, держалось существующее общество. Как соблазнительно блеснуть крайними взглядами в лицемерной полутьме двойных моральных стандартов, носить в обществе маску жестокости, когда каждый на деле не считается с другим и притворяется великодушным, щегольнуть порочностью в мире не порока, а всего лишь посредственности! Интеллектуальная элита 20-х годов, очень мало знавшая о более ранних связях между толпой и буржуазностью, была уверена, что старую игру *épater le bourgeois* можно довести до совершенства, если начать шокировать общество ироническим преувеличением его собственного поведения.

В то время никто не предвидел, что истинной жертвой этой иронии в большей мере станет сама элита, чем буржуазия. Авангард не ведал, что ломится в открытые двери, думая биться головой о стены, что единодушный успех разоблачит его притязания быть революционным меньшинством и докажет, что он силится выразить новый массовый дух или дух времени. В этом отношении особенно существенно восприятие в предгитлеровской Германии «*Dreigroschenoper*» Брехта. Пьеса изображала гангстеров как уважаемых бизнесменов и уважаемых бизнесменов как гангстеров. Эта ирония пропадала, когда почтенный бизнесмен в зале воспринимал все как глубокое проникновение в установившиеся нравы и обычаи, а толпа приветствовала как артистическое одобрение гангстеризма. Припев одного из зонгов пьесы «*Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral*» [«сперва жратва, мораль потом»] поистине каждый встречал бешеными аплодисментами, хотя по различным причинам. Толпа рукоплескала потому, что поняла это изречение буквально; буржуазия потому, что так долго дурачила себя собственным лицемерием, что успела устать от напряжения и нашла глубокую мудрость в словесном выражении пошлости, которой жила; элита потому, что находила срывание покровов лицемерия превосходной и чудесной забавой. Воздействие пьесы было как раз противоположно тому, чего искал Брехт. Буржуазию уже нельзя было шокировать ничем. Она приветствовала обнаружение своей скрытой философии, сама популярность которой доказывала, что буржуа всегда были правы, так что единственным политическим результатом брехтовской «революции» оказалось подстрекательство каждого сбросить обременительную маску лицемерия и открыто принять жизненные нормы толпы.

Во Франции сходную по двусмысленности реакцию вызвал почти десятью годами позже опус Селина «*Bagattes pour un Massacre*», где он предложил устроить всееврейскую резню. Андре Жид публично восхищался книгой на страницах «*Nouvelle Revue Française*», конечно, не потому, что хотел действительно истребить французских евреев, а потому, что радовался грубому признанию в таком желании и восхитительному контрасту между прямоотой Селина и лицемерной обходительностью, которая окутывала еврейский вопрос во всех добропорядочных кругах. Какой неукротимой среди элиты была жажда срывать лицемерные маски, можно судить по факту, что подобные восторги не сумело охладить даже весьма наглядное преследование евреев Гитлером, которое во время писаний Селина велось уже с полным размахом. И все-таки в этой писательской реакции гораздо больше отвращения к филосемитизму либералов, чем подлинной ненависти к евреям. Похожий склад ума объясняет примечательный факт, что широко публиковавшиеся мнения Гитлера и Сталина об искусстве и их гонения на современных художников так и не смогли никогда вытравить привлекательность тоталитарных движений для мастеров авангарда. Все это обнаруживает у элиты недостаток чувств реальности вкупе с извращенным самоотречением, что чрезвычайно похоже на выдуманный мир и своеобразное бескорыстие масс. В том и таился великий шанс для тоталитарных движений, а также причина, почему смог осуществиться временный союз между интеллектуальной элитой и толпой, что их проблемы в каком-то элементарном и недифференцированном смысле становились одинаковыми и предвещали проблемы и умонастроение масс.

С привлекательностью, которую в элите возбуждало отсутствие лицемерия у толпы и самозабвенное «бескорыстие» масс, был тесно связан равно неодолимый соблазн, скрытый в призрачной цели тоталитарных движений, ликвидировать разделение между частной и общественной жизнью и восстановить таинственную, мистико-иррациональную цельность человека. С тех пор как Бальзак обнажил частную жизнь важнейших фигур французского общества и постановка «Столов общества» Ибсена завоевала европейский театр, тема двойной морали была одной из главных тем трагедий, комедий и романов. Двойная мораль, практикуемая буржуазией, стала отличительным знаком того *esprit de sérieux*, который всегда напыщен и никогда искренен. Указанное разделение частной и публичной или общественной жизни не имело ничего общего с оправданным разделением между личной и общественной сферами, но было скорее психологическим отражением борьбы между *bourgeois* и *citoyen* в XIX в., между человеком, который оценивал и использовал все социальные институты по мерке своих ча-

стных интересов, и ответственным гражданином, кого занимают общественные дела как дела всех касающиеся. В этой связи либеральная политическая философия, согласно которой простая сумма отдельных, индивидуальных интересов складывается в чудо общего блага, казалась только рациональным оправданием той беззаботности, с какой в реальной жизни подавлялись частные интересы безотносительно к общему благу.

Против классового духа континентальных партий, которые всегда признавали, что они представляют определенные интересы, и против «оппортунизма», вытекавшего из их самопонимания как всего лишь частей целого, тоталитарные движения выдвигали свое «превосходство» в качестве носителей *Weltanschauung*, благодаря которому они сумеют овладеть человеком в целом<sup>60</sup>. В этом притязании на тотальность вожак движения, как люди толпы, заново переформулировали и лишь вывернули наизнанку собственно буржуазную политическую философию. Класс буржуа, прокладывая свой путь в условиях разнообразных социальных давлений на него и часто преодолевая экономическое вымогательство политических институтов, всегда верил, что видимые общественные органы власти направляются его собственными тайными, необщественными интересами и влияниями. В этом смысле буржуазная политическая философия всегда была «тоталитарной», всегда допускала совпадение политики, экономики и общества, при котором политические институты играют роль лишь *façade* для частных интересов. Двойной стандарт буржуазии, проведение ею различий между общественной и частной жизнью были уступкой национальному государству, которое отчаянно старалось развести эти две сферы.

Элиту же увлекал радикализм как таковой. Обнадеживающие предсказания Маркса, будто государство отомрет и возникнет бесклассовое общество, больше не казались ни радикальными, ни достаточно мессианскими. Если Бердяев прав, заявляя, что «русские революционеры... всегда были тотальны», то притягательность, с какой Советская Россия почти в равной степени воздействовала на нацистских и коммунистических интеллектуальных попутчиков, заключается именно в том, что в России «революция была... религией и философией, а не только борьбой, связанной с социальной и политической стороной жизни»<sup>61</sup>. Истина такова, что превращение классов в

<sup>60</sup> Роль *Weltanschauung* в формировании нацистского движения много раз подчеркивал сам Гитлер. Интересно отметить, что в «*Mein Kampf*» он пытался понять необходимость основания партии на каком-то «мировоззрении» через размышления о превосходстве марксистских партий над другими (Book 2. Ch. 1 «*Weltanschauung and Party*»).

<sup>61</sup> *Berdyayev N. The origin of Russian communism. 1937. P. 124–125. [Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. С. 87.]*

массы и крушение престижа и авторитета политических институтов принесли в западноевропейские страны условия, сходные с преобладавшими в России, почему не было случайностью, что их революционеры начали перенимать типично русский революционный фанатизм, который, по сути, предвкусал и жаждал не изменения социальных и политических условий, а радиального разрушения всех существующих убеждений, ценностей и институтов. Толпа попросту воспользовалась возможностями этого нового настроения и реализовала краткосрочный союз революционеров и преступников, который тоже присутствовал во многих революционных сектах царской России, но до поры до времени не проявлялся заметно на европейской сцене.

Вызывающий тревогу союз между толпой и элитой, как и примечательное совпадение их ожиданий, берет начало в факте, что эти слои были первыми обречены выпасть из структуры национального государства и рамок классового общества. Люди толпы и элиты легко, хотя бы временно, находили друг друга, так как и те и другие ощущали, что представляют судьбу времени, что за ними следом идут бесконечные массы, что рано или поздно многие европейские народы окажутся с ними, готовые, как они думали, делать их революцию.

Все обернулось так, что все они ошиблись. Толпа, это подполье, дно буржуазного класса, надеялась, что беспомощные массы помогут ее представителям прорваться к власти, поддержат их попытки протолкнуть свои частные интересы, что она сумеет попросту занять место старых слоев буржуазного общества и влить в него более предприимчивый дух карабкающихся вверх низов. Но тоталитаризм у власти быстро усвоил, что дух предприимчивости не ограничивался слоями населения, формирующими толпу, и что в любом случае такая инициатива могла только угрожать тотальному господству над человеком. К тому же, отсутствие щепетильности тоже не ограничивалось пределами толпы и, как показал опыт, ему можно было научить в относительно короткое время. Массы организованных обывателей представляли гораздо лучший материал для работы машины подавления и уничтожения и оказались более способными на страшные преступления, чем так называемые профессиональные преступники, лишь бы эти преступления были хорошо организованы и имели вид обычной упорядоченной работы.

Тогда не случайно, что редкие протесты против нацистских массовых злодеяний в отношении евреев и восточноевропейских народов исходили не от военных или от любой другой части организованных масс благопристойных обывателей, а от тех ранних соратников Гитлера, ко-

торые были типичными представителями толпы<sup>62</sup>. И Гиммлер, наиболее могущественный человек в Германии после 1936 г., тоже не был одним из той «вооруженной богемы» (Хейден), чьи черты мучительно напоминали причуды интеллектуальной элиты. Сам Гиммлер был «более нормальным», т.е. более обывателем, чем любой из первоначальных вождей нацистского движения<sup>63</sup>. Он не был ни богемой, как Геббельс, ни сексуальным преступником, как Штрейхер, ни полупомешанным, как Розенберг, ни фанатиком, как Гитлер, ни авантюристом, как Геринг. Он доказал свои превосходные способности к организации масс для осуществления тотального господства, просто предположив, что большинство людей — не богема, не фанатики, не авантюристы, не сексуальные маньяки, не чокнутые и не социальные неудачники, но

<sup>62</sup> Известно, например, курьезное ходатайство Вильгельма Кубе, генерального комиссара в Минске и одного из старейших членов партии, который в 1941 г., т.е. в начале массовых убийств, писал своему шефу: «Я, конечно, тверд и хочу сотрудничать в решении еврейского вопроса, но ведь люди, воспитанные в нашей собственной культуре, в конце концов, отличаются от местных скотских орд. Надо ли нам поручать задачу истребления евреев литовцам и латышам, которых презирает даже туземное население? Лично я не мог бы исполнить это. Прошу Вас дать мне четкие инструкции, как действовать наиболее гуманным образом ради спасения престижа нашего Рейха и нашей Партии». Это письмо опубликовано в кн.: *Weinreich M. Hitler's Professors*. N.Y., 1946. P. 153–154. Ходатайство Кубе было быстро отклонено, но почти такая же попытка спасти жизни датских евреев, предпринятая В. Бестом, полномочным представителем рейха в Дании и хорошо известным нацистом, оказалась более успешной (см.: *Nazi conspiracy*. Vol. 5. P. 2).

Сходным образом Альфред Розенберг, проповедник неполноценности славянских народов, очевидно, никогда не воображал, что его теории однажды могут обернуться ликвидацией этих народов. Назначенный в тыловое управление на Украине, он писал гневные рапорты о тамашней обстановке осенью 1942 г., после того как еще раньше пытался добиться прямого вмешательства от самого Гитлера (см.: *Nazi conspiracy*. Vol. 3. P. 83 ff; Vol. 4. P. 62).

Из этого правила имеются, конечно, исключения. Человек, спасший Париж от разрушения, генерал фон Холтиц, однако, еще «боялся, что будет смещен и разжалован за неисполнение приказов», хотя и знал «уже несколько лет назад, что война проиграна». Осмелился бы он воспротивиться приказу «превратить Париж в развалины» без энергичной поддержки старого члена нацистской партии, посла во Франции Отто Абеца, кажется очень сомнительным согласно его же собственному свидетельству на процессе Абеца в Париже (см.: *New York Times*. 1949 July 21).

<sup>63</sup> Англичанин Стефен Робертс (*Roberts S. H. The house that Hitler built*. L., 1939) описывает Гиммлера как «человека изысканной вежливости, приверженного к простым радостям жизни. У него нет ни одной из поз тех нацистов, которые ведут себя как полубоги... Никто не выглядит меньше похожим на исполнителя такой работы, чем этот полицейский диктатор Германии, и я убежден, что не встречал в Германии никого нормальнее его...» (P. 89–90). Это странным образом напоминает одно из замечаний матери Сталина, согласно большевистской пропаганде сказавшей о нем: «Образцовый сын! Я хотела бы, чтобы все были на него похожи» (*Souvarine B.* Op. cit. P. 656).

прежде всего и больше всего держатели рабочих мест и добропорядочные семейные люди.

Уход обывателя в частную жизнь, его исключительная сосредоточенность на делах семьи и карьеры были поздним и уже выродившимся плодом буржуазной веры в первенство частного интереса. Обыватель — это буржуа, оторванный от собственного класса, атомизированный индивид, порожденный распадом буржуазного класса как такового. Массовый человек, кого Гиммлер организовал для величайших массовых преступлений, когда-либо совершенных в истории, имел черты обывателя, а не прежнего человека толпы и был буржуа, который посреди развалин своего мира ни о чем так не беспокоился, как о своей личной безопасности, готовый по малейшему поводу пожертвовать всем — верой, честью, достоинством. Оказалось, нет ничего легче, чем разрушить внутренний мир и частную мораль людей, не думающих ни о чем, кроме спасения своих частных жизней. После немногих лет власти и систематических согласованных усилий нацисты могли с основанием заявить: «Того единственного, кто еще остается частным индивидуумом в Германии, надо искать среди спящих»<sup>64</sup>.

О тех же представителях элиты, кто когда-либо позволил тоталитарным движениям соблазнить себя, и кого иногда из-за их умственной одаренности даже обвиняют как вдохновителей тоталитаризма, со всей беспристрастностью надо сказать: то, что эти безрассудные дети XX в. делали или не делали, не имело никакого влияния на тоталитаризм, хотя оно и играло некоторую роль в ранних успешных попытках таких движений заставить внешний мир воспринимать их учения серьезно. Всюду, где тоталитарные движения захватывали власть, вся эта группа сочувствующих бывала потрясена еще до того, как тоталитарные режимы приступали к совершению своих величайших преступлений. Интеллектуальная, духовная и художественно-артистическая инициатива столь же противопоказана тоталитаризму, как и бандитская инициатива толпы, и обе они опаснее для него, чем простая политическая оппозиция. Последовательное гонение всякой более высокой формы умственной деятельности новыми вождями масс вытекает из чего-то большего, чем их естественное возмущение всем, что они не могут понять. Тотальное господство не допускает свободной инициативы в любой области жизни, не терпит любой не полностью предсказуемой деятельности. Тоталитаризм у власти неизменно заменяет все первостепенные таланты, независимо от их симпатий, теми болванами и дураками, у которых само отсутствие

<sup>64</sup> Замечание сделано Робертом Леем. См.: *Kohn-Bramstedt E.* Op. cit. P. 178.

умственных и творческих способностей служит лучшей гарантией их верности<sup>65</sup>.

<sup>65</sup> Большеви́стская политика, изумительно последовательная в этом отношении, хорошо известна и едва ли нуждается в дальнейших комментариях. Пикассо, если брать самые известные примеры, не любим в России, хотя он и стал коммунистом. Вполне возможно, что именно внезапный поворот в позиции Андре Жида после наблюдений большевистской действительности в Советской России (*Retour de l'URSS*) в 1936 г. окончательно убедил Сталина в бесполезности художников-творцов даже в качестве попутчиков. Нацистская политика отличалась от большевистских мероприятий только тем, что она все же не убивала свои первоклассные таланты.

Стоило бы подробно изучить карьеры тех сравнительно немногих немецких ученых, кто вышел за пределы простого сотрудничества и добровольно предложил свои услуги, потому что был убежденным нацистом. Указанное сочинение Вейнрейха — единственное имеющееся исследование, но оно запутывает, ибо не различает среди профессоров тех, кто принял нацистский символ веры, и тех, кто был обязан своей карьерой исключительно этому режиму, опускает ранние этапы карьер ученых и потому неразборчиво сваливает хорошо известных людей с большими достижениями и заслугами в одну кучу нацистских придурков. Наиболее интересен здесь пример юриста Карла Шмитта, чьи чрезвычайно изобретательные теории о конце демократии и правового правления все еще обеспечивают интересующимся захватывающее чтение. Уже в середине 30-х годов он был заменен собственным нацистским выводком теоретиков политики и права, такими, как Ханс Франк, позже губернатор Польши, Готфрид Нессе и Рейнхард Хен. Последним впал в немилость историк Вальтер Франк, который был убежденным антисемитом и членом нацистской партии еще до того, как она пришла к власти, а в 1933 г. стал директором новообразованного «Reichsinstitut für Geschichte des Neuen Deutschlands» с его знаменитым *Forschungsabteilung Judenfrage* и редактором девятитомных «Forschungen zur Judenfrage» (1937–1944). В начале 40-х годов Франк был вынужден уступить свое положение и влияние Альфреду Розенбергу, чей «*Der Mythos des 20. Jahrhunderts*» определенно не обнаруживает никаких следов увлечения «ученостью» или «ученой схоластикой». Франк явно потерял доверие только потому, что не был научным шарлатаном.

Чего никак не могли понять ни элита, ни толпа, с таким пылом принимавшие национал-социализм, так это то, что «никто не может принять этот Порядок... случайно. Превыше желания служить и независимо от него стоит неумолимая необходимость отбора, которая не знает ни смягчающих обстоятельств, ни милосердия» (*Der Weg der SS*, выпущенный SS Hauptamt-Schulungsamt, n.d., S. 4). Иными словами, при отборе тех, кто хотел бы принадлежать к ним, нацисты намеревались принимать свои собственные решения, не считаясь со «случайностью» любых мнений. То же самое, по-видимому, верно для отбора большевиков в тайную полицию. Ф. Бек и В. Гэдин сообщают, что работники НКВД призываются из рядов партии, не имея ни малейшей возможности добровольно избрать эту «карьеру» (*Beck F., Godin W. Russian purge and the extraction of confession*. 1951. P. 160).

## Глава одиннадцатая

### ТОТАЛИТАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ

#### 1. Тоталитарная пропаганда

Только толпу и элиту можно привлечь энергией, содержащейся в самом тоталитаризме; завоевать же массы можно только с помощью пропаганды. В условиях конституционного правления и свободы мнений тоталитарные движения, борясь за власть, могут использовать террор только в определенных пределах и, подобно другим партиям, вынуждены завоевывать приверженцев и внушать доверие публике, которая еще не полностью изолирована от всех других источников информации.

Давно известно и часто утверждалось, что в тоталитарных странах пропаганда и террор представляют две стороны одной медали<sup>1</sup>. Однако это верно лишь отчасти. Везде, где тоталитаризм обладает абсолютной властью, он заменяет пропаганду идеологической обработкой и использует насилие не столько для запугивания людей (это делается лишь на начальных стадиях, когда еще существует политическая оппозиция), сколько для постоянного воплощения своих идеологических доктрин и своей практикуемой лжи. Тоталитаризм не может удовлетвориться утверждением, что безработицы не существует, при наличии противоположных фактов; в качестве составной части своей пропаганды он уничтожит пособия по безработице<sup>2</sup>. В равной степени важен и тот факт, что отказ признать безработицу, воплотил, пусть даже до-

<sup>1</sup> См., напр.: *Kohn-Bramstedt E. Dictatorship and political police: The technique of control by fear*. L., 1945. P. 164 ff. Объяснение состоит в том, что «террор без пропаганды потерял бы большую часть своего психологического эффекта равно, как и пропаганда без террора не воздействует с полной силой» (p. 175). В этом утверждении и в других, подобных ему, повторяющих большей частью одну и ту же мысль, упускается тот факт, что не только политическая пропаганда, но и все современные средства массовой информации содержат элемент угрозы; а террор, напротив, может быть вполне эффективным и без пропаганды, покуда он не выходит за рамки политического террора, исходящего от тирании. Как только к террору прибегают для насилия не только вовне, но, как это бывало и внутри, когда политический режим жаждет большего, чем просто власти, тогда террор нуждается в пропаганде. В этом смысле нацистский теоретик Е. Адамовски смог сказать: «Пропаганда и насилие никогда не противоречат друг другу. Использование насилия может быть частью пропаганды» (*Hadamovsky E. Propaganda und nationale Macht*. 1933. S. 22).

<sup>2</sup> «В это время было официально объявлено, что безработица в Советской России «ликвидирована». Следствием этого объявления была также «ликвидация» всех пособий по безработице» (см.: *Ciliga A. The russian enigma*. L., 1940. P. 109).

вольно неожиданным путем, старую социалистическую доктрину: кто не работает, тот не ест. Или возьмем другой пример, когда Сталин решил переписать историю русской революции. Пропаганда его новой версии включала в себя вместе с уничтожением ранних книг и документов также и уничтожение их авторов и читателей. Публикация в 1938 г. новой официальной истории Коммунистической партии была сигналом к окончанию свержения, уничтоживших целое поколение советских интеллектуалов. Точно так же нацисты на оккупированных восточных территориях в первую очередь использовали антисемитскую пропаганду в целях осуществления более строгого контроля над населением. Они не нуждались в терроре и не использовали его для подкрепления этой пропаганды. Когда же они ликвидировали большую часть польской интеллигенции, то сделали это не потому, что последние были в оппозиции к ним, а потому, что, согласно их доктрине, у поляков не было интеллекта. И когда они планировали похищать голубоглазых и белокурых детей, в их намерение входило не запугать население, а спасти «немецкую кровь»<sup>3</sup>.

Пока тоталитарные движения существуют еще внутри нетоталитарного мира, им приходится прибегать к тому, что мы обычно называем пропагандой. Но такая пропаганда всегда направлена вовне — будь то не вовлеченный в движение слой населения внутри страны или нетоталитарные страны за границей. Эта внешняя сфера, к которой обра-

<sup>3</sup> Так называемая операция *hau* [операция силос] началась с приказа Гимmlера, датированного 16 февраля 1942 г., «согласно которому [индивидам] немецкого происхождения в Польше» ставилось условие, что их дети должны быть отправлены в семьи, «желающие [принять их] безоговорочно, только из любви к их хорошей крови» (Нюрнбергский документ R 135, копированный в Париже в Centre de Documentation Juive). В июне 1944 г. девятая армия действительно украла 40–50 тысяч детей с последующей транспортировкой их в Германию. В сообщении об этих событиях, посланном в Генеральную ставку вермахта в Берлине человеком по фамилии Бранденбург, говорится о сходном плане в отношении Украины (Документ PS 031, опубликованный Леоном Поляковым. См.: *Poliakov L. Bréviaire de la haine*. P. 317). Гимmlер сам сделал несколько замечаний по поводу этого плана (см.: *Nazi conspiracy and aggression. Office of the United States Chief of Counsel for the Prosecution of Axis Criminality. U. S. Government. Washington, 1946. Vol. 3. P. 640*. Здесь содержатся выдержки из речи Гимmlера в Кракове в марте 1942 г.; см. также комментарии к речи Гимmlера в Бад-Шахене в 1943 г. в книге: *Kohn-Bramstedt E. Op. cit. P. 244*.) О том, как проводился отбор, можно узнать из медицинских заключений, сделанных вторым медицинским отделом в Минске 10 августа 1942 г.: «Расовое исследование Наталии Хариф, рожденной 14 августа 1922 г., показало нормальное развитие девочки преимущественно восточнобалтийского типа с нордическими особенностями». «Исследование Арнольда Корнея, рожденного 19 февраля 1930 г., показало нормальное развитие мальчика двенадцати лет преимущественно восточного типа с нордическими особенностями». Подписано: N. Wc. (Документ из архива: *Yiddish Scientific Institution. N.Y. № Occ E 3a-17*).

Об уничтожении польской интеллигенции, которую, по мнению Гитлера, можно «стереть с лица земли без сожаления» см.: *Poliakov L. Op. cit. P. 321*, а также документ № 2472.

щается тоталитарная пропаганда, может сильно меняться, даже после захвата власти тоталитарная пропаганда может направляться на ту часть собственного населения, чье поведение не подвергалось в достаточной мере идеологической обработке. В этом отношении речи Гитлера во время войны, обращенные к своим генералам, представляют собой блестящую модель такой пропаганды. Главным образом она характеризуется ужасающей ложью, которой фюрер удивлял своих гостей, пытаясь повлиять на них<sup>4</sup>. Внешняя сфера также может состоять из групп сочувствующих, еще не созревших для того, чтобы воспринять истинные цели движения. Наконец, часто случается, что даже некоторые члены партии рассматриваются близким кругом фюрера или членами элитных формирований принадлежащими той же внешней среде. В этом случае на них также необходимо распространить пропаганду, так как их нельзя считать окончательно вовлеченными. Не переоценивая важности пропагандистской лжи, можно назвать множество примеров, когда Гитлер был вполне искренен и грубо недвусмыслен в определении истинных целей движения, но эти случаи просто не осознавались общественностью, еще не подготовленной к подобной последовательной логике<sup>5</sup>. Таким образом, тоталитарная форма подавления стремится ограничить применение пропагандистских методов исключительно сферой своей внешней политики или заграничными отделениями движения в целях снабжения их подходящим материалом. Тогда же, когда тоталитарная идеологическая обработка внутри страны приходит в противоречие с пропагандистской ложью, предназначенной для заграницы (как случилось в России во время войны, но не тогда, когда Сталин заключил сделку с Гитлером, а когда война с Гитлером приве-

<sup>4</sup> Летом 1942 г. он еще говорит об «[изгнании] самого последнего еврея из Европы» (см.: *Hitlers Tischgespräche. S. 113*) и расселении евреев в Сибири, Африке или на Мадагаскаре, в то время как на самом деле он уже решил на «окончательное решение» еще до вторжения в Россию, примерно в 1940 г. и конце 1941 г. приказал строить газовые камеры (см.: *Nazi conspiracy and aggression. Vol. 2. P. 265 ff; Vol. 3. P. 783 ff Doc. PS 1104; Vol. 5. P. 322 ff Doc. PS 2605*). Гимmlер также знал весной 1941 г., что «евреи должны быть уничтожены до последнего человека к концу войны. В этом состоит недвусмысленное желание фюрера, его приказ» (*Dossier Kersten // Centre de Documentation Juive*).

<sup>5</sup> В этой связи существует очень интересное сообщение, датированное 16 июля 1940 г. по поводу дискуссии в ставке Гитлера, которую Гитлер в присутствии Розенберга, Ламмерса и Кейтеля начал с выдвижения следующих «фундаментальных принципов»: «Сейчас важно не обнаружить перед всем миром наши окончательные цели... следовательно, не должно быть очевидным, что [указы об установлении мира и порядка на оккупированных территориях] говорят об окончательной колонизации. Все необходимые меры — пытки, переселения — могут и будут проводиться несмотря на это». После этих слов последовала дискуссия безотносительная к высказыванию Гитлера, в которой сам Гитлер уже не участвовал. Вполне вероятно он не был «понят» (*Doc. L 221 // Centre de Documentation Juive*).

ла его в лагерь демократии), внутри страны пропаганда объясняется как «временный тактический маневр»<sup>6</sup>. Насколько это возможно, различие между идеологической доктриной для посвященных членов движения, уже не нуждающихся в пропаганде, и настоящей пропагандой, предназначенной для внешнего мира, устанавливается уже в тот момент, когда само движение еще не пришло к власти. Взаимосвязь между пропагандой и идеологической доктриной зависит, с одной стороны, от размеров движения и от внешнего давления — с другой. Чем меньше размах движения, тем больше усилий оно тратит на простую пропаганду. Чем больше давление на тоталитарные режимы со стороны внешнего мира — давление, которое нельзя полностью игнорировать, даже находясь за железным занавесом, — тем более активно будет тоталитарный диктатор использовать пропаганду. Существенный момент состоит в том, что необходимость в пропаганде всегда диктуется внешним миром, и что само движение использует не пропаганду, а идеологическую обработку. И наоборот, внедрение доктрины, которое неизбежно соседствует с террором, прямо пропорционально силе движения или изоляции тоталитарного правительства, его защищенности от внешнего влияния.

Конечно, пропаганда — это часть «психологической войны», но террор — нечто большее. Тоталитарные движения продолжают использовать террор даже тогда, когда психологические цели достигнуты — когда реальный ужас царит над безоговорочно усмирённым населением. Там, где террор доведен до совершенства, как, например, в концентрационных лагерях, пропаганда полностью исчезает. Более того, она сразу была запрещена в нацистской Германии<sup>7</sup>. Пропаганда, другими словами, единственная и, может быть, наиболее важный инструмент тоталитаризма при общении с нетоталитарным миром. Террор, наоборот, истинная сущность данной формы правления. Его существование также мало зависит от психологических или других субъ-

<sup>6</sup> В отношении сталинской самонадеянности по поводу того, что Гитлер не нападет на Россию см.: *Deutscher I. Stalin: a political biography*. N.Y.; L., 1949. P. 454 ff. и особенно сноску к р. 458: «Только в 1948 г. председатель Госплана и первый зампред Совета Министров Н. Вознесенский обнаружил, что экономический план на третий квартал 1941 г. предполагал мирное развитие и что новый план, рассчитанный на войну, был составлен, когда война началась». Позже оценка Дейчера была четко подтверждена в докладе Хрущева сообщением о реакции Сталина на вторжение Германии в Советский Союз (см.: Речь о Сталине на XX съезде в пересказе Государственного департамента. *New York Times*. June 5. 1956 [Хрущев Н. С. О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС XX съезду КПСС 25 февраля 1956 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 147.]).

<sup>7</sup> «Образование [в концентрационных лагерях] состоит из дисциплины, а не в коем случае не из каких-либо инструкций, основанных на идеологическом базисе, так как заключенные в большинстве своем имеют рабские души» (*Himmler H. Nazi conspiracy*. Vol. 4. P. 616 ff).

ективных факторов, как существование законов в конституционно управляемых странах зависит от числа людей, нарушающих их.

Террор как дополнение к пропаганде играл большую роль при нацизме, чем при коммунизме. Нацисты не уничтожали важных политических фигур, как это делалось во времена первоначальной волны политических преступлений в Германии (убийство Ратенау и Эрцбергера); вместо этого, с помощью убийства мелких функционеров-социалистов или влиятельных членов оппозиционных партий, они пытались внушить населению опасность даже простого членства в этих партиях. Этот вид массового террора, пока еще действовавший в сравнительно небольших масштабах, постепенно набирал силу, потому что ни полиция, ни суд серьезно не возбуждали дел по поводу политических правонарушений против так называемых правых. Примечательно то, что нацистские публицисты удачно определили как «силовую пропаганду»<sup>8</sup>: большинству населения стало ясно, что власть нацистов нечто большее, чем власть правительства, и что безопаснее быть членом нацистской околвоенной организации, чем лояльной республиканской. Это впечатление во многом усиливалось специфическим использованием нацистами своих политических преступлений. Нацисты всегда признавались в них публично, никогда не извинялись за «нарушение правопорядка» — такие извинения употреблялись только сочувствующими — и поражали население этим своим отличием от «пустых болтунов» других партий.

Сходство между подобным видом террора и обыкновенным бандитизмом достаточно ясно, чтобы о нем нужно было говорить особо. Однако это не означает, что нацизм и есть бандитизм, как иногда отмечается, но лишь, что нацисты, не осознавая этого, многому научились у американских гангстеров. Точно так же и их пропаганда, уже осознанно, многое позаимствовала у американской деловой рекламы.

Однако более специфическим в тоталитарной пропаганде, нежели прямая угроза и преступления против индивидов, является использование скрытого, завуалированного и опасного оружия против тех, кто не подчиняется ее учению, и позже массовое убийство как «виновных», так и «невиновных». Люди, которых коммунистическая пропаганда угрожала «сбросить с локомотива» истории как безнадежно отставших от своего времени и бесполезно растрачивающих свои жизни, были такими же как и те, которых при нацизме пугали прозябанием вопреки

<sup>8</sup> *Hadamovsky E.* Op. cit. Эта книга отличается от остальной литературы, касающейся тоталитарной пропаганды. Прямо не заявляя о том, Адамовски предлагает интеллигентную и откровенную пронацистскую интерпретацию собственно гитлеровской позиции, высказанной им в статье «Пропаганда и организация» (см.: *Hitler A. Mein Kampf*. 1927; или амер. изд. N.Y., 1939. Book 2. Ch. 11; а также *Six F. A. Die politische Propaganda der NSDAP im Kampf um die Macht*. 1936. S. 21 ff.).

вечным законам природы и жизни, необратимым и таинственным вырожждением их крови. Назойливое настаивание на «научной» природе своих утверждений в тоталитарной пропаганде можно сравнить с определенной рекламной техникой, которая тоже направлена на массы. И действительно, колонки рекламных объявлений в каждой газете демонстрируют эту «научность», например, когда фабрикант с помощью фактов и цифр, полученных из «исследовательских» лабораторий, доказывает, что именно его мыло — «лучшее мыло в мире»<sup>9</sup>. Также верно и то, что существуют определенные элементы насилия в полных выдумки преувеличениях рекламных агентов, в которых за утверждением, например, что «девушки, не использующие особый сорт мыла, останутся на всю жизнь с прыщами и без мужа», кроется дикая мечта о монополии — мечта, что в один прекрасный день производитель «единственного мыла, предохраняющего от прыщей», сможет-таки оставить всех девушек, не пользующихся этим мылом, без мужей. Таким образом, как в деловой рекламе, так и в тоталитарной пропаганде явно просматривается суррогат власти. Одержимость тоталитарного движения «научной» достоверностью проходит, как только движение достигает власти. Нацисты уволили даже тех ученых, которые хотели служить им, большевики же использовали доброе имя своих ученых для совершенно ненаучных целей и заставляли их разыгрывать из себя шарлатанов.

Но на этом кончается часто переоцениваемое сходство массовой рекламы с массовой пропагандой. Бизнесмены обычно не выступают в качестве пророков и не занимаются постоянно демонстрацией правильности своих предсказаний. Научность тоталитарной пропаганды характеризуется тем, что она почти всегда настаивает на научном предсказании, в отличие от более старомодной апелляции к прошлому. Нигде идеологические истоки социализма, с одной стороны, и расизма, с другой, не проступают так отчетливо, как в претензиях идеологов этих доктрин на открытие ими тайных сил, способных обеспечить им лучшую из возможных в фатальной цепи событий долю. В «абсолютистских» системах, которые ставят все события истории в зависимость от великих первопричин, связанных фатальной предопределенностью, и которые устраняют человека из истории человеческой расы» (Токвиль), заключена, безусловно, великая сила притяжения для масс. Но не стоит сомневаться и в том, что нацистские лидеры действительно верили, а не просто использовали для пропаганды положения высоких доктрин, например: «Чем с большей точностью мы узнаем и исследуем законы

<sup>9</sup> Гитлер в главе «Военная пропаганда» (Mein Kampf. Book 1. Ch. 6) выделяет предпринимательский подход к пропаганде и использует пример рекламы мыла. Важность этого подхода была сильно преувеличена, тогда как более поздние позитивные идеи «Пропаганды и организации» были сброшены со счетов.

природы и жизни, тем лучше мы сможем сообразоваться с волей Всевышнего. Чем лучше мы проникнем в волю Всевышнего, тем большим будет наш успех»<sup>10</sup>. Сразу видно, что требуется совсем немного изменений, чтобы выразить сталинское кредо в двух предложениях. Они могут выглядеть таким образом: «Чем с большей точностью мы узнаем и исследуем законы истории и классовой борьбы, тем лучше мы сможем сообразоваться с диалектическим материализмом. Чем лучше мы проникнем в диалектический материализм, тем большим будет наш успех». Сталинское понятие «правильного руководства»<sup>11</sup> в любом случае вряд ли можно проиллюстрировать лучше.

Тоталитарная пропаганда подняла идеологическую научность и свою технику производства лозунгов в форме предсказания до высот эффективности метода и абсурдности содержания, потому что, демагогически говоря, вряд ли существует лучший способ избежать дискуссий, чем освободиться от аргументов настоящего и утверждать, что только будущее может открыть его достоинства. Однако отнюдь не тоталитарные идеологи изобрели эту процедуру и не только они использовали ее. Конечно, онаученность массовой пропаганды действительно настолько универсально использовалась в современной политике, что этот факт истолковывался как более общий признак той одержимости наукой, которая характеризовала Западный мир со времен расцвета математики и физики в XVI в. В этом случае тоталитаризм представляется лишь заключительной стадией процесса, на протяжении которого «наука [стала] идолом, способным магически исцелить язвы существования и изменить природу человека»<sup>12</sup>. Конечно, была какая-то изначальная взаимосвязь между развитием науки и подъемом масс. «Коллективизм» масс приветствовался теми, кто надеялся на проявление «естественных законов исторического развития», способных исключить непредсказуемость индивидуальных действий и поступков<sup>13</sup>. Уже приводился пример Анфанте-

<sup>10</sup> См. знаменательную докладную записку Мартина Бормана на статью «Связь национал-социализма и христианства» (Nazi conspiracy. Vol. 6. P. 1036 ff). Сходные формулировки можно найти в появлявшихся время от времени литературных памфлетах, издаваемых СС в целях «идеологической обработки» новобранцев. «Законы природы неизменны, на них никто не может повлиять. Следовательно, необходимо открыть эти законы» (SS-Mann und Blutsfrage // Schriftenreihe für die weltanschauliche Schulung der Ordnungspolizei. 1942). Все это — не что иное, как вариации определенных выражений, взятых из «Mein Kampf». Одно из них цитировалось в качестве эпиграфа для только что упоминавшегося памфлета: «Если человек пытается бороться против железной логики природы, он вступает в конфликт с основными принципами, которым он единственно обязан своим существованием в качестве человека».

<sup>11</sup> Stalin J. Leninism. 1933. Vol. 2. Ch. 3. [См.: Сталин И. В. Соч. Т. 12. С. 338–373.]

<sup>12</sup> Voegelin E. The origins of scientism // Social Research. December 1948.

<sup>13</sup> См.: Hayek F. A. von. The counter-revolution of science // Economica. Vol. 8 (February, May, August 1941). P. 13.

на, который смог «предвидеть приближение времени, когда “искусство управлять массами” будет развито настолько совершенно, что художник, музыкант или поэт будут обладать реальной силой поощрять и влиять с такой же определенностью, с какой математик решает геометрические задачи или химик проводит анализ вещества», на основе чего был сделан вывод, что современная пропаганда зародилась уже там и тогда<sup>14</sup>.

Однако, каковы бы ни были изъяны позитивизма, прагматизма и бихевиоризма и как бы они ни влияли на формирование того сорта здравого смысла, что был характерен для XIX в., отнюдь не в этом заключается свойственный массам «злокачественный рост утилитарных составляющих существования»<sup>15</sup>, к которому и апеллирует тоталитарная пропаганда и научность. Идущая от Конта позитивистская убежденность в том, что будущее определено научно предсказуемо, основывается на оценке интереса как всепроникающей силы в истории и на предположении, что открыть объективные законы власти возможно. Политическая теория герцога де Рогана, утверждающая, что «короли командуют людьми, а интересы командуют королями», что объективный интерес — это та сила, которая «единственная никогда не терпит поражения», что «правильно или ложно понятый интерес делает правительство живым или мертвым», — это политическая теория, составляющая традиционную сердцевину современного утилитаризма, позитивизма или социализма, но ни одна из этих систем не предполагает, как это старается сделать тоталитаризм, что «возможно изменить природу человека». Наоборот, они все, явно или неявно, подразумевают, что человеческая природа всегда неизменна, что история есть рассказ об изменяющихся объективных обстоятельствах и человеческой реакции на них и что правильно понятый интерес может привести к благоприятной смене обстоятельств, но не к смене человеческой реакции как таковой. «Сциентизм» в политике и по сей день предполагает, что объектом политики является человеческое благосостояние, — представление, полностью чуждое тоталитаризму<sup>16</sup>.

И именно потому, что утилитарное ядро идеологий принималось как само собой разумеющееся, антиутилитарное поведение тоталитарных правительств, их полное равнодушие к массовым интересам вызвали шок. Это ввело в современную политику элемент неслыханной непредсказуемости. Тоталитарная пропаганда, однако, хотя и иным пу-

<sup>14</sup> Ibid. P. 137. Цит. по сен-симонистскому журналу: *Producteur*. 1. P. 399.

<sup>15</sup> *Voegelin E.* Op. cit.

<sup>16</sup> *Ebenstein W.* *The Nazi State*. N.Y., 1943. Сделанное в этой книге исследование «Перманентной военной экономики» нацистского государства — практически единственная критика, считающая, что «бесконечный спор... была ли немецкая экономика при нацистском режиме социалистической или капиталистической — во многом искусствен... [потому что он] ведет к упущению важного факта, что капитализм и социализм есть категории, имеющие отношение к западной экономике благосостояния» (p. 239).

тем, показала, даже задолго до того, как тоталитаризм смог завоевать власть, насколько далеко массы могут отойти от самой связи с интересом. Так, было не вполне доказано подозрение союзников, что убийство душевнобольных, совершенное Гитлером в начале войны, было предпринято якобы для того, чтобы избавиться от лишних ртов<sup>17</sup>. На самом деле не война заставила Гитлера отбросить все этические нормы, а, по его мнению, массовое кровопролитие на войне давало ни с чем не сравнимую возможность начать убийства, которые, как и другие пункты его программы, были спланированы на тысячелетия вперед<sup>18</sup>. Так как фактически веками, на протяжении всей европейской истории, людей учили судить о каждом политическом действии по его *сui bono* и обо всех политических событиях по специфическим интересам, лежащим в их основе, они неожиданно столкнулись с элементом беспрецедентной непредсказуемости. Благодаря своим демагогическим качествам тоталитарная пропаганда, задолго до завоевания власти ясно показавшая, как мало массы руководствуются знаменитым инстинктом самосохранения, не была воспринята серьезно. Однако успех тоталитарной пропаганды не столько основывается на демагогичности, сколько на знании, что интерес как коллективная сила может проявляться только там, где устойчивые социальные структуры обеспечивают взаимосвязь между индивидом и группой. Не может пропаганда, основанная на отдельном интересе, эффективно распространяться в массах, отличающихся тем, что они не принадлежат ни к какому социальному или политическому организму и, следовательно, представляют собой поистине хаос интересов. Фанатизм членов тоталитарных движений, так явно отличающийся по качеству от даже самой необыкновенной лояльности членов обычных партий является результатом отсутствия в массах собственного интереса, благодаря чему они вполне готовы жертвовать собой. Нацисты доказали, что можно повести целый народ на войну под лозунгом, заранее допуская возможность «...всем погибнуть»,

<sup>17</sup> Свидетельские показания Карла Брандта, одного из врачей, привлеченных Гитлером к программе по эвтаназии, очень характерны в этом контексте (*Medical Trial. US against Karl Brandt et. al. Hearing of May 14. 1947*). Брандт бурно протестовал против обвинения, что проект был направлен на уничтожение лишних ртов; он подчеркивал, что всегда строго осуждался те члены партии, которые пользовались подобными аргументами в спорах. Он говорил, что эти меры диктовались исключительно «моральными принципами». То же самое можно сказать в отношении депортации. Документы пестрят отдельными записями военных советников, в которых значится, что депортация миллионов евреев и поляков полностью игнорировала все «военные и экономические нужды» (см.: *Poliakov L.* Op. cit. P. 321, а также документальные материалы, опубликованные там же).

<sup>18</sup> Решающий указ, положивший начало последующим массовым убийствам, был подписан Гитлером 1 сентября 1939 г. — в день развязывания войны — и имел в виду не только душевнобольных (как часто ошибочно считалось), но и тех, кто был «неизлечимо болен». С душевнобольных все только начиналось.

которого военная пропаганда в 1914 г. тщательно избегала, и повести отнюдь не в период нищеты, безработицы или уязвления национальных амбиций. Тот же самый настрой выявился в последние месяцы войны, к тому времени явно уже проигранной, когда нацистская пропаганда сплотила уже с трудом поддающееся запугиванию население обещанием, что фюрер «благодаря своей мудрости подготовил в случае поражения легкую смерть в газовых камерах всему немецкому народу»<sup>19</sup>.

Тоталитарные движения используют социализм и расизм, выхолащивая из них утилитарное содержание, интересы класса или нации. Форма безошибочного предсказания, в которой эти понятия были представлены, стала более важной, чем содержание<sup>20</sup>. Главной характеристикой вождя массы стала безграничная непогрешимость; он не мог совершить ошибку никогда<sup>21</sup>. Более того, предпосылка непогрешимости основывалась не столько на сверхинтеллекте вождя, сколько на правильной интерпретации сущностных сил в истории или природе, сил, ложность которых нельзя доказать ни их разрушением, ни поражением, так как им суждено утвердиться на долгой дистанции<sup>22</sup>. Властвуя, вожди озабочены исключительно тем, чтобы сделать свои предсказания истинными, а это делает ненужным все утилитарные рассуждения. В конце войны нацисты не брезгали использовать концентрированные силы своей, еще сохранившейся организации для возможно полного разрушения Германии. Этим они хотели оправдать свое предсказание, что немецкий народ погибнет в случае поражения.

<sup>19</sup> См.: Reck-Malleczewen F. P. Tagebuch eines Verzweifelten. Stuttgart, 1947. S. 190.

<sup>20</sup> Согласно Гитлеру, превосходство идеологических движений над политическими партиями базировалось на том факте, что идеологии (Weltanschauungen) всегда «проповедуют свою непогрешимость» (Mein Kampf. Book 2. Ch. 5 «Weltanschauungen and Organization»). На первых страницах официальной настольной книги о молодом Гитлере подчеркивается, что все вопросы Weltanschauung, до этого представленные «нереалистично», «непонятно», «стали настолько ясными, простыми и определенными [курсив мой. — Х. А.], что каждый соратник мог понять их и соотносить с ними свои решения (The Nazi Primer. N.Y., 1938).

<sup>21</sup> Первая из «заповедей члена партии» гласит: «Фюрер всегда прав» (см.: Organisationsbuch der NSDAP. 1936. S. 8). См. также: Dienstvorschrift für die P. O. der NSDAP. 1932. S. 38, где это выражение дается в следующем виде: «Решение Гитлера окончательное!» Следует отметить примечательную разницу во фразеологии.

«Их требование быть непогрешимым, [равное тому], что никто из них искренне не допускал возможности ошибиться», в этом аспекте проводит решительное различие между Сталиным и Троцким, с одной стороны, и Лениным — с другой (см.: Souvarine B. Stalin: A critical survey of bolshevism. N.Y., 1939. P. 583).

<sup>22</sup> Ясно то, что гегелевские законы диалектики должны были послужить прекрасным инструментом для того, чтобы всегда быть правым, потому что позволяли интерпретировать любые поражения как начало победы. Один из прекрасных примеров подобного рода софистики появился после 1933 г., когда немецкие коммунисты в течение почти двух лет отказывались понимать, что победа Гитлера означала поражение Коммунистической партии Германии.

Пропагандистский эффект догмата о непогрешимости, поразительный успех усвоенной роли простого истолкователя действия неких предсказуемых сил поощряли у тоталитарных диктаторов привычку провозглашать свои политические намерения в форме пророчества. Наиболее известным примером подобного рода является речь Гитлера перед рейхстагом в январе 1939 г.: «Сегодня я хочу в очередной раз сделать предсказание. В том случае, если еврейские финансисты... еще раз добьются успеха в вовлечении народов в мировую войну, результатом будет... уничтожение еврейской расы в Европе»<sup>23</sup>. В переводе на нетоталитарный язык это означает: в мои намерения входит начать войну и ликвидировать евреев в Европе. Также и в случае со Сталиным. Сталин в 1930 г. (именно в этом году он подготовил физическое уничтожение как правых, так и левых внутривластных оппозиционеров) в своей известной речи перед ЦК Коммунистической партии\* описал их как представителей «умирающих классов»<sup>24</sup>. Это определение не только говорит о специфической резкости этой речи, но и сообщает, в тоталитарном стиле, о физическом уничтожении тех, чье «умирание» уже было предопределено. В обоих примерах достигается один и тот же объективный результат: ликвидация является составной частью исторического процесса, в котором человек либо выполняет то, что, согласно непреложным законам, должно произойти, либо становится жертвой. Как только совершается наказание жертв, «пророчество» становится обращенным в прошлое алиби: не случилось ничего иного, кроме того, что было уже предсказано<sup>25</sup>. И не важно, означают ли «законы истории гибель» классов и их представителей, или «законы природы... искоренение» всех тех элементов, которые никак «не приспособлены к жизни» — демократов, евреев, восточных недочеловеков (Untermenschen), или неизлечимо больных. Не случайно, Гитлер также говорил об «умирающих классах» как о тех, которые должны быть «уничтожены без всяких сожалений»<sup>26</sup>.

<sup>23</sup> Цит. по: The Goebbels diaries (1942–1943) / Ed. by L. Lochner. N.Y., 1948. P. 148.

\* Х. Арендт имеет в виду «Политический отчет Центрального Комитета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.» (Прим. ред.)

<sup>24</sup> Stalin J. Op. cit., loc. cit. [В указанной речи Сталин употребляет словосочетание «отживающие классы», см.: Сталин И. В. Соч. Т. 12 С. 353, 361. В речи же на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 1929 г. «О правом уклоне в ВКП(б)» им использовалось выражение «умирающие классы», см.: Сталин И. В. Соч. Т. 12 С. 37. (Прим. ред.)]

<sup>25</sup> В речи, произнесенной в сентябре 1942 г., когда уничтожение евреев шло полным ходом, Гитлер явно ссылается на свою речь от 30 января 1939 г. (опубликованную в качестве брошюры под заголовком «Der Führer vor dem ersten Reichstag Grossdeutschlands» в 1939 г.) и на речь, произнесенную на сессии рейхстага 1 сентября 1939 г., где он объявил, что «если евреи развяжут интернациональную мировую войну для уничтожения арийского народа Европы, то будут уничтожены не арийцы, а евреи [конец фразы потонул в аплодисментах]» (см.: Der Führer zum Kriegswinterhilfswerk. Schriften NSV. № 14. S. 33).

<sup>26</sup> Как и предыдущая цитата эти слова взяты из речи от 30 января 1939 г., S. 19.

Этот метод тоталитарной пропаганды, как и другие, становится безопасно применять только после того, как движение приходит к власти. Тогда все дискуссии об истинности и ложности предсказаний тоталитарного диктатора становятся такими же нелепыми, как спор с потенциальным убийцей о том, останется жить или умрет его будущая жертва, так как убийца может быстро доказать правильность своих предсказаний, убив человека. Единственно веским доводом в подобных обстоятельствах является немедленное спасение человека, чья смерть уже предсказана. Перед тем как вожди масс приходят к власти, их пропаганда, в целях подгонки реальности под свою ложь, отличается особым презрением к фактам как таковым<sup>27</sup>. По их мнению, факт полностью находится во власти человека, способного сфабриковать его. Утверждение, что московское метро является единственным в мире, лживо лишь до тех пор, пока у большевиков не хватает власти разрушить все остальные. Другими словами, метод безошибочного предсказания, более чем какие-либо приемы тоталитарной пропаганды, выдает окончательную цель тоталитаризма — завоевание мира, так как только в мире, полностью им контролируемом, тоталитарный правитель сможет воплотить все свои лживые утверждения и сделать истинными все свои пророчества.

Язык пророческой научности соответствует желаниям масс, потерявших свое место в мире и теперь готовых к реинтеграции в вечные, всеопределяющие силы, которые сами по себе должны нести человека как пловца на волнах превратности судьбы к берегам безопасности. «Мы моделируем жизнь нашего народа и наше законодательство согласно приговору генетиков»<sup>28</sup>, — сказали нацисты. Сходным образом большевики убеждали своих сограждан, что экономические силы имеют власть приговора в истории. Тем самым они обещали победу независимо от «временных» поражений и ошибок в отдельных свершениях. Массы, в отличие от классов, желают победы и успеха как таковых, в их наиболее абстрактных формах; они не связаны друг с другом теми особыми коллективными интересами, которые бы они ощущали существенными для их собственного выживания в виде группы и которые они могли бы поэтому отстаивать даже перед лицом превосходящих сил. Для них важнее победа безотносительная к

<sup>27</sup> См.: Heiden K. Der Fuehrer: Hitler's rise to power. Boston, 1944; автор выделяет «феноменальную лживость» Гитлера, «отсутствию чувства реальности почти во всех его высказываниях», его «равнодушие к фактам, которые он не считал жизненно важными» (р. 368, 374). Почти в сходных выражениях Хрущев описывает «отвращение Сталина к правде жизни» и его равнодушие к «реальному положению дел» (см.: Op. cit.). То, что Сталин думал по поводу важности фактов, лучшим образом отражается в его периодическом переписывании русской истории.

<sup>28</sup> The Nazi Primer. N.Y., 1938.

случаю и успех, независимый от того, что предпринимается, чем какое-то конкретное дело, способное принести победу, или особое предприятие, сулящее успех.

Тоталитарная пропаганда совершенствует технические приемы массовой пропаганды, но не изобретает ни их, ни пропагандируемых тем. Все это было подготовлено пятьюдесятью годами подъема империализма и распада национального государства, когда толпа выступила на сцену европейской политики. Подобно ранним лидерам толпы, ораторы тоталитарных движений обладали безошибочным инстинктом к чему-то такому, что партийная пропаганда или общественное мнение не отваживались затронуть или к чему относились безразлично. Все скрытое, все обойденное молчанием приобрело большое значение независимо от подлинной значимости. Толпа действительно верила, что истина как раз в том, что респектабельное общество лицемерно умалчивало или тщательно скрывало путем искажения.

Таинственность, как таковая, стала первым критерием в выборе тем. Источник тайны не был важен; он мог находиться в сознательном, политически объяснимом желании секретности, как в случае с британской тайной полицией или французским «Deuxième Bureau», или в стремлении революционных групп к конспирации, как в случае с анархистами и другими террористическими сектами; или в структуре обществ, чей изначальный секрет был скрыт до тех пор, пока не стал хорошо известен, и где только формальные ритуалы еще сохраняли первоначальную тайну, как в случае с франкмасонами; или в древних предрассудках, которые сплелись в легенды вокруг определенных групп, как в случае с иезуитами и евреями. Нацисты были, несомненно, чемпионами в отборе подобных тем для массовой пропаганды, но большевики постепенно обучились приемам, хотя они в меньшей степени основывались на традиционно принятых тайнах и предпочитали свои собственные изобретения. Так, начиная с 30-х годов в большевистской пропаганде один таинственный мировой заговор сменил другой (от заговора троцкистов, за которым последовал заговор правления трехсот семей, до зловещих империалистических, т.е. глобальных, махинаций британских и американских секретных служб)<sup>29</sup>.

<sup>29</sup> Интересно заметить, что большевики в сталинскую эпоху каким-то образом так накапливали заговоры, что появление новых не означало отказ от старых. К заговору троцкистов, запущенному приблизительно в 1930 г., был добавлен заговор трехсот семей в период народного фронта, после 1935 г., британский империализм стал реальной угрозой во время сталинско-гитлеровского союза, заговор американских секретных служб последовал сразу после окончания войны; и, наконец, еврейский космополитизм проявил явное и неутешительное сходство с нацистской пропагандой.

Эффективность подобного рода пропаганды демонстрирует одну из основных характеристик современных масс. Они не верят во что-то видимое, в реальность своего собственного опыта. Они не верят своим глазам и ушам, но верят только своему воображению, которое может постичь что-то такое, что одновременно и универсально и непротиворечиво самому себе. Не факты убеждают массы и даже не сфабрикованные факты, а только непротиворечивость системы, частью которой они, по-видимому, являются. Повторение, влияние которого несколько переоценено благодаря общей вере в примитивные способности масс к пониманию и запоминанию, важно только потому, что убеждает их в том, что непротиворечивость существует во времени.

Случайность, пронизывающая реальность, есть именно то, что массы отказываются признать. Массы предрасположены ко всем идеологиям, потому что они объясняют факты как простые примеры законов и отвергают случайные стечения обстоятельств, предполагая всеобъемлющую силу, которая должна лежать в основе каждого случая. Тоталитарная пропаганда преуспевает в уходе от реальности в фиктивный мир, от противоречий к непротиворечивости.

Главный недостаток тоталитарной пропаганды заключается в том, что она не может полностью удовлетворить тягу масс к совершенно непротиворечивому, постижимому и предсказуемому миру без серьезного конфликта со здравым смыслом. Если, например, все «исповеди» политических оппонентов в Советском Союзе произносились на одном и том же языке и подразумевали одни и те же мотивы, жаждущие непротиворечивости массы принимали фикцию в качестве высшего доказательства подлинности этих «исповедей», в то время как здравый смысл подсказывает нам, что именно эта непротиворечивость, не свойственная нормальному миру, доказывает сфабрикованность этих «исповедей». Пользуясь метафорами, можно сказать, что точно так же массы требовали постоянного повторения чуда Септуагинты, когда, согласно древней легенде,<sup>70</sup> переводов на греческий язык текстов Ветхого Завета, выполненные семьюдесятью не связанными друг с другом переводчиками, оказались совершенно идентичными друг другу. Здравый смысл может принять эту историю только в качестве легенды или чуда; хотя ее тоже можно привести в качестве доказательства необходимости абсолютной веры в каждое слово переводимого текста.

Другими словами, поскольку истинно, что массами овладевает желание уйти от реальности, потому что благодаря своей сущностной неприкаянности они больше не в состоянии постичь ее случайные, непонятные аспекты, также истинно и то, что их тоска по выдуманному миру имеет некоторую связь с теми способностями человеческого ума, чья структурная согласованность превосходит простую случайность.

Уход масс от реальности — это обвинение против мира, в котором они вынуждены жить и в котором они жить не могут с тех пор, как случайность стала владыкой мира и люди стали нуждаться в постоянном упорядочении хаотических и случайных условий существования, приближающем их к искусственно построенной, относительно непротиворечивой модели. Восстание масс против «реализма», здравого смысла и всех «вероятностей мира» (Бёрк) было результатом их атомизации, потери ими социального статуса и всего арсенала коммуникативных связей, в структуре которых только и возможен здравый смысл. В их ситуации духовной и социальной неприкаянности здравое размышление над тем, что произвольно, а что планируемо, что случайно, а что необходимо, стало больше невозможно. Тоталитарная пропаганда может жестоко надругаться над здравым смыслом только там, где он потерял свою значимость. Из альтернативы роста анархии и абсолютной необоснованности гибели, с одной стороны, или твердой, фантастически выдуманной непротиворечивости идеологии, с другой, массы с большой долей вероятности всегда выберут последнее и будут готовы платить за это индивидуальными жертвами. И это происходит не потому, что они глупы или слабы, а потому, что в общей катастрофе этот выбор гарантирует им минимум самоуважения.

Если специализацией нацистской пропаганды было извлечение прибыли из тоски масс по непротиворечивости, то большевистские методы испытывали, словно в лаборатории, свое воздействие на изолированном массовом человеке. Советская секретная полиция, так стремящаяся убедить свои жертвы в их вине за преступления, которые они никогда не совершали, а во многих случаях и не способны были совершить, полностью отгораживает и устраняет все реальные факторы, так что на первый план выходила сама логика, сама непротиворечивость «дела», содержащаяся в подготовленных исповедях. В ситуации, когда разделяющая грань между сочиненным обвинением и реальностью стирается самой его чудовищностью и внутренней логичностью, человеку требуется не только сила характера, чтобы сопротивляться постоянным угрозам, но и большая уверенность в том, что существуют близкие человеческие существа — родственники, друзья или соседи, которые никогда не поверят в это «дело», чтобы сопротивляться искушению поддаться чисто абстрактной возможности вины.

Безусловно, такой вершины искусственно сфабрикованного умопомешательства можно достичь только в тоталитарном мире. Однако это лишь один из приемов пропагандистского арсенала тоталитарных режимов, для которых признания не необходимы для наказания. «Признания» в такой же степени специфичны для большевистской пропаганды, в какой для нацистской пропаганды была характерна тщатель-

ная педантичность в легализации преступлений с помощью обращенного в прошлое и имеющего обратную силу законодательства. В обоих случаях цель — логическая непротиворечивость.

Перед тем как тоталитарные движения приходят к власти и обустроивают мир в соответствии со своими доктринами, они создают целый лживый мир непротиворечивости, который более соответствует потребностям человеческого разума, чем сама реальность. Именно в этом мире благодаря одному только воображению лишённые корней массы могли чувствовать себя как дома и избавиться от нескончаемых шоковых ситуаций, которые реальная жизнь и реальный опыт опрокидывают на человеческие существа и их надежды. Сила тоталитарной пропаганды (еще до того, как тоталитарное движение получает возможность опустить железный занавес, чтобы помешать кому-либо нарушать, даже малейшими намеками на реальность, мертвое спокойствие полностью воображаемого мира) заключается в ее способности отсекалть массы от реального мира. Единственные сигналы, которые реальный мир еще предлагает пониманию разобщенных и плохо сплоченных масс — которых каждый удар судьбы делает все доверчивее, — это так называемые его умолчания, т.е. вопросы, которые не осмеливаются обсуждать публично, или слухи, которые не отваживаются опровергать, потому что они бьют, пусть преувеличенным и искаженным образом, по болевой точке.

Из факта существования этих болевых точек ложь тоталитарной пропаганды извлекает необходимый для установления связи между реальностью и созданным фиктивным миром элемент истинности и реального опыта. Только террор может основываться исключительно на фикции. Но даже устанавливаемые террором лживые измышления тоталитарных режимов все-таки еще не полностью произвольны, хотя обычно они грубее и наглее и, если можно так выразиться, оригинальнее, чем фикции тоталитарных движений. (Не пропагандистское искусство, а только террор способен распространить искаженную историю русской революции, в которой никогда не было главнокомандующего Красной Армией по фамилии Троцкий.) В то же время, ложные утверждения тоталитарных движений изощреннее. Они настолько пропитывают собой все сферы социальной и политической жизни, что остаются скрытыми от общественности. Они имеют бóльший успех там, где должностные лица окружают себя атмосферой секретности. Во мнении масс они приобретают репутацию высшего «реализма», так как затрагивают реальную жизнь тех, чье существование скрыто. Раздувание скандала в высшем обществе, например скандала по поводу коррупции политиков, — всего того, что принадлежит желтой прессе, — становится в пропагандистских целях оружием более чем сенсационной важности.

Наиболее эффективным вымыслом нацистской пропаганды была история о всемирном еврейском заговоре. Концентрация на антисемитской пропаганде была общей зацепкой всех демагогов, начиная с конца XIX в. и получила широкое распространение в Германии и Австрии в XX в. Чем с большим постоянством все партии и органы, формирующие общественное мнение, избегали обсуждать еврейский вопрос, тем больше толпа убеждалась в том, что евреи — истинные представители власти, а следовательно, еврейская проблема была символом лицемерия и нечестности всей системы.

Реальное содержание послевоенной антисемитской пропаганды не было ни монополией нацистов, ни чем-то особенно новым и оригинальным. Со времен дела Дрейфуса ходила легенда о всемирном еврейском заговоре и она основывалась на реальной интернациональной взаимосвязи и взаимозависимости еврейского народа, разбросанного по всему миру. Преувеличенное представление о мировой власти евреев сложилось даже раньше. Его истоки можно отыскать в конце XVIII в., когда стала очевидной внутренняя связь между еврейским бизнесом и национальным государством. Представление о евреях как о воплощении зла обязано пережиткам и предрассудкам, идущим из глубин средних веков. Но в действительности оно тесно связано с той более поздней двусмысленной ролью, которую евреи со времен своей эмансипации играли в европейском обществе. Нельзя отрицать лишь одно: в послевоенный период евреи стали заметными, как никогда раньше.

Что касается самих евреев, то они наращивали свою известность и заметность в обществе обратно пропорционально своему реальному влиянию и положению во властных структурах. Любое снижение стабильности и силы национального государства было прямым ударом по позиции евреев. Как только государство становилось национальным, государственный аппарат уже не мог удерживать свою позицию над классами и партиями, тем самым обесценивался альянс с еврейской частью населения, которая предположительно находилась вне общества и была безразлична к партийной политике. Растущий интерес империалистически ориентированной буржуазии к внешней политике и усиление ее влияния на государственные структуры сопровождалось упорным отказом большинства представителей еврейского капитала заняться промышленным предпринимательством и оставить традиционную сферу капиталистической торговли. Все это, вместе взятое, почти сводило на нет экономическую полезность для государства евреев как отдельной группы и преимущества их социальной обособленности. После первой мировой войны центральноевропейское еврейство стало таким же ассимилированным и национализированным, как и французское еврейство в течение первых десятилетий Третьей республики.

То, насколько сознательно интересующие нас государства действовали в изменившейся ситуации, стало ясно, когда в 1917 г. немецкое правительство, следуя давно установившейся традиции, пыталось использовать своих евреев в предварительных мирных переговорах с Антантой. Вместо того чтобы обратиться к солидным лидерам немецкого еврейства, оно обратилось к незначительному и не обладающему реальным влиянием сионистскому меньшинству. Это меньшинство еще полагалось на старый порядок исключительно потому, что настаивало на существовании еврейского народа независимо от гражданства, и от них можно было ожидать, что они будут работать на службы, основанные на интернациональных связях и интернациональных взглядах. Этот шаг, однако, обернулся ошибкой для немецкого правительства. Сионисты сделали то, чего никогда не делал раньше ни один еврейский банкир. Они поставили свои условия и сказали правительству, что будут обсуждать только мир без аннексий и репараций<sup>30</sup>. Закончилось старинное еврейское безразличие к политическим делам; большинство невозможно было использовать дальше, так как исчезла дистанция, отделявшая евреев от нации, а сионистское меньшинство было бесполезно, так как имело собственную политическую идею.

Замена монархических правительств республиканскими в Центральной Европе завершила разъединение центральноевропейского еврейства точно так же, как это сделала Третья республика во Франции около 50 лет до этого. Евреи уже потеряли большую часть своего влияния в то время, когда новые сформировавшиеся правительства утратили как реальную силу, так и интерес защищать своих евреев. Во время мирных переговоров в Версале евреи использовались главным образом в качестве экспертов и даже антисемиты понимали, что мелкие еврейские мошенники в послевоенную эру, большей частью новоприбывшие (в основе их мошеннической деятельности, резко отличающей их от их единоверцев, лежит установка, которая странным образом напоминает старое равнодушие к стандартам их среды), не имели никакой связи с представителями предполагаемого еврейского интернационала<sup>31</sup>.

Среди множества конкурирующих антисемитских групп и в атмосфере, пропитанной антисемитизмом, нацистская пропаганда изобрела метод трактовки этой темы, который отличался от всех других и превосходил их. Однако ни один нацистский лозунг не был новым — не была новой даже гитлеровская искусная картина классовый борьбы, вызванной еврейским хозяином, который эксплуатирует своих рабочих, и его братом, который в то же время на заводском дворе призывает

рабочих к забастовке<sup>32</sup>. Единственный новый элемент заключался в том, что нацистская партия не допускала родства с евреями для своих членов. Несмотря на программу Федера, все же оставалась полная неопределенность, какие реальные меры нужно принять по отношению к тем евреям, которые уже пришли к власти<sup>33</sup>. Нацисты поместили еврейский вопрос в центр своей пропаганды в том смысле, что антисемитизм больше не был одним из мнений относительно людей, чем-то отличающихся от большинства, или одной из забот национальной политики<sup>34</sup>. Еврейский вопрос стал делом каждого, определяющим его индивидуальную судьбу; никто не мог стать членом партии, если его семейное древо было не в порядке, и даже в высших сферах нацистской иерархии отцовская линия семейного древа подлежала обследованию<sup>35</sup>. Кстати, хотя и с меньшей последовательностью, большевизм подтвердил марксистскую доктрину о неизбежной победе пролетариата тем,

<sup>32</sup> Гитлер использовал эту картину впервые в 1922 г.: «Мозес Кон, с одной стороны, подстрекает свою ассоциацию отказывать требованиям рабочих, в то время как его брат Исаак на заводе призывает массы...» к забастовке (Hitler's Speeches: 1922–1939 / Ed. by N. H. Baynes. L., 1942. P. 29). Примечательно, что в нацистской Германии не было ни одного полного издания речей Гитлера, так что приходится обращаться к английскому изданию. Это не было случайностью, как можно увидеть из библиографии, составленной Филиппом Боулером: *Bouler Ph. Die Reden des Führer's nach der Machtübernahme. 1940.* Только публичные речи были изданы дословно в *Völkischer Beobachter*; что касается речей, произнесенных перед ближайшим окружением фюрера или перед другими партийными организациями, то они просто «реферировались» в соответствующей газете. Они никогда не предназначались для публикации.

<sup>33</sup> 25 пунктов Федера содержат только стандартные меры, требуемые всеми антисемитскими группами: изгнание натурализованных евреев и обращение с местными евреями как с чужаками. Нацистское антисемитское ораторское искусство всегда было намного радикальнее их программ.

В статье Вольдемара Гуриана «Антисемитизм в современной Германии» подчеркивается отсутствие оригинальности в нацистском антисемитизме: «Все эти требования и взгляды не отличались оригинальностью — они были само собой разумеющимся во всех националистических кружках; примечательным было лишь то демагогическое ораторское искусство, с которым они подавались» (*Gurian W. Antisemitism in modern Germany // Essay on antisemitism / Ed. by K. S. Pinson. N.Y., 1946. P. 243.*)

<sup>34</sup> Типичным представителем обыкновенного националистического антисемитизма внутри самого нацистского движения был Рем, писавший: «И здесь снова мое мнение отличается от мнения национал-филистеров. Нет, не евреи заслуживают порицания за все! Это мы заслуживаем порицания за то, что евреи находятся у власти по сей день» (*Röhm E. Die Geschichte eines Hochverrätters. 1933. Volksausgabe. S. 284.*)

<sup>35</sup> Желаящие пойти на службу в СС должны были представить свою родословную до 1750 г. Тем, кто претендовал на руководящие должности в партии, задавались только три вопроса: 1. Что Вы должны сделать для партии? 2. Являетесь ли Вы абсолютно здоровыми физически, духовно, морально? 3. В порядке ли Ваше родословное древо? (см.: *Nazi Primer.*)

О сходстве двум систем говорит тот факт, что элита и секретные службы большевиков — НКВД — также требовали от своих членов чистоты родословной (см.: *Beck F., Godin W. Russian purge and the extraction of confession. 1951.*)

<sup>30</sup> См. автобиографию Вайсмана: *Weizmann Ch. Trial and error. N.Y., 1949. P. 185.*

<sup>31</sup> См., напр.: *Bonhard O. Jüdische Geld- und Weltherrschaft? 1926. S. 57.*

что приписывал своих членов к «пролетариям по рождению», а любое происхождение из другого класса делал постыдным и позорным<sup>36</sup>.

Нацистская пропаганда была достаточно изобретательной, чтобы трансформировать антисемитизм в принцип самоопределения и тем самым отделить его от неустойчивости простого мнения. Она использовала убедительность массовой демагогии только в качестве подготовительного шага и никогда не переоценивала ее последующего влияния, будь это в устном слове или в печати<sup>37</sup>. Это обеспечило массы атомизированных, не поддающихся определению, нестабильных индивидов средствами самоопределения и идентификации, которые не только восстановили некоторое самоуважение, потерянное этими массами ранее, когда они оторвались от своих функций в обществе, но и возродили тот сорт фальшивой стабильности, которая сделала их лучшими кандидатами для организации. С помощью подобного вида пропаганды движение смогло соорганизоваться в качестве искусственного продолжения массовых митингов и рационализировать, по сути, хрупкие чувства собственной значимости и лицемерной защищенности, которые были предложены изолированным индивидам атомизированного общества<sup>38</sup>.

Подобное откровенное применение лозунгов, сфабрикованных другими и опробованных ранее, явно проявилось в решении нацистами других сходных проблем. Когда внимание общественности было равным образом сфокусировано на национализме, с одной стороны, и на социализме, с другой, когда считалось, что эти два явления ассоциируются с «правыми» и «левыми» и идеологически разделяют их, «Национал-социалистская рабочая партия Германии» (нацисты) предложила синтез, способный привести к национальному единству, некое семантическое решение, где двойное определение — «Германии» и «рабочая» — связало национализм правых с интернационализмом левых. Самим своим наименованием нацистское движение украло политическое содержание у других партий и явно претендовало на то, чтобы поглотить их всех. Комбинация мнимо антагонистических доктрин (национал-социалист-

<sup>36</sup> Так, тоталитарные тенденции маккартизма в США отчетливее проявились не в преследовании коммунистов, а в попытках заставить каждого гражданина поверить в то, что не стоит быть коммунистом.

<sup>37</sup> «Не нужно переоценивать влияние прессы... оно в целом уменьшается, когда увеличивается влияние организации» (*Nadomovsky E.* Op. cit. P. 64). «Газеты беспомощны, когда им приходится бороться против агрессивной силы живой организации» (*Ibid.* P. 65). «Властные структуры, в основе которых лежит только лишь пропаганда, неустойчивы и могут быстро исчезнуть, если пропаганда не поддерживается давлением организации» (*Ibid.* P. 21).

<sup>38</sup> «Массовые митинги являются наиболее сильной формой пропаганды... [так как] каждый индивид чувствует себя увереннее и сильнее в единстве массы» (*Ibid.* P. 47). «Энтузиазм отдельного момента становится принципом и духовной позицией через организацию и систематическую тренировку и дисциплину» (*Ibid.* P. 21–22).

ской, христианско-социалистической и др.) была и ранее опробована довольно успешно. Но нацисты реализовали собственную комбинацию таким способом, что вся борьба в парламенте между социалистами и националистами, между теми, кто претендовал на то, чтобы быть в первую очередь рабочими, и теми, кто хотел в первую очередь быть немцами, показалась притворством, предназначенным для сокрытия тайных неизменных мотивов: разве не могли быть членами нацистского движения все эти люди одновременно?

Интересно, что даже в самом начале нацисты были достаточно предусмотрительны, чтобы не использовать такие лозунги, как демократия, республика, диктатура или монархия, которые обозначили бы специфические формы правления<sup>39</sup>. Это можно объяснить тем, что они всегда знали, что будут исключительно оригинальными. Любую дискуссию о реальной форме их будущего правления можно было прекратить как пустой разговор о простых формальностях. Государство, согласно Гитлеру, было только «средством» для сохранения расы, так же как, согласно большевистской пропаганде, государство — лишь инструментом классовой борьбы<sup>40</sup>.

Однако существует другой любопытный и окольный путь, с помощью которого нацисты дали пропагандистский ответ на вопрос, какова будет их будущая роль и что было взято ими из «Протоколов сионских мудрецов» в качестве модели для будущей организации немецких масс во «всемирную империю». Использование нацистами «Протоколов» не было ограничено; сотни тысяч копий были проданы в послевоенной Германии, и даже их открытое принятие в качестве

<sup>39</sup> В отдельных случаях, когда Гитлер вообще обращался к этому вопросу, он обычно подчеркивал: «Между прочим, я не являюсь главой государства в таком же смысле как диктатор или монарх, но я являюсь вождем немецкого народа» (см.: *Ausgewählte Reden des Führers.* 1939. S. 114). Ханс Франк выражается в том же духе: «Национал-социалистский рейх — не диктаторский (оставим в стороне отдельные случаи) режим. Скорее, национал-социалистский рейх покоится на взаимной преданности фюрера и народа» (см.: *Recht und Verwaltung.* München, 1939. S. 15).

<sup>40</sup> Гитлер неоднократно повторял: «Государство есть только средство для достижения цели. Наша цель — сохранение расы» (см.: *Reden.* 1939. S. 125). Он также подчеркивал, что его движение «не основывается на идее государства, но в первую очередь — на скрытом духе народа» [*Volksgemeinschaft*] (см.: *Reden.* 1933. S. 125 и речь перед новым поколением политических лидеров [*Führernachwuchs*] 1937 г., опубликованную в качестве приложения к книге «*Hitler Tischgespräche*», S. 446). Так, *mutatis mutandis* можно привести в пример сущность сложной двойной теории, которую Сталин назвал «теорией государства»: «Мы за отмирание государства. И мы вместе с тем стоим за усиление диктатуры пролетариата, представляющей самую мощную и самую могучую власть из всех существующих до сих пор государственных властей. Высшее развитие государственной власти в целях подготовки условий для отмирания государственной власти — вот марксистская формула» (Op. cit., loc. cit. [*Сталин И. В.* Соч. Т. 12 С. 369–370]).

настойной книги по политике не было новым<sup>41</sup>. Тем не менее этот подлог был во многом использован для осуждения евреев и сплочения толпы против опасности еврейского господства<sup>42</sup>. С точки зрения обычной пропаганды открытие нацистов состояло в том, что массы были не столько напуганы еврейским мировым господством, сколько заинтересованы, как это можно было сделать, так что популярность «Протоколов» основывалась на восхищении и стремлении скорее узнать, чем ненавидеть. Вследствие этого было бы мудрее остаться, насколько это возможно, в рамках некоторых их наиболее выразительных формулировок, как в случае с известным лозунгом «Право есть то, что полезно для немецкого народа», который был скопирован с лозунга «Все, что полезно для еврейского народа, есть моральное право и свято» из «Протоколов»<sup>43</sup>.

Во многих отношениях «Протоколы» являются любопытным и заслуживающим внимания документом. Кроме присущего им в первую очередь макиавеллизма, их существенную политическую характеристику составляет некая одержимость, с которой в них обсуждаются все важные политические проблемы момента. «Протоколы» в принципе антинациональны и рисуют национальное государство колоссом на глиняных ногах. Они отвергают национальный суверенитет и верят, как однажды сформулировал это Гитлер, в мировую империю на националь-

<sup>41</sup> Stein A. Adolf Hitler, Schuler der «Weisen von Zion». Karlsbad, 1936. В этой книге впервые исследуется с помощью филологического сравнения нацистское учение и учение «сионских мудрецов». См. также: Blank R. M. Adolf Hitler et les «Protocoles des Sages de Sion». 1938.

Первым, кто указал на влияние учения «Протоколов», был Теодор Фрич, «старейшина» немецкого послевоенного антисемитизма. Он писал в эпилоге к своему изданию «Протоколов» 1924 г.: «Наши будущие государственные деятели и дипломаты должны научиться у восточных мастеров злодейства самой азбуке государственного правления, и для этих целей «Сионские Протоколы» предлагают прекрасную подготовительную школу».

<sup>42</sup> По истории «Протоколов» см.: Curtiss J. S. An appraisal of the Protocol of Zion. 1942.

Факт, что «Протоколы» были подделкой, не соответствовал пропагандистским целям. Русский публицист С. А. Нилус, опубликовавший второе русское издание «Протоколов» в 1905 г., уже был хорошо осведомлен о сомнительном характере этого «документа» и ясно добавил: «Но если было бы возможным показать их аутентичность документально или путем подлинных свидетельских показаний, если бы было возможным обнаружить личность, стоящую во главе широкомасштабного заговора... тогда... их «тайная уникальность» была бы разрушена...» (Curtiss J. S. Op. cit.).

Гитлеру не нужен был Нилус, чтобы использовать тот же трюк: лучшим доказательством их аутентичности было как раз то, что они не были проверены на подлог. И он также добавил доказательство их «подлинности»: «То, что многие евреи могут делать бессознательно, здесь сознательно ясно представлено. И это нужно учитывать» (Mein Kampf. Book 1. Ch. 11).

<sup>43</sup> Fritsch T. Op. cit.: «[Der Juden] oberster Grundsatz lautet: „Alles, was dem Volke Juda nützt, ist moralisch und ist heilig“».

ном базисе<sup>44</sup>. Они не удовлетворяются революцией в отдельно взятой стране, но ставят своей целью завоевание всего мира и власть над ним. Они обещают людям, что, не считаясь с превосходством в численности, территории и государственной власти, они смогут добиться завоевания мира посредством одной организации. Естественно, их сила убеждения частично кроется в самых старых суевериях. Мнение о том, что постоянно существовала интернациональная секта, которая со времен античности преследовала сходные революционные цели, очень старо<sup>45</sup> и играло роль в политической кулуарной литературе задолго до Французской революции, хотя ни в одной работе конца XVIII в. все же не уточнялось, что этой «революционной сектой», «этой особой нацией среди всех цивилизованных наций» могут быть евреи<sup>46</sup>.

Мотив о глобальном заговоре, обозначенном в «Протоколах», в наибольшей степени воздействовал на массы, так как очень хорошо соответствовал новой политической ситуации. Гитлер очень рано обещал, что нацистское движение сможет «выйти за узкие границы современного национализма»<sup>47</sup> и во время войны со стороны СС были сделаны попытки

<sup>44</sup> «Мировые империи имеют источником национальную основу, но вскоре они выходят за национальные границы» (Reden).

<sup>45</sup> Rollin H. L'Apocalypse de notre temps. P., 1939. Автор считает популярность «Протоколов» вторичной только по сравнению с Библией (р. 40) и показывает сходство «Протоколов» с «Monita Secreta» — книгой, впервые опубликованной в 1612 г. и еще продававшейся на улицах Парижа в 1939 г. и требовавшей раскрыть еврейский заговор, который «оправдывает все злодейства и все средства насилия... Это есть реальные действия против установленного порядка» (р. 32).

<sup>46</sup> Вся эта литература хорошо представлена Шевалье де Мале (*Malet Ch. de. Recherches politiques et historiques qui prouvent l'existence d'une secte révolutionnaire. 1817*), который часто цитирует более ранних авторов. Герои Французской революции для него «mannequins» в руках «agence secrète», агенты франкмасонов. Но франкмасонство лишь название, даваемое его современниками «революционной секте», которая существовала во все времена и политика которой всегда проводилась тайно, «из-за кулис методом подергивания марионеток за веревочки, хотя, думается, удобнее было бы действовать на сцене». Автор начинает с высказывания: «Возможно, будет трудно поверить в план, который был сформулирован еще в античности и которому следовали с завидным постоянством: ...родоначальники революции не больше французы, чем немцы, итальянцы, англичане и т.д. Они составляют отдельную нацию, которая родилась и росла в тени всех цивилизованных наций и среди них в целях подчинить их своему могуществу».

Широкое обсуждение этой литературы см.: Lesueur E. La Franc-Maçonnerie Artésienne au 18e siècle (Bibliothèque d'Histoire Révolutionnaire). 1914. То, насколько прочна сама по себе была эта легенда о заговоре, даже в нормальных условиях, можно увидеть из огромной антифранкмасонской безумной литературы во Франции, которая вряд ли менее обширна, чем антисемитская литература. Что-то типа компендиума всех теорий, которые видели во Французской революции результат заговора тайных обществ, можно найти в книге: Bord G. La Franc-Maçonnerie en France dès origines à 1815. 1908.

<sup>47</sup> Reden. См. копию сессии Комитета СС по трудовым вопросам при штабе СС в Берлине (январь 1943 г.), где утверждалось, что «нация» — понятие, ассоциирующееся с

вообще выкинуть слово «нация» из национал-социалистского словаря.) Казалось, только мировые силы еще имеют шанс на независимое выживание и только глобальная политика могла рассчитывать на устойчивые результаты. Достаточно ясно, что эта ситуация должна была напугать малые нации, которые не относились к мировым силам. Казалось, что «Протоколы» показывают выход, не зависящий от объективных непреложных условий, но зависящий исключительно от власти организации.

Другими словами, нацистская пропаганда, открыла в «еврее, переросшем все национальное, именно благодаря тому, что он чрезмерно национален»,<sup>48</sup> предшественника немецкого хозяина мира и убедила массы, что «нации, которые должны были первыми распознать еврея и первыми выступить против него, собираются занять его место в господстве над миром»<sup>49</sup>. Заблуждение насчет уже существующего мирового еврейского господства сформировало основу для иллюзии насчет будущего германского мирового господства. Именно это подразумевал Гиммлер, когда утверждал, что «мы обязаны евреям искусством управления», т.е. «Протоколам», которые «фюрер выучил наизусть»<sup>50</sup>. Так, «Протоколы» представляли завоевание мира как вещь вполне реальную, и все дело заключалось только в наличии стимула и в искусном воплощении. Из «Протоколов» ясно также, что никого нет на пути германской победы над всем остальным миром, кроме евреев, заведомо малого народа, который правит этим миром, не обладая инструментами насилия, и, следовательно, противника несерьезного, чей секрет уже однажды был раскрыт и чей метод по большому счету был превзойден.

Нацистская пропаганда сконцентрировала все эти новые и многообещающие перспективы в одном понятии, получившем название Volksgemeinschaft. Это новое сообщество, практически воплощенное в нацистском движении предтоталитарного периода, базировалось на абсолютном равенстве всех немцев, равенстве не в правах, а по природе, и на их абсолютном отличии от всех других народов<sup>51</sup>. После прихода нацистов к власти это понятие постепенно потеряло свою значимость и открыло дорогу, с одной стороны, к общему презрению к немецкому

либерализмом, должно быть отброшено как неподходящее для немецкого народа (Doc. 705-PS // Nazi conspiracy and aggression. Vol. 5. P. 515).

<sup>48</sup> Hitler's Speeches / Ed. by N. H. Baynes. P. 6.

<sup>49</sup> Goebbels J. Op. cit. P. 377. Это обещание, содержащееся в любой антисемитской пропаганде нацистского типа, было подготовлено словами Гитлера: «Наиболее яркой противоположностью арийцам являются евреи» (Mein Kampf. Book 1. Ch. 11).

<sup>50</sup> Dossier Kersten // Centre de Documentation Juive.

<sup>51</sup> Ранее уверение Гитлера (Reden): «Я никогда не признаю, что другие нации имеют такие же права, как и немцы» — стало официальной доктриной: «Внедрение национал-социалистского мировоззрения в жизнь состоит в осознании принципиальной несхожести людей» (Nazi Primer. P. 5).

народу (которое нацисты всегда испытывали, но которое ранее не могли проявить публично)<sup>52</sup> и, с другой стороны, к страстному стремлению распространить понятие «арийцы» на другие нации (эта идея играла лишь незначительную роль в предвоенной стадии нацистской пропаганды).<sup>53</sup> Идея Volksgemeinschaft была просто пропагандистской подготовкой к «арийскому» расовому обществу, которое в конце концов должно было обречь на гибель все народы, включая немецкий.

До определенных пределов с помощью понятия Volksgemeinschaft нацисты пытались противопоставить себя коммунистическим обещаниям бесклассового общества. Пропагандистский вызов одних против других станет более явным, если мы примем во внимание все идеологические нагрузки. Несмотря на то что нацисты и коммунисты имели одно общее — обещание нивелировать все социальные и имущественные различия, понятие бесклассового общества имеет явное дополнительное значение, так как предполагалось всех подвести под статус фабричных рабочих. Идея же Volksgemeinschaft со своим подтекстом заговора в целях завоевания мира давала обоснованную надежду на то, что каждый немец в конечном счете сможет стать фабрикантом. Однако чуть ли не величайшим достижением идеи Volksgemeinschaft было то, что ее воплощение не нуждалось в каком-либо ожидании и не зависело от объективных обстоятельств. Она могла непосредственно воплощаться в выдуманном мире движения.

<sup>52</sup> Например, Гитлер в 1923 г. говорил: «Немецкий народ на одну треть состоит из героев, на другую треть — из трусов, оставшиеся — предатели» (Hitler's Speeches / Ed. by N. H. Baynes. P. 76).

После захвата власти эта тенденция стала выражаться отчетливее. См., например, высказывание Геббельса в 1934 г.: «Что это за люди, которых мы критикуем? Члены партии? Нет. Остальные немцы? Они должны считать себя счастливыми, что остались в живых. Это было бы очень хорошо, если бы те, кто остался в живых благодаря нашей милости, приняли бы во внимание нашу критику» (цит. по: Kohn-Bramstedt E. Op. cit. P. 178–179). Во время войны Гитлер утверждал: «Я не кто иной, как магнит, движущийся вдоль немецкой нации и притягивающий ее стальные кадры. И я часто говорил, что придет время, когда все стоящие люди в Германии перейдут на мою сторону. А те, кто будут не со мной, не будут ничего стоить». Уже тогда для близкого окружения Гитлера было ясно, что произойдет с этими «ничего не стоящими» (см.: Der grossdeutsche Freiheitskampf. Reden Hitlers vom 1.9.1939–10.3.1940. S. 174). Гиммлер подразумевал то же самое, когда говорил: «фюрер думает не в немецких терминах, а в общегерманских» (Dossier Kersten // Centre de Documentation Juive), кроме этого мы знаем из записей застольных разговоров Гитлера, что тогда же он поднял насмех общегерманские «требования» и думал в «арийских терминах» (см.: Hitlers Tischgespräche. S. 315 ff).

<sup>53</sup> Гиммлер в речи перед лидерами СС в Кракове в апреле 1943 г.: «Я скоро организую прогерманские СС в различных странах...» (см.: Nazi conspiracy. Vol. 4. P. 572 ff). Ранее, еще до войны, определение этой ненациональной политики было дано Гитлером (Reden): «Мы также обязательно включим в новый класс хозяев представителей других наций, т.е. тех, кто заслужит это благодаря своему участию в нашей борьбе».

Истинной целью тоталитарной пропаганды является не убеждение, а организация — «накопление власти без применения насилия»<sup>54</sup>. Для этого оригинальность идеологического содержания несущественна и может рассматриваться только как излишнее препятствие. И не случайно, что два тоталитарных движения нашего времени, такие устрашающе «новые» в методах правления и изобретательные в формах организации, никогда не проповедовали новой доктрины и никогда не вдохновлялись идеологией, которая уже не была бы достаточно популярной<sup>55</sup>. И отнюдь не преходящий успех демагогии завоевывает массы, но ощутимая реальность и власть «живой организации»<sup>56</sup>. Вовсе не яркий ораторский талант Гитлера в общении с массами помог ему завоевать такое положение в движении, но этот талант просто ввел в заблуждение его противников, оценивших его как простого демагога. А Сталин потерпел поражение в качестве величайшего оратора русской революции<sup>57</sup>. Тоталитарных вождей и диктаторов отличает, скорее, незамысловатое, недалекое целеполагание, в соответствии с которым они выбирали наиболее подходящие элементы из существующих идеологий, чтобы положить их в основание другого, полностью вымышленного мира. Фикция «Протоколов» соответствовала фикции троцкистского заговора. Обе содержали элемент правдоподобия (скрытое влияние евреев в прошлом; борьба за власть между Троцким и Сталиным), без которого даже фиктивный мир тоталитаризма не может действовать в безопасности. Их искусство состоит в использовании и в то же время в преодолении элементов реальности и достоверного опыта при выборе вымыслов и в их обобщении этих фикций в таких областях, которые затем, разумеется, выводятся из-под любого возможного индивидуального контроля. При

<sup>54</sup> *Hadamovsky E. Op. cit.*

<sup>55</sup> *Heiden K. Op. cit. P. 139*: Пропаганда не есть «искусство внедрения мнения в массы. На самом деле это искусство собирания мнений из масс».

<sup>56</sup> *Hadamovsky E. Op. cit., passim*. Термин взят из книги Гитлера «*Mein Kampf*», где «живая организация» движения противопоставляется «мертвому механизму» бюрократической партии (*Mein Kampf. Book 2. Ch. 11*).

<sup>57</sup> Было бы серьезной ошибкой интерпретировать тоталитарных вождей с точки зрения веберовской категории «харизмы» (см.: *Gerth H. The Nazi Party // American Journal of Sociology. 1940. Vol. 45*). Сходная ошибка есть также в биографии Хейдена (см.: *Heiden K. Op. cit.*). Герц описывает Гитлера как харизматического лидера бюрократической партии. Только такой вывод, по его мнению, может следовать из того факта, что, «как бы резко ни противоречили действия словам, они не могут разрушить строгую дисциплину организации». Это противоречие, в любом случае, в большей степени характерно для Сталина, который всегда «заботился о том, чтобы сказать противоположное тому, что он делал, и сделать противоположное тому, что он сказал» (см.: *Souvarine B. Op. cit. P. 431*).

В качестве источника этой ошибки см.: *Martin A. von. Zur Soziologie der Gegenwart // Zeitschrift für Kulturgeschichte. Bd. 27; Koettgen A. Die Gesetzmässigkeit der Verwaltung im Führerstaat // Reichsverwaltungsblatt. 1936*. Обе книги характеризуют нацистское государство в качестве бюрократического с харизматическим лидером во главе.

помощи подобных обобщений тоталитарная пропаганда устанавливает мир, способный конкурировать с реальным миром, отличительной особенностью которого является его нелогичность, противоречивость и неорганизованность. Непротиворечивость вымысла и строгость организации делают возможным то, что обобщения в конце концов порождают взрыв более специфической лжи — власть евреев после их безропотного уничтожения, зловеющий глобальный заговор троцкистов после их ликвидации в Советской России или убийства Троцкого.

Упорство, с каким тоталитарные диктаторы цеплялись за свою изначальную ложь, видя ее абсурдность, не просто заблуждение, благодаря которому и удался обман, и, наконец, по крайней мере в случае со Сталиным, его нельзя объяснить психологией самого лжеца, чей окончательный успех мог сделать его самого последней жертвой. Пропагандистские лозунги, однажды интегрированные в «железную организацию», невозможно полностью элиминировать без разрушения всей структуры. Предположение о существовании всемирного еврейского заговора было трансформировано тоталитарной пропагандой из объективного, требующего доказательства факта в существенный элемент нацистской реальности. Главное заключалось в том, что нацисты *действовали* так, как будто мир уже был захвачен евреями и требовался контрзаговор в целях своей защиты. Расизм для них не был спорной теорией сомнительной научной ценности, но должен был воплощаться ежедневно в функционирующей иерархии политической организации, в рамках которой было бы слишком «нереалистично» обсуждать его. Сходным образом большевизм больше не нуждается в том, чтобы подбирать аргументы в пользу классовой борьбы, интернационализма и безусловной зависимости благосостояния пролетариата от благосостояния Советского Союза; Коминтерн как функционирующая организация более убедителен, чем любой аргумент или просто идеология.

Фундаментальная причина превосходства тоталитарной пропаганды над пропагандой других партий и движений заключается в том, что ее содержание, во всяком случае для членов движения, больше не составляет объективной проблемы, о которой люди могут иметь свое мнение, но становится таким же важным и незыблемым элементом их жизни, как правила арифметики. Организация всей жизненной структуры в соответствии с идеологией может полностью осуществиться только при тоталитарном режиме. В нацистской Германии, когда ничего не имело значения, кроме расовых корней, когда карьера зависела от «арийской» внешности (Гиммлер обычно выбирал кандидатов в СС по фотографиям) и выдача пайка — от количества еврейских предков, вопрос о силе расизма и антисемитизма был сродни вопросу о существовании мира.

Успехи пропаганды, которая постоянно «приумножает власть организации»<sup>58</sup>, добавляя ее к слабому и ненадежному голосу доказательств, и которая, говоря другими словами, сразу воплощает все, что в ней ни утверждалось бы, ясно видны без всякой демонстрации. Верность — против аргументов, базирующихся на реальности, которую движение обещало изменить, против контрпропаганды, уничтожающейся самым фактом того, что она принадлежит к этому реальному миру (или его защищает), т.е. тому миру, который темные массы не могут и не хотят принять, — эта верность может быть опровергнута только другой, более сильной или лучшей реальностью.

И именно в момент поражения становится видимой внутренняя слабость тоталитарной пропаганды. Лишенные поддержки движения, его члены сразу же перестают верить в догмы, за которые еще вчера они готовы были принести в жертву свою жизнь. В тот момент движения, когда разрушается дающий им приют выдуманный мир, массы возвращаются к своему прежнему статусу изолированных индивидов, готовых с одинаковой радостью либо принять новые функции в изменившемся мире, либо возвратиться к своей прежней полной невостребованности. Члены тоталитарных движений, фанатичные до крайности, пока движение существует, не последуют примеру религиозных фанатиков и не умрут смертью мучеников (даже если они только и желают умереть смертью роботов)<sup>59</sup>. Скорее, они тихо откажутся от движения как от плохой ставки и оглянутся вокруг в поисках другой многообещающей фикции или будут ждать того момента, когда первоначальная фикция снова наберет силу для организации другого массового движения.

Опыт союзников, которые тщетно старались выделить раскаившихся и убежденных нацистов среди немецкого народа, 90 процентов которого вероятно были искренними приверженцами нацистского движения в то или иное время, нельзя рассматривать просто как знак человеческой слабости или вульгарного оппортунизма. Нацизм как идеология был настолько полностью «реализован», что содержание его доктрин исчерпало себя, он утратил, так сказать, свое интеллектуальное существование; поэтому реальная гибель движения почти ничего не оставила от него, в отличие от любого фанатизма верующих.

<sup>58</sup> *Hadamovsky E.* Op. cit. P. 21. Для тоталитарных целей было бы ошибкой пропагандировать свою идеологию через учение или убеждение. По словам Роберта Лея, ей нельзя было ни «научиться», ни «научить», но только «испытать» или «воплотить» (см.: *Der Weg zur Ordensburg*, не датировано).

<sup>59</sup> Один из видных нацистских политических теоретиков так интерпретировал это отсутствие доктрины или даже обычного набора идеалов и верований в движении в своей книге: «С точки зрения народного сообщества любой набор ценностей деструктивен» (*Hoehn R. Reichsgemeinschaft und Volksgemeinschaft. Hamburg, 1935. S. 83.*)

## 2. Тоталитарная организация

Формы тоталитарной организации, в отличие от своего идеологического содержания и пропагандистских лозунгов, абсолютно новы<sup>60</sup>. Они предназначены для того, чтобы перевести пропагандистскую ложь движения, вращающуюся вокруг центрального вымысла — заговора евреев, троцкистов, трехсот семей и т.д., в реальную действительность, а также для построения, даже в нетоталитарных условиях, общества, члены которого действовали и реагировали бы в соответствии с правилами вымышленного мира. В отличие от схожих по внешнему виду партий и движений фашистов или социалистов, националистической или коммунистической ориентации, одинаково поддерживающих свою пропаганду терроризмом до тех пор, пока они не достигнут определенной стадии экстремизма (которая главным образом зависит от степени безрассудства членов партии), тоталитарные движения на деле относятся всерьез к своей пропаганде, и эта серьезность особенно пугающе выражается в организации своих сторонников, нежели в физической ликвидации своих оппонентов. Организация и пропаганда (а отнюдь не террор и пропаганда) являются двумя сторонами одной медали<sup>61</sup>.

Наиболее впечатляющий новый организационный механизм, характерный для тоталитарных движений до захвата власти, заключается в создании фасадных организаций\*, в создании дистанции между партийными членами и сочувствующими. В сравнении с этим изобретением другие тоталитарные особенности, такие, как назначение функционеров сверху и в конечном счете монополия одного человека на распоряжение должностями, вторичны по своей значимости. Так называемый принцип вождизма сам по себе не является тоталитарным. Он вообрал в себя определенные черты из авторитаризма и военной диктатуры, что во многом способствовало затушевыванию существа и преуменьшению значимости тоталитарных феноменов. Если бы функционеры, назначенные сверху, обладали реальным авторитетом и ответственностью, мы бы имели дело с иерархической структурой, в которой авторитет и власть делегируются и подчиняются закону. Многие из этого характерно и для армейских ор-

<sup>60</sup> Гитлер, обсуждая взаимосвязь между *Weltanschauung* и организацией, принимал как само собой разумеющееся, что нацисты восприняли от других групп и партий «расовую идею» (*die völkische Idee*) и действовали так, как будто были только ее представителями, потому что были первыми, кто организовал борющуюся организацию на ее основе и приспособил ее для практических целей (см.: *Mein Kampf*. Op. cit. Book 2. Ch. 5).

<sup>61</sup> См.: *Hitler A. Propaganda and organization.* // Op. cit. Book 2. Ch. 11.

\* Легальных организаций, которые имели официальные нейтральные вывески и использовались для первичной агитации, вербовки сторонников и собирания в «пучки» сочувствующих лиц (*Прим. ред.*)

ганизаций, и для военной диктатуры, организованных согласно этой модели; там абсолютная власть приказания сверху вниз и абсолютное подчинение снизу вверх соответствуют ситуации крайней опасности во время боя и именно поэтому эта власть не является тоталитарной. Иерархически организованная система приказов означает, что власть командира зависит от всей иерархической системы, которой он управляет. Любая иерархия, вне зависимости от того, насколько авторитарна она по своему направлению, и любая система приказов, вне зависимости от того, насколько произвольно или безапелляционно содержание распоряжений, ведет к стабилизации и способствует ограничению абсолютной власти вождя тоталитарного движения<sup>62</sup>. В нацистской терминологии именно бесконечная, динамичная «воля фюрера» (а не его приказы как выражения, которые могли бы предполагать постоянную обусловленную власть) становится «верховным законом» в тоталитарном государстве<sup>63</sup>. И только благодаря таким условиям, в которые тоталитарное движение из-за своей уникальной организации помещает своего вождя, только благодаря его функциональной значимости для движения, принцип вождизма обнаруживает свой тоталитарный характер. Это также можно подтвердить на случаях Гитлера и Сталина, когда реальный принцип вождизма медленно выкристаллизовывался вместе с параллельно растущей «тоталитаризацией» движения<sup>64</sup>.

<sup>62</sup> Страстное, настойчивое требование Гимmlера «не публиковать ни одного указа, касающегося определения понятия “еврей”», — реальный факт; «со всеми этими глупыми обязательствами мы только свяжем себе руки» (Nuremberg Doc. №626, письмо к Бергеру, датированное 28 июля 1942 г., фотокопия находится в Centre de Documentation Juive).

<sup>63</sup> Формулировка «воля фюрера — верховный закон» лежит в основе всех официальных правил и распоряжений, касающихся управления партией или СС. Лучшим источником по этому вопросу является: *Gauweiler O. Rechtseinrichtungen und Rechtsaufgaben der Bewegung*. 1939.

<sup>64</sup> См.: *Heiden K. Op. cit.* P. 292. Здесь автор указывает на следующее различие между первым и последующими изданиями книги Гитлера «*Main Kampf*»: первое издание предполагает избрание партийных функционеров, которые только после этого наделяются «безграничной властью и авторитетом»; все последующие издания провозглашают назначение партийных чиновников сверху, т.е. лидером более высокой ступени. Естественно, для стабильности тоталитарных режимов само назначение сверху является более важным принципом, чем «безграничный авторитет» назначенных чиновников. На практике авторитет лидера более низкой ступени был четко ограничен абсолютной верховной властью высшего вождя. См. ниже.

Сталин, вышедший из заговорщической фракции большевистской партии, возможно, никогда не думал над этой проблемой. Для него назначения внутри партийной структуры были вопросом аккумуляции личной власти. (Хотя только в 30-х годах, по примеру Гитлера, он разрешил называть себя «вождем».) Однако нужно принять к сведению, что он мог легко оправдать эти приемы с помощью цитирования ленинской теории о том, что «история всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское», и поэтому управление им должно осуществляться извне (см.: *Lenin V. What is to be done?* //

Анонимность, во многом способствующая фатальности всего феномена в целом, скрывает истоки этой новой организационной структуры. Мы не можем знать, кто первым решил собрать единомышленников в сплоченную организацию, кто первым увидел в неактивно симпатизирующих массах — на которые все партии рассчитывали в день выборов, но которые считались не приспособленными для членства в этих партиях — не только резервуар, в котором можно найти членов партии, но и саму решающую силу. Прежние, проникнутые коммунистическим духом организации сочувствующих, такие, как «Друзья Советского Союза» или ассоциации Красного Креста, развились в фасадные организации, но изначально занимались буквально лишь тем, что было обозначено в их названии: собиранием сочувствующих для оказания финансовой или какой-либо другой (например, юридической) помощи. Гитлер был первым, кто сказал, что каждое движение должно разделять массы, привлеченные пропагандой, на две категории: сочувствующих и самих членов. Это само по себе достаточно интересно; но особенно важно, что в основе этого разделения лежало более общее философское положение, согласно которому большинство людей достаточно лениво и трусливо, если дело выходит за рамки чисто теоретических рассуждений, и только меньшинство жаждет бороться за свои убеждения<sup>65</sup>. Гитлер, следовательно, был первым, кто изобрел сознательную политику постоянного роста числа сочувствующих, в то время как число партийных членов оставалось строго ограниченным<sup>66</sup>. Это понятие меньшинства партийных членов, окруженного большинством сочувствующих, вплотную подводило к тому, что появилось в дальнейшем, — к фасадным организациям. В этом термине действительно отражается истинная функция такой организации и показывается связь между полноправными членами и сочувствующими внутри самого движения. Фасадные организации сочувствующих не менее существенны для функционирования движения, чем его активисты.

Collected Works. Vol. 4. Book 2. 1st ed. 1902; [Ленин В. И. ППС. Т. 6. С. 30]). Дело в том, что Ленин рассматривал Коммунистическую партию в качестве «наиболее прогрессивной» части рабочего класса и в то же время «рычага политической организации», «направляющего всю массу пролетариата», т.е. в качестве организации внеклассовой и надклассовой (см.: *Chamberlin W. H. The russian revolution, 1917-1921*. N.Y., 1935. Vol. 2. P. 361). Тем не менее Ленин не отрицал необходимости существования внутривнутрипартийной демократии, хотя он был склонен ограничивать демократию в самом рабочем классе.

<sup>65</sup> См.: *Hitler A. Op. cit.* Book 2. Ch. 11.

<sup>66</sup> См.: *Ibid.* Этот принцип был приведен в исполнение сразу после прихода нацистов к власти. Из 7 миллионов представителей гитлеровской молодежи только 50 тысяч были удостоены вступления в партию в 1937 г. (см.: *Childs H. L. Preface // The Nazi Primer*). Ср. также: *Neesse G. Die verfassungsrechtliche Gestaltung der Ein-Partei // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*. 1938. Bd. 98. S. 678: «Даже при однопартийной системе эта единственная партия никогда не сможет охватить все население. Она “тотальна” благодаря своему идеологическому влиянию на нацию».

Фасадные организации окружают членов движения защитной стеной, которая отделяет их от внешнего, нормального мира, и в то же время они же образуют мост, который делает возможной обратную связь с нормальным миром, без которой члены движения в период до захвата власти слишком остро ощущали бы разницу между своими убеждениями и убеждениями нормальных людей, между лживой фиктивностью своего и реальностью нормального мира. Гениальность этого изобретения во время борьбы за власть проявляется в том, что фасадные организации не просто отгораживают членов движения, но придают им видимость нормальности, что предохраняет от воздействия реальной действительности более эффективно, чем простая идеологическая агитация. Между установкой настоящего нациста или большевика и установкой их попутчиков существует различие, которое подкрепляло первых в их вере в вымышленное объяснение мира, так как попутчики, в конце концов, имели те же убеждения, хотя и в более «нормальной», т.е. менее категоричной, менее определенной, форме. Благодаря такой системе партийным членам кажется, что каждый, кого движение не выявило в качестве врага (например, еврея, капиталиста и др.), находится на их стороне, что мир полон тайных союзников, которые просто не могут, пока еще не могут, собрать все необходимые силы ума и характера, чтобы сделать логические заключения из собственных убеждений<sup>67</sup>.

К тому же, мир в целом обычно получает свои первые представления о тоталитарных движениях по их фасадным организациям. Сочувствующих, которые являются, судя по всему, достаточно безвредными согражданами в нетоталитарном обществе, вряд ли можно назвать недалекими фанатиками; хотя через них движения делают свою фантастическую ложь более приемлемой для всех, могут распространять свою пропаганду в более мягких, более респектабельных формах, пока вся атмосфера не отравится тоталитарными элементами, которые в качестве таковых трудно распознать, так как они появляются в виде нормальных политических реакций или мнений. Организации сочувствующих покрывают тоталитарные движения завесой нормальности и респектабельности, что заставляет партийных членов обманываться насчет истинного характера внешнего мира ровно настолько, насколько внешний мир заблуждается насчет истинного характера движения. Фасадные организации исполняют двойную функцию: в качестве фасада тоталитарных движений для нетоталитарного мира и в качестве фасада этого мира для внутренней структуры движения.

<sup>67</sup> См. гитлеровское различие между «радикальными людьми», единственными, кто был готов стать членами партии, и сотнями тысяч сочувствующих, слишком «трусливых» для того, чтобы, если это будет необходимо, принести себя в жертву (См.: *Op. cit. loc. cit.*).

Но более всего впечатляет, что эти же самые взаимодействия повторяются на различных уровнях внутри самого движения. Таким же образом, каким партийные члены, с одной стороны, связаны с сочувствующими, а с другой, отделены от них, так же и элитные структуры движения, с одной стороны, связаны с обычными членами, а с другой, отделены от них. Как и сочувствующие еще кажутся нормальными обитателями внешнего мира, которые приняли тоталитарное кредо, как они могли бы принять любую программу обычной партии, так и простые члены нацистского или большевистского движения еще принадлежат по многим параметрам окружающему миру. Их профессиональные и социальные связи еще не абсолютно детерминированы партийным членством, хотя они и могут осознавать — в отличие от простых сочувствующих, — что в случае конфликта между их партийным долгом и их частной жизнью решающим будет партийный долг. Член боевой группы, однако, полностью идентифицирует себя с движением; он не имеет профессии и частной жизни вне движения. Так же как сочувствующие создают защитную стену вокруг членов движения и представляют для них внешний мир, так и простые члены окружают боевые группы и уже для них представляют норму внешнего мира.

Характерным достоинством этой структуры является то, что она притупляет воздействие одного из основных тоталитарных принципов, гласящих, что мир разделяется на два гигантских враждебных лагеря, в один из которых входит движение, и что движение может и должно завоевать весь мир — претензии, которая расчищает дорогу для беспредельной агрессивности тоталитарных режимов после прихода к власти. Благодаря тщательно разработанной иерархии боевой активности, в которой каждая ступень более приближена к нетоталитарному миру из-за меньшей воинственности и меньшей тотальной организованности ее членов, воздействие этого чудовищного и ужасающего тоталитарного разделения мира ослабляется и оно никогда не воплощается полностью. Этот тип организации удерживает своих членов от прямых столкновений с внешним миром, чья враждебность остается для них лишь идеологической предпосылкой. Они также настолько хорошо защищены от реальности нетоталитарного мира, что постоянно недооценивают весь ужасный риск тоталитарной политики.

Тоталитарные движения, несомненно, разрушают *status quo* более радикально, чем какие-либо из предшествующих революционных партий. Они могут позволить себе этот радикализм, так явно неподходящий для массовых организаций, потому что последние предлагают лишь временное замещение обычной, неполитической жизни, а тоталитаризм на деле хочет такую жизнь отменить вообще. Целый мир неполитических социальных связей, от которых «профессиональные револю-

люционеры» либо должны отлучить себя, либо принять такими, как они есть, существует в виде менее воинственных групп в движении; внутри этой иерархически организованной системы борцы за захват мира и мировую революцию никогда не испытывают стресса, который должен неизбежно следовать из противоречия между «революционной верой» и «нормальным миром». Причина, почему движения на своей революционной стадии, предшествующей захвату власти, могут привлечь на свою сторону так много простых обывателей заключается в том, что члены этих движений живут в глупом рае нормальности; партийные члены окружены нормальным миром сочувствующих, а элитные структуры — нормальным миром простых членов движения.

Другое достоинство тоталитарной модели состоит в ее способности бесконечно воспроизводиться и сохранять свою организованность даже в условиях нестабильности, что позволяет ей постоянно создавать все новые подразделения и переопределять новые уровни их активности. Всю историю нацистской партии можно рассказать в терминах формирования новых организационных структур внутри нацистского движения. СА, штурмовые отряды (организованные в 1922 г.) были первой нацистской структурой, и предполагалось, что они должны стать более воинственными, чем сама партия<sup>68</sup>; в 1926 г. была основана организация СС в качестве элитной структуры СА; через три года она была отделена от СА и перешла в подчинение к Гиммлеру; Гиммлеру потребовалось не больше года, чтобы повторить ту же самую игру внутри СС. Одно за другим, и каждое все воинственнее, чем предшествующие, появились следующие формирования: сначала ударные отряды<sup>69</sup>, затем подразделения «Мертвой головы» (конвойные объединения для концентрационных лагерей), которые впоследствии были влиты в части СС (Waffen-SS), и, наконец, служба безопасности (идеологическая разведывательная служба партии и ее исполнительное орудие для проведения в жизнь «негативной демографической политики») и Управление делами расовой политики и переселения (Rasse- und Siedlungswesen) с «позитивными» задачами. Все эти структуры развились из общей структуры СС, чьи члены, за исключением личных корпусов фюрера, сохраняли свои гражданские обязанности. Все эти новые формирования привели к тому, что служащий обычного подразделения СС был в таком же взаимоотношении со служащим одного из спецподразделений СС, как представитель СА с представителем СС, или член партии с представителем СА, или член какой-либо из фа-

<sup>68</sup> См. главу об СА в книге Гитлера: *Mein Kampf*. Book 2. Ch. 9. Part 2.

<sup>69</sup> Переводя слово *Verfügungstruppe*, обозначающее специальные формирования СС, изначально предназначенные для особых нужд Гитлера, как *Shock Troops* [ударные отряды], я следую за Джайлзом: *Giles O. C. The Gestapo // Oxford Pamphlets on World Affairs*. № 36. 1940.

садных организаций с членом партии<sup>70</sup>. С этих пор задача общей организации СС состояла не только в том, чтобы «обеспечивать... воплощение национал-социалистской идеи», но и чтобы «защищать все спецкадры СС от соприкосновения с самим движением»<sup>71</sup>.

Эта подвижная иерархия с ее постоянным созданием новых подразделений и сменой авторитетов хорошо известна на примере секретных контролирующих органов, секретных полицейских или шпионских служб, где всегда требуются новые контролеры для проверки старых контролеров. В период, когда движение еще не пришло к власти, тотальный шпионаж невозможен; но подвижная иерархия организаций внутри движения, сходная с иерархией секретных служб, делает возможным, даже в условиях отсутствия реальной власти, понижать статус отдельных организаций или групп, что колеблет или занижает их радикализм, их воинственность. Это достигается просто с помощью создания новых, более радикальных подразделений, что автоматически

<sup>70</sup> Наиболее важным источником, касающимся организации и истории СС, является книга Гиммлера: *Himmler H. Wesen und Aufgabe der SS und der Polizei // Sammelhefte ausgewählter Vorträge und Reden*. 1939. В ходе войны, когда ряды Waffen-SS пополнились добровольцами, заменившими погибших на фронте, они потеряли свой элитный характер внутри СС до такой степени, что общая организация СС в ее первоначальном виде как личные корпуса фюрера, снова стала представлять реальное ядро элиты движения.

Документальный материал, более всего проливающий свет на этот последний период существования СС, можно найти в архивах библиотеки Гувера: Hoover Library. Himmler File. Folder 278. Он показывает, что набор в ряды СС проводился как среди иностранных рабочих, так и среди собственного населения, в подражание методам и правилам Французского иностранного легиона. Набор добровольцев среди немцев основывался на указе Гитлера (кстати, никогда не опубликованном), датированном декабрем 1942 г., согласно которому «родившиеся в 1925 г. должны быть зачислены в Waffen-SS» (из письма Гиммлера к Борману). Набор и вербовка проводились, очевидно, на добровольной основе. В точности общее число принятых можно увидеть из статистического отчета лидера СС, которому было поручено подобное задание. Отчет, датированный 21 июля 1943 г., подробно описывает, как полиция окружила зал, в котором происходил набор французских рабочих, и как французы сначала пели «Marseillaise», а затем старались выскочить в окно. Подобные мероприятия среди немецкой молодежи вряд ли были более успешными. Несмотря на то что на юных призывников давили и, в частности говорили, что «никак нельзя вступать в “грязные серые ряды”» армии, только 18 из 220 членов Гитлерюгенда подали заявление (согласно отчету 30 апреля 1943 г., сделанному Хойслером, председателем Юго-Западного призывного центра Waffen-SS); все остальные предпочли служить вермахту. Вполне возможно, что большие потери на фронте СС в сравнении с тем же вермахтом, обусловили их решение (см.: *Paetel K. O. Die SS // Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte*. January 1954). Однако то, что этот фактор сам по себе не мог быть единственным решающим, доказывается следующим. Где-то в самом начале января 1940 г. Гитлер приказал включить представителей СА в Waffen-SS. Результаты, по сохранившимся по Кёнигсбергу отчетам, выглядели так: 1807 представителей СА были вызваны в соответствующие службы, из них 1094 отказались подавать заявление, 631 были признаны негодными, только 82 были приняты на службу в СС.

<sup>71</sup> *Best W. Op. cit.* P. 99.

отодвигает старые подразделения в направлении к фасадным организациям, т.е. назад от центра движения. Так, нацистские элитные структуры первоначально были внутривнутрипартийными организациями: СА поднялась до положения некоторой надпартийности, когда партия ощутила недостаток в радикальности, и была затем в свою очередь и по сходным причинам заменена СС.

Военная ценность тоталитарных элитных структур, особенно СА и СС, часто переоценивалась, в то время как их внутривнутрипартийная значимость почему-то отрицалась<sup>72</sup>. Ни одна из нацистских малых организаций не учреждалась для каких-то специфических защитных или агрессивных целей, хотя всегда в качестве предлога говорилось о защите лидеров или простых членов партии<sup>73</sup>. Околовоенная организация нацистских и фашистских элитных групп была результатом того, что они были основаны в качестве «инструментов идеологической борьбы движения»<sup>74</sup> в противовес пацифизму, широко распространенному в Европе после первой мировой войны. Для тоталитарных целей важнее было создать для «выражения агрессивной установки»<sup>75</sup> поддельную армию, которая, насколько это возможно, напоминала бы фальшивую армию пацифистов (неспособные понять конституирующее место армии внутри политического организма, пацифисты отвергали все военные институты как банды стремящихся к власти убийц), чем иметь группы хорошо обученных солдат. И СА, и СС были подходящими образцами организаций, направленных на произвольное насилие и убийства; но они вряд ли были так же хорошо подготовлены как подразделения «черного рейхсвера», и не были экипированы для борьбы против регулярной армии. В послевоенной Германии милитаристская пропаганда была более популярной, чем военная подготовка, и униформа не прибавляла военной ценности этим военнизированным группировкам, хотя с пользой служила прекрасным показателем отмены гражданских норм и этики; каким-то образом эта униформа в значительной степени освобождала совесть убийц и делала их более восприимчивыми к безусловному повиновению и готовыми применять безусловную власть. Несмотря на эту милитаристскую амуницию, внутривнутрипартийная фракция наци-

<sup>72</sup> В этом, однако, не было вины Гитлера, который всегда настаивал, что само название SA (Sturmabteilung) означает только «подразделение движения» такое же, как и другие партийные структуры: отдел пропаганды, газета, научные институты и т.д. Он также старался развеять иллюзии насчет возможной военной ценности этого псевдвоенного формирования и хотел, чтобы оно соответствовало нуждам партии, а не армейским принципам (см.: Op. cit., loc. cit.).

<sup>73</sup> Официальной причиной организации СА была защита нацистских собраний, в то время как изначальной задачей СС была защита нацистских лидеров.

<sup>74</sup> Hitler A. Op. cit., loc. cit.

<sup>75</sup> Bayer E. Die SA. B., 1938. Цит. по: Nazi conspiracy. Vol. 4.

тов, которая изначально была националистической и милитаристской и поэтому рассматривала эти околовоенные группировки не просто в качестве партийных структур, но и как нелегальное расширение рейхсвера (напомним, что армия Германии имела ограничения по Версальским мирным договорам), — стала первым кандидатом на ликвидацию. Рем, лидер штурмовиков, естественно, мечтал и вел переговоры о вхождении его СА в рейхсвер после того, как нацисты придут к власти. Он был убит Гитлером, так как старался трансформировать новый нацистский режим в военную диктатуру<sup>76</sup>. Еще за несколько лет до этого Гитлер ясно показал, что такое развитие нацистского движения нежелательно, когда он сместил Рема — настоящего солдата, чей опыт войны и организации «черного рейхсвера» сделал бы его незаменимым в серьезной программе военной подготовки, — с его позиции главы СА и выбрал Гимmlера, человека вообще без каких-либо знаний, в качестве реорганизатора СС.

Помимо важности элитных формирований в организационной структуре движения, в которой какое-либо из них в разное время выступало в роли воинствующего авангарда, их околовоенный характер можно понять только в сравнении с другими профессиональными партийными организациями, такими, как организации учителей, юристов, врачей, студентов, университетских профессоров, инженеров и рабочих. Все они в первую очередь копировали существующие нетоталитарные профессиональные объединения и были такими же окологосударственными профессиональными, как штурмовики были околовоенными. Характерно, что европейские коммунистические партии именно тогда становились ответвлениями ориентированного на Москву большевистского движе-

<sup>76</sup> Из автобиографии Рема ясно видно, насколько мало его политические убеждения совпадали с политическими убеждениями нацистов. Он всегда мечтал о Soldatenstaat и всегда настаивал на «Primat des Soldaten vor dem Politiker» (Op. cit. S. 349). О его нетоталитарной позиции или, скорее, о его неспособности даже понять тоталитаризм и его «тотальную» претензию свидетельствует следующее высказывание: «Я не могу понять, почему несподручимо такие три вещи: моя преданность наследному принцу дома Виттельсбахов и наследнику Баварской короны; мое восхищение перед генералом интендантской службы во время мировой войны, Людендорфом, который сегодня является воплощением совести немецкого народа; и моя дружба с предвестником и знаменосцем политической борьбы Адольфом Гитлером» (S. 348). Но что действительно стоило Рему его головы, так это его предсказание после прихода фашистов к власти. Он открыто заявил, что фашистская диктатура последует примеру итальянского режима, при этом нацистская партия «разорвет партийные рамки» и «сама станет государством», т.е. заявил о том, что Гитлер не хотел разглашать ни при каких обстоятельствах (см.: Rohm E. Warum SA?, речь перед дипломатическим корпусом в декабре 1933 г. в Берлине).

Внутри нацистской партии возможность создания союза СА — рейхсвер против власти СС и полиции в общем-то никогда не исключалась полностью. Ханса Франка, генерал-губернатора Польши, в 1942 г., через восемь лет после убийства Рема и генерала Шлейхера, подозревали в желании «после войны... возобновить великую борьбу за справедливость [против СС] при помощи вооруженных сил и СА» (см.: Nazi conspiracy. Vol. 6 P. 747).

ния, когда они, в большинстве своем, использовали свои фасадные организации для конкуренции с существующими чисто профессиональными обществами. Разница между нацистами и большевиками в этом отношении заключалась лишь в том, что у первых прослеживалась тенденция рассматривать свои околопрофессиональные объединения в качестве части партийной элиты, тогда как последние предпочитали набирать из них людей для своих фасадных организаций. Для движений было важно, чтобы еще до захвата власти создавалось впечатление, что все элементы общества включены в их структуру. (Конечной целью нацистской пропаганды была организация всего немецкого народа в качестве сочувствующих<sup>77</sup>.) Нацисты пошли несколько дальше в этой игре и создали ряд поддельных министерств, которые были организованы по образцу профессиональной государственной администрации, например министерства иностранных дел, образования, культуры, спорта и др. Ни один из этих институтов не представлял большей профессиональной ценности, чем имитация армии, осуществляемая штурмовиками, но вместе они создавали совершенный мир кажимости, в котором любая реальность нетоталитарного мира с рабским подражанием дублировалась в форме обмана.

Эта техника копирования, естественно бесполезная для прямого свержения правительства, была чрезвычайно плодотворна для дискредитации реально существующих институтов и для «разрушения status quo»<sup>78</sup>, что тоталитарные организации всегда без каких-либо отклонений предпочитали открытой демонстрации силы. Если принять за задачу движения «внедрение, по типу распространения полипов в живом организме, во все ветви власти»<sup>79</sup>, то они должны быть готовыми к своему особому социальному или политическому положению. В соответствии с их претензией на тотальное господство любая отдельно организованная группа в нетотализированном секторе общества рассматривалась как специфический вызов движению, попытка его разрушить, а ведь чтобы разрушить, каждому нужен особый инструмент. Практическая ценность фасадных организаций обнаружилась, когда нацисты захватили власть и оказались готовыми тотчас же заменить существующие организации учителей другими учительскими организациями, существующие союзы юристов другими союзами юристов, созданными нацистами, и т.д. За одну ночь они сумели изменить всю структуру не-

<sup>77</sup> *Hitler A. Op. cit. Book 2. Ch. 11.* Он утверждает, что пропаганда пытается распространить свою доктрину на весь народ, в то время как организация включает в себя лишь сравнительно небольшую часть его наиболее активных членов. Ср. также: *Neesse G. Op. cit.*

<sup>78</sup> *Hitler. Op. cit., loc. cit.*

<sup>79</sup> *Hadamovsky E. Op. cit. P. 28.*

мецкого общества — а не только политическую жизнь — именно потому, что они подготовили его точную копию внутри собственных структур. В этом отношении задача околовоеенных структур была выполнена окончательно, когда в конце войны стало возможным отдать регулярную военную систему под власть генералов из СС. Техника этой «координации» была гениальной и неотразимой в такой же степени, в какой было быстрым и радикальным вырождение профессионализма, хотя это непосредственно ощущалось больше всего в высокотехнизированной и специализированной военной сфере.

При том, что важность околовоеенных формирований для тоталитарных движений заключается вовсе не в их сомнительном военном профессиональном качестве, она не кроется полностью и в их поддельной имитации регулярной армии. Как элитные структуры они гораздо больше отделены от внешнего мира, чем любая другая группа. Нацисты очень рано реализовали внутреннюю связь между тотальной военной активностью и тотальным отделением от нормального мира; штурмовики никогда не предназначались для работы в среде, из которой они вышли, активные кадры СА в период до прихода к власти, а кадры СС в условиях нацистского режима были настолько мобильны и так часто заменялись, что они не могли найти себе применения и пустить корни в обычном мире<sup>80</sup>. Они были созданы по образцу преступных банд и использовались для организованных убийств<sup>81</sup>. Эти убийства не скрывались, выставлялись напоказ и официально разрешались верхушкой нацистской иерархии, так что открытое соучастие делало почти невозможным для членов движения покинуть его, даже в условиях нетоталитарного правления и даже если они не подвергались угрозам со стороны прежних товарищей, как это обычно бывало. В этом смысле функция элитных формирований противоположна функции фасадных организаций: в то время как последние придают движению налет респектабельности и внушают доверие, первые через механизм соучастия, заставляют каждого члена партии осознать, что он навсегда покинул

<sup>80</sup> Подразделения СС «Мертвая голова» размещались согласно следующим принципам: 1. Ни одна из бригад не призывалась на службу в своем родном районе. 2. Каждое подразделение заменялось по истечении трех недель службы. 3. Члены этих бригад никогда не посылались на улицы в одиночку и никогда не показывали на публике своих символов принадлежности к «Мертвой голове». См.: *Secret Speech by Himmler to the German Army General Staff. 1938* (речь, кстати, была произнесена в 1937 г., см.: *Nazi conspiracy. Vol. 4. P. 616*, где были опубликованы лишь отрывки). Речь была опубликована Американским комитетом по антинацистской литературе.

<sup>81</sup> Генрих Гиммлер публично заявил: «Я знаю, что в Германии существуют люди, которых тошнит, когда они видят эту черную форму. Мы понимаем это и не ждем, что многие полюбят нас» (*Himmler H. Die Schutzstaffel als antibolschewistische Kampforganisation // Aus dem Schwarzen Korps. № 3. 1936*).

нормальный мир, в котором убийство объявляется вне закона, и что теперь он должен нести ответственность за все преступления, совершенные элитой<sup>82</sup>. Такое положение сложилось еще на стадии, предшествовавшей захвату власти, когда лидеры систематически требовали ответственности за все преступления и, не сомневаясь, утверждали, что они были совершены во имя победы движения.

Искусственное создание условий гражданской войны, которым нацисты замарали свой путь к власти, имело явное преимущество в раздувании беспорядков. Организованное насилие является для движения наиболее действенным из всех возможных защитных средств, окружающих его фиктивный мир. «Реальность» этого мира доказывается тем, что член движения боится его покинуть больше, чем последствий своего участия в незаконных действиях, и чувствует себя в большей безопасности в качестве члена движения, чем в качестве его противника. Это чувство безопасности, являющееся результатом организованного насилия, с помощью которого элитные структуры охраняют членов партии от внешнего мира, столь же важно для сплочения вымышленного мира организации в целом, как и чувство страха перед ее террором.

В центре движения, подобно мотору, который приводит его в действие, находится вождь. Он отделен от элитных структур внутренним кругом инициаторов движения, который распространяет вокруг вождя ауру недоступной тайны, соответствующую его «непостижимому превосходству»<sup>83</sup>. Его позиция внутри этого интимного круга зависит от его способности плести интриги между своими ближайшими соратниками и от его умения постоянно менять свой персонал. Он обязан восхождением до по-

<sup>82</sup> В своих речах перед членами СС Гиммлер всегда упоминал о совершенных преступлениях, подчеркивая их серьезность. Он, например, мог высказаться о ликвидации евреев таким образом: «Я также хочу сказать вам вполне откровенно об очень серьезных вещах. Среди своих мы можем говорить об этом вполне откровенно, хотя и никогда не скажем об этом публично». Об уничтожении польской интеллигенции: «...вам надо услышать об этом, но тут же немедленно и забыть...» (*Nazi conspiracy*. Vol. 4. P. 558 и 553 соответственно).

Гейббельс высказался сходным образом: «По еврейскому вопросу в особенности мы заняли позицию, которую не собираемся покидать... Опыт учит, что движение и люди, сжегшие свои мосты, борются с большей целенаправленностью, чем те, кому есть куда отступать» (*Goebbels J. Op. cit.* P. 226).

<sup>83</sup> Стремление движения к сохранению в абсолютной тайне частной жизни своих вождей (Гитлера и Сталина) контрастирует с той общественной ценностью, которую все демократии придают демонстрации частной жизни президента, короля, премьер-министра и так далее на публике. Тоталитарные методы не принимают идентификации, основанной на убеждении — «даже выше из нас всего лишь люди» (см.: *Souvarine B. Op. cit.* P. 648).

Суварин в описании Сталина часто использовал ярлыки: «Сталин — таинственный хозяин Кремля», «Сталин — личность, которую нельзя постигнуть», «Сталин — коммунистический сфинкс», «Сталин — загадка», «неразрешимая тайна» и т.д. (*Souvarine B. Op. cit.* P. xiii).

ложения вождя в большей степени некой уникальной способности манипулировать внутривластной борьбой в целях усиления власти, нежели демагогическим или организаторско-бюрократическим качествам. Он отличается от прежних типов диктаторов тем, что вряд ли побеждает с помощью обыкновенного насилия. Гитлер не нуждался ни в СА, ни в СС для сохранения своего положения вождя в нацистском движении; наоборот, Рем, глава СА, который мог рассчитывать на лояльность по отношению к своей собственной персоне, был одним из внутривластных врагов Гитлера. Сталин победил Троцкого, который не только пользовался всенародной массовой поддержкой, но и в качестве главнокомандующего Красной Армией в то время держал в своих руках мощный потенциал власти в Советской России<sup>84</sup>. Более того, не Сталин, а именно Троцкий обладал великим организаторским талантом и был способнейшим бюрократом русской революции<sup>85</sup>. Но в то же время, и Гитлер, и Сталин мастерски владели деталями, нюансами взаимоотношений и на ранней стадии своей карьеры практически полностью посвящали себя вопросам персонала, так что спустя несколько лет едва ли оставался хоть один влиятельный человек, который бы не был обязан им своей карьерой<sup>86</sup>.

Подобные личные качества, хотя и абсолютно необходимые на ранних этапах такой карьеры и даже позже не лишённые некой значимости, перестают быть решающими, когда тоталитарное движение сформировано, когда введен в действие принцип, что «воля фюрера — закон для партии», и когда вся иерархия движения эффективно подготовлена для исполнения единственной задачи — быстро сообщить волю фюрера всем подразделениям. Когда это достигнуто, вождь становится незаменим, потому что вся сложная структура движения без его приказов потеряла бы свою *raison d'être*. С этого времени, несмотря на постоянные интриги в кругу приближенных и нескончаемые перемещения персонала с их ужасающим накоплением ненависти, жестокости и личного возмущения, положение вождя остается гарантированным от хаотических дворцовых переворотов, отнюдь не благодаря его

<sup>84</sup> «Если бы [Троцкий] выбрал путь военного *coup d'état*, он, вероятно, смог бы достичь победы. Но он покинул свой пост без малейшей попытки призвать армию на свою защиту, армию, которую он создал и которой руководил в течение семи лет» (см.: *Deutscher I. Op. cit.* P. 297).

<sup>85</sup> Военный комиссариат при Троцком «был образцовым институтом», и именно Троцкого звали на помощь во всех случаях беспорядков в других министерствах (см.: *Souvarine B. Op. cit.* P. 288).

<sup>86</sup> Обстоятельства, сопровождавшие смерть Сталина, противоречат безошибочности этих методов. Была вероятность того, что Сталин, планировавший незадолго до смерти новые чистки, был убит кем-то из его окружения, потому что никто больше не чувствовал себя в безопасности. Правда, несмотря на достаточную правдоподобность обстоятельств, эту версию вряд ли можно доказать.

собственным суперталантам, относительно которых у людей из его непосредственного окружения часто нет никаких иллюзий, а благодаря искренней и прочувствованной убежденности этих людей, что без него все может сразу же погибнуть.

Высшая задача вождя состоит в том, чтобы олицетворять двойную функцию, характерную для каждого пласта движения, — выступать в качестве магической защиты движения от внешнего мира и в то же время служить мостиком, с помощью которого движение связывает себя с внешним миром. Вождь представляет движение способом, полностью отличающимся от способов, распространенных среди обычных партийных лидеров; он требует личной ответственности за каждое действие, будь то подвиг или преступление, предпринятое любым членом партии или функционером в пределах его должностных обязанностей. Эта тотальная ответственность составляет наиболее важную организационную особенность так называемого принципа вождизма, согласно которому любой функционер не просто назначен вождем, но и является его реально действующим представителем на местах и каждое распоряжение при этом исходит как бы из одного-единственного, всегда наличествующего источника. Это полное отождествление вождя с каждым назначенным им мини-вождем и эта монополия на ответственность за все, что происходит, также выступают наиболее отчетливыми признаками, по которым можно отличить тоталитарного вождя от обычного диктатора или деспота. Тиран никогда бы не стал отождествлять себя со своими подчиненными, не говоря уже о каждом их действии<sup>87</sup>; он может использовать их в качестве козлов отпущения и охотно критиковать их для того, чтобы самому уберечься от гнева народа, но он всегда будет поддерживать абсолютную дистанцию со всеми своими подчиненными и со всеми своими подданными. Вождь, напротив, не может допустить критики своих подчиненных, так как они всегда действуют от его имени; если он хочет исправить собственные ошибки, он должен ликвидировать тех, кто воплотил их в жизнь; если он хочет возложить свои ошибки на других, он должен убить их<sup>88</sup>. Поскольку внутри этой организационной структуры такого

<sup>87</sup> Так, Гитлер лично взял на себя ответственность за убийство в Потемпа, совершенное головорезами из СА в 1932 г., хотя, естественно, он не имел непосредственного отношения к этому убийству. Все дело состояло в утверждении принципа отождествления, или, на языке нацистов, во «взаимной преданности вождя и народа», на которой «стоит рейх» (см.: *Frank H. Op. cit.*)

<sup>88</sup> «Одной из отличительных характеристик Сталина... является систематическое возложение собственных злодеяний и преступлений, равно, как и политических ошибок... на плечи тех, чью дискредитацию и гибель он планировал» (*Souvarine B. Op. cit. P. 655*). Ясно, что тоталитарный вождь свободно может выбрать, на кого ему возложить свои ошибки, так как предполагается, что все действия, совершенные подчиненными, инспирируются именно им, так что любого можно выбрать на роль злодея.

рода ошибка может быть лишь ошибкой относительно личности самого вождя, то она означала бы, что вождя воплощает какой-то мошенник.

Эта тотальная ответственность за все, что совершается движением, и это тотальное отождествление вождя с каждым из его функционеров имеют самые практические последствия — никто не оказывается в ситуации, когда он был бы ответствен за свои действия или мог бы объяснить причину этих действий. С тех пор как вождь монополизирует право и возможность объяснения, он предстает перед внешним миром единственным лицом, которое знает, что делает, т.е. единственным представителем движения, с которым еще можно говорить на нетоталитарном языке и который, когда его упрекают или критикуют за что-то, уже не может сказать: «Не спрашивайте с меня, спрашивайте с вождя». Находясь в центре движения, вождь мог действовать так, как будто бы он был над ним. И поэтому совершенно объяснимо (хотя и совершенно тщетно), для посторонних движению людей в тех случаях, когда они вынуждены иметь дело с тоталитарными движениями или с правительствами, снова и снова возлагать свои надежды на личный разговор с самими вождями. Действительная тайна тоталитарного вождя сокрыта в организации, которая дает ему возможность принять тотальную ответственность за все преступления, совершенные элитными формированиями движения, и в то же время требовать искреннего, навязанного уважения со стороны наиболее простодушных сторонников<sup>89</sup>.

<sup>89</sup> То, что именно сам Гитлер — а не Гиммлер, или Борман, или Геббельс — всегда был инициатором действительно радикальных мер, то, что его предложения всегда были более радикальны, чем предложения, сделанные его непосредственным окружением; то, что даже Гиммлер был потрясен, когда его проинструктировали об «окончательном решении» еврейского вопроса, — подтверждается бесчисленными документами. И также нельзя верить в волшебную сказку, что Сталин был умереннее, чем левые фракции большевистской партии. Особенно важно помнить, что тоталитарные вожди неизменно стараются предстать перед внешним миром в более умеренном образе, а их реальная роль — вести движение вперед любой ценой и пользоваться любыми методами, увеличивающими скорость этого движения, — остается тщательно сокрытой. См., напр., мемуары адмирала Эриха Редера: *Raeder E. My relationship to Adolf Hitler and to the party // Nazi conspiracy. Vol. 8. P. 707 ff.* «Когда распространялась информация или слухи о радикальных мерах партии или гестапо, по поведению фюрера можно было судить, что подобные меры не исходили от него самого... В течение следующих лет я постепенно пришел к выводу, что фюрер сам всегда склонялся к наиболее радикальным мерам без всякого влияния извне».

Во время внутрипартийной борьбы, предшествовавшей приходу Сталина к абсолютной власти, он всегда заботился о том, чтобы показаться «человеком золотых намерений» (*Deutscher I. Op. cit. P. 295 ff.*); хотя, определенно, не будучи «человеком компромиссов», он никогда не отказывался вообще от этой роли. Когда, например, в 1936 г. иностранный журналист спросил его о мировой революции как конечной цели движения, Сталин ответил: «Мы никогда не имели подобных планов и намерений... Это результат недоразумения... комичного или, скорее, трагикомичного» (*Deutscher I. Op. cit. P. 422*).

Тоталитарные движения называли «тайными обществами, учрежденными среди бела дня»<sup>90</sup>. В самом деле, как ни мало знаем мы о социальной структуре и новейшей истории тайных обществ, структура движений, беспрецедентная, если сравнивать ее с партиями и фракциями, ни с чем не имеет так много общего, как с некоторыми лежащими на поверхности особенностями тайных обществ<sup>91</sup>. Тайные общества также создают иерархии согласно степени «инициированности», посвященности его отдельных членов, регулируют их жизнь согласно тайным и вымышленным предписаниям, которые заставляют смотреть на все другими глазами; используют стратегию постоянной лжи для надувательства непосвященной внешней массы; требуют безусловного подчинения от своих членов, которые вместе доказывают преданность чаще неизвестному, но всегда таинственному лидеру, который сам окружен, или предполагается, что окружен, небольшой группой посвященных, а те в свою очередь окружены полупосвященными, которые составляют «защитную оболочку» от враждебного, непосвященного мира<sup>92</sup>. Наряду с тайными обществами тоталитарные движения также признают дихотомическое разделение мира между «названными братьями по крови» и неопределенной,

<sup>90</sup> Koyn A. The political function of the modern lie // Contemporary Jewish Record. June 1945.

Гитлер (Hitler. Op. cit. Book 2. Ch. 9) подробно обсуждал все за и против при рассмотрении тайных обществ в качестве модели для тоталитарных движений. Его размышления привели его к тем же выводам, к которым пришел Коире, т.е. принять принципы тайных обществ без их секретности и учредить их «среди бела дня». В стадии, когда движение еще не пришло к власти, вряд ли было что-то, что нацисты держали в секрете. Только во время войны, когда нацистский режим стал целиком тоталитарным и партийное руководство оказалось окруженным со всех сторон военной иерархией, от которой зависело ведение войны, элитные формирования были проинструктированы в не очень четкой форме держать в абсолютной тайне все, что касалось так называемых окончательных решений, т.е. депортаций и массовых уничтожений. Это было время, когда Гитлер начал действовать как главарь шайки заговорщиков, но лично не признавая этот факт и не заявляя об этом во всеулышание. Во время дискуссии с Генеральным штабом в мае 1939 г. Гитлер выдвинул следующие правила, которые звучали так, как будто были скопированы по образцу тайного общества: 1. Не следует информировать никого из тех, кому знать не положено. 2. Никому не следует знать больше чем нужно. 3. Никому не следует узнавать о деле раньше, чем ему полагается (цит. по: *Hollback H. Was wirklich geschah. 1949. S. 378*).

<sup>91</sup> Это умозаключение можно прямо соотнести с выводами Георга Зиммеля (*Simmel G. Sociology of secrecy and of secret societies // The American Journal of Sociology. Vol. 11. № 4. January 1906*). Эти же соображения содержатся также в главе пятой его книги «Социология» (*Soziologie. Leipzig, 1908*), выдержки из которой переведены Куртом Вольфом (см.: *Wolff K. H. The sociology of Georg Simmel. 1950*).

<sup>92</sup> «Именно потому, что более низкие слои общества образуют ряд опосредованных переходов к подлинной сердцевине тайны, они обеспечивают постепенное уплотнение защитной завесы вокруг одного и того же предмета, что охраняет тайну гораздо лучше, чем это сделали бы крутые меры радикала, находящегося внутри или снаружи этого общества» (*Simmel G. Op. cit. P. 489*).

расплывчатой массой заклятых врагов<sup>93</sup>. Это разделение, основанное на абсолютной враждебности к окружающему миру, существенно отличается от тенденции обычных партий делить людей на тех, кто в них входит и кто не входит. Партии и вообще открытые общества будут рассматривать как своих врагов только тех, кто явно противостоит им, в то время как всегдашний принцип тайных обществ гласит: «Кто не с нами, тот против нас»<sup>94</sup>. Этот эзотерический принцип кажется совсем неприемлемым для массовых организаций; и тем не менее в конце концов нацисты предложили своим членам психологический эквивалент ритуала посвящения в тайное общество, когда вместо простого исключения евреев из своих рядов они требовали от членов своей партии доказательств нееврейского происхождения и установили сложный механизм для того, чтобы пролить свет на темное прошлое почти 80 миллионов немцев. Это было, конечно, комедией, и довольно дорогой комедией, когда 80 миллионам немцев предписывалось искать еврейских предков. Несмотря на это каждый проходил экзамен с чувством, что он принадлежит к группе избранных, которая противостоит воображаемому множеству непригодных. Сходный принцип сформировался в большевистском движении благодаря повторяющимся партийным чисткам, которые возбуждали в каждом, кого не отвергли, веру в свою посвященность.

Возможно, наиболее поразительное сходство тайных обществ и тоталитарных движений заключается в той роли, какую в них играет ри-

<sup>93</sup> Термины «кровные братья», «кровные товарищи», «кровное сообщество» повторялись в нацистской литературе *ad nauseam*. Это происходило отчасти потому, что они носили отпечаток юношеского романтизма, широко распространенного в немецком молодежном движении. И в основном Гиммлер воспользовался этими терминами в более определенном смысле, представив их в качестве «главного лозунга» СС: «Таким образом, мы выстроились в одну линию и маршируем в будущее, следуя неизменным законам, таким, как национал-социалистский порядок нордических людей и как братское сообщество нордических племен [Sippen]» (см.: *Alquen G. de. Op. cit.*). Кроме того, он придал этим терминам ярко выраженное значение «абсолютной враждебности» всем остальным народам (см.: *Simmel G. Op. cit. P. 489*): «Тогда, когда все человечество, от 1 до 1,5 миллиарда [sic!], объединится против нас, против германских народов...» (см. речь Гитлера на собрании генералов СС в Познани 4 октября 1943 г.: *Nazi conspiracy. Vol. 4. P. 558*).

<sup>94</sup> *Simmel G. Op. cit. P. 490*. Этот принцип, как и многие другие, был приспособлен нацистами после тщательного исследования подтекстов «Протоколов сионских мудрецов». Еще в 1922 г. Гитлер сказал: «[Господа правые] еще не поняли, что не обязательно быть врагом евреев, чтобы однажды попасть... на эшафот... вполне достаточно... не быть евреем: это обеспечит вам эшафот» (Hitler's speeches. P. 12). В то время никто не мог предположить, что на самом деле означает эта специфическая форма пропаганды. Она же означала следующее: когда-нибудь будет не обязательно быть нашим врагом, чтобы попасть на эшафот, будет вполне достаточно быть евреем, или, в конце концов представителем любого другого народа, объявленного «расово непригодным» некоторой Комиссией по здоровью. Гиммлер сам верил и проповедовал, что СС в целом основывается на принципе: «Мы должны быть честными, порядочными, лояльными и дружески настроенными по отношению к тем, в чьих жилах течет наша кровь, и ни к кому больше» (*Op. cit., loc. cit.*).

туал. Парады на Красной площади в этом отношении не менее характерны, чем помпезная организация нюрнбергских партийных дней. Центром нацистского ритуала был так называемый зов крови, а большевистского — мумифицированное тело Ленина. Оба движения приносят в церемонию заметные элементы идолопоклонства. Подобное идолопоклонство вряд ли доказывает, как порой утверждалось, псевдо-религиозные или еретические тенденции. «Идолы» — это чисто организационные приемы, известные по ритуалам тайных обществ, которые также использовались для того, чтобы запугивать своих членов с помощью внушающих благоговение и ужас символов. Ясно, что люди крепче соединяются в нечто единое с помощью общего совершения тайного ритуала, чем через общее знание самой тайны. То, что тайна тоталитарных движений видна невооруженным глазом не обязательно меняет природу совместного ритуального опыта<sup>95</sup>.

Это сходство, естественно, не случайно: оно не просто объясняется тем, что и Гитлер и Сталин были членами современных тайных обществ до того, как стали тоталитарными вождями, — Гитлер в тайной службе рейхсвера, а Сталин в конспиративной группе большевистской партии. До некоторой степени это сходство является естественным результатом заговорщического по своему существу вымысла тоталитарного движения, чьи организации, по общему мнению, создавались, чтобы противостоять тайным обществам — тайному обществу евреев или троцкистскому обществу заговорщиков. Особенно отличает тоталитарные организации то, что они могли использовать так много организационных приемов тайных обществ без малейшей попытки удержать в секрете свою собственную цель. То, что нацисты хотели завоевать мир, депортировать «расово чуждых» и уничтожить тех, у кого было «плохое биологическое наследство», что большевики действовали во имя мировой революции, никогда не было тайной; наоборот, эти цели всегда были частью их пропаганды. Другими словами, тоталитарные движения копируют все внешние атрибуты тайных обществ, но у них отсутствует одна-единственная вещь, которая могла бы извинить, или предпологалось, извиняет, их методы, — необходимость сохранять тайну.

В этом аспекте, как и во многих других, нацизм и большевизм приходят к одинаковым результатам, исходя из различных исторических начальных условий. Нацисты исходили из вымышленного заговора и более или менее сознательно моделировали себя по примеру тайного общества сионских мудрецов, большевики же исходили из революционной партии, чьей целью была однопартийная диктатура, прошли в своей тоталитаризации стадию, когда партия была «полностью в

стороне и выше всех», затем стадию, когда Политбюро партии стало «полностью отделено и выше всех»<sup>96</sup>; в конце концов Сталин навязал этой партийной структуре жесткие тоталитарные принципы по типу конспиративной группы и только тогда обнаружил необходимость в целях поддержания идеи фикс установить железную дисциплину тайного общества в условиях массовой организации. Эволюция нацистской партии может быть более логична, более последовательна внутри себя, но история большевистской партии лучше иллюстрирует фиктивный по сути характер тоталитаризма, потому что вымышленные глобальные заговоры, против которых якобы и был организован большевистский заговор, не были зафиксированы в идеологии. Они менялись — от троцкистов до трехсот семей, затем до различных «империалистов» и, наконец, до «безродных космополитов» — и служили различным целям; хотя большевики никогда и ни при каких обстоятельствах не могли действовать вообще без подобных фикций.

Сталин преобразовал русскую однопартийную диктатуру в тоталитарный режим, а революционные коммунистические партии по всему миру — в тоталитарные движения путем ликвидации фракций, уничтожения внутривнутрипартийной демократии и превращения национальных коммунистических партий в ориентированные на Москву ответвления Коминтерна. Тайные общества вообще и заговорщическая часть революционных партий в частности всегда отличались отсутствием фракций, подавлением инакомыслящих и абсолютной централизацией управления. Все эти мероприятия имеют явную утилитарную цель, направленную на защиту своих членов от гонений, а общества — от измены ему; тотальное послушание, требуемое от каждого члена, и абсолютная власть, сосредоточенная в руках вождя, были только неизбежным побочным продуктом практических потребностей. Беда, однако, состоит в том, что заговорщики имеют вполне объяснимую тенденцию полагать, что наиболее эффективные методы в политике — это методы тайных обществ и что если есть возможность воспользоваться ими открыто и поддержать их всеми государственными средствами насилия, то возможности для аккумуляции власти становятся абсолютно безграничными<sup>97</sup>. Роль заговорщической фракции революционной партии, пока сама партия еще сохраняется неделимой, можно сравнить с ролью армии внутри неделимого политического общества: хотя ее собственные правила поведения радикально отличаются от тех, которые приняты в гражданском обществе, она служит ему, остается подчиненной

<sup>96</sup> Souvarine B. Op. cit. P. 319, автор следует высказыванию Бухарина.

<sup>97</sup> Souvarine. Op. cit. P. 113. Автор говорит о том, что на Сталина «всегда производили впечатление люди, которые успешно вели "дело". Он смотрел на политику как на "дело", требующее большой ловкости».

<sup>95</sup> См.: Simmel G. Op. cit. P. 480–481.

ему и контролируется им. Точно так же как опасность военной диктатуры возникает, когда армия перестает служить политическому обществу, а старается подчинить его себе, так и опасность тоталитаризма возникает тогда, когда заговорщическая часть революционной партии освобождает себя от контроля со стороны партии и стремится к лидерству. Именно это случилось с Коммунистической партией в условиях сталинского режима. Сталинские методы были вполне типичны для человека, вышедшего из заговорщической части партии: его приверженность деталям общения с товарищами по партии, его предпочтение личностной стороны политики, его беспринципность в использовании и уничтожении соратников и друзей. Основная поддержка после смерти Ленина была оказана ему со стороны секретных служб<sup>98</sup>, которые в то время уже стали наиболее влиятельной и наиболее властной частью партии<sup>99</sup>. Кажется вполне естественным, что симпатии ЧК были отданы представителю заговорщической части партии, человеку, который уже смотрел на этот орган как на образец тайного общества и поэтому был склонен сохранить и приумножить его привилегии.

Захват власти внутри Коммунистической партии этой секретной фракцией был, однако, лишь первым шагом в ее преобразовании в тоталитарное движение. И недостаточно того, что секретная служба в России и ее агенты в коммунистических партиях за границей играли такую же роль в движении, какую играли элитные структуры, которыми нацисты придали вид околвоенных группировок. Партии сами по себе должны были измениться, если принцип секретной службы должен оставаться неизменным. Ликвидация фракций и внутрипартийной демократии соответственно сопровождалась в России призывом в партию большой, политически необразованной и «нейтральной» массы — политика, которой сразу же после создания народного фронта воспользовались зарубежные коммунистические партии.

Нацистский тоталитаризм начался с массовой организации, над которой лишь слегка возвышались элитные формирования, тогда как большевики начали с элитных формирований и соответственно им ор-

<sup>98</sup> Во внутрипартийной борьбе 20-х годов «сотрудники ГПУ практически без исключения были фанатичными противниками правых и приверженцами Сталина. В это же время различные службы ГПУ поддерживали сталинскую фракцию» (*Cilia A. Op. cit. P. 48*). Суварин пишет, что Сталин еще до того, как «продолжил политическую деятельность, начатую во время гражданской войны, был представителем Политбюро в ГПУ» (см.: *Souvarine B. Op. cit. P. 289*).

<sup>99</sup> Сразу же после гражданской войны в России «Правда» писала, что лозунг «Вся власть Советам» заменился на лозунг «Вся власть ЧК»... С окончанием военных действий утратил значение военный контроль... но осталась разветвленная сеть ЧК, которая совершенствовалась себя упрощением оперативных методов своей деятельности» (*Souvarine B. Op. cit. P. 251*).

ганизовали массы. Результат был одинаков в обоих случаях. Более того, нацисты благодаря своим милитаристским традициям и предрасудкам изначально создавали свои элитные подразделения по армейскому образцу, в то время как большевики с самого начала наделили секретную службу верховной властью. Тем не менее через несколько лет эта разница также исчезла: глава СС стал главой тайной полиции и структуры СС понемногу были внедрены в гестапо и заменили своими кадрами прежний состав, хотя к тому времени персонал гестапо состоял из надежных нацистов<sup>100</sup>.

Именно благодаря существенному сходству в функционировании тайных обществ заговорщиков и тайной полиции, организованной для борьбы, тоталитарные режимы, ориентирующиеся на вымысел глобального заговора и стремящиеся к глобальной власти, в конечном счете концентрируют всю власть в руках тайной полиции. Однако в период, предшествующий власти, «тайные общества, учрежденные среди бела дня», предлагают другие организационные достижения. Явное противоречие между массовой организацией и обществом избранных (единственное способное хранить тайну) не столь важно по сравнению с тем фактом, что сама структура тайных и заговорщических обществ может перевести тоталитарную идеологическую дихотомию — слепую враждебность масс по отношению к существующему миру, его отклонениям и различиям — в организационный принцип. С точки зрения организации, функционирующей согласно принципу «Кто не с нами, тот против нас», мир в целом теряет свои нюансы, различия и плюралистические качества, которые в любом случае ставятся неудобными и непереносимыми для масс, потерявших свое место в мире и свою ориентацию в нем<sup>101</sup>. Непоколебимую преданность членам тайных обществ внушает не столько тайна, сколько пропасть между ними и всеми остальными. Это положение можно сохранить, если копировать организационную структуру тайных обществ и исключить из нее рациональную цель сокрытия самой тайны. Не имеет значения, лежит ли в основе этого развития, как в случае с

<sup>100</sup> Гестапо было организовано Герингом в 1933 г.; Гиммлер стал главой гестапо в 1934 г. и сразу стал заменять кадры на эсэсовцев. В конце войны 75 процентов всех агентов Гестапо были эсэсовцами. Это можно интерпретировать с той точки зрения, что подразделения СС, по замыслу Гиммлера, были специально предназначены для этой работы (причем даже до войны), т.е. для шпионажа среди партийных членов (см.: *Heiden K. Op. cit. P. 308*). По истории гестапо см.: *Gilles O. C. Op. cit.*, а также *Nazi conspiracy. Vol. 2. Ch. 12*.

<sup>101</sup> Возможно, одной из решающих ошибок Розенберга, потерявшего симпатию фюрера и уступившего свое влияние на движение таким людям как Гиммлер, Борман и даже Штрейхер, была та, что его «Миф XX века» допускал расовый плюрализм, из которого были исключены только евреи. Он тем самым нарушил принцип: Кто не с нами («германскими народами»), тот против нас («остальное человечество»). Ср. сноску 87.

нацизмом, заговорщическая идеология, или паразитический рост заговорщического сектора революционной партии, как в случае с большевизмом. Внутренне присущее тоталитарной организации утверждение, что все находящееся вне движения «умирает», было решительно реализовано в преступных условиях тоталитарного правления, но даже тогда, когда движение еще не было у власти, это утверждение казалось правдоподобным массам, спасающимся от дезинтеграции и дезориентации в фиктивном доме движения.

Тоталитарные движения снова и снова доказывали, что они могут внушать такую же абсолютную преданность «не на жизнь, а на смерть», которая была исключительным свойством тайных и заговорщических обществ<sup>102</sup>. Полное отсутствие сопротивления, например, в таких тщательно подготовленных и военизированных группировках, как СА, после убийства любимого лидера (Рема) и сотни близких соратников было любопытной инсценировкой. В тот момент возможно Рем, а не Гитлер имел за плечами поддержку рейхсвера. Но подобные события в нацистском движении к этому времени были отодвинуты на второй план постоянно повторявшимся спектаклем саморазоблачений «преступников» в большевистской партии. Судебные процессы, основанные на абсурдных разоблачениях, стали частью внутренне очень важного и внешне непостижимого ритуала. Но неважно, как жертвы готовятся теперь, этот ритуал обязан своим существованием, по всей вероятности, несфабрикованным разоблачениям старой большевистской гвардии в 1936 г. Задолго до периода московских судебных разбирательств люди, приговоренные к смерти, могли принять свой приговор с великим спокойствием, что было «особенно распространено среди членов ЧК»<sup>103</sup>. Пока движение существует, сама специфика его организации гарантирует, что по крайней мере элитные подразделения больше не могут воспринимать мир вне тесно связанной группы людей, которые, даже если они приговорены, сохраняют чувство превосходства по отношению к остальному непосвященному миру. А так как исключительной целью этой организации всегда было ввести внешний мир в заблуждение, бороться с ним и подчинить его, то ее члены согласны заплатить своими жизнями, если только это поможет опять оглушить мир<sup>104</sup>.

<sup>102</sup> См.: *Simmel G.* Op. cit. P. 492. Автор перечисляет тайные преступные общества, члены которых добровольно возвышали над собой определенного командора и после этого подчинялись ему уже без критики и ограничений.

<sup>103</sup> *Ciliga A.* Op. cit. P. 96–97. Он также описывает, как в 20-х годах даже обычные узники, приговоренные к смерти в тюрьме ГПУ в Ленинграде, позволяли исполнить приговор «без слова, без крика протеста против правительства, приговорившего их к смерти» (p. 183).

<sup>104</sup> Есть описание, как приговоренные члены партии «думали, что если их казни спасут бюрократическую диктатуру в целом, если этим можно будет успокоить восставших

Однако главная ценность структуры тайных и заговорщических обществ и их моральных принципов для массовой организации заключается даже не во внутренних гарантиях безусловной принадлежности и преданности и не в организованных должным образом проявлениях несомненной враждебности к внешнему миру, а в их непревзойденной способности устанавливать и защищать свой вымышленный мир с помощью постоянной лжи. Всю иерархическую структуру тоталитарных движений — от наивных сторонников до членов партии, элитных подразделений, ближайшего окружения вождя и самого вождя — можно описать с точки зрения курьезно изменяющейся пропорции доверчивости и цинизма, каковая ожидается в реакции каждого члена движения, в зависимости от его ранга и положения, на изменяющиеся лживые утверждения вождей при неизменной центральной идеологической фикции движения.

Смешение доверчивости и цинизма отличало склад мышления толпы до того, как оно стало устойчивой характеристикой масс. В постоянно меняющемся, непостижимом мире массы достигли такого состояния, при котором они могли в одно и то же время верить всему и не верить ничему, верить в то, что все возможно и что ничего нет истинного. Это смешение само по себе достаточно примечательно, потому что оно положило конец иллюзии, что доверчивость — слабость недалеких, примитивных душ, а цинизм — мудрость высших и рафинированных умов. Массовая пропаганда обнаружила, что ее аудитория была готова всякий раз верить в худшее, неважно, насколько абсурдное, и не возражала особенно против того, чтобы быть обманутой, и потому делала любое положение ложным в любом случае. Тоталитарные вожди масс основывали свою пропаганду на верной психологической предпосылке, что в таких условиях можно заставить людей поверить в наиболее фантастические утверждения в один день и убедиться, что если на следующий день они получают неопровержимое доказательство их обмана, то найдут убежище в цинизме; вместо того чтобы бросить вождя, который обманул их, они будут уверять, что все это время знали, что то утверждение — враки, и будут восхищаться вождем за его высшую тактическую мудрость.

Очевидная реакция массовой аудитории стала важным иерархическим принципом массовой организации. Смесь доверчивости и цинизма распространена на всех уровнях тоталитарного движения, и чем выше уровень, тем больше цинизм перевешивает доверчивость. Существенное убеждение, присущее всем уровням, от сочувствующих до вождя, в

крестьян (или, скорее, если они введут их в заблуждение), их жертвы не будут напрасными» (см.: *Ciliga A.* Op. cit. P. 96–97).

том, что политика есть грязная игра и что «первая заповедь» движения — «Фюрер всегда прав», так же необходимо для осуществления мировой политики, т.е. для всемирного распространения обмана, как и правила военной дисциплины необходимы для ведения войны<sup>105</sup>.

Механизм, который генерирует, организует и распространяет ложь тоталитарного движения, тоже зависит от позиции вождя. К пропагандистским утверждениям, что все происходящее научно предсказано согласно законам природы или экономики, тоталитарная организация добавляет положение о единственном человеке, который монополизировал это знание и принципиальное качество которого заключается в том, что «он был всегда прав и всегда будет прав»<sup>106</sup>. Для члена тоталитарного движения это знание не имело ничего общего с истиной, а эта априорная правота вождя — ничего общего с объективной правдивостью его высказываний, которые невозможно опровергнуть фактами, но только будущим успехом или неудачей. Вождь всегда прав в своих действиях, и так как они планируются на столетия вперед, окончательная проверка того, что он делает, остается вне опыта его современников<sup>107</sup>.

Единственную группу, предназначенную безоговорочно и буквально верить в то, что говорит вождь, составляют сочувствующие, чье доверие окружает все движение атмосферой искренности и простодушия и помогает вождю выполнить половину своей задачи, т.е. распространить доверие на все движение. Члены партии никогда не верят публичным утверждениям, да и не обязаны верить, поскольку восхваляются тоталитарной пропагандой за некий высший интеллект, отличающий их, так сказать по определению, от нетоталитарного внешнего мира, который они в свою очередь знают только сквозь сверхдоверчивость сочувствующих. Только сторонники нацистов верили Гитлеру, когда он приносил свою знаменитую официальную клятву перед Верховным судом Веймарской республики; члены движения прекрасно знали, что он лжет, и верили ему как никогда, потому что он явно был способен ввести в заблуждение общественное мнение и власти. Когда впоследствии Гитлер повторил представление перед целым миром, когда он поклялся в своих добрых намерениях и в то же время совершенно от-

<sup>105</sup> Геббельс так определяет роль дипломатии в политике: «Нет сомнения, что лучше поступает тот, кто держит дипломатов неинформированными об обратной стороне политики... Гениальность в разыгрывании миротворческой роли является подчас наиболее убедительным аргументом их политической надежности» (Goebbels J. Op. cit. P. 87).

<sup>106</sup> Из выступления Рудольфа Гесса по радио в 1934 г. (Nazi conspiracy. Vol. 1. P. 193).

<sup>107</sup> Вернер Бест объясняет: «В состоянии ли воля правительства устанавливать “правильные” законы... это больше не вопрос права, а вопрос судьбы. Реальные злоупотребления... будут вернее наказаны самим историческим провидением, посылающим неудачи, опровержения или гибель в соответствии с “законами жизни”, чем государственным Министерством юстиции» (цит. по: Nazi conspiracy. Vol. 4. P. 490).

крыто готовил свои преступления, восхищение членов нацистской партии, естественно, было безграничным. Точно так же только сторонники большевиков верили в роспуск Коминтерна, и только неорганизованные массы русского народа и сочувствующие за границей принимали за чистую монету сталинские продемократические высказывания во время войны. Членов большевистской партии открыто предупреждали не обманываться тактическими маневрами и требовали от них восхищения хитростью вождя, обводящего вокруг пальца своих союзников<sup>108</sup>.

Без организационного деления движения на элитные подразделения, членов партии и сочувствующих, ложь вождя не была бы действительной. Градация цинизма, отраженная в распределении презрения, оказывается по крайней мере такой же необходимой перед угрозой постоянного опровержения, как и простодушная доверчивость. Дело в том, что сочувствующие, объединенные в фасадных организациях, презирают сограждан, никаким образом не приобщенных к движению, члены партии презирают доверчивость сочувствующих и отсутствие у них радикализма, элитные подразделения презирают по тем же самым причинам простых членов партии, а внутри элитных групп сходная иерархия презрения сопутствует каждому новому образованию<sup>109</sup>. Результат этой системы состоит в том, что доверчивость сочувствующих делает ложь приемлемой для внешнего мира, тогда как в то же самое время цинизм, пропорционально распределенный между членами партии и людьми элитных структур, устраняет опасность, что вождь в один прекрасный момент сам поддастся воздействию собственной пропаганды и на деле осуществит свои заявления и оправдает свою притворную респектабельность. Одним из главных препятствий воздействию внешнего мира на тоталитарные системы было то, что он игнорировал эти системы и тем самым надеялся, что, с одной стороны, сама чудовищность тоталитарной лжи делает их недееспособными, а с другой стороны, что есть возможность поймать вождя на слове и вынудить его, с его подлинными намерениями, сдерживать это слово. К сожалению, тоталитарная система защищена от таких нормальных умозаключений; ее изобретательность основывается исключительно на устранении той реальности, которая может как разоблачить лжеца, так и заставить его быть достойным своих претензий.

Хотя члены партии не верят заявлениям, сделанным на потребу публике, тем яростнее они верят в стандартные клише идеологичес-

<sup>108</sup> См.: Kravchenko V. Op. cit. P. 422: «Ни один из по-настоящему убежденных коммунистов не чувствовал, что партия “лжет”, исповедуя на публике одни политические идеи и совершенно противоположные во внутреннем потреблении».

<sup>109</sup> «Национал-социалист презирает своих немецких сограждан, члены СА — других национал-социалистов, СС — СА» (Heiden K. Op. cit. P. 308).

кого объяснения, эдакому ключу к прошлой и будущей истории, который тоталитарные движения взяли из идеологий XIX в. и превратили, внедрив в свои организации, в действующую реальность. Эти идеологические элементы, в которые массы так или иначе начинают верить, хотя по большей части неопределенно и абстрактно, превратились в фактическую всеобъемлющую ложь (захват мира евреями вместо общей расовой теории, заговор Уоллстрита вместо общей классово-теории) и вошли в общую схему действия, по которой единственным препятствием на пути тоталитарного движения предполагаются так называемые вымирающие — вымирающие классы капиталистических стран или низшие нации. В противоположность тактической лжи движения, которая словесно меняется день ото дня, в эту, идеологическую, ложь нужно верить как в сакральную неприкосновенную истину. Эта идеологическая ложь окружена тщательно разработанной системой «научных» доказательств, которые и не должны быть убедительными для абсолютно «непосвященных», но еще апеллируют к некоей вульгаризованной жажде знания, «демонстрируя» неполноценность евреев или безобразную нищету людей, живущих в условиях капиталистической системы.

Элитные формирования отличаются от обычных партийных подразделений тем, что они не нуждаются в подобной демонстрации и даже не предполагается, что они верят в буквальную истину идеологических клише. Эти идеологические клише сфабрикованы для того, чтобы помочь массам в их поисках истины; в своем стремлении к объяснению и демонстрации массы еще имеют много общего с нормальным миром. Элиты не формируются идеологами; образовательная цель была направлена на уничтожение у представителей элиты способности различать истину и ложь, реальность и вымысел. Их превосходство состоит в способности немедленно потопить любые рассуждения о фактах в разглагольствовании о цели. В отличие от людей из массы, которые, например, нуждаются в некоторой демонстрации неполноценности еврейской расы перед тем как, можно будет безопасно требовать уничтожения евреев, элитные кадры понимают, что заявление о том, что все евреи неполноценны, означает, что все евреи должны быть уничтожены; когда им говорят, что только Москва имеет метро, они знают, что реально это заявление означает, что все другие метро должны быть разрушены, и их уже особо не удивляет наличие метро в Париже. Чрезмерный шок от разрушения иллюзий, который испытала Красная Армия в ее победном походе по Европе, можно вылечить только в концентрационных лагерях и насильственной высылкой большей части этих оккупационных войск. Однако охранные спецформирования, которые сопровождали армию, были подготовлены к этому шоку, и вовсе не

какой-то другой и более правильной информацией (в Советской России нет секретных учебных заведений, которые давали бы подлинную информацию о жизни за границей), а просто общим натаскиванием в крайнем презрении ко всем фактам и к любой реальности.

Такой образ мысли у представителей элиты не просто массовое явление, не просто следствие социальной неукорененности, экономического кризиса и политической анархии; он требует тщательной подготовки и культивирования и составляет более важную, хотя и не так легко распознаваемую, часть программы обучения в тоталитарных элитных школах, например в нацистском центре «Ordensburger» для группировок СС или большевистских учебных центрах для коминтерновских агентов, нежели расовые доктрины или техника гражданской войны. Без элиты и ее искусственно вызванной неспособности понимать факты как факты, различать истину и ложь движение никогда бы не смогло продвигаться в деле реализации своего замысла. Отличительное негативное качество тоталитарной элиты выражается в том, что она никогда не останавливается, чтобы подумать о мире, как он существует на самом деле, и никогда не сравнивает ложь с реальностью. Соответственно, ее наиболее лелеемая добродетель состоит в преданности вождю, который, как талисман, гарантирует окончательную победу лжи и вымысла над истиной и реальностью.

Самый верхний слой в структуре тоталитарных движений составляется из ближайшего окружения вождя, которое может быть формальным институтом, как большевистское Политбюро, или некоей группой с постоянно меняющимся составом приближенных, которые не обязательно имеют должности, как свита Гитлера. Для них идеологические клише — это просто приемы для организации масс, и они не испытывают угрызений совести при их смене согласно требованиям обстоятельств, если только организующий принцип сохраняется нетронутым. В этом отношении главной заслугой гиммлеровской реорганизации СС было то, что он нашел очень простой метод для «действенного решения проблемы крови», т.е. для селекции членов элиты по принципу «хорошей крови», и подготовил их для «ведения расовой борьбы без сожаления» против всех, кто не смог проследить свое «арийское» генеалогическое древо до 1750 г., или был меньше 5 футов 8 дюймов ростом («Я знаю, что люди, имеющие определенный рост, могут обладать некоторой долей желаемой крови»), или не имел голубых глаз и светлых волос<sup>110</sup>. Важность этого действующего расизма заключалась в

<sup>110</sup> Гиммлер обычно отбирал кандидатов в СС по фотографиям. Позже Расовая комиссия, перед тем как кандидат должен был появиться лично, подтверждала или опровергала его расовую принадлежность (см.: *Himmler H. Organization and obligation of SS and the police // Nazi conspiracy. Vol. 4. P. 616 ff.*).

том, что организация стала независимой почти от всех конкретных учений, неважно какой, расовой «науки», независимой даже от антисемитизма, так как он был специфической доктриной, касающейся природы и роли евреев, и его полезность убывала бы по мере их ликвидации<sup>111</sup>. Расизм был защищен и независим от научности пропаганды тем, что однажды некая «расовая комиссия» уже провела селекцию элиты и чистота ее охранялась авторитетом специальных «брачных законов»<sup>112</sup>, в то время как на противоположном конце и под юрисдикцией этой «расовой элиты» существовали концентрационные лагеря для «лучшей демонстрации законов наследственности и расы»<sup>113</sup>. Пользуясь силой этой «живой организации», нацисты могли позволить себе не впадать в догматизм и предлагать дружбу семитским народам, таким, как арабы, или заключать союз с самими яркими представителями «желтой опасности» — японцами. Реальность расового общества, формирование элиты, отобранной будто бы и с расовой точки зрения, действительно должны были лучше охранять доктрину расизма, чем самые научные или псевдонаучные доказательства.

Большевистские политики-практики демонстрируют такую же способность быть выше своих открыто провозглашенных догм. Они вполне способны прекратить любую ведущую классовую борьбу случайным альянсом с капитализмом, не подрывая надежности своих кадров и не совершая измены своей вере в классовую борьбу. Хотя дихотомический принцип классовой борьбы становился организационным приемом и, так сказать, окаменевал в форме бескомпромиссной враждебности против всего мира, но благодаря деятельности секретной

<sup>111</sup> Гиммлер хорошо осознал, что одно из его «важнейших и прочнейших достижений» состояло в том, что ему удалось преобразовать «негативное понятие, основанное на само собой разумеющемся антисемитизме» в «организационную задачу для создания СС» (см.: *Der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei*. Под грифом: «Для служебного пользования», без даты). Так, «впервые расовый вопрос был помещен в фокус или, мягче говоря, стал центральным вопросом, при этом продвинулся намного дальше вперед от негативного понятия, лежащего в основе естественной ненависти к евреям. Революционная идея фюрера обогатилась новым источником жизненных сил» (*Der Weg der SS. Der Reichsführer SS. SS-Hauptamt-Schulungsamt*. Под грифом: «Не для публикации», без даты, S. 25).

<sup>112</sup> Сразу после своего назначения шефом СС в 1929 г., Гиммлер предложил принципы расового отбора и брачные законы, при этом он добавил: «СС хорошо знает, что такой порядок имеет большое значение. Упреки, насмешки, заблуждения не трогают нас; будущее в наших руках» (цит. по: *Alquen G. de*. Op. cit.). И после, 14 лет спустя, в своей речи в Кракове, Гиммлер напомнил своим эсэсовским руководителям, что «мы в первую очередь должны на деле решить проблему крови... и под проблемой крови мы, конечно, не подразумеваем антисемитизм. Антисемитизм есть то же, что санитарная обработка. Уничтожение вшей не есть идеология. Это вопрос чистоты... Но для нас вопрос крови остается вопросом нашего собственного достоинства, остается тем, что реально является основой, объединяющей немецкий народ» (*Nazi conspiracy*. Vol. 4. P. 572 ff.).

<sup>113</sup> *Himmler H.* Op. cit. // *Nazi conspiracy*. Vol. 4. P. 616 ff.

службы в России и агентов Коминтерна за границей политика большевиков заметно освободилась от «предрассудков».

Именно эта свобода от содержания собственной идеологии характеризует высший уровень тоталитарной иерархии. Эти люди рассматривают все и вся с точки зрения организации. Это относится и к вождю, который для них ни вдохновляющий талисман, ни тот, кто всегда прав, а простое звено такого типа организации; он нужен, но не как некое лицо, а как функция, и в таком качестве он необходим для движения. Однако в отличие от других деспотических форм правления, где часто правит клика, а деспот играет только репрезентативную роль правителя-марионетки, тоталитарные вожди действительно вправе делать все, что им угодно, и действительно могут верить в преданность своих приближенных, даже, если они хотят убрать их.

Более техническое обоснование для такой самоубийственной преданности кроется в том, что деятельность высших чинов не регулируется наследственностью или какими-либо другими законами. Успешный дворцовый переворот мог бы иметь такие же разрушающие последствия для тоталитарного движения в целом, как и военное поражение. Полностью соответствует природе движения положение, при котором раз вождь однажды присвоил себе эту должность, то вся организация в целом настолько абсолютно отождествляется с ним, что любое допущение ошибки или отстранение его от должности может разорвать пелену непогрешимости, покрывающую саму должность вождя, и повлечь гибель всех, кто связан с движением. В основе такой структуры лежит не истинность слов вождя, а непогрешимость его действий. Без этого и в пылу дискуссий, предполагающих возможность ошибки, весь фиктивный мир тоталитаризма распадается на куски, сразу охваченный фактичностью реального мира, от которого может уберечь движение только под мудрым, непогрешимым и единственно верным руководством вождя.

Однако преданность тех, кто не верит ни в идеологические клише, ни в непогрешимость вождя, имеет также более глубокие, нетехнические причины. Этим людей связывает вместе крепкая и искренняя вера в человеческое всемогущество. Их нравственный цинизм, их вера, что все дозволено, основываются на глубоком убеждении, что все возможно. Верно, что эти люди, немногочисленные по количеству, не лгут на собственную специфическую ложь, им нет необходимости верить в расизм или экономику, в заговор евреев или Уоллстрита. Хотя они также обмануты, обмануты своей наглой тщеславной идеей, что можно делать все, и собственным презрительным убеждением, что все существующее есть лишь временное препятствие, которое высшая организация непременно преодолет. Уверенные, что сила организации способна одолеть силу реальности, подобно тому как хорошо организован-

ная банда способна отобрать у богача его плохо охраняемое богатство, они постоянно недооценивают сущностную силу стабильных сообществ и переоценивают двигательную силу своего движения. Более того, как только они перестают реально верить в фактическое существование мирового заговора против них, а используют его только в качестве организационного приема, они перестают понимать, что их собственный заговор может вдохновить весь мир объединиться против них.

Хотя не имеет значения, как иллюзия человеческого всемогущества полностью дискредитируется через организацию, практическое следствие этого внутри движения состоит в том, что приближенные вождя, в случае несогласия с ним, никогда не будут полностью доверять собственному мнению, пока они искренне верят, что их несогласие реально не играет никакой роли, что даже самый безумный прием имеет счастливый шанс на успех, если он хорошо отлажен. Причина их преданности не в их вере в непогрешимость вождя, а в их убеждении, что каждый, кто распоряжается инструментами насилия с помощью лучших методов тоталитарной организации, может стать непогрешимым. Эта иллюзия усиливается, когда тоталитарные режимы набирают достаточную силу, чтобы продемонстрировать относительность успеха и неуспеха и показать как утрата сущности может обернуться выигрышем для организации. (Фантастически неверное руководство индустриализацией в Советской России привело к атомизации рабочего класса, а ужасающее обращение с гражданскими узниками на оккупированных нацистами восточных территориях, хотя и вызвало «прискорбные потери рабочей силы», но «не стоило сожалений, если мыслить в категориях будущих поколений»<sup>114</sup>.) Более того, при тоталитаризме решение относительно успеха и неудачи в большей степени зависит от сфабрикованного и запуганного общественного мнения. В полностью фиктивном мире не требуется регистрировать, признавать и запоминать неудачи. Само продолжение существования фактичности зависит от существования нетоталитарного мира.

## Глава двенадцатая

### ТОТАЛИТАРИЗМ У ВЛАСТИ

Когда движение, интернациональное по организации, всеохватывающее по идеологии и глобальное по политическим устремлениям, захватывает власть в одной стране, оно, безусловно, ставит себя в парадоксальное положение. Социалистическое движение обошлось без такого кризиса, во-первых, потому, что национальный вопрос, т.е. стратегическая проблема революции, как ни странно, остался вне внимания Маркса и Энгельса, и, во-вторых, потому что оно столкнулось с проблемами правления только после того, как первая мировая война лишила Второй Интернационал власти над его национальными членами, которые повсеместно признали примат национальных чувств над интернациональной солидарностью, трактуемый в качестве неизменной данности. Другими словами, когда для каждого из социалистических движений пришло время захвата власти в своей стране, все они уже трансформировались в национальные партии.

Эта трансформация не коснулась тоталитарных движений большевиков и нацистов. В момент взятия власти движению угрожает, с одной стороны, «окаменение» в форме самовластного правительства<sup>1</sup> и установлении контроля над государственной машиной, а с другой — стеснение его свободы территорией, имеющейся в данный момент. Для тоталитарного движения обе опасности равно смертельны: развитие в направлении абсолютизма заглушило бы его внутренний двигатель, а в направлении национализма — сорвало бы внешнюю экспансию, без которой движение не может существовать. Форма правления, выработанная двумя этими движениями или, скорее, почти автоматически развившаяся в силу их двойной претензии на тотальное господство и глобальное правление, самым удачным образом охарактеризована лозунгом «перманентной революции», провозглашенным Троцким (хотя теория Троцкого была не более чем социалистическим провидением ряда революций, от антифеодальной буржуазной до антибуржуазной пролетарской, которая должна была перекидываться из одной страны в дру-

<sup>1</sup> Нацисты отлично понимали, что захват власти мог бы привести к установлению абсолютизма. «Национал-социализм, однако, не встал во главе борьбы против либерализма, чтобы не увязнуть в абсолютизме и не начинать всю игру сначала» (*Best W. Die deutsche Polizei*. S. 20). Предупреждение, выраженное здесь и во множестве других мест, направлено против притязания государства на абсолютизм.

<sup>114</sup> Гиммлер в своей речи в Познани (см.: *Nazi conspiracy*. Vol. 4. P. 558)

гую)<sup>2</sup>. От явления «перманентности», со всеми его полуанархистскими импликациями, здесь присутствует, строго говоря, лишь некорректно употребленный термин. Однако даже Ленина больше впечатлила словесная оболочка, чем теоретическое содержание термина. Во всяком случае, в Советском Союзе революции в форме радикальных чисток стали перманентной системой сталинского режима после 1934 г.<sup>3</sup> В данном случае, как и в ряде других, Сталин сосредоточил свои атаки на полузабытом лозунге Троцкого именно потому, что избрал его средством для реализации собственных целей<sup>4</sup>. Сходная тенденция к перманентной революции отчетливо просматривалась и в нацистской Германии, хотя у нацистов не было времени реализовать ее в той же мере, в какой она развернулась в России. Весьма характерно, что их «перманентная революция» также началась с ликвидации партийной фракции, которая осмелилась открыто заявить о «следующей стадии рево-

<sup>2</sup> Теория Троцкого, впервые обнародованная в 1905 г., не отличалась, разумеется, от революционной стратегии всех ленинцев, с точки зрения которых «сама Россия была только первым плацдармом, первым оплотом интернациональной революции: ее интересы должны подчиняться наднациональной стратегии воинствующего социализма. Через какое-то время, однако, границы России и победоносного социализма совпадали» (*Deutscher I. Stalin. A political biography. N.Y.; L., 1949. P. 243.*)

<sup>3</sup> 1934 год является важной вехой, поскольку на XVII съезде партии был оглашен новый партийный устав, предполагавший, что «периодические... чистки должны проводиться с целью систематического обновления партии» (цит. по: *Avtorokhanov A. Social differentiation and contradictions in the Party // Bulletin of the Institute for the Study of the USSR. Munich, February 1956*). Партийные чистки первых лет русской революции не имели ничего общего с их позднейшим тоталитарным искажением и превращением в инструмент перманентной нестабильности. Первые чистки проводились местными контрольными комиссиями перед открытым собранием, на которое свободно допускались как члены партии, так и беспартийные. Они задумывались как средство демократического контроля, проводимого с целью борьбы против бюрократизации и разложения партии, и «должны были служить заменой настоящей выборов» (*Deutscher I. Op. cit. P. 233–234*). Блестящий краткий обзор изменения характера чисток дан в недавно опубликованной статье Авторханова, где опровергается также легенда о том, будто убийство Кирова положило начало новой политике. Радикальная чистка началась до смерти Кирова, которая была не более чем «удобным предлогом для придания этой кампании дополнительного импульса». Многие «необъяснимые и таинственные» обстоятельства, связанные с убийством Кирова, заставляют думать, что «удобный предлог» был тщательно спланирован и проведен в жизнь самим Сталиным (см.: *Khrushchev N. Speech on Stalin // New York Times. 1956, June 5* [Хрущев Н. С. О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС XX съезду КПСС 25 февраля 1956 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 138.]).

<sup>4</sup> Дейчер характеризует первый выпад против «перманентной революции» Троцкого и предложенную Сталиным контрформулу «социализм в одной, отдельно взятой стране» как пример политического маневрирования. В 1924 г. «непосредственной целью [Сталина] была дискредитация Троцкого. ...Роясь в его прошлом, триумвиры натолкнулись на теорию «перманентной революции», сформулированную им в 1905 г. ...Именно в ходе этой полемики Сталин пришел к формуле «социализм в одной, отдельно взятой стране» (см.: *Deutscher I. Op. cit. P. 282*).

люции»<sup>5</sup>, именно потому, что «фюрер и его старая гвардия знали, что настоящая борьба только начиналась»<sup>6</sup>. Здесь вместо большевистского понятия перманентной революции мы находим концепцию расовой «селекции, которая никогда не должна останавливаться», требуя тем самым постоянной радикализации критериев, в соответствии с которыми и осуществляется селекция, т.е. уничтожение негодных<sup>7</sup>. Фактически Гитлер и Сталин обещали стабильность единственно для того, чтобы скрыть общее для них намерение создать государство перманентной нестабильности.

Не существует лучшего решения проблем, неизбежных для существования правительства и движения, тоталитарных устремлений и ограниченной власти на ограниченной территории, видимого участия в сообществе наций, где каждый уважает суверенитет другого, и притязаний на мировое правление, нежели приведенная формула, лишенная своего первоначального содержания. Ведь перед тоталитарным прави-

<sup>5</sup> Ликвидации фракции Рема (июнь 1934 г.) предшествовал краткий период стабилизации. В начале года Рудольф Дильс, глава политической полиции Берлина, мог доложить, что СА уже не производит незаконных («революционных») арестов и что прежние подобные аресты расследуются (*Nazi conspiracy. U. S. Government. Washington, 1946. Vol. 5. P. 205*). В апреле 1934 г. рейхсминистр внутренних дел Вильгельм Фрик, давний член нацистской партии, издал указ об ограничении практики «предохранительных арестов» (*Ibid. Vol. 3. P. 555*), ставший возможным благодаря «стабилизации национальной ситуации» (см.: *Das Archiv. April 1934. S. 31*). Этот указ, однако, так никогда и не был опубликован (*Nazi conspiracy. Vol. 7. P. 1099; Vol. 2. P. 259*). В 1933 г. политическая полиция Пруссии подготовила для Гитлера специальный доклад об эксцессах в деятельности СА и предложила возбудить уголовные дела против названных в нем лидеров этой организации.

Гитлер разрешил проблему по-своему: без суда и следствия были убиты лидеры СА и отправлены в отставку все выступившие против СА офицеры полиции (см. данное под присягой письменное показание Рудольфа Дильса // *Ibid. Vol. 5. P. 224*). Таким образом он совершенно обезопасил себя от любой легализации и стабилизации. Из многочисленных юристов, с энтузиазмом служивших «национал-социалистской идее», лишь очень немногие поняли, что в действительности было поставлено на карту. К последним относится прежде всего Теодор Маунц, чей очерк «*Gestalt und Recht der Polizei*» (Hamburg, 1943) одобрительно цитировался даже теми авторами, которые, подобно Паулю Вернеру, принадлежали к высшим фюрерским корпусам СС.

<sup>6</sup> *Ley R. Der Weg zur Ordensburg* (б.г.; опубликовано, вероятно, в 1936 г. Под грифами: «Специальное издание... «Для фюрерских корпусов партии». «Не для свободной продажи»).

<sup>7</sup> См.: *Himmler H. Die Schutzstaffel // Grundlagen, Aufbau und Wirtschaftsordnung des nationalsozialistischen Staates. № 7b*). Непрерывная радикализация принципа расовой селекции прослеживается на всех этапах нацистской политики. Так, первыми кандидатами на уничтожение были чистокровные евреи, за ними — евреи наполовину, затем те, в ком была четверть еврейской крови; или же — сначала душевнобольные, затем неизлечимо больные и, наконец, все семьи, в которых были какие-либо «неизлечимо больные». «Селекция, которая никогда не должна останавливаться», не обходила стороной и самих членов СС. Указом фюрера от 19 мая 1943 г. постановлялось, что все люди, связанные с иностранцами семейными, брачными или дружескими узами, должны быть изгнаны из государства, партии, вермахта и экономики; этот приказ затронул 1200 лидеров СС (см.: Hoover Library Archives. Himmler File. Folder 330).

телем стоит двойственная задача, которая на первый взгляд кажется противоречивой и даже абсурдной: он должен утвердить иллюзорный мир движения в качестве осязаемой действующей реальности повседневной жизни и, в то же время, не позволить этому новому миру установиться как новой стабильности, поскольку стабилизация его законов и институтов с необходимостью уничтожила бы само движение, а вместе с ним — надежду на конечное завоевание всего мира. Тоталитарный правитель должен любой ценой помешать процессу нормализации достигнуть такой точки, с которой начнет развиваться новый образ жизни, — ведь со временем последний мог бы забыть о своей незаконнорожденности и занять свое место среди чрезвычайно различных и глубоко контрастирующих образов жизни населяющих землю народов. В тот момент, когда временные революционные институты стали бы национальным образом жизни (в этот момент заявление Гитлера о том, что нацизм не есть товар на экспорт, или же заявление Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране были бы не просто попыткой одурачить нетоталитарный мир), тоталитаризм утратил бы свою «тоталитарную» сущность и стал бы подчиняться закону жизни народов, согласно которому каждый из них представляет собой совокупность людей, живущих на определенной территории и в рамках определенной исторической традиции, и который ставит его в [равное] отношение к другим народам, — закону множественности, *ipso facto* опровергающему любое утверждение об абсолютной общезначимости какой-либо одной из возможных форм правления.

С практической точки зрения парадокс тоталитаризма, пришедшего к власти, состоит в том, что обладание всеми инструментами правительственной власти и насилия в одной стране не является для тоталитарного движения безусловным благом. Ему становится все труднее сохранить характерное для него пренебрежение к фактам, строгую приверженность правилам вымышленного мира, хотя эти установки остаются для него так же существенны, как и прежде. Власть означает непосредственное столкновение с действительностью, и тоталитаризм, придя к власти, должен постоянно отвечать на вызов реальности. Пропаганда и организации уже недостаточно, чтобы утверждать, будто невозможное возможно, неправдоподобное истинно и будто миром правит безумная логичность; основная психологическая поддержка для тоталитарного вымысла — активное неприятие *status quo*, который массы отказываются признать единственно возможным миром, — более не существует; каждая капля правдивой информации о фактах, которая просачивается через железный занавес, сооруженный для сдерживания все более угрожающего потока реальности с другой, нетоталитар-

ной стороны, становится более опасной для тоталитарного господства, чем контрпропаганда для тоталитарного движения.

Борьба за тотальное господство над всем населением планеты, игнорирование всякой противостоящей нетоталитарной реальности заложены в самой природе тоталитарных режимов; если они не стремятся, как к конечной цели, к тотальному господству, то, скорее всего, утратят ту власть, которую смогли уже захватить. Даже абсолютное и прочное господство над конкретным индивидом возможно только в условиях глобального тоталитаризма. Следовательно, приход к власти означает главным образом установление официальных и официально признанных органов правления (или филиалов в случае государств-сателлитов), подчиняющихся движению, и создание своего рода лаборатории для экспериментирования с действительностью или, скорее, против нее, для экспериментирования по организации народа в соответствии с конечными целями, пренебрегающих и индивидуальностью, и национальностью, — в условиях, по общему признанию, несовершенных, однако достаточных для достижения важных промежуточных результатов. Пришедший к власти тоталитаризм использует рычаги государственного управления для достижения своей дальнейшей заветной цели — завоевания мирового господства и руководства всеми ответвлениями движения; он учреждает тайную полицию, сотрудники которой служат исполнителями и охранниками его внутреннего эксперимента по непрерывному превращению действительности в вымысел; и, наконец, он создает концентрационные лагеря — специальные лаборатории, позволяющие поставить полномасштабный эксперимент по установлению тотального господства.

### 1. Так называемое тоталитарное государство

История учит нас тому, что приход к власти и связанная с ним ответственность оказывают серьезное воздействие на природу революционных партий. Опыт и здравый смысл с полным правом ожидают, что пришедший к власти тоталитаризм постепенно утратит свою революционность и утопизм, что дела повседневного управления и осуществление реальной власти умерят устремления движений и постепенно разрушат вымышленный мир их организаций. Такова, казалось бы, сама природа вещей, личных и общественных, что крайние заявления и цели проверяются объективными обстоятельствами, и действительность в целом лишь в очень малой степени определяется склонностью к созданию вымышленного массового общества, состоящего из атомизированных индивидов.

Многие ошибки нетоталитарного мира в его дипломатических контактах с тоталитарными правительствами (самые впечатляющие из

них — уверенность в мюнхенском пакте с Гитлером и в ялтинских соглашениях со Сталиным) были вызваны, несомненно, доверием к опыту и здравому смыслу, которые, как вдруг оказалось, утратили свою способность понимать реальность. Вопреки всем ожиданиям, важные уступки и чрезвычайно возросший международный престиж не способствовали реинтеграции тоталитарных стран в сообщество равных наций и не смогли заставить их отказаться от ложных стенаний, будто весь мир объединился против них. И дипломатические победы отнюдь не предотвратили, а лишь ускорили их обращение к насилию и привели к возросшей враждебности по отношению к державам, которые обнаружили стремление к компромиссу.

Эти разочарования в новых революционных режимах со стороны государственных деятелей и дипломатов аналогичны более ранним разочарованиям со стороны благожелательных наблюдателей и сочувствующих тоталитарным движениям до установления их власти. Они надеялись на установление новых институтов и создание нового свода законов, которые, сколь бы революционным ни было их содержание, привели бы к стабилизации обстановки и, таким образом, обуздали бы тоталитарные движения, по крайней мере в тех странах, где они захватили власть. В действительности же террор и в Советской России, и в нацистской Германии увеличивался обратно пропорционально силе внутренней политической оппозиции, так что политическая оппозиция, видимо, была не предлогом для террора (как хотели думать либеральные обвинители режима), а последней помехой его полному разгулу<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Общеизвестно, что в России «подавление социалистов и анархистов становилось все более жестоким по мере восстановления порядка в стране» (Ciliga A. The Russian Enigma. L., 1940. P. 244). Дейчер полагает, что причину исчезновения «освободительного духа революции» в момент победы следует искать в изменившейся установке крестьян: они поворачивались против большевизма «тем более решительно, чем больше уверялись в том, что власть помещиков и белых генералов сломлена» (Deutscher I. Op. cit. P. 218). Это объяснение представляется весьма слабым ввиду тех масштабов, какие принял террор после 1930 г. Оно также не принимает во внимание тот факт, что террор сорвался с цепи не в 20-е, а в 30-е годы, когда противодействие крестьян уже не было активным фактором политической ситуации. Хрущев также отмечает, что «крайние репрессивные меры не применялись» против оппозиции в период борьбы против троцкистов и бухаринцев и что «репрессия по отношению к ним началась» гораздо позже их разгрома (см.: Khrushchev N. Op. cit. [Хрущев Н. С. Указ. соч. С. 132.]).

Террор нацистского режима достиг пика во время войны, когда немецкий народ был действительно «един». Его подготовка началась еще в 1936 г., когда всякое организованное внутреннее сопротивление исчезло, а Гиммлер планировал расширение сети концентрационных лагерей. Характерной для духа подавления, не зависящего от действительного сопротивления, была речь, произнесенная Гиммлером перед лидерами СС в 1943 г. в Харькове: «У нас только одна задача... продолжать расовую борьбу без всякой жалости. Мы никогда не позволим, чтобы великолепное оружие — страх и ужасная слава,

Еще более настораживающим было отношение тоталитарных режимов к конституции. В первые годы после прихода к власти нацисты обрушили на страну целую лавину законов и указов, однако так и не позаботились официально отменить Веймарскую конституцию; они даже оставили более или менее нетронутыми гражданские службы, и этот факт позволил многим наблюдателям в стране и за рубежом надеяться на умеренность партии и на быструю нормализацию нового режима. Однако, когда с изданием нюрнбергских законов эта эпоха закончилась, выяснилось, что нацисты не проявляли никакого интереса к собственному законодательству. Наблюдалось «лишь постоянное восхождение ко все новым и новым областям», так что в конечном итоге «цели и сфера влияния тайной государственной полиции», как и всех других созданных нацистами государственных или партийных институтов, «никоим образом не покрывались изданными для них законами и правилами»<sup>9</sup>. Перманентное беззаконие нашло практическое выражение в том факте, что «многие общезначимые правила уже не доводились до общезначимости»<sup>10</sup>. Теоретически ему соответствовало заявление Гитлера, что «тотальное государство не должно знать разницы между правом и этикой»<sup>11</sup>; ведь если предположить, что общезначимое право совпадает с этикой, общей для всех и укорененной в совести каждого человека, то, действительно, нет дополнительной надобности в публичных указах. Советский Союз, где дореволюционные гражданские службы были уничтожены в ходе революции и в период революционного изменения режим не уделял практически никакого внимания конституционным проблемам,

шедшая перед нами в боях за Харьков, — постепенно облекло, но будем постоянно обогащать его новым смыслом» (Nazi conspiracy. Vol. 4. P. 572 ff.).

<sup>9</sup> См. Maunz Th. Op. cit. P. 5, 49. Насколько мало нацисты задумывались о созданных ими же самими законах и правилах, которые регулярно публиковались (см.: Die Gesetzgebung des Kabinetts Hitler / Hrsg. W. Hoche. B., 1933 ff.), ясно из замечания, оброненного одним из нацистских специалистов по конституционному праву. Он понял, что, несмотря на отсутствие общего нового правового порядка, все же произошла «всеобъемлющая реформа» (см.: Huber E. R. Die deutsche Polizei // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Bd. 101. 1940. № 1. S. 273 ff.).

<sup>10</sup> Maunz Th. Op. cit. S. 49. Насколько мне известно, Маунц — единственный нацистский автор, отметивший это обстоятельство и достаточно четко подчеркнувший его. Только тщательное изучение пяти томов «Verfügungen, Anordnungen, Bekanntgaben», которые были составлены и отпечатаны во время войны руководимой Мартином Борманом партийной канцелярией, приподнимает завесу тайны над законодательством, которым фактически управлялась Германия. Согласно предисловию, тома «предназначались исключительно для внутренней партийной работы и должны были рассматриваться как конфиденциальные». Четыре из этих безусловно очень редких томов, по сравнению с которыми изданное Хохе собрание законодательных актов гитлеровского кабинета является лишь фасадом, имеются в Гуверовской библиотеке.

<sup>11</sup> Таково было «наставление» Фюрера, обращенное к юристам в 1933 г., цит. по: Frank H. Nationalsozialistische Leitsätze für ein neues deutsches Strafrecht. Zweiter Teil. 1936. S. 8.

в 1936 г. удосужился даже создать совершенно новую и тщательно проработанную Конституцию («завесу либеральных фраз и обещаний над гильотиной, отодвинутой на задний план»<sup>12</sup>); это событие приветствовалось в России и за границей как завершение революционного периода. Однако публикация Конституции оказалась началом Большой Чистки, которая примерно за два года ликвидировала существующее руководство и стерла все следы нормальной жизни и экономического восстановления, которое разворачивалось в течение четырех лет после ликвидации кулаков и насильственной коллективизации сельского населения<sup>13</sup>. С самого момента принятия Конституция 1936 г. играла в точности ту же роль, что и Веймарская конституция при нацистском режиме: на нее не обращали никакого внимания, однако и не отменяли. Вся разница состояла в том, что Сталин мог позволить себе еще один абсурдный шаг — за исключением Вышинского, все участвовавшие в разработке никогда не отмененной Конституции были казнены как предатели.

Если что и поражает наблюдающего за тоталитарным государством, так это, конечно, не его монолитная структура. Напротив, все исследователи согласны, по крайней мере, относительно сосуществования (или конфликта) двух оплотов власти: партии и государства. Многие авторы, кроме того, подчеркивали «бесформенность» тоталитарного правления<sup>14</sup>. Томас Масарик рано понял, что «так называемая большевистская система никогда не была более чем полным отсутствием системы»<sup>15</sup>; и совершенно верно, что «даже у эксперта помутилось бы сознание, если бы он

<sup>12</sup> *Deutscher I. Op. cit.* P. 381. Попытки создать Конституцию предпринимались и раньше, в 1918 и 1924 гг. Конституционная реформа 1944 г., согласно которой некоторые советские республики должны были иметь собственные иностранные представительства и собственные армии, была тактическим маневром, имевшим целью обеспечить Советскому Союзу несколько дополнительных голосов в ООН.

<sup>13</sup> См.: *Deutscher I. Op. cit.* P. 375. Внимательное чтение речи Сталина, посвященной Конституции (его доклада Чрезвычайному VIII съезду Советов 25 ноября 1936 г.), не оставляет сомнений, что она никогда не воспринималась как окончательная и безусловная. Сталин ясно сказал: «Это остов нашей Конституции в данный исторический момент. Таким образом, очерк новой Конституции содержит резюмирующий итог уже пройденного пути, все уже существующие достижения». Другими словами, Конституция устарела в тот самый момент, когда была провозглашена, и представляла чисто исторический интерес. То, что это не является всего лишь произвольным толкованием, доказывает Молотов, который в речи о Конституции подхватывает тему, начатую Сталиным, и подчеркивает ее условный характер: «Мы осуществили только первую, низшую стадию коммунизма. Даже эта первая фаза коммунизма, социализм, завершена далеко не полностью; создан лишь костяк» (см.: *Die Verfassung des Sozialistischen Staates der Arbeiter und Bauern. Editions Prométhée. Strasbourg, 1937. S. 42, 84* [Ср.: *Молотов В. М. Об изменениях в советской конституции. М., Партиздат ЦК ВКП(б), 1935.*]).

<sup>14</sup> «В отличие от Италии, конституционная жизнь Германии, таким образом, характеризуется крайней бесформенностью» (*Neumann F. Behemoth. 1942. Appendix. P. 521*).

<sup>15</sup> Цит. по: *Souvarine B. Stalin: A critical survey of bolshevism. N.Y., 1939. P. 695.*

попытался разобраться во взаимных отношениях партии и государства» в Третьем рейхе<sup>16</sup>. Часто также отмечалось, что отношение между двумя источниками власти — между государством и партией — есть отношение между официально-показной и реальной властью, так что правительственная машина изображается обычно как немощный фасад, который скрывает и защищает реальную власть партии<sup>17</sup>.

Все уровни административной машины Третьего рейха характеризовались любопытным дублированием канцелярий. С фантастической последовательностью нацисты добивались того, чтобы каждая функция управления государством дублировалась каким-то партийным органом<sup>18</sup>: веймарское деление Германии на штаты и провинции дублировалось нацистским разделением на *Gaue*, однако же, поскольку границы тех и других не совпадали, каждая местность принадлежала, даже географически, к двум совершенно разным административным единицам<sup>19</sup>. Дублирование функций не прекратилось и тогда, когда после 1933 г. влиятельные нацисты заняли официальные министерские посты в государстве: Фрик, например, стал министром внутренних дел, а Гюртнер — министром юстиции. Эти старые и испытанные члены партии, едва вступив на путь чиновнической непартийной карьеры, лишились власти и стали столь же мало влиятельны, как и другие гражданские служащие. Оба они подпали под фактическую власть Гимmlера,

<sup>16</sup> См.: *Roberts S. H. The house that Hitler built. L., 1939. P. 72.*

<sup>17</sup> Судья Роберт Г. Джексон в своей вступительной речи на Нюрнбергском судебном процессе последовательно основывал описание политической структуры нацистской Германии на сосуществовании «двух правительств в Германии — реального и показного. Обычные для государства институты в Германской республике сохранились, и это было лишь выставленное на обозрение правительство. Однако реальная власть в государстве не регулировалась законом, находилась вне права и над правом и сосредоточивалась в фюрерских корпусах нацистской партии» (*Nazi conspiracy. Vol. 1. P. 125*). См. также проведенное Робертсом различие между партией и теневым государством: «Гитлер совершенно явно стремился везде, где можно, дублировать функции» (*Roberts S. H. Op. cit. P. 101*).

Исследователи нацистской Германии, видимо, согласны, что государство обладало лишь кажущейся властью. Единственное исключение составляет Эрнст Френкель (*Fraenkel E. The dual state. N.Y.; L., 1941*), который заявляет о сосуществовании в одном «нормативного и прерогативного государств», находящихся в постоянных трениях как «конкурирующие и не дополняющие друг друга части немецкого рейха». Согласно Френкелю, нормативное государство поддерживалось нацистами ради защиты капиталистического порядка и частной собственности и обладало всей полнотой власти в вопросах экономики, тогда как прерогативное государство, партия, имело верховную власть во всех вопросах политической жизни.

<sup>18</sup> «Для тех ступеней государственной власти, которые нацисты не могли занять своими людьми, они создавали соответствующие «теневые канцелярии» в собственной партийной организации, строя таким образом еще одно государство помимо существующего...» (*Heiden K. Der Fuehrer: Hitler's rise to power. Boston, 1944. P. 616*).

<sup>19</sup> См.: *Giles O. C. The Gestapo // Oxford Pamphlets on World Affairs. № 36. 1940.* (Здесь описываются постоянные схлестывания партийных и государственных учреждений.)

набиравшего силу главы полиции, который в нормальной ситуации должен был бы подчиняться министру внутренних дел<sup>20</sup>. Более широкую известность за границей имела судьба старой немецкой канцелярии иностранных дел на Вильгельмштрассе. Нацисты практически не тронули ее персонал и, конечно, не упразднили ее; однако в то же время они учредили имевшее большую власть Бюро иностранных дел партии, возглавлявшееся Розенбергом<sup>21</sup>; и поскольку эта канцелярия специализировалась на поддержании контактов с фашистскими организациями в Восточной Европе и на Балканах, они учредили еще один орган, конкурирующий с канцелярией на Вильгельмштрассе, так называемое бюро Риббентропа, которое отвечало за иностранные дела на Западе и пережило назначение своего шефа послом в Англию, т.е. инкорпорацию его в официальный аппарат на Вильгельмштрассе. Наконец, вдобавок к партийным институтам был создан еще один дубликат Министерства иностранных дел — канцелярия СС, которая отвечала «за переговоры со всеми группами этнических немцев в Дании, Норвегии, Бельгии и Нидерландах»<sup>22</sup>. Эти примеры доказывают, что нацисты считали дублирование канцелярий принципиально важным делом, а не

<sup>20</sup> Характерна докладная записка министра внутренних дел Фрика, который возмущался тем фактом, что Гиммлер, руководитель СС, обладает верховной властью (см.: *Nazi conspiracy*. Vol. 3. P. 547). В этом отношении следует обратить внимание также на замечания Розенберга о дискуссии с Гитлером в 1942 г.: до войны Розенберг не занимал никаких государственных постов, принадлежал к ближайшему окружению Гитлера. И вот, занимая пост рейхсминистра оккупированных восточных территорий, он постоянно сталкивался с «прямыми акциями» других полномочных представителей (главным образом людей из СС), которые перестали его замечать, потому что теперь он принадлежал к показному аппарату государства (см.: *Ibid.* Vol. 4. P. 65 ff). Та же самая участь постигла и Ханса Франка, генерал-губернатора Польши. Было только два случая, когда получение министерского портфеля совершенно не повлекло за собой потери власти и престижа: речь идет о министре пропаганды Геббельсе и о министре внутренних дел Гиммлере. Что касается Гиммлера, мы располагаем докладной запиской, относящейся, вероятно, к 1935 г., которая свидетельствует о систематичности и целеустремленности нацистов в вопросах регулирования отношений между партией и государством. Эта записка, явно исходящая из непосредственного окружения Гитлера и обнаруженная среди корреспонденции *Reichsadjudantur* фюрера и гестапо, содержит предупреждение против назначения Гиммлера государственным секретарем Министерства внутренних дел, потому что в этом случае он «не сможет более оставаться политическим лидером» и «должен будет отдалиться от партии». Здесь мы находим также упоминание о техническом принципе регулирования отношений между партией и государством: «*Reichsleiter*, высший партийный функционер, не должен подчиняться *Reichsminister*, высшему государственному функционеру» (недатированная и неподписанная записка под названием «*Die geheime Staatspolizei*» находится в архивах Гуверовской библиотеки: *The Hoover Library*. File P. Widemann).

<sup>21</sup> См.: Краткий отчет о деятельности с 1933 по 1943 г. возглавляемого Розенбергом Бюро иностранных дел партии (*Ibid.* Vol. 3. P. 27 ff).

<sup>22</sup> Во исполнение указа фюрера от 12 августа 1942 г. См.: *Verfügungen, Anordnungen, Bekanntgaben*. Op. cit. № A 54/42.

использовали его как простую уловку, позволяющую обеспечить рабочие места для членов партии.

Такое же разделение правительств на реальное и показное развилось, совершенно из других корней, и в Советской России<sup>23</sup>. Показное правительство образовалось из Всероссийского съезда Советов, во время гражданской войны утратившего свое влияние и власть, которая перешла к партии большевиков. Начало этого процесса относится к тому времени, когда Красная Армия обрела самостоятельность и тайная политическая полиция была переподчинена партии, будучи выведена из подчинения съезду Советов<sup>24</sup>; он завершился в 1923 г., в течение первого года пребывания Сталина в должности генерального секретаря<sup>25</sup>. С этого времени Советы стали теневым правительством, в среде которого посредством большевистских партийных ячеек действовали представители реальной власти, назначенные Центральным Комитетом в Москве и несшие ответственность перед ним. Решающим моментом последующего развития было не завоевание Советов партией, а тот факт, что, «хотя это было бы совсем нетрудно, большевики не упразднили Советы и использовали их как декорацию, как внешний символ своей власти»<sup>26</sup>.

Следовательно, сосуществование показного и реального правительств было отчасти результатом самой революции и наблюдалось еще до установления тоталитарной диктатуры Сталина. Однако, в то время как нацисты просто сохранили существующую администрацию, лишив ее всей власти, Сталин был вынужден восстанавливать свое теневое правительство, которое в начале 30-х годов утратило все свои функции и было полузабыто в России; он ввел Советскую Конституцию как символ существования и одновременно безвластия Советов. (Ни одно из ее положений никогда не имело ни малейшего практического значения для жизни и юрисдикции в России.) Показное российское правительство, совершенно лишенное очарования традиции, столь необходимого для фасада,

<sup>23</sup> «За спиной показного правительства стояло правительство реальное», которое Виктор Кравченко (*Kravchenko V. I chose freedom: The personal life of a soviet official*. N.Y., 1946. P. 111) видел в «системе тайной полиции».

<sup>24</sup> См.: *Rosenberg A. A history of bolshevism*. L., 1934. Ch. 6. «В действительности в России существовали две параллельные политические структуры: теневое правительство Советов и правительство de facto — партия большевиков».

<sup>25</sup> *Deutscher I.* Op. cit. P. 255–256. Здесь автор анализирует доклад Сталина на XII съезде партии относительно кадрового состава органов управления в течение первого года после избрания его генеральным секретарем: «Годом ранее только 27 процентов лидеров региональных профсоюзов были членами партии. В настоящее время коммунистами являются 57 процентов. Доля коммунистов в управленческом составе кооперативов поднялась с 5 до 50 процентов, а в командном составе вооруженных сил — с 16 до 24. То же самое произошло и в других институтах, которые Сталин описывал как «приводные ремни», связывающие партию с народом».

<sup>26</sup> *Rosenberg A.* Op. cit., loc. cit.

явно нуждалось в священном ореоле кодированного права. Тоталитаристское пренебрежение правом и законностью (которое, «несмотря на величайшие изменения... по-прежнему [остаётся] выражением постоянно желанного порядка»<sup>27</sup>) обрело во вновь созданной Советской Конституции, как и в никогда не отменявшейся конституции Веймарской республики, прочное основание для собственной беззаконности, использовало ее как постоянный вызов нетоталитарному миру и его стандартам, беспомощность и немощь которых проявлялись повседневно<sup>28</sup>.

Удвоение канцелярий и разделение власти, сосуществование реальной и показной власти вполне достаточны, чтобы создать путаницу, но не объясняют «бесформенность» структуры в целом. Не следует забывать о том, что только здание может иметь структуру, а движение — если воспринимать это слово столь же серьезно и буквально, как нацисты, — может иметь только направление и что любая правовая или правительственная структура лишь помеха для движения, которое со все возрастающей скоростью устремляется в определенном направлении. Даже на этапе, предшествующем взятию власти, тоталитарные движения представляют те массы, которые более не хотят жить в рамках структуры, какова бы ни была ее природа; массы приходят в движение, чтобы снести правовые и географические границы, которые надежно охраняются правительством. Следовательно, если рассуждать с точки зрения наших представлений о правительственной и государственной структуре, эти движения, обнаруживая собственную физическую ограниченность рамками определенной территории, обязательно стремятся разрушить всю структуру, и для этого желанного разрушения простого дублирования всех канцелярий (создания параллельных партийных и государственных институтов) было бы недостаточно. Поскольку дублирование предполагает определенные отношения между фасадом (государством) и внутренним ядром (партией), оно также приводит в конечном итоге к формированию некой структуры, автоматически венчающей отношения между партией и государством правовым регулятивом, который разграничивает и стабилизирует отношения властей<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Maunz Th. Op. cit. P. 12.

<sup>28</sup> Юрист и Obersturmbannführer профессор Р. Хен выразил это в следующих словах: «И была еще одна вещь, к которой должны были привыкнуть иностранцы, да и немцы: именно к тому, что задача тайной государственной полиции... была взята на себя сообществом людей, вышедших из движения и коренившихся в нем. То, что термин «государственная полиция» на самом деле не охватывает этого факта, мы упомянем здесь лишь мимоходом» (см.: Grundfragen der deutschen Polizei. Hamburg, 1937. Доклад на организационном собрании Комитета по закону о полиции Академии права Германии, 11 октября 1936 г., составленный Франком, Гиммлером и Хеном).

<sup>29</sup> Например, такая попытка разграничить ответственность и противостоять «анархии власти» была предпринята Хансом Франком в работе «Recht und Verwaltung» (1939), а

В сущности, удвоение канцелярий, являющееся, по-видимому, проявлением непростых отношений между партией и государством во всех однопартийных диктатурах, представляет собой лишь самый очевидный признак более сложного феномена, который лучше определить как умножение, а не удвоение служб. Нацисты не довольствовались установлением Gaue, помимо старых провинций, но ввели также огромное множество других географических единиц, соответствующих разным организациям партии: территориальные единицы СА не совпадали ни с Gaue, ни с провинциями; они отличались, кроме того, от разделения территории, предпринятого СС, причем и первые, и вторые не соответствовали зонам Гитлерюгенда<sup>30</sup>. К этой географической путанице надо прибавить тот факт, что оригинальные отношения между реальной и показной властью воспроизводились повсюду, хотя и в постоянно изменяющейся форме. Житель гитлеровского Третьего рейха не только жил под одновременными и часто противоречивыми распоряжениями различных властей, таких, как гражданские службы, партия, СА и СС, но он никогда не мог с уверенностью знать и ему никогда не сообщалось, чьи приказы надо выполнять в первую очередь. Он должен был развить в себе своего рода шестое чувство, которое в каждый конкретный момент давало бы ему знать, кому подчиняться, а на кого не обращать внимания.

Кроме того, немногим лучше было и положение тех, кто обязан был исполнять распоряжения руководства, считавшиеся поистине обязательными с точки зрения интересов движения, — в противоположность правительственным мерам, такие распоряжения, разумеется, доводились до сведения одних лишь элитных формирований партии. В большинстве своем такие приказы были «преднамеренно туманными и отдавались в расчете на то, что их исполнитель разгадает намерение приказывающего и будет действовать согласно этому намерению»<sup>31</sup>.

также в обращении «Technik des Staates» (1941). По его мнению, «правовые гарантии» не являются «прерогативой либеральных систем правительства» и администрация должна по-прежнему подчиняться законам рейха, которые вдохновляются и направляются программой партии национал-социалистов. Гитлер, стремясь любой ценой предотвратить подобный новый правовой порядок, никогда не признавал программу нацистской партии. О членах партии, выступавших с соответствующими предложениями, он имел обыкновение говорить с презрением, характеризуя их как «вечно привязанных к прошлому», как людей, «которые не способны перепрыгнуть через собственную тень» (Kersten F. Totenkopf und Treue. Hamburg).

<sup>30</sup> «32 Gaue... не совпадают с административными или военными регионами, ни даже с 21 подразделением СА, ни с 10 регионами СС, ни с 23 зонами Гитлерюгенда. ...Такие расхождения тем более заметны, что лишены оснований» (Roberts S. H. Op. cit. P. 98).

<sup>31</sup> См.: Nuremberg documents, PS 3063 // Centre de Documentation Juive (Paris). Этот документ представляет собой отчет Верховного партийного суда о «событиях и делах партийного суда, касающихся антисемитских демонстраций 9 ноября 1938 г.». На основании исследований, проведенных полицией и канцелярией Генерального прокурора, Верховный

ибо партийная элита должна была не только подчиняться приказам фюрера (это было так или иначе обязательно для всех существующих организаций), но и «исполнять волю руководства»<sup>32</sup>. И как можно заключить из пространных дел об «эксцессах», разбиравшихся партийными судами, это было отнюдь не одно и то же. Различие состояло, в частности, в том, что элита партии, прошедшая специальную идеологическую обработку, научилась понимать, что некоторые «намекы означали больше, чем их чисто словесное выражение»<sup>33</sup>.

Говоря технически, движение на уровне аппарата тоталитарного господства черпает свою мобильность из того факта, что руководство постоянно смещает действительный центр власти, часто переносит его в другие организации, однако не уничтожает и даже не разоблачает публично те группы, которые таким образом лишаются власти. В первое время после установления нацистского режима, непосредственно после пожара рейхстага, реальная власть принадлежала СА, а показная — партии; затем власть перешла от СА к СС и, наконец, — от СС к службе безопасности<sup>34</sup>. Интересно, что ни один орган власти никогда

суд пришел к заключению, что «словесные инструкции Reichspropagandaleiter должны пониматься всеми партийными лидерами в том смысле, что для посторонних партия не хотела казаться инициатором демонстрации, однако в действительности должна была организовать и провести ее. ...Еще одно исследование командных эшелонов показало... что активный национал-социалист, закаленный в борьбе еще до прихода к власти [Kampfzeit], считает само собой разумеющимся, что относительно акций, явным организатором которых партия выступать не хочет, не отдается полностью ясных и детальных распоряжений. Поэтому он привык понимать, что приказ может означать нечто большее, чем его словесная оболочка, точно так же как для отдающего приказ стало почти рутинной, диктуемой интересами партии... не говорить всего и только намекать на цели своего приказа... Так... приказы, например, что не еврей Грюншпан, но все еврейство должно отвечать за смерть товарища по партии фон Рата... пистолеты должны быть наготове... каждый член СА должен знать свои обязанности — понимались рядом лидеров более низкого ранга в том смысле, что теперь за кровь товарища по партии фон Рата должна пролиться еврейская кровь.» Особенно примечателен конец доклада, где Верховный партийный суд совершенно открыто говорит об исключениях в отношении этих методов: «Другой вопрос — когда в интересах дисциплины приказ, преднамеренно туманный и отданный в надежде на то, что его исполнитель поймет намерение приказывающего и будет действовать соответственно, не должен предаваться забвению». Ведь были же личности, которые, по словам Гитлера, были «не способны перепрыгнуть через собственную тень» и настаивали на законодательных мерах, поскольку не понимали, что не приказ, а воля фюрера является наивысшим законом. Здесь особенно ясна разница между стилем мышления партийной элиты и партийных масс.

<sup>32</sup> Бест говорит об этом так: «Поскольку полиция исполняла волю руководства, она действовала в рамках закона; если же воля руководства нарушалась, то не полиция, но некий отдельный член полиции совершал насильственное действие» (Best W. Op. cit.).

<sup>33</sup> См. примечание 31.

<sup>34</sup> В 1933 г. после пожара рейхстага «лидеры СА обладали большей властью, чем Gauleiter. Они отказывались также подчиняться Герингу». См. данное под присягой показание Рудольфа Дильса; Дильс был шефом политической полиции, подчиняющейся Герингу (Nazi conspiracy. Vol. 5. P. 224).

не лишился права претендовать на то, что он воплощает волю Вождя<sup>35</sup>. Однако дело не только в том, что воля Вождя была столь нестабильна, что по сравнению с ней капризы восточных деспотов просто блестящий пример устойчивости; последовательно проводимое и непрерывно изменяющееся разделение реальной тайной власти и показного открытого представительства делало действительное местопребывание власти тайной по определению, причем в такой степени, что члены правящей клики и сами никогда не могли быть абсолютно уверены относительно собственного положения в тайной иерархии власти. Альфред Розенберг, например, несмотря на долгую карьеру в партии и впечатляющую аккумуляцию показной власти и канцелярий в партийной иерархии, продолжал говорить о создании ряда государств Восточной Европы в качестве стены безопасности против Москвы, когда настоящие власть имущие уже решили, что после разгрома Советского Союза никакие государственные структуры создаваться не будут и что население оккупированных восточных территорий утратит государственность и, следовательно, может быть истреблено<sup>36</sup>. Другими словами, поскольку знание того, кому следует подчиняться, и сравнительное постоянство иерархии внесли бы элемент стабильности, который противоречит природе тоталитарного правления, нацисты постоянно дезавуировали реальную власть всякий раз, когда она переходила в открытые, вновь созданные правительственные инстанции, по сравнению с которыми прежнее правительство становилось призрачным, и эта игра, несомненно, могла продолжаться до бесконечности. Одно из самых важных технических различий между системами Советов и национал-социалистов состояло в том, что Сталин, смещая центр власти в рамках собственного движения с одного аппарата на другой, имел тенденцию ликвидировать аппарат вместе с его персоналом, тогда как Гитлер, при всех своих презрительных отзывах о людях, которые «не способны перепрыг-

<sup>35</sup> СА явно не смирилась с утратой положения и власти в нацистской иерархии и отчаянно пыталась сохранить лицо. В их журналах — «Der SA-Mann», «Das Archiv», etc. — можно найти много открытых и завуалированных свидетельств этого бессильного соперничества с СС. Еще интереснее то, что даже в 1936 г., когда СА уже потеряла власть, Гитлер будет уверять штурмовиков в одной из речей: «Всем, что вы есть, вы обязаны мне; и всем, что я есть, я обязан только вам» (см.: Bayer E. Die SA. B., 1938. Цит. по: Nazi conspiracy. Vol. 4. P. 782).

<sup>36</sup> Ср. речь, произнесенную Розенбергом в июне 1941 г.: «Я уверен, что наша политическая задача будет состоять в... организации этих народов в определенного рода политические тела... и в использовании их в качестве заградения от Москвы» — с «Недатированным меморандумом для администрации оккупированных восточных территорий»: «С распадом СССР после его разгрома на восточных территориях не остается ни одного политического образования и, следовательно... их население не будет иметь никакого гражданства» (см.: Trial of the major war criminals. Nuremberg, 1947. Vol. 26. P. 616, 604 соответственно).

нуть через собственную тень»<sup>37</sup>, был готов продолжать использовать этих людей, пусть даже в другой функции.

Умножение канцелярий чрезвычайно облегчало постоянное перемещение власти; более того, чем дольше тоталитарный режим остается у власти, тем большим становится число канцелярий, и возможность создания рабочих мест зависит исключительно от движения, поскольку ни одна канцелярия не упраздняется, когда утрачивает власть. Нацистский режим начал это умножение с первоначальной координации всех существующих ассоциаций, обществ и институтов. Относительно этой проводимой в масштабах всего народа манипуляции интересно то, что координация не означала инкорпорацию в соответствующие уже существующие организации партии. В результате к моменту падения режима в наличии была не одна, а две национал-социалистские студенческие организации, две нацистские женские организации, две нацистские организации университетских профессоров, юристов, врачей и т.д.<sup>38</sup> Это отнюдь не означает, однако, что первоначальная партийная организация всегда была более влиятельной, чем ее соответствующий двойник<sup>39</sup>. Никто не мог также сколько-нибудь уверенно предсказать, какой партийный орган займет более высокую ступень во внутрипартийной иерархии<sup>40</sup>.

Классическим образцом этой планомерной бесформенности стала организация научного антисемитизма. В 1933 г. в Мюнхене был основан

<sup>37</sup> Hitlers Tischgespräche. Bonn, 1951. S. 213. Обычно Гитлер имел в виду высокопоставленных нацистских функционеров, которые не выражали безоговорочного согласия с необходимостью убивать без всяких сожалений всех тех людей, которых Гитлер называл «человеческими отбросами [Gesox]» (см. S. 248 ff., а также *passim*).

<sup>38</sup> О многообразии организаций партии, имевших частично совпадающие функции, см.: Rang-und Organisationsliste der NSDAP. Stuttgart, 1947, и Nazi conspiracy. Vol. 1. P. 178. Здесь различаются четыре основные категории: 1) Gliederungen der NSDAP, которая существовала до ее прихода к власти; 2) Angeschlossene Verbände der NSDAP, охватывающие координированные общества; 3) Betreute Organisationen der NSDAP; 4) Weitere national-sozialistische Organisationen. Почти каждая из этих категорий охватывала разные студенческие, женские, учительские и рабочие организации.

<sup>39</sup> Гигантская организация для выполнения общественных работ, возглавлявшаяся Тодтом и впоследствии Альбертом Шпеером, была создана Гитлером вне рамок всякой партийной иерархии и филиалов. Эта организация могла использоваться против авторитета партии и даже полицейских организаций. Достоинно внимания, что Шпеер, возможно, рисковал, указывая Гитлеру (во время конференции 1942 г.) на невозможность организации производства в условиях режима Гиммлера и даже требуя выработки правовых норм относительно рабского труда и концентрационных лагерей (см.: Nazi conspiracy. Vol. 1. P. 916–917).

<sup>40</sup> Такое безобидное и незначительное общество, как, например, основанный в 1930 г. Национал-социалистский автомобильный корпус, в 1933 г. было неожиданно повышено и получило статус элитного формирования, которое наряду с СА и СС было привилегированной самостоятельной партийной структурой. За этим подъемом по нацистской иерархической лестнице ничего не последовало; со временем он стал выглядеть тщетной угрозой в адрес СА и СС.

Институт по изучению еврейского вопроса (Institut zur Erforschung der Judenfrage), который, поскольку предполагалось, что еврейский вопрос определил всю немецкую историю, быстро расширил свою сферу и превратился в Институт немецкой истории нового времени. Возглавляемый известным историком Вальтером Франком, он превратил традиционные университеты в места показательных исследований, в фасады. В 1940 г. во Франкфурте был создан еще один институт, занимавшийся изучением еврейского вопроса и возглавляемый Альфредом Розенбергом, чей статус как члена партии был значительно выше. Мюнхенский институт поэтому постепенно обрекался на призрачное существование; предполагалось, что франкфуртский, а не мюнхенский институт получит сокровища из разграбленных еврейских собраний Европы и станет местом богатейшей библиотеки по иудаизму. Однако, когда через несколько лет эти собрания действительно прибыли в Германию, самые драгоценные предметы попали не во Франкфурт, а в Берлин, где были получены находившимся в ведении Гиммлера и возглавлявшимся Эйхманном специальным отделом гестапо по ликвидации (а не просто изучению) еврейского вопроса. Ни один из старых институтов не был упразднен, так что в 1944 г. ситуация была такова: за фасадом университетских исторических факультетов угрожающе маячила более реальная власть мюнхенского института, за которым стоял институт Розенберга во Франкфурте, и лишь за этими тремя фасадами, скрывааемый и защищаемый ими, находился подлинный центр власти — Reichssicherheitshauptamt, специальное подразделение гестапо.

Фасад Советского правительства, несмотря на официальную Конституцию, выглядел даже менее впечатляющим, возведенный исключительно для иностранных наблюдателей в большей степени, чем государственная администрация в Германии, которую нацисты унаследовали от Веймарской республики и сохранили. В отличие от нацистской первоначальной аккумуляции учреждений в период координации, советский режим полагался скорее на постоянное создание новых организаций, в результате которого прежние центры власти оказывались в тени. Гигантское увеличение бюрократического аппарата, неизбежно сопровождающее применение этого метода, контролировалось систематической ликвидацией посредством чисток. Тем не менее в России мы тоже можем различить по крайней мере три строго самостоятельные организации: советский или государственный аппарат, партийный аппарат и аппарат НКВД. Каждый из этих аппаратов имеет независимые экономические и политические отделы, управления образования и культуры, военное ведомство и т.д.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Beck F., Godin W. Russian purge and the extraction of confession. 1951. P. 153.

В России показная власть партийной бюрократии и противостоящая ей реальная власть тайной полиции соответствуют известному нам по нацистской Германии первоначальному дублированию партии и государства, а умножение становится очевидным только в самой тайной полиции с ее чрезвычайно сложной и разветвленной сетью агентов, где одному отделению всегда предписывается наблюдать и шпионить за другим. На каждом предприятии Советского Союза есть особый отдел тайной полиции, который занимается слежкой за членами партии и за рядовым беспартийным персоналом. С этим отделом тайной полиции сосуществует еще одно полицейское отделение в самой партии, которое опять-таки наблюдает за каждым, включая агентов НКВД, и члены которого неизвестны этой враждебной организации. Помимо этих двух наблюдающих структур на заводах существуют еще профсоюзы, которые должны следить за тем, чтобы рабочие пополняли предписанные им квоты соглядатаев-осведомителей. Гораздо более важным, нежели эти аппараты, был, однако, «специальный отдел» НКВД, который представлял собой «некий НКВД внутри НКВД», т.е. тайная полиция в рамках тайной полиции<sup>42</sup>. Все донесения соперничающих полицейских агентств в конечном счете собираются в ЦК и Политбюро. Здесь решается, какой из доносов считать решающим и какому из полицейских подразделений следует позволить осуществить соответствующие полицейские меры. Ни рядовой житель страны, ни какое-либо из полицейских отделений не знает, конечно, какое решение будет принято; сегодня выбор может пасть на специальное подразделение НКВД, завтра — на сеть партийных агентов, а еще через день — на местные комитеты или одну из региональных организаций. Законодательно закрепленного разделения власти между всеми этими структурами не существует, и достоверно известно лишь то, что в конце концов одна из них будет избрана в качестве воплощающей «волю руководства».

Единственное правило, относительно которого может быть уверен каждый человек в тоталитарном государстве, состоит в том, что, чем более заметны правительственные организации, тем меньшей властью они наделены, и чем меньше известно о существовании какого-то института, тем более полновластным он окажется в конечном счете. Согласно этому правилу Советы, конституционно признанные высшей государственной властью, имеют меньше власти, нежели партия больше-

<sup>42</sup> Ibid. P. 159 ff. Согласно другим источникам, существуют разные образчики паразитической множественности советского полицейского аппарата, главным образом местные и региональные ассоциации НКВД, которые работают независимо друг от друга и имеют собственных двойников в местных и региональных сетях партийных агентов. Вполне естественно, что мы знаем о ситуации в России значительно меньше, чем о ситуации в нацистской Германии, особенно в том, что касается организационных деталей.

виков; большевистская партия, которая открыто вербует своих членов и признана правящим классом, обладает меньшей властью, чем тайная полиция. Реальная власть начинается там же, где начинается секретность. В этом отношении нацистское и большевистское государства были очень похожи; различие между ними состоит главным образом в том, что в Германии службы тайной полиции были монополизированы и централизованы Гиммлером, а в России деятельность тайной полиции представляется лабиринтом никак не соотнесенных и не состоящих ни в какой связи друг с другом акций.

Если рассматривать тоталитарное государство единственно как инструмент власти и оставить в стороне вопросы административной эффективности, индустриальных мощностей и экономической продуктивности, то его бесформенность окажется идеальным инструментом для реализации так называемого принципа вожизма. Постоянное соревнование между организациями, функции которых не просто частично совпадают, но тождественны<sup>43</sup>, почти не оставляет шанса на успех оппозиции или саботажа; быстрый перенос центра тяжести, который одно учреждение передает забвению, а другое наделяет властью, может решить все проблемы так, что никто и не узнает о произошедшем изменении или существовавшей в прошлом оппозиции. Еще одно преимущество такой системы состоит в том, что пострадавшая организация, скорее всего, так и не узнает о своем поражении, поскольку она либо вообще не будет упразднена (как это было принято при нацистском режиме), либо ликвидируется значительно позже, без видимой связи с каким-то конкретным делом. Это обеспечивается тем более легко, что никто, кроме немногих инициаторов, не знает точного взаимоотношения властей. Лишь изредка нетоталитарный мир может приоткрыть завесу тайны, когда, например, высокопоставленный чиновник за границей признается, что безвестный посольский клерк был его непосредственным начальником. По прошествии времени часто становится ясно, почему произошла такая внезапная потеря власти или, скорее, что она вообще произошла. Например, сегодня нетрудно понять, почему в начале войны такие люди, как Альфред Розенберг или Ханс Франк, были перемещены на государственные посты и таким образом отодвинуты от реального центра власти, т.е. изъяты из числа приближенных фюрера<sup>44</sup>.

<sup>43</sup> Как свидетельствует один из бывших сотрудников Гиммлера, «для Гиммлера было характерно давать одно и то же задание двум людям» (см.: Nazi conspiracy. Vol. 6. P. 461).

<sup>44</sup> В вышеупомянутом обращении (см. примечание 29) Ханс Франк показывал, что в какой-то момент он хотел стабилизировать движение, и его многочисленные жалобы в качестве генерал-губернатора Польши свидетельствуют о тотальном недопонимании им продуманно антиутилитарных тенденций нацистской политики. Он не мог понять, почему подчиненные народы не эксплуатируются, а уничтожаются. Розенберг, по мнению Гитлера, был ненадежен с точки зрения расовой политики, поскольку намеревался соз-

Важно, что они не только не знали о причинах перемещений, но, вероятно, даже не подозревали, что такие очевидно высокие посты, как генерал-губернатор Польши или Reichsminister всех восточных территорий, были не расцветом, а концом их карьеры национал-социалиста.

Принцип вождизма не предполагает создания иерархии в тоталитарном государстве по аналогии с тоталитарным движением; власть не распределяется сверху по всем средним ступенькам и до основания политического тела, как это происходит в авторитарных режимах. Иерархия не существует без власти авторитета, и, несмотря на многочисленные неверные понимания так называемой авторитарной личности, начало авторитаризма во всех существенных отношениях диаметрально противоположно началу тоталитарного господства. Если оставить в стороне его укорененность в римской истории, авторитаризм в любой форме всегда стесняет или ограничивает свободу, но никогда не отменяет ее. Тоталитарное же господство нацелено на упразднение свободы, даже на уничтожение человеческой спонтанности вообще, а отнюдь не на ограничение свободы, сколь бы тираническим оно ни было. Отсутствие какого-либо авторитета или иерархии в тоталитарной системе технически обнаруживается в том факте, что между верховной властью (фюрером) и подчиненными не существует устойчивых промежуточных уровней, каждый из которых располагал бы надлежащей долей власти и требовал бы соответствующего повиновения. Воля фюрера может воплощаться повсеместно и в любое время, и сам он не связан никакой иерархией, хотя бы даже установленной им самим. Поэтому было бы неточно сказать, что движение после захвата власти создает множество княжеств, в каждом из которых князек волен делать, что ему угодно, и подражать большому верховному вождю<sup>45</sup>. Заявление нацистов, что «партия есть порядок фюреров»<sup>46</sup>, было обычной ложью. Как бесконечное умножение канцелярий и путаница в распределении власти порождали состояние дел, при котором каждый гражданин ощущал прямую зависимость от воли Вождя, произвольно выбирающего испол-

дать на завоеванных восточных территориях государства-сателлиты и не понимал, что гитлеровская политика была нацелена на депопуляцию этих территорий.

<sup>45</sup> Образ «маленьких княжеств», образующих «пирамиду власти вне закона с Фюрером на вершине» принадлежит Роберту Г. Джексону (см.: *Nazi conspiracy*. Vol. 2. 1 ff. Ch. 12). Чтобы избежать установления подобного авторитарного государства, Гитлер уже в 1934 г. издал следующее партийное постановление: «Форма обращения "Mein Fuehrer" закрепляется за одним Фюрером. Этим указом я запрещаю всем нижестоящим лидерам НСДАП позволять по отношению к себе такие обращения, как "Mein Reichsleiter" и т.д., будь то словесно или письменно. Здесь более уместно обращение Pg. [товарищ по партии]... или Gauleiter и т.д.» (см.: декрет от 20 августа 1934 г.: *Verfügungen, Anordnungen, Bekanntgaben*. Op. cit.).

<sup>46</sup> См.: *Organisationsbuch der NSDAP*.

нительный орган своих решений, точно так же полтора миллиона «фюреров» Третьего рейха<sup>47</sup> отлично знали, что их власть исходит непосредственно от Гитлера, без всяких посредствующих иерархических уровней<sup>48</sup>. Реальностью была непосредственная зависимость, посредствующая же иерархия — безусловно, социально значимая — была показной, притворной имитацией авторитарного государства.

Абсолютная монополия Вождя на власть и влияние является самой яркой характеристикой его отношений с главой полиции, который в тоталитарном государстве занимает положение, наиболее наделенное властью в обществе. Однако, несмотря на огромную материальную и организационную власть, находящуюся в его распоряжении как главы настоящей полицейской армии и элитных формирований, шеф полиции явно не может захватить всю власть и стать руководителем страны. Так, до упадка власти Гитлера Гиммлер и не мечтал замахнуться на гитлеровские претензии на лидерство<sup>49</sup> и никогда не выдвигался на роль преемника Гитлера. Еще более интересна в этом контексте злополучная попытка Берии захватить власть после смерти Сталина. Хотя Сталин никогда не допускал, чтобы глава полиции когда-либо располагал такой властью, какая сосредоточилась в руках Гиммлера в последние годы правления нацистов, в распоряжении Берии было все же достаточное количество войск, чтобы посредством простого захвата Москвы и блокирования всех доступов к Кремлю претендовать на руководство партией после смерти Сталина; никто, кроме Красной Армии, не мог воспрепятствовать его стремлению к власти, и ее выступление повлекло бы за собой кровавую гражданскую войну с совершенно непредсказуемым исходом. И вот Берия через несколько дней добровольно оставил все свои посты, хотя и должен был знать, что заплатит жизнью за те дни, в течение которых осмелился ставить власть полиции против власти партии<sup>50</sup>.

Отсутствие абсолютной власти, разумеется, не мешает главе полиции организовать свой огромный аппарат в соответствии с принципами тоталитарной власти. Так, чрезвычайно интересно, что Гиммлер после своего назначения начал реорганизацию полиции Германии, вводя в до-

<sup>47</sup> См.: *Nazi conspiracy*. Vol. 8. Таблица 14.

<sup>48</sup> Все присяги в партии, в том числе и элитными частями, приносились лично Адольфу Гитлеру.

<sup>49</sup> Первый шаг в этом направлении был сделан в тяжелом 1944 г., когда Гиммлер по собственной инициативе приказал демонтировать газовые камеры в лагерях уничтожения и остановить массовые убийства. Таким образом он подготавливал мирные переговоры с западными державами. Весьма интересно, что Гитлеру явно так никогда и не сообщили об этих приготовлениях; видимо, никто не осмелился сказать ему об отказе от одной из самых важных для него целей войны (см.: *Poliakov L. Brévaire de la haine*. 1951. P. 232).

<sup>50</sup> О событиях, последовавших за смертью Сталина, см.: *Salisbury H. E. American in Russia*. N.Y., 1955.

того централизованный аппарат тайной полиции множественность канцелярий, выполняющих одинаковые задачи, т.е. явно делал то, чего избегали бы все специалисты по проблемам власти и власть имущие до эры тоталитарных режимов, видя в этом децентрализацию власти, ведущую к ее ослаблению. К службе гестапо Гиммлер впервые добавил службу безопасности, которая первоначально была подразделением СС и учреждалась как внутривластная полиция. В то время как основные организации гестапо и службы безопасности в конечном итоге имели свой центр в Берлине, региональные филиалы этих двух огромных секретных служб сохранили самостоятельность и каждый из них подчинялся непосредственно собственной канцелярии Гиммлера в Берлине<sup>51</sup>. Во время войны Гиммлер учредил еще две службы разведки: одна из них состояла из так называемых инспекторов, которые должны были контролировать и координировать действия службы безопасности и полиции и находились под юрисдикцией СС; вторая представляла собой специальное бюро военной разведки, действовавшее независимо от военных подразделений рейха и в конечном счете успешно поглотившее собственно военную разведку армии<sup>52</sup>.

Полное отсутствие успешных или безуспешных дворцовых революций — еще одна из самых ярких характеристик тоталитарных диктатур. (За единственным исключением, никто из разочаровавшихся нацистов не принял участия в военном заговоре против Гитлера в июле 1944 г.) Может показаться, что вождизм провоцирует кровавые изменения личной власти без всякого изменения режима. Таков лишь один из многих признаков того, что тоталитарная форма правления очень мало связана с жадностью власти или даже со стремлением взять в свои руки все рычаги управления машиной власти, с борьбой за власть, как таковую, которая была характерна для последних стадий империализма. С технической точки зрения, однако, это один из самых важных признаков того, что тоталитарное правление, вопреки всякой видимости, не является правлением клики или шайки<sup>53</sup>. Диктатуры Гитлера и Сталина ясно

<sup>51</sup> Прекрасный анализ структуры нацистской полиции см.: *Nazi conspiracy*. Vol. 2. P. 250 ff., особенно P. 256.

<sup>52</sup> *Ibid.* P. 252.

<sup>53</sup> Франц Нойман сомневается, «можно ли назвать Германию государством. Она гораздо больше напоминает шайку, лидеры которой вынуждены постоянно соглашаться, несмотря на расхождения» (*Neumann F.* Op. cit. P. 521 ff.). Важный вклад в разработку теории тоталитарного правительств как клики внесли работы Конрада Хейдена о нацистской Германии. С точки зрения образования клики вокруг Гитлера весьма информативны «Письма Бормана», опубликованные Тревор-Ропером. На допросе врачей (*The United States vs. Karl Brandt et al.*, слушание 13 мая 1947 г.) Виктор Брак свидетельствовал, что уже в 1933 г. Борман, действуя, несомненно, по приказу Гитлера, занялся организацией группы людей, которые стояли над государством и партией.

свидетельствуют, что изоляция атомизированных индивидов не только обеспечивает массовый фундамент для тоталитарного правления, но и распространяется на верхушку всей структуры. Сталин уничтожил почти всех, кто мог претендовать на принадлежность к правящей клике, и передвигал членов Политбюро с места на место, как только клика выказывала признаки внутренней консолидации. Гитлер уничтожал складывавшиеся в нацистской Германии клики менее жестокими средствами, единственная кровавая чистка была направлена против клики Рема, которая обрела устойчивость благодаря гомосексуализму ее ведущих участников; Гитлер предотвращал образование клики посредством постоянного перераспределения власти и влияния, а также частых изменений среди наиболее приближенных лиц, так что вся бывшая солидарность между теми, кто пришел к власти вместе с ним, быстро исчезла. Кроме того, чудовищная недоверчивость, которую почти в одинаковых словах называют яркой чертой характеров и Гитлера, и Сталина, не позволяла им руководить столь стабильным и устойчивым образованием, как клика. Однако, возможно, все дело в том, что при тоталитаризме не существует взаимных отношений между лицами, занимающими ответственные посты; они не связаны вместе равным статусом в политической иерархии, или отношениями руководителя и подчиненного, или хотя бы неопределенной лояльностью гангстеров. В Советской России всякий знает, что руководитель большого промышленного комплекса равно как и министр иностранных дел, в любой момент может быть отброшен на самые низкие ступени социальной и политической лестницы и что его место может занять совершенно неизвестное лицо. В то же время, соучастие гангстеров, которое играло некоторую роль на ранних стадиях нацистской диктатуры, утрачивает всякую связующую роль, ибо тоталитаризм использует власть именно для того, чтобы распространить это соучастие на все население до тех пор, пока он не свяжет весь народ под своим господством узами преступления и чувством вины<sup>54</sup>.

Отсутствие правящей клики сделало проблему преемника тоталитарного диктатора особенно трудной и беспокойной. Эта проблема — настоящее бедствие для всех узурпаторов, и весьма характерно, что ни один из тоталитарных диктаторов никогда не пытался использовать старый метод основания династии и назначения преемниками своих сыновей. Гитлеровским многочисленным и, следовательно, внутренне ущербным назначениям противостоит метод Сталина, который сделал преемство одной из самых опасных наград Советского Союза. В условиях тоталитаризма знание всех хитросплетений приводных ремней влас-

<sup>54</sup> Ср. статью «Organized guilt», являющуюся вкладом автора этих строк в обсуждение проблемы германской вины: *Arendt H.* Organized guilt // *Jewish Frontier*. January 1945.

ти равноценно обладанию наивысшей властью, и каждый назначенный последователь, который действительно узнает существо происходящего, через некоторое время автоматически смещается. Законное и сравнительно прочное назначение действительно предполагало бы существование некоей клики, члены которой разделяли бы монополию Вождя на знание происходящего, тогда как этого Вождя должен избегать всеми возможными средствами. Однажды Гитлер объяснил это в характерных для него выражениях высшим чинам вермахта, которые посреди суматохи пика войны, должно быть, как раз и ломали голову над этой проблемой: «В конечном итоге я должен, при всей скромности, сказать о собственной персоне: незаменимый. ...Судьба рейха зависит от меня одного»<sup>55</sup>. Нет нужды искать иронию в слове «скромность»; тоталитарный вождь — и это заметно отличает его от всех прошлых узурпаторов, деспотов и тиранов, — по-видимому, верит в то, что проблема его преемника не очень важна, что для этой работы не требуется каких-то специальных качеств или навыков, что страна в конце концов подчинится тому, кто сумеет удержаться у власти в момент его смерти, и что никакие восстания, продиктованные жаждой власти, не смогут оспорить его законность<sup>56</sup>.

Если говорить о технике правления, то тоталитарные приемы кажутся простыми, остроумными и эффективными. Тоталитарные средства управления обеспечивают не только монополию на абсолютную власть, но и беспримерную достоверность того, что все команды будут всегда выполнены; тоталитаризм знаменит запутанной иерархией, множественностью приводных ремней, которые обеспечивают полную независимость диктатора от всех подчиненных и делают возможными быстрые и непредсказуемые политические изменения. Политическое тело страны защищено от ударов благодаря своей бесформенности.

<sup>55</sup> В речи 23 ноября 1939 г., цит. по: *The trial of the major war criminals*. Vol. 26. P. 332. Что это было не просто истерическое отклонение, порожденное обстоятельствами, ясно из речи Гимmlера (ее стенограмму см.: Hoover Library. Himmler File. Folder 332) на конференции мэров в Познани в марте 1944 г. Он говорит: «Какие ценности можем мы измерить шкалой истории? Ценность собственного народа. ...Второй, я бы сказал, даже большей ценностью является уникальная личность нашего фюрера Адольфа Гитлера... который впервые за два тысячелетия... был послан германской расе как великий вождь...»

<sup>56</sup> Точку зрения Гитлера на эту проблему см.: *Hitlers Tischgespräche*. S. 253 f., 222 f. Новый фюрер должен выбираться «в сенате»; руководящий принцип при выборе фюрера должен быть такой: любая дискуссия между участвующими в выборе лицами должна завершиться в течение установленного процедурой времени. В течение трех часов вермахт, партия и все гражданские чиновники должны быть вновь приведены к присяге. «Он не питал никаких иллюзий относительно того факта, что в результате подобного выбора верховного главы государства у руля рейха в роли фюрера не всегда окажется выдающаяся личность». Однако это не представляет опасности, «если механизм в целом функционирует должным образом».

Причины, в силу которых такая чрезвычайная эффективность не была достигнута в прошлом, столь же просты, как и сам механизм. Умножение канцелярий разрушает весь смысл ответственности и компетентности; оно не только влечет за собой страшно обременительное и непродуктивное увеличение администрации, но действительно сдерживает продуктивность, поскольку конфликтующие структуры постоянно откладывают реальную работу, ожидая, что дело решится приказом вождя. Фанатизм элиты, абсолютно необходимый для функционирования движения, систематически уничтожает всякий подлинный интерес к конкретной работе и порождает стереотип мышления, при котором всякое мыслимое действие рассматривается как инструмент для чего-то совершенно иного<sup>57</sup>. И такой тип мышления не ограничивается элитой, но постепенно пронизывает все население, самые интимные моменты жизни и смерти которого зависят от политических решений, т.е. от причин и скрытых мотивов, для прояснения которых совершенно ничего не делается. Постоянное смещение, лишение власти и продвижение по службе делают невозможной надежную работу по командному образцу и мешают приобретению опыта. С точки зрения экономики рабский труд является роскошью, которую Россия не должна себе позволять; во время острой нехватки технического мастерства лагеря были наполнены «высококвалифицированными инженерами, [которые] соревновались за право работать водопроводчиками, ремонтировать часы, электрическое освещение и телефоны»<sup>58</sup>. Но тогда с чисто утилитарной точки зрения Россия не должна была бы допускать и чисток 30-х годов, которые приостановили долгожданное экономическое восстановление, или физического уничтожения генералитета Красной Армии, которое практически привело к поражению в русско-финской войне.

Ситуация в Германии отличалась незначительно. Сначала нацисты обнаружили определенную тенденцию к сохранению технических и управленческих кадров, допускали прибыли в бизнесе и стремились к экономическому господству без излишнего вмешательства. В начале войны Германия не была полностью тотализированной страной, и если считать подготовку к войне рациональным действием, то придется признать, что примерно до 1942 г. экономика Германии функционировала

<sup>57</sup> Один из основополагающих принципов СС, сформулированный самим Гимmlером, гласит: «Ни одна задача не существует ради самой задачи». См.: *Alquen G. de. Die SS. Geschichte, Aufgabe und Organisation der Schutzstaffeln der NSDAP // Schriften der Hochschule für Politik* 1939.

<sup>58</sup> См.: *Dallin D. J., Nicolaevsky B. I. Forced labor in Russia*. 1947. Авторы сообщают также, что во время войны, когда мобилизация столкнулась с острой нехваткой мужчин, смертность в трудовых лагерях составляла примерно 40 процентов в год. В целом, по их подсчетам, производительность труда рабочего в лагере составляла менее 50 процентов производительности труда человека на свободе.

более или менее рационально. Подготовку к войне, как таковую, нельзя считать антиутилитарной, несмотря на чрезвычайно высокие затраты<sup>59</sup>, поскольку, действительно, может быть, гораздо «дешевле овладеть благосостоянием и ресурсами других народов в результате завоевания, чем покупать их у иностранных государств или производить дома»<sup>60</sup>. Экономические законы инвестирования и производства, стабилизации доходов и прибылей, законы потребления не работают, если стараться восстанавливать собственную истощенную экономику за счет грабежа других стран; и совершенно верно, и это прекрасно знали сочувствующие слои немецкого народа, что знаменитый нацистский лозунг «пушки или масло» в действительности означал «добудем масло пушками»<sup>61</sup>. Правила тоталитарного господства стали перевешивать все другие соображения только после 1942 г.

Радикализация началась с самого начала войны; можно даже допустить, что один из мотивов, побудивших Гитлера разжечь войну, состоял в том, что она позволила ему ускорить развитие в той мере, какая была немислима в мирное время<sup>62</sup>. Примечательно, однако, в этом процессе то, что ему не стали помехой такие сокрушительные поражения, как Сталинград, и что опасность полного проигрыша войны была лишь дополнительным стимулом к тому, чтобы отбросить все утилитарные соображения и предпринять полномасштабную попытку осуществить посредством жестокой тотальной организации цели тоталитарной расовой идеологии, неважно, на сколь краткое время<sup>63</sup>. После Сталинграда элитные

<sup>59</sup> См.: *Reveille T. The spoil of Europe. 1941.* По оценке автора книги, Германия в первые годы войны была в состоянии покрыть все свои подготовительные расходы на войну с 1933 по 1939 г.

<sup>60</sup> *Ebenstei W. The Nazi State. N.Y., 1943. P. 257.*

<sup>61</sup> *Ibid. P. 270.*

<sup>62</sup> Это подтверждается тем фактом, что декрет об уничтожении всех неизлечимо больных был издан в день начала войны, но еще более — высказываниями Гитлера времен войны, процитированными Геббельсом, о том, что «война сделала возможным для нас решение целого ряда проблем, которые никогда не были бы решены в мирное время», и что, чем бы ни закончилась война, «евреи безусловно проиграли» (см.: *The Goebbels diaries / Ed. by L. P. Lochner. 1948. P. 314.*)

<sup>63</sup> Вермахт, разумеется, время от времени пытался объяснять разным партийным органам опасности такого ведения войны, при котором приказы отдаются при полном пренебрежении ко всякой военной, гражданской и экономической необходимости (см., напр.: *Poliakov L. Op. cit. P. 321.*) Однако даже высшим нацистским функционерам было трудно понять все наличные экономические и военные факторы. Им надо было снова и снова повторять, что «экономические соображения принципиально не должны приниматься во внимание при решении [еврейской] проблемы» (см.: *Nazi conspiracy. Vol. 6. P. 402.*), и они все же жаловались, что срыва большой строительной программы в Польше «не произошло, если бы не были депортированы многие тысячи работающих здесь евреев. Сейчас отдан приказ об игнорировании евреев при осуществлении проектов вооружения. Я надеюсь, что этот... приказ будет вскоре отменен, ибо в

формирования, жестко отгороженные от народа, были значительно расширены; запрет на членство в партии для армейских служащих был снят и военное командование было подчинено руководителям СС. Ревностно охраняемая монополия СС на преступление была отменена, и солдатам, которые изъявляли на то желание, вменялись в обязанность массовые убийства<sup>64</sup>. Ни военные, ни экономические, ни политические соображения не принимались во внимание при разработке дорогостоящих и обременительных программ массовых уничтожений и депортаций.

Если рассматривать последние годы правления нацистов и их версию «пятилетнего плана», осуществить который у них не хватило времени, но который был нацелен на уничтожение польского и украинского народов, 170 миллионов русских (как упоминалось в одном плане), интеллигенции Западной Европы, например нидерландской, и населения Эльзаса и Лотарингии, а также всех тех немцев, которые подпадут под планировавшийся рейхом закон о здоровье или «закон о чужеземцах», то практически невозможно не заметить аналогии с большевистским пятилетним планом 1929 г., того года, когда диктатура в России впервые приобрела четкие очертания. Вульгарные евгенические лозунги в одном случае, напыщенное экономическое фразерство — в другом были прелюдией к «чудовищному безумию, опрокинувшему все правила логики и принципы экономики»<sup>65</sup>.

Конечно, тоталитарные диктаторы не вступают на путь безумия сознательно. Дело скорее в том, что наше замешательство относительно антиутилитарного характера структуры тоталитарного государства проистекает из ошибочного представления, будто мы, в конце концов, имеем дело с нормальным государством — бюрократией, тиранией, диктату-

противном случае ситуация будет ухудшаться дальше». Это упование Ханса Франка, генерал-губернатора Польши, осуществилось в такой же малой степени, как и его позднейшие надежды на более чуткую военную политику по отношению к полякам и украинцам. Недовольство Франка интересно тем, что его пугала исключительно антиутилитарная сторона нацистской политики во время войны. «Если бы мы выиграли войну, единственно к чему я стремлюсь, мы могли бы превратить в котлету поляков и украинцев и всех других окружающих нас здесь...» (см. его дневник: *Nazi conspiracy. Vol. 4. P. 902 ff.*)

<sup>64</sup> Первоначально в концентрационных лагерях «работали» только специальные подразделения СС — формирования «Мертвой головы». Впоследствии их заменили войска СС. Начиная с 1944 г. использовались также части регулярной армии, однако обычно — из числа тех, что были влиты в войска СС (см. показание, данное под присягой бывшим высшим чиновником СС в концентрационном лагере в Нойенгамме: *Nazi conspiracy. Vol. 7. P. 211.*) Насколько давал знать о своем присутствии в концентрационных лагерях вермахт, описано в дневнике, который Олд Хансен вел в концлагере (*Nansen O. Day after day. L., 1949.*) К сожалению, дневник свидетельствует, что эти войска регулярной армии проявляли зверскую жестокость, не меньшую, чем СС.

<sup>65</sup> *Deutscher I. Op. cit. P. 326.* Эта цитата особенно ценна тем, что заимствована из сочинения самого благожелательного биографа Сталина не из числа коммунистов.

рой, — из нашего невнимания к подчеркнутым утверждениям тоталитарных правителей, что они рассматривают страну, где им довелось захватить власть, только как временную штаб-квартиру интернационального движения на пути к завоеванию мира, что они исчисляют победы и поражения в терминах столетий или тысячелетий и что глобальные интересы всегда берут верх над местными интересами их собственных территорий<sup>66</sup>. Знаменитый лозунг «право есть то, что хорошо для немецкого народа» предназначался только для массовой пропаганды; нацистам же говорили, что «право есть то, что хорошо для движения»<sup>67</sup>, а интересы народа и движения совпадали отнюдь не всегда. Нацисты не думали, что немцы являются господствующей расой, которой принадлежит мир, но полагали, что немцы, как и все остальные нации, должны управляться господствующей расой и что эта раса только рождается<sup>68</sup>. Зачатком господствующей расы были не немцы, а СС<sup>69</sup>. «Германская мировая импе-

<sup>66</sup> Нацисты особенно любили считать на тысячелетия. Заявления Гиммлера, что одни лишь люди из СС интересовались «идеологическими вопросами, важность которых исчислялась десятилетиями и столетиями» и что они «служили делу, которое делается лишь раз в два тысячелетия», повторялись с незначительными видоизменениями на протяжении всего материала, изданного для использования в пропаганде (*Wesen und Aufgabe der SS und der Polizei. SS-Hauptamt-Schulungsamt. S. 160*). Что касается большевистской версии, то лучшим образчиком служит программа Коммунистического Интернационала, сформулированная Сталиным уже в 1929 г. на съезде партии в Москве. Особенно интересна оценка Советского Союза как «базиса всемирного движения, центра интернациональной международной революции, величайшего фактора в мировой истории. В СССР мировой пролетариат впервые обретает страну...» (цит. по: *Chamberlain W. H. Blueprint for world conquest. 1946; программы Третьего Интернационала воспроизводятся здесь дословно*).

<sup>67</sup> Видоизменение официального девиза см.: *Organisationsbuch der NSDAP. S. 7*.

<sup>68</sup> См.: *Heiden K. Op. cit. P. 722*. 23 ноября 1937 г. в своей речи перед будущими политическими лидерами в *Ordensburg Sonthofen* Гитлер утверждал: не «смехотворно маленькое племя, крошечные страны, государства или династии... но только расы [могут] выступать в качестве мировых завоевателей. Однако расой — по крайней мере в сознательном смысле — мы еще должны стать» (см.: *Hitlers Tischgespräche. S. 445*). Полностью гармонирует с этой далеко не случайной фразой указ от 9 августа 1941 г., которым Гитлер запрещал дальнейшее употребление термина «германская раса», потому что оно привело бы к «принесению расовой идеи в жертву простому началу национальности и к разрушению важных концептуальных предпосылок всей нашей расовой и народной политики» (*Vergängen, Anordnungen, Bekanntgaben*). Очевидно, что понятие германской расы послужило бы помехой для прогрессивной «селекции» и уничтожения нежелательных частей германского населения, которые в те самые годы планировались на будущее.

<sup>69</sup> Поэтому Гиммлер «очень быстро создал германские подразделения СС в разных странах»; он говорил эсэсовцам: «Мы не ждем, что вы станете немцами из оппортунизма. Однако мы надеемся, что вы подчините свой национальный идеал более великому расовому и историческому идеалу, германскому Рейху» (*Heiden K. Op. cit.*). Его будущей задачей является «самое тщательное возвращение и воспитание» «расовой суперстраты», которая в следующие двадцать-тридцать лет дала бы «всей Европе ее правящий класс» (речь Гиммлера на собрании главных генералов СС в Познани в 1933 г.: *Nazi Conspiracy. Vol. 4. P. 558 ff.*).

рия», как сказал Гиммлер, или «арийская» мировая империя, как сказал бы Гитлер, во всяком случае, была делом еще нескольких веков<sup>70</sup>. Для «движения» было важнее продемонстрировать возможность создания некой расы посредством уничтожения других «рас», чем победить в войне с ограниченными целями. Внешнего наблюдателя поражает как «чудовищное безумие» именно последовательное проведение абсолютного превосходства движения не только над государством, но и над нацией, народом и постами, занимаемыми самими правителями. Причина, в силу которой хитроумные средства тоталитарного правления, с их абсолютной и непревзойденной концентрацией власти в руках одного человека, не применялись никогда прежде, состоит в том, что ни один ординарный тиран не был настолько безумен, чтобы пренебрегать всеми ограниченными и местными интересами — экономическими, национальными, человеческими, военными — в интересах чисто вымышленной реальности, отнесенной в неопределенно далекое будущее.

Поскольку тоталитаризм, пришедший к власти, сохраняет верность первоначальным догматам движения, поразительная схожесть между организационными средствами движения и так называемого тоталитарного государства едва ли удивительна. Разделение между членами партии и попутчиками, объединенными в фасадные организации, не исчезает, а приводит к «координации» всего населения, превращенного в «сочувствующих». Невероятный рост числа сочувствующих удерживается ограничивающей силой партии в рамках привилегированного «класса», состоящего из нескольких миллионов, и созданием суперпартии из нескольких сот тысяч элитных формирований. Умножение канцелярий, дублирование функций и адаптация отношений между партией и сочувствующими к новым условиям означают лишь, что сохраняется характерная, напоминающая луковицу структура движения, где каждый слой является фасадом следующего, более воинственного образования. Государственная машина трансформируется в фасадную организацию сочувствующих бюрократов, функция которой во внутренних делах состоит в распространении доверия в массах просто «упорядоченных» граждан, а в иностранных — одурачивании внешнего нетоталитарного мира. Вождь в его двойственной функции — главы государства и лидера движения — опять-таки соединяет в своей личности верх воинственной жестокости и вызывающую доверие нормальность.

Одно из главных различий между тоталитарным движением и тоталитарным государством состоит в том, что тоталитарный диктатор может и должен практиковать тоталитарное искусство лжи более последовательно и крупномасштабно, чем вождь движения. Отчасти это

<sup>70</sup> *Himmler H. Ibid. P. 572.*

автоматически вытекает из увеличения рядов попутчиков, отчасти же объясняется тем фактом, что неудачные утверждения государственного мужа не так легко взять назад, как демагогические заявления партийного лидера. С этой целью Гитлер решил без всяких околичностей обратиться к старомодному национализму, который многократно осуждал до прихода к власти. Приняв позу воинствующего националиста, заявляя, что национал-социализм не является «товаром на экспорт», он успокаивал немцев и немцев и подразумевал, что амбиции нацистов будут удовлетворены, когда будут выполнены традиционные требования националистической внешней политики Германии — возвращение территорий, отданных по Версальскому договору, Anschluss Австрии, аннексия немецкоговорящих частей Богемии. Сходным образом и Сталин рассчитался и с российским общественным мнением, и с внешним миром, когда изобрел теорию «социализма в одной, отдельно взятой стране» и возложил ответственность за мировую революцию на Троцкого<sup>71</sup>.

Систематическая ложь всему миру может неограниченно распространяться только при условиях тоталитарного правления, где вымышленность повседневной действительности делает пропаганду большей частью излишней. На стадии, предшествующей захвату власти, движения не могут позволить себе настолько скрывать свои подлинные цели, в конце концов, они должны вдохновлять массовые организации. Но когда евреев можно уничтожить ядовитым газом, как клопов, уже не обязательно пропагандировать, что евреи — клопы<sup>72</sup>; когда есть власть учить целую нацию истории русской революции, не упоминаящей имени Троцкого, уже нет нужды в пропаганде против Троцкого. Однако применения таких методов для выполнения идеологических целей можно «ожидать» только от «идеологически наиболее твердых» — неважно, приобрели ли они эту твердость в школах Коминтерна или в специальных нацистских центрах идеологической обработки, — даже если эти цели и продолжают рекламироваться. В таких случаях неизменно оказывается, что простые сочувствующие никогда не понимают, что происходит<sup>73</sup>. Это приводит к тому парадоксу, что «тайное общест-

<sup>71</sup> Дейчер говорит о замечательной «чувствительности [Сталина] ко всем тем психологическим подводным течениям... глашатаем которых он себя сделал» (*Deutscher I. Op. cit.* P. 292). «Само название теории Троцкого, “перманентная революция”, звучало как угрожающее предупреждение усталому поколению... Сталин взывал непосредственно к ужасу перед риском и неопределенностью, который возобладали над многими большевиками» (P. 291).

<sup>72</sup> Таким образом, Гитлер мог позволить себе употреблять свое любимое клише «порядочный еврей», поскольку уже начал уничтожать евреев в декабре 1941 г. (см.: *Tischgespräche. S. 346*).

<sup>73</sup> Поэтому Гитлер, обращаясь в ноябре 1937 г. к членам Генерального штаба (Бломбергу, Фричу, Редеру) и к высокопоставленным гражданским чиновникам (Нойрату, Ге-

во, созданное среди бела дня», не более конспиративно по характеру и методам, чем после того, как оно станет полноправным членом объединения наций, основанного на взаимном признании законов и обычаев. Совершенно логично, что Гитлер до прихода к власти противостоял всем попыткам организовать партию и даже элитные формирования на конспиративной основе; однако же после 1933 г. он был полон желания помочь трансформировать СС в своего рода тайное общество<sup>74</sup>. Сходным образом ориентированные на Москву коммунистические партии, резко отличаясь этим от своих предшественников, обнаруживают любопытную тенденцию к предпочтению конспирации даже там, где возможна полная легальность<sup>75</sup>. Чем более открытой и очевидной становилась власть тоталитаризма, тем более тайными становились его истинные цели. Чтобы узнать конечные цели гитлеровского правления в Германии, гораздо надежнее обратиться к его пропагандистским речам и «*Mein Kampf*», чем полагаться на риторические разглагольствования канцлера Третьего рейха; точно так же более мудро было бы не доверять сталинским словам о «социализме в одной, отдельно взятой стране», сказанным с переходящей целью захвата власти после смерти Ленина, но более серьезно поразмышлять о его неизбежной враждебности к демократическим странам. Тоталитарные диктаторы доказали, что они прекрасно понимают опасность, неотделимую от нормализации их положения, т.е. опасность действительно националистической политики или действительного построения социализма в одной стране. Именно ее они и пытались победить посредством перманентного и последовательного расхождения меж-

рингу), мог позволить себе открыто заявлять, что ему необходимо очищенное от населения пространство, и отвергать идею завоевания и подчинения других народов. Никто из его слушателей, несомненно, не понял, что прямым следствием из подобных высказываний будет политика, направленная на уничтожение других народов.

<sup>74</sup> Это началось с указа от июля 1934 г., которым организация СС возвышалась до ранга независимой организации в рамках НСДАП, и закончилось секретным указом от августа 1938 г., в котором Гитлер заявлял, что специальные формирования СС, части «Мертвой головы» и ударные отряды (*Verfügungstruppen*), не являются ни частью армии, ни частью полиции; части «Мертвой головы» должны «выполнять специальные полицейские задачи», а ударные отряды — это «постоянные вооруженные подразделения, находящиеся исключительно в моем распоряжении» (см.: *Nazi conspiracy. Vol. 3. P. 459*). Два более поздних указа, последовавших в октябре 1939 г. и в апреле 1940 г., устанавливали специальную юрисдикцию в общих вопросах для всех членов СС (*Ibid. Vol. 2. P. 184*). С этих пор все памфлеты, выпускавшиеся эсэсовской канцелярией по идеологии, имели грифы: «Исключительно для использования полицией», «Не для публикации», «Исключительно для лидеров и ответственных за идеологическое образование». Стоило бы составить библиографию лавинообразной секретной литературы, напечатанной в эру нацизма, которая включала огромное множество законодательных мер. Весьма интересно, что среди такого рода литературы не было ни одного буклета СА, и это является, вероятно, самым убедительным доказательством того, что после 1934 г. СА утратила черты элитной организации.

<sup>75</sup> Ср. *Borkenau F. Die neue Komintern // Der Monat. B., 1949. Heft 4.*

ду успокоительными словами и реальностью правления, и для этого они сознательно развивали особый способ поведения, который состоял в том, чтобы всегда поступать обратно сказанному<sup>76</sup>. Сталин довел это искусство балансирования, которое требует большего умения, чем дипломатическая рутинка, до того предела, в котором умеренность иностранной политики или политической линии Коминтерна почти неизменно сопровождалась радикальными чистками в российской большевистской партии. Безусловно, то, что политика народного фронта и принятие сравнительно либеральной Советской Конституции сопровождалось московскими судебными процессами, было более чем простым совпадением.

Подтверждение тому, что тоталитарные правления стремятся к глобальному завоеванию и подчинению всех народов земли своему господству, можно в избытке найти в нацистской и большевистской литературе. Однако эти идеологические программы, унаследованные от дототалитарных движений (от наднационалистских антисемитских партий и пангерманских имперских мечтаний — в случае нацистов, от представлений об интернациональном характере революционного социализма — в случае большевиков), не являются решающим фактором. Решающее здесь то, что тоталитарные режимы действительно строят свою внешнюю политику исходя из той последовательной посылки, что они в конце концов достигнут своей конечной цели, и никогда не теряют ее из виду, независимо от того, сколь отдаленной она может показаться или сколь серьезно ее «идеальные» требования могут противоречить необходимости конкретного момента. Поэтому они не рассматривают ни одну страну как неизменно чужую, но, напротив, в каждой стране видят свою потенциальную территорию. Приход к власти, тот факт, что в одной стране вымышленный мир движения стал осязаемой реальностью, создает такое отношение к другим нациям, которое напоминает ситуацию тоталитарной партии при нетоталитарном правлении: осязаемая реальность вымысла, поддерживаемая международно признанной властью государства, может быть экспортирована, точно так же как презрение к парламенту может быть импортировано в нетоталитарный парламент. В этом отношении довоенное «решение» еврейского вопроса было исключительным германским товаром на экспорт: изгнание евреев переносило важную часть нацизма в другие страны; вынуждая евреев покидать рейх без паспортов и денег, нацисты реализовывали легенду о Вечном Жиде, и, выталкивая евреев в атмосферу непримиримой враждебности по отно-

<sup>76</sup> Примеры слишком очевидны и слишком многочисленны, чтобы их приводить. Эту тактику, однако, не следует отождествлять с чудовищным отсутствием доверия и правдивости, о котором говорят все биографы Гитлера и Сталина как об отличительных чертах их характеров.

шению к ним, нацисты создавали предлог для пробуждения страстного интереса к внутренней политике у всех наций<sup>77</sup>.

Насколько серьезно нацисты относились к своему конспиративному вымыслу, рисуя им будущими правителями мира, стало ясно в 1940 г., когда, безо всякой необходимости, но и перед лицом весьма реальных шансов на победу над оккупированными народами Европы, они стали проводить на восточных территориях свою политику депопуляции, невзирая на потери в живой силе и серьезные военные последствия, и ввели законодательство, которое по принципу обратного действия распространило часть уголовного кодекса Третьего рейха на оккупированные страны Запада<sup>78</sup>. Едва ли возможно было более эффективно рекламировать нацистское притязание на мировое господство, чем посредством наказания, как за государственную измену, за всякое высказывание или действие, направленное против Третьего рейха, когда бы, где бы и кем бы оно ни было произнесено или предпринято. Нацистское право трактовало весь мир как потенциально подчиняющийся его юрисдикции, так что оккупирующая армия была уже не инструментом завоевания, несущим с собой новое право завоевателя, а исполнительным органом, который проводит в жизнь право, предположительно уже существующее [для каждого].

Посылка, что германское право действует и за границей Германии, и наказание не граждан Германии были более чем простым средством подавления. Тоталитарные режимы не боятся логических следствий мирового завоевания, даже если они ведут к совершенно обратному и наносят ущерб интересам их собственных народов. С логической точки зрения бесспорно, что план мирового завоевания включает в себя уничтожение различий между родиной-завоевательницей и завоеванными территориями, а также различий между внешней и внутренней политикой, на которых базируются все существующие нетоталитарные институты и всякое международное взаимодействие. Если тоталитарный завоеватель ведет себя повсюду как у себя дома, то он должен относиться к собственному населению, как иностранный завоеватель<sup>79</sup>. И

<sup>77</sup> См. Циркулярное письмо Министерства иностранных дел ко всем немецким властям за границей (январь 1939 г.): *Nazi conspiracy*. Vol. 6. P. 87 ff.

<sup>78</sup> В 1940 г. нацистское правительство издало декрет, согласно которому правонарушения от государственной измены рейху до «злостных агитационных выпадов против руководящих лиц государства или нацистской партии» должны караться по принципу обратной силы на всех оккупированных Германией территориях, независимо от того, были ли они совершены немцами или уроженцами этих стран (см.: *Giles O. C. Op. cit.*). О бедственных последствиях нацистской «*Siedlungspolitik*» в Польше и на Украине см.: *The trial of the major war criminals*. Vol. 26, 29.

<sup>79</sup> Термин принадлежит Кравченко. Описывая ситуацию в России после суперчистки 1936–1938 гг., он замечает: «Завладей иностранный завоеватель машиной жизни Страны

совершенно верно, что тоталитарное движение берет власть во многом в том же смысле, в каком иностранный завоеватель может оккупировать страну и при этом править ею не ради нее самой, но ради выгод кого-то или чего-то другого. Нацисты в Германии вели себя как иностранные завоеватели, когда, вопреки всем национальным интересам, пытались (и наполовину преуспели в этом) превратить свое поражение в окончательную катастрофу всего немецкого народа; сходным образом в случае победы они намеревались расширить политику уничтожения на «негодных с расовой точки зрения» немцев<sup>80</sup>.

Подобная же установка, видимо, вдохновляла послевоенную внешнюю политику Советского Союза. Ее агрессивность наносила ущерб самому русскому народу: ведь предоставление Соединенными Штатами огромного послевоенного займа, который позволил бы России реконструировать разрушенные районы и провести рациональную и продуктивную индустриализацию страны, было решенным вопросом. Установление коминтерновских правительств на Балканах и оккупация обширных восточных территорий не дали сколько-нибудь ощутимых преимуществ, но, напротив, еще более истощили российские ресурсы. Но эта политика, безусловно, служила интересам большевистского движения, которое распространилось почти на половине обитаемого мира.

Подобно иностранному завоевателю, тоталитарный диктатор рассматривает природные и промышленные богатства каждой страны, включая собственную, как возможную добычу и средство подготовки следующего шага агрессивной экспансии. Поскольку экономика, предполагающая систематический грабеж, поддерживается в интересах движения, а не нации, то ни один народ и ни одна страна в качестве потенциального потребителя выгод не может установить точку полного насыщения. Тоталитарный диктатор похож на иностранного завоевателя, пришедшего ниоткуда, и его грабеж, похоже, никому не приносит пользы. Распределение добычи не производится с целью усилить экономику родной страны, но рассматривается только как временный тактический маневр. Если говорить об экономике, то тоталитарные режимы в своих странах очень напоминают пресловутую саранчу. Факт, что

Советов... изменения едва ли были бы более основательными или более жестокими» (см.: *Kravchenko V.* Op. cit. P. 303).

<sup>80</sup> Во время войны Гитлер обдумывал введение билля о здоровье нации: «После общенационального рентгеновского обследования фюрер должен получить списки больных людей, особенно страдающих заболеваниями легких и сердца. Согласно новому закону о здоровье рейха... этим семьям более не будет позволено оставаться в обществе и рожать детей. Какая судьба ждет эти семьи — будет определяться дальнейшими приказами фюрера». Не надо много воображения, чтобы догадаться, какими будут эти приказы. Те люди, которые более не должны будут «оставаться в обществе», составили бы значительную часть населения Германии (см.: *Nazi conspiracy.* Vol. 6. P. 175).

тоталитарный диктатор правит собственной страной как иностранный завоеватель, усугубляется тем, что добавляет к безжалостности эффективность, недостаток которой является яркой отличительной чертой тирании в чужих странах. Сталинская война против Украины в 30-е годы была в два раза более эффективной, чем страшное и кровавое германское вторжение и оккупация<sup>81</sup>. Вот почему тоталитаризм предпочитает руководить действиями предательских правительств, несмотря на очевидные опасности, связанные с подобными режимами.

Беспокойство в отношении тоталитарных правительств вызывает не только их особая жестокость, но и то, что за их политикой стоит совершенно новое и беспрецедентное понимание власти, точно так же как за их *Realpolitik* кроется совершенно новое и беспримерное представление о реальности. Полное пренебрежение прямыми последствиями, а не жестокость; неукорененность и отрицание национальных интересов, а не национализм; презрение к утилитарным мотивам, а не безоглядное преследование собственных интересов; «идеализм», т.е. непоколебимая вера в идеологический вымышленный мир, а не жажда власти, — все это внесло в международную политику новый и более дестабилизирующий элемент, нежели если бы это была простая агрессивность.

В понимании тоталитаризма власть сосредоточивается исключительно в силе организации. Как Сталин рассматривал каждый институт, независимо от его действительной функции, только как «передаточный ремень, связывающий партию с народом»<sup>82</sup>, и искренне верил, что самым большим сокровищем Советского Союза являются не богатства его недр и не производительная способность огромного количества людей, но «кадры» партии<sup>83</sup> (т.е. полиции), точно так же Гитлер уже в 1929 г. видел

<sup>81</sup> Общее число русских, умерших за четыре года войны, по разным оценкам, составляет от 12 до 21 миллиона. Сталин за один только год и на одной Украине уничтожил, по некоторым оценкам, около 8 миллионов людей (см.: *Communism in action.* U. S. Government. Washington, 1946. House Document № 754. P. 140–141). В отличие от нацистского режима, который аккуратно учитывал число своих жертв, надежных данных относительно числа людей, убитых системой в России, не существует. Тем не менее цифры, приводимые Сувариным (*Souvarine B.* Op. cit. P. 669), заслуживают внимания, поскольку они были предоставлены Вальтером Кривицким, имевшим непосредственный доступ к информации, содержащейся в делах ГПУ. Согласно этим данным, советские статистики ожидали, что к переписи 1937 г. население Советского Союза достигнет 171 миллиона человек, тогда как действительная цифра оказалась равной 145 миллионам. Если исходить из этого, то потери населения составят 26 миллионов, не считая погибших на войне.

<sup>82</sup> *Deutscher I.* Op. cit. P. 256.

<sup>83</sup> Суварин цитирует Сталина, который сказал в 1937 г., в разгар террора: «Вы должны понять, что из всех богатств, существующих в мире, самыми ценными и решающими являются кадры» (см.: *Souvarine B.* Op. cit. P. 605). Все данные показывают, что в Советской России тайная полиция должна рассматриваться как реальное элитное формирование

«величие» движения в том факте, что 60 тысяч человек «внешне стали почти однородной единицей, что действительно эти члены [партии] имеют не только единообразные мысли и идеи, но даже очень похожее выражение лиц. Посмотрите на эти смеющиеся глаза, на этот фанатичный энтузиазм, и вы обнаружите... как сотни тысяч участвующих в движении людей становятся одним [человеческим] типом»<sup>84</sup>. По мнению западного человека, всякая связь, какую бы ни имела власть с земными благами, благосостоянием, сокровищами и богатствами, превратилась в своего рода дематериализованный механизм, каждое движение которого генерирует власть, как трение или гальванические токи генерируют электричество. Тоталитарное разделение государств на страны имущие и неимущие представляет собой нечто большее, нежели демагогический прием; его авторы на самом деле были убеждены в том, что власть материальных благ несущественна и только мешает развитию власти организации. По мнению Сталина, постоянный рост и развитие полицейских кадров несравнимо более важны, чем нефть в Баку, уголь и руда на Урале, житницы на Украине и потенциальные сокровища Сибири, — короче говоря, важнее всего развитие полного арсенала власти России. Такой же стиль мышления заставил Гитлера принести в жертву кадрам СС всю Германию; он посчитал войну проигранной не тогда, когда города Германии превратились в руины и была разрушена ее промышленная мощь, а только когда узнал, что войска СС более ненадежны<sup>85</sup>. Для человека, который верил во всемогущество организации наперекор всем чисто материальным факторам, будь то военные или экономические, и который, более того, исчислял окончательную победу своего предприятия в терминах столетий, поражение было не военной катастрофой или нависшей над населением угрозой голода, а исключительно разрушением элитных формирований, которые, как предполагалось, должны были привести тайный сговор, направленный на завоевание мирового господства, через ряд поколений к его победному завершению.

Бесструктурность тоталитарного государства, его пренебрежение материальными интересами, свобода от соображений выгоды и неутилитарные установки вообще более всего другого повлияли на развитие современной политики в направлении практической непредсказуемости. Неспособность нетоталитарного мира постичь такой склад ума, ко-

ние партии. Для такой полиции характерно то, что в начала 20-х годов агенты НКВД вербовались «не на добровольной основе», а рекрутировались из рядов партии. Кроме того, «служба в рядах НКВД не может быть избрана как карьера» (см.: Beck F., Godin W. Op. cit. P. 160).

<sup>84</sup> Цит. по: Heiden K. Op. cit. P. 311.

<sup>85</sup> Согласно сообщениям о последнем собрании, Гитлер решил совершить самоубийство после того, как узнал, что войскам СС больше нельзя доверять (см.: Trevor-Roper H. R. The last days of Hitler. 1947. P. 116 ff.).

торый функционирует независимо от всякого действия, исчисляемого количеством людей и материалов, и совершенно безразличен к национальному интересу и благосостоянию своего народа, обнаруживает себя в любопытной дилемме: те, кто правильно понимает ужасную действительность тоталитарной организации и полиции, склонны переоценивать материальную силу тоталитарных стран, тогда как те, кто видит расточительность и некомпетентность тоталитарных экономик, склонны недооценивать потенциал власти, который может быть создан при полном игнорировании материальных факторов.

## 2. Тайная полиция

На сегодня нам известны только две аутентичные формы тоталитарного господства: диктатура национал-социализма после 1938 г. и диктатура большевизма после 1930 г. Эти формы господства сущностно отличаются от всякого рода диктаторского, деспотического или тиранического правления; и хотя они и явились результатом непрерывного развития партийных диктатур, их сущностно тоталитарные качества новы и не выводимы из однопартийных систем. Цель однопартийных систем состоит не только в том, чтобы захватить рычаги государственного управления, но и в том, чтобы, наполнив все государственные учреждения членами партии, достичь полного слияния государства и партии, с тем чтобы после захвата власти партия стала своего рода пропагандистской организацией правительства. Эта система «тотальна» только в негативном смысле, а именно в том, что правящая партия не потерпит никаких других партий, никакой оппозиции и никакой свободы политических мнений. Когда партийная диктатура приходит к власти, она оставляет первоначальное распределение власти между государством и партией нетронутым; правительство и армия располагают той же властью, что и прежде, и «революция» состоит только в том, что все правительственные посты занимают теперь членами партии. Во всех этих случаях власть партии основывается на монополии, гарантируемой государством, и партия больше не имеет собственного центра власти.

Революция, инициируемая тоталитарными движениями после захвата ими власти, носит гораздо более радикальный характер. С самого начала они сознательно стремятся утвердить существенные различия между государством и движением и предотвратить поглощение «революционных» институтов движения правительством<sup>86</sup>. Проблема захва-

<sup>86</sup> Гитлер часто высказывался об отношении между государством и партией и всегда настаивал на первостепенной важности расы, или «единой народной общины», а не госу-

та государственной машины без слияния с нею решается тем, что высокие посты в государственной иерархии разрешается занимать только второстепенным членам партии. Всей реальной властью облакаются только институты движения, внешние для государственного и военного аппаратов. Все решения принимаются именно в пределах движения, которое остается тем центром действия в стране, где принимаются все решения; официальные гражданские службы часто даже не информируются о происходящем, и члены партии, лелеющие честолюбивые замыслы получить портфели министров, всегда платят за свои «буржуазные» желанья утратой влияния на движение и доверия его вождей.

Тоталитарная власть использует государство как внешний фасад, долженствующий представлять страну в нетоталитарном мире. Как таковое, тоталитарное государство лишь логический наследник тоталитарного движения, у которого оно и заимствует организационную структуру. Тоталитарные правители обращаются с нетоталитарными правительствами точно так же, как они обращались с парламентскими партиями или внутрипартийными фракциями до прихода к власти, и снова сталкиваются, хотя и на более широкой международной сцене, с двойственной проблемой защиты вымышленного мира движения (или тоталитарной страны) от воздействия фактической действительности и создания видимости нормальной жизни и здравого смысла в глазах нормального внешнего мира.

Ядро власти в стране — сверхэффективные и сверхкомпетентные службы тайной полиции находятся над государством и за фасадом показной власти, в лабиринте множества учреждений со сходными функциями, в основании всех властных перемещений и в хаосе неэффективности<sup>87</sup>. Упование на полицию как на единственный орган власти и, соответственно, пренебрежение, казалось бы, значительно большим властным арсеналом армии, характерные для всех тоталитарных режимов, можно объяснить отчасти тоталитарным стремлением к мировому господству и сознательным игнорированием различия между чужой и родной странами, между чужими и собственными внутренними делами. Военные силы, натренированные для борьбы с иностранным

дарства (ср. ранее процитированную речь Гитлера, перепечатанную как приложение к «Tischgespräche»). В речи на Нюрнбергском съезде партии в 1935 г. он изложил свою теорию в наиболее концентрированной форме: «Это не государство командует нами, а мы командуем государством». Совершенно очевидно, что подобная власть практически возможна только в том случае, если институты партии остаются независимыми от институтов государства.

<sup>87</sup> Отто Гаувайлер подчеркивает, что особое положение Гитлера в качестве рейхсфюрера СС и главы полиции Германии основывалось на том факте, что политика в области управления достигла совершенно беспрецедентного «подлинного единства партии и государства» (см.: *Gauweiler O. Rechtseinrichtungen und Rechtsaufgaben der Bewegung, 1939*).

агрессором, всегда были сомнительным инструментом в гражданской войне; даже в условиях тоталитаризма им трудно смотреть на собственный народ глазами иностранного завоевателя<sup>88</sup>. Более важна в этом отношении, однако, их сомнительная ценность даже во время войны. Поскольку тоталитарный правитель строит политику на посылке о своем конечном мировом господстве, он рассматривает жертвы своей агрессии, как если бы они были повстанцами, повинными в государственной измене, и, следовательно, предпочитает править на оккупированных территориях посредством полиции, а не военной силы.

Даже до прихода к власти движение имеет тайную полицию и шпионские службы с разветвленной сетью в разных странах. Впоследствии их агенты получают больше денег и полномочий, чем обычные службы военной разведки, и часто являются тайными главами посольств и консульств<sup>89</sup>. Их главная задача состоит в создании пятых колонн, в направлении деятельности ответвлений движения, во влиянии на внутреннюю политику соответствующих стран и в целом в подготовке того момента, когда тоталитарный правитель — после свержения правительства или военной победы — сможет открыто расположиться в чужой стране как дома. Иными словами, филиалы тайной полиции в других странах являются приводными ремнями, которые постоянно превращают показную иностранную политику тоталитарного государства в потенциально внутреннее дело тоталитарного движения.

Однако эти функции, выполняемые тайной полицией, дабы подготовить осуществление тоталитарной утопии мирового господства, вторичны по сравнению с теми, что необходимо выполнять для нынешней реализации тоталитарного вымысла на территории одной страны. Эта господствующая роль тайной полиции во внутренней политике тоталитарных стран, естественно, сильно способствовала обычному неправильному представлению о тоталитаризме. Всякий деспотизм в значительной мере опирается на секретные службы и больше боится собственного народа, чем народов других стран. Однако эта аналогия между тоталитаризмом и деспотизмом годится только для первых стадий тоталитарного правления, когда все еще существует политическая оппозиция. В этом отношении, как и в некоторых других, тоталитаризм извлекает выгоду из сложившихся в нетоталитарных странах неверных представлений о себе и

<sup>88</sup> Во время бунтов российских крестьян в 20-е годы Ворошилов, видимо, отказался использовать для их подавления части Красной Армии; это привело к созданию специальных подразделений ГПУ, которые предпринимали карательные экспедиции (см.: *Ciliga A. Op. cit. P. 95*).

<sup>89</sup> В 1935 г. заграничные агенты гестапо получили 20 миллионов марок, тогда как штатные шпионские отделы рейхсвера должны были довольствоваться бюджетом в 8 миллионов (см.: *Dehillotte P. Gestapo. P. 11*).

сознательно поддерживает их, какими бы нелестными они ни были. В речи, произнесенной в 1937 г. и обращенной к персоналу рейхсвера, Гиммлер признавал себя обыкновенным тираном, когда объяснял постоянное расширение сил полиции вероятным существованием «четвертого театра действий внутри Германии в случае войны»<sup>90</sup>. Сходным образом Сталин практически в то же время почти убедил старую большевистскую гвардию (в чем признании он нуждался) в существовании военной угрозы для Советского Союза и, следовательно, в возможности такой чрезвычайной ситуации, которая потребует сохранения единства страны, пусть даже ценой деспотизма. Самое удивительное, что оба заявления были сделаны после уничтожения всякой политической оппозиции, что секретные службы расширялись, когда в действительности уже не существовало противников, за которыми надо было шпионить. Когда шла война, Гиммлеру не потребовалось использовать и он не использовал войска СС в самой Германии, разве что в целях обеспечения работы концентрационных лагерей и для надзора над иностранной рабочей силой; основная масса войск СС была брошена на Восточный фронт, где они использовались по «специальному назначению» — обычно для осуществления массовых убийств — и для проведения политики, часто противоположной политике как военной, так и гражданской нацистской иерархии. Подобно тайной полиции Советского Союза, формирования СС обычно появлялись после того, как военные силы усмиряли завоеванную территорию, и разбирались с открытой политической оппозицией.

На первых стадиях установления тоталитарного режима, однако, тайная полиция и элитные формирования партии все еще играли роль, какую исполняли аналогичные структуры при других формах диктатуры и хорошо известных террористических режимах прошлого; и крайняя жестокость их методов не находит параллелей только в истории современных стран Запада. Первая стадия разыскивания тайных врагов и травли бывших оппонентов обычно соединяется с процессом упорядочения всего населения по фасадным организациям и переобучения старых членов партии в направлении добровольного шпионажа, с тем чтобы сомнительное сочувствие только что организованных сочувствующих не являлось предметом беспокойства для специально тренированных кадров полиции. Именно на этом этапе более опасным врагом постепенно становится сосед, который может проведать «опасные мысли», чем официально приставленные полицейские агенты. Конец первой стадии наступает с ликвидацией открытой и тайной оппозиции в любой организованной форме; в Германии это произошло примерно в 1935 г., а в Советской России — примерно в 1930 г.

<sup>90</sup> См.: Nazi conspiracy. Vol. 4. P. 616 ff.

Только после уничтожения реальных врагов и начала охоты на «объективных врагов» террор становится действительным содержанием тоталитарных режимов. Второе притязание тоталитаризма, притязание на тотальное господство осуществлялось под предлогом построения социализма в одной стране, или использования данной территории в качестве лаборатории для революционного эксперимента, или осуществления Volksgemeinschaft. И хотя теоретически тотальное господство возможно только при условии мирового правления, тоталитарные режимы доказали, что эта часть тоталитарной утопии может быть реализована почти в совершенстве, потому что она не зависит от разгрома или победы. Так, Гитлер даже во времена военных поражений мог радоваться уничтожению евреев и организации фабрик смерти; каким бы ни был конечный итог войны, без нее было бы невозможно «сжечь мосты» и реализовать некоторые цели тоталитарного движения<sup>91</sup>.

Элитные формирования нацистского движения и «кадры» большевистского движения служат цели тотального господства, а не обеспечению безопасности правящего режима. Как тоталитарное притязание на мировое правление только кажется тождественным империалистической экспансии, точно так же притязание на тотальное господство только кажется знакомым исследователю деспотизма. Если основное различие между тоталитарной и империалистической экспансией состоит в том, что первая не признает разницы между родной и чужой страной, то главное различие между деспотической и тоталитарной тайной полицией состоит в том, что последняя не выведывает тайных мыслей и не использует испытанный метод тайных полиций, метод провокации<sup>92</sup>.

Поскольку тоталитарная тайная полиция начинает свою деятельность после усмирения страны, она всегда представляется всем внешним наблюдателям совершенно излишней или, напротив, вводит их в заблуждение, наводя на мысль о существовании некоего тайного сопротивления<sup>93</sup>. Ненужность секретных служб не является чем-то новым;

<sup>91</sup> См. примечание 62.

<sup>92</sup> Морис Лапорт справедливо называет провокацию «краеугольным камнем» тайной полиции (см.: *Laporte M. Histoire de l'Okhrana*. P., 1935. P. 19).

В Советской России провокация не была тайным оружием тайной полиции, но использовалась как широко пропагандируемый и известный метод, с помощью которого режим «изучает» общественное мнение. Нежелание населения пользоваться периодически повторяющимися призывами критиковать или как-то реагировать на «либеральные» затиски в господстве террористического режима показывает, что подобные жесты понимались основной массой населения как провокации. Провокация действительно стала тоталитарным вариантом опросов общественного мнения.

<sup>93</sup> Интересны в этом отношении попытки нацистских гражданских чиновников в Германии уменьшить сферу компетенции и штат гестапо на том основании, что нацификация страны уже достигнута; поэтому Гитлеру, который в то время (около 1934 г.) хотел, на-

им всегда приходилось доказывать свою полезность и отстаивать рабочие места после выполнения их первоначальной задачи. Методы, используемые для этой цели, сделали исследование истории революций весьма трудным предприятием. Представляется, например, что ни одно антиправительственное действие во время правления Луи Наполеона не было предпринято без поддержки полиции<sup>94</sup>. Сходным образом роль секретных агентов во всех революционных партиях царской России заставляет думать, что без их «вдохновляющих» провокационных действий русское революционное движение было бы далеко не столь успешным<sup>95</sup>. Провокация, другими словами, поддерживала непрерывность традиции в той же мере, в какой прерывала время и способствовала революции.

Сомнительная роль провокации была, возможно, одной из причин, заставивших тоталитарных правителей отказаться от нее. Кроме того, необходимость провокации очевидна лишь тогда, когда одного подозрения недостаточно для ареста и наказания. Никто из тоталитарных правителей, разумеется, не мог даже представить себе такой ситуации, в которой ему пришлось бы прибегнуть к провокации, чтобы заманить в ловушку того, кого он считал своим врагом. Более важен, чем эти технические соображения, тот факт, что тоталитаризм определил своих идеологических врагов еще до захвата власти, так что категория «подозрительные» не применялась в полицейской информации. Так, евреи в нацистской Германии или остатки бывших правящих классов в Советской России в действительности не подозревались в каких-либо враждебных действиях; они объявлялись «объективными» врагами режима, исходя из его идеологии.

Главное различие между деспотической и тоталитарной тайной полицией видно из разницы между «подозреваемым» и «объективным врагом». Последний определяется, исходя из политики правительства, независимо от желания либо нежелания «врага» свергнуть правитель-

против, расширить секретные службы, пришлось преувеличить опасность, исходящую от «внутренних врагов» (см.: *Nazi conspiracy*. Vol. 2. P. 259; Vol. 5. P. 205; Vol. 3. P. 547).

<sup>94</sup> См.: *Gallier-Boissière J. Mysteries of the french secret police*. 1938. P. 234.

<sup>95</sup> В конце концов, не случайно, видимо, что Охранное отделение было учреждено в 1880 г., в период наибольшей революционной активности в России. Чтобы доказать свою полезность, оно время от времени организовывало убийства, и его агенты «вопреки себе самим служили идее тех, кого они разоблачали. ...Если полицейский агент распространял памфлет или Азеф организовывал убийство министра, результат был тот же самый» (*Laporte M.* Op. cit. P. 25). Более того, самые важные убийства были, видимо, делом рук полиции, — таковы были убийства Столыпина и фон Плеве. Для революционной традиции был решающим тот факт, что в спокойные времена полицейские агенты должны были «пробуждать энергию и стимулировать рвение» революционеров (*Ibid.* P. 71).

См. также: *Wolfe B. D. Three who made a revolution: Lenin, Trotsky, Stalin*. 1948. Вольф называет этот феномен «полицейским социализмом».

ство<sup>96</sup>. Это не индивид, чьи опасные мысли надо провоцировать или же чье прошлое оправдывает подозрения, но «носитель тенденций», подобно носителю болезни<sup>97</sup>. С практической точки зрения тоталитарный правитель поступает как человек, который постоянно оскорбляет другого человека до тех пор, пока все не узнают, что последний — его враг, так что он может, не без некоего правдоподобия, пойти и убить последнего, объясняя убийство необходимостью самообороны. Конечно, это несколько грубо, однако же вполне срабатывает, что известно всякому, кто наблюдал, как некоторые удачливые карьеристы уничтожают своих соперников.

Введение понятия «объективного врага» гораздо важнее для функционирования тоталитарных режимов, чем идеологическая дефиниция соответствующих категорий. Если бы речь шла только о ненависти к евреям или буржуазии, то тоталитарные режимы могли бы, совершив одно чудовищное преступление, вернуться к нормальной жизни и управлению страной. Как мы знаем, происходит обратное. Категория объективного врага сохраняется после уничтожения первого идеологически определенного врага; изменившиеся обстоятельства открывают новых объективных врагов: нацисты, предвидя завершение уничтожения евреев, уже предпринимали необходимые предварительные шаги для ликвидации польского народа, тогда как Гитлер планировал даже казнь некоторых категорий немцев<sup>98</sup>; большевики, начав с

<sup>96</sup> Ханс Франк, ставший впоследствии генерал-губернатором Польши, провел типичное различие между человеком, «опасным для государства», и человеком, «враждебным по отношению к государству». Первое предполагает некое объективное качество, независимое от воли и поведения; политическая полиция нацистов занималась не просто действиями, враждебными по отношению к государству, но «всеми шагами — какова бы ни была их цель, — последствия которых подвергают опасности государство» (см.: *Deutsches Verwaltungsrecht*. S. 420–430; цит. по: *Nazi conspiracy*. Vol. 4. P. 881 ff.). Маунц выражает это следующим образом: «Посредством уничтожения опасных лиц служба безопасности... хочет отвлечь опасность, угрожающую нации, независимо от того, какое преступление могли бы совершить эти люди. [Это вопрос] предотвращения объективной опасности» (см.: *Maunz Th.* Op. cit. S. 44).

<sup>97</sup> Р. Хен, нацистский юрист и член СС, сказал в некрологе Рейнхарду Гейдриху, который до назначения на руководящий пост в Чехословакии был одним из ближайших сотрудников Гиммлера: «Он рассматривал своих оппонентов «не как индивидов, а как носителей угрожающих государству тенденций и, значит, как находящихся вне национального сообщества»» (см.: *Deutsche Allgemeine Zeitung*. 1942. June 6; цит. по: *Kohn-Bramstedt E.* Dictatorship and political police. L., 1945).

<sup>98</sup> Уже в 1941 г. на собрании руководства в штаб-квартире Гитлера было выдвинуто предложение подчинить польское население тем правилам, которым следовала подготовка евреев к отправке в лагерь уничтожения: изменение имен, если они были немецкого происхождения; смертные приговоры за половые связи между немцами и поляками (*Rassen-schande*); обязанность носить бирку с буквой «Р», подобно обязательности желтой звезды для евреев (см.: *Nazi conspiracy*. Vol. 8. P. 237 ff., а также дневник Ханса Франка в: *The trial of the major war criminals*. Vol. 29. P. 683). Разумеется, сами поляки очень скоро обес-

остатков прежних правящих классов, устроили полномасштабный террор по отношению к кулакам (в начале 30-х годов), а следующими жертвами стали русские польского происхождения (в 1936–1938 гг.), татары и поволжские немцы во время войны, бывшие военнопленные и оккупационные части Красной Армии после войны и русские евреи после учреждения еврейского государства. Выбор объективных врагов никогда не может быть полностью произвольным; поскольку они [официально] провозглашаются и используются в пропагандистских целях движения за границу, их возможная враждебность должна казаться правдоподобной; выбор в качестве врага какой-то конкретной категории может даже диктоваться определенными пропагандистскими потребностями движения в целом, как, например, внезапный и совершенно беспрецедентный правительственный антисемитизм в Советском Союзе, который, как можно предположить, должен был завоевать симпатии к Советскому Союзу в европейских странах-сателлитах. Для этих целей проводились показательные процессы, которые требовали субъективного признания вины со стороны «объективно» установленных врагов; лучше всего они удавались в тех случаях, когда обвиняемые прошли соответствующую идеологическую обработку тоталитарного образца, которая помогала им «субъективно» понять собственную «объективную» вредность и сознаться «в интересах дела»<sup>99</sup>. Понятие «объективный противник», содержание которого изменяется в зависимости от преобладающих условий (так что после ликвидации одной категории может быть объявлена война другой), точно соответствует фактической ситуации, снова и снова воспроизводимой тоталитарными правителями. Эта ситуация состоит в том, что их режим — это не правление в каком-либо традиционном смысле, а *движение*, прогресс которого постоянно сталкивается с новыми препятствиями, которые должны быть преодолены. Если вообще можно говорить о правовом мышлении в рамках тоталитарной системы, то его центральной идеей является «объективный противник».

Трансформация подозреваемого в объективного врага тесно связана с изменением положения тайной полиции в тоталитарном государстве. Тайные службы справедливо называют государством в государст-

покоились тем, что случится с ними, когда нацисты закончат уничтожение евреев (см.: Nazi conspiracy. Vol. 4. P. 916). О планах Гитлера относительно немцев см. примечание 80.

<sup>99</sup> Бек и Годин говорят об «объективных характеристиках», являвшихся одним из условий ареста в СССР; среди них было членство в НКВД. Легче всех приходили к субъективному пониманию объективной необходимости ареста и к признанию бывшие сотрудники тайной полиции. Приведем слова бывшего агента НКВД: «Мои руководители знают меня и мою работу достаточно хорошо, и если партия и НКВД сейчас требуют моего признания в таких вещах, они, должно быть, имеют тому основания. Мой долг как лояльного советского гражданина состоит в том, чтобы не отказываться и сделать требуемое признание» (см.: Beck F., Godin W. Op. cit. P. 87, 153, 231 соответственно).

ве, и это верно не только при деспотизме, но и при конституционных или полуконституционных правительствах. Сам факт обладания секретной информацией дает этим службам решающее преимущество перед всеми другими гражданскими институтами и представляет собой открытую угрозу для членов правительства<sup>100</sup>. Тоталитарная полиция, напротив, полностью подчиняется воле вождя, который единолично решает, кто будет следующим потенциальным врагом и который, как это делал Сталин, может также наметить кадры тайной полиции, подлежащие уничтожению. Поскольку сотрудникам полиции более не разрешается использовать метод провокации, они лишаются единственного средства утвердить собственную необходимость независимо от правительства и становятся полностью зависимыми от высших властей в отношении сохранения своих рабочих мест. Подобно армии в нетоталитарном государстве, полиция в тоталитарных странах только выполняет существующую политическую линию и утрачивает все прерогативы, которые имела при деспотических бюрократиях<sup>101</sup>.

Задача тоталитарной полиции состоит не в раскрытии преступления, а в том, чтобы быть наготове, когда правительство решает арестовать определенную категорию населения. Ее главная политическая характеристика заключается в том, что она одна пользуется доверием высшей власти и знает, какая политическая линия будет проводиться. Это относится не только к вопросам высшей политики, скажем к ликвидации целого класса или этнической группы (только кадры ГПУ знали о действительной цели Советского правительства в начале 30-х годов и только формирования СС знали, что евреи подлежат уничтожению в начале 40-х годов); что касается повседневной жизни в условиях тоталитаризма, то только агенты НКВД на промышленных предприятиях информированы о действительных целях Москвы, приказывающей, например, ускорить производство труб, т.е. знают, действительно ли требуется больше труб, или же надо уничтожить директора завода, или же ликвидировать все руководство, или же закрыть данный завод, или, наконец, этот приказ распространяется на весь народ и говорит о начале новой чистки.

Одна из причин дублирования секретных служб, агенты которых не знакомы друг с другом, состоит в том, что тотальное господство нуждается в максимально возможной подвижности. Если обратиться к

<sup>100</sup> Хорошо известна ситуация во Франции, где министры жили в постоянном страхе перед тайными «dossiers» полиции. У Лапорта читаем о ситуации в царской России: «В конечном итоге охранка приобретает власть, значительно превосходящую полномочия более законных властей. ...Охранка... будет информировать царя только о том, о чем сочтет нужным» (Laporte M. Op. cit. P. 22–23).

<sup>101</sup> «В отличие от Охранного отделения, которое было государством в государстве, ГПУ является отделом Советского правительства... и оно гораздо менее независимо в своей деятельности» (Baldwin R. N. Political police // Encyclopedia of the Social Sciences).

нашему примеру, Москва и сама не знает, отдавая приказ о трубах, действительно ли ей нужны трубы или необходима очередная чистка. Умножение секретных служб делает возможным изменение планов в последнюю минуту, так что один отдел может готовить документы для вручения директору фабрики ордена Ленина, тогда как другой — подготавливать его арест. Эффективность такой организации полиции состоит в том, что она позволяет выполнять несколько противоречивых предписаний одновременно.

При тоталитаризме, как и при других режимах, тайная полиция имеет монополию на определенную, жизненно важную информацию. Однако род знания, каким может обладать только полиция, претерпел важное изменение: полиция более не интересуется тем, что происходит в умах будущих жертв (большую часть времени сотрудники полиции проявляют безразличие к тому, кто будет этими жертвами), и полиции стали доверять высшие государственные тайны. Это автоматически означает огромное повышение престижа и улучшение положения, пусть и влечет за собой определенную утрату реальной власти. Секретные службы более не знают ничего такого, что вождь не знал бы лучше их; говоря в терминах власти, они опустились на уровень исполнителя.

С правовой точки зрения еще интереснее, чем превращение подозреваемого в объективного врага, характерная для тоталитаризма замена подозреваемого правонарушителя возможным преступлением. Возможное преступление не более субъективно, чем объективный враг. В то время как подозреваемого арестовывают, потому что он считается способным совершить преступление, которое более или менее соответствует его личности (или его подозреваемой личности)<sup>102</sup>, тоталитарная версия возможного преступления основывается на логическом предвосхищении объективного развития событий. Московские судебные процессы над старой большевистской гвардией и военачальниками Красной Армии — классические примеры наказания за возможные преступления. За фантастическими сфабрикованными обвинениями можно разглядеть следующие логические соображения: события в Советском Союзе могут привести к кризису, кризис может привести к свержению диктатуры Сталина, это может ослабить военную мощь страны и, воз-

<sup>102</sup> Типична для представления о подозреваемом следующая история, переданная Победоносцевым (*Pobedonostzev C. L'Autocratie Russe: Mémoires politiques, correspondance officielle et documents inédits... 1881–1894. P., 1927*): начальника личной охраны царя генерала Черевина просят, поскольку противоположная сторона наняла адвоката-еврея, оказать содействие госпоже, которая почти проиграла процесс. Генерал отвечает так: «Этой ночью я приказал арестовать этого проклятого еврея и держать его под арестом как так называемого политически подозрительного субъекта. ...В конце концов, как я могу одинаково относиться к друзьям и к какому-то грязному еврею, который может быть невиновен сегодня, но который был виноват вчера или будет виноват завтра?»

можно, привести к ситуации, в которой новому правительству придется подписать перемирие или даже заключить союз с Гитлером. Следствием этого стали неоднократные заявления Сталина, что существует заговор с целью свержения правительства и заключения тайного соглашения с Гитлером<sup>103</sup>. Против этих «объективных», хотя и совершенно невероятных возможностей стояли только «субъективные» факторы, такие, как надежность обвиняемых, их усталость, их неспособность понять, что происходит, их твердая уверенность в том, что без Сталина все будет потеряно, их искренняя ненависть к фашизму, т.е. ряд мелких реальных деталей, которым, естественно, недостает последовательности вымышленного, логичного, возможного преступления. Таким образом, центральная посылка тоталитаризма о том, что все возможно, ведет, при последовательном устранении всех ограничений, заключенных в самих фактах, к абсурдному и ужасному заключению, что любое преступление, которое только сможет вообразить себе правитель, должно быть наказано, безотносительно к тому, совершено оно или не совершено. Разумеется, возможное преступление, как и объективный враг, не относится к компетенции полиции, которая не может ни раскрыть его, ни придумать, ни спровоцировать. Здесь секретные службы опять-таки зависят от политических властей. Их независимое положение государства в государстве ушло в прошлое.

Только в одном отношении тоталитарная тайная полиция пока еще очень похожа на тайные службы нетоталитарных стран. Тайная полиция традиционно, т.е. со времен Фуше, наживается на своих жертвах и наращивает утвержденный государством бюджет за счет неправедных источников, просто выступая партнером в таких видах деятельности, которые вроде бы должна искоренять, например в азартных играх и проституции<sup>104</sup>. Эти нелегальные методы пополнения собствен-

<sup>103</sup> Обвинения, предъявляемые на московских судебных процессах, «строились... на до смешного огрубленном и искаженном предвосхищении возможного хода событий. [Сталинские] рассуждения развивались примерно в следующих направлениях: в условиях кризиса они могут захотеть свергнуть меня — я обвиню их в совершении такой попытки. ...Смена правительства может ослабить боевую мощь России; и если их происки будут удачны, они будут вынуждены подписать перемирие с Гитлером и, возможно, даже согласиться на территориальные уступки. ...Я обвиню их в том, что они уже вступили в предательский союз с Германией и уступили советскую территорию». Таково блестящее объяснение московских судебных процессов, принадлежащее Дейчеру (*Deutscher I. Op. cit. P. 377*).

Хороший пример нацистского понимания возможного преступления дает Ханс Франк: «Никогда нельзя составить некий полный перечень «опасных для государства» действий, поскольку никогда нельзя предвидеть, что может угрожать руководству и народу когда-либо в будущем» (цит. по: *Nazi conspiracy. Vol. 4. P. 881*).

<sup>104</sup> Преступные методы тайной полиции вовсе не исключительная монополия традиция Франции. В Австрии, например, наводящая страх тайная полиция при Марии Терезии была организована и набрана Кауницем из кадров полиции нравов, так называемых

ного бюджета, начиная от дружеского подкупа и кончая открытым вымогательством, играли огромную роль в освобождении секретных служб от властей и в усилении их позиции как государства в государстве. Любопытно, что пополнение кармана секретных служб за счет жертв оказалось прочнее всех перемен. В Советской России НКВД почти полностью зависел в финансовом отношении от эксплуатации рабского труда, который, кажется, действительно не приносил никакой другой выгоды и не служил никакой другой цели, кроме как финансированию огромного секретного аппарата<sup>105</sup>. Гиммлер сначала финансировал части СС, которые относились к тайной полиции, из средств, полученных посредством конфискации принадлежащей евреям собственности; затем он заключил соглашение с Дарре, министром сельского хозяйства, и получил несколько сот миллионов марок, которые Дарре ежегодно зарабатывал на том, что покупал за границей дешевые сельскохозяйственные продукты и продавал их по фиксированным ценам в Германии<sup>106</sup>. Разумеется, во время войны этот источник регулярного дохода иссяк; Альберт Шпеер, преемник Тодта и величайший наниматель рабочей силы в Германии после 1942 г., предложил Гиммлеру в 1942 г. такую же сумму денег; в случае если бы Гиммлер согласился вывести из-под власти СС ввозимую рабскую рабочую силу, труд которой был поразительно неэффективен, организация Шпеера отчисляла бы ему определенную часть дохода на содержание СС<sup>107</sup>. К этим более или менее регулярным источникам дохода Гиммлер добавил испытанные тайными службами во времена финансовых кризисов методы вымогательства: в своих территориальных общинах части СС образовывали группы «Друзей СС», которые должны были «добровольно» пополнять фонды, необходимые для удовлетворения потребностей местных эсэсовцев<sup>108</sup>. (Следует отметить, что разнообразные финансовые

«комиссаров целомудрия», привыкших жить вымогательством. См.: *Bermann M. Maria Theresia und Kaiser Joseph II. Wien; Leipzig, 1881.* (Источник указан Робертом Пиком.)

<sup>105</sup> Несомненно, что огромная полицейская организация оплачивается из доходов, приносимых рабским трудом; удивительно то, что ее бюджет, кажется, не покрывался все же этими средствами полностью. Кравченко упоминает о специальных налогах, которыми НКВД облагал осужденных граждан, продолжающих жить и трудиться на свободе (см.: *Kravchenko V. Op. cit.*).

<sup>106</sup> См.: *Thyssen F. I paid Hitler. L., 1941.*

<sup>107</sup> См.: *Nazi conspiracy. Vol. 1. P. 916–917.* Управление экономической деятельностью СС осуществлялось центральным отделом экономики и административных дел. В письме, направленном 5 мая 1943 г. в казначейство, СС заявляла о своих финансовых поступлениях как о «партийной собственности, ассигнованной на специальные цели» (цит. по: *Wolfson M. Uebersicht der Gliederung verbrecherischer Nazi-Organisationen // Omgus December 1947.*).

<sup>108</sup> См.: *Kohn-Bramstedt E. Op. cit. P. 112.* Мотив вымогательства становится очевидным, если мы примем во внимание, что такого рода пополнение фондов всегда организовыва-

операции нацистской тайной полиции не предполагали эксплуатации ее узников. За исключением последних лет войны, когда использование человеческого материала в концентрационных лагерях более не определялось единолично Гиммлером, считалось, что работа в лагерях «не имеет никакого разумного смысла, будучи лишь увеличением бремени и мук несчастных заключенных»<sup>109</sup>.)

Однако эти финансовые нарушения были единственными и не очень существенными отзвуками традиции тайной полиции. Они стали возможны из-за общего презрения тоталитарных режимов к экономическим и финансовым делам, так что методы, которые в нормальных условиях были бы вне закона и отличали бы тайную полицию от других, более респектабельных административных органов, никак не указывают на то, что здесь мы имеем дело с подразделением, которое наслаждается своей независимостью, вне контроля других властей, в атмосфере распушенности, неприличия и неуверенности. Напротив, положение тоталитарной тайной полиции совершенно стабильно, и все ее службы входят в состав администрации. Эта организация не только не функционирует вне рамок закона, но скорее само воплощение закона, и ее респектабельность — вне подозрений. Она не занимается организацией убийств по собственной инициативе, не провоцирует преступления против государства и общества и последовательно борется со всякого рода взяточничеством, вымогательством и незаконными финансовыми доходами. Моральное наставление, соединенное с весьма ощутимыми угрозами, которое Гиммлер мог позволить себе прочитать своим людям в середине войны: «Мы имеем моральное право... уничтожить этот [еврейский] народ, который вознамерился уничтожить нас, но мы не имеем права обогащаться, будь нашим приобретением меховое пальто, часы, одна-единственная марка или сигарета»<sup>110</sup>, — выражает боязнь того, что тщетно было бы искать в истории тайной полиции. Если она еще занимается «опасными мыслями», то это не те мысли, какие считают опасными подозрительные лица; регламентация всякой интеллектуальной и художественной жизни требует постоянного переопределения и пересмотра стандартов, который, естественно, сопровождается очередным уничтоже-

лось местными частями СС там, где они располагались. См.: *Der Weg der SS // SS-Nauptamt-Schulungsamt* (без даты). S. 14.

<sup>109</sup> *Ibid.* S. 124. Исключения касались работ, необходимых для поддержания лагерей и личных потребностей охраны. См. датированное 19 сентября 1941 г. письмо Освальда Пола, главы WVH (*Wirtschafts-und-Verwaltungs-Hauptamt*), к рейхскомиссару, ответственному за контроль над ценами (см.: *Wolfson M. Op. cit.*). По-видимому, вся экономическая деятельность в концентрационных лагерях получила распространение только во время войны и под давлением острой нехватки рабочей силы.

<sup>110</sup> Речь, произнесенная Гиммлером в октябре 1943 г. в Познани (см.: *International Military Trials. Nuremberg, 1945–1946. Vol. 29. P. 146.*)

нием интеллектуалов, чьи «опасные мысли» сводятся обычно к ряду тех идей, что еще днем ранее были абсолютно ортодоксальными. Следовательно, если ее полицейские функции в общепринятом значении этого выражения становятся ненужными, то экономическая деятельность тайной полиции, которая, как иногда полагают, заменяет первые, вызывает еще большее сомнение. Невозможно отрицать, конечно, что НКВД периодически округляет численность советского населения и посылает людей в лагеря, которые известны под приукрашивающим и вводящим в заблуждение названием лагерей принудительного труда<sup>111</sup>; и хотя вполне возможно, что таков был специфически советский способ решения проблемы безработицы, общеизвестно также, что производительность труда в этих лагерях была бесконечно более низкой, чем производительность обычного советского трудящегося, и едва ли достаточной, чтобы оплатить расходы на содержание полицейского аппарата.

Политическая функция тайной полиции, «самого организованного и эффективного» из всех правительственных подразделений<sup>112</sup>, в аппарате власти тоталитарного режима не является ни сомнительной, ни излишней. Тайная полиция представляет собой настоящий исполнительный орган правительства, через который передаются все приказы. Через сеть тайных агентов тоталитарный правитель создал для себя непосредственно исполнительный ремень передачи, который, в отличие от напоминающей луковицу структуры показной иерархии, совершенно оторван и изолирован от всех других институтов<sup>113</sup>. В этом смысле

<sup>111</sup> «Бек Булат (псевдоним бывшего советского профессора) имел возможность изучить документы Северо-Кавказского НКВД. Из этих документов становится совершенно очевидно, что в июне 1937 г., когда Большая Чистка достигла своего пика, правительство предписало местным НКВД арестовать определенный процент населения... Это число варьировалось от одной области к другой, достигая в наименее лояльных зонах 5 процентов. В среднем по всей России цифра подлежащих аресту составляла примерно 3 процента» (данные Давида Дж. Даллина: *Dallin D. J. The new leader. January 8 1949*). Бек и Годин приходят к несколько иному и совершенно правдоподобному предположению, согласно которому «аресты планировались следующим образом: дела НКВД охватывали практически все население, и каждый человек был отнесен к какой-то категории. Таким образом, в каждом городе имелись доступные статистические данные, показывающие, как много в нем проживает бывших белых, членов оппозиционных партий и т.д. В дела вносился также весь компрометирующий материал... включая полученные от заключенных признания, и карточка каждого человека была снабжена специальной меткой, свидетельствующей о мере его опасности; эта последняя зависит от объема подозрительного или компрометирующего материала, собранного в его папке. Поскольку статистические данные регулярно докладывались властям, чистку можно было организовать в любой момент, при полном знании точного числа лиц по каждой категории» (см.: *Beck F., Godin W. Op. cit. P. 239*).

<sup>112</sup> См.: *Baldwin R. Op. cit.*

<sup>113</sup> Российские кадры тайной полиции были в той же мере в «личном распоряжении» Сталина, в какой ударные отряды СС (*Verfügungstruppen*) — в личном распоряжении

агенты тайной полиции — единственный открыто правящий класс тоталитарных стран, и их стандарты и шкала ценностей проникают всю ткань тоталитарного общества.

С этой точки зрения, вероятно, нас не должно особенно удивлять, что некоторые характерные качества тайной полиции становятся общими качествами тоталитарного общества, а не исключительной особенностью тоталитарной тайной полиции. Таким образом, «подозреваемые» в условиях тоталитаризма включают в себя все население; всякая мысль, которая отклоняется от официально предписанной и постоянной изменяющейся линии, уже подозрительна, в какой бы области человеческой деятельности она ни родилась. Человеческие существа подозрительны по определению, просто в силу способности мыслить, и эта подозрительность не может быть отменена примерным поведением, ибо человеческая способность мыслить есть также способность изменить свое мнение. Поскольку, кроме того, невозможно даже освободиться от сомнений в правильном понимании души другого человека — попытка в таком контексте предстает всего лишь безнадежной тщетной попыткой постичь непостижимое, — подозрение невозможно заглушить, если не существует никакой системы ценностей, ни предсказуемых проявлений своекорыстия в качестве социальных (в отличие от чисто психологических) фактов реальности. Взаимное подозрение, следовательно, пронизывает все социальные взаимоотношения в тоталитарных странах и создает всепроникающую атмосферу даже без специальных усилий тайной полиции.

При господстве тоталитарных режимов провокация, некогда бывшая специальностью исключительно тайного агента, становится методом обращения со своим соседом, методом, которому — вольно или невольно — приходится пользоваться каждому человеку. В каком-то смысле каждый является *agent provocateur* по отношению к любому другому человеку; ибо каждый, безусловно, назовет себя *agent*'ом *provocateur*'ом, если обычный дружеский обмен «опасными мыслями» (или тем, что в данный момент стало опасными мыслями) может привлечь внимание властей. Сотрудничество населения с целью разоблачения политических оппонентов и добровольная служба в качестве осведоми-

Гитлера. И те и другие, хотя во время войны и призывались на службу вместе с военными силами, жили по особым правовым нормам. Специальные «законы о браке», отродившие СС от остального населения, были первым и самым фундаментальным правилом, которое ввел Гиммлер при реорганизации СС. Даже прежде гиммлеровских законов о браке, в 1927 г., был издан указ, предписывающий членам СС «никогда не [участвовать] в дискуссиях на собраниях членов [партии]» (см.: *Der Weg der SS // Op. cit.*). Такое же поведение рекомендовалось сотрудникам НКВД, которые осмотрительно держали друг друга и, прежде всего, не объединялись с другими частями партийной аристократии (См.: *Beck F., Godin W. Op. cit. P. 163*).

телей, безусловно, небеспрецедентны, однако в тоталитарных странах они так хорошо организованы, что работа специалистов становится почти излишней. В системе всепроникающего шпионажа, где каждый может быть полицейским агентом и каждый чувствует себя под постоянным надзором; кроме того, в условиях, где карьеры в высшей степени непрочны и где самые впечатляющие взлеты и падения стали повседневной рутинной, любое слово становится двусмысленным, становится предметом обратного «толкования».

Служебные карьеры дают самый потрясающий пример проникновения в тоталитарное общество методов и стандартов тайной полиции. Двойной агент в условиях нетоталитарного режима служит тому, с чем он должен бы бороться, почти в той же мере и иногда даже больше, чем властям. Часто он таит в глубине некую двойственную амбицию: хочет подняться по иерархической лестнице в революционной партии, а также преуспеть в своей тайной службе. Чтобы продвинуться в обеих сферах, он должен только усвоить определенные методы, которые в нормальном обществе принадлежат к разряду тайных грез мелкого служаки, зависящего в своем продвижении от вышестоящих: благодаря связям с полицией, он, безусловно, может уничтожить своих соперников и партийных руководителей, а благодаря связям с революционерами он, по крайней мере, имеет шанс избавиться от главы полиции<sup>114</sup>. Если мы присмотримся к тому, как делаются карьеры в современном российском обществе, сходство с вышеописанными методами окажется поразительным. Ведь не только все высокопоставленные чиновники обязаны своими постами чисткам, которые сместили их предшественников, продвижения во всех сферах жизни также ускоряются именно таким образом. Примерно один раз в каждое десятилетие общенациональная чистка освобождает место для нового поколения, закончившего образование и остро нуждающегося в рабочих местах. Правительство само создало такие условия для продвижения по служебной лестнице, которые прежде приходилось создавать полицейским агентам.

Этот регулярный насильственный оборот всей гигантской административной машины, мешая росту компетентности, имеет много преимуществ: он гарантирует относительную молодость чиновников и не допускает стабилизации условий, которые, по крайней мере в мирное время, чреватые опасностью для тоталитарного правления; уничтожая такие понятия, как старшинство и заслуги, он не позволяет развиться той лояльности, что обычно связывает молодых сотрудников со старшими, от мнения и доброй воли которых зависит их продвижение; он

<sup>114</sup> Типична в этом отношении великолепная карьера Малиновского, которую он закончил большевистским депутатом в парламенте (см.: Wolfe B. D. Op. cit. Ch. 31).

раз и навсегда избавляет людей от безработицы и гарантирует каждому получение работы в соответствии с его образованием. Так, в 1939 г. после окончания Большой Чистки в Советском Союзе Сталин мог с удовлетворением отметить, что «партия смогла выдвинуть на руководящие посты в сфере государственной или партийной работы более 500 тысяч молодых большевиков»<sup>115</sup>. Унижение, подразумеваемое в акте получения работы и объясняющееся несправедливым увольнением предшественника, оказывает такое же деморализующее воздействие, какое оказывало на представителей разных профессий в Германии увольнение евреев: оно делает каждого получившего работу сознательным сообщником преступлений правительства, которое благоприятствует ему, хочет он того или не хочет; в результате, чем более восприимчив униженный индивид, тем более рьяно он будет защищать режим. Другими словами, эта система является логическим следствием начала вождизма со всеми его подтекстами и наилучшей возможной гарантией преданности, поскольку она ставит жизнедеятельность каждого нового поколения в зависимость от нынешней политической линии вождя, который начал чистку, создавшую рабочие места. В ней осуществляется также тождество общественных и частных интересов, которым так гордятся защитники Советского Союза (или, если говорить о нацизме, уничтожение частной жизни), поскольку каждый индивид, какое бы положение он ни занимал, обязан всем своим существованием политическому интересу режима; и когда это фактическое тождество интереса нарушается и следующая чистка изгоняет человека из учреждения, режим гарантирует его исчезновение из мира жизни. Совершенно подобным образом двойной агент отождествляет себя с делом революции (без которого он утратил бы работу), а не только с тайной полицией; в этой области впечатляющий подъем также может закончиться только анонимной смертью, поскольку мало вероятно, чтобы двойная игра могла продолжаться вечно. Тоталитарное правительство, создавая такие условия продвижения по службе любого рода, которые прежде существовали только для социальных отбросов, производит одно из самых далеко идущих изменений в социальной психологии. Психология двойного агента, который был готов сократить свою жизнь ради кратковременного служебного преуспевания, становится личной философией всего послереволюционного поколения в России и в меньшей, но все-таки очень опасной степени — в послевоенной Германии.

Тоталитарная тайная полиция действует в обществе, пронизанном стандартами и живущем в соответствии с методами, бывшими некогда монополией тайной полиции. Только на первоначальных стадиях, когда

<sup>115</sup> Цит. по: Avtorkhanov A. Op. cit.

еще идет борьба за власть, ее жертвами становятся те, кого можно заподозрить в оппозиционности. Затем ее тоталитарный характер находит выражение в преследовании объективного врага, который может быть представлен евреями, или поляками (как в случае нацистов), или так называемыми контрреволюционерами — обвинение, которое «в Советской России... выдвигается до того, как вообще возникнет какой-либо вопрос о поведении [обвиняемых]», — которыми могут быть люди, некогда владевшие магазином, домом или «имевшие родителей или дедов, владевших подобными вещами»<sup>116</sup>, или же оказавшиеся в составе оккупационных сил Красной Армии, или имевшие польское происхождение. Только на последней и полностью тоталитарной стадии понятия объективного врага и логически возможного преступления предаются забвению, жертвы выбираются совершенно наугад и даже без предъявления обвинения объявляются негодными для жизни. Эта новая категория нежелательных лиц может состоять, как в случае нацистов, из психически больных или же из людей с заболеваниями легких или сердца, или же, как в Советском Союзе, из людей, которые случайно попали в плановую процентную разрядку по депортации, количественно различающуюся в разных областях.

Такого рода последовательная произвольность отрицает человеческую свободу более эффективно, чем на то когда-либо была способна тирания. Чтобы быть наказанным тиранией, надо было, по крайней мере, быть ее врагом. Для тех, кто имел достаточно храбрости, чтобы рискнуть своей головой, свобода мнений не отменялась. Теоретически выбор позиции сопротивления сохраняется и в тоталитарных режимах; однако такая свобода почти обесценивается, если личный волевой акт лишь гарантирует «наказание», которое безразлично может обрушиться на любого другого человека. Свобода в этой системе не только вырождалась до последней и, видимо, пока еще неразрушимой гарантии — возможности самоубийства, но и утрачивала свое отличительное качество, поскольку последствия поступка борца за свободу не отличались уже от последствий любого поступка совершенно невинных обычных людей. Если бы у Гитлера хватило времени реализовать его мечту — закон об общем здоровье германской нации, то человек, страдающий заболеванием легких, разделит бы ту же участь, что и коммунист в первые, а еврей — в последние годы нацистского режима. Сходным образом противник режима в России, претерпевающий ту же судьбу, что и миллионы людей, попавших в концентрационные лагеря просто в составе определенных квот, только облегчает для полиции бремя произвольного выбора. Невинный и виновный равно нежелательные лица.

<sup>116</sup> The dark side of the moon. N.Y., 1947.

Изменение представления о преступлении и преступниках вызывает появление новых и ужасных методов тоталитарной тайной полиции. Преступники наказываются, неугодные стираются с лица земли; единственный след, который они оставляют о себе, — след в памяти тех, кто знал и любил их; поэтому одна из самых трудных задач тайной полиции состоит в том, чтобы гарантировать исчезновение даже таких следов вместе с гибелью осужденных.

Говорят, что охранка, предшественница ГПУ в царской России, изобрела следующую форму ведения документации: данные о каждом подозреваемом заносились на большую карточку, в центре которой в красном кружке помещалось его имя; его политические товарищи обозначались красными кружками поменьше, а его неполитические знакомства — зелеными кружками; коричневые кружки обрамляли людей, знакомых с друзьями подозреваемого, но неизвестных ему лично; перекрестные связи между друзьями подозреваемого, политическими и неполитическими, и друзьями его друзей обозначались линиями, соединяющими соответствующие кружки<sup>117</sup>. Очевидно, что пределы такого метода связаны только с размером карточки, и, рассуждая теоретически, один гигантский лист мог бы показать все непосредственные и перекрестные отношения, связывающие все население. И в этом как раз состоит утопическая цель тоталитарной тайной полиции. Она отбросила старую традиционную полицейскую мечту, которую, как принято считать, осуществил детектор лжи и больше не пытается выяснять, кто есть кто и кто что думает. (Детектор лжи является, пожалуй, самым наглядным, графическим примером силы того очарования, какое явно имела эта мечта для склада ума полицейских; ибо совершенно ясно, что сложная измерительная техника едва ли может констатировать большее, чем хладнокровный или нервный темперамент испытуемых. Действительно, слабоумное рассуждение, лежащее в основании использования этого механизма, можно объяснить только иррациональным стремлением научиться прочитывать сознание.) Эта старая мечта была достаточно ужасна и с незапамятных времен неизменно приводила к пыткам и самым отвратительным жестокостям. В ее защиту можно сказать только одно: она искала невозможного. Нынешняя мечта тоталитарной полиции, оснащенной современными техническими средствами, несравнимо более ужасна. Сегодня полиция мечтает о том, чтобы одного взгляда на огромную карту, висящую на стене конторы, было достаточно для определения знакомства людей и степени близости их отношений; и с теоретической точки зрения эта мечта не является неосуществимой, хотя ее техническое воплощение связано с некоторыми

<sup>117</sup> См.: Laporte M. Op. cit. P. 39.

трудностями. Если бы такая карта действительно существовала, то даже память не преграждала бы путь претензии на тоталитарное господство; такая карта позволила бы уничтожать людей, не оставляя никаких следов, как если бы они вообще не существовали.

Если можно доверять рассказам арестованных агентов НКВД, российская тайная полиция опасно приблизилась к осуществлению этого идеала тоталитарного правления. Полиция имеет на каждого жителя огромной страны секретное дело, в котором подробно перечисляются многочисленные взаимоотношения, связывающие людей, от случайных знакомств до настоящей дружбы и семейных отношений; ведь только для того, чтобы выяснить их отношения с другими людьми, обвиняемые, чьи «преступления» каким-то образом «объективно» установлены до их ареста, подвергаются столь пристрастным допросам. Наконец, что касается памяти, столь опасной для тоталитарного правителя, то иностранные наблюдатели отмечают: «Если правда, что слоны никогда не забывают, то русские представляются нам совершенно непохожими на слонов. ...Психология советского русского, кажется, делает беспамятство реально возможным»<sup>118</sup>.

Насколько важно для аппарата тотального господства полное исчезновение его жертв, можно видеть по тем случаям, в которых по той или иной причине режим столкнулся с памятью выживших. Во время войны один комендант-эсэсовец сделал ужасную ошибку, сообщив одной французенке о смерти ее мужа в немецком концентрационном лагере; этот промах вызвал лавину приказов и инструкций всем лагерным комендантам, запрещающих им при каких бы то ни было обстоятельствах допускать утечку информации во внешний мир<sup>119</sup>. Дело в том, что муж этой французской вдовы должен был умереть для всех с момента своего ареста, или, даже больше, что его следовало считать вообще никогда не жившим. Сходным образом офицеры советской полиции, привыкшие к тоталитарной системе с рождения, широко открывали глаза от изумления, когда люди в оккупированной Польше отчаянно пытались выяснить, что случилось с их арестованными друзьями и родственниками<sup>120</sup>.

В тоталитарных странах все места содержания арестованных, находящихся в ведомстве полиции, представляют собой настоящие рвы забвения, куда люди попадают случайно и не оставляют за собой таких обычных следов былого существования, как тело и могила. По сравнению с этим новейшим изобретением, позволяющим избавляться от людей раз и навсегда, старомодный метод убийства, политического или

<sup>118</sup> Beck F., Godin W. Op. cit. P. 234, 127.

<sup>119</sup> См.: Nazi conspiracy. Vol. 7. P. 84 ff.

<sup>120</sup> См.: The dark side of the moon.

криминального, действительно неэффективен. Убийца оставляет труп, и хотя он и пытается уничтожить собственные следы, но он не в силах вычеркнуть личность своей жертвы из памяти живого мира. Напротив, тайная полиция заботится о том, чтобы казалось, будто жертва каким-то чудодейственным образом вообще никогда не существовала.

Связь между тайной полицией и тайными обществами очевидна. При учреждении первой всегда нужен довод об опасности, исходящей из существования последних, и он действительно всегда используется. Тоталитарная тайная полиция — первая в истории, не нуждающаяся в устаревших предлогах, служивших всем тиранам, и не использующая их. Анонимность жертв, которые не могут быть названы врагами режима и личность которых неизвестна преследователям до тех пор, пока произвольное решение правительства не исключает их из мира живущих и не стирает память о них из мира мертвых, выходит за пределы всякой секретности, за пределы строжайшего молчания, за пределы величайшего искусства двойной жизни, которую дисциплина конспиративных обществ обычно навязывает своим членам.

Тоталитарные движения, которые во время продвижения к власти имитируют определенные организационные признаки тайных обществ, самоопределяются тем не менее среди бела дня и создают настоящее тайное общество только после того, как возьмут в свои руки руль правления. Тайное общество тоталитарных режимов — это тайная полиция. Единственный секрет, строго хранимый в тоталитарной стране, единственное эзотерическое знание, какое здесь существует, касается действий полиции и условий существования в концентрационных лагерях<sup>121</sup>. Разумеется, населению в целом и членам партии особенно известны все определенные факты в общем виде: что существуют концентрационные лагеря, что люди исчезают, что арестовываются невиновные. В то же время каждый человек, живущий в тоталитарной стране, знает еще и то, что говорить об этих «тайнах» — величайшее преступление. Поскольку знание человека зависит от подтверждения и понимания его товарищей, то обычно оно является общим владением, но хранится индивидуально; и такая никогда не передаваемая информация утрачивает качество реальности и обретает природу простого кошмара. Только обладающие строго эзотерическим знанием о возможных новых категориях нежелательных лиц и об оперативных методах соответствующих служб могут обсуждать друг с другом то, что действительно составляет для всех реальность. Им одним дано верить в ис-

<sup>121</sup> «В СС мало что не было секретом. Величайшей тайной считались практикуемые в концентрационных лагерях вещи. Даже сотрудники гестапо не допускались... в лагеря без специального разрешения» (Kogon E. Der SS-Staat. Munchen, 1946. S. 297).

тинность того, что знают. Это их тайна, и для ее охраны они учреждают тайную организацию. Они остаются членами этой организации, даже если она арестовывает их, вынуждает к признаниям и, наконец, ликвидирует. Пока они хранят тайну, они принадлежат к элите и, как правило, не предадут ее, даже когда попадают в тюрьмы и концентрационные лагеря<sup>122</sup>.

Мы уже отметили, что одним из многих парадоксов, попирающих здравый смысл нетоталитарного мира, является, казалось бы, иррациональное использование тоталитаризмом конспиративных методов. Тоталитарные движения, безусловно преследовавшиеся полицией, в своей борьбе за власть и за свержение правительства очень редко прибегали к конспиративным методам, тогда как тоталитаризм, находящийся у власти, будучи признан всеми правительствами и вроде бы выйдя из революционной фазы, создает в качестве ядра правительства и власти настоящую тайную полицию. Кажется, что официальное признание воспринимается как значительно большая опасность для конспиративного содержания тоталитарного движения, как большая угроза внутренней дезинтеграции, чем вялые полицейские меры нетоталитарных режимов.

Все дело в том, что хотя тоталитарные вожди и убеждены, что должны неуклонно следовать вымыслу и правилам вымышленного мира, фундамент которого они закладывали в ходе борьбы за власть, они лишь постепенно открывают для себя все содержание вымышленного мира и его правила. Их вера в человеческое всемогущество, их убежденность в том, что посредством организации можно сделать все что угодно, ввергала их в эксперименты, которые, возможно, и были описаны человеческим воображением, но точно никогда реально не осуществлялись. Их ужасные открытия в сфере возможного вдохновлены идеологическим наукообразием, которое оказалось меньше подконтрольно разуму и меньше склонно к признанию фактичности, чем дичайшие фантазии донаучного и дофилософского умозрения. Они основали тайное общество, которое ныне уж не действует среди бела дня, — общество тайной полиции, или политического бойца, или идеологически натренированного борца, — для того, чтобы перевести непристойное экспериментальное исследование в плоскость возможного.

В то же время, тоталитарный заговор против нетоталитарного мира, тоталитарная претензия на мировое господство остаются открытыми и незащищенными в условиях тоталитарного правления, так же как и в тоталитарных движениях. Практически он преподносится упорядоченному населению «сочувствующих» как предполагаемый заговор це-

<sup>122</sup> Бек и Годин рассказывают, как арестованные сотрудники НКВД «чрезвычайно заботятся о том, чтобы не выдать никаких секретов НКВД» (Beck F., Godin W. Op. cit. P. 169).

лого мира против их родины. Тоталитарная дихотомия утверждалась в обществе тем, что в обязанность каждого гражданина тоталитарного государства, проживающего за границей, вменялось информировать соответствующие ведомства на родине, как если бы он был тайным агентом, а каждого иностранца предписывалось рассматривать как шпиона страны его постоянного проживания<sup>123</sup>. Именно ради практического осуществления этой дихотомии — а не для сохранения особых тайн, военных и других, — обитателей тоталитарной страны отгородили железным занавесом от остального мира. Настоящая тайна тоталитарных режимов — концентрационные лагеря, эти лаборатории, где проходит эксперимент по осуществлению тотального господства, — укрывается ими от глаз собственного народа так же тщательно, как и от других.

В течение довольно долгого времени сама нормальность нормального мира служит наиболее эффективной защитой, мешающей раскрытию массовых преступлений тоталитаризма. «Нормальные люди не знают, что все возможно»<sup>124</sup>, отказываются верить собственным глазам и ушам, непосредственно столкнувшись с чудовищем, точно так же, как люди из массы остаются слепы и глухи к предостережениям нормальной реальности, в которой нет для них никакого места<sup>125</sup>. Причина, в силу которой тоталитарные режимы заходят столь далеко в осуществлении вымышленного, перевернутого мира, состоит в том, что внешний нетоталитарный мир, который всегда включает в себя и огромную часть населения самой тоталитарной страны, позволяет себе принимать желаемое за действительное и уклоняется от реальности настоящего безумия точно так же, как ведут себя массы по отношению к нормальному миру. Нежелание здравого смысла признать существование чудовища постоянно подкрепляется самим тоталитарным правителем, который делает все возможное, чтобы ни надежные статистические данные, ни поддающиеся проверке факты и цифры никогда не публиковались, что делает доступными только субъективные, не поддающиеся проверке и ненадежные сообщения о местах пребывания живых мертвых.

<sup>123</sup> Типичен следующий диалог, приведенный в «The dark side of the moon»: «При допущении, что человек бывал за пределами Польши, неизменно следовал вопрос: «И на кого вы работаете?» ...Один человек... спросил: «Но к вам тоже приезжали из-за границы. Вы считаете всех своих гостей шпионами?» В ответ последовало: «А вы как думаете? Вы воображаете, будто мы так наивны, что не знаем об этом совершенно достоверно?»

<sup>124</sup> Rousset D. The other kingdom. N.Y., 1947.

<sup>125</sup> Нацисты прекрасно знали о защитной стене из недоверия и скептицизма, которая окружала их деятельность и замыслы. В тайном сообщении Розенбергу об убийстве 5 тысяч евреев в 1943 г. говорится прямо: «Только представьте, что было бы, стань эти события известны и использованы другой стороной. Скорее всего, это распространение информации не имело бы никаких последствий, и только потому, что люди, которые услышали и прочитали бы об этом, просто оказались бы не готовы поверить этому» (Nazi conspiracy. Vol. 1. P. 1001).

Данная политика объясняет нам, почему результаты тоталитарного эксперимента известны лишь частично. Хотя у нас есть достаточно информации, полученной из концентрационных лагерей, чтобы оценить возможности тотального господства и заглянуть в бездну «возможного», мы все же не знаем глубину изменения человеческого характера при тоталитарном режиме. Еще меньше мы знаем, сколько окружающих людей захотели бы принять тоталитарный образ жизни, т.е. ценой сокращения собственной жизни заплатить за гарантированное осуществление всех своих карьерных грез. Легко понять, в какой мере тоталитарная пропаганда и даже некоторые тоталитарные институты отвечают нуждам новых бездомных масс, однако почти невозможно узнать, сколько же из них, если они, кроме того, должны постоянно бояться угрожающей безработицы, с радостью одобряют «популяционную политику», которая состоит в регулярном устранении лишних людей, и сколько из них, полностью осознавая свою возрастающую неспособность справиться с тяготами современной жизни, с готовностью приспособятся к системе, которая, вместе с самопроизвольностью [их поведения], исключает и ответственность.

Другими словами, хотя мы знаем о деятельности и особых функциях тоталитарной тайной полиции, мы не знаем, насколько полно или в какой мере «тайна» этого тайного общества соответствует тайным желанием и готовности к тайному соучастию современных масс.

### 3. Тотальное господство

Создаваемые тоталитарными режимами лагеря концентрации и уничтожения служат лабораториями, где проверяется и подтверждается фундаментальное убеждение тоталитаризма в том, что возможно все. По сравнению с этим все другие эксперименты вторичны, включая эксперименты в сфере медицины, ужасы которых были детально описаны в ходе судебных процессов против врачей Третьего рейха (хотя характерно, что эти лаборатории использовались для самых разных экспериментов).

Тотальное господство, которое стремится привести бесконечное множество весьма разных человеческих существ к одному знаменателю, возможно только в том случае, если любого и каждого человека удастся свести к некоей никогда не изменяющейся, тождественной самой себе совокупности реакций и при этом каждую такую совокупность реакций можно будет наобум заменить любой другой. Проблема здесь состоит в том, чтобы сфабриковать нечто несуществующее, а именно некий человеческий вид, напоминающий другие животные ви-

ды, вся «свобода» которого состояла бы в «сохранении вида»<sup>126</sup>. Тоталитарное господство стремится осуществить эту цель и посредством идеологической обработки элитных формирований, и посредством абсолютного террора в лагерях; и зверства, в осуществлении которых безжалостно используются элитные формирования, становятся, так сказать, практическим применением идеологической обработки — пробным камнем, которым последняя должна апробировать себя, — тогда как ужасающий спектакль лагерей предназначен обеспечивать «теоретическое» подтверждение идеологии.

Лагерь означают не только уничтожение людей и деградацию человеческих существ, но также проведения в научно контролируемых условиях ужасного эксперимента по искоренению самой самопроизвольности, спонтанности как особенности человеческого поведения и превращению человеческой личности в простую вещь, в нечто такое, чем не являются даже животные, ибо собака Павлова (которая, как мы знаем, была приучена есть не из чувства голода, а когда раздавался звонок) была ненормальным животным.

В нормальных жизненных обстоятельствах этот эксперимент завершить было бы невозможно никогда, потому что самопроизвольность нельзя элиминировать полностью, поскольку она связана не только с человеческой свободой, но и с самой жизнью, в смысле простого поддержания жизни. Такой эксперимент вообще возможен только в концентрационных лагерях, и они являются, следовательно, не только «la société la plus totalitaire encore réalisée» (Давид Руссе), но и руководящим и направляющим социальным идеалом тотального господства вообще. Как стабильность тоталитарного режима зависит от изоляции вымышленного мира движения от внешнего мира, так и эксперимент по установлению тотального господства в концентрационных лагерях зависит от изоляции лагерей от мира всех других людей, мира живущих вообще, даже от внешнего мира в виде страны с тоталитарным правлением. Эта изоляция объясняет особого рода нереальность и отсутствие правдоподобия, характерных для всех донесений из концентрационных лагерей, и представляет собой одну из главных трудностей в адекватном понимании тоталитарного господства, которое находится в прямой и неотрывной зависимости от этих лагерей концентрации и уничтожения; ибо, как бы это ни звучало, лагерь является поистине центральным институтом организованной тоталитарной власти.

<sup>126</sup> Гитлер несколько раз замечает, что он «[стремится] к созданию таких условий, при которых каждый индивид знал бы, что он живет и умирает ради сохранения своего вида». См. также: «Муха откладывает миллионы яиц, и все они погибают. Однако мухи остаются» (см.: Tischgespräche. S. 349, 347 соответственно).

Существуют многочисленные рассказы тех, кому удалось выжить<sup>127</sup>. Чем более они аутентичны при этом, тем менее пытаются сообщить вещи, которые не поддаются человеческому пониманию и ускользают от человеческого опыта, т.е. страдания, превращающие людей в «безропотных животных»<sup>128</sup>. Ни одна из этих записей не возбуждает того чувства гнева и симпатии, которое всегда мобилизует людей на борьбу за справедливость. Напротив, всякий говорящий или пишущий о концентрационных лагерях все еще вызывает подозрение, и, если говорящий окончательно вернулся в мир живых, его самого зачастую охватывают сомнения относительно собственной правдивости, как если бы он ошибочно принял кошмар за реальность<sup>129</sup>.

Сомнение людей относительно самих себя и реальности собственного опыта только обнаруживает то, что всегда знали нацисты: люди, имеющие склонность к преступлению, считают целесообразным организовать преступления небывалого, невероятного размаха. И не только потому, что это делает всякое наказание, предусмотренное правовой системой, неадекватным и абсурдным, но и потому, что сама безмерность преступлений гарантирует, что убийцам, отстаивающим свою невиновность с возможной лживой изворотливостью, поверят скорее, чем жертвам, говорящим правду. Нацисты даже не находили нужным скрывать это открытие. Гитлер миллионными тиражами распространял свою книжку, где утверждал: чтобы иметь успех, ложь должна быть

<sup>127</sup> Среди лучших свидетельств о нацистских концентрационных лагерях см. следующие: *Rousset D. Les jours de notre mort*. P., 1947; *Kogon E. Op. cit.*; *Bettelheim B. On Dachau and Buchenwald: 05.1938 — 04.1939 // Nazi conspiracy. Vol. 7. P. 824 ff.*). О советских концентрационных лагерях издано прекрасное собрание воспоминаний уцелевших поляков: *The dark side of the moon*; см. также книгу Давида Даллина (*Dallin D. J. Op. cit.*), хотя приводимые им сведения иногда не столь убедительны, поскольку принадлежат «выдающимся» личностям, которые обнаружили склонность к провозглашению манифестов и предъявлению обвинительных приговоров.

<sup>128</sup> См.: *The dark side of the moon*; во введении тоже подчеркивается это характерное отсутствие стремления к общению: «они записывают, но не вступают в общение».

<sup>129</sup> См., в частности: *Bettelheim B. Op. cit.*: «Я как будто обрел убежденность в том, что этот ужасный и ведущий к деградации опыт каким-то образом переживался не «мной» как субъектом, но «мной» как объектом. Этот опыт подтверждался рассказами других заключенных. ...Как если бы я наблюдал происходящие события, свое участие в которых я сознавал лишь смутно. ...«Это не может быть правдой, такие вещи просто невозможны». ...Узникам приходилось убеждать себя в том, что это действительно было, происходило в действительности, а не в кошмарном сне. Они так никогда и не сумели убедить себя полностью».

Ср. также: «...Кто не видел собственными глазами, не может поверить в это. Сами-то вы, прежде чем попали сюда, воспринимали слухи о газовых камерах всерьез?»

— Нет, — сказал я.

— ...Вот видите! Ну и все относятся к этому, как и вы. Множество людей в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, даже в Биркенау, стоя прямо перед крематорием, за пять минут до отправления в его подвал, все еще не верили...» (*Rousset D. Op. cit.* P. 213).

чудовищной, и это не мешало людям верить ему. Подобно этому нацистские прокламации, неоднократно повторявшие *ad nauseam*, что евреи будут уничтожены, как клопы (т.е. с помощью отравляющих газов), никому не помешали не верить им.

Существует соблазн отделаться от неправдоподобного с помощью либеральных рационализаций. В каждом из нас сидит такой либерал, уговаривающий нас голосом здравого смысла. Путь к тоталитарному господству лежит через многие промежуточные стадии, для которых мы можем найти многочисленные аналогии и прецеденты. Чрезвычайно кровавый террор первоначальной стадии тоталитарного правления действительно имеет своей исключительной целью разгром противников и обеспечение невозможности всякой последующей оппозиции; однако тотальный террор начинается только после того, как первая стадия осталась позади и режиму уже не приходится опасаться никаких шагов оппозиции. Как часто отмечалось, в такой ситуации средства становятся целью, но в конечном счете это означает лишь облеченное в парадоксальную форму предположение, будто категория «цель оправдывает средства» более неприменима; что террор утратил свою «цель», что он более не служит средством устрашения людей. Недостаточно также то объяснение, что революция (как в случае Французской революции) пожирает собственных детей, поскольку террор продолжается и после того, как давно уничтожено все, что можно было бы назвать дитятей революции, будь то русские фракции, силовые центры партии, армия, бюрократия. Многие вещи, ставшие ныне специфической принадлежностью тоталитарного правления, прекрасно известны из истории. Почти всегда велись агрессивные войны; погромы побежденного населения ничем не сдерживались до тех пор, пока римляне не смягчили их введением *pacere subjectis*; веками истребление коренного населения было неотрывно от колонизации также Америки, Австралии и Африки; рабство — один из старейших институтов человечества, и все империи древности основывались на труде государственных рабов, возводивших общественные здания. Даже концентрационные лагеря не являются изобретением тоталитарных движений. Впервые они возникли в начале века, во время Бурской войны, и продолжали существовать в Южной Африке и в Индии, вбирая в себя «нежелательные элементы»; здесь же мы впервые встречаемся с термином «содержание под стражей с целью защиты», который впоследствии широко использовался Третьим рейхом. Эти лагеря во многих отношениях соответствуют концентрационным лагерям начала тоталитарного правления; в них отправлялись «подозреваемые», правонарушения которых не могли быть доказаны и которые не могли быть приговорены к наказанию в ходе обычного судебного процесса. Все это ясно указывает на тоталитарные методы господства; все вышеназванное

было утилизировано, развито и кристаллизовано тоталитарными режимами, исходя из нигилистического принципа «все дозволено», который они унаследовали и считали само собою разумеющимся. Однако везде, где эти новые формы господства приобретают подлинно тоталитарный характер, они выходят за рамки этого принципа, который еще как-то связан с утилитарными мотивами и своекорыстием правителей, и входят в донныне неведомую область — туда, где «все возможно». И, что весьма характерно, эта область не может ограничиваться утилитарными мотивами или своекорыстием, каково бы ни было содержание последнего.

Здравому смыслу противоречит не нигилистический принцип «все дозволено», который уже присутствовал в утилитарном понимании здравого смысла, распространенном в XIX в. Здравый смысл и «нормальные люди» отказываются поверить в то, что все возможно<sup>130</sup>. Мы пытаемся понять те элементы нынешнего или вспоминаемого опыта, которые просто превосходят нашу способность понимания. Мы пытаемся классифицировать как преступление то, что, как мы чувствуем, не может вместить в себя ни одна категория преступлений. Какой смысл имеет понятие убийства, когда мы сталкиваемся с массовым производством трупов? Мы пытаемся психологически понять поведение узников и эсэсовцев-сотрудников концентрационных лагерей, когда должно пытаться понять именно то, что душу можно разрушить даже без разрушения физической оболочки человека; что, действительно, при определенных обстоятельствах душа, характер и индивидуальность выражаются только в том, насколько быстро или медленно они разрушаются<sup>131</sup>. В конечном результате, во всяком случае, получаются неодоушевленные люди, т.е. люди, которых психологически понять уже невозможно, чье возвращение в психологически или как-то иначе понятный человеческий мир очень напоминает воскресение Лазаря. Все утверждения здравого смысла, будь то психологического или социологического характера, только лишь поощряют тех, кто считает «излишним» «думать об ужасах»<sup>132</sup>.

Если верно, что концентрационные лагеря — наиболее последовательный с точки зрения логики институт тоталитарного правления, то для понимания тоталитаризма необходимо «думать об ужасах». Однако воспоминание помогло бы здесь не более, чем свидетельство очевидца, который не способен сообщить свой опыт другому человеку. Обоим этим жанрам внутренне свойственна тенденция уходить от опыта; инстинктивно или сознательно их авторы настолько хорошо знают о пропасти, которая отделяет мир живых от мира живых мертвых, что они не могут предложить ничего, кроме ряда запечатленных в памяти событий, кото-

рые должны казаться равно невероятными как тем, кого они касались, так и их аудитории. Думать об этих ужасах в состоянии только встревоженное воображение тех, кого такие сообщения взбудоражили, задели за живое, но кто реально на своей собственной шкуре их не испытал, а также те немногие, кто в результате всего освободился от животного, отчаянного страха, который при встрече с настоящим, подлинным ужасом, как правило, безжалостно парализует в человеке все, кроме простейших рефлекторных реакций. Такие мысли полезны только для понимания политических контекстов и для мобилизации политических страстей. Размышление об ужасах не способно каким-то образом изменить личность больше, чем действительное переживание ужаса. Сведение человека к совокупности реакций отделяет его от всего того в нем, что составляет в нем личность или характер, не менее радикально, чем психическая болезнь. Когда, подобно Лазарю, он восстает из мертвых, то обретает свою личность и характер нетронутыми, какими он их оставил.

Точно так же как ужас или размышление об ужасе не могут повлиять на изменение характера человека, не могут сделать его лучше или хуже, он не может стать основой политического сообщества или партии в более узком смысле. Попытки создать европейскую элиту исходя из внутриевропейского понимания, основанного на общеевропейском опыте концентрационных лагерей, потерпели провал в основном по тем же причинам, что и предпринимавшиеся после окончания первой мировой войны попытки сделать политические выводы из интернационального опыта фронтового поколения. В обоих случаях оказалось, что данным опытом можно поделиться, передать его другим разве что в виде нигилистических банальностей<sup>133</sup>. Такие политические следствия, как, например, послевоенный пацифизм, вытекают скорее из общего страха перед войной, чем из опыта этой войны. Не безжизненный пацифизм, а постижение структуры современных войн, направляемое и мобилизуемое страхом, могло бы привести к пониманию того, что единственным критерием необходимой войны является борьба против условий, в которых люди более не хотят жить, и пережитый нами опыт мучительного ада тоталитарных лагерей со всей очевидностью показывает, что такие условия возможны<sup>134</sup>. Таким образом, страх перед концентрационными лагерями и порожденное им понимание природы тотального господства могут послужить обесцениванию всех устаревших политических различий

<sup>133</sup> Книга Руссе содержит много такого рода «прозрений» относительно человеческой «природы», основанных главным образом на том наблюдении, что через некоторое время склад ума заключенных становится почти неотличимым от склада ума лагерной охраны.

<sup>134</sup> Чтобы избежать неверного понимания, имеет смысл, возможно, добавить, что с изобретением водородной бомбы вся проблема войны претерпела еще одно решительное изменение. Обсуждение этого вопроса, разумеется, не входит в цели данной книги.

<sup>130</sup> Первым осознал это Давид Руссе и описал в книге «Univers concentrationnaire» (1947).

<sup>131</sup> См.: Rousset D. Op. cit. P. 587.

<sup>132</sup> См.: Bataille G. // La Critique. January 1948. P. 72.

между правыми и левыми и введению, помимо них и над ними, политически более важного критерия оценки современных событий, а именно исходя из того, служат ли они тоталитарному господству или не служат.

В любом случае встревоженное воображение имеет огромное преимущество, ибо отменяет софистически-диалектические интерпретации политики, которые основываются на предрассудке, будто из зла может получиться нечто благое. Такая диалектическая акробатика имела, по крайней мере, видимость оправдания, поскольку самым худшим злом, какое человек мог причинить человеку, было убийство. Однако, как мы знаем сегодня, убийство есть лишь ограниченное зло. Убийца, поднимающий руку на человека — который так или иначе должен умереть, — все-таки находится в знакомом нам измерении жизни и смерти; они действительно стоят в необходимой связи друг с другом, и на этой связи основывается диалектика, пусть даже не всегда осознанно. Убийца оставляет труп и никогда не посягает на существование жертвы до ее смерти; если он и уничтожает следы, то это касается только его собственной личности, а не памяти и горя людей, которые любили его жертву; он разрушает жизнь, но не сам факт былого существования.

Нацисты, с присущей им точностью, обычно регистрировали принимавшиеся ими в концентрационных лагерях акции под заголовком «Под покровом ночи» («*Nacht und Nebel*»). Радикализм мер, трактующих людей как никогда не существовавших и заставляющих их исчезать в буквальном смысле слова, часто не очевиден с первого взгляда, поскольку и германская, и российская системы не являются внутренне однородными, но содержат в себе множество категорий населения, в которых люди трактуются весьма различно. Если говорить о Германии, эти различные категории сосуществовали в одном и том же лагере, не соприкасаясь друг с другом; часто изоляция между разными категориями соблюдалась даже более строго, чем изоляция от внешнего мира. Так, из расовых соображений немцы во время войны относились к лицам скандинавских национальностей совершенно иначе, чем к представителям других народов, хотя первые и были прямыми врагами нацистов. Последние, в свою очередь, подразделялись на тех, чье «уничтожение» непосредственно стояло на повестке дня (евреи), на тех, кого можно было уничтожить немного погодя в обозримом будущем (поляки, русские, украинцы), и на тех, относительно кого указаний о таком всеобъемлющем «окончательном решении» пока не поступало (французы и бельгийцы). В России, с другой стороны, мы должны различать три более или менее независимые категории. Во-первых, существуют группы рабочих, рабочая сила, живущая относительно свободно и подвергающаяся преследованиям время от времени. Во-вторых, существуют концентрационные лагеря, в которых человеческий материал безжалостно экс-

плуатируется и уровень смертности чрезвычайно высок, но которые были организованы как трудовые. И в-третьих, существуют лагеря смерти, узники которых систематически погибают в заброшенности и голоде.

Действительный ужас лагерей концентрации и уничтожения связан с тем фактом, что узники, даже если им посчастливилось выжить, оказываются более эффективно отрезанными от мира живых, чем в том случае, если бы они умерли, потому что террор принуждает к забвению. Убийство здесь обезличено настолько, что сравнимо с прихлопыванием комара. Человек может умереть в результате систематических пыток, или же от голода, или же потому, что лагерь переполнен и лишний человеческий материал подлежит уничтожению. И наоборот, может так получиться, что из-за недостаточного числа новых человеческих партий возникнет опасность депопуляции лагерей, и тогда будет отдан приказ о снижении уровня смертности любой ценой<sup>135</sup>. Давид Руссе называет свои воспоминания о пребывании в немецком концентрационном лагере «*Les jours de notre mort*», как бы предполагая, что самому процессу умирания возможно придать перманентный характер и создать ситуацию, в которой смерть и жизнь были бы в равной степени затруднены.

Именно появление прежде неизвестного радикального зла кладет конец нашим представлениям о развитии и превращениях качеств. Здесь не годятся ни политические, ни исторические, ни просто моральные стандарты. Самым полезным в этой связи оказалось бы понимание того, что в современную политику вошло нечто такое, что в действительности не должно иметь никакого отношения к политике, в нашем обычном понимании, а именно выбор «все или ничего», где «все» — это неопределенная бесконечность форм совместного человеческого проживания, а «ничего» при победе системы концентрационных лагерей означало бы такую же неумолимую гибель человеческих существ, как при использовании водородной бомбы — гибель человеческого рода.

Аналогии жизни в концентрационных лагерях не существует. Ужас этой жизни не может вместить никакое воображение именно потому, что она пребывает вне жизни и смерти. О ней невозможен ника-

<sup>135</sup> Это произошло в Германии в конце 1942 г., и Гиммлер приказал всем лагерным командантам «любой ценой снизить уровень смертности». Ибо оказалось, что из 136 тысяч вновь прибывших 70 тысяч были уже мертвы на момент прибытия в лагерь или умерли сразу же после прибытия (см.: *Nazi conspiracy*. Vol. 4. Annex 2). Позднейшие сведения, полученные из лагерей в Советской России, однозначно свидетельствуют, что после 1949 г., т.е. когда Сталин был еще жив, уровень смертности в концентрационных лагерях, который достигал прежде 60 процентов заключенных, систематически понижался, вероятно, в силу общей и острой нехватки рабочей силы в Советском Союзе. Это улучшение условий жизни не следует путать с кризисом режима после смерти Сталина, который, что весьма характерно, в первую очередь дал знать о себе в концентрационных лагерях. Ср.: *Starlinger W. Grenzen der Sowjetmacht*. Würzburg, 1955.

кой исчерпывающий рассказ, потому что выживший возвращается в мир живых, который закрывает для него возможность полностью поверить в действительность собственного прошлого опыта. Он как будто бы должен рассказать историю о другой планете, ибо статус заключенных в мире живых, где никто не должен знать, живы они или мертвы, таков, как если бы они никогда не рождались. Поэтому все аналогии вносят путаницу и отвлекают внимание от главного. Принудительный труд в лагерях и исправительных колониях, высылка, рабство — все то, что на какое-то ничтожное мгновение может показаться искомым полезным сравнением для концентрационного лагеря, как показывает более детальный анализ, ведет в никуда.

Принудительный труд, применяемый в качестве наказания, ограничен в отношении времени и интенсивности. Приговоренный к нему имеет права на собственное тело; здесь нельзя говорить ни об абсолютном мучении, ни об абсолютном господстве. Высылка означает только лишь изгнание из одной части мира в другую часть мира, также населенную человеческими существами; она не предполагает полного исключения из человеческого мира. На протяжении всей истории рабство было институтом в рамках того или иного социального порядка; рабы, в отличие от узников концентрационных лагерей, не выводились из-под наблюдения и, следовательно, из-под защиты их сограждан; в качестве инструментов труда они имели определенную цену, а как собственность — определенную ценность. Узник концентрационного лагеря не имеет цены, поскольку всегда может быть заменен кем-то другим; никто не знает, кому он принадлежит, поскольку он невидим. С точки зрения нормального общества, он абсолютно излишен, хотя во времена острой нехватки рабочей силы, которая наблюдалась в России и в Германии во время войны, он использовался для труда.

Концентрационный лагерь как институт не учреждался с целью получения возможного дохода от труда; единственная постоянная экономическая функция лагерей состояла в финансировании их собственного аппарата надзирателей; так что с экономической точки зрения концентрационные лагеря существуют главным образом ради самих себя. Любая выполненная здесь работа могла бы гораздо лучше и с меньшими издержками выполнена в других условиях<sup>136</sup>. Даже пример России, где

<sup>136</sup> См.: Kogon E. Op. cit. P. 58: «Большая часть работы, выполнявшейся в концентрационных лагерях, не имела смысла, либо потому, что была излишня, либо в силу крайне дурного планирования, заставлявшего переделывать ее по два-три раза». См. также: Bettelheim B. Op. cit. P. 831–832: «Новые заключенные в особенности вынуждены были выполнять бессмысленные задания. ..Они чувствовали себя униженными... и предпочитали даже более тяжелую работу, лишь бы производить что-то полезное...» Даже Даллин, построивший всю свою книгу на том тезисе, что целью российских лагерей является обеспечение дешевой рабочей силы, вынужден признать неэффективность лагерного

концентрационные лагеря чаще всего характеризуются как лагеря принудительного труда, поскольку так решила величать их советская бюрократия, со всей ясностью показывает, что принудительный труд не является их основной целью; принудительный труд — нормальное состояние всех российских рабочих, которые лишены свободы передвижения и могут быть произвольно направлены на работу в любое место и в любое время. Невероятность ужасов концентрационных лагерей тесно связана с их экономической бесполезностью. Нацисты довели эту бесполезность до открытой антиутилитарности, когда в разгар войны, несмотря на нехватку строительных материалов и подвижного состава, они строили чудовищные и дорогостоящие фабрики уничтожения и перевозили туда-сюда миллионы людей<sup>137</sup>. В глазах строго утилитарного мира очевидное противоречие между этими действиями и военной целесообразностью придавало всему предприятию вид безумной нереальности.

Атмосфера безумия и нереальности, созданная явным отсутствием цели, и служит настоящим железным занавесом, который прячет все формы концентрационных лагерей от глаз всего мира. С внешней точки зрения лагеря и все происходящее в них можно описать только с помощью образов, заимствованных из жизни после смерти, т.е. из жизни, далекой от земных целей. Концентрационные лагеря можно, вероятно, подразделить на три типа, соответствующие трем основным западным представлениям о жизни после смерти: на Гадес (царство теней), Чистилище и Ад. Гадесу соответствуют те относительно мягкие формы лагерей, некогда распространенные даже в нетоталитарных странах, что принимают всякого рода нежелательных лиц — беженцев, не имеющих гражданства, асоциальные элементы и безработных; в виде лагерей для перемещенных лиц, являвшихся не чем иным, как лагерями для лишних и обременительных людей, они пережили войну. Чистилище представлено распространенными в Советском Союзе трудовыми лагерями, где пренебрежение и заброшенность соединяются с хаотическим принудитель-

труда (см.: Dallin D. J. Op. cit. P. 105). Современные теории, трактующие российскую лагерную систему как экономическую меру, необходимую для обеспечения поставок дешевой рабочей силы, будут, очевидно, опровергнуты, если недавние сообщения о массовых амнистиях и уничтожении концентрационных лагерей окажутся правдой. Ведь если лагеря служили какой-то важной экономической цели, то режим, безусловно, не может позволить себе их быструю ликвидацию, которая имела бы серьезные последствия для всей экономической системы.

<sup>137</sup> Не говоря уже о миллионах людей, которых нацисты перевозили в лагеря смерти, они постоянно разрабатывали новые колонизаторские планы — например, перевезти немцев из Германии или с оккупированных территорий на Восток в целях колонизации. Это было, конечно, серьезным препятствием для военных действий и экономической эксплуатации. О многочисленных дискуссиях на эти темы и постоянном конф-ликте между нацистскими гражданскими ведомствами на оккупированных восточных территориях и иерархией СС см. особенно: The trial of the major war criminals. Nuremberg, 1947. Vol. 29.

ным трудом. Ад в наибоквальнойшем смысле воплотился в тех лагерях, безусловно организованных нацистами, в которых вся жизнь была целиком и систематически устроена для испытания всевозможных мучений.

Лагеря всех трех типов имели одну общую особенность: человеческие массы в них изолировались и рассматривались как более не существующие, словно происходящее с ними более не представляет ни для кого интереса, словно они уже умерли и только какой-то безумный злой дух развлекается здесь, задержав их на некоторое время между жизнью и смертью, прежде чем позволить им оказаться в вечном пристанище.

Не столько колючая проволока, сколько мастерски сотворенная нереальность тех, кого она ограждает, провоцирует чудовищные жестокости и в конечном счете делает уничтожение людей совершенно нормальной процедурой. Все, что делалось в лагерях, известно нам из мира извращенных, злых фантазий. Затрудняет понимание то, что, подобно таким фантазиям, эти отвратительные преступления происходят в иллюзорном мире, который, однако, материализовался, так сказать, в виде мира, обладающего всеми чувственными признаками реальности, но лишённого той структуры логической последовательности и ответственности, без которой реальность остается для нас массой непостижимых данных. В результате было создано место пыток и убийства людей, однако же ни пытающие, ни пытаемые и меньше всего люди, находящиеся вовне, не могут знать, что происходящее представляет собой нечто большее, чем жестокая игра или абсурдный сон<sup>138</sup>.

Фильмы, которые после войны союзники прокручивали в Германии и других странах, ясно показывают, что эта атмосфера безумия и нереальности не может быть рассеяна посредством простого репортажа. Непредубежденному наблюдателю эти картины представляются почти такими же убедительными, как фотографии таинственных субстанций на спиритических сеансах<sup>139</sup>. Здравый смысл отвечал на ужасы Бухенвальда и Освенцима вполне понятным аргументом: «Какие

<sup>138</sup> Бетгельхайм отмечает, что охранники в лагерях, подобно самим узникам, впитывают атмосферу нереальности.

<sup>139</sup> Достаточно важно понять, что все картины о концентрационных лагерях вводят в заблуждение, поскольку показывают лагерь в их последней стадии, в тот момент, когда в них вошли войска союзников. В самой Германии не было лагерей смерти, и в тот момент все оборудование, служащее уничтожению, уже было демонтировано. К тому же, то, что более всего покоробило союзников и что производит в их фильмах ужасное впечатление — именно вид человеческих скелетов, вовсе не было типично для немецких концентрационных лагерей; уничтожение систематически осуществлялось путем отравления газом, а не голодом. Состояние лагерей было результатом событий на фронтах в последние месяцы: Гиммлер приказал эвакуировать все лагеря уничтожения на Восток, поэтому германские лагеря были страшно переполнены, а он уже не был в состоянии обеспечить снабжение продовольствием в Германии.

преступления должны были совершить эти люди, чтобы их постигла такая кара!»; или, если говорить о Германии и Австрии в разгар голода, перенаселенности и общей ненависти: «Напрасно они прекратили травить евреев газом»; и повсеместно неэффективная пропаганда была встречена скептическим пожатием плечами.

Если простое изложение правды не убеждает среднего человека, поскольку правда слишком чудовищна, то оно положительно опасно для тех, кто может представить себе, на что способен он сам и кто, следовательно, действительно хочет поверить в реальность увиденного. Внезапно становится очевидно, что те вещи, которые в течение тысячелетий человеческое воображение изгоняло за пределы человеческой компетенции, могут быть осуществлены прямо здесь, на земле, что Ад и Чистилище, и даже тень их вечности, могут быть созданы самими современными методами разрушения и терапии. Этим людям (а они более многочисленны в любом большом городе, чем нам хотелось бы думать) тоталитарный ад доказывает только то, что человеческая власть несравненно более сильна, чем они когда-либо осмеливались думать, и что человек может осуществить адские фантазии без того, чтобы небеса опустились на землю, а земля разверзлась.

Эти аналогии, повторяющиеся во многих сообщениях о мире умирающих<sup>140</sup>, видимо, выражают больше, чем отчаянная попытка высказать то, что не поддается описанию средствами человеческой речи. Пожалуй, ничто так сильно не отличает современные массы от масс предыдущих веков, как утрата веры в Судный день: худшие утратили страх, а лучшие — надежду. Но все еще неспособные жить без страха и надежды, эти массы притягиваются ко всему, что, кажется, сулит им рукотворный Рай, по которому они тоскуют, и Ад, которого они боятся. Подобно тому как популяризированные черты Марксова бесклассового общества имеют подозрительное сходство с мессианской эпохой, реальность концентрационных лагерей сильнее всего напоминает средневековые картины Ада.

Единственное, что невозможно воспроизвести и что делает традиционные представления об Аде терпимыми для людей, — это Судный день, идея абсолютного критерия справедливости вместе с возможностью бесконечной милости милосердия. Ведь согласно человеческому разумению нет преступления и греха, соизмеримого с вечными пытками Ада. Отсюда замешательство здравого смысла, который спрашивает: «Какое же преступление должны были совершить эти люди, чтобы нести столь нечеловеческие страдания?» Отсюда также абсолютная не-

<sup>140</sup> То, что жизнь в концентрационном лагере была просто замедленным процессом умирания, подчеркивает Руссе (Op. cit., passim).

виновность жертв: этого не заслужил ни один человек. Отсюда, наконец, гротескная случайность, с которой выбираются жертвы концентрационного лагеря в состоянии совершенного террора: такое «наказание», с равной справедливостью и несправедливостью, может быть наложено на любого другого человека.

По сравнению с безумным конечным результатом — обществом концентрационных лагерей — процесс, в ходе которого люди подготавливаются к этому результату, и методы, посредством которых индивиды приспособляются к этим условиям, прозрачны и логичны. Безумному массовому производству трупов предшествует исторически и политически понятная подготовка живых трупов. Толчком и, что важнее, молчаливым согласием с такими беспрецедентными условиями послужили события, которые в период политической дезинтеграции внезапно и неожиданно сделали сотни тысяч человеческих существ бездомными, лишили их государства, поставили вне закона и превратили в отверженных, тогда как миллионы человеческих существ стали экономически лишними и социально обременительными в силу безработицы. Это, в свою очередь, могло случиться только потому, что права человека, которые никогда не были проработаны философски, но только сформулированы, которые были лишь провозглашены и введены без необходимых политических гарантий, в своей традиционной форме утратили всякую общезначимость.

Первый существенно важный шаг на пути к тотальному господству состоял в том, чтобы уничтожить человека как юридическое лицо. Это достигалось следующим образом. С одной стороны, определенные категории людей лишались закона и в то же время проведение денационализации вынуждало нетоталитарный мир признать беззаконие; с другой стороны, концентрационные лагеря создавались за пределами нормальной системы наказания, а их узники оказывались вне нормальной юридической процедуры, в которой определенное преступление влечет за собой предсказуемое наказание. Так, преступники, которые в силу других причин составляют существенный элемент в обществе концентрационных лагерей, обычно посылаются в лагерь только по завершении срока заключения. При всех обстоятельствах тоталитарное господство следит за тем, чтобы собранные в лагерях категории граждан — евреи, носители болезней, представители вымирающих классов — уже утратили свою способность как к нормальному, так и к криминальному действию. С точки зрения пропаганды это означает, что «заключение с целью защиты» толкуется как «превентивная полицейская мера»<sup>141</sup>, т.е. мера, лишаящая

<sup>141</sup> Маунц настаивает, что преступники не должны посылаться в лагерь во время отбытия ими законного срока наказания (*Maunz Th. Op. cit. S. 50*).

людей способности действовать. Отклонения от этого правила в России должны быть приписаны катастрофической нехватке тюрем и до сих пор не реализованному желанию преобразовать всю карательную систему в систему концентрационных лагерей<sup>142</sup>.

Внедрение в концентрационные лагеря преступных элементов должно было придать правдоподобие пропагандистскому заявлению движения о том, что этот институт создан для асоциальных элементов<sup>143</sup>. Преступники, строго говоря, не должны содержаться в концентрационных лагерях, хотя бы только потому, что лишить юридического статуса человека, который повинен в совершении какого-то преступления, труднее, чем совершенно невиновного человека. Если они и составляют устойчивую категорию узников, то это является просто уступкой тоталитарного государства предрассудкам общества, которое благодаря этой уступке должно легче привыкнуть к существованию лагерей. В то же время, чтобы не нарушить существование лагерной системы, особенно важно (поскольку в стране существует система наказания), чтобы преступники попадали в концентрационные лагеря только после отбытия положенного им законом срока наказания, т.е. когда они фактически получали право выйти на свободу. Концентрационный лагерь ни в коем случае не должен стать наложенным на определенное время наказанием за определенные правонарушения.

Объединение преступников со всеми другими категориями имеет, кроме того, то преимущество, что служит для всех прибывающих в лагерь шокирующим своей очевидностью свидетельством того, что они опустились на самое дно общества. Но вскоре оказывается, что у них есть все основания завидовать вору и убийце; однако же низшая ступенька в обществе является неплохим началом. Кроме того, это служит эффективным средством маскировки: если лагерь исключительно удел преступников, то и другим категориям не выпадает ничего хуже того, что заслуженно получают преступники.

Преступники повсеместно составляют аристократию лагерей. (В Германии во время войны их заменили коммунисты, поскольку в хаотических условиях, созданных криминальной администрацией, невозможна

<sup>142</sup> Нехватка тюремных площадей в России была такова, что в 1925–1926 гг. могло быть исполнено только 36 процентов всех судебных приговоров (см.: *Dallin D. J. Op. cit. P. 158 ff.*).

<sup>143</sup> «Гестапо и СС всегда считали очень важным, чтобы в лагерях присутствовали узники разных категорий. Ни один лагерь не состоял из узников одной категории» (см.: *Kogon E. Op. cit. P. 19*).

В России также с самого начала было принято смешивать политических заключенных с уголовниками. В первое десятилетие Советской власти левые политические группы пользовались некоторыми привилегиями; только с полным развитием тоталитарного характера режима «в самом конце 20-х годов политические даже официально ставились на низшую ступень, нежели обычные преступники» (*Dallin D. J. Op. cit. P. 177 ff.*).

была даже минимальная разумная работа. Это была лишь временная трансформация концентрационных лагерей в лагеря принудительного труда — совершенно нетипичное и достаточно кратковременное явление<sup>144</sup>.) Преступники становились лидерами не столько в силу родства, существовавшего между штатными надзирателями и преступными элементами (в Советском Союзе надзиратели явно не были, в отличие от эсэсовцев, особой элитой, натренированной для совершения преступлений<sup>145</sup>), сколько в силу того, что преступники посылались в лагерь в связи с определенной деятельностью. По крайней мере, они знали, почему попали в лагерь, и, следовательно, сохраняли остаток своего юридического статуса. Что касается политзаключенных, то обладание юридическим статусом ощущалось ими лишь субъективно; на самом деле их действия, если это вообще были действия, а не просто мнения или чьи-то смутные подозрения, или случайное членство в политически некорректной группе, как правило, не охватывались нормальной правовой системой страны и не подлежали юридическому определению<sup>146</sup>.

К мешанине политзаключенных и преступников, с которой начинались концентрационные лагеря в России и Германии, добавлялся на раннем этапе третий элемент, которому вскоре суждено было составить большинство всех узников концентрационных лагерей. Эта самая большая группа уже тогда состояла из людей, которые совсем не совершили ничего такого, что имело бы, по их собственному разумению либо по мнению их мучителей, хоть какую-то рациональную связь с их арестом. В Германии после 1938 г. этот элемент был представлен массами евреев, в России — любыми людьми, которые по причинам, не имеющим ничего общего с их действиями, навлекли на себя неудовольствие властей. Эти группы совершенно невиновных людей больше других подходили для радикального эксперимента, состоявшего в полном лишении их гражданских прав и уничтожении их как юридических лиц, и, следовательно, они и количественно и качественно составляли самую существенную часть лагерного населения. Этот принцип нашел

<sup>144</sup> В книге Руссе серьезно переоценивается влияние немецких коммунистов, которые преобладали во внутренней администрации Бухенвальда во время войны.

<sup>145</sup> См., например, свидетельство госпожи Бубер-Нойман (бывшей жены немецкого коммуниста Хайнца Ноймана), которая пережила советский и германский концентрационные лагеря: «Русские никогда... не проявляли садизма, характерного для нацистов. ...Наши русские охранники были приличными людьми и не садистами, но они верой и правдой выполняли требования бесчеловечной системы» (см.: Under two dictators).

<sup>146</sup> Бруно Беттельхайм описывает самооценку преступников и политических заключенных по сравнению с теми, кто ничем не провинился. Последние «были наименее способны противостоять первоначальному шоку», первые же — дезинтеграции. Беттельхайм считает это результатом их происхождения из среднего класса (см.: Bettelheim B. Behavior in extreme situations // Journal of Abnormal and Social Psychology. Vol. 38. 1943. № 4).

наиболее полное воплощение в газовых камерах, которые, хотя бы только из-за их чудовищной вместимости и производительности, годились не для отдельных людей, но для человеческих масс. Эту ситуацию конкретного человека подытоживает следующий диалог. «Для чего, — я спрашиваю, — существуют газовые камеры?» — «А для чего ты родился?»<sup>147</sup> Именно эта третья группа, состоящая из совершенно невиновных, жила хуже всех в лагерях. Преступники и политзаключенные уподоблялись этой категории; так, лишенные своего защищающего отличия — своей изначальной провинности, они оказывались совершенно беззащитными перед произволом. Конечная цель, отчасти осуществленная в Советском Союзе и ясно наметившаяся на последних этапах нацистского террора, состояла в том, чтобы все население лагеря состояло из этой категории невиновных людей.

В противоположность полной случайности, с какой отбирались узники, существовали категории, по которым обычно они подразделялись по прибытии в лагерь, — бессмысленные как таковые, но полезные с точки зрения организации. В германских лагерях они подразделялись на преступников, политзаключенных, асоциальные элементы, религиозных правонарушителей и евреев; все они носили соответствующие эмблемы. Когда французы создали концентрационные лагеря после гражданской войны в Испании, они сразу же ввели типичную тоталитарную мешанину политзаключенных с преступниками и невиновными (в этом случае так называемые безгосударственные) и, несмотря на неопытность, проявили замечательную изобретательность в создании бессмысленных категорий узников<sup>148</sup>. Первоначально введенная для того, чтобы предотвратить рост солидарности среди узников, эта техника оказалась весьма ценной, поскольку никто не мог понять, действительно ли отведенная ему категория лучше или хуже, нежели какая-то другая. В Германии этому вечно смещающемуся, хотя и педантично организованному сооружению была придана видимость прочности, поскольку при любых и во всех обстоятельствах самой низшей категорией оставались евреи. Самое ужасное и абсурдное состояло в том, что узники отождествляли себя с этими категориями, как если бы те представляли последние подлинные остатки их юридического лица. Даже если отвлечься от всех других обстоятельств, неудивительно, что коммунист с 1933 г. выходил из лагеря еще большим коммунистом, еврей — еще «большим евреем», а во Франции жена легионера — еще более убежденной в значении и ценности Иностранного легиона; могло бы показаться, будто эти категории служили последним залогом предсказуемого обращения с ними, будто эти ка-

<sup>147</sup> Rousset D. Op. cit. P. 71.

<sup>148</sup> О ситуации во французских концентрационных лагерях см.: Koestler A. Scum of the Earth. 1941.

тегории воплощали некое последнее и, значит, фундаментальнейшее юридическое определение личности.

В то время как классификация узников по категориям является только тактической организационной мерой, произвольный выбор жертв представляет собой существенно важный принцип института. Если бы концентрационные лагеря зависели от наличия политических противников, то они едва ли пережили первые годы тоталитарных режимов. Достаточно только взглянуть на количество узников Бухенвальда во времена, наступившие после 1936 г., чтобы понять, что для длительного существования лагерей были абсолютно необходимы невиновные. «Лагеря вымерли бы, если бы, производя аресты, гестапо принимало во внимание только оппозицию»<sup>149</sup>, и к концу 1937 г. Бухенвальд, насчитывающий менее тысячи узников, был близок к вымиранию до тех пор, пока ноябрьские погромы не дали более 20 тысяч новых заключенных<sup>150</sup>. В Германии наличие элемента невиновных после 1938 г. обеспечивалось огромным количеством евреев; в России его составляли случайные группы людей, которые по каким-то причинам, не имеющим никакого отношения к их действиям, впали в немилость<sup>151</sup>. Однако если в Германии подлинно тоталитарный тип концентрационных лагерей с огромным большинством совершенно невиновных узников начал утверждаться в 1938 г., то в России этот процесс восходит к началу 30-х годов, поскольку к 1930 г. большинство обитателей концентрационных лагерей было представлено преступниками, контрреволюционерами и «политическими» (в данном случае — членами отклоняющихся от «правильного» пути фракций). С тех пор в лагерях было так много невиновных людей, что они вряд ли поддаются классификации, — здесь были лица, имевшие какие-то связи с другой страной, русские польского происхождения (особенно в 1936–1938 гг.); крестьяне, деревни которых были ликвидированы по какой-то экономической причине; депортированные народности; демобилизованные солдаты Красной Армии, которым выпало служить в войсках, слишком долго находившихся за границей в качестве оккупационных сил, или побывать в военном плену в Германии, и т.д. Наличие политической оппозиции является лишь предлогом для введения системы концентрационных лагерей, а цель этой системы не достигается даже тогда, когда в результате самого чудовищного террора население более или менее добровольно подчиняется упо-

<sup>149</sup> Kogon E. Op. cit. P. 6.

<sup>150</sup> См. Nazi conspiracy. Vol. 4. P. 800 ff.

<sup>151</sup> Бек и Годин подчеркивают, что «противники составляли лишь малую часть заключенных в [русских] тюрьмах» и что не существовало никакой связи между «заключением человека в тюрьму и каким-либо правонарушением» (Beck F., Godin W. Op. cit. P. 87, 95 соответственно).

рядочению, т.е. отказывается от своих политических прав. Цель системы произвола состоит в уничтожении гражданских прав всего населения, которое в конечном счете оказывается в собственной стране в такой же ситуации беззакония, как и безгосударственные и бездомные. Пренебрежение правами человека, уничтожение его как юридического лица являются предварительным условием полного господства над ним. И это относится не только к отдельным категориям, таким, как преступники, политические противники, евреи, гомосексуалисты, ставшим предметом первых экспериментов, но и к каждому жителю тоталитарного государства. Свободное согласие — такое же препятствие для тотального господства, как и свободная оппозиция<sup>152</sup>. Случайный арест невиновного человека уничтожает ценность свободного согласия, точно так же как пытка — в отличие от смерти — уничтожает возможность оппозиции.

Любое, даже самое тираническое ограничение произвольного преследования какими-то религиозными или политическими позициями, моделями интеллектуального или эротического социального поведения, определенными, вновь изобретенными «преступлениями» сделало бы лагеря ненужными, потому что в конечном счете ни одна установка и ни одно мнение не могут противостоять угрозе такого страшного террора; и, кроме всего прочего, это способствовало бы появлению новой системы правосудия, которая обеспечила хотя бы минимальную стабильность и создала бы новое юридическое лицо человека, которое ускользало бы от тоталитарного господства. Так называемое *Volknutzen* нацистов, постоянно текучее (потому что полезное сегодня может оказаться вредным завтра), и вечно изменяющаяся партийная линия в Советском Союзе, которая по принципу обратного действия обеспечивала почти ежедневный приток в концентрационные лагеря новых групп людей, были единственными гарантиями длительного существования концентрационных лагерей и, следовательно, длительного тотального лишения людей гражданских прав.

Следующим решающим шагом в процедуре создания живых трупов является устранение нравственного начала в человеке. Впервые в истории это делалось главным образом за счет исключения возможности мученичества: «Многие ли люди еще верят здесь, что протест имеет хотя бы историческое значение? Это скептическое замечание — настоящий

<sup>152</sup> Бруно Беттельхайм, обсуждая тот факт, что большинство заключенных «более или менее приняло ценности гестапо», подчеркивает, что «это не было результатом пропаганды.. Гестапо утверждало, что это помешает им выражать собственные чувства» (цит. по: Nazi conspiracy. Vol. 7. P. 834–835).

Гиммлер категорически запретил какую-либо пропаганду в лагерях. «Воспитание предполагает дисциплину и ни в коем случае не идеологические указания» (цит. по: Nazi conspiracy. Vol. 4. P. 616 ff.).

шедевр СС. Их великое достижение. Они подрубили корни всякой человеческой солидарности. Здесь ночь опустилась на будущее. Когда не остается ни одного свидетеля, свидетельство невозможно. Выказывать силу духа в тот момент, когда смерть уже невозможно отложить, — значит пытаться придать смерти смысл, действовать, преодолевая собственную смерть. Чтобы быть успешным, этот жест должен иметь социальное значение. Нас здесь сотни тысяч, и все мы живем в абсолютном одиночестве. Вот почему мы подчиняемся, что бы ни происходило»<sup>153</sup>.

Лагеря и убийство политических противников лишь часть организованного забвения, которое охватывает не только средства выражения общественного мнения, такие, как высказанное и написанное слово, но распространяется даже на семьи и друзей жертвы. Горе и воспоминание запрещены. В Советском Союзе женщина обратится в суд с просьбой о разводе сразу же после ареста мужа, чтобы спасти жизнь своим детям; если ее мужу удастся вернуться, она с негодованием откажет ему от дома<sup>154</sup>. Западный мир до сих пор, даже в самые мрачные времена, оставлял своему поверженному врагу право остаться в памяти в знак самоочевидного признания факта, что все мы люди (и только люди). Только поэтому даже Ахилл проявил заботу о похоронах Гектора, только поэтому самые деспотичные правительства чтят память поверженного врага, только поэтому римляне позволяли христианам писать их мартирологи, только поэтому Церковь позволяла еретикам оставаться в памяти людей. Все это не погибло и никогда не погибнет. Концентрационные лагеря, делая смерть анонимной (поскольку невозможно выяснить, жив узник или мертв), отняли у смерти ее значение конца прожитой жизни. В известном смысле они лишили индивида его собственной смерти, доказывая, что отныне ему не принадлежит ничего и сам он не принадлежит никому. Его смерть просто ставит печать на том факте, что он никогда в действительности не существовал.

Этой атаке на нравственное начало человека, возможно, все же могла бы противостоять его совесть, которая говорит ему, что лучше умереть жертвой, чем жить бюрократом от убийства. Тоталитарный террор достигает своего ужаснейшего триумфа, когда ему удается отрезать для моральной личности пути индивидуального бегства от действительности и сделать решения совести абсолютно сомнительными и двусмысленными. Когда человек сталкивается с выбором между предательством, т.е. убийством своих друзей, и обречением на смерть своей жены и детей, за которых он несет ответственность во всех смыслах, когда даже самоубийство означает немедленную

<sup>153</sup> Rousset D. Op. cit. P. 464.

<sup>154</sup> См. рассказ Сергея Малахова в: Dallin D. J. Op. cit. P. 20 ff.

смерть его собственной семьи, — на что же он должен решиться? Ему предлагается выбор уже не между добром и злом, а между убийством и убийством. Кто мог бы решить моральную дилемму греческой матери, которой нацисты позволили выбрать, кто из троих ее детей должен быть убит?<sup>155</sup>

Посредством создания условий, при которых совесть умолкает, не может служить ориентиром поведения и становится совершенно невозможно творить добро, сознательно организованное соучастие всех людей в преступлениях тоталитарных режимов распространяется и на жертв и, таким образом, становится действительно тотальным. СС втянула в свои преступления узников концентрационных лагерей — преступников, политических, евреев, — взвалив на них ответственность за значительную часть руководства жизнью лагеря и тем самым поставив перед безнадежной дилеммой — послать ли на смерть своих друзей или способствовать убийству других людей, случайно оказавшихся чужими для них, и в любом случае вынудив их выступать в роли убийцы<sup>156</sup>. Дело не только в том, что ненависть переносится с виновных на других (сарос ненавидели больше, чем СС), но и в том, что пограничная линия между преследователем и преследуемым, между убийцей и его жертвой постоянно стирается<sup>157</sup>.

Когда нравственное начало в человеке уничтожено, единственное, что еще мешает людям превратиться в живых трупов, — это их индивидуальное отличие, их неповторимая индивидуальность. В стерильном виде такую индивидуальность можно сохранить, занимая позицию последовательного стоицизма, и, несомненно, многие люди при тоталитарном правлении нашли и по-прежнему ежедневно находят убежище в такой абсолютной изолированности личности, лишенной прав и совести. Безусловно, эту ипостась человеческого существа, именно потому, что она существенным образом зависит от природных данных и сил, не поддающихся контролю воли, труднее всего разрушить (и в случае разрушения она восстанавливается легче других)<sup>158</sup>.

Методы нивелировки неповторимости отдельного человека многочисленны, и мы не будем пытаться их перечислить. Они начинаются с чудовищных условий транспортировки в лагеря, когда сотни людей на-

<sup>155</sup> См.: Camus A. The human crisis // Twice a year. 1947.

<sup>156</sup> Книга Руссе описывает главным образом обсуждение заключенными этой дилеммы.

<sup>157</sup> Беттельхайм описывает, как охранники и заключенные «прилаживались» к жизни в лагере и боялись возвращения во внешний мир.

Руссе, следовательно, прав, настаивая на истинности того, что «жертва и мучитель одинаково подлы; лагеря дают уроки братства в низости» (Rousset D. Op. cit. P. 588).

<sup>158</sup> Беттельхайм рассказывает, что «главная проблема вновь прибывших заключенных состояла в том, чтобы сохранить свою личность», тогда как давние узники лагеря заботились больше о том, «чтобы жить в лагере как можно лучше».

бываются в вагоны для перевозки скота, замерзших, нагих, вплотную друг к другу, и поезд долгие дни маневрирует взад-вперед по округе; они продолжаются после прибытия в лагерь, где людей ждет безукоризненно отлаженное шоковое воздействие первых часов, бритье головы и нелепая лагерная одежда; и их завершением становятся совершенно невообразимые пытки, проводимые с таким расчетом, чтобы не убить тело, по крайней мере не так быстро. Эти методы, во всяком случае, направлены на манипулирование человеческим телом — с его бесконечной способностью страдать, — с тем чтобы разрушать человеческую личность так же неуклонно, как это делают некоторые психические заболевания органического происхождения.

Именно здесь становится наиболее очевидным крайнее безумие всего процесса. Разумеется, пытка является существенной принадлежностью всей тоталитарной полиции и судебных органов; она используется каждый день, с тем чтобы заставить людей говорить. Такого рода пытка, поскольку она преследует определенную рациональную цель, имеет определенные пределы: либо заключенный начинает через какое-то время говорить, либо его убивают. В первых нацистских концентрационных лагерях и в подвалах гестапо к этой пытке рационального типа добавилась другая — иррациональная, садистская. Практикуемая чаще всего СА, она не преследовала никаких целей и не была систематической, но зависела от инициативы по большей части ненормальных элементов. Смертность была столь высока, что лишь очень немногие узники концентрационных лагерей, помещенные в них в 1933 г., выжили в течение этих первых лет. Такой тип пытки представляется не столько рассчитанным политическим инструментом, сколько уступкой режима его преступным и ненормальным элементам, которые таким образом вознаграждались за оказанные услуги. За слепым зверством членов СА часто крылась глубокая ненависть и мстительность по отношению ко всем тем, кто превосходил их социально, интеллектуально или физически и кто сейчас, словно во исполнение их дичайших грез, оказался в их власти. Эта мстительность, которая так и не исчезла в лагерях бесследно, поражает нас как последний остаток по-человечески понятного чувства<sup>159</sup>.

Настоящий ужас начинался, однако, когда эсэсовцы брали управление лагерем в свои руки. Прежнее стихийное зверство уступало место абсолютно хладнокровному и систематическому разрушению человеческих тел, рассчитанному на искоренение человеческого достоинства; при

<sup>159</sup> Руссе рассказывает, как эсэовец разглагольствовал перед одним профессором: «Вы привыкли быть профессором. Ну а сейчас вы больше не профессор. Вы уже не шишка. Сейчас вы всего лишь карлик. Самый маленький. Сейчас я большой человек» (*Rousset D. Op. cit. P. 390*).

этом предполагалось не доводить до смерти или отсрочить ее на неопределенно долгое время. Лагеря более не были местами для забавы зверей в человеческом облике, т.е. для людей, настоящее место которых — психиатрическая больница и тюрьма; происходило обратное, лагеря превращались в «учебные плацы», на которых совершенно нормальные люди тренировались, чтобы стать полноценными эсэсовцами<sup>160</sup>.

Убийство человеческой индивидуальности, той неповторимости, которой каждый равно обязан природе, личной воле и судьбе, — неповторимости, ставшей столь очевидной предпосылкой для всех человеческих отношений, что даже однойцовые близнецы вызывают некоторое чувство неловкости, — это убийство порождает ужас и отвращение, полностью затмевающие негодование нашей политико-юридической личности и отчаяние нравственной. Именно этот ужас дает осно-

<sup>160</sup> Когон допускает возможность того, что лагеря служили тренировочными и экспериментальными базами для СС (*Kogon E. Op. cit. P. 6*). Он дает также полезную информацию о различии между первыми лагерями, управляемыми СА, и последующими, руководимыми СС. «Ни в одном из первых лагерей не было более тысячи узников. Жизнь в них не поддается описанию. Рассказы нескольких старых заключенных, которые пережили эти первые годы, согласно свидетельствуют, что едва ли оставалась какая-либо форма садистского извращения, которая не практиковалась людьми из СА. Но все их действия проистекали из личного зверства, и еще не была налажена полностью механизированная холодная система, включающая в свои обороты массы людей. Это последнее было достижением СС» (*Ibid. P. 7*).

Новая механизированная система, насколько это возможно, освободила человека от чувства ответственности. Когда, например, пришел приказ о ежедневном убийстве нескольких сот русских заключенных, экзекуция производилась через дыры [в стене], даже не глядя на жертву (см.: *Feder E. Essai sur la psychologie de la terreur // Synthèses. Brussels, 1946*). В то же время, извращение искусственно культивировалось в людях, в других отношениях нормальных. Руссе передает такие слова одного охранника СС: «Обычно я продолжаю бить до тех пор, пока у меня не происходит эякуляция. У меня жена и трое детей в Бреслау. А ведь я был совершенно нормальным. Вот что они со мной сделали. Теперь, когда они дают мне отдых, я не иду домой. Я не смею взглянуть в глаза своей жене» (*Ibid. P. 273*). Документы нацистской эпохи содержат многочисленные свидетельства о среднем уровне нормальности тех, кому поручали осуществлять гитлеровскую программу уничтожения. Многочисленные свидетельства собраны Леоном Поляковым (см.: *Poliakov L. The weapon of antisemitism // The Third Reich L., 1955*. Публикация ЮНЕСКО). В большинстве своем люди из частей, выполняющих соответствующие задачи, не были добровольцами, а переведены в формирования особого назначения из обыкновенной полиции. Но даже натасканные эсэсовцы находили такого рода обязанности худшими, нежели участие в сражении на линии фронта. Сообщая о массовой казни, проводимой СС, очевидец дает высокую оценку этим войскам, которые были столь «идеалистически» настроены, что оказались в состоянии осуществить «всю операцию по уничтожению без помощи спирта».

О наличии стремления исключить все личные мотивы и страсти при свершении акта «уничтожения» и, следовательно, свести жестокость к минимуму обнаруживается тем фактом, что врачи и инженеры, которые должны были обслуживать газовые установки, постоянно вносили усовершенствования, направленные не только на увеличение пропускной способности фабрики трупов, но и на ускорение и облегчение предсмертной агонии.

вание для нигилистических обобщений о вероятности того, что все люди — в сущности звери<sup>161</sup>. Опыт концентрационных лагерей действительно показывает, что человек может переродиться в особь человекообразного животного и что «природа» человека лишь постольку «человечна», поскольку она позволяет человеку отдалиться от природы, т.е. позволяет стать человеком.

После уничтожения нравственного и правового начала в человеке разрушение индивидуальности почти всегда завершается успешно. Возможно, в будущем будут найдены такие законы психологии масс, которые смогут объяснить, почему миллионы людей, не оказывая сопротивления, позволяют отправить себя в газовые камеры, хотя эти законы объяснят не что иное, как разрушение индивидуальности. Важнее, что приговоренные к смерти очень редко предпринимали попытки взять с собой одного из своих мучителей, что в лагерях едва ли были серьезные бунты и что даже в момент освобождения было лишь несколько самочинных избиений эсэсовцев. Поскольку разрушить индивидуальность значит уничтожить самопроизвольность, способность человека начать нечто новое, исходя из собственных внутренних ресурсов, нечто такое, что нельзя объяснить как простую реакцию на внешнюю среду и события<sup>162</sup>. Значит, остаются лишь страшные марионетки с человеческими лицами, которые ведут себя подобно собакам в экспериментах Павлова, обнаруживая совершенно предсказуемое и надежное поведение, даже когда их ведут на смерть, и сводя все это поведение исключительно к реагированию. Это настоящий триумф системы: «Триумф СС означает, что измученная жертва позволяет вести себя на казнь, не протестуя, что человек отрекается от себя, и так рьяно, что даже перестает настаивать на своем каком бы то ни было определении. И недаром. Ведь не беспричинно, не из чистого садизма люди из СС желают ему поражения. Они знают, что система, сумевшая разрушить свою жертву еще до того, как она взойдет на эшафот... самое лучшее средство, удерживающее весь народ в рабстве. В подчинении. Нет ничего

<sup>161</sup> Это очень заметно в работе Руссе. «Социальные условия жизни в лагерях перерождают огромную массу узников, как немцев, так и депортированных, независимо от их бывшего социального положения и образования... в толпу дегенератов, совершенно подчиненную примитивным рефлексам животных инстинктов» (*Rousset D. Op. cit. P. 183*).

<sup>162</sup> В этом контексте уместно упомянуть также о поразительной редкости самоубийств в лагерях. Самоубийство гораздо чаще совершается до ареста и депортации, чем в самом лагере, что отчасти объясняется, конечно, тем фактом, что там делалось все необходимое для предотвращения самоубийств, которые, в конце концов, являются актами личного волеизъявления. Из статистики по Бухенвальду очевидно, что к самоубийствам можно отнести не более половины процента смертей, что часто в год случалось только два самоубийства, хотя в тот же год общее число смертей достигало 3516 (см.: *Nazi conspiracy. Vol. 4. P. 800 ff.*). В сведениях о российских лагерях отмечается тот же феномен. Ср., напр.: *Starlinger W. Op. cit. S. 57*.

ужаснее процессии человеческих существ, бредущих навстречу своей смерти, как манекены. Человек, который наблюдает за ними, говорит себе: «Чтобы так надругаться над ними, какая власть должна быть у хозяев», и он отворачивается, полный горечи, но побежденный»<sup>163</sup>.

Если мы отнесемся к претензиям тоталитаризма серьезно и не позволим ввести себя в заблуждение утверждением здравого смысла, согласно которому эти претензии утопичны и неосуществимы, то окажется, что воплотившееся в лагерях общество умирающих всего лишь форма общества, в котором возможно полное господство над человеком. Стремящиеся к тотальному господству должны уничтожить всякую самопроизвольность, всегда предполагаемую самим существованием человека, проследить и искоренить ее в самых личных проявлениях, безотносительно к тому, насколько аполитичными и безвредными они кажутся. Павловская собака, разновидность человека, сведенного к самым элементарным реакциям, совокупности реакций, которую всегда можно ликвидировать и заменить другой, которая будет вести себя точно таким же образом, и есть модель «гражданина» тоталитарного государства; и такого гражданина вне лагерей можно создать только не полностью.

Бесполезность лагерей, их цинически признаваемая антиутилитарность лишь видимость. В действительности они более существенны для сохранения режима, чем любой другой из его институтов. Без концентрационных лагерей, без внушаемого ими неопределенного страха, без отлично отлаженного в них обучения тоталитарному господству, которое нигде не осуществляется с большей полнотой, тоталитарное государство со всеми своими наирадикальнейшими возможностями не сумело бы ни вдохнуть фанатизм в свои отборные войска, ни удерживать весь народ в состоянии полной апатии. Господствующие и подчиненные быстро потонули бы в «старой буржуазной рутине»; после первых «эксцессов» они уступили бы повседневной жизни с ее гуманными законами; короче говоря, они стали бы развиваться в направлении, которое все наблюдатели, полагавшиеся на здравый смысл, с такой готовностью предсказывали. Трагический крах всех этих предсказаний, берущих начало в мире, сохранившем безопасность, объясняется тем, что они исходили из существования единой во все времена человеческой природы, отождествляли эту человеческую природу с историей и на основании этого декларировали, что идея тотального господства не только бесчеловечна, но и нереалистична. Между тем мы узнали, что могущество человека столь велико, что он действительно может быть тем, кем хочет быть.

Притязание на неограниченную власть содержится в самой природе тоталитарных режимов. Такая власть прочна только в том случае,

<sup>163</sup> *Rousset D. Op. cit. P. 525*.

если буквально все люди, без единого исключения, надежно контролируются ею в любом проявлении их жизни. Внешняя деятельность таких режимов сводится к постоянному порабощению новых нейтральных территорий, тогда как у себя дома они нуждаются в постоянном пополнении людьми расширяющейся сети концентрационных лагерей или, если того требуют обстоятельства, в уничтожении одних узников, дабы освободить место для других. Проблема оппозиции несущественна как во внешних, так и во внутренних делах. Любая нейтральная позиция, всякая самопроизвольно возникшая дружба с точки зрения тоталитарного господства так же опасны, как и открытая враждебность, именно потому, что самопроизвольность, как таковая, с ее непредсказуемостью представляет величайшее из всех препятствий на пути к тотальному господству над человеком. Коммунисты из некоммунистических стран, которые бежали или были приглашены в Москву, на горьком опыте узнали, что они представляют угрозу для Советского Союза. В этом смысле убежденные коммунисты, которые одни сегодня имеют какое-то значение, столь же смешны и столь же опасны для режима в России, как, например, убежденные нацисты из фракции Рема — для нацистов.

Всякого рода убежденность и наличие собственного мнения столь смешны и опасны в условиях тоталитаризма именно потому, что тоталитарные режимы чрезвычайно гордятся тем, что не нуждаются в них, и вообще не нуждаются ни в какой человеческой помощи. Люди, поскольку они представляют собой нечто большее, нежели реакцию животного и отправление функций, совершенно излишни для тоталитарных режимов. Тоталитаризм стремится не к деспотическому господству над людьми, а к установлению такой системы, в которой люди совершенно не нужны. Тотальной власти можно достичь и затем сохранять ее только в мире условных рефлексов, в мире марионеток, лишенных слабейшего признака самопроизвольности. Именно потому, что ресурсы человека столь огромны, он может попасть под полное господство, только когда становится образчиком одного из видов животного под названием человек.

Следовательно, характер представляет опасность, и даже самые несправедливые правовые постановления — препятствие; индивидуальность же, — то, что отличает одного человека от другого, просто нетерпима. Поскольку все люди не стали равно лишними — это было достигнуто только в концентрационных лагерях, — идеал тоталитарного господства не был достигнут. Тоталитарные государства неизменно стремятся, хотя никогда и не добиваясь полного успеха, к тому, чтобы сделать человека лишним, ненужным — посредством произвольного отбора разных групп людей для концентрационных лагерей, посредст-

вом постоянных чисток правящего аппарата, посредством массовых уничтожений. Здравый смысл отчаянно возражает, что массы, мол, и так уже покорны и что весь гигантский аппарат террора, следовательно, совершенно не нужен; если бы тоталитарные правители были способны сказать правду, то они ответили бы: «Аппарат представляется вам ненужным только потому, что его цель — сделать ненужными людей».

Тоталитарная попытка сделать людей лишними отражает ощущение собственной избыточности на перенаселенной Земле, испытываемое современными массами. Мир умирания, в котором людям указывает на их ненужность сама жизнь, а наказание отмеряется без связи с преступлением, в котором эксплуатация практикуется не ради получения прибыли, а выполняемая работа не производит продукта, — это место, где каждодневно воспроизводится бессмысленность. Однако с точки зрения тоталитарной идеологии нет ничего более осмысленного и логичного; если узники — паразиты, вполне логично, что их следует убивать ядовитым газом; если они дегенераты, то нельзя позволить им заражать население; если у них «рабские души» (Гиммлер), то никто не должен тратить время на их перевоспитание. С точки зрения этой идеологии вся проблема лагерей связана только с тем, что они имеют слишком много смысла, что проведение доктрины в жизнь слишком последовательно.

В то время как тоталитарные режимы решительно и цинично изымают из мира то единственное, что делает осмысленными утилитарные ожидания здравого смысла, они навязывают ему в то же время своего рода сверхсмысл, который действительно всегда подразумевают идеологии, претендующие на обнаружение ключа к истории или на решение загадок Вселенной. Вдобавок к бессмысленности тоталитарного мира возводится на престол и нелепый сверхсмысл его идеологического предрассудка. Идеологии являются безвредными, безопасными и произвольными мнениями лишь до тех пор, пока в них не верят всерьез. Как только их претензия на тотальную общезначимость начинает восприниматься буквально, они становятся центрами логических систем, в которых, как в системах параноиков, если только принята первая посылка, все остальное следует вполне очевидно и даже в принудительном порядке. Безумие таких систем заключается не только в их первой посылке, но и в самой логичности, с которой они строятся. Любопытная логичность всех «измов», их бесхитростная вера в спасительную ценность тупой преданности, без учета конкретных, изменчивых факторов, уже содержит зачатки тоталитарного презрения к реальности и фактам.

Здравый смысл, предполагающий утилитарный подход, беспомощен против этого идеологического сверхсмысла, поскольку тоталитарные режимы создают действительный мир бессмыслия. Идеологическое

презрение к фактичности включает в себе также гордое признание человеческого господства над миром; кроме того, это такое презрение к реальности, которое делает возможным изменение мира, реализацию человеческой способности изобретать. Что сводит к нулю элемент гордыни в тоталитарном презрении к реальности (и тем самым радикально отличает его от революционных теорий и установок), так это сверхсмысл, который придает презрению к реальности его связность, логичность и последовательность. То, что превращает в подлинно тоталитарный девиз заявление большевиков, будто нынешняя российская система превосходит все остальные системы, так это тот факт, что тоталитарный руководитель выводит из этого заявления логически безупречное следствие, согласно которому без этой системы люди никогда не смогли бы построить такую волшебную вещь, как, скажем, метро; отсюда он опять-таки заключает, что всякий, знающий о существовании подземки в Париже, вызывает подозрение, поскольку он может заставить людей усомниться в том, что такие вещи можно строить только по-большевистски. Это приводит к последнему заключению — чтобы остаться лояльным большевиком, вы должны разрушить парижское метро. Нет ничего важнее последовательности.

Благодаря этим новым структурам, возведенным силой сверхсмысла и движимым мотором логичности, мы действительно оказываемся у конца буржуазной эры прибылей и власти, а также у конца империализма и экспансионизма. Агрессивность тоталитаризма проистекает не из жадности власти, и если он лихорадочно стремится к экспансии, то не ради самой экспансии и не ради выгод, а исключительно по идеологическим причинам — чтобы сделать мир последовательным и доказать, что его сверхсмысл верен.

Главным образом во имя этого сверхсмысла, ради достижения полной последовательности для тоталитаризма оказывается необходимым уничтожение всякого признака того, что мы называем обычно человеческим достоинством. Ибо уважение человеческого достоинства предполагает признание моих друзей и дружественных нам наций субъектами, строителями мира или соратниками по строительству общего мира. Никакая идеология, нацеленная на объяснение всех исторических событий прошлого и на планирование хода всех будущих событий, не может мириться с непредсказуемостью, которая проистекает из того факта, что люди являются творцами, что они могут внести в мир нечто совсем новое, никогда и никем не предсказанное.

Следовательно, цель тоталитарных идеологий состоит не в переделке внешнего мира и не в революционном изменении общества, а в перерождении самой человеческой природы. Концентрационные лагеря являются лабораториями, где отслеживаются и проверяются измене-

ния в человеческой природе, и, следовательно, позор лагерей падает не только на их узников и тех, кто сортирует их согласно строго «научным» стандартам; он лежит на совести всех людей. Проблема не в страданиях, которых всегда было слишком много на земле, и не в числе жертв. На кон поставлена сама человеческая природа, и хотя и кажется, что эти эксперименты привели не к изменению, а лишь к разрушению человека (создав общество, в котором последовательно реализована нигилистическая банальность *homo homini lupus*), следует помнить о необходимых ограничительных поправках к эксперименту, который, для того чтобы дать убедительные результаты, требует глобального контроля.

На сегодня, видимо, тоталитарное убеждение в неограниченности возможного доказано только в том смысле, что все может быть уничтожено. Однако, пытаясь доказать, что все возможно, тоталитарные режимы, сами того не зная, показали, что есть преступления, которые люди не могут ни наказать, ни простить. Когда невозможное сделалось возможным, оно стало ненаказуемым, непрощительным абсолютным злом, которое более нельзя было понять и объяснить дурными мотивами своекорыстия, жадности, зависти и скупости, мстительности, жажды власти и коварства, и которое, следовательно, невозможно терпеть во имя любви, простить во имя дружбы, которому нельзя отомстить из чувства гнева. Как жертвы на фабриках смерти или во рвах забвения более не люди в глазах их мучителей, точно так же этот новейший вид преступников находится даже вне солидарности людей в их греховности.

Вся наша философская традиция такова, что мы не можем представить себе «радикальное зло», и это верно как для христианской теологии, которая возводит к небу даже самого Дьявола, так и для Канта, единственного философа, который, судя по специально созданному им для этого слову, должен был подозревать существование такого зла, пусть даже он непосредственно рационализировал его в понятии «извращенной злой воли», что можно объяснить вполне понятными мотивами. Следовательно, нам не на что опереться, чтобы понять феномен, с подавляющей реальностью которого мы тем не менее сталкиваемся и который разбивает все известные нам критерии. Одно лишь представляется более или менее ясным: мы можем сказать, что возникновение радикального зла связано с системой, в которой все люди становятся равно лишними. Операторы этой системы верят в собственную ненужность, как и в ненужность всех остальных, и все тоталитарные убийцы тем более опасны, что их не волнует, живы ли они сами или мертвы, жили ли они вообще или вовсе не рождались. Сегодня, когда повсеместно возрастает население и бездомность, опасность фабрик трупов и рвов забвения состоит в том, что массы людей постоянно становятся

лишними, если по-прежнему думать о нашем мире в утилитарных терминах. Повсюду политические, социальные и экономические события показывают молчаливое согласие с тоталитарными методами искусственного создания избыточности людей. Подспудный соблазн хорошо понятен утилитарному здравому смыслу масс, которые в большинстве стран находятся в слишком отчаянном положении, чтобы сохранить сколько-нибудь серьезный страх перед смертью. Нацисты и большевики могут быть уверены, что их фабрики уничтожения, предлагающие быстрое решение проблемы избыточности экономически лишних и социально неукорененных человеческих масс, весьма ценны в качестве предостережения. Тоталитарные решения могут спокойно пережить падение тоталитарных режимов, превратившись в сильный соблазн, который будет возобновляться всякий раз, когда покажется невозможным смягчить политические и социальные проблемы или ослабить экономические страдания способом, достойным человека.

## Глава тринадцатая

### ИДЕОЛОГИЯ И ТЕРРОР: НОВАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ

В предыдущих главах мы неоднократно подчеркивали, что не только средства осуществления тотального господства куда более радикальные, но что и сам тоталитаризм существенно отличается от всех иных форм политического подавления, известных нам как деспотизм, тирания или диктатура. Где бы тоталитаризм ни приходил к власти, везде он приносил с собой совершенно новые политические институты и разрушал все социальные, правовые и политические традиции данной страны. Независимо от того, каковы конкретные национальные традиции или духовные источники идеологии тоталитарного правления, оно всегда превращало классы в массы, вытесняло партийную систему не диктатурой одной партии, а массовым движением, переносило центральную опору власти с армии на полицию и проводило внешнюю политику, открыто ориентированную на мировое господство. Современные тоталитарные режимы развивались из однопартийных систем. Но как только они становились истинно тоталитарными, они начинали действовать по системе ценностей, столь радикально отличной от всех других, что ни одна из наших традиционных категорий — правовых, моральных или утилитарного здравого смысла — уже не смогла бы нам помочь как-то договориться с ними, судить о них или предвидеть ход их действий.

Если верно, что элементы тоталитаризма можно выявить, заново прослеживая исторический процесс и анализируя политические предпосылки и следствия того, что мы обычно называем кризисом нашего века, то неизбежен вывод, что этот кризис не был вызван только угрозой извне, он не просто результат какой-то агрессивной внешней политики Германии или России и он исчезнет со смертью Сталина ничуть не в большей мере, чем это произошло с падением нацистской Германии. Вполне может случиться, что неподдельные трудности нашего века примут свою подлинную (хотя не обязательно самую жестокую) форму, только когда тоталитаризм уже уйдет в прошлое.

По логике таких размышлений уместен вопрос: не есть ли тоталитарный образ правления, рожденный в кризисе и одновременно представляющий его ярчайший и совершенно недвусмысленный симптом, просто временное приспособление, которое заимствует свои методы устрашения, свои способы организации и инструменты насилия из хорошо известного политического арсенала тирании, деспотизма и дикта-

туры? Не обязан ли он своим существованием всего лишь хотя и достойной сожаления, но, может быть, случайной неудаче традиционных политических сил: либеральных или консервативных, национальных или социалистических, республиканских или монархических, авторитарных или демократических? Или же, напротив, на свете есть такая вещь, как *природа*, или сущность, тоталитарного правления, которую можно определить и сравнить с другими формами правления, известными западной мысли со времен древней философии. Если последнее справедливо, тогда совершенно новые и беспрецедентные формы тоталитарной организации и действия должны опираться на один из немногих базисных видов опыта, приобретаемых людьми везде, где они живут вместе и занимаются общественными делами. Если и существует некий фундаментальный опыт, находящий свое политическое выражение в тоталитарном господстве, то тогда, ввиду новизны и необычности тоталитарной формы правления, это должен быть опыт, на каком, независимо от причин, никогда раньше не строилось государство и основной дух которого (хотя, может быть, и знакомый в каких-то других отношениях) никогда прежде не вдохновлял и не определял управление общественной жизнью.

Если мы рассмотрим этот вопрос в рамках истории идей, то наши рассуждения покажутся крайне неправдоподобными. История знает не так уж много форм правления; известные с древности и классифицированные греками, эти формы оказались необычайно живучими. Если мы примем эту классификацию, сущность которой, несмотря на многочисленные вариации, не изменилась за две с половиной тысячи лет от Платона до Канта, то мы сразу же подвергнемся искушению истолковать тоталитаризм как некую современную форму тирании, т.е. как неправовое правление, при котором власть сосредоточена в руках одного человека. Не ограниченный законом произвол власти, творимый в интересах правителя и враждебный интересам управляемых, с одной стороны, и — с другой — страх как общий принцип поведения, а именно страх народа перед правителем и правителя перед народом, традиционно считались родовыми признаками тирании.

Вместо рассуждений о беспрецедентности тоталитарной формы правления мы могли бы сказать, что она уничтожает ту самую альтернативу, на которую опирались все определения сущности правления в политической философии, а именно, альтернативу между правовым и неправовым правлением, между произволом и легитимной властью. То, что правовое правление и легитимная власть нераздельны так же, как беззаконие и власть произвола, никогда и никем не оспаривалось. Однако тоталитарный режим ставит нас перед фактом абсолютно иного рода правления. Верно, что он презирает все позитивные законы, в

предельных случаях игнорируя даже те, которые он сам и установил (как было с Советской Конституцией 1936 г., если брать только самые яркие примеры) или которые он так и не позаботился отменить (как в случае с Веймарской конституцией, которую нацистское правительство никогда официально не отменяло). И все же нельзя сказать, что такой режим вовсе не признает никаких законов или действует абсолютно произвольно, ибо он притязает на строгое и недвусмысленное повиновение тем законам Природы или Истории, из которых навсегда положено вытекать всем позитивным законам.

Это чудовищная, к тому же, видимо, рационально неопровержимая претензия тоталитарного режима, что он далеко не «беззаконный», ибо восходит к источникам авторитета, из которых получали свою конечную легитимацию все позитивные законы; и что он вовсе не произвольный, ибо больше и лучше повинуетя этим сверхчеловеческим силам, чем любое правительство когда-либо прежде; и что он далек от узурпации власти в интересах одного человека, ибо вполне готов пожертвовать конкретными жизненными интересами любого во исполнение своего предполагаемого закона Истории или закона Природы. Само его пренебрежение позитивными законами притязает быть здесь высшей формой легитимности, которая по наитию от высших источников может разделаться с мелочной законностью. Тоталитарное законодательство претендует указать путь к установлению царства справедливости на земле, чего, по общему признанию, никогда не в состоянии достичь реально действующее позитивное право. Разрыв, существующий между правом и справедливостью, никогда не может быть устранен, ибо нормы справедливого и несправедливого, на язык которых позитивное право переводит источники собственного авторитета: «естественный закон», управляющий вселенной, или закон Божий, раскрывающийся в человеческой истории, или же обычай и традиции, выражающие общий закон для мнений всех людей, — эти нормы по необходимости должны быть абстрактно-всеобщими и действительными для бесчисленных и непредсказуемых случаев, почему каждый конкретный индивидуальный случай с его неповторимым сочетанием обстоятельств так или иначе выходит за рамки права.

Тоталитарное правосознание, с его презрением к обычной законности и претензией на установление абсолютного царства справедливости на земле, хочет прямо исполнять закон Истории или Природы, не переводя его в нормы добра и зла для индивидуального поведения. Оно прикладывает этот закон непосредственно к роду человеческому, не заботясь о поведении отдельных людей. Закон Природы или закон Истории, исполненный как надо, должен, как ожидается, создать в

итоге единое человечество; и это ожидание стоит за претензией всех тоталитарных режимов на управление миром. Тоталитарная политика добивается превращения человеческих особей в активных и надежных проводников закона, которому в противном случае они следовали бы лишь пассивно и против воли. Если верно, что связи между тоталитарными странами и цивилизованным миром были оборваны из-за чудовищных преступлений тоталитарных режимов, то также верно, что и их преступления были результатом не просто агрессивности, жестокости, вероломства или военных действий, но и сознательного разрыва с тем *consensus juris*, который, согласно Цицерону, образует «народ» и который, уже как международное право, в новое время очертил границы цивилизованного мира в той мере, в какой это право оставалось краеугольным камнем международных отношений даже в условиях войны. И моральное осуждение, и наказание по закону предполагают это согласие в качестве своей основы; преступник может быть справедливо осужден только потому, что он часть этого *consensus juris*, и даже богооткровенное право может действовать в миру, только когда люди прислушиваются к нему и соглашаются с ним.

В этом пункте выходит на свет фундаментальное различие между тоталитарной и всеми другими концепциями права. Тоталитарная политика не заменяет один свод законов другим, не устанавливает собственный *consensus juris* и не создает революционным актом новую форму законности. Пренебрежение всеми, в том числе и собственными, позитивными законами свидетельствует о вере тоталитарных политиков, будто можно действовать без всякого *consensus iuris* вообще и все-таки не признавать себя адептами тиранического государства беззакония, произвола и страха. Можно обойтись без *consensus iuris* потому, что это сулит оградить исполнение закона от всякого вмешательства действий и воли отдельных людей. Тоталитаризм обещает справедливость на земле потому, что притязает делать воплощением права человечество как таковое.

Это отождествление человечества и права, которое по видимости кладет конец разрыву между законностью и справедливостью, омрачавшему правовую мысль со времен античности, не имеет ничего общего с *lumen naturale* или голосом совести, посредством которых Природа или Бог как источники авторитета для *jus naturale* или исторически раскрывающихся заповедей закона Божия предположительно заявляют о себе в самом человеке. Это никогда не делало человека ходячим воплощением права, но, напротив, оставляло дистанцию между ним и авторитетом права, который требовал ссгласия и повиновения. Природа или Бог как источники авторитета для позитивных законов

мыслились вечными и неизменными, сами же эти законы — подвижными и изменяемыми соответственно обстоятельствам, хотя и обладающими относительной устойчивостью в сравнении с гораздо более быстро меняющимися действиями человека; и этой своей устойчивостью законы были обязаны вечному присутствию в них высшего источника авторитета. И поэтому позитивные законы в первую очередь предназначены служить стабилизирующими факторами для вечно меняющихся побуждений людей.

В толковании тоталитаризма все законы превратились в законы движения. В речах нацистов о законе природы или большевиков о законе истории ни природа, ни история уже не служат стабилизирующими источниками авторитета для действий смертных; они выражают принцип движения как такового. В основе веры нацистов в расовые законы как выражение закона природы в человеке лежит идея Дарвина о человеке как продукте естественного развития, которое не обязательно останавливается с ныне существующим человеческим видом, точно так же как вера большевиков в классовую борьбу как выражение закона истории опирается на Марксову идею общества как продукта гигантского исторического процесса, движущегося по своим законам к концу исторического времени и собственному отрицанию.

На различие между историческим подходом Маркса и натуралистическим подходом Дарвина указывали достаточно часто, обычно по праву в пользу Маркса. Однако этим затмевался тот большой конструктивный интерес, который Маркс питал к теориям Дарвина; Энгельс не нашел лучшего комплимента научным достижениям Маркса, как назвать его «Дарвином истории»<sup>1</sup>. Если рассмотреть не реальные достижения одного и второго, но базовые философские принципы обоих, то окажется, что в конечном счете движение истории и движение природы суть одно и то же. Введение Дарвином идеи развития в природу, его упор на то, что по крайней мере в области биологии естественное движение не круговое, а однолинейно направленное в бесконечность прогресса, на деле означает, что природа, так сказать, торжественно входит в историю, что природная жизнь рассматривается как историческая. «Естественный» закон выживания наиболее приспособленных в той же мере является историческим законом и может, как таковой, быть использован расизмом, как и Марксов закон выживания наиболее прогрессивного класса. В то же время, Марксова

<sup>1</sup> В своей речи на похоронах Маркса Энгельс сказал: «Как Дарвин открыл закон развития органической жизни, так и Маркс открыл закон развития человеческой истории». Подобную же мысль можно найти в предисловии Энгельса к «Манифесту» издания 1890 г. и в его введении к «Происхождению семьи...», где он вполне сознательно ставит рядом «теорию эволюции Дарвина» и «Марксову теорию прибавочной стоимости».

классовая борьба как движущая сила истории представляет собой не более чем внешнее выражение развития производительных сил, которые в свою очередь берут начало в природной «трудоспособности» людей. Труд, согласно Марксу, есть не историческая, а природно-биологическая сила, высвобождаемая благодаря «обмену веществ между человеком и природой», посредством которого он сохраняет свою индивидуальную жизнь и воспроизводит вид<sup>2</sup>. Энгельс видел это родство между двумя главными идеями Маркса и Дарвина очень ясно, ибо признавал решающую роль понятия развития в обеих теориях. Громадный интеллектуальный сдвиг, который произошел в середине прошлого века, состоял в отказе от рассмотрения чего-либо «как оно есть» и в последовательном истолковании любого явления только как стадии дальнейшего развития. Называть ли движущую силу этого развития природой или историей — вопрос второстепенный. В этих идеологиях сам термин «закон» меняет свое значение: вместо выражения пределов устойчивости, в рамках которых могут варьировать человеческие действия и побуждения, он становится выражением чистого движения.

Тоталитарная политика, которая следовала предписаниям идеологий, разоблачила подлинную природу этих движений, поскольку ясно показала, что во всяком процессе движения не может быть конца. Если закон природы в том, чтобы устранять все вредное и не приспособленное к жизни, то, когда вдруг оказалось бы, что уже нельзя обнаружить новых категорий вредного и неприспособленного, это означало бы конец самой природы. Если закон истории в том, что в классовой борьбе определенные классы «отмирают», то этой самой человеческой истории пришел бы конец, если бы не формировались новые рудиментарные классы, с тем чтобы в свою очередь «отмереть» в руках тоталитарных правителей. Другими словами, закон непрерывного убийства, благодаря которому тоталитарные движения захватывают и реализуют власть, остался бы законом движения, даже если бы им когда-нибудь удалось подчинить своему правлению все человечество.

Под правовой формой правления мы понимаем государство, в котором нужны действующие позитивные законы, чтобы переводить неизбежное *jus naturale* или вечные заповеди закона Божия в жизненные нормы добра и зла. Только в этих нормах, в совокупности позитивных законов каждой страны *jus naturale* или божественные заповеди приобретают политическую реальность. В тоталитарном госу-

<sup>2</sup> «Труд, — пишет Маркс, — есть вечная естественная необходимость: без него не был бы возможен обмен веществ между человеком и природой, т.е. не была бы возможна сама человеческая жизнь» (Маркс К. Капитал. Т. 1. Отд. 1. Гл. 1. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 51).

дарстве это место позитивных законов занимает тотальный террор, призванный воплотить в реальность закон движения истории или природы. Подобно тому как позитивные законы хотя и определяют правонарушения, тем не менее независимы от их колебаний (отсутствие преступлений в любом обществе не делает законы излишними, а, напротив, означает их самую совершенную власть), так и террор при тоталитарном правлении перестает быть простым средством подавления оппозиции, хотя продолжает использоваться и в этих целях. Террор становится тотальным, когда он уже независим от любой оппозиции; он верховный правитель, когда никто уже не стоит на его пути. Если следование законам есть сущность нетиранических правлений, а беззаконие — сущность тирании, то террор есть сущность тоталитарного господства.

Террор — это осуществление внутреннего закона движения; его главная цель — обеспечить силам природы или истории свободный бег сквозь косную среду человечества, бег, не тормозимый никаким стихийным, самопроизвольным человеческим действием. Террор, как таковой, стремится «стабилизировать» людей, чтобы полностью высвободить эти силы природы или истории. Именно движение отбирает врагов человечества, против которых необходим террор; и никакому свободному действию человека, будь то протест или сочувствие, нельзя позволить вмешиваться в уничтожение «объективного врага» Истории или Природы, класса или расы. Понятия вины и невиновности утрачивают здесь всякий смысл: «виновен» тот, кто стоит на пути природного или исторического процесса, который уже вынес приговор «неполноценным расам», «не приспособленным к жизни» индивидам, «отмирающим классам и вырождающимся народам». Террор приводит в исполнение эти приговоры, и все вовлеченные в него оказываются субъективно невиновными: убитые, потому что они ничего не делали против системы, и убийцы, потому что они как бы и не убивали, а исполняли смертный приговор вынесенный неким высшим судом. Сами правители не претендуют на то, чтобы быть справедливыми или мудрыми, но хотят лишь исполнить веление исторических или природных законов; они не применяют законы к жизни, а исполняют имманентный закон движения. Террор подчинен закону, если таковым считать закон движения некой сверхчеловеческой силы, Природы или Истории.

Террор как исполнение закона движения (конечная цель которого — не благо людей или интересы отдельного человека, а выдуманное человечество) уничтожает индивидов во имя рода, приносит в жертву «части» во благо «целого». Надчеловеческая сила Природы или Истории имеет свое безличное начало и свой безличный конец, и помешать

ей могут только новое начало и личный конец, фактически представленные в жизни каждого человека.

Позитивные законы при конституционном правлении налагают ограничения и устанавливают каналы коммуникаций в отношениях между людьми, устоявшемуся сообществу которых постоянно угрожают нарождающиеся в нем новые люди. С каждым новым рождением в мир приходит новое начало и потенциально возникает новый мир. Стабильность законов противопоставляется непрестанному движению и всех дел человеческих, которое никогда не останавливается, куда люди рождаются и умирают. Эти законы вводят в известные рамки каждое новое начинание и в то же время обеспечивают свободу его развития, потенциальное появление чего-то нового и непредсказуемого. Ограничения, налагаемые позитивными законами, делают для политического существования человека то же, что память для его исторического существования: они гарантируют предсуществование некоего общечеловеческого мира, реальность какой-то исторической непрерывности, которая превосходит продолжительность жизни каждого поколения, переваривает все новые явления и подпитывается ими.

Тотальный террор потому так легко принимают по ошибке за симптом тиранической формы правления, что тоталитарный режим на первых порах вынужден вести себя подобно тирании и разрушать условные правовые ограничения. Однако тотальный террор отнюдь не влечет за собой мир полного беззаконного произвола, он свирепствует не ради торжества чьего-то своеволия или деспотической власти одного человека над другими и меньше всего — просто ради развязывания войны всех против всех. Он заменяет правовые границы и каналы коммуникаций между людьми поистине стальными скрепами, которые так сильно стягивают их, что людское многообразие как бы исчезает в одном человеке гигантских размеров. Убрать все преграды закона между людьми, как это делает тирания, — значит отнять у человека его законные вольности и разрушить свободу как живую политическую реальность, ибо неприкосновенное пространство вокруг каждого, огражденное законами, есть жизненное пространство свободы. Тотальный террор использует этот испытанный инструмент тирании, но вдобавок дотла разрушает даже ту беззаконную, лишенную защитных барьеров пустыню страха и подозрения, которую оставляет за собой тирания. Та пустыня, несомненно, уже не была жизненным пространством свободы, но еще оставляла некоторый простор для поведения и поступков ее обитателей, гонимых страхом и подозрениями.

Сдавливая людей общим гнетом, тотальный террор уничтожает всякие расстояния между ними; в сравнении с условиями существования в его железных тисках даже пустыня тирании, поскольку она

все-таки оставляла какое-то пространство для самодеятельности, кажется гарантией свободы. Тоталитарный режим не только урезает права или отменяет основные свободы, но и, насколько позволяет судить о нем наше ограниченное знание, вытравляет из людских сердец любовь к свободе. Он разрушает самое необходимое условие всякой свободы, которая по сути своей есть способность к вольному движению, не могущая существовать без определенного социального пространства для каждого.

Тотальный террор, эта квинтэссенция тоталитарного правления, осуществляется ни для людей, ни против них. Он призван стать несравнимым по мощи инструментом для ускорения движения сил природы или истории. Это движение, развивающееся по своим собственным законам, в конечном счете нельзя затормозить. На долгой исторической дистанции его силы всегда окажутся мощнее самых больших усилий воли и действий людей. Однако оно может быть замедлено, и на деле почти неизбежно замедляется, из-за свободы человека, которую даже тоталитарные правители не в состоянии полностью отрицать, ибо эта свобода — вещь ненужная и капризная, как им представляется, — частью совпадает с простым фактом, что люди рождаются и что тем самым каждый человек потенциально становится началом обновления и в каком-то смысле начинает мир заново. С тоталитарной точки зрения этот факт рождения и смерти людей должен считаться досадной помехой высшим силам. И потому террор, как покорный слуга природного или исторического движения, должен устранять из этого процесса не только все проявления свободы в каком-то содержательном конкретном смысле, но и сам источник свободы, таящийся в факте рождения человека и в его способности начинать нечто новое. В объединении людей «железом и кровью» террора, уничтожающего всякое их многообразие и превращающего многих в неколебимого Одного, который будет действовать безошибочно, как если бы сам он стал частью неумолимого течения истории или природы, был найден способ не только высвободить исторические и природные силы от помех частных человечков, но и придать им такое ускорение, какого сами по себе они никогда бы не приобрели. Говоря практически, это означает, что террор без промедления приводит в исполнение смертный приговор, который, как доказано, уже вынесен Природой расам или индивидам, «не приспособленным к жизни», либо Историей — «отмирающим классам», не дожидаясь, пока природа или история сделают это сами более медленно и менее эффективно.

Может показаться, что в таком понимании правления, когда самым главным в нем стало поддержание самодовлеющего движения, найдено решение для одной очень старой проблемы политической

мысли, похожее на уже упоминавшееся решение проблемы расхождения между формальной законностью (легальностью) и справедливостью. Если определять сущность правления как следование законам и если понимать эти законы как стабилизирующие силы общественной жизни людей (как это всегда и было со времен Платона, в своих «Законах» признавшего источником ограничивающего законодательства верховного бога Зевса), то встает проблема, как возможно движение устойчивого политического организма и установленного образа действий его граждан. Законы ставят определенные ограничения действиям, но не предписывают их содержание; великое достоинство, но также и серьезное осложнение в работе законов в свободных обществах, что они говорят только о том, чего не следует делать, но никогда о том, что человек должен делать. Необходимого самодвижения политического организма никогда не постигнуть в его сущности, хотя бы потому, что эту сущность, опять-таки с Платона, всегда определяли с точки зрения ее неизменности. Продолжительность существования казалась одним из самых убедительных свидетельств доброкачественности правления. Еще для Монтескье главным доказательством того, что тирания — плохая форма правления, была ее предрасположенность к разрушению изнутри, к самопроизвольному упадку, тогда как все остальные формы правления разрушаются под воздействием внешних обстоятельств. И потому определение форм правления всегда нуждалось в том, что Монтескье называл «принципом действия», который, будучи разным в каждой форме правления, равно вдохновлял бы правительство и граждан в их общественной деятельности и служил бы критерием, помимо чисто негативной мерки формального соблюдения законов, для оценки всякого действия в сфере человеческого общежития. Такими руководящими принципами и критериями действия являются, согласно Монтескье, честь в монархии, нравственная добродетель в республике и страх в тирании.

Совершенное тоталитарное правление, в котором все люди стали Одним Человеком, в котором все действия имеют своей целью ускорение движения природы или истории, в котором каждый единичный акт — это исполнение смертного приговора, уже вынесенного Природой или Историей, — другими словами, в условиях, когда полностью полагаются на террор для поддержания постоянства движения, никакой принцип действия, отличный от сущности движения, не нужен вообще. И все же, пока тоталитаризм еще не захватил всю землю и железной цепью террора не сковал отдельных людей в единое человечество, террор в своей двойной функции — сущности тоталитарного правления и принципа, но не человеческого действия, а абстрактного движения — не может быть полностью реализован. Как одной законнос-

ти при конституционном правлении недостаточно, чтобы вдохновлять и направлять человеческие действия, точно так же и одного террора при тоталитарном правлении недостаточно для подобных целей.

Хотя при ныне существующих условиях тоталитарное господство вместе с другими формами правления все еще испытывает потребность в каком-то ориентире для поведения своих граждан в общественных делах, оно не нуждается и, строго говоря, даже не смогло бы использовать классический принцип действия, поскольку оно хочет уничтожить именно способность человека действовать самостоятельно. В условиях тотального террора даже страх больше не может служить советчиком в выборе линии поведения, ибо террор избирает свои жертвы вне всякой связи с индивидуальными действиями или мыслями, считаясь исключительно с объективной необходимостью природного или исторического процесса. При тоталитаризме страх, вероятно, куда более частое явление, чем когда-либо прежде; но он потерял здесь всякую практическую целесообразность, ибо направляемые им действия уже не могут помочь человеку избежать опасностей, вызвавших этот страх. То же справедливо и в отношении выражения сочувствия или поддержки режиму; ибо тотальный террор не только свои жертвы отбирает по объективным критериям, но и своих палачей-исполнителей он избирает с полнейшим безразличием к их убеждениям и симпатиям. Последовательное устранение личных убеждений как мотива действия стало повседневной практикой в Советской России и ее странах-сателлитах. Целью тоталитарного воспитания всегда было не привитие каких-либо убеждений, а разрушение способности к их формированию вообще. Введение полностью объективных критериев в систему подбора кадров для войск СС было великим организационным изобретением Гимmlера: он подбирал кандидатуры по фотографиям, руководствуясь исключительно расовыми признаками. Природа сама решала, не только кто должен быть уничтожен, но и кому уготована роль палача.

Любой руководящий принцип поведения, взятый из мира человеческих действий, будь то добродетель, честь или страх, перестает быть необходимым или полезным для приведения в движение политического организма, который уже не просто применяет террор как средство устрашения, а сама сущность которого есть террор. На место указанных принципов действия террор ввел в общественную жизнь совершенно новый принцип, который вообще пренебрегает человеческой волей к действию и взывает к настоятельной необходимости некоего интуитивного проникновения в закон движения, согласно которому и функционирует террор и от которого, следовательно, зависят все частные судьбы.

Жителей тоталитарных стран ввергают в ловушку природного или исторического процесса ради его ускорения, и, как таковые, они могут быть либо исполнителями, либо жертвами присущего ему внутреннего закона. Этот процесс внезапно может решить, что те, кто сегодня уничтожил расы или отдельных людей или представителей отмирающих классов, завтра сами должны быть принесены в жертву. Чтобы управлять поведением своих подданных, тоталитарному режиму нужно одинаково хорошо подготовить каждого и на роль жертвы, и на роль палача. Эту двустороннюю подготовку, заменяющую какой-то прежний принцип действия, осуществляет идеология.

Идеологии, т.е. всяческие «измы», могущие, к удовольствию своих приверженцев, объяснить все и вся, выводя любое событие из единственной предпосылки, суть явление очень недавнего происхождения, и долгое время они играли ничтожную роль в политической жизни. Только, так сказать, задним умом можно увидеть в них определенные черты, которые сделали их столь опасно пригодными для тоталитарных режимов. Вряд ли до Гитлера и Сталина этот огромный политический потенциал идеологий был известен.

Идеологии отличаются «научностью»: они сочетают естественнонаучный подход с философскими выводами и претендуют на звание научной философии. Само слово «идеология», по-видимому, подразумевает, что идеи могут стать предметом науки, подобно тому как животные есть предмет зоологии, и что вторая часть — «логия» в слове «идеология», как и в слове «зоология», указывает не на что иное, как на *logoi*, научные высказывания о своем предмете. Если бы дело обстояло таким образом, то в этом случае идеология была бы псевдонаукой и псевдофилософией, разом преступившей и границы науки, и границы философии. Деизм, например, был бы тогда идеологией, рассматривающей идею Бога, которой занимается философия, на манер науки теологии, для которой Бог есть реальность откровения. (Теология, не основанная на откровении как живой реальности, а трактующая Бога как идею, была бы такой же нелепой, как и зоология, которая больше не уверена в физическом, осязаемом существовании животных.) Однако мы знаем, что это только часть истины. Деизм, хотя он и отрицает божественное откровение, не просто высказывает «научные» суждения о Боге, который есть только «идея», но использует идею Бога, чтобы объяснить ход событий в мире. Эти «идеи» разных «измов» — раса в расизме, Бог в деизме и т.п. — никогда не составляют предмета идеологий, и суффикс «логия» никогда не обозначает просто некую совокупность «научных» высказываний.

Идеология есть то, что буквально выражает это название: она есть логика идеи, «идео-логика». Ее предмет — история, к которой

применена «идея»; результатом этого применения оказывается не совокупность утверждений о чем-то, что реально существует, а развертывание логики какого-то процесса в состоятельный ход событий так, как будто он следовал тому же «закону», что и логическое изложение ее «идеи». Идеологии претендуют на познание мистерии исторического процесса как целого — тайн прошлого, путаницы настоящего и неопределенностей будущего, — исходя только из внутренней логики соответствующих своих идей.

Идеологии никогда не интересуются чудом бытия в настоящем. Они настроены исторически и занимаются становлением и гибелью, подъемом и упадком культур, даже если пытаются объяснить историю с помощью какого-то «закона природы». Слово «раса» в расизме вовсе не свидетельствует о подлинном интересе к человеческим расам как области научного исследования, но представляет собой «идею», посредством которой движение истории объясняется как один последовательный процесс.

«Идея» в идеологии — это не умопостигаемая вечная сущность Платона и не регулятивный принцип разума Канта — она стала инструментом объяснения. Для идеологии история не есть нечто высветиваемое идеей (это означало бы, что история видится *sub specie* какого-то вечного идеала, который сам находится вне исторического потока), а нечто такое, что можно вычислить с помощью идеи. «Идея» годится на эту новую для себя роль благодаря ее собственной «логике», по которой историческое движение есть следствие самой «идеи» и не нужен никакой внешний фактор, чтобы привести ее в движение. Так, расизм есть вера, будто существует необходимый процесс исторического движения, внутренне присущий самой идее расы, а деизм — это вера, что движение как некая внутренняя тенденция имманентно понятию Бога.

Движение истории и логический процесс развертывания этого понятия предполагаются соответствующими друг другу, так, что все происходящее случается согласно логике одной «идеи». Но единственно возможное движение в сфере логики есть процесс дедукции, процесс выведения из исходной посылки. Диалектическая логика (с ее движением от тезиса через антитезис к синтезу, который в свою очередь становится тезисом следующего диалектического движения), когда за нее ухватывается какая-нибудь идеология, в принципе не отличается от вышеописанного образца: первый тезис становится здесь посылкой, и выгода диалектики для идеологического объяснения в том, что ее ухищрения способны изобразить и оправдать действительные противоречия как стадии единого последовательного движения.

Как только к идее применяют логику как некое самодвижение мысли, а не как необходимое средство контроля мышления, эта идея превращается в посылку. При идеологических объяснениях мира эта операция использовалась задолго до того, как она стала столь зловеще плодотворной для тоталитарной аргументации. Это чисто негативное насильствие логики, запрещение противоречий, стало «продуктивным», поскольку звенья мысленной цепи можно было предлагать и навязывать человеческому сознанию, просто делая логические выводы как в обычном дедуктивном доказательстве. В этот процесс доказательства не может вмещаться ни новая идея (которая могла бы стать еще одной посылкой с другой цепью следствий), ни новый опыт. Идеологии всегда полагают, что одной идеи достаточно для объяснения всего, если развивать выводы из этой исходной посылки, и что любой опыт ничему не учит, так как все уже содержится в этом гладком процессе логического дедуцирования. Опасность променять неизбежную проблематичность философской мысли на тотальное объяснение, предлагаемое той или иной идеологией с ее *Weltanschauung*, — даже не столько в риске падения до каких-то обычно вульгарных и всегда некритических предположений, сколько в промене свободы, неотъемлемой от способности человека мыслить, на смирительную рубашку логики, которой человек может сам себя изнасиловать почти так же беспощадно, как это сделала бы внешняя сила.

*Weltanschauungen* и идеологии XIX в. не были сами по себе тоталитарными, и хотя расизм и коммунизм стали главными идеологиями XX в., они были в принципе не «более тоталитарны», чем любые другие. Тоталитарная чума приключилась с ними потому, что элементы опыта, на которые они первоначально опирались, — борьба между расами за мировое господство и борьба между классами за политическую власть в части стран — оказались политически более важными, чем элементы других идеологий. В этом смысле идеологическая победа расизма и коммунизма над всеми остальными «измами» была предрешена еще до того, как тоталитарные движения избрали именно эти идеологии. В то же время, все идеологии содержат тоталитарные элементы, однако последние полностью развиваются только при тоталитарных движениях, что создает обманчивое впечатление, будто только расизм и коммунизм тоталитарны по своей сути. Истина же скорее в том, что действительная природа всех идеологий раскрывается только в той роли, какую данная идеология играет в механизме тоталитарного господства. С этой точки зрения можно выделить три специфически тоталитарных свойства всякого идеологического мышления.

Во-первых, со своими претензиями на тотальное объяснение идеологии склонны объяснять не то, что есть, а то, что находится в

становлении, что только нарождается или же, наоборот, отмирает. Во всех случаях они интересуются исключительно движением, иначе говоря, историей в привычном смысле этого слова. Идеологии всегда ориентированы на историю, даже когда, как в случае с расизмом, они по видимости исходят из натуралистических предпосылок; природа попросту служит объяснению исторического, если исторические проблемы сводят к природным. Тотальные притязания идеологий обещают объяснить весь ход исторических событий, включая полное объяснение прошлого, полное понимание настоящего, надежное предсказание будущего.

Во-вторых, стремясь к тотальному объяснению, идеологическое мышление становится независимым от всякого опыта, на котором оно ничему не способно научиться, даже если это опыт совсем недавних событий. Тем самым идеологическое мышление освобождается от реальности, воспринимаемой нашими пятью чувствами, и настаивает на какой-то «более истинной» реальности, скрывающейся за всеми воспринимаемыми явлениями, правящей ими из этого сокровенного тайника и требующей шестого чувства для своего распознавания. Этим шестым чувством как раз и наделяет идеология, то особое идеологическое натаскивание, которым заняты образовательные учреждения, созданные с единственной целью — целью муштровки «политических солдат» в нацистских *Ordensburgen* или школах Коминтерна и Коминформа. Пропаганда тоталитарного движения также служит освобождению мысли от опыта и реальности; она всегда старается отыскать какой-то сокровенный смысл в каждом заметном общественном событии, подозревая некие тайные намерения за каждым общественно значимым политическим актом. После того как движение пришло к власти, оно приступает к изменению реальности в соответствии со своими идеологическими лозунгами. На смену идеи враждебного окружения приходит идея заговора, и это порождает умонастроение, в котором действительность — реальную вражду или реальную дружбу — люди переживают и осознают уже не в собственном значении этих понятий, а автоматически примысливают к ним что-то еще.

В-третьих, так как не во власти идеологий на самом деле изменять реальность, они достигают освобождения мысли от опыта определенными методами доказательства. Идеологическое мышление выстраивает факты, применяя чисто логическую процедуру, которая начинается с аксиоматически принятой посылки и дедуцирует из нее все остальное, т.е. это мышление протекает с последовательностью, не существующей нигде в мире действительности. Это дедуцирование может быть логическим или диалектическим; в обоих случаях оно подразумевает последовательный процесс рассуждения, который,

просто в силу процессуального характера такого мышления, предполагается способным понять и движение надчеловеческих, природных или исторических процессов. Понимание достигается мысленной имитацией, формально-логической или диалектической, «научно» установленных законов движения, с которыми благодаря этому процессу имитации отождествляется понимающее движение мысли. Идеологическая аргументация, будучи всегда разновидностью логической дедукции, соответствует двум ранее упомянутым свойствам идеологии — наличию идеи движения и освобождению от уз реальности и опыта — во-первых, потому что движение ее мысли не вырастает из опыта, а само порождается из однажды принятого и неизменного мысленного материала, и, во-вторых, по той причине, что она превращает один-единственный момент, вырванный из всего потока нашего реального опыта, в аксиоматическую посылку, после чего процесс аргументации остается в полной изоляции от любого дальнейшего опыта. Раз эта посылка, отправная точка рассуждения установлена, опыт более не мешает идеологическому мышлению, и никакая реальность не сможет на него повлиять.

Прием, который использовали оба тоталитарных правителя, чтобы превратить свои идеологии в инструменты, имея которые любой из их подданных мог бы заставить себя примириться с террором, был обманчиво прост и непритязателен: они трактовали эти идеологии абсолютно серьезно, гордясь — один — своим высшим даром рассуждать с «ледяной холодностью» (Гитлер), другой — «беспощадностью своей диалектики», доводя идеологические выводы до крайней логической последовательности, которая постороннему наблюдателю казалась нарочито «примитивной» и абсурдной: «умирающий класс» составляют осужденные на смерть люди; «не приспособленные к жизни» расы должны быть уничтожены и т.д. Те же, кто признавал существование таких явлений, как «отмирающие классы», но не выводил из этого необходимости убивать их представителей, как и те, кто соглашался, что право на жизнь как-то связано с расой, но не делал отсюда заключения о необходимости убивать «неприспособленные расы», явно были либо глупцами, либо трусами. Эта строгая логичность как руководство к действию пронизывает всю практику тоталитарных движений и режимов. Заслуга в этом целиком принадлежит Гитлеру и Сталину, которые, хотя и не внесли ни единой новой мысли в идеи и пропагандистские лозунги своих движений, уже по одной этой причине должны считаться величайшими идеологами.

Что отличало этих новых тоталитарных идеологов от их предшественников, так это то, что больше всего их привлекала не «идея» идеологии (борьба классов и эксплуатация рабочих или борьба между

расами и забота о германских народах), а сам логический процесс, который можно было развить из нее. Согласно Сталину, не идея, не ораторское искусство, а «неопровержимая сила логики» овладевала ленинской аудиторией. Сила, которая, по мысли Маркса, возникает, когда идея овладевает массами, была обнаружена не в самой идее, но в логическом процессе, который подобен «каким-то всемогущим щупальцам, которые охватывают тебя со всех сторон клещами и из объятий которых нет мочи вырваться: либо сдавайся, либо решайся на полный провал»<sup>3</sup>. Эта сила могла полностью проявить себя, только когда начиналось осуществление идеологических целей: построение бесклассового общества или выведение расы господ. В процессе этого осуществления то первоначальное содержание, на котором строились идеологии, пока они так или иначе были вынуждены апеллировать к массам, — эксплуатация рабочих или же национальные устремления Германии — постепенно исчезало, пожираемое, так сказать, самим процессом: в полной согласии с «ледяной холодностью мышления» или «неопровержимой силой логики» рабочие во времена большевиков лишились даже тех прав, которыми они пользовались при угнетательском царском режиме, а немецкий народ пережил такого рода войну, которая абсолютно не считалась с минимальными условиями выживания немецкой нации. Не просто в предательстве ради своекорыстных интересов или жажды власти, а в самой природе идеологической политики надо искать объяснение тому, что реальное содержание идеологии (рабочий класс или германские народы), которое первоначально несло определенную «идею» (классовой борьбы как закона истории или же борьбы между расами как закона природы), было поглощено логикой проведения этой идеи в жизнь.

Подготовки жертв и палачей вместо принципа действия Монтескье требует от тоталитаризма не идеология, как таковая (расизм или диалектический материализм), а его внутренняя логика. Наиболее убедителен в этом отношении аргумент, который очень любили и Гитлер, и Сталин: нельзя сказать А, не сказав Б и В и так далее, до конца убийственного алфавита. Эта насильственно-принудительная логичность, по-видимому, имеет своим источником страх самопротиворечия. Когда во время сталинских чисток их исполнители преуспевали в получении от своих жертв признаний в преступлениях, которых те никогда не совершали, они использовали главным образом этот глубокий страх противоречия. Рассуждение строилось примерно так: все мы

<sup>3</sup> Сталин И. В. О Ленине. Речь на вечере кремлевских курсантов 28 января 1924 г. // Сталин И. В. Соч. Т. 6. М., 1954. С. 55. Интересно отметить, что сталинская «логика» была в числе тех немногих его качеств, которые удостоились похвалы Хрущева в его разоблачительной речи на XX съезде партии.

согласны с посылкой, что объективно история — это борьба классов, и признаем роль партии в руководстве этой борьбой. Отсюда вытекает, что со стратегически-исторической точки зрения партия всегда права (по словам Троцкого: «Можно быть правым только вместе с партией и через партию, ибо история не дала другого пути быть правым»). В данный исторический момент, в полном соответствии с законом истории, неизбежны определенные преступления, за которые партия, зная конечный результат действия этого закона, должна карать. Поэтому партии нужны преступники, ответственные за эти преступления. Однако может так случиться, что, хотя партия и знает о совершающихся преступлениях, ей плохо известны конкретные их виновники. Тем не менее гораздо важнее установления истинных преступников прикончить сами преступления, ибо без этого История не продвинется вперед, а будет топтаться на месте. И потому в любом случае — совершили ли вы действительное преступление или были призваны партией сыграть роль преступника — вы объективно становились врагом партии. Если вы не сознаетесь в преступлениях, то тем самым вы отказываетесь помогать движению Истории через партию и превращаетесь в ее реального врага. Эта убийственная логика заставляет вас поверить, что, отказываясь сознаться, вы сами себе противоречите и тем обесмысливаете всю свою жизнь; однажды сказанное вами А неумолимо определяет всю Вашу жизнь через ряд логически порождаемых им следствий — Б, В и т.д.

Для мобилизации людей даже тоталитарные правители частично полагаются на самопринуждение изнутри, все еще нуждаясь в нем, и это навязчивое внутреннее самопринуждение обеспечивает тиранию логичности, против которой ничто не устоит, кроме великой способности людей обновляться, начинать что-то иное и новое. Тирания логичности начинается с подчинения ума логике как некоему бесконечному процессу, которому человек может доверить производство своих мыслей. Этим актом подчинения человек предаёт свою внутреннюю свободу, так же как он отрекается от свободы передвижения, когда покоряется внешней тирании. Свобода как внутреннее качество человека тождественна его способности начинать и творить новое, подобно тому как свобода в качестве политической реальности тождественна существованию некоторого пространства между людьми для их самочинного движения. Это начало не подвластно никакой логике, никакой самой убедительной дедукции, ибо каждая логико-дедуктивная цепь предполагает свое свободное начало в форме исходной посылки. Как террору нужно, чтобы с рождением каждого нового человеческого существа в мире не появлялось и не заявляло о себе новое самостоятельное начало, так и самообуздывающую силу абсолютной ло-

гичности пускают в ход, чтобы никто никогда даже не начал по-настоящему мыслить, ибо мышление как самый свободный и чистый вид человеческой деятельности есть прямая противоположность автоматически-принудительному процессу дедукции. Тоталитарный режим может чувствовать себя в безопасности, пока он способен мобилизовать силу воли самого человека, чтобы заставить его влиться в то гигантское движение Истории или Природы, которое, предположительно, использует человечество как свой материал и не знает ни начала, ни конца, ни рождения, ни смерти.

Итак, с одной стороны, внешнее принуждение тотального террора, который железом и кровью сбивает в одно стадо массы изолированных индивидов и одновременно поддерживает их в этом мире, который давно стал для них пустыней, и — с другой — самопринудительная сила идеологии, логической дедукции, которая по отдельности готовит к террору каждого индивида в его одиночестве и разобщенности со всеми другими, — эти два вида принуждения соответствуют друг другу и нуждаются друг в друге, чтобы запустить управляемую террором людскую машину и поддерживать ее в постоянном движении. Как террор, даже в его дототальной, еще просто тиранической форме, разрушает все взаимоотношения между людьми, так и самопринуждение идеологического мышления разрушает все его связи с реальностью. Подготовка к террору успешно завершена, если люди потеряли контакт со своими ближними и с реальностью вокруг себя, ибо вместе с этими контактами человек теряет способность мыслить и учиться на опыте. Идеальный подданный тоталитарного режима — это не убежденный нацист или убежденный коммунист, а человек, для которого более не существуют различия между фактом и фикцией (т.е. реальность опыта) и между истиной и ложью (т.е. нормы мысли).

Вопрос, поставленный нами в начале этих рассуждений и к которому мы теперь возвращаемся, — это вопрос о том, какой вид основополагающего опыта из сферы совместной жизни людей составляет дух тоталитарной формы правления, сущность которой — террор, а принцип действия — логичность идеологического мышления. Факт, что такая комбинация никогда прежде не использовалась в меняющихся формах политического господства, очевиден. И все же тот базисный опыт, на который опирается тоталитаризм, должен быть известным и не чуждым человеку, так как даже эта самая «оригинальная» из всех политических форм придумана людьми и как-то отвечает их потребностям.

Как часто замечали, с помощью террора можно абсолютно управлять только теми людьми, которые изолированы и разобщены, и потому одна из первейших задач всех тиранических правлений — добиться

такого разобщения. Изоляция от ближнего может стать началом террора; она, без сомнения, самая благоприятная для него почва и всегда его результат. Эта изолированность, или разобщенность, людей, так сказать, предтоталитарна. Ее признак — их бессилие, ибо сила всегда исходит от людей, «действующих согласованно» (Бёрк); разобщенные люди бессильны по определению.

Человеческая изолированность и бессилие, т.е. глубокая неспособность действовать, всегда были характеристиками тираний. При тираническом правлении политические контакты между людьми оборваны и человеческие способности к действию и проявлению силы расстроены. И тем не менее не все контакты между людьми порваны, как и не все человеческие способности разрушены. Остается незатронутой вся сфера частной жизни с ее возможностями для выдумки, мысли и накопления опыта. Но мы знаем, что тяжкий гнет тотального террора не оставляет места для такого рода частной жизни и что самопринуждение тоталитарной логикой разрушает человеческую способность к опыту и мысли так же верно, как и его способность к действию.

Что мы называем изолированностью или разобщенностью в политической сфере, именуется одиночеством в сфере межчеловеческого общения. Изоляция и одиночество — не синонимы. Я могу быть изолированным (т.е. быть в ситуации, в которой я не могу действовать, потому что рядом со мной нет никого), не будучи одиноким; и я могу быть одиноким (как в случае, когда ощущаешь себя покинутым всеми, лишенным всякого человеческого сочувствия), не будучи изолированным. Изоляция — тупик, в который загнаны люди, когда разрушена политическая сфера их жизнепроявления, где они действуют вместе в общих интересах. И все же изоляция, хотя она и может быть разрушительной для энергии и способности действовать, не только не вредна, но даже нужна для всех видов так называемой производительной деятельности людей. Человек как *homo faber* склонен самоизолироваться, уединяться со своей работой, временно покидая сферу политического. Делание, изготовление вещей (*poiesis*), отличающееся от действия (*praxis*), с одной стороны, и абстрактного труда, с другой, всегда происходит в некоторой изоляции от общих интересов, независимо от того, создается ли произведение ремесла или искусства. В такого рода изоляции человек все еще сохраняет контакт с миром как искусственной средой, созданной людьми. И только когда разрушена простейшая форма проявления творческой способности человека, каковой является его потребность добавлять в общий котел нечто свое, изоляция становится совершенно непереносимой. Это может случиться и в таком мире, где главные ценности — трудовые, иначе говоря, там, где все виды человеческой деятельности преврати-

лись в процесс труда. При таких условиях человеку оставлено только одно направление трудовых усилий, сводящихся к голым усилиям сохранить жизнь, а связь с миром как очеловеченной искусственной средой оборвана. Изолированный человек, который потерял свое место в царстве политического действия, теряет также власть и над миром вещей, поскольку его больше не признают *homo faber*, а рассматривают как *animal laborans*, чей необходимый «обмен веществ с природой» никого не интересует. И тогда изоляция переходит в одиночество. Тирания, опирающаяся на изоляцию, в общем оставляет производительные способности человека в неприкосновенности; но тирания над «трудящимися» как какими-то одномерными существами, пример чему мы находим в управлении рабами в античности, автоматически стала бы управлением не только изолированными, но и одинокими людьми и тяготела бы к тоталитаризму.

Если изоляция касается только политической стороны жизни, одиночество затрагивает человеческую жизнь в целом. Тоталитарный режим, подобно всем тираниям, определенно не мог бы существовать, не разрушая обычную общественную жизнь, т.е. не губя изоляцией политические способности людей. Однако тоталитарное господство как форма правления ново тем, что оно не удовлетворяется этой изоляцией, а разрушает также и частную жизнь. Оно опирается на одиночество, на опыт тотального отчуждения от мира, опыт, принадлежащий к числу самых глубоких и безысходных переживаний человека.

Всеобщее одиночество как условие для распространения террора, этой сущности тоталитарного правления, и для подавляющего влияния идеологии или убийственной логичности, подготовлявшей будущих палачей и жертв террора, тесно связано с потерей почвы под ногами и ощущением своей ненужности, что стало бичом современных масс с началом промышленной революции и приобрело особую остроту с наступлением империализма в конце прошлого века и крушением политических институтов и социальных традиций в наше время. Потерять почву и прочные корни — значит не иметь своего места в мире, признанного и гарантированного другими; быть ненужным означает вовсе не принадлежать к миру. Беспочвенность может быть предварительным условием для состояния ненужности, так же как изоляция может (но не должна) быть предварительным условием для состояния одиночества. Взятое само по себе, без учета его недавних исторических причин и новой роли в политике, одиночество одновременно и противно основным условиям человеческого существования, и реально как один из глубочайших опытов каждой человеческой жизни. Даже опыт восприятия чувственно данного материального мира зависит от наших контактов с другими людьми, от общего здравого смысла, который регулирует и

контролирует все остальные смыслы и без которого каждый из нас был бы ограничен лишь показаниями собственных органов чувств, ненадежными и обманчивыми как самостоятельный источник опытных данных. Только потому, что мы обладаем *common sense*, здравым смыслом, иначе говоря, только потому, что не один человек, а множество людей населяет землю, мы можем доверять нашему непосредственному чувственному опыту. Однако стоит почаще напоминать себе, что однажды мы покинем этот наш общий мир, который, как и до нас, будет идти своим путем и для чьей длительности мы не нужны, чтобы понять сущность одиночества, испытать чувство заброшенности в мире, оставленности всеми и всем.

Экзистенциальное одиночество — это не уединение. Для уединения всего-навсего требуется жить одному, тогда как одиночество наиболее остро проявляется в обществе других. Если не считать случайных замечаний — обычно в форме парадоксов, подобных изречению Катона (цит. по: Cicero. *De Re Publica*. 1. 17): *Numquam minus solum esse quam cum solus esset* («Никогда он не был меньше один, чем когда он был один» или лучше: «Меньше всего он был одиноким наедине с собой»), — то, по-видимому, первым, кто увидел различие между одиночеством и уединением, был Эпиктет, римский освобожденный раб, философ греческого происхождения. Его открытие некоторым образом было случайным, ибо главный интерес для него представляло не одиночество или уединение, а возможность быть свободным одному (*monos*) в смысле абсолютной независимости. По Эпиктету (*Dissertationes*. Кн. 3. Гл. 13), одинокий человек (*eremos*) тот, кто находится в окружении других людей, с кем он не может наладить общения или перед чьей враждебностью он незащищен. Уединенный человек, напротив, не окружен другими и потому «может пребывать наедине с собой», так как люди обладают способностью «разговаривать сами с собою». Другими словами, в уединении я нахожусь «своей волей», вместе с моим «Я» и тем самым как бы вдвоем-в-одном-лице, тогда как в одиночестве я действительно один, покинутый всеми. Строго говоря, мышление возможно только в уединении и есть внутренний диалог нашего «Я» с самим собой; но этот диалог двух-в-одном не теряет контакта с миром людей, моих ближних, поскольку они представлены в том моем «Я», с которым я веду мысленный диалог. Проблема уединения состоит в том, что эти двое-в-одном нуждаются в других, с тем чтобы вновь стать одним — одной неповторимой индивидуальностью, которую нельзя спутать ни с какой другой. В подтверждении своей индивидуальности, в определении нашей личности мы целиком зависим от других людей; и именно в том великая спасительная благодать человеческого братства для людей в уединении,

что она снова делает их «цельными», спасает от бесконечного мысленного диалога, в котором человек всегда остается раздвоенным, и восстанавливает полноту и определенность индивидуальности, заставляющей человека говорить своим единственным неповторимым голосом, принадлежащим только ему и никому другому.

Уединение может стать одиночеством; это происходит, когда полностью предоставленного самому себе человека покидает и его собственное «Я». Уединенный человек всегда оказывался под угрозой одиночества, когда больше нигде не находил искупительного милосердия собратьев по человечеству, которые спасли бы его от раздвоенности, неуверенности и сомнения. Похоже, что исторически только в XIX в. эта опасность стала достаточно большой, чтобы ее заметили и описали. Она заявила о себе со всей отчетливостью, когда философы, для которых (и только для них) уединение — это образ жизни и условие работы, больше не удовлетворялись фактом, что «философия существует для немногих», и начали настаивать, что их вообще никто «не понимает». Показателен в этой связи анекдот о Гегеле, который вряд ли могли бы рассказывать о любом другом великом философе до него. Как передают, на смертном одре он обронил фразу: «Никто меня не понимал кроме одного, да и тот понимал не так». И наоборот, всегда есть вероятность, что одинокий человек найдет себя и начнет уединенный мысленный диалог с собой. По-видимому, это случилось с Ницше в Сильс-Мария, когда ему открылся замысел «Заратустры». В двух поэмах («*Sils Maria*» и «*Aus hohen Bergen*») он повествует о напрасных ожиданиях и великом томлении Одинокого, как вдруг: «*um Mittag war's, da wurde Eins zu Zwei.../ Nun feiern wir, vereinten Siegs gewiss,/ das Fest der Feste;/ Freund Zarathustra kam, der Gäst der Gast!*» (Был полдень, когда Один стал Двумя... Уверенные в нашей общей победе, мы празднуем пир пиров; пришел друг Заратустра, гость гостей).

Совершенно невыносимым делает одиночество утрата собственного «Я», которое возможно реализовать в уединении, но подтвердить и удостоверить его подлинность способно только заслуживающее доверия сообщество равных ему. Утратив «Я», человек теряет и доверие к самому себе как внутреннему собеседнику, и то элементарное доверие к миру, без которого вообще не возможен никакой опыт. «Я» и мир, способности к мышлению и восприятию опыта теряются одновременно.

Единственная способность человеческого ума, которая для своего нормального функционирования не нуждается ни в «Я», ни в другом, ни во внешнем мире и которая так же независима от опыта, как и от мышления, есть способность логического рассуждения, исходные посыпки которого самоочевидны. Элементарные правила неоспоримо яс-

ного доказательства, тот трюизм, что дважды два четыре, не могут быть поколеблены даже в условиях абсолютного одиночества. Это единственная надежная «истина», на которую еще могут положиться люди, после того как они потеряли взаимные гарантии и здравый смысл, необходимые человеку, чтобы жить, проверять свой опыт и знать свой путь в общем для всех мире. Но эта «истина» (если она вообще заслуживает такого звания) пуста, так как ничего существенного нам не открывает. (Определять истину как непротиворечивость, подобно некоторым современным логикам, значит отрицать существование истины.) Однако в условиях одиночества самоочевидность перестает быть простым средством работы интеллекта, но претендует на содержательную продуктивность, начинает развивать собственные линии «мысли». О том, что мыслительный процесс с присущей ему строгой самоочевидной логичностью, от которой на первый взгляд нет спасения, как-то связан с одиночеством, раз упомянул Лютер (опыт одиночества и уединения которого, вероятно, не сравним ни с чьим другим: он осмелился однажды признаться, что «Бог должен существовать, потому что человеку нужен кто-то, кому он может верить») в малоизвестном примечании к тексту Библии «Нехорошо человеку быть одному». Одиноким человек, говорит Лютер, «всегда выводит одно из другого и все додумывает до самого худшего»<sup>4</sup>. Общеизвестный экстремизм тоталитарных движений, не имеющий ничего общего с истинным радикализмом, поистине состоит в этом «додумывании всего до самого худшего», в этом процессе дедуцирования, всегда приходящем к наихудшим из возможных умозаключений.

Человека в нетоталитарном мире подготавливает для тоталитарного господства именно тот факт, что одиночество, когда-то бывшее лишь пограничным опытом сравнительно немногих людей, обычно в маргинальных социальных обстоятельствах, таких, как старость, стало повседневным опытом все возрастающих в числе масс в нашем веке. Тот безжалостный процесс, в который тоталитаризм загоняет и которым организует массы, на поверку выглядит как самоубийственное бегство от этой реальности массового одиночества. «Холодная логика» и «всесильные щупальца» диалектики, охватывающие человека «со всех сторон клещами», начинают казаться чем-то вроде последнего оплота в мире, где ни на кого и ни на что нельзя положиться. Видимо, только это внутреннее принуждение, единственным содержанием которого является полное исключение противоречий, как-то еще подтверждает, удостоверяет подлинность существования человека

<sup>4</sup> «Ein solcher (sc. einsamer) Mensch folgert immer eins aus dem andern und denkt alles zum Ärgsten» (см.: Luther M. Warum die Einsamkeit zu fliehen? // Luther M. Erbauliche Schriften).

вне всех его отношений с другими людьми. Внутреннее насилие над собой ввергает человека в пучину террора, даже когда он один, а тоталитарное господство старается никогда не оставлять его одного, кроме крайней ситуации одиночного заключения. Разрушая всякое свободное пространство между людьми и насильственно сдвигая их друг с другом, тоталитаризм уничтожает и все созидательные потенции человеческой изоляции. Непомерно насаждая и прославляя трафареты логического рассуждения в условиях массового одиночества, когда человек знает, что, отступи он хоть на йоту от первой посылки, с которой начинался весь процесс, и он все потеряет, тоталитаризм начисто уничтожает даже ничтожные шансы того, что когда-нибудь одиночество сможет преобразиться в уединение, а логика в мышление. Если эту практику сравнить с образом действий в тирании, нам покажется, что тоталитаризм нашел способ привести в движение саму пустыню и тем породить песчаную бурю, которая в состоянии похоронит всю обитаемую землю.

Условиям, в которых сегодня еще продолжается наша политическая жизнь, и в самом деле угрожают эти опустошительные бури. Их опасность даже не в том, что они, возможно, навечно установят тоталитарный порядок. Тоталитарное господство, подобно тирании, несет в себе семена собственного уничтожения. Как страх и бессилие, из которого этот страх вырастает (эти антиполитические принципы), ввергают людей в ситуацию, противоположающую политическому действию, так и одиночество и логико-идеологическое дедуцирование наихудшего, что можно из него извлечь, создают антисоциальную ситуацию и таят принципы, разрушительные для любого человеческого общежития. Тем не менее организованное одиночество куда более опасно, чем неорганизованное бессилие всех тех, кем правит тираническая и произвольная воля одного человека. Его опасность в том, что оно угрожает смести этот знакомый наш мир, который везде, видимо, подошел к концу, прежде чем новое начало, растущее из этого конца, успеет утвердить себя.

Независимо от подобных рассуждений, которые как предсказания мало полезны и еще менее утешительны, остается фактом, что кризис нашего времени и его осевой опыт выдвинули совершенно новую форму правления, которая как возможность и постоянная опасность, похоже, останется с нами надолго, точно так же как остаются с человечеством другие формы правления, возникавшие в разные исторические моменты и основанные на разных базисных видах опыта, — монархии, республики, тирании, диктатуры и деспотии, — несмотря на их временные поражения.

Но остается также истиной, что каждый конец в истории неизбежно таит в себе новое начало; это начало есть залог, обещание будущего,

единственная «весть» человеку, которую этот конец вообще способен породить. Дар начинания, еще до того как начало превращается в историческое событие, есть высшая способность человека; в политическом отношении он тождествен человеческой свободе. «Initium ut esset homo creatus est» — «Начало совершилось, человек сотворен был», — сказал Августин<sup>5</sup>. Это начало гарантировано каждым новым рождением; оно и в самом деле воплощено в каждом человеке.

## Послесловие к русскому изданию

### Ханна Арендт и проблема тоталитаризма

В нашем обиходном теоретическом сознании проблема, которую ученица М. Хайдеггера и К. Ясперса Ханна Арендт еще полвека назад обозначила как проблему тоталитаризма, долгое время фигурировала под различными названиями. Во времена (и с легкой руки) Н. С. Хрущева она официально именовалась у нас как проблема «культы личности Сталина», а в самом начале перестройки получила (благодаря усилиям Г. Х. Попова) новое, совсем уж анонимное клише — «административно-командная система». Если сопоставить то содержание, которое сопрягалось с этими этикетками, с тем, что имела в виду сама Х. Арендт под точно определенным термином «тоталитаризм», сразу же станет очевидным происшедший здесь теоретический регресс. Регресс, который так и не удалось замаскировать, покрыв задним числом рассуждения об административно-командной системе (становившиеся все более отвлеченными и риторичными) заморским словом «тоталитаризм», экспортированным наконец в Россию вместе со «сникерсами». Отсюда ясна необходимость для нас нового, вторичного просвещения по вопросу, который мы, так и не успев осмыслить, уже успели основательно «заболтать». И надо надеяться, что публикация книги Х. Арендт в русском переводе послужит делу такого просвещения.

## I

Уже самое первое знакомство с этой книгой дает возможность понять, что просвещение, которому она способствует, носит совсем не геллертерски-терминологический характер. От того, как мы будем понимать ту систему, под железной пятой которой наши народы жили на протяжении многих десятилетий, зависит степень нашего самопонимания, включая и понимание страны, в какой живем в настоящее время. Если то была тоталитарная система в теоретически выверенном смысле этого понятия, какое нам предлагает Х. Арендт, у нас будет один вывод, касающийся, кроме всего прочего, и нашего современного состояния. Если же это была командно-административная

<sup>5</sup> Augustinus Aurelius. De Civitate Dei. 12. 20.

система (хотя бы и под модным клише «тоталитаризма»), то вывод как о нашем не столь уж отдаленном прошлом, так и о перестроечно-постперестроечном настоящем будет совсем иным. Итак, что же такое тоталитаризм?

Согласно Х. Арендт, тоталитаризм — это прежде всего система массового террора, обеспечивающая в стране атмосферу всеобщего страха. Страх тотального, пронизывающего все поры общества, оказавшегося под властью «вдохновителей и организаторов» системы террора. Это определение сразу же дает возможность более точно поставить вопрос о хронологических рамках тоталитаризма. Есть перманентный, систематически осуществляемый массовый террор, под страхом которого живет население всей страны, — значит, есть тоталитаризм. Нет этого «тоталитарного комплекса» — нет и самого тоталитаризма. Вот теоретически четкий критерий, гарантирующий от произвольного расширения или, наоборот, сужения хронологических рамок тоталитаризма.

И если бы наши недавние «властители дум» заглянули в свое время в книгу Х. Арендт, на которую наиболее норовят ныне ссылаться, то они уже во Введении к ней могли бы прочесть: «...наиболее ужасающая из всех новых форм правления... пришла к своему концу со смертью Сталина точно так же, как кончился тоталитаризм в Германии со смертью Гитлера» (см. наст. изд., с. 25). А прочтя это, уже не пытались бы датировать конец тоталитаризма в нашей стране временами перестройки или даже августом 1991 г., искусственно продлевая ему жизнь на десятилетия. Однако, из каких бы соображений ни совершалась такого рода идеологическая гальванизация исторического трупа, она с точки зрения классического определения тоталитаризма, данного Х. Арендт, была в принципе возможна лишь за счет игнорирования его самой чудовищной — и главное, атрибутивной! — особенности. А именно — геноцида, системно осуществляемого по классовому (большевизм) или расовому (национал-социализм) признаку.

Одним словом, уже здесь мы оказываемся перед выбором. Или мы хотим работать с теоретически выверенным понятием тоталитаризма, предполагающим столь же строгие и четкие хронологические рамки его исторической релевантности. Или же занимаемся чистым идеологизаторством, — скажем, с целью набить себе политическую цену, объявив себя борцами с (отсутствующим) тоталитаризмом. И первое и, быть может, самое главное, чему учит нас книга Х. Арендт, — это предельно серьезному и аккуратному обращению с ее заглавным понятием. Не шутить с ним! Не кокетничать и не заигрывать! Ибо обозначает оно слишком серьезные вещи, стоившие жизни миллионам и миллионам людей.

## II

Второй вопрос, возникающий сразу же после того, как введено понятие тоталитаризма, позволяющее с достаточной четкостью очертить круг явлений, им охватываемых, это вопрос об условиях возможности самого данного феномена. Что сделало возможным его возникновение и укоренение в историческом бытии — в жизни целого ряда народов, занимавших немалые «жизненные пространства»? Ответ на него, предполагающий, как мы быстро убеждаемся, сочетание теоретико-структурного подхода с историко-генетическим, занимает основное место в книге. Речь идет о том, что Х. Арендт в названии немецкого издания своей книги обозначает как «элементы и происхождение» (см.: *Elemente und Ursprünge totalitär Herrschaft*. Fr. a. M., 1955). Что это за элементы и каков исторический генезис каждого из них? А главное — что обеспечило их «констелляцию» (если воспользоваться здесь словоупотреблением М. Вебера), т.е. такое их сочетание, которое сделало тоталитаризм реальностью именно в наш проклятый Богом век? И тут мы встречаемся с целым рядом специфических трудностей, которые хорошо представляет себе автор книги.

Если взять бросающиеся в глаза элементы тоталитаризма — и прежде всего *террор* — по отдельности, то мы не получим искомого понятия. Едва ли не с каждым из них человечество встречалось в своей истории. А если брать террор как особое явление, то даже такая его дополнительная характеристика, как, например, «массовость», не покажется слишком уж большой исторической редкостью. Но вот с чем человечество действительно имеет дело впервые в наш век, так именно с *тотальностью*, т.е. (переводя это философское понятие на обиходный язык) всеобщностью, всеохватностью террора, от которого не может уклониться никто из живущих под властью тоталитарного режима. И если кого-то не задела одна из волн террористической репрессии, то это вовсе не означает, что его не накроет вторая или третья волна. Каждый из живущих в тоталитарной стране должен чувствовать нависающий над ним дамоклов меч террора — иначе это не тоталитаризм, а что-то другое, хотя бы и пытались назвать его так же.

Итак, фундаментальная особенность (или, придерживаясь терминологии автора книги, элемент) тоталитаризма — тотальность террористической вакханалии, совершающейся при тоталитарном режиме. Однако что же обеспечивает такому режиму подобную «тотальность»? Согласно концепции Х. Арендт, она обеспечивается именно *массовой поддержкой*, которой располагают (и без которой, по ее утверждению, вообще не могут обойтись) тоталитарные режимы. Это еще один струк-

турный элемент тоталитарного господства, к которому, учитывая его особую нагрузку в общей концептуальной схеме книги, нам еще предстоит неоднократно возвращаться по мере углубления в ее теоретический подтекст. Пока же обратим внимание на то, что Х. Арендт понимает здесь под массовостью и массой.

### III

Массу (и, соответственно, массовость) она считает специфическим феноменом XX столетия, как и тесно сопряженный с нею тоталитаризм, резко отличая ее от толпы. Последняя же для нее явление прошлого (а отчасти и позапрошлого) столетия: она ушла в небытие вместе с классово структурированным обществом, где была чем-то вроде хора античной трагедии, лишь временами выступающего на авансцену. Что же касается массы, то она, представляя собой продукт разложения общественных классов, впервые начинает претендовать на активную роль, выдвигая своих *вождей* и выражая им свою поддержку, только в наш век. Причем именно «вездесущность» массы, «проводящей в жизнь» указания своего вождя, обеспечивает тотальность олицетворяемой им террористически-репрессивной власти.

Как видим, акцентируя негативную роль массы в XX в., Х. Арендт фактически продолжает развивать традицию критики «массового общества», наметившуюся еще в творчестве позднего Ницше и подхваченную в наше время на Западе, с одной стороны, Х. Ортегой-и-Гассетом, а с другой — К. Ясперсом. Со вторым из них, на чью брошюру «Духовная ситуация времени» она ссылается в своей книге, Х. Арендт особенно сблизилась в период работы над ней, где прочно связала данную традицию с критическим анализом тоталитарных режимов. Хотя при этом оказалась отодвинутой на второй план другая линия критики, в русле которой двигалась анти тоталитарная мысль. Например, мысль А. Вебера (брата М. Вебера), опубликовавшего в 1953 г. книгу «Третий или четвертый человек», пожалуй не менее значимую (во всяком случае, для послевоенной Германии), чем книга Х. Арендт. В этой во многих отношениях примечательной книге острая критика тоталитаризма предстала как развитие идей статьи «Чиновник», которой А. Вебер поразил воображение современников еще в 1910 г. Впрочем, нам еще предстоит коснуться вопроса о связи этих двух «проклятых вопросов» нашего века — о бюрократии и о тоталитаризме в несколько ином контексте. А пока продолжим прерванный разговор о массах и их использовании тоталитарными режимами.

Парадокс массовости террора, который обнажила именно чудовищная практика тоталитарного общества, заключается в том, что он оказывается направленным не против массы врагов, с какой оно имело (если вообще имело) дело в период самоутверждения, — например, в случае гражданской войны, как это было в России, — а против массы, образующей, согласно концепции Х. Арендт, фундамент этого общества. Массовый характер репрессий, — функция которых заключается не столько в том, чтобы подавлять врагов режима (которых становится тем меньше, чем бесперспективнее представляется борьба с ним), сколько в том, чтобы нагнетать и поддерживать атмосферу панического страха, — объясняет, согласно Х. Арендт, и другой парадоксальный факт, раньше других бросившийся ей в глаза, который собственно и побудил ее предпринять фундаментальное исследование о тоталитаризме. Это на первый взгляд совершенно необъяснимый факт изначальной «анонимности» репрессий, не различающих ни правых, ни виноватых, да и вообще не имеющих никакого отношения к проблеме виновности и в этом смысле совершенно «нефункциональных».

Дело в том, что «без вины виноватость» входит в само понятие массового террора, действительной функцией которого является «воспитание масс» посредством демонстрации вождем, олицетворяющим тоталитарную власть, способности к ничем не ограниченному насилию. А символом этой виноватой невинности или невинной виновности оказывается некий — абсолютно безличный и именно поэтому способный воплотиться в любом выбранном наугад лице — «козел отпущения», фигурирующий в качестве идеологической персонификации всех возможных социальных (впрочем, не только социальных) «грехов». Речь идет об известной категории людей, — заранее (т.е. до совершения каких-либо поступков) выделенной в соответствии с тем или иным — классовым или расовым — признаком, — «первородный грех» которой состоит уже в самом факте ее бытия, присутствия в мире. Всеобщий и именно потому абсолютно безличный характер этой категории дает возможность всем, кто узурпирует (а иначе как узурпацией это не назовешь) право ее практически-политического применения, подводить под нее любого человека, который уже не гарантирован от столь необходимой тоталитарной власти массовой репрессии.

### IV

«Хоть горшком назови — только в печь не сажай» — гласит поговорка, явно не предусматривавшая наступление таких времен, когда

именно название (скажем, той категории, к которой кто-то решил причислить ту или иную группу граждан) может стоить жизни миллионам ни в чем не повинных людей. Это и были времена тоталитаризма, когда человека называли «горшком» только для того, чтобы отправить его в печь (уже без всяких кавычек). Путем такого рода «лингвистических операций», «законность» которых подтверждалась вооруженной силой тоталитарных режимов, и обеспечивалась массовость репрессий, организуемых ими для устрашения населения. Речь идет о массовости в двух достаточно различных смыслах этого слова, отражающих двойственность задачи, возникающей вместе с тоталитаризмом. С одной стороны — обеспечить необходимую массу врагов («чтобы было с кем враждовать»). С другой — организовать против нее другую массу, которая изъясилась бы свой «законный гнев» (а заодно и сама воспитывалась бы на таких проявлениях законопослушного гнева).

Такова внутренняя логика концепции, сопрягающей понятие «массовая репрессия» с «теорией козла отпущения», — а с ее критического обсуждения начинается книга Х. Арендт, поставившей своей целью преодоление этой теории. И она действительно утрачивает (во всяком случае, в контексте сопоставления двух форм тоталитаризма — национал-социалистского и интернационал-большевистского) свой узко этнически толкуемый смысл. Тоталитарные режимы, буквально живущие массовыми репрессиями (стоит только их прекратить, и эти режимы начинают распадаться, как это было у нас после смерти Сталина), не могут существовать и без «козла отпущения». Но какой конкретно (классово или этнически определенный) персонаж будет предназначен на такую несчастную роль — это зависит от той идеологии, под знаком которой приходит к власти данная разновидность тоталитарного режима. Отсюда — совершенно особая роль, какую играет идеология в тоталитарных системах. Тоталитарные партии, как и тоталитарные режимы, возникающие в «век масс», обойтись без нее не могут.

Она совершенно необходима и тем и другим именно в интересах обоснования изначальной виновности «без вины виноватых», которое невозможно без чисто идеологической подтасовки — превращения индивидуального во всеобщее (если не универсальное). Например, превращения вины тех или иных отдельных индивидов в «первородный грех» этнических или классовых общностей, к которым их можно причислить, пользуясь соответствующей (опять-таки «идеологически обоснованной») классификацией. Но таким образом при исследовании генезиса тоталитаризма вовсе не безразличной проблемой, которую (надо отдать справедливость ее мужеству и интеллектуальной честности) не обходит здесь Х. Арендт, становится «историческая вина» определен-

ной категории людей, обеспечившая заправилам тоталитарных режимов возможность организовывать и сохранять в своих странах режим тотального (т.е. всеобщего) террора, делая вид, что речь идет якобы только о людях «известного рода».

Вопрос о конкретно-исторической «доли ответственности», которую должны нести — вместе со всеми остальными людьми — и те, кто оказались в роли «козлов отпущения», встает перед автором как результат ясного и отчетливого осознания связи, существующей между их произвольным стремлением утвердить свою абсолютную невиновность, с одной стороны, и желанием гонителей-идеологов во что бы то ни стало доказать изначальную («первородную», «родовую») вину гонимых — с другой. Ведь в обоих случаях встает вопрос о некоей исключительности гонимых — будь это абсолютная «ни в чем не виноватость» или «заведомая» виновность. Вот почему Х. Арендт пишет, возражая против «теории козла отпущения»: «Как только ее приверженцы предпринимают тщательные усилия объяснить, почему же тот или иной козел отпущения оказался столь хорошо пригодным для своей роли, становится видно, что они оставили эту теорию позади и занялись обыкновенным историческим исследованием, при котором никогда не обнаруживается ничего, кроме того, что историю творят многие группы, а одна группа была выделена в силу определенных причин. Так называемый козел отпущения необходимо перестает быть невинной жертвой, которую мир обвиняет во всех своих грехах и посредством которой он желает избежать возмездия, а оказывается одной группой людей среди других групп, все из которых вовлечены в деяния этого мира. И такая группа не перестает нести свою долю ответственности только потому, что оказалась жертвой несправедливости и жестокости мира» (см. наст. изд., с. 38). Как видим, вопиющий факт полнейшей индифферентности «вдохновителей и организаторов» массовых репрессий к вопросу о виновности конкретных индивидуальных жертв не помешал автору книги задаться вопросом о социально-исторических причинах, сделавших предпочтительным объектом тоталитарных репрессий — направленных, по сути дела, против всего населения страны (случай, когда действительно «бьют по мешку, а имеют в виду осла»), — вполне определенные классы или этнические группы.

## V

В аналогичных случаях и соответствующих пунктах исследования Х. Арендт структурный разрез проблемы тоталитаризма пересекается

с генетическим, при этом делаются необходимыми глубокие исторические экскурсы. Ей было совершенно необходимо углубиться в историю еврейского вопроса в Европе, чтобы показать коренное различие его постановки, скажем, в XIX в., в условиях классово структурированного общества, и в XX, в ситуации его все дальше заходящего расструктурирования (омассовления). И действительно, антисемитизм, имеющий классовый (как, например, даже у молодого Маркса) или националистический подтекст, — это нечто совершенно иное, чем антисемитизм национал-социалистского образца. В определенном отношении их можно считать взаимоисключающими: как констатирует Х. Арендт, «современный антисемитизм рос в той мере, в какой шел на спад традиционный национализм» (с. 35), разновидностью которого она считает и антисемитизм XIX столетия.

Но хотя оба этих исторических типа антисемитизма отличаются друг от друга структурно, а потому не могут рассматриваться как ступени одного и того же эволюционного ряда, первый из них, если можно так выразиться, расчищал почву для второго, облегчая грядущему немецкому тоталитаризму поиски главного объекта будущих массовых репрессий. То же самое следует иметь в виду, сопоставляя традиционное социал-демократическое толкование «классовой борьбы», с одной стороны, и большевистское ленинское — с другой. (Чего, к сожалению, не делает Х. Арендт, проявляя неоправданную мягкость по отношению к В. И. Ленину, которого стремится «отгородить» от российского тоталитаризма. Слабость, какую можно объяснить разве что как отголосками ее леворадикалистской молодости).

Проводя всесторонне обоснованное различие между тем, какую роль играли будущие «элементы» тоталитарного господства в XIX в., и тем, какую они сыграли при тоталитаризме, автор книги обращает особое внимание на ту весьма существенную метаморфозу, какую проделал при переходе к нынешнему «веку масс» сам принцип «классовости» и, соответственно, «партийности». В тех странах, которым предстояло претерпеть тоталитарный катаклизм в своей истории, партии классового типа уже до, а в особенности после первой мировой войны быстро хиреют и на смену им приходят либо «партии нового типа», ставящие своей целью завоевание «трудящихся масс» («массы» вместо «класса»), либо «движения», прямо претендующие на роль не просто не-, но надгосударственных политических образований. Причем уже такая претензия сама по себе свидетельствовала о том, что как «партии нового типа», так и «движения» в общем-то преследуют одну-единственную цель — достижение максимально возможной власти, при которой высшая государственная власть представляла лишь как одно из орудий подобного (а именно тотали-

тарного) господства. Идет ли при этом речь о национал-социализме, претендующем, однако, на мировое господство, или об интернационал-социализме, истинная цель остается одной и той же.

Со свойственной ему брутальностью эту тайную цель едва ли не всех социалистических движений нашего века разгласил философ О. Шпенглер, расшифровывая идею «прусского социализма»: «Социализм означает власть, власть и еще раз власть». И как видим, ее же увидела Х. Арендт, отметив как цель всех «массовых движений» XX столетия (в иных случаях они получают название «народных фронтов»), демонстрирующих свою воинственную антибуржуазность. Эту общую тенденцию, связанную (и в здесь автор книги совершенно права) именно с деструктурирующим омассовлением политической жизни, следует иметь в виду, когда мы встречаемся с аналогичными тенденциями на нашей почве. Хотя наши нынешние политические лидеры, еще совсем недавно демонстрировавшие аналогичную антибуржуазность, сегодня более склонны рекламировать проектируемые ими «движения» в качестве чисто буржуазных или буржуазно-националистических. Тем не менее, под какой бы этикеткой ни продавались ныне подобные «движения», они явно не обещают принести обществу демократические плоды, поскольку не могут предложить никаких конкретных целей, кроме одной-единственной — власти как таковой. Ибо там, где политика озабочена властью, и только властью, она может обернуться чем угодно, но только не законностью, не свободой и не демократией.

## VI

Среди «элементов тоталитарного господства», которые, безусловно, имела в виду Х. Арендт, хотя и не тематизировала их особо, нельзя не выделить комплекс элементов, имевших своей основной функцией обеспечение *перманентности* массового террора, его непрерывности, растянутости во времени на весь период господства тоталитарного режима. Ибо там, где нет ощущения такого рода непрерывности, с какой связывали представление о «перманентной революции» не только К. Маркс и Л. Троцкий, но и А. Гитлер, применявший это словосочетание, говоря о «национал-социалистской революции» (каковая со времени появления брошюры Х. Фрайера «Революция справа» не без угрожающего кокетства именовалась таким образом самими нацистами), нельзя говорить о тоталитарном господстве в полном смысле слова. Это ощущение и обеспечивалось непрерывностью массовых репрессий,

идеологически predetermined уже неопределенностью образа «врага» (он же «козел отпущения») с его — не без преднамеренности — *размытыми* очертаниями. С той же фундаментальной целью обеспечения перманентности террора и, соответственно, «постоянства страха» в тоталитарном обществе связана и не оставшаяся вне поля зрения автора книги методичность и систематичность репрессий как в гитлеровской Германии, так и в сталинистской России.

Как видим, упомянутая выше *тотальность террора*, входящая в качестве наиважнейшего элемента в содержание понятия тоталитаризма, предполагает не только пространственное, так сказать, измерение (его всеобщность, в силу которой под угрозой репрессий оказывается фактически все население страны), но и временное (непрерывность патологически напряженного ожидания репрессий, обеспечиваемая их периодическим возобновлением, создающим ощущение их неотвратимости). Но при этом в состоянии такого рода ожидания втягиваются не только те, кого тоталитарная идеология назначила на роль жертв репрессии, ее пассивных *объектов*, но и тех, кому предстояло стать ее активными *субъектами* (причем независимо от того, хотели они этого или нет). Для обеспечения их «мобилизационной готовности» и существовали «движения», «закаляющие» своих членов с помощью все тех же перманентных репрессий. «Практическая цель движения, — пишет Х. Арендт, — втянуть в свою орбиту и организовать как можно больше людей и не давать им успокоиться...» (с. 433). Такова реальная функция идеи «перманентной революции», полностью обнаруживающая свою сакраментальную тайну в условиях тоталитарного режима. Однако для того, чтобы удерживать в таком патологическом состоянии (апологеты тоталитарных режимов называли его состоянием «тотальной мобилизации») население большой страны, явно недостаточно «массового энтузиазма», на который так часто ссылается Х. Арендт. Уже не говоря о том, что всякий энтузиазм, особенно массовый, вещь очень непостоянная, прихотливо-изменчивая, требующая все нового и нового допинга — причем явно не «энтузиастического», а технически-рационального происхождения, — есть здесь и другие проблемы. И прежде всего это проблема *организации* «массового энтузиазма», которая встает тем более остро, чем шире «объем массы», на чей энтузиазм рассчитывают ее политические поводыри.

Очевидно, что, говоря об организации массового энтузиазма, недостаточно просто сослаться на сам факт «массового движения», являющегося, согласно автору книги, источником, опорой и носителем подобного рода энтузиазма. Ведь для того чтобы оно сыграло эту свою роль, оно уже должно быть как-то и кем-то организовано. Причем, как свидетельствует история и большевизма, и нацизма, этим организа-

ционным ядром в обоих случаях оказывается *партийная бюрократия*, возникающая как в «подполье» большевистской, так и в недрах национал-социалистской партии. Кстати, о бюрократизации массовых партий писал в начале нашего века еще Р. Михельс, с которым в те же времена сблизился М. Вебер, высоко оценивший это его глубокое наблюдение. Но ни в каких иных партиях, кроме тоталитарных, этот новый феномен партийной жизни не был столь далеко идущим образом «утилизирован». В них партийная бюрократия действительно стала ядром — и *прообразом* — грядущей тоталитарной бюрократии.

Надо сказать, что Х. Арендт — хотя она одной из первых обратила внимание на существенно важные черты, отличающие бюрократа консервативного типа, характерного для прошлого века, от бюрократа тоталитарной складки, — в целом недоценила роль и значение бюрократии нового типа в генезисе и дальнейшем функционировании тоталитарных общественных структур. Это было вызвано целым рядом причин, одной из которых можно считать общую недооценку проблематики бюрократии (в особенности по сравнению с проблематикой «омассовления» и «массового общества»), характерную для социально-философских воззрений К. Ясперса, у которого она многое здесь позаимствовала. Но, кроме того, на нее, видимо, произвел слишком большое впечатление пресловутый «антибюрократизм», которым отличалась идеология и фразеология как большевистской «революции слева», так и нацистской «революции справа», одинаково апеллировавших к «творчеству масс». И потому, судя по целому ряду совершенно всерьез, напыленных высказываний автора книги, в ней принимается, например, ленинская (а в особенности троцкистская) демагогия, согласно которой продолжающаяся бюрократизация большевистской организации! — квалифицировалась как результат влияния на большевиков «мелкобуржуазной стихии».

## VII

Именно в силу подобного недоразумения (возникшего, как видим, благодаря вполне целенаправленной софистике большевистских вождей) у Х. Арендт сложилось впечатление, будто и Сталин — продолжавший под видом борьбы с бюрократизмом ленинскую линию на *выращивание из большевистского ядра будущего тоталитаризма безумной системы тоталитарно-бюрократического господства* — боролся с бюрократией как с «новым классом». И эта борьба, каза-

лось, вполне укладывалась в рамки той ее концепции, согласно которой тоталитарные движения — все равно, утверждали они свою власть под лозунгом «революции слева» или «революции справа», — были изначально враждебны бюрократии как наследию буржуазного общества, каковое нацисты намеревались «ликвидировать», точно так же как и большевики.

Представление Х. Арендт о бюрократии явно сложилось по образу и подобию того ее особого типа, который занимал доминирующие позиции в предтоталитарной Германии. М. Вебер говорил в этой связи о *рациональной* бюрократии современного капиталистического общества, противопоставляя ее традиционно «иррациональной» бюрократии (вообще оставшейся вне поля зрения автора книги). На этом фоне черты иррациональности, которыми была отмечена бюрократия тоталитарного типа, и должны были расцениваться скорее как проявление антибюрократизма, связанного с идеологией «перманентной революции», чем как *одна из черт новой бюрократии*, балансировавшей между мистикой бесшабашного революционаризма и «подлинной научностью». Вот почему в большинстве случаев, когда фактически речь шла о тоталитарной бюрократии, автор книги предпочитает говорить об «организации», причем понятой скорее технически и формально, чем содержательно, как выражение важнейшего структурного принципа тоталитаризма. Х. Арендт совершенно права, когда она решительно выступает против спутывания тоталитаризма с авторитаризмом (чем, кстати сказать, и сегодня так грешат наши политики и публицисты), подчеркивая, что «начало авторитаризма во всех существенных отношениях диаметрально противоположно началу тоталитарного господства» (с. 528). Но с нею трудно согласиться, когда, следуя тому же ходу мысли, она не видит необходимости в том, чтобы выдвинуть в центр своей концепции категорию *тоталитарной бюрократии*, понятой в качестве носителя абсолютно нового — а именно тотального — организационного принципа, базирующегося на совершенно специфическом понимании эффективности. Принципа, представляющего собой организационно-бюрократическое воплощение «сверхзадачи» тоталитарного господства, нацеленного, по словам Х. Арендт, «на упразднение свободы, даже на уничтожение человеческой спонтанности вообще» (с. 528). Степенью приближения к этой «конечной цели» тоталитарная бюрократия и измеряла «эффект» своей деятельности.

Отсутствие упомянутой категории в данном контексте удивляет тем более, что ведь сама же Х. Арендт пишет в другой главе, характеризуя предтоталитарные тенденции идейно-политического развития как в Германии, так и в России: «Движения, в отличие от партий, не просто вырождались в бюрократические машины, но осознанно видели

в бюрократических режимах возможные образцы организации» (с. 337). В той же связи она упоминает также, называя ее «образцовой», работу Р. Михельса «Политические партии», описывающую процесс «бюрократизации партийных машин» (там же). А вот там, где явно напрашивается дальнейшее развитие этой многообещающей темы в связи с аналогом конкретного социологического механизма установления и осуществления тоталитарного господства, она как бы утрачивает к ней интерес, все дальше углубляясь в рассмотрение его (этого господства) «идео-логики» и ее власти над личностью тоталитарного типа. Судя по дальнейшему развитию этой новой темы, к такому повороту мысли Х. Арендт побуждает слишком серьезное отношение к идее «разрушения государственной машины», которую она обнаружила в программных документах как у приверженцев тотальной «революции слева», так и у сторонников тотальной «революции справа». По ее утверждению, именно эта идея, в общем-то оказавшаяся чисто демагогической, отличает истинное (т.е. собственно тоталитарное) движение от того — так сказать, протототалитарного — движения, которое хотя и рассматривало себя, подобно первому, в качестве «партии над партиями», тем не менее не стремилось к «разрушению государственной машины», желая лишь «завладеть» ею (с. 353–354). Между тем фактически под прикрытием этого тотально антибюрократического лозунга совершался диаметрально противоположный процесс — самоутверждение государственной бюрократии нового, а именно тоталитарного типа. Бюрократии, *на порядок* превосходящей прежнюю бюрократию в количественном отношении и неизмеримо более мощной с точки зрения возможностей ее воздействия (главным образом негативного) на те самые массы, к которым она апеллировала.

## VIII

Приняв за чистую монету «антибюрократизм» тоталитарно ориентированных приверженцев идеи «перманентной революции», Х. Арендт ограничивает фундамент своего теоретического построения всего двумя исходными категориями — понятием «омассовление» и понятием «вождизм». «Вождь-харизматик» и «масса», восторженно приветствующая его, прямо-таки как в немецком плакатно-пропагандистском фильме «Триумф воли», заставляющем вспомнить о кинематографической стилистике С. Эйзенштейна. Без всяких посредников, которые если и фигурируют, то где-то на заднем плане, опять-таки в качестве фона, в качестве пресловутых сталинских «приводных ремней». А ведь на

самом-то деле среди множества таких «ремней» решительно выделялся один, который стреноживал и вождя, несмотря на всю его кажущуюся независимость от него, и от которого он не мог — и не хотел! — освободиться, ибо сам был его органически-неотторжимой частью, хотя важнейшей (во всех смыслах этого слова). Речь идет о тоталитарной бюрократии как системе всех этих «приводных ремней» (которые, кстати сказать, не забывает упомянуть при случае и Х. Арендт), к каковой — в качестве бюрократа номер один — принадлежал и сам Вождь.

В отличие от Германии, где будущий тоталитарный вождь с самого начала политической карьеры настойчиво демонстрировал публичке свои харизматические особенности, тщательно затушевывая их партийно-бюрократический подтекст, у нас в России аналогичная связь просматривается гораздо более отчетливо. Достаточно вспомнить, что пост генерального секретаря Центрального Комитета партии, от которого с такой легкостью отказались в пользу И. Сталина другие претенденты на высшую партийную, а стало быть, и государственную власть в стране (напряженно следившие за состоянием «здоровья Ильича»), считался в общем *чисто бюрократическим*. Это был пост генерального делопроизводителя Центрального Комитета, и, соответственно, всей партии: ее главного «зав. кадрами» (генерального «кадровика»), которому общепризнанные партийные «харизматики» не придавали политического значения, так как еще не постигли основного закона тоталитаризма, долгое время составлявшего личную тайну генсека: «Кадры решают все». Причем «кадры» именно в том специфически бюрократическом смысле, какой с самого начала придавал этому слову генеральный «кадровик». «Кадры» как функциональные элементы партийной структуры, которая, будучи тотальной, т.е. претендующей на всеобщую власть, уже реализовывала эту свою сущность в качестве динамического ядра общегосударственной — и надгосударственной — бюрократии. Бюрократия, которая, как и партия, ставшая ее «материнским лоном», вполне заслуживала названия бюрократии «нового типа» — тоталитарной бюрократии в точном смысле этого слова.

Именно в этом качестве тоталитарная бюрократия представляла собой не только внешний, как сказал бы М. Вебер, «железный каркас» («футляр», «раковину» и т.п.), извне сжимающий общество, превращая его в «монолит». Она с самого начала обнаруживала вполне определенную тенденцию к тому, чтобы преобразовать его изнутри, на уровне его *внутриклеточной структуры*. Тоталитарная бюрократия стремилась преобразовать межличностные отношения людей, подменив их естественно возникающую *органику* собственной политичес-

кой *механикой*, насильственно (с помощью «товарища маузера») подчиняющей человеческое поведение своей осатаневшей воле к власти. Той же цели служила и ее партийно-бюрократическая (ибо идеи выступали здесь только в соответствующем «организационном оформлении») идеология, увенчивающая процесс бюрократической тотализации населения. Вот почему И. Сталин, какие бы высочайшие посты в партии и государстве он себе ни присваивал, и как бы ни возносила его над той и другим партийно-государственной бюрократией (к которой, надо сказать, очень плохо подходит слово «элита», в аналогичном контексте возникающее у Х. Арендт), до конца жизни придерживался в своей деятельности партийных ритуалов, хотя без них, казалось, уж он-то вполне мог бы и обойтись. Ибо этот генеральный бюрократ лучше, чем кто-либо другой в тоталитарной России, понимал всю безусловность партийно-бюрократических «условностей», всю брутальность партийных ритуалов, всю убойную силу их примитивного буквализма. Вот почему, вопреки одному из тезисов концепции Х. Арендт, именно *буквализм* тоталитарно-бюрократического понимания идеологии означал для ее приверженцев нечто гораздо большее, чем логическая связь ее постулатов и максим. Логика взывала к рефлексии, тогда как буквальное прочтение тоталитарных идей, совсем не случайное имевших вид пропагандистских лозунгов, взывал к «прямому», т.е. неререфлектированному, действию. Причем действию, уже изначально заключенному в соответствующую организационно-бюрократическую оболочку, благодаря которой (вспомним солженицынский «ГУЛАГ») шаг влево и вправо уже расценивается как побег. А с другой стороны, действие, казалось бы совершенно формальное и поэтому не имеющее никакого смысла (скажем, не вполне даже определенное жестом руки на общем собрании), могло подчас иметь роковое значение для человека, и, быть может, не одного. Так что дело здесь не столько в имманентной логике определенных идей, которую вряд ли вообще могли эксплицировать для себя их (этих идей) «исполнители», сколько в *тоталитарно-бюрократическом единстве буквализированной идеологии и организационно предопределенной практики*. Но отсюда следует, что истинным посредником между тоталитарным вождем и массой является не «идео-логика», как это получается в книге Х. Арендт, а именно тоталитарная бюрократия, доводящая до конца процесс «расструктурирования» общества, однако лишь для того, чтобы затем подчинить его собственной — тотально политизированной — структуре. То есть структуре, возведенной на одном-единственном принципе — принципе ничем не ограниченной воли к власти, который является одним и тем же как для бюрократии, так и для ее вождя — бюрократа номер один.

Заключая статью, посвященную аналитическому рассмотрению этой во многих отношениях важной и примечательной книги, хочется специально обратить внимание читателей на один весьма существенный ее аспект, который, к сожалению, невозможно было осветить в рамках предложенного текста. Я имею в виду предельную актуальность — и, если хотите, поучительность — книги Х. Арендт на фоне нашей нынешней постперестроечной ситуации. Особенно это относится к тем главам и другим, менее крупным фрагментам книги, где речь идет о предтоталитарном периоде, когда складывалась та «констелляция» факторов, которая сделала возможным превращение «протототалитарных» настроений, идей и чувств в кошмарную реальность тоталитарной «чумы XX века». Много, очень много из того, что пишет Х. Арендт в этой связи, до жути похоже на события и факты нашей повседневной жизни. И это делает ее книгу, первый вариант которой вышел в свет еще в 1951 г., предостережением, звучащим в высшей степени злободневно в наши смутные дни.

## Библиография

### Часть первая: Антисемитизм

- Alhaiza A. Vérité sociologique gouvernementale et religieuse. Succinct résumé du Sociétarisme de Fourier comparé au socialisme de Marx. P., 1919.
- Anchel R. Un Baron Juif au 18e siècle // Souvenir et Science. Vol. 1.
- Arendt H. Why the Crémieux Decree was abrogated // Contemporary Jewish Record. April. 1943; The Jew as pariah. A hidden tradition // Jewish Social Studies. Vol. 6. № 2. 1944; Organized guilt // Jewish Frontier. January. 1945.
- Arland M. Review of F. Céline's bagatelle pour un massacre // Nouvelle Revue Française. February. 1938.
- Aron R. The Vichy Regime 1940–1944. N.Y., 1958. № 2.
- Bainville J. La Troisième République. 1935.
- Baron S. W. Die Judenfrage auf dem Wiener Kongress. Wien, 1920; A social and religious history of the Jews. N.Y., 1937; The Jewish question in the 19th century // Journal of Modern History. Vol. 10. 1938; Modern nationalism and religion. 1947.
- Barrès M. Scènes et doctrines du nationalisme. P., 1899.
- Basnage J. Histoire des Juifs. La Haye. 1716.
- Batault G. Le problème juif. La renaissance de l'antisémitisme. P., 1921.
- Bauer B. Die Judenfrage. 1843.
- Beaurepaire G. de. Le Panama et la République. 1899.
- Bécourt R. Conspiration universelle du judaïsme, entièrement dévoilée; dédiée à tous les souverains d'Europe, à leurs ministres, aux hommes d'Etat et généralement à toutes les classes de la société, menacée de ces perfides projets. 1835.
- Bédarrida J. Les Juifs en France, en Italie et en Espagne. 1859.
- Benjamin R. Clémenceau dans la retraite. P., 1930.
- Bernanos G. La grande peur des bien-pensants. P., 1931; Les grands cimetières sous la lune. P., 1938.
- Berndorff H. R. Diplomatische Unterwelt. 1930.
- Bertholet A. Die Stellung der Juden zu den Fremden. 1896; Kulturgeschichte Israels. 1919.
- Bismarck O. von. Gedanken und Erinnerungen. 1909–1921.
- Bloom R. I. The economic activities of the Jews of Amsterdam in the 17th and 18th centuries. 1937.
- Bloy L. Le salut par les Juifs. 1892.
- Boehlich W. (Hrsg.). Der Berliner Antisemitismusstreit. Frankfurt a. M., 1965.
- Boehmer H. Les Jésuites. Ouvrage traduit de l'allemand avec une introduction et des notes par G. Monod. P., 1910.
- Boerne L. Über die judenverfolgung. 1819; Für die Juden. 1819; Briefe aus Paris. 1830–1833.
- Boh F. Der Konservatismus und die Judenfrage. 1892.
- Bondy-Dworsky. Geschichte der Juden in Boehmen, Maehren und Schlesien. Prague, 1906.
- Boom W. ten. Entstehung des modernen Rassen-Antisemitismus. Leipzig, 1928.
- Bord G. La Franc-Maçonnerie en France dès origines à 1815. 1908.
- Botzenhart E. Der politische Aufstieg des Judentums von der Emanzipation bis zur Revolution 1848 // Forschungen zur Judenfrage. Bd. 3. 1938.
- Bourgin G. Le problème de la fonction économique des Juifs // Souvenir et Science. Vol. 3. № 2–4. 1932.

- Brentano C. von. Der Philister vor, in und nach der Geschichte. 1811.
- Brogan D. W. The development of modern France 1870–1939. 1941; The French nation: From Napoleon to Pétain 1814–1940. N.Y., 1958.
- Bronner F. Georg, Ritter von Schoenerer // Volk im Werden. Bd. 7. № 3. 1939.
- Brugerette J. Le Comte de Montlosier. 1931.
- Buch W. Fünfzig Jahre antisemitische Bewegung. München, 1937.
- Buchholz F. Untersuchungen über den Geburtsadel. B., 1807.
- Buelow B. von. Denkwürdigkeiten. B., 1930–1931.
- Buelow H. von. Geschichte des Adels. 1903.
- Busch M. Israel und die Gojim // Die Grenzboten. 1879–1881; Bismarck: Some secret pages of his history. L., 1898.
- Byrnes R. Antisemitism in modern France. New Brunswick, 1950.
- Capefigue J. Histoire des grandes opérations financières, 1855–1858.
- Capéran L. L'Anticléricalisme et l'affaire Dreyfus. Toulouse, 1948.
- Caro G. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter und der Neuzeit, 1908–1920.
- Caro J. Benjamin Disraeli, Juden und Judentum // Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums. 1932.
- «Il caso di Alfredo Dreyfus» // Civiltà Cattolica. February 5. 1898.
- Cassel S. Geschichte der Juden // Ersch und Gruber, Allgemeine Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste. Section 2. Bd. 27. 1850.
- Céline F. Bagatelle pour un massacre. 1938; L'Ecole des cadavres. 1940.
- Chamberlain H. S. The foundations of the nineteenth century. 1966 / Перевод с немецкого издания 1899 г.
- Charensol G. L'affaire Dreyfus et la Troisième République. P., 1930.
- Chesterton G. K. The return of Don Quixote. 1927.
- Chevillon A. Huit jours à Rennes // La Grande Revue. February. 1900.
- Clarke E. Benjamin Disraeli. L., 1926.
- Clémenceau G. L'iniquité. 1899; Vers la réparation. 1899; Contre la Justice. 1900; Des Juges. 1901.
- Corti E. C. The rise of the house of Rothschild. N.Y., 1927.
- Darvaell M. Histoire édifiante et curieuse de Rothschild, Roi des Juifs, suivi du récit de la catastrophe du 18 juillet par un témoin oculaire. 1846; Guerre aux fripons, chronique secrète de la bourse et des chemins de fer par l'auteur de «Rothschild I, Roi des Juifs». 1846, 3rd ed.
- Daudet L. Souvenirs des milieux littéraires, politiques et médicaux. P., 1920; Panorama de la Troisième République. P., 1936.
- Davidsohn L. Beiträge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Berliner Juden vor der Emanzipation. 1920.
- Delitzsch F. Sind die Juden wirklich das auserwählte Volk? Leipzig, 1890.
- Delitzsch F. Die grosse Täuschung. 1920–1921.
- Demachy E. Les Rothschilds, une famille de financiers juifs au 19e siècle. 1896.
- Desachy P. Répertoire de l'affaire Dreyfus. 1894; Bibliographie de l'affaire Dreyfus. 1905.
- Diderot D. Juif // Encyclopédie. Vol. 9. 1765.
- Diest D. O. von. Bismarck und Bleichroeder. München, 1897.
- Dilthey W. Das Leben Schleiermachers. 1870.
- Dimier L. Vingt ans d'Action Française. P., 1926.
- Disraeli B. Alroy. 1833; Coningsby. 1844; Tancred. 1847; Lord George Bentinck. A political biography. 1852; Lothair. 1670; Endymion. 1881.

- Dohm Ch. W. Über die bürgerliche Verbesserung der Juden, 1781–1783; Denkwürdigkeiten meiner Zeit. Lemgo, 1814–1819.
- Drumont E. La France juive. 1885; La dernière bataille. 1890; La fin d'un monde. De l'or, de la boue, du sang. Du Panama à l'anarchie. 1896; Le testament d'un antisémite. P., 1891; Les tréteaux du succès: les héros et les pitres. P., 1901.
- Dubnow S. M. Weltgeschichte des jüdischen Volkes. 10 vols. 1929; History of the Jews in Russia and Poland / Translated from the Russian by I. Friedlaender. Philadelphia, 1918.
- Duehring E. K. Die Judenfrage als Frage der Rassenschädlichkeit für Existenz, Sitte und Kultur der Völker mit einer weltgeschichtlichen Antwort. 1880.
- Dutrait-Crozon H. (pseudonym). Précis de l'affaire Dreyfus. 1909. 2nd ed. 1924.
- Ehrenberg R. Grosse Vermögen, ihre Entstehung und ihre Bedeutung. Jena, 1902.
- Eisemenger J. A. Entdecktes Judentum. 1703. New edition by Schieferl. 1893.
- Elbogen I. Geschichte der Juden in Deutschland. B., 1935; Die Messianische Idee in der alten jüdischen Geschichte // Judaica. 1912, Festschrift Hermann Cohen.
- Emden P. H. The story of the Vienna Creditanstalt // Menorah Journal. Vol. 28. № 1. 1940.
- Ewald J. L. Ideen über die nötige Organisation der Israeliten in christlichen Staaten. 1816
- Fernandez R. La vie sociale dans l'oeuvre de Marcel Proust // Les Cahiers Marcel Proust. № 2. 1927.
- Foucault A. Un nouvel aspect de l'affaire Dreyfus / Les Oeuvres Libres. 1938.
- Fourier Ch. Théorie des quatre mouvements. 1808; Nouveau Monde Industriel. 1829.
- Frank W. Demokratie und Nationalismus in Frankreich. Hamburg, 1933; Hofprediger Adolf Stoecker und die christlich-soziale Bewegung. 1st ed. 1928; 2nd revised ed. 1935; Neue Akten zur Affäre Dreyfus // Preussische Jahrbücher. 1933. Vol. 233; Apostata. Maximilian Harden und das wilhelminische Deutschland // Forschungen zur Judenfrage. Vol. 3. 1938; Walter Rathenau und die blonde Rasse // Ibid. Vol. 4. 1940; Die Erforschung der Judenfrage. Rückblick und Ausblick // Ibid. Vol. 5. 1941.
- Frantz C. Der Nationalliberalismus und die Judenherrschaft. München, 1874.
- Freemasonry, the Highway to Hell. L., 1761. Fleimaurerei, Weg zur Hölle / Translated from the English. 1768. La Franche Maçonnerie n'est que le chemin de l'enfer / Translated from the German. Frankfurt a. M., 1769.
- Freund I. Die Emanzipation der Juden in Preussen. B., 1912.
- Fries J. F. Über die Gefährdung des Wohlstandes und Charakters der Deutschen durch die Juden. Heidelberg, 1816.
- Fritsch Th. E. Antisemiten-Katechismus. 1892; (ed.) Die Zionistischen Protokolle, mit einem Vor und Nachwort von Theodor Fritsch. 1924; Handbuch der Judenfrage. Revised ed. 1935.
- Froude J. A. Lord Beaconsfield. L., 1890.
- Gentz F. Briefwechsel mir Adam Müller. Stuttgart, 1857.
- Gide A. Review of F. Céline's «Bagatelle pour un massacre» // Nouvelle Revue Française. April 1938.
- Giraudoux J. Pleins pouvoirs. 1939.
- Glagau O. Der Börsen- und Gründungsschwindel. Leipzig, 1876; Der Bankrott des Nationalliberalismus und die Reaktion. 8th ed. B., 1878.
- Goethe J. W. von. Isachar Fallrensohn Behr, Gedichte eines polnischen Juden, 1772, Mietau und Leipzig // Frankfurter Gelehrte Anzeigen; Wilhelm Meister.
- Goldberg I. Finanz- und Bankwesen // Encyclopedia Judaica. 1930.

- Goldstein M. Deutsch-Jüdischer Parnass // Kunstwart. March 1912.
- Graser I. B. Das Judentum und seine Reformen als Vorbedingung der vollständigen Aufnahme der Nation in den Staatsverband. 1828.
- Grattenaue C. W. F. Über die physische und moralische Verfassung der heutigen Juden. Stimme eines Kosmopoliten. 1791. Reviewed // Allgemeine deutsche Bibliothek. Vol. 112. 1792; Wider die Juden. 1802.
- Grau W. Die Judenfrage als Aufgabe der neuen deutschen Geschichte. 1935; Wilhelm v. Humboldt und das Problem der Juden. Hamburg, 1935; Geschichte der Judenfrage // Historische Zeitschrift. Vol. 153. 1936.
- Greenstone J. H. The Messiah Idea in Jewish History. Philadelphia, 1906.
- Gressmann H. Der Messias. Göttingen, 1929.
- Gruen K. Die Judenfrage. 1844.
- Grunwald M. Samuel Oppenheimer und sein Kreis. Wien, 1913; Contributions à l'histoire des impôts et des professions des Juifs de Bohême, Moravie et Silésie depuis le 16e siècle // Revue des Etudes Juives. Vol. 82.
- Gueneau L. La Première voie ferrée de Bourgogne // Annales de Bourgogne. 1930, 1931.
- Gumpłowicz L. Der Rassenkampf. Innsbruck, 1883.
- Gurian W. Die politischen und sozialen Ideen des französischen Katholizismus. München-Gladbach, 1929; Der integrale Nationalismus in Frankreich: Charles Maurras und die Action Française. Frankfurt, 1931; Antisemitism in modern Germany // Essays on Antisemitism / Ed. by K. S. Pinson. 1946.
- Haeckel E. Lebenswunder. 1904.
- Halévy D. Apologie pour notre passé // Cahiers de la Quinzaine. Sér. 11. № 10. 1910.
- Halperin R. A. The American reaction to the Dreyfus case, Master's essay. Columbia University, 1941.
- Harden M. Händler und Soldaten // Die Zukunft. 1898; Zum Schutz der Republik // Ibid. July 1922; Tönt die Glocke Grabgesang? // Ibid. July-August 1922; Köpfe. B., 1910.
- Hauser O. Die Rasse der Juden. 1933.
- Heckscher E. F. Mercantilism. L., 1935.
- Herder J. G. Briefe zur Beförderung der Humanität, 1793–1797; Über die politische Bekehrung der Juden // Idem. Adrastea und das 18. Jahrhundert, 1801–1803.
- Herzog W. Der Kampf einer Republik. Zürich, 1933; and *Rehfishch H. J.* (pseudonym: René Kestner). L'affaire Dreyfus, a play. 1931.
- Hoberg C. A. Die geistigen Grundlagen des Antisemitismus im modernen Frankreich // Forschungen zur Judenfrage. Bd. 4. 1940.
- Hohenlohe-Schillingsfürst Ch. von. Denkwürdigkeiten der Reichskanzlerzeit / Ed. by Karl Alexander v. Müller (Deutsche Geschichtsquellen des 19. Jahrhunderts, Bd. 28), Stuttgart. 1931.
- Holst L. Das Judentum in allen dessen Teilen. Aus einem staatswissenschaftlichen Standpunkt betrachtet. Mainz, 1821.
- Humboldt W. von. Gutachten. 1809 // Freund J. Die Emanzipation der Juden in Preussen. B., 1912; Tagebücher / Ed. by Leitzmann. B., 1916–1918; Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren Briefen. B., 1910.
- Hyamson A. M. A history of the Jews in England. 1928.
- Jahn F. L. Deutsches Volkstum. 1810.
- Jöhlinger O. Bismarck und die Juden. B., 1921.
- Jost J. M. Neuere Geschichte der Israeliten. 1815–1845. B., 1846.
- Karbach O. The founder of modern political antisemitism: Georg von Schoenerer // Jewish Social Studies. Vol. 7. № 1. January 1945.

- Katz J. Exclusiveness and tolerance, Jewish-gentile relations in Medieval and Modern Times. N.Y., 1961.
- Kleines Jahrbuch des Nützlichen und Angenehmen für Israeliten, 1847.
- Koch L. S. J. Juden // Jesuitenlexikon. Paderborn, 1934.
- Koehler M. Beiträge zur neueren jüdischen Wirtschaftsgeschichte. Die Juden in Halberstadt und Umgebung // Studien zur Geschichte der Wirtschaft und Geisteskultur. Bd. 3. 1927.
- Kohler M. J. Some new light on the Dreyfus case // Studies in Jewish Bibliography and Related Subjects in Memory of A. S. Freidus. N.Y., 1929.
- Krakauer J. Geschichte der Juden in Frankfurt am Main. 1150–1824. 1925–1927.
- Kraus K. Untergang de Welt durch schwarze Magie. 1925.
- Krueger H. K. Berliner Romantik und Berliner Judentum. Dissertation. 1939.
- Krug W. T. Über das Verhältnis verschiedener Religionsparteien zum Staate und über die Emanzipation der Juden // Minerva. Bd. 148. 1828.
- K. V. T. The Dreyfus case: A study of French opinion // The Contemporary Review. Vol. 74. October 1898.
- Labori F. Le Mal politique et les partis // La Grande Revue. October–December 1901; Notes de Plaidoinies pour le procès de Rennes // Ibid. February 1900.
- Lachapelle G. Les finances de la Troisième République. P., 1937.
- La Serve F. Les Juifs à Lyon // Revue du Lyonnais. Vol. 7. 1838.
- Lazare B. L'antisémitisme, son histoire et ses causes. 1894; Une erreur judiciaire; la vérité sur l'affaire Dreyfus. 1896; Contre l'antisémitisme; histoire d'une polémique. P., 1896; Job's dungheap. N.Y., 1948.
- Lazaron M. S. Seed of Abraham. N.Y., 1930.
- Lecanuet E. Les signes avant-coureurs de la séparation, 1894–1910. P., 1930.
- Lemoine A. Napoléon I et les Juifs. P., 1900.
- Lestschinsky J. Die Umwandlung und Umschichtung des jüdischen Volkes im Laufe des letzten Jahrhunderts // Weltwirtschaftliches Archiv. Bd. 30. Kiel, 1929.
- Lesueur E. La Franc-Maçonnerie Artésienne au 18e siècle (Bibliothèque Révolutionnaire). 1914.
- Leuillot P. L'usure judaïque en Alsace sous l'Empire et la Restauration // Annales Historiques de la Révolution Française. Vol. 7. 1930.
- Levaillant I. La genèse de l'antisémitisme sous la Troisième République // Revue des Etudes Juives. Vol. 53. 1907.
- Levinas E. L'autre dans Proust // Deucalion. № 2. 1947.
- Lewinsohn R. Jüdische Weltfinanz? 1925; Wie sie gross und reich wurden. B., 1927.
- Lombard de Langres V. Sociétés secrètes en Allemagne... de l'assassinat Kotzebue. P., 1819.
- Lombroso C. L'antisemitisme. 2nd ed. P., 1899.
- Lucien-Brun H. La condition des Juifs en France depuis 1789. P., 1900.
- Luxemburg R. Die sozialistische Krise in Frankreich // Die Neue Zeit. Bd. 1. 1901.
- Maier H. Die Antisemiten // Deutsches Parteiwesen. № 2. München, 1911.
- Maistre C. J. M. de. Les soirées de St. Petersburg. 1821.
- Malet Ch. de. Recherches politiques et historiques qui prouvent l'existence d'une secte révolutionnaire. 1817.
- Marburg F. Der Antisemitismus in der deutschen Republik. Wien, 1931.
- Marcus J. R. The rise and destiny of the German Jews. 1934.
- Marr W. Sieg des Judentums über das Germanentum vom nicht konfessionellen Standpunkt aus betrachtet. 2nd ed. B., 1879.
- Martin du Gard R. Jean Barois. 1913.

- Marwitz Fr. A. L. von der. Letzte Vorstellung der Stände des Lebusischen Kreises an den König. 1811, Werke // Ed. by Meusel. B., 1908; Über eine Reform des Adels 1812 // Ibid.; Von den Ursachen des Verfalls der preussischen Staaten // Ibid.
- Marx K. Zur Judenfrage // Deutsch-französische Jahrbücher. 1843.
- Maurras Ch. Au signe de flore; souvenirs de la vie politique; l'affaire Dreyfus et la fondation de l'Action Française. P., 1931; Oeuvres Capitales. P., 1954.
- Mayer S. Die Wiener Juden; Kommerz, Kultur, Politik, 1700–1900. 1917.
- McDermot G. C. S. P. Mr. Chamberlain's foreign policy and the Dreyfus case // Catholic World. Vol. 67. September 1898.
- Mehring F. Die Lessinglegende. 1906.
- Mendelssohn M. Schreiben an Lavater. 1769 // Gesammelte Schriften. B., 1930. Bd. 7; Vorrede zur Uebersetzung von Menasseh ben Israel, Rettung der Juden. 1782 // Gesammelte Schriften. Leipzig, 1843–1845. Bd. 3.
- Meyer R. Politische Gründer und die Korruption in Deutschland. 1877.
- Mirabeau H. G. R. de. Sur Moses Mendelssohn. L., 1788.
- Mommsen Th. Reden und Aufsätze. B., 1905.
- Monypenny W. F., Buckle G. E. The life of Benjamin Disraeli. Earl of Beaconsfield. N.Y., 1929.
- Morley J. Life of Gladstone. 1903.
- Much W. 50 Jahre antisemitischer Bewegung. München, 1937.
- Mulert H. Antisemitismus // Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Tübingen, 1909.
- Müller A. Ausgewählte Abhandlungen / Ed. by J. Baxa. Jena, 1921.
- Neuschäfer F. A. Georg, Ritter von Schoenerer. Hamburg, 1935.
- Nipperdey Th. Die Organisation der deutschen Parteien vor 1918. Düsseldorf, 1961.
- Paalow C. L. Über das Bürgerrecht der Juden, übersetzt von einem Juden. B., 1803.
- Paléologue M. L'Antisémitisme, moyen du gouvernement sous Alexandre II et Alexandre III // Annales Politiques et Littéraires. Vol. 112. July 1938; Tagebuch der Affäre Dreyfus. Stuttgart, 1957.
- Parkes J. W. The emergence of the Jewish problem, 1878–1939. 1946.
- Paulus H. E. G. Beiträge von jüdischen und christlichen Gelehrten zur Verbesserung der Bekenner des jüdischen Glaubens. Frankfurt, 1817; Die jüdische Nationalabsonderung nach Ursprung, Folgen und Besserungsmitteln. 1831.
- Péguy Ch. Notre Jeunesse // Cahiers de la Quinzaine. 1910; A portrait of Bernard Lazare // Bernard Lazare. Job's dungheap. N.Y., 1948.
- Philipp A. Die Juden und das Wirtschaftsleben. Eine antikritischbibliographische Studie zu W. Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben. Strasbourg, 1929.
- Philippsohn L. Tageskontrolle // Allgemeine Zeitung des Judentums. 1839.
- Piccioletto J. Sketches of Anglo-Jewish history. L., 1875.
- Pichl E. (pseudonym Herwig). Georg Schoenerer. 1938.
- Pinner F. Deutsche Wirtschaftsführer. 1924.
- Praag J. E. van. Marcel Proust, Témoin du Judaïsme déjudaïsé // Revue Juive de Genève. № 48, 49, 50. 1937.
- Précis historique sur l'affaire du Panama. 1893.
- Pribram A. F. Urkunden und Akten zur Geschichte der Juden in Wien. Wien, 1918.
- Priebatsch F. Die Judenpolitik der fürstlichen Absolutismus im 17. und 18. Jahrhundert // Forschungen und Versuche zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit. 1915.
- Proust M. Remembrance of things past, 1932–1934.
- Quillard P. Le monument Henry. P., 1899.

- Rachel H. Das Berliner Wirtschaftsleben im Zeitalter des Frühkapitalismus. B., 1931; Die Juden im Berliner Wirtschaftsleben zur Zeit des Merkantilismus // Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland. Bd. 2.
- Rachfahl F. Das Judentum und die Genesis des modernen Kapitalismus // Preussische Jahrbücher. Bd. 147. 1912.
- Ramlow G. Ludwig von der Marwitz und die Anfänge konservativer Politik und Staatsauffassung in Preussen // Historische Studien. № 185.
- Rathenau W. Staat und Judentum. Zur Kritik der Zeit. B., 1912; Von kommenden Dingen. 1917.
- Raymond E. T. Disraeli. The alien patriot. N.Y., 1925.
- Reeves J. The Rothschilds. The financial rulers of nations. L., 1887.
- Rehberg A. W. von. Über den deutschen Adel. B., 1804.
- Reinach J. L'affaire Dreyfus, Paris, 1903–1911; Le rôle d'Henri // La Grande Revue. 1900. Vol. 1.
- Reinach Th. Histoire sommaire de l'affaire Dreyfus. P., 1924.
- Riesser G. Über die Stellung der Bekenner des mosaischen Glaubens, an die Deutschen aller Konfessionen. 1831; Betrachtungen über die Verhältnisse der jüdischen Untertanen in der Preussischen Monarchie. 1834.
- Robinson J. Proofs of a conspiracy against the religions and governments of Europe. L., 1797. American ed. 1798; German transl., 1800; French transl., 1798–1799.
- Roth C. The magnificent Rothschild. 1939.
- Ruehs Ch. F. Über die Ansprüche der Juden auf das deutsche Bürgerrecht // Zeitschrift für die neueste Geschichte der Völker und Staatenkunde. B., 1815; Die Rechte des Christentums und des deutschen Volkes vertheidigt gegen die Ansprüche der Juden und ihrer Verfechter. 1815.
- Ruppin A. Soziologie der Juden. B., 1930.
- Samter N. Judentaufen im 19. Jahrhundert. Mir besonderer Berücksichtigung Preussens. 1906.
- Savigny F. K. von. Beitrag zur Rechtsgeschichte des Adels im neueren Europa. 1836.
- Sayou A. Les Juifs // Revue Economique Internationale. 1912.
- Schaeffle A. E. Fr. Der 'grosse Börsenkrach' des Jahres 1873 // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Bd. 30. 1874.
- Scharf-Scharffenstein H. von. Das geheime Treiben, der Einfluss und die Macht des Judentums in Frankreich seit 100 Jahren (1771–1871). Stuttgart, 1872.
- Schay R. Juden in der deutschen Politik. 1929.
- Scheffer E. Der Siegeszug des Leihkapitals. 1924.
- Scheidler K. H. Judenemanzipation // Ersch und Gruber, Allgemeine Enzyklopaedie der Wissenschaften und Künste, 1850. 2nd section. Bd. 27.
- Schlegel F. Philosophische Vorlesungen aus den Jahren 1804–1806. Bonn, 1836.
- Schleiermacher F. Briefe bei Gelegenheit der politischen theologischen Aufgabe und des Sendschreibens jüdischer Hausväter. 1799 // Werke. Section 1. Bd. 5. 1846.
- Schnee H. Die Hoffinanz und der moderne Staat. 3 vols. B., 1953–1955.
- Schneider K. H. Judenemanzipation, // Ersch und Gruber. Allgemeine Enzyklopaedie der Wissenschaften und Künste. 1850. 2 section. Bd. 27.
- Schudt J. J. Jüdische Merkwürdigkeiten. Frankfurt, 1715–1717.
- Schwertfeger B. Die Wahrheit über Dreyfus. 1930.
- S. F. S. The Jesuits and the Dreyfus case // The Month. Vol. 93. February 1899.
- Shohet D. M. The Jewish Court in the Middle Ages. N.Y., 1931.
- Silbergleit H. Die Bevölkerungs- und Berufsverhältnisse der Juden im Deutschen Reich. B., 1930.
- Silberner E. Charles Fourier on the Jewish question // Jewish Social Studies. October 1946.

- Simon Y.* La grande crise de la République Française; observations sur la vie politique française de 1918–1938. Montreal, 1941.
- Sombart W.* Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert. 1903; Die Juden und das Wirtschaftsleben. 1911; Die Zukunft der Juden. 1912; Der Bourgeois. 1913; Studien zur Entwicklungsgeschichte des modernen Kapitalismus. 1913.
- Sonnenberg-Liebermann M. von.* Beiträge zur Geschichte der antisemitischen Bewegung vom Jahre 1880–1885. B., 1885.
- Sorel G.* Réflexions sur la violence. P., 1908; La révolution dreyfusienne. P., 1911.
- Stahl F. J.* Der christliche Staat und sein Verhältnis zu Deismus und Judentum. 1847.
- Steinberg A. S.* Die weltanschaulichen Voraussetzungen der jüdischen Geschichtsschreibung // *Dubnov-Festschrift*. 1930.
- Stern S.* Die Juden in der Handelspolitik Friedrich Wilhelms I. von Preussen // *Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland*. Bd. 5; Der preussische Staat und die Juden. 2 vols. Tübingen, 1962; *Jud Suess*. 1929; Die Judenfrage in der Ideologie der Aufklärung und Romantik // *Der Morgen*. Bd. 11. 1935; *The Court Jew*. Philadelphia, 1950.
- Stoecker A.* Reden und Aufsätze. Leipzig, 1913.
- Strauss R.* The Jews in the economic evolution of Central Europe // *Jewish Social Studies*. 1941. Vol. 3. № 1.
- Suarez G.* La vie orgueilleuse de Clémenceau. P., 1930.
- Sundheimer P.* Die jüdische Hochfinanz und der bayrische Staat im 18. Jahrhundert // *Finanzarchiv*. 1924. Bd. 41.
- Thalheimer S.* Macht und Gerechtigkeit—Ein Beitrag zur Geschichte des Falles Dreyfus. München, 1958.
- Théo-Daedalus (pseudonym).* L'Angleterre juive: Israël chez John Bull. Bruxelles, 1913.
- Thibaudet A.* Les idées de Charles Maurras. P., 1920.
- Toussenel A.* Les Juifs, rois de l'époque. L'histoire de la féodalité financière. 3rd ed. 1846.
- Treitschke H. von.* Unsere Aussichten // *Preussische Jahrbücher*. 1879. Bd. 44. № 5; Herr Graetz und sein Judentum // *Ibid.* № 6; Erwiderung an Mommsen // *Ibid.* 1881. Bd. 46. № 6.
- Ucko S.* Geistesgeschichtliche Grundlagen der Wissenschaft des Judentums // *Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland*. Bd. 5. № 1.
- Vacher de Lapouge G.* L'Aryen, son rôle social. P., 1896; Les selections sociales. P., 1896.
- Vallée O. de.* Manieurs d'argent, 1710–1857. 1857.
- Varigny C. de.* Les grandes fortunes en Angleterre // *Revue des deux Mondes*. June 1888.
- Varnhagen A.* Tagebücher. Leipzig, 1861.
- Vernunft W.* Juden und Katholiken in Frankreich // *Nationalsozialistische Monatshefte*. October 1938; Die Hintergründe des französischen Antisemitismus // *Ibid.* June 1939.
- Voltaire F. M. A. de.* Dictionnaire philosophique // *Oeuvres complètes*. Vol. 9. 1878; Philosophie générale: métaphysique, morale et Théologie // *Oeuvres complètes*. Vol. 40. 1885; Essai sur les moeurs et l'esprit des nations // *Oeuvres complètes*. Vol. 12. 1878.
- Waetjen H.* Das Judentum und die Anfänge der modernen Kolonisation // *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*. Vol. 11.
- Wagener H.* Das Judentum und der Staat // *Wagener Staatslexikon*, 1815–1889; Das Judentum in der Fremde // *Ibid.*

- Wawrzinek K.* Die Entstehung der deutschen Antisemitenparteien 1875–1890. B., 1927.
- Weber E.* Action Française — royalism and reaction in twentieth-century France. Stanford, 1962.
- Weber M.* Die Börse // *Idem.* Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik; Wirtschaftsgeschichte. 1923; Parlament und Regierung. 1918.
- Weil B.* L'affaire Dreyfus. P., 1930.
- Weill A.* Rothschild und die europäischen Staaten. 1844.
- Weill G.* Les Juifs et le Saint-Simonisme // *Revue des Etudes Juives*. Vol. 31.
- Weinryb S. B.* Neueste Wirtschaftsgeschichte der Juden in Russland und Polen // *Historische Untersuchungen*. Vol. 12. B., 1934.
- Zaccone P.* Histoire des sociétés secrètes politiques et religieuses depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, 1847–1849.
- Zielenziger K.* Die Juden in der deutschen Wirtschaft. 1930.
- Zola E.* L'Accuse // *L'Aurore*. January 13, 1898; Correspondance: lettres à Maître Labori. P., 1929.
- Zweig S.* The world of yesterday: An autobiography. 1943.
- Часть вторая: Империализм*
- American Friends Service Bulletin, General Relief Bulletin.* March. 1943.
- Ander Ch.* Les origines du pangermanisme. 1915.
- Angus H. F.* Canada and the doctrine of peaceful changes // *International Studies Conference. Demographic questions. Peaceful Changes*. 1937.
- Arndt E. M.* Ein Blick aus der Zeit auf die Zeit, 1814; Phantasien zur Berichtigung der Urteile über künftige deutsche Verfassungen. 1815; Erinnerungen aus Schweden. 1818.
- Azcarate P. de.* Minorities. League of Nations // *Encyclopaedia Britannica*. 1929.
- Bangert O.* Gold oder Blut. 1927.
- Barker E.* Political theory in England from Herbert Spencer to the present day. 1915; Ideas and ideals of the British Empire. Cambridge, 1941.
- Barnes L.* Caliban in Africa. An impression of colour madness. Philadelphia, 1931.
- Barzès M.* Scènes et doctrines du nationalisme. P., 1899.
- Barzun J.* Race. A study in modern superstition. N.Y., 1937.
- Bassermann E.* Nationalliberale // *Handbuch der Politik*. Bd. 2. 1914.
- Bauer O.* Die Nationalitätenfrage und die österreichische Sozialdemokratie. Wien, 1907.
- Beamish H. H.* South Africa's Kosher Press. L., 1937.
- Becker P.* Carl Peters, die Wirkung der deutschen Kolonialpolitik. 1934.
- Bell Sir Hesketh.* Foreign colonial administration in the Far East. 1928.
- Benedict R.* Race, science and politics. 1940.
- Benians E. A.* The European colonies // *Cambridge Modern History. The Latest Age*. Vol. 12. 1934.
- Benjamin W.* Über den Begriff der Geschichte // *Werke*. Frankfurt, 1955.
- Bentwich N.* South Africa. Dominion of racial problems // *The Political Quarterly*. Vol. 10. № 3. 1939.
- Bérard V.* L'Empire russe et le tsarisme. 1905.
- Bergstraesser L.* Geschichte der politischen Parteien. 1921.
- Bibl V.* Der Zerfall Oesterreichs. 1924.
- Bluntschli J. C.* Charakter und Geist der politischen Parteien. 1869.

- Bodensen C. A. Studies in Mid-Victorian Imperialism. 1924.  
 Bodin J. Six livres de la République. 1576.  
 Bonhard O. Geschichte des alldeutschen Verbandes. 1920.  
 Boulainvilliers C. H. de. Histoire de l'ancien gouvernement de la France. 1727.  
 Braun R. Political Parties. Succession States // Encyclopedia of the Social Sciences.  
 Brie F. Imperialistische Strömungen in der englischen Literatur. Halle, 1928; Der Einfluss der Lehren Darwins auf den britischen Imperialismus. 1927.  
 Bronner F. Georg, Ritter von Schoenerer // Volk im Werden. Bd. 7. № 3. 1939.  
 Bruecher H. Ernst Haeckel. Ein Wegbereiter biologischen Staatsdenkens // Nationalsozialistische Monatshefte. № 69. 1935.  
 Bruun G. Europe and the French Empire. 1938.  
 Bryce V. J. Studies in history and jurisprudence. 1901.  
 Bubnoff N. Kultur und Geschichte im russischen Denken der Gegenwart // Osteuropa: Quellen und Studien. № 2. 1927.  
 Buffon G.-L. L. de. Histoire naturelle. 1769–1789.  
 Burke E. Reflections on the revolution in France (1790), Everyman's Library; Upon party. 1850. 2nd ed.  
 Burns E. British imperialism in Ireland. 1931.

- Cambridge History of the British Empire. Vol. 5. The Indian Empire 1858–1918. 1932; Vol. 8. South Africa. 1936.  
 Carlyle Th. Occasional discourse on the Nigger question // Critical and Miscellaneous Essays.  
 Carr-Saunders A. M. World population. Oxford, 1936.  
 Carthill Al. (pseudonym). The lost dominion. 1924.  
 Chamberlín W. H. The Russian Revolution, 1917–1927. N.Y., 1935.  
 Cherikover E. New materials on the pogroms in Russia at the beginning of the eighties // Historische Shriftn. Vol. 2. Vilna, 1937.  
 Chesterton C., Belloc H. The party system. L., 1911.  
 Chesterton G. K. The crimes of England. 1915.  
 Childs S. L. Refugees — a permanent problem in International Organization // War is not Inevitable, Problems of Peace. 13th series. Published by the International Labor Office. L., 1938.  
 Clapham J. H. The Abbé Siéyès. L., 1912.  
 Class H. (pseudonym Einhart). Deutsche Geschichte. Leipzig, 1910; Zwanzig Jahre alldeutscher Arbeit und Kämpfe. Leipzig, 1910; (pseudonym Daniel Fryman). Wenn ich der Kaiser wär. Politische Wahrheiten und Notwendigkeiten. 1912.  
 Cleinow G. Die Zukunft Polens. Leipzig, 1914.  
 Comte A. Discours sur l'ensemble du positivisme. 1848.  
 Conditions of India (no author, preface by Bertrand Russell). L., 1934.  
 Conrad J. The heart of darkness // Idem. The youth and other tales. 1902; Victory. 1915.  
 Cooke G. W. The history of party. L., 1836.  
 Coquart A. Pisarev et l'idéologie du nihilisme russe. P., 1946.  
 Cromer E. B. The government of subject races // Edinburgh Review. January. 1908; «Disraeli» // Spectator. November. 1913.  
 Crozier J. B. History of intellectual development on the lines of modern evolution. 1897–1901.  
 Crozier W. P. France and her «Black Empire» // New Republic. January 23. 1924.  
 Curzon G. N. Problems of the Far East. 1894.

- Damce E. H. The Victorian illusion. L., 1928.  
 Danilewski N. Y. Russia and Europe. 1871.  
 Darcy J. France et Angleterre, cent années de rivalité coloniale. 1904.

- (Davidson J.) Testament of John Davidson. 1908.  
 Deckert E. Panlatinismus, Panlawismus und Panteutonismus in ihrer Bedeutung für die Weltlage. Frankfurt, 1914.  
 Delbrück H. Die Alldeutschen // Preussische Jahrbücher. Bd. 154. December. 1913; Ludendorffs Selbstportrait. B., 1922.  
 Delos J.-T. La nation. Montreal, 1944.  
 Demokratie und Partei / Rohden P. R. (Hrsg.). Wien, 1932.  
 Detweiler E. G. The rise of modern race antagonism // American Journal of Sociology. 1932.  
 Deutscher Staat und deutsche Parteien / Kaehler S. (Hrsg.). München, 1922.  
 Dilke Ch.W. Problems of Greater Britain. 4th ed. L., 1890.  
 Dornath J. von. Die Herrschaft des Panlawismus // Preussische Jahrbücher. Bd. 95. B., 1898.  
 Dreyfus R. La vie et les prophéties du Comte de Gobineau // Cahiers de la Quinzaine. Ser. 6. Cahier 16. 1905.  
 Dubuat-Nançay C. L. G. Les origines; ou, l'ancien gouvernement de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. 1789.  
 Duesberg J. Le Comte de Gobineau // Revue Générale. 1939.  
 Duverger M. Political parties. Their organization and activity in the modern state. N.Y., 1959.
- Östliches Christentum. Dokumente. 1925 / Ehrenberg H., Bubnoff N. (Hrsg.).  
 Emden P. H. Jews of Britain. A Series of Biographies. L., 1944.  
 Erdstein D. Le statut juridique des minorités en Europe. P., 1932.  
 Estève L. Une nouvelle psychologie de l'impérialisme. Ernest Seillière. 1913.
- Faure E. Gobineau et le problème des races // Europe. 1923.  
 Fiala V. Les partis politiques polonais // Monde Slave. February. 1935.  
 Fischel A. Der Panlawismus bis zum Weltkrieg. 1919.  
 The French Colonial Empire (Information Department Papers. № 25). Published by the Royal Institute of International Affairs. L., 1941.  
 Friedlosigkeit // Schweizer Lexikon. 1945.  
 Froude J. A. Short studies on great subjects. 1867–1882.  
 Gagarin I. S. La Russie sera-t-elle catholique? 1856.  
 Galton F. Hereditary genius. 1869.  
 Gehrke A. Die Rasse im Schrifttum. 1933.  
 Gelber N. M. The Russian pogroms in the early eighties in the light of the Austrian diplomatic correspondence // Historische Shriftn. Vol. 2, Vilna, 1937.  
 George D. L. Memoirs of the Peace Conference. Yale, 1939.  
 Gobineau C. S. de. Le Gobinisme et la pensée moderne // Europe. 1923.  
 Gobineau C. J.-A. de. Essai sur l'inégalité des races humaines. 1853; The inequality of human races / Translated by A. Collins. 1915; Ce qui est arrivé à la France en 1870 // Europe. 1923.  
 Goerres J. Politische Schriften. München, 1854–1874.  
 Gohier U. La race a parlé. 1916.  
 Grégoire A. H. De la littérature des Nègres, ou recherches sur leurs qualités morales. P., 1808; De la Noblesse de la peau ou du préjugé des blancs contre la couleur des Africains. P., 1826.  
 Gregory Th. Ernst Oppenheimer and the economic development of Southern Africa. N.Y., 1962.  
 Grell H. Der alldeutsche Verband, seine Geschichte, seine Bestrebungen, seine Erfolge // Flugschriften des alldeutschen Verbandes. № 8. München, 1898.  
 Gunenin E. L'Épopée coloniale de la France. 1932.

- Hadsel W. N.* Can Europe's refugees find new Homes // Foreign Policy Reports. Vol. 10. № 10. 1943.
- Halévy E.* L'ère des tyrannies. P., 1938.
- Hallgarten W.* Vorkriegs-imperialismus. 1935.
- Hancock W. K.* Survey of British commonwealth affairs. L., 1937-1942; Smuts: The Sanguine Years. 1870-1919. N.Y., 1962.
- Hanotaux G.* Le général Mangin // Revue des Deux Mondes. Vol. 27. 1925.
- Harlow V.* The character of British imperialism. 1939.
- Harvey Ch. H.* The biology of British politics. 1904.
- Hasse E.* Deutsche Weltpolitik // Flugschriften des Alldeutschen Verbandes. № 5. 1897; Deutsche Politik. 1905-1906.
- Hazeltine H. D.* Excommunication // Encyclopedia of the Social Sciences.
- Heinberg J. G.* Comparative major European Governments: An introductory study. N.Y., 1937.
- Herrmann L.* History of the Jews in South Africa. 1935.
- Hilferding R.* Das Finanzkapital. Wien, 1910.
- Hobbes Th.* Leviathan (1651). Cambridge, 1935.
- Hobson J. H.* Capitalism and imperialism in South Africa // Contemporary Review. 1900; Imperialism (1905). Unrevised edition, 1938.
- Hoetzsch O.* Russland; eine Einführung auf Grund seiner Geschichte von 1904-1912. B., 1913.
- Hoffmann K.* Ölpolitik und angelsächsisches Imperium. 1927.
- Holborn L. W.* The legal status of political refugees, 1920-1938 // American Journal of International Law. 1938.
- Holcombe A. N.* Political Parties // Encyclopedia of the Social Sciences.
- Hotman F.* Franco-Gallia. 1573.
- Huebbe-Schleiden.* Deutsche Kolonisation. 1881.
- Huxley Th.* The struggle for existence in human society. 1888.
- Ipsari H. P.* Vom Begriff der Partei // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. 1940.
- James S.* South of the Congo. N.Y., 1943.
- Janeff J.* Der Untergang des Panslawismus // Nationalsozialistische Monatshefte. № 91. 1937.
- Janowsky O. J.* The Jews and minority rights. N.Y., 1933; Nationalities and national minorities. N.Y., 1945.
- Jermings R. Y.* Some international aspects of the refugee question // British Yearbook of International Law. 1939.
- Kabermann H.* Das internationale Flüchtlingsproblem // Zeitschrift für Politik. Bd. 29. № 3. 1934.
- Karbach O.* The founder of modern political antisemitism: Georg von Schoenerer // Jewish Social Studies. Vol. 7. № 1. January. 1945.
- Kat Angelino A. D. A. de.* Colonial policy. Chicago, 1931.
- Kehr E.* Schlachtflottenbau und Parteipolitik. 1930.
- Kidd B.* Social evolution. 1894.
- Kiewiet C. W. de.* A history of South Africa. Social and economic. Oxford, 1941.
- Kipling R.* The First Sailor // *Idem.* Humorous tales. 1891; The tomb of his ancestor // *Idem.* The day's work. 1898; Stalky and company. 1899; Kim. 1900.
- Klemm G.* Allgemeine Kulturgeschichte der Menschheit, 1843-1852.
- Klyuchevsky V. O.* A history of Russia. L., 1911-1931.
- Koebner R., Schmidt H. D.* Imperialism: The story and significance of a political world, 1840-1860. N.Y., 1964.
- Koestler A.* Scum of the Earth. 1941.
- Kohn H.* Nationalism. 1938; Panslavism: History and ideology. Notre Dame, 1953.
- Koyré A.* Etudes sur l'histoire de la pensée philosophique en Russie. P., 1950.

- Kruck A.* Geschichte des alldeutschen Verbandes 1890-1939. Wiesbaden, 1954.
- Kuhlenbeck L.* Rasse und Volkstum // Flugschriften des alldeutschen Verbandes. № 23.
- Kulischer E. M.* The displacement of population in Europe (International Labor Office). Mont-real, 1943.
- Kulischer J.* Allgemeine Wirtschaftsgeschichte, 1928-1929.
- Landsberg P. L.* Rassenideologie // Zeitschrift für Sozialforschung. 1933.
- Langer W.* The diplomacy of imperialism, 1890-1902.
- Larcher M.* Traité élémentaire de législation algérienne. 1903.
- Lawrence T. E.* France, Britain and the Arabs // The Observer. 1920; Seven pillars of wisdom. 1926; Letters / Ed. by D. Garnett. N.Y., 1939.
- Lebenfragen des britischen Weltreichs / E. Marcks (Hrsg).* 1921.
- Lehr.* Zwecke und Ziele des alldeutschen Verbandes // Flugschriften des alldeutschen Verbandes. № 14.
- Lemonon E.* L'Europe et la politique britannique: 1882-1911. 1912.
- Levine L.* Pan-Slavism and European politics. N.Y., 1914.
- Lewis G. C.* An essay on the government of dependencies. Oxford, 1844.
- Lippincott B. E.* Victorian critics of democracy. University of Minnesota, 1938.
- Lossky N. O.* Three chapters from the history of Polish messianism // International Philosophical Library. Vol. 2. № 9. Prague, 1936.
- Lovell R. I.* The struggle for South Africa: 1875-1899. N.Y., 1934.
- Low S.* Personal recollections of Cecil Rhodes // Nineteenth Century. Vol. 51. May. 1902.
- Ludendorff E.* Die überstaatlichen Mächte im letzten Jahre des Weltkrieges. Leipzig, 1927; Die Judenmacht, ihr Wesen und Ende. München, 1938; Feldherrnwort. 1938.
- Luxemburg R.* Die Akkumulation des Kapitals. B., 1923.
- Macartney C. A.* The social revolution in Austria. Cambridge, 1926; National states and national minorities. L., 1934.
- Mahan A. T.* The problem of Asia and its effect upon international policies. Boston, 1900.
- Maine Sir H.* Popular government. 1886.
- Mangin Ch. M. E.* La force noire. 1910; Des hommes et des faits. P., 1923.
- Mangold E. K. B.* Frankreich und der Rassedanke; eine politische Kernfrage Europas. 1937.
- Mansergh N.* Britain and Ireland // Longman's Pamphlets on the British Commonwealth. L., 1942; South Africa 1960-1961. N.Y., 1962.
- Marx K.* The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852). 1898.
- Masaryk Th. G.* Zur russischen Geschichts- und Religionsphilosophie. 1913.
- Mauco G.* L'emigration, problème révolutionnaire // Esprit. 7th year. № 82. July. 1939.
- Maunier R.* Sociologie coloniale, 1932-1936.
- Metzer E.* Imperialismus und Romantik. B., 1908.
- Michel P. Ch.* A biological view of our foreign policy // Saturday Review. February. L., 1896.
- Michell L.* Rhodes. L., 1910.
- Michels R.* Prolegomena zur Analyse des nationalen Leitgedankens // Jahrbuch für Soziologie. Bd. 2. 1927; Political parties: a sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy. Glencoe, 1919.
- Millin S. G.* Rhodes. L., 1933.
- Molisch P.* Geschichte der deutschnationalen Bewegung in Österreich. Jena, 1926.
- Montesquieu C. L. de.* Esprit des Lois. 1748.
- Morrison T.* Imperial rule in India. 1809.
- Multatuli (pseudonym for Eduard Douwes Dekker).* Max Havelaar. 1868.

- Nadolny R.* Germanisierung oder Slavisierung? 1928.  
*Naumann F.* Central Europe. L., 1916.  
*Neame L. E.* The history of apartheid. L., 1962.  
*Nettlau M.* Der Anarchismus von Proudhon zu Kropotkin. 1927.  
*Neumann S.* Die Stufen des preussischen Konservatismus // Historische Studien. № 190. 1930; Die deutschen Parteien. 1932.  
*Neuschäfer F. A. Georg, Ritter von Schoenerer.* Hamburg, 1935.  
*Nicolson H.* Curzon: The last phase 1919–1925. Boston; N.Y., 1934.  
*Nippold G.* Der deutsche Chauvinismus. 1913.  
*Novalis (pseudonym for Friedrich Hardenberg).* Neue Fragmentensammlung. 1798.

- Oakesmith J.* Race and nationality: An inquiry into the origin and growth of patriotism. 1919.  
*Oertzen A. F. von.* Nationalsozialismus und Kolonialfrage. B., 1935.  
*Oesterley W. O. E.* The evolution of the messianic idea. L., 1908.

Le Panlatinism, Confédération Gallo-Latine et Kelto-Gauloise... ou projet d'union fédérative... P., 1860.

- Pearson K.* National life. 1901.  
*Peters C.* Das Deutschtum als Rasse // Deutsche Monatsschrift. April. 1905; Die Gründung von Deutsch-Ostafrika, Kolonialpolitische Erinnerungen. 1906.  
*Pichl, Eduard (pseudonym Herwig).* George Schoenerer. 1938.  
*Pinon R.* France et Allemagne. 1912.  
*Pirenne H.* A history of Europe from the Invasions to 16 century. L., 1939.  
*Plucknett Th. F. T.* Outlawry // Encyclopedia of the Social Sciences.  
*Pobyedonostzev C.* L'autocratie russe. Mémoires politiques, correspondance officielle et documents inédits... 1881–1894. P. 1927; Reflections of a Russian statesman, L., 1898.  
*Preuss L.* La Dénationalisation imposée pour des motifs politiques // Revue Internationale Française du Droit des Gens. Vol. 4. № 1, 2, 5. 1937.  
*Priestley H. J.* France Overseas: a study of modern imperialism. N.Y., 1938.  
*Pundt A.* Arndt and the national awakening in Germany. N.Y., 1935.

Die Rechtsverhältnisse der Juden in Preussen seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts / A. Michaelis (Hrsg.). B., 1910.

- Reimer E.* Pangermanisches Deutschland. 1905.  
*Reismann-Grone Th.* Überseepolitik oder Festlandspolitik? // Flugschriften des alldeutschen Verbandes. № 22. 1905.  
*Renan E.* Histoire générale et systématique comparée des langues. 1863; Qu'est-ce qu'une nation? P., 1882; English translation by Hutchison W. G. // The poetry of the celtic races, and other studies. L., 1896.  
*Renner K.* Der Kampf der österreichischen Nationen unter dem Staat. 1902; Österreichs Erneuerung. Politisch-programmatische Aufsätze. Wien, 1916; Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen. Leipzig, 1918.  
*Richard G.* Le confit de l'autonomie nationale et de l'impérialisme. 1916.  
*Ritter P.* Kolonien im deutschen Schrifttum. 1936.  
*Robert C.* Les deux Panславismes. 1847; Le monde slave. 1852.  
*Robespierre M. de.* Oeuvres. 1840; Speeches. 1927.  
*Robinson J.* Staatsbürgerliche und wirtschaftliche Gleichberechtigung // Süddeutsche Monatshefte. July. 1929.  
*Roepke W.* Kapitalismus und Imperialismus // Zeitschrift für Schweizerische Statistik und Volkswirtschaft. Bd. 70. 1934.

- Rohan H. D. de.* De l'intérêt des princes et états de la Chrétienté. 1638.  
*Rohrbach P.* Der deutsche Gedanke in der Welt. 1912; Die alldeutsche Gefahr. 1918.  
*Roscher W.* Die Grundlagen der Nationalökonomie. 1900.  
*Rosenkranz K.* Über den Begriff der politischen Partei. 1843.  
*Roucek J.* The minority principle as a problem of political science. Prague, 1928.  
*Rozanov V.* Fallen Leaves. 1929.  
*Rudlin W. A.* Political Parties. Great Britain // Encyclopedia of the Social Sciences.  
*Russell J.* On party. 1850.

- Samuel H. B.* Modernities. L., 1914.  
*Schnee H.* Nationalismus und Imperialismus. 1928.  
*Schultze E.* Die Judenfrage in Südafrika // Der Weltkampf. Bd. 15. № 178. 1938.  
*Schumpeter J.* Zur Soziologie der Imperialismen // Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik. Bd. 46. 1918–1919.  
*Schuyler R. L.* The fall of the old colonial system. A study in British free trade. 1770–1870. N.Y., 1945.  
*Seeley J. R.* The expansion of England. 1883.  
*Seillière E.* La philosophie de l'impérialisme. 1903–1906; Mysticisme et domination. Essais de critique impérialiste. 1913.  
*Sieveking H. J.* Wirtschaftsgeschichte // Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaften. Bd. 47. 1935.  
*Siéyès A. E. J.* Qu'est-ce que le Tiers Etat? 1789.  
*Simar Th.* Etude critique sur la formation de la doctrine des races au 18e et son expansion ou 19e siècle. Bruxelles, 1922.  
*Simpson J. H.* The refugee problem (Institute of International Affairs). Oxford, 1939.  
 Sitzungsbericht des Kongresses der organisierten nationalen Gruppen in den Staaten Europas. 1933.  
*Solovyov V.* Judaism and the christian question. 1884.  
*Sommerland Th.* Der deutsche Kolonialgedanke und sein Werden im 19. Jahrhundert. Halle, 1918  
*Spiess C.* Impérialismes. Gobinisme en France. P., 1917.  
*Sprietsma C.* We imperialists. Notes on Ernest Seillière's philosophy of imperialism. N.Y., 1931.  
*Staehtlin K.* Geschichte Russlands von den Anfängen bis zur Gegenwart. 1923–1939; Die Entstehung des Panslawismus // Germano-Slavica. № 4. 1936.  
*Stephen J. F.* Liberty, Equality, Fraternity. 1873; Foundations of the government of India // Nineteenth Century. Vol. 80. 1883.  
*Stoddard Th. L.* Rising tide of color. 1920.  
*Strieder J.* Staatliche Finanznot und Genesis des modernen Grossunternehmertums // Schmollers Jahrbücher. Bd. 49. 1920.  
*Strzygowski J.* Altai, Iran und Völlerwanderung. Leipzig, 1917.  
*Suarès A.* La nation contre la race. P., 1916.  
*Sumner B. H.* Russia and the Balkans. Oxford, 1937; A short history of Russia. N.Y., 1949.  
*Sydacoff B. von.* Die panslawistische Agitation und die südslawische Bewegung in Österreich-Ungarn. B., 1899.  
*Szpotailski S.* Les Messies au 19e siècle // Revue Mondiale. 1920.

- Talleyrand C. M. de.* Essai sur les avantages à retirer des colonies nouvelles dans les circonstances présentes (1799) // Académie des Sciences Coloniales. Annales. Vol. 3. 1929.  
*Thierry A.* Lettres sur l'histoire de la France. 1840.  
*Thompson L. M.* African national historiography and the policy of apartheid // The Journal of African History. Vol. 3. № 1. 1962.

- Thring H.* Suggestions for colonial reform. 1865.
- Tirpitz A. von.* Erinnerungen. 1919.
- Tocqueville A. de.* Lettres de Alexis de Tocqueville et de Arthur Gobineau // *Revue des Deux Mondes*. Vol. 199. 1907; *L'ancien régime et la révolution*. 1856.
- Tonsill Ch. C.* Racial theories from Herder to Hitler // *Thought*. Vol. 15. 1940.
- Townsend M. E.* Origin of modern German colonialism, 1871–1885. N.Y., 1921; *Rise and fall of Germany's colonial Empire*. N.Y., 1930; *European colonial experience since 1871*. N.Y., 1941.
- Tramples K.* Völkerbund und Völkerfreiheit // *Süddeutsche Monatshefte*. July. 1929.
- Tyler I. E.* The struggle for imperial unity. L.; Toronto; N.Y., 1938.
- Unwin G.* *Studies in Economic History* / Ed. by R. H. Tawney. 1927.
- Vichniac M.* Le statut international des apatrides // *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International*. Vol. 33. 1933.
- Voegelin E.* Rasse und Staat. 1933; *Die Rassenidee in der Geistesgeschichte*. B., 1933; *The origins of scientism* // *Social Research*. December. 1948.
- Voelker K.* Die religiöse Wurzel des englischen Imperialismus. Tübingen, 1924.
- Vrba R.* Russland und der Panlawismus; statistische und sozialpolitische Studien. 1913.
- Wagner A.* Vom Territorialstaat zur Weltmacht. 1900.
- Weber E.* Volk und Rasse. Gibt es einen deutschen Nationalstaat? 1933.
- Webster Ch. K.* Minorities. History // *Encyclopaedia Britannica*. 1929.
- Wenck M.* Alldeutsche Taktik. 1917.
- Werner B. von.* Die deutsche Kolonialfrage. 1897.
- Werner L.* Der alldeutsche Verband, 1890–1918 // *Historische Studien*. № 278. B., 1935.
- Wertheimer M. S.* The Pan-German League, 1890–1914. 1924.
- Westarp K. F. V. von.* Konservative Politik im letzten Jahrzehnt des Kaiserreiches. 1935.
- White J. S.* Taine on race and genius // *Social Research*. February. 1943.
- Whiteside A. G.* Nationaler Sozialismus in Österreich vor 1918. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 9. Jg. 1961.
- Williams B.* Cecil Rhodes. L., 1921.
- Williams Sir J. F.* Denationalisation // *British Year Book of International Law*. Vol. 7. 1927.
- Winkler W.* Statistisches Handbuch der europäischen Nationalitäten. Wien, 1931.
- Winh M.* Geschichte der Handelskrisen. 1873.
- Wolmar W. von.* Vom Panlawismus zum tschechisch-sowjetischen Bündnis // *Nationalsozialistische Monatshefte*. № 104. 1938.
- Das Zeitalter des Imperialismus // *Propyläen Weltgeschichte*. Bd. 10. 1933.
- Zetland L. J.* Lord Cromer. 1932.
- Ziegler H. O.* Die moderne Nation. Tübingen, 1931.
- Zimmermann A.* Geschichte der deutschen Kolonialpolitik. 1914.
- Zoepfl G.* Kolonien und Kolonialpolitik // *Handwörterbuch der Staatswissenschaften*. 3 Aufl.

### Часть третья: Тоталитаризм

За любезное позволение просматривать и цитировать архивные материалы я благодарю Гуверовскую библиотеку в Станфорде (Hoover Library in Stanford, California), Центр документации по истории современного еврейства в Париже (the Centre de Documentation Juive Contemporaine in Paris) и Научно-исследовательский институт идиш в Нью-Йорке (the Yiddish Scientific Institute in New York). Документы Нюрнбергского

- трибунала цитируются с указанием номера судебного дела, для других документов указаны их теперешнее местонахождение и архивный номер.
- Abel Th.* Why Hitler came into power. An answer based on the original life stories of six hundred of his followers. 1938.
- Adler H. G.* Theresienstadt 1941–1945. Tübingen, 1955.
- Alquen G. de.* Die SS. Geschichte, Aufgabe und Organisation der Schutzstaffeln der NSDAP (Schriften der Hochschule für Politik). 1939.
- Anweiler O.* Die Räte-Bewegung in Russland 1905–1921. Leiden, 1958; *Lenin und der friedliche Übergang zum Sozialismus* // *Osteuropa*. 1956. Vol. 6.
- Armstrong J. A.* The soviet bureaucratic elite: A study of the Ukrainian apparatus. N.Y., 1959; *The politics of totalitarianism*. N.Y., 1961.
- Avtorkhanov A.* Social differentiation and contradictions in the party // *Bulletin of the Institute for the Study of the USSR*. München. February. 1956; *Stalin and the Soviet Communist Party: A study in the technology of power*. N.Y., 1959; (*pseudonym Uvalov*) *The reign of Stalin*. L., 1953.
- Bakunin M.* Oeuvres. P., 1907; *Gesammelte Werke*. 1921–24.
- Balabanoff A.* Impressions of Lenin. Ann Arbor, 1964.
- Baldwin R. N.* Political police // *Encyclopedia of the Social Sciences*.
- Bataille G.* Le secret de Sade // *La Critique*. Vol. 3. № 15, 16, 17. 1947; *Review of D. Rousset* «Les jours de notre mort» // *La Critique*. January. 1948.
- Bauer R. A., Inkeles A., Kluckhohn C.* How the soviet system works. Cambridge, 1956.
- Bayer E.* Die SA. B., 1938.
- Bayle F.* Psychologie et éthique du national-socialisme. Etude anthropologique des dirigeants SS. P., 1953.
- Beck F., Godin W.* Russian purge and the extraction of confession. L.; N.Y., 1951.
- Beckerath E. von.* Fascism // *Encyclopedia of the Social Sciences*; *Wesen und Werden des faschistischen Staates*. B., 1927.
- Benn G.* Der neue Staat und die Intellektuellen. 1933.
- Bennecke H.* Hitler und die SA. München, 1962.
- Berdyaev N.* The origin of Russian communism. 1937.
- Best W.* Die deutsche Polizei. 1940.
- Bettelheim B.* On Dachau and Buchenwald // *Nazi Conspiracy...* Vol. 7; *Behavior in extreme situations* // *Journal of Abnormal and Social Psychology*. Vol. 38. № 4. 1943.
- Blanc R. M.* Adolf Hitler et les «Protocoles des sages de Sion». 1938.
- Bonhard O.* Jüdische Geld- und Weltherrschaft? B., 1926.
- Borkenau F.* The totalitarian enemy. L., 1940; *The communist international*. L., 1938; «Die neue Komintern» // *Der Monat*. № 4. 1949.
- Bormann M.* Relationship of national socialism and christianity // *Nazi Conspiracy...* Vol. 6; *The Bormann letters* / Ed. by H. R. Trevor-Roper. L., 1954.
- Boucart R.* Les dessous de l'Intelligence Service. 1937.
- Bracher K. D.* Die Auflösung der Weimarer Republik. 1955; 3rd ed., Villingen, 1960.
- Bracher K. D., Sauer W., Schulz G.* Die nationalsozialistische Machtergreifung. Köln; Op-laden, 1960.
- Bramsted E. K.* Goebbels and national socialist propaganda 1925–1945. Michigan, 1965.
- Brecht B.* Stücke. 10 Vols. Frankfurt a. M., 1953–1959; *Gedichte*. 7 Vols. Frankfurt a. M., 1960–1964.
- Broszat M.* Der Nationalsozialismus. Stuttgart, 1960.
- Broszat M., Jacobson H.-A., Krausnick H.* Konzentrationslager, Kommissarbefehl, Judenverfolgung. Olten; Freiburg, 1965.

- Brzezinski Z. Ideology and power in soviet politics. N.Y., 1962; The permanent purge — politics in soviet totalitarianism. Cambridge, 1956.
- Buber-Neumann M. Under two dictators. N.Y., 1951.
- Buchheim H. Die SS in der Verfassung des Dritten Reiches // Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. April. 1955; Das Dritte Reich. München, 1958; Die SS und totalitäre Herrschaft. München, 1962; Die SS — das Herrschaftsinstrument — Befehl und Gehorsam. Olten; Freiburg, 1965.
- Bullock A. Hitler: a study in tyranny. N.Y., 1964.
- Camus A. The human crisis // Twice a Year. 1946–1947.
- Carocci G. Storia del fascismo. Milan, 1959.
- Carr E. H. History of Soviet Russia. 7 Vols. N.Y., 1951–1964; Studies in revolution. N.Y., 1964.
- Céline F. Bagatelle pour un massacre. 1938; L'Ecole des cadavres. 1940.
- Chamberlin W. H. Blueprint for World Conquest. 1946; The Russian Revolution (1935). 1965.
- Childs H. L., Dodd W. E. (eds.) The Nazi Primer. N.Y., 1938.
- Ciliga A. The Russian enigma. L., 1940.
- Clark E. A. Adolf Wagner. From national economist to national socialist // Political Science Quarterly. 1940. Vol. 55. № 3.
- Cobban A. National self-determination. L.; N.Y., 1945; Dictatorship: its history and theory. N.Y., 1939.
- Communism in action // United States Government House Documents. № 754. Washington, 1946.
- Communism in Europe, continuity, change and the sino-soviet dispute / Ed. by Griffith W. E. Cambridge, 1964.
- Crankshaw E. Gestapo, instrument of tyranny. L., 1956.
- Curtiss J. S. An appraisal of the Protocols of Zion. N.Y., 1942.
- Dallin D. J. From purge to coexistence. Chicago, 1964; Report on Russia // The New Leader. January 8. 1949.
- Dallin D. J., Nicolaevsky B. I. Forced labor in Russia. 1947.
- Daniels R. The conscience of the revolution: Communist opposition in Soviet Russia. Cambridge, 1960.
- The dark side of the moon / Preface by T. S. Eliot. N.Y., 1947.
- Deakin F. W. The brutal friendship. N.Y., 1963.
- De Begnac Y. Palazzo Venezia — Storia di un regime. Rome, 1950.
- Dehillotte P. Gestapo. P., 1940.
- Delarue J. Histoire de la Gestapo. P., 1962.
- Deutscher I. Stalin: A political biography. N.Y.; L., 1949, Prophet armed: Trotsky, 1879–1921. 1954; Prophet Unarmed: Trotsky, 1921–1919. 1959; The prophet outcast: Trotsky, 1929–1940. 1963.
- Die nationalsozialistische Revolution // Dokumente der deutschen Politik. Bd. 1.
- Dobb M. Bolshevism // Encyclopedia of the Social Sciences.
- Dokumente der deutschen Politik- und Geschichte. Bd. 4.
- Domarus M. Hitler—Reden und Proklamationen 1932–1945. 2 Vols. 1963.
- Doob L. W. Goebbels' principles of propaganda // Katz D. et al. Public opinion and propaganda. N.Y., 1954.
- Drucker P. F. The end of economic man. N.Y., 1939.
- Ebenstein W. The nazi state. N.Y., 1943.
- Ehrenburg I. Memoirs: 1921–1941. Cleveland, 1964; The war: 1941–1945. Cleveland, 1965.

- Das Ende der Parteien 1933 / Mathias E., Morsey R. (Hrsg.). Düsseldorf, 1960.
- Engels F. Introduction to the Communist Manifesto. 1890; Ursprung der Familie. Introduction; Funeral Speech on Marx.
- Erickson J. The soviet high command 1918–1941. N.Y., 1961.
- Eyck E. A history of the Weimar Republic. Cambridge, 1962.
- Fainsod M. How Russia is ruled. 1963; Smolensk under soviet rule. 1958.
- The fascist era / Published by the Fascist Confederation of Industrialists. Rome, 1939.
- Feder E. Essai sur la psychologie de la terreur // Synthèses. Bruxelles, 1946.
- Feder G. Das Programm der N.S.D.A.P. und seine weltanschaulichen Grundgedanken // Nationalsozialistische Bibliothek. № 1.
- Fedotow G. P. Russia and freedom // The Review of Politics. Vol. 8. № 1. January. 1946.
- Fest J. C. Das Gesicht des Dritten Reiches. München, 1963.
- Finer H. Mussolini's Italy. N.Y., 1965.
- Fischer L. The Soviets in world affairs. L.; N.Y., 1930; Life of Lenin, N.Y., 1964.
- Flammery H. W. The catholic church and fascism // Free World. September. 1943.
- Florinsky M. T. Fascism and National Socialism. A study of the economic and social politics of the totalitarian state. N.Y., 1938.
- Forsthoff E. Der totale Staat. Hamburg, 1933.
- Fraenkel E. The dual state. N.Y.; L., 1941.
- Frank H. Nationalsozialistische Leitsätze für ein neues deutsches Strafrecht. B., 1935–1936; Die Technik des Staates. München, 1940; (Hrsg.) Grundfragen der deutschen Polizei (Akademie für deutsches Recht). Hamburg, 1937; Recht und Verwaltung. 1939; Die Technik des Staates. München, 1942; Im Angesicht des Galgens. München, 1953; (Hrsg.) Nationalsozialistisches Handbuch für Recht und Gesetzgebung. München, 1935.
- Freyer H. Pallas Athene, Ethik des politischen Volkes. 1935.
- Friedrich C. J. (ed.) Totalitarianism. N.Y., 1954.
- Friedrich C. J., Brzezinski Z. K. Totalitarian dictatorship and autocracy. Cambridge, 1956.
- Gallier-Boissière J. Mysteries of the French secret police. 1938.
- Gauweiler O. Rechtseinrichtungen und Rechtsaufgaben der Bewegung. 1939.
- Geigenmüller O. Die politische Schutzhaft im nationalistischen Deutschland. 2nd ed. Würzburg, 1937.
- Gerth H. The Nazi Party // American Journal of Sociology. Vol. 45. 1940.
- Die Gesetzgebung des Kabinetts Hitler. Bd. 1 / Hocke W. (Hrsg.). B., 1933.
- Gide A. Retour de l'URSS. P., 1936.
- Giles O. C. The Gestapo // Oxford Pamphlets on World Affairs. № 36. 1940.
- Globke H. Kommentare zur Deutschen Rassegesetzgebung. München; B., 1936.
- Goebbels J. Wege ins Dritte Reich. München, 1927; Der Faschismus und seine praktischen Ergebnisse // Schriften der deutschen Hochschule für Politik. Bd. 1. Berlin, 1935; Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei. 19 ed., München, 1937; Rassenfrage und Weltprogramm // Pädagogisches Magazin. Heft 139. 1934; The Goebbels diaries 1942–1943 / Ed. by L. Lochner. N.Y., 1948; Wesen und Gestalt des Nationalsozialismus. B., 1935.
- Goslar H. Jüdische Weltherrschaft. Phantasiegebilde oder Wirklichkeit. B., 1918.
- Grauert W. Die Entwicklung des Polizeirechts in nationalsozialistischen Staat // Deutsche Juristenzeitung. 39. 1934.
- The great purge trial / Ed. by Tucker R. C., Cohen S. F. N.Y., 1965.
- Gross W. Der deutsche Rassengedanke und die Welt // Schriften der Hochschule für Politik. № 42. 1939; Die Rassen- und Bevölkerungspolitik im Kampf um die geschicht-

- liche Selbstbehauptung der Völker // Nationalsozialistische Monatshefte. № 115. October. 1939.
- Guenther H.* Rassenkunde des jüdischen Volkes. 1930; Rassenkunde des deutschen Volkes. 1st ed. München, 1922.
- Gul R.* Les maîtres de la Tcheka. P., 1938.
- Gurian W.* Bolshevism: theory and practice. N.Y., 1932; Bolshevism. An introduction to soviet communism. Notre Dame, 1952.
- Hadamovsky E.* Propaganda und nationale Macht. 1933.
- Hafkesbrink H.* Unknown Germany. New Haven, 1948.
- Hallgarten G. W. F.* Hitler, Reichswehr und Industrie. Zur Geschichte der Jahre 1918–1933. Frankfurt a. M., 1955.
- Hamel W.* Die Polizei im neuen Reich // Deutsches Recht. Bd. 5. 1935.
- Hammer H.* Die deutschen Ausgaben von Hitlers «Mein Kampf» // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 4. 1956.
- Hartshorne E. G.* The German universities and National Socialism. Cambridge, 1937.
- Hayek F. A.* The counter-revolution of science // Economics. Vol. 8. 1941.
- Hayes C. J. H.* Essays on nationalism. N.Y., 1926; Remarks on «The Novelty of Totalitarianism in the History of Western Civilization» // Symposium on the Totalitarian State, 1939. Proceedings of the American Philosophical Society. Vol. 82. Philadelphia, 1940; A generation of materialism. N.Y., 1941.
- Heiden K.* Der Führer. Hitler's rise to power. Boston, 1944; A history of National Socialism. N.Y., 1935; Adolf Hitler. Das Zeitalter der Verantwortungslosigkeit. Eine Biographie. Bd. 1. Zürich, 1936; Geschichte des Nationalsozialismus. Die Karriere einer Idee. B., 1932; Geburt des Dritten Reiches. Die Geschichte des Nationalsozialismus bis Herbst 1933. 2nd ed. Zürich, 1934.
- Hesse F.* Das Spiel um Deutschland. München, 1953.
- Heydrich R.* Die Bekämpfung der Staatsfeinde // Deutsches Recht. Bd. 6. 1936.
- Hilberg R.* The destruction of the European Jews. Chicago, 1961.
- Himmler H.* Männerbund auf rassischer Grundlage // Das Schwarze Corps. 38. Folge; Die Schutzstaffel als antibolschewistische Kampforganisation // Aus dem Schwarzen Corps. № 3. 1936; Organization and obligation of the SS and the police // Nationalpolitischer Lehrgang der Wehrmacht vom 15–23 Januar. 1937. Excerpts translated // Nazi Conspiracy... Vol. 4; English edition: Secret speech by Himmler to the German army general staff / Published by the American Committee for Anti-Nazi Literature. 1938; Grundfragen der deutschen Polizei. Hamburg, 1937; Denkschriften Himmlers über die Behandlung der Fremdvölkischen im Osten (May 1940) // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 5 Jg. 1957; Die Schutzstaffel // Grundlagen, Aufbau und Wirtschaftsordnung des nationalsozialistischen Staates. № 7b.
- Hitler A.* Mein Kampf. 1925–1927. Unexpurgated English edition. N.Y., 1939; Reden / Ed. by E. Boepple. München, 1933; Hitlers speeches, 1922–1939 / Ed. by N. H. Baynes. L., 1942; Ausgewählte Reden des Führers. 1939; Die Reden des Führers nach der Machtübernahme. 1940; Der grossdeutsche Freiheitskampf // Reden Hitlers vom 1.9.1939–10.3.1940; Hitler's table talks. N.Y., 1953; Hitlers secret book. N.Y., 1962; Der grossdeutsche Freiheitskampf — Reden Adolf Hitlers. Bd. 1–2. 3rd ed. München, 1943.
- Hoehn R.* Rechtsgemeinschaft und Volksgemeinschaft. Hamburg, 1935.
- Hoettl W.* The secret front: The story of nazi political espionage. N.Y., 1954.
- Hollmack H.* Was wirklich geschah. 1949.
- Horneffer R.* Das Problem der Rechtsgeltung und der Restbestand der Weimarer Verfassung // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Bd. 99. 1938.

- Höss R.* Commandant of Auschwitz. N.Y., 1960.
- Hossbach F.* Zwischen Wehrmacht und Hitler 1934–1938. Wolfenbüttel-Hannover, 1949.
- Huber E. R.* Die deutsche Polizei // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Bd. 101. 1940–1941.
- Hudal B. A.* Die Grundlagen des Nationalsozialismus. 1937.
- Inkeles A., Bauer R. A.* The soviet citizen: Daily life in a totalitarian society. Cambridge, 1959.
- Jetzinger F.* Hitlers Jugend. Wien, 1956.
- Jünger E.* The storm of steel. L., 1929.
- Kämpfe um Afrika; sechs Lebensbilder /* Leutwein P. (Hrsg.). Luebeck, 1936.
- Keiser G.* Der jüngste Konzentrationsprozess // Die Wirtschaftskurve. Bd. 18. № 148. 1938.
- Kennan G. F.* Russia and the West under Lenin and Stalin. Boston, 1961.
- Khrushchev N.* The crimes of the Stalin era / Ed. and annotated by B. Nicolaevsky // The New Leader. N.Y., 1956.
- Klein F.* Zur Vorbereitung der faschistischen Diktatur durch die deutsche Grossbourgeoisie 1929–1932 // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1 Jg. 1953.
- Kluke P.* Nationalsozialistische Europaideologie // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 8 Jg. 1960.
- Koch E.* Sind wir Faschisten? // Arbeitertum 1. H. 9. 1 Juli. 1931.
- Koellenreuter O.* Volk und Staat in der Weltanschauung des Nationalsozialismus. 1935; Der deutsche Führerstaat. Tübingen, 1934.
- Koettgen A.* Die Gesetzmässigkeit der Verwaltung im Führerstaat // Reichsverwaltungsblatt. 1936.
- Kogon E.* The theory and practice of hell. 1956.
- Kohn-Bramstedt E.* Dictatorship and political police: the technique of control by fear. L., 1945.
- Koyré A.* The political function of the modern lie // Contemporary Jewish Record. June. 1945.
- Kravchenko V.* I chose freedom. The personal and political life of a soviet official. N.Y., 1946.
- Krivitsky W.* In Stalin's secret services. N.Y., 1939.
- Kuhn K. G.* Die Judenfrage als weltgeschichtliches Problem // Forschungen zur Judenfrage. 1939.
- Laporte M.* Histoire de l'Okhrana. P., 1935.
- Latour C. de.* Le Maréchal Pétain // Revue de Paris. Vol. 1.
- Lebon G.* La psychologie des foules. 1895.
- Lederer Z.* Ghetto Theresienstadt. L., 1953.
- Lenin V. I.* What is to be done? 1902; State and revolution. 1917; Imperialism, the last stage of capitalism. 1917.
- Lewy G.* The catholic church and nazi Germany. N.Y.; Toronto, 1964.
- Ley R.* Der Weg zur Ordensburg (no date).
- Lösenner B.* Die Nürnberger Gesetze. B., 1936.
- Lowenthal R.* World Communism. The disintegration of a secular faith. N.Y., 1964.
- Luedecke W.* Behind the scenes of espionage. Tales of the secret service. 1929.
- Luxemburg R.* The Russian revolution. Ann Arbor, 1961.
- Martin A. von.* Zur Soziologie der Gegenwart // Zeitschrift für Kulturgeschichte. Bd. 27.
- Massing P. W.* Rehearsal for destruction. N.Y., 1949.

- Maunz Th.* Gestalt und Recht der Polizei. Hamburg, 1943.
- McKenzie K. E.* Comintern and world revolution 1928–1934. N.Y., 1964.
- Meldungen aus dem Reich / Boberach H. (Hrsg.) Neuwied; B., 1965.
- Micaud Ch. A.* The french right and nazi Germany 1928–1939. 1943.
- Moeller van den Bruck A.* Das Dritte Reich. 1923. Engl. ed.: Germany's Third Empire. N.Y., 1934.
- Moore B.* Terror and progress USSR: Some sources of change and stability in the soviet dictatorship. Cambridge, 1954.
- Morstein M. F.* Totalitarian politics // Symposium on the totalitarian state. 1939. Proceedings of the American Philosophical Society. Vol. 82, Philadelphia, 1940.
- Mosse G. J.* The crisis of german ideology: Intellectual origins of the Third Reich. N.Y., 1964.
- Muller H. B.* The soviet master race theory // The New Leader. July 30. 1949.
- Müller J.* Die Entwicklung des Rassenantisemitismus in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhundert // Historische Studien. Heft 372. B., 1940.
- Mussolini B.* Relativismo et fascismo // Diuturna. Milano, 1924; Four speeches on the corporate state. Rome, 1935; Opera Omnia di Benito Mussolini. Vol. 4. Florence, 1951.
- Nansen O.* Day after day. L., 1949.
- Nazi conspiracy and aggression. Office of the United States Chief of Counsel for the Prosecution of Axis Criminality. U. S. Government. Washington, 1946.
- Nazi-Soviet relations, 1939–1941. Documents from the Archives of the German Foreign Office / Ed. by R. J. Sontag and J. S. Beddie. Washington, 1948.
- Neesse G.* Partei und Staat. 1936; Die verfassungsrechtliche Gestaltung der Ein-Partei // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Bd. 98. 1938.
- Neumann F.* Behemoth. 1942.
- Neusüss-Hunkel E.* Die SS. Hannover; Frankfurt a. M., 1956.
- Newman B.* Secret servant. N.Y., 1936.
- Nicolaevsky B. J.* Bolsheviks and bureaucrats. N.Y., 1965; Power and the soviet elite. N.Y., 1965; Letter of an old bolshevik. N.Y., 1937.
- Nicolai H.* Die rassengesetzliche Rechtslehre. Grundzüge einer nationalsozialistischen Rechtsphilosophie // Nationalsozialistische Bibliothek. H. 39. 3rd ed. München, 1934.
- Nomad M.* Apostles of revolution. Boston, 1939.
- Olgin M. J.* The soul of the Russian revolution. N.Y., 1917.
- Organisationsbuch der NSDAP (many editions).
- Orlov A.* The secret history of Stalin's crimes. N.Y., 1953.
- Ortega y Gasset J.* The revolt of the mosses. N.Y., 1932.
- Paetel K. O.* Die SS // Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. January. 1954; Der schwarze Orden. Zur Literatur über die «SS» // Neue Politische Literatur. 3. 1958.
- Parsons T.* Some sociological aspects of the fascist movement // Essays in sociological theory. Glencoe, 1954.
- Pascal P.* Avvakum et les débuts du raskol // Institut Français de Leningrad. Bibliothèque. Vol. 18. P., 1938.
- Paulhan J.* Introduction // *Marquis de Sade.* Les infortunes de la vertu. P., 1946.
- Payne S. G.* A history of Spanish fascism. Stanford, 1961.
- Pencherlo A.* Antisemitism // Encyclopedia Italiana.
- Petegroski D. W.* Antisemitism, the strategy of hatred // Antioch Review. Vol. 1. № 3. 1941.
- Pfenning A.* Gemeinschaft und Staatswissenschaft // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Bd. 96.

- Poliakov L.* Bréviaire de la haine. P., 1951; The weapon of antisemitism // The Third Reich. UNESCO. L., 1955.
- Poliakov L., Wulf J.* Das Dritte Reich und die Juden. B., 1955.
- Poncins L. de.* Les forces secrètes de la révolution; F.: M.: -Judaïsme. Revised ed, 1929 (translated into German, English, Spanish, Portuguese); Les Juifs maitres du monde. 1932; La dictature des puissances occultes; La F.: M.:. 1932; La mystérieuse internationale juive. 1936; La guerre occulte. 1936.
- Rauschnig H.* Hitler Speaks. 1939; The revolt of nihilism. 1939.
- Reck-Malleczewen F. P.* Tagebuch eines Verzweifelten. Stuttgart, 1947.
- Die Rechtsentwicklung der Jahre 1933 bis 1935–1936 / Volkmann E. E. A., Küchenhoff G. (Hrsg.) // Handwörterbuch der Rechtswissenschaft. Bd. 8. B.; Leipzig, 1937.
- Reitlinger G.* The final solution. 1953; The SS-alibi of a nation. L., 1956.
- Reveille Th.* The spoil of Europe. 1941.
- Reventlow E. von.* Deutschlands auswärtige Politik, 1888–1914. 1916; Judas Kampf und Niederlage in Deutschland. 1937.
- Rewriting Russian History / Ed. by Black C.E. N.Y., 1956.
- Riesman D.* The politics of persecution // Public Opinion Quarterly. Vol. 6. 1942; Democracy and defamation // Columbia Law Review. 1942.
- Riess C.* Joseph Goebbels: a Biography. N.Y., 1948.
- Ripka H.* Munich: before and after. L., 1939.
- Ritter G.* Carl Goerdeler's struggle against tyranny. N.Y., 1958.
- Roberts S. H.* The house that Hitler built. L., 1939.
- Robinson J., Friedman Ph.* Guide to Jewish history under nazi impact / Published jointly by YIVO Institute for Jewish Research and Yad Washem. N.Y.; Jerusalem, 1960.
- Rocco A.* Scritti e discorsi politici. 3 Vols. Milan, 1938.
- Roehm E.* Die Geschichte eines Hochverrätters. Volksausgabe, 1933; Die Memoiren des Stabschefs Roehm. Saarbrücken, 1934; Warum SA? B., 1933; SA und deutsche Revolution // Nationalsozialistische Monatshefte. № 31. 1933.
- Rollin H.* L'apocalypse de notre temps. P., 1939.
- Rosenberg A.* Die Protokolle der Weisen von Zion und die jüdische Weltpolitik. München, 1923; Der Mythos des zwanzigsten Jahrhunderts. 1930.
- Rosenberg A.* A history of bolshevism. L., 1934; Geschichte der deutschen Republik. 1936.
- Rousset D.* Les jours de notre mort. P., 1947; The other Kingdom. 1947.
- Rush M.* Political succession in the USSR. N.Y., 1965; The rise of Khrushchev. Washington, 1958.
- SA-Geisl im Betrieb. Vom Ringen um die Durchsetzung des deutschen Sozialismus / Ed. by Oberste SA-Führung. München, 1938.
- Salisbury H. E.* Moscow journal: The end of Stalin. Chicago, 1961; American in Russia. N.Y., 1955.
- Salvemini G.* La terreur fasciste 1922–1926. P., 1938; The fascist dictatorship in Italy. N.Y., 1966.
- Schäfer W.* NSDAP, Entwicklung und Struktur der Staatspartei des Dritten Reiches. Hannover; Frankfurt a. M., 1956.
- Schapiro L.* The Communist Party of the Soviet Union. 1960; The Government and politics of the Soviet Union. N.Y., 1965.
- Schellenberg W.* The Schellenberg memoirs. L., 1956.
- Schemann L.* Die Rasse in den Geisteswissenschaften. Studie zur Geschichte des Rassen-gedankens. 3 Vols. München; B., 1928.
- Scheuner U.* Die nationale Revolution. Eine staatsrechtliche Untersuchung // Archiv des öffentlichen Rechts, 1933–1934.

- Schmitt C.* Politische Romantik. München, 1925; Staat, Bewegung, Volk. 1934; Totaler Feind, totaler Krieg, totaler Staat // Völkerbund und Völkerrecht. Bd. 4. 1937; Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924–1954. Materialien zu einer Verfassungslehre. B., 1958.
- Schnabel R.* Macht ohne Moral. Eine Dokumentation über die SS. Frankfurt a. M., 1957.
- Schumann F. L.* The nazi dictatorship. 1939.
- Schwartz D.* Angriffe auf die nationalsozialistische Weltanschauung // Aus dem Schwarzen Korps. № 2. 1936.
- Schwartz-Bostunitsch G.* Jüdischer Imperialismus. 5th ed. 1939.
- Seraphim H.-G.* Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs aus den Jahren 1931–1935 und 1939–1940. Göttingen; B; Frankfurt a. M., 1956; SS-Verfügungstruppe und Wehrmacht // Wehrwissenschaftliche Rundschau. 5. 1955.
- Seraphim P. H.* Das Judentum im osteuropäischen Raum. Essen, 1938; Der Antisemitismus in Osteuropa // Osteuropa. Vol. 14. № 5. February. 1939.
- Seton-Watson H.* From Lenin to Khrushchev. N.Y., 1960.
- Simmel G.* Sociology of secrecy and of secret societies // The American Journal of Sociology. Vol. 11. № 4. 1906; The Sociology of Georg Simmel / Translated by K. H. Wolff. 1950.
- Six F. A.* Die politische Propaganda der NSDAP im Kampf um die Macht. 1936.
- Smith B.* Police // Encyclopedia of the Social Sciences.
- Souvarine B.* Stalin. A critical survey of bolshevism. N.Y., 1939 (Translation from french: Staline, Aperçu historique du bolshévisme. P., 1935).
- The soviet secret police / Ed. by Wolin S., Slusser R. M. N.Y., 1957.
- Spengler O.* The decline of the West, 1928–1929.
- SS-Hauptamt-Schulungsamt // Wesen und Aufgabe der SS und der Polizei; Der Weg der SS; SS-Mann und Blutsfrage. Die biologischen Grundlagen und ihre sinngemässe Anwendung für die Erhaltung und Mehrung des nordischen Blutes.
- Stalin J. V.* Leninism. L., 1933; Mastering bolshevism. N.Y., 1946; History of the Communist Party of the Soviet Union (bolsheviks): Short course. N.Y., 1939.
- Starlinger W.* Grenzen der Sowjetmacht. Würzburg, 1955.
- Starr J.* Italy's antisemites // Jewish Social Studies. 1939.
- Stein A.* Adolf Hitler, Schüler der «Weisen von Zion». Karlsbad, 1936.
- Stein G. H.* The Waffen SS: Hitler's elite guard at war, 1939–1945. Ithaca, 1966.
- Stuckart W., Globke H.* Reichsbürgergesetz, Blutschutzgesetz und Ehegesundheitsgesetz (Kommentare zur deutschen Rassengesetzgebung). Bd. 1. München; B., 1936.
- Tasca A. (pseudonym Angelo Rossi).* The rise of Italian fascism, 1918–1922. N.Y., 1966.
- Thyssen F.* I paid Hitler. L., 1941.
- Tobias F.* The Reichstag fire. N.Y., 1964.
- Trevor-Roper H. R.* The last days of Hitler. 1947.
- The Trial of the major war criminals. 42 Vols. Nürnberg. 1947–1948.
- Trials of war criminals before the Nuremberg military tribunals. 15 Vols. Washington, 1949–1953.
- Trotsky L.* The history of the Russian revolution. N.Y., 1932.
- Tucker R. C.* The soviet political mind. N.Y., 1963.
- Ulam A. B.* The bolsheviks: The intellectual and political history of the triumph of communism in Russia. N.Y., 1965; The new face of soviet totalitarianism. Cambridge, 1963.
- Ullmann A.* La police, quatrième pouvoir. P., 1935.

- Vardys V. S.* How the Baltic Republics fare in the Soviet Union // Foreign Affairs. April. 1966.
- Vassilyev A. T.* The ochrana. 1930.
- Venturi F.* Roots of revolution. A history of the populist and socialist movements in nineteenth century Russia. N.Y., 1966.
- Verfassung, Die, des Sozialistischen Staates der Arbeiter und Bauern. Strasbourg, 1937.
- Warmbrunn W.* The Dutch under German occupation, 1940–1945. Stanford, 1963.
- Weinreich M.* Hitler's professors. N.Y., 1946.
- Weissberg A.* The Accused. N.Y., 1951.
- Weizmann C.* Trial and error. N.Y., 1949.
- Wighton Ch.* Heydrich: Hitler's most evil henchman. Philadelphia, 1962.
- Wirsing G.* Zwischeneuropa und die deutsche Zukunft. Jena, 1932.
- Wolfe B. D.* Three men who made a revolution; Lenin–Trotsky–Stalin. N.Y., 1948.
- Zielinski T.* L'Empereur Claude et l'idée de la domination mondiale des Juifs // Revue Universelle. Bruxelles, 1926–1927.

## Указатель имен

- А**бец О. 448  
 Августин Аврелий 402, 622  
 Авторханов А. 16, 510  
 Адамовски Е. 451, 455  
 Адам (библ.) 290  
 Аденауэр К. 7  
 Азеф Е. Ф. 550  
 Айзенменгер Й. А. 52  
 Аксаков К. С. 311, 320  
 Александр Македонский 196  
 Альвардт Х. 167  
 Альтер В. 236  
 Анри К. Ж. 145, 150, 152, 161  
 Арндт Х. 5, 6, 623–638  
 Анфантен Б. П. 458  
 Аристотель 397  
 Арлан Марселем 95  
 Армстронг Дж. 22  
 Арндт Э. М. 238–240  
 Ахилл 586
- Ба**кунин М. А. 436, 438  
 Бальзак О., де 208, 445  
 Барзан Ж. 249  
 Барнато Б. 279, 280, 282, 283  
 Бариз Л. 272  
 Баррес М. 150, 151, 153, 171, 173, 177, 255, 312  
 Бассерман Э. 341  
 Бауэр О. 318, 328, 365  
 Бах В. 160, 171  
 Бейт А. 280, 282, 283  
 Бек Булат 558  
 Бек Ф. 378, 450, 552, 558, 566, 584  
 Белл Х. 193  
 Беллармин 161  
 Бенда Ж. 443  
 Бенеш Э. 368, 372  
 Веньямин В. 133  
 Бергер 480  
 Бердяев Н. А. 329, 446  
 Берия Л. П. 529  
 Бернанос Ж. 95  
 Бест В. 352, 448, 502, 522  
 Бетгельхайм Б. 578, 582, 585, 587  
 Бёкель О. 80
- Бёрк Э. 122, 194, 250, 251, 259, 261, 346, 347, 400, 401, 465, 616  
 Бёрне Л. 92, 93, 114, 115  
 Биконсфилд, леди 120  
 Биндинг Р. 436, 437  
 Бисмарк Г., фон 73  
 Бисмарк О., фон Шёнхаузен 53, 57, 59, 60, 73, 76, 87, 115, 187, 314  
 Блейхредер Г. 53, 57, 73, 76, 201  
 Блок А. 436  
 Бломберг В., фон 538  
 Блуа Л. 332, 387  
 Блюм Л. 357  
 Блюнчи И. К. 344  
 Боден Ж. 317  
 Бодлер Ш. 245  
 Бонхард О. 309  
 Боркенау Ф. 415  
 Борман М. 457, 485, 493, 499, 515, 530  
 Боулер Ф. 469  
 Брайс Дж. 223  
 Брак В. 530  
 Бранденбург 452  
 Брандт К. 459  
 Брентано К., фон 111, 243  
 Брехт Б. 436, 440, 441, 444  
 Бриан А. 367  
 Брокá П. 231  
 Броуган Д. У. 150, 177  
 Брукс Р. 135  
 Бруссе П. 93  
 Брюшер Х. 231  
 Буадефр Ш., де 145  
 Бубер-Нойман 582  
 Буленвилье, де 234–236, 245  
 Буллок А. 14  
 Бурбоны, династия французских королей 61, 92  
 Буркхард Я. 225  
 Буффон Л., де 252  
 Бухарин Н. И. 16, 497  
 Бухгольц Ф. 242  
 Бюллов Х. Б. 148
- Ва**гнер Л. Р. 376  
 Вагнер Р. 245  
 Вайсманн Х. 468

- Валери П. 167  
 Валуа, династия французских королей 191  
 Вальдек-Руссо Р. 177, 181  
 Варбург, семейство 61  
 Варнгаген А. 73  
 Варнгаген Р. 108, 111, 117  
 Вебер А. 626  
 Вебер М. 625, 626, 633, 634, 636  
 Вейган М. 150  
 Вейнрейх М. 450  
 Вернер П. 511  
 Вертхаймер М. С. 342  
 Вертхаймер С. 49  
 Вильгельм II, Гогенцоллерн, германский император 219, 261  
 Вилье Ш. Ф. Д., де 236  
 Вильсон Т. В. 368  
 Вильямс Б. 129  
 Виттельсбахи, род баварских королей 487  
 Вознесенский Н. А. 454  
 Вольсен-Эстергази Ф. 145, 148, 149, 160, 163, 164  
 Вольтер (Аруэ Ф. М.) 251, 254, 331  
 Вольф К. 494  
 Вольф Б. Д. 550  
 Ворошилов К. Е. 547  
 Вышинский А. Я. 516
- Га**бсбурги, династия австрийских императоров 85, 88, 114, 324  
 Гагарин И. С. 321  
 Галеви Д. 170  
 Галифе Г. А. 177  
 Галлер Л., фон 243  
 Гальтон Ф. 255, 256  
 Гаувайлер О. 546  
 Геббельс Й. 348, 363, 412, 440, 441, 448, 475, 490, 493, 502, 518, 534  
 Гегель Г. В. Ф. 244, 326, 340, 619  
 Гед Ж. 173  
 Гейдрих Р. 551  
 Гейне Г. 106  
 Геккель Э. 231, 254, 255  
 Гексли Т. Г. 231  
 Гектор 586  
 Генц Ф. 109  
 Гердер И. Г. 5, 105, 106, 233, 252  
 Герен Ж. 167, 171  
 Геринг Г. 448, 499, 522, 539  
 Геррес Й. 238, 239  
 Герц К. 153  
 Герц М. 105
- Герц Х. 476  
 Гесс Р. 502  
 Гёте И. В., фон 106, 108, 262  
 Гизо Ф. 236  
 Гильфердинг Р. 217  
 Гиммлер Г. 412, 420, 429, 431, 434, 448, 449, 452, 453, 474, 475, 477, 480, 484, 485, 487, 489, 490, 493, 495, 499, 505, 506, 508, 514, 517, 518, 520, 524, 525, 527, 529, 530, 532, 533, 536, 537, 548, 551, 556, 557, 559, 575, 578, 585, 593, 607  
 Гинденбург П., фон 358, 359  
 Гирш М. 201  
 Гитлер (Шикльгрюбер) А. 8, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 25, 27, 28, 37, 132, 196, 307, 309, 320, 330, 350, 352, 357–359, 356, 365, 371, 380, 388, 399, 407–409, 412, 413, 422, 423, 428, 430, 432–435, 437, 442, 445–448, 452–454, 456, 459, 460–462, 469, 471–476, 479, 480, 481, 484–487, 490–496, 500, 502, 505, 511, 512, 514, 515, 517, 518, 521–524, 527–532, 534, 536–540, 542–546, 549, 551, 552, 555, 559, 562, 569, 570, 608, 612, 613, 624, 631  
 Гладстон У. Ю. 187, 222  
 Гоббс Т. 205–212, 214, 226–228  
 Гобино Ж. А., де 229, 237, 244–249, 260, 309, 438, 442  
 Гобино К. С., де 247  
 Гобсон Дж. А. 62, 196, 200, 216, 222  
 Гогенлоэ-Лангенбург Х. 225  
 Гогенлоэ-Шиллингфюрст Х. К. 148  
 Годин В. 450, 552, 558, 566, 584  
 Гордон И. Л. 116  
 Горький Максим (Пешков А. М.) 416  
 Гранвилл 296  
 Граттенауэр Ц. В. Ф. 111  
 Грюншпан Х. 522  
 Гумбольдт В., фон 60, 69, 104  
 Гуриан В. 469  
 Гюртнер Ф. 517
- Д**аладьё Э. 94  
 Даллин Д. Дж. 558, 570, 576  
 Дамс Э. Х. 264  
 Данилевский Н. Я. 308, 309, 311  
 Даниэль Ю. М. 16, 24  
 Даннекер 376  
 Дарвин Ч. Р. 438, 601, 602  
 Дарре В. 556  
 Деа М. 149, 357  
 Дейчер И. 14, 20, 409, 454, 510, 514, 555

Декерт Е. 320  
 Деманж Э. 148, 179  
 Дернбург Б. 198  
 Дерулед П. 177  
 Джайлз О. 484  
 Джеймсон Л. С. 197, 297  
 Джеймс С. 273  
 Джексон Р. Г. 517, 528  
 Джентиле Дж. 432  
 Джефферсон Т. 252  
 Джойс Дж. 211  
 Дидон, о. Анри 160  
 Дидро Д. 60  
 Дизраэли Б., лорд Биконсфилд 57, 62, 119–126, 128–133, 135, 139, 244, 250, 256, 259, 260, 267  
 Дилк Ч. 197, 256, 258  
 Дильс Р. 511, 522  
 Диссельбом Я. 191  
 Доде Л. 166, 172  
 Дом К. В. 46  
 Дорио Ж. 95  
 Достоевский Ф. М. 311, 320  
 Драгомир 378  
 Дрейфус А. 33, 37, 44, 89, 91, 131, 133, 141, 142, 144–182, 196, 225, 255, 267, 315, 339, 356, 418, 467  
 Дрейфус Р. 246  
 Дрюмон Э. 95  
 Дюбуа-Нансей Л. Г. 235  
 Дюкло Э. 168, 170  
 Дю Лак, о. 181  
 Дюринг Е. 76

**Е**лизавета, английская королева 52

**Ж**данов А. А. 26  
 Жид А. 95, 445, 450  
 Жироду Ж. 94  
 Жорес Ж. 149, 164, 166, 173–177, 180, 181  
 Жоффре Ж. 150  
 Жуков Г. К. 22

**З**аратустра 619  
 Зевс (мифол.) 606  
 Зиммель Г. 494  
 Золя Э. 145, 146, 148, 149, 165, 170, 171, 174, 175, 179–181  
 Зомбарт В. 49

**И**бсен Г. 445

**К**авеньяк Ж.-В. 175  
 Кайлэ Л. 199  
 Калмер Л. 52  
 Кант И. 595, 598, 609  
 Капефигю Ж. 55, 65  
 Карлейль Т. 124, 256, 257  
 Картхилл А. 211, 262  
 Катков М. Н. 338, 339, 341  
 Катон 618  
 Кауниц В. А. 555  
 Кафка Ф. 336  
 Кейтель В. 453  
 Керенский А. Ф. 416  
 Керзон Дж. Н. 224, 291, 294, 300  
 Киплинг Р. 290–292, 300  
 Киреевский И. В. 337  
 Киров С. М. 26, 510  
 Кларидж 303  
 Клемансо Ж. 59, 133, 145, 146, 150, 152, 160, 165, 166, 168, 170, 171, 173–177, 180, 181, 187, 193, 197  
 Клемм Г. 252  
 Когон Е. 589  
 Койре А. 494  
 Кольбер Ж.-Б. 52  
 Кон И. 469  
 Кон М. 469  
 Конрад Дж. 246, 261, 266, 267, 271  
 Конт О. 258, 458  
 Корней А. 452  
 Кравченко В. 427, 519, 541, 556  
 Краус К. 115, 117  
 Кремье А. 163  
 Кривицкий В. 413, 429, 543  
 Кромвель О. 52, 409  
 Кромер 187, 198, 262, 293–300, 303, 305  
 Кубе В. 448  
 Кук Дж. 344  
 Къевье К. В., де 274, 279

**Л**абори Ф. 152, 165, 179  
 Лабрюйер Ж., де 233  
 Лаваль П. 383  
 Лазарь (библ.) 572, 573  
 Лазар Б. 115, 118  
 Ламмерс Г. Х. 452  
 Лапорт М. 549, 553  
 Лапуж В. 255

Ларошфуко Ф., де 227  
 Лассаль Ф. 87  
 Лафатер 107  
 Лебон Г. 421  
 Лев XIII, папа римский 178  
 Леви А. 165  
 Леви-Брюль Л. 165  
 Левинас Э. 134  
 Лей Р. 449, 478  
 Леметр Ж. 181  
 Ленин В. И. 17, 18, 22, 407, 408, 423, 424, 428, 431, 460, 481, 496, 498, 510, 539, 630, 636  
 Леонтьев К. Н. 337  
 Леопольд II, бельгийский король 262  
 Лессепс Ф., де 152  
 Лессинг Г. Э. 105–107  
 Лецински Я. 48  
 Либкнехт В. 164  
 Ливайн Л. 326  
 Линдсей Х., миссис 303  
 Лиоте Л. 150  
 Ловенталь Р. 20  
 Лойола И. 298  
 Ломброзо Ч. 93  
 Лоуренс Т. Э. 198, 302–305, 435, 436  
 Лубе Э. 181  
 Лувен П. Ш. 168  
 Луи Фердинанд, Гогенцоллерн 109  
 Луи Филипп, французский король 61, 92, 246  
 Лука, архиепископ Тамбовский 320  
 Люгер К. 87, 88  
 Людендорф Э. 350, 487  
 Люксембург Р. 152, 217  
 Лютер М. 620

**М**акартни К. А. 319, 369  
 МакДермот Дж. 178  
 Макдональд Р. 348  
 Макмагон Э. П. М., де 358  
 Малан Д. Ф. 286  
 Малахов С. 586  
 Мале III, де 473  
 Малиновский Р. В. 560  
 Мальро А. 436  
 Манн Т. 246, 435  
 Мао Цзэдун 11  
 Марвиц Л., фон дер 70, 74, 243  
 Мария Терезия, австрийская эрцгерцогиня династии Габсбургов 555

Маркс К. 75, 77, 92, 114, 115, 211, 217, 316, 340, 424, 441, 442, 446, 509, 579, 601, 602, 613, 630, 631  
 Маркс С. 282  
 Маррано 52  
 Мартен дю Гар Р. 33, 173  
 Масарик Т. 309, 516  
 Маунц Т. 511, 515, 551, 580  
 Мейер А. 154  
 Мейфейер 131  
 Мелло Ф., де 370  
 Мендельсон А. 109  
 Мендельсон М. 105–107, 111  
 Меровинги, королевская династия во Франкском государстве 247, 404  
 Мерсье А. 164, 167  
 Местр Ж. М., де 232  
 Меттерних-Виннебург К. 37, 59, 62, 74  
 Мёллер ван ден Брук А. 342, 353  
 Милль Дж. 224  
 Мильеран А. 181  
 Мирабо О. Г. Р., де 73, 106  
 Михельс Р. 633, 635  
 Мозенталь, семья 282  
 Молотов В. М. 434, 516  
 Монлозье 236  
 Моно Г. 170  
 Монтескье Ш. Л. 236, 606, 613  
 Море, де 172  
 Морис Саксонский 112  
 Моррас Ш. 151, 160, 170, 172, 178, 312  
 Мультигули (Деккер Э. Д.) 193  
 Муравьев-Амурский Н. 313  
 Муссолини Б. 95, 241, 352, 354, 365, 380, 411, 412, 431, 432  
 Мюллер А. 74, 240, 243  
 Мюнстер 164, 175

**Н**акет А. 156  
 Нансен О. 535  
 Наполеон I, Бонапарт, французский император 61, 65, 68, 109, 111, 133, 192, 193, 236, 237, 243, 407, 409  
 Наполеон III, Луи Бонапарт, французский император 55, 61, 92, 93, 122, 356, 418, 550  
 Науман Ф. 309, 323  
 Нессе Г. 412, 450  
 Нечаев С. Г. 436, 438  
 Николай II, российский император 330  
 Николсон Г. 189, 194, 300

Нилус С. А. 472  
 Ницше Ф. 60, 75, 245, 436, 619  
 Новалис (Харденберг Ф., фон) 240  
 Нойман Ф. 530  
 Нойман Х. 582  
 Нойрат К. 538

**Один** (мифол.) 246  
 Оппенгейм Г. 132  
 Оппенгеймер С. 52, 85  
 Орлеанский, герцог 172  
 Ортега-и-Гассет Х. 626  
 Отман Ф. 233

**Павлов** И. П. 569, 590  
 Пайренн Г. 70  
 Парето В. 436  
 Паркес Дж. 68  
 Пасс, де 282  
 Паукер А. 27  
 Паулюс Х. Э. 104  
 Пеги Ш. 170, 173, 175, 182, 215  
 Петен А. Ф. 94, 95, 147, 149, 150, 199  
 Петерс К. 198, 261, 266, 288  
 Пикар К. Г. 145, 148, 165, 166, 170, 176  
 Пикассо П. 450  
 Пик Р. 556  
 Пирсон К. 255  
 Платон 43, 400, 432, 598, 606, 609  
 Плева В. К., фон 550  
 Победоносцев К. П. 330, 333, 338, 341, 554  
 Погодин М. П. 313, 337  
 Поляков Л. 452, 589  
 Пол О. 557  
 Прево М. 181  
 Прибач Ф. 48  
 Пруст М. 134–137, 139–142  
 Прэсс Л. 381  
 Пуанкаре Р. 193  
 Пулен Ж. 438  
 Путткаммер, фон 73  
 Пфеннинг А. 410

**Райк** Л. 27  
 Раковский Х. 424  
 Рассел Дж. 347  
 Ратенау В. 58, 61, 62, 97, 455  
 Рат Э., фон 522  
 Ревентлов Э. 325, 329  
 Редер Э. 493, 538

Режи М. 172  
 Рейнах Ж. 153–156, 167  
 Рейнах Й. 149  
 Рем Э. 408, 412, 423, 443, 469, 487, 491, 500, 511, 531, 592  
 Рембо А. 436  
 Ремюза, де 237  
 Ренан Э. 187, 249, 331  
 Реннер К. 318  
 Риббентроп И., фон 518  
 Рихтер Е. 186, 187  
 Ришелье А. Ж., дю Плеси 316  
 Робертс С. 448, 517  
 Робеспьер М. 59, 188, 243, 409, 441  
 Робинсон Я. 366  
 Роган А., де 316, 458  
 Родс С. 186, 187, 197, 201, 211, 220, 280, 283, 284, 291, 294, 297–299, 305, 323, 420  
 Роже Г. 177  
 Розанов В. В. 315, 326  
 Розенберг А. 448, 450, 453, 499, 518, 523, 525, 527, 567  
 Розенкранц К. 344  
 Рокфеллер 49, 155, 157, 161, 164, 180, 314  
 Ротшильд Л. 132  
 Ротшильд М. А. 64  
 Ротшильд Э., де 163  
 Ротшильды, семейство 49, 52, 55, 57, 61, 62, 64–66, 85, 87, 92, 93, 111, 122, 129, 154  
 Роузбери 296, 297, 299  
 Рувье М. 153  
 Руссе Д. 405, 569, 572, 573, 575, 579, 582, 587–590  
 Рюз Х. Ф. 113

**Сад Д.-А.-Ф.**, де 438, 439  
 Сайу А. 49  
 Саломон С. 285  
 Сандхерр Ж.-К. 145  
 Сартр Ж.-П. 440  
 Сей Л. 156  
 Селборн 269, 296  
 Селин Л. Ф. 94, 95, 445  
 Сельер Э. 231, 233, 237, 248  
 Сесил Р., см. Солсбери  
 Сиейес Э. Ж. 236  
 Сили Дж. Р. 257, 258  
 Симар Т. 233  
 Синявский А. Д. 16, 24  
 Склетон Дж. 119, 120

Сланский Р. 27  
 Словацкий Ю. 308  
 Соловьев В. С. 329  
 Солсбери Р. А. Т. 124, 190, 198, 297  
 Сорель Ж. 170, 432, 436  
 Спенсер Г. 253, 254  
 Спиноза Б. 234, 235  
 Сталин И. В. 7, 8, 11–28, 307, 330, 340, 352, 407–409, 412, 413, 422, 423, 425–427, 429–431, 434, 442, 445, 448, 450, 452–454, 460–462, 471, 476, 477, 480, 490–493, 496–498, 510–512, 514, 516, 519, 523, 529–531, 535, 536, 538, 540, 543, 544, 548, 553–555, 558, 561, 575, 597, 608, 612, 613, 623, 624, 633, 636, 637  
 Стеад У. Т. 298  
 Стефан, викарий Священного Болгарского Синода 307  
 Стефен Дж. 250  
 Столыпин П. А. 550  
 Стриндберг А. Ю. 362  
 Строс Р. 55  
 Суарес Ж. 170  
 Суварин Б. 14, 413, 431, 490, 498, 543  
 Суинберн А. Ч. 245

**Такер** Р. К. 15, 18, 20  
 Тельман Э. 358, 359  
 Теннисон 131  
 Тидеман 73  
 Тито И. Б. 411  
 Тодт 524, 556  
 Токвиль А., де 36, 229, 252, 456  
 Тревор-Ропер Г. Р. 530  
 Троцкий Л. Д. 460, 466, 476, 477, 491, 509, 510, 538, 614, 631  
 Туссеналь А. 92  
 Тухачевский М. Н. 26  
 Тьерри О. 237  
 Тэн И. 248, 331  
 Тюдоры, королевская династия в Англии 191  
 Тютчев Ф. И. 320

**Уврар** Г. Ж. 61  
 Уильямс Дж. Ф. 381  
 Уотт Т. 306

**Файнсод** М. 10, 16, 17, 20  
 Файоль М.-Э. 150  
 Федер Г. 431, 469  
 Фихте И. Г. 238

Фор Ф. 177  
 Фор Э. 249  
 Фрайер Х. 631  
 Франкель М. 13  
 Франко Баамонде Ф. 380  
 Франк В. 58, 159, 450, 525  
 Франк Х. 450, 471, 487, 518, 520, 527, 535, 551, 555  
 Франс А. 395  
 Франц Иосиф, император Австро-Венгрии 37  
 Френкель Э. 517  
 Фридрих Вильгельм I, прусский король 46  
 Фридрих Вильгельм II, прусский король 48, 52, 53, 54, 70, 238  
 Фридрих Вильгельм III, прусский король 73  
 Фридрих Вильгельм IV, прусский король 73  
 Фрик В. 511, 517, 518  
 Фриманн Д. (Класс Г.) 221, 323, 339  
 Фрич В., фон 538  
 Фрич Т. 81, 472  
 Фруд Дж. А. 120, 191, 219, 257  
 Фуггеры, семейство 51  
 Фурье Ш. 91, 94  
 Фуше Ж. 236, 555  
 Фюстель де Куланж Н. Д. 181

**Хайдеггер** М. 623  
 Харвей Ч. Х. 255  
 Харден М. 159  
 Харпф Н. 452  
 Хассе Э. 308  
 Хейден К. 14, 409, 422, 448, 476, 530  
 Хейес К. Дж. 216, 255  
 Хен Р. 450, 520, 551  
 Хойслер 485  
 Холтиц Д., фон 448  
 Хомяков А. С. 337  
 Хоулком А. 346  
 Хоше 515  
 Христофор, святой 320  
 Хрущев Н. С. 8, 15, 16, 22–24, 412, 454, 462, 514, 613, 623  
 Хуэббе-Шлейден 187

**Цвейг** С. 96, 99, 441  
 Циммер 198  
 Цицерон 600

<b>Чаадаев</b> П. Я. 320, 329	Штейнберг А. С. 329
Чака, зулусский царь 271	Штрассер Г. 422
Чайлдз С. 377, 381	Штрейхер Ю. 448, 499
Чемберлен О. 367	Штрциговски Й. 231
Чемберлен Х. С. 309, 438, 442	Штёкер А. 53, 73, 76, 80, 82, 87
Червин 554	Шуйлер Р. Л. 216
Черчилль У. 306	
Честертон Г. К. 97, 127, 190, 215	<b>Эйзенштейн</b> С. М. 635
Чингисхан 16	Эйхманн А. 525
	Энгельс Ф. 79, 509, 601, 602
<b>Шварцкоппен</b> М., фон 145, 159	Эпиктет 618
Шеллинг Ф. В. И. 232, 326	Эренберг Х. 337
Шерер-Кестнер О. 145, 151, 169, 171	Эренбург И. Г. 19
Шёнерер Г., фон 87–89, 314, 319, 320, 325–327, 330	Эрр Л. 170
Шлегель Ф. 109, 238, 240	Эрцбергер М. 455
Шлейермахер Ф. 106	Эстергази, см. Вольсен-Эстергази Ф.
Шлейхер К., фон 423, 487	
Шмитт К. 342, 450	<b>Юнгер</b> Э. 435, 436
Шоу Дж. Б. 302, 304	
Шпеер А. 524, 556	<b>Ян</b> Ф. Л. 238, 239
Шпенглер О. 225, 245, 631	Ясперс К. 29, 623, 626, 633

## СОДЕРЖАНИЕ

От редакторов русского издания .....	5
Введение (перевод Ю. А. Кимелева) .....	7
Предисловие к первому изданию (перевод Ю. А. Кимелева) .....	29

**Часть I**  
**АНТИСЕМИТИЗМ**

<b>Глава первая.</b> Антисемитизм как вызов здравому смыслу (перевод Ю. А. Кимелева) .....	35
<b>Глава вторая.</b> Евреи, национальное государство и зарождение антисемитизма (перевод Ю. А. Кимелева) .....	45
1. Двусмысленности эмансипации и еврей — государственный банкир .....	45
2. Ранний антисемитизм .....	67
3. Первые антисемитские партии .....	77
4. Левацкий антисемитизм .....	85
5. Золотой век безопасности .....	96
<b>Глава третья.</b> Евреи и общество (перевод Ю. А. Кимелева) .....	101
1. Между парией и парвеню .....	103
2. Могущественный кудесник .....	119
3. Между пороком и преступлением .....	133
<b>Глава четвертая.</b> История Дрейфуса (перевод Л. А. Седова) .....	145
1. Фактическая сторона дела .....	145
2. Третья республика и французское еврейство .....	152
3. Армия и духовенство против республики .....	158
4. Народ и толпа .....	166
5. Евреи и дрейфусары .....	178
6. Помилование и его значение .....	180

**Часть II**  
**ИМПЕРИАЛИЗМ**

<b>Глава пятая.</b> Политическая эмансипация буржуазии (перевод Л. А. Седова) .....	185
1. Экспансия и государство-нация .....	186
2. Власть и буржуазия .....	199
3. Союз между толпой и капиталом .....	215
<b>Глава шестая.</b> Расовый образ мысли до появления расизма (перевод Л. А. Седова) .....	229
1. «Раса» аристократов против «нации» граждан .....	233
2. Расовое единство вместо национального освобождения .....	237
3. Новый ключ к истории .....	244
4. «Права англичанина» против прав человека .....	250
<b>Глава седьмая.</b> Раса и бюрократия (перевод Л. А. Седова) .....	261
1. Фантомный мир Черного континента .....	263
2. Золото и раса .....	277
3. Империалистический характер .....	289
<b>Глава восьмая.</b> Континентальный империализм: пандвижения (перевод А. Д. Ковалева) .....	307
1. Племенной национализм .....	313
2. Наследие беззакония .....	332
3. Партия и Движение .....	341

<b>Глава девятая.</b> Упадок национального государства и конец прав человека (перевод А. Д. Ковалева) .....	361
1. «Национальные меньшинства» и «люди без государства» .....	364
2. Перипетии Прав Человека .....	389

### Часть III

#### ТОТАЛИТАРИЗМ

<b>Глава десятая.</b> Бесклассовое общество (перевод А. Д. Ковалева) .....	407
1. Массы .....	407
2. Временный союз между толпой и элитой .....	433
<b>Глава одиннадцатая.</b> Тоталитарное движение (перевод Ю. Б. Мишкенене) .....	451
1. Тоталитарная пропаганда .....	451
2. Тоталитарная организация .....	479
<b>Глава двенадцатая.</b> Тоталитаризм у власти (перевод И. В. Борисовой) .....	509
1. Так называемое тоталитарное государство .....	513
2. Тайная полиция .....	545
3. Тотальное господство .....	568
<b>Глава тринадцатая.</b> Идеология и террор: новая форма правления (перевод А. Д. Ковалева) .....	597
<b>Послесловие к русскому изданию.</b> Ханна Арендт и проблема тоталитаризма (Ю. Н. Давыдов) .....	623
<b>Библиография</b> .....	639
<b>Указатель имен</b> .....	664
<b>Содержание</b> .....	671

Ханна Арендт

#### ИСТОКИ ТОТАЛИТАРИЗМА

Редакторы *Ковалева М. С., Носов Д. М.*  
Технический редактор *Климинская С. Л.*  
Корректор *Иванова Г. В.*

Сдано в набор 25.01.96 г. Подписано в печать 17.05.96 г.  
Формат 70×100 1/16. Бумага офсет №1. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 42. Уч. изд. л. 42. Тираж 5000 экз. Заказ № 1028.

Издательство «ЦентрКом»  
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9.

АО «Типография Новости»  
107005, Москва, ул. Фридриха Энгельса, 46.